Литературное наследство

# Ив. Бунин

Вторая книга т. 84 включает три раздела. В первом из них — «Статьи» — изучаются литературные и биографические связи Бунина с Горьким, с Чеховым; творческая работа Бунина над рассказами 1910-х годов; его ранние поэтические опыты в их связях с предшествующей русской поэзией; отражение фольклора в прозе Бунина. В разделе «Воспоминания» публикуются мемуары, извлеченные из архивов, а также написанные для настоящего тома друзьями и близкими Бунина. Раздел «Сообщения и обзоры» содержит разнообразные материалы, в том числе: отзывы о Бунине советских и зарубежных писателей, письмо А. Н. Толстого о Бунине, статью П. А. Нилуса о творчестве Бунина и др. Заканчивается раздел обширным обзором: «Бунинские материалы в архивах Советского Союза».

В книге 115 иллюстраций.

# ПАМЯТНЫЕ ЛАСТЕЛЬСТВО

## ИВАН БУНИН

КНИГА ВТОРАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

# ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

## ТОМ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Р Е Д А К Ц И Я
В. Г. БАЗАНОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН, К. Д. МУРАТОВА,
Р. М. САМАРИН, Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 3

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

# ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

## ИВАН БУНИН

### КНИГА ВТОРАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 3

Л $\frac{0722-0353}{042(02)-73}$ 293-72

© Издательство «Наука», 1973

ГОД ИЗДАНИЯ СОРОК ВТОРОЙ

**БУНИН**

Фотография. Париж, 1938

Парижский архив Бунина

# СТАТЬИ

# БУНИН И ГОРЬКИЙ
## 1899—1918 гг.

Статья А. А. Нинова

Среди заметок Горького о литературе есть страничка, посвященная Бунину и его повести «Суходол». Заметка эта, по всей вероятности, является наброском статьи, так и не написанной Горьким.

«В „Суходоле" Бунин, как молодой поп, с подорванной верою в бога, отслужил панихиду по умершему сословию своему и, несмотря на гнев, на презрение к бессильным скончавшимся, отслужил все-таки с великой сердечной жалостью к ним. И — к себе, конечно, и к себе.

Талантливейший художник русский, прекрасный знаток души каждого слова, он — сухой, „недобрый" человек, людей любит умом, к себе — до смешного бережлив. Цену себе знает, даже несколько преувеличивает себя в своих глазах, требовательно честолюбив, капризен в отношении к близким ему, умеет жестоко пользоваться ими.

Сколько интересного можно рассказать о нем!» [1]

Слова эти были сказаны в то время, когда все личные отношения между Горьким и Буниным были прерваны, и политический разрыв, болезненный и тяжелый для обоих, омрачил их старую, почти двадцатилетнюю дружбу. Исторически объективная оценка великолепного таланта Бунина была подтверждена Горьким в противовес всем отрицательным сторонам характера человека, которого он хорошо знал и о котором мог судить без всяких иллюзий.

Обращаясь к Вересаеву, Горький однажды признался: «...хотя шума я возбуждал нередко больше, чем вы, но ведь вам известно, что шум-то этот дешево стоит и, право, никогда не оглушал меня. И не путал моих симпатий. К Андрееву, к Бунину я был ближе, чем к вам, часто видел их, жил с ними, но, проверяя мои симпатии, чувствовал вас яснее, чем их» [2].

Это признание говорит о многом. Оно, в частности, бросает особый свет на историю многолетних отношений Горького и Бунина, отношений непростых, противоречивых и далеко еще не исследованных во всем своем значении и конкретных деталях. В этих отношениях никогда не было того естественного созвучия общественных симпатий и социальных устремлений, которые объединяли Горького и Вересаева и закономерно привели их в ряды советских писателей. Дружба Горького и Бунина не знала той интимности и одновременно тех резких личных конфликтов, того незатихающего спора, той пристрастности во взглядах, которые еще до Октябрьской революции разделили Горького и Леонида Андреева. И тем не менее отношения Горького и Бунина оставили глубокий след в судьбе обоих писателей. Бунин имел веские основания написать в 1910 г. Горькому: «Жизнь своенравна, изменчива, но есть в человеческих отношениях минуты, которые не забываются, существуют сами по себе и после всяческих перемен. Мы в отношениях, во встречах с вами чувствовали эти минуты, — то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость» [3].

И в стихах и в прозе Бунин оставался верен традициям реалистической литературы. Конечно, по широте охвата жизни Бунин-прозаик не идет ни в какое сравнение ни с Толстым, у которого он жадно учился и влияние которого испытывал на себе, ни с Чеховым, чье искусство оказало несомненное воздействие на стиль бунинской прозы [4], ни с Горьким, поднявшимся на гребне литературной славы в те же годы, когда появились первые книги Бунина. Великое многообразие типов русской жизни конца XIX в., целые пласты социальных отношений эпохи остались за пределами бунинских произведений. Но одна область этих отношений была исследована

Буниным с величайшей тщательностью и знанием дела: гибель, конец патриархальных отношений в деревне,— в деревне барской и деревне мужицкой. До самой Октябрьской революции эта социальная проблема оставалась одной из наиболее острых. И на ее анализе крепло мастерство Бунина.

Ощущение разрыва традиционных родовых и семейных связей, чувство социального и личного одиночества, катастрофической неустроенности бытия, господства загадочных, враждебных человеку внешних сил, фатальный разлад с историей и ее движением — все это в высшей степени характерно для мироощущения Бунина и лежит в основе ведущих тем его творчества. В распадающемся, отмеченном печатью тления мире лишь природа выступает для него как неизменное, прочное, вечно возобновляющееся начало. Она — последний оплот того естественного, здорового, свободного от скверны общественных противоречий бытия, которое рушилось на его глазах вместе с уходящей поэзией патриархального существования.

Подробности литературных отношений Бунина и Горького имеют не только биографический интерес. Осмысленные в общей исторической перспективе, они составляют важнейшую страницу истории русской литературы, русского реализма XX в. Творческие результаты этих отношений значительно глубже, чем это принято было считать [5]. Писательские интересы Горького и Бунина нередко скрещивались на узловых проблемах литературного движения эпохи. И сколь бы ни был разным угол зрения писателей на эти проблемы, как бы ни расходились их ответы на тревожные вопросы русской жизни, самый факт пристального внимания к этим вопросам поддерживал их глубокий интерес друг к другу.

## 1

Первая встреча Горького с Буниным состоялась в начале апреля 1899 г. на набережной Ялты. Познакомил писателей Антон Павлович Чехов. «Чуть не в тот же день,— вспоминал через много лет Бунин,— между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!» [6]

К моменту встречи с Горьким Бунин уже был достаточно известен в литературных кругах. Его сборник рассказов «На край света» (1897), книга стихов «Под открытым небом» (1898), перевод «Песни о Гайавате» (1896, третье издание — 1899), участившиеся публикации в столичных журналах свидетельствовали о незаурядном, быстро крепнущем таланте.

Знакомство с творчеством Бунина не оставило Горького равнодушным. В письме к Чехову 29 апреля 1899 г. он так формулировал свое первое впечатление от бунинских стихов и прозы: «Стал читать рассказы Бунина. Порой у него совсем недурно выходит, но замечаете ли вы, что он подражает вам? „Фантазер", по-моему, написан под прямым влиянием вашим, но это нехорошо выходит. Вам и Мопассану нельзя подражать. Но у этого Бунина очень тонкое чутье природы и наблюдательность есть. Хороши стихи у него — наивные, детские и должны очень нравиться детям» [7].

После первой встречи в Ялте между Горьким и Буниным завязалась оживленная переписка. Получив в подарок книгу «Под открытым небом», Горький писал автору: «Читал и читаю стихи. Хорошие стихи, ей-богу! Свежие, звучные, в них есть что-то детски-чистое и есть огромное чутье природы. Моим приятелям, людям строгим в суждениях о поэзии и поэтах, ваши стихи тоже очень по душе, и я очень рад, что могу сказать вам это» [8].

Дружеский, искренний тон первых встреч Горького с Буниным и благоприятное впечатление, сложившееся у обоих от первого знакомства, не вызывают сомнений, хотя очевидно также и то, что некоторые мотивы, уже отчетливо наметившиеся в их произведениях 1890-х годов, не звучали и не могли звучать в унисон.

Творческое кредо молодого Горького едва ли могло привлечь к себе Бунина. И героико-романтические мотивы Горького, и его пристрастие к сильным, волевым нату-

А. М. ГОРЬКИЙ, Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК, Н. Д. ТЕЛЕШОВ, И. А. БУНИН
Фотография Л. В. Средина. Ялта, 16 апреля 1900 г.
Музей А. М. Горького, Москва

рам из социальных низов, и его резкие сатирические обличения по своей направленности и своему пафосу были далеки от сдержанной и холодноватой бунинской манеры. Это несходство вкусов, настроений, взглядов, а в конечном счете — мировоззренческих позиций не замедлило проявиться в завязавшихся отношениях Горького и Бунина. В самых крайностях их искусства было нечто такое, что заставляло их оглядываться друг на друга, не соглашаться, спорить. Расхождение в творческих принципах вовсе не исключало интереса писателей друг к другу. Не случайно сразу же после знакомства Горький предпринял активную попытку привлечь Бунина к сотрудничеству в журнале «Жизнь», который с января 1899 г., после коренной реорганизации, стал выходить как литературный орган легального марксизма, опиравшийся во многом на сотрудников закрытого правительством журнала «Новое слово». С «Жизнью» Горький связывал большие надежды и широкие литературные планы: «Давайте работать в одном органе!? — писал он Бунину в апреле 1899 г. — Давайте соберемся — вся молодежь — около этого журнала, тоже молодого, живого, смелого» [9].

К концу 1890-х годов путь Горького к революционному марксизму не был еще завершен. И это обстоятельство не могло не отражаться на его тогдашней позиции. В письме к Вересаеву в декабре 1899 г. он признавался: «Мне, пока, решительно нет надобности быть *всецело* в группе Z или в группе W. ⟨...⟩ теории для меня всегда были мало интересны. Разве важны умственные построения, когда требуется освободить человека из тисков жизни, и разве нужно непременно на основании законов механики изломать старую, изработавшуюся машину?» [10]

Особенность переходной позиции Горького в том и заключалась, что, примкнув к марксистскому течению, он не считал для себя необходимым быть всецело в той или

иной его группе. Это положение могло сохраняться временно и лишь до тех пор, пока принципиальные различия между группами оставались для писателя неясными или казались ему малосущественными. Движение Горького к марксизму не было ни временным, ни случайным. Оно выражало главную закономерность его политического развития. Для Горького участие в «Жизни» было определенным этапом, определенной ступенью на пути к революционному марксизму, органом которого стала ленинская «Искра».

Среди трех основных отделов «Жизни» — политического, научного и художественного — последний очень быстро приобрел решающее значение для лица журнала. Это обстоятельство отметил В. И. Ленин в письме к А. Н. Потресову. Характеризуя некоторые материалы «Жизни» за первые месяцы 1899 г., Ленин писал: «...недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!..» [11]

Приглашая Бунина сотрудничать в «Жизни», Горький ссылался не столько на марксистскую программу журнала (которая по многим причинам и не могла привлечь Бунина), сколько на общее его демократическое направление, здоровый, бодрый дух, который противостоял сумрачному и болезненному декадентству.

Горький был не только полностью осведомлен о произведениях, которые Бунин летом 1900 г. прислал в редакцию «Жизни», но хорошо знал и другие, не увидевшие еще печати стихотворения. «За стихи, посланные в „Жизнь", спасибо вам и от меня, а также и за прозу,— писал Горький в конце июля 1900 г. — Где то стихотворение, в котором солнце уподоблено жар-птице? Вы и его в „Жизнь" дайте, пожалуйста!» [12] Это пожелание Бунин выполнил. В цикле стихов «Акварели» упомянутое Горьким стихотворение («Все лес и лес. А день темнеет...») поставлено первым.

Среди поэтических произведений, опубликованых Буниным в «Жизни», центральное место, несомненно, занимает поэма «Листопад» — самое крупное создание Бунина-поэта, написанное уже рукою зрелого, сознающего свою силу мастера. Эта поэма, посвященная Горькому, открывала октябрьскую книжку «Жизни» за 1900 г. Горький по достоинству оценил бунинскую поэму. «У вас я еще не знаю ни одного стихотворения, равного этому по *обилию* образов и красоте их»,— писал он автору «Листопада» [13].

В той же октябрьской книжке «Жизни», где был напечатан «Листопад», впервые увидел свет и знаменитый рассказ Бунина «Антоновские яблоки». Собственно, «Антоновскими яблоками» начинается пласт классической бунинской прозы. Не надо было обладать большой проницательностью, чтобы после появления этого рассказа убедиться в силе сословных привязанностей Бунина, в прочности уз, которые духовно связывали его со старым дворянским усадебным бытом, со всем укладом, исторически доживавшим свои последние дни. Удивительным было другое. Как при всей органичности, прочности этой кровной родовой связи голос художника не дрогнул, когда ему пришлось произнести над своим сословием прощальное, надгробное слово.

Если в поэтических картинах «Антоновских яблок» и есть элемент идиллии, восхищения, безраздельного приятия действительности, то все это относится к *прошлому* — только к нему. В настоящем Бунину видится нечто совсем другое. И хотя еще сохранились дворянские усадьбы, вроде тех, которые грезятся рассказчику, в них, по его собственному признанию, уже нет жизни... Идиллия оборачивается эпитафией. Не случайно в журнальной публикации рассказ имел подзаголовок: «Картины из книги „Эпитафии"».

Вместе с тем, даже в узкой сфере того быта, того патриархального мира, который, как в капле свежей росы, отразился в поэзии «Антоновских яблок», Бунин трезвыми глазами реалиста увидел смену эпох, бег времени, беспощадно разрушающего все, что отжило свой век: «Да разве могла эта сентиментальная жизнь, равно как и беспутное существование с охотами, с кутежами и пирами, не погибнуть при первом столкновении с новой жизнью?»

То лирическое настроение, которое в поэме «Листопад» отразилось в обобщенно-философском плане, скрыто проступающем сквозь движение пейзажных картин, получило в «Антоновских яблоках» отчетливый социально-биографический комментарий. Помещенные в одной книжке журнала эти два характернейших произведения Бунина-поэта и Бунина-прозаика перекликались и дополняли друг друга.

Прочитав «Антоновские яблоки», Горький сразу же почувствовал, что талант Бунина, освобождаясь от черт подражательности, обретает полную самостоятельность и оригинальность. В ответ на письма Бунина из-за границы, Горький заметил в ноябре 1900 г.: «А еще большое спасибо за „Яблоки". Это — хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно. Нет, хорошо, когда природа создает человека дворянином, хорошо! Деточка моя — вам надо работать, а не бегать по заграницам. Вам надо очень много писать, черт вас съешь!» [14]

Отдавая дань силе бунинского таланта, Горький не терял ощущения резкой грани, которая разделяла направление его собственного творчества и творчества Бунина. Получив книжку «Листопад» с посвященной ему поэмой, Горький ответил автору в феврале 1901 г.: «Мне приятно ваше внимание, потому что я искренне люблю вашу тонкую, вашу нежную душу. Скорпионы прислали мне „Листопад", и я — со Скитальцем — проглотил его, как молоко. Хорошо! Какое-то матовое серебро, мягкое и теплое, льется в грудь со страниц этой простой, изящной книги. Люблю я, человек мелочный, всегда что-то делающий, отдыхать душою на том красивом, в котором вложено вечное, хотя и нет в нем приятного мне возмущения жизнью, нет сегодняшнего дня, чем я, по преимуществу, живу и что меня помаленьку губит. Не скрою — мне хочется видеть в ваших стихах больше таких звуков, как в „Витязе", да, но — всякому свое, а наибольшая тому честь, кто во всем весь» [15].

Хотя рассказы и стихотворения Бунина принадлежат к наиболее значительным произведениям, опубликованным в «Жизни»,— таким как «Фома Гордеев» и «Трое» Горького, «В овраге» Чехова, «Конец Андрея Ивановича» Вересаева,— в потоке демократической беллетристики «Жизни» они выделяются своими особыми чертами. Явная антибуржуазность Бунина, его резко критическое отношение к капитализму, как оно сказалось, например, в рассказе «Новая дорога», восходят к мировоззрению и психологии тех классов старой патриархальной России, которым буржуазный строй нес гибель и разорение. Бунин отрицает буржуазный строй совсем с иной стороны, чем те сотрудники «Жизни», которые нашли в марксизме органическое выражение идеалов грядущего социалистического общества. В этом смысле Горький и Бунин представляли крайние фланги литературных сил, объединившихся вокруг «Жизни».

С начала 1901 г. практическая революционная работа Горького приняла широкий размах. Он с гневом отзывается о репрессиях царского правительства против студенчества, проводит вечера с чтением запрещенных цензурой произведений, принимает участие в демонстрации студентов; в Петербурге, Москве, а затем Нижнем Новгороде он оказывает широкое содействие распространению прокламаций и другой нелегальной литературы, вносит крупные денежные суммы на организацию подпольных типографий.

Слухи о возможном аресте Горького дошли до Бунина. В письме из Одессы 20 марта 1901 г. он спрашивал Чехова: «От Горького давно не имею писем — с начала марта. Не знаете ли чего-нибудь? Ходят всякие слухи и т.д.» [16] А 30 апреля того же года Бунин сообщил ему: «От жены Горького получил письмо — Горький сидит. Но вы, вероятно, уже знаете это...» [17] Действительно, в ночь с 16 на 17 апреля Горький был арестован и заключен в Нижегородскую тюрьму.

Арест Горького предопределил судьбу «Жизни». Глухие вести о критическом положении журнала застали Бунина под Москвой, в Малаховке. 1 июня 1901 г. он писал оттуда Миролюбову: «„Жизнь" меня очень беспокоит, но май все-таки выйдет одновременно с июньской книгой, для мая уже взяли два моих стихотворения, а на июнь я посылаю им рассказ» [18].

Эти предположения, однако, не осуществились. Майский номер был задержан цензурой, а затем, 8 июня 1901 г., постановлением трех министров и обер-прокурора Синода «Жизнь» была закрыта. Апрельская книжка, в которой рядом с продолжением романа Горького «Трое» и «Песней о Буревестнике» были напечатаны два рассказа Бунина («Туман» и «Новая дорога»), оказалась последним номером журнала, увидевшим свет.

Гибель «Жизни» не дала развернуться содружеству талантливых писательских сил, собранных Горьким вокруг этого издания. Однако для Бунина участие в нем не

прошло бесследно. Здесь впервые наметилось и осуществилось практическое литературное сотрудничество многих из будущих писателей-знаньевцев.

В кружке «Среда» это сотрудничество закрепилось творческим личным общением, оставившим глубокий след в памяти каждого его участника. Возникновение и расцвет «Среды» совпали с подъемом общественного движения накануне первой русской революции. Демократически настроенные писатели испытывали потребность в более тесном объединении сил, способных противостоять литературной реакции, способных сообща бороться за честное и правдивое литературное творчество.

Состав кружка не был однородным. В него входили люди с разными политическими и литературными взглядами. Среди членов «Среды» были и лица, весьма далекие от революционных кругов, и литераторы, тесно связанные с ними. Постепенно внутри кружка сложилось сильное писательское ядро, которое определяло все направление деятельности «Среды». Это ядро составили Андреев, братья Бунины, Вересаев, Горький, Серафимович и Телешов.

Сближение Горького с этим кружком московских литераторов постепенно внесло в жизнь «Среды» тот элемент общественной активности, которого—особенно поначалу — ей очень недоставало. При этом горьковские настроения и взгляды были встречены не без внутреннего сопротивления таким влиятельным участником «Среды», каким был Бунин. Споры о Горьком-писателе, о его творчестве и необычайной судьбе, занимавшие в то время русскую критику и самые широкие читательские круги, не прошли мимо членов «Среды». Отзвук этих споров слышен в письме Бунина к Телешову 16 июля 1900 г.: «Новостей, конечно, никаких. Не считая битья читателей в морду... Видишь ли, для этого надо иметь настроение. Горький же, между нами, по-моему, отчасти прикидывается таким грубым, ломается, и я удивляюсь, как этого не чувствуют многие» [19]. Получив ответное письмо Телешова с возражениями, Бунин уточнил свою мысль: «Ты меня не понял,— я не на Горького злился, главным образом, а на критику и публику и уж, конечно, не за себя. Да тебя, впрочем, не разубедишь» [20].

Так или иначе, откровенно полемическая нота, прозвучавшая в этих письмах, не была случайной. Преобладающая тенденция горьковского творчества, острая реакция на нее со стороны широких кругов читателей и литературной критики доказывала со всей очевидностью, что умами современников владели идеи и настроения, которых Бунин не разделял. Он был вполне искренен, когда писал, что «не на Горького злился главным образом»,—его неудовлетворенность и досада были вызваны общим состоянием читательских умов, глубоким разладом между его личными и господствующими в обществе вкусами, разладом, который не может не отзываться болезненно в сознании каждого сколько-нибудь думающего и последовательного в своих принципах художника.

Характерно, что как раз в это же время, отдавая должное Бунину, Горький со своей стороны отметил такие черты его мироощущения, которые не могли найти сочувственного отклика в массе читателей. В середине сентября 1900 г. Горький заметил в письме к Чехову: «Знаете — Бунин умница. Он очень тонко чувствует все красивое, и когда он искренен — то великолепен. Жаль, что барская неврастения портит его. Если этот человек не напишет вещей талантливых, он напишет вещи тонкие и умные» [21].

Известная «нейтральность» «Среды», ее отдаленность от наиболее острых политических схваток и споров, кипевших в революционных кругах, соответствовали настроениям и взглядам Бунина, неоднократно заявлявшего о своем принципиальном отстранении от тенденциозности всякого рода.

Однако политические волнения эпохи вторгались и в уютный особняк Телешова на Чистых Прудах. «Помню горячие беседы М. Горького, когда он рассказывал о движении среди рабочих» [22],— писал позже Белоусов, подчеркивая, что «Среда» не могла не откликаться на многие явления политического характера. С большим волнением и участием отозвались члены кружка на политические репрессии, которые коснулись Скитальца, Л. Андреева и со всей силой обрушились на Горького. После ареста и заключения Горького в тюрьму в апреле 1901 г. судьба писателя, взволновавшая все русское общество, естественно, оказалась в центре общих дум и переживаний его близких товарищей по «Среде». Л. Андреев писал Горькому 21 мая: «...с самого 17 апреля

я почувствовал себя *осиротевшим*»[23]. Эти слова в какой-то мере выразили общее настроение московского кружка.

В литературной жизни «Среды» Горький занял особое место. Многие произведения, прошедшие через общее обсуждение,— от первых рассказов Андреева до «Поединка» Куприна,—в своей окончательной форме немалым обязаны советам и критике Горького, критике точной, конструктивной, основанной на широком знании русской действительности и учитывающей истинные возможности каждого писательского дарования.

Событием для «Среды» были те вечера, когда читались и обсуждались произведения самого Горького. Литературная Москва с нетерпением ждала таких вечеров, попасть на них было нелегко и считалось большой честью. Сохранилась короткая записка Андреева 29 сентября 1902 г.: «Милый Иванушка! Приехал Максимыч и сегодня вечером читает у меня свою драму. Приходи обязательно и скажи о том же Юлию. Будет Шаляпин»[24]. Этой запиской братья Бунины приглашались на «Среду» в доме Андреева, где Горький должен был читать свою новую пьесу «На дне». По свидетельству Телешова, на этом чтении, помимо членов «Среды», было много приглашенных писателей и артистов. «Успех был исключительный,— вспоминает Телешов.— Ясно было, что пьеса станет событием»[25].

В интервью, которое Бунин дал молодому К. Чуковскому в Одессе вскоре после первых представлений пьесы Горького на сцене Художественного театра, в частности, было сказано: «„Дно" нравится автору гораздо больше, чем „Мещане", он вообще возлагает на свою новую пьесу большие надежды, так что овации приняты были им, как нечто „в порядке вещей", сам он после постановки пьесы был сумрачен, печален и замкнут, хотя исполнение очаровало его»[26].

Общее настроение боевого подъема, охватившее с приближением революции самые широкие демократические слои русского общества, подняло активность телешовского кружка. «Среда» выступила с публичным протестом против действий полиции, избившей в декабре 1904 г. многих участников мирной демонстрации в Москве. Конечно, это еще не означало, что сущность революционных событий была глубоко воспринята всеми участниками «Среды». Печать прежней политической наивности, оторванности от практического революционного движения масс, мелкобуржуазные, как, например, у Андреева, или узкосословные, как у Бунина, предрассудки — все это так или иначе серьезно ограничивало революционность большей части членов московского писательского кружка.

С наступлением революции 1905 года центробежные силы внутри «Среды» обнаружились с большой резкостью—именно эта революция, как верно отметил Бунин, «надолго рассеяла этот кружок»[27].

Многие писатели до конца жизни сохранили благодарную память о «старой Среде». В 1927 г., ознакомившись с воспоминаниями Телешова, легшими в основу его будущей книги, Горький ответил ему: «„Воспоминания" — читал, был тронут кое-чем — славная вы душа! Пришлите книгу — перечитаю вновь. Сильно мы пожили, не правда ли?»[28]

Далеко, порой трагически далеко разошлись пути многих товарищей по «Среде» — в том числе Горького и Бунина. Но в их действительно богатейшей, интересной, сильно прожитой жизни есть духовный вклад каждого.

Встречи в ялтинском доме Чехова, участие в «Жизни» и общение по «Среде» во многом подготовили ту полосу деятельности Бунина, которая прошла под знаком ближайшего сотрудничества в горьковском демократическом издательстве «Знание».

## 2

С деятельностью «Знания» связана целая эпоха в развитии русской демократической литературы, сплотившей в пору общественного подъема начала 1900-х годов и революции 1905 г. свои лучшие силы вокруг Горького.

Руководители издательства Горький и Пятницкий получили к концу 1902 г. возможность построить свою работу на принципиально новых началах. Как директор-

распорядитель издательства Пятницкий сосредоточил в своих руках все организационно-финансовые, производственные и цензурные вопросы. Горький получил решающий голос в редакционных делах и выработке общей линии издательской политики «Знания» [29].

Поставив во главу угла всей деятельности издательства не коммерческие, а общественно-просветительские цели, руководители «Знания» выдвинули четкие критерии отбора издаваемой литературы. Последовательный демократизм, верность художественному реализму, добротность и общедоступность изданий — вот основные принципы, которые завоевали «Знанию» широкую популярность среди читателей. Литературная программа «Знания» и товарищеские основы его деятельности в короткий срок привлекли к издательству выдающиеся молодые силы русской литературы: Андреева, Куприна, Вересаева, Серафимовича, Гарина-Михайловского, Найденова, Бунина.

В середине октября 1901 г. по приглашению Горького Бунин и Андреев посетили его в Нижнем Новгороде. По этому случаю Горький заметил в письме к Пятницкому: «...я едва сижу за столом от усталости. Ибо — был Бунин Иван, был Андреев Леонид, Алексеевский Аркадий, и я два дня не видел себя» [30]. Среди множества тем, затронутых в разговоре, важное место заняли литературно-издательские планы. Бунин предложил «Знанию» сборник своих рассказов, и Горький поддержал его в этом намерении. Во всяком случае он отдал ему явное предпочтение перед популярным тогда Евгением Чириковым: «С точки зрения литературной — он художник, и немалый — несравненно выше Евгения Николаева,— хотя у Евгения есть лицо, а у Бунина — туман на этом месте. Я — за издание Бунина „Знанием"» [31].

Заручившись предварительной поддержкой Горького, Бунин 17 октября повторил свое предложение Пятницкому:

«На днях я виделся в Нижнем с Горьким и толковал с ним относительно издания моих рассказов в „Знании". Горький, со своей стороны, очень стоял за это, о чем он, вероятно, уже пишет вам в письме, которое передаст вам А. И. Ланин. Теперь, по совету Горького же, пишу вам, предлагаю вам взять у меня первый том моих рассказов. Вы, вероятно, знаете, что О. Н. Попова издала пять лет тому назад небольшую книгу моих рассказов „На край света". Книга эта сперва пошла очень хорошо, благодаря хорошим отзывам, но не знаю, как дело шло дальше, хотя, если даже оно пошло и хуже, то причины этому были,— например хотя бы та, что после „На край света" я совершенно замолчал и почти не появлялся в печати в течение около 3-х лет. Теперь, как вы знаете, я печатаю много, особенно стихов, а с будущего года буду много печатать и беллетристики. Думаю поэтому, что пора мне выпустить и кое-что отдельным изданием» [32].

В первый том рассказов, предложенный «Знанию», Бунин намеревался включить, наряду с новыми вещами, опубликованными в журналах, также семь или шесть «лучших и значительно исправленных» рассказов из книги «На край света» [33]. Пятницкий ответил Бунину согласием [34] и сразу же известил о своем решении Горького. В коротком письме Бунину, написанном не позднее 8 ноября 1901 г., Горький подтвердил достигнутую договоренность: «Я очень, очень рад, что Бунин будет издан „Знанием" ⟨...⟩. Писать некогда. 8-го буду в Москве» [35].

Когда соглашение Бунина с руководителями «Знания» было, казалось, уже вполне достигнуто, Горький испытал острые сомнения по поводу принципиальной стороны намечавшегося союза. Не исключено, что проблема издания Бунина в «Знании» обсуждалась Горьким и Пятницким еще во время поездки в Крым, когда последний сопровождал Горького от Москвы до Ялты. Во всяком случае, в первом же большом письме Пятницкому из Олеиза Горький как бы продолжил прерванный спор и добавил к прежним своим аргументам новые.

«Да, вот что: мне стало известно,— писал он,— что Бунин снова явится в компании „Скорпионов", коя затевает еще альманах. Скажу по совести — это меня отнюдь не радует. Я все думаю — следует ли „Знанию" ставить свою марку на произведениях индифферентных людей? Хорошо пахнут „Антоновские яблоки" — да! но — они пахнут отнюдь не демократично,— не правда ли? К этому соображению примешивается еще и следующее: когда я напишу „К ней", — Бунин и еще многие другие люди бу-

А. М. ГОРЬКИЙ

Фотография. Рига, весна 1905 года. С дарственной надписью: «И. А. Бунину — А. Пешков»

Музей И. С. Тургенева, Орел

дут очень недовольны мною, хотя я имен их и не упомяну. Возможно даже, что они будут возражать мне,— ибо я намерен наступить им, голубчикам, на хвостики. Ловко ли заключать союз,— путем издания рассказов,— а потом — в зубы? Ах, Бунин! И хочется, и колется, и эстетика болит, и логика не велит! Скажите ваше решающее слово, друг мой добрый и умный! Против „Гайаваты" ничего не имею, но рассказы— смущают» [36].

Прилив сомнений, испытанных Горьким, не был случайным. За колебаниями в оценках, за разноречием между «эстетикой» и «логикой» в горьковском взгляде на Бунина стояли расхождения идейного порядка. Политическая «индифферентность», равнодушие к борьбе общественных течений, стремление к эстетическому созерцанию действительности,— все это глубоко претило Горькому и вызывало его на резкую полемику. Есть основания предполагать, что полемическое произведение «К ней», оставшееся ненаписанным, должно было продолжить тему, развитую в памфлете «О писателе, который зазнался» (1901). Главный объект его — читающая, образованная «публика», с которой Горький как раз в данный момент считал необходимым вполне откровенно объясниться по «личному поводу».

К концу ноября 1901 г., когда реакция на вызов, брошенный в этом памфлете, достигла предельной остроты, у Горького, вероятно, возникло желание продолжить объяснение с «публикой» и обратиться к ней с новым памфлетом — в развитие и подтверждение своей позиции. Считая, что замысел «К ней» должен в числе многих других задеть и Бунина, Горький едва ли прямо относил автора «Антоновских яблок» к разряду той «публики», с которой он непосредственно объяснялся. Скорее всего Горький причислял Бунина к кругу тех своих «товарищей», которые говорили ему, что «публику уважать нужно», уважать вообще, независимо от того, какие ценности эта публика ищет в искусстве. Разрыв эстетики и политики, равнодушие к политике при достаточно тонком понимании эстетики — вот чего Горький не мог простить Бунину, размышляя о возможностях его сотрудничества в «Знании».

Когда Горький в конце ноября 1901 г. сообщал Пятницкому, что Бунин «снова явится в компании „Скорпионов", коя затевает еще альманах», он, конечно, имел в виду предстоящий выход «Северных цветов на 1902 год», как раз в это время анонсированный в печати. Однако ни Бунин, ни Чехов на этот раз не приняли участия в альманахе. Обстоятельства серьезной размолвки Бунина с Брюсовым остались для Горького неизвестными [37].

В ответном письме к Горькому Пятницкий поспешил рассеять или хотя бы ослабить его сомнения: «Я думаю, жалеть об этом издании вы не будете. Рассказы хороши. Что же касается отсутствия общественных настроений, этот упрек приложим и к Андрееву. Книжка стихов Бунина издается Карзинкиным: от „Скорпиона" он решил отойти ⟨...⟩ Рассказы набираются. Бунин прибавил несколько новых. Сейчас он в Одессе. В конце января хотел быть у вас» [38].

После письма Пятницкого сомнения Горького отпали. «Очень рад, что Бунин отошел от „Скорпиона"» [39],— отвечал он Пятницкому в очередном письме. Соглашение Бунина со «Знанием», поддержанное в принципе обоими руководителями издательства, перешло в стадию практического сотрудничества.

Весной 1902 г. «Знание» выпустило первый том «Рассказов» Бунина. Книга была набрана и издана за очень короткий срок. Тогда же Бунин передал «Знанию» право на новое издание своего перевода «Песни о Гайавате».

Еще в октябре 1901 г., обсуждая состав готовящейся книги рассказов, Бунин вскользь задал Пятницкому вопрос относительно «томика стихотворений», который он хотел бы выпустить в декабре или в начале будущего 1902 г. Пятницкий не поддержал этого косвенного предложения, и вопрос об издании стихов был оставлен до лучших времен. Весной 1902 г., во время встреч с Горьким в Крыму, Бунин вновь возбудил вопрос об издании своих стихотворений «Знанием» и через несколько месяцев напомнил ему об этом [40].

В письме к Пятницкому летом 1902 г. Бунин повторил и развил мысль о новой книге своих стихов: «Алексей Максимович нынешнею весною два раза заводил со мною разговор о том, чтобы я издал в „Знании" свои стихотворения. Я очень рад этому, ибо, если бы „Знание" издало их, то оно оказало бы мне большую услугу. Дела мои с изданием стихов обстояли до сих пор нелегко. „Листопад" издал „Скорпион" (два года тому назад), имеющий печальную репутацию и не имеющий ни конторы, ни серьезных связей с книжными магазинами, ни охоты распространять своих книг. Все книги, как со смехом сказал мне сам Поляков, ведущий скорпионьи дела, лежат у него в „спальне". Даже в редакции для отзывов я должен был послать книгу сам. Что же касается „Новых стихотворений", то они изданы в количестве всего *500 экземпляров*, которые и находятся в „Труде" как моя собственность. Думаю, что к тому времени, когда выпустили бы мою книгу (*составленную из избранных стихотворений этих двух книг и некоторых новых*) вы, — то есть к концу осени,— „Новые стихотворения" пройдут, а „Листопад", что осталось у „Скорпиона", я куплю. Очень прошу вас, Константин Петрович, подумать об этом издании и поговорить с вашими товарищами. Репутация моя, как поэта, очень недурная, рецензии, которые были о „Листопаде", чрезвычайно хвалебные ⟨...⟩ Называют „Листопад" и многие другие стихотворения „классическими", много раз говорили, что многие мои вещи должны войти в хрестоматии, и все-таки дела мои с изданиями стихов до сих пор были никуда не годными! Не для хвастовства

говорю это, Константин Петрович. Ваше издание произвело бы совсем другое впечатление, в особенности если принять во внимание, что вы выпустили мои „Рассказы" и выпустите „Гайавату". Несколько моих книг, выпущенных почти одновременно одной фирмой, будут сильно помогать друг другу и давать автору физиономию» [41].

О новом предложении Бунина Пятницкий сразу же написал Горькому, от которого на этот раз последовал очень сдержанный ответ: «Я не помню, чтобы „предлагал",— писал Горький,— и не думаю, чтобы мог „предложить" истекшей весной, даже более — я твердо уверен, что со стороны Ивана Алексеевича речь о предложении моем — суть поэтическая вольность... Впрочем — это дела не меняет, и я готов взять на себя издание стихов. Стихи — хорошие, вроде конфект от Флея или Абрикосова. Я говорю серьезно. В данном случае „Знание" представляет Бунина как новеллиста, поэта и переводчика. Публика его читает, и есть такие болваны, которые говорят, что он — выше Андреева и Скитальца. Ваше мнение по поводу издания каково? По всей вероятности, будет очень трудно мотивировать отказ издать третью книгу, раз две уже изданы» [42].

При всех колебаниях Горький поддержал предложение Бунина об издании новой книги его стихов. Соглашаясь на ее издание, Горький сознавал, что это — своего рода издательский компромисс со стороны «Знания», но компромисс целесообразный и оправданный.

Второй том Бунина, выпущенный в 1903 г., объединил стихотворения, входившие в сборники «Листопад» и «Новые стихотворения», с добавлением небольшого количества новых стихов. Сам Бунин рассматривал этот том как наиболее полный итог первого десятилетия своего поэтического творчества.

Представляя Бунина как прозаика, поэта и переводчика, «Знание» прочно закрепляло свое сотрудничество с автором, приобретавшим все более широкую и заслуженную читательскую известность. И хотя сам Горький не разделял в эту пору мнения наиболее восторженных почитателей Бунина, ставивших его талант «выше Андреева и Скитальца», время показало, что это мнение было небезосновательным.

После выхода тома «Рассказов» Бунин не выпускал новых прозаических сборников в течение семи лет, вплоть до 1909 г., когда «Знание» издало пятый том его сочинений, включавший рассказы и очерки 1903—1907 гг. Зато в это же время Бунин становится самым значительным поэтом «Знания» [43]. Одна за другой выходят книги его оригинальных стихов и переводов.

С начала 1900-х годов особенно широко развернулась переводческая деятельность Бунина. Эта сторона его работы пользовалась самой заботливой поддержкой Горького.

Переводы мировой классики и современных иностранных авторов занимали очень внушительную часть печатной продукции «Знания». По обширности своей культурно-просветительской программы горьковское издательство не уступало самым крупным книжным фирмам. Осуществляя свои планы, «Знание» выпустило капитальные издания трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида в переводе Д. Мережковского, полное собрание сочинений Шелли в переводе К. Бальмонта, собрание стихотворений Леопарди в переводе И. Тхоржевского, прозаический перевод двух частей «Фауста» Гете, выполненный П. И. Вейнбергом, и некоторые другие памятники мировой поэзии. Работы Бунина-переводчика заняли достойное место в этом ряду.

Новое издание «Песни о Гайавате», выпущенное «Знанием» в 1903 г., было образцовым во всех отношениях. Этим изданием Бунин завершил свой девятилетний труд над ее переводом и впоследствии не изменил уже в нем ни единой строки. Мастерство бунинского перевода получило всеобщее признание. «Лонгфелло—прелесть!» [44]— писал Горький Пятницкому, получив в начале февраля 1903 г. очередную партию выпущенных «Знанием» книг. Сборник стихотворений Бунина «Листопад» и его перевод «Песни о Гайавате» в том же 1903 г. были отмечены Пушкинской премией [45].

В замыслах Бунина-переводчика центральное место после Лонгфелло занял Байрон. Горький был посвящен во все детали работы Бунина над Байроном и проявлял к ней живейший интерес. Еще в декабре 1902 г., во время приезда Горького в Москву, Шаляпин прочел на собрании «Среды» бунинский перевод «Манфреда». 16 декабря 1902 г. Горький писал Пятницкому: «Бунин задержал „Манфреда", которого Федор Иванович читал первый раз хорошо, а второй — изумительно. Ну, что же? Простим Бунину» [46].

К лету 1903 г. Бунин завершил работу над новой редакцией «Манфреда» и принялся за перевод «Каина». 5 мая он сообщал Пятницкому о своих летних планах: «Сижу, как видите, в деревне — и сижу прочно. В начале июня съезжу к Алексею Максимовичу. Будете ли вы у него, и, если будете, то когда? Хочу прочитать Алексею Максимовичу „Каина"» [47].

Работа над переводами из Байрона чрезвычайно увлекла Бунина. После выпуска «Манфреда» Горький, со своей стороны, задумал издать в «Знании» полное собрание сочинений Байрона в новых переводах по типу уже предпринятого издания сочинений Шелли. Детали этого грандиозного замысла несколько раз во всех подробностях обсуждались Горьким и Буниным при встречах. После беседы с Буниным Горький сообщил Пятницкому 12—13 декабря: «Говорил с ним о переводе Байрона — это ему улыбается, особенно „Дон-Жуан". В январе, кончив „Каина", он будет в Питере» [48].

По поводу возникшего плана Бунин написал Пятницкому 11 января н.с. 1904 г. из Ниццы: «Перед отъездом я, — как вы тоже, вероятно, знаете,— виделся с Алексеем Максимовичем, который снова очень просил меня взять на себя труд дать „Знанию" всего или почти всего Байрона в переводах. Для начала мы остановились на „Дон-Жуане" в прозаическом переводе, причем Алексей Максимович просил меня начать работать и сказал, что „Знание" будет мне давать ежемесячные авансы, чтобы я мог работать спокойно, и что вы уже имели с ним разговор по этому поводу. Все это мне улыбается, но как быть с „Каином"? Очень прошу вас написать мне о нем: я был бы бесконечно рад отложить его печатание еще — до осени; когда он полежит, я, мне кажется, смогу отнестись к нему спокойно и переделать все, что мне не нравится, и докончить все недоконченное твердой рукой. Если вы согласны на это — пожалуйста, напишите мне поскорее. Тогда я тотчас же примусь за „Дон-Жуана" и непременно сделаю его к концу сентября или даже к сентябрю — в этом даю слово» [49].

Пятницкий не возражал против издания всего Байрона «Знанием», но задержка «Каина» нарушала его текущие планы, и он настаивал на необходимости выполнения прежних обязательств. Сдержанное отношение Пятницкого, очевидно, сыграло свою роль. От перевода «Дон-Жуана» Бунин в конце концов отказался, а выпуск всего Байрона «Знанием» так и не был осуществлен.

Первые тома сочинений Бунина и книги его переводов, выпущенные за короткий срок «Знанием», создали автору репутацию одного из наиболее талантливых и разносторонних по дарованию участников горьковской писательской группы. Особенно упрочили эту репутацию знаменитые литературные сборники «Знания», к регулярному выпуску которых издательство приступило с 1903 г.

После разгрома «Жизни» Горький и другие ближайшие сотрудники этого журнала остались без постоянного периодического органа. Опыт «Жизни» показал, что антиправительственный журнал с ясно выраженным направлением не может рассчитывать на сколько-нибудь прочное существование. Нужна была новая форма объединения писательских сил. Литературно-художественные сборники «Знания» по своему продолжили традиции «Жизни» и в известной мере заменили большой ежемесячный журнал [50].

Сборники «Знания», по замыслу Горького, должны были опираться на лучшие литературные силы своего времени и при этом сохранять последовательное демократическое направление. Они должны были сочетать подвижность состава, устойчивость против цензурных гонений, присущие изданиям альманашного типа, и в то же время неуклонно осуществлять последовательную литературно-политическую программу, как это издавна велось в передовых русских журналах, начиная с некрасовского «Современника».

Первые наметки программы будущих сборников были обсуждены в кругу участников «Среды» во время приезда Горького в Москву в декабре 1902 г. В память об этой встрече Горький, Скиталец, Бунин, Андреев, Телешов, Чириков и Шаляпин сфотографировались одной группой. Фотография обошла многие иллюстрированные издания в России и за рубежом. Как отмечает в своих воспоминаниях Телешов, «это было как бы представлением читателям авторского коллектива зарождавшегося тогда издательства „Знание" и сборников „Знания", имевших такое значительное отношение к 1905 году.

Эти сборники были организованы Горьким у нас же, на одной из „Сред", когда Алексей Максимович, приехав на день в Москву, отбирал у нас рукописи для первого выпуска» [51].

В числе предполагаемых авторов первого сборника Горький в письме к Телешову назвал Чехова, Андреева, Куприна, Юшкевича, Телешова, Скитальца, Серафимовича, Бунина и Чирикова [52]. Круг участников первых сборников Горький ограничивал теми, кто уже выпустил или готовил к изданию свои книги в «Знании». Бунин был в их числе. По всей вероятности, Бунин принимал непосредственное участие и в декабрьском «московском разговоре», когда родилась самая мысль о выпуске литературных сборников «Знания». Во всяком случае, он активно включился в их подготовку.

В конце 1903 г. Бунин работал над рассказом «В хлебах» и двумя небольшими очерками «Золотое дно» и «Сны», один из которых он читал весной в Ялте Горькому. Для сборника, очевидно, предполагался рассказ «В хлебах», но работа над ним продвигалась с большими трудностями. Бунину стало ясно, что закончить рассказ вовремя не удастся. 11 декабря он отправил в Петербург Пятницкому и Горькому новое письмо: «Снова простите, Константин Петрович и Алексей Максимович,— шлю вам рассказ, но не тот, который обещал. Он меня измучил, ибо, думаю, его надо написать в пять раз больше. Поэтому посылаю два очерка, связанных одним заглавием и одним настроением,— один из них тот, который я читал вам, Алексей Максимович. Боюсь только цензуры. Если нужно что-нибудь вычеркнуть для цензуры — сделайте это, пожалуйста. Мне так горячо хочется, чтобы это прошло!» [53]

Рассказ «В хлебах» («Далекое») Бунин напечатал в мартовской книжке журнала «Правда» за 1904 г. , а в сборник он предложил «Золотое дно» и «Сны», объединенные общим заглавием «Чернозем». Когда Бунин совсем уже хотел отправить рассказы в «Знание», он получил известие о приезде Горького. На обратном пути в Нижний Новгород Горький остановился на несколько дней в Москве, и Бунин специально задержал свои рассказы, чтобы прочесть их Горькому. «Шлю сегодня. Алексею Максимовичу читал — ему очень понравилось» [54],— сообщал Бунин Пятницкому 12 декабря 1903 г. То же самое подтвердил и Горький: «Рассказики Бунина читал, и очень они мне нравятся, особенно второй» [55].

В первом сборнике «Знания», который открывался рассказом Андреева «Жизнь Василия Фивейского», Бунин был представлен и прозой («Чернозем») и стихами («Диза», «Перед бурей», «Сумерки», «Дома», «Кольцо», «В Евпаторийских степях», «Над Окой»). Сборник включал также лирико-философский этюд Вересаева «Перед завесой», «Деревенскую драму» Гарина, поэму Горького «Человек», рассказы Гусева «В приходе», Серафимовича «В пути», Телешова «Между двух берегов». С выходом второго сборника, составленного из произведений Чехова, Куприна, Скитальца, Чирикова и Юшкевича, авторский коллектив сборников «Знания» заявил о себе в полный голос.

В канун революции 1905 г. сборники «Знания» были восприняты как средоточие основных сил демократического лагеря русской литературы. Единство новой писательской группы, последовательность общественно-эстетической линии, которую проводил Горький в литературной борьбе, должны были по достоинству оценить и друзья и враги.

Индивидуальные различия между писателями этой группы, масштаб и направление таланта каждого из ее участников были быстро распознаны критикой и читающей публикой. Разумеется, и здесь не обходилось без споров и разногласий. Показателен отзыв Чехова в письме к А. В. Амфитеатрову: «Сегодня читал „Сборник", изд. „Знания", между прочим горьковского „Человека", очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом, на *о*, прочел и великолепный рассказ Бунина „Чернозем". Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его вашему вниманию» [56].

Чехова вообще смущала «проповедь» в литературе, тогда как Горький в это время испытывал особенно сильную потребность в прямом, открытом провозглашении своих философских, этических принципов. Горьковский «Человек» и был воспринят современниками как своеобразная эстетическая программа, как философское кредо направления, избранного «Знанием». Один из критиков, отозвавшийся большой ста-

тьей на первые сборники «Знания», верно заметил, что поэтические формулы Горького «сводят воедино самые идеальные требования, самые возвышенные идеи, какими живет современность. По духу своему его „Человек" как бы дает нам прямо в руки резюме всех тех идей, во имя которых „хмуро" или „ожесточенно" *отрицают* все лучшие представители современного художества»[57].

В богоборческих мотивах «Жизни Василия Фивейского» звучало именно «ожесточенное» отрицание всеобщей несправедливости. В трезвых картинах бунинского «Чернозема» это отрицание прорывалось сдержанно, «хмуро», но с достаточной определенностью безутешного исторического приговора. «Человек» Горького позитивно формулировал конечную цель и философский смысл отрицания. Тем самым три центральные вещи первого сборника демонстрировали одновременно и широту реалистических принципов ведущих писателей-знаньевцев, и общность целей, ради которых они объединились в одну сплоченную группу.

Памяти Чехова был посвящен третий, специально составленный сборник, в подготовке которого приняли участие самые крупные писатели «Знания». Близкие отношения Бунина с Чеховым были хорошо известны в литературных кругах, и Горькому особенно хотелось видеть Бунина в числе авторов сборника. «Дорогой друг — очень прошу вас принять участие в этом деле, на мой взгляд, и важном и нужном,— писал Горький 11 июля 1904 г.— Нужно же создать противовес пошлости газетных „воспоминаний", нужно по мере сил постараться показать Чехова без фольги — чистого, ясного, милого, умного ⟨...⟩ Прошу вас, товарищ,— вы так много можете сказать о нем и так хорошо, красиво, чисто скажете!»[58]

Самый ранний вариант очерка о Чехове Бунин прочел 24 октября 1904 г. в Обществе любителей российской словесности. Он-то и послужил основой воспоминаний «Памяти Чехова», которые Бунин дал для третьего сборника «Знания». Получив рукопись бунинских воспоминаний, Горький отозвался прочувствованным письмом: «Хорошо вы написали об Антоне Павловиче — нежно, как женщина, и мужественно, как друг»[59]. И Куприн, и Бунин решительно отвергли в своих мемуарах ходячую легенду о безразличии Чехова к общественным проблемам, оба они доказывали, как близко к сердцу принимал Чехов все, что совершалось на его глазах.

Совместная подготовка сборника, посвященного памяти Чехова, острое чувство утраты, пережитое всеми, еще больше сблизили наиболее талантливых писателей «Знания»—Горького, Андреева, Бунина и Куприна. Именно они составили прочную литературную репутацию «Знания», с их деятельностью были связаны самые крупные успехи и самое широкое признание, завоеванное издательством среди читателей.

Даже такой взыскательный и строгий критик, как А. Блок, в статье «О реалистах», напечатанной в «Золотом руне»,— символистском журнале, находившемся в состоянии открытой войны с горьковским «Знанием», отдал должное высокой общественной устремленности и последовательности своих литературных противников. «Когда читаешь писателей „Знания" и подобных им,— утверждал Блок,— видишь, что эти люди сосредоточивают все свои силы в одной точке. Они действуют подчас как исступленные, руководимые одной идеей, которая заслоняет от них много мелочей, все личное, все расхолаживающее. В них есть какая-то уверенность и здоровое самозабвение, так что можно предположить, что они говорят не все слова, какие могут сказать, а лишь те, которые они считают нужными и полезными в данную минуту. И есть настоящая дерзость в этом забвении „во имя" — горьковская дерзость, сказал бы я»[60]. Широта задач, общность ближайших целей, которые были характерны для массового движения в эпоху первой русской революции, глубина недовольства, охватившего самые разные социальные слои,— все это создавало благоприятную почву для концентрации лучших писательских сил вокруг «Знания». Его литературные сборники осуществили этот союз на практике.

После смерти Чехова Горький предложил Бунину устроить осенью 1904 г. съезд «четверых» в Москве, в котором, кроме них, приняли бы также участие Андреев и Куприн. Однако организовать этот дружеский съезд так и не удалось. А с 9 января 1905 г. начались события первой русской революции, круто изменившие все литературные планы и предположения.

## 3

Подробности расправы с мирной рабочей демонстрацией в Петербурге Горький наблюдал лично. С утра 9 января он был на улице, в толпе, а вернувшись домой, потрясенный и разгневанный, написал Е. П. Пешковой в Нижний Новгород большое письмо. Это был первый отклик писателя на события Кровавого воскресенья [61].

Все помыслы и силы души Горького сосредоточились на текущих событиях. Он пишет воззвание «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств», призывая к «немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием» [62], выступает на общественных собраниях, участвует в сборе пожертвований в помощь пострадавшим 9 января и их семьям [63].

12 января 1905 г. Горький был заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости «по обвинению в государственном преступлении». В России и за границей развернулась беспримерная по своим масштабам кампания за освобождение Горького, поддержанная самыми широкими общественными кругами. В статье «Тренов хозяйничает» В. И. Ленин отмечал, в частности, что за границей «началась энергичная кампания среди образованного буржуазного общества в пользу Горького, и ходатайство пред царем об его освобождении было подписано многими выдающимися германскими учеными и писателями. Теперь к ним присоединились ученые и литераторы Австрии, Франции и Италии» [64].

Подъем революционной борьбы, последовательно сметавшей полицейские и цензурные кордоны в литературе, поднял на новую ступень всю издательскую деятельность «Знания». Спрос на знаньевские издания вырос чрезвычайно.

Из камеры одиночного заключения Горький продолжал следить за работой издательства, регулярно получая от Пятницкого информацию о всех делах и необходимые книги. 1 февраля, согласно расписке «в сдаче и принятии вещей от арестованного Пешкова», Горький получил в крепости сочинения Н. Г. Гарина-Михайловского, «Рассказы и песни» Скитальца, «Стихотворения» Бунина и три сборника товарищества «Знание» [65].

После освобождения Горького из тюрьмы передовая Россия восторженно и открыто чествовала своего писателя, выражая солидарность с его общественной позицией и его творчеством. Выпущенный под залог в 10000 рублей, которые Пятницкий внес в казну из средств «Знания», Горький выехал на Рижское взморье, а затем в Крым. Здесь, в Ялте, в начале апреля, состоялась первая после январских событий встреча Горького с Буниным.

Встречи с Горьким в Ялте вовлекли Бунина в обсуждение самых наболевших вопросов дня: об отношении к политике правительства, к продолжающейся войне, к борьбе политических партий, к литературной программе «Знания» в новых условиях и т. д. и т. п. В письме А. М. Федорову из Ялты 25 апреля 1905 г. Бунин сообщал: «Дорогой друг, я сейчас от Горького. Читали твою книгу 〈...〉 Вижусь с Горьким теперь каждый день и проводим время очень приятно. Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его „Сапсаном"»! [66]

Среди знаньевцев Бунин долго оставался литератором, наиболее далеким от политики. Однако к 1905 г. его общественный «индифферентизм» был серьезно поколеблен всем ходом русской истории. В. Н. Бунина утверждает, что 1905 год был для него полной неожиданностью, поразил его хаотичностью событий, жестокостью черносотенцев и упорством революционеров. Сам Бунин, по ее мнению, остался за чертой событий [67]. Верно, конечно, что к событиям революции он отнесся гораздо более сдержанно, чем другие знаньевцы — Л. Андреев, Скиталец, Куприн, не говоря уже о Горьком или Серафимовиче. Но эта сдержанность не исключала ни глубокого переживания событий, ни определенного — в первую очередь литературного — участия в них.

Революция не была совершенной неожиданностью для Бунина хотя бы потому, что он отлично знал положение русской деревни, давно чреватое социальными потрясениями и конфликтами. Остроту аграрного вопроса — главного в революции 1905 г.— Бунин представлял себе достаточно отчетливо. Об этом объективно свидетельствует

его проза начала 1900-х годов. Оказавшись в сфере непосредственного идейного воздействия Горького, вовлеченный в его литературные планы, Бунин так или иначе должен был определить свое отношение к происходящему. Как писатель он занял место на фланге прогрессивно-демократических литературных сил.

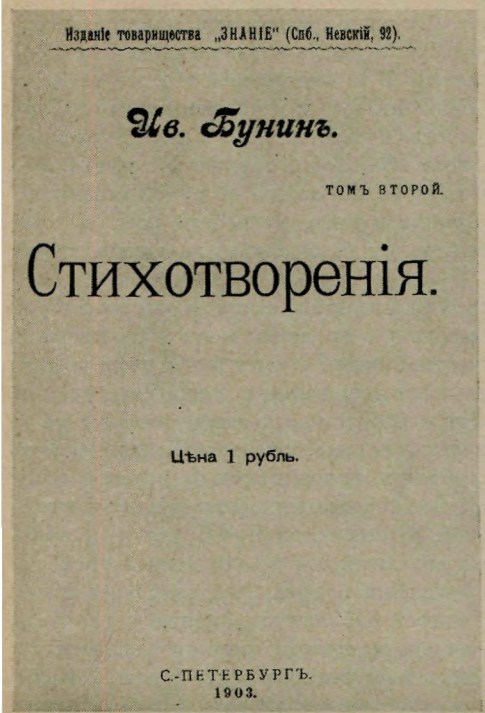
Во время революции 1905—1907 гг. Бунин принял деятельное участие в литературных начинаниях, откровенно оппозиционных существующему режиму. Инициатором этих начинаний по большей части был Горький. Летом 1905 г. у него возник замысел издания сатирического журнала «Жупел», наподобие знаменитого немецкого «Симплициссимуса». Вокруг нового журнала Горький решил объединить большую группу художников и литераторов — в первую очередь своих ближайших сотрудников по «Знанию». Организационное собрание участников будущего журнала состоялось 10 июля на даче Горького в Куоккале. Судя по сохранившимся материалам, Бунин живо откликнулся на предложение и специально приехал из Москвы, чтобы принять участие в собрании. Неделю спустя в письме к Федорову Бунин поделился своими впечатлениями о встрече в Куоккале: «Я молчал потому, что был в разъездах,— писал он.— Был в Москве, в Финляндии. Горький вызывал меня на совещание о новом журнале типа „Симплициссимуса". Выйдет ли это дело — не знаю, но совещание было любопытное. Было очень много художников, и между ними знаменитые финляндцы — Галлен, Эрнефельд, Саарен, а из русских — Серов, Билибин, Грабарь и т. д. Видел Елпатьевского, Скитальца, Андреева» [68].

Первый номер сатирического журнала «Жупел» вышел в свет при самой деятельной поддержке Горького в начале декабря 1905 г., накануне Московского вооруженного восстания. В нем среди других материалов было напечатано стихотворение Бунина «Ормузд».

Революционные события конца 1905 г. оставили особенно глубокий след в сознании Бунина. Известие о всеобщей октябрьской забастовке он получил в Ялте, в доме Чехова. Оттуда Бунин сразу же уехал в Одессу, где события приняли весьма драматичный характер. Революционные демонстрации в Одессе сменялись черносотенными манифестациями и погромами. На улицах начались вооруженные столкновения. С негодованием встретил Бунин погромные статьи, печатавшиеся в те дни «Ведомостями Одесского градоначальства». Попустительство властей беснованиям «черной сотни» вызвало вполне определенную реакцию с его стороны. «По Троицкой,— писал он 22 октября,— только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, „ура", затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки— и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь... Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим» [69].

Из Одессы Бунин выехал в Москву, где провел ноябрь и почти весь декабрь 1905 г., попав из огня в самое полымя общероссийских событий. Москва готовилась к баррикадным боям. На улицах Москвы избивали студентов. Охранка раздала главарям черносотенных групп адреса политических заключенных, выпущенных из тюрем, предполагая устроить погромы по квартирам. «Черная сотня» выносила «смертные приговоры», угрожая физической расправой наиболее известным революционерам. Среди них назывался и Горький. Созданные в Москве боевые рабочие дружины взяли под защиту людей, которым угрожала опасность. Горького охраняла кавказская боевая дружина в составе восьми студентов Московского университета — «славные такие парни» [70]. В течение всего ноября революционная ситуация в Москве была близка к взрыву. Московская квартира Горького стала одним из явочных пунктов, где бывали десятки людей, практически готовивших вооруженное восстание [71]. В канун восстания, как отмечает в своих воспоминаниях Ф. И. Драбкина, «на квартиру Горького приходили со всех концов Москвы по различным партийным делам. Квартира стала как бы центром связи и информации для работников Московской большевистской организации. Здесь можно было узнать последние новости (газеты тогда не выходили), встретиться с нужным человеком, связаться, с кем требовалось [72].

Наступили кульминационные дни Московского вооруженного восстания. По непосредственным, принесенным с улицы впечатлениям Горький набросал в письме к Пятницкому 10 декабря 1905 г. подробности боевых столкновений у Сандуновских


Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ" (Спб., Невскій, 92).

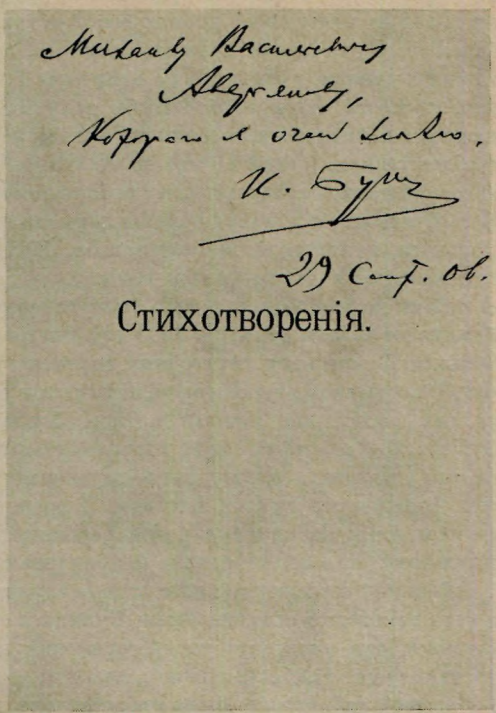
Ив. Бунинъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Стихотворенія.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1903.


Михаилу Васильевичу Аверьянову, которого я очень люблю. И. Бунин 29 сент. 06.

Стихотворенія.

**СБОРНИК БУНИНА «СТИХОТВОРЕНИЯ» (СПб., 1903), ВЫШЕДШИЙ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЗНАНИЕ»**

**С дарственной надписью: «Михаилу Васильевичу Аверьянову, которого я очень люблю. И. Бунин. 29 сент. 06»**

**Титульный лист и шмуцтитул**

**Институт русской литературы АН СССР, Ленинград**

бань, на Смоленском рынке, у Николаевского вокзала, возле гимназии Фидлера, совершенно разрушенной с фасада артиллерийскими выстрелами. Приказом адмирала Дубасова против уличных баррикад были выставлены пушки. Начались расстрелы шрапнелью мирных жителей, обстрел тяжелыми снарядами зданий, в которых засели дружинники. «Вообще,— заключал Горький,— идет бой по всей Москве! В окнах стекла гудят. Что делается в районах, на фабриках — не знаю, но отовсюду — звуки выстрелов. Победит, разумеется, начальство, но это не надолго, и какой оно превосходный дает урок публике!» [73]

В Москве Горький оставался до 13 декабря 1905 г. В этот день он должен был срочно выехать из города, так как в охранном отделении уже имелся приказ о тщательном обыске на его квартире. После ареста писателя охранка собиралась возбудить против него новое «дело» и спешно собирала «материал». Горький был вовремя предупрежден о готовящейся акции, и полиция, нагрянувшая через полчаса после его отъезда, осталась ни с чем.

В трагические декабрьские дни на квартире у Горького среди множества людей несколько раз был и Бунин. Он оставался в Москве почти весь декабрь — «пережил там и „вооруженное восстание" 〈...〉, когда Москва покрывалась баррикадами; когда было разгромлено реальное училище Фидлера, „где заседали революционеры", когда грохотали пушки и стучали пулеметы, когда зарево озаряло пресненский район,—горела шмитовская фабрика, которую отстаивали большевики. Иван Алексеевич заходил иногда к Горькому...» [74]

С начала апреля, когда Горький и Бунин в Ялте обсуждали первые события революции, прошло немногим больше полугода, но за это время Россия успела пере-

жить целую эпоху своей политической истории. Нетрудно представить, какие вопросы более всего волновали Бунина, когда он, пренебрегая опасностью хождения по московским улицам, добирался до квартиры Горького. В те дни по всей Москве не было другого места, где можно было бы получить более полную и исчерпывающую информацию о политических событиях, причем не только московских, но и петербургских, и общерусских. Бунин не мог не чувствовать всей атмосферы, царившей в доме Горького, той полной солидарности с восставшими, которой там никто не думал скрывать. В сочувственном и напряженном внимании Бунина к тому, о чем шла речь в доме Горького, не приходится сомневаться. Иначе незачем было бы туда ходить через содрогавшуюся от выстрелов Москву.

Если до революции можно было говорить о политической вялости, отрешенности Бунина от «злобы дня», то 1905 год многое изменил и прояснил в его общественной позиции. Знаки этих внутренних перемен отчетливо видны в бунинской прозе и поэзии. Поэтическое одушевление, вызванное размахом революции и захватившее таких разных поэтов, как Брюсов и Блок, Бальмонт и Скиталец, по-своему коснулось и Бунина. Оно нашло выход не в прямой политической лирике, к которой Бунин никогда не был склонен, а в разработке героических образов, почерпнутых из древней истории, Библии, мифологии Востока. В грандиозных потрясениях, испытанных человечеством, в крушении и смене целых цивилизаций, Бунин искал прообразы и соответствия тому, что одновременно и привлекало и страшило его в современной эпохе.

Горький несомненно ценил «новые звуки» бунинской поэзии. Он считал возможным издать некоторые стихотворения Бунина в «Дешевой библиотеке „Знания"», предназначенной для массового распространения в народе и поэтому формировавшейся из произведений, наиболее значительных по своему общественному содержанию. Поэзия в «Дешевой библиотеке» была представлена лишь отдельными, избранными образцами. Первым выпуском, открывшим в 1906 г. всю беллетристическую серию, вышла книжка стихотворений Горького. Она включала «Песню о Соколе», «Песню о Буревестнике» и «Легенду о Марко». Вслед за ней должны были выйти небольшие сборники других поэтов-знаньевцев, в частности, Бунина. «Пришлите мне стихи Бунина, я попытаюсь набрать из них книжечку»,—писал Горький Пятницкому в начале июля 1905 г. [75]

Бунин переслал Горькому необходимые материалы и предоставил ему полную свободу выбора при составлении сборника: «Изменяйте, дополняйте, сокращайте,— я вполне полагаюсь на вас» [76].

Колеблясь «относительно пригодности некоторых стихотворений для широкой публики», Бунин не желал в то же время идти по пути явного упрощения сборника: «...ведь и то нужно принять в расчет,— доказывал он Горькому,— что эти новые издания „Знания" должны до известной степени влиять на эту самую публику и с эстетической стороны. Не полезно ли было бы, если бы вы снабдили первый выпуск серии народных изданий предисловием, в котором, между прочим, было бы отмечено и это? А то критика привыкла к тенденциозности и может сильно облаять некоторые из брошюр,— конечно, и мою» [77].

В ответном письме Горький предложил сделать некоторые изменения в составе сборника, исключив «Кольцо» и «Дома» [78]. Вместо этих двух Горький предложил ввести из отмеченных Буниным стихотворений — «Последнюю грозу», «На распутье», «Под парусом», «С кургана», «Рассвет». Кроме одного стихотворения («Под парусом»), все предложенные Горьким стихи вошли в книжку Бунина. Сформированная при ближайшем и непосредственном участии Горького, она служила тем же общественно-воспитательным целям, что и вся знаньевская серия массовых изданий для народа. Открывают сборник два стихотворения на библейские темы — «День гнева» (из «Апокалипсиса») и «Самсон». В обоих стихотворениях сквозь архаику сюжета прорывается живое ощущение свершающейся социальной катастрофы.

Для читателей, уже переживших трагедию Кровавого воскресенья и бурные события 1905 г., бунинские строки, напоминавшие о возмездии Судного дня, не могли звучать нейтрально. Они были вызваны отзвуками происходящего и, в свою очередь, порождали вполне современные ассоциации. Как ни далек был Бунин от практики революционного действия, в своих стихах он отдает явное предпочтение философии борь-

бы и бесстрашия, отвергает ложную мудрость смирения, рабской покорности и страха.

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб— сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.

А трус — живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О, да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.

(1,255)

Знаменательно, что это стихотворение было напечатано в первом номере сатирического журнала «Адская почта», изданном весной 1906 г., то есть вскоре после подавления Московского вооруженного восстания. Сатирическая «соль» стихотворения — в его заглавии: оно называется «Мудрым» и звучит как прямая отповедь тем, кто осуждал последний героический акт русской революции. В этом полемическом обращении к «мудрым» нетрудно уловить отзвуки тех настроений, которые господствовали в окружении Горького во время декабрьских событий в Москве.

Героические мотивы звучат также в стихотворениях Бунина «Эсхил», «Самсон», «Ормузд», «Джордано Бруно».

Многие стихотворения, вошедшие в третий и четвертый тома сочинений Бунина, предварительно были напечатаны в сборниках «Знания». Именно здесь, в составе и контексте этих сборников, отчетливее всего выступает общественная направленность его творчества тех лет. Самому Бунину было отнюдь не безразлично, в каком окружении появлялись его стихи и проза. Он внимательно следил за тем, чтобы его произведения не выбивались из дружного концерта наиболее сильных голосов «Знания».

Горький не менее, чем Бунин, ценил его соседство по сборникам. Скоро установилась своего рода традиция, по которой почти каждая крупная вещь Горького в сборниках «Знания» сопровождалась бунинскими стихами. В начале сентября 1905 г. Горький писал Пятницкому: «Посылаю 9 стихотворений Бунина для 8-го сборника. Хорошие стихи» [79]. Когда выяснилось, что восьмой сборник выйдет без участия Горького, Бунин также отодвинул печатание своих стихов. Зато в следующем, девятом сборнике непосредственно за пьесой Горького «Варвары» была помещена большая подборка стихотворений Бунина, в их числе «Эсхил», «Каменная баба», «Айя-София», «У северных берегов Малой Азии», «Атлант», «Песня» («Я—простая девка на баштане...»), «Одиночество», «Печаль», «Детская», «Тлен» («В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...»), «Жизнь» («Набегает впотьмах...») и др. По составу этой подборки можно судить, что именно нравилось Горькому в новых бунинских стихах.

Как ни расходилось отношение Горького и Бунина к современности, самый факт их тесного сотрудничества в сборниках доказывает, что союз столь разных писателей, как Горький, Андреев, Бунин, Куприн, Вересаев, Серафимович, в эпоху первой революции имел веские основания. Годы подъема демократического движения в России были порой наибольшего успеха содружества писателей-реалистов.

После декабрьского вооруженного восстания 1905 г. и отъезда Горького за границу общие условия издательской деятельности «Знания» резко изменились. С отливом революции «Знание» вступило в полосу серьезных трудностей. Значительно усложнилась проблема отбора и редактирования произведений для сборников и отдельных изданий. Целиком взять на себя эту функцию Пятницкий не мог, регулярный же просмотр рукописей, прежде на месте осуществлявшийся Горьким, в условиях эмиграции был затруднен. Тем не менее все эти внешние препятствия удавалось преодолевать, пока не было нарушено единство основного авторского коллектива.

В 1906—1907 гг. «Знание» выпустило 12 литературных сборников, почти вдвое больше, чем за предшествующие два года. Тираж сборников несколько снизился, но продолжал держаться на уровне 30 000 — цифра огромная для того времени. «Знание»

по-прежнему широко издавало беллетристику и общественно-политическую литературу, сохраняя свое влияние на книжном рынке.

Однако при всем этом размахе в работе издательства обозначились явственные черты кризиса. Начавшаяся идеологическая реакция захватила творчество большинства писателей-знаньевцев — Андреева, Куприна, Скитальца, Чирикова, Юшкевича, Айзмана и др. В их произведениях появляются мотивы философской безысходности, ослабевает сила социальной критики и протеста, ревизуются революционные настроения и идеи. Одновременно они отходят от реализма, в их творчестве усиливаются колебания между отвлеченно-символическим и грубо-натуралистическим подходом к человеку. Общий смысл литературного поворота состоял прежде всего в отказе от общественных и демократических целей, которым служила русская классическая литература, замене их индивидуалистическими концепциями художественного творчества.

Распад старого «знаньевского» ядра произошел при усиленном идеологическом давлении со стороны буржуазно-модернистских групп и течений, на разные голоса хоронивших русскую революцию. Эта тягостная атмосфера опустошенности и отчаяния, равнодушия и ренегатства самым непосредственным образом повлияла на отношения Горького со многими близкими ему литераторами. В конце сентября 1908 г. Горький писал Пятницкому: «Народ наш воистину проснулся, но пророки ушли по кабакам, по бардакам 〈...〉 Мои бывшие товарищи: Андреевы, Куприны, Чириковы — это люди, за которых до отчаяния стыдно мне. „Семь повешенных"! „Суламифь"! Кошки! И отвратительная, унижающая жадность к деньгам у всех. Все это мучает меня, разрывает на части. Я начал писать ряд резких статей в форме открытых писем к литераторам — мне хотелось указать им на требования момента, на их обязанности. Но — куда писать? Кому?» [80]

Из прежнего коллектива «Знания» не осталось почти никого, кто мог бы принять участие в необходимой перегруппировке сил, отвечавшей условиям нового исторического момента. Л. Андреев прочно обосновался в «Шиповнике», где его «Тьма» появилась в одном альманахе с началом полупорнографического романа Ф. Сологуба «Навьи чары». Куприн, опубликовавший в «Знании» самую значительную свою повесть «Поединок», после революции разошелся с Горьким и порвал с горьковским издательством [81]. Вместе с Айзманом и Арцыбашевым он возглавил альманах «Жизнь», сосредоточивший усилия своих ведущих авторов на разрешении модной «проблемы пола».

Даже то, что Пятницкий печатал в сборниках «Знания», все меньше удовлетворяло Горького. Он резко критиковал пьесу Юшкевича «Голод», драматическую фантазию Чирикова «Легенда старого замка» и некоторые другие произведения. По поводу драмы Чирикова Горький в письме к автору ясно выразил свое отношение к наступающей литературной реакции и идейному разброду внутри «Знания»: «У меня странное впечатление вызывает современная литература, только Бунин верен себе, все же остальные пришли в какой-то дикий раж и, видимо, не отдают себе отчета в делах своих. Чувствуется чье-то чужое — злое, вредное, искажающее людей влияние, и порою кажется, что оно сознательно враждебно всем вам — тебе, Серафимовичу, Юшкевичу и т. д. 〈...〉 И когда видишь эту хитрую, трусливую работу больного животного, которому ничего, кроме покоя, не надо,— становится непонятна роль той группы писателей, которая в трудное время дружно будила мысль демократической массы, а ныне спокойно смотрит, как эту мысль отравляют, да и сама неясно видит задачи момента, как мне кажется» [82].

Очень точно определив причины своего расхождения со многими из старых сотрудников «Знания», Горький выделил из их числа Бунина как писателя, оставшегося «верным себе». В пору всенародного демократического подъема политическая умеренность Бунина ощущалась Горьким как очевидная слабость его общественной позиции. Зато, когда революция 1905 г. потерпела поражение и общий энтузиазм сменился общим унынием, Бунин не испытал такого же резкого и разрушительного кризиса буржуазно-демократических иллюзий, какой пережили Леонид Андреев и некоторые другие активные участники горьковской группы. Бунин оказался в стороне от настроений отступничества, крайнего индивидуализма, истерических покаяний, на кото-

рые небывало вырос спрос в современной беллетристике. Сохраняя свое лицо, Бунин остался верен традициям реализма и классической культуры, что в условиях тяжелой общественно-политической реакции воспринималось как безусловно сильная сторона его писательской позиции.

Осенью 1907 г. в момент повального перехода основных авторов «Знания» в «Шиповник» и другие издания, Бунин также был близок к разрыву с горьковским издательством. Его крайне беспокоила неопределенность создавшегося положения, раздражали длительные задержки ответов, организационные и материальные неполадки, тормозившие некогда слаженную и бесперебойную работу «Знания». Но прежде чем сделать решительный шаг, Бунин выдвинул условия, при которых его отношения с «Знанием» могли сохраниться впредь. Требования Бунина были приняты. От перехода в «Шиповник» он отказался. При достаточно благоприятных материальных условиях Бунин предпочел остаться в издательстве, с которым его крепко связывала и определенная общественная репутация и плодотворный опыт пятилетнего сотрудничества [83].

Оставшись в «Знании», Бунин приступил к подготовке намеченных к изданию книг и продолжил литературное сотрудничество в сборниках. С выпуском четвертого тома (СПб., 1908) Бунин осуществил свое давнее желание собрать вместе переводы, сделанные им после завершения работы над «Песней о Гайавате». В начале 1909 г. вышли в свет новое издание второго тома собрания сочинений Бунина («Стихотворения 1889—1902 гг.») и пятый том — «Рассказы». Это были последние тома его сочинений, изданные «Знанием».

Вернувшись после заграничного путешествия, Бунин застал «Знание» в глубоком кризисе. 26 августа 1909 г. он запрашивал Горького: «... как дела с книгоиздательством? О Пятницком вы ни слова,— верно и не был? И нету-то ни слуху, ни духу о „Знании"! А какое колесо-то было заведено!» [84] Осенью того же года, после приезда Пятницкого на Капри, решено было выпустить еще несколько сборников. Дальнейшая же судьба «Знания» оставалась неясной. Узнав о подготовке очередного сборника, Бунин немедленно отправил в «Знание» несколько своих произведений. 22 сентября 1909 г. он сообщил Боголюбову: «Посылаю одновременно и на Капри и вам 8 стихотворений и рассказ (около 23 тысяч букв) для сборника, где будет „Лето"» [85].

Выпущенный в конце года 27-й сборник «Знания» включал повесть Горького «Лето», повесть Ф. Крюкова «Зыбь», рассказ И. Касаткина «В уезде». Бунин был представлен рассказом «Беден бес» (позднее: «Птицы небесные») и стихотворением «Сенокос». Все произведения сборника с разных сторон рисовали положение современной деревни — нищей, дикой, ограбленной, не разрешившей ни одного из тех противоречий, которые привели Россию в 1905 г. к революции.

Хотя работа издательства возобновилась, «Знание» вступило в полосу медленной агонии, затянувшейся на несколько лет. Тяжело переживая упадок «Знания», Бунин силою обстоятельств был вынужден искать новые возможности для издания своих книг. Шестой том сочинений, составленный из стихотворений и рассказов 1907—1908 гг., Бунин впервые за много лет отдал не «Знанию», а петербургскому издательству «Общественная польза». Этот том, которым завершается «знаньевский» период творчества Бунина, вышел в свет в 1910 г. В феврале того же года, закончив первую часть повести «Деревня», Бунин передал ее в журнал «Современный мир», а не в сборники «Знания», как прежде. По этому поводу он писал Горькому 11 февраля 1910 г.: «За маленькую измену „Знанию" не сердитесь. И повесть я отдал „Современному миру", и VI том (состоящий из стихов и рассказов) продал „Общественной пользе" потому только, что Константин Петрович не отвечает мне по полугоду» [86].

Проникшие в печать слухи об уходе Бунина из «Знания» сам он решительно опроверг в одном из своих интервью: «Слухи эти совершенно не основательны. Поводом для них послужило то обстоятельство, что 6-й том моих произведений выходит в издательстве не „Знания", а „Общественной пользы". Это действительно так, но из „Знания" я не ушел и уходить не думаю» [87]. Формально со «Знанием» Бунин не порывал, и судьба издательства по-прежнему волновала его. Из писем Бунина к Горькому не исчезают

настойчивые вопросы: «Если что определится,— напишите, пожалуйста, очень меня все-таки огорчает судьба „Знания". Да и вам нужен покой, хороший рабочий покой. Дай бог его вам, желаю вам всех благ с истинно братским чувством!» [88]

На «знаньевские» годы падает полоса наиболее плодотворных отношений Горького и Бунина. Горький по достоинству оценил стойкость литературной позиции Бунина, не поддавшегося влиянию модных буржуазных течений в искусстве. После революции 1905 г. он сближается с Буниным, искренно радуется стремительному росту его таланта, все выше оценивает его работу — прозаика и поэта. Можно с уверенностью сказать, что вне «Знания», вне активного и непосредственного воздействия горьковских идей и взглядов, дореволюционное творчество Бунина не достигло бы той социальной значимости, той силы и глубины реализма, которые выдвинули автора «Деревни» в число наиболее крупных русских писателей предоктябрьской эпохи. Точно так же без Бунина, без его постоянного сотрудничества лагерь прогрессивных писательских сил, собранных Горьким вокруг «Знания», лишился бы одной из наиболее ярких своих фигур, а вместе с тем и доли той популярности, которую приобрело «Знание» в годы своего расцвета.

## 4

Первая буржуазно-демократическая революция в России существенно обострила социальное зрение Бунина — не в том смысле, что он проникся особым сочувствием к ее авангарду, нет,— революция 1905—1907 гг. дала ему возможность лучше оценить реальную историческую ситуацию, понять глубину кризиса, назревшего в недрах русского общества. Даже такой проницательный критик, как В. В. Воровский, при появлении «Деревни» не мог скрыть своего удивления «неожиданностью» поворота Бунина к самым наболевшим проблемам современности.

«Всякому известно также,— писал Воровский,— что в смысле общественных настроений Бунин, хотя внешним образом связан был с „прогрессивной группой" М. Горького, внутренне все же стоял от этой группы особо, одиноко, не подходя к ней ни по своему аполитическому мировоззрению, ни по своим несколько барским вкусам. Тем интереснее посмотреть, какою кажется деревня в наши дни „поэту мирному", чуждому политических интересов, партий, программ, но чуткому, наблюдательному, а главное, искреннему» [89].

За Буниным стойко держалась репутация поэта несколько «не от мира сего». Однако эта репутация, созданная не без его собственного участия, далеко не исчерпывала действительной сложности его интеллектуального и творческого облика. «Деревня» явилась ее первым серьезным опровержением. Затем последовали другие, не менее значительные. Этот важнейший момент творческого возмужания Бунина был подготовлен и всем его предшествующим творчеством и в особенности характером исторической ситуации, возникшей в России после поражения революции 1905 г., сложным и противоречивым движением общественной мысли того времени.

Сам Бунин отчетливо сознавал и откровенно указывал на перемещения идейных ориентиров, которые привели его к «Деревне» и примыкающим к ней произведениям. В интервью перед 25-летним юбилеем своей писательской деятельности Бунин достаточно точно определил основные этапы общественно-литературной эволюции, пройденные им за четверть века: «Пережил я очень долгое народничество, затем толстовство; теперь тяготею больше всего к социал-демократии, хотя сторонюсь всякой партийности ⟨...⟩ Какое из своих произведений я считаю наиболее удавшимся? На этот вопрос трудно ответить. Из всех написанных мною книг я все-таки считаю наиболее удачными „Деревню", „Суходол" (сборник повестей и рассказов 1911—1912 гг.). Затем некоторые стихотворения последнего периода и прозаические поэмы моих странствований — „Тень птицы", „Иудея", „Пустыня дьявола"» [90].

Это признание весьма существенно. Прежде всего оно лишний раз доказывает, что Бунин развивался не в отрыве от важнейших идейных течений своего времени, что в разные годы ему приходилось так или иначе определять к ним свое внутреннее отношение.

О влиянии на Бунина народничества достаточно хорошо известно. Это влияние он испытал еще в юности, оно шло, в частности, от старшего брата Юлия Алексеевича. В середине 1890-х годов он познакомился с главными представителями тогдашнего народничества в литературе, много печатался в их журналах («Русское богатство», «Новое слово» и др.), мотивы поздне-народнической беллетристики по-своему отозвались в его ранних стихах и рассказах. Более кратковременным, но зато и более сильным было увлечение Бунина толстовством. Речь идет именно о толстовстве как нравственно-религиозном учении, а не о художественном творчестве Льва Толстого, перед которым Бунин преклонялся до конца своих дней. К началу 1900-х годов он уже пережил это увлечение, подробно описанное им позднее в книге «Освобождение Толстого».

Недостаточно ясным остается содержание слов Бунина о его «тяготении» к социал-демократии — имеется в виду, конечно, русский ее образец. Высказывалось мнение, что эти слова следует понимать лишь как признание факта дружеского расположения к Горькому — не больше того. Именно так рассматривал эту проблему А. Твардовский в статье «О Бунине» — превосходной в целом работе, относящейся к лучшему из того, что когда-либо писалось о Бунине как талантливейшем художнике русском [91]. При всей неожиданности заявления Бунина о его тяготении к социал-демократии в 1910-е годы, есть серьезные основания считать, что в данном случае Бунин указывает не на свои личные связи, а имеет в виду вполне определенное идейное течение, с которым его сближали некоторые объективные моменты.

По многим причинам Бунин терпеть не мог русского буржуа, этого новоявленного «князя во князьях», который поднялся из грязи и быстро набирал силу после отмены в России крепостного права. У него были свои счеты с оборотистыми перекупщиками барской земли и торговцами, теснившими и безземельных крестьян, и захудалых помещиков, мучительно переживавших разрушение и гибель многовекового патриархального уклада. В развенчании нового хозяина пореформенной эпохи — грязного и некультурного «первонакопителя» — Бунин настойчиво искал литературных союзников. Как народничество, так и толстовство не могли удовлетворить его после 1905 г., поскольку ни то, ни другое течение не хотело признавать наличия реальной почвы для развития буржуазных отношений в России. Проклиная капитализм, и народники и Толстой не желали признать, что он растет и в мужицкой деревне, которую они по-своему идеализировали и боготворили.

Только социал-демократия оказалась способной развенчать эти иллюзии и теоретически обосновать неизбежность тех процессов социального расслоения русской деревни, которые прекрасно изображал, пером художника, Бунин. В главном идейном споре эпохи — споре о крестьянстве между народничеством и марксизмом — симпатии Бунина склонялись к социал-демократии, ибо он меньше всего был расположен идеализировать в народническом духе «социалистическую природу» мужика и закрывать глаза на развитие буржуазных отношений в деревне. После революции 1905 г., когда крестьянское движение на практике обнаружило свою истинную природу, дух трезвого социального анализа действительности оказался гораздо ближе Бунину, чем народнический сентиментализм.

Разумеется, эти сближения *отнюдь не означают*, что Бунин в своих общественных, идейно-политических устремлениях проникся социал-демократическими взглядами. Он брал из них лишь то, что внутренне соответствовало его собственному миросозерцанию, не приемля ни исходных философских посылок, ни конечных политических целей, ни общей системы социал-демократической идеологии как целого. В марксизме Бунину была совершенно чужда революционность этого учения. Сознание противоположности интересов крестьян и помещиков Бунин никогда не доводил до оправдания революционного движения народных масс. Напротив, он был принципиальным противником всякого революционного действия, рассматривая его как темный крестьянский бунт.

Личные человеческие симпатии Бунина к угнетенному и обездоленному крестьянству не шли дальше либеральной черты. По своей политической умеренности Бунин был близок к той группе буржуазной интеллигенции, которая, по словам В. И. Ленина,

«качается между к.-д. и с.-д., не входит (большей частью) ни в какую партию и систематически тянет в либеральной прессе ноту чуточку правее Плеханова» [92].

В аграрном вопросе — самом остром вопросе революции, к которому Бунин проявлял напряженный личный интерес,— он постоянно колебался между точкой зрения кадетов и социал-демократов. Бунин приближался к социал-демократам, когда рассматривал отношения между беднейшим крестьянством и кулачеством, и склонялся к кадетам, когда перед ним вставал вопрос о судьбе помещиков. Вместе с социал-демократами он различал буржуазный характер крестьянского движения и фактически развенчивал квази-социалистические иллюзии народников. Вместе с кадетами он отрицательно относился к крестьянскому революционному демократизму и молчаливо предполагал сохранение помещичьего землевладения.

Своим заявлением-оговоркой («хотя сторонюсь всякой партийности») Бунин сам подчеркнул, что в социал-демократии его меньше всего привлекала революционная сторона движения, размежевание фракций, партий, программы и т. д. Его «тяготение» к социал-демократии находит свое объяснение главным образом в критике общего врага — буржуазии, хотя эта критика и велась с совершенно различных общественно-исторических позиций.

Первая русская революция усилила антибуржуазные тенденции творчества Бунина. С сознанием превосходства, которое поддерживалось чувством наследственного и духовного аристократизма, неизменно присущего Бунину, он высмеивал русского буржуа, причем не только в его азиатском обличье, но и в европейской личине, которую уже успела приобрести более «культурная» и «просвещенная» часть нового правящего класса, державшего в своих руках почти всю кадетскую печать, занявшего авансцену III Государственной Думы, имевшего своих идеологов в новейших течениях русской литературы и общественной мысли. Этим объясняется в известной мере и резкая неприязнь, с какой Бунин относился ко всему комплексу либерально-буржуазных идей в философии, публицистике, искусстве, его критика модернизма и декадентства, в которых буржуазно-индивидуалистическая концепция человека получила свое наиболее законченное воплощение.

Бунин публично протестовал против «тех течений в литературе, которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать полную разнузданность все себе позволяющей личности, прославлять под видом утонченности самый простой и старый, как мир, разврат, искоренить идеи общественности, разрушить веру в силу разума и нагонять мистические туманы, шаткие метафизические построения, часто нарочито сочиненные, собственного изделия и весьма слабо продуманные, прославлять смерть, квиетизм и даже самоубийство» (настоящ. том, кн. 1, стр. 319).

Претензии нового класса, нового хозяина — буржуа — на экономическую и духовную гегемонию в русской жизни вызывают с его стороны все более резкую неприязнь. Власть денег и капитала, с утроенной силой рушивших после революции остатки патриархальных отношений в России, Бунин оценивает как власть губительную, не имеющую никакого культурно-исторического и нравственного оправдания. Политический и духовный кризис буржуазной мысли после поражения революции Бунин склонен был рассматривать как прямую угрозу русской национальной культуре, с которой он был связан кровными узами.

В годы столыпинской реакции, когда рабочее и крестьянское движение пошло на убыль и перспектива революционного свержения старого самодержавно-крепостнического строя отодвинулась на целое десятилетие, критика утвердившихся буржуазных отношений в деревне, а в конечном счете и всей буржуазной цивилизации, приобрела для Бунина наибольшую актуальность. В это время он и обращает свои взоры в сторону социал-демократии. Новое общественное тяготение закономерно привело Бунина к более тесной, чем прежде, близости с Горьким. Их интересы перекрещиваются на самых главных проблемах современного литературного движения. И подробности личного общения Бунина и Горького этой поры, и объективное соотношение их произведений образуют сложный «узел» в творческой эволюции обоих писателей, равно как и в развитии русского реализма между 1905 и 1917 гг.

ДЕРЕВНЯ
Фотография М. П. Дмитриева, 1890-е годы
Музей А. М. Горького, Москва

«Деревня» Бунина возникла как художественное обобщение большого национального масштаба. Бунин стремился вложить в повесть все свое знание русской деревни, ее быта, истории, человеческих типов, народного языка. Разрозненные звенья национально-исторической концепции, намечавшейся в ранних бунинских рассказах, должны были получить в «Деревне» общую связь, единство, внутреннюю последовательность. Мимо сознания Бунина не прошли всколыхнувшие всю страну бурные дебаты по крестьянскому вопросу в двух Государственных Думах, страстная полемика в литературе и публицистике об исторической «загадке» русского мужика, давние споры о «толстовщине», с новой силой вспыхнувшие в 1908 г. в связи с 80-летним юбилеем Толстого. Вся совокупность литературно-общественных и биографических обстоятельств побуждала Бунина к новой исторической постановке вопроса о деревне и шире—о России.

В марте 1909 г. Бунин вместе с женой впервые посетил Горького на острове Капри — они задержались там почти на месяц, до середины апреля того же года. В работе Горького этот момент был переломным. Он только что кончил писать «Лето» и обдумывал планы «окуровского» цикла. Обсуждение литературных новостей и проблем оказалось важнейшей темой общих бесед.

Разговоры на Капри много раз возвращались к близкой Бунину теме — отношению современной литературы к народу, к мужику. Эта тема не сходила со страниц русской периодики и литературных изданий. Полемика о деревне, о крестьянской революции в России достигла высокой степени накала, и Горький с присущим ему темпераментом включился в спор. Он настойчиво ставил вопрос об отношении литературы к народу в своей публицистике («Разрушение личности»), разрабатывал его в прозе («Лето», «Городок Окуров»), рассматривал в каприйском курсе лекций («История русской литературы»), обсуждал в обширнейшей переписке тех лет.

Встреча с Буниным давала возможность обсудить всю проблему, тем более, что его слово по поводу изображения мужика в современной литературе имело особый вес. В свое время Горькому очень нравились «черноземные» бунинские рассказы («Золотое

дно», «Сны»). Горький не сомневался, что после Толстого мало кто среди современных писателей знал деревню лучше, чем Бунин. К тому же Бунин имел возможность непосредственно наблюдать за событиями в деревне последних лет и, следовательно, мог судить о них не понаслышке, а как живой очевидец.

Так или иначе, после свидания с Горьким на Капри Бунин обосновался на летние месяцы в деревне и «кинулся» писать, а к концу сентября 1909 г. у него вчерне была готова первая часть повести. О замысле своего нового произведения Бунин впервые упомянул в письме к Горькому 22 сентября: «Работать и мне ужасно хочется. И все это время строчил я что ни есть духу. Вернулся к тому, к чему вы советовали вернуться,— к повести о деревне. ⟨...⟩ Вчера остановился, написав около трех журнальных листов (всего, верно, будет семь), и так устал, что не спал почти всю ночь и руки трясутся. И теперь старичок ваш особенно задевает меня. Ах, эта самая Русь и ее история! Как это не поговорили мы с вами вплотную обо всем этом! Горько жалею»[93].

Среди основных, достаточно глубоких и давних стимулов, побудивших Бунина взяться за «Деревню», было таким образом и сравнительно свежее литературное впечатление, которое «задевало» его и как-то соотносилось с замыслом новой повести. Это впечатление имело определенный источник — один из центральных эпизодов повести Горького «Исповедь», хорошо знакомой Бунину. О своем отношении к «Исповеди» Бунин имел возможность сказать Горькому при личной встрече на Капри и, несомненно, эту тему он затронул в своем письме. В середине 1909 г. Горький еще оставался под впечатлением критики «Исповеди» в марксистских кругах и в несохранившемся письме к Бунину он посетовал, что в его повести «пострадала классовая точка зрения». Бунин по-своему откликнулся на это признание. «Радуюсь,— отвечал он Горькому,— что пострадала „классовая точка зрения" — пусть она и еще не раз пострадает»[94].

Можно предполагать, что Бунина в «Исповеди» заинтересовала не столько философия «богостроительства», которую он ни в чем не разделял, сколько собственно художественная проблематика, народные типы и народный язык, которые он находил достойными крупного таланта, находящегося в полном расцвете сил. В интервью 16 декабря 1910 г. Бунин высказал этот взгляд на повесть Горького (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 368).

В горьковской «Исповеди» Бунина особенно задевал спор о народе и о Руси, возникший между «старичком», попом-расстригой Ионой, и «богоискателем» Матвеем во время их странствий по родной земле. Взыскующий истины Матвей уязвляет «старичка» нарочитыми словами о том, что народ «грязен телом и мыслями, нищ умом и хлебом, за копейку душу продаст...» Старик Иона в ответ разражается гневной и страстной отповедью: «Что ты знаешь о народе? Ты, слепой дурак, историю знаешь? Ты вот почитай-ка это житие, иже — выше всех! — во святых отца нашего великомученика-народа! Тогда, может, на счастие свое, поймешь, кто пред тобой, какая сила растет вокруг тебя, бесприютного нищего на чужой земле! Знаешь ты, что такое Русь? И что есть Греция, сиречь Эллада, а также —Рим? Знаешь, чьею волею и духом все государства строились? На чьих костях храмы стоят? Чьим языком говорят все мудрецы? Все, что есть на земле и в памяти твоей, все народом создано, а белая эта кость только *шлифовала* работу его...»

Развивая далее свою мысль, Иона обращается к историческому прошлому русского народа; в своих рассказах он дошел до распада Киевской Руси, продолжал о Суздальской земле, а кончил Смутным временем, когда церковь «воздвигла гонения на скоморохов, веселых людей, которые будили память народа и шутками своими сеяли правду в нем».

Взгляд на Русь и ее историю, развитый Ионой, не на шутку задел Бунина. Все вопросы, поставленные «старичком», сохраняли для автора «Деревни» свою злободневность: что такое Русь, на чьих костях храмы стоят? чем душа народа жива и как он бога искал? каковы «князья» и каковы «мужики» в русской истории? По этим и многим другим вопросам у Бунина была собственная точка зрения, и, как художник, он готовился дать свои ответы, оспаривая историческую и поэтическую концепцию «Исповеди» Горького[95].

По возвращении в Россию Бунин долго находился под впечатлением встречи и бесед с Горьким. Он оценил глубину исторической концепции «окуровских» повестей; одну из них (вероятнее всего, «Большую любовь») Горький собирался посвятить Бунину. «Очень тронут вашим намерением,— писал Бунин 22 сентября 1909 г.,— это для меня большая честь, не говоря уже о том, что твердо верю, что задуманное вами будет вашей чудесной песнью. И взволновали вы меня. Нет, это вдохновение, только вдохновение,— дрожь жизни, земли, которая отзывается в большом живом сердце и издалека заражает и радует,— особенно теперь, среди мертвой дрожи кинематографа российской литературы» [96]. Бунина волновала неподдельная увлеченность, глубина и оригинальность мысли, отличавшие рассказы Горького, особенно, когда он говорил о дорогих его сердцу вещах. Собственная мысль бунинской «Деревни» формировалась и в живом творческом контакте с некоторыми идеями Горького, и в очевидной полемике с его прогнозами скорого «воскресения» отсталой Руси (повести «Исповедь», «Лето» и др.).

Когда достаточно прояснилась историческая концепция современной повести о деревне, работа Бунина пошла с возрастающей быстротой. 11 февраля 1910 г. он сообщал Горькому: «... вы и представить себе не можете, как зверски работал я и как мотался! ⟨...⟩ кончал, отделывал первую часть своей „Деревни“. Вчера отослал ее— в „Современный мир“. Будет она в мартовской книге, а вторая — в апреле и мае,— если только успею» [97]. Продолжения «Деревни» в апрельском и майском номерах журнала не последовало, и печатание второй части по желанию автора было перенесено на осень 1910 г. После напряженных зимних месяцев Бунин так устал, что решил прервать работу над повестью и отправиться сначала в Одессу, а оттуда в путешествие по Европе. «Хочется мне на Капри — ужасно,— писал он Горькому в том же письме,— хочется очень поговорить с вами о ваших последних вещах, но удастся ли — и не ведаю» [98].

Не меньше, чем о последних произведениях Горького, Бунину хотелось поговорить о своей «Деревне». Еще до опубликования повести в мартовской книге журнала Бунин читал главы из нее на заседаниях «молодой» «Среды». Толки о новом произведении успели проникнуть в печать. В одной из газетных заметок, в частности, говорилось, что последнее произведение Бунина «выразительно окрашено с идейной стороны и, вероятно, вызовет разговоры и полемику справа и слева» [99]. 2 марта московская газета «Утро России» поместила статью, в которой была сделана попытка критического истолкования повести [100]. Статья эта задела и раздосадовала Бунина неосновательностью некоторых суждений. По приезде в Одессу он выступил с возражениями, разъяснив попутно в беседе с корреспондентом «Одесского листка» свои действительные намерения. «Мне кажется,— заключал Бунин,—что повесть моя написана очень просто, очень объективно, очень реально, и заблуждение автора мне, признаюсь, непонятно» [101].

Со стороны Горького Бунин мог рассчитывать на несравненно более глубокое понимание. Он появился на Капри в конце апреля 1910 г. после небольшого путешествия по Северной Африке и Италии. Мартовская книжка «Современного мира» с первой частью «Деревни» к тому времени была уже не только получена, но и прочитана Горьким. Бунин пробыл на Капри две недели и имел полную возможность обсудить с Горьким все занимавшие их вопросы. О характере бесед между ними можно отчасти судить по краткому интервью, которое Бунин дал в Одессе после возвращения из Италии. Это интервью подтверждает, что беседы с Горьким касались злободневных вопросов общественной, политической и литературной жизни России [102].

Еще до того, как критика успела определить отношение к «Деревне» как замечательному явлению текущего литературного сезона, Горький высказал Бунину лично свои впечатления по поводу первой части повести. Впечатления эти были более чем благоприятны, во всяком случае, после отъезда Бунина Горький пожелал ему вдогонку в своем письме: «Будьте здоровы, кончайте „Деревню“ так же твердо и хорошо, как начали и — да будет вам легко и свободно, дорогой друг!» [103]

После встречи на Капри Бунин вернулся в Россию с возросшей уверенностью в значении своего труда. Лето после заграничного путешествия он провел в разъездах, пережил болезнь и смерть матери, был в Москве, где задержался дольше, чем предполагал,

а потом обосновался в деревне. «Кончилось все это прежней обителью,—сообщал он 15 июня Горькому из деревни,— но надолго ли? По всей России — холера, льют ледяные дожди. А уж какая всюду тишь да гладь — и сказать невозможно!» [104] Отзвуки последних российских впечатлений, тяжелых и сумрачных, несомненно, ощущаются в заключительной части повести.

Продолжение «Деревни» появилось в десятой книжке «Современного мира», и в конце октября 1910 г. Горький уже высказал Бунину свои впечатления о второй части повести: «Возвратясь домой, читал „Деревню". Читал и говорю старым словом Стасова — „тузовая" вещь. Хорошо. Строго, честно и — красиво! ⟨...⟩ И множество достоинств вижу в повести этой, волнует она меня — до глубин души. Почти на каждой странице есть нечто так близкое, столь русское — слов не нахожу достойных! Хороших кровей писатель Иван Бунин и — должен он беречь себя» [105].

За бунинской «Деревней» стояла большая традиция русской литературы, высочайший уровень национальной художественной культуры слова, и эта родословная отчетливо проявилась в общем строе и стиле повести, ее образной концепции и языке.

Первая часть повести являет собой деревню, воспринятую глазами ее нового хозяина — жадного, хищного, грязного, первобытно-некультурного. Бунин не зря протестовал против отождествления Тихона Красова с Лопахиным из «Вишневого сада», подчеркивая, что Лопахин — купец, а Красов — мужик, хотя оба героя выступают в сходной роли перекупщиков запустевшей дворянской усадьбы. Выделяясь среди односельчан своей безжалостной хваткой, расчетливостью, хозяйской удачливостью, Тихон Красов во всем прочем остается истинным сыном Дурновки, таким же темным русским мужиком, живущим той же грязной, обыденной, тоскливой жизнью, как все остальные. И в нравственном отношении он не выше и не ниже прочих односельчан. Его психология для Бунина— не исключение, а правило, то есть нечто характерное, типичное для изображаемой деревенской среды.

Русская тоска Тихона, как уточнил сам Бунин, вызвана не случайными, не личными причинами. Истоки ее — в тоскливости обыденной жизни, в тяжелой власти обычаев и привычек, укоренившихся в дурновском быту. Густой подбор бытовых и хозяйственных подробностей, развернутых в повести, создает исчерпывающее представление о среде, окружающей героя. Домашний быт и хозяйство Тихона, его поездки на ярмарку, торговая лавка и скотный двор описаны Буниным с величайшей точностью, обстоятельностью, с ощущением места каждой детали, выявляющей черты глубокой отсталости всего деревенского уклада. Чрезмерную насыщенность бытового рисунка Горький считал едва ли не единственным недостатком «Деревни» среди множества ее достоинств: «Если надобно говорить о недостатке повести — о недостатке, ибо я вижу лишь один,— недостаток этот — густо! Не краски густы — нет,—материала много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою — этнографично, местно» [106].

В страсти исследования застойного быта русской деревни Бунин порою действительно перегружал свои описания и картины. Однако в подчеркнутой «густоте», максимальной плотности бытового материала заключалась и вполне сознательная художественная цель автора. «А что густа „Деревня"—святая правда,—подтвердил Бунин, отвечая Горькому 13 ноября 1910 г. — Я ведь и сам писал вам: забил я себя в тиски!» [107] Бунин ставил своей задачей дать сжатый энциклопедический свод всего, что он мог сказать о деревне после русской литературы XIX в., и эта задача определила основные черты реализма его повести.

Наиболее серьезные затруднения при создании «Деревни» Бунин, по многим свидетельствам, испытал со второй частью повести. Первоначальный план, связанный, главным образом, с фигурой Тихона Красова, оставлял слишком тесные рамки для разросшегося и усложнившегося замысла. Идея повести требовала расширения исторической экспозиции («Ах, эта самая Русь и ее история!»), и Бунин по ходу работы осуществил трудную корректировку, переменив ведущего героя. Все события второй части «Деревни» даются глазами Кузьмы Красова, родного брата Тихона. Горький сразу почувствовал эту смену точки зрения: «Несомненно — есть разница с первой частью, кою я перечитал, конечно,— но это та разница, что в симфониях — разница темпа» [108].

Сравнение с симфонией здесь особенно уместно потому, что во второй части развертывается новая и контрастная тема — история человека, который погнался не за богатством, а за правдой, и этот человек тоже сын Дурновки, вторая ипостась неуловимо изменчивой крестьянской души. Бунин нашел глубокий художественный контрапункт, позволивший ему подойти к поставленной проблеме с необходимой исторической объективностью и полнотой.

Если в первой части повести содержание жизни Тихона Красова направляет взгляд на экономику, быт, социальные отношения в русской деревне эпохи между отменой крепостного права и революцией 1905 г., то во второй части эта же эпоха рассматривается преимущественно с точки зрения умственных и духовных исканий, совершавшихся в народной среде. Брожение мысли «внизу», в самой толще народа, веками отгороженного от просвещения и культуры, есть также элемент истории, и для такого внимательного художника, каким был Бунин, эта сторона исторического процесса представляла первостепенный интерес.

Описывая историю «русского самоучки» Кузьмы Красова, первые проблески его «авторской» мысли и зарождение серьезных умственных интересов, Бунин вступал в заповедную область, которая раньше и полнее других в русской литературе была освоена Горьким. Эпизоды интеллектуального пробуждения человека из народа, его настойчивые, страстные, порой трагические попытки вырваться из темноты и невежества к свету широко и многосторонне представлены в горьковских повестях и рассказах 1890-х годов («Коновалов», «Супруги Орловы», «Озорник», «Трое» и др.). В 1910-е годы Горький вновь вернулся к этой теме, она затронута в «окуровских повестях», а его автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты» явилась исчерпывающим итогом рассмотрения указанной проблемы в русской прозе первой четверти XX в. Бунин в «Деревне» не обошел «горьковские» мотивы, и современная критика тотчас же указала на это, отметив «страсть к резонерству Кузьмы, заимствованную им не совсем удачно у горьковского Тиунова („Городок Окуров“) ...» [109]

Факт близости установлен совершенно точно, но объяснен и оценен — поверхностно. «Страсть к резонерству» Кузьмы есть органическое свойство его характера, выражение преобладающей склонности натуры — найти общее философское объяснение всему сущему — и вокруг себя, и в себе самом. При темноте и безграмотности подавляющей части населения русская жизнь последней трети XIX в. формировала во множестве своих безвестных философов, уездных и деревенских, своих писателей-самоучек, среди которых встречались и даровитые, оригинально мыслящие люди. Черты духовной биографии Кузьмы Бунин собирал из многих источников. По свидетельству В. Н. Буниной, прототипом Кузьмы отчасти послужил елецкий поэт-самоучка Е. И. Назаров, о котором Бунин в молодости написал статью. Перед его глазами стояла участь и многих других, гораздо более известных русских писателей, задавленных нищетой, погубленных водкой, опустившихся до потери «лика человеческого», помышлявших, как Кузьма Красов, о самоубийстве, или даже наложивших на себя руки. Так, в частности, кончил жизнь Николай Успенский, судьба которого в свое время потрясла Бунина [110].

Бунин отдал Кузьме Красову и некоторые обстоятельства собственной биографии [111]. Подобно Бунину в юности, Кузьма стал было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью». Бунин провел Кузьму по югу России и Украины, по тем же местам, где сам странствовал в молодости, и, что существеннее, наделил его собственной наблюдательностью, необыкновенно острой, пронзительной, безошибочно схватывающей окружающие предметы и лица.

Сказанное не означает, что Бунин себя описывал в Кузьме Красове. Писатель переносил в характер героя не узколичное, индивидуальное из своей судьбы, а то общее, что входило в духовные скитания и тяготы жизни многих русских людей конца прошлого века. Используя систему многочисленных «переносов», Бунин в обрисовке Кузьмы Красова сумел сохранить необходимую художественную объективность. Он отбрасывал все, что мешало выдержать индивидуальность данного характера-типа. Для

автора «Деревни» Кузьма Красов был выходцем из Дурновки, просветившимся в меру сил и возможностей русским мужиком, яснее других сознающим весь ужас положения деревни, да и всего народа. И в его душе Бунин стремился выявить сложные сплетения, светлые и темные стороны национального характера, обусловленные обстоятельствами, временем и средой.

При первом же чтении «Деревни» Горький вполне оценил и эту сторону повести. «Славно, крепко сделан Балашкин,— писал он Бунину.— Кузьма — впервые является в литературе нашей так резко очерченным и „с подлинным верно",— до того верно, что я уверен, умный историк литературы будет опираться на Кузьму, как на *тип*, впервые данный столь определенно» [112]. Горький, конечно, узнал в Кузьме знакомые приметы и отдал должное художественной рельефности, с какой Бунин объединил известные черты правдоискателя-самоучки в определенный литературно-исторический тип. Замечание Горького тем более существенно, что в диалогах Балашкина и Кузьмы содержатся прямые параллели с соответствующими рассуждениями Тиунова в «Городке Окурове».

О. Михайлов в статье «„Деревня" Бунина и М. Горький» обратил внимание на «отдельные островки полемики», возникшей в связи с обсуждением вопроса, что за государство Россия и какое сословие определяет ее историческое лицо [113].

Спор о том, есть ли Россия государство городское, уездное, или она «вся—деревня», то есть страна крестьянская,— это лишь звено более широкой полемики о национальном характере народа и об исторической основе его психики. Окуровский философ Тиунов ведет родословную уездной России от стрельцов, пушкарей, тиунов, то есть людей «нужных». Тиунов недоволен, что «православное коренное мещанство — позади поставлено, а в первом ряду Фогеля, да Штрехеля, да разные бароны». Протест Тиунова против приниженности уездного городского мещанства принимает стихийно-националистическую, черносотенную окраску. Тиунов не может освободиться от представлений и понятий окуровщины, ее психологии и морали, хотя именно ему Горький доверяет в некоторых случаях собственные заветные мысли о русском народе.

В отличие от мыслителей «окуровского» масштаба, Горький последовательно различал народное и мещанское в национальной психике. Освобождение народа от власти мещанской психологии он рассматривал как необходимое условие общего исторического возрождения страны. Именно так ставится вопрос в «Городке Окурове» и «Жизни Матвея Кожемякина», а затем — еще более отчетливо — в автобиографической трилогии. Осознание смысла и значения основных черт русской истории — вот проблема, к которой Горький и Бунин подошли с разных сторон. Оба они избрали путь объективного изучения русской жизни, хотя и предмет и метод исследования сохранили резкую печать личности каждого художника, свойственный каждому взгляд на вещи.

«Окуровская» Русь для Горького при всей ее «свинцовой» неподвижности, не есть вечное состояние страны. Это лишь особый этап, особый пласт русской истории, который медленно, мучительно, но все же изживается и в конце концов будет изжит народом.

Бунин по отношению к истории (причем не только русской, но и всемирной) исходил из обратной концепции. Все исторические перевороты и перемены, с его точки зрения, никуда и ни к чему не ведут. Древние, первобытные основы жизни сохраняют над человеком и человечеством свою власть. Социальные изменения захватывают лишь внешние формы жизни, ничего не меняя в ней по существу. Решающую роль в жизни народов имеют вечные законы, по отношению к которым историческое время и общественный прогресс — бессильны. Философско-историческая концепция Бунина связана с основными идеями Льва Толстого, своеобразно воспринятыми и усвоенными им еще с 1890-х годов.

В творчестве Бунина для некоторых иллюзий его предшественников уже не оставалось места. Он был писателем более поздней, более определившейся эпохи, чем та, что сформировала учение и взгляды Толстого. Однако, реально оценивая укладывающиеся буржуазные отношения, Бунин вслед за Толстым продолжал придерживаться точки зрения «вечных» начал, тяготеющих над национальной историей, национальным

характером, народной нравственностью, религией и т. п. Эта привязанность Бунина к неподвижным, неизменным категориям объясняется не только духовным влиянием толстовской идеологии. Взгляды Бунина в основе своей сами восходили к тому же реальному источнику, из которого возникали понятия толстовской философии,— «переворотившемуся» и в то же время бессильному перед будущим патриархальному строю. Поэтому толстовские идеи и были так прочно усвоены Буниным.

Горький сразу же ощутил «толстовское» (как, впрочем и «чеховское») начало в бунинской повести, но подчеркнул он прежде всего глубокую ее самобытность. Он писал Бунину в декабре 1910 г.: «Конец „Деревни" я прочитал — с волнением и радостью за вас, с великой радостью, ибо вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал. Можно бы говорить о Льве Николаевиче, но „Утро помещика" и прочее — это другая эпоха, и это эпизоды из жизни Толстого. „Мужики", „В овраге" — тоже эпизоды — простите! — из жизни ипохондрика. Я не вижу, с чем можно сравнить вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это — ново. *Так* еще не писали» [114].

Чехов первый указал своим последователям новые стилистические возможности уплотненного, предельно объективного по тону письма, осветившего непривычно резким светом весь быт русской деревни, и Бунин воспользовался этим открытием и мастерски развил его. Он взглянул на Дурновку с двух противоположных, но в итоге сходящихся точек зрения — Тихона и Кузьмы Красовых, исчерпав все аналитические возможности того и другого взгляда. Конец «Деревни» сводит воедино общие итоги повести. Это Дурновка глазами Кузьмы, который возвращается назад в деревню, на круги своя. Главное здесь — уже не отдельные лица, а весь уклад, весь быт русской деревенской жизни, затягивающей человека, как мертвое колесо. Поселившись опять в Дурновке, Кузьма, наподобие Матвея Кожемякина в «Городке Окурове», становится наблюдателем и летописцем своей среды. Перед глазами «блудного сына» Дурновки, проснувшегося и прозревшего мужика, проходят, как в дурном сне, его же односельчане, живущие, как жили и сто, и двести, и тысячу лет назад.

Одной из основных фигур последней части повести является Серый — самый нищий мужик во всей деревне. Серый — мечтатель и бездельник — сущий Обломов по нраву. Он все надеется, что «корабли приплывут», что подвернется ему царская удача, как Иванушке-дурачку в народной сказке. А пока что сидит сиднем у себя на лавке. Многолетний опыт, собственный и общий, хорошо знакомый нищим мужикам, задавленным податями сверх меры, подсказывает Серому, что от убыточного хозяйства все равно нет никакого проку. Его хозяйственный интерес к результатам своего труда глубоко подорван, ибо тощий надел, обложенный непосильной податью, есть проклятое наследие того же крепостного строя, от которого терпели муку и деды и прадеды Серого. Создавая «Утро помещика», Толстой провел своего Нехлюдова от самого нищего до самого богатого мужицкого двора, чтобы доказать несовместимость крестьянского благополучия с крепостным рабством. Бунин в «Деревне» проделал обратный путь художественного исследования — от самого богатого (Тихон Красов) до самого нищего мужика (Серый) — и доказал, что пятьдесят лет, истекшие после отмены крепостного права, мало что изменили в фактическом положении вещей. Гнилая изба Чурисенка и дырявая изба Серого стóят одна другой.

Существо дела заключается в том, что нужда и страдания народа не исчезли с отменой крепостной зависимости. Сохранились условия экономически, социально и духовно скованной жизни, заведенные веками, сохранились привычки и психология, глубоко вбитые в сознание тысячелетним прошлым. С точки зрения этой двойной исторической наследственности Бунин оценивает не только пассивность Серого, но и противоположное, деятельное начало его натуры. А в редкие минуты подъема Серый выказывает необыкновенную активность. Но эта активность — минутная. Вспышками. Приступами. Пассивность—постоянная. Веками.

Исследуя быт, психологию и весь уклад жизни дурновцев, Бунин не сводил дело к набору «курьезов», против чего справедливо возражал в свое время еще Салтыков-

Щедрин. Автор «Деревни» рассматривал коренные и устойчивые основы существования самого многочисленного класса старой России и доказывал, что эти основы — трагичны. Все личные недостатки, изъяны, пороки, личная «вина» каждого человека в Дурновке сложно и прихотливо сплетены с общей исторической бедой, и эта тысячелетняя народная беда, национальное горе-злочастие больше всего бередили восприимчивую и страстную душу Бунина-художника.

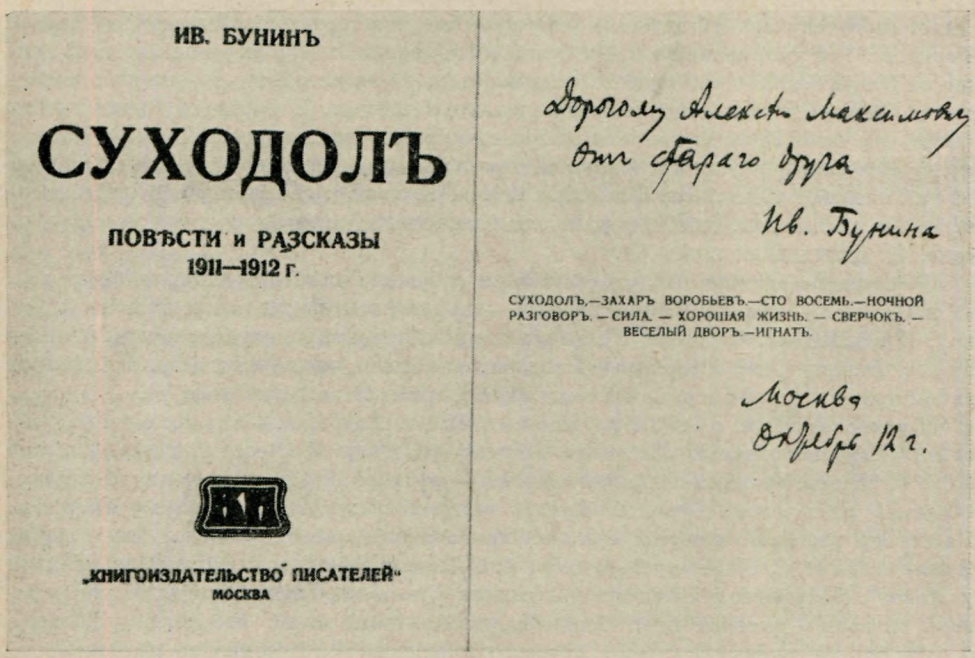
Критическая направленность «Деревни» била в лицо тогдашним черносотенцам и националистам, пытавшимся прикрыть национальным знаменем позорный режим Российской империи. Суворинское «Новое время» вполне отчетливо уразумело, что такие произведения, как «Городок Окуров» Горького и «Деревня» Бунина, стоят рядом по остроте критики современного социального строя. «Есть целая группа писателей,— негодовала газета,— задача которых — изобличение России, русского народа: правительства, армии, чиновников, духовенства, обывателей, мещан, крестьянства. Изобличительная литература, зародившись в радикальных толстых журналах, сосредоточилась потом, в годы смуты, в сборниках „Знания". Сборники эти играли роль революционных пулеметов и долгое время осыпали Россию градом хулы и клеветы». Для взбешенного рецензента суворинской газеты и «Городок Окуров» и «Деревня» — это «тенденциозный деготь», «ругательские повести», и он давал «Горьким и Буниным» вполне нововременский совет: «„не судите, да не судимы будете", и право, лучше будет, если замолчат, если прикусят язычки непрошенные обличители...» [115]

«Городок Окуров» и «Деревня» — произведения параллельного плана, и критик «Нового времени» невольно подтвердил их созвучие, достаточно явственное для современников. Обе повести — каждая в своем духе — звучали как обвинительный приговор. При всех отличиях идейно-философской постановки вопроса о национальном характере и национальной ответственности, о Руси и ее истории, Горький и Бунин как художники объективно сходились в суровой оценке настоящего положения вещей.

Горький первым разгадал действительный исторический и нравственный пафос «Деревни», которому он не мог не сочувствовать, и первым же указал на истинную глубину самобытного художественного исследования жизни, достигнутую Буниным. В декабрьском письме 1910 г. он писал ему: «... я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности —это должно быть или — мы пропали! — тогда серьезные люди скажут: „Помимо первостепенной художественной ценности своей, „Деревня" Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще не думали о России — как о целом, — это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически"» [116].

Значит ли сказанное, что самый метод исторического мышления Горького и Бунина был одинаковым? Нет, разумеется! По сути, как уже говорилось, они исходили из разных исторических концепций, и их повести давали неоднозначные ответы на многие вопросы, поставленные жизнью. Размышления о России, о народе, о его настоящем и будущем, развернутые в «Деревне» и «Городке Окурове», подтверждают лишь, насколько близкие проблемы волновали обоих писателей в тяжелый момент национальной истории.

«Деревня» — лишь одно из классических произведений поры расцвета бунинского таланта. Но, может быть, как никакое другое, оно дает возможность ощутить глубину коренных связей Бунина с историей русского реализма. Сам Бунин сознавал, насколько важным для него в это время было общение с Горьким. Не письмом хотелось Бунину ответить на дружеские слова, обращенные к нему с Капри. «Ибо что скажу я в письме? Все будет плоско и мертво, а, видит бог, сердце мое и было, и есть переполнено нежностью и благодарностью,— писал он Горькому и М. Ф. Андреевой 17/30 декабря 1910 г.— Позвольте промолчать, дорогие и милые друзья, позвольте сказать только, что если напишу я после „Деревни" еще что-нибудь путное, то буду я обязан этим вам, Алексей Максимович. Вы и представить себе не можете, до чего ценны для меня ваши слова, какой живой водой брызнули вы на меня!» [117]


ИВ. БУНИНЪ

СУХОДОЛЪ

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ
1911—1912 г.

„КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ"
МОСКВА

Дорогому Алексею Максимовичу
отъ стараго друга
Ив. Бунина

СУХОДОЛЪ.—ЗАХАРЪ ВОРОБЬЕВЪ.—СТО ВОСЕМЬ.—НОЧНОЙ РАЗГОВОРЪ. — СИЛА. — ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ. — СВЕРЧОКЪ. — ВЕСЕЛЫЙ ДВОРЪ.—ИГНАТЪ.

Москва
Октябрь 12 г.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА ГОРЬКОМУ НА КНИГЕ «СУХОДОЛ» (М., 1912): «Дорогому Алексею Максимовичу от старого друга Ив. Бунина. Москва. Октябрь 12 г.»
Обложка и шмуцтитул
Музей А. М. Горького, Москва

## 5

После двух встреч весной 1909 и 1910 гг. знакомство Горького и Бунина перешло в тесную дружбу. Бунин принял приглашение Горького и М. Ф. Андреевой провести на Капри несколько осенних месяцев. Вместе с женой и племянником Н. А. Пушешниковым он приехал на Капри 1 ноября 1911 г. и пробыл там до 17 февраля 1912 г.

В первые дни по приезде Бунин не сразу наладился работать, был больше обычного раздражен и чем-то задет при встрече с Горьким. В их отношениях, совершенно безоблачных после «Деревни», наступил момент, когда вновь дали знать о себе полярные стороны их характеров, совсем не простых и далеко не во всем согласных друг с другом. После избрания в академики Бунин был в зените своей писательской славы. Он хорошо знал о ревности со стороны Андреева, Куприна, ему мнилось, что и Горький переменил к нему прежнее отношение. В одном из первых писем к брату Юлию с Капри 6 ноября 1911 г. у Бунина вырвалось недвусмысленное признание: «...необходимость ходить к нему выбивает из интимной тихой жизни, при которой я только и могу работать, мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету,— все это так тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой „дружбы" приходит конец,— так оно и оказалось. Никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь» [118].

Это признание Бунина знаменательно как свидетельство потаенных противоречий, существовавших в его личных отношениях с Горьким и проявившихся впоследствии, при изменившихся исторических обстоятельствах, со всей разрушительной силой. Но те внешние поводы, которые навели Бунина на мысль о «конце» энтузиазма их завязавшейся дружбы, оказались, видимо, преходящими. Постоянное общение растопило ледок подозрений, возникших при ноябрьской встрече 1911 г. У Бунина

было много случаев убедиться в широте и щедрости отношения к нему со стороны Горького. Тон упоминаний о нем в бунинских письмах быстро выравнивается. К тому же на Капри Бунину особенно хорошо писалось. На него благотворно действовали мягкая теплая погода, тишина, относительное безлюдие. У Горького Бунины стали бывать все чаще. Вместе гуляли по Капри, вместе проводили долгие вечера, на которых присутствовали и другие гостившие в доме и приглашенные к столу лица. О встречах с Горьким Бунин писал 8 декабря 1911 г. Телешову: «Бываем у него через день, через два, по вечерам. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу» [119].

К середине декабря 1911 г. на Капри собралось особенно много литераторов. «У нас сейчас,— писала М. Ф. Андреева,— прямо съезд какой-то писателей: тут Бунин, Коцюбинский, Черемнов и еще целая куча, все пишут, читают. Бунин написал превосходнейшие, но страшные по содержанию вещи, когда слушаешь их, волосы дыбом становятся, ей-богу. Сам Алексей Максимович так и горит весь» [120].

Бунинские вещи, о которых упоминает М. Ф. Андреева,— это несомненно, рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок», «Ночной разговор» и «Веселый двор». Все они были закончены Буниным на Капри в ноябре — декабре 1911 г. и прочтены у Горького. Об успехе этих чтений Бунин сообщал в письмах брату Юлию, Телешову и другим. По поводу рассказа, который произвел на Горького особенно сильное впечатление, Бунин писал Н. С. Клестову 24 декабря 1911 г.: «Он о мужиках, называется „Ночной разговор". Позавчера я читал его у Горького (был Коцюбинский и еще кто-то) и теперь спокоен — рассказ имел большой успех — хоть знаю, что вызову большое озлобление (и опять дурацкое) у господ критиков» [121]. Несомненно под впечатлением от прослушанных рассказов «Хорошая жизнь», «Ночной разговор» и «Веселый двор» Горький заметил в письме И. А. Белоусову: «А лучший современный писатель — Иван Бунин, скоро это станет ясно для всех, кто искренне любит литературу и русский язык!» [122]

8/21 февраля 1912 г. в присутствии Коцюбинского, Ивана Вольнова, Черемнова, Миролюбова и других гостей Бунин читал у Горького «Суходол». Новая повесть вызвала разногласия и споры. Отзвук их сохранился в письме Коцюбинского к А. И. Аплаксиной: «...Бунин читал повесть „Суходол", которая будет напечатана в „Вестнике Европы". Очень красиво написанная вещь, хотя философия ее для меня неприемлема, и мы вчера долго, до 2-х часов ночи спорили» [123].

В феврале же Бунин прочел новый рассказ «Захар Воробьев». На следующий день после чтения Пушешников писал Ю. А. Бунину: «„Захар Воробьев" будет в сборнике „Знание". По прочтении его Горький сказал: „Об этом ни слова никому не говорите. Это пойдет ко мне". Чтение было вчера, когда к нам неожиданно вечером пришли гости: Горький, В. С. Миролюбов, М. М. Коцюбинский и М. Ф. Андреева ⟨...⟩ Сначала разговор не вязался — молчали, мычали — и Бунин предложил гостям прослушать его новый небольшой, на полчаса, рассказ. После двух первых страниц Горький сказал: „Это что-то хорошо! Постойте, дайте дух перевести". Горький был захвачен — „Это великолепно! Какие люди у нас бывают!" Михаил Михайлович сказал, что рассказ прекрасный, „он словно пропитан ржаным запахом". Виктор Сергеевич тоже хвалил, но особенно много и долго, несколько раз возвращаясь к теме, хвалил Горький. Даже дорогой, пока мы провожали его до дома, он продолжал о рассказе. Он шел отдельно с Иваном Алексеевичем и был как-то особенно ласков, нежен и интимно мягок с ним. Он очень любит, когда говорят о больших людях, героях» [124].

Кроме Бунина, с чтением своих новых произведений выступали и другие авторы. Событием были те дни, когда читал Горький. В кругу друзей им были прочитаны в начале 1912 г. рассказ «Три дня» и некоторые из сатирических «Русских сказок». «Горький написал очень хороший рассказ „Три дня",— сообщал жене Коцюбинский,— а, кроме того, семь русских сказок, очень ядовитых, но остроумных и хороших. Вообще он чудесно пишет теперь. Бунин тоже написал много и все хорошие вещи. Он довольно симпатичный, немного суховатый, вроде академика, и очень работящий» [125]. В интервью, данном по приезде в Россию, Бунин также высоко оценил последние про-

изведения Горького. На вопрос корреспондента о том, как отражается жизнь вдали от родины на творчестве и работе писателя, Бунин ответил: «Судя по крайне интенсивной работе в последние несколько месяцев, оторванность отражается в очень незначительной степени. Помимо большого задуманного им труда (имеется в виду „Детство".— *А. Н.*), он за эту зиму написал повесть „Три дня" и несколько мелких вещей под общим заглавием „Русские сказки". В сатирическо-символическом изложении сказки эти затрагивают различные стороны современной русской действительности. При мне он написал десять таких сказок, но думаю, что из них добрую половину придется напечатать за границей...» [126]

17 февраля/1 марта 1912 г. Бунин уехал с Капри. В тот же день Горький заметил в письме к В. И. Качалову: «Знаете — он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности — здесь не будет преувеличения» [127]. В этом выводе — отзвук общего признания, с каким тесный писательский круг на Капри отнесся к расцвету таланта Бунина-художника.

В своем приветствии по случаю 25-летия литературной деятельности Бунина, оглашенном в октябре 1912 г. на юбилейном собрании в Москве, Горький высоко оценил заслуги Бунина перед русской художественной культурой, особо отметив дар «всемирности», который отличал наиболее крупных художников России: «И проза ваша, и стихи, с одинаковою красотой и силой раздвигали пред русским человеком границы однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле. Двадцатипятилетняя работа ваша, полная ревностной любви к родному языку — красота его всегда так тонко чувствуется вами — эта еще не оцененная работа дает нам радостное право сказать, что вы являетесь достойным преемником тех поэтов, которые породнили русскую литературу с европейской, сделали ее одним из самых замечательных явлений XIX века» [128].

В этом дружеском послании сжато выражена та историческая оценка таланта Бунина-художника, которой Горький последовательно придерживался до конца жизни. Как никто, Горький умел угадывать главное, что занимало Бунина в литературе: он вовремя поддержал его в мыслях о «Деревне» и по существу предсказал новую полосу бунинских исканий, ознаменованную такими рассказами, как «Братья» и «Господин из Сан-Франциско».

16 ноября 1912 г. Бунин с женой и племянником снова были на Капри. «Опять началась та же размеренная жизнь,— отметил в своих записях Пушешников.— Ежедневные свидания с Горьким, который на этот раз неизменно ласков и радушен» [129]. Как и в прежние приезды, Бунин — неизменный участник литературных и музыкальных вечеров в доме Горького, постоянный его собеседник и спутник на прогулках. У Горького и Бунина возник даже план совместной поездки по Европе, но из-за срочных литературных работ этот план пришлось отложить. Как обычно, Бунин почти сразу же принялся за работу. Он готовил к изданию сборник повестей и рассказов 1911—1912 гг., в который хотел включить также несколько новых вещей. За эту зиму им были написаны «Князь во князьях», «Худая трава», «Вера», «Лирник Родион» и др.

В этот приезд Бунины пробыли на Капри до 24 марта/6 апреля 1913 г. В беседе с корреспондентом одной из московских газет Бунин рассказал о своих каприйских трудах и днях. «Я очень однообразно,— сказал Иван Алексеевич,— провел зиму, прожив всю сплошь на острове Капри. Пришлось очень много работать: к этому там располагает тамошняя жизнь. На этой скале, торчащей среди синего моря и голубого прозрачного неба, много уюта, простоты, нет сутолоки, шума, а я все это очень ценю. На Капри мало живет народа. Единственный человек, с кем встречался постоянно,— это Алексей Максимович Горький. Вот уже вторую зиму я провожу с ним вместе» [130].

В каприйские годы Горький и Бунин неоднократно возвращались к разного рода издательским планам [131]. Кроме общего сборника наиболее интересных критических статей об их творчестве, они наметили выпустить книги на следующие темы: «Русский мужик в литературе», «Забытые поэты», «Забытые беллетристы».

Вошедшие в традицию публичные чтения новых бунинских вещей в кругу Горького на Капри были продолжены и зимой 1912/13 гг. Обычный круг слушателей к этому времени заметно поредел. Неизлечимо больной Коцюбинский умирал на родине. Уехала в Россию М. Ф. Андреева. Реже приезжали гости. На острове стало тихо и пустынно. Горький и Бунин, как и прежде, встречались постоянно, проводя вместе долгие вечера. 31 декабря, под Новый год, Бунин прочел у Горького рассказы «Преступление» («Ермил»), «Вера» («Последнее свидание») и «Князь во князьях» [132]. Позже были читаны два новых рассказа, один из которых, как установил А. К. Бабореко,— несомненно, «Лирник Родион». Об этом чтении в дневнике Н. А. Пушешникова сохранилась краткая запись: «Иван Алексеевич недоволен всем и раздражен. Читал своих два новых рассказа Горькому. Один ему, видимо, не понравился, но другой ⟨...⟩ довел его до слез. Во время чтения вставного четверостишия Горький заплакал, встал и стал ходить: „Вот черт его дери! — как бы стыдясь.— Вот и Тургенева не могу читать — реву“» [133].

Горькому очень понравился также рассказ «При дороге», прочитанный Буниным незадолго до отъезда с Капри. Тогда же, 14/27 марта 1913 г., в письме к писателю-сибиряку Г. Д. Гребенщикову, Горький сравнил Бунина с такими прославленными мастерами-стилистами, как Тургенев и Чехов: «Я очень рекомендую вам: изучайте русскую литературу, это вам поможет. Тургенев научит вас писать природу, пейзаж, Чехов покажет вам, что такое диалог, как, в действительности, говорят живые люди, научит строить фразу, предложение — кратко и точно. Последние рассказы Бунина, талант которого все развивается, восходит на высоту талантов Тургенева и Чехова, эти рассказы дадут вам понять, как можно строить повесть, располагать материал,— научат, как нужно слить слова с образом. Возьмите, на пробу, в „Суходоле“ рассказ „Захар Воробьев“,— посмотрите, как это сделано, посмотрите — в начале 107 страницы,— как автор сразу заставит вас почувствовать всю страшную тоску русской жизни» [134].

Весна 1913 г. была последней, проведенной Горьким и Буниным вместе на Капри. 5 апреля/23 марта Горький заметил в письме к Н. А. Румянцеву: «Ветер дует, дом качается, хлопают двери. Завтра уезжает в Скифию Ив. Бунин,— ах, как прекрасно стал писать этот человек! Удивительно!» [135] О возвращении в Россию со все возрастающим нетерпением думал и сам Горький. В связи с трехсотлетием дома Романовых в России был опубликован правительственный манифест об амнистии лицам, привлекавшимся к суду за «преступные деяния, учиненные посредством печати». При ближайшем изучении правительственного документа выяснилось, что амнистия оказалась далеко не полной. Выдавая визу на въезд в Россию, русский консул в Неаполе предупредил Горького, что на родине он может быть арестован и сослан на поселение.

В мае 1913 г., по приезде с Капри, Бунин сообщил в газетном интервью: «Алексей Максимович очень нервничал в этом году. Причиной его волнения была амнистия. Она ведь много вызвала толков за границей. Надеялись и мечтали... Горький так рвется в Россию. После ознакомления ко всему еще примешалось разочарование,— амнистия ведь мало кого коснулась. Вначале Алексей Максимович хотел было ехать на родину, но потом раздумал. Останавливает его то, что он не утерпит, вырвется крик боли, а, знаете, с чем это связано в матушке-России — опять беги» [136].

Тем не менее, ничто уже не могло удержать Горького от решения вернуться. В самом конце декабря 1913 г. он уехал в Россию. С Буниным, собравшимся вновь зимовать на Капри, Горький разминулся. Эту зиму Бунин провел на Капри в одиночестве. Каприйский литературный кружок распался навсегда. Времена, проведенные вместе на острове Капри в 1909—1913 гг., остались лучшей порой в отношениях Горького и Бунина, золотой порой их писательской дружбы, почти ничем не омраченной. Даже через много лет после разрыва, в эмиграции, Бунин отдал должное этой поре: «Одно время, особенно на Капри, где я прожил три зимы, мы с Горьким дружили. Лично ко мне он всегда выказывал большое расположение, внимание, даже нежность. Я не мог на это не отзываться...» [137]

КАПРИ. ОТЕЛЬ «КВИСИСАНА»
Здесь зимой 1911—1912 гг. жил Бунин
Открытка. Внизу помета Бунина: «Это наши окна»
Музей И. С. Тургенева, Орел

## 6

Событиями первой мировой войны и революции завершается история личных отношений Бунина и Горького. Последние годы их близости приходятся на небывало сложную эпоху великих социальных бурь и потрясений, изменивших лицо мира.

20 июля 1914 г. Горький писал И. М. Касаткину: «Я давно — года три — как убежден был в неизбежности общеевропейской войны, считал себя подготовленным к этой катастрофе, много думал о ней, но — вот она разразилась, и я чувствую себя подавленным, как будто все случившееся — неожиданно. Страшновато за Русь, за наш народ, за его будущее, и ни о чем, кроме этого, не думаешь ⟨...⟩ Вообще „ничего в волнах не видно“, ясно одно: мы вступаем в первый акт трагедии всемирной. Чем кончится она?» [138]

Чувство «подавленности», испытанное Горьким в первые дни войны, привело его на известный момент к потере правильной политической ориентировки. Свидетельством этому служит его подпись под обращением «От писателей, художников и артистов», опубликованным в «Русских ведомостях» 28 сентября 1914 г. и перепечатанным на следующий день «Утром России» и другими газетами. Автором текста этого обращения был Бунин. В сентябре 1914 г. он приезжал в Петербург, встречался там с разными лицами, в том числе с Горьким. Не исключено, что именно по просьбе Бунина Горький согласился подписать документ, под которым уже стояли десятки подписей. Подпись Горького под обращением настолько огорчила Ленина, что спустя месяц он поместил в газете «Социал-демократ» заметку «Автору „Песни о Соколе“», в которой дал резкую политическую оценку этому коллективному протесту [139].

Через два дня после опубликования протеста, в Финляндии, недалеко от станции Мустамяки, где жил Горький, состоялось совещание членов социал-демократической фракции большевиков с некоторыми партийными работниками. На совещании обсуждались не терпящие отлагательства вопросы, связанные с отношением к войне. Самое

место совещания позволяет предположить, что Горький знал о нем. Показательно, что в тот же день, когда совещание закончилось — 1 октября 1914 г.,—в письме к В. С. Войтинскому Горький поддержал интернационалистическую позицию в вопросе о войне и выразил сожаление, что поставил свою подпись под коллективным воззванием: «... а вот протест литераторов против „немецких зверств" — подписал второпях, и это меня очень мучает...» [140]

В конце октября 1914 г. Горький выехал в Киев, где пробыл более трех недель. На Украине гораздо сильнее, чем в столице, воспринимались вести о громадных потерях, которые несла в сражениях армия,— все это действовало на Горького удручающе. Во второй половине ноября 1914 г. он вернулся в Москву. Здесь на квартире Е. П. Пешковой в Машковом переулке Горький встретился с Буниным и Шаляпиным. Присутствовавший при встрече И. М. Касаткин довольно подробно передает свои впечатления о Горьком и его собеседниках: «Он только что приехал в Москву. Дымя папиросою, взволнованно заговорил о войне, о наплыве в столицу раненых. Позднее явился сухонький, подтянутый ⟨...⟩ Иван Бунин. Еще позднее, прямо из театра, приехал вальяжный, с широкими королевскими жестами, Федор Шаляпин. Я жадно присматривался к этим столь известным и столь различным трем фигурам, вслушивался в их высказывания о трагедии войны, тоже довольно различные,—и неясна была судьба народных масс, гонимых на военные поля. Беседа затянулась до рассвета» [141].

На основании имеющихся материалов можно с достаточной вероятностью определить круг вопросов, которые в те дни волновали Горького и так или иначе должны были стать предметом общего разговора. В печати только что появилась статья Л. Андреева «Освобождение», в которой он по-своему полемизировал с коллективным обращением писателей, художников и артистов. Несколько раньше, 30 октября 1914 г., в «Биржевых ведомостях» была напечатана статья Сологуба «Мира не будет» с упреками правительству за недостаточную жестокость по отношению к пленным немцам. Ко времени московской встречи успел выйти из печати первый альманах «Война» с шовинистическими статьями Арцыбашева, Куприна, Вас. Ив. Немировича-Данченко и др. Общий дух этих выступлений вызвал у Горького глубокое негодование.

Не подлежит сомнению, что Бунин разделял некоторые ходовые предрассудки насчет войны, прочно овладевшие сознанием русской либеральной интеллигенции. Составленный им текст коллективного протеста против «зверств немецкой армии» подтверждает это с достаточной очевидностью. Однако крайности шовинистической позиции Андреева или Сологуба были ему чужды. В статьях для печати и тем более в своем творчестве Бунин избегал воинственной риторики, широко эксплуатировавшейся в стихах и прозе того времени.

В начале 1915 г. было предпринято издание коллективного сборника «Щит», направленного против антисемитизма и в защиту бедствующего населения, пострадавшего от военных действий. Сборник вышел под редакцией Андреева, Горького и Сологуба, при участии Бунина, Брюсова, Короленко, А. Толстого и других литераторов. Горький согласился участвовать в сборнике, так как считал, что издание книги преследует цели, которые стоят выше политических разногласий, разделявших его со многими участниками и двумя другими соредакторами сборника. С просьбой поддержать это начинание Горький обратился к Бунину [142].

Бунин отобрал для сборника «Щит» небольшой цикл стихотворений на библейские темы — «День гнева», «Тора», «Гробница Рахили», «Столп огненный» и др. Царящую в мире вражду между людьми, взаимное презрение, национальную нетерпимость Бунин отвергает, исходя из норм общечеловеческой нравственности, независимо от того, к какому религиозному первоисточнику — Библии или Корану — восходят ее заветы. Бунинские стихи вовсе не разъединены с общим кругом вопросов, активно обсуждавшихся и в публицистике, и в литературе. Но они переводят злободневную проблематику на язык «ветхозаветных» образов, предлагая тем самым как бы заново находить актуальный нравственно-философский смысл в вечных притчах, созданных религиозно-поэтическим сознанием человечества.

В трудных условиях начавшейся мировой войны Горький и Бунин еще ощущали друг друга союзниками по литературному делу. В числе других они поставили свои

подписи под коллективным «Ответом русских писателей английским собратьям», в котором выражалась надежда, что содружество между народами не кончится на поле битвы, а претворится в духовное единение на почве общей работы человеческого духа [143]. Для Горького эта надежда не осталась отвлеченно-пацифистской мечтой. В своем журнале «Летопись» он встал на путь практического осуществления интернационалистской антивоенной программы. Бунин с готовностью поддержал новое горьковское начинание: «Дорогой Алексей Максимович, получил ваше письмо относительно „Летописи". Доброе дело, желаю удачи, благодарю за приглашение, с удовольствием буду, если бог даст, сотрудничать. *На декабрь стихов и рассказ можно дать.* Черкните словечко, когда именно нужно выслать. Очень рад, что кончили вторую часть „Детства". Обнимаю вас и считаю за вами могарыч» [144]. У Горького и Бунина был уже более чем пятнадцатилетний опыт тесного сотрудничества в одних и тех же изданиях. Совместная работа в «Летописи» продолжала этот опыт дальше в крайне сложных исторических условиях.

На общественно-политическую программу «Летописи» серьезное влияние оказали идеи международной социалистической конференции в Циммервальде, где Ленину и его сторонникам удалось провести «ряд основных мыслей революционного марксизма» [145]. Разумеется, в условиях жесточайшей цензуры военного времени эти идеи могли проводиться через печать лишь в опосредствованной форме. К тому же противоречивые комбинации политических мнений, которые излагались в «Летописи» некоторыми сотрудниками — Сухановым, Богдановым, Базаровым, Мартовым и др.,— мешали выдержанности основного направления, принятого журналом. Ленин в письмах критиковал ошибочные взгляды ряда сотрудников «Летописи», однако считал возможным свое авторское участие в этом журнале. Общая ориентация «Летописи» на интернационалистскую программу Циммервальда, направленную против войны и социал-шовинизма, не подлежит сомнению. Именно этот факт предопределил большой общественный успех «Летописи», сопутствовавший журналу в первый год его издания.

Особое место в антивоенной публицистике «Летописи» заняли выступления Горького. Начало было положено его статьей «Две души», напечатанной в первой, декабрьской книжке журнала за 1915 г. Главный пафос статьи заключался в развенчании великорусского шовинизма и всего того, что Горький называл «азиатскими наслоениями в нашей психике». «Оговорюсь,— противопоставляя Восток Западу, я отнюдь не думаю о каких-либо „метафизических сущностях" или о „расовых особенностях", которые якобы органически и неискоренимо свойственны монголу, арийцу, семиту и навеки будут враждебно разделять их, — писал Горький.— ⟨...⟩ Я противопоставляю два различных мироощущения, два навыка мысли, две души» [146]. В теоретическом отношении общая схема горьковского противопоставления оставалась достаточно уязвимой, некоторые выводы о слабых сторонах национального характера — слишком резкими, на что справедливо указывают современные исследователи публицистики Горького [147].

Нечеткость исходной постановки вопроса о «русской душе» в более ранних статьях Горького дала основание Ленину сделать существенную поправку: «...только не „русскую" надо бы говорить, а *мещанскую*, ибо еврейская, итальянская, английская— *все один черт*, везде паршивое мещанство одинаково гнусно...» [148]

В трактовке национального характера и национальной психологии Ленин считал необходимым при всех обстоятельствах сохранять социально-исторический и классовый подход. В статье «Две души» эти понятия оказались размытыми, что, несомненно, помогло националистически настроенным оппонентам Горького усилить против него клеветническую кампанию. Либеральные шовинисты (Изгоев, Струве, Булгаков и пр.) обвиняли Горького в «поношении отечества», «клевете» на русский народ и т. д., а черносотенцы прямо писали о «подрыве» и «измене», свивших себе гнездо в горьковской «Летописи».

Критически оценивая статью «Две души», нельзя, разумеется, перечеркивать ее так, как это делали публицисты «правого» либерально-охранительного и черносотенного лагеря. Нельзя также ограничиться простым указанием на ошибки и преувеличения Горького, изымая ее из конкретного контекста политической и философской поле-

мики тех лет. Смирение перед властью, пассивность, неорганизованность народных масс, оказавшихся неспособными в период демократического подъема 1860-х годов подняться на всеобщее восстание и сокрушить самодержавие и помещичий строй, заставили Чернышевского сказать: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Ленин, как известно, назвал эти гневные и горькие слова «словами настоящей любви к родине» и разъяснил в статье «О национальной гордости великороссов» (1914), какое реальное историческое содержание скрывается за ними. И сделано это было почти в то самое время, когда писалась статья «Две души». Полемические заострения Горького были продиктованы не меньшей болью за судьбу нации, не меньшей любовью к своему народу, чем слова Чернышевского, и эти конкретные мотивы должны быть раскрыты.

Для Бунина мысли Горького, изложенные в статье «Две души», не были новостью. Об «азиатских наслоениях» в национальной психике Бунин-художник в свое время писал не менее резко, чем Горький-публицист во время войны. Автор «Деревни» и «Суходола» рассматривал эту проблему прежде всего с точки зрения негативного исторического опыта, накопленного веками «восточной неподвижности» русского патриархального быта. В статье «Две души» Бунин уловил отзвук хорошо знакомых ему идей. Он и подтвердил это в интервью, отвечая на вопрос корреспондента о выступлении Горького: «На мой взгляд, Горький не сказал ничего особенно резкого, ничего обидного и ничего такого, что прежде не говорилось. Горький призывал к активности, сказал, что у нас много этой восточной инертности. Будем деятельны... Что тут оскорбительного для русского народа? Или враждебного? Из обидевшихся литераторов некоторые наговорили многое, не относящееся к делу» [149].

С первых месяцев войны Бунин вступил в полосу тяжкого духовного кризиса, который все более обострялся. 10 октября 1915 г. в ответ на просьбу Горького прислать что-нибудь для сборника, Бунин признался: «Видит бог, как я хотел бы дать вам что-либо. Но такого года я и не запомню — не запомню такого тяжкого душевного состояния, в котором я уже давно нахожусь. Писать я почти ничего не писал» [150]. Тесно связанный с деревней, где он по-прежнему проводил значительную часть года, Бунин воочию видел катастрофические последствия войны: подорванное вконец хозяйство, обезлюдевшие избы, осиротевших детей и солдаток, горе и уныние почти в каждой крестьянской семье. Патриархальная русская деревня агонизировала. Надвигающаяся экономическая катастрофа грозила не только мужику. Захудалые мелкопоместные усадьбы и хутора, давно уже приговоренные к экономической гибели, все более ветшали, пускались с молотка, становясь добычей деревенских кулаков-толстосумов.

Более четверти века наблюдал Бунин неумолимый процесс гибели своего сословия. Теперь он стал свидетелем его конца. Трагично для Бунина положение не только дворянской усадьбы, мужицкой деревни, но и России, и всего захлебнувшегося кровью мира,— вот в чем источник его всеобъемлющего пессимизма и душевной подавленности в это время.

Свой знаменитый, задуманный еще на Капри рассказ «Господин из Сан-Франциско», в котором пророчится гибель современной цивилизации, Бунин написал через год после начала мировой войны, дав выход угнетавшему его чувству непоправимой исторической катастрофы. В дневниковых записях 1915 г. Бунин коротко отметил: «14—19 августа писал рассказ „Господин из Сан-Франциско". Плакал, пиша конец...» [151]

После этого рассказа, окончательно отделанного в октябре 1915 г., казалось, что как прозаик он достиг наивысшей точки в своем развитии. Чтоб удержаться на этой высоте, нужны были новые впечатления, новый круг идей.

В первый год войны Бунин писал много стихов. В начале ноября 1915 г. он послал Горькому полтора десятка стихотворений, из которых Горький отобрал шесть: «Слово», «Поэту», «Шестикрылый», «Засуха в раю», «Аленушка», «Скоморохи». Стихотворение «Слово» открывало первую книжку «Летописи». Не только по содержанию, но и по заглавному месту оно воспринималось как общая литературная декларация нового журнала [152].

БУНИН
*Фотография, 1910-е годы*
Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград

Бунин более чем кто-либо из современных поэтов имел основание напомнить о великих ценностях мировой культуры, доставшихся человечеству от предков. Связь с тысячелетней традицией, закрепленной в древних «Письменах», он ощущал необыкновенно живо и не раз черпал в ней мотивы своей поэзии. Бунин прекрасно знал культуру древнего Египта, Востока и других более ранних человеческих цивилизаций. Образы восточной поэзии были для Бунина столь же естественны, как и поэзии славянской, национально-русской. Его стихотворение «Поэту» утверждает глубину, первозданность, зоркость взгляда как неотъемлемое достояние поэзии. Бунин никогда не считал поэзию легким делом. Поэт должен искать истину, как «алмаз, оброненный в ночи», не жалея ни времени, ни трудов на поиски. Бунинский призыв беречь «наш дар бессмертный — речь» продолжал тему знаменитого тургеневского стихотворения в прозе «Русский язык». Обращение к великим культурным традициям, общечеловеческим и национальным, звучало особенно своевременно «в дни злобы и страданья», когда вековые ценности, созданные народами, предавались безжалостному разрушению и поруганию. Этой своей устремленностью, пафосом защиты мировой культуры, утверждением нетленности настоящей поэзии Бунин полностью отвечал общей литературно-художественной программе «Летописи», которую Горький последовательно проводил в своем журнале.

В поэзии Бунина первых лет войны особое место занимала национально-русская, славянская тема — фольклорная и историческая. На эту тему написана большая часть бунинских стихов, опубликованных в «Летописи». Среди новых стихотворений, посланных в «Летопись» в январе 1916 г., были «Молодой король», «Святитель», «Песня» («Мне вечор, младой, скучен терем был»), «Святой Прокопий», «Князь Всеслав», «Святогор и Илья», «Райское древо» («Искушение»), «Псалтирь» и другие. Общая черта всего цикла — близость к народно-поэтическим мотивам, вариации на темы славянской истории и народных преданий. Но под исторической, фольклорной, а порою религиозной формой этих стихов таилось вполне современное содержание.

В стихотворении «Святогор и Илья» переосмыслены традиционные образы русских былин. Стихотворение говорит о тщетности усилий разрешить трагические проблемы национальной жизни с помощью меча. Меч «не делает дела, а губит», он только отда-

ляет освобождение Святогора, кладет новые железные скрепы, обрекая его на вечную неволю. Логика вещей заставляет богатыря отказаться от применения силы:

Кинул биться Илья — божья воля!
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу... Отняла
Русской силы Земля половину:
Выезжай на иную путину,
На иные дела!

(1,386)

Интерес к национально-исторической теме отвечал не только устойчивым склонностям самого Бунина, но и общим устремлениям русской поэзии той поры. Судьба России как национального целого волновала многих. Высказывались самые разные суждения о ее исторической роли в прошлом, о ее мировом предназначении в настоящем и будущем. К самодержавно-православным идеям «великой» и «святой» Руси Бунин относился скептически. Как поэт, он не останавливался перед прямым осуждением войны, отрицанием грубой силы и завоевательных устремлений.

В августе 1916 г. Бунин послал Горькому для «Летописи» три стихотворения — «Бегство в Египет», «Архистратиг» и «Орда». Все три Горький назвал «великолепными». «Архистратиг» должен был появиться в сентябрьской книжке журнала, однако цензура запретила стихотворение (оно появилось затем в сборнике «Господин из Сан-Франциско» под названием «Фреска»). Изображенный на древней фреске архангел Михаил — архистратиг, воитель, «весь в стали и крылат», долгие годы оставался дивным украшением глухого церковного прихода.

Кто знал его? Но вот, совсем недавно,
Открыт и он, по прихоти тщеславной
Столичных мод,— в журнале дорогом
Изображен на диво, и о нем
Теперь толкуют мистики, эстеты,
Богоискатели, девицы и поэты.
Их сытые, болтливые уста
Пророчат Руси быть архистратигом,
Кощунствуют о рубище Христа
И умиляются — по книгам,—
Как Русь смиренна и проста[153].

Бунин менее всего желал видеть Русь в роли архистратига-завоевателя. Его позиция по отношению к войне становилась все более определенно отрицательной.

В октябрьской книжке «Летописи» 1916 г. впервые увидело свет стихотворение «Орда» («В Орде») — одно из лучших произведений Бунина-поэта. Оно обращено к матери Великого Могола, вскормившей будущего грозного завоевателя. То обстоятельство, что эпизод, воссозданный поэтом, отстоит на много веков от нынешнего дня, не служит для него препятствием. Прошлое заново пережито, оно воспринято в формах, поражающих своей живописной конкретностью. Дар творческого воображения позволяет и сквозь века угадывать подлинные краски живой действительности. Мысль стихотворения основана на своего рода «обратной связи» понятий. Если современники проявляют такую же воинственность, как вожди гуннов и повелители татарских орд, если они «не смиреннее их», то поэту, остается отбросив заветы Христа, восславить Великого Могола, их необузданного и страшного предшественника:

Ты знала ли, Мать, что и я
Восславлю его,— что не надо мне рая,
Христа, Галилеи и лилий ее полевых,
Что я не смиреннее их,—
Атиллы, Тимура, Мамая,

Что я их достоин, когда
Наскучив таиться за ложью,
Рву древнюю хартию божью,
Насилую, режу, и граблю, и жгу города?

(1,405)

Горький высоко ценил постоянное сотрудничество Бунина в журнале и с неизменным восхищением отзывался почти о каждой его новой вещи. «Вы только знайте,— писал он Бунину 24 февраля 1916 г.,— что ваши стихи, ваша проза,— для „Летописи" и для меня — праздник. Это не пустое слово. Я вас люблю — не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать ваши вещи, думать и говорить о вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни вы — может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное. Знали бы вы, с каким трепетом читал я „Человека из Сан-Франциско", с каким восторгом вот эти стихи. Ведь вы для меня великий поэт, первый поэт наших дней» [154].

В течение 1916 г. стихотворения Бунина публиковались из номера в номер в каждой книжке «Летописи» (за исключением последних двух). Ни один другой поэт не печатался в горьковском журнале так регулярно. Всего за год в «Летописи» было опубликовано около тридцати бунинских стихотворений, и Горький имел все основания считать их подлинным украшением журнала.

В марте 1916 г. Бунин послал Горькому небольшой рассказ «Казимир Станиславович» (он был напечатан в майской книжке «Летописи»). Главный герой его — «темная личность» (так рассказ назывался в черновой рукописи), человек изношенный, опустившийся, готовящийся к самоубийству и неспособный на этот последний шаг. Здесь Бунин только приступал к анализу внутренней опустошенности личности. Об этом он с большой силой напишет затем в рассказах «Соотечественник», «Петлистые уши», «Сны Чанга». Обостренное внимание к сумеречным состояниям человеческого духа, настойчивое повторение мотивов тоски, неудовлетворенности жизнью служат первым косвенным симптомом начавшегося духовного кризиса, пережитого самим Буниным на исходе мировой войны. В его творчестве этой поры усиливаются религиозные мотивы, все настойчивее звучат ноты усталости, ожидания смерти. Таково стихотворение «Княжна» («Богом разлученные»), от публикации которого в «Летописи» Горький воздержался, возвратив его автору.

Сходная тема — «подвиг скромного обета» — развита в рассказе Бунина «Аглая», опубликованном в октябрьской книжке «Летописи» 1916 г. Рассказ Бунина стилизован под страннические истории об угодных богу людях, кротких страстотерпцах, готовых на подвиг отречения от земной жизни. На просьбу автора сообщить впечатление от «Аглаи» Горький ответил сдержанно, хотя и на этот раз отдал должное высокому мастерству Бунина-стилиста: «Тема „Аглаи" — чужда мне,— писал Горький Бунину 29 августа 1916 г., — но вы написали эту вещь, точно старый мастер икону,— удивительно четко! В конце мне слышится некоторый рационализм и он, как будто, чуть-чуть мешает целостности впечатления. А вообще,— что же говорить ? Вы для меня — первейший мастер в современной литературе русской,— это не пустое слово, не лесть, вы знаете» [155].

В 1916 г. по свежим впечатлениям, вынесенным из деревни, Бунин написал два рассказа — «Последняя весна» и «Последняя осень». Объединяет их одна общая тема: как русский мужик относится к войне. Бунин фиксирует все оттенки — от безразличия, равнодушия до полного и страстного отрицания. Последнее явно преобладает в крестьянской массе. Надо отдать должное Бунину — он сумел почувствовать глубину недовольства, зревшего «внизу», предсказал обострение аграрного кризиса, сыгравшего затем в революции огромную роль. Недаром в «Последней весне» диалог завершает «кто-то», готовый добраться до самого царя, чтобы посчитаться с ним: «Погоди, и до царя дойдут. Что ж он весь народ на эту войну обобрал? Вон опять надо в Красную Горку рекрутов отправлять. Разве это дело? Вся Россия опустела, затихла!» (4, 431).

За этим резким голосом из темноты в рассказе остается последнее слово. Эта угроза — конечный итог, вывод из анализа реальной ситуации, сложившейся в русской

деревне перед февралем 1917 г. Объективный смысл рассказа имел тем большее значение, что идеи крестьянского революционного демократизма были Бунину совершенно чужды. Он страшился их, хотя и признавал их силу.

Слова «злой», «злобный» всего чаще повторяются среди бунинских эпитетов, характеризующих настроения мужика. Эти настроения тревожат Бунина своей скрытой угрозой, вызывают его на мрачные мысли. Каждый штрих рассказа говорит о пропасти непонимания, усилении чувства вражды, которые все больше разделяют деревню барскую и деревню мужицкую. Мужик Петр Архипов в рассказе «Последняя осень» довольно точно объясняет причины этой усилившейся в дни войны розни: «Вам хорошо говорить. А у меня вон сын два месяца ни одного письма. Где он теперь, что он теперь? Мертвое тело? А потом, как перебьют всех, вы что же будете делать? Приедете, конечно, к царю и скажете: „Погляди, государь, где твоя держава теперь? Нету тебе ничего, все чисто, одно гладкое поле!“» (4, 436).

Голос сословного чувства подсказывал Бунину определенные возражения. К классовой ненависти, разгоравшейся в душе мужика, он относился с явной неприязнью. Не хотел он принять и тех обвинений, которые Петр Архипов предъявил барину, навестившему его. Петр Архипов и сам несколько смутился,— но он, простой мужик, имел все основания для своих резких слов. Некоторая неточность его обвинительной речи заключалась лишь в том, что он предъявил конкретному лицу то обвинение, которое следовало адресовать всему правящему классу. В историческом смысле мужик был совершенно прав, и Бунин-художник не мог уклониться от этой истины, как ни угрожала она его собственному сословию. Реализм Бунина еще брал верх над его дворянскими предрассудками. Бунин отчетливо сознавал, что «война все изменила». «Во мне что-то треснуло, переломилось,— говорил он Н. А. Пушешникову,— наступила, как говорят, переоценка всех ценностей. И как подумаешь, что жизнь прошла, что еще несколько лет — и будешь где-нибудь лежать на Ваганьковском... Литераторские мостки. И ничего не сделал! Это ужасно» [156].

В конце 1916 г. был написан один из самых мрачных рассказов Бунина «Петлистые уши», в котором прорвались мучительнейшие мысли и настроения, одолевавшие его в то время. «Петлистые уши» — городской, точнее «петербургский» рассказ, своего рода эпилог классической темы русской литературы, восходящей к «Невскому проспекту» Гоголя, к «Преступлению и наказанию» Достоевского. Тень Достоевского витает над этим бунинским рассказом. Одно из его первоначальных заглавий — «Без наказания» — прямо обнажает смысл и адрес полемики. Заглавие Бунин изменил, зато яростно-полемический тон усилил. В отличие от Раскольникова Соколович совершает убийство вполне хладнокровно, уверенно, не испытывая никаких колебаний духа и терзаний совести. Причем его преступление так же логически обдумано, теоретически обосновано, как и роковой шаг героя Достоевского. Истоки и предпосылки этой философии «убийства по убеждению» Бунин возводит к двум началам: наследственному и историческому. В черновой рукописи рассказа Соколович сам излагает свою генеалогию, подробно описывает типично карамазовские условия жизни выродившейся дворянской семьи, из которой он вышел. Бунин затем отбросил эту историю семейства Соколовича, и главное место в рассказе заняла историческая мотивировка «преступления без наказания». Появление человеческого типа, подобного Соколовичу, Бунин связывает с извращенностью исторического бытия человечества, все глубже погружающегося в пучину пролитой им крови. Соколович вышагивает своей тяжелой походкой по Невскому, по Петербургу, когда в войнах участвуют «уже десятки миллионов», когда Европа становится «сплошным царством убийц».

Накануне революции Бунина одолевали мрачные настроения. Он улавливал грозные колебания исторической почвы, сотрясавшие все здание Российской империи снизу доверху, от нищей деревни до великолепного Петербурга. Петербург последней предреволюционной зимы, открывающийся взору бунинского героя, кажется призрачным, фантастическим городом, в котором все человеческое искажено, обречено на погибель. Для личной человеческой морали не остается места, когда расстреляна и растоптана мораль всего человечества,— вот парадокс, который Бунин последовательно реализует в зловещем сюжете «Петлистых ушей».

Рассказ этот воспринимался современниками как резкий антивоенный памфлет, как проклятье всему роду людскому, шагнувшему неизмеримо дальше Каина, впервые убившего. Проклиная всякое кровопролитие, Бунин оставался на точке зрения христианской заповеди «не убий», хотя, по желчному замечанию его героя, «в библии слово „убил" употреблено более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью творцу за содеянное». Логика рассказа равно отрицает и преступления, и казни, и родовую месть, и войны, и революции, и Робеспьеров, и Джеков-Потрошителей, независимо от конкретных различий между противоположными историческими и социальными формами насилия. Пока мировая война была в самом разгаре, бунинская критика сливалась с антивоенной демократической проповедью, подрывавшей шовинистическую идеологию и мораль. Зато, когда разразилась революция, когда народы вынуждены были объявить «войну войне» и ответить на насилие правящих классов революционным насилием, сразу же обнажилась реакционно-утопическая сторона бунинских взглядов, их исторический консерватизм.

## 7

Настроения Горького накануне 1917 г. были безрадостными. Положение страны ухудшалось с каждым днем. Полное банкротство правящей самодержавно-бюрократической верхушки стало фактом, однако силы, способные смести ее, не пришли еще в движение. «Распутинщина», подобно трупному яду, отравляла политическую жизнь столицы. Россия переживала величайшую национальную трагедию, а ее правители в это время разыгрывали постыдный и непристойный фарс.

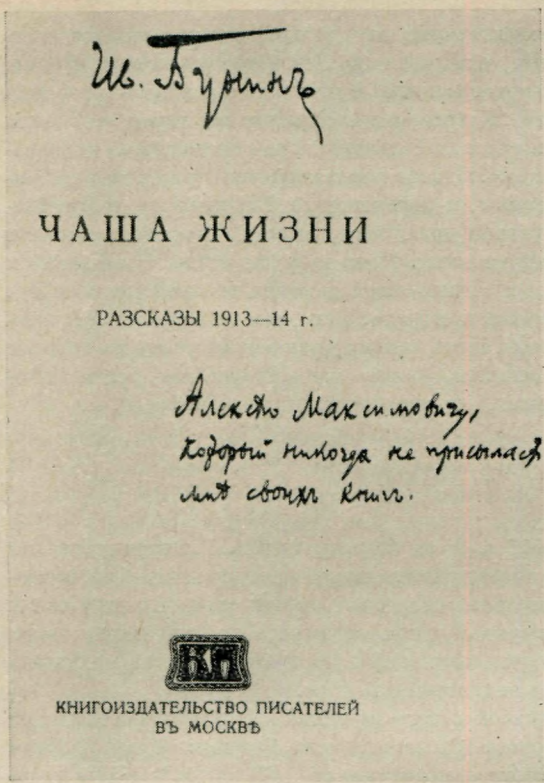
Горький был глубоко озабочен судьбой своего журнала, общими перспективами политического развития страны. 29 августа 1916 г. он писал Бунину: «Дорогой Иван Алексеевич,— нам пора составлять плакат о подписке на „Летопись" в 17-м году. Необходимо знать — что вы дадите нам, чтобы мы могли назвать вашу вещь или вещи ваши. Лучше — вещи! Думаете ли вы писать повесть? Очень прошу — не оставляйте вниманием вашим, как вы это и делали в истекающем году. Хочется видеть вас, хочется много написать вам, но — мои впечатления — отвратительны, мысли — грустны. Я не люблю жаловаться и однако, порою, так тяжко жить, что даже чувствуешь физическое недомогание, точно отравленный.

Что же будет с нами, Русью?» [157]

Февральская революция за несколько дней свалила груз, который Россия несла веками. С самодержавием было покончено, однако политический кризис в стране продолжался. Энтузиазм первых февральских дней еще не мог омрачить дружеских отношений Горького и Бунина. Исторический приговор, вынесенный русскому самодержавию, не вызывал тогда споров. Предметом спора становилось не прошлое, а будущее России.

Важнейшей задачей революции Горький считал немедленный подъем производительных и культурных сил страны. Он принял деятельное участие в работе многочисленных комиссий и комитетов, призванных содействовать развитию науки, образования, искусства и т. д. В число членов организационного комитета «Свободной ассоциации», наряду с виднейшими русскими учеными, были избраны Короленко, Горький и Бунин. В самом конце марта Горький известил об этом Бунина официальным письмом и пригласил его принять участие в публичном заседании ассоциации. Заседание должно было состояться 9 апреля в Михайловском театре. 2 апреля 1917 г.[158] Бунин был уже в Петрограде, виделся с Горьким. В письме к жене Бунин подтвердил: «В день приезда, то есть 2-го, был у Горького, прост, мил, спокоен» [159]. Сохранился сборник публицистических статей Горького, изданный «Парусом», с дарственной надписью: «Любимому писателю и другу Ивану Алексеевичу Бунину. А. Пешков. 2-ое апреля 17 г. Светлое Христово воскресенье. Петроград» (см. настоящ. кн., стр. 59).

На следующий день Горький и Бунин принимали участие в банкете по случаю открытия выставки финского искусства. На банкете чествовали Галлена и других художников, представлявших финское искусство в России. Присутствовали официаль-


Ив. Бунинъ

ЧАША ЖИЗНИ

РАЗСКАЗЫ 1913—14 г.

Алексѣю Максимовичу, который никогда не присылает мнѣ своихъ книгъ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ ВЪ МОСКВѢ

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА ГОРЬКОМУ НА КНИГЕ «ЧАША ЖИЗНИ» (М., 191 5):

«Алексею Максимовичу, который никогда не присылает мне своих книг»

Титульный лист

Музей А. М. Горького, Москва

ные лица, министры Временного правительства, посол Франции. С речами выступали Вера Фигнер, Горький и др.

Бунин оставался еще в Петрограде, когда из-за границы вернулся В. И. Ленин, восторженно встреченный многотысячными массами победившего народа. Знаменитая апрельская речь Ленина, произнесенная с балкона дворца Кшесинской, произвела тогда ошеломляющее впечатление на людей самых разных политических взглядов. Апрельские дни в революционном Петрограде несомненно ускорили кризис политического сознания Бунина. Тогда же, в апреле 1917 г., состоялась последняя личная встреча Бунина и Горького. Распрощались они, как старые товарищи, хотя все происходящее внутренне разделяло их, и чем дальше, тем больше. Через десять лет после революции Бунин подтвердил: «И расстались мы с ним дружески,— в Петербурге 17 г., — расцеловались на прощанье,— навсегда, как оказалось...» [160]

Конец весны, лето и осень 1917 г. Бунин провел в деревне, Горький в это время целиком отдался политике, используя ежедневную трибуну газеты «Новая жизнь».

Объявив себя социал-демократической газетой, стоящей вне фактически существующих партий — большевиков и меньшевиков,— «Новая жизнь» была обречена на постоянные колебания между революционным и реформистским направлениями в рабочем движении. Претендуя на представительство от всей социал-демократии, газета «Новая жизнь» на деле осталась органом литературной группы, а не организованной партии, она выражала мнения той части социал-демократической интеллигенции, которая не имела прочных связей с массами и не представляла самостоятельной политической силы. Если в первые месяцы своего существования «Новая жизнь» тяготела скорее к большевикам, повторяя некоторые их интернационалистские лозунги и тактические установки, то затем, после корниловщины, она резко повернула в сторону меньшевизма, выступив против ленинского курса на вооруженное восстание. Эта общая эволюция «Новой жизни» проявилась и в публицистике Горького—в тех взглядах, которые он

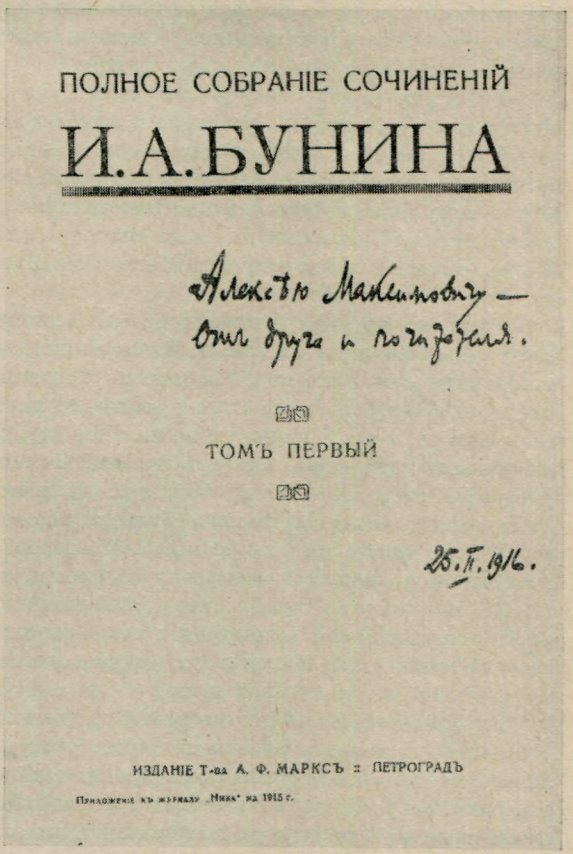
публично отстаивал в газете. Ленин не раз критиковал Горького за бесхарактерность в политике, за то, что в сложных обстоятельствах политической борьбы он поддается «чувству и настроению».

Позиция Горького как публициста «Новой жизни» складывалась крайне противоречиво, причем груз этих противоречий, а со временем и прямых политических заблуждений, все более возрастал.

Еще во время пребывания в Петрограде Бунин дал согласие сотрудничать в «Новой жизни», и его имя регулярно повторялось в перечне постоянных сотрудников газеты. Однако то, что писал Горький на ее страницах, уже не могло вызвать ни согласия, ни поддержки с его стороны. Его отношение к происходящему окрашивалось теперь не «запальчивостью и раздражением», а неизмеримо более сильными эмоциями отрицательного свойства.

С весны 1917 г. на Орловщине начались первые крестьянские волнения. Слухи о пожарах, о поджогах достигали Глотова, где жил Бунин. 31 мая Бунин сообщал брату Юлию, что все работники усадьбы разошлись, остались только два пленных мадьяра. Послать на станцию с лошадьми некого — «никто не поедет, мужики не очень-то интересуются теперь деньгами» [161]. Движение поездов по железной дороге стало нерегулярным. Сообщение между станцией и деревней превратилось в проблему.

По свидетельству Н. А. Пушешникова, который добросовестно продолжал свои записи, в усадьбе ждали, что «вот-вот придут мужики и зажгут дом». Бунин в эти дни крайне резко оценивает политику Временного правительства, с уничтожающим сарказмом отзывается о новых министрах — Ф. Ф. Кокошкине и в особенности В. М. Чернове, которого знал еще по каприйским встречам: «Считается знатоком земельного вопроса! Какая наглость. Ни уха ни рыла не понимать в экономических вопросах и сельском хозяйстве и залезть на пост министра земледелия! Что он может знать! Двенад-


ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. А. БУНИНА

Алексѣю Максимовичу — отъ друга и почитателя.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

25.II.1916.

ИЗДАНІЕ Т-ва А. Ф. МАРКСЪ = ПЕТРОГРАДЪ

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1915 г.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА ГОРЬКОМУ НА ПЕРВОМ ТОМЕ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ» (Пг., 1915):

«Алексею Максимовичу — от друга и почитателя. 25.II.1916».

Титульный лист

Музей А. М. Горького, Москва

цать лет в Италии прожил. В деревне за всю свою жизнь ни разу не был. Я уверен, что он пшена от проса не отличит...» [162]

К концу июля от надежд на сохранение деревенской тишины и спокойствия не осталось у Бунина и следа. «У нас, конечно, не Тмутаракань какая-нибудь, не столь глухо, как у вас,— сообщал Бунин А. Е. Грузинскому 25 июля 1917 г.,—хотя жить порою необыкновенно противно,—то слышишь, что убили кого-нибудь или били, да не добили и, не добив, вырыли могилу и закопали,— ей богу был и такой случай! — то наткнешься в саду на солдата, сидящего на груше, с треском ломающего сучья и ⟨на⟩ грустные увещания горничной говорящего: „молчи, стерва, ты, я вижу ⟨...⟩ старого режиму...“, — но живем и мы помаленьку, употребляя, впрочем, чуть не половину этой жизни на газеты, от которых я порой чуть не плачу в ярости и кровной боли... Не написал я пока еще ни единой строки!» [163]

Среди того немногого, что Бунин написал летом 1917 г., выделяется небольшая сценка «Брань». Собственно это короткий рассказ в форме диалога между кулаком-мироедом Лаврентием и бедным мужиком Сухоногим, знававшим еще времена крепостного права. Спор между ними затрагивает самую суть противоположных классовых интересов, столкнувшихся в деревне. Автор ни одним словом не комментирует диалог, он лишь точно воспроизводит голоса спорящих. Но хотя Бунин и держится как объективная «третья сторона», его глубочайшая заинтересованность в содержании и исходе спора не вызывает сомнений.

Лаврентий и Сухоногий бранятся главным образом из-за земли. Тут они никогда не смогут договориться. Для Лаврентия все его земли — «законно» приобретенные, купленные. Это его «священная» собственность. Отдавать ее без боя он не собирается. Сухоногий считает ту же землю «отнятой», взятой за бесценок, из-за нужды: «Да ты ее у *меня* отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил!» (5, 9).

Сухоногий считает, что всем солдатам давно бы надо «ружья покидать да домой!» Лаврентий возражает, что «ружья нельзя кидать, беспорядок будет». Их отношение к войне, к новой государственности, возникшей на обломках монархии, так же противоположно, как и коренные земельные интересы.

Последнее слово в споре остается за Сухоногим. Простой мужик не хочет знать новых «хозяев», которые «оголодили» его, сгребли себе лучшие земли. И под новую «державу», продолжающую войну, он не пойдет ни за какие «золотые дворцы». В этом Бунин мог убедиться еще накануне Октябрьской революции. Но авторское сочувствие Сухоногому было небезусловным. Оно ограничивалось вполне определенным сословным чувством. Бунин склонялся на сторону Сухоногих лишь до тех пор, пока те бранились с ненавистными ему захребетниками Лаврентиями, выживавшими старых бар из их захудалых имений.

Реальный русский мужик готов был в любую минуту переменить фронт. Бунинский Сухоногий этого не делает. Его ненависть к живодеру Лаврентию соединяется с некоторыми сожалениями о давнишнем патриархальном укладе. Если он за что-нибудь и попрекает своих старых господ, то лишь за то, что они промотали не только свои имения, но и дворянскую честь. «Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность подданства, а теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют! Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алебарду не опускай! Тебя господа костылями не могли бить, ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю! Тебя, такого-то, будь ты хоть бурмистром, нельзя было не бить, ты слов не слушал, ты господина всегда норовил обокрасть, а меня господа пальцем не трогали!» (5, 11). Когда Сухоногий бранится с Лаврентием, в его словах пышет ненависть всего крестьянства к своим угнетателям; когда он оплакивает разорившихся господ, в нем говорит лишь голос послушного, добровольного холопа, то есть нечто исчезающее, исторически отжившее свой век.

Глубина классовых противоречий в деревне не исчерпывалась антагонизмом безземельного мужика и кулака-мироеда, отраженным в бунинской «Брани». Обездоленное крестьянство поднималось против всей старой системы помещичьего землевладения, сохранившегося в России до самой Октябрьской революции. В отличие от Сухоногого, русский мужик не имел никаких оснований относиться к наследственной

помещичьей земле иначе, чем к скупленной, награбленной земле «чумазых», вроде Лаврентия. И та, и другая была облита мужицкой кровью и потом. Наступал час общего исторического возмездия, час низвержения всех «хозяев», и новых, и старых. Для Бунина этот час означал полную катастрофу, личную и социальную, и он мог встретить его лишь проклятьями.

Если Горький, оставаясь в Петрограде, находился в самом эпицентре политической бури и имел возможность непосредственно наблюдать за всем ходом революции, то Бунин следил за событиями 1917 г. из глубины деревенской России, где как раз и возникали наиболее угрожающие симптомы надвигающегося общественного циклона. И Горький, и Бунин рассматривали создавшееся положение без иллюзий, однако, их оценки исторической ситуации становились все более полярными.

Последнее практическое дело, которое связывало Бунина с Горьким, касалось судьбы полного собрания бунинских сочинений в издательстве «Парус». Первые объявления об этом появились в печати еще весной 1917 г. Для начала «Парус» предполагал выпустить полные собрания сочинений Бунина и Брюсова. Выбор этих имен достаточно показателен. Бунин и Брюсов для Горького оставались наиболее значительными фигурами современной прозы и поэзии, им было отдано предпочтение в издательских планах «Паруса».

Соглашение Бунина с «Парусом» об издании нового собрания сочинений состоялось в первой половине 1917 г. 28 июня в письме к З. И. Гржебину, ведавшему делами издательства, Бунин составил точный план распределения стихов и прозы по томам. Всего их намечалось десять. По своей полноте новое собрание сочинений должно было превосходить марксовское издание 1915 г. К концу июня Бунин переправил Гржебину материалы для шести томов. «Не посылаю пока остальных четырех,— сообщал он 28 июня 1917 г.,— во-первых, потому, что некуда спешить, что у вас теперь много материала, к набору которого вы, вероятно, еще и не приступали...» [164] Начать выпуск своих сочинений Бунин предлагал с тех томов, куда входили «Деревня» и «Господин из Сан-Франциско» (по его плану тома шестой и десятый), поскольку этих книг уже не было на складе «Книгоиздательства писателей в Москве», где он издавался прежде.

Не в добрый час приступил Бунин к изданию своих книг. Книжное дело в Петрограде и в Москве разваливалось. Не хватало самых необходимых материалов, прежде всего бумаги; цены росли, типографии работали со все более угрожающими перебоями.

Летом 1917 г. Горький предложил Бунину составить жизнеописание библейского пророка Моисея (с этим предложением он перед тем обращался к Брюсову) и перевести прозой байроновского «Дон-Жуана» — давняя идея, обсуждавшаяся Буниным и Горьким в «знаньевские» времена. Бунин ответил сухо, с плохо скрытой обидой: «Кстати о „Парусе". Что же это он делает со мной? Даже на письма мои ни звуком не откликается ! Это ставит меня положительно в тупик. Живу и я скверно. Чуть не весь день уходит на газеты, которых я получаю штук тысячу. И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси» [165].

Бунинское письмо, помеченное 10 августа, не застало Горького в Петрограде. В этот день Горький уехал в Крым, где оставался до конца сентября 1917 г. Вопросы Бунина опять остались без ответа. На обратном пути из Крыма Горький две недели пробыл в Москве. Письмо Бунина он прочел только после возвращения из поездки (на письме сохранились пометки его рукой), но даже при самом лучшем отношении к автору «Парус» не мог сделать больше, чем было в его силах.

Сохранилась тетрадь Бунина с дневниковыми записями, охватывающими в основном осенние месяцы 1917 г. (с августа по ноябрь). Пролежавшая под спудом более сорока лет, тетрадь эта попала в коллекцию Н. П. Смирнова-Сокольского, а после его кончины была опубликована в извлечениях и выдержках [166]. Этот документ подтверждает, насколько тяжким был духовный кризис Бунина в то время.

После многомесячного запойного чтения газет Бунин почувствовал себя как бы отравленным политикой. Он утратил способность воспринимать связь событий. Политические записи в его дневнике становятся все более редкими, обрывочными и растерян-

ными, хотя в некоторых случаях им нельзя отказать в меткости. Керенский для него — «одна из самых вредных фигур». «Опять хвастливое красноречие, „я", „я", и опять направо и налево. Этого совместить, вероятно, нельзя»,— заключал Бунин.

13 октября Бунин отметил в дневнике полнейшее равнодушие деревни к выборам в Учредительное собрание, на которое возлагали так много надежд все буржуазные партии, не исключая меньшевиков и эсеров: «Вот-вот выборы в Учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим. Русский народ взывает к богу только в горе великом. Сейчас счастлив — где эта религиозность?» Наблюдая за происходящим, Бунин помимо воли вынужден был признать, что народ «счастлив» в бурные дни 1917 г. Для него самого, однако, это был чужой праздник, чужой пир, и похмелье этих дней казалось ему невыносимым. За неделю до Октябрьской революции в дневнике Бунина появилась краткая запись: «Про политику и не пишу. Изболел...»

Что же составляло содержание его жизни в это время? Бунин сам задавался этим нелегким вопросом: «Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю...» Кроме воспоминаний, Бунину оставались еще наблюдения за природой и чтение книг. То и другое служило ему своего рода убежищем, где он пытался укрыться от мучительных переживаний, связанных с современной историей и политикой.

С первых чисел августа и до конца октября 1917 г. Бунин изо дня в день ведет тончайшие фенологические наблюдения за небом, землей, старым садом, отдельными деревьями, жнивьями, всей окружающей его природой. Как прирожденный живописец, Бунин не устает смотреть и восхищаться. Он пробует разные краски, меняет тона, освещение, перспективу, добиваясь предельной выразительности рисунка, цветовой гаммы и колорита. «И все мука, мука, что не могу выразить, нарисовать»,— сокрушался он, сравнивая вид жнивья и пашни с картиной французского художника-импрессиониста.

Пейзажные наброски, заполняющие страницы дневника Бунина, — это не только дань многолетней привычке разрабатывать свои впечатления в слове. Лишь наедине с природой он по-настоящему отдыхал душой в эти дни. Он тянулся к ней, как больной к целительному источнику. Безмятежный покой русской осени на какие-то минуты возвращал ему утраченное ощущение счастья. Изумительное описание полночного неба, помеченное 7 октября, Бунин кончил словами: «О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир перевел дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание». И чем сильнее были громовые удары революционной истории 1917 г., от которых у Бунина, по его собственным словам, заходил «ум за разум», тем прекраснее казалась ему божественная тишина ясной октябрьской ночи в деревне.

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Эти вещие тютчевские слова напомнил Александр Блок в статье «Интеллигенция и революция», где он утверждал, что дело художника — «слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух" ⟨...⟩ „Мир и братство народов" — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать»[167].

Если поэтический слух Блока отчетливо различал шум крушения старого мира и «музыку революции», то для Бунина поэзия сохранялась лишь в том, что лежало за чертой социальных и исторических потрясений. Он отверг то, что свершалось в мире в его «минуты роковые». И как поэт, Бунин в эти минуты менее всего был «счастлив». Ни уединенные прогулки по окрестностям, ни чтение книг (Бунин перечитал их за осень целые груды) не приносили успокоения. Желанное вдохновение покинуло его. В записях Бунина прорываются ноты глубокой неудовлетворенности собой: «Отупел я, обездарел, как живу, чем живу? Позор!»

Оставаться далее в деревне, в глухой изоляции от происходящего Бунин не мог, да и время шло к зиме. В конце октября 1917 г. он вместе с женой выехал в Москву. Как и двенадцать лет назад, в дни декабрьского восстания 1905 г., в Москве шли вооруженные столкновения. Но на этот раз роли переменились. Если тогда правительственные войска расстреливали из пушек революционные баррикады, то теперь революцион-

ные отряды громили очаги сопротивления войск низложенного Временного правительства.

После первых декретов Октябрьской революции Бунин узнал «ошеломляющую» новость: «Ленин сместил Духонина и назначил главнокомандующим Крыленко. Он всего-навсего прапорщик». 21 ноября Бунин вписывает в тетрадь тоскливые строки: «12 часов ночи. Сижу один — слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, мудрость, чувственность, ощущение запахов и прочее. Это не так просто, в этом какая-то суть темного существования. Передо мною бутылка 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия. Где она теперь? О боже, боже...»

До конца ноября Бунин ничего не знал о судьбе своего злосчастного собрания сочинений. К концу 1917 г. «Парус» издал десятый том («Произведения 1915—1916 гг. Стихотворения») и приступил к набору девятого тома. Руководители издательства Горький и А. Н. Тихонов не теряли надежды выпустить литературный альманах «Паруса» и ждали новых бунинских вещей. Обо всем этом Бунин узнал из письма Тихонова от 8 декабря 1917 г. Ответил Бунин 28 декабря большим деловым письмом, за которым чувствуется нескрываемое озлобление по поводу всего происходящего: «Многоуважаемый Александр Николаевич, для альманаха „Парус" сейчас, к сожалению, ничего не могу дать, кроме стихов,— я ничего не писал ни летом, ни осенью, у меня вся голова посерела от свободы, равенства и братства. Стихи, если угодно, могу выслать немедля, напишите, сколько вам надо строк. Цена — 10 р. строка ⟨...⟩ О том, что мой X т. уже напечатан и IX печатается, я узнал только из вашего письма от 8 декабря и известием этим не мог быть очень обрадован: согласитесь, что напечатать за 6 месяцев одну книгу, давши обязательство „выпустить к 31 декабря 1917 г. все собрание сочинений", т. е. 10 книг,— очень немного, а не дать автору ни одной корректуры, не дать ему даже глазком взглянуть на эту книгу — изумительно» [168].

Изданный десятый том (на обложке помечен 1918 г.) оказался единственным из всего собрания сочинений Бунина, не ко времени затеянного «Парусом». Недобрые чувства Бунина по отношению к Тихонову и Горькому далеко не исчерпывались крайним раздражением по поводу испорченного собрания сочинений. К техническим погрешностям издания Горький был совершенно не причастен: в условиях разрухи «Парус» доживал последние дни.

В самом конце 1917 г. по приезде в Москву Горький остановился у Е. П. Пешковой, и она сообщила Бунину по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». «Я ответил,— пишет в своих воспоминаниях Бунин,— что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными» [169].

В зимние месяцы 1918 г. Бунин еще продолжал заниматься подготовкой своего собрания сочинений. По привычке, так же тщательно, как всегда, Бунин выверял каждую строку, негодовал на опечатки, заботился об оформлении своих книг, в которых он дал превосходные картины жизни старой России. Он-то думал, что знал ее до конца! Теперь у него были серьезные основания усомниться в этом. 9 февраля 1918 г. в бунинском дневнике сделана запись: «Потом читал корректуру своей „Деревни" для горьковского книгоиздательства „Парус". Связал меня черт с этим заведением! А „Деревня" вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?» [170]

Стоит отметить, что весной 1918 г. Горький также вернулся к мыслям о мужике, вызванным в свое время спорами о бунинской «Деревне». Он посвятил этому вопросу специальный пассаж в «Несвоевременных мыслях», который, надо думать, пришелся Бунину не по вкусу, хотя автор статьи как будто бы защищал его от старых нападок: «Иван Бунин мужественно сгустил темные краски—Бунину сказали, что он—помещик и ослеплен классовой враждой к мужику. И, конечно, не заметили, что писатели-крестьяне — Ив. Вольный, Семен Подъячев и др. — изображают мужика мрачнее Чехова, Бунина и даже мрачнее таких, уже явных и действительных врагов народа, как, например, Родионов, автор нашумевшей книги „Наше преступление"» [171].

Среди бумаг Бунина осталась вырезка статьи, в которой эти строки подчеркнуты им [172]. Горький напомнил об упреках, выводивших Бунина из себя, по поводу них он неоднократно объяснялся в печати, считая параллель с Родионовым «чертовым

соседством». Замечание Горького сыпало соль на старые раны как раз в тот момент, когда Бунин был действительно ослеплен «классовой враждой», и не только к мужику, а к восставшему и разгневанному народу, не желавшему больше жить, как жили веками бунинские дурновцы. Перечитывая «Деревню», Бунин убеждался, что сбываются самые мрачные предчувствия, владевшие им при написании этой книги. Его политический консерватизм, до времени скрытый и неоформленный, приобретает в дни революции более отчетливый характер, чем когда-либо прежде. В сознании автора «Деревни» совершалась глубокая переоценка людей и связей, определявших во многом его собственную литературно-общественную ориентацию. Отношение к большевикам, к существующей власти, к революции — вот то главное, что в конечном счете разделило Горького и Бунина и привело их к разрыву.

До мая 1918 г. Бунин оставался в Москве. Среди его московских записей этого времени упоминания о Горьком встречаются неоднократно и каждый раз с неприязнью и раздражением. Нет сомнений, что до самого отъезда из Москвы Бунин продолжал следить за статьями Горького в «Новой жизни», где тот перешел к резкой полемике с Лениным и большевиками. Судя по ряду замечаний в дневнике и письмах, Бунин не придал особого значения этому спору, достигшему наибольшего накала в конце 1917 — начале 1918 г.

После того как Октябрьская революция стала свершившимся фактом, Горькому потребовалось определенное время, чтобы избавиться от иллюзий, растерянности, политического скептицизма, задававших основной тон его статьям в «Новой жизни». Невероятно сложный и мучительный процесс умирания старого и рождения нового общественного строя отразился в сознании Горького прежде всего болью неслыханно тяжелых для России родовых мук. Эта негативная, отрицательная сторона процесса, многократно осложненного бедствиями войны, разрухи, исторической отсталости страны, стояла перед его глазами во всей своей устрашающей реальности.

Вторая, более глубокая и определяющая, созидательная тенденция революции поначалу казалась Горькому слишком слабой. Но именно ей принадлежало будущее. Горький почувствовал это раньше, чем исчезли последние разногласия, разделявшие его с большевиками. Провожая уходящий 1917 год, он писал: «Что даст нам Новый год? Все, что мы способны сделать. Но для того, чтоб стать дееспособными людьми, необходимо верить, что эти бешеные, испачканные грязью и кровью дни — великие дни рождения новой России» [173].

Вот пункт, от которого пути Горького и Бунина круто расходятся в разные стороны. К Горькому возвращалось утраченное чувство диалектики исторического процесса, «чувство будущего», которое всегда составляло самую сильную сторону его таланта. Этот внутренний процесс переосмысления революционной действительности и своего отношения к ней не был простым и легким. Горькому понадобилось еще несколько лет напряженнейших исканий, чтобы утвердиться на новой исторической точке зрения. То широкое и целостное осмысление современной эпохи, к которому Горький пришел в своих итоговых книгах, было поистине выстрадано им в первые послереволюционные годы.

В конечном счете Горький не только «принял» революцию, но и занял в ней место правофлангового социалистической культуры, которое по праву принадлежало ему как крупнейшему пролетарскому писателю, кровно связанному с рабочим движением России и всего мира. Исторический выбор, сделанный Горьким, был столь же закономерен и предопределен всей его литературно-общественной биографией, как и путь, избранный Буниным.

## 8

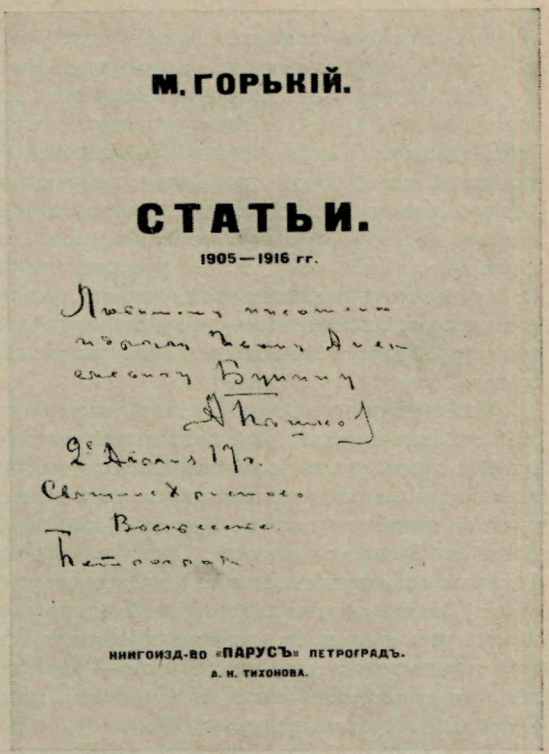
Еще до революции, на Капри, Бунин начал писать рассказ о смерти одинокого князя, с кончиной которого угасает целый дворянский род. Тогда рассказ остался недописанным. В 1918 г. Бунин вернулся к этому сюжету. Время расширило его потенциальную емкость, частный эпизод приобрел значение исторического символа. Рассказ назывался «Конец», а потом получил другое, более точное заглавие — «Исход».

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГОРЬКОГО БУНИНУ НА КНИГЕ «СТАТЬИ. 1905—1916 гг.» (Пг., 1917):

«Любимому писателю и другу Ивану Алексеевичу Бунину А. Пешков 2-е Апреля 17 г. Светлое Христово Воскресенье. Петроград»

Титульный лист

Архив А. М. Горького, Москва



М. ГОРЬКІЙ.

СТАТЬИ.

1905—1916 гг.

Любимому писателю
и другу Ивану Алек-
сеевичу Бунину
А. Пешков
2е Апреля 17 г.
Светлое Христово
Воскресенье.
Петроград

КНИГОИЗД-ВО «ПАРУСЪ» ПЕТРОГРАДЪ.
А. Н. ТИХОНОВА.

Многозначительна встреча князя за неделю до смерти с мужиком, его ровесником, который еще ворочает мешками на мельнице.

«„А уж и худ ты! — холодно и пренебрежительно сказал он князю, хотя прежде всегда говорил с ним почтительно.— Прямо никуда! Нет, теперь тебе житья немного. Тебе лет семьдесят будет?" — „Пятьдесят первый", — сказал князь.— „Пятьдесят первый! — насмешливо повторил старик, возясь с веретьем.— Не может того быть,— твердо сказал он,—ты намного старше меня". — „Вот дурак,— усмехнувшись, сказал князь,— да ведь мы росли вместе".— „Ну, росли, не росли, а житья тебе теперь немного",—сказал старик, натуживаясь, и, приподняв и прижимая к груди тяжелую, полную рожью меру, поспешно, приседая, пошел в шумящую, белую от муки мельницу ...» (5, 14).

Хотя князь и мужик росли вместе, отпущенная им мера жизни оказалась разной. Один до старости истратил все свои жизненные силы, зачах, одряхлел, другой, натуживаясь, продолжает нести свою тяжелую ношу. То же самое можно сказать и об исторической судьбе классов, к которым они принадлежали. Смерть одинокого бездетного князя воспринимается как символ гибели целого сословия. Давно уже мощь дворянства как «первого сословия» государства была подорвана. Более четверти века Бунин писал об этом, правдиво отмечая все признаки оскудения и вырождения дворянских родов. Теперь, когда революция подрубила последние корни, связывавшие дворянство с землей, Бунину осталось констатировать мрачный исход.

«Чего жалеть,— серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящик комода, вынимая оттуда чистое белье, простыни и наволочку на подушку.— Умерли смирно, всем так дай бог. А жалеть их некому, никого после себя не оставили,— прибавила она и опять вышла» (5, 13—14).

Бунин строго держится правды конкретного эпизода, доподлинных обстоятельств человеческой смерти как неизбежного исхода всякого индивидуального бытия. Лишь дата, поставленная под рассказом — 1918, является своего рода историческим знаком бунинского сюжета. Молодой дворянин Бестужев перед постелью умершего князя

«все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться. Но ужаса не было. Была только удивленность, невозможность осмыслить, охватить происшедшее ...»

Эти чувства — лишь слабый отзвук того, что испытал сам Бунин, переживая социальную катастрофу, постигшую русское дворянство в дни революции. Между актом индивидуальной смерти, всегда тревожившей его воображение (не случайно Бунин так упорно возвращался к этой теме), и гибелью целого класса, которому он пропел отходную своим творчеством, была дистанция огромного размера. Бунин не рассматривал эту катастрофу как узкосословную, в его глазах это было общенациональное крушение, распад всех основ русской государственности, морали, культуры. В безуспешных попытках что-то понять, осмыслить, охватить происшедшее он возроптал против исторически справедливого приговора, вынесенного в Октябре 1917 г. всей старой дворянско-помещичьей, буржуазной России, и достиг при этом крайних степеней классового ослепления.

Книга Бунина «Окаянные дни», составленная из дневниковых записей 1917—1919 гг., дает картину разрушительной внутренней ломки, пережитой им в это время. Как произведение прозы эта книга не имеет никакой ценности. Здесь Бунина оставляет не только исторический разум, но и талант. Все искажено самой грубой и реакционной тенденциозностью. Нет здесь ни России, ни ее народа в дни революции, ни прежнего Бунина-художника. Среди разрозненных заметок «для себя» в бумагах Горького сохранилась запись, относящаяся к 1925 г.: «Очень плох И. А. Бунин в своих „Окаянных днях". Истерика Леонида никогда не удивляла меня. Леонид был невежествен и слишком напряженно желал, чтобы весь мир, притаив дыхание, слушал только голос Андреева. Бунин — умен по природе, достаточно образован. Видеть его в состоянии столь болезненного бешенства и обидно, и противно. И жалко художника. Пропал художник» [174].

Если раньше Бунин избегал прямых вмешательств в политику, сторонился всякой партийности, сохраняя при этом связь с прогрессивными литературно-общественными кругами, то теперь он отдался политическим эмоциям темного, едва ли не монархического толка. Подобная метаморфоза требовала решительного пересмотра многого из прежних взглядов, тяготений, симпатий. И этот пересмотр не замедлил последовать.

Та общественная позиция, которую Бунин занимал прежде, до революции, кажется ему уже слишком либеральной, чересчур нетерпимой по отношению к старому российскому режиму. Еще более резким был его разрыв с современным демократическим лагерем в литературе, точнее, ближайшим литературным кругом Горького, к которому Бунин тяготел без малого двадцать лет. Эта неотъемлемая часть собственной духовной биографии вызывала теперь у него злые и безутешные сожаления. Бунина терзала мысль, что некогда он мог думать и чувствовать иначе, чем теперь, что был он дружен и ласков с людьми, по отношению к которым испытывал ныне глубочайшее отчуждение. Имя Горького отныне прочно связывается в сознании Бунина с чуждым ему миром народной революции и советской власти.

Переоценка ценностей захватывает у Бунина по существу все литературно-общественное движение конца XIX — начала XX в. Лишь великие старшие современники — Лев Толстой и Чехов — навсегда остались для него незыблемыми авторитетами. Вся же младшая демократическая ветвь новой русской литературы и в особенности те писатели, которые приняли революцию, потеряли в его глазах многие прежние достоинства.

При воспоминаниях о давней дружбе с Горьким Бунин был готов отречься от всего. Он и сделал это публично, выступив в 1930 г. с чтением своих литературных мемуаров в большом концертном зале Гаво в Париже (текст их затем был опубликован почти без изменений). Все, что было сказано в этих воспоминаниях, относилось не столько к жанру литературных мемуаров, сколько к разряду литературного пасквиля — так грубо, тенденциозно, антихудожественно (даже в памфлетном смысле) подавались мемуаристом эпизоды его первых встреч с Горьким, отношение к Горькому Чехова и многое, многое другое.

Горький не стал отвечать в печати на исступленные речи бывшего друга и соратника. Однако еще при жизни он предоставил для публикации около пятидесяти старых писем

Бунина, которые были красноречивее любого ответа. Публикацию своих писем к Горькому Бунин встретил болезненно. Он готов был поставить под сомнение даже свою былую искренность, лишь бы прежняя правда не колола глаза. Об этом ударе он не забыл даже при составлении своего литературного завещания, в котором заклинал предать сожжению все старые письма, когда-либо им написанные. «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех, и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал,— в силу разных обстоятельств (один из многих примеров — письма к Горькому, которые он, не спросясь меня, отдал в печать)» [175]. На склоне лет Бунин отрекся от дружбы с Горьким и от лучших страниц своего собственного прошлого.

По отношению к Бунину Горький до конца жизни сохранил неизменную в своей последовательности историческую точку зрения. Горький никогда не смешивал и не ставил на одну доску Бунина-художника и Бунина-эмигранта, хотя отношения писателей сломались резко и бесповоротно.

В советские годы у Горького окончательно складывается отношение к Бунину как живому классику русской литературы, крупнейшему ее мастеру и признанному стилисту. В статье «Семен Подъячев» (1923) Горький вернулся к своей идее о новом качестве русской литературы в ее отношении к народу—в произведениях Чехова, Бунина, Подъячева и Вольнова: «В художественной литературе первый сказал о мужике новое и веское слово В. Г. Короленко в рассказе „Река играет“, затем А. П. Чехов написал один за другим три замечательных рассказа: „Мужики“, „Новая дача“ и „В овраге“, — его рассказы были приняты народнически верующей публикой враждебно, как хула на мужиков. Но вслед за Чеховым еще более определенно отрицательно начал писать о деревне И. А. Бунин; его отношение к ней и к мужику особенно сурово в рассказах „Ночной разговор“, „Сто восемь“, „Захар Воробьев“ и большой повести „Деревня“. Всего красноречивее и убедительнее в пользу правдивости и верности наблюдений Бунина и Чехова над жизнью деревни говорит сама деревня устами писателей-мужиков: подмосковного мужика Семена Павловича Подъячева и орловского — Ивана Егоровича Вольнова, в книге которого „Юность“ деревня окрашена еще более мрачными красками, чем краски Бунина и Чехова» [176].

В освещении народной темы Бунин доводит до конца, до логического завершения критическую направленность реализма своих предшественников. Но как творчество самого Бунина не исчерпывается деревенской, крестьянской темой, так и значение его реализма не замыкается рамками эволюции народной темы в русской литературе. Горький сознавал это лучше, чем кто-либо, когда ставил Бунина-художника в один ряд с великими русскими писателями XIX в. Обращаясь к молодым авторам, Горький формулировал вполне определенную литературную программу:

«Учитесь,— писал он в ноябре 1927 г. Н. Маркелову.—Читайте мастеров словесного искусства: Гоголя, Льва Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина, внимательно читайте Лескова. Думайте над тем, как они расставляют слова, почему они изображают вещи, людей, животных так, что вы почти видите все это» [177].

Изобразительную мощь реализма Толстого Горький рассматривал как высшее завоевание русской литературы. Среди немногих писателей, которые в какой-то мере удержали это качество, он назвал в 1931 г. Ивана Бунина: «Пластике, рельефности, почти физической ощущаемости изображаемого следует учиться у Толстого. Это писатель, не превзойденный в смысле того, как дать такой образ, что в него буквально хочется пальцем ткнуть. А затем идут все те писатели, которые шли от него, например, Бунин» [178].

Таким образом, в историко-литературной концепции Горького Бунин неизменно выступает как художник, завершивший своим творчеством эпоху критического реализма в русской литературе. Это историческое место делает фигуру Бунина чрезвычайно значительной и для характеристики общих особенностей русского критического реализма на заключительной стадии его развития, и для осознания масштабов того перелома, который произошел в русской литературе вместе с Октябрьской революцией. Отношения Бунина и Горького, оцененные под этим углом зрения, демонстрируют не только связь, но и перерыв постепенности, исторический разрыв, переход всего литературного развития в новое качество.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. Горький. ‹О Бунине›.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 92.
[2] Письмо 3 июня 1925 г.— «Архив Горького», т. VII, стр. 122.
[3] Письмо 20 августа 1910 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 49.
[4] По вопросу о взаимоотношении творческого метода Чехова и Бунина до настоящего времени существуют разногласия (см. в настоящей книге статью Э. А. Полоцкой «Чехов в художественном развитии Бунина»).
[5] Одним из первых в советском литературоведении проблемой творческих связей Горького и Бунина занялся С. Касторский, которому принадлежат вступительная статья и примечания, сопровождающие публикацию 46 писем Бунина к Горькому («М. Горький. Материалы и исследования», т. II. М.—Л., 1936, стр. 383—460). Эта же проблема рассматривается в статье С. Касторского «Горький и Бунин» («Звезда», 1956, № 3) и других, более поздних его работах. Однако ни по документальным материалам, ни с точки зрения общей концепции эти работы не отвечают современному уровню изучения русской литературы XX в.
[6] О Чехове.— Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 241—242; см. также настоящ. кн., стр. 247.
[7] Горький, т. 28, стр. 77.
[8] Письмо от апреля-мая 1899 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 12.
[9] Там же.
[10] «Архив Горького», т. VII, стр. 11.
[11] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 25.
[12] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 14.
[13] Письмо от середины августа 1900 г.— Там же, стр. 15.
[14] Там же, стр. 16.
[15] Там же, стр. 18—19. Горький имеет в виду стихотворение Бунина «На распутье», посвященное В. М. Васнецову. Об этом стихотворении и отношениях Бунина с издательством «Скорпион» см. «Переписку с В. Я. Брюсовым» (настоящ. том, кн. 1).
[16] «Лит. наследство», т. 68, стр. 410.
[17] Там же, стр. 411.
[18] «Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения», т. V. М.— Л., 1960, стр. 132.
[19] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 514.
[20] Там же, стр. 515.
[21] Горький, т. 28, стр. 131.
[22] И. А. Белоусов. Литературная среда. Воспоминания. 1880—1928. М., «Никитинские субботники», 1928, стр. 117.
[23] «Лит. наследство», т. 72, стр. 89.
[24] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 50. Приведенная записка позволяет точно установить день чтения Горьким пьесы «На дне» в доме Л. Андреева. В «Летописи Горького» (вып. 1, стр. 403) чтение датируется приблизительно, между 27 и 29 сентября 1902 г.
[25] «Записки писателя», стр. 102.
[26] К. Чуковский. Наши гости.— «Одесские новости», 1902, № 5843, 28 декабря. См. настоящ. том, кн. 1, стр. 360.
[27] «Автобиографическая заметка».— Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 263.
[28] Письмо 10 марта 1927 г.— «Архив Горького», т. VII, стр. 126.
[29] Деловая и организационная сторона отношений Горького с издательством подробно освещена в статье В. Голубева «М. Горький и „Знание“» («Звезда», 1938, № 10), а также в обстоятельном исследовании Ю. М. Олейникова «М. Горький и „Знание“» («Ученые записки» ЛГПИ им. А. И. Герцена, т. 58. Л., 1947).
[30] Письмо между 13 и 17 октября 1901 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 41.
[31] Там же, стр. 42.
[32] АГ. Переписка «Знания», 11—1—2.
[33] Там же.
[34] Письмо 25 октября 1901 г.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 281.
[35] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 19. Письмо здесь ошибочно датировано («март, до 8-го, 1901») по времени приезда Горького из Петербурга в Москву 9 марта 1901 г. Между тем, речь в письме идет о приезде Горького в Москву 8 ноября 1901 г. по пути из Нижнего Новгорода в Крым (см. АГ. Переписка «Знания», 11—1—3. Письмо Бунина Пятницкому 28 октября 1901 г.).
[36] Письмо между 19 и 24 ноября 1901 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 53.
[37] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 430—432.
[38] Письмо 5 января 1902 г.— АГ, КГ—п—63—1—1. А. А. Карзинкин не был издателем книги Бунина «Новые стихотворения» (М., 1902) — по просьбе автора Телешов и Карзинкин лишь наблюдали за изданием, сносились с владельцем типографии и т. п. (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 539).
[39] Письмо 10—11 января 1902 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 68.
[40] Письмо 27 июня 1902 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 22.
[41] Письмо после 27 июня 1902 г.— АГ. Переписка «Знания», 11—1—25.

Письмо 2—3 июля 1902 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 92.

[43] См. сб. «М. Горький и поэты „Знания“». «Библиотека поэта». Большая серия. Вступит. статья и примеч. С. Касторского. Л., 1958.

[44] «Архив Горького», т. IV, стр. 118.

[45] Отчет ‹Академии наук› о пятнадцатом присуждении премии имени А. С. Пушкина. СПб., 1903, стр. 7—8.

[46] «Архив Горького», т. IV, стр. 106.

[47] АГ. Переписка «Знания», 11—1—21.

[48] «Архив Горького», т. IV, стр. 145.

[49] АГ. Переписка «Знания», 11—1—33. О работе Бунина над переводами мистерий Байрона см. также настоящ. кн., стр. 490—491.

[50] Критик охранительного направления Н. Я. Стародум (Стечькин) тогда же указал на тактические цели, которые преследовали организаторы сборников «Знания»: «Они могут выходить в свет, подчиняясь общим правилам выпуска книг, имеющих свыше десяти печатных листов объема и не подлежащих в столицах предварительной цензуре. Выпуск вместо журнала подобных периодических изданий — не новость ‹...› Таким же подобием журнала представляется и сборник „Знания“» («Русский вестник», 1904, № 5, стр. 788).

[51] «Записки писателя», стр. 53.

[52] Письмо 9 марта 1903 г.— «Архив Горького», т. VII, стр. 44.

[53] АГ. Переписка «Знания», 11—1—30.

[54] АГ. Переписка «Знания», 11—1—31.

[55] Письмо 12—13 декабря 1903 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 144.

[56] А. П. Чехов. Письмо 13 апреля 1904 г.— Полн. собр. соч. и писем, т. XX. М., 1951, стр. 268.

[57] М. Неведомский. О современном художестве (По поводу сборника «Знания»).— «Мир божий», 1904, № 10, отд. II, стр. 139.

[58] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 29.

[59] Письмо около 20 ноября 1904 г.— Там же, стр. 35. О работе Бунина над очерком «Памяти Чехова» см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 557—559.

[60] Александр Блок. Собр. соч., т. 5. М.— Л., 1962, стр. 116.

[61] «Архив Горького», т. V, стр. 147—148.

[62] Горький, т. 23, стр. 336.

[63] См. И. Нович. М. Горький в эпоху первой русской революции, изд. 2. М., 1960, стр. 81—134.

[64] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 239.

[65] «Летопись Горького», вып. 1, стр. 513.

[66] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 182.

[67] См. «Жизнь Бунина», стр. 162.

[68] «Материалы», стр. 96—97.

[69] «Жизнь Бунина», стр. 165—166.

[70] Горький, т. 28, стр. 391.

[71] См. В. Я. Орлова. М. Горький — участник первой русской революции.— Сб. «М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов». М., изд-во АН СССР, 1957, стр. 152—155.

[72] Ф. И. Драбкина. В дни декабрьского восстания.— Там же, стр. 93.

[73] «Архив Горького», т. IV, стр. 193.

[74] «Жизнь Бунина», стр. 166.

[75] Письмо между 3 и 7 июля 1905 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 184.

[76] Письмо 21 июля 1905 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 38.

[77] Там же.

[78] Там же, стр. 24. Письмо ошибочно датировано здесь началом августа 1903 г. В комментариях оно связано с выпуском тома «Стихотворений» Бунина (Собр. соч., т. 2, 1903); между тем речь идет о книжке: Ив. Бунин. Стихотворения. Дешевая библиотека товарищества «Знание», № 89. СПб., 1906. Являясь ответом на письмо Бунина 21 июля 1905 г., настоящее письмо Горького было написано не раньше конца июля — начала августа 1905 г.

[79] «Архив Горького», т. IV, стр. 185.

[80] Письмо около 28 сентября 1908 г.— «Архив Горького», т. IV, стр. 261—262.

[81] См. И. Корецкая. Горький и Куприн.— «Горьковские чтения 1964—1965». М., 1966, стр. 142—145.

[82] Письмо от марта 1907 г.— «Архив Горького», т. VII, стр. 59.

[83] О деловой и фактической стороне этих отношений подробнее см. А. Нинов. Бунин в «Знании».— «Русская литература», 1964, № 1, стр. 184—201.

[84] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 42.

[85] АГ. Переписка «Знания», 10—24—45.

[86] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 45.

[87] «Одесский листок», 1910, № 58, 12 марта. Воспроизведено: «Новый мир», 1965, № 10, стр. 224.

[88] Письмо 15 июня 1910 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 48.

[89] В. В. Воровский. Литературная критика. М., 1971, стр. 302.

[90] «Голос Москвы», 1912, № 245, 24 октября. Воспроизведено: «Новый мир», 1965, № 10, стр. 227 —228.

[91] И. Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 14.

[92] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 209.

[93] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 44.

[94] Там же.

[95] В литературе о Горьком и Бунине долго держалась ошибочная версия о том, что «старичок», задевший воображение автора «Деревни»,— Матвей Кожемякин из «окуровских» повестей Горького. Впервые эту версию выдвинул С. Касторский в статье «Из русских характеров в творчестве М. Горького» («Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 58, Л., 1947, стр. 93—95). О. Михайлов в специальной статье «„Деревня“ Бунина и М. Горький» писал, что «говоря о „задевшем“ его старичке, Бунин мог иметь в виду и Тиунова, пытливого мещанина-философа, исходившего Русь, и окуровского летописца, застенчивого и самоуглубленного „канатчика“ Матвея Кожемякина» («Горьковские чтения 1964—1965», стр. 48). Указанное предположение поддерживал и автор этих строк (см.: А. Нинов. «Талантливейший художник русский...» К столетию со дня рождения И. А. Бунина.— «Нева», 1970, № 10, стр. 187). При подготовке к публикации газетных интервью Бунина для настоящего тома «Лит. наследства» И. С. Газер отметила хронологическую натяжку этой версии и указала, что Бунин имел в виду «Исповедь». (См. настоящ. том, кн. 1, стр. 368.) Это указание полностью подтверждается материалами. Взаимодействие между замыслами Горького и Бунина осуществлялось по более сложной цепи, чем представлялось прежде: «Исповедь» — «Лето» — «Деревня» — «Городок Окуров» — «Жизнь Матвея Кожемякина». В окуровских повестях мысли о Руси и ее истории развиты Горьким под новым углом зрения, во многом параллельно бунинской «Деревне».

[96] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 43—44.

[97] Там же, стр. 45.

[98] Там же.

[99] «Биржевые ведомости», веч. вып., 1909, № 11348, 6 октября.

[100] В. Батуринский. «Деревня». Новая повесть Ив. Бунина.— «Утро России», 1910, № 119/86, 2 марта.

[101] «Одесский листок», 1910, № 58, 12 марта. Воспроизведено «Новый мир», 1965, № 10, стр. 224.

[102] «Одесские новости», 1910, № 8117, 16 мая. Воспроизведено: Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 532—539.

[103] Письмо 8—9/21—22 июня 1910 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 46.

[104] Там же, стр. 47.

[105] Там же, стр. 49—50.

[106] Там же, стр. 50.

[107] Там же, стр. 51.

[108] Там же, стр. 50.

[109] Л. Войтоловский. Новая повесть И. А. Бунина «Деревня».— «Киевская мысль», 1910, № 328, 27 ноября.

[110] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 296 и 309—310.

[111] Впервые это отметила Л. Крутикова в статье «Из творческой истории „Деревни“ И. А. Бунина».— «Русская литература», 1959, № 4, стр. 134.

[112] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 50.

[113] «Горьковские чтения 1964—1965». М., 1966, стр. 51. См. также его статью в настоящ. томе, кн. 1, стр. 20—21.

[114] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 53.

[115] А. Бурнакин. Литературные заметки. Пасквиль на Россию.— «Новое время», 1911, № 12543, 11 февраля.

[116] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 53.

[117] Там же, стр. 56.

[118] «Материалы», стр. 167.

[119] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 601.

[120] М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи и документы. М., 1968, стр. 216.

[121] Бунин. Собр. соч. 1956, т. 2, стр. 407.

[122] Письмо ок. 28 декабря 1911 г.— «Архив Горького», т. VII, стр. 103.

[123] «Листи М. М. Коцюбиньского до О. І. Аплаксіної». Київ, 1939, стр. 212.

[124] «На родной земле», стр. 307, с неверной датой: 12 ноября 1912 г.

[125] М. Коцюбинский. Собр. соч., т. 3. М., 1951, стр. 331.

[126] «Одесские новости», 1912, № 8659, 1 марта. Воспроизведено: Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 542—545.

[127] Горький, т. 29, стр. 228.

[128] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 69—70. Оригинал приветствия хранится в ГМТ; его подписали также: А. Золотарев, Б. Тимофеев, А. Прибой, Л. Старк, К. Пятницкий, В. Каменский и др.

[129] «В большой семье», стр. 250.
[130] «Вечерние известия газеты „Коммерсант“». М., 1913, № 172, 4 мая. Воспроизведено: Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 545—547 (название газеты указано здесь неверно).
[131] О журнально-издательских планах и начинаниях в эти годы см. А. Нинов. М. Горький и И. Бунин на Капри (Биографические этюды).— «Горьковские чтения 1964—1965», М., 1966, стр. 84—117.
[132] См. «Летопись Горького», вып. 2, стр. 324.
[133] «Материалы», стр. 183—184.
[134] АГ. ПГ — рл — 11—16—5. Фотокопия.
[135] АГ. ПГ — рл — 47—29—7.
[136] См. примеч. 130.
[137] И. А. Бунин. Собр. соч. 1934—1936, т. I, стр. 64.
[138] «Новый мир», 1937, № 6, стр. 17.
[139] Подробнее об этом эпизоде см. А. Нинов. За строками одной статьи.— «Вопросы литературы», 1970, № 7, стр. 146—153.
[140] «Летопись Горького», вып. 2, стр. 456.
[141] «Новый мир», 1937, № 6, стр. 17.
[142] См. «Материалы», стр. 203.
[143] «Биржевые ведомости», 1915, № 14753, 30 марта (утренний выпуск).
[144] Письмо 15 октября 1915 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 81.
[145] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 38.
[146] М. Горький. Две души.— «Летопись», 1915, декабрь, стр. 126.
[147] См. А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. М., 1965, стр. 335—344.
[148] В. И. Ленин. Письмо А. М. Горькому, 13 или 14 ноября 1913 г.— Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 227—228.
[149] «Одесские новости», 1916, № 10046, 26 апреля. Воспроизведено: Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 547—548.
[150] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 80.
[151] «Материалы», стр. 204.
[152] К. Д. Муратова указывает на стихотворение Бунина «Слово» как на прямой ответ журнала Л. Андрееву — автору нашумевшей статьи «Пусть не молчат поэты» («Лит. наследство», т. 72, стр. 49). Он призывал поэтов не молчать, когда говорят пушки, включиться в патриотический хор голосов, благословляющих русское воинство.
[153] Эти ключевые 11 строк Бунин опустил в т. 5 Собр. соч. 1934—1936. В Собр. соч. 1965—1967 они приведены в разделе «Из ранних редакций» (т. 1, стр. 498). Цветное изображение крылатого архангела Михаила из номера в номер украшало обложку шовинистического журнала «Отечество». Таким образом, заключительные строки «Архистратига» имели прямой полемический смысл.
[154] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 85.
[155] Там же, стр. 88.
[156] «Материалы», стр. 211.
[157] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 88.
[158] «Летопись Горького», вып. 3, стр. 25.
[159] «Материалы», стр. 209.
[160] Собр. соч. 1934—1936, т. I, стр. 64.
[161] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 52—53.
[162] «Материалы», стр. 211.
[163] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 20—20 об.
[164] Цит. по сообщению: «Операция „Парус“».— «Вопросы литературы», 1964, № 6, стр. 139.
[165] «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 91.
[166] Н. П. Смирнов-Сокольский. Последняя находка (подготовила к печати С. П. Близниковская).— «Новый мир», 1965, № 10, стр. 213—221. В дальнейшем цитаты приводятся по этой публикации, без ссылок. В настоящее время тетрадь находится в отделе рукописей ГБЛ.
[167] А. Блок. Собр. соч., т. 6. М.— Л., 1962, стр. 12—13.
[168] ГИАЛО, ф. 1136, оп. 1, ед. хр. 1, л. 10—10 об.
[169] Ив. Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, стр. 129.
[170] И. А. Бунин. Собр. соч. 1934—1936, т. X, стр. 45.
[171] «Новая жизнь», 1918, № 58, 28 марта. Книга И. А. Родионова «Наше преступление. Не бред, а быль. Из современной народной жизни» вышла в свет в 1909 г. и после этого была несколько раз переиздана. В передовой печати эта книга, автор которой был земским начальником в Новгородской губернии, получила заслуженную оценку как реакционная, черносотенная клевета на русский народ.
[172] Хранится в ГМТ (см. настоящ. кн., стр. 484).
[173] «Новая жизнь», 1917, № 214, 31 декабря.
[174] «Архив Горького», т. XII, стр. 242.
[175] Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 480.
[176] Горький, т. 24, стр. 240—241.
[177] АГ. ПГ — рл — 25—43—1.
[178] Горький, т. 26, стр. 90.

# ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ БУНИНА
## 1890-е — 1910-е годы

Статья Э. А. Полоцкой

Среди предшественников Бунина-прозаика, называемых в трудах о нем (Гоголь, Тургенев, Левитов, Н. Успенский и др.), возвышаются два имени: Толстой и Чехов.

С тщательностью, не особенно приятной для молодого таланта, дореволюционные критики выискивали чеховские и толстовские «мотивы» в рассказах Бунина. Жестче всего для Бунина должен был прозвучать голос А. Измайлова, писавшего, что Бунин — «*только один из многих*, завороженных, зачарованных, увлеченных, Чеховым» [1]. Сравнения с Толстым не имели, как правило, такого уничижительного оттенка. Тем не менее в оговорке, сделанной, например, А. Дерманом при высокой оценке рассказа «Господин из Сан-Франциско» («*если бы он не был столь похож на некоторые вещи Толстого*, перед нами, несомненно, было бы подлинно гениальное произведение» [2]), сквозила та же мысль о художественной несамостоятельности Бунина, что и в суждениях Измайлова. Сам Бунин, любивший Чехова и особенно восхищавшийся Толстым, которого он считал «богом» среди писателей, решительно отрицал чье бы то ни было влияние на свое творчество[3]: «... я, сколько себя помню, никогда *никому* не подражал»,— утверждал он много лет спустя [4].

В наше время исследователи почти единодушно признают влияние Толстого на дореволюционную прозу Бунина — не только идейное, но и художественное [5]. Но обязан ли Бунин как художник Чехову и в какой степени — остается неясным. Одни исследователи продолжают путь, проложенный старой критикой, и дореволюционную прозу Бунина ставят в прямую зависимость от чеховской [6]. Другие обнаруживают бо́льшее уважение к самобытности Бунина и поэтому намечают более объективную картину творческих взаимосвязей между писателями [7]. Третьи сравнивают тематически близкие отрывки из произведений Бунина и Чехова, сопровождая, однако, свои сравнения слишком общими заключениями о сходстве писателей — в трезвой оценке людей, в чуждости пафосу, во внимании к деталям и т. д. [8]

Этим попыткам противостоит точка зрения О. Михайлова, которая, в сущности, сводится к повторению решительного бунинского «нет» на вопрос о влиянии на него Чехова [9]. Правда, факты иногда прорываются сквозь категоричность этого отрицания, и исследователю приходится отмечать чеховские традиции — то в характере изображения «обывательской» интеллигенции, то в мрачных картинах деревенской жизни, то в подтексте стихотворений Бунина.

Наиболее плодотворным представляется подход к творчеству Бунина и Чехова как к двум объективным эстетическим ценностям, достойным сравнения. Если, идя этим путем, не ограничиваться слишком общими категориями, а попытаться войти в глубь поэтического материала, то, думается, можно добиться бо́льших результатов.

Не будем относиться к Бунину как к талантливому перенимателю чеховских мотивов, но и не будем отрывать его творчество от творчества Чехова. Ведь Чехов был для него не просто старшим современником, но и художником, открывшим новые возможности русского реализма. Одним словом, перейдем из сферы непосредственных (субъективных) влияний в сферу типологических (объективных) связей. А в «мотивах» бунинского творчества, имеющих явно чеховское происхождение (это касается так называемой бесфабульной прозы конца 1890-х — начала 1900-х годов), попытаемся найти следы оригинального писательского почерка Бунина. При выяснении той роли, которую сыграло творчество Чехова в художественном развитии Бунина, нам мало поможет выявление «чеховских мотивов». Важнее понять, *как* происходило их преодоление.

Вопросы, на которых мы остановимся, связаны с своеобразием художественного метода Чехова и Бунина. Какие явления действительности интересуют их? Есть ли общее в переживаниях героев? Как решаются сходные конфликты? Наконец, каким образом выражается авторское отношение к изображаемой жизни? Подойдем с этими вопросами к развивающейся прозе молодого Бунина, сравнивая ее с «постоянной величиной» — прозой Чехова, и попытаемся установить, как с ростом таланта Бунина меняются и форма и сущность чеховского воздействия. Иными словами, будем рассматривать дореволюционную прозу Бунина не просто в сравнении с чеховской, но в эволюции «чеховского начала» в ней.

Бунин начал печататься на семь лет позднее Чехова. Когда в январе 1891 г. он обратился к Чехову с просьбой прочитать его рассказы,— Чехов был писателем, уже завоевавшим репутацию мастера малой эпической формы. Поэтому-то Бунину был так нужен деловой совет Чехова.

Но если эта просьба была вызвана непосредственным желанием поучиться «мастерству», то корни ее заложены глубже. Чехов был первым большим писателем, к которому обратился Бунин за литературным советом. Бунин, начавший писательский путь с литературной поденщины (в «Орловском вестнике» и других изданиях), не мог не чувствовать своего родства с Чеховым, которому в ранние годы приходилось делать много «черной» работы — писать сезонные рассказы, сочинять юмористические «календари», «руководства» и т. д. Бунину должно было быть близко также внимание Чехова к низшим, демократическим слоям общества: для него, автора очерков из жизни «обездоленных» и «мелкопоместных», Чехов должен был казаться ближайшим предшественником в этой области. Тогда же, очевидно, у него сложилось первое впечатление об общественной позиции Чехова, недавно вернувшегося из поездки на Сахалин, о которой впоследствии Бунин писал с таким восхищением. Если добавить к этому репутацию «простого и хорошего» человека, о которой ему было известно со слов людей, знавших Чехова, то станет ясно, какими притягательными для молодого писателя были личность и творчество Чехова. Вспомним поздние слова Бунина: «Удивительный был человек! Удивительный писатель!» (9, 176).

Обаяние Чехова для Бунина не потускнело, когда они познакомились в 1895 г. и сблизились в последние годы жизни Чехова. Появились новые точки соприкосновения. С некоторым запозданием Бунин вступил в тот литературно-общественный круг, к которому принадлежал Чехов. Он печатался в либеральных и демократических изданиях — «Северном вестнике», «Русской мысли», «Неделе», «Журнале для всех», «Жизни». Приблизительно тогда же, когда и Чехов, Бунин познакомился с Горьким и начал сотрудничать в сборниках товарищества «Знание». Оба они с интересом следили за оживлением демократического движения перед революцией 1905 г. и, каждый по-своему, творчески откликнулись на ожидаемые перемены («Чернозем» и «Вишневый сад» были опубликованы в 1904 г. в сборниках «Знания»).

Близость художественных интересов обнаружилась в длительных беседах, запечатлевшихся в памяти Бунина до конца его долгой жизни. Чехов четко сформулировал однажды ту преемственную связь, которую и сам Бунин смутно чувствовал, обращаясь впервые к нему за советом: «Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали ...» (9, 208). Совместные «выдумывания художественных подробностей», разговоры о краткости и объективности, ненависть Чехова к «высоким» словам, «точность и скупость» даже разговорного языка Чехова наталкивали Бунина на мысли о собственном творчестве. Думая впоследствии об истоках краткости Чехова (работа в малой прессе: «извольте не переступить ста строк!»), он тут же переходил к себе: «Меня научили краткости стихи» (9, 172). Как заметил Ф. Д. Батюшков, Бунин в воспоминаниях выдвигал особенно те требования Чехова, которые отвечали его собственному вкусу. В частности, слова: «И короче, как можно короче надо говорить»,— он выделил курсивом [10].

Бунина поразило сходство в отношении критиков к нему и к Чехову. Чехова «допекали» тургеневскими мотивами, его — чеховскими (и тургеневскими тоже). А когда, критикуя безотрадное изображение народа в его произведениях, ставили ему в пример Чехова и других русских писателей, Бунин не мог не заметить: «... укоряя меня Чехо-

ным, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его» (9, 265). Характерно, что ярлыки, навязанные Чехову критиками: пессимист, нытик, певец «хмурых людей», равнодушный художник — перешли и к Бунину: его также называли певцом осени и грусти, о его холодном мастерстве и равнодушии к России также писалось неоднократно.

Возмущение знакомой Чехова М. В. Киселевой — в письме к нему — вторжением в низкую прозу жизни (рассказ «Тина») и защита Чеховым в ответном письме позиции объективного писателя дали повод Бунину спустя долгие годы вспомнить о собственном опыте: «Через пятьдесят лет, после выхода в свет моих „Темных аллей", я получал подобные письма от подобных же Киселевых и приблизительно некоторым из них отвечал так же. Действительно, все повторяется» (9, 178).

В совпадениях и приближениях к Чехову как биографических, так и творческих, не было того сознательного элемента, который был в активных попытках молодого Бунина жить и мыслить, как Лев Толстой (опыт «опрощения» в Полтаве). Вступив в литературную жизнь «на равных началах» с Чеховым, он не благоговение чувствовал к нему, а «нечто вроде соперничества, в хорошем смысле этого слова» [11].

Идейной зависимости от Чехова Бунин никогда не чувствовал. Взгляды Чехова, его понимание жизни и искусства не давили на Бунина своей авторитетностью, не вызывали желания следовать им, а давали пищу для собственных размышлений. Он был интересен ему как художник прежде всего. И как различны мотивировки первых обращений Бунина: к Чехову — с просьбой *прочитать* его рассказы и оценить их; к Толстому — с «сомнениями и думами» о собственной жизни и с просьбой *побеседовать* с ним о «Послесловии к „Крейцеровой сонате"», т. е. о вопросах не литературных, а социальных [12]. Отсюда и разница в характере художественного воздействия Толстого и Чехова. Толстой давал Бунину как художнику особенно много тогда, когда в центре его внимания были острые социальные и нравственные проблемы. Они были связаны преимущественно с изображением социально-психологических процессов, протекавших в разоряющейся русской усадьбе (взаимоотношения мужика и барина). Зато Чехов «светил» Бунину в его обращениях к жизни, лично близкой ему, условно говоря, к жизни демократической интеллигенции. Молодого Бунина волновала судьба русского интеллигентного человека в современной ему действительности не меньше, чем судьба крестьян и помещиков. Учитель, гимназист, путешественник, землемер, охотник — все эти герои Бунина сродни чеховским. В самоопределениях бунинских героев — «русский интеллигент-пролетарий» [13], «без роду — племени» — есть то сознание своего плебейского происхождения и ощущение потерянности, которые свойственны героям зрелого Чехова.

Духовная опустошенность — удел многих героев молодого Бунина, оказавшихся перед той же проблемой переоценки жизненных ценностей, которая волновала чеховских героев. Через свой горький личный опыт они приходят, как и многие герои Чехова, к сознанию бессмысленно прожитой жизни. Обращение к чеховскому контексту позволяет переосмыслить те ранние произведения Бунина, которые кажутся некоторым исследователям выключенными из круга его обычных проблем,— как, например, рассказы «Перевал», «Поздней ночью», «Новый год». Не отход Бунина от современности, а его озабоченность неблагополучием душевного состояния своего современника — вот что ценно в этих маленьких рассказах, еще не вполне самостоятельных по форме, но уже проникнутых духом внутреннего беспокойства. Если проблема смерти человека как возмездия или искупления восходила в дореволюционном творчестве Бунина к Толстому, то с Чеховым его роднили более «земные», жизненные проблемы.

Благодаря мощному идейному импульсу толстовское воздействие на Бунина в пору расцвета его дореволюционной прозы оказалось более ощутимым, чем чеховское. В 1910-е годы чеховские «мотивы» шли на убыль, а толстовские возрастали. Тем плодотворнее было объективное продолжение традиций Чехова в бунинской эстетике этих лет. Художник, привлекший внимание Бунина в ранние годы, в зрелую пору оказался ему особенно близок своими общими художественными принципами. Внешней незаметностью художественных соприкосновений между творчеством Бунина и Чехова измеряется, как мы увидим, глубина того особого родства между художниками, которое не убивало, а наоборот, подчеркивало самобытность бунинской прозы.

А. П. ЧЕХОВ
Фотография В. Г. Чеховского, Москва, 1902
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

## 1

Художественный мир писателя слагается из многих элементов. Это отбор жизненных явлений и излюбленные жанры, характеры и обстоятельства, конфликты и их сюжетное воплощение, наконец, сцепляющие воедино весь художественный материал композиционно-стилевые принципы. Фундамент этого мира, его эстетическую реальность образуют включенные в него явления действительной жизни. Уже их отбором художник выражает свою общественную и эстетическую позицию [14]. Вот почему, когда мы хотим уяснить себе своеобразие писателя, важно обратиться к «фундаменту».

Еще современники Чехова с разной степенью одобрения (или неодобрения) отмечали, что Чехов изображает преимущественно повседневную, обыденную жизнь. Это не значит, что Чехова не интересуют исключительные случаи. Их у него более чем достаточно на всем протяжении творческого пути: трагикомическая смерть Червякова (1883), страшная судьба доктора Рагина (1892), сцена с забытым в заколоченном доме стариком Фирсом (последний сюжетный ход последнего произведения Чехова) — редкие, не характерные для обыденной жизни события. Но оттого, что они изображаются как повседневные, с тем же внешне спокойным отношением к ним автора — они для читателя сливаются с повседневностью в едином жизненном потоке.

Изображение обыденщины и обыкновенных людей было вообще характерно для русской литературы конца XIX — начала XX вв. Перечисляя «заурядные несчастные случаи» в рассказах Куприна, Бунина, Серафимовича, Юшкевича, Короленко и других писателей, Е. Аничков предлагал для них общее заглавие: «Не страшное», по Короленко. Вслед за Чеховым, утверждал Аничков, писатели изображают «не страшное» как каждодневную «тяготу жизни». Впечатление ужаса жизни усиливается тем, что заурядные эпизоды ничего не меняют: и после них «жизнь продолжается именно такой ужасной, подавленной, невыносимой, какой она развернулась перед нами» [15]. Родство Бунина с Чеховым в этом отношении заметил Горький: «Оба они,— писал он в 1913 г.,— с изумительной силою чувствовали значение обыденного и прекрасно изображали его» [16].

Рассмотрим с этой точки зрения ранние рассказы Бунина.

В рассказе «На хуторе» (1892) отставной офицер Капитон Иваныч сидит у окна и размышляет о своей неудавшейся жизни. Ни в этом сидении у окна, ни в размышлениях героя нет ничего, что выходило бы за рамки обыденного. Даже известие о смерти Анны Григорьевны, которую он когда-то любил, «не имея взаимности»,— это наибольшее отклонение от тихого хода жизни героя — своим спокойным повествовательным темпом включается в круг других подробностей повседневной жизни. И в самом сообщении богомолки о смерти Анны Григорьевны, сделанном «между прочим», и в реакции Капитона Иваныча, который после этого целый день «неопределенно улыбался», не стал ужинать, не лег спать рано, как обычно, а курил папиросу и долго сидел у окна — во всем этом чувствуется размеренность, не нарушаемая даже отступлениями от давних привычек.

В рассказе «Учитель» (1894) речь идет о том, как провел сочельник учитель Турбин — и хотя необычен эпизод, разыгравшийся в гостях у Линтваревых (дикий танец опьяневшего героя под «Тарантеллу» Н. Рубинштейна), он лишь подчеркивает обычное для учителя сознание своей интеллектуальной и социальной неполноценности, ущемленности, и если вырывает его на минуту из обыденности, то только затем, чтобы потом сбросить в самое ее пекло — тягучее, может быть, беспробудное пьянство. Перефразируя слова Чехова, обращенные к исполнительнице роли Сони в «Дяде Ване» что драма была в жизни Сони до выстрела и будет продолжаться потом, а выстрел — только случай [17]), можно сказать, что пляска на вечере в жизни Турбина была лишь случаем, а драма была раньше и будет продолжаться потом, с еще большей силой. Поэтому такое большое значение имеют в рассказе, как и у Чехова, отдельные особенности быта, в которых отражается судьба героя. «Надо будет захватить с собой гитару», — мелькает в сознании Турбина, когда он мечтает о поездке домой. И эта деталь и упоминание о взятой взаймы для вечера чужой рубахе подготавливают читателя к центральному эпизоду — случаю с тарантеллой, когда обнаруживается подлинное душевное состояние героя, его тоска по родному дому и острое ощущение своей приниженности.

Будни монастырского постоялого двора («На Донце», 1895), день юного Гриши, прошедший в наблюдениях, разговорах и размышлениях («На даче», 1895),однообразная жизнь в помещичьей усадьбе («Антоновские яблоки»,1900), новогодняя ночь, заставшая немолодых уже супругов на хуторе («Новый год», 1901), мысли девушки о замужестве и любви («Заря всю ночь», 1902) — вот будни художественного мира Бунина 1890-х — начала 1900-х годов. В рассказах этих лет все драматическое или даже трагическое происходит в недрах тех же будней, не прерывая их естественного течения.

В соответствии с господствующим в произведениях Бунина духом повседневности у него, как и у Чехова, описание даже самых горьких и тяжелых сцен, когда рушится счастье человека или наступает смерть, растворяется в описании рядовых событий. Таково эпически спокойное описание дня, когда герой рассказа «На хуторе» узнает о смерти некогда любимой им женщины. В рассказе «Птицы небесные» (1909) предельно просто говорится о страшной смерти нищего: «Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело» (2, 345). Слово «крикнули» здесь передает возбуждение людей, увидевших мертвеца,— и только; авторский тон выдержан как информационный: простое сообщение о случившемся. Но об особенностях авторского тона Бунина нам придется еще говорить.

Картина жизни в рассказах Бунина заметно меняется к концу первого десятилетия XX в. Почва под повседневностью, с которой читатель привык встречаться в произведениях Бунина, заколебалась. В рассказе «Белая лошадь» (1907) впечатление простого сюжета (болезнь и смерть землемера) уничтожается исключительным психическим состоянием галлюцинирующего героя. В «Маленьком романе» (1909) Бунин уже и самый сюжет строит на исключительном сплетении человеческих судеб: девушка, полюбившая рассказчика, из чувства долга выходит замуж за чахоточного жениха с таинственным именем Эль-Мамуна, ненавидит его, ждет с радостью своего освобождения после его смерти, но сама неожиданно умирает.

Теперь даже будни в рассказах Бунина слагаются из такого нагромождения ужасов разного свойства, что теряют свой будничный характер («Суходол» и особенно «Деревня»). В отличие от Чехова, Бунин в 1910-е годы часто изображает смерть. Обычно это не естественная смерть героя (не умирание «в быту» больного человека — как в «Худой траве», 1913, или даже в «Белой лошади»), а *гибель*. Одних героев убивают («Ермил», 1912; «Весенний вечер», 1914; «Сын», «Петлистые уши», «Легкое дыхание», 1916), другие сами кончают с собой («Веселый двор», 1911; «Братья», 1914, «Соотечественник», 1916), третьи гибнут в результате какой-то роковой случайности («Чаша жизни», 1913). Замерзает на дороге нищий («Птицы небесные», 1909), гибнет от молнии двухлетняя девочка («Жертва», 1913), умирает от голода старая мать («Веселый двор», 1911). Нелепой смертью — от четверти вина, выпитой на спор,— умирает в расцвете сил крестьянин («Захар Воробьев», 1912). Внезапно — в зените жизненных успехов — умирает американский миллионер («Господин из Сан-Франциско», 1915), и т. д. Обилие подобных эпизодов придает изображению Бунина трагический оттенок. Человек в мире Бунина словно находится в постоянной опасности: смерть его может настигнуть в любую минуту.

Тяжесть такого восприятия жизни легла на одну из сквозных тем его творчества — тему любви. О трагическом решении любовных конфликтов у Бунина писалось много [18]. Пишущие справедливо ссылались на особое мироощущение Бунина, которым была вызвана обреченность любящих в его рассказах. Трагические развязки любовных сюжетов у Бунина всегда связаны непосредственно с характером чувства его героев. Бунинские герои любят так, словно забывают обо всем остальном на свете. Их любовные переживания не сопрягаются с другими, как у Чехова. От этой силы чувства, не обращенного ни одной гранью к миру, а сосредоточенного в себе самом, и происходит катастрофа. Любовь, готовая возродить человека,— губит его. Смерть часто настигает героев Бунина 1910-х годов («Маленький роман», «Сын», «Грамматика любви», «Легкое дыхание» и т. д.). Если не умирает ни он, ни она, то гибнет кто-то третий («Игнат», 1912).

Трактовкой смерти и любви Бунин отходит от наметившейся у него в ранние годы «будничности» изображения.

## 2

В чем, однако, сущность скрытого в повседневности трагизма? Этот вопрос приводит нас к источнику действия в художественном произведении — к конфликту. Чехов, как известно, изменил привычное представление о конфликте как о столкновении активно противоборствующих сил — будь то столкновение отдельных героев между собой или героя с жизнью. Его меньше интересует столкновение человека с окружением и больше — с самим собой. Источником такого конфликта является не какое-то неблагополучие в жизни героя и не разногласия между отдельными людьми (хотя и то и другое в произведении может занимать большое место), а общее неустройство мира, неудовлетворенность человека вообще — и собой, и жизнью в целом.

Размышляя о характере и судьбе Гурова в «Даме с собачкой», мы меньше всего вспоминаем его семью, вечера в Английском клубе, службу, хотя они вовсе не обойдены в рассказе. Все то главное, что происходит в душе Гурова, вызвано не изъянами в этих сферах его жизни (хотя служба и в самом деле была ничтожной, жена — неинтересной и фальшивой и т. д.), а какими-то внутренними причинами, не связанными с ни-

ми. Ведь были у него и раньше приключения типа ялтинского — и много раз. И он принимал их так же спокойно, как все остальное в жизни — службу, жену и т. д. Проблем не было: не было угрызений совести, недовольства средой, тем более — недовольства собой. Что же произошло? Ответ как будто ясен: Гурова преобразила любовь. Все дело в том, однако, что для него, наконец, настала пора настоящей любви, чувства, которое способно изменить человека и совершить в нем душевный переворот. Ему надо было сначала узнать жизнь во всех ее проявлениях, изучить свою среду досконально, чтобы потом, с высоты своего опыта и знания, по-иному взглянуть на нее. Любовь лишь помогла ему в этой переоценке. Конфликт у Чехова, как правило, не зависит от пороков среды: он сосредоточен непосредственно на внутренней жизни главных героев, на психологических процессах.

По какому пути идет Бунин? В рассказе «На хуторе» поначалу мы имеем дело с чисто чеховской постановкой конфликта. Герой в старости, в преддверии смерти, сетует: «Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь!» Воспоминания о прежней жизни, хотя и вызывают сожаление («Где же это все девалося, все прежнее?»), не дают удовлетворения, потому что в итоге оказывается, что ничего значительного так и не случилось: «Сколько лет представлялось, что вот там-то впереди будет что-то значительное, главное...» Все это — словно сколок с чеховских ситуаций, образующих основу для чувства неудовлетворенности, преследующего героя. Возникают ассоциации с подобным психологическим состоянием героев произведений Чехова, написанных до этого (с более примитивным вариантом — в «Горе», 1885, с энциклопедически развернутым — в «Скучной истории», 1889) или позднее, как например, «Скрипка Ротшильда», 1894: «... жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков ⟨...⟩ зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?» [19]

Внутренний конфликт возникает тогда, когда появляется несоответствие прежних представлений героя о своей жизни, казалось бы, вполне благополучной, его новому настроению. Переоценка пройденного пути, пересмотр ценностей происходит небезболезненно. В таком положении оказался не только герой рассказа «На хуторе». Вот что пишет исследователь о конфликте, лежащем в основе композиции рассказов первого сборника прозы Бунина (1897): «В ослепительном свете каких-то важных событий (будь то неожиданное известие о смерти друга, переселение на новые места или нравственное потрясение, вызванное столкновением с суровой сложностью жизни) происходит переоценка всей предыдущей жизни. Чаще всего писатель оставляет человека наедине с самим собой, ставит его перед судом собственной совести или приближающейся смерти и заставляет его подумать о самом главном — о смысле прожитых лет или об открывающихся перспективах» [20].

Почти полное совпадение Бунина с Чеховым в изображении подобных ситуаций и особенно сетований героев на ушедшую жизнь, как нам кажется, вызвало раздражение Горького рассказом «Фантазер» («На хуторе»), который он посчитал плохим подражанием Чехову.

Однако для рассказов Бунина с более развитой фабулой характерен и иной тип внутреннего конфликта. Герой рассказа «Без роду-племени» (1897) тоже испытывает тяжелый душевный разлад. Содержание его переживаний, вызванных сознанием своей духовной неполноценности, потерей способности чувствовать и любить, обнаруживается в тесном сплетении с внешним сюжетом рассказа. Главной точкой в развитии действия является несостоявшееся событие — ожидаемая женитьба героя на девушке, которую он, казалось, полюбил. С некоторым запозданием по сравнению с героем рассказа Чехова «Верочка» (1887) и приблизительно на одной стадии развития событий с рассказом «Огни» (1888) бунинский герой также ощущает внутренний холод по отношению к героине. В то время как сближение с Зиной требует решения вопроса о женитьбе, он начинает сомневаться и размышлять: «Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. „Мы разные люди,— думал я,— она даже мало интеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?“» (2, 168). Сходным образом рассуждает герой рассказа Чехова «О любви», написанного

более чем через 10 лет: «Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею ⟨...⟩ Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? ⟨...⟩ И как бы долго продолжалось наше счастье» (IX, 282), и т. д.

Но на этом сходство переживаний данного героя Бунина с чеховским кончается. Сожаление об утрате любви и о несбывшихся юношеских мечтах вызвано у него не потребностью подвести итоги жизни, как у героев Чехова, а сознанием одной определенной ошибки, за которую он расплачивается теперь одиночеством и перспективой бесприютной старости. Оторванность от семьи и родных мест (отсюда название рассказа) усугубляет страдания героя и он, наказанный судьбой, остается один на один с своим отчаянием и тоской. Драму героя Бунин, таким образом, связывает с рядом конкретных обстоятельств: упущенное счастье, бездомность, нужда — вполне реальные причины для его переживаний. Герой, изобразительно менее связанный с бытом, чем у Чехова, оказывается в итоге более зависимым от него.

Не свойственно Чехову и мелодраматическое, с налетом назидательности, разрешение конфликта (как в рассказе Бунина): упустил любовь, прогнал единственного друга — оставайся в одиночестве. Ионыч, отказавшийся от «счастья» с дочерью Туркиных, ничуть не считает себя обиженным судьбой. Алехин, простившийся на вокзале с Анной Алексеевной, страдает от сознания совершенной им ошибки, но страдания эти помогают ему переосмыслить жизненные ценности вообще и сделать серьезные выводы, которые имеют общее значение («когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле или не нужно рассуждать вовсе».— IX, 284). Поэтому он в конце рассказа предстает перед читателем просветленным воспоминаниями, а не наказанным судьбой, как герой «Без роду-племени».

Порвав с последним близким человеком — Еленой (играющей в бунинском рассказе роль, близкую к роли Рассудиной в повести Чехова «Три года»), герой упивается «своею скорбью и своим отчаяньем». Никакого намека на будущее героя нет. Все кончено на последней фразе: «Тополи гудели и бушевали во мраке ...» (2, 175).

Если финалы Чехова дают пищу читателю для размышления о возможном будущем героя, то Бунин не требует от читателя такого внимания к последующей жизни героя, он приковывает его к единственно возможному решению, санкционированному стихийными силами природы. Финалы рассказов Бунина 1890-х и особенно начала 1900-х годов редко обходятся без обращения к природе. «Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье ...»,— так кончается рассказ «Поздней ночью» (1899), маленький очерк о том, как наступило умиротворение в сердцах героев, долго живших во вражде друг к другу. Месяц, сопутствовавший герою этого рассказа всю жизнь, начиная с детства, оказался и теперь чуть ли не причиной его душевного обновления. Во всяком случае готовность героя вновь сблизиться с когда-то любимой женщиной изображена Буниным в явной связи с «тихим и светлым царством ночи». Идея рассказа «Сосны» (1901) четко сформулирована в последних строках: «И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...» (2, 220). Гул моря и тополей, звездный свет — вот что благословляет тайную любовь героев рассказа «Осенью» (1901). Зимний пейзаж вторит мыслям героя о жизни в рассказе «Новый год» (1901).

Во всех этих случаях, особенно характерных для финалов Бунина, природа выступает как утешительная и очищающая сила. Она разрешает все сомнения и указывает выход из самых трудных положений. Глядя на звездное небо (месяц и звезды — характернейшие детали бунинского пейзажа этих лет), деревья, море, человек забывает о своих бедах и грехах и ... покоряется текущей жизни. Покоряется не только внешне, как часто у Чехова, но и внутренне, принимая судьбу как должное.

У Чехова пейзажные концовки вообще редки. Избегая в прозе обобщающих концовок, Чехов избегает, в частности, обобщений посредством пейзажа. «Соседи», «Студент», «Случай из практики» — вот только три рассказа, в которых Чехов тесно связывает в финале выводы героев с состоянием природы. Более характерна (хотя так же редка) для Чехова,— если уж он включает «погоду» в финал, — подчеркнутая независимость ее изображения от заключительной мысли произведения. Так, в конце «Учителя словесности» назревающий в душе Никитина бунт даже стилистически противопоставлен сияющему мартовскому солнцу. После строк о чудесной весне Чехов пишет: «*Но* Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву ...» Еще более типично для «пейзажных» финалов Чехова отвлечение внимания читателя от описанной жизни: «Стало выходить солнце» («Огни»), «Дождь стучал в окна всю ночь» («Крыжовник»). Ту же роль играет описание неба в рассказе «Гусев».

Высказывания общего характера, рожденные впечатлениями героев от природы (первый снег в «Припадке», лунная ночь в повести «В овраге», вид на море в «Даме с собачкой»), у Чехова обычно не имеют итогового значения и помещаются где-то в середине произведения — как очередное наблюдение героя. По финалам же Бунина 1890—1900-х годов можно подумать, что для него нет неразрешимых проблем: они решаются обращением к природе, которая и вообще занимает большое место в поэтике Бунина [21].

Рассказ «В поле» (1895), все действие которого происходит на фоне зимней вьюги, кончается изображением ветра, бушующего в поле и сбрасывающего трубу с крыши: «Это плохой знак,— заключает автор:— скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!» Бунин всегда ищет в природе «знак» (хороший или плохой) какого-то общего явления.

Чехов и в финалах предпочитает косвенное выражение авторской мысли. Каждый раз как будто говорит об отдельном случае — и только [22]. Как следствие этого отказа от прямого обобщения, как одно из проявлений принципа: художник должен ставить вопросы, а не решать их, можно расценивать пристрастие Чехова к вопросам в финалах: «Весна, где ты?» («Осенью»), «Какова-то будет эта жизнь?» («Степь»), «Мисюсь, где ты?» («Дом с мезонином»), «И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?» («Три года»), «Как освободиться от этих пут?» («Дама с собачкой»).

Лиризм, исходящий от вопросительной интонации, есть тот максимум субъективности, который допускает Чехов в свои финалы. И если при всей ненавязчивости авторской обобщающей идеи мы попадаем в ее плен, размышляя над вопросами, поставленными в финалах (не обязательно в буквальном смысле), то это результат внутренней активности чеховских финалов, взывающей прямо к мысли и сердцу читателя. Из внешней конкретности концовки рождается глубокое обобщение.

Некоторые финалы у Чехова возникают вследствие чередования двух рядов повествования — буднично-прозаического и лирического. В финале обычно побеждает первый, информационный ряд («На подводе»). Но это победа чисто внешняя. Прозаический тон не уничтожает предшествующего лирического тона, а лишь создает равновесие обоих тонов; вместо ожидаемого стилевого разнобоя образуется гармония. Таким образом, старание отвести обобщение в финалах подальше от читателя приводит в повествовательных произведениях Чехова к гармоническому его выражению — через конкретность заключительной мысли.

Бунин не стремится к равновесию, он настаивает на весомости, окончательности своих лирических заключений. Так, рассказ «Осенью» (1901) оканчивается признанием героя: «Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной». Обобщающе лирический тон здесь не в ладу с мыслью, слишком частной, прикрепленной «к случаю». Чехову этот рассказ показался искусственным (XIX, 234). И наоборот, Бунина подчас удивляли финалы Чехова. Как-то, читая вслух Чехову его рассказ «Гусев» (это было в Ялте, т. е. как раз в интересующее нас время), Бунин после «совершенно божественного», по его словам, конца с описанием Индийского океана, вос-

кликнул: «Почему нет ничего дальше?..» Чехов ответил: «Я пишу только то, что могу». Как вспоминал впоследствии Бунин, ответ Чехова был очень резким. Оба обиделись. Бунину казалось, что резкость Чехова была связана с тем, что он чувствовал, «что не мог написать» дальше [23].

В отличие от Чехова, Бунин не любит заканчивать произведения вопросами. А если он ставит вопрос, то спешит на него ответить. В рассказе «Новый год» — две темы: о перипетиях супружеской любви (жена признается мужу, что вышла за него без любви, а теперь любит) и о намерении героя порвать с бессмысленной жизнью в Петербурге. Едва намеченные в этом небольшом психологическом этюде обе темы в финале возвращаются к исходному состоянию: встретив Новый год в деревенской избе, супруги едут обратно в Петербург, и ясно, что отношения их остаются прежними — с душевной близостью «в некоторые минуты» и с отчуждением в остальное время. Герой думает, уезжая: «Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?» Здесь Чехов поставил бы точку (он так и сделал в повести «Три года», оставив Лаптева в раздумье над сходными проблемами). У Бунина за этим следует переключение героя от сосредоточенности на своих переживаниях к внешнему миру: «...повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно весело покрикивал: „Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!“» Но и такой финал возможен у Чехова: это обычное для него переключение лирического плана в обыденно-прозаический план «мелкой суеты и привычной обстановки». Бунин и на этом не кончает рассказа: он идет дальше, чтобы ответить на поставленный героем вопрос. После покрикиваний, обращенных к кучеру, следуют финальные строки: «А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...» К двум возможным «чеховским» решениям поставленной проблемы Бунин добавляет третье — и читателю уже не приходится сомневаться в том, *как* проживет герой оставшиеся 365 дней — бессвязно и бессмысленно...

В финалах рассказов 1910-х годов мы не встретим уже таких «лобовых» заключений. В редких случаях Бунин теперь допускает в конце произведения эмоциональное восклицание, подводящее итог всему его содержанию. «Но да сохранит бог-ревнитель и его счастье!» — так заканчивается «Копье господне» (1913). Пожелание счастья вахтенному звучит здесь как надежда на спасение всего корабля, плывущего по опасным, грозящим гибелью местам. В таком итоге, дающем надежду, заключена перспектива освобождения от страха смерти и благополучного возвращения домой. Но перспектива, как видим, не уходящая вдаль, как у Чехова, а прикрепленная к «месту» — к данной фабуле. В «Смерти пророка» (1911) обобщающая концовка: «Мир и радость всем живущим!» — оправдана стилизованностью сюжета; она звучит как вывод из «жития» пророка, к которому только и были в начале рассказа обращены слова о мире: «Мир ему!» (3, 200 и 193).

Но в отличие от предшествующих лет теперь такие прямые выражения эмоций в финалах являются исключениями. В художественном методе Бунина в 1910-е годы происходят изменения, связанные с мужанием его таланта и с расширением круга жизни, к которому он теперь обращается. Как мы будем еще говорить ниже, общее отношение художника к изображаемым явлениям становится сдержаннее — объективнее. Это отражается на характере завершения конфликтов.

Способ расставания автора с героями может оставаться и прежним: он иногда покидает их, обращаясь мыслями к красоте природы. Но мотивировка обращения к природе становится более строгой: просветление в душе героя наступает как реакция на только что испытанное потрясение. В «Последнем свидании» (1912) Стрешнев уезжает навсегда от женщины, которой не может простить старую обиду. Завершается рассказ картиной ясного осеннего дня, с умиротворяющей деталью — щеглами на репьях, которые только изредка перелетают, «перенося свою тихую, прелестную, может быть, счастливую жизнь». Редкие непосредственные описания природы в финалах теперь лаконичны (образ лунной ночи в «Захаре Воробьеве», совсем скупая фраза в «Заботе»: «Солнце закатилось, дует холодный ветер»). Не описывая природу специально, Бунин однако дает нам почувствовать присутствие ее. Как мимолетный штрих, почти намеком,

ее образ возникает в самом конце рассказов «При дороге», 1913 (полуобезумевшая Парашка бежит «без дорог, по хлебам», среди желтых колосьев ржи), «Сказка», 1913 (барин, выслушавший от крестьянина оскорбительную для него сказку, бредет в темноте под мелким дождем в свою усадьбу), «Игнат», 1912 (после преступной, греховной ночи Игнат прикладывает к темени свежий, белый снег) и т. д.

В финалах, подобных этим, уже намечается тенденция отказа от прежнего подчеркивания авторских эмоций. Эмоциональность загоняется «внутрь» заключительной сцены. Ее как будто бы и нет (в слове), но она все-таки есть (в картине, созданной автором и воссоздаваемой воображением читателя) [24]. Здесь, в недосказанности, Бунин идет по пути, проложенному Чеховым.

Для наметившегося в это время в творчестве Бунина нового решения конфликтов, как нам кажется, в высшей степени характерен рассказ «Худая трава». Ассоциации с Чеховым начинаются с первой фразы, лаконичной и вводящей прямо в действие: «Аверкий захворал, разговевшись на Петров день». Человек смертельно болен и знает это. Все, что происходит на его глазах, приобретает вследствие этого новый для него смысл. Он с особой остротой чувствует красоту дочери и душевность жены. То, что раньше могло бы вызвать в нем негодование («ухаживание» зятя за солдаткой на глазах всего села) или сожаление (пропажа и гибель телки, нажитой «с великими лишениями»), теперь его не трогает. Наоборот, он готов во всем видеть светлое: ведь это признаки живой жизни, с которой ему скоро придется расстаться. «Значит, так надо,— думает он о зяте.— Значит, ему дочь моя нехороша, иную надо».

Ситуацию, близкую к толстовской, Бунин разрешает так, как это мог бы сделать Чехов. Переживания Аверкия кончаются вместе с его смертью. «Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила» (4, 150). В этой последней фразе рассказа нет прежнего стремления Бунина высказать главную мысль произведения. Рассказ как начался, так и кончается — фразой, информирующей читателя о событиях: в первой говорилось о болезни, в последней — о смерти. Истины, к которым приходит герой в результате выпавшего на его долю жизненного испытания, подаются без прежней многозначительности. Это определяется отчасти и тем, что они помещаются в ходе повседневных размышлений героя, а не сосредоточиваются в самом конце рассказа. Авторского вывода, закрепленного ссылками на вечность прекрасной природы, здесь нет.

Финалы произведений Бунина 1910-х годов имеют в основном «информационный характер». Либо это нейтральная фраза об обстановке («Вагон мотало...» — «Пыль», 1913), либо какое-то действие персонажа (Буравчик, нацеживающий чай из самовара,— «Сила», 1911; Катерина, трущая хрен, чтобы привести в чувство кающуюся сводницу из дворовых — «Личарда», 1913; Сверчок, ищущий что-то на верстаке,— «Сверчок», 1911), либо слова его («Древний человек», 1911; «Ермил», 1913; «Будни», 1913; «Святые», 1914). Если даже последняя фраза звучит обобщающе («И веселый двор в Пажени навсегда опустел»— «Веселый двор», 1911; «Жил Семен с тех пор счастливо» — «Жертва», 1913), то это обобщение событий, а не идея произведения.

К 1914 году относится рассказ «Клаша» с совсем необычным для прежнего Бунина окончанием — между героями намечается новый сюжетный поворот,— намечается, но не развертывается. Не напоминая ни одно из чеховских произведений ни в частностях, ни в характере конфликта (действие основано здесь не на внутреннем разладе героини, а на определении ее внешней судьбы), рассказ «Клаша» близок к ним по типу разрешения конфликта.

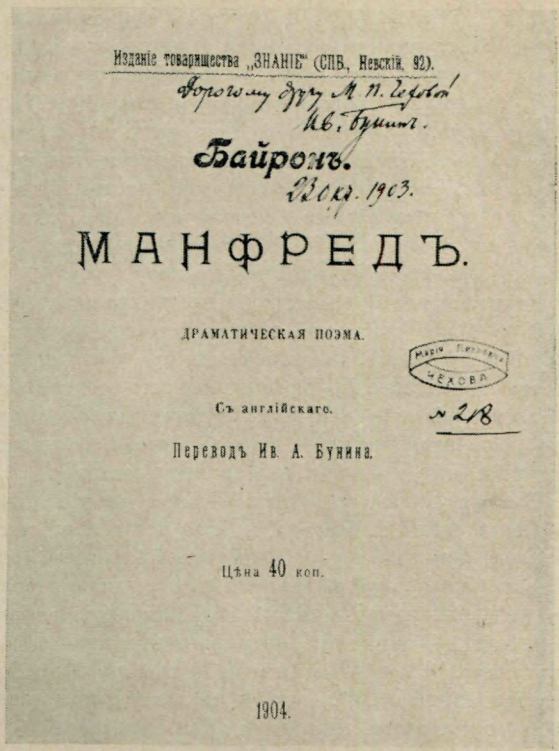
Характерно, что в 1910-е годы критика впервые заговорила о строгости и сдержанности Бунина-прозаика [25]. Творческими исканиями этих лет было выработано правило, которого Бунин пытался придерживаться до конца: «Не надо „открывать читателю свою душу“, не надо становиться с ним на равную ногу. Он уважать не будет. Надо его бить по голове, писать жестко, спокойно, только это и производит впечатление ...» [26]

Впечатления современников об этой особенности бунинской эстетики предреволюционных лет отражены в словах Б. Лазаревского, относящихся к 1925 г.: «И тогда он действовал главным образом не рассказом, а показом. Вот, дескать, господин читатель, тебе картины, а выводы делай сам» [27].

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА М. П. ЧЕХОВОЙ на его переводе мистерии Байрона «Манфред» (СПб., 1904): «Дорогому другу М. П. Чеховой Ив. Бунин. 23 окт. 1903.»

Титульный лист

Дом-музей А. П. Чехова, Ялта



Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ" (СПБ., Невскій, 92).

Дорогому другу М. П. Чеховой
Ив. Бунинъ.

Байронъ.

23 окт. 1903.

МАНФРЕДЪ.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА.

Музей Прозы Чехова

№ 218

Съ англійскаго.

Переводъ Ив. А. Бунина.

Цѣна 40 коп.

1904.

Когда исследователи пишут, что Бунину несвойственна «категоричность и окончательность выводов», то это, разумеется, не относится к раннему Бунину, который, как мы видели, как раз претендовал на окончательность предложенных им решений. Только к 1910-м годам сложилось новое отношение писателя к конфликтам и их разрешениям. «Вслед за Чеховым,— справедливо пишет Л. В. Крутикова о зрелом Бунине,— выражая тенденцию нового времени, Бунин большей частью ставил вопросы, намечал направление поисков, вглядывался в тайны и загадки бытия, но однозначных прогнозов избегал, считая, что время пророческих откровений не наступило» [28].

## 3

Последний вопрос, на котором мы здесь остановимся,— как соотносятся с поэтикой Чехова бунинские способы выражения авторских оценок. Отличие от зрелого Чехова особенно чувствуется в рассказах Бунина 1890-х — 1900 -х годов, которые внешне (композиционно) как раз напоминают чеховские. Мы имеем в виду так называемые бесфабульные рассказы начала 1900-х годов. Если в 1880-е и 1890-е годы произведения типа «На чужой стороне», «Вести с родины», «В поле», основанные на восприятии рассказчика, наблюдающего природу и людей, перемежаются с рассказами «Учитель», «На даче», «Без роду-племени», в которых внешние события играют заметную роль, то начало 1900-х годов ознаменовано произведениями, в которых интерес к событиям оттеснен интересом к переживаниям человека («Антоновские яблоки» и «Эпитафия» — 1900; «Сосны», «В августе», «Мелитон», «Тишина» — 1901; «Новая дорога», «Туман», «Костер», «Надежда» — 1902; «Золотое дно» — 1903, и др.). Но оттеснение событий в этих произведениях Бунина происходит более решительно, чем у Чехова: перед читателем фактически остается только один план изображения — психологический. Чеховской двуплановости повествования и связанного с ней подтекста проза Бунина этого времени не знает.

Для Чехова наиболее характерны случаи, когда два художественных ряда, изображающих мир действительности и мир идеальный, развиваясь параллельно, не сходятся в словесном выражении — связывает их лишь подтекст. Образ идеального мира возникает не из слов героев о будущем, например, Тузенбаха в «Трех сестрах» или Саши в «Невесте» (здесь нет никакого подтекста, потому что мысль о будущем выражена прямо), а из слов, имеющих прямое отношение к изображаемой в данном произведении жизни. Так, Саша мечтает о будущей счастливой и осмысленной жизни, о громадных домах с чудесными садами и фонтанами, но подтекст рассказа заключен не в этих тирадах его, а в авторских словах о смутных чувствах Нади, о ее слезах и ожидании перед свадьбой чего-то «неопределенного, тяжелого».

Ранняя проза Бунина такого подтекста не имеет. В произведениях 1890-х — начала 1900-х годов авторское начало (идеалы, эмоции, мысли) выражается у него непосредственно в тексте. Мы наблюдали это, в частности, в бунинских финалах. В повествовательной системе Бунина этих лет есть особенность, которая делала прямое выражение авторской субъективности художественно оправданной: большинство рассказов этого времени написано от первого лица. Все художественные элементы произведения стянуты к центру — к авторской точке зрения.

Бунинский повествователь — вовсе не условный рассказчик, он участник изображаемых событий. Правда, у него нет особого индивидуального лица для каждого рассказа, облик его носит обобщенный характер. Но обобщение это охватывает вполне реальный жизненный материал. Из содержания большинства рассказов складывается определенный биографический силуэт повествователя, и очертания его в одном произведении не противоречат биографическим данным в других. А некоторые детали даже повторяются (собаки Цыган и Волчок, сопровождающие героев «Маленького романа» и рассказа «Ночлег»). Все, что происходит с повествователем в «Тишине» (размышления у Женевского озера, разговор с приятелем о счастье и красоте), могло бы произойти и с рассказчиком «Эпитафии», с грустью думающим о новых людях, которые придут и разрушат прелесть старины в степи, и с рассказчиком «Перевала», ощущающим себя вечным странником, обреченным на смерть в горах, и с рассказчиком из других произведений — «В августе», «Поздней ночью», «Новый год», «Антоновские яблоки» и т. д. Воспоминания о детстве, полном ароматов помещичьей усадьбы, встречи с женщинами, путешествия по России и не только по ней, ночные раздумья о жизни в одиночестве или с женой — все это слагаемые жизни одного человека. Его образ выступает перед читателем синтетически в роли повествователя, автора, лирического героя одновременно [29]. Пройдя через множество рассказов, это лицо, реальное для каждого произведения в отдельности, приобретает какой-то слишком общий характер. Индивидуальность повествователя, отраженная многократно, перестает быть индивидуальностью и в общих масштабах творчества Бунина этого времени становится все-таки условной фигурой.

У Чехова тоже немало произведений, написанных от первого лица. Но чеховские рассказчики значительно более дифференцированы, чем бунинские. Это крупный ученый в «Скучной истории», сын известного архитектора, человек без профессии и службы в «Моей жизни», художник в «Доме с мезонином», «проходимец», имевший когда-то семью и домашний очаг, в рассказе «Шампанское» (1887), и т. д. Это все разные люди, каждый с своей биографией и с свойственными только ему образом мыслей и поведением. Другое отличие заключается в том, что события жизни рассказчика у Чехова составляют большей частью основу содержания произведения (болезнь и страх смерти у профессора, история женитьбы Мисаила Полознева, любовь Алехина и т. д.). У Бунина рассказчик (как и у Тургенева в «Записках охотника») приглашает читателя взглянуть на то, чему он был свидетелем. От субъективного описания, таким образом, отпочковываются объективные сюжеты: будущее степи в условиях цивилизации («Эпитафия»); сценка из жизни цыган («Костер»); судьба печального отшельника, всегда «прибранного» к смерти («Мелитон»).

У Чехова же в системе «Ich-Erzählung» ближе всего к Бунину стоят рассказы типа «Агафья», 1886 (редкий для Чехова случай «охотничьего» рассказа), с центральным событием, очевидцем которого, а не фактическим участником является рассказчик. Или Красавицы», 1888,— рассказ, написанный в форме воспоминаний взрослого человека

о впечатлениях юности. Или же «Человек в футляре» и «Крыжовник», основное содержание которых не связано с биографией рассказчиков: они были лишь свидетелями описываемых ими событий.

Но более распространен у Чехова тип повествования в третьем лице. Даже в наиболее насыщенных лиризмом последних произведениях («Дама с собачкой», «Невеста») Чехов старается избежать прямого выражения авторских эмоций и создать видимость жизни, текущей на наших глазах. При этом субъективное прорывается у Чехова с неменьшей силой, чем даже у Тургенева [30], только большей частью через восприятие героев. Этот способ выражения субъективности столь же естествен для реалистического письма, как прямая форма «от автора» — для романтического. Романтические элементы в творчестве реалистов Гоголя и Тургенева связаны с формой субъективности, идущей непосредственно от автора. С ней, как нам кажется, связаны традиции, сближающие лирические этюды в прозе Бунина с стихотворениями в прозе Тургенева и лирическими отступлениями Гоголя [31]. Лиризм Бунина в названных выше произведениях находит выход непосредственно в авторском повествовании и не скрывается за видимостью происходящего жизненного процесса. Очень удобной оказалась для этого форма воспоминаний о прошлом, к которой Бунин так часто обращается в это время. И особенно — воспоминаний о далеком детстве, отличающемся избытком эмоций («У истока дней», «В деревне», «Антоновские яблоки» и др.). Для глаголов Бунина прошедшее время так же характерно, как для Чехова — настоящее.

Остановимся подробнее на одном из бесфабульных рассказов Бунина, чтобы уяснить себе, так сказать, механизм включения авторской субъективности в повествование. Возьмем рассказ, написанный не от первого лица, как большинство произведений Бунина, а имеющий как будто нейтрального повествователя, подобно большинству произведений Чехова.

Рассказ «В поле» написан в третьем лице, но с первых же строк в нем чувствуется присутствие субъекта повествования: «Завтра Рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее *кажутся* непогожие сумерки...»; «...в туманной дали уже начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда мелькают *перед напряженными глазами путника* в зимние степные ночи ...»; «*Хорошо* еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он *бьет им в лицо*...»; «и глядя на них ⟨на уносимые ветром сухие листья.— *Э. П.*⟩, *чувствуешь себя* затерянным в пустыне...» Человек, которому принадлежат эти эмоции, не герой произведения (мы еще не знаем его), а повествователь, который не связан сюжетно с главным содержанием рассказа. Грустнее кажутся сумерки — ему, повествователю, радуется морозу он, в качестве путника выступает он же.

До появления перед читателем обитателей хутора объективное описание перемежается описаниями, выдающими эмоциональное отношение повествователя к тому, о чем он рассказывает: он то с восклицательной интонацией произносит милое для него название хутора: «Лучезаровка! Шумит, как море, ветер вокруг нее...», то сожалеет, тоже с восклицательной интонацией, о запустении Лучезаровки: «И кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи!», то мечтательно вздыхает о прошлом хутора: «Когда-то... Впрочем, кто не знает, что было „когда-то!“» Когда появляется Яков Петрович — основное действующее лицо рассказа, повествователь еще некоторое время продолжает рассказ со своей точки зрения. «И неуютно стало в Лучезаровке!» — резюмирует он *свое* впечатление после сообщения о продаже Яковом Петровичем риги, амбара и т. д. А когда Якова Петровича приветствует его старый друг словами «селям алейкюм», повествователь радуется: «Как оживлялся при этом, знакомом с самой Крымской кампании, татарском приветствии Яков Петрович!» Лишь к концу первой главы Бунин дважды обращается к восприятию героя — сначала в описании внешности гостя (несколько деталей и общее впечатление: Ковалев казался Якову Петровичу «седеньким мальчиком»), потом в описании внешности самого героя («Яков Петрович осматривал и себя. И он все такой же: плотная фигура, седая стриженая голова...» и т. д.). Вторая, третья и последняя главы также начинаются с описаний, не имеющих отношения к восприятию героя. Как вариации на одну тему звучат

короткие вступительные фразы: «Темнеет, к ночи поднимается вьюга ...» (1 гл.); «Темнеет. Наступает предпраздничный вечер» (2 гл.); «Медленно протекает зимний вечер. Не смолкая, бушует метель за окнами...» (3 гл.); «Всю долгую ночь бушевала в темных полях вьюга» (4 гл.).

Но уже со второй главы, наряду с нейтральной информацией о событиях и быте и перемежающимся с ней описанием, исходящим от повествователя, вступает в силу новый повествовательный принцип — с точки зрения героев. Они сидят у печки, и это им «все *кажется*, что кто-то подъехал». В изложение повествователя вливаются невеселые мысли Якова Петровича. Сначала — строго мотивированно: «Мысли и воспоминания идут в голову самые невеселые ... Вот уже около года он не видал ни жены, ни дочери ... Жить на хуторе становится с каждым днем все хуже и скучнее ...» Потом— формально не мотивированно, но внутренне оправданно: «Славно охватывает тело теплом!» (когда оба старика сидят перед печкой) или «Завтра праздник, он один ... Спасибо Ковалеву, хоть он не забыл!», или «Хорошо проснуться в долгую зимнюю ночь в теплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие ощущения веселым огоньком!» Однако общий тон рассказа, особенно в журнальной редакции («Новое слово», 1896, № 3 декабрь), создает не точка зрения героев, как в большинстве лирических рассказов Чехова, а субъективная стихия повествователя. Изобилующая многоточиями и восклицательными знаками, речь повествователя влияет на речь героев, в которой также много экспрессивных пунктуационных знаков. Первые три главы кончаются восклицаниями Якова Петровича, последняя — восклицательной фразой повествователя о скорой гибели Лучезаровки.

Каково соотношение между субъективной призмой восприятия героев и объективным повествованием у Чехова и Бунина? Обратимся к произведениям последних шести-семи лет жизни Чехова, когда субъективность повествователя у него ощущается сильнее, чем когда-либо, даже в рассказах, написанных в третьем лице [32].

Сопоставим начало повествования в бесфабульных рассказах Бунина с началом рассказов Чехова — будь то бесфабульный, как «На подводе», или фабульный — с средним напряжением действия, как «Невеста», или с тягуче-медленным развитием событий, как «Архиерей». Все три рассказа начинаются с коротких, как часто и у Бунина, нейтральных фраз о времени и месте действия («В половине девятого утра выехали из города»; «Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная»; «Было уже десять часов вечера, и над садом светила полная луна»). Но если в рассказах Бунина большей частью человек появляется много времени спустя, то чеховский герой не медлит с появлением: в третьей фразе — в рассказах «На подводе» и «Архиерей» («Зима, злая, темная, длинная была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового ...» и т. д.; «В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже три дня, казалось ...» и т. д.), во второй — в «Невесте»: «В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было ...» и т. д. «Для Марьи Васильевны», «Наде», «преосвященному Петру» — имена героев даны в дательном и родительном падежах и грамматически связаны с глаголами восприятия («казалось», «видно было» и т. д.).

Но вот случай, казалось бы, более похожий на бунинский: начало рассказа «В родном углу». Читателя, привыкшего считать Чехова объективным писателем, оно может поразить: «Донецкая дорога. Невеселая станция ⟨...⟩. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает, наконец ... Около станции пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску,— это так приятно после вагона — и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой ⟨...⟩. Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие, о прошлом не хочется думать ...» Второе лицо («вы») здесь — условная форма, за которой кроется восприятие самого повествователя. Точка зрения повествователя высказывается здесь, как и у Бунина, вполне самостоятельно, без видимой связи с событиями, о которых пойдет речь. Но вслед за этим появляется героиня, и ее восприятие, сначала «пристегну-

тое» к восприятию этого условного второго лица («... Вера *тоже* поддалась обаянию степи ...»), отрывается от него и господствует над всем дальнейшим повествованием — в отличие от Бунина.

Власть объекта повествования обычно у Чехова дает себя знать довольно скоро и потом нарастает, даже в тех случаях, когда восприятие героя (или героев) перемежается с восприятием повествователя. Навязывая повествователю свое понимание вещей и свое настроение (у Бунина — обратное влияние), главное действующее лицо как бы сливается с ним, и границы между мыслями героя, выраженными в повествовательном тексте, и мыслями самого повествователя трудно различаются.

Объект и субъект повествования, таким образом, сближаются. Авторская позиция Чехова не может быть сведена к позиции повествователя и возникает как итог многих слагаемых, только одним из которых являются субъективные высказывания повествователя.

У Бунина же авторская позиция выступает в эти годы в откровенных лирических излияниях повествователя. Все остальное — сюжет, композиция, взаимоотношения людей — иллюстрирует и дополняет четко сформулированную автором мысль: «... скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!» Или: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб».

Попробуем извлечь подобные словесные характеристики из произведений Чехова и, кроме известных рассуждений студента Великопольского из рассказа «Студент» или Ольги из повести «Мужики», в творчестве зрелого Чехова мы мало что найдем. Но и они, хотя и связаны с идейным содержанием произведений, формально имеют характер частного наблюдения героев. Оценки, обобщающие идею произведения в одной-двух фразах, для Чехова, в отличие от Бунина, не характерны. (Это сказалось, как мы уже говорили, на концовках произведений.) Имея в распоряжении одинаковые средства повествования, Чехов и Бунин используют их в разных пропорциях — и эффект получается разительный: это две разные системы повествования. У Бунина она тяготеет к центру — восприятию повествователя, в то время как у Чехова она тяготеет к восприятию героя или нескольких героев. А усиление субъективных элементов к концу творческого пути Чехова происходит все же в рамках внешне объективного повествования. «Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле!» — эти слова, формально исходящие от повествователя, оправданы восприятием больного, умирающего человека, для которого естественно желание переосмыслить прожитую жизнь («Архиерей»). То же самое в «Невесте»: «Чувствовался май, милый май!..» Определение «милый» выражает отношение Нади к весне, хотя фраза не принадлежит ей формально.

Если Чехов максимально приближает образный строй несобственной прямой или косвенной речи героя к его прямой речи, то Бунин не любит приспосабливать описания к психологии своих героев [33]. Это соответствует единому «среднему», весьма условному типу рассказчика в большинстве произведений Бунина, написанных от первого лица: он не придает каждый раз образной системе произведения отпечатка своей индивидуальности. Но и в тех случаях, когда произведение написано в третьем лице, повествование у Бунина не столь тесно связано с внутренним миром героев, как у Чехова: чувствуется тенденция к сохранению определенной дистанции между объектом и субъектом повествования.

В 1910-е годы в художественной системе Бунина происходят сдвиги. С одной стороны, в повествовании как будто еще более усиливается авторское начало. Одним из проявлений «самовластья» автора в описаниях Бунина становится сюжетная деталь, т. е. деталь, раскрывающая какие-то значительные события, происшедшие в прошлой жизни героя. О каждом из них Бунин мог написать целую главу. Мог подробно описать, как немая кухарка, с которой жил Тихон Красов, задавила во сне ребенка («Деревня»). Или как младенец, сын рассказчицы в «Хорошей жизни», проглотил медное колечко, а Анисью петух клюнул прямо в глаза («Веселый двор») и т. д. и т. д.

За такими деталями кроются характеры и судьбы людей. Необыкновенная сгущенность, концентрированность описаний у Бунина, которую отмечал Чехов [34],

объясняется не только обилием подробностей (количественный показатель), но и их «сюжетным» характером, уменьем писателя видеть мир в действии и противодействии — в борьбе разнообразных сил (это уже качественный показатель). Противоречие между тем, как мало Бунин использует действие в композиции произведений и как много в так называемой «словесной ткани», создает лишь им вызываемое одновременное впечатление статичности и динамичности прозы.

Деспотическая власть субъекта повествования приводит и к другим художественным следствиям. Волею полновластного художника, не знающего преград и недосягаемых точек для обозрения, Бунин превращает восприятие главного героя в посредника для изображения восприятия другого лица. Если Чехов разнообразит восприятие главного героя параллельным восприятием других героев, то Бунин делает это иначе — по принципу пересекающихся плоскостей: позволяет главному герою войти в душу другого, думать и чувствовать за него. Так, основу рассказа «Крик» (1911) составляет описание душевного состояния турка, которого русские матросы на пароходе напоили допьяна. Утром, когда пароход шел мимо Стамбула, откуда отправили его сына на войну, он стал кричать: «Юсу-уф!» Рассказчик пытается понять причину этого крика. С фразы: «И я все понял» — повествование переключается на восприятие турка. Его переживания описываются с такими сокровенными подробностями, которые, вообще говоря, не могут быть доступны другим людям: «Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидел величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому ненужной, жалкой жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа! И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!»

Такого права толкования чужих мыслей и чувств Чехов не дает своим героям, даже рассказчикам, и если кто-либо у него судит о внутреннем состоянии другого человека, то преимущественно по внешним признакам. Это характерно даже для такого близкого к бунинскому типу рассказа, как «Агафья». Переживания героини показаны через физические проявления («нерешительно села», «кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью ...» и т. д.). Последовательная ориентировка Чехова на внешние признаки чувств героини, которые только и доступны рассказчику, вызвала у современников впечатление полного отсутствия психологизма в этом произведении. Между тем непосредственный рассказ о чувстве вины Агафьи перед мужем или ненависти к нему, о ее внутреннем беспокойстве или о том, что она подумала, когда увидела рядом с Савкой постороннего человека, выглядел бы здесь неправдоподобно. Если уж Чехов прибегает к таким непосредственным описаниям, то с оговорками: «По-видимому», «как кажется», «говорят» и т. д. Походка Агафьи, ее дыхание, взгляд, направленный на Савку,— все это заменяет психологические рассуждения рассказчика и служит как бы их знаком — символом. Бунин также пользуется внешними знаками психологических состояний, но они не несут у него такой большой смысловой нагрузки, потому что главное место в воспроизведении психологического состояния людей у него все же занимает и в эти годы непосредственное описание.

К 1911 г. относится еще один рассказ Бунина, где герой, с точки зрения которого изображаются события, описывает душевный мир другого человека. Создается впечатление, что Бунин сознательно обращается в это время к приему психологического посредничества — как к своеобразному художественному эксперименту. В рассказе «Снежный бык» герой, он же повествователь, по-своему объясняет страх ребенка перед снежным быком: «Днем Коля боязливо радуется на него,— это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками,— ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг даже не проснувшись, заливается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью ...» Это принципиально тот же случай, что и в рассказе «Крик».

Следствием усиления авторской активности Бунина нам представляется также отчасти наметившееся в 1910-е годы пристрастие к условному распределению событий в произведениях. В рассказах «Суходол», «Крик», «Хорошая жизнь» повествователь (или рассказчик) ведет нас от настоящего времени к прошлому, к уже совершившимся

событиям. В рассказе «Легкое дыхание» Бунин еще смелее нарушает иллюзию непосредственного действия введением обратного или зигзагообразного хода событий.

Активизация авторского начала сказывается, как видим, в свободном варьировании разных восприятий и последовательности событий. Что касается собственно повествовательного тона, то здесь в 1910-е годы, наоборот, происходит как будто некоторое приглушение авторского голоса.

Прежде всего это отразилось на образе повествователя. Дань прежнему «среднему» герою, от имени которого (в первом лице) ведется повествование, Бунин отдал в повести «Суходол» (но только отчасти) и в «Лирнике Родионе». В 1909—1911 гг. у Бунина появляется переходный для него тип повествования — с чередованием разных восприятий. «Деревня» написана то с точки зрения Тихона Красова (1 часть), то с точки зрения его брата Кузьмы (2 и 3 части). Л. В. Крутикова в статье о «Суходоле» («Русская литература», 1966, № 2) отмечает в повести чередование восприятий Натальи, молодых господ, автора. С трех точек зрения написан также рассказ «Веселый двор»—повествователя (иногда нейтрального, иногда лирического), Анисьи и ее сына Егора. Большинство же рассказов этого времени написано в третьем лице — от имени нейтрального повествователя.

А если появляется в это время в прозе Бунина рассказчик, то это уже не обобщенный лирический герой, о котором говорилось выше, а лицо, отличающееся резко выраженной индивидуальностью. Женщина с психологией «наивной» хищницы ведет повествование в рассказе «Хорошая жизнь»; бывший библиотекарь с фразеологией, проникнутой духом земских канцелярий и велеречивой патетикой «демократических» реформ,— в «Архивном деле».

Рассказы этого времени, написанные в третьем лице, не имеют, как правило, лирического характера. Если авторский лиризм все же прорывается в них, то либо как раньше, в пейзаже, либо — это уже новость для Бунина — в передаче мыслей героя, не взятых в кавычки: «Ах, господи, из-за чего только волнуются, страдают люди!» («Худая трава»); «Хороша жизнь, к черту все, что мешает ее радостям!» («Снежный бык»); «Приятно, когда звонят колокола в такое утро, приятно наряжаться под этот звон» («Всходы новые»). Все эти размышления героев, включенные в авторский текст, являются передатчиками и авторских эмоций. В двойном происхождении подобных высказываний (формально — от автора, фактически — от героя) Бунин смыкается с Чеховым. Их у Бунина, по сравнению с Чеховым, немного, но самая возможность *так* мотивировать лиризм свидетельствует о наметившемся в стиле Бунина процессе объективизации не меньше, чем просто отсутствие лирических высказываний. Сдержанность и простота, которые с одобрением отмечал Бунин у Чехова, в эти годы вошли и в его авторскую речь. Но произошло это не без борьбы художника с самим собой.

Черновик рассказа «Старуха» (1916) проникнут открыто выраженным авторским сочувствием к несчастной героине. Повествование, начатое в первом лице, кончалось гневными строками: «Да будет трижды проклят тот страшный мир, в котором я живу! И да не вырастут даже тернии на наших могилах! И да простит господь хоть часть моих злодеяний ...» и т. д. [35] Но дав, было, волю своему чувству в черновике, Бунин сдержал проклятья и написал рассказ в объективном тоне — и в третьем лице.

Редактируя произведения для марксовского издания, Бунин старался освободиться от излишней субъективности. «Юный Бунин был более экспансивен: больше непосредственности чувствовалось в его восприятии и воспроизведении явлений жизни»,— таково было впечатление Ф. Д. Батюшкова, сравнившего первоначальный текст рассказа «На хуторе» с переработанным для издания 1915 г. [36]; «... по мере углубления в жизнь лирическое отношение его к ней становится все сдержаннее ...»,— писал А. Е. Грузинский в 1912 г., бросая ретроспективный взгляд на раннее творчество Бунина [37].

Однако все, что сказано выше об эволюции бунинской прозы к объективности, противоречит нашему непосредственному впечатлению от рассказов Бунина этого времени: ощущение мощной лирической струи не покидает нас, когда мы читаем «Худую траву», «Легкое дыхание». Откуда такое противоречие?

«Легкое дыхание» ... Это один из самых лирических рассказов мировой литературы — «не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью ...» [38] Но своей

взволнованности автор в рассказе не обнаруживает. Вот начало: «На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий, такой, что на него приятно смотреть». Затем следует описание фотографии, вделанной в крест, и короткая фраза: «Это Оля Мещерская».

Все последующее повествование выдержано в спокойном тоне, включая бесстрастное до виртуозности описание кульминационного события: «А через месяц после этого разговора ⟨с начальницей гимназии.— *Э. П.*⟩ казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом» [39].

Эпически ровный тон выдержан и в последнем эпизоде: «Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти». «Легко и приятно»,— эти слова, передающие чьи-то субъективные ощущения, мотивированы в следующей фразе восприятием женщины, посещающей кладбище. Затем, в той же последовательности, как и в начале рассказа, следует «представление» героини: «Женщина эта — классная дама Оли Мещерской ...»

Слово героини рассказа, трижды прерывающее объективное повествование, входит в текст как данность объективного мира, как что-то, имеющее самостоятельное значение — как документ, проясняющий ее судьбу. Документальный характер имеет в этом смысле не только страница из дневника, но и живой голос Оли Мещерской, звучащий для читателя уже из прошлого (в разговоре с начальницей и с подругой).

Лиризма в тексте рассказа нет, и однако он есть — в подтексте. Здесь мы неизбежно возвращаемся к тому, что говорилось выше об усилении авторской воли в распределении художественного материала. В рассказе «Легкое дыхание» события перемешаны, как колода карт,— и из нарушения их хронологической последовательности возникает неожиданный результат. С первых же строк нас охватывает какое-то щемящее чувство. Оно вызвано столкновением двух не вяжущихся друг с другом образов: «живые глаза» и — крест на могиле; молодость, красота и — смерть. Чувство непоправимости случившегося с Олей Мещерской не только не покидает нас до конца [40], но еще и усиливается — по мере того, как от могилы автор возвращает нас назад (к гимназической жизни Оли), потом вперед (к убийству), потом опять назад (к событиям, описанным в дневнике) и, наконец, снова вперед, когда могила становится местом, которое посещается уже не в первый раз. Но это последнее «вперед» есть одновременно возвращение к началу — к могиле Оли Мещерской. Беспокойный ритм событий обрывается, и рассказ заканчивается, как стихотворение,— фразой, приносящей успокоение и превращающей его в стройное гармоническое целое: «Это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре». Этот образ вмещает все то радостное и светлое, что было в Оле, и несет на себе отпечаток ее судьбы, очищенной и искупленной смертью. В конце рассказа стоит точка — вместо многоточия в первоначальном тексте, которое словно намекало на какой-то особый, глубинный смысл последней фразы (казалось, что голос его дрогнул на последней ноте). Сняв многоточие, Бунин отказался от этого намека, и только музыкальность фразы, глухо звучащая в повторении однородных членов с нарастающим количеством эпитетов (в мире — в этом *облачном* небе — в этом *холодном весеннем* ветре), выдавала теперь автора.

Движение лиризма Бунина к более скрытым формам выражения, чем это было ему свойственно в 1890-х — начале 1900-х годов, было лишь одной стороной общей эволюции субъективных элементов в его прозе. Вместе с снижением интенсивности субъективного начала, выраженного формально, в повествовании Бунина 1910-х годов происходит еще один, еле заметный поворот, имеющий, однако, принципиальное значение. Это появление объективно-иронического аспекта изображения в его рассказах [41].

Субъективность раннего Бунина имела, как мы видели, лирическую основу и не была связана с юмористическим или сатирическим восприятием жизни. Не была свойственна ему и ирония. В художественном мире Бунина как будто не было ничего, достойного насмешки. И теперь, в период отхода от субъективности он, если и обращается к иронии, то только к объективной, ощущаемой в подтексте изображаемых событий. Как и у Чехова, помыслы бунинских героев часто опрокидываются жизнью.

БУНИН

Фотография. Ялта, апрель 1902 г. С дарственной надписью:
«О. Л. Книппер Ив. Бунин. /О, весна! Как сердце счастья просит!/ Как сладка печаль моя весной!
Ив. Бунин.»
Дом-музей А. П. Чехова, Ялта

Героиня «Чаши жизни» мечется, ища пристанища своей душе, но погибает при последней своей попытке — нарядившись для встречи с человеком, которого когда-то любила. Господина из Сан-Франциско, наслаждающегося всем тем, что дает ему несметное богатство, неожиданно настигает смерть. Несмотря на отдельные публицистические элементы в рассказе «Господин из Сан-Франциско», восходящие к толстовской традиции (особенно в черновых редакциях и в первопечатном тексте), общий тон повествования выдержан как объективный, и основную критическую нагрузку несет объективная ирония — ирония жизни.

Но у Чехова в каждом подобном случае удары судьбы могут быть объяснены характером героев, обстановкой, в конце концов, закономерностью жизни, описанной в данном произведении. И потому они — даже в трагических случаях,— иллюстрируя алогизм и бессмысленность социального устройства, имеют твердую логическую основу в системе событий данного произведения (гибель Рагина, надеявшегося спокойно прожить по нормам непротивленческой философии). Опровержение первоначального «тезиса» бунинских героев наступает как гром среди ясного неба, как слепая стихийная сила — вдруг. Мужик, убивший нищего ради денег, неожиданно («*вдруг*») отшвыр-

нул ладанку — и тем обессмыслил и убийство и свою надежду разбогатеть («Весенний вечер»). О старике Фисуне из «Архивного дела» тоже говорится: «... как *вдруг* старичок взял да и умер!» И случилось это, по иронии судьбы, оттого, что на бедного Фисуна накричал поборник демократических свобод! *Вдруг* умерла и героиня рассказа «Чаша жизни». Восприятие жизни в ее катастрофичности, характерное особенно для позднего Бунина [42], намечается, таким образом, уже в 1910-е годы. Неожиданные удары судьбы в произведениях Бунина это большей частью смерть. Разрушение иллюзий человека у него, как правило, сопряжено с физической гибелью героя.

Поэтому объективная ирония у Бунина ближе, чем у Чехова, к ее главной разновидности — трагической иронии. Как и в трагической иронии древних, в качестве разрушающей силы у Бунина выступает слепая, стихийная сила — рок. Чехов, разрушая иллюзии своих героев, оставляет их жить — и если не всегда надеяться на лучшее будущее, то почти всегда — думать о будущем (финалы пьес, повести «Три года», рассказов «Учитель словесности», «Дама с собачкой» и т. д.). Жизнь и смерть — вот что разделяет объективную иронию Чехова и Бунина. Водораздел настолько глубок по существу, настолько связан с своеобразием мировоззрения каждого писателя, что не ограничивается только сферой иронии. Он, как уже говорилось, разделяет художественный мир Бунина и Чехова даже на такой общей для них почве, как повседневность. Он ставит искусство Бунина на иную ступень, хронологически и типологически следующую за чеховской.

Подведем итоги. Оба рассмотренных нами периода развития творчества Бунина каждый по-своему, отразили мощное объективное влияние Чехова на русскую прозу конца XIX — начала XX в.

Один тип связей складывается между художественным методом Бунина и Чехова на раннем этапе бунинской прозы, в 1890-е — 1900-е годы. Если Бунин строит свой художественный мир подобно Чехову, на материале повседневных событий, то в их число широко включает исключительные события, особенно смерть. Если его интересуют конфликты в душе героев, то он развивает и завершает их иначе, чем Чехов, теснее связывая с бытом и доводя затем до крайней степени завершенности, до *конца*, после которого на свете остается только одна ценность — вечная красота природы.

Как и Чехов, Бунин с самого начала творчества тяготеет к малым эпическим жанрам (преимущественно к рассказу). Для него характерна также тенденция к нарушению жанровой цельности, но проявляется она на ином соседствующем с прозой материале (у Чехова это драматургия, у Бунина — поэзия [43]). Своеобразие сложившихся у каждого из писателей жанров во многом определяется характером включения в повествование элементов авторской субъективности. Чехов предпочитает опосредствованные формы лиризма (восприятие героя и подтекст), Бунин — непосредственные (восприятие повествователя и отсутствие подтекста).

Бурное развитие Бунина-художника в 1910-е годы изменило сложившееся соотношение. Сознательная ориентация на повседневность, характерная в целом для раннего Бунина, стала исчезать. Он все чаще склоняется к изображению стихийных сил, вторгающихся в человеческую жизнь, особенно смерти, бессмысленно ее разрушающей. И реже — к изображению внутренних конфликтов; несчастья героев все меньше зависят от процессов, происходящих в их сознании: они приходят извне, как удары судьбы.

Все это вместе с усилением авторского начала в распределении материала (сказавшегося, в частности, в отказе от последовательного развития действия), означало как будто отход Бунина от тех принципов изображения, которые были близки к чеховским. В 1910-е годы образуется новое качество бунинского реализма, резко противостоящее реализму Чехова своим трагическим восприятием действительности.

Тем симптоматичнее появление в практической эстетике Бунина новых черт, общих с чеховскими: ослабление категоричности в разрешении конфликтов, ограничение путей к авторскому самовыражению, обращение к скрытым формам проявления субъективности — лирическому подтексту и объективной иронии. Внутренняя страстность при внешней беспристрастности — это впечатление, создаваемое чеховским искусством, с несколько усиленными акцентами (еще бо́льшая страстность, еще более под-

черкнутая внешняя беспристрастность), рождается при соприкосновении с творчеством Бунина 1910-х годов. Чем меньше «похож» Бунин на Чехова, чем более самобытной становится его поэтика, тем больше он тяготеет к общим решениям, предлагаемым чеховской эстетикой. Но каждый раз — в пределах своей писательской индивидуальности. Мы могли это видеть на объективной иронии Бунина, имеющей в своей основе не только иное мироощущение, но и иной способ художественного выражения.

То, что опыт Чехова не прошел даром даже для такого внутренне независимого художника, как Бунин,— не удивительно. Сдержанность художественных решений Чехова, ранее всего воспринятая театром, не могла не повлиять и на самое литературу. Правда, начало века было также ознаменовано расцветом «несдержанности», субъективности в искусстве (декадентство, символизм, экспрессионизм). Чеховское начало пробивалось более медленно и болезненно, чем нам это кажется сейчас. Но оно пробивалось сквозь все течения и стили, преодолевая также издержки модной «чеховщины», — к реализму XX в.

Бунин не остался в стороне от этого процесса. Чем больше развивались субъективные направления в литературе начала XX в., тем более «классическим» должно было казаться искусство Чехова. Неосознанное тяготение Бунина к Чехову могло быть связано с его неприятием модернизма и желанием остаться верным традициям реализма.

Пора непосредственного влияния Чехова (даже в том ограниченном виде, как это было характерно для раннего Бунина) осталась для него позади. Теперь это была реакция зрелого мастера на художественный опыт, мимо которого он не мог пройти, потому что этот опыт лег в основу всей новой эстетической культуры.

Кто знает, какие формы принял бы реализм Бунина, если бы не было до него Чехова. Очевидно, все присущее его художественной индивидуальности было бы выражено в его произведениях последовательнее, стройнее, «чище». Время, еще более тревожное, чем чеховское, вызвало возрастание «поэтически тревожного, трагедийного» [44] в творчестве Бунина. И оно же в сочетании с очень тонким вмешательством чеховской эстетики предопределило, как нам кажется, то убывание «ясности и строгости внутреннего и внешнего строя», о котором пишет А. В. Чичерин.

Хотя в целом дореволюционное творчество Бунина представляет собой новую ступень реализма по сравнению с реализмом Чехова, оно связано с ним крепкими узами родства. Особенно крепкими тогда, когда освободившись от невольных поэтических соответствий с Чеховым, Бунин — тоже невольно — обратился к завоеваниям чеховской эстетики. Возвращение к Чехову на более глубокой основе совпало с расцветом творчества Бунина. Тогда и сбылось предсказание Чехова, знавшего только ранние рассказы Бунина: «Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня» [45].

В творчестве Бунина после 1920 г. нет уже и таких непрямых связей с чеховским искусством. Нет ни стилистических подобий, как в бесфабульной прозе раннего Бунина, ни более отдаленного, но и более серьезного родства — по духу сдержанности и объективности жизненных конфликтов.

Проза эмигрантского времени представляет собой единое идейно-тематическое целое: за поэтизированными воспоминаниями о безвозвратно ушедшем и потому особенно милом сердцу прошлом выступают две философские проблемы, на которых зиждется бунинская концепция жизни: любовь и смерть. Но в жанрово-стилистическом отношении эта проза далеко не однородна. В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин возвращается к лиризму и субъективным формам письма, в том числе и к прямой иронии, которой было чуждо его прежнее творчество. Книга «Темные аллеи» состоит из рассказов, новеллистическая природа которых основана на роковых поворотах в человеческих судьбах. Авторского лиризма в них нет, зато пластическая изобразительность достигает изощренных форм.

Все это не оставляет места для сопоставления позднего Бунина с Чеховым. Тем любопытнее сознательные экскурсы писателя в чеховскую тематику (завязка сюжета в «Даме с собачкой», с одной стороны, и в рассказах «Солнечный удар» и «Визитные карточки», с другой). Но идейный спор Бунина с Чеховым в этих рассказах, вытекающий из эстетических позиций позднего Бунина, выводит нас за границы поставленной нами задачи.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Измайлов. Бунин и Н. Н. Златовратский.— «Русское слово», 1909, № 252, 3 ноября (курсив мой.— *Э. П.*). В другой статье Измайлова говорилось о зависимости от чеховского искусства не только прозы, но и поэзии Бунина («Юбилей И. А. Бунина».— «Биржевые ведомости», 1912, веч. выпуск, № 13218, 27 октября).

[2] А. Дерман. Победа художника.— «Русская мысль», 1916, № 5, стр. 24 (курсив мой.— *Э. П.*).

[3] «Имел ли на меня, как на писателя, Чехов влияние? — Нет. Я был поглощен, восхищен им, но не испытывал желания: вот бы так именно написать, как написал Чехов» («Одесские новости», 1914, № 9398, 2 июля; цит. в Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 561, с неверной датой: 18 июня). «... решительно ничего чеховского у меня никогда не было»,— читаем в «Автобиографической заметке», 1915 г. (там же, стр. 265). Далее при ссылках на это издание указываются только том (арабскими цифрами) и страница.

[4] Г. Н. Кузнецова. Грасский дневник, запись 10 сентября 1930 г.— настоящ. кн., стр. 271 (курсив мой. — *Э. П.*).

[5] См. Р. С. Спивак. И. А. Бунин и Л. Толстой (наблюдения над соотношением художественных стилей). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филологич. наук. МГУ, 1967; О. Михайлов. И. А. Бунин. Очерк творчества. М., 1967, стр. 106 и др.

[6] Т. М. Бонами. И. А. Бунин и А. П. Чехов.— Ученые записки Владимирского пед. ин-та, вып. 4,1958, стр. 131—149. В этой статье, которая является первой разработкой темы, к Чехову возводится едва ли не вся тематика бунинской прозы.

[7] И. Газер. А. П. Чехов и И. А. Бунин.— В кн.: «Литературный музей А. П. Чехова. Таганрог». Сб. статей и материалов. Вып. 3. Ростов н/Д, 1963, стр. 193—218.

[8] Л. Никулин. Чехов. Бунин. Куприн. Литературные портреты. М., 1960, стр. 250—252; А. Волков. Проза Ивана Бунина. М., 1969, стр. 65.— Более удачно сопоставлены рассказы Бунина «На Донце» и Чехова «Перекати-поле» в статье: А. Эльяшевич. О лирическом начале в прозе («Звезда», 1961, № 8, стр. 189—192).

[9] О. Михайлов. И. А. Бунин. Очерк творчества, стр. 55—58. Определение Бунина как архаиста-новатора, продолжающего линию тургеневской и дотургеневской прозы, в этой книге близко к оценке Бунина в статье Е. Колтоновской «Бунин как художник-повествователь» («Вестник Европы», 1914, № 5, стр. 328).

[10] Ф. Д. Батюшков. Ив. А. Бунин.— В кн.: «Русская литература XX в (1890—1910)». Под ред. С. А. Венгерова, т. II. М., 1915, стр. 354.— Слова Чехова в воспоминаниях Бунина были выделены курсивом лишь однажды, в сб. «О Чехове». М., 1910, стр. 12.

[11] Ант. Ладинский. Последние годы И. А. Бунина.— «Литературная газета», 1955, № 126, 22 октября.— Вспоминая о литературных впечатлениях своей юности, Бунин не писал о Чехове, что он «нравился» ему, как о Гаршине и Эртеле, а выражал свое отношение более активно: «В Чехове ⟨...⟩ тоже кое-что *задевало* меня...» (9, 260; курсив мой.— *Э. П.*).

[12] Ср. письма Бунина к Толстому (12 июня 1890 г.) и к Чехову (январь 1891 г.).— «Новый мир», 1956, № 10, стр. 197, 199.

[13] «Какой стране принадлежу я,— думается мне,— я, русский интеллигент, одиноко скитающийся по родным краям?» — В эти строки из рассказа «Новая дорога» («Жизнь», 1901, № 4) Бунин ввел определение «пролетарий» при подготовке к печати книги: Рассказы, т. I. СПб., изд. т-ва «Знание», 1902, стр. 24. Во всех последующих изданиях, начиная со сб. «Перевал и другие рассказы» (М., 1912), фраза читается иначе: «Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? — думается мне».

[14] См. Л. И. Тимофеев. Основы теории литературы. М., 1966, стр. 75.

[15] Е. Аничков. Литературные образы и мнения.— «Научное обозрение», 1903, № 5, стр. 147—151.

[16] «М. Горький. Материалы и исследования», т. I. Л., 1934, стр. 344.

[17] Из воспоминаний Н. С. Бутовой.— В кн.: «Чехов и театр». М., 1961, стр. 346.

[18] Юр. Соболев. Любовь, смерть и вечность в творчестве Бунина. — «Рампа и жизнь», 1912, № 44, стр. 3—5; О. Михайлов. Примечания к повестям и рассказам Бунина 1912—1916 гг.— Собр. соч. 1965—1967, т. 4, стр. 455; М. Иофьев. Поздняя новелла Бунина.— В его кн.: Профили искусства. М., 1965, стр. 277—318.

[19] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. в двадцати томах, 1944—1951, т. VIII, стр. 342 и 343.— В дальнейшем при ссылках на это издание в тексте указываются только том (римскими цифрами) и страница.

[20] Л. В. Крутикова. «На край света» — первый сборник рассказов И. Бунина.— «Вестник ЛГУ», 1961, № 20, стр. 86. В этот сборник вошли, кроме «На хуторе», рассказы «На край света», «Учитель», «На даче» и др.

[21] При той большой идейной и композиционной нагрузке, которая падала на пейзаж, естественно, что творческая история бунинских рассказов нередко начиналась с мысли о природе. Это засвидетельствовано самим Буниным, как передает Г. Н. Кузнецова («Грасский дневник», запись 8 августа 1927 г.— настоящ. кн., стр. 254). Если это справедливо относительно «Солнечного удара» (1926), о котором, в частности, шла речь

в Грассе, то еще правдоподобнее представить себе картины природы в самом начале творческой истории рассказов конца 1890-х — начала 1900-х годов. Наше предположение может быть отчасти подтверждено документально: см. описание Женевского озера в письме к Ю. А. Бунину 18 ноября 1900 г., легшее в основу рассказа «Тишина», 1901 («Новый мир», 1956, № 10, стр. 207); сообщение о поездке в имение Е. А. Бунина в письме к В. В. Пащенко 14 августа 1891 г., в котором говорится об осеннем саде с запахом антоновских яблок (Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 504—505) и рассказ «Антоновские яблоки».

[22] О строгой индивидуализации Чеховым каждого конкретного случая интересно пишет В. Б. Катаев, связывая эту особенность с влиянием школы Г. А. Захарьина в медицине (В. Б. Катаев. Образ автора в прозе Чехова. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филологич. наук. МГУ, 1966, стр. 11).

[23] Г. Н. Кузнецова. Грасский дневник, запись 7 июня 1928 г.— настоящ. кн., стр. 252.

[24] Поэтому тенденцию к «делиризации пейзажа» в прозе 1910-х годов, отмеченную в диссертации Р. С. Спивак («И. А. Бунин и Л. Толстой». М., 1967, стр. 4), можно признать лишь очень условно, как особенность только *формы* пейзажа.

[25] См., например, отзыв В. Л. Львова-Рогачевского о рассказе «При дороге».— «Материалы», стр. 183.

[26] Г. Н. Кузнецова. Грасский дневник, запись 3 октября 1930 г.— настоящ. кн., стр. 272.

[27] Дневник Б. А. Лазаревского, 1925 г. (частное собрание, Москва).— Сообщено редакцией «Литературного наследства».

[28] Л. В. Крутикова. Прочитан ли Бунин? — «Русская литература», 1968, № 4, стр. 186.

[29] Этим герой бунинской прозы напоминает лирического героя его стихотворений. См. Э. А. Полоцкая. Взаимопроникновение поэзии и прозы в творчестве раннего Бунина («Известия АН СССР. Серия литературы и языка». М., 1970, вып. 5, стр. 414).

[30] Указываем здесь на Тургенева как на общепризнанного антипода Чехова в области лиризма. Последовательнее других об этом писал Е. Тагер в статье «Горький и Чехов» («Горьковские чтения 1947—1948». М.— Л., 1949).

[31] Так определяет поэтическую генеалогию лирической прозы Бунина О. Михайлов («И. А. Бунин. Очерк творчества», стр. 53).

[32] Об усилении субъективности повествования в произведениях 1894—1904 гг. см. статью: А. П. Чудаков. Об эволюции стиля прозы Чехова («Славянская филология», вып. 5. М., 1963, стр. 310—331).

[33] «Словно демонстративно отвергает Бунин всякую опосредствованность, приближающую описание к читателю. Кто бы ни был действующим лицом в рассказе, все равно ясно ощущаешь, что великолепные наблюдения сделаны самим автором, и только им» (О. Михайлов. И. А. Бунин. Очерк творчества, стр. 55).

[34] См. отзыв о «Соснах» в письме к Бунину 15 января 1902 г. (XIX, 222).

[35] См. настоящ. кн., стр. 93.

[36] Ф. Д. Батюшков. Ив. А. Бунин.— В кн.: «Русская литература XX в. (1890—1910)». Под ред. С. А. Венгерова, т. II. М., 1915, стр. 352—353.

[37] А. Е. Грузинский. И. А. Бунин (по поводу 25-летия поэтической деятельности).— «Вестник воспитания», 1912, № 8, стр. 109.

[38] К. Паустовский. Близкие и далекие. М., 1967, стр. 265.

[39] Л. С. Выготский отмечал, что в этой фразе самое жуткое слово рассказа — «застрелил» — затеривается между спокойным и длинным описанием казачьего офицера, платформы, толпы, поезда (см. Л. С. Выготский. Психология искусства. 2 изд. М., 1968, стр. 203).

[40] В своем анализе рассказа Л. С. Выготский исходил из решающего композиционного значения того обстоятельства, что Бунин с самого начала ставит нас перед могилой: «Мы все время узнаем историю уже мертвой жизни» (там же, стр. 202).

[41] Объективной (или внутренней) иронией мы называем скрытую форму иронии, которая, в отличие от субъективной, не имеет словесного выражения и обнаруживается лишь в контексте всего содержания художественного произведения. Подробнее см.: Э. Полоцкая. Внутренняя ирония в рассказах и повестях Чехова.— В сб.: «Мастерство русских классиков». М., «Сов. писатель», 1969.

[42] В основе композиции поздних рассказов Бунина, завершающихся гибелью героев, лежит, как считает М. Иофьев, «детерминизм катастрофического мира» (М. Иофьев. Профили искусства, стр. 279).

[43] В бунинских нарушениях жанровой чистоты Чехов не «повинен»: это была общая тенденция развития русской литературы, особенно проявившаяся в конце XIX — начале XX в. См. Э. А. Полоцкая. Взаимопроникновение поэзии и прозы в творчестве раннего Бунина (см. примеч. 29).

[44] А. В. Чичерин. Идеи и стиль. М., 1968, стр. 342.

[45] Слова, сказанные Чеховым Телешову перед последним отъездом за границу («Записки писателя», стр. 85).

# В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСКАНИЙ БУНИНА

## (КАК СОЗДАВАЛИСЬ РАССКАЗЫ 1911—1916 гг.)

Статья Л. В. Крутиковой

1911—1916 годы — пора все возраставшего цветения бунинского таланта. Один за другим появляются сборники «Суходол», «Иоанн Рыдалец», «Чаша жизни», «Господин из Сан-Франциско». «В эти годы,— вспоминал писатель,— я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы» [1].

Порой Бунин писал легко, быстро, спокойно, «вполне владея своими мыслями и чувствами». Рассказ «Легкое дыхание», например, был создан, по его словам, «с той восхитительной быстротой, которая бывала в некоторые счастливые минуты моего писательства» (9, 369). Нередко, однако, бывали дни и часы «адовой» работы над словом. В такие минуты вырывались горькие признания: «Но какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал не то Лермонтов, не то Тургенев. Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по другому — чувствую, что опять не то 〈...〉. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк» [2].

Всестороннее изучение бунинских рукописей и изменений, которые вносил художник почти при каждом переиздании своих книг,— дело будущего. Сейчас настало время попытаться выяснить хотя бы общие тенденции, характерные для работы писателя. Некоторые текстологические наблюдения, встречающиеся в ряде статей о Бунине и в примечаниях к собраниям его сочинений, носят частный характер. В Собр. соч. 1965—1967 появился раздел «Из ранних редакций». К сожалению, материал в нем отобран дилетантски, без должных научных обоснований и без мотивировки, почему одни отрывки приводятся, другие — нет, а в публикациях самых ранних редакций встречается немало ошибок.

Многие исправления, которыми изобилуют бунинские рукописи, носят обычный характер: Бунин вычеркивал лишние подробности, заменял отдельные слова и фразы более точными, емкими и весомыми, добивался бóльшей выразительности образа и всей структуры произведения. Словом, шлифовал, отделывал, совершенствовал свои произведения, как всякий взыскательный к себе художник. В то же время в скрупулезной работе Бунина над текстом есть свои индивидуальные особенности, свои тайны, свои пути, свои трудности. В чем специфика бунинского творческого труда, изменялись ли с годами его требования к образу и слову, его поэтика, чтó проясняет в мировоззрении и творческом методе писателя путь его художественной мысли от зарождения к черновой рукописи и далее — вплоть до окончательной редакции,— эти вопросы не только не выяснены, но даже еще не поставлены применительно к творчеству Бунина.

Рукописи Бунина дошли до нас не в полном объеме. Многое уничтожал он сам («Не хочу, чтобы кто-нибудь любовался моим пищеварением» [3]). Многое затерялось или остается недоступным для исследователя. Поэтому почти невозможно полностью восстановить процесс работы писателя над каким-либо рассказом. И все-таки сохранившиеся автографы помогают глубже понять творческую манеру, авторскую позицию, поэтику художника, его муки и сомнения, радости и находки.

Наиболее интересны в этом плане автографы рассказов «Чаша жизни», «Господин из Сан-Франциско», «Казимир Станиславович», «Аглая», «Сны Чанга», «Петлистые уши», «Соотечественник», «Отто Штейн», «Старуха», отчасти — «Древний человек», «Веселый

двор», «Крик». Они имеют по две-три, а то и более редакций со значительными разночтениями, по которым можно судить о ходе работы писателя, об углублении его поэтической мысли, о поисках единственно нужной формы *.

## «ЗВУК» И РИТМ

Бунин не раз говорил, что он начинает писать только тогда, когда что-то созрело, устоялось у него в душе, когда ему ясен общий смысл, вернее — настрой, «звук», «мелодия» вещи. «А какая мука найти звук, мелодию рассказа, — замечал он,— звук, который определяет все последующее. Пока я не найду этот звук, я не могу писать» [4]. Но что понимал художник под «мелодией», «звуком», которые, верно найденные, определяли успех вещи, а взятые ложно — вели к неудаче? Не помогут ли черновые рукописи распознать истоки, первоэлементы бунинского искусства?

Остановимся прежде всего на первоначальных редакциях. Посмотрим, что ложилось на бумагу при первом порыве вдохновения, что останавливало и тревожило воображение писателя, как воплощались ритм, «мелодия», «звук» рассказов.

Совершенно неоценим в этом отношении первый набросок рассказа «Старуха» (I, л. 1—1 об.). Вряд ли найдется другой такой документ, который бы позволил реально ощутить небывалый накал авторских переживаний, сила которого была так велика, что заставила всегда сдержанного художника выплеснуть свои чувства на бумагу. Глубоко взволнованный, Бунин пишет торопливо, неразборчиво, разбрызгивая чернила, не заканчивая слова и фразы, пропуская знаки препинания. Поведав о безысходном горе обиженной прислуги, он тут же, едва успевая за потоком чувств, говорит о себе, о своих клокочущих, разрывающих душу переживаниях: «Да будет трижды проклят тот страшный мир, в котором я живу! И да не вырастет даже терний на наших могилах! И да простит [мне] господь хоть часть моих злодеяний — ибо злодеяния этого ⟨так! — *Л. К.*⟩ и за то, что сейчас я не вижу букв, которые ⟨2 нрзб.⟩ от слез за эту старуху [за мою мать, за мою возлюбленную], болью и нежностью к которой разрывается мое сердце». И тут же добавляет: «... за эту старуху от невыразимой и лютой боли и нежности, при мысли о ее страшных руках, которые я целую с такой любовью, с которой не целовал рук ни одной из любимых мной, молодых и прекрасных» (I, л. 1 об.).

Приведенный отрывок навсегда должен бы разрушить бытующие до сих пор легенды о Бунине как о холодном и равнодушном человеке. В этом непосредственном возгласе выражена та сила любви и ненависти, сострадания и жгучей боли, которые всегда были присущи Бунину — писателю и человеку.

Однако, верный избранному художественному методу, писатель не допускал в свои книги подобных излияний. «Крик души» — еще не искусство, а лишь почва, на которой должно взрастить подлинную поэзию. Избегая выражения собственных эмоций, отказываясь от публицистически прямого комментирования, риторической назидательности, Бунин изнутри пронизывал все повествование светом авторского чувства. Так рождался бунинский стиль, сдержанный, но не бесстрастный, не равнодушный, а звенящий каждым словом, как туго натянутые струны. Внутреннюю напряженность этого стиля хорошо чувствовал Горький: «Его сдержанность — показатель большой внутренней силы» [5].

Не только обнаженным авторским настроением интересен черновик «Старухи». Он позволяет разгадать и тот смысл, который вкладывал писатель в понятие «звук» произведения. Можно предполагать, что Бунин потянулся к листу бумаги поздним вечером 13 января 1916 г. не только потому, что его переполняли боль и нежность, гнев и любовь, но и потому, что того требовала художественная интуиция, подсказавшая,

---

* В «Приложении» к настоящей статье дано описание всех сохранившихся автографов произведений, рассматриваемых нами. Описание дается в алфавитном порядке названий; разные редакции каждого произведения описываются в порядке последовательности работы Бунина над ними. Далее, при цитировании автографов Бунина, ссылки на них даются в тексте по «Приложению»: римскими цифрами обозначается номер редакции соответствующего рассказа, арабскими — номер листа или страницы.

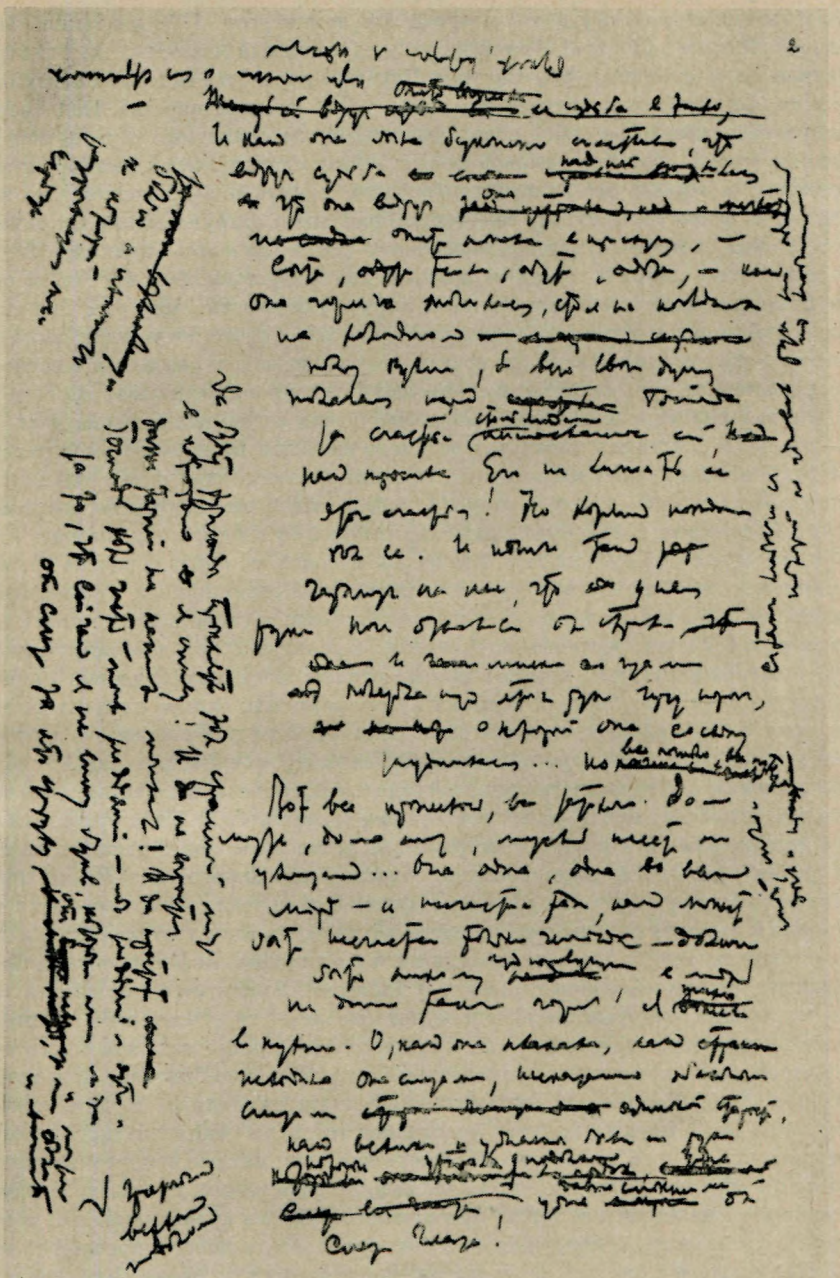
что именно в этом накале чувств таится та «мелодия», тот сгусток поэтической мысли, который требует воплощения в слове. Переполнявшие душу эмоции выплеснулись на бумагу еще неорганизованным потоком впечатлений. Но они несли в себе поэтический заряд, первооснову будущего рассказа.

Черновой набросок «Старухи» отмечен и единством нравственного отношения к миру, и особым пафосом бунинского восприятия бытия. Заурядный случай, обыкновенную семейную ссору и слезы старухи-прислуги писатель ощущал как проявление порочности всего современного строя жизни, где царствует пошлость, эгоизм, несправедливость, где страдания обездоленного, незащищенного человека безмерны. «Звук», «мелодия» были угаданы тогда же. Именно плач старухи, впоследствии разросшийся до символа народного горя и бедствий, соотнесенный с атмосферой пошлости, фальши и притворства, определит всю тональность рассказа. Соотнесенность единичного факта со всем строем жизни — бытовым, нравственным, социальным, лишь намеченная в черновике, обусловит затем всю систему образов рассказа, где в один ряд станут уездные мещане-хозяева, учитель, в классах дравший детей за волосы, а дома писавший сочинение о скованном Прометее, и пресыщенные богачи, прожигавшие в годы мировой войны жизнь по столичным ресторанам и кабакам.

Итак, «звук», «мелодия» рассказа — это, по всей вероятности, то поэтическое единство вещи, та окраска событий, которая озаряет светом обостренного авторского сознания поразившую художника реальность, определяя весь художественный строй произведения: стиль, систему образов, композицию. Показательно, что сам Бунин свое «решение писать» связывал именно с обостренным авторским чувством: «Эта тяга писать появляется у меня всегда из чувства какого-то волнения, грустного или радостного чувства, чаще всего оно связано с какой-нибудь развернувшейся передо мной картиной, с каким-то отдельным человеческим образом, с человеческим чувством» (9, 374—375).

Поначалу «звук», соответствующий напряженности авторских эмоций, овеществляется отдельными пронзительными деталями, ритмом фразы, а иногда — непосредственными восклицаниями, сентенциями, публицистическими отступлениями. В черновом наброске «Старухи» авторское чувство обнаруживается как в прямом отступлении, так и в лирически окрашенных подробностях, в эмоциональном строе фразы. В тоне острой скорби и ненависти поданы все детали окружающего мира: заброшенный уездный город, неутихающая метель, печально синеющие окна и птица в клетке, спящая «сном тонким, одиноким и нам непонятным», и в противовес этому — тяжкий, злой сон хозяев, пошлость их натур и жизнь старухи, полная бед и лишений. Появившиеся в черновике приметы, резко окрашенные авторским настроением, перейдут почти целиком в окончательный текст (4, 412—415). Сохранится, получив более совершенную форму, и зазвучавший в черновике тон повествования — размеренный, плавный, построенный на чередовании ритмически организованных синтаксических периодов с инверсиями, повторами и ударениями на словах мягких , певучих (метель, улицам, заваленным, стала, стемнело, давали, текло, спала и т. п.), создававшими неуловимый лирический подтекст. От одной редакции к другой лирический ореол приобретал все более четкие очертания, окрасив в конце концов народно-песенной интонацией плач старухи («рекой лилась, плакала», «разливалась горькими слезами», «а старуха сидит и плачет: утирается подолом — и рекой течет!») — плач, ставший кольцевым обрамлением рассказа, его шестикратно повторенным лейтмотивом.

Решающее значение эмоционального тона, «звука», первой фразы, определяющих смысл бунинских произведений, подтверждает другая редакция «Старухи» — под названием «Святки» (II, л. 1—7). В отличие от первого наброска и окончательного текста рассказа, она написана совершенно в ином эмоциональном ключе — не лирически скорбном и гневном, а иронически-саркастическом. Отталкиваясь от факта, закрепленного в черновом наброске, Бунин работал над рассказом, движимый новым потоком чувств, — в тот момент его захлестывало негодование, вызванное невиданным опошлением искусства в различных декадентских течениях, которые Бунин резко осудил еще в 1913 г. на юбилее «Русских ведомостей» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 316—322). Непримиримость Бунина ко всякой фальши в искусстве обострилась в годы первой ми-



РАССКАЗ «СТАРУХА»

Черновой автограф, 13 января 1916 г., л. 1 об.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

ровой войны, что сказалось и в его интервью (см. там же, стр. 379), и в таких стихотворениях, как «Слово», «Поэту», «Архистратиг средневековый ...». Эти же настроения определили особую тональность «Святок». Писатель переносит акцент с описания горя старухи на обличение окружающей пошлости, всеобщего притворства. Подобная переакцентировка повлекла за собой совершенно иной, по сравнению с черновым наброском, тон и особую структуру первой фразы: «Были святки, время веселое, время масок, ряженых и вообще всяческого притворства, то-есть преображения всем надоевшего мира, а ⟨1 нрзб.⟩ отсталая, еще непреображенная старуха самым непритворным образом сидела в кухне одна-одинешенька и рекой лилась — плакала» (II, л. 1).

В этом зачине явно господствует ироническая интонация. Она настолько сильна, что почти полностью вытесняет то скорбно-лирическое чувство, которым был окрашен черновой набросок, и невольно снижает, лишает авторского сочувствия образ старухи. Вместе с тем прежнее чувство не исчезло бесследно — оно сказалось в подчеркивании непритворности горя старухи, в соотнесении ее горя с народными бедами во время войны и в тех фольклорно-песенных мотивах (сидела «одна-одинешенька и рекой лилась — плакала»), которые определят ведущую мелодию в окончательном тексте (4, 412—415). И все-таки, хотя все эпизоды, связанные со старухой и народными бедами, окончательно сложились в этом автографе, они не стали еще ведущими, ибо лишены были того философско-поэтического смысла, который будет достигнут позднее.

В то же время иронически-саркастическая интонация, обращенная на обывательский мир и особенно на «культурную» пошлость, была еще слишком публицистически прямолинейна, не подымалась до поэтического пафоса, а несла в себе остроту неустоявшегося и порой пристрастного негодования. Ирония вносила диссонирующие ноты даже в те строки о старухе, которые противостояли своей подлинностью атмосфере лжи и притворства. Ненависть ко всякому притворству так сильно владела писателем, что он, ослепленный ею, допускал в этой редакции совсем несообразные обороты, исчезнувшие в окончательном тексте рассказа. Например, свинка, роющаяся в лохани с помоями, по словам автора, притворялась «радостной, солнечной», а актер, «еще довольно молодой человек», притворялся «совершенно лысым» (II, л. 5 и 6; ср.: 4, 414—415).

В «Святках», как и в черновом наброске, не достигнуты еще художественное единство и уравновешенность повествования. Чувства негодования и сарказма придают рассказу местами черты литературного памфлета или пародии на современные нравы.

Ирония и сарказм направлены, главным образом, по адресу символистов и других модернистских течений, провозглашавших идеи мистицизма, мифотворчества, преображения жизни путем театральных действ и мистерий. Бунин негодует против тех поэтов и теоретиков, которые создавали культ Любви — то отвлеченной, бесплотной, мистической, то извращенно-плотской, эротической,— против тех, кто много суесловил о Красоте — то ирреальной, запредельной, то сниженно-бытовой, приземленной, неодухотворенной. Именно эти внежизненные схемы пародирует Бунин, используя терминологию Вяч. Иванова и других участников журнала «Аполлон» применительно к нравам провинциального мещанства. Писатель снижает, лишает всякого смысла такие слова, как преображение, любовь, красота, миф, легенда, мечта, или такие выражения, как «жизнь надо не жить, а творить, преображать». Бунин иронизирует над всей этой выспренной фразеологией, погружая ее в бытовую повседневность, которой те так чурались. Напыщенное и пошлое звучание получают в рассказе слова «Любовь» и «Красота», дважды повторяемые с большой буквы при характеристике низменных помыслов стареющего чиновника. Нарочито подчеркивая, что хозяин дома «признавал в мире только Любовь и Красоту», Бунин тут же саркастически добавлял: «горячее самого пылкого современного поэта». А зачеркнув эту слишком прямолинейно звучащую фразу, заменил ее не менее едкой, явно пародируя новомодные теории: «и упорно стремился выявить свой лик, свои дерзания и хотения» (II, л. 4). Даже непритворную жизнь и искреннее горе старухи Бунин подает в ироническом тоне, адресуя свое слово теоретикам «преображения» жизни. Рассказывая о тех же фактах из жизни старухи, какие были в черновом наброске, писатель вводит авторский комментарий: «... жизнь ее, короче сказать, была далеко не радостна, не красочна, не похожа на миф, на легенду, на мечту. Но ведь еще нерадостнее было ее банальное прошлое». А после описания ее бла-

годарной молитвы писатель вновь вводит полемическую фразу: «Право, в эти минуты была она так жалка и трогательна, что сам редактор журнала „Аполлон" простил бы ей ее плоское, чисто бытовое существование и то, что она никогда не видала ни одного шедевра Сомова» (II, л. 3).

Вполне естественно, что этот «святочный» рассказ, перегруженный столь лобовыми выпадами против модернистов, не мог удовлетворить Бунина. Двуслойная правка автографа «Святок» в сопоставлении с первой публикацией «Старухи» [6] показывает, что писатель последовательно освобождал рассказ от полемического авторского вмешательства, от резких публицистических оценок литературно-артистической среды, а кроме того, интонационно выравнивал, углублял тему старухи. Но лишь в окончательном тексте, добившись единства эмоционального тона, сделав акцент на горе народном, Бунин довел рассказ до высшего художественного совершенства (4, 412—415).

Если в «Старухе» «мелодию» образует плач и авторская скорбь-ненависть, то в других рассказах появляются иные «звуковые» доминанты, соответствующие иным событиям, иному авторскому настрою.

В рассказах «Казимир Станиславович» и «Отто Штейн», «Петлистые уши», «Соотечественник», «Клаша» и др., где в центре — психология, поведение, судьба одного героя, «мелодию» образуют приметы, раскрывающие строй души, мировосприятие персонажа в какой-то важный момент его бытия. Авторское начало в таких случаях еще больше уходит в подтекст, то сливаясь с мироощущением героя, то едва заметно окрашивая повествование нотами восхищения («Клаша», «Легкое дыхание»), недоумения («Соотечественник»), сочувствия («Казимир Станиславович»), жестокой иронии («Отто Штейн», «Господин из Сан-Франциско»), мрачной настороженности («Петлистые уши»).

Только в одном случае — в черновике повести «Жизнь» (ранняя редакция рассказа «Отто Штейн») — был взят поначалу неверный тон, который и помешал, очевидно, Бунину реализовать первоначальный замысел. И название «Жизнь», и деление на главы, и намеченный облик героя, и рассуждение автора о Цейлоне, о его праистории, и особенно восклицание, заканчивавшее первую главу («Думал ли он, что ему суждено вернуться к ним совсем другим человеком!» — I, стр. 5), — все несет следы какой-то глубокой философской мысли писателя. Однако избранный герой — немецкий естествоиспытатель Отто Штейн,— его характер и строй души не соответствовали направленности бунинского взора.

Сохранившиеся рукописи начала повести свидетельствуют, как противоборствовали характер героя и авторская интонация, как натура Отто Штейна, трезвая, практическая, рассудочная, вступала в противоречие с лирико-философским настроением автора. Бунин пытался передать герою часть своего восторженно-поэтического отношения к Востоку — Цейлону, Бирме, Сиаму. В результате зазвучали две противоположные интонации, идущие от героя и от автора,— это разрушало и единство повествования, и единство личности Отто Штейна.

Примечательно, что в обеих редакциях «Жизни» бо́льшая часть правки приходится на те страницы, где речь идет о поэтическом восприятии героем путешествий Востока, дорожных впечатлений. В первой их них, например, чувства Отто Штейна, собирающегося на Цейлон, были более вдохновенны и описывались более пространно и поэтично: «Жемчужной серьге или дождевой капле, готовой упасть с древесного листа, уподобляют один из этих островов ⟨...⟩. Когда-то он был для Штейна сказкой, детскими смутными грезами» (I, стр. 2).

Однако автор вычеркивает почти треть страницы и заменяет эти описания сухой фразой: «Теперь Штейн готовился воочию увидеть эти страны» (I, стр. 2). Сборы в дорогу также были сначала окрашены поэтически: «... Штейн ходил, ездил, мысленно живя уже не в Берлине, а в Красном море, в Индийском океане ... Его волновали цветистые плакаты в конторах спальных вагонов и пароходных обществ, магазины дорожных вещей и научных приборов ...» (I, стр. 1). В следующей редакции автор перебивает этот строй чувств не лишенным иронии замечанием, характеризующим трезвую и расчетливую натуру Штейна. После слов: «в Красном море, в Индийском океане» — появ-

БУНИН
Фотография, 1912. С автографом писателя:
«Ив. Бунин. 17 окт. 12 г.»
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

ляется вставка: «хотя и не забывал, что делать заказы и наводить справки надо обдуманно» (ранее было: «трезво, точно, обдуманно»). Поэзию чувств («Его волновали цветистые плакаты») писатель сменяет далее холодком восприятия («Глядя на цветистые плакаты»). Впечатление от вокзала, дорожной суеты и поезда здесь тоже лишается восторженности, а фраза: «Все это охватило Штейна чувством давно не испытанной радости»— заменяется более сдержанной и спокойной: «как волнует все это!» (II, л. 1 и 2).

Начавшиеся в этих ранних редакциях снижение, «делиризация» героя естественно привели к изменению замысла. Бунин вычеркнул во второй редакции многозначительную фразу, заключающую первую главу: «Думал ли он, что ему суждено вернуться к ним совсем другим человеком!» (II, л. 4). Это позволяет предположить, что писатель отказался от намерения совершить перелом в характере Штейна под влиянием поездки на Цейлон. В результате задуманная вначале повесть о духовном возрождении героя превратилась в рассказ о его поездке на Восток. В окончательном тексте Бунин ограничился созданием колоритной фигуры самодовольного, самоуверенного немца, мнящего себя представителем высшей расы (4, 406—411). Здесь тон рассказа резко изменился. Бунин отказался от всякого лиризма. Сухой рационализм героя, окрашенный авторской иронией, определил ритм вещи — деловитый, сухой, равнодушный, как казенный отчет, точно соответствующий холодно надменному мировосприятию Штейна. Исчезло и название «Жизнь», отражавшее первоначальный замысел Бунина. Однако к такому решению он пришел не сразу — окончательному тексту предшествовала попытка сохранить жанр повести (III, л. 1—3).

В поисках «звука», верной «мелодии» повествования, Бунин много внимания уделял зачину, первой фразе. В редких случаях писатель оставлял зачин неизменным. Чаще всего он шлифовал, отделывал первую фразу, добиваясь смысловой, звуковой и композиционной гармонии, учитывал как интонацию отдельной фразы, так и ее соот-

несенность со всем строем рассказа. «Да, *первая фраза* имеет решающее значение,— замечал писатель.— Она определяет прежде всего размер произведения, звучание всего произведения в целом» (9, 375).

Черновые редакции «Снов Чанга» подтверждают, как настойчиво искал Бунин верный тон повествования, как мучительно бился он над его началом. Почти каждая из пяти редакций начала «Снов Чанга» имеет внутри значительные пласты исправлений. Отталкиваясь от изречения Фа-Сяня («Не все ли равно про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших и живущих на земле»), вынесенного в одном из черновиков в эпиграф, Бунин по-разному варьировал эту мысль (см. ниже, стр. 107). Но в конце концов художническое чутье подсказало писателю, что вряд ли стоит изменять прошедший через столетия афоризм. Бунин отбросил эпиграф и начал рассказ древним изречением. Вся вещь настолько проникнута библейско-восточным колоритом, что первая фраза, будучи скрытой цитатой, воспринимается как собственно бунинское слово. Не сохранись черновик с эпиграфом из Фа-Сяня, мы бы так и не знали, что первая фраза знаменитого бунинского рассказа принадлежала китайскому философу-путешественнику [7].

Поиски верного тона, ведущей «мелодии» — лишь одна из особенностей бунинского мастерства. Черновые и беловые автографы помогают уяснить и более общие закономерности художественного видения и связанного с ним творческого метода писателя.

## КОНКРЕТНОСТЬ БЫТИЯ И ПОИСКИ СИНТЕЗА

Черновики многих рассказов 1911—1916 гг. поражают полнотой изображения той жизненной ситуации, которая образует основу вещи. Среди рукописей Бунина почти нет обычных для других писателей планов, эскизов, предварительных набросков сюжетной канвы, биографий действующих лиц, их характеристик. Какую бы первоначальную редакцию мы ни взяли («Древний человек», «Чаша жизни», «Соотечественник», «Казимир Станиславович», «Петлистые уши», «Господин из Сан-Франциско») — везде сразу ощущаем и облик того, о ком пишет художник, и ту атмосферу, ту бытовую, социальную и природную среду, в которой живет и действует герой. Не остов, не план, не контуры будущего рассказа набрасывал Бунин, а сразу рисовал взволновавший его жизненный эпизод. Все это позволяет говорить об особенностях эстетического сознания Бунина, об особой направленности его взора.

Бунин-художник воспринимал человека и окружающий его мир в их слитности, нерасторжимости. Недаром писатель в «Жизни Арсеньева» заметил, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214). Думается, отсюда проистекает обилие подробностей, которыми насыщены не только законченные произведения писателя, но и его черновики: уже в самом начале работы художник пытался запечатлеть именно многоликость, многострунность, своеобразный «симфонизм» бытия, проявляющийся в каждом единичном случае.

«Ум бунинских глаз» верно отметил один из критиков, с мнением которого считался сам Бунин [8]. И, действительно, оригинальность бунинского таланта заключалась в обостренно чувственном видении мира, в любовании зримым многообразием бытия при постоянном ощущении его единства. Обилие и тонкость деталей, разнообразие красок, звуков, запахов и вещных примет всегда поражали в его книгах. Однако воспринималось и толковалось это критикой по-разному. Одних восхищала острота глаза художника, других раздражало изобилие подробностей — Бунина нередко обвиняли в натурализме, в щегольстве красками, в якобы ненужной описательности, в перегруженности его прозы деталями и даже в «гимнастике воображения». Пожалуй, тоньше всего бунинский дар видения мира определил французский поэт и критик Рене Гиль, писавший Бунину в 1921 г.: «... как глубоко охватываете вы жизнь— всю, во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее ⟨...⟩. Как все сложно психологически! А вместе с тем,— в этом и есть ваш гений, — все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности ⟨...⟩. Ваш разнообразный и живо-

писующий анализ не разбрасывает подробностей, а собирает их в центре действия — и с каким неуловимым и восхитительным искусством!» [9]

В пестроте событий и чувств писатель искал проявления всеобщих связей и закономерностей, помогающих понять человека и движение жизни. Этот вечно тревожный нерв бунинского искусства — стремление найти, уловить в разноликой конкретности мира «связь времен», дыхание вечности — бьется в рукописях художника. Черновики Бунина отчетливо показывают, как легко давались ему конкретные, зримые характеристики людей и обстановки. Гораздо труднее достигал он обобщения, синтеза, осмысления единичных фактов, включения их в широкий жизненный поток.

Анализ черновых и печатных редакций таких рассказов и повестей как «Веселый двор», «Чаша жизни», «Казимир Станиславович», «Сны Чанга», «Господин из Сан-Франциско», «Петлистые уши» позволяет убедиться, что писатель тратил больше всего усилий, пытаясь найти объяснение происходящему, мотивировать поступки и характеры персонажей, выявить общезначимый смысл конкретного события.

В первых редакциях пояснения и мотивировки зачастую шли непосредственно от автора, носили прямой публицистический характер. Это были еще мысли, разъяснения для себя, предположения, от которых нередко автор тут же отказывался.

Один из примеров тому — два сохранившихся беловых автографа «Веселого двора»: одна из ранних редакций и наборная рукопись. Здесь бо́льшая часть изменений связана с образом Егора, с попытками выяснить причины сложности его характера, неустойчивости психики, недовольства и склонности к самоубийству. В сцене возвращения захмелевшего Егора от кузнеца на полях наборной рукописи была сделана и затем зачеркнута вставка, разъяснявшая, казалось бы, самую суть поведения Егора: «Так и не удалось ему поговорить у кузнеца о том самом главном, что нужно было во что бы то ни стало решить 〈...〉: имеет ли право человек распорядиться собою, как ему угодно? Теперь это было уже твердо решено самим Егором» (II, стр. 72).

Бунин отверг эти очень значительные строки, вероятно, по ряду причин. И потому, что сильно захмелевший Егор вряд ли мог принять столь твердое решение. И потому, что эти его размышления снимали силу последующей сцены в караулке, где он увидел умершую Анисью. А главное, потому что мировосприятие Егора, стихийный строй его мыслей и чувств исключают возможность обращения к столь серьезной философской проблеме —«Имеет ли право человек распорядиться собою, как ему угодно?» Это вопрос, волновавший самого автора, а не Егора. В данном случае Бунину не удалось вынести на поверхность мучившую его мысль. Она так и осталась в подтексте, ибо смысл повести, как и характер Егора, был намного сложнее и многомернее.

Вся последующая правка «Веселого двора» показывает, как отвергал Бунин многие однозначные мотивировки и суждения, как углублял и усложнял он содержание повести. Писатель стремился освобождать свои объяснения характера, поведения и психики Егора от чрезмерной детализации и определенности, придавая фигуре героя не до конца уловимый многозначный смысл. Он убирал те детали, которые могли своей нарочитостью подсказать читателю слишком простое, однолинейное объяснение судьбы и характера героя повести. На каком-то этапе, в поисках внутренних мотивировок поступков Егора, Бунин ввел в рассказ целый ряд именно таких деталей, зафиксированных в наборной рукописи (в первой дошедшей до нас редакции их не было). Однако впоследствии он от них отказался. Например, подробно перечислялись болезни Егора: «... было у Егора и малокровие. Да был и катарр желудка, был ревматизм [подагра]» (II, стр. 3); настойчивее подчеркивалась мысль о самоубийстве (II, стр. 44, 72), упоминалось о предчувствии смерти матери (II, стр. 47), слишком нарочито звучала мысль о голоде (хлеба взаймы «попросить не у кого: у кого можно было взять, он уже давно взят».— II, стр. 50). Наконец, так же нарочито связывалось поведение Егора с его национальностью: «Он, русский, до дна души своей русский человек, не мог не играть той роли, что ему, как сыну, полагалась у гроба матери» (II, стр. 77). Слово «русский» повторялось и в самом конце, когда речь шла о мертвом Егоре: «...туловище лохматого мужика, желтоволосого, самого настоящего русского» (II, стр. 82). Часть этих деталей исчезает уже в журнальной публикации [10], остальные — в окончательном тексте повести. И в автографах, и в журнальной публикации трижды

звучало самоопределение Егора —«раздребезженный». В окончательной редакции 1934 г. Бунин отказывается даже от этого, пусть не слишком однозначного, но все-таки достаточно конкретного определения натуры Егора, которое могло подавлять, ограничивать мысль и воображение читателя, сводя всю разгадку героя к «раздребезженности».

Были в первоначальных редакциях повести и другие случаи авторского нажима, более резкого выявления авторского отношения к изображаемому. Так, сначала повесть заканчивалась припиской: «Европа. Двадцатый век от Рождества Иисуса Христа» (I, стр. 41). В дальнейшем эта фраза исчезла (II, 83) — Бунин не терпел никакой назидательности. Думается, по той же причине снял он, по-видимому, уже в корректуре журнальной публикации, подзаголовок «Будничная повесть», который был в наборной рукописи (II, стр. 1), ограничившись простым обозначением жанра —«Повесть»[11].

Стоит отметить, наконец, и видоизменение финала, на которое уже обращалось внимание [12]. Долгое время повесть завершалась подробностями смерти Егора, сценой увоза изуродованного тела в товарном вагоне и осмотром его доктором и следователем [13]. Подготавливая к печати Собр. соч. 1934—1936, Бунин снял эту концовку. Снял, думается, вовсе не как «обличительно-сильный финал» (как считает М. Л. Сурпин), в котором «кейфующие представители мира сытых неохотно, по обязанности, равнодушно-брезгливо сталкивались с деревенской тьмой»[14], а потому, что подобный финал нарушал цельность повествования, отвлекал внимание от Анисьи и Егора, звучал диссонансом. Бунин убрал эту сцену, заменив ее единственной фразой, которая сразу придала всей повести музыкальную завершенность: «Так разно кончили свои дни хозяйка и хозяин „веселого" двора в Пажени» (3, 310). Эта фраза возвращала мысль читателя к главным героям, заставляла думать об их судьбах, различных и все же в чем-то единых, усиливала основную «мелодию» повести, варьируя мотив ее заглавия и зачина.

Отказ от сугубо конкретных, однозначных авторских мотивировок, моралистических сентенций или назидательных поучений вообще характерен для работы Бунина этого времени. В рассказах 1911—1916 гг. писатель все чаще и чаще исключал пространные авторские рассуждения.

Многие из них тем не менее представляют несомненный интерес как прямое выражение социальных, морально-философских и эстетических воззрений Бунина, его размышлений, его авторской позиции. Так, черновые наброски к «Снам Чанга» хранят рассуждения автора о достоинствах краткости повествования: «Думать надо много, а говорить мало»,— замечал писатель, как бы убеждая себя и читателя в превосходстве избранной манеры письма — необычайно насыщенной и сжатой. Эта мысль так его волновала, что он повторяет ее, правда, тут же зачеркивая написанное: «Хороши те речи, что будучи сжаты, дают простор мыслям. Хорошо только то слово, что есть итог мыслей» (IV, л. 1). Ворвавшееся в рассказ эстетическое суждение Бунина подтверждает, какое значение придавал он интеллектуальной глубине искусства, интеллектуальной емкости слова.

В черновых автографах нередко остро звучали социальные, философско-исторические рассуждения писателя. Бунин неоднократно с чувством скорби и ненависти писал о растлевающей власти капитала, биржи, чиновников, дельцов, о социальных контрастах: о рабстве и беззащитности миллионов, о цинизме, жестокости, беззастенчивой роскоши власть имущих. Эти обличительные монологи врывались резким «криком души», едва «живописующий анализ» достигал своего апогея, а авторские чувства и мысли требовали своего прямого выражения. Так, после детального описания пустого времяпрепровождения пассажиров «Атлантиды», после столь же детального описания приготовлений господина из Сан-Франциско к его последнему обеду, во второй черновой редакции рассказа появился публицистический отрывок, по-толстовски гневно бичующий праздность, изнеженность героя рассказа и людей его круга: «Может быть, ужасно то, что вот он, уже старик, опять наряжается и, наряжаясь, мучается, и делает так изо дня в день, и не один, а несколько раз в сутки, теряя на одеванье и раздеванье по меньшей мере часа три, когда их и всего-то двадцать четыре? Или ужасно это объедение, которому с утра до вечера предается он так же спокойно, как

и все люди его круга, предающиеся чуть не ежечасно этому никем не осуждаемому разврату?» А дальше, следуя своему излюбленному методу — соотносить современность с историей в поисках закономерности, Бунин не без иронии заключал: «Или ужасен вообще тот мир, в котором он живет? Но, конечно, ничего подобного и в голову не приходило господину из Сан-Франциско. Ведь это, как сказано, во всех учебниках, только в древности „развращались и погибали" не только отдельные люди, но и целые народы в пирах, в роскоши, в пурпуре, в виссоне, „без меры владея рабами, конями и колесницами". Теперь этого нет и не может быть. А что до рабов, до всей той несметности служилой черни, которой и была, и есть, и во веки веков будет переполнена земля, до всех этих углекопов, кочегаров, матросов, лакеев, поваров, коридорных...»[15] Но тут, почувствовав, видимо, что отступление слишком разрослось, автор обрывает его и вновь обращается к рассказу о своем герое.

Подобный «взрыв» авторского негодования находим и в черновых редакциях «Снов Чанга». В лад со своим героем писатель резко характеризовал современное общество, подчеркивая бессмысленность существования одних и ничтожество, подлость других. Именно здесь появлялись гневные слова о бирже, «уже давно, на горе всему человечеству, правящей всем миром», и о дельцах, живущих «биржей, подлой и низкой игрой которой они, совместно с тысячами других таких же людей, опутали весь мир и изменили самое лицо земли» (V, л. 13; VI, л. 1). В один ряд с жуликами и проститутками ставил писатель мелких и крупных чиновников, невежественных, недобросовестных, ненавидящих свое дело,— представителей «того высшего отребья человечества, из которого и состоит почти все человечество, если не считать миллионы тех вьючных животных, что от сотворения мира и, кажется, до скончания веков покорены этим человечеством» (VI, л. 1). А далее шел еще более резкий монолог капитана, в котором явно слышалась та же авторская интонация: «какие скотские лица, какая низость интересов и вкусов и какая свирепая бессердечность и друг к другу и к тем несметным,—людям и животным,—что служат им, что устрояют их низкую жизнь! Рабство, войны, убийства, казни, чуть не доисторическая нищета угнетенных, забитых и бесправных, тех, что расстреливают тысячами за один крик о прибавке лишнего куска хлеба, грубая и бессмысленная роскошь, отвратные в своем даже внешнем безобразии и в своей тесноте города, стоящие на гигантских клоаках, в дыму и непрестанном грохоте...» (VI, л. 1).

Об устойчивости авторского возмущения социальным неравенством, эксплуатацией народных масс говорят и вычеркнутые в машинописи «Петлистых ушей» строки: «несметный рабочий люд, с утра до вечера работающий для того, чтобы легко катилась ничтожная и преступная жизнь небольшой кучки, поработившей весь этот люд» (V, стр. 10; VIII, л. 7).

Естественно возникает вопрос, почему Бунин вычеркивает столь гневные публицистические отступления. Причин тому найдется немало. Одно несомненно: писатель отказывается от публицистики вовсе не для того, чтобы смягчить социальную остроту своих книг. Ненависть к дельцам, власть имущим, поработителям миллионов, как и сострадание к угнетенным достаточно отчетливо звучали в повести «Деревня», в рассказах «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Старуха». Бунин снимает развернутые авторские комментарии чаще всего из эстетических соображений, ибо они нарушали художественное единство вещи, врываясь «криком души», не обретшим достойной поэтической формы, иначе говоря, не ставшим еще искусством. Кроме того, художник вообще избегал назидательности, не желая насиловать волю и воображение читателя, всегда оставляя ему духовную свободу. Наконец, как отмечалось выше, художественный метод Бунина исключал односторонность выводов. Между тем, в большинстве исключенных отрывков проявлялся сгущенно мрачный, бесперспективный взгляд на современное человечество, который, верно отражая настроения момента, не исчерпывал всей сложности бытия.

Бунин воспринимал жизнь гораздо шире. Он видел мир, человека не только злым, но и прекрасным. Это вселяло надежду, заставляло искать пути искоренения зла. Но с пророчествами Бунин никогда не спешил. Доказательство тому — его книги и, может быть, особенно ясное и прямое — письмо А. А. Измайлову в ответ на просьбу

написать в канун 1915 года фельетон о своем отношении в войне: «Не могу ответить на вопрос „Биржевых ведомостей“ в нескольких словах и сгоряча. Вопрос великий, без преувеличения, чтобы ответить на него достойно, не кощунственно, нужно, после долгого поста, думать и писать целый год и забыть о всяческих цензурах. Твердо знаю, что нынешнее Рождество может быть не последним кровавым Рождеством, знаю, что человечество живет еще ветхим заветом, что люди еще слишком звери — теперь это доказано с небывалой, ужасающей очевидностью — но есть и тысячи „но“, радостных и утешительных, не говоря уже о голосе сердца. Не могу позволить себе с легким духом пророчествовать о судьбах мира, где за последнее столетие все же совершаются беспримерные в истории политические, социальные и научные катастрофы. Да и мыслимо ли, не будучи Исаией, пророчествовать в такие дни, когда во всяком мало-мальски человеческом сердце идут такие приливы и отливы, смены надежд и скорби...»[16] Это на редкость продуманное письмо отражает высокое чувство ответственности писателя, глубину его представлений о сложном, запутанном ходе развития современного общества, отказ от торопливых и неосторожных выводов.

В беспрестанном борении надежды и скорби жил тогда сам Бунин. Правя свои рукописи, он изгонял то, что попадало в них «сгоряча», пытался дать целостную картину мира. Вот почему, вероятно, писатель вкладывает обличительные монологи и мрачные прогнозы лишь в уста своих односторонне мыслящих героев,— людей с больным, изломанным мироощущением.

Как свидетельствуют рукописи, обвинительные речи по адресу современной цивилизации, которые произносит капитан («Сны Чанга»), Соколович («Петлистые уши»), Англичанин («Братья»), вобрали многое из суждений самого Бунина. Тем не менее в процессе работы писатель придавал названным монологам все более индивидуальное звучание, убирая из них то, что шло исключительно от автора, а не от героя. С полным основанием говорил он о «Петлистых ушах»: «Много ли автора в рассуждениях Соколовича? По-моему то, что говорит Соколович, вполне слито с его обликом»[17]. К тому же стремился он, постепенно сокращая в «Снах Чанга» рассуждения капитана о социальных контрастах, о нищете угнетенных (см. выше, стр. 100), ибо подобная направленность мысли не могла быть свойственна капитану с его повышенным самолюбием и эгоцентризмом (V, л. 13; X, л. 13).

Если в черновых, а иногда и в первопечатных редакциях функцию обобщения выполнял прямой авторский голос, то при дальнейшей работе над текстом Бунин находил более художественно совершенные формы синтеза и более утонченные приемы выражения авторской позиции.

Говоря словами Рене Гиля, «живописующий анализ» он все больше усиливал, одушевлял его «гармонией построения». О путях углубления замысла, о расширении и обогащении первоначальных жизненных ситуаций могут многое поведать сохранившиеся рукописи рассказов «Чаша жизни», «Казимир Станиславович», «Сны Чанга», «Петлистые уши». Они наиболее полно отражают ход авторской мысли от черновых набросков к окончательному тексту.

## «ЧАША ЖИЗНИ»

«Чаша жизни»... Даже представить трудно, что первоначально повесть не только называлась иначе («Дом», «В Стрелецке»), но и была лишена того глубинно-философского смысла, который связан с позднее появившимся мотивом «чаши жизни».

Название «Дом» весьма точно определяло первоначальный замысел повести (II, стр. 1). Образ дома цементировал всю вещь, проходя через нее лейтмотивом. В центре повести, в первой из дошедших до нас редакций, оказывались соперничество о. Кира и Селихова, кичившихся своими домами, и мечты о собственном доме Александры Васильевны. И даже в финале на первый план выступал опустевший дом, отдававшийся внаем после смерти его владелицы (I, стр. 19—20). Были в тексте первой редакции и более пространные рассуждения о владельческих надписях на домах в Стрелецке: «Вот теперь выдумали номеровать дома. Да нет, до веку будут стрелецкие

домовладельцы писать на дощечках над своими калитками имена и звания, а потом уж и эти бесполезные номера. Муж еще мог довольствоваться безымянным имуществом. Жена — ни в каком случае: хоть фиктивно, а переведи дом на нее. И вышло так, что чуть не все уездные города принадлежат женщинам. Принадлежал и Стрелецк» (I, стр. 14—15). Характерная деталь появилась и у дома Селихова после его смерти: «Все, что шли мимо селиховского дома по узенькому ухабистому тротуару, видели новую дощечку над калиткой: „Дом вдовы личного дворянина Александры Васильевны Селиховой“» (I, стр. 17).

Вместе с тем уже в этой первоначальной редакции угадывалась авторская мысль о бедности, бесплодности жизни, прожитой в мелком соперничестве, в жажде накопления. Однако философский спор о смысле и ценности жизни был пока лишь едва намечен в разговоре о. Кира и Селихова. Кир Иорданский призывал соперника подумать о последнем часе. А тот утверждал идею самоценности жизни, осложненную к тому же стремлением к самоутверждению, первенству: «Жизнь дана для жизни, о. Кир,— ответил ему Селихов спокойно, с усмешечкой.— Нас с вами, о. Кир, учили этому еще на школьной скамье. Не важнее ли дум о смерти, думы о том, чтобы никому не уступить первенство на жизненном пути?» (I, стр. 14). Диалог этот оказывался приземленным, мысль о ценности жизни перебивалась мотивом соперничества. Спор не передавал высоты авторской позиции, не вмещал бунинского представления о величии жизни.

Дальнейший ход работы над повестью показывает, что писатель направлял свои усилия на углубление ее философской проблематики. Художник стремился не только выявить бесплодность жизни героев, ничтожество их помыслов, но и развенчать модную тогда теорию жизни ради самой жизни, заставить читателя испытать тоску по одухотворенному, осмысленному бытию.

Во второй, расширенной редакции появился новый персонаж — Высоцкий (переименован к концу в Горизонтова), с которым связано усиление ведущего мотива повести. С первых же страниц он уравнивался с главными героями, а к концу выходил даже на авансцену. Вновь созданные главы VII и XII, где крупным планом вырисовывалась фигура Горизонтова с его философией «зоологического» долголетия, вносили значительные коррективы в структуру и смысл повести, становились и ее ключевыми сценами (II, стр. 6—8, 11—13). Спор о жизни, который в первой редакции вели о. Кир и Селихов, теперь разросся, оппонентом протоиерея вместо ростовщика Селихова стал учитель Горизонтов. Утверждая цель жизни «в долголетии и наслаждении им», доморощенный философ поначалу произносил пространную тираду: «Простите, о. Кир,— говорил он,— коснусь вас: вы, разрушая свою жизнь своим пороком, долю своих наслаждений неуклонно уменьшаете, вы своей надменностью и замкнутостью как бы говорите богу и людям, что вы хотя с достоинством, но и с тайным ожесточением приняли и несете дар жизни. Коснусь и соседа вашего: тот еще ожесточеннее — он просто затоптал, истребил этот дар. Я же крепко держу его в своих руках, как чашу дорогого вина. Конечно, стараясь не пролить ни единой капли его, я много трачу силы бесполезно — на равновесие, на преодоление преград в пути... Но если бы и так: высшее наслаждение — само существование» (II, стр. 5—6).

В новой, машинописной редакции Бунин вычеркивает весь этот монолог, заменяя его одной удачно найденной фразой Горизонтова: «Крепко и заботливо держу в руках драгоценную чашу жизни» (III, стр. 14). И тут же меняет название повести: заглавие «В Стрелецке» заклеивается и вместо него появляется новое —«Чаша жизни» (III, стр. 1). Так, только правя уже почти законченный машинописный текст, обрел писатель тот удивительно емкий образ «чаши жизни», который придавал вещи искомую философскую и поэтическую глубину. Слова о «драгоценной чаше жизни», всерьез произнесенные Горизонтовым и тут же саркастически отвергнутые Иорданским, поэтически синтезировали в одном образе и отсвет авторского идеала, и обеднение, искажение его мещанами Стрелецка.

Смысловая и эстетическая насыщенность образа не могла не обрадовать художника. «Чаша жизни» не только стала заглавием повести, но и дала название целому сборнику, вышедшему в 1915 г. Насколько дорожил Бунин найденным образом, сви-

детельствует его позднейшее письмо к шведскому профессору Агреллу: «Если решите переводить рассказ „Чаша жизни", — писал он 10 мая 1932 г.,— то, может быть, было бы хорошо поставить его в начале книги, чтобы и вся книга называлась „Чаша жизни"? Думаю, что в шведском языке есть слово, подобное русскому: „чаша", „сосуд" или французскому „le calice", передающее понятие „чаши" не в обычном, не в будничном смысле, а несколько более возвышенном»[18].

Углубившийся смысл повести потребовал, в свою очередь, изменения ее конца. Первоначальный финал — образ опустошенного, разоренного дома, удачно завершавший первую редакцию,— был локален, замкнут и не соответствовал новому настрою вещи. Бунин создает новую заключительную главу, добиваясь композиционной завершенности, углубления основного мотива, концентрации внимания читателя не только на судьбах четырех главных персонажей, но и на всей окостенелости уездной русской глуши (II, 11—13). Недаром в этой новой главе возникает столь любимый автором образ поезда, оттеняющий движение жизни в противовес провинциальной неподвижности, косности. Нелепая фигура Горизонтова, появляющаяся в железнодорожном вагоне, соотносится в то же время с общей картиной застойного быта Стрелецка. Его уродливая философия как бы оттенялась не менее уродливым поведением юродивого Яши. Желая, по-видимому, подчеркнуть значительность стрелецкого юрода, идиотскими действиями которого заканчивалось отныне произведение, Бунин вводит в девятую главу машинописи дополнительный эпизод: Яша подстерегает Александру Васильевну, возвращавшуюся с кладбища, и сует ей «четыре щепочки, связанные лычком» (III, стр. 17а — 17б).

На примере блаженного Яши можно лишний раз убедиться, сколь важную роль в произведениях Бунина играют эпизодические персонажи, несущие зачастую большую смысловую нагрузку. Широко населяя свои книги эпизодическими лицами, писатель вносил необходимые оттенки в линии главных героев, прояснял авторскую позицию, предостерегал от однолинейного и одностороннего восприятия мира. Так и в «Чаше жизни» акцент с анекдотической личности Горизонтова и его спутников молодости переносился в конце на всю сложную атмосферу жизни провинции и даже всей России. Финал оказывался открытым, распахнутым в многоликий движущийся мир. Читатель оставался один на один с трудными, нерешенными проблемами современности[19].

## «КАЗИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ»

Тот же процесс углубления философского подтекста и расширения границ повествования заметен в работе Бунина над рассказом «Казимир Станиславович». Четыре редакции этого рассказа позволяют проследить движение мысли художника.

Первый черновик, конец которого не сохранился, набросан поспешно. Многие слова написаны сокращенно, неразборчиво, некоторые эпизоды намечены отдельными деталями, не разросшимися еще в целостную картину. Писатель торопился запечатлеть динамику чувств и переживаний героя, проявлявшуюся, главным образом, во внешних поступках. Не было найдено и заглавие — Бунин вписал его много позже (I, стр. 1—6).

Следующая редакция (II, стр. 7—12), датированная 12 марта 1916 г., написана более спокойно, уверенно, ровным, разборчивым почерком. Но с самого начала в ней появляются исправления, зачеркивания, вставки, число которых увеличивается с каждой страницей. Здесь также все внимание автора сосредоточено на личности героя — его облике, переживаниях, поступках. Бунин ищет нужное заглавие. Мысль его колеблется. Первоначальное название —«Лев Казимирович»— писатель зачеркивает и ставит новое: «Темная личность». По сравнению с предыдущей редакцией здесь все отшлифовано, отделано. Набросок превратился в законченный рассказ с детально разработанной психологией героя, с детально выписанной окружающей обстановкой. Однако что-то тревожило сознание художника, заставляя вновь взяться за перо.

В течение нескольких дней — между 12 и 18 марта — возникают еще две редакции (III и IV; первая из них, по-видимому, не была закончена — от нее сохранилось только начало). Почти все дополнения и исправления связаны здесь с расширением границ повествования, с усилением трагического взгляда на современный мир. Стоит напомнить, что рассказ создавался в годы первой империалистической войны, бессмысленность и жестокость которой писатель переживал очень тяжко. Буквально в дни работы над ним — 7 марта 1916 г.— Бунин писал Черемнову: «...поистине проклятое время наступило, даже и убежать некуда, а уж обо всем прочем и говорить нечего. Мрачен я стал адски, пишу мало, а что и пишу, то не с прежними чувствами...» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 656).

Трагизм мироощущения автора все сильнее окрашивает рассказ. Бунин эмоционально усиливает драматические переживания героя, лишая их одновременно исключительности. Судьба его типизируется, дополняясь трагическим бытием других лиц — таких же одиноких, затерянных, несчастных.

Во второй редакции все окружение героя окрашивалось его восприятием, а в конце появлялось авторское обобщение: «Нет, умереть у него не хватило сил, и тем отчаяннее были его муки, его слезы, стыд, его несказанное одиночество!» (II, стр. 12). В четвертой редакции этот авторский комментарий исчезает. Повествование объективизируется, приобретает более эпический характер. Но усиливается и лирическое начало, идущее от автора. Весь рассказ пронизывается сквозными лейтмотивами, вариациями человеческого одиночества, горя, неустроенности. Появляется целый ряд новых сцен и эпизодических фигур, усугубляющих ноты трагизма.

В первых двух редакциях, например, не было следующего описания шумной, весенней Москвы, контрастно оттеняющей горькое одиночество главного героя: «Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа, экипажей, ломовых. Москва торговала и делала дела, возвратилась к своей обычной, сложной и спешной жизни, но еще доживала праздник и неосознанно радовалась весне. Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, засыпанный шелухой подсолнухов, снова увидал в его дали чугунную фигуру задумавшегося Пушкина, золотые главы Страстного монастыря... Неужели это я глядел на все это слишком двадцать лет тому назад?— вероятно думал он, идя по бульвару, столь одинокий, как может быть человек только в весенний вечер, в чужом людном городе, да еще в том самом, где начиналась его теперь уже погибшая и конченная жизнь» (III, стр. 14—15). Затем Бунин еще раз вернется к этому отрывку, уберет в нем последнюю фразу — вновь ворвавшееся авторское комментирование дум-чувств героя. Вместо него поставит более емкие и объективно звучащие строки: «Одиноко человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер, в чужом людном городе!» (IV, л. 2).

Мотив человеческого одиночества, всеобщего отчуждения и равнодушия начинает главенствовать в третьей редакции. Углублению его содействовали и заново введенные персонажи (извозчик, девушка в публичном доме, «полоумный составитель жизнеописаний святых»), и новые детали: выставленные у каждого номера башмаки «людей чужих, неизвестных друг другу и друг к другу враждебных», «Московский листок» с заметкой о том, что вчера где-то «поднят в бессознательном состоянии неизвестный человек» (III, стр. 15; IV, стр. 17, 18). Ответ старика-извозчика Казимиру Станиславовичу: «На свете народу много, всех вас не упомнишь» (III, стр. 15; IV, л. 3) — становится одним из ведущих мотивов рассказа. Эти слова, чуть измененные, повторно звучат в сцене публичного дома, где безымянная девушка писала письмо: «она писала и плакала — о чем? На свете народу много, всего не узнаешь...» (IV, стр. 17).

Так постепенно автор осложнял и развивал основную «мелодию» рассказа, придавая единичному случаю, отдельной судьбе все более общий характер. Вполне естественно, что уже в третьей редакции писатель снова меняет заглавие. Он отказывается от слишком загадочного —«Темная личность» (II, стр. 1), которое акцентировало внимание на необычности главного героя, и возвращается к более нейтральному, конкретному, обычному. Рассказ получает название снова по имени героя —«Казимир Станиславович».

Наряду с углублением идейного смысла, Бунин много работал как над ритмом, «мелодией» всего рассказа, так и над звучанием, точностью отдельного слова и образа. Например, он четырежды, не считая печатных вариантов, переделывает начало, добиваясь, чтобы яснее слышался «звук», найденный уже в первоначальном наброске: «На заношенной визитной карточке с дворянской короной значилось: Лев Казимирович Велецкий. Швейцар „Северного полюса" удовольствовался ею: повертел ее, бросил в столик, стоявший возле дверей прихожей, и опять стал глядеться в зеркало и по-казацки взбивать на висках свои густые волосы» (I, стр. 1). От редакции к редакции Бунин шлифует этот зачин — сжимает фразу, делая ее более динамичной, убирает лишние детали и вводит новые. Но неизменной остается ситуация, в нем изображенная, и найденный здесь стилистический прием — инверсия, благодаря которой интонационное ударение падает не на фамилию героя, а на детали, подчеркивающие его одиночество и неприкаянность, безразличие к нему окружающих. Уже в следующей редакции фамилия исчезает совсем — швейцар гостиницы «прочел только имя-отчество: Лев Казимирович; далее следовало нечто многосложное и очень трудное для прочтения» (II, стр. 7). Здесь же возникает новое название гостиницы —«Версаль»; его претенциозность, как и визитная карточка с дворянской короной, подчеркивает убожество окружающей обстановки, а с ним и заброшенность героя.

Значительные изменения вносит Бунин в финал. Первоначально рассказ завершался событиями, следующими в хронологической последовательности: отъезд на вокзал, забытая предсмертная записка в номере, сцена на вокзале, где герой просил у пассажиров на билет до Брянска. «И некоторые, торопясь и конфузясь, не глядя на его цилиндр и ужасное лицо с облезлыми баками, давали»— так звучала заключительная фраза (II, стр. 12). В четвертой редакции финальные события обогащаются новыми подробностями и монтируются иначе. Сцена на вокзале предшествует упоминанию о предсмертной записке. Последний абзац принимает совершенно иной вид: «А потом он смешался с толпой, кинувшейся к выходу на дебаркадер, и исчез в ней, меж тем как в „Версале", в номере, двое суток как бы принадлежавшем ему, выносили ведро из умывальника, распахивали на апрельское солнце и на свежий воздух окна и, грубо двигая стульями, выметали, вышвыривали сор, а вместе с сором — его записку, забытую им вместе с огурцами, упавшую под стол, под спустившуюся скатерть: „В смерти моей прошу никого не винить. Был на свадьбе единственной своей дочери, никогда не знавшей даже о существовании моем на свете"» (IV, стр. 22). Подобное видоизменение финала отвечало углубившемуся подтексту рассказа. В первоначальном виде вся концовка цементировалась личностью героя, а последняя фраза ее говорила о людском сострадании, внося чуть заметный мелодраматический оттенок (II, стр. 12). Новый финал и философски и поэтически обогащал рассказ, синтезируя три ведущие «мелодии» его: страдания Казимира Станиславовича, людское отчуждение и вечно движущийся сложный поток бытия. Вновь созданная сцена в гостинице «Версаль» перекликалась с началом, придавая рассказу кольцевое обрамление и композиционную стройность. Трагедия героя не только осложнялась еще раз мотивом разобщенности и равнодушия людей, но несколько смягчалась упоминанием о распахнутых окнах, апрельском солнце и свежем воздухе.

Итак, вновь, как и в «Чаше жизни», бунинский финал оказывался открытым, выводящим читателя на просторы жизни с ее запутанными, многосложными процессами. А рассказ об отдельной человеческой судьбе превращался в повествование о трагической неустроенности бытия.

## «СНЫ ЧАНГА»

Стремление Бунина к философскому синтезу в наибольшей степени сказалось в рассказе «Сны Чанга», где прямо поставлен главный вопрос, всегда тревоживший писателя: что же такое человеческая жизнь, то ли она «несказанно прекрасна», то ли «мыслима только для сумасшедших» (4, 371). Два контрастирующих мотива, две правды, два восприятия жизни, два настроения (радостное, ликующее и мрачное, скорбное) пронизывают весь рассказ, определяя его структуру и поэтику.

Смысл рассказа до сих пор толкуется критиками по-разному. Одни находят в «Снах Чанга» утверждение вечной, чуть ли не космической дисгармонии мира, другие видят здесь проявление авторского фатализма и даже мистицизма. Не помогут ли сохранившиеся рукописи рассказа прояснить его замысел и направление творческой мысли автора?

К сожалению, большая часть сохранившихся автографов «Снов Чанга»— всего лишь отдельные листы и страницы, по которым можно только приблизительно определить последовательность тех редакций, фрагментами которых они являются. И все-таки даже эти фрагменты позволяют выявить некоторые ведущие тенденции, характеризующие работу Бунина над рассказом.

Как и в других произведениях, в «Снах Чанга» наименьшим изменениям подверглась та сюжетно-событийная основа, которая послужила толчком к созданию рассказа: во всех сохранившихся редакциях идет речь о встрече Чанга и капитана, об их плавании на пароходе, об их последующей жизни в Одессе. Именно эта простая история и определила первое из дошедших до нас название рассказа—«Чанг и его хозяин» (I, л.1).

Рукописи рассказа разделяются на две группы, которые резко отличаются характером композиции. В первой группе (I—IV) события излагались последовательно, без перебивки их «снами» Чанга. Снов-воспоминаний не было вообще. Во второй группе (V, VII, X) композиция совершенно изменилась. Временна́я последовательность событий нарушается, рассказ начинается с авторского вступления, затем следует мрачная картина жизни капитана и Чанга в Одессе, а предшествующие события (покупка щенка, плавание по океану) даются отдельными кадрами, в разбивку, в снах-воспоминаниях Чанга.

Новая композиция эстетически усиливала контрастность двух «правд», двух восприятий жизни. Во второй группе не просто рассказывается о жизни капитана и Чанга, сперва столь счастливой, а к концу — безотрадной. Теперь вся структура произведения пронизывается музыкой противостоящих друг другу сцен, настроений, красок, запахов, звуков. Вместе с композицией менялась вся поэтика рассказа. Традиционный спокойно повествовательный тон первых редакций, изобилующий подробностями и разговорными интонациями, сменился подчеркнуто музыкальным, ритмическим, поэтически приподнятым тоном, появилось много афоризмов, изречений из Библии.

Естественно, что больше всего изменений претерпевало начало рассказа, как всегда задававшее тон всему произведению. Уже в первоначальных редакциях, где еще господствовал последовательный ход событий, автор пытался придать значительность повествованию введением небольшого зачина с философским оттенком. В первой же редакции («Чанг и его хозяин») рассказ начинался так: «Вот бредут по улице в ресторан Брунса Чанг и его хозяин. Чанг — собака, хозяин Чанга — человек. Поговорим немного о них — заслуживает того любой из живших и живущих на земле». И дальше шла история встречи Чанга и капитана (I, л. 1). В следующей редакции зачин был уже иной: «Лет сто тому назад,— а может быть, и не сто, может быть, и впрямь не более шести,— случилась, между прочим, такая история на белом свете». Затем Бунин вычеркнул этот зачин, и начало приняло традиционно повествовательную форму: «Поднялся на палубу парохода старый китаец...» (II, л. 1). Эта форма сохранилась и в следующей редакции (III, л. 1).

Во второй группе Бунин снова возвращается к философскому зачину, настойчиво ища верный тон. В трех автографах этой группы (V, VII, X) описание жизни капитана и Чанга в Одессе остается почти неизменным, значительной правке подвергался именно философский зачин. В первом же из этих автографов вновь появляется мысль, которая была высказана в самом начале работы над рассказом: «Поговорим про Чанга, китайскую собаку: заслуживает того каждый из живших и живущих на земле» (V, л. 1). Далее Бунин зачеркивает эту фразу, и на том же листе появляется новое более развернутое начало:

«Вот небольшой рассказ без начала и конца,— как и все в мире,— рассказ про одну собаку. Почему про собаку? А не все ли равно, про кого говорить! Заслуживает

того каждый из живших и живущих на земле. Это некоторые сны Чанга, собаки из Китая.

Существующее возникло из несуществующего, но оно снова должно стать несуществующим. Неведение родит знание, знание — неведение. А печали и радости? И они покорны тому же закону.

Некогда возникли дни и ночи, непрестанно текущие подобно песку в корабельных песочных часах. Сколько протекло их? Этого никто не сосчитает» (V, л. 1).

Однако этот зачин, возникший в результате долгих поисков, о которых свидетельствует обширная правка, по-видимому, показался писателю слишком отвлеченным. Он возвращается к предыдущей редакции, но видоизменяет ее, поставив эпиграф с указанием его автора:

«„Не все ли равно про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших и живущих на земле. Фа-Сьян".

Про одну китайскую собаку, по имени Чанг,— точнее сказать, про те разные сны, что снятся ей...» (VII, л. 1).

Но и это начало не удовлетворяет Бунина. Он отказывается от эпиграфа, снова вводя важную для него мысль непосредственно в ткань рассказа. Рождается лаконичный и емкий зачин, впоследствии оставшийся без изменений: «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» (VII, л. 1; X, л. 1; 4, 370).

Углублявшийся от редакции к редакции философский смысл рассказа и, в частности, его зачина вызывал целый ряд других изменений. Бунин несколько раз менял название: «Чанг и его хозяин» (I), «Без начала и конца» (V), «Про одну собаку» (VII), «Любовь» и «Сны Чанга» (X).

В начальных редакциях писатель искал объяснения трагической судьбы капитана главным образом в самой натуре героя, в складе его характера и чувств. Потому здесь более подробно говорилось о самом капитане, о его дочери и ее болезни, о дурных предзнаменованиях и предчувствии беды — расплаты за счастье.

Так, в монологе капитана, обращенном к Чангу, несколько раз звучала самохарактеристика героя, которую писатель то правил, то вычеркивал, то снова вписывал на полях вместо зачеркнутого. Речь шла о полноте счастья капитана («Что ж мне,— здоров, молод, добился капитана да еще на японском рейсе, жизнь свою, можно сказать, только что начинаю, и счастьем своим так переполнен, что преглупо хвастаюсь им кому надо и кому не надо»), и о его чрезмерной любви к жене и дочери («Для меня, Чанг, весь мир, вся жизнь только в ней, да в дочке, а разве так полагается?»), и о его чрезмерной ревности, мнительности, суеверности (II, л. 3 об., 4).

Соответственно была в этой редакции более детальная характеристика дочери, которая именовалась то Ириночкой, то Туськой, говорилось о ее болезни, которую капитан воспринимал как предостережение судьбы («Но не есть ли болезнь Туськи первое мне предостережение? Ну вот и боязно: не случилось бы чего? ⟨...⟩ Скажи же мне, пожалуйста, как ты полагаешь: не стукнет меня судьба за все мое счастье по затылку?»— II, л. 3 об.).

Более того, в той же редакции в монолог капитана был включен рассказ о пребывании в Порт-Саиде и о мрачном «предзнаменовании»— случае с покойником, гроб которого, выброшенный в море без грузила, поплыл за пароходом. Но сам Бунин тут же чуть иронизирует над суеверным капитаном, называя его исповедь и его страхи сентиментальным, чувствительным вздором «счастливого человека, трусившего за свое маленькое счастье» (II, л. 4, 4 об.). Таким образом, писатель с его жизнестойкостью и верой в творческие силы человека сопротивляется мотиву рока, который звучал в устах его героя. Естественно, что в последующих редакциях все рассуждения о злой судьбе и дурных предзнаменованиях исчезли. Содержание рассказа углубилось. Событийный план все более обогащался философским. Повествование о судьбе капитана переросло в рассказ о жизни и смысле ее. Именно тогда появились в тексте рассуждения о двух «правдах», о Тао, о Пути всего сущего (VII, л. 1), появились и сны-воспоминания Чанга, вносившие поправки в злые речи капитана о жизни.

Про одну собаку.

Не вспомнить, про кого говорить?
Задумываешь для какой-нибудь
бывалых и живущих на земле.

Фа. Сбыл

~~Не вспомнить, про кого говорить? Задумываешь~~
~~Про одну киргизскую собаку, по имени Чанг, — дай ей~~
~~то, какой про бывших и живущих~~
~~Зарь, про дождь, про Сон, про Старых Сов... не знаешь.~~

~~Однажды Чанг гонялся жуя в сапфирах, стоял дорогим~~
~~с которым соединен был он данным существованием. И кроме~~
~~с ним при нем лишь стоял, — гордился, как может~~
~~Карабельная несущая часть.~~

~~Вот опять была ночь, — сон или действительность? — и~~
~~опять пересчет ужас, — действительность или сон? Чанг~~
~~Старый, он все грезил...~~

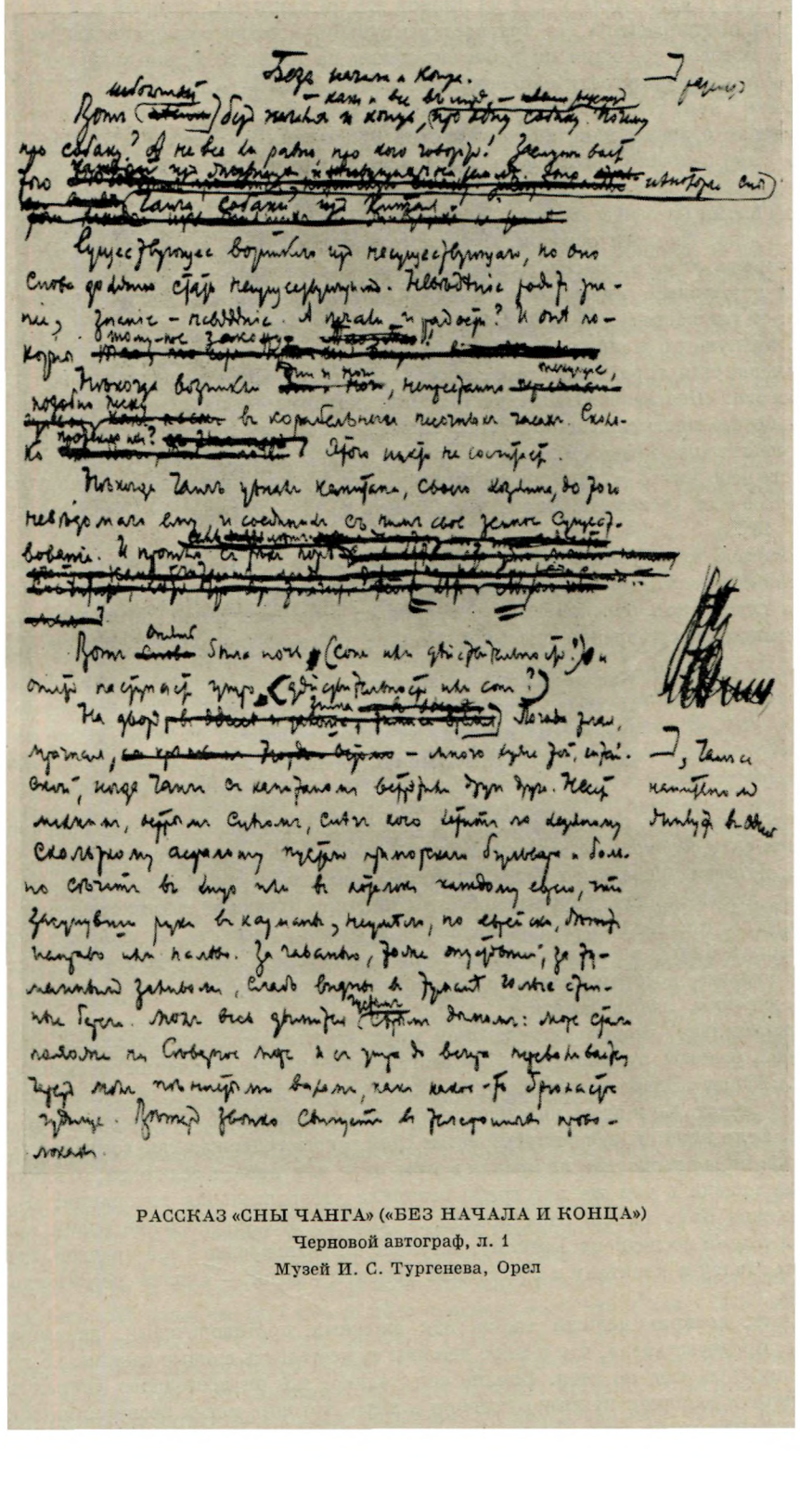
На дворе, в городе Одессе, зима. Погода зимы, мрачная, — (с прибрежному ветру)
~~мало ждет, напрасно, когда Чанг с киргизом~~ встретит
друга друга. Несет острым, мелким снегом, снег
косо летит по ледяному скользкому асфальту пусто-
го приморского бульвара ~~в Одессе~~ и больно сечет
в лицо или под котелок каждому еврею, что, за-
сунувши руки в карманы и сгорбившись, незлобно, по
еврейски, бежит направо или налево. За гаванью, то-
лие опустевшей, за туманным заливом, слабо вид-
ны в туман голые степные берега. Мол весь дымится
густым серым дымом: море стало полое
на Северное море и с утра до вечера переме-
шивается через мол пенистыми ~~волнами хаотично~~ грязными
~~бросающиеся здесь~~. Ветер звонко свистит в телефон-
ных проволоках...

В такой дни жизнь в Одессе начинается не ра-

РАССКАЗ «СНЫ ЧАНГА» («ПРО ОДНУ СОБАКУ»)

Черновой автограф, л. 1

Музей И. С. Тургенева, Орел



Без начала и конца.

Вот (бедный) без начала и конца, про одну собаку. Почему про собаку? А не все ли равно, про кого говорить! Заслуги вашего [illegible] (Чанга, собаки, [illegible] интересен сей)

Существует вопиющее несуществующее, но оно слово должно стать несуществующим. Невозможные фокусы мнения, мнение — невозможно. А начало и радость? И они некоторые [illegible]

Некогда возникли [illegible], неизвестно откуда, [illegible] в корабельных песочных часах. Сколько [illegible]? Время шагает не состарясь.

Некогда Чанга уронил капитана, своего хозяина, до того неведомого ему, и соединился с ним своё земное существование. И прошло [illegible]

Вот было ночь (сон или действительность?) и опять наступает утро (действительность или сон?)

На дворе [illegible] Погода зная, прошлая, [illegible] — лучше будет, [illegible] — [illegible], когда Чанга и капитан вертели друг друга. Несут [illegible], вертят Сиротку, сидя его вертят по дешевому Скверному асфальту пестрых приморских бульваров. Больно сбивают в виде или в перелом каждому еврею, тот засунувши руки в карманы, недоволен, по еврейски, [illegible] или нельзя. За чаванью, долго отдыхает, за [illegible] завывом, слезы вверх в [illegible] [illegible] Герцы. Люди всех [illegible] (Чанга [illegible]): люди сидят [illegible] на Скверные люди и он уже в [illegible] перевернувшись [illegible] [illegible] времени, чем какого-то [illegible] [illegible]. [illegible] свободно [illegible] в [illegible] [illegible].

— радость

— Чанга и капитана и [illegible] в [illegible]

РАССКАЗ «СНЫ ЧАНГА» («БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА»)

Черновой автограф, л. 1

Музей И. С. Тургенева, Орел

Остался, однако, один мотив из личной жизни капитана, который и в последних редакциях предопределял его трагическую судьбу,— мотив безмерной любви и ревности. В беловой редакции он даже определил на какое-то время заглавие — «Любовь», потом зачеркнутое и замененное окончательным — «Сны Чанга» (X, л. 1).

Вместе с тем, тема любви претерпевала от редакции к редакции свои изменения. Рассуждения о любви капитана в черновой рукописи «Без начала и конца» (V) и в нижнем слое белового автографа («Сны Чанга»—X) были более пространными, нежели в окончательном тексте. Даже размышления о Тао, о Пути всего сущего, сомнения в смысле бытия («темен и зол этот Путь или же совсем, совсем напротив?») предопределялись еще, главным образом, чувством любви: «И ведь сбиваюсь-то чаще всего в зависимости от чего, как ты думаешь?— говорил капитан.— От того, что иной раз кажется ничтожным, презренным, а порой — средоточием всего мира, песнью песней его: от так называемой любви, братец ты мой, от жажды таинственнейшего в мире сосуда, именуемого женщиной!» (V, л. 6; X, л. 11). Была в беловой редакции и еще одна зачеркнутая тирада капитана, которая намечала более расширительное толкование любви: «Постарайся, пожалуйста, Чанг, хорошенько понять меня,—сказал он: все только что мною сказанное относительно этих плечей далеко не так просто, как может показаться, иначе было бы это только грубо. Как бы тебе это выразить? Да нет, этого еще никто и никогда не выразил! Эти плечи — истинно чаша причастная, единение со всею вселенной. Впрочем нет, опять не то — это плоско! Помолчим лучше» (X, л. 18).

Думается, что Бунин вычеркнул эту тираду, так как она выражала скорее его собственные мысли, нежели капитана, и выражала, к тому же, действительно, плоско. Гораздо глубже эта тема любви — единения со всею вселенной была воплощена в программном стихотворении писателя «Памяти друга», написанном в том же 1916 г.:

Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепою!

(1,425)

Вполне законно предположить, что название рассказа «Любовь», появившееся в нижнем слое белового автографа (X, л. 1), имело более сокровенный смысл, чем та любовь, которая привела к гибели капитана. Тема любви-соучастия, любви-единения с миром, любви-памяти, дарующей бессмертие, прозвучавшая в стихотворении «Памяти друга», становилась главенствующей в финале рассказа, в эпизоде встречи художника и Чанга, в воспоминаниях Чанга о капитане. Собственно говоря, и единая «третья правда», которая должна существовать в мире, связывалась с той же темой любви-единения, любви-памяти.

Показательно, что образ неведомой миру «третьей правды» появился только в последней, беловой рукописи (X). До этого (см. черновик окончания рассказа — IX, л. 1 об.) Бунин оставался в пределах тех контрастных двух правд, которые проходили через весь текст. Но и здесь писатель приходил в конце концов к утверждению одной правды. Если нижний, зачеркнутый затем слой текста содержал еще сомнение («А какая в этом мире правда, две ли правды в этом мире или одна, а если одна, то какая...»), то после правки в том же автографе возникла утвердительная интонация: «В мире этом должна быть только одна правда...» Однако это утверждение одной правды, ведомой только последнему Хозяину, вступало в противоречие с той правдой, которая виделась Чангу и капитану в счастливые моменты бытия,— «жизнь несказанно прекрасна».

Бунин, воспринимавший жизнь как сложный, противоречивый, динамический процесс, предчувствовал, что в мире должны существовать единые законы, но каковы они — писатель еще не знал. Вполне естественно, что он постепенно убирал те категоричные и слишком прямые суждения о мире, которые могли восприниматься как окончательная концепция бытия. В черновых редакциях, например, говорилось о Тао, что это не только «Бездна-Праматерь», но и «вечный и бесконечный хаос», а «Путь

всего сущего» определялся как «темный, но, кажется, мудрейший, божественнейший» (V, стр. 10, 11). Отказываясь от окончательных выводов, Бунин лишь предостерегал читателя от однолинейного восприятия мира и делился с ним своими предчувствиями, своими предположениями, которые можно было передать именно в такой сложной художественной форме, которую обрел рассказ «Сны Чанга» в окончательной редакции.

Примечательна, наконец, еще одна деталь. Она позволяет понять бунинскую концепцию искусства как средства глубинного познания мира и единения живых существ. Так, в беловой рукописи писатель намеренно усилил тот эмоциональный свет, тот действенный толчок, который производила музыка на растерянное сознание Чанга. Спокойно повествовательная фраза («И вдруг запевает скрипка, за ней другая, третья — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью...») заменяется патетическим отрывком: «И вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман. Вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запевает скрипка, за ней другая, третья... Ах, эти скрипки! [Они сильнее всякого хмеля.] Они поют все звонче и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью...» (X, л. 14; ср.: 4, 379).

Таким образом, даже разрозненные рукописи «Снов Чанга» подтверждают ту общую тенденцию, которая обнаруживалась в работе писателя над другими рассказами: от частного факта, конкретного события Бунин стремился к широким философским обобщениям, к познанию законов бытия.

## «ПЕТЛИСТЫЕ УШИ»

Ход авторской мысли от познания конкретного факта, от психологии и судьбы отдельной человеческой личности к социально-философским обобщениям, к выявлению общезначимого смысла конкретного события еще более отчетливо обнаруживается в кропотливой работе Бунина над рассказом «Петлистые уши». Первые черновые редакции явно хранят непреодоленные еще следы зависимости рассказа от уголовного дела Николая Радкевича, слушавшегося в 1912 г. в Петербурге и подробно освещавшегося тогда же в газете «Речь»[20]. Постепенно автор отходит от конкретных фактов судебного следствия и все внимание сосредоточивает на выяснении личности Соколовича, мотивов его преступления.

В первых черновых рукописях писатель больше всего работает над концовкой рассказа, пытаясь как-то объяснить столь ужасное и бессмысленное преступление.

В первой черновой редакции повествование завершалось, как и в истинном происшествии. Соколовичу не удавалось уйти из гостиницы, его схватывали коридорные, и к приходу полиции он сидел со связанными руками. Тут же сам преступник сознавался в совершенном злодеянии, спокойно и лаконично заявлял: «Являюсь в этом ⟨нрзб.⟩ деле скорее потерпевшим, чем обвиняемым. А почему — это не вашего ума дело» (I, стр. 10).

В последующих набросках мысль Бунина продолжала настойчиво биться над разгадкой личности Соколовича. Один из вариантов биографии Соколовича содержит размышления о возможности исчерпывающим образом объяснить поведение преступника и о способах такого объяснения. Уцелевший лист этого наброска начинается с обрывка фразы: «...⟨что⟩ бы не наврать, от подобного описания следует уклониться, помня, что если бы заставили писать даже самого Соколовича, то он сказал бы: дело слишком трудное, я, как и всякий из вас, для него слишком ничтожен по своим способностям, хотя и считаю себя (и совершенно справедливо) человеком выходящим из ряда вон». И далее следует своего рода конспект того, что должен был бы сказать в объяснение своего поступка сам Соколович (II, л. 4; 4, стр. 444). Художник был особенно озабочен поисками той формы, в какую могло бы вылиться это объяснение. В одной из редакций арестованный Соколович излагает историю своей жизни в форме ответов на предполагаемые вопросы следствия, рассматривая свое преступление как «сюжет для небольшого романа, вследствие человеческой трусости еще не появляв-

шегося в изящной литературе» (VI, стр. 13—14). В других редакциях Соколович остается на свободе (отсюда, очевидно, и один из вариантов заглавия — «Без наказания»), а история его жизни и мотивы злодеяния облекаются в иную форму — собственного письма героя в сыскную полицию (III, л. 1—2; IV, стр. 15—16). Наиболее полный из этих набросков эпилога свидетельствует как о дальнейших попытках автора разобраться в причинах содеянного, так и о все более отчетливом понимании того, что объяснить причины преступления с исчерпывающей полнотой почти невозможно. Очевидно поэтому в письме Соколовича появляются то пространные объяснения совершенного, спор с возможными поверхностными заключениями суда и психиатров, история семьи и собственных метаний, то признания в собственном бессилии разобраться в происшедшем (IV, л. 14—15).

Любопытно, что в поисках исчерпывающих мотивов злодеяния, Бунин во многом идет толстовским путем, следуя стремлению великого писателя во всем дойти «до корня», расширить круг воздействия окружающего мира на личность вплоть до утверждения: «нет в мире виноватых». В толстовском ключе звучит и беспощадное разоблачение богатой семьи, погрязшей во всяческих грехах и пороках, совершенно равнодушной к духовной стороне бытия. По-толстовски подчеркивается типичность, распространенность происходящих процессов: «обыкновенная семья», «как и тысячи других», «как и все», «подобно большинству», «обычная женщина» и т. п.: «Я происхожу из ужасной, то есть очень обыкновенной семьи, которая жила в губернском городе и которую составляли: отец, сановный старик, много пивший на своем веку, деспот и самодур, хотя, в своем кругу, довольно покладистый и болтливый, человек в общем глупый и ничтожный, ни во что и ничему, в сущности, не верящий, совершенно беспечный на счет так называемых высоких материй, как, например, душа, бог, смерть, цель жизни, отягченный, как и тысячи других, всяческими пороками и грехами: развратом, чревоугодием, тунеядством, рабовладельчеством, лживостью, тщеславием, жестокостью, не раз совершавший даже и убийства, но так, что никому и в голову не приходило, что это страшно и будто бы ведет к мукам раскаяния; во-вторых, мать, пожилая, тучная, имеющая некоторое сходство со мною, чем-то давно и тяжко хворающая, едва ходящая и вечно раздраженная, точно после долгого дневного сна, две трети жизни проведшая под одним кровом с человеком, которого она возненавидела тотчас же по истечении медового месяца, могшая быть, не случись болезни, гораздо более деятельным тираном, то есть обычной женщиной за сорок лет, до мозга костей развращенной — в молодости всем тем, что воздается женскому полу, а затем — непрестанной войной с мужем и его уступками, властью над прислугой и над детьми, своим положением в обществе, безнаказанной сумбурностью суждений и поступков, самоуверенностью и даже дерзостью, всегда легко сходящей таким дамам с рук; и наконец — дочь, девица светская и по наружности довольно дюжинная, но по натуре, как это нередко бывает, непонятная,— находившаяся, например, с пятнадцати лет в тайной, хотя и всем известной, связи с пожилым и женатым господином,— тоже из тех, что считались первыми лицами в городе,— богомольным, слабовольным, и распутным» (III, л. 1 об. —2).

Однако и эту редакцию эпилога-исповеди Бунин отвергает, отказываясь вообще от какого-либо эпилога и специального объяснения личности Соколовича. Такое решение соответствовало бунинскому художественному методу, отличавшемуся от толстовского меньшей назидательностью и категоричностью, отсутствием проповеди и нравоучений, окончательных выводов и ответов, искать которые предлагалось самому читателю. Бунин, в противоположность Толстому, оставлял вопросы открытыми, давая читателю простор для собственных размышлений, считая, что время окончательных ответов еще не наступило. По-видимому, в этом причина того, что он отказался от горьких обвинений, первоначально вложенных им в уста Соколовича: «Что чувствую я, совершив свое злое и бессмысленное дело? А вот что: я, оказывается, не только зверь, но зверь очень тупой и очень жестокий,— я совсем не чувствую того, что будто бы должны испытывать убийцы. И вот это-то и есть главная цель моего письма: крепко швырнуть вам в лицо утверждение, что пора людям бросить лгать, что они будто боятся убийств!» (III, л. 2).

Тоже
исправлено

А человѣкъ, называвшій себя Аданомъ Соколовичемъ, скрылся. Единственной вѣстью, дошедшей объ немъ послѣ того, былъ письмо, полученное въ сыскной полиціи въ ~~[illegible]~~ городѣ ~~[illegible]~~ того же года, — ~~[illegible]~~ стѣ бумаги, крупно и кругло исписанные ~~[illegible]~~ чернильнымъ карандашомъ. На ней было ~~[illegible]~~ строго прибѣгнуть слѣдующее:

Мерзкое и, говоря обыденно, совершенно безсмысленное дѣло въ гостиницѣ „Полуградъ", разорвавшее въ клочья явленіе (на взглядъ онаго рода обыденной) только нѣкаго Королькова, малаго и низкаго существа того пола, что производитъ на свѣтъ всѣхъ насъ (отдавался съ истинной страстью имъ ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~, сильнымъ и безпощадно) — совершилъ я, бывшій Соколовичъ.

Скрылся и скрываюсь ~~[illegible]~~ не страха предъ справедливымъ закономъ, а никакъ не каторги. Убилъ ~~[illegible]~~ не нарочно и не въ припадкѣ ~~[illegible]~~ безумія, ~~[illegible]~~ не въ состояніи ~~[illegible]~~ полнаго рода называемой невмѣняемости, такъ называемаго аффекта, какъ страсть бы приписывать могъ, если бы могъ не удалось утаить, ~~[illegible]~~ и не въ силу явно выраженнаго садизма (хотя, конечно, убійство женщины дѣлаетъ всегда гораздо болѣе, чѣмъ мужчину, даже хотя бы потому, что наши чувственныя воспріятія, ~~[illegible]~~ при которыхъ и выражается жажда убійства, при общей острой впечатлительности нашей ко всему дѣлесному, никогда не бываютъ такъ впечатлительны ~~[illegible]~~ къ роду мужчины, какъ къ роду женщины ~~[illegible]~~ по причинамъ, не подлежащимъ опредѣленію, на ~~[illegible]~~ такъ знаю, вѣстаю, ~~[illegible]~~ можно такъ выразиться, порядка: потому, что не могъ ~~[illegible]~~ (стремящійся съ большимъ и все возрастающимъ желаніемъ убить, потому, что находился ~~[illegible]~~ къ міру, къ человѣку вообще много злобы (внѣшнія, ~~[illegible]~~ къ созданіямъ въ такомъ ~~[illegible]~~ посредную форму), а въ конецъ потому, разумѣется, больше всего потому, что явленіе такъ называемой вредности, то есть существенно, наиболѣе полно воплощаетъ в себѣ женскую природу человѣка.

РАССКАЗ «ПЕТЛИСТЫЕ УШИ»
Черновой автограф. Эпилог
Музей И. С. Тургенева, Орел

В окончательном тексте рассказа Бунин завершает его исчезновением героя, констатацией совершенного преступления, оставшегося «без наказания». Но напряженные искания художника не пропали даром. Устранив биографию героя и отказавшись от изложения причин злодеяния, уяснив, однако, их для себя, писатель обогатил окончательный текст такими сценами и подробностями, которые необычайно раздвинули границы повествования, включив единичное происшествие в поток мировых событий.

Подробная биография героя, которую так долго разрабатывал художник, на самом деле сковывала его философскую мысль, ибо переключала внимание на социальные, семейные, бытовые и наследственные истоки личности Соколовича. Меж тем Бунин стремился к более широкому охвату событий, к более всестороннему и глубокому осмыслению связей личности с миром. Его уже не удовлетворяла только семейно-бытовая и социальная детерминированность психологии человека. Он думал о влиянии на психику наследия веков, мировых политических событий. Эти умонастроения художника, своеобразно преломленные через сознание героя, вылились в острый философско-публицистический разговор Соколовича с матросами. Заново созданная сцена в ресторане становится кульминацией рассказа, в нее переходит многое из предыдущих редакций исповеди-эпилога, но смысл речей Соколовича неизмеримо углубляется. Он говорит теперь не только о себе, а о человеческих идеалах, о мировой истории и культуре, о преступлениях без наказания, об убийствах без угрызения совести, о катастрофически возрастающих человеческих жертвах в современной войне. Его монологи превращаются в гневную обвинительную речь во всем разуверившегося человека. Так от подробностей частной судьбы, отдельной биографии, писатель протянул нить к человеческой истории, к нравственной безответственности всех политиков, вершителей судеб мира, связав бессмысленную жестокость Соколовича с цепью многовековых преступлений и убийств.

Эту ключевую сцену в ресторане писатель особенно тщательно отрабатывал, добиваясь максимальной насыщенности и выразительности каждой реплики героя. Например, Бунин несколько раз правил рассуждения Соколовича о пивной рекламе и людских идеалах. Появившийся впервые в одной из промежуточных редакций, этот монолог был там более пространным чем впоследствии: «Соколович вынул трубку и кожаный кисет, пристально, перекосив брови, посмотрел на пивную рекламу, и, по своему обыкновению, совершенно не считаясь с интересами и развитием своих компаньонов, не спеша сказал: „Какие великолепные франты. Почему Публичная библиотека собирает всякую чепуху, а не собирает, например, рекламы! Это исторические документы, гораздо более правдивые, чем романы. Рекламы рисуют идеалы общества. Объявление о папиросах „Мечта“, где тонет в кресле и лентах дыма пшют во фраке, с блаженно вытянутыми ногами и закинутой назад прилизанной головой, есть именно мечта девяти десятых всего человечества“» (VI, стр. 3). Многое Бунин тут же исправил, сократив замечания о романах, о папиросах «Мечта». В следующем варианте (VII, стр. 2) монолог был окончательно отредактирован и печатался с тех пор без изменений.

Тот же характер — освобождение от частных подробностей, стремление к обобщению, к углублению философского подтекста — имеет правка других реплик и монологов Соколовича в той же сцене в ресторане. Более подробно, например, перечислял герой жестокости и убийства, которыми пестрит человеческая история: «Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, что фараоны посылали в свои столицы, в знак своих побед, десятки тысяч отрубленных голов и что в ветхом завете на каждой странице стоит слово „убил“, „сокрушил“, на каждом шагу восклицания: „Славен господь бог мой, давший мне истребить врага моего, наступить на выю его!“» (VII, стр. 7). Вместо Лондона и Парижа, построенных на человеческих костях, поначалу Соколович называл Петербург. Наконец, более развернутой в черновике была реплика о современных убийцах: «Мир полон убийцами. Трамваи, рестораны, бани, извощичьи козла, швейцарские, бель-этажи — все полно ими: сотни тысяч работающих и живущих в них были в свое время — ну хотя

бы на той же войне. А что будет и уже теперь есть, когда в ней участвуют уже десятки миллионов? Истинно страшно будет по Европе в поезде ехать!» (VII, стр. 8).

Настойчиво добивался писатель и того, чтобы подробности биографии Соколовича приобрели широкий, общезначимый смысл. В разговоре с Соколовичем матрос Левченко напоминал ему, что тот сам — генеральский сын. «Был когда-то,— серьезно ответил Соколович.— Был и шофером. Это очень острое удовольствие — мчать по сто верст в час сильных и жадных до грубого счастья людей» (VI, стр. 3). Нетрудно заметить, что эти детали биографии перешли сюда из эпилога-исповеди героя. Однако в следующем варианте они исчезли (VII, стр. 3). Очевидно, Бунин был недоволен их частным, конкретным характером, снижающим накал предыдущей тирады о людских идеалах. Но затем, правя первую корректуру (XI), Бунин восстановил реплику Левченко и ответ Соколовича, видоизменив их, придав им более обобщенный смысл. Левченко теперь называл героя «панский сын», а тот, возражая, произносил весьма знаменательные слова: «Я сын человеческий,— сказал Соколович с какой-то странной торжественностью, которая могла сойти и за иронию.— Мое панство не помешало мне видеть мир и всех богов его. Не помешало даже быть шофером... Это, знаете, очень острое удовольствие — видеть, как несется на тебя улица и как мечется впереди, не зная в какую сторону кинуться, какая-нибудь прекрасная дама» (4, 388). Новая тирада Соколовича, включившая, казалось бы, те же биографические детали (панский сын, шофер), приобретала меж тем совсем иной смысл. Детали частной биографии зазвучали в другом, социально-философском ключе. Утверждение героя: «Я сын человеческий»— стало ключевой фразой, которая освещала и стягивала в один узел все перечисленные дальше обвинения в адрес человечества.

Словами персонажа Бунин лишний раз подчеркивал, что именно вся цепь мировых событий, истории и культуры повинны в формировании таких выродков, как Соколович. Но мысль эта звучала ненавязчиво, неназойливо, как своеобразная гипотеза, требующая еще дополнительных размышлений и доказательств.

Таким образом, введенный в окончательную редакцию философски-публицистический разговор Соколовича с матросами превращал рассказ из ординарного повествования об уголовном происшествии в подлинное произведение искусства, освещенное изнутри авторской мыслью, заставляющей по-иному, с необычной стороны взглянуть на личность человека и совершенное им преступление, заставляющей почувствовать сложные связи человека с миром, высоту авторских идеалов и нравственное несовершенство человечества.

В том же русле идут поиски заглавия. Ранние названия —«Он еще с нами», «Без наказания»— стоят в первой черновой редакции (I). Но они скорее всего вписаны потом, когда рождались варианты эпилогов. Они акцентировали внимание на безнаказанности Соколовича, на его опасности для общества. Именно эта мысль звучала в письме преступника, в котором он бросал вызов людям: «Помните пока одно: я еще с вами» (III, л. 2 об.). На каком-то этапе появилось другое заглавие —«Адам Соколович» (VIII), направлявшее внимание читателя к личности преступника. И только впоследствии Бунин вернулся к найденному ранее нейтральному, емкому и поистине оригинальному названию «Петлистые уши» (VI).

Новое название, как и окончательный текст произведения в целом, лишено назидательности и определенности первых двух и переносит внимание, в отличие от третьего заглавия, с личности Соколовича на более общие, запутанные, загадочные и даже парадоксальные проблемы: действительно ли есть нечто общее у гениев и выродков? Вновь найденное название, как и «Чаша жизни», пришлось по душе писателю. Впоследствии он назовет один из сборников своих творений «Петлистые уши».

Итак, сложный процесс создания рассказов позволяет уточнить некоторые особенности художественного мышления писателя, его творческого метода и стиля. Мысль Бунина, как подтверждают различные редакции его произведений, шла в двух направлениях. С одной стороны, писатель пытался познать человеческую личность, ее глубину, ее изломы, мотивы поведения. С другой стороны, художник вглядывался в многообразные связи человека с миром — обществом, средой, природой, историей,

временем, пространством, вселенной. Его тревожили общие вопросы бытия. Постепенно в 1911—1916 гг. Бунина начинает все больше и больше интересовать личность человека не как неповторимая индивидуальность, а как частица мира, несущая в себе наследие веков, подчиняющаяся всеединым законам. В частной судьбе, в конкретном событии писатель искал проявления общих процессов, пытался постичь «связь времен», логику движения жизни.

Грандиозность возникавших в сознании художника задач требовала широких эпических полотен. Но в поисках разгадок истории и человеческих судеб Бунин редко приходил к окончательным умозаключениям и выводам. Многое оставалось загадочным и непроясненным. Для широкого эпического полотна, для романа Бунину явно не хватало стройной концепции бытия, его стремление к синтезу оставалось всегда не до конца реализованным. И все-таки все его вещи явно тяготели к эпосу (отсюда, очевидно, пристрастие художника к циклам, сборникам). Это тяготение к эпосу, к широким обобщениям, стремление вырваться из замкнутых пространств малого жанра преобразовывало, обогащало его произведения, создавало особый тип бунинского рассказа, необычайно лаконичного и емкого, с глубоким подтекстом.

Ограничиваясь повествованием об единичных случаях и судьбах, писатель все время раздвигал, расширял рамки рассказа, включая отдельные события в широкий жизненный поток то путем введения эпизодических лиц, то путем «открытых» финалов, то путем «ударных» ключевых сцен.

Рукописные и печатные редакции рассказывают, какими нелегкими путями добивался Бунин интеллектуальной и эмоциональной полновесности своих творений, обновлявших русское искусство.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 268—269. Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страниц.

[2] Н. А. Пушешников. Записи об Иване Алексеевиче.— «В большой семье», стр. 247.

[3] Александр Бахрах. Четыре года с Буниным.— «Русские новости». Париж, 1945, № 26, 9 ноября.

[4] Н. А. Пушешников. Указ. публ., стр. 248.

[5] В. А. Рождественский. Страницы жизни. М.— Л., 1962, стр. 177.

[6] «Русское слово», 1916, № 298, 25 декабря.

[7] Фа-Сянь (у Бунина Фа-Сьян) — китайский путешественник; в начале V в. совершил паломничество в Индию и на Цейлон. Его «Записки о буддийских царствах», составленные в результате этого путешествия, были в 1886 г. изданы на английском языке: James Legge. Record of Buddistic Kingsdoms, being an account by the Chinese Monk Fâ-hien of his travels on India and Ceylon. Oxford, 1886. Очевидно, Бунин был знаком с этим изданием.

[8] «Современные записки». Париж, 1934, т. 54.

[9] «Материалы», стр. 202—203.

[10] «Заветы», 1912, № 1, стр. 21, 43, 53, 58, 61.

[11] Там же, стр. 20.

[12] М. Л. Сурпин. Возрождение реализма (Горький и Бунин. Рассказы о народе 10-х годов).— «Проблемы русской литературы». Ярославль, 1966, стр. 217—218.

[13] II, стр. 80—83; «Заветы», 1912, № 1, стр. 60—61.

[14] М. Л. Сурпин. Указ. ст., стр. 217—218.

[15] ГБЛ. 429.1.5, л. 20—21. Опубликовано: 4, 185.

[16] Письмо 15 декабря 1914 г.— «Вопросы литературы», 1969, № 7, стр. 192.

[17] Письмо А. Б. Дерману, 1917 г.— «Вопросы литературы», 1969, № 7, стр. 193.

[18] Arsbok, Lund, 1967, стр. 20.

[19] Эта особенность бунинских финалов наметилась уже в рассказах начала 1900-х годов (см. об этом статью: Л. В. Крутикова. Проза И. А. Бунина начала XX века (1900—1902).— «Ученые записки ЛГУ». Серия филологических наук, вып. 76, 1971. Об особенностях бунинских финалов см. также в статье: Э. А. Полоцкая. Чехов в художественном развитии Бунина (настоящ. кн., стр. 73—77).

[20] См. подробнее в кн.: В. Н. Афанасьев. И. А. Бунин. М., 1966, стр. 249—253.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

# ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ РАССКАЗОВ 1911—1916 гг.

## «ВЕСЕЛЫЙ ДВОР»

Черновые автографы этой повести неизвестны. Сохранились только две беловые рукописи:

I. Беловой автограф ранней редакции с последующей очень значительной многократной авторской правкой; в конце авторская подпись и дата: «Июль 1911 г. Глотово». Полный текст повести за исключением начала: первый лист (стр. 1—2) сверху обрезан, сохранилась только нижняя часть — по восемь строк с каждой стороны. Заканчивается отпеванием Анисьи; о дальнейшей судьбе Егора не говорится. Первоначально повесть делилась на две главы (сюжетно соответствуют главам I—III окончательного текста); затем нумерация глав была зачеркнута.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 17, стр. 1—41 (нумерация страниц авторская).

II. «Веселый двор», с подзаголовком «Будничная повесть». Беловой автограф (наборная рукопись) со значительной авторской правкой. В конце — авторская подпись. На рукописи — типографские пометы.

Эта редакция значительно изменена и расширена по сравнению с предыдущей. Завершается смертью Егора и эпизодом приезда следователя и доктора. Деление на три главы соответствует окончательному тексту.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 18, стр. 1—83 (нумерация страниц авторская).

## «КАЗИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ»

Сохранились автографы четырех редакций рассказа. Устанавливается такая их последовательность:

I. «Темная личн⟨ость⟩». Черновой набросок. Обрывается на описании церковного дворика. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 341—347). Герой назван Львом Казимировичем Велецким; название вписано позже — другими чернилами.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 46, стр. 1—6 (нумерация страниц архивная).

II. «Темная личность» (вписано вместо зачеркнутого «Лев Казимирович»). Беловой автограф со значительной авторской правкой и с авторской датой в конце: «12.III. 1916». Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 341—348), кроме двух заключительных абзацев, которые в окончательном тексте отсутствуют (4, 349). — ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 46, стр. 7—12 (нумерация страниц архивная).

III. «Казимир Станиславович». Беловой автограф со значительной авторской правкой. Начало рассказа; обрывается на эпизоде: Казимир Станиславович в ресторане. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 341—344).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 46, стр. 13—16 (нумерация страниц архивная).

IV. «Казимир Станиславович». Полный текст рассказа. Начало (л. 1—4) — машинопись с авторской правкой, далее — автограф (теми же чернилами, что и исправления в машинописи) со значительной авторской правкой в два слоя. Первая правка (чернилами) делалась в процессе написания, вторая (карандашом) — несколько позднее. В конце — авторская подпись (чернилами) и дата (карандашом), фиксирующая время окончания второй правки: «18 марта 1916 г. Глотово». Сюжетно соответствует окончательному тексту рассказа, в котором полностью отражена карандашная правка (4, 341—349).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 47 (машинопись; вторая половина л. 4 — автограф; нумерация страниц — авторская); ед. хр. 46, стр. 17—22 (автограф; нумерация страниц архивная).

## «ОТТО ШТЕЙН» («ЖИЗНЬ»)

Сохранились три редакции неосуществленной повести «Жизнь», послужившие основой рассказа «Отто Штейн»:

I. «Жизнь». Неполный черновой автограф (глава первая и первые строки второй) с очень значительной авторской правкой. Обрывается на эпизоде: пароход проходит в виду Стромболи. Сюжетно соответствует главам I—II и началу III окончательного текста (4, 406—409).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 50, стр. 1—5.

II. «Жизнь». Машинописная копия предыдущего автографа (по сравнению с ним имеет лишний лист — продолжение главы II); со значительной авторской правкой. Обрывается на эпизоде: пароход проходит по Суэцкому каналу. Сюжетно соответствует главам I—III и началу IV окончательного текста (4, 406—410).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 51, л. 1—5.

III. «Из повести». Вырезка из газеты «Русское слово» (1916, 1 апреля 1916 г.) с небольшой авторской правкой и датой на л. 1 (сверху): «1 апреля 1916 г.» На полях помета рукой В. Н. Буниной: «Первоначальный текст рассказа „Отто Штейн“» (л. 1). Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 406—411), но имеет с ним много разночтений и превосходит его по объему: завершает эту редакцию не вошедший в окончательный текст экскурс в историю Цейлона. От предыдущих редакций отличается очень значительными разночтениями. В комментариях к рассказу в Собр. соч. 1965—1967 эта редакция ошибочно описана как «рукопись» (4, 496).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 49.

## «ПЕТЛИСТЫЕ УШИ»

Сохранились шесть неполных автографов ранних редакций рассказа, корректура первой публикации (сб. «Слово», кн. 7, М., 1917) с правкой Бунина, а также четыре разрозненных фрагмента различных редакций (начало рассказа, сцена в ресторане, эпилог). Все они хранятся в ЦГАЛИ и ГМТ (ранее находились у К. П. Пушешниковой, в составе бунинского архива).

Сопоставление рукописей позволяет предположить такую их последовательность:

I. «Он еще с нами». Черновой автограф с обширной двухслойной авторской правкой (по-видимому, первая правка делалась в процессе написания, вторая — более светлыми чернилами — позже). Рассказ разделен на две главы. Первая (стр. 1—10) сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 386—397), от которого ее отличает следующее: 1) более краткая сцена в ресторане (все монологи Соколовича отсутствуют); 2) конец (коридорный обнаруживает убийство, Соколович арестован); 3) ряд отдельных разночтений. Начало второй главы (стр. 10; продолжение автографа утеряно) содержит сообщение о поведении Соколовича на следствии; оно зачеркнуто теми же чернилами, какими делался второй слой правки в первой главе. Теми же чернилами на стр. 1 вписаны два варианта заглавия — «Без наказания» (зачеркнуто) и «Он еще с нами», а также дата: «11 ноября 1916 г. Глотово».— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 52, стр. 1—10 (нумерация страниц сделана неизвестной рукой; архивная нумерация листов отсутствует).

II. Черновой фрагмент наброска, содержащего мысли о возможных способах объяснения истоков преступления Соколовича. В дальнейшем они получили развитие сначала в разных редакциях эпилога (см. ниже III, IV, VI), а затем — в сцене в ресторане (см. ниже, VII и т. 4, стр. 387—391).— ГМТ, № 2746, л. 4 об.

III. Черновой набросок эпилога рассказа: скрывшийся после преступления Соколович присылает в полицию «два листа» с «исповедью», в которой анализирует истоки своего преступления. Здесь реализуется мысль, высказанная в наброске II.— ГМТ, № 2746, л. 1—2.

IV. «Без наказания». Беловой автограф с авторской правкой. Здесь учтена правка, внесенная в редакцию I; кроме того, этот автограф имеет ряд дополнений, характеризующих поведение Соколовича в день убийства. Деление на главы отсутствует. Полностью изменен (по сравнению с I) текст, соответствующий концу первой главы: Соколович скрывается, преступление обнаружено после его ухода (стр. 11). Затем следует эпилог (стр. 11—12, 15—16) — Соколович присылает в полицию тетрадь с «исповедью», в которой анализирует истоки своего преступления. Эпилог, развивающий ранее высказанную мысль автора (ср. II и III), носит черновой характер; сохранился неполностью (2 фрагмента — начало и середина).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 53, стр. 1—12, 15—16 (нумерация страниц — неизвестной рукой, архивная нумерация листов отсутствует).

V. Беловой автограф без начала (отсутствует стр. 1). Почти полностью (за исключением последующей авторской правки) совпадает с IV (стр. 2—11). Завершается уходом Соколовича и сценой обнаружения убийства; эпилог отсутствует. Правка (помимо стилистической) сводится к некоторому расширению реплик Соколовича в разговоре с матросами в ресторане и к усилению мотива бесчеловечности большого города (стр. 10).— ГМТ, № 2744, стр. 2—10 (нумерация страниц авторская; архивная нумерация листов отсутствует).

VI. «Петлистые уши». Беловой автограф. Начало (стр. 1—12) соответствует автографу V, с которым почти полностью совпадает. Последние две страницы (13—14) содержат начало новой редакции эпилога (конец утерян): Соколович, арестованный через месяц после своего преступления, излагает свои показания в письменной форме, строя их как «сюжет для небольшого романа, вследствие человеческой трусости еще не появлявшегося в изящной литературе» (стр. 13). Эпилог варьирует мысли, изложенные в наброске II и в других редакциях (III и IV). В Собр. соч. 1965—1967 был ошибочно опубликован как первая глава ранней редакции рассказа (4, 442—445). В Собр. соч. 1956 (3, 381—382) контаминирован с отрывком наброска II.

Эпилог написан другими чернилами по сравнению со стр. 1—12, теми же чернилами внесена и авторская правка на стр. 1—12, а также название «Петлистые уши» (стр. 1).—ГМТ, № 2743 (стр. 1—2), № 2745 (стр. 3—12); ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 53 (стр. 13—14). Нумерация страниц авторская, архивная нумерация листов отсутствует.

VII. Беловой автограф с авторской правкой. Без заглавия. Фрагменты: стр. ⟨1⟩, 3—5, 7—8. Здесь впервые в сцену в ресторане введены монологи Соколовича; эпилог отсутствует. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 386—391).— ГМТ, № 2746, 2743 (нумерация страниц авторская, архивная нумерация листов отсутствует).

VIII. «Адам Соколович». Беловой автограф с авторской правкой. Начало рассказа (стр. 1—5). Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 386—389). Здесь учтена авторская правка, внесенная в VII.— ГМТ, № 2743.

IX. Беловой автограф (первая половина — машинопись). Фрагмент сцены в ресторане. Здесь учтена авторская правка, внесенная в VIII.— ГМТ, № 2746.

X. Машинописная копия с авторской правкой. Фрагмент — конец рассказа с авторской подписью и датой: «Ноябрь 1916, с. Глотово». С незначительными разночтениями соответствует окончательному тексту (4, 397).— ГМТ, № 2746.

XI. «Петлистые уши». Корректура (сб. «Слово», кн. 7, М., 1917) со значительной авторской правкой; главным образом правке подверглась сцена в ресторане.— ГМТ, № 2742.

## «СНЫ ЧАНГА»

Полный текст рассказа, озаглавленный «Сны Чанга» (беловой автограф одной из последних редакций), а также отрывки двух беловых и трех черновых автографов (ранние и промежуточные редакции) находятся в собрании В. Г. Лидина; еще четыре разрозненных фрагмента черновых автографов хранятся в ГМТ (№ 2157). Все 10 автографов написаны на одинаковой бумаге. Ранее они находились у К. П. Пушешниковой, в составе бунинского архива.

Сопоставление этих рукописей позволяет предположить такую последовательность редакций рассказа:

I. «Чанг и его хозяин». Беловой автограф с авторской правкой (л. 1—1 об.). Начало рассказа. История встречи капитана с Чангом следует непосредственно за вступительным абзацем (описание жизни в Одессе отсутствует). Обрывается на эпизоде: пароход входит в Красное море. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 372—373), от которого отличается рядом частных разночтений (например, капитан назван Врублевским, пароход — «Херсоном», место покупки Чанга — Шанхай).— Собрание В. Г. Лидина.

II. Черновой автограф без названия (л. 1—5 об.). На л. 1 обозначена первая глава — «I», там же сверху — авторская дата: «Глотово ноябрь 1916». Почти полный текст рассказа; обрывается на эпизоде восприятия ночного океана Чангом после третьего разговора капитана с ним. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 372—382), с которым имеет очень значительные разночтения: рассказ начинается непосредственно встречей капитана с Чангом (вступительный абзац вычеркнут), вся история плавания излагается последовательно, описание жизни в Одессе отсутствует, нет снов-воспоминаний Чанга; в свою очередь, ряд эпизодов этой редакции в других автографах и в окончательном тексте отсутствует) — Собрание В. Г. Лидина.

III. Беловой автограф без названия (л. 1—2 об.). Начало рассказа (с обозначением первой главы — «I»); обрывается на первом разговоре капитана с Чангом. Повторяет (с мелкими разночтениями) начало предыдущей редакции (вычеркнутый в ней вступительный абзац здесь отсутствует). Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 372—375), с которым имеет существенные разночтения: отсутствует описание жизни в Одессе, нет снов Чанга.— Собрание В. Г. Лидина.

IV. Черновой автограф без названия. Фрагмент середины рассказа. Содержит начало описания «конца жизни Чанга» (жизнь в Одессе); сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 371, 372, 374). Деление на главы (на л. 1 обозначена IV глава — «IV») и последовательность в изложении событий позволяет считать этот фрагмент продолжением одной из предыдущих редакций (II, III).— ГМТ, № 2157.

V. «Без начала и конца». Черновой автограф (л. 1—8 об.) с многослойной авторской правкой (большая часть исправлений падает на начало). Почти полный текст рассказа; обрывается на описании заката в Красном море. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 370—380).— ГМТ, № 2751; первые 6 листов имеют авторскую нумерацию страниц (1—12), последние 4 страницы (13—16) не нумерованы.

VI. Черновой автограф (л. 1—1 об.). Фрагмент предварительной редакции текста, зафиксированного на странице 13—14 автографа V. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 379). Последний абзац (л. 1 об.) представляет собой самостоятельный фрагмент, соответствующий (с разночтениями) печатному тексту (4, 383).— ГМТ, № 2157 (с авторской нумерацией листа — «13»).

VII. «Про одну собаку». Черновой автограф с многослойной правкой (л. 1). Начало рассказа с зачеркнутым эпиграфом из Фа-Сяня. Обрывается на описании зимы в Одессе. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 370).—ГМТ, № 2751.

VIII. Черновой автограф. Фрагмент окончания рассказа. Ограничен эпизодами: пьяный капитан в ресторане; Чанг у дверей костела. Сюжетно соответствует окончательному тексту (4, 383—384).— Собрание В. Г. Лидина, л. 1—1 об.

IX. Черновой автограф. Окончание рассказа; начинается эпизодом: Чанг у дверей костела. С небольшими разночтениями соответствует окончательному тексту (4, 384—385).— Собрание В. Г.Лидина, л. 1—1 об.

X. «Сны Чанга». Беловой автограф с двухслойной авторской правкой. Полный текст рассказа; состоит из двух элементов: л. 1—19 (нумерация авторская) и л. 20—23 (авторская нумерация листов — «15—18»). Первый слой (чернилами) делался, по-видимому, в процессе написания; второй (карандашом) — позже. В конце авторская подпись (чернилами) и дата (карандашом): «Ноябрь [1917] 1916 г. Глотово». Заглавие «Сны Чанга» вписано вместо стертого: «Любовь». Почти полностью (включая карандашную правку) совпадает с окончательным текстом (4, 370—385).

## «СТАРУХА»

Сохранились две редакции рассказа:

I. «Старуха». Черновой набросок. С пометой на л. 1: «10½ — 11 ч. вечера [12] 13.I.1916. Глотово».— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 45, л. 1—1 об.

II. «Святки». Беловой автограф со значительной авторской правкой в два слоя. С небольшими разночтениями соответствует первой публикации («Русское слово», 1916, № 298, 25 декабря), которая в свою очередь позже подверглась изменениям.— ГМТ, № 2749, л. 1—7.

## «ЧАША ЖИЗНИ»

Сохранились фрагменты двух черновых редакций повести и машинопись с авторской правкой. Устанавливается такая их последовательность:

I. Черновой автограф второй половины рассказа; в конце авторская подпись и дата: «31 Авг. 1913 г.». Эта редакция состояла из восьми глав. Сохранились: конец главы VI (последний абзац), глава VII (полностью) и VIII (без середины). Сюжетно соответствуют окончательному тексту: конец главы VI — окончанию той же главы; глава VII — главе VIII; глава VIII — главам IX—XI (4, 209 и 212—217).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 36, стр. 14—20 (нумерация страниц архивная).

II. «Дом». Черновой автограф (фрагменты). Эта редакция состояла из 12 глав. Из них сохранились: I и II (полностью), VI (конец), VII, VIII и IX (полностью; глава VIII ошибочно обозначена цифрой «VII»), X (без середины), XI (без первых строк), XII (полностью). Все они сюжетно соответствуют тем же главам окончательного текста (4, 201—203, 209—214, 216, 217, 221). По сравнению с предыдущей редакцией появляются две новые главы — VII и XII, в которых вводится новый персонаж — Горизонтов (первоначально — Высоцкий); глава VIII соответствует бывшей VII, главы IX—XI — бывшей VIII, в значительно расширенном и переработанном виде.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 36, стр. 1—13 (нумерация страниц архивная).

III. «Чаша жизни» (заглавие вписано вместо заклеенного — «В Стрелецке»). Машинопись с большой авторской правкой. В конце авторская подпись и дата: «2-го Сент. 1913 г.» Содержит 12 глав, почти полностью совпадающих с журнальной публикацией («Вестник Европы», 1913, № 12) и с окончательным текстом. Соответствует главам I, II, VII—XII предыдущей редакции со значительными разночтениями. Наиболее важное из них — впервые появившийся эпизод посещения кладбища, завершающий IX главу (4, 214—216).— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 37, стр. 1—23 (нумерация страниц авторская).

# ПО СТРАНИЦАМ РАННИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ БУНИНА

Статья Т. Г. Динесман*

Однажды в разговоре с Чеховым Бунин пожаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!» И услышал в ответ: «Это же чудесно — плохо начать!»— Чудесно, потому что такое начало — залог таланта, потому что настоящий талант не раскрывается сразу — он неизбежно «мучится, ища проявления себя»[1].

Эта мысль Чехова в полной мере относится к Бунину. Процесс «проявления» его таланта был трудным и длительным — он продолжался почти полтора десятилетия. Эти годы, отделяющие автора «Листопада» от пятнадцатилетнего мальчика, в беспомощных виршах изливающего «поэзию души», которой щедро наделила его природа, имели свои вехи, свои ступени восхождения. И, быть может, самой значительной из них была первая ступень — то самое «начало», на слабость которого он так горько сетовал.

Несмотря на беспощадно критическое отношение ко всему, написанному им в ту пору, Бунин никогда не забывал, что вся его дальнейшая судьба художника озарена отблеском этих начальных лет. Как первая фраза только что начатого рассказа имела для него «решающее значение», определяя будущее «звучание всего произведение в целом» (9, 375), так и первые страницы, вписанные в историю творческой жизни Бунина, в значительной мере определили ее «звучание» на все последующие десятилетия. С возрастом ощущение значимости пережитого в юные годы все возрастало: хорошо известно, что «Жизнь Арсеньева»— история пробуждения поэтического сознания будущего художника — подсказана собственным опытом писателя. Поэтому нельзя пройти мимо свидетельств подобного пробуждения, совершавшегося в сознании самого Бунина на заре его творческой жизни. При всем их художественном несовершенстве, первые отклики начинающего поэта на первые впечатления бытия отражают тот самый процесс «воспитания чувств», в результате которого рождается личность человека и художника,— этому процессу впоследствии Бунин посвятил роман «Жизнь Арсеньева».

Около двухсот стихотворений, сохранившихся со времен бунинского «начала», дают обширный материал для наблюдений в этой области [2]. Однако рамки настоящей статьи не позволяют охватить его во всей полноте. Остановимся на одной линии, проходящей через всю лирику Бунина в первое пятилетие его творческой жизни, а именно — проследим, как преломляется в сознании будущего художника опыт предшествующей русской поэзии.

По свидетельству самого Бунина, в гимназические годы он стихов почти не писал (9, 258). Все, что сохранилось от поэтических опытов той поры,— два стихотворения, в которых мальчик, оторванный от семьи, изливал свою тоску по родному дому [3]. «Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках»,— вспоминает Бунин (9, 259). Все, что выходило в те годы из-под его пера, тщательно переписывалось в сшитые собственными руками тетради; заглавия их («Опыты», «Сочинения стихотворные») заимствованы с обложек тех «чудеснейших томиков» со стихами «поэтов державинских и пушкинских времен», за чтением которых Бунин провел первую зиму после возвращения из гимназии (6, 101; ср. также 9, 259) [4].

---

* В основу статьи положен доклад, сделанный автором на бунинской научной конференции в Орле, 20 октября 1970 г.

Это наивное подражание — отголосок того, что было пережито им под воздействием поэзии русского романтизма. «Жизнь сердцем и искреннее проявление нежных чувств», как характеризовал Бунин в 1888 г. отличительные особенности романтизма (9, 488), в высшей степени влекли его в то время:

Позабыв про горе и страданье,
Верю я, что, кроме суеты,
На земле есть мир очарованья,—
Чудный мир любви и красоты! —

писал он тогда же, перефразируя собственный перевод стихотворения Шиллера «Начало нового века» (№ 62; ср. настоящ. том, кн. 1, стр. 207).

Эти строки очень характерны для первых поэтических опытов Бунина. В них выразился тот «повышенный душевный строй, который возник за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что „поэзия есть бог в святых мечтах земли“, что „искусство есть ступень к лучшему миру“» (6, 117). Попытка выразить это поэтическое credo романтизма принадлежит к числу самых ранних стихотворных опытов Бунина:

Ты должен силою созвучий
И песней страстною, могучей
Святое вновь все воскрешать,
Святые чувства пробуждать!

(№ 16)

Впоследствии Бунин найдет точные слова для выражения тех чувств и мыслей, которые пробудила в нем поэзия романтизма, ее «чистая, стройная красота, благородство, высокий строй»: «С этими томиками,— скажет он, сливаясь со своим героем,— я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее» (6, 101). Открывшийся ему «неотразимо-чудесный» мир словесного творчества определил решение: стать «„вторым Пушкиным или Лермонтовым“, Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым» Бунин, как и его герой, «ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них...» (6, 95).

Естественно, что первые поэтические опыты Бунина носят отпечаток образцов, пробудивших в нем сознательное стремление к творчеству,— он пытается усвоить не только язык, стиль и жанры поэзии пушкинской эпохи, но прежде всего самый строй чувств, которым она была вызвана к жизни. С особой очевидностью это ученичество проявляется в любовной лирике той поры — в стихах, обращенных к героиням первых полудетских увлечений Бунина. При том, что адресаты этих стихов меняются неоднократно, характер переживаний лирического героя и способы их выражения сохраняют полное единообразие, ибо здесь Бунин ни разу не выходит из круга определенных поэтических норм, выработанных предшествующей эпохой. Вот почему в «Жизни Арсеньева» чувства, вызванные этими многократными, наполовину выдуманными увлечениями, синтезированы в рассказах об одной любви героя: «Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад...» (6, 128).

На тот же «поэтический старинный лад» стремился чувствовать и выражать свои чувства сам Бунин:

Прости мне, милый друг!.. Те скорбные мгновенья,
Когда в моей душе проснулася любовь,
Когда я счастья ждал и жаждал наслажденья,
Давно уже прошли и не вернутся вновь...

(№ 61)

Эти строки — свидетельство того, что в некоторых случаях Бунину удавалось довольно точно уловить «старинный лад» и передать его характерное звучание без оглядки на какой-либо конкретный образец. Вероятно тогда-то и рождалось то ощу-

БУНИН
Фотография, 1888
На обороте автограф: «Ив. Ал. Бунин. 11 сентября 1888-го года»
Музей И. С. Тургенева, Орел]

щение, которое испытывает бунинский Арсеньев, увидев на страницах «знаменитого журнала» свое первое стихотворение: здесь «были и мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими — так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта» (6, 138). Однако чаще можно наблюдать иное: на пути овладения поэтическим языком предшествующей эпохи Бунин постоянно прибегает к прямым заимствованиям из творений своих учителей. В высшей степени характерно в этом плане стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» (1, 455), с которым Бунин впервые выступил в печати. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить его первую строфу:

*Угас* поэт в расцвете силы,
*Заснул безвременно певец*;
Смерть *сорвала с него венец*
И унесла под свод могилы.
В Крыму, *где ярки неба своды*,
Он молодые кончил годы,
И *скрылись в урне гробовой*
Его талант могучий, сильный,
И *жар души* любвеобильной,
И *сны поэзии святой*!..

Подчеркнутые выражения целиком заимствованы из лирики Пушкина (ср. стихотворение «Для берегов отчизны дальной...»), а также из арсенала поэтики романтизма [5].

Несамостоятельность своих первых опытов Бунин осознавал уже в пору их создания. «Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства»,— записывает он в своем дневнике 29 декабря 1885 г. (9, 340). Тридцать лет спустя он повторит почти то же самое, объясняя, почему с такой легкостью заполнялись

стихами страницы его юношеских тетрадей: «Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому» (9, 259). Однако подражательность, отличающая юношеские стихи Бунина, имеет свои особенности. Стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» открывает целый цикл стихов, в котором эти особенности проявляются очень выразительно. Написанный весной и летом 1887 г., этот цикл по праву может быть назван «надсоновским».

Имя Надсона Бунин постоянно называет среди тех, чье влияние испытал в годы юности: «Увлекался Надсоном»,— отвечает он на вопрос, под чьим воздействием начинался его творческий путь; и тут же оговаривает: «но недолго» (9, 526). «Увлечение, хотя и недолгое, Надсоном» отмечал Бунин и ранее (9, 259), а в «Жизни Арсеньева» отношению героя к этому поэту посвящен самостоятельный эпизод (6, 122—123). Эти автобиографические свидетельства заставляют задуматься над тем, какую роль в истории духовного развития Бунина сыграла поэзия Надсона. Ответ на этот вопрос дают стихи из его юношеских тетрадей.

В лице Надсона в поэтический мир Бунина впервые властно вторгается дыхание сегодняшнего дня. Властитель дум современников, двадцатитрехлетний Надсон скончался в Ялте 19 января 1887 г. Ранняя смерть окружила его облик романтическим ореолом: «Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! ⟨...⟩ *Надсон был „безвременно погибший поэт“, юноша с прекрасным и печальным взором,* „угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного южного моря...“» (6, 122). Эта картина, нарисованная в «Жизни Арсеньева», очень точно воспроизводит действительность. Тело Надсона было перевезено в Петербург, молодежь несла его гроб на руках весь путь до Волкова кладбища. Описывая, как глубоко взволновали Арсеньева эти события (6, 122), Бунин, несомненно, вспоминает то, что пережил сам,— романтизированный образ Надсона полностью отвечал его «повышенному душевному строю», воспитанному поэзией романтизма.

Однако к этому присоединялось еще и другое. При том «страстном интересе вообще к писателям», который в юности испытывал Бунин (9, 259), слава Надсона не могла оставить его равнодушным. Стремление узнать, «что такое» Надсон, «чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию» (6, 123),— стремление, которым Бунин наделяет своего героя, было пережито им самим. Процесс этого «узнавания» остался за пределами романа Бунина. На страницах его юношеской лирики он полностью раскрывается.

Анализируя стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона», О. Н. Михайлов отметил парадоксальный факт: в этих стихах о Надсоне нет ни единой «надсоновской» интонации. Объясняет он это тем, что Бунина привлекала «демократическая настроенность надсоновских стихов», тогда как «стилистически» Надсон был ему чужд [6]. В справедливости подобного предположения заставляет усомниться другое стихотворение, появившееся в печати вслед за первым:

В венке из свежих роз я Музу увидал
Впервые в детстве над собою;
И долго я ее свирелью проиграл
И забавлял себя волшебною мечтою ⟨...⟩

(№ 22)

В основе этих стихов лежит пушкинский образ: Муза, напутствующая юного поэта (ср. «В младенчестве моем она меня любила...»). Но решен этот образ целиком в стиле поэтики Надсона. Уже первая строка повторяет типичный штамп надсоновской лирики (правда, штамп в свою очередь заимствованный):

В венке душистых роз, с улыбкой молодой,
Она сошла в наш мир⟨...⟩

(«Поэзия») [7]

Постепенно в этом стихотворении Пушкин вытесняется Надсоном — заключительная строфа уже полностью выдержана в его интонациях:

Вот отчего, мой друг, теперь стихи мои
Поют не те надежды и желанья,
Вот отчего меж тенями любви
Теперь найдешь упреки и страданья.

Итак, о Надсоне — реминисценциями из Пушкина, но рядом — пушкинский образ, решенный средствами поэтики Надсона. Здесь уже трудно говорить о стилистической несовместимости. Больше того, эти стихи — только начало «узнавания» Надсона: Бунин, стремясь проникнуться внутренним настроем надсоновской лирики, на какое-то время полностью усваивает ее стилистические особенности.

Целый ряд стихотворений, написанных весной и в начале лета 1887 г. (№ 33—37), соотносится с совершенно конкретными стихами Надсона, причем именно с теми, которые впервые публиковались в журнале «Русская мысль» уже после его смерти,— в апреле-мае 1887 г.,— а затем вошли в посмертное издание сочинений поэта. Бунин пытается войти в поэтический мир Надсона, пережить его чувства, мыслить его образами, говорить его языком. В бунинской тетради появляются стихи «Из записной книжки» (№ 34), повторяющие излюбленный жанр Надсона («Из дневника») [8]. И мелодика, и общий настрой надсоновской лирики звучат в них очень явно:

Те скорби мне сердце в конец истомили,
Томила нужда беспросветной тоской,
В душе молодой все порывы застыли,
И жаждал я счастья до боли порой!..

При том, что Бунин очень точно воспроизводит стиль лирики Надсона, почти все стихи «надсоновского» цикла резко полемичны. Примеряя «одежду» надсоновского стиха, вступая в мир поэзии Надсона, Бунин остро ощущает его несоответствие собственному душевному настрою. Приведем два примера.

Среди посмертных стихов Надсона внимание Бунина привлекли «Грезы» [9]:

Когда еще дитя, за школьною стеною
С наивной дерзостью о славе я мечтал,
Мне в грезах виделся пестреющий толпою
Высокий, мраморный, залитый светом зал⟨...⟩
А ночью дан был бал... Сияющие хоры
Гремели музыкой... Меж мраморных колонн
Гирлянды зелени сплеталися в узоры
И зыблилась парча девизов и знамен...

Лирический герой Надсона видит себя певцом, покоряющим души слушателей:

И вот, безвестный паж, я властвую толпою,
Я покорил ее... Я вижу с торжеством,
Как королева ниц склонилась головою,
Как жадно рыцари внимают мне кругом⟨...⟩
Так в детстве я мечтал. С тех пор умчались годы,
И нет их, ярких снов фантазии моей,
Я стал в ряды бойцов поруганной свободы,
Я стал певцом труда, познанья и скорбей.

Бунин отвечает Надсону стихотворением, построенным в форме антитезы «Грезам»,— он противопоставляет им свои собственные мечты:

Не шумный бал, увенчанный цветами,
Не блеск и мишуру столичной суеты,
В часы бессонницы весенними ночами
Мне рисовали грезы и мечты...

Я в душном городе за школьными стенами
Томился и страдал и жаждал поскорей
Вернуться в старый сад над тихими лугами,
Вернуться на простор знакомых мне полей.

(№ 33)

Бунин не принимает «ярких снов фантазии» Надсона, однако столь же неприемлем для него надсоновский идеал поэта-гражданина —«певца труда, познанья и скорбей»:

Нет, в невозвратные младенческие годы
Я жизнью жил иной, мечтал я о другом,—
Я думал, что среди родимой мне природы
Я буду мирно жить, идти своим путем.

Не менее полемичны и два других стихотворения, которые стоят рядом на страницах лирической тетради Бунина (№ 34 и 35). Оба они обращены к стихотворению Надсона «Из дневника», также носившему программный характер [10]. Надсон начинает с описания:

Сегодня всю ночь голубые зарницы
Мерцали над жаркою грудью земли;
И мчались разорванных туч вереницы,
И мчались, и тяжко сходились вдали.

Бунин начинает, казалось бы, с того же. Однако тревожной картине душной грозовой ночи он противопоставляет умиротворенную тишину спящей земли:

Ночь тиха: голубые зарницы
Над заснувшей землею трепещут,
Бесконечных светил вереницы
В синем небе задумчиво блещут...

(№ 35)

Лирический герой Надсона мечтает о счастье:

Всю ночь пробродил я, всю ночь до рассвета,
Обвеянный чарами неги и грез;
И страстно я жаждал родного привета,
И женских объятий и радостных слез...

Й Бунин вторит ему:

За слово привета, за добрые речи,
Согретые жаром горячей любви,
За лунные ночи и тайные встречи
Забуду печали и скорби свои...

(№ 34)

Однако для Надсона его мечты — лишь минутная слабость, которую он тут же преодолевает:

Но знай, что я твердо сознал, что покуда
Так душны покровы ночной темноты,
Так много на свете бездольного люда,
О личном блаженстве постыдны мечты.

Этой гражданской тенденции Бунин противопоставляет иную жизненную и поэтическую позицию:

Что грядущего, друг мой, бояться,
Если юностью искрятся очи,
Надо верить, любить, наслаждаться
В эти теплые, тихие ночи!

(№ 35)

В этих строках слышится та «новизна, свежесть и радость „всех впечатлений бытия“», о которых говорит бунинский Арсеньев (6, 93). Это ощущение настолько безраздельно владело самим Буниным на пороге юности, что не оставляло место сочувствию ни скорбным нотам лирики Надсона, ни гражданским идеалам, которые в ней декларировались. Но главное — прирожденный вкус, непрерывно шлифовавшийся в общении с миром русской классической поэзии, не мог принять банальности надсоновских поэтических штампов. И тем не менее позицию скептика, развенчивающего всероссийского кумира, Бунин занял далеко не сразу, как можно было бы подумать, исходя из оценок, вложенных им в уста Арсеньева (6, 122). Для этого, как свидетельствуют страницы его лирических тетрадей, ему пришлось пройти, пусть краткий, но полный значения путь — от безоговорочного сочувствия трагической судьбе Надсона, через прямое подражание его поэзии, к полному ее неприятию.

Обращение к Надсону — всего лишь краткий эпизод в первой главе творческой биографии Бунина. Летом 1887 г. «надсоновский цикл» обрывается — поэзия Надсона перестает его интересовать.

Мы остановились на этом эпизоде так подробно потому, что в нем, при всей его мимолетности, ярко проявляется характерная особенность бунинского ученичества: Бунин следует избранному образцу не столько для того, чтобы сравняться с ним, сколько для того, чтобы «узнать» творческий мир другого поэта, понять и сопоставить его мироощущение с собственным восприятием мира. В результате подражание, почти всегда неизбежное в пору поисков собственного голоса, для Бунина становится не самоцелью, а средством такого «узнавания».

Если Надсон был для Бунина лишь эпизодом, то два других поэта стали его спутниками навсегда. Их имена Бунин поставил у истоков своей творческой жизни, признаваясь, что в эту пору «подражал 〈...〉 больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину» (9, 259).

С юных лет и до последних дней жизни эти два имени стояли рядом в его сознании. Стоят они рядом и в «Жизни Арсеньева»: «Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов» (6, 126).

Страницы лирических тетрадей Бунина хранят многочисленные свидетельства того, как созвучна была поэзия Лермонтова его душевному настрою:

О, если бы стихов задумчивое пенье
В твоей душе могло бы пробудить
Раздумье о былом, о прошлом сожаленье,—
Тогда бы ты могла былое воротить! —

пишет он (№ 39), пытаясь уловить музыкальный строй и проникновенный лиризм лермонтовского посвящения к поэме «Демон»:

Я кончил — и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг? [11]

Та динамичность, напряженность и острота восприятия окружающего мира, то предчувствие «полноты» предстоящей жизни, которое владело Буниным на пороге бытия, находили соответствие в мире поэзии Лермонтова: «... какой страстной мечте о далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу!»— писал Бунин в «Жизни Арсеньева», вспоминая

стихотворение «Памяти А. И. Одоевского» (6, 126). И совсем уже на склоне лет говорил о лермонтовском «Парусе»: «... как он всегда меня потрясает. Каждый раз иначе. Иногда грустью. Иногда вдохновением. Иногда счастьем до боли. И какой торжественный, какой волшебный конец. Одни из самых изумительных строк во всей русской поэзии:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!»[12]

На заре же своего творческого пути Бунин ответил на эти строки своеобразной поэтической репликой:

Светлое небо меж тучек синеет,
Тучи бегут по небесной лазури;
Парус над бездной морскою белеет,
Борется гордо с порывами бури.

Но беспросветная ночь наступила,
Солнце и небо во мраке сокрылось;
Ветер бушует и бьется с ветрилом,
Буря ударила — мачта свалилась.

Ночь наступила... Надежда пропала,—
Тонет ладья, наполняясь водою...
Буря затихла, гроза замолчала,—
Парус не виден над бездной морскою.

(№ 30)

Это уже не подражание, а вполне сознательный, хотя и достаточно наивный прием. Бунин как бы продолжает лермонтовский «Парус», он использует его символику, пытаясь выразить свое отношение к Лермонтову и его судьбе. Через четыре десятилетия мысль, которую шестнадцатилетний мальчик пытался облечь в поэтический образ, возродилась на страницах романа Бунина: «Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и „Лермонтов упал как будто подкошенный“» (6, 158).

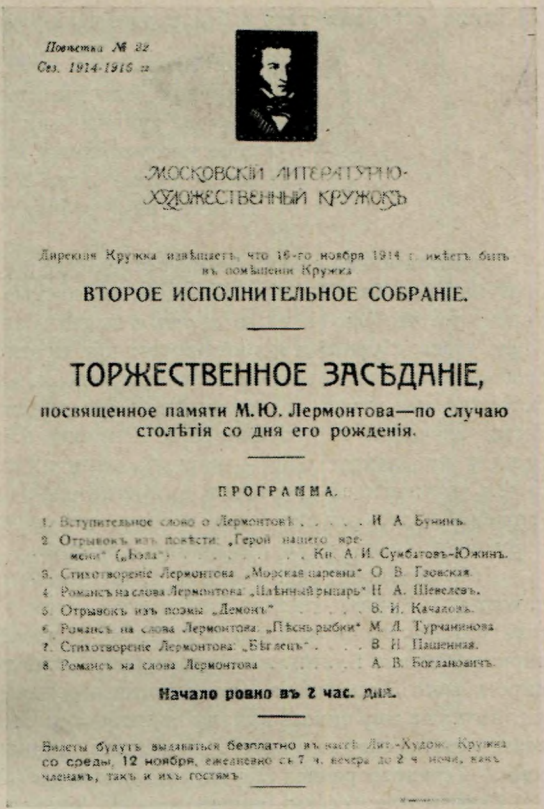
В «Жизни Арсеньева» неоднократно подчеркивается чувство близости с Лермонтовым, ощущение сходства его «начальных дней» со своими и, больше того,— тайная зависть к самой судьбе Лермонтова, столь «бесконечно богатой и прекрасной» (6, 126 и 157—158). Все это безусловно чувствовал в годы юности и сам Бунин. Однако не только этим объясняются многочисленные реминисценции из лирики Лермонтова в его юношеских стихах (см., например, № 19, 20, 30, 39, 51). Конечно, романтический строй поэзии Лермонтова в высшей степени созвучен самой специфике юношеского сознания, а прирожденное чувство прекрасного позволяло Бунину уже в ту пору ощутить красоту лермонтовского стиха. И тем не менее не в этом следует искать первопричину того влияния, которое имел на него в юности Лермонтов. Впоследствии, в «Жизни Арсеньева», Бунин раскрыл ее в образной форме: «Я подумал: что такое Лермонтов? — и увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины, с ними связанные ⟨...⟩: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту, неведомую мне, светлую долину Грузии, где шумят, „обнявшись, точно две сестры, струи Арагвы и Куры“, облачную ночь и хижину в Тамани, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус...» (6, 157—158). Другими словами, поэзия Лермонтова открыла Бунину, сколь неисчерпаемы средства изобразительности, таящиеся в мире словесного творчества, сколь безграничны возможности поэтического выражения зримого, чувственного мира. В результате рождаются строки, в которых отчетливо ощущается стремление постичь секрет

АФИША ЗАСЕДАНИЯ МОСКОВСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖКА, ПОСВЯЩЕННОГО СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

16 ноября 1914 г.

Вступительное слово произнес Бунин

Архив А. М. Горького, Москва



*Повѣстка № 22*
*Сез. 1914-1915 г.*

МОСКОВСКІЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ

Дирекція Кружка извѣщаетъ, что 16-го ноября 1914 г. имѣетъ быть въ помѣщеніи Кружка

ВТОРОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСѢДАНІЕ,

посвященное памяти М. Ю. Лермонтова—по случаю столѣтія со дня его рожденія.

ПРОГРАММА.

1. Вступительное слово о Лермонтовѣ . . . . . И. А. Бунинъ.
2. Отрывокъ изъ поэмы: „Герой нашего времени" („Бэла") . . . . Кн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ.
3. Стихотворение Лермонтова „Морская царевна" О. В. Гзовская.
4. Романсъ на слова Лермонтова „Пѣнный рыцарь" Н. А. Шевелевъ.
5. Отрывокъ изъ поэмы „Демонъ" . . . . . В. И. Качаловъ.
6. Романсъ на слова Лермонтова „Пѣснь рыбки" М. Д. Турчанинова
7. Стихотворение Лермонтова „Бѣглецъ" . . . . В. И. Пашенная.
8. Романсъ на слова Лермонтова . . . . . А. В. Богдановичъ.

**Начало ровно въ 2 час. дня.**

Билеты будутъ выдаваться безплатно въ кассѣ Лит.-Худож. Кружка со среды, 12 ноября, ежедневно съ 7 ч. вечера до 2 ч. ночи, какъ членамъ, такъ и ихъ гостямъ.

образности лермонтовского стиха, достигавшейся такими простыми и, казалось бы, прозаическими средствами:

В полночь выхожу один из дома,
Мерзло по земле шаги стучат,
Звездами осыпан черный сад
И на крышах — белая солома:
Трауры полночные лежат.

(1, 65)

Здесь все как будто свое — образы и краски, метрика, рифмы. И все же легко угадывается, чему не столько подражает, сколько учится Бунин:

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Или другой пример:

Какая теплая и темная заря!
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,
Померк над сонными весенними полями,
И мягкими на все ложится ночь тенями ⟨...⟩

Над садом облака нахмурившись стоят;
Весенней сыростью наполнен тихий сад...

(1, 61)

За этими строками также без труда угадывается Лермонтов:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд.
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

Примечательно, что в этом стихотворении («Как часто пестрою толпою окружен...»), послужившем для Бунина образцом, полностью за пределами его внимания остается именно то, что сам он через десять с лишним лет отметит как основной пафос поэзии Лермонтова: «бурный и яркий протест как против несовершенства человеческой жизни вообще, так и против того общественного строя, в котором пришлось жить поэту» (9, 524). Остаются ему чужды и порожденные сознанием тщетности этого протеста ноты усталости, звучащие в стихотворении «Выхожу один я на дорогу...». В обоих случаях Бунина привлекает одно — картина гармонического единения лирического героя с миром окружающей природы и те поэтические средства, которыми достигается ее изображение. Здесь мы подходим к тому, что «родство» его с Лермонтовым имело в ту пору свои, очень четко очерченные границы.

Действительно, очень многое и, быть может, главное в лермонтовской поэзии не находило у Бунина отклика в годы его юности. Скептическое миросозерцание Лермонтова, его рефлексия оставались столь же чужды Бунину, как и гражданский пафос его лирики. Однако Бунин не просто прошел мимо того, что было для него неприемлемо в мире поэзии Лермонтова. Он пытается проникнуться чуждым ему миросозерцанием, взглянуть на мир сквозь призму лермонтовского скептицизма. Так рождается еще одна поэтическая реплика в адрес Лермонтова, написанная почти одновременно с «Парусом», — стихотворение «Ужасные мгновенья» (№ 19).

Скептицизм, составлявший основу миросозерцания Лермонтова, приводил его к сомнению в ценности поэтического ви́дения мира. Отсюда трагическое восприятие творческого вдохновения как источника страдания, как проклятия художника. Таков лейтмотив его лирики, начиная с юношеской «Молитвы» и кончая программным стихотворением «Журналист, читатель и писатель», написанным за год до гибели. Бунин пытается встать на точку зрения Лермонтова, пытается понять, может ли он повторить его «Молитву»:

От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,—

может ли разделить эту готовность отказаться от творческого дара. Бунин хочет понять, что сулят художнику покой и забвение, к которым так страстно стремился на исходе своей короткой жизни Лермонтов. Он вступает с ним в своего рода диалог, начиная, как и в «Парусе», там, где кончает Лермонтов:

Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Бунин пытается развить эту мысль Лермонтова и нарисовать картину духовного сна, в который повергнется художник, освободившийся от мучившей его «жажды песнопенья»:

Бывают тяжкие мгновенья,
Когда душа как будто спит;
Забыв все бури и волненья,
Она бесчувственно молчит;
В ней нет тогда любви сокрытой,
В ней нету злобы ядовитой,
Она забудет жар страстей

⟨И⟩ нежный трепет вдохновенья,
И звук привычный песнопенья
Уже не раздается в ней;
Ее не мучают страданья,
Ее не мучает тоска,
В ней нету гордых пожеланий
И мысль о славе далека.

Форма, избранная для этого диалога, в значительной степени заимствована у Лермонтова: вся эта часть стихотворения построена как параллель монологу «писателя» («Журналист, читатель и писатель»), в котором рисуется трагическое восприятие собственного поэтического дара художником:

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи...

Бунин пытается достичь лермонтовской экспрессии стиха: он пользуется типично лермонтовскими словосочетаниями и следует поэтическим приемам, определяющим строй стихотворения Лермонтова (повторы в начале строк, разнообразное сочетание мужских и женских, парных, перекрестных и опоясывающих рифм).

Однако стихотворение Бунина носит явно полемический характер:

Душой смущенной и унылой
Не слышу Музы я полет,
И этот сон, как сон могилы,
Меня и мучит и гнетет.
И я молю творца с тоскою:
Пусть лучше мучиться, страдать,
Пусть буду я болеть душою,
Но только этим сном не спать!
Не спать тяжелым сном забвенья...

Здесь лирический герой Бунина противопоставлен лирическому герою лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...», а готовность страданием оплатить дар вдохновенья — ответ на «Молитву» Лермонтова.

Естественно, что строки, в которых Бунин пытается противопоставить Лермонтову собственное поэтическое сознание, выходят за пределы воздействия лермонтовской лирики. Но и тут он далек от самостоятельности. Заключающие «Ужасные мгновенья» строки —

...отдаваясь вдохновеньям,
Не охладеть душой своей,—

всего лишь реминисценция из знаменитого лирического отступления, завершающего шестую главу «Евгения Онегина»:

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
В мой угол чаще прилетай,
Дремоту сердца оживляй,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь...

При всей своей наивной беспомощности эта попытка полемики с Лермонтовым и обращение к Пушкину, ее завершающее, знаменательны для духовного развития Бунина. Они говорят о том, что в его юношеском сознании столкнулись два диаметрально противоположных восприятия мира, открывшихся ему в творчестве двух поэтов, в равной мере ставших для него «подлинной частью ⟨...⟩ жизни» (6, 126). В этом столкно-

вении начинает вырисовываться его собственное миросозерцание, которому гармоническое мироощущение Пушкина оказывается несравненно ближе и созвучнее, чем скептическое, рефлектирующее сознание Лермонтова.

Заслуживает внимания тот факт, что эпизод этот, столь значительный в процессе духовного развития Бунина, не выходит за пределы его юношеских тетрадей,— на страницах «Жизни Арсеньева» места ему не нашлось. Возможно, это объясняется тем, что в годы работы над романом уже сложился новый взгляд на поэзию Лермонтова: трагизм лермонтовского восприятия мира с годами становился ему все более созвучен — свидетельство тому лирика эмигрантских лет и воспоминания современников[13]. Это новое восприятие, все углубляясь с годами, заставило Бунина под конец жизни произвести решающую переоценку и поставить Лермонтова рядом с Пушкиным[14]. В этих обстоятельствах «спор», который некогда вели в его сознании Пушкин и Лермонтов, уже не представлялся ему значительным и заслуживающим внимания. На первый план выступало то, что было безоговорочно воспринято у того и у другого, что стало неотъемлемой частью его собственного внутреннего мира.

Если скептическое мировоззрение Лермонтова оказалось неприемлемым для Бунина, то у Пушкина его влекло именно то, чего Лермонтову недоставало,— «удивительная ясность души и стройность миросозерцания» (9, 523—524). Эти свойства пушкинского восприятия мира Бунин сформулировал значительно позже. В те же годы, о которых идет речь, они вряд ли были в полной мере осмыслены им, тем более вряд ли он сознательно воспринимал их как одну из причин своего влечения к Пушкину. Тем не менее юношеская лирика Бунина свидетельствует о том, что именно в этом заключалась для него одна из главных притягательных сил пушкинской поэзии.

«Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? — писал о Пушкине уже на склоне лет Бунин.— Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни» (9, 456). Эту «особенность» своего сопричастия миру пушкинской поэзии Бунин целиком переносит в «Жизнь Арсеньева»: «Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни 〈...〉 Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!» (6, 126; ср. 9, 457).

Естественно предположить, что столь сильное воздействие Пушкина должно было найти широкое отражение и в юношеском творчестве Бунина. «Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я,— в самой ранней молодости подражал даже в почерке»,— вспоминает Бунин (9, 454). Его юношеские тетради — свидетельство правдивости этого признания: тонкий, мелкий почерк, покрывающий их страницы, довольно близко имитирует легкий, изящный почерк Пушкина, в самих же стихах можно встретить ряд подражаний пушкинской лирике. Однако число их сравнительно невелико (№ 4, 6, 18, 19, 22, 28, 31, 51). И если обращение Бунина к Лермонтову имело, как можно было убедиться, весьма разнообразные формы, то обращение к Пушкину в его ранней лирике носило несколько иной характер. Оно шло, помимо уже отмеченных выше попыток усвоить чисто внешние формы пушкинского стиха — его размеры, строфику, рифмы, его лексику (см. № 51, а также № 4, 6),— в одном, но сразу же четко определившемся направлении: воздействие поэзии Пушкина сказывается в стремлении создать нечто «по-пушкински 〈...〉 прекрасное, свободное, стройное» (9, 455). Впервые высказанное в форме полемики с Лермонтовым («Ужасные мгновенья»), это стремление затем уже не покидало Бунина в течение всей его жизни. Оно, вспоминает Бунин, возникало «от чувства родства» с Пушкиным, «от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что бог порою давал в жизни» (9, 455).

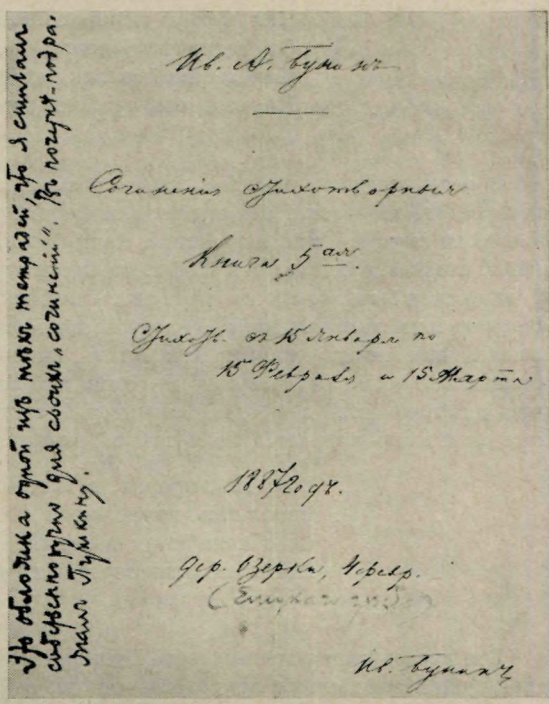
Чаще всего, а в юности особенно, «пушкинские» настроения дарил Бунину мир природы — точнее, обостренное восприятие красоты этого мира и чувство собственного сопричастия ему, то есть именно то, что получило столь полное выражение и в бунинских лирических тетрадях, и на страницах «Жизни Арсеньева». Естественно, что самые первые попытки выразить эти настроения носят характер непосредственных подражаний. И примечательно, что, подражая Пушкину, Бунин не раз обращается к одно-

ТЕТРАДЬ СТИХОВ БУНИНА («СОЧИНЕНИЯ СТИХОТВОРНЫЕ. КНИГА 5-ая»)

Обложка. Автограф, 1887

Сбоку поздняя запись Бунина: «Это обложка одной из тех тетрадей, что я сшивал собственноручно для своих „сочинений". В почерке — подражал Пушкину»

Музей И. С. Тургенева, Орел


Это обложка одной из моих тетрадей, что я сшивал собственноручно для своих „сочинений". В почерке подражал Пушкину.

Ив. А. Бунинъ

Сочиненія Стихотворныя

Книга 5-ая.

Стихотв. от 15 января по 15 Февраль и 15 Апрель

1887 Год.

Дер. Озерки, Орлов.

Ив. Бунинъ

му и тому же источнику: его постоянно влечет то стихотворение, в котором гармоничность пушкинского миросозерцания нашла свое высшее поэтическое выражение,— «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». В юношеских тетрадях Бунина не раз появляются строки, где в той или иной форме слышится отзвук этих стихов:

На воды сонные туман неясный лег;
Вечерняя звезда на запад выплывает...
Над прудом я сижу... Ни дум и ни тревог...
Душа моя светла и сладко отдыхает...

(№ 31)

И почти рядом еще одна попытка передать состояние внутренней гармонии, рожденной чувством единения с окружающим миром. Но здесь уже прямая цитата:

И «сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может...»

(№ 28)

Однако такого рода откровенные, весьма наивные подражания очень скоро исчезают со страниц юношеской лирики Бунина — лето 1887 г. было в этом отношении рубежом.

Вероятно, именно тогда детское восторженное поклонение стало уступать место глубокому пониманию самой сущности пушкинского гения,— тому, что впоследствии Бунин назвал «настоящей любовью к Пушкину» (9, 259). Конечно, это понимание сложилось далеко не сразу и с годами непрерывно углублялось и видоизменялось. Но, по-видимому, одно из первых открытий, сделанных Буниным на пути подлинного постижения мира пушкинской поэзии, было сознание, что стройность миросозерцания Пушкина так же недоступна для подражания, как и гениальная простота его поэзии.

Вместе с тем Бунину открылось и другое — безграничная многогранность поэтического мира Пушкина:

Как истый гений понимал
Он назначение поэта:
Как звонкий отзыв, отвечал
На все, что требует ответа.

(№ 18)

В этих строках слышится отзвук размышлений о самой природе и назначении поэтического творчества. На эти размышления Бунина натолкнули мысли о Пушкине. Во всяком случае, идеал художника, каким он нарисован в статье «Недостатки современной поэзии», написанной в 1888 г., целиком строится на опыте творчества Пушкина. «Поэт должен быть отзывчив на всякое движение души, на всякое проявление нравственного и умственного мира, он должен жить одной душой с людьми и с природой»,— пишет Бунин и подтверждает свою мысль, цитируя пушкинское «Эхо». «Поэт должен проникаться всеми радостями и печалями людскими, быть искренним выразителем нужд и потребностей общества, направить ближних к добру и прекрасному»,—продолжает он и вновь опирается на Пушкина, цитируя заключительные строки «Пророка»:

Восстань, пророк, и виждь и внемли:
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

(9,489)

Вся последующая деятельность Бунина свидетельствует о том, что тезис «жить одной душой с людьми и с природой»—вполне выражает поэтический принцип, которому он всю жизнь следовал неизменно.

«Настоящая любовь к Пушкину», пришедшая в результате всех этих размышлений, проявилась в том, что обращение к пушкинской лирике в поэтической практике Бунина приобрело принципиально новый характер: осознав бесплодность подражания поэзии Пушкина, Бунин находит в ней свой идеал, и к нему отныне он будет непрерывно стремиться. На смену детским попыткам подражать Пушкину приходит стремление найти собственные средства для достижения «пушкинской» ясности, стройности и простоты:

Бледнеет ночь... Туманов пелена
В лощинах и лугах становится белее,
Звучнее лес, безжизненней луна
И серебро росы на стеклах холоднее...
. . . . . .
Уж близок день, прошел короткий сон —
И, в доме тишины не нарушая,
Неслышно выхожу из двери на балкон
И тихо светлого восхода ожидаю...

(1,61—62)

Инструментовка и образные средства в этом стихотворении, написанном в 1888 г. (особенно в первой его строфе), показывают, что уже в эти ранние годы Бунину удается наметить свой путь для выражения того пушкинского начала, которое неизменно связывалось в его сознании с чувством собственного единения с миром природы (9, 455—458). Сделать этот шаг помогло Бунину знакомство с достижениями его старших современников — поэтов следующего за Пушкиным поколения.

Среди лириков, продолживших и развивших пушкинскую традицию, внимание Бунина особенно привлекал Полонский. «Что за милый и дорогой Полонский!» —писал он в 1891 г. [15] Легкий оттенок снисходительности, звучащий в этих словах, не мешал Бунину с благодарностью вспоминать поэта, который «пленял» его «в ранней юности» (9, 344) и которому он некогда с увлечением подражал (см. № 11, 60, 76, 77).

Стихотворение «Весенней ночью», написанное «на мотив Полонского» (№ 11), позволяет уяснить, чему учился на этих подражаниях Бунин. Достаточно сопоставить его со стихами старшего поэта, чтобы понять — Бунин стремился уловить своеобразие ритма, особый музыкальный строй стиха, оригинальность его инструментовки,— словом, те поэтические средства, которыми пользуется Полонский, воссоздавая призрачность, зыбкость и таинственность очарования лунной ночи:

| Полонский | Бунин |
|---|---|
| Посмотри, какая мгла<br>В глубине полей легла!<br>Под ее прозрачной дымкой<br>В сонном сумраке ракит<br>Тускло озеро блестит.<br>Бледный месяц невидимкой,<br>В тесном сонме сизых туч,<br>Без приюта в небе ходит<br>И, сквозя, на все наводит<br>Фосфорический свой луч. | Нет! Не спится. Свет луны<br>Разгоняет всегда сны,<br>На полу скользя лучами,<br>Заглянув сквозь сень берез,<br>Пробуждает он ночами<br>Поэтические грезы.<br>Сон бежит! Мне спать не в мочь<br>В светло-радостную ночь! |

Тот же характер носит обращение к Фету. Импрессионистическая образность, музыкальная гибкость стиха и метафоричность, пришедшие в русскую поэзию с лирикой Фета, были очень рано усвоены Буниным:

В белых полосах тумана
Ходят белые виденья...
Это призраки ночные,
Это сон воображенья...

Теплой влагой ароматной
Дышит дальний луг поемный;
По наклону косогора
Дремлет лес под шапкой темной;

Он молчит. Но лишь дыханье
Затаишь — и сердце слышит,
Будто кто-то меж деревьев
Тихо шепчет, тихо дышит...

(№ 32)

Фет и Полонский не случайно стоят рядом в «Жизни Арсеньева», где их стихи служат доказательством того, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214) [16]. В юности самого Бунина они также стояли рядом: попытка овладеть найденными ими средствами воссоздания единства внутреннего мира человеческих чувств с миром окружающей природы сыграла свою роль в становлении творческой личности Бунина.

Шло время — пора ученичества и подражаний подходила к концу, все сильнее ощущалась «потребность высказать уже кое-что свое» (9, 259). Появляется стремление подвести итог пережитому, выразить свой взгляд на будущее.

Так рождается написанная в 1890 г. поэтическая декларация, которую впоследствии Бунин включил в сборник «Листопад», куда вошло все, что он считал значительным из написанного им в юности:

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в края мои родные,
Я странником вступил под сень моих дубрав,
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлен, я на пути стою
И пью лесных ветров живительную влагу...
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юных блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь, я красы твоей не позабыл
И, сердцем чист, твой мир благословляю...
Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

(1,75—76)

«Подражание Пушкину» — так назвал Бунин свое стихотворение. Это заглавие имеет глубокий и многозначный смысл. На первый взгляд оно подчеркивает, что стихи стилизованы в духе пушкинской поэзии. Однако смысл «Подражания Пушкину» не в стилизации, хотя она и выполнена с замечательным мастерством, а в том, что на пороге своего двадцатилетия Бунин подводит такой же итог прошлому и так же всматривается в будущее, как делал это Пушкин каждый раз, когда жизнь его оказывалась на переломе. За строками бунинского «Подражания» звучат и пушкинская элегия «Погасло дневное светило...» (1820), и «Воспоминания в Царском Селе» (1829). И, наконец, еще одно значение этого названия: вольно или невольно, но в нем выразилось чувство гордости художника, осуществившего свою творческую мечту,— Бунин действительно создал стихотворение по-пушкински «прекрасное, свободное, стройное».

В строках, завершающих бунинское «Подражание», при всей их романтической приподнятости, намечается тенденция, которая многое определила в дальнейшей деятельности Бунина. Впервые он сформулировал ее в 1888 г.: «Человек, живя в гражданском обществе, не может игнорировать интересов последнего, он связан с ним душой и телом» (9, 491). Поэт, еще недавно целиком погруженный в «жизнь сердца», начинает чувствовать свою связь с нравственными и социальными проблемами современности. Знакомство с духовным наследием прошлого сыграло здесь свою роль, послужив материалом для размышлений о природе и целях художественного творчества. Искусство становится в глазах Бунина не только средством выражения собственных эмоций — оно прежде всего «могущественный двигатель цивилизации и нравственного совершенствования людей» (9, 490). Понятие гражданственности в искусстве отождествляется в его представлении со служением гуманистическим идеалам:

Нет, друг мой, не верьте сомненьям своим,
Пускай они вас не тревожат;
Бесцельной забавою, делом пустым
Искусство нигде быть не может.
. . . . . .
И если сумеете вы заронить
В толпу хотя искорку счастья,—
Никто вас не смеет тогда упрекнуть,
Что нету в вас к ближним участья...

(№ 70)

Происходит переоценка ценностей. Лирика Фета, у которого Бунин еще так недавно учился поэтическому мастерству, теперь подвергается самой резкой оценке с позиций требований к искусству, сформировавшихся в его сознании. В статье, написанной в 1891 г. по поводу выступлений критики, превозносившей Фета как единственного представителя «истинной поэзии», Бунин напоминает: «Сам Пушкин завещал поэту „глаголом жечь сердца людей“»,— и продолжает далее: «можно ли „жечь сердца людей'' фетовскими стихотворениями?» Вместо ответа он цитирует стихи Фета, сопровождая их ироническими замечаниями. Критике Фета здесь сопутствует сочувственная оценка лирики Некрасова. «Поэзия везде, где есть жизнь»,— утверж-

дает Бунин и с этой точки зрения защищает творческий принцип этого «представителя нового духа поэзии, поэта, затронувшего общественные мотивы» [17].

В данной статье Бунин впервые заговорил о Некрасове. Однако в его поэтическом сознании Некрасов присутствовал уже давно. Сначала как художник, поражавший «ослепительным великолепием» картин русской природы, как поэт-новатор, создавший «свои ритмы, свои созвучия» [18], которые Бунин спешил усвоить: одно из самых ранних его стихотворений написано дактилическими двустишиями, заимствованными из некрасовской «Саши» (№ 9). Затем как поэт, творчество которого открывало новые горизонты искусства, отвечавшие гуманистическим устремлениям Бунина. И Бунин вступает на этот путь, разрабатывая подсказанную Некрасовым тему, а с ней и форму:

В душной избе под напевы метели
В сумраке слышится скрип колыбели;
Движется дымное пламя лучины,
Странно сереют в углах паутины,
Тени шагают за ним по избе...
Ветер поет монотонно в трубе...

(№ 55)

Теперь Бунин внимательно вглядывается в творчество писателей-демократов, явившихся «воплощением общественной совести» своей эпохи [19]. И когда газеты принесли известие о смерти Салтыкова-Щедрина, он отзывается на эту весть горестными строками:

...И пускай нередко упрекали
За твое глумленье над толпой —
Верь, что нет без злобы и печали
И любви, глубокой и святой...
. . . . . .
Оттого та тяжкая утрата
Вдвое всем покажется больней,
Всем, кому и дороги и святы
Интересы родины своей.

(№ 69)

Последние наивно-неуклюжие строки выражают ту же позицию, которую в отточенной, хотя и романтически-декларативной форме Бунин выскажет два года спустя в своем «Подражании Пушкину»:

Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

А от этих строк — прямой путь к программному стихотворению «Родине», где в отзвуках гражданской лирики Некрасова (ср.: «Не может сын глядеть спокойно...») угадывается позиция будущего автора «Деревни»:

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...
. . . . . .
Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей...

(1,78)

Изложенные наблюдения отнюдь не исчерпывают вопроса о том, как преломлялся в творческом сознании Бунина опыт его предшественников. Каждый из них открывал ему еще неведомую грань восприятия мира и поэтического воссоздания его. Каждый из них сыграл свою роль в процессе «воспитания чувств» начинающего писателя, становясь на какой-то срок — более или менее долгий — частью его духовного мира, как бы вторым его «я». Подражая тому или иному поэту, Бунин пытался усвоить не столько чужую форму, сколько самое существо ви́дения мира, выражению которого эти формы служат. Он неизменно соотносит чужое мироощущение с собственным восприятием жизни, принимая то, что ему созвучно, отбрасывая чуждое себе. И почти всегда поэт, к которому он обращается,— для него не просто очередной объект подражания (хотя и это каждый раз имеет место), а живая, конкретная личность,— с ним Бунин соглашается или спорит, поэтические достижения его принимает или отвергает. И каждый раз, на основе соприкосновения с внутренним миром своего «собеседника», он делает пусть небольшой, но вполне осознанный шаг вперед на пути, приведшем его от детски-беспомощного подражания кольцовскому «Хуторку» (№ 2) к стихам, где в отдаленных отзвуках чьих-то влияний уже отчетливо слышится собственный голос поэта.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вспоминая этот эпизод, Бунин не назвал себя.— См. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 224. Далее при ссылках на это издание в тексте статьи указываются только том и страница.

[2] Наиболее интересные в плане творческого развития Бунина юношеские стихи публикуются в настоящ. томе (кн. 1, стр. 232—286).

[3] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 232 — «Из ранних стихов», № 1—2. Далее при ссылках на стихотворения, публикуемые в настоящем томе, в тексте статьи указываются только порядковые номера их в этой публикации.

[4] Ср., например: К. Н. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Часть вторая. Сочинения стихотворные. СПб., 1817.

[5] Впервые на это обратил внимание О. Н. Михайлов.—См. его книгу «И. А. Бунин. Очерк творчества». М., 1967, стр. 17—18.

[6] Там же, стр. 17.

[7] С. Я. Надсон. Полн. собр. стихотворений. М.— Л., 1962, стр. 110.

[8] Там же, стр. 174. Некоторые другие стихотворения Надсона также имеют название «Из дневника» (см., например, там же — стр. 164, 224).

[9] Там же, стр. 188—192.

[10] Там же, стр. 174, 402.

[11] «Посвящение» к поэме «Демон», переписанное Буниным в 1885—1886 гг. (судя по почерку), сохранилось в его архиве (ГМТ, № 954).

[12] Ирина Одоевцева. На берегах Сены, т. 1. Париж, 1971.

[13] Настоящ. кн., стр. 357; «Новый мир», 1969, № 3, стр. 215.

[14] «Материалы», стр. 288.

[15] «Литературный Смоленск», стр. 115.

[16] Интересные наблюдения над воздействием Фета на лирику Бунина высказаны в статье Н. И. Рыленкова «Вторая жизнь поэта» («День поэзии», М., 1966, стр. 302—303).

[17] Настоящ. том, кн. 1, стр. 298—299.

[18] Там же, стр. 359.

[19] Там же, стр. 288.

# ФОЛЬКЛОР В ПРОЗЕ БУНИНА

Статья Э. В. Померанцевой

Обращение к народному поэтическому творчеству, характерное для русской литературы на всех этапах ее развития, было свойственно и писателям начала XX в., представителям самых различных школ и направлений — от Горького и Короленко до Блока и Ремизова. Каждый из них шел к этому своим путем и каждый, пользуясь образами, заимствованными из фольклора, подчинял их собственным художественным задачам. Настойчиво и разнообразно вводил фольклор в свои произведения и Бунин. Он преследовал при этом две цели — проникновение в «душу народа» и изображение «ее светлых и темных, часто трагических основ» [1].

«Важно знать,— писал Бунин, утверждая свои возможности в достижении этих целей.— А я *знаю* и, быть может, как никто из теперь пишущих. Важно и *восприятие иметь настоящее*. Есть у меня и этого доля» (курсив наш.— *Э. П.*) [2]. Основание для подобного утверждения давал весь жизненный опыт писателя. «Лет с семи,— говорит он,— началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами...» [3] Его первыми друзьями были крестьянские ребятишки, первые познания в русском языке получены от матери и дворовых, им же он обязан и первыми уроками поэзии: «...от них,— вспоминал Бунин,— я много наслушался и песен, и рассказов» (9, 256). Став старше, он сделался непременным участником деревенской «улицы» и здесь уже сам «придумывал „страдательные и плясовые", которые вызывали смех и одобрение», а в зимние вечера ходил по крестьянским избам слушать старинные песни [4]. Воспоминания брата писателя Евгения, публикуемые ниже, свидетельствуют, в каком тесном соприкосновении с деревенским бытом протекала жизнь на отцовском хуторе, где провел свою юность Бунин. Оставив родительский дом, он не утратил обретенного там сознания своей причастности к жизни народа. Более того, теперь уже вполне сознательно Бунин ищет возможности вновь и вновь к ней прикоснуться. Поселившись в Орле, он совершает поездку по средней полосе России, живя в Полтаве — бродит по украинским селам. «А я, брат, опять ничего не пишу, — сообщал он И. А. Белоусову в середине 1890-х годов.— Все учусь,— по книгам и по жизни: шатаюсь по деревням, по ярмаркам,— уже на трех был,— завел знакомства с слепыми, дурачками и нищими, слушаю их песнопения и т. д.» [5]. В этих скитаниях Бунин видел средство познания народа и вместе с тем школу собственного мастерства: «Для меня открылась красота природы, глубокая связь художественных созданий с родиной их творцов, увлекательность изучения народа и поэзия свободы и воли в скитальческой жизни» (2, 434). Позже Бунин неизменно возвращался из своих заграничных поездок на Орловщину — в Глотово, где ежегодно проводил долгие месяцы не только за письменным столом, но и в непосредственном общении с крестьянами. Уже в наше время участники фольклорных экспедиций Елецкого педагогического института слышали рассказы крестьян-старожилов о том, что Бунин ходил по деревням и записывал песни и частушки [6]. Свои наблюдения он дополнял знакомством с трудами выдающихся фольклористов: выписки, сделанные им из сборника П. В. Киреевского, перемежаются его собственными записями и заметками [7]. А оказавшись в Витебской губернии, Бунин с увлечением изучает этот «край, чрезвычайно любопытный в бытовом отношении», где ему «пришлось очень много ходить пешком, вступать в непосредственное соприкосновение с местными крестьянами, присматриваться к их нравам, изучать их язык» (9, 538).

Знание жизни народа, приобретенное в постоянном общении с ним, определяет исключительную достоверность бунинских описаний во всем, что касается на-

родного быта, народных обычаев и народного творчества,— они могли бы сделать честь профессионалу-этнографу. Таковы многочисленные описания крестьянского жилища в средней полосе России, например: «Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки,— елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами» (3, 79). Не менее точен Бунин и в описании народных костюмов: «Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят „барские" в своих красивых и грубых дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким, сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее „рога", косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая занавеска длинная, а панева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым „прозументом"» (2, 180).

Безупречно описаны у Бунина и народные обряды. Достаточно вспомнить сцену из «Деревни», где «девять девок, девять баб, десятая удова» совершают обряд опахивания, сопровождая его «дикой хоровой песнью» (3, 93). В специальной этнографической литературе и в архивах исследователей существует множество описаний этого обряда, совершавшегося во время моровой язвы; некоторые из них довольно близки бунинскому тексту [8]. Но мы с уверенностью можем сказать, что Бунин шел здесь не от книг, а описывал виденное им в юности и воспроизвел текст песни, запомнившейся ему во всей ее зловещей, мрачной архаичности. Об этом свидетельствуют публикуемые в настоящей книге воспоминания брата писателя, описавшего, как совершался этот обряд в Озерках, причем текст песни, приведенный им, почти точно совпадает с бунинским текстом (стр. 229).

Иногда Бунин идет и от книги. Он внимательно изучал «Исторические песни малорусского народа», изданные Вл. Антоновичем и М. Драгомановым, сборники Е. В. Барсова, П. В. Киреевского, П. Н. Рыбникова, делал из них многочисленные выписки [9]. Очевидно, был он знаком и со сборниками великорусских песен А. И. Соболевского, П. В. Шейна, а также с лубочными песенниками, сборниками частушек и пословиц. Порой книжный источник явно ощущается в его произведениях. Таковы, например, фольклорные реминисценции в рассказе «На край света», где вспоминаются «величаво-грустная» дума о том, «як на Чорному морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квихлить-проквиляє...» (2, 51). Все десять вариантов думы «Алексей Попович и буря на Черном море», опубликованные в сборнике Антоновича и Драгоманова, начинаются с образа ясного сокола, который на Черном море, на белом камне «жалібненько квиле-проквиляє»; особенно близок к тексту Бунина вариант, где фигурирует именно «ясен сокіл-білозірець», а в других думах этого же сборника мы найдем и «басурманскую каторгу», и «сиви туманя», и сизокрылых орлов, которые стали «на чорні кудри наступати, з лоба очи видирати» [10]. Все это — loci communes («общие места») украинских дум, переданные с большой точностью [11].

В прозе Бунина использованы буквально все фольклорные жанры: заговоры, обрядовые, календарные и свадебные песни, пословицы и загадки, причеты, былины и сказки, лирические, колыбельные, исторические песни, мещанский романс, духовные стихи и частушки, приметы и детский фольклор. И почти каждый раз достоверность бунинского текста подтверждается или печатным, или,— что еще более ценно,— архивным источником. Так, например, песня «Сова ль ты моя, совка», которую Бунин цитирует безусловно по памяти в рассказе «Божье древо», написанном в 1930 г., зафиксирована в Тенишевском архиве, варианты песни «Как у нас да по садику...», использованной в «Деревне», сохранились и в архиве Киреевского, и в записи самого Бунина, песня же «Уснул, уснул мой любезный» (9, 344), до сих пор не известная собирателям, теперь обнаружена среди фольклорных записей писателя, а недавно была записана участниками фольклорной экспедиции Елецкого педагогического института [12]. Вариант одной из самых острых антибарских сказок, рассказанной в «Сказке» (4, 163—168), впервые был опубликован незадолго до написания рассказа; бытовал он и в Орловской губернии [13]. Запись «Псальмы про сироту», недавно обнаруженная в архиве Бунина

ОРЕЛ. БАЗАР НА БЕРЕГУ ОКИ
Открытка, 1910-е годы
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

(см. настоящ. том, кн. 1, стр. 400—401), дает основание полагать, что обстоятельства, при которых она была сделана, легли в основу рассказа «Лирник Родион».

Со знанием дела описывает Бунин самый процесс собирания и записи фольклорных текстов. Например: «А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался» (4, 162). Здесь все типично: и самый процесс записи под «диктовку», и отношение лирника к этому делу, и варьирование им текста: «Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу» (там же). Все это хорошо знакомо любому фольклористу-собирателю, вплоть до намека лирника «насчет корчмы».

В рассказе «Забота» молодой барин обращается к мужику: «Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни» (4, 86); в «Сказках» к сказочнику обращена просьба: «Ну, расскажи еще что-нибудь, Яков Демидыч» (5, 469). Вопросы, направленные на то, чтобы «разговорить» сказочника, задают ему господа и в рассказе «Божье древо» (5, 349—366). И всюду интерес Бунина к фольклору, к «мужицким» песням и рассказам продиктован потребностью проникнуть в самую душу народа, к жизни и судьбе которого писатель относится с глубокой тревогой, мучительным беспокойством. Но тем же был вызван и повышенный интерес к народному творчеству у писателей и филологов конца XIX — начала XX в., результатом которого было своеобразное «хождение в народ» демократически настроенных собирателей от П. Н. Рыбникова до братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых. Характерен для фольклористики этого времени и интерес к облику «носителя» фольклора: в научной литературе появляются портреты песенников, сказителей, сказочников, очерки творчества талантливых исполнителей и хранителей

богатств народного искусства слова. Достаточно вспомнить широко известные статьи А. Ф. Гильфердинга, Н. Е. Ончукова, Д. К. Зеленина, Б. М. и Ю. М. Соколовых, талантливые очерки М. М. Пришвина. Немало таких портретов находим мы и у Бунина. Тут и странники, исполняющие духовные стихи, и мастера-гармонисты, и певцы, и сказочники, и частушечницы. И прежде всего — сказочник Яков Демидыч и лирник Родион.

«Бог благословил меня,— пишет о Родионе Бунин,— счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная древнеславянская синь Карпатских высот» (4, 158).

На чужбине, с болью осознавая свою уже неустранимую оторванность от родины, от того, что «любил всю жизнь и неизменно люблю и теперь» [14], Бунин создает образ сказочника Якова Демидыча, обнаруживая при этом глубокое проникновение в самый процесс жизни фольклорной сказки. Он не только точно фиксирует сказочный текст, но и записывает ремарки сказочника, сохраняет индивидуальную интерпретацию традиционной сказки, проявляет интерес к тому, как сам сказочник расценивает свое мастерство: «А что ж вам еще рассказать? Сказку какую-нибудь? Али событие? — Что хочешь. Мы и сказки твои любим.— Это правда, я их хорошо выдумываю.— Да разве ты их сам выдумываешь? — А кто же? Я хоть и чужое говорю, а выходит, все равно, что выдумываю.— Это как же так? — А так. Раз я эту сказку сказываю, значит я свое говорю» (5, 469—470). Бунин воспроизводит певучую речь сказочника, соблюдает диалектные особенности его языка, показывает его отношение и к тому, что он рассказывает, и к своим слушателям: «Да вы не сбивайте меня, а то мне скушно станет...» (5, 474). Бунин подробно передает именно манеру рассказчика: «Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, бросился, значит, бежать,— и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками» (5, 352). Известно, что, готовя рассказ к переизданию, Бунин тщательно сохранил говор сказочника и на полях специально отметил необходимость сохранения «всех неправильностей» (5, 530).

Можно подумать, что в «Божьем древе» и «Сказках» описан тот самый сказочник, с которым, по свидетельству близких, встречался Бунин, тем более что среди сделанных им из сборника П. Н. Рыбникова выписок встречается запись: «Совершенно также Яков Ехимыч рассказывает» [15]. Однако сам писатель подчеркивает, что это фигура вымышленная, собирательная, а не списанная с конкретного лица (5, 530—531). Об Иоанне Рыдальце Бунин также говорил, что он «весь выдуман» (4, 475).

Последнее замечание очень многозначительно. Бунин постоянно отрицал наличие у него «записей» и подчеркивал «вымышленность» образов «носителей» фольклора в своих произведениях. «Когда будете писать обо мне,— настойчиво просил он А. А. Измайлова,— не говорите, пожалуйста, о моих „записях“, можно ошибиться» [16]. И хотя, вопреки утверждениям Бунина, мы видим на страницах его прозы не только высокое искусство крупного художника, но и ценные наблюдения фольклориста и этнографа, собирательный характер созданных им образов сказочников и рассказчиков не только не подлежит сомнению, но раскрывает самый смысл бунинского обращения к фольклору, высказанный им в рассказе «Лирник Родион»: «Я 〈...〉,— пишет Бунин, говоря о своих странствиях по Украине,— жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, *душу* его» (4, 157; курсив наш.—*Э. П.*). Независимо от того, идет ли Бунин от книги или от живого наблюдения, точно ли цитирует фольклорный текст или вспоминает некогда услышанное им, он неизменно видит в нем непреложно правдивую и потому драгоценную черту народного быта, жизни, души.

Общие принципы обращения Бунина к народному поэтическому творчеству остаются неизменными на протяжении всего его творческого пути. Но конкретная разработка фольклорных материалов в бунинской прозе чрезвычайно многообразна.

БУНИН

Фотография М. П. Дмитриева. Н. Новгород, 1902

Парижский архив Бунина

Нередко фольклорный текст или упоминание о нем играют у Бунина роль звуковой детали, дополняющей пейзаж, создающей настроение, раскрывающей бытовую обстановку. Например: «Вечер был молчалив и спокоен 〈...〉 Не играли песен, не кричали ребятишки...» (2, 30). Или: «Звонкий девический голос замирает за рекою: „Ой, зійди, зійди, ясен місяцю!“ Глубокое молчание!» (2, 54). «Вполголоса поют» поденщицы в рассказе «Всходы новые» (4, 112); «Хорошо и протяжно пели девки» в рассказе «Худая трава» (4, 136). Характерна концовка в рассказе «Последняя весна» — проводы рекрута, телега трогается, гармонист «тотчас громко заиграл. Девки подхватили, „застрадали“» (4, 432). Тишина деревенского дня становится особенно ощутимой потому, что «только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками» (2, 21; здесь, в частности, обращает на себя внимание деталь, характерная для знаменитого своими кружевными промыслами края). Краски фольклора входят в картину украинского базара: «...кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира...» (2, 50). В описании деревенской весны фольклор и природа как бы сливаются воедино: «Тонко пахло в чистом ночном воздухе зеленями, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами» (2, 196). В природе все меняется, наступает Троица, плетут березовые венки и опять — фольклор: «помню грубые, но могучие песни на Духов день» (там же). В описании этом Бунин не обходит такие этнографические детали, как обрядовая каша, моленье кукушке, церковные молебны, «игры солнца», и снова: «помню величальные песни и шумные свадьбы» (там же).

Фольклор тонко, мастерски используется Буниным для характеристики ситуации, раскрытия личности и психологии того или иного персонажа. Средствами фольклора, например, поэтически раскрывается судьба деревенской женщины — матери Таньки и будущее ее дочери: «Тихим голосом пела она „старинные“ песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями 〈...〉 Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...» (2, 13). Точность фольклориста заставляет Бунина здесь поставить слово «старинные» в кавычки. Несколько сентиментальные нотки этого рассказа поддерживаются перекличкой между песнями матери и «Зоренькой», которую одинокий барин поет деревенской девчонке. В рассказе «Мелитон» обаяние, мудрость старика-караульщика выражены в его «задушевном» пении: «Слышно было, что рассказывал он в песне про какие-то зеленые сады, с добрым укором напоминал кому-то те места, где „скончалась-распрощалась, ах, да прежняя любовь...“» (2, 207).

Старинная песня «Закипели в колодезях воды, заболело во молодце сердце» выражает тоску потерявшего силу, состарившегося Кастрюка, которому дали это прозвище потому, что он пел про Кастрюка «старинные веселые прибаутки» (2, 21—22; историческая песня о Кастрюке-Мамстрюке поется на веселый скоморошеский напев и неоднократно зарегистрирована в средней полосе России). Жестокий романс «Вот скоро, скоро я уеду, забудь мой рост, мои черты» дополняет в рассказе «Учитель» характеристику лавочницы, которая напевает его «сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза» (2, 59). Разухабистая «барыня» и прибаутки, которые «с серьезными, неподвижными лицами» поют бабы, являются выражением того бессмысленного пьяного веселья, на фоне которого развертывается драма деревенского интеллигента. Такую же роль здесь играет и пошленькая песня: «А всем барышням-модисткам / По поклончику по низком» (2, 89 и 68).

Старинный печальный романс Якова Петровича «Что ты замолк и сидишь одиноко», навеянный воспоминаниями детства [17], связанный с думами о разорении, подготавливает конец рассказа «В поле»: «Скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!» (2, 106). Песня, которую «с грустной, безнадежной удалью» поют «мелкопоместные» в рассказе «Антоновские яблоки»: «На сумерки буен ветер загулял/

Широки мои ворота растворял / Белым снегом путь-дорогу заметал» (2, 193), воспринимается как заупокойный плач по помещичьей России.

Новый год наводит на ум детскую приговорку-гаданье: «Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна» (2, 258). Лес рисуется «сказочным мертвым царством». Сосновый бор воскрешает воспоминания о сказочных образах: «Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга? „Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..“» (2, 210). Кажется, по всей сонной стране гуляет жалобная песня: «Ходит сон по сеням, а дрема по дверям» (2, 211) [18], и перекликается со словами стародавней сказки, которую певуче и глухо рассказывает старик-сказочник: «Не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем...». И на фоне этого зачарованного сна, этой сказки, вырисовывается образ загадочного спящего богатыря — народа: «Лес гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых арф, заглушенных стенами и вьюгой. „Ходит сон по сеням, а дрема по дверям“, и, намаявшись за день, поевши „соснового“ хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, господи, веси!» (2, 212—213). Именно в свете традиционных фольклорных образов раскрывается образ спящего «народа-богатыря»: пусть пока неясен смысл его жизни, пусть неизвестно, чем, проснувшись, «осветят новые люди свою новую жизнь» (2, 198), но ведь спящий богатырь в фольклоре значителен именно тем, что просыпается он для великих дел.

Так Бунин видел народ и так показал его в самом начале XX в., пользуясь именно средствами фольклора. А вскоре зазвучал уже и грозный народный сказ о праведном попе, который, видя народное горе, ждет перемены, и быличка о трех кочетах, которые поют «жутко» и «строго», заблестели «серьезные и злые» глаза мужиков, стала как никогда раньше остро ощутима грань между ними и барином, прозвучало отчужденно и резко: «Не господское это дело мужицкие побаски слушать» (2, 276—277).

Смутная тревога, ощущавшаяся за элегическими, «похоронными» настроениями ранних рассказов Бунина, все усиливается и после 1905 г. становится более определенной и доминирующей в его прозе. Не раз теперь в его произведения вплетается духовный стих о Страшном суде, и пророчески звучат в «Деревне», в рассказах «Я все молчу» и «Веселый двор» слова о неумолимом суде, ожидающем грешников.

Особенно значительно обращение к фольклору в повестях «Деревня» и «Суходол». Вырождение дворянского рода в «Суходоле» показано сквозь призму восприятия Натальи — «сказительницы прошлой жизни». Ее бесстрастный рассказ об истории господской семьи и собственной загубленной судьбе уподобляется рассказу святого из древней легенды: обезглавленный, пришел он к согражданам и «на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...» (3, 184). Эта легенда о Меркурии Смоленском несколько раз упоминается в «Суходоле». Она является одной из самых поэтичных в русской житийной литературе. Ее фольклорное происхождение несомненно. Недаром Ф. И. Буслаев, указавший, что она «соединяет в одно поэтическое целое древнейшие предания народного эпоса с характеристикой нравственного и религиозного движения русской жизни во времена татарщины», считал, что эта легенда «принадлежит столько же письменной литературе, как и безыскусственной народной поэзии» [19]. То же можно сказать и по поводу легенды о святом Евстафии, использованной Буниным в стихотворении «Святой Евстафий», и по поводу муромской легенды о Петре и Февронии, привлекшей его внимание уже в эмигрантский период в рассказе «Чистый понедельник» [20]. Образ Натальи целиком строится на фольклоре — сквозь всю повесть лейтмотивом проходит сказка об Аленьком цветочке — сказка о всепоглощающей, всеочищающей, преображающей любви. Под властью мистики народных верований, в страшную минуту Наталья исступленно шепчет «первобытно-грозные слова» стародавних колдовских заклинаний; для нее «нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира» (3, 181 и 175—176). Возможно, что Бунин использовал здесь текст из сборника «Великорусские заклинания» Л. Н. Майкова (СПб., 1868), но возможно также, что он шел и от живого наблюдения, поскольку приводит одну из самых распространенных в заговорах от тоски традиционных формул. Интерес его к этому жанру народного творчества проявляется и в том, что несколько позже

он выписывает текст заговора свадебного дружки из сборника П. В. Киреевского [21]. Этим вниманием к мистическому фольклору Бунин в какой-то мере отдал дань времени: тогда же Александр Блок пишет статью о поэзии заговоров и заклинаний, Бальмонт — рецензию на книгу С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила»; оба они, так же как и другие символисты, неоднократно обращались к этому виду народного творчества в своих стихах.

Религиозная легенда, поэтическая сказка, стародавний заговор, народная лирическая песня помогают понять образ Натальи. Они же пронизывают и всю «летопись» суходольской жизни — «жизни глухой, сумрачной»: «А предание да песня — отрава для славянской души!» (3, 185 и 137).

Тема «Деревни» — тема России, недаром слова одного из ее героев, сказанные о России: «*Да она вся — деревня*» (3, 70), подчеркнуты писателем и являются как бы ключом ко всей повести. Общеизвестно, как высоко ценил ее Горький, считавший, что «так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал», разглядевший безмерность тоски и боли, с которыми Бунин писал эту повесть: «Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее...» [22].

Пафос «Деревни» — боль, мучительная боль за народ, за страну. Этим определяется вся система образов повести, ее сюжет, отдельные эпизоды и детали, пейзаж. Этим определяется и отбор фольклорных текстов, введенных в повесть, удельный вес их в ней. Функция фольклора целиком подчинена здесь задаче изображения России, ее народа и его судьбы, и потому именно в этом произведении, «резко рисовавшем русскую душу» (9,268), глубокое проникновение Бунина в народное творчество проявилось с особой силой.

Каждый из героев повести связан со своей фольклорной линией. При помощи фольклора рисуется образ Молодой, воссоздается история ее изломанной жизни. Ее внутренняя драма раскрывается плачем на похоронах Родьки: «Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична». Подчеркивая внутренний смысл этой сцены, Бунин прибавляет: «Ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда» (3, 41) [23].

В сцене же свадьбы Молодой Бунин не побоялся погрешить против этнографической правды ради того, чтобы раскрыть правду образа, ситуации: он описывает обряд, которым провожают в новую семью девушку, а не вдову. Правда, Бунин мог позволить себе эту неточность, ибо в начале XX в. канон свадебной игры в средней полосе России уже заметно разлагался, отдельные части ее путались, не всегда принималось во внимание семейное положение жениха и невесты, и одни и те же песни пелись вдовым и холостым и т. д. Обряд для невесты-девушки, торжественный, в отдельных моментах похожий на похоронный, когда в поэтических причетах и грустных песнях предчувствуется трагедия ее будущей судьбы, нужен был Бунину, чтобы подчеркнуть трагическую участь его героини. Бунин дает весь обряд остраненно — через восприятие Кузьмы: он действительно подобен похоронному обряду. Даже веселая величальная песня «У голубя, у сизова золотая голова» [24], полная любования молодой женой, звучит зловеще, кажется завершающим аккордом происходящей драмы, потому что поет ее пьяная баба, которая «орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос» (3, 132).

Средствами фольклора во многом раскрывается и Кузьма, бессильный выбраться из заколдованного круга дурновского быта. В своих творческих попытках он невольно подделывается под базарный вкус: «В семьдесят седьмом году / Вздумал турка воевать, / Подвигал свою орду/ И хотел Россию взять» (3, 66). Эти беспомощные стихи близки к поздним историческим песням, тексты которых свидетельствуют о разложении жанра, о падении в начале XX в. эстетического уровня народного устного творчества (ср., например: «Я задумал думу крепку / И хочу вам рассказать, / В семьдесят седьмом году / Хочу с русским воевать» [25]). В бреду Кузьма видит дочь, поющей «Хаз-Булата»,—популярный в начале XX в. романс А. Н. Аммосова (3, 116) [26]. С брезгливостью говоря о Дениске — «новеньком типике», Кузьма ассоциирует его с песней, которую тот пел: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...» (3,122) [27].

СТРАННИК
Фотография М. П. Дмитриева, 1890-е годы
Музей А. М. Горького, Москва]

Обличения русской жизни — ее прошлого и настоящего — у Кузьмы также исполнены фольклора. Здесь Бунин нарочито тенденциозно цитирует строки из былин и песен, подбирает пословицы: «Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: „распорол ему груди белые", „выпускал черева на землю"... Илья, так тот своей собственной родной дочери „ступил на леву ногу и подернул за праву ногу"... А песни? Все одно, все одно: мачеха — „лихая да алчная", свекор — „лютый да придирчивый", „сидит на палате, ровно кобель на канате", свекровь опять-таки „лютая", „сидит на печи, ровно сука на цепи", золовки — непременно „псовки да кляузницы", деверья — „злые насмешники", муж — „либо дурак, либо пьяница", ему „свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить", а невестушка этому самому батюшке „полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла", к муженьку же обращается с такой речью: „Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися"... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! „За битого двух небитых дают"..., „Простота хуже воровства"...» (3, 39). Кузьма цитирует здесь широко распространенные пословицы и песни. Знать их Бунин мог по многочисленным публикациям XIX—XX вв., мог их слышать и в народном исполнении. Все они неоднократно зафиксированы в средней полосе России. В частности, в сборнике Шейна «Великорусс...» даны две очень близкие к тексту Бунина песни Тверской губернии [28]. Мог Бунин идти и от сборника Якушкина, где есть песни о «драчливом свекре», о свекре, который сидит «на печи, что кобель на цепи» [29]. Соответствующие словам Кузьмы цитаты из редкого варианта былины «Об Илье Муромце и паленице удалой» были выписаны Буниным из сборника Рыбникова [30]. Вся эта тирада Кузьмы не что иное, как кощунство верующего, крик души человека, охваченного смятением, ищущего, но не видящего выхода для себя, для народа. Болезненность всего душевного строя Кузьмы проявляется в его пьяной пляске с босяком, сопровождаемой дикой песней, в том, что он оказывается у лавры рядом с мальчишкой-калекой, тянущим жалостливый стих, и, наконец, в безнадежной пословице «ненадолго лягушке хвост» (3, 72 и 74).

При помощи фольклора раскрывается и центральный образ повести — образ Тихона Ильича, богатея из мужиков, дурновца, «наизнанку истаскавшего» свою жизнь. Не случайно он дважды, как бы оправдываясь перед кем-то, вспоминает строчку из песни, возникшей на рубеже XX в.: «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!» (3, 34 и 47). Вряд ли Бунин обращался в данном случае к книге (недаром он приводит одну и ту же строчку в двух вариантах),— песня эта была широко распространена в начале века. Основной сюжет во всех ее многочисленных вариантах единый — деревенская жизнь осуждается, но попытка жизни в городе кончается неудачей; почти везде в них твердо держатся опорные строки: «Поживи-ка ты в деревне, / Похлебай-ка серых щей, / Поноси худых лаптей!» [31].

Тоскуя о ребенке, Тихон Ильич слушает старинную колыбельную песню, которую поет над кухаркиным ребенком его бездетная жена, читает на кладбище наивную надпись на детской могилке (3, 23). Смятенье Тихона Ильича, вызванное не столько неудачной личной жизнью, сколько политической ситуацией, раскрывается в духовном стихе о Страшном суде, который поют странники,— «выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее» (3, 51; духовные стихи Бунин мог слышать от слепцов, промышлявших их исполнением в центральной России, мог знать их и по книгам) [32].

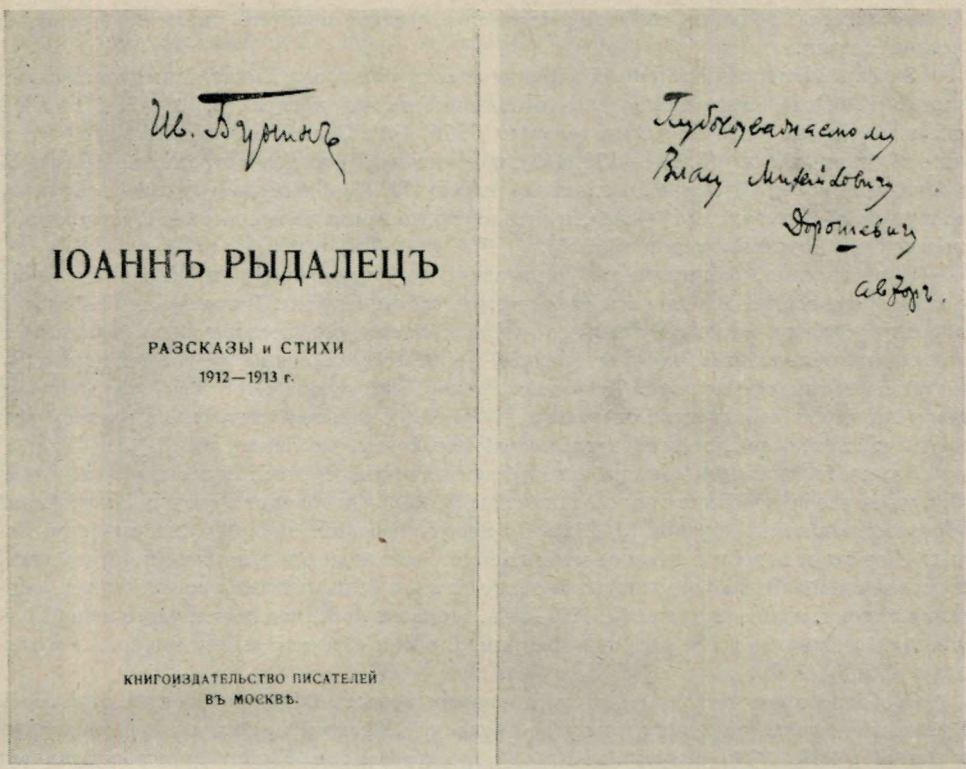
Не узнавший настоящей любви, тоскующий по ней, Тихон вспоминает любовную песню: «Пришел мой скучный вечер», причем Бунин очень точно указывает среду бытования подобных, романсного типа песен — ее поют девки-кружевницы: «Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят: „Целует, обнимает, / Прощается со мной...“» (3, 64).

Находясь во внутреннем разладе со всем своим домом, Тихон подслушивает сатирическую сказку о похоронах собаки, которую, «изображая то попа, то мужика», рассказывает Оська. Сказку эту Бунин, очевидно, услышал в живом бытовании, так как ко времени написания повести варианты, текстуально далекие от сказки Оськи, были опубликованы лишь в «Письмовнике» Н. Г. Курганова, в изданном анонимно за границей сборнике А. Н. Афанасьева «Заветные сказки» и в «Мордовском этнографическом сборнике» А. А. Шахматова; наличие же этого сюжета в репертуаре современных сказочников свидетельствует о его широкой распространенности и в XIX — начале XX в. Показательно, что Бунин использовал именно сказку о том, что все можно купить за деньги,— сказку, клеймящую цинизм всех действующих лиц вплоть до попа и архиерея. Слова кухарки, сравнивающей героя сказки, разбогатевшего мужика, со своим хозяином, подчеркивают значение этого фольклорного образа в раскрытии идейного содержания повести.

Повесть «Деревня» — повесть о безвременье, о беспросветной жизни, повесть о людях, жизнь которых сложилась трагически неудачно. Этим определяется насыщенность ее фольклором, отражающим не светлые, оптимистические начала народной философии, а страшные, темные ее стороны,— таковы воспоминания Кузьмы об опахивании деревни во время моровой язвы (3, 93), такова сиротская песня, которую поют девки на свадьбе Молодой (3, 129), зловещие прорицания стиха о Страшном суде (3, 51), «буйно-тоскливые» песни рекрутов «с воплями и не в лад орущими гармоньями» (3, 15). В огне пожарищ барских усадеб гуляют мужики, лихо раздаются прибаутки, звенят пьяные песни — народ «надеется». И предельно пессимистично звучат слова: «На что? — Известно на что... На домового!» (3, 80).

Очевидно, именно насыщенность «Деревни» фольклором имел в виду Горький, когда говорил, что автор придал этой вещи местами «этнографический» колорит, «слишком щедро разбрасывая местные речения» [33]. Об этом же он писал и Бунину: «Если надобно говорить о недостатке повести — о недостатке, ибо я вижу лишь один,— недостаток этот — густо! Не краски густы, нет,— материала много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою—этнографично, местно» [34].

Впоследствии, перерабатывая текст «Деревни», Бунин разредил эту «густоту», опустил многие детали, характеристики второстепенных действующих лиц; однако полностью сохранил насыщенность «Деревни» фольклором.




«ИОАНН РЫДАЛЕЦ» (М., 1913)
С дарственной надписью Бунина: «Глубокоуважаемому Власу Михайловичу Дорошевичу автор»
Обложка и форзац
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Значение фольклора для этой повести трудно переоценить. Путем обращения к народному творчеству писатель поэтизирует душу народа и, рисуя самые страшные картины его жизни, необычайно целомудренно раскрывает в поэтическом народном слове его высокие сокровенные мысли и чувства. Именно это позволяет ощутить за беспощадными изображениями деревенской жизни не только ненависть, но прежде всего — глубокую любовь к родной стране и страх за нее, не только отвращение к дикости, но и щемящую жалость, боль, ощущение необходимости разбудить то сонное царство, в котором спит народ-богатырь. Прав был Горький, когда писал Бунину: «Да, вы написали мужественно, даже можно сказать — героически. Боже мой—какое великое явление русская литература, и какую мучительную любовь будит она» [35].

«Мужественно» и «героически» написать о деревне помог Бунину фольклор, помогло глубокое проникновение в русское и украинское народное творчество. Оно явилось для него ключом к душе народа, который, по его словам, пел так, «как должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть — служение, пел то гордо и строго, как потомок героев, а порой с той глубокой и сдержанной нежностью, которая дается только силой» [36].

На чужбине Бунин упорно продолжает писать о родной земле, ее природе и людях, ее песнях и сказках. Все снова и снова обращается он в этих полных щемящей боли и тоски произведениях к фольклору, выразителю «народной души». В фольклоре он видит прежде всего утверждение национального величия, выявление подлинного лица народа. И снова поражает разнообразие жанров, к которым он обращается, глубокое

знание текстов, точность их воспроизведения, уменье передать характер бытования устной поэзии.

Здесь и мастерски сделанный вариант сказки «О дураке Емеле, какой вышел всех умнее» (5, 51), и великолепное воспроизведение пения косцов (5, 68—72), и пересказы множества быличек о нечистой силе (5, 75, 446). Здесь и многочисленные рассказы о «божьих людях» (5, 164—170, 445), трогательный рассказ о страннице Машеньке, молившейся «божьему зверю, господнему волку» (7, 18), и легенда о чудесном образе — «поруганном Спасе» (5, 341—342), и бесчисленные приметы и поверья, и «старинный, косолапый, крупный» говор (5, 350).

Произведения, написанные в эмиграции, поражают насыщенностью подлинным фольклором, все тем же уменьем дать портрет его «носителя». В это время внимание к народному языку, народному творчеству стало еще острее, появилось «любование» отдельными выражениями, которого раньше не было, восхищение сугубо национальными особенностями фольклора. Такова, например, миниатюра «Петухи», явно написанная ради выражения «петухи опевают ночь» (5, 426), таков «Капитал», с выкриком разносчика: «Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!» (5, 444) [37].

Бунин восхищается «богатейшим русским языком» средней полосы, откуда «вышли чуть не все величайшие русские писатели» (9, 267). Он говорит о «нелепой и чудесной образности» в языке деревни (9, 272). По поводу названия церкви «Спас-на-бору» пишет: «Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним» (9, 346). И теперь все те же, что и в более ранних произведениях, описания пляски, пения частушек (5, 429—430), все та же народная песня, часто используемая как лейтмотив всего рассказа, например, песня «Уж как выйду я в сад...» в рассказе «Таня» (7, 106).

Особенно примечательны в этом отношении повесть «Митина любовь», в которой Бунин дает песню, частушку и меткую пословицу, раскрывая образы деревенских девушек (5, 207, 208), и роман «Жизнь Арсеньева», где Бунин снова вспоминает отцовские песни старинных дедовских времен, и насмешливых девок, радующих своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, и слышанные в детстве сказки с их словами о «неизвестном и необычном»: «В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за долами, за синими морями... Царь-Девица, Василиса Премудрая...» (6, 21). И каждый раз это обращение к фольклору поражает своей органичностью всему творчеству писателя, оно является выражением кровного единства его с родиной: «⟨...⟩ и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...» (6, 57).

В лучших произведениях Бунина, созданных за рубежом, сочетаются, как и прежде, сила художественной интерпретации фольклора с почти документальной подлинностью его. Таков пересказ известной народной сказки о Емеле, сделанный, очевидно, по памяти, однако поразительно точно воспроизводящий манеру, стиль, язык сказочника именно XX в., характерное сочетание в нем архаики, народных диалектизмов с городскими новшествами, литературными словечками. Таково воспроизведение пения косцов, с которым по точности изображения народного исполнительства могут конкурировать только «Певцы» Тургенева.

Бунин, говоря о происхождении рассказа «Косцы», написанного в 1921 году в Париже, вспоминает, как, слушая с братом пение грузчиков на волжском пароходе, «говорили: „Так ⟨...⟩ могут петь свободно, легко, всем существом только русские люди“. Потом мы слышали, едучи на беговых дрожках ⟨...⟩, как в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — с такой же свободой, легкостью и всем существом» (9, 370).

В рассказе «Косцы» примечательно не только воспроизведение певческой манеры крестьян средней полосы России. В нем, как ни в одном другом произведении Бунина, выражены настроения писателя, оторванного от родной земли, но исполненного чувством тоскующей любви к ней. И это чувство выражено посредством фольклора,— песней «Ты прости-прощай, любезный друг, / И, родимая, ах да прощай, сторонушка!» (5, 71). Не имеет значения, взял ли Бунин эту песню из фольклорного сборника, вос-

произвел ли ее по памяти,— важно то, что он сумел донести до читателя ее смысл, ее силу, ее страсть, самое ее звучание, ее «дивную прелесть».

Рассказ «Косцы» весь, целиком — как бы ключ к пониманию фольклоризма Бунина, им он сумел показать свое отношение к родине, народу, природе. «Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод ⟨...⟩, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу» (5, 70). Здесь, как и во многих других произведениях, написанных за рубежом, Бунин раскрывал «неизреченную красоту русской души» (5, 140) при помощи обращения к народному творчеству, все величие, всю мощь, всю мудрость которого он так глубоко ощущал.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] И. Бунин. Весной в Иудее.— Роза Иерихона. Нью-Йорк, 1953, стр. 8.

[2] Письмо Н. С. Клестову 23 января 1910 г.— «Новый мир», 1956, № 10, стр. 210.

[3] Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 256.— Далее при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте статьи.

[4] «Жизнь Бунина», стр. 48, 49.

[5] «Материалы», стр. 61. Письмо без даты, предположительно относится к 1897 г.

[6] Сообщение С. В. Красновой на научной конференции, посвященной столетию со дня рождения Бунина (Орел, 1970).

[7] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 399—418.

[8] «Воронежский литературный сборник», вып. 1. Воронеж, 1861, стр. 387; «Симбирские губернские ведомости». Часть неофициальная, 1864, № 10, стр. 92. Описания обряда опахивания, зафиксированные в различных уездах Орловской губ., сохранились в материалах Тенишевского этнографического бюро (Архив Гос. музея этнографии, Ленинград).

[9] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 399—418.

[10] «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», т. I. Киев, 1874, стр. 176 и далее; там же, стр. 194; там же, стр. 89, 120, 122, 111, 132.

[11] Значительно чаще и совершенно иначе используются книжные источники фольклора в стихах Бунина,— в этих случаях мы имеем дело со стилизацией. Такой стилизацией былинных мотивов является стихотворение «Святогор и Илья» (1, 386) — недаром Бунин выписал из былины «Святогор-богатырь» отдельные строки (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 414—415). Однако по существу это стихотворение очень далеко от фольклорного текста, особенно в своей морализующей концовке: «Отняла / Русской силы Земля половину: / Выезжай на иную путину, / На иные дела!» Этой же былиной навеяно и стихотворение «Святогор» (1, 357). В том же плане использован и духовный стих «Красная Алисафия Агапиевна» из сборника Барсова (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 416) в стихотворении «Алисафия» (1, 348—356) и свадебная песня об олене из сборника Киреевского (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 402) в стихотворении «Белый олень» (1, 348; последние строки его очень близки к фольклорному источнику, а одна — «В некое время сгожусь я тебе» — полностью с ним совпадает). Из книжного источника и «троеперый петух» в стихотворении «Два голоса» (там же, стр. 409; ср. т. 1, 341). Однако подобное обращение к книжному фольклорному источнику в целом для поэзии Бунина не характерно и встречается больше в ранних его стихах — «На распутье», «Веснянка», «Петров день», «Баба-Яга», «Мачеха». Иной точки зрения придерживается Н. П. Смирнов (см. настоящ. кн., стр. 410—411).

[12] Материалы Тенишевского этнографического бюро; настоящ. том, кн. 1, стр. 403, 410; сообщение С. В. Красновой на научной конференции, посвященной столетию со дня рождения Бунина (Орел, 1970).

[13] Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1909, стр. 491, № 223.— Вариант этой сказки, записанный в 1898 г. в Болховском у. Орловской губ., хранится в материалах Тенишевского этнографического бюро.

[14] «Наш современник», 1959, № 2, стр. 80.

[15] См. настоящ. кн., стр. 202; настоящ. том, кн. 1, стр. 417.

[16] Собр. соч. 1956, т. 3, стр. 376 (то же — 4,475).

[17] Позднее Бунин записал: «Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью ⟨...⟩: „Что ты замолк и сидишь одиноко...“» (9, 343).

[18] Ср. П. В. Шейн. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898, т. I, вып. 1, стр. 4, № 7.

[19] Ф. И. Буслаев. Смоленская легенда о св. Меркурии и ростовская о Петре, царевиче Ордынском.— «Исторические очерки русской народной словесности и искусства». СПб., 1861, т. II, стр. 191.

[20] У Бунина неточность — в его пересказе фигурируют «князь Павел и его жена» (7, 246—247).

[21] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 402.

[22] Письмо Бунину, декабрь 1910 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 52—53.

[23] Обрядовый плач Бунин приводит и в рассказе «Худая трава» — умирающий Аверкий представляет себе причет дочери над своей могилой: «Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе сдумал...» (4, 150).

[24] Ср. «Песни, собранные П. В. Киреевским». Новая серия, т. I, стр. 188, № 681. У Киреевского — «У голубя, у голубя золотая голова...» Песня эта неоднократно зафиксирована в записях конца XIX — начала XX в., в том числе и в Орловской губ. (Материалы Тенишевского этнографического бюро).

[25] «Народные исторические песни». «Библиотека поэта». Большая серия, М.—Л., 1962, стр. 309.

[26] В. Е. Гусев. Песни и романсы русских поэтов. М.— Л., 1965, стр. 719.

[27] Бунин часто с чувством горечи говорит о новых «книжных» песнях, которые хлынули в деревню, где теперь, вместо старинных поэтических песен, «солдат, в новой ситцевой рубахе и в черном галстуке ⟨...⟩, рычит на тульской гармонике: „Чудный месяц плывет над рекою...“» (2, 225). Отрицая ценность новой песни, Бунин не делает различия между жестокими романсами и такими популярными в кругах передовой молодежи песнями, как «Из-за острова на стрежень...» Д. Н. Садовникова, «На старом кургане» И. С. Никитина и «Солнце всходит и заходит...» (9, 350, 356). Показательно, что, вводя в свои произведения частушки, Бунин обычно использует не те, в которых продолжается поэтическая линия старой крестьянской песни, а те, которые ей противостояли. Именно такие частушки ассоциируются у Бунина с воспоминаниями об осени 1917 г. (9, стр. 317; см. также: 2, 399; 4, 251, 480; 5, 208).

[28] П. В. Шейн. Великорусс..., т. I, вып. 1, стр. 166, № 627, 628. См. также настоящ. том, кн. 1, стр. 403, № 42; стр. 417, № 5.

[29] «Народные русские песни из собрания П. Якушкина». СПб., 1865, стр. 247, 144.

[30] «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», т. I. М., 1861. стр. 74. См. также настоящ. том, кн. 1, стр. 417—418.

[31] А. И. Соболевский. Великорусские народные песни. СПб., 1900, т. VI, № 546, 550, 552.

[32] Бунин знал фольклорные сборники Барсова и Бессонова (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 414—418), где есть несколько вариантов стиха о Страшном суде, близких тексту Бунина, но не совпадающих с ним.

[33] Письмо Горького М. К. Иорданской, конец ноября — начало декабря 1910 г.— Бунин. Собр. соч. 1956, т. 2, стр. 403—404.

[34] Письмо 27 октября / 9 ноября 1910 г.— «Горьковские чтения 1958—1959», стр. 50.

[35] Письмо Бунину, декабрь 1910 г.— там же, стр. 53.

[36] Собр. соч. 1915, т. IV, стр. 49.

[37] Очевидно, у Бунина было диалектное «кипить», но это утерялось при публикации.

# ВОСПОМИНАНИЯ

И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

# СЛОВО О БУНИНЕ

В далекой юности впервые прочитал я книгу бунинских рассказов. Мне запомнилась эта книга, синяя ее обложка. Что-то родное и близкое было в рассказах, изображавших жизнь русской деревни, с детства знакомую мне природу. Иными, не бунинскими были места, в которых проходили мои детство, отрочество и юность. Я жил в смоленском лесном краю. Глаза мои не видели степных бунинских просторов. Но такой же была Россия, такие же окружали меня люди, такая же бедность, те же обычаи. Так же по зимним и летним дорогам бродили нищие, входили в тесные крестьянские избы, снимали шапки, крестились на висевшие в углах иконы; приложив к груди початую ковригу черного хлеба, хозяйки отрезали ломоть, подавали милостыньку в протянутую руку нищего. Такое же ходило по нашей стороне горе-злочастье, такими же были судьбы работавших на земле людей, и так же колосились хлеба на деревенских полях, взлетали над нивами жаворонки, кричали по утрам перепела, трещали в жаркие летние дни на лугах кузнечики.

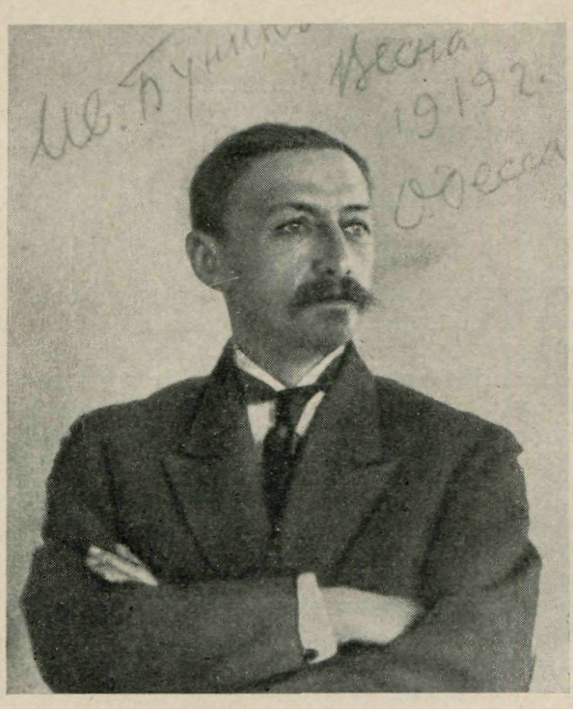
Я читал и перечитывал полюбившиеся рассказы дотоле неизвестного мне писателя, удивлялся ритму бунинской речи. Всю свою долгую жизнь я не расстаюсь с книгами Бунина. И теперь, в старости, с волнением слушаю его рассказы, которые при моей слепоте мне читают добрые люди.

Сейчас передо мной на столе лежат короткие бунинские рассказы, не вошедшие в известное девятитомное собрание его сочинений. Часть их публикуется в этой книге. Самые замечательные из них — его юношеские рассказы, печатавшиеся в «Орловском вестнике», в редакции которого Бунин некогда работал. Трудно поверить, что эти рассказы писал семнадцатилетний юноша,— так сжато, точно и верно описана в них природа, изображены люди. В таких ранних рассказах уже чувствуется ритм речи зрелого писателя Бунина.

Некоторые из его последних рассказов, написанных в Париже, незадолго до смерти, имеют мрачный характер, порою их неприятно читать. Так подействовал на Бунина долгий отрыв от родной земли.

Начинал писать Бунин в те далекие времена, когда был жив сам Лев Николаевич Толстой, имя которого чтила вся грамотная Россия. И недаром так влекло к себе это имя юношу Бунина, рано вступившего на нелегкий жизненный путь.

В начале писательского пути Бунина имя его не имело в России широкой известности среди городских читателей, мало знавших русскую деревню. Еще задолго до революции и первой мировой войны гремели в России иные, забытые теперь имена. Гремело имя Леонида Андреева, взахлеб читали Арцыбашева, петербургских и московских символистов. В Москве и Петербурге появлялись «ничевоки» и футуристы, носившие желтые кофты, кривлялся перед переполненным залом Игорь Северянин. В речи, произнесенной в 1913 г. на юбилее газеты «Русские ведомости», выходившей в Москве, Бунин так говорил о модных писателях: «Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык




БУНИН

Фотография. Одесса, 1919.
С автографом писателя:
«Ив. Бунин. Весна 1919 г. Одесса»
Парижский архив Бунина

(в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи...».

В произведениях Бунина нет и следа сентиментальной слащавости, на которую так падки некоторые люди, не умеющие отличать правды от лжи. В писаниях своих Бунин не лгал,—так же как не лгал Толстой, Пушкин и Гоголь. Отсутствием фальши и лжи объясняется долговечность произведений настоящих художников-писателей.

Удивительна память Бунина, до последних дней его жизни удерживавшая огромное множество событий и судеб. Он помнил все, что приходилсь видеть и слышать на долгом жизненном пути. Он любил путешествовать, любил море, никогда не был домоседом. Живя в 1910-х годах в Италии на острове Капри, в близком соседстве с Горьким, Бунин написал много рассказов о деревне.

Читая бунинские рассказы, дивишься мельчайшим подробностям, которые держала его память. Он видел лица людей, помнил произносимые ими слова, видел родную степь, засеянные хлебом поля, помнил знакомые запахи, полет птиц над степью, скрип полозьев по русским зимним дорогам, завывание пурги, первые весенние почки на оживающих березах. Он видел нищих и дурачков, которыми обильна была старая Россия. Видел дворянские гнезда, обедневших помещиков-дворян, пропивавших последние крохи былых богатств с «беззаботностью, достигавшей даже какой-то неестественной меры». Видел городских мещан-прасолов, за бесценок скупавших дворянские усадьбы. Начал писать Бунин, когда уже изменялся лик старой России, новая виделась жизнь. Дворянские дочери и сыновья нередко становились революционерами, мечтали о новой счастливой жизни. К таким революционерам принадлежал в молодые годы родной брат Бунина.

Творчество Бунина несомненно вытекает из пушкинского чистейшего родника. В автобиографической повести «Жизнь Арсеньева» Бунин пишет: «Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни

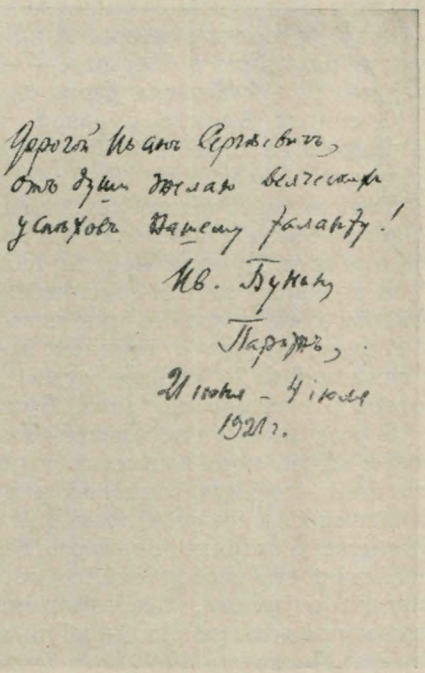
⟨...⟩ Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил! Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: „Мороз и солнце, день чудесный!“ — с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:

Еще ты дремлешь, друг прелестный...»

«А там опять: „Роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы“ — той самой, которой с такой страстью предаюсь и я...» «Да, он и писал все только „наше“, для нас и с нашими чувствами...»

Работал Бунин неустанно. Писал новые рассказы, переделывал давно написанное, сокращал, менял заглавия. О Бунине иногда пишут и говорят, что он был жестоким, недобрым человеком. Это несправедливо. Мог ли быть недобрым человеком писатель, создавший такие рассказы, как «Худая трава», «Божье древо», «Сверчок», коротенький рассказ «Лапти»?

С живым Буниным я познакомился в год гражданской войны, в Одессе. Я плавал матросом на небольшом торговом пароходе «Дыхтау». Иногда мы заходили в Одессу. Было страшное, беспокойное время. Я принес рассказ в газету, литературным отделом которой заведывал Бунин. На следующий день в редакции газеты мне сказали, что Иван Алексеевич хочет познакомиться со мною, что ему понравился мой деревенский рассказ. Я вошел в небольшой кабинет, где за столом сидел худощавый бритый человек с сухим лицом и зоркими глазами. Он приветливо поздоровался со мною, стал расспрашивать о моей жизни. Я рассказал ему о наших смоленских местах, о Петербурге, где я встречал революцию, о знакомом




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА И. С. СОКОЛОВУ-МИКИТОВУ НА КНИГЕ «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» (ПАРИЖ, 1921):

«Дорогой Иван Сергеевич, от души желаю всяческих успехов вашему таланту! Ив. Бунин. Париж, 21 июня — 4 июля 1921 г.»

Собрание И. С. Соколова-Микитова, Москва

Бунину издателе-редакторе «Ежемесячного журнала» Викторе Сергеевиче Миролюбове, у которого неоднократно печатался Бунин. В журнале Миролюбова были напечатаны и мои первые рассказы о войне, которые в других журналах не пропускала цензура. Бунин похвалил мой рассказ, сказал, что он будет напечатан, предложил мне «фикс» (так назывался в прошлые времена ежемесячный гонорар независимо от того — печатались или не печатались произведения автора). Из редакции мы спускались вместе по узкой каменной лестнице. Я сказал о том, что наш пароход, возможно, отправится в дальнее плавание. Бунин ответил, что любит море, далекие морские путешествия, любит моряков. На другой день я был у него в квартире, в большом пустынном здании. Он вручил мне письмо своему знакомому — известному толстовцу, жившему где-то на Кавказском побережье, просил при случае это письмо передать. Мы шли по одесской улице, падал мокрый снег, ложился на каракулевую шапку, на воротник бунинского пальто. На следующий день наш пароход уходил в Севастополь. С тех пор я не встречал Бунина.

Через несколько месяцев на большом океанском пароходе «Омск», на который в Константинополе меня приняли матросом, с грузом хлопкового семени я прибыл из Александрии в Англию, в город Гулль. Из Гулля я написал Бунину в Париж коротенькое письмецо и быстро получил ответ. Бунин писал, что живет на улице Оффенбаха, жаловался на нездоровье.

Известно, что в первые годы пребывания в эмиграции Бунин писал мало. Перебравшись из Англии в Берлин, где было в тот год много русских писателей и разнообразных русских издательств, в редакции одной газеты я неожиданно получил от Бунина письмо. Бунин писал, что читает мои рассказы, спрашивал очень деликатно — как я живу, не нуждаюсь ли в деньгах, не разрешу ли я ему похлопотать перед каким-то благотворительным обществом о высылке мне небольшой суммы денег. Я ответил Бунину радостным письмом. Вскорости получил от него первую его книгу, изданную в Париже,— «Господин из Сан-Франциско». На книге твердой рукой Бунина была сделана лестная для меня надпись.

О смерти Бунина я узнал, живя в деревне под Москвою. Ночью по радио я слушал печальную весть о его смерти, чтение незнакомых мне бунинских рассказов.

Только через много лет имя Бунина воскресло в России. Имя его на одном из съездов советских писателей произнес Константин Федин. После этого книги Бунина начали издаваться в России.

В недавние годы я переписывался со вдовою Бунина Верой Николаевной, которая прислала мне свою книгу о Бунине. Она спрашивала меня о России, писала о трудном времени, которое им пришлось пережить в годы войны, о смерти мужа, вспоминала русских мудрых мужиков, которых так хорошо знал Бунин.

В рассказе, над которым Бунин работал незадолго до смерти, он пишет о себе: «Дней моих на земле осталось уже мало. И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами». И далее он передает воспоминания старика француза о моряке Бернаре, герое мопассановского очерка «На воде», описывает его «продубленное морской солью лицо», глаза, руки, умение владеть парусами, необыкновенную его опрятность: Бернар не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части своей яхты. «Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: „Думаю, что я был хороший моряк"». «Мне кажется,— заканчивает Бунин,— что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар».

В этих прощальных словах Бунин сказал о себе все, что мог сказать подлинный художник.

## В. Н. БУНИНА

# БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ

Предисловие и публикация А. К. Бабореко

Вера Николаевна Бунина (рожд. Муромцева, 1881—1961) провела детство и годы юности в Москве в среде старой московской интеллигенции. По окончании гимназии она поступила на естественный факультет Высших женских курсов проф. В. И. Герье (в 1900 г. эти курсы, закрытые в середине 1880-х годов правительством, возобновили свою деятельность). В конце 1906 г. Вера Николаевна познакомилась с Буниным и в начале следующего года стала его женой (но они не могли обвенчаться, так как первый брак Бунина не был расторгнут официально) [1]. С этого времени и до самой смерти писателя она делила с ним его беспокойную скитальческую жизнь.

В. Н. Бунина обладала несомненными литературными способностями, которые проявились и в художественных переводах (она переводила Флобера — «Сентиментальное воспитание», «Искушение святого Антония»), и в мемуарной прозе. После смерти Бунина она отдала все свои силы созданию его жизнеописания. Первым результатом ее труда явилась книга «Жизнь Бунина» (Париж, 1958). Основываясь на материалах бунинского архива, на устных рассказах Бунина, используя доступные ей русские книги и журналы, она создала ценный биографический свод, в котором изложение доведено до 1906 г. включительно — до встречи Бунина с нею.

Продолжение задуманного труда было намечено ею в мемуарном жанре — новая книга, к работе над которой она приступила тогда же, получила название «Беседы с памятью». По замыслу автора они должны были охватить жизнь Бунина почти за 12 лет — с 1906 до 1918 г. Но смерть оборвала эту работу на середине: последняя из известных нам глав посвящена событиям 1910 г. [2]

«Беседы с памятью» дают возможность представить многие характерные черты Бунина. Веру Николаевну поражало в нем то, что он «ни на кого не похож». У него острый, саркастический ум, его суждения о людях метки, точны, выразительны, порой язвительны — дар юмориста и имитатора придавал его речи особенную живость и остроту. Бунин в изображении Веры Николаевны не холодный «эстет», сухой в обращении с людьми, каким он казался иным, а живой, страстный человек, в нем было много душевного тепла и доброты, но он не перед каждым раскрывался, был внутренне сдержан. Он любил повторять слова отца: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». «Я знала,— пишет Вера Николаевна,— каким обаятельным и неистощимым в веселье бывает он, когда ему приятно общество». Это важнейший мотив «Бесед с памятью»: дать настоящего, живого Бунина. Вера Николаевна необычайно искренняя и правдива. В нарисованном ею портрете Бунина свет и тени распределены с подкупающей убедительностью, и, читая ее мемуары, выносишь главное впечатление, что Бунину была свойственна большая внутренняя сложность. Она рассказывает о том, что знала лучше кого бы то ни было: какая у него «нежная душа», подчеркивает это и далее, передавая свою беседу с его матерью при первой встрече с нею в Ефремове в 1907 году; но из ее же рассказа мы видим, как часто он бывал неуступчив. Он был вообще человеком нелегким в повседневном общении.

Немало внимания уделяет Вера Николаевна особенностям таланта Бунина. Из «Бесед с памятью» мы видим, каким редким зрением он обладал,— той тонкой способностью подмечать и воспроизводить в слове характерные детали, которая придает необычайную силу изобразительности его прозе и стихам. Бунин предстает в мемуарах Веры Николаевны писателем, превосходно знающим природу, деревню, мужиков, мещан, провинциальных, обедневших дворян,— их быт, их язык.

Бунин делился с нею замыслами своих произведений, и мы узнаем из ее воспоминаний, при каких обстоятельствах написаны те или иные стихи или рассказы, кто послужил для них прототипом.

«Беседы с памятью»— не только воспоминания о Бунине и о пережитом в пору совместной жизни с ним, это также рассказ о литературной, а отчасти и театральной жизни Москвы, Петербурга, Одессы начала века. Она пишет о московском Литературно-художественном кружке, о чтении писателями своих новых произведений в Обществе любителей российской словесности и на заседаниях «Среды». Литературные вечера, юбилеи, премьеры пьес Андреева, Найденова, Юшкевича, поездки в редакции петербургских журналов, встречи с Куприным, Вересаевым, Андреевым, Телешовым и др. Целую главу она посвятила жизни на Капри в 1909 году, встречам с Горьким, Луначарским; она превосходно описывает быт русской колонии, центром которой был Горький, передает господствовавшее тогда в этой среде настроение благожелательного отношения друг к другу. Обо всем этом рассказано талантливо, обстоятельно и точно,— не только по памяти, но и по записям тех далеких лет и по письмам близких ей и Бунину людей, которые Вера Николаевна приводит по автографам, нам недоступным.

По свидетельству людей, близких к семье Буниных, Вера Николаевна в течение всей своей жизни вела дневники, которые ей удалось сохранить [3]. Работая над мемуарами, она, не полагаясь только на свою память, использовала свои дневниковые записи, сделанные по свежим следам пережитого и виденного. Это придает ее воспоминаниям большую достоверность и точность, они представляют собой первоклассный биографический источник.

«Беседы с памятью» состоят из следующих глав: «Наши встречи», «Новая жизнь», «Путь до Святой земли», «Сирия, Галилея, Египет», «Первые впечатления от Васильевского», «Будни в Васильевском», «У Буниных в Ефремове», «Глотово», «Встречи с писателями в 1907—1908 гг.», «Италия»[4]. Все они, за исключением «Глотова», публиковались за рубежом в 1955—1961 гг. Рукопись «Глотова» находится в ЦГАЛИ.

Общий объем воспоминаний В. Н. Буниной составляет приблизительно 13 авторских листов. Ввиду невозможности поместить «Беседы с памятью» в настоящем томе полностью, нами печатаются ниже три главы, посвященные преимущественно литературной жизни Москвы 1906—1908 гг., участию Бунина в «Среде» и в Литературно-художественном кружке, его встречам с Горьким, Л. Андреевым, Куприным, Телешовым и другими писателями. Эти главы («Наши встречи», «Встречи с писателями в 1907—1908 гг.», «Италия») воспроизводятся по текстам первых публикаций.

Вера Николаевна подписывала свои литературные труды двойной фамилией: Муромцева-Бунина. В настоящем томе она называется только по фамилии мужа — В. Н. Бунина.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Обвенчались они в Париже, в 1922 г.

[2] Рукописи двух последних глав («Возвращение домой» и «1910 год») были затеряны, как сообщил Л. Ф. Зуров, еще при жизни Веры Николаевны. В 1961 г. им в бумагах покойной были найдены разрозненные черновики утраченных глав, по которым он восстановил их (письмо Л. Ф. Зурова автору настоящего предисловия — декабрь 1961 г.). В 1962 г. они были опубликованы им.

[3] Об этом писал, например, Н. Я. Рощин — см. его очерк о вилле «Бельведер» (настоящ. кн., стр. 437).

[4] О последних двух главах см. примеч. 2.

«О память, ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастия мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова милы»[1].

## НАШИ ВСТРЕЧИ

### 1

С Иваном Алексеевичем я знакомилась трижды, о двух первых встречах я упомянула в «Жизни Бунина»[2]. Они были мимолетны. Пишу теперь о третьей.

Взбежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, остановилась у приотворенной двери квартиры Зайцевых и увидала в передней груду верхней одежды. Доносилось невнятное чтение Вересаева.

Досадно: опоздала, придется простоять в дверях кабинета до окончания чтения.

В кабинете хозяина было тесно: сидели на тахте, на стульях, на письменном столе, даже на полу. Много знакомых лиц: дородная высокая фигура поэта Кречетова, редактора журнала «Перевал»[3]; красивый профиль П. К. Иванова[4]; с отрочества знакомое лицо Пати Муратова[5]; ироническая улыбка Саши Койранского[6], говорящая о его отношении к рассказу; застенчивый аскетический силуэт поэта-философа Диесперова[7]; ассирийская борода поэта Муни[8]; небольшой, худой литератор Борис Грифцов[9], муж моей знакомой, в девичестве Кати Урениус.

В комнате полумрак, освещена только рукопись на маленьком столике. Всех не могу разглядеть. Несколько склоненных женских голов в разнообразных прическах, несколько устремленных вверх лиц.

После Вересаева быстро занял его место Бунин, и я услышала опять его хорошо поставленный голос.

Читал он просто, но каждый стих вызывал картину. Стихи были из его последнего третьего тома, выпущенного издательством «Знание», или совсем новые: «Сапсан», «Панихида», «Цветные стекла», «Один», «Густой зеленый ельник у дороги...», «Растет, растет могильная трава...», «Проснусь, проснусь — за окнами в саду...» и «Сириус».

Затем вразвалку, не спеша, подошел к столику Борис Зайцев, сел и, медленно развернув рукопись, стал читать своим тихим, но ясным голосом только что им написанный рассказ «Полковник Розов».

После его чтения я через комнату Стражева[10], который снимал вместе с Зайцевым эту квартиру, перешла в кабинет, но и там пришлось стоять.

Начались выступления более молодых поэтов. У каждого своя манера передавать свои «песни». Кречетов пел их громким басом, Муни был едва слышен, Стражев читал как-то презрительно, Ходасевич[11], самый юный, но уже женатый, закончил этот литературный вечер. Читал он немного нараспев, с придыханием, запомнился эпиграф Сологуба к одному из стихов: «Елкич с шишкой на носу». Мне в его стихах и придыханиях почудилось обещание.

После чтения хозяйка со свойственной ей живостью пригласила всех закусить. Во всю длину узкой столовой был накрыт белой скатертью раздвинутый на все доски стол, вокруг самовара чашки, дальше бутылки, окруженные стаканами, груда тарелок с ножами и вилками, холодные блюда.

Разместились в большой тесноте. Я была знакома почти со всеми.

Привлекал меня Бунин. С октября, когда я с ним встретилась у больного поэта Пояркова[12], он изменился, похудел, под глазами — мешки:

видно было, что в Петербурге он вел, действительно, нездоровый образ жизни, да и в Москве не лучше.

Я вспомнила его в Царицыне, когда впервые, почти десять лет назад, увидела его в погожий июньский день около цветущего луга, за мостом на Покровской стороне с Екатериной Михайловной Лопатиной[13]. Тогда под полями белой соломенной шляпы лицо его было свежо и здорово.

Сразу же начался бессмысленный, но в то же время частый спор: что лучше — Москва или Петербург? И, конечно, каждый остался при своем мнении. Разговор перешел на писателей, поэтов. Бунин высмеивал «декадентов», и здешних, и тамошних. Большинство из гостей заступалось и нападало на него, но он с редким остроумием парировал удары, весело изображая то голосом, то жестом этих поэтов, чем вызывал дружный смех; на остром красивом лице хозяина загадочно играла улыбка.

«Декадентки» тоже негодовали, взвизгивали, а потом заливались смехом. Они были двух родов: одни тихие, молчаливые, как, например, Женя Муратова в розовом тарлатановом стильном платье, причесанная на прямой пробор с косами на ушах, или Катя Грифцова с большими черными озаряющими лицо глазами, или красивая артистка Рындина, жена Кречетова, или Марина Ходасевич, высокая, гибкая, с острым белоснежным лицом, с гладко притянутыми соломенными волосами, всегда в черном платье с большим вырезом. Другие — шумные, живые, а во главе их хозяйка дома, хорошо сложенная, тонконогая, с высокой золотистой прической, вся устремленная ввысь, умевшая привлекать к себе сердца, а рядом с ней ее закадычная подруга Любочка Рыбакова, поражавшая огромными темными глазами, с угольными локонами вдоль щек, вечно кем-нибудь увлекающаяся. Были тут и сестры Заболоцкие, Тоня и Зиночка, с милыми простыми лицами, страстные поклонницы писателей и поэтов.

Разговор коснулся Андреевых, живших в то время в Берлине. Зайцев сообщил, что он недавно получил письмо от Леонида: они ждут появления на свет второго ребенка.

Наговорившись и нахохотавшись, шумно поднялись, и столовая опустела. Я перешла к противоположной стене и остановилась в раздумье: не отправиться ли домой?

В дверях появился Бунин.

— Как вы сюда попали?— спросил он.

Я рассердилась, но спокойно ответила:

— Так же, как и вы.

— Но кто вы?

— Человек.

— Чем вы занимаетесь?

— Химией.

— Как ваша фамилия?

— Муромцева.

— Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве?

— Да, это мой двоюродный дядя.

— Я иногда видаю его на станции Измалково[14].

Мы немного поговорили о нем. Потом он рассказал, что в прошлом году был в Одессе во время погрома.

— Но где же я могу вас увидеть еще?

— Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята. Сегодня не считается: все думают, что я еще не вернулась из Петербурга...

В этот момент влетела Верочка Зайцева[15]:

— Вот где ты, Ваня, иди к нам, там Марина тебя ждет...

— Сейчас.

И они направились в комнату Стражева.

В. Н. БУНИНА

Фотография К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г.

Парижский архив Бунина

Я услышала упреки Верочки и оправдания Бунина, мне стало неприятно. Я направилась в переднюю и, увидав, что кабинет пуст, вошла в него. Села в кресло с высокой спинкой и стала думать: почему Бунин сразу понял, что я не «декадентка», хотя на мне было тоже платье с высокой талией и причесана я на прямой ряд?

Вошли Петр Константинович Иванов и Виктор Иванович Стражев. Оба бывали у нас. П. К. Иванов, высокий брюнет, страстный театрал, сотрудник газет, издавший свои книги «Студенты» и «Дама в синем», был в этом году выбран секретарем Литературной вторничной комиссии Художественного кружка. Он со студенческих времен вел светский образ жизни, посещал некоторые открытые дома: Желябужских, Варвары Алек-

сеевны и Маргариты Кирилловны Морозовых, Лосевых, был своим в их особняках.

Виктор Иванович Стражев стал нашим гостем в первых годах нынешнего столетия. Мои родители с братом Митей [16], тогда еще гимназистом, встретили Стражевых на волжском пароходе, сначала повздорили на политические темы, но к концу путешествия подружились. Маме моей, читавшей только «Русские ведомости», живой и страстной, удалось переубедить новых своих друзей, и они с тех пор бросили читать правую газету «Московские ведомости». Он преподавал в третьей мужской гимназии литературу и подвизался на сцене. Жена его была актрисой, милая полная женщина. У них уже было четверо детей, но они жили в меблированных комнатах, своей кухни не имели.

Года два назад Стражевы разошлись.

Как-то он попросил меня познакомить его с Зайцевым, которого он ценил как писателя. И я привела его к ним на Спасо-Песковскую площадку. Они подружились и в этом году решили вместе снять квартиру, нашли ее на стыке Спиридоновки и Гранатного переулка, в доме Армянского.

Мы немного поболтали, я смотрела то на стройную фигуру Стражева, то на красивое лицо Иванова. И вдруг мы решили отправиться в Художественный кружок. Не прощаясь, укатили, взяв извозчика, на Большую Дмитровку.

В Кружке было уже пустынно; в этот час посетители его находились в игорных залах, куда мы не заглянули. Посидев недолго в одной из гостиных, мы поехали домой — все жили близко друг от друга.

Я прошла в наш особнячок со Скатертного переулка, через двор и кухню, чтобы не будить горничную. Клонило в сон. В этом году на курсах кипела работа. Устали от политики, и всем хотелось учиться. Лаборатории были переполнены. Я решила серьезно заняться химией, написать работу у нашего профессора по органической химии Н. Д. Зелинского, взяв у него тему. Заставляла себя этим предметом заниматься по утрам, вставала до зари.

Бунина, как писателя, я знала недостаточно, читала в сборниках «Знания» его рассказы и стихи. Засыпая, вспомнила именины свояченицы Зайцева, Тани Полиевктовой, самой красивой из всех сестер Орешниковых, жившей в казенной квартире на Девичьем поле, ее муж был доктор по детским болезням. День был морозный, солнечный, в маленьком домике было очень уютно, в детской играли прелестные дети, три девочки и мальчик. Во время именинного завтрака раздавался смех,— все Орешниковы были остроумны, талантливы, некоторые очень живы, а потому с ними всегда бывало весело: одна расскажет анекдот, другая представит кого-нибудь, третья сыграет на рояле вальс, да так, что заслушаешься, четвертая пропляшет, а мать, высокая полная женщина необыкновенной красоты, все повторяет: «В моих дочерях столько разной крови, что они все талантливы, а некоторые — как шампанское».

На этих именинах был еще их кузен Вася Сахновский, будущий режиссер Художественного театра, гимназист пятого класса, учившийся вместе с моим братом Митей.

В гостиной на столе лежала январская книга «Мира божьего» ⟨1902 г.⟩.

Верочка предложила:

— Хотите, я прочту «Осенью» Бунина, рассказ не длинный.

Все обрадовались, она читала хорошо. Рассказ произвел впечатление. Я прозу Бунина слушала впервые, мне она понравилась. Все молчали. Затем разговор перешел на автора. Вспомнили, что он женился на красавице гречанке, но быстро расстался с ней. Мама рассказала его «историю» с Лопатиной, о ее болезни.

## 2

В воскресенье, после зайцевского вечера можно было выспаться. Днем к нам забежала Верочка и сообщила, что они вчера все отправились в «Большой Московский». Передала, что Бунин в следующую субботу придет к нам вместе с ними, и вихрем куда-то умчалась.

В субботу, когда я вернулась домой из лаборатории, стол был уже раздвинут на все доски, и братья с горничной накрывали его скатертью. Ими была куплена огромная бутыль красного вина, они сказали, что будет много народа, они тоже пригласили своих друзей.

Я едва успела переодеться, как начались звонки. Пришли Зайцевы, Стражев, П. К. Иванов и с ними Бунин. Все уселись в гостиной на нашем огромном полукруглом старинном диване.

Бунин жаловался на головную боль и попросил черного кофея. Сказал, что он ненадолго, так как дал слово быть у Дживелеговых [17].

— У вас отдельная комната?— обратился он ко мне.

— Да.

— Можно ее посмотреть?

И я повела его через мамину спальню в свою узкую, длинную комнатку, в которой все было, что нужно для жизни: за ширмочкой — кровать, тумбочка, а против двери письменный ореховый стол со многими ящиками, сзади него, у печки, крохотный будуарный диванчик, два мягких стульчика по обеим сторонам стола. В углу, у окна, выходившего на юг, в палисадник, туалетный стол, покрытый белым тюлем, перед ним пуф, а напротив, в рост человека, черный шкап, над которым висела этажерка с книгами. И, конечно, с потолка спускался неизменный фонарик.

Бунин окинул взором комнату, внимательно взглянул на стену со снимками, потом сел у стола справа, я села за стол.

Немного помолчали.

— Поедемте на самый север Финляндии. Там снега, олени, северное сияние.

— Поедемте,— и я увидела и северное сияние, и оленя, уносящего «от смерти красоту», и очень удивилась сама своему согласию, но добавила:

— Я больше всего люблю путешествия по тем местам, куда почти никто не ездит, один раз на Кавказе, в восемнадцать лет, я дорого заплатила за это. А северное сияние меня манит с детства.

Поговорив еще минут двадцать, мы услышали голоса из столовой, звавшие нас.

В столовой все места были заняты, кроме двух на противоположных концах длинного стола. Я села у итальянского окна, а Бунин близ большой белой кафельной печки, недалеко от Стражева и Зайцевых. Я осмотрела гостей: все в сборе. Вот близкий мне человек, Зоя Шрейдер [18], красивая женщина, рядом с Зайцевым, ее муж из многочисленной семьи Шрейдеров; далее хорошенькая Оля Кезельман с мужем, которого я знала еще гимназистом пятой гимназии. Оля — дочь известного историка Иловайского, с ее покойной сестрой Надей я была закадычной подругой в гимназии, а Оля стала после своего замужества своей в нашем доме [19], так как родители ей не простили, что она вышла замуж против их воли за человека с еврейской кровью. Против нее ее племянница, Лёра Цветаева, дочь профессора Ивана Владимировича и единокровная сестра Марины. Рядом с ней невзрачный репетитор ее брата Андрюши. Далее, подле брата Мити, Эльза Адам с очень оригинальной наружностью: золотые волосы и черные глаза. С другой стороны — друг Мити Сережа Одарченко, большой комик, всегда в кого-нибудь безнадежно влюбленный. Тут же сидел профессор Горбунов «с унылым носом», как его охарактеризовал Бунин; а около профессора наша курсистка Вера Грунер, уже принадлежавшая

к партии большевиков, подле нее Борисова, далее с братом Павликом[20] сидела Сонечка Субботина, мечтавшая о сценической карьере.

Профессор Горбунов сцепился с Буниным из-за стихов Минского «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», доказывая, что в них нет ритма.

— Вы ошибаетесь,— возразил Иван Алексеевич,— в этих стихах ритм отличный,— и он прочел несколько строф.

Но Горбунов продолжал оспаривать, и, чтобы прекратить нелепый спор, Бунин язвительно сказал:

— Ну, вам и книги в руки,— и, обратившись к Зайцеву, заговорил с ним об Андреевых.

Зайцев сообщил, что от Добровых, родственников Андреевой, они узнали, что Александра Михайловна чувствует себя неплохо, роды должны быть в конце этого месяца.

Неожиданно Бунин спросил:

— У вас есть Чехов? Я хочу прочесть вам его рассказ.

Младший брат мой Павлик принес ему томик Чехова. Все оживились, знали, что даже сам Антон Павлович любил слушать свои рассказы в чтении Бунина.

Какой это был рассказ, я забыла. Помню, что мы смеялись, действительно, Бунин читал мастерски.

Время шло, а он, видимо, и не помышлял о Дживелеговых, мне было приятно: я знала, что у Дживелеговых собирался цвет московского общества: знаменитые артисты, видные адвокаты, известные журналисты, модные врачи, а между тем Бунин явно предпочитал нас.

Мама была под Петербургом, в Сосновке, а папа в этот вечер не вышел, вероятно, очень устал, может быть поэтому и было непринужденно и весело.

Когда поднялись из-за стола, то все разбрелись по нашей большой гостиной. Мы с Буниным, желая вознаградить себя за далекое расстояние в столовой, сели на диванчике недалеко от большого книжного шкапа красного дерева. Бунин стал приглашать меня на заседание «Общества любителей российской словесности», которое назначено послезавтра в Актовом зале университета. Там будет говорить председатель Общества, сам Петр Дмитриевич Боборыкин, потом Вересаев прочтет рассказ о войне, а затем с новыми стихами выступит и он...

Я ответила уклончиво, объяснив, что мне в будни трудно бывать где-нибудь по вечерам, я встаю рано, до зари, чтобы готовиться к экзамену по органической химии, что мне невыносимо трудно будет слушать, будет клонить в сон, к тому же акустика в этом зале отвратительная.

— Это правда, но все же приходите.

Твердого обещания я не дала.

Было уже два часа ночи, когда стали собираться по домам. Поднялся чуть ли не в передней какой-то спор, особенно кричал, что-то доказывая, Иванов, уже тогда начинавший глохнуть. Когда гости ушли, папа, который очень редко выходил из себя, выскочил в халате и обрушился на нас:

— Кто так кричал? Я не мог спать!

На другой день к нам прилетела Верочка:

— Бунин только что звонил нам по телефону, умоляет, чтобы я уговорила тебя пойти со мной на заседание в университет.

Я согласилась.

На следующий день, 13 ноября, я, как обычно, работала над чем-то по органической химии. Стояла у вытяжного шкапа. Меня вызвали к телефону, который находился в комнате рядом.

Я услышала голос Бунина:

— Пожалуйста, будьте сегодня на заседании, уверяю вас, вы не раскаетесь, Вера обещала за вами зайти.

БУНИН

Фотография К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г.

Внизу позднейшая помета Бунина: «1907»

Парижский архив Бунина

Я сказала, что буду.

Когда я вернулась к своим занятиям, то курсистки спросили, почему у меня такое радостное лицо? В этот вечер я пробыла там до половины восьмого. Дома быстро поела и стала переодеваться.

Звонок, и через минуту вошли Верочка Зайцева и сестра ее Таня. Таня поражала своей итальянской красотой, ведь их бабушка, урожденная Бруни, родственница художника. Несмотря на уговоры, Таня с нами не пошла.

## 3

Через четверть часа мы поднимались по мраморной лестнице старого университета, ведущей в Актовый зал. Мы не опоздали, но зал был переполнен. Первое, что бросилось мне в глаза при входе, вертящийся затылок Бунина. Видимо, он меня ждал. Я остановилась у средней мраморной колонны, Верочка быстро исчезла, у нее везде было много знакомых. Я стала рассматривать эстраду,— огромная, во всю ширину зала, она была полна. Все члены Общества были налицо, этот вечер вызвал интерес и у них, и у публики. Желающих было столько, что пришлось перенести заседание из обычной небольшой старой библиотечной залы сюда.

Бунин сразу заметил меня и, спрыгнув с эстрады, подбежал ко мне:

— У вас нет места! Пойдемте на эстраду!

— Что вы! С какой стати! Неужели вы думаете, я сяду среди этих бородачей и седых голов, одна Лопатина еще поражает молодостью.

— Ну, как хотите,— и он кинулся к своему месту, но на эстраду не поднялся, а схватил стул с нее и поставил его передо мной. Я так растерялась, что весь вечер простояла.

Бунин был участником этого вечера, меня тоже кой-кто знал, а потому не удивительно, что стали говорить о нас.

Первым выступил сверкающий голой головой и белоснежным бельем Петр Дмитриевич Боборыкин. Он прежде всего предложил вставанием почтить память знаменитого адвоката В. Д. Спасовича. Затем сделал о нем доклад, вызвавший аплодисменты. Акустика в этом зале, как я уже писала, отвратительная, и многое трудно было расслышать.

После доклада Боборыкина был объявлен перерыв. Я вышла одна к широкой мраморной лестнице и стала смотреть на поднимающуюся и спускающуюся публику. Неожиданно я услышала знакомый голос:

— А вот вы где!

И Бунин, остановившись рядом со мной, облокотился на мраморный парапет.

— Вам не скучно жить?

— Нет. А вам?

— Мне не скучно, я поэт.

Я не поняла, почему поэтам не бывает скучно, но не спросила.

— Поедемте после в Большой Московский,— предложил он.

— Поздно будет, а мне рано вставать.

— Ну что за пустяки, поедемте. Я сейчас отыщу Зайчиху, и она вас уговорит.

Через несколько минут они оба были около меня. Верочка тоже стала упрашивать, и я не устояла.

Вернулись в зал.

Первым читал В. В. Вересаев свой новый рассказ «В мышеловке», тема из японской войны. Читал тихо, и почти ничего не было слышно. После него поднялся Бунин. Он прочел сначала свой перевод «Годива» Теннисона. Затем длинные стихи «Джордано Бруно», потом сонеты «Еги-

пет», «Истара», после «Один», «Цветные стекла» и «Панихида». Доносились только некоторые строки из этих стихов, то, что он читал у Зайцевых, я по этим строчкам их узнавала.

Окончилось это собрание рано, в одиннадцатом часу. Иван Алексеевич звал с нами в ресторан своего брата. Но Юлий Алексеевич, с которым я здесь и познакомилась, кому-то уже дал слово вместе ужинать. Небольшого роста, полный,— лицом братья были похожи,— а ему было под пятьдесят.

До «Московского» мы дошли пешком. Это недалеко. И все же, когда пришли, то в ресторане было пусто. Иван Алексеевич попросил отвести нам кабинет во втором этаже, выходивший в белый зал, чтобы мы могли видеть публику, которая приезжает из театров, с концертов. В зал мы не решились войти — слишком просто, не по-вечернему были одеты.

Я отказалась от еды, сославшись на то, что поздно обедала, я считала, что неудобно ужинать на деньги человека малознакомого, а денег со мной не было. Пока они заказывали себе что-то рыбное, я смотрела на ослепительно освещенный зал, на дам в вечерних туалетах, на мужчин в смокингах и в мундирах.

Когда половой ушел, Верочка сказала:

— Знаешь, Иван, одна знакомая спросила: «Бунин — декадент?» и когда я ответила ей: «Нет, что вы! какой же он декадент!»,— то она не поверила. Вот дура!

Мы смеялись. Оба мои спутника были в ударе, а потому все время было очень оживленно и весело. Говорили и о моем дяде, и о Предтечеве, это, оказывается, село, где его имение. Иван Алексеевич сообщил, что его отец был приятелем его родителя и дяди, которого прозвали «раздраженный улан». Я с детства запомнила Алексея Алексеевича — высокого военного в серой шинели и фуражке с желтым околышем. Запомнился разговор о какой-то чете, жена была старше мужа:

— Ну что ж, кто любит телятину,— заявил он,— а кто говядину...

Я, конечно, в те далекие времена не поняла смысла его слов, но их запомнила. Рассказала об этом теперь, и мы очень смеялись.

Когда принесли ужин и белое вино, Иван Алексеевич спросил:

— Но от вина вы, конечно, не откажетесь?

И я не отказалась. Мне хотелось есть, но я стойко смотрела на вкусные блюда. Мы очень долго сидели, время не шло, а летело, было необычайно весело. Уходили мы из ресторана чуть ли не последними. Меня удивило, что и подававший половой и швейцар были необыкновенно дружественно любезны с Буниным. Он объяснил, что давно бывает здесь, а иногда и останавливается, так как при ресторане есть номера. Он поехал нас провожать, неожиданно на извозчике я почувствовала какое-то непонятное для себя родственное чувство, мне стало казаться, что я знала его давным-давно. И на следующий день, рассказывая младшему брату Павлику, с которым я была особенно близка, об этом вечере, я неожиданно для себя призналась ему:

— Знаешь, кажется, на этот раз я не вывернусь,— и, сказав это, я удивилась своим словам.

## 4

На другой день мы опять встретились с Буниным в Кружке на чьем-то докладе, потом ужинали вместе с Юлием Алексеевичем, Зайцевыми, Койранским и Телешовым, которого я знала с отроческих лет по Царицыну. Как всегда теперь, в компании с Буниным, мне было весело и радостно. Иван Алексеевич поехал меня провожать. Была мягкая погода, он предложил покататься, и мы долго колесили по Москве. Доехали до

И. А. БЕЛОУСОВ

Фотография. Москва, 1912

Из альбома, подаренного Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности. С дарственной надписью: «Дорогому, старому другу Ивану Алексеевичу Бунину от любящего сердцем И. Белоусова»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Девичьего поля, до самого монастыря. Он стал просить меня, чтобы я как-нибудь зашла к нему. Он живет в меблированных комнатах, очень тихих, Гунст, в Хрущевском переулке, рядом с особняком Лопатиных. И тут он разъяснил мне их «историю». Екатерина Михайловна нервно заболела потому, что у нее был роман с психиатром, который лечил ее покойного старшего брата, Николая Михайловича, собирателя русских народных песен.

Николая Михайловича я знала, он был сослуживцем моего отца. Я видела его раз на белой лошади, в белой косоворотке, белом картузе, когда он приехал к папе в Волынское, где мы проводили лето, мне тогда шел девятый год.

Свой роман с психиатром Екатерина Михайловна скрывала от семьи, а с Иваном Алексеевичем она дружила, держала с ним корректуру своего романа «В чужом гнезде», и он был в курсе ее тяжелых романтических переживаний.

Когда осенью 1898 года он женился, а она, порвав с психиатром из-за связи его с француженкой,— у них была дочка,— нервно заболела, то ее мать, как и вся их семья, считала, что эта болезнь вызвана женитьбой Бунина.

Останавливаюсь я на этой драме потому, что моя мама, узнав из писем моих приятелей о том, что Бунин «ухаживает» за мной, испугалась, зная от матери Екатерины Михайловны причину болезни ее дочери.

Мы уже начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкапом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами.

— Вот о какой науке я не имею ни малейшего понятия, так это о химии,— сказал он со своей очаровательной улыбкой.

Номер его находился на верхнем этаже. Лифта не было. Комната просторная, не очень светлая, с одним окном, выходившим во двор. Рядом

с окном близко у стены — большой письменный стол, за ним кресло. На столе кипа только что вышедших книг в светло-зеленых обложках: его третий том в издании «Знания». Далее вдоль этой же стены — огромный диван, на котором мы всегда коротали время.

Кровать была за деревянной высокой перегородкой, направо от входной двери.

В следующую субботу у нас гостей было мало. Бунин пришел один. Из литераторов был только П. К. Иванов, из друзей Шрейдеры, Кезельманы, из приятельниц Баранова и Вера Грунер. Мы недолго посидели в столовой и, чтобы не беспокоить папу, я предложила пойти в мамину комнату. По дороге Иван Алексеевич сказал:

— Хотите, я напишу о вас сонет?

Я очень смутилась и от застенчивости глупо ответила:

— А вы меня в нем не испортите?

Он засмеялся.

Спальня мамы тоже была с итальянским большим окном, она больше походила на будуар. Короткая тахта, сделанная по ее росту,— мама была очень маленькая,— кушетка для дневного отдыха, письменный столик с палитрой, в которую вставлены портреты писателей, красного дерева комод. Над тахтой большое овальное зеркало. На полу ковер. С потолка свешивался фонарик. У высокой выдвинутой в комнату печки небольшой стол, за которым мама чинила белье, штопала, читала.

Когда все разместились, Иванов обратился к Бунину с предложением сделать доклад в Художественном кружке во вторник. Иван Алексеевич согласился, но поставил условие, чтобы ему заплатили, как иногороднему докладчику, так как он не живет постоянно в Москве. Иванов сказал, что он доложит о его условии в комиссии.

— А заглавие доклада моего заманчиво: «Золотая легенда».

Б. К. ЗАЙЦЕВ
Фотооткрытка, начало 1910-х годов
С автографической подписью Зайцева
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

И во вторник, 21 ноября, он читал о «Золотой легенде». В это время он переводил произведение Лонгфелло под этим заглавием.

Еще до начала Саша Койранский сказал, что они решили с Сашей Брюсовым возражать, что бы ни читал Бунин, так как они завтра уезжают в Париж.

И, действительно, они участвовали в прениях и несли, как говорилось у Буниных, «и с Дона, и с моря», но все очень весело. Возражал и В. Я. Брюсов, начав словами: «Прекрасная речь господина Койранского», и с несвойственным добродушием разнес и докладчика, и оппонентов, дело шло об эпохе, которую он знал превосходно.

По окончании прений мы в большой компании ужинали, и было особенно оживленно. Все решили ехать на следующий день провожать двух Саш на Брестский вокзал.

После Кружка мы катались немного по московским улицам, Иван Алексеевич сказал:

— Я отношусь к вам, как к невесте.

Вечером мы встретились на Брестском вокзале, проводы были многочисленные и шумные, хотя Саша Койранский находился в тяжелом душевном состоянии, ему хотелось бежать из Москвы и пожить на парижской мансарде где-нибудь на Бульмише... Денег у обоих путешественников было в обрез.

На этот раз Иван Алексеевич поехал провожать красавицу Марину Ходасевич.

Как-то у нас зашел разговор — я сидела у Ивана Алексеевича — о петербургских декадентах, и я попросила его рассказать о мистификации, о которой я слышала еще до знакомства с ним. Он объяснил удачу этой мистификации тем, что, по его мнению, поклонники декадентов ничего не понимают в поэзии, а притворяются ценителями. И вот они с Федоровым [21] на извозчике сочиняли — строчку один, строчку другой,— а приехав на сборище поэтов, Иван Алексеевич сказал: «Вот мы прочли только что стихи и ничего не понимаем в них».

Я привожу их целиком, во время писания «Жизни Бунина» их у меня не было, и я не так привела первую строку.

О, верный, вечный, помнишь ты
На улице туман?
Две девы ищут комнаты.
Идет прохожий пьян.
Шпионы востроносые
На самокатах жгут.

Всем задаю вопросы я,
Вопросы там и тут.
Но на вопросы пьяные
Ответа нет и нет.
Сквозь сумерки туманные —
Холодный белый свет.

И тут он в лицах изобразил всю сцену, о которой я уже писала в «Жизни Бунина».

Однажды, когда я опять зашла к Ивану Алексеевичу, он поведал мне свое заветное желание — посетить Святую землю.

— Вот было бы хорошо вместе!— воскликнул он.— С вами я могу проводить долгие часы, и мне никогда не скучно, а с другими и час, полтора невмоготу. У нас с моими племянниками уговор: когда я жду гостью в таком-то часу, то один из них часа через полтора стучит ко мне в дверь:

— В Москве из деревни Петр Николаевич, ему очень нужно тебя видеть, а завтра он возвращается домой.

— Петр Николаевич—их дядя, мой двоюродный брат [22],— объяснил мне Иван Алексеевич,— вот свидание и прерывается, а с вами я не наговорюсь...

Я много узнала уже о его прежней жизни, хотя он рассказывал отрывками, а не подряд. Узнала о его первых литературных шагах. О встрече

и даже дружбе с декадентами. Его книга стихов «Листопад» вышла в издательстве «Скорпион», под редакцией Брюсова [23].

— Вы не можете представить себе, как издатель Поляков, сын фабриканта-миллионера, за каждые пятьдесят рублей торговался, и торг продолжался с двух до семи вечера, а когда мне надоело, и я согласился отдать книгу за двести пятьдесят рублей, и сговор был совершен, то он вынул из кармана футляр, в котором лежало драгоценное ожерелье, и, показывая его мне, сообщил, что это подарок его любовнице.

— Вот странно,— сказала я,— я хорошо знаю Сергея Александровича, никогда не думала, что он такой... Легко дает взаймы и никогда не напоминает.

— Может быть, а вот за стихи в «Весах» или за книгу — это «с большими слезами, папаша»,— смеясь добавил Иван Алексеевич.— Да он и не исключение среди так называемых русских меценатов, на все тратят, а писателям платить не любят, им, видимо, и в голову не приходит, что литераторам есть и пить надо.

## 5

В пятницу 1 декабря, вернувшись из лаборатории раньше обыкновенного, я нашла у себя на письменном столе несколько книг Бунина: три тома его сочинений и перевод его «Песни о Гайавате» Лонгфелло, в издании «Знание», «Листопад» в издании «Скорпион», «Новые стихи», издание Карзинкина, и краткую записку, что он едет сегодня вечером с Телешовым по делам в Петербург.

До ночи я читала его стихи, а рассказы взяла с собой на другой день в лабораторию и, как села за свой столик, так, не отрываясь, прочла весь том с начала до конца.

Мы ждали маму, она должна была приехать к Николиному дню, который у нас всегда праздновался, бывало много поздравителей, почти все оставались и обедать. Я жила в тревоге: из маминых писем поняла, что ей кое-что известно, о чем я умалчивала. Осведомителями оказались мужчины, подруги и приятельницы были благороднее. Я чувствовала, что она испугана: женат, «история» с Лопатиной, легкое отношение к женам среди писателей и поэтов.

Когда она вернулась домой, то сразу же начались разговоры, и моим возражениям она мало придавала значения. К тому же некоторые поддерживали ее в неприятии Бунина.

К моему удивлению, Иван Алексеевич с Телешовым быстро вернулись из Петербурга. Бунин в понедельник, 4 декабря, позвонил в лабораторию. Я сейчас же полетела к нему. Он очень весело и художественно рассказывал об этих днях, изображая всех в лицах. Они попали на вечер, где Волынский «сидел между двух дам, лежавших у него на плечах, и нес такую околесицу,— вспоминал Иван Алексеевич,— что я не выдержал и выбежал в прихожую, за мной, широко шагая, вышел Телешов, и мы отправились к Палкину».

Побывали они и в издательстве «Знание», получили гонорары за свои книги, Бунин—за книжки для народа и остаток за третий том стихов.

Были на обеде у Куприных. Александр Иванович сделал ему скандал за то, что он поцеловал руку у их бонны, которую Иван Алексеевич давно знал. Она только что вернулась с японской войны, где была сестрой милосердия.

— Ты знаешь, что у барышень руки не целуют...— кричал он, налившись кровью.

И я в первый раз услыхала скороговорку Куприна.

Потом он повествовал о своей поездке: как Телешовы прощались, без конца крестили друг друга, целовались. На возвратном пути, в вагоне, Николай Дмитриевич все сокрушался:

— Поиздержался сильно... Что скажу жене?.. Не придумаю...

— А жена, конечно,— смеялся Иван Алексеевич,— даже удивится, как мало истрачено. Но русский человек, особенно выпивший, всегда играет. А мы, конечно, запаслись вином, да и на станциях Митрич выходил «пивцом освежиться»...

Я очень смеялась,— если закрыть глаза, казалось, сам Телешов говорит.

Я поблагодарила за книги, сказала свое мнение о них. Он улыбаясь заметил:

— Меня удивило, что вы не просили, как это обычно просят девицы и женщины, ни моих книг, ни портрета...

Он не знал моей особенности: я никогда ничего не просила.

6

Николин день.

У нас много гостей.

Часов в пять телефонный звонок; его голос:

— У меня скончался отец [24]. Не можете ли вы приехать?

— Нет, это невозможно, полон дом гостей.

— Ах, как жаль!

— Приеду завтра.

И на другое утро мы увидались. Он за два дня очень осунулся, побледнел. Пришла телеграмма от брата Евгения. Юлий Алексеевич сегодня уезжает в Огневку на похороны, а Иван Алексеевич нет:

— Я не могу... да и Юлий отговорил...

Это меня удивило.

Мы где-то позавтракали; а затем поехали к Юлию Алексеевичу. Встретили его на огромном дворе Михайлова. Он был растерян. Оказалось, что он с вокзала, где обнаружил, что забыл бумажник, вернулся за деньгами. Извозчик ждал его у ворот.

Мы пошли в Нащокинский переулок, где жил Иван Алексеевич. Он был подавлен.

— Вот всегда так: наша любовь — и смерть отца, точно искупление...

Он долго говорил мне об отце, очень оригинальном и одаренном человеке, но из-за вина и какой-то ненормальной щедрости разорившемся дотла.

— Я считаю, что мой художественный талант от него. А каким образным языком говорил он! И какая скудная и тяжелая жизнь была его последние десять лет! В руки денег дать было нельзя: сейчас появится водка, а во хмелю он бывал буен... Характер же у него на редкость благородный, ложь не переносил, с мнением людей не считался. Любимой поговоркой его была: «Я не червонец, чтобы всем нравиться!»—и в первый раз за весь день Иван Алексеевич улыбнулся.

Сговорились на следующий вечер увидеться в Кружке, а конец сегодняшнего дня и завтра он проведет с Пушешниковыми [25], которые тоже огорчены, они любили Алексея Николаевича.

Я же должна побыть с мамой, мы давно не видались. Передала ему, что она встревожена нашим романом.

На следующий день мы были в Кружке. Сидели в столовой, были Телешов и Зайцевы, узнавшие о его горе. Как-то все притихли. Он наклонился ко мне и на ухо сказал:

И. А. и В. Н. БУНИНЫ
*Фотография* К. А. *Фишера*. Москва, декабрь 1906 г.
Внизу поздняя (неточная) помета Бунина: «Весна 1907 г. Первое путешествие в Сирию, Палестину»
Литературный музей, Москва

— Сегодня он первую ночь в земле, как это страшно!

Из Кружка вышли рано и на извозчичьих санках поехали к Девичьему монастырю. Он все говорил об отце, восхищаясь щедростью его натуры, правдивостью, образностью его языка.

— Меня из братьев он больше всех любил: «Старшие сыновья не в меня,— Юлий вечный студент, неловкий, боится на лошадь сесть, Евгений сквалыжник, из-за гроша может выйти из себя... Только ты в меня ловкостью и талантом...»

Вернулся с похорон Юлий Алексеевич. У отца перестали работать почки. Была метель, нельзя было послать за врачом. Он знал, что умирает. Вызвали из Грунина священника, очень грубого. Он причастил его. Похоронили его в селе Грунине. На похороны приехала дочь с мужем [26], его родная племянница, мать Пушешниковых, и ее брат Петр Николаевич Бунин.

В середине декабря Иван Алексеевич уговорил меня поехать в фотографию Фишера и там сняться. И мы снимались и вместе, и отдельно. Несколько фотографий, уже неповторимых. Мы решили до поры до времени никому не говорить о них, поэтому ограничились только пробными карточками.

Один мой портрет, который ему больше всего нравился, он назвал «Волк»,— я, снимаясь, думала «быть или не быть», так как ответа себе еще не дала.

О Палестине же мы говорили серьезно, но я понимала, что если я решусь и поеду с ним открыто, значит, я делаю бесповоротный шаг, и многие родные и знакомые отнесутся к этому отрицательно. Но для меня главный вопрос был в родителях.

Я знала, какая была драма для матери моей близкой подруги Раи Оболенской, когда она стала жить не венчаясь, с большевиком П. Н. Мостовенко. Рая отличалась большой принципиальностью и не хотела идти на компромисс. Она тоже была в партии большевиков. Стоило ей это дорого, у нее на нервной почве развилась базедова болезнь.

## 7

Во второй половине декабря Иван Алексеевич стал поговаривать о деревне. В субботу он пришел к нам, чтобы познакомиться с мамой. Разговор был вялым, Иван Алексеевич находился еще в первой стадии своего горя, был тих и молчалив. Мама не переменила своего отрицательного отношения к нему. Перед своим отъездом он повел меня к Юлию Алексеевичу, на его пятичасовой чай. Пришли мы немного раньше. Братья Пушешниковы были уже там. Иван Алексеевич все повторял: «Кто был удивлен, так это кролики!..» Фраза из «Писем с мельницы» Альфонса Доде.

Старший брат Пушешников, студент четвертого курса юридического факультета, выше среднего роста, с серьезным лицом, очень рассудительный, был одарен юмором. Другой — сильный брюнет с маленькими зоркими темными глазками, рассеянный и застенчивый, по словам Ивана Алексеевича, тонко чувствующий литературу. Он учился пению. Голос у него был редкий: баритон бель-канто [27].

Пушешниковы, действительно, с удивлением смотрели на меня. Юлий Алексеевич принял меня очень радушно. Скоро стали собираться завсегдатаи: Николай Алексеевич Скворцов, журналист леводемократического направления, очень любивший Юлия Алексеевича, живой и чем-то возмущавшийся. Зашел и сотрудник «Русских ведомостей» с большой черной бородой. Я встречалась с ним у Сергея Петровича Мельгунова [28], нашего общего приятеля, фамилию его я забыла.

Иван Алексеевич сообщил племянникам, что он думает на Рождество поехать к ним в деревню. Справился, вернулась ли их мать из Орла, где учился в гимназии их младший брат, Петя. И узнав, что она уже дома, воскликнул:

— Вот и прекрасно, поедемте все вместе, не нужно лишний раз посылать на станцию лошадей!

В седьмом часу все разошлись. Юлий Алексеевич отправился со старшим племянником на предобеденную прогулку.

Я была рада его отъезду. Надо было окончательно разобраться в своих чувствах и решить свою судьбу.

Осенью под Петербургом, в Сосновке, где был Политехнический институт, я гостила у нашего друга, профессора Андрея Георгиевича Гусакова. Много времени проводила на теннисе, подружилась с одним лаборантом-химиком, Борисом Николаевичем Дыбовским. Кроме химии, он интересовался живописью, в Эрмитаже был как дома, знал хорошо многие европейские музеи.

В его почти пустой квартире грудой лежали на столах фотографии знаменитых картин и скульптур. Это был человек с живым умом, любил дальние прогулки, и мы часто ходили по Парголовскому шоссе, иногда добирались до Озерков, ведя бесконечные разговоры на самые разнообразные темы. Однажды речь зашла о том, что «нужно творить жизнь», а не жить, как принято. И я часто в эти декабрьские дни вспоминала синий день с безоблачным небом и ярко-красные грозди рябины, под которой мы остановились на шуршащих листьях...

Перед отъездом Ивана Алексеевича мы условились переписываться. Я просила адресовать мне письма на Курсы, в Мерзляковский переулок,— мы уже были на «ты». Там недалеко от входной двери на стене висела доска с алфавитными клетками, и курсистки легко находили адресованные им письма.

Пушешниковы ехали в третьем классе, а Иван Алексеевич в первом. Поезд отходил с Павелецкого вокзала на Зацепе в 9 часов вечера. Я едва успела соскочить на платформу, когда поезд уже двигался.

Первое письмо было из Ельца, там пересадка на Юго-Восточную железную дорогу, приходилось ждать часа два-три. Письмо удивило меня, это был целый рассказ о купцах, пивших чай и закусывавших его навагой, которую они держали за хвост. Из Васильевского он писал часто, присылал только что написанные стихи: «Дядька», «Геймдаль», «Змея», «Тезей», «С обезьянкой», «Пугало», «Слепой», «Наследство»; прислал раз одну строку нот романса.

На святках я много думала о своем будущем. Я уже чувствовала, что Бунин вошел в мою жизнь, но не решила, жить ли с ним открыто, или, взяв место по химии где-нибудь под Москвой,— профессор Зелинский мог устроить,— скрывать наши отношения.

Мама оставалась непримиримой. Ее настраивали против Бунина многие так называемые друзья мои, даже те, кто мало знали его. Один приват-доцент, приехавший из Казани, давнишний мамин приятель, у нас за обедом чернил Ивана Алексеевича. Волновался и профессор Горбунов и другие.

Я отмалчивалась. Решила готовиться к экзаменам, которые можно было держать в течение всего весеннего семестра. По телефону попросила Николая Дмитриевича Зелинского дать мне дипломную работу. И тут постигла меня неудача:

—Нет, работы я не дам вам,— сказал он своим заикающимся голосом,— или Бунин, или работа...

Я рассердилась и положила трубку.

Зелинский бывал у нас, с молодости он был большим другом с Андреем Георгиевичем Гусаковым, когда они оба учились в Одесском университете.

## 8

Новый год я встречала в Кружке, меня пригласили Рыбаковы. Дома в этот вечер мне было бы очень тяжело. На утро я получила из Петербурга новую его книгу, перевод «Каина» Байрона, изданный «Шиповником».

Я чувствовала себя выбитой из колеи и, хотя скрывала свое состояние от всех, но все же мне стало невыносимо, и я телеграммой вызвала Ивана Алексеевича в Москву. Подписалась — Тиша.

Через два дня я услышала его голос в телефон: «Я — в „Лоскутной“».

Быстро оделась и через четверть часа шла по низким длинным коридорам уютной гостиницы. Во время этого свидания я особенно почувствовала его нежную душу, и оно нас еще ближе связало. Он сообщил, что приедет в конце января, чтобы участвовать в вечере, который будет в Большом зале консерватории, вместе с другими писателями и артистами Художественного театра. Теперь же он не задержится, повидается только с братом и завтра вернется в деревню. Он смеялся на нападки казанского приват-доцента и других, которых он почти не знал.

После его отъезда я снова принялась за приготовление к экзаменам. Дома о нем стало меньше разговоров.

Из деревни Иван Алексеевич ездил на одни сутки в Воронеж. Его пригласили участвовать на вечере в пользу воронежского землячества. У него была близкая знакомая, дочь тамошнего городского головы Клоч-

кова, и, вероятно, она и устроила, что Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере.

Как мне хотелось слетать на один день туда и присутствовать на его выступлении.

Этот вечер, вернее, вся его обстановка, дана в его рассказе «Натали».

В конце января, как это было условлено, он приехал в Москву и остановился опять в «Лоскутной», где в те дни жил Найденов, — шли репетиции в Художественном театре его пьесы «Стены».

Я видела его, когда заходила к Ивану Алексеевичу. Это был очень приятный человек с теми, с кем он дружил. Поражала его простота и скромность. А в то время почти вся Россия ставила его «Детей Ванюшина». У него во всем чувствовалась доброкачественность. Одет он был в хорошо сшитый из дорогого материала костюм. Ему претило переодевание знаменитых писателей, и он нередко вспоминал, как Иван Алексеевич, идя с ним и Телешовым в фойе Художественного театра, встретил Горького, Андреева и Скитальца и, подскочив к ним, дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения» спросил: «Вы охотники?»—Найденов заливался заразительным смехом, и его кривовисящее пенсне едва удерживалось на переносице. Он не скрывал своего волнения в связи с постановкой своей пьесы, но все в нем было благородно, без всякой рисовки или заносчивости. Он тоже должен был участвовать на вечере в консерватории.

Я решила на вечер не идти, несмотря на уговоры Ивана Алексеевича. Мне, конечно, очень хотелось, но я пока уступала в мелочах, зато крепко держалась намеченной цели. А мы все больше и больше обсуждали путешествие в Палестину.

На этом вечере среди других стихов Бунин читал свое длинное стихотворение «Джордано Бруно». Об этом вечере я знаю только по рассказам. Помнится, что Найденов читал так тихо, что его совершенно не было слышно и, когда Иван Алексеевич копировал его жесты и движения головы, то Сергей Александрович добродушно смеялся.

Приехал в Москву поэт, романист, драматург Александр Митрофанович Федоров. Бунин привел его к нам. Это был очень живой, небольшого роста человек, лет сорока, много говоривший о себе, о своем сыне и о том, какой он талантливый мальчик.

На дворе стоял мороз, и в доме было холодно, Иван Алексеевич назвал наш дом «Ледяным домом» Лажечникова.

## 9

В феврале Иван Алексеевич опять поехал в Петербург.

Без него я всегда чувствовала ревность к его прошлому. Я уже многое знала из его жизни. Вообще в наших беседах он больше рассказывал. Моя жизнь рядом с его казалась мне очень бедной. К тому же он никогда меня о моем прошлом не расспрашивал, может быть, от присущей его натуре ревности, а может быть, ему казалось, что моя жизнь была обычная жизнь молодой девушки.

Я решила его называть Яном: во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось.

Вернувшись из Петербурга, он рассказал, что при нем, когда он сидел в гостях у Куприна, который угощал его вином, Марья Карловна вернулась с Батюшковым [29] с пьесы Андреева «Жизнь человека». Она похвалила пьесу, Александр Иванович схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава богу, удалось затушить...

В субботу на масленице у нас были блины с гостями. Приехал двоюродный брат моего отца, Владимир Семенович Муромцев, генерал в отставке, который постоянно жил в Предтечеве. Дядя был очень родственный человек и посещал всех наших родичей, останавливаясь у кого-нибудь из них, и мы от него обо всех узнавали, так как мы не со всеми ими видались. С разрешения папы я пригласила на блины и Ивана Алексеевича. Разговор между нашими гостями был оживленный: сначала о Ельце, о помещиках, о мужиках, а затем коснулись смертной казни, и тут возгорелся спор. Генерал был за нее, а Иван Алексеевич, как и мы все, против, но спорили они мягко, он с улыбкой возражал на доводы генерала.

Нас всех поразило, что Иван Алексеевич съел только два блина, подождал, когда они стали подрумяненными и хрустящими. Оказывается, он не любит теста, и даже в ресторане «Прага», где для него пекут блины по его вкусу, он не съедает больше двух. Зато навагу он ел с большим удовольствием.

Когда стали вставать из-за стола, Иван Алексеевич тихо сказал мне:

— Я придумал, нужно заняться переводами, тогда будет приятно вместе и жить и путешествовать,— у каждого свое дело, и нам не будет скучно, не будем мешать друг другу...

Я ничего не ответила, так как уже вошли в гостиную пить кофий, а подумала, как у него все неожиданно и как он ни на кого не похож! Это особенно меня пленило в нем.

Начался пост, впрочем, я в те годы была равнодушна к нему. Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивлялась. Я была рада, что мне не нужно венчаться, я была в те годы далека от церкви. Но я никогда не кощунствовала, а потому мне было бы тяжело к таинству брака отнестись формально. И я была рада, что судьба, не позволяя вступить в брак законным образом, избавляла меня от того, во что я не верила. Иван Алексеевич был женат. Требовать развода я тоже не хотела, так как в те годы он был сопряжен с грязными подробностями, кроме того, едва ли его жена взяла бы вину на себя, а если он возьмет, то сразу все равно нельзя было бы венчаться, и я не затрагивала с ним никогда этой темы. Сын его два года назад умер [30]. Думаю, что если бы он был жив, то я не стала бы «делить жизни» с ним, как он писал.

В марте я наконец решилась поговорить с папой и как-то днем, вероятно, в воскресенье или в праздник, войдя к нему, сказала:

— Знаешь, я с Буниным решила совершить путешествие по Святой земле.

Он молча встал, повернулся ко мне спиной, подошел к тахте, над которой висела географическая карта, и стал показывать, где находится Палестина, не сказав мне ни слова по поводу моего решения связать с Иваном Алексеевичем мою жизнь. Он был человек глубоко, по-настоящему верующий, хорошо знающий и церковные службы, и Священное писание, тонко чувствовал поэзию псалмов, поэтому мое решение было ему, конечно, тяжело, но он не хотел дать мне это почувствовать. У него была та свобода, которая бывает только у настоящих христиан.

С мамой я сама не говорила. С ней объяснялись братья, и они убедили ее. Братья меня очень любили, считая, что все, что я делаю, правильно. Я была старшая, и у них был ко мне пиетет.

Не помню точно числа, но знаю, что это было в марте.

В «Лоскутной» я однажды застала Ивана Алексеевича за корректурой его рассказов «Цифры» и «У истока дней», которые он печатал: первый в «Товарищеском сборнике» «Новое слово», в книге первой, а второй в альма-

нахе «Шиповник». Он обрадовался моему приходу, сказав, что я могу помочь ему. И дал мне гранки рассказа «Цифры». Я была счастлива: в первый раз в жизни приобщиться к литературной работе и особенно, когда я нашла опечатку. И он так хорошо улыбнулся, вероятно, догадываясь, что я чувствую.

Вскоре Иван Алексеевич опять ездил в Петербург, добывать деньги на путешествие.

## 10

Зайцевы собирались в Париж, где жил Бальмонт. И первого апреля мы вместе с их друзьями провожали их на Брестском вокзале.

Я продолжала готовиться и держать экзамены, но видела, что придется часть отложить на осень. Доканчивала практические занятия в лабораториях. Иван Алексеевич торопил, боясь жары в Палестине и Египте. Мне хотелось сдать все зачеты, и я сказала ему, что с 7 апреля буду свободна.

Мама уже примирилась. С ней долго говорил Иван Алексеевич. И она стала ходить со мной по портнихам. В доме чувствовалась предотъездная атмосфера.

Недели две до нашего отъезда Иван Алексеевич повез меня на «Среду»; она была не совсем типична: происходила не у Телешовых, и автор произведения отсутствовал. Я знала, что писатели любили и ценили «Среду» за дружескую атмосферу, неизменно царившую в ней, и за ту искренность, с которой велись в ней беседы. Каждый высказывал свое мнение совершенно свободно и даже вопрос хмурого Тимковского, часто задаваемый после прослушанного рассказа: «Собственно, зачем это написано?»—не обижал авторов.

Кроме писателей, там бывали люди, любившие литературу, видные художники, артисты и музыканты. Понятно, о «Среде» говорила вся Москва, и нам, молодежи, казалось несбыточной мечтой попасть туда, хоть только взглянуть на такой букет знаменитостей. Что до меня, то я ехала впервые на «Среду» с большим волнением, с чувством, что я должна вступить в какой-то заповедный мир.

Был мягкий вечер, хорошо, по-весеннему тянуло с Воробьевых гор, с таявшей Москва-реки, голые ветви высоких, уходящих к Девичьему монастырю деревьев, чуть колыхались... Свернули в узкий переулок, проехали мимо белых, вызывавших всегда некую жуть клиник, повернули еще и остановились перед частью, где жил полицейский врач Голоушев, звание которого на редкость не подходило к его живописной наружности, к его артистической душе [31].

С Голоушевым я была знакома. В детстве, когда мы жили на даче в Давыдкове (а он приходил в гости к С. П. Кувшинниковой[32]), мама пригласила его ко мне, я была нездорова. В этом году я встретилась с ним раз у Зайцевых. Он обладал свойством сразу выводить из смущения. Я скоро освоилась в новом для себя обществе. К сожалению, на этот раз «Среда» оказалась не очень многочисленной. Ярче других запечатлелись в моей памяти: сидевший за роялью и что-то музыкально исполнявший в ожидании чтения пожилой, с большой лысиной господин с умным, живым, но некрасивым лицом, как потом выяснилось, Алексей Евгеньевич Грузинский [33], профессор русской литературы, остроумный, веселый человек; его молодая жена Александра Митрофановна, с правильными сухими чертами лица и гордой осанкой женщины, знающей себе цену; писатель Гославский, высокий, красивый старик, с белой бородой [34]; Белоусов Иван Алексеевич с печальным спокойствием в глазах [35]; Разу-

БУНИН СРЕДИ ЧЛЕНОВ «СРЕДЫ»

Слева направо сидят: С. С. Голоушев, В. Н. Бунина, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, И. А. Белоусов; стоят: Ю. А. Бунин, А. Е. Грузинский, Н. Д. Телешов, Е. А. Телешова, С. Д. Махалов, Б. К. Зайцев

Фотография К. А. Фишера. Москва, 1910-е годы

Литературный музей, Москва

мовский-Махалов, драматург, большой плотный мужчина с круглым московским лицом [36]; Телешов, которого, как я писала, знала и любила с отроческих лет.

Чтение происходило в кабинете Сергея Сергеевича. Он сел за свой широкий письменный стол, вынул белый сверток, развернул рукопись и стал читать «Иуда Искариот», новое произведение Андреева, присланное для прочтения с Капри, где он жил после смерти жены с матерью и старшим сыном Вадимом.

Заглавие меня волновало, действие происходит там, куда мы едем, и я с большим вниманием слушала, с интересом ожидая обмена мнений. Возможно, повлияло отсутствие автора, но критики и долгих разговоров это произведение не вызвало, было сделано несколько замечаний, Юлий Алексеевич указал, что эта тема волновала и Гёте.

За ужином тоже не говорили об «Иуде», а быстро перешли на шутки, на воспоминания о прежних «Средах», более пышных и многолюдных. Я расспрашивала, мне рассказывали. Кроме упорно молчащего Гославского да нервно дергающегося, сердитого Тимковского [37] с темным цветом лица, остальные были очень веселыми, остроумными людьми. Вспоминали об адресах, придуманных для каждого участника «Среды» [38].

Вспоминали и о том, как Скиталец певал под свои гусли волжские песни, как иногда расходился Шаляпин.

— Помните,— сказал Телешов,— как он явился к нам со словами: «Братцы, петь хочу...» и попросил меня вызвать Рахманинова. «Вы здесь меня слушайте, а не в Большом театре», говорил он в тот вечер, пел, правда, так, как никогда. Чтение было отменено, и что это был за кон-

церт! Уж не знаю, кто из этих замечательных артистов был выше! И как они друг друга увлекали!..

Прощаясь, все нам желали благополучного путешествия. И мне почудилось, что некоторым оно кажется очень рискованным.

2 апреля было первое представление новой пьесы Найденова. Мы с Иваном Алексеевичем получили приглашение на генеральную репетицию в Художественный театр.

Смотреть пьесу на генеральной репетиции очень приятно. Приятен этот домашний уют в театре, создаваемый столом с рефлектором в партере, за которым сидит режиссер, темнотой в антрактах, просто одетой публикой, волнением автора... В этот вечер автор прощается со своим детищем, завтра оно уже будет отдано на суд зрителям и критике.

В «Стенах» Ивану Алексеевичу многое понравилось, были места хорошо задуманные и удавшиеся, и я надеялась, может быть, по неопытности, на успех. Надеялся, хотя и с некоторым сомнением, и сам автор. Но, как известно, «Стены» успеха не имели и скоро сошли со сцены.

После репетиции мы небольшой компанией поехали ужинать в «Московский». За столом я сидела рядом с Найденовым и много с ним разговаривала. Он был возбужден. Рассказывал мне о своей жизни на Волге, о своих странствиях по ней, о том, как «прожег» небольшое отцовское наследство, о своем увлечении. Я спросила, почему он не пишет рассказов, раз у него такой богатый запас наблюдений.

Он ответил:

— Не могу, я все слышу, представляю себе в диалогах...

Потом мы опять вернулись к «Стенам». И я поняла главный недостаток этой пьесы, почувствовала, что быт ее автору чужд. Если память мне не изменяет, героиня ее, дочь профессора, порывает или хочет порвать с прежней жизнью, чтобы уйти в подполье.

На возвратном пути, когда Иван Алексеевич провожал меня, мы, конечно, говорили о пьесе, он сказал:

— Зачем Найденов, у которого так много жизненных наблюдений, написал пьесу из мира интеллигентов, которого он изнутри не знает? А в пьесе много хороших литературных мест. Жаль, если она не будет иметь успеха.

И, помолчав, прибавил:

— Самое тяжелое время для драматургов — это время от генеральной репетиции до утра после первого представления...

Я после премьеры не видела Сергея Александровича, Иван Алексеевич говорил мне, что он удивительно благородно пережил свой неуспех, хотя, вероятно, переживал его тяжело, но он был очень скрытным человеком.

Через несколько дней он уехал из Москвы.

## 11

Как-то я зашла к Ивану Алексеевичу на короткое время, нужно было о чем-то переговорить в связи с отъездом. Был чудесный день ранней весны, и я надела новую большую синюю пушистую шляпу. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ну, таких шляп ты не будешь больше носить...

Я очень удивилась, не поняла, почему.

Он оставил меня завтракать, и, как всегда, когда мы ели в «Лоскутной», мы заказали наши любимые пожарские котлеты, которые там приготовляли необычайно вкусно, и полбутылку красного вина Понт-Кане. И, как всегда, он учил меня распознавать вина.

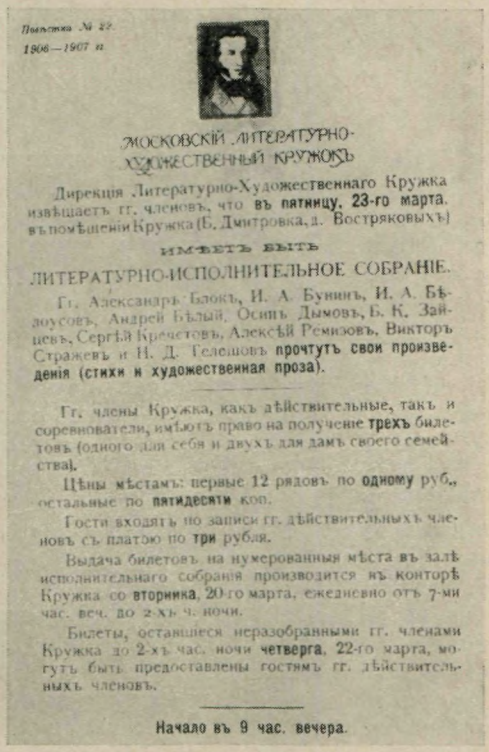
Иван Алексеевич во время таких завтраков заводил разговор с лакеями, которые очень любили и почитали писателей, несмотря на то, что они

ПРОГРАММА СОБРАНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖКА

23 марта 1907 г.

Участники: Бунин, А. А. Блок, И. А. Белоусов, Андрей Белый, Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов, Н. Д. Телешов и др.

Музей И. С. Тургенева, Орел



Повѣстка № 22.
1906—1907 г.

МОСКОВСКІЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ

Дирекція Литературно-Художественнаго Кружка извѣщаетъ гг. членовъ, что **въ пятницу, 23-го марта**, въ помѣщеніи Кружка (Б. Дмитровка, д. Востряковыхъ)

ИМѢЕТЪ БЫТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ.

Гг. Александръ Блокъ, И. А. Бунинъ, И. А. Бѣлоусовъ, Андрей Бѣлый, Осипъ Дымовъ, Б. К. Зайцевъ, Сергѣй Кречетовъ, Алексѣй Ремизовъ, Викторъ Стражевъ и Н. Д. Телешовъ **прочтутъ свои произведенія (стихи и художественная проза).**

Гг. члены Кружка, какъ дѣйствительные, такъ и соревнователи, имѣютъ право на получение **трехъ** билетовъ (одного для себя и двухъ для дамъ своего семейства).

Цѣны мѣстамъ: первые 12 рядовъ по **одному** руб., остальные по **пятидесяти** коп.

Гости входятъ по записи гг. дѣйствительныхъ членовъ съ платою по **три** рубля.

Выдача билетовъ на нумерованныя мѣста въ залѣ исполнительнаго собранія производится въ конторѣ Кружка со **вторника**, 20-го марта, ежедневно отъ 7-ми час. веч. до 2-хъ ч. ночи.

Билеты, оставшіеся неразобранными гг. членами Кружка до 2-хъ час. ночи **четверга**, 22-го марта, могутъ быть предоставлены гостямъ гг. дѣйствительныхъ членовъ.

**Начало въ 9 час. вечера.**

заставляли их работать во всякий неурочный час. В «Лоскутной» можно было всю ночь спрашивать и еду, и вино.

Почти накануне нашего отъезда был в Художественном кружке вечер поэтов⟨...⟩ Выступали и петербургские поэты, приехавшие по приглашению Кружка в Москву, и наши во главе с Брюсовым. Пригласили и Бунина, но «средняки» возмутились, настояли, чтобы он отказался.

Из московских поэтов запомнились Брюсов, Ходасевич, Кречетов, а из петербургских — во всем черном элегантный Маковский [39], еще совсем молодой человек.

Мы сидели на эстраде, сзади выступающих. Иван Алексеевич заявил, что он потерял голос и его не будет слышно. Но мне казалось, что ему хотелось посостязаться с «декадентами».

10 апреля был назначен день нашего отъезда, мы должны были начать нашу новую жизнь. Накануне собрались самые близкие мои друзья и приятели, и мы скромно провели этот вечер. Были и оба брата Бунины. Молодежь у пианино почти все время пела, среди других песен: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья...»

Иван Алексеевич опять долго пробыл в маминой комнате. Мама, смеясь, рассказывала, что он все твердил, что приданого никакого не нужно. Она взяла слово, что из Александрии мы пришлем телеграмму. Ей тоже наше путешествие казалось полным опасностей.

Наступила последняя ночь моя перед новой нашей жизнью. На душе было двойственно: и радостно, и грустно. В душе боролись вера с сомнениями. Но я старалась не думать об этом, а представлять себе наше путешествие. Мне очень было по душе, что оно не банальное, не Италия, не Париж.

## ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В 1907—1908 гг.

### 1

С Курского вокзала мы направились в Столовый переулок, еще не решив, где остановимся. Дома узнали, что нам отведены две комнаты: спальня и кабинет папы (сам он переселился на время в мою комнатку). Мама сразу не вышла к нам. Когда я увидела ее, то слезы выступили у меня на глазах, так она изменилась: из полной стала худенькой и напомнила мне ее мать, мою бабушку, скончавшуюся, когда мне шел восьмой год. На меня это произвело такое впечатление, что туман, в котором я жила, рассеялся.

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходившем в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль, увеличенный одним из моих приятелей. Ян любил эту фотографию [40].

Мы разложили вещи. За завтраком обменивались впечатлениями с нашими о лете. Ян скоро ушел к Юлию Алексеевичу; я, посидев недолго с мамой, отлучилась на курсы, они были в двух шагах от нас, чтобы узнать расписание экзаменов.

Ян вернулся с братом и Колей, который уже нашел себе пристанище, кажется, у той же хозяйки, где они с Митюшкой жили в прошлом году. Мама оставила их обедать.

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день рождества пресвятой богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило,— в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну. Каждый мужчина купил себе панаму, загнул поля этой итальянской шляпы по-своему, и вид у всех был победоносный.

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

В середине сентября он отправился в Петербург, надо было распродать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в «Знании». Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и остроумием.

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму». Ян отнес Зайцеву рукопись Нилуса «На берегу моря». Редактору она понравилась, Ян мгновенно написал автору, что вещь его, вероятно, будет принята.

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием [41]. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3 000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

30 сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся,— застрял на Капри. Он думал предложить «На берегу моря» «Знанию». Тогда он решил устроить вещь Нилуса в «Шиповнике», и это ему удалось. Дали аванс в 200 рублей, по условию, это произведение дол-

В. Н. МУРОМЦЕВА
Фотография. Москва, конец 1890-х годов
Литературный музей, Москва

жно было появиться не позднее весны 1908 года. Зайцев обещал свое содействие.

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые.

Гржебин, с которым я встретилась как-то у Зайцевых,— он у них тайно остановился,— сказал мне, что Иван Алексеевич «и самый легкий, и самый трудный из всех писателей». Он был прост, не напускал на себя важности во время переговоров, но добиться окончательного решения от него было трудно.

Художественный театр хотел поставить «Каина» в переводе Бунина, это было бы очень хорошо и в смысле материальном,— за два года Ян мог получить десять тысяч рублей. Но, к сожалению, это не осуществилось.

Четвертый раз Ян поехал в Петербург, но Пятницкий опять не оправдал ожидания, и Ян не знал, что ему делать. Желая устроить рассказ Нилуса «Госпожа Милованова» в журнале Марьи Карловны Куприной, он советовал автору переименовать рассказ и предлагал заглавие «Закат».

## 2

Выпал снег. У нас обедали Юлий Алексеевич и Федоров. После обеда мы сидели за самоваром. Разговор зашел об Андрееве, который недавно приехал в Москву: в Художественном театре репетировали его «Жизнь человека»; его сын Даниил воспитывался в семье Добровых, у сестры его покойной жены.

Раздался телефонный звонок. Старший из моих братьев Сева кинулся в переднюю.

— Легок на помине! Звонил Голоушев, просил передать, что они с Леонидом Николаевичем едут к нам,— сказал он взволнованно.

Я с Андреевым не была знакома. Как писатель он не трогал меня,— мне нравились только некоторые его рассказы. Все же ожидала его с большим интересом. Меня волновало, что я должна увидать человека, перенесшего большое горе,— меньше года назад он потерял молодую жену. И я старалась представить себе, какой он? Я знала, что горе он переживал тяжело, что в Москве, где он был так счастлив, особенно остро чувствует свою потерю и что отчасти поэтому он переселился с матерью и со старшим сыном Вадимом в Петербург. В голове у меня мелькали обрывки рассказов о нем. Я вспомнила, как наш друг студент-медик Шпицмахер, придя к нам (вскоре после нашумевшей «Бездны»), сказал: «Знаете, кто такой писатель Андреев? Это тот самый красивый брюнет, который ходил по Царицыну в расшитой косоворотке и студенческом картузе, с хорошенькой барышней...» Вспомнила диспут по поводу «Записок врача» Вересаева в Художественном кружке: зал набит битком; на эстраде яблоку некуда упасть; во втором ряду Андреев, а впереди него причесанная на пробор хорошенькая, худенькая, с мелкими чертами лица наша курсистка Велигорская, теперь Андреева, в легком черном платье, из-под которого виднеется маленькая, изящно обутая нога.

Но вот раздался звонок, а затем я услышала смех в передней.

Поднявшись навстречу гостям, смотрела на Андреева. Он немного постарел и стал полнее с тех пор, как я видела его в «Кружке», показался даже немного ниже ростом, потому что стоял рядом с высоким Голоушевым (Андреев был коротконог). Поздоровался он со мной с милой ласковой улыбкой. Я предложила ему чаю. Налила очень крепкого,— знала, что он пьет «деготь».

Сразу завязался оживленный разговор, сначала о Горьком, о Капри... Я смотрела на черные с синеватым отливом волосы Андреева, на его руки с короткими худыми пальцами, на красивое (до рта) лицо, увидела, что он смеется, не разжимая рта,— зубы у него плохие,— что черный бархат его куртки мягко оттеняет его живописную цыганскую голову. Говорил он охотно, немного глухим однообразным голосом. Услышав меткое слово, остроумное замечание, заразительно смеялся. О Горьком говорил любовно, даже с некоторым восхищением, но Капри ему не понравилось,— «слишком веселая природа». Он решил построить дачу в Финляндии: «Юга не люблю, север другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Затем начались разговоры о его работах. Он говорил о них с особенным удовольствием. Он только что закончил трагедию «Царь-Голод», а новая повесть его «Тьма» скоро должна была появиться в альманахе «Шиповник».

— «Знание»,— говорил он,— не простит мне этой измены, но мне нужны деньги, а «Шиповник» гораздо щедрее на гонорары...

Затем он внезапно заявил: «Страшно хочется в „Большой Московский“ — еще ни разу не был после возвращения из-за границы».

На отговаривание Голоушева он только лукаво усмехнулся:

— Не беспокойся, Сергеич, мы с тобой и в «Московском» будем пить только чай; а посидеть с друзьями мне очень хочется, ведь ни Ванюши, ни Юлия я еще путем не видал.

В передней, когда он накинул на себя дорогую шубу с серым смушковым воротником и заломил назад такую же шапку, Ян напомнил ему про старую отцовскую шубу, которую он носил по бедности в студенческие годы и которая была похожа, по словам Яна, на собачий домик. Андреев очень хорошо засмеялся.

Через четверть часа очутились в белом, огромном, залитом светом зале. Довольно долго выбирали где лучше сесть. Наконец сели, заказали фрукты, вино, а для Андреева чай. Я сидела рядом с Голоушевым. Он был дружен со многими художниками, почти со всеми московскими писателями, а с Андреевым особенно, проявляя по отношению к нему большую нежность и заботливость.

За разговорами мы и не заметили, что стакан чаю перед Андреевым стоит нетронутым и что в руке у него изумрудный на топазовой ножке бокал. Но в ответ на горестно-упрекающий взгляд Голоушева он только опять хитро подмигнул и неожиданно сказал:

— А что, братцы, не поехать ли нам к Яру? Давно не был я в Петровском парке, страшно соскучился по хорошей русской зиме. Едем! Едем!

Голоушев попробовал было отговорить его, но, быстро поняв, что это бесполезно, простился и уехал. Мы наняли лихача и «голубцы», небольшие сани парой, и, разместившись — Юлий Алексеевич с Севой на лихаче, а Андреев с Федоровым и нами на «голубцах»,— шибко понеслись по Тверской, по белому свежему снегу. Ночь была мягкая. Было необыкновенно весело от остро пахнущего воздуха, от бубенцов, от быстрой езды по пустынной улице, ярко освещенной гелиотроповыми шарами. За Тверской заставой нас то и дело обгоняли тройки — Москва праздновала «первопуток».

Возбужденные этой скачкой, мы шумно ввалились в вестибюль и, сбросив шубы, направились в парадный светлый зал, такой высокий, что столики в нем казались странно низкими. Писатели опять начали обсуждать, где им сесть. Наконец место выбрано в углу у входа, шампанское, жареный миндаль заказаны.

Андреев, очень веселый и благодушный, опять говорил, как он рад, что он в Москве, среди друзей, неожиданно перешел на «ты» с Федоровым, которого называл шутя «Азорскими островами». Александр Митрофанович недавно возвратился из Нью-Йорка, куда ходил на пароходе со знакомым капитаном, во время остановки он побывал на одном из Азорских островов, а затем что-то написал о них. Леонид Николаевич продолжал рассказывать о своих новых произведениях, хохотал, слушая шутки Яна, который, глядя, с каким удовольствием Андреев пьет, сравнил его с верблюдом, «дорвавшимся до колодца после долгого перехода по пескам пустыни».

— Ох, Ванюша,— отвечал он,— когда я с тобой, у меня щеки ломит от смеха.

Впрочем, все чаще и чаще он начинал впадать в грусть, опять вспомнив, что у него произошел разрыв с «Знанием» из-за «Шиповника», уверял, что Горький ему этого никогда не простит, говорил о своей финляндской даче: «Я хочу, чтобы она была мрачная, как финская природа!» Неожиданно он напал на Толстого и стал доказывать, что «Война и мир» не настоящий исторический роман.

Тут чуть не случился скандал, могущий плохо кончиться: какой-то военный, встав против оркестра, вынул саблю из ножен и стал дирижировать. Сева, найдя, что тот не имеет на это права, кинулся к нему. За ним Юлий Алексеевич и Федоров. Едва уговорили Севу вернуться к столу.

Уже светало, когда мы вышли и уселись по-прежнему. Андреев попросил проехаться по Ходынскому полю. Юлий Алексеевич с Севой поехали домой. А мы свернули к Ходынке.

— Ах, как я соскучился по снегу,— повторял Андреев упавшим голосом.— Нет, без севера жить нельзя. Горького, вечно сидящего на Капри, не понимаю! — прибавил он злобно.

Выехав в открытое поле, мы на минуту остановились. Он нагнулся, захватил горсть снега и жадно понюхал его.

Бедный Федоров совсем осовел, застыл в своем легком пальто. Спрятав руки в карманы, он забыл о папиросе, которая, переломившись, смешно болталась в его посиневших губах. Я приказала ямщику ехать в «Лоскутную».

Андреев опять говорил о «Царь-Голоде», ему хотелось сейчас же прочесть его нам. У «Лоскутной» он настойчиво начал просить подняться к нему.

Федоров сейчас же простился и ушел к себе.

В номере Андреева, при утреннем зимнем свете, он с бледным похудевшим лицом, с горящими глазами, стоя, читал, как «Смерть ест бутерброд», и, мрачно отбивая такт ногой, напевал:

— Там, там, там... Там, там, там...

Через несколько дней он читал эту пьесу у Добровых. Было много народу, много незнакомых нам лиц, непричастных к литературе,— Андреев любил, чтобы его слушали не только одни писатели. В тот вечер он был совсем не похож на того, каким я его видела в первый раз. Как всегда на людях, среди поклонников, он был серьезен, молчалив, даже несколько мрачен. Читал глухо, однообразно, ни на кого не глядя.

## 3

Через несколько дней, как-то вечером Андреев по телефону пригласил нас приехать к нему. Мы собрались и поехали.

Навстречу нам, кроме хозяина, встал еще кто-то огромный, в блузе, с прямыми откинутыми назад каштановыми волосами, с необыкновенно мощной шеей, с бантом белого галстука, широко раскинутым по вороту блузы. Я сразу узнала Скитальца. На столе стояли две бутылки шампанского.

Андреев был бодр, оживлен, но очень бледен. Он больше стоял или ходил, держа бокал в руке, и все говорил, говорил:

— Хорошо было бы написать сказочку, как мать рассказывает больному сыну, нося его по комнате, что вот пришел великан, такой страшный, большой великан... и упал великан... и мальчик затихает, засыпает... Только и всего...

Я разговаривала со Скитальцем. Пугая меня своей шеей, которая, раздуваясь, выпирала очень большой кадык, он рассказывал о себе. Я слушала его с большим интересом: года два-три перед этим он гремел на всю Россию.

— Я бродяга, певец, писателем я сделался случайно,— рисуясь, говорил он басом.— Горького я боготворил. Я думал: вот настоящий друг! Верил, что он любит меня, Степана, а оказалось, что ему важны были мои писания да выгоды от них, а не я сам. Это самое большое разочарование в моей жизни [42].

Шампанское было выпито. Андреев позвонил. Лакей внес на большом подносе холодного каплуна, ветчину и еще две бутылки Мумма.

Андреев ничего не ел, только пил и, стоя, говорил, говорил. Я одним ухом слушала Скитальца, а другим отрывочные фразы Андреева.

— Понимаешь, Ванюша, понимаешь, меня все всегда настраивали и настраивают против тебя, даже покойная жена настраивала, а все-таки я люблю тебя.

— А Куприна? — спросил Ян.

— Нет, его не люблю как писателя,— в нем не душа, а пар, знаешь, как у собак.

— К черту интеллигенцию! Вся она разделяется на три типа: инфлуэнтик, неврастеник и алкоголик.

— Да, тяжело одному, иногда хочется прийти и положить на женские колени голову. Мне очень тяжело.

— Вот пришел великан, большой сильный великан и упал великан, упал великан.

Я попробовала его уговорить лечь спать. Он усмехнулся:

— Спать! Нет, спать я буду этак дня через два.

Засиделись опять до рассвета.

Из «Лоскутной» я прямо направилась за какой-то справкой на курсы, и мне было весело, что никому и в голову не приходило, что я провела бессонную ночь.

Приехал в Москву Найденов и тоже остановился в «Лоскутной». Иногда он обедал у нас. И я чем чаще встречалась с ним, тем больше чувствовала, как он мало похож на своих «славных» собратьев. Ян за это его любил. И не раз говорил: «Тяжелый человек, но до чего прекрасный, редкого благородства!» [43]

К своей славе он относился трезво, понимая, что зенит ее уже прошел, и никогда не пытался подогревать ее. Ян как-то при мне передал мнение о нем Чехова, что он может написать несколько пьес неудачных, а затем напишет опять нечто замечательное, но Найденов только усмехнулся. Не стремился он и к популярности. С большой мукой соглашался участвовать на благотворительных вечерах и, когда выходил на эстраду, то, пробормотав что-то, как можно скорее уходил в артистическую.

По природе своей он был неразговорчив: в обществе, как я уже писала, чаще молчал, но в дружеском тесном кругу охотно рассказывал всякие истории из своей жизни. Любил разговоры о современной литературе, о писателях, о славах, которые вспыхивали в те годы, как римские свечи, а затем так же стремительно гасли; любил в шутку гадать: за кем очередь взлететь?

Актерской среды не жаловал. Однако вскоре женился на актрисе, очень милой, живой, энергичной женщине.

## 4

Через неделю я покончила с экзаменами. И мы с Яном поехали в Петербург в отдельном купе первого класса. Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будут адмирал Азбелев [44] и Иорданский [45], оба сотрудники ее журнала.

С Азбелевым Ян встречался. Он был воспитателем Георгия Александровича, покойного наследника престола, рано умершего от туберкулеза. Знал Азбелев всю царскую семью, рассказывал, что Николай второй искренне верил, что он помазанник божий. Блюменберг решил издать Киплинга, Иван Алексеевич рекомендовал Азбелева как переводчика и согласился редактировать эти переводы, а потому обрадовался, что увидит его и переговорит с ним. С Иорданским он тоже был хорошо знаком. Тот заведовал в журнале внутренним обозрением.

Редакция и квартира М. К. Куприной находились в то время у Пяти Углов. Нас встретила молодая дама, похожая на красивую цыганку, в ярком «шушуне» поверх черного платья. Приглашенные — адмирал в морской форме, небольшого роста, с приятным лицом, человек лет пятидесяти, и высокий, с темными глазами Иорданский, еще совсем молодой,— уже ждали нас. Иван Алексеевич удалился в угол с Азбелевым и быстро сговорился с ним относительно его перевода рассказов Киплинга.

За обедом разговоры шли все время на литературные темы, говорили о «Шиповнике», который может убить «Знание», так как там печатается глав-

ным образом «серый» материал, а уход Андреева, действительно, может нанести удар этому издательству. Передавали, что Андреев сейчас в большой моде. Строит дачу в Финляндии, а пока живет широко в Петербурге, часто отлучается в Москву, чтобы присутствовать на репетициях «Жизни человека». Разговоры не переходили в споры, а потому мне было особенно приятно их слушать,— я впервые была в редакции популярного журнала, и при мне говорили обо всем свободно. И вот среди такой мирной беседы раздался телефонный звонок. Мы узнали, что через четверть часа приедет Александр Иванович и состоится первая встреча Куприных после разрыва.

Ян начал было прощаться,— мы пили кофий, — но Марья Карловна нас удержала.

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн с красным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. Глаза Марьи Карловны, когда она удачно парировала, сверкали черным блеском. Иорданский, уставившись в одну точку своими темными глазами, не произнес ни единого слова. Он скоро ушел, за ним поднялся и Азбелев.

Нас Марья Карловна опять не отпустила, видимо, не желая оставаться наедине с Александром Ивановичем. Конечно, бутылка с «коротким напитком», как Куприн называл спиртное, осушилась быстро.

— Мне говорили, что вы красивая,— неожиданно обратился он ко мне,— а между тем...

Я хотела ответить, но удержалась, видя, что он сильно во хмелю: «Не всякому слуху верь... мне говорили, что вы воспитанный офицер, а между тем...» (Когда я потом рассказала об этом Яну, он заметил, что и Анне Николаевне, его жене, Куприн при первом знакомстве сказал нечто подобное. «Вообще он любит в лицо сказать неприятность», добавил Ян.)

Ян, чувствуя, что Марью Карловну тяготит это свидание, стал настойчиво звать Александра Ивановича в разные места. Но пришлось довольно долго уламывать его. Наконец он соблазнился. Прощаясь, мы условились увидаться с Марьей Карловной через два дня у Ростовцевых [46].

Куприн просил Яна заехать с ним к Елизавете Морицовне [47], она,— говорил он,— волнуется, как сошло свидание, а ей волноваться вредно, ибо она ждет ребенка. Мы заехали в «Пале-Руаяль», излюбленную писателями гостиницу на Николаевской улице, и застали Елизавету Морицовну на площадке, кажется, третьего этажа. Она была в домашнем широком платье. Увидав Яна, просила, даже взяла слово, что он привезет обратно Куприна. Ян обещал его не отпускать. И мы поехали дальше, побывали в каких-то ночных притонах, где я увидела мужчин с мрачными, испитыми лицами и женщин в ярких вызывающих нарядах. Везде стоял дым коромыслом. В длинном зале мы поравнялись с господином, одиноко сидевшим за бутылкой красного вина, Ян меня с ним познакомил. Это был Потапенко, поразивший меня сизо-бронзовым цветом лица. Куприн потащил нас дальше.

Наконец мы сели за столик, и Александр Иванович сообщил, что он свою новую вещь «Суламифь» запродал в «Шиповник». Ян высказал сожаление, что она не попадет в «Землю», где гонорары выше. Куприн обрадовался:

— Знаешь, Ваня, мне деньги вот как нужны, если дадите,— и он назвал внушительную сумму за лист,— то я пошлю всех к черту, но деньги «на бочку».

В. Н. МУРОМЦЕВА
Портрет работы М. Зайцева (масло)
Москва, начало 1900-х годов
Музей И. С. Тургенева, Орел

— Хорошо, дадим, дадим! — ответил Ян, — завтра днем мы увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись.

Вернувшись в «Пале-Руаяль», мы застали Елизавету Морицовну на том же месте, где ее оставили. Лицо ее, под аккуратно причесанными волосами на прямой ряд, было измучено.

На следующий день Куприн вручил Яну «Суламифь» и получил гонорар. Это вызвало бурю: писатели, заинтересованные тем, чтобы эта вещь была в «Шиповнике», так рассвирепели на Ивана Алексеевича, что не подали ему руки, особенно негодовали Арцыбашев и поэт Андрусон.

В этот день Ян побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку. Блок произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого человека. Вечером мы поехали в «Вену» и ужинали в этом популярном ресторане средней руки. Хозяин любил литературу и даже завел книгу, куда литераторы вносили свои впечатления. Около

полуночи в зал стремительно вошел Блок с высокой красивой женой, на ней было блестящее розовое платье и что-то похожее на золотую корону.

Опять засиделись далеко за полночь. Петербург гораздо позднее ложился, чем Москва. Мы уже чувствовали большую усталость, но мне все это было внове, а потому хотелось везде побыть подольше.

5

Собирались мы в гости к Андрееву. За окнами, сквозь кисею падающего снега, в ярком свете фонарей сверкал тяжкий памятник Александру III. Сели в санки, понеслись по Невскому. Снег залеплял глаза, леденил веки, я то и дело закрывала глаза меховой муфтой. Вот и белая Нева, длинный мост и наконец Каменноостровский. Остановившись у нового дома, вошли озябшие в подъезд, поднялись на лифте.

Хозяин встретил нас очень радушно. Познакомил меня со своей матерью, худой, еще не старой женщиной, в черном платье. Она сидела за самоваром. Вокруг стола, кроме Скитальца, все новые лица. Леонид Николаевич меня познакомил: Серафимович, Юшкевич, Копельман.

Он указал мне место около матери. С интересом я смотрела на ее грустное лицо. Она была приветлива, обрадовалась, что я «москвичка»: к Петербургу она еще не привыкла, чувствовала себя в этом «холодном» городе как-то стеснительно. Слушая ее низкий, немного хриплый голос, удивляясь, как она много курит, я начала разглядывать сидящих за столом.

От смущения я не запомнила, кто Юшкевич, кто Серафимович, кто Копельман. Начала гадать. Господин с выпученными глазами уж очень не похож на писателя. Решаю—и правильно: это Копельман, издатель «Шиповника». Но кто же Юшкевич, кто Серафимович? Никак не пойму: у обоих большие лица и почти нет волос, оба заикаются, хотя и по-разному. Только у того, что ниже ростом, огромные желтые зубы, калмыцкие скулы и почти совсем голый череп, который он часто, с какой-то ехидной усмешечкой, поглаживает. А высокий человек с большим темпераментом, прерывистым голосом что-то громко рассказывает о театре Комиссаржевской.

За ужином меня посадили между Юшкевичем и Серафимовичем. Но я все еще не могла определить, кто из них кто. Вино подняло настроение, все заговорили громче обычного. Закипели споры, посыпались имена: Городецкий, Сологуб, Арцыбашев. Громче всех кричал, больше всех горячился, восхищаясь этими модными писателями, мой сосед слева,— он-то и оказался Юшкевичем.

— Вы, как негр, Юшкевич,— ласково обращаясь к нему, сказал Ян,— как негр, который носит самые высокие модные воротнички.

— А вы, — отрывисто бросает Юшкевич,— вы не хотите никогда видеть в модном ничего хорошего, я же люблю *искать*, мне старое быстро надоедает.

— Хорошее, талантливое никогда не должно надоедать,— возражает Ян,— да и откуда вы взяли, что я не хочу видеть таланта там, где он действительно есть? Только, на беду, я его так редко вижу.

— Нужно искать и искать! — не слушая, кричит Юшкевич.— Вот, например, Рукавишников [48].

Но мое внимание отвлек Копельман, который, с нажимом произнося каждое слово и ударяя указательным пальцем по воздуху, поучал:

— Нет, теперь наступает время романа. Леонид Николаевич должен писать роман. Короткие рассказы отжили свой век.

Андреев, отхлебывая чай, слушал с усмешкой и молчал. Молчал и Скиталец.

После ужина мы сидели в темном кабинете у горящего камина. Андреев говорил со мной. Расспрашивал об экзаменах. И, узнав, что я с ними покончила, сказал: «Я думал, что вы всегда будете их держать...» Потом говорил, что, вероятно, я много слышала о нем дурного, как и он обо мне. Я, по правде сказать, удивилась: кто мог обо мне говорить дурно, и почувствовала, что это он говорит готовыми фразами. Сообщил, что скоро мы увидимся в Москве, опять в «Лоскутной». Я смотрела на затейливо горевшие дрова. Огонь, пожары привлекали меня с детства.

Возвращаясь домой, я расспрашивала Яна о своих новых знакомых, что они за люди? Неистовство Юшкевича, многозначительное молчание Скитальца, ехидство Серафимовича,— все удивляло меня.

— Юшкевич нравится мне,— заметил Ян,— он всегда несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический, а вот Серафимовича терпеть не могу. Обратила ты внимание на его лошадиные зубы?

## 6

У нас было так много приглашений, что на осмотр города не оставалось ни одного часа.

Выдался особенно трудный день. Мы приглашены к завтраку за город к нашему другу, профессору Политехнического института, Андрею Георгиевичу Гусакову. От Выборгской стороны по Самсоньевскому проспекту ходил паровичок, с несколькими вагонами (через несколько лет проложили трамвайный путь). За завтраком был Владимир Матвеевич Гессен, большой друг Андрея Георгиевича. Пробыли мы там не больше двух часов, так как у Яна были свидания по сборнику, а кроме того, мы должны были нанести визит Рахмановым, которые уже не занимали квартиры при Министерстве народного просвещения, а переехали на Николаевскую улицу, так как дядя вышел в отставку. Вечер мы должны были провести у Ростовцевых.

Хорошо, что журфиксы в Петербурге начинались почти в 11 часов, и мы могли отдохнуть после обеда.

Без четверти одиннадцать мы вышли из гостиницы и сказали извозчику везти нас на Морскую, где жили Ростовцевы. И все же оказались первыми гостями. Встретила нас хозяйка, Софья Михайловна, высокая, хорошо сложенная, со вкусом одетая дама. Сообщила, что Михаил Иванович в Мариинском театре, слушает оперу Вагнера. Она ввела нас в просторный кабинет с удобной мебелью, с большим письменным столом, на котором лежала наполовину разрезанная книга модного писателя, если память не изменяет, Сологуба.

Не успели мы сказать несколько слов, как стали появляться гости. Я восхищалась уменьем хозяйки вести непринужденную беседу на различные литературные темы. Она была в курсе всех течений, ловко иллюстрировала несколькими строками только что прошумевшего поэта. Ян помогал ей, становилось интересно, весело. В полночь явился хозяин, небольшого роста, коренастый, с умными глазами и свободными манерами, человек лет тридцати пяти. Он сразу заговорил о Вагнере, об опере, которую он только что прослушал, говорил с блеском, чуть улыбаясь.

Через четверть часа нас пригласили «на чашку чая». Все поднялись и направились в столовую, большую комнату с очень длинным столом. Пока рассаживались, появился профессор Кареев [49], которого я знала в лицо. Высокий, дородный, с широкой белой бородой (вероятно, приехал с заседания). Моей соседкой слева оказалась писательница Леткова-Султанова[50], красивая, крупная, уже пожилая брюнетка. Из знакомых была только М. К. Куприна, она сидела с Яном, и они о чем-то оживленно говорили (думаю, что об Александре Ивановиче).

Перед каждым прибором стояла чашка чаю, на столе выстроились бутылки разнообразных дорогих вин. Лакеи начали подавать горячие закуски, подавали без конца. Вот так «чашка чая», подумала я. Влетел высокий, стройный, с рыжими волосами на косой пробор, очень живой, весело смеющийся человек. От Летковой узнала, что это художник Бакст [51]. Леткова со мной была очень мила, вероятно, почувствовала мое смущение среди почти незнакомых людей и старалась меня из него вывести. Расспрашивала о московской писательской среде.

Часов до двух ночи никто не трогался с места. Потом понемногу стали подниматься более пожилые гости. Первым простился маститый Кареев. Недолго пробыл и Бакст. Часам к трем осталась небольшая компания: Марья Карловна, Котляревские — Нестор Александрович, академик и профессор по русской литературе, его жена Вера Васильевна, высокая красивая дама, артистка Александринского театра, брат хозяина, военный, Федор Иванович, и мы. Тут началось уже непринужденное веселье. Стоял неумолкаемый смех, Ян изображал мужиков, мещан, мелких помещиков. Ростовцев вставлял острые замечания, Софья Михайловна опять цитировала одного из современных гениев, Марья Карловна не отставала от нее, время летело так быстро, что, когда опомнились, оказалось уже половина шестого. Долго еще стояли в передней, и, прощаясь, Михаил Иванович с Яном чуть не поцеловали друг у друга руку, в последнюю секунду опомнились и от смущения друг перед другом выкинули антраша.

На следующий день Ян доканчивал свои дела, а вечером мы были на каком-то ужине, где присутствовали литераторы, адвокаты, общественные деятели. Там впервые я увидала поэтессу Крандиевскую [52]. Ян знал ее мать, писательницу, а «Туся», как ее звал Ян, подростком приходила к нему читать свои стихи. (Об этом я прочла в ее талантливой книге «Я вспоминаю».)

Она приехала с мужем. С ним я была знакома в отрочестве; он был на редкость красив. Жил в качестве репетитора в знакомой семье, проводившей лето в Царицыне. Он узнал меня и сел рядом. Туся была прелестна в своем золотистом платье с букетиком фиалок у пояса. Поразил меня ее ровный цвет лица, оттененный легким румянцем.

Федор Акимович Волкенштейн, ее муж, был в то время уже известным присяжным поверенным. Меня удивило, как он говорил о жене, о ее творчестве, рассказывал, что она иной раз неожиданно уезжает одна в Финляндию, когда ей особенно хочется писать стихи. Приглашал к себе:

— Иван Алексеевич будет беседовать с Тусей, а мы с вами вспомним Царицыно.

Я поблагодарила, но отказалась, так как на другой день мы должны были покинуть Петербург.

## 7

В Москве шли разговоры о предстоящей премьере «Жизни человека» Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника «Земля» он уже передал Блюменбергу, сам дал «Тень птицы», и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в Васильевском, такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления «Жизни человека» уехать из Москвы.

Тут обнаружилась черта Яна,— всегда откладывать свой отъезд.

Вскоре мы услышали, что Андреев в Москве. В Москву приехала и М. К. Куприна, которая нас как-то вечером по телефону пригласила в «Лоскутную».

Цѣна 20 коп.

Леонидъ Андреевъ и Ив. А. Бунинъ.

Восходящія Звѣзды.

Леонидъ Андреевъ и Ив. А. Бунинъ

Сборникъ разсказовъ и стихотвореній

Собранъ изъ разныхъ источниковъ С. С. Полятусъ

Леонидъ Андреевъ и Ив. А. Бунинъ.

Восходящія Звѣзды.

Сборникъ разсказовъ и стихотвореній.

Оригинальный человѣкъ [разсказъ] Л. Андреева.
Жаль мнѣ юности [стихотвореніе] Ив. Бунина.
«То, чѣмъ я былъ» [стихотвореніе] Д. С. Мережковскаго.
Надъ городомъ. Ив. Бунина.
Какъ я любилъ ее [стихотвореніе] К. Фофанова.
Петька на дачѣ [разсказъ] Л. Андреева.
Зеркало [стихотвореніе] С. Фруга.
Счастливъ я, когда ты голубыя [стихотв.] Ив. Бунина.
Осенніе цвѣты [стихотвореніе] С. Фруга.

Изданіе С. С. Полятуса.

ОДЕССА

«ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. СБОРНИК РАССКАЗОВ И СТИХОТВОРЕНИЙ». ОДЕССА, 1902
**Здесь помещены произведения Л. Андреева, Бунина, Мережковского, Фофанова, Фруга**
**Обложка и титульный лист**

У нее в номере мы встретили Леткову-Султанову в черном шелковом платье и Андреева. Леткова, глядя на его мрачное лицо восхищенными глазами, говорила:

— Ах, Леонид Николаевич, как я рада, что так неожиданно, да еще здесь, в Москве, встретила вас! Мы с баронессой Икскуль [53] ваши горячие поклонницы и всегда вместе читаем ваши произведения, потом обсуждаем, переживаем. Как все у вас глубоко, оригинально, как волнует! Вот теперь вернусь в Петербург, будем вслух читать вашу новую вещь в «Шиповнике».

— Я недоволен ею. Не вышло, что задумал,— отвечал Андреев.— Твоя, Ванюша, «Астма» гораздо удачнее, это лучшая вещь в альманахе, и знаешь, у меня ведь тоже астма, как прочел, так и почувствовал, что задыхаюсь.

— Бог с тобой, какой ты астматик! — смеялся Ян.

— А мне между тем все кажется, что я задыхаюсь,— настаивал Андреев.

Он был в дурном настроении. Да и мы чувствовали себя натянуто, нас стесняло присутствие Летковой, восторженное преклонение которой перед Андреевым нарушало обычную непринужденную атмосферу наших ночных свиданий. Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе.

— Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.

— Но это прекрасно, значит, мальчик здоров,— сказала я.

— Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Не от чего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни.

Через некоторое время он встал и ушел, сказав, что у него болит голова. Когда наконец поднялась и Леткова, мы пошли к Андрееву, и он неожиданно встретил нас весело:

— А я уже хотел посылать за вами, только боялся, что моя поклонница все еще у вас. Вот сейчас принесут холодный ужин, и мы славно проведем время.

И, действительно, ужин этот был особенно оживлен. Марья Карловна была в ударе, ее острый ум, беспощадный язык очень возбуждал собеседников. И о чем только они ни говорили! Кого только ни вспоминали и ни разбирали по косточкам, изображая всех в лицах!

Марья Карловна мне казалась взрослее меня, хотя, думаю, разница в возрасте была не очень большая. Может быть, потому, что ум ее был чуть циничен, что она была находчива, стояла во главе популярного «Современного мира» и со знаменитыми писателями была на короткой ноге.

Приехав по делам, она недолго оставалась в Москве.

После ее отъезда Андреев пригласил Юлия Алексеевича, Зайцевых, нас и еще кого-то в «Прагу» ужинать. С ним была его мать. Будучи нежным сыном, он брал ее в ресторан, когда хотел провести вечер с близкими друзьями.

— Я честолюбив, Ванюша, а ты самолюбив,— сказал он неожиданно, обратившись к Яну, когда тот с удовольствием ел вечного своего рябчика.

— Пожалуй, ты прав,— ответил с улыбкой Ян,— я, действительно, очень самолюбив.

— А я нет. А честолюбие у меня большое.

Он был хорошо настроен в ожидании постановки «Жизни человека». Вина не пил (вероятно, присутствие матери удерживало его). В этот вечер они с Верой Зайцевой перешли на «ты».

Николин день провели с гостями дома, а вечером отправились на именины Н. Д. Телешова. Там была почти вся «Среда». Мне очень нравилась хозяйка [54], которая была ко мне внимательна. Ее брата, Александра Андреевича Карзинкина [55], я знала с тринадцати лет. Он был другом Алексея Васильевича Орешникова [56], на даче которого я видела его в первый раз. Он тогда только что вернулся из Туркестана, где у него были хлопковые плантации. Он принес из своего погреба бутылку старого вина, поставил ее перед Яном.

На первом представлении «Жизни человека» мы не были. Нас пригласили, к моему удовольствию, на генеральную репетицию. Впечатление у меня было странное,— я до конца не поняла этой пьесы. Успех она имела. Во многих газетах появились хвалебные статьи.

Наконец после долгих откладываний, мы накануне Рождества уехали в деревню, оставив в комнатах большой беспорядок, очень смешивший маму. Она говорила, что мы чем-то очень похожи друг на друга.

Взяли путь через Орел, где была пересадка на Юго-Восточную железную дорогу.

## 8

В Измалково мы приехали, когда было темно. За нами были присланы широкие сани и тулупы. Выехав в поле, мы увидели, что снизу метет. Ян сказал:

— Ведь это поземка! Будь внимателен, Илюша.

Некоторое время мы ехали по дороге, я с наслаждением смотрела на небо, на бесконечное снежное поле.

Неожиданно Ян крикнул:

— Илюша, ты сбился с дороги, разве не видишь? Мы съехали в овраг!

Лошади остановились, мы вышли из саней. Снизу сильно мело, а в небе были огромные звезды. Сириус так и сверкал своим синим огнем, голубая Вега и красный Арктур меня обрадовали, точно я встретила родных,— давно я не видела такого зимнего неба. А Ян уже со страхом в голосе кричал:

— Пропали, пропали!

И вместе с кучером куда-то тащил сани, которые глубоко увязли. Я стояла очарованная, не понимая, почему он так волнуется. Наконец после долгих усилий сани были вытащены на более высокое, твердое место, и он сказал Илюше, указывая на звезды, куда надо держать путь. Мы стали медленно подвигаться вперед. Через некоторое время услышали колокольный звон.

— Это на глотовской колокольне звонят,— сказал Ян,— поняли, что мы заплутались, хотят дать нам направление, нужно ехать по звону.

Софья Николаевна, Коля и Петя, действительно, были встревожены нашим запозданием. И как показалось уютно в теплом помещичьем доме!

Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел вовремя, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках в Колонтаевку. День был солнечный, с синим небом, и все было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, надписав одно слово: «Иней».

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами, Коля знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с увлечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то, что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращали внимания. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели в кабинете Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Писал стихи. Начал переводить «Землю и небо» Байрона, а под самый конец написал «Старую песнь». Обсуждались и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: «Кто выше, Флобер или Толстой?» Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, «Юлиана Милостивого», «Поликушку» или то место из «Анны Карениной», где у Анны в темноте светились глаза, и она это видит...

## 9

В Москву с нами опять поехал Коля. Мы опять остановились у моих родителей. Не помню точно числа, когда я впервые увидала Шмелева, но помню ярко тот вечер, когда я познакомилась с ним у Махаловых.

Хозяин дома, драматург Разумовский, собрал московских писателей на пьесу Шмелева. Была ли это «Среда» или просто литературный вечер? В памяти встают уютная квартира во втором этаже (по-русски) деревянного дома, гостеприимные хозяева, обильный ужин с горячими закусками. Но ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева. Небольшого роста, с нервным асимметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека. Видимо, он волновался и был рад приступить к чтению. Содержание пьесы выпало у меня из памяти, но, вероятно, что-то из военной жизни [57], так как один герой был денщик. Ян после чтения сказал:

— Вот у вас денщик говорит: «Так что ваше благородие» — уж очень это истрепано, во всех анекдотах...

Шмелев неприятным тоном:

— А что ж, ему по-французски, что ли, говорить прикажете?

Было не в обычае услышать такой тон среди писателей. Конечно, у Яна пропала охота делать дальнейшие замечания.

В конце января 1908 года праздновался юбилей Южина,— шел «Отелло» [58]. Мы на этом чествовании не были. А на другой день в Художественном кружке был банкет, данный друзьями и почитателями юбиляра, праздновавшего свою серебряную свадьбу с Малым театром. В переполненном большом зале Кружка Николай Васильевич Давыдов [59] от студенческого общества любителей изящной литературы приветствовал Южина и преподнес ему звание Почетного члена этого Кружка. С речами выступали Баженов [60], Федотов [61], Боборыкин, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Читались телеграммы от Златовратского, Леонида Андреева, Найденова, Модеста Ильича Чайковского и других, телеграмма Суворина вызвала шиканье. Потом говорили князь Долгорукий [62] и присяжный поверенный Ледницкий.

Особенно восторженно были встречены приветствия председателей Государственных дум Муромцева и Головина и членов Первой думы Иваницкого и Кокошкина. Закончилось все веселым рифмованным перечнем пьес Александра Ивановича, сочиненным и прочитанным остроумным актером театра Корша Борисовым.

Я сидела рядом с Телешовым, и Николай Дмитриевич называл незнакомых мне лиц, давал им краткую характеристику, так что мне все время было интересно.

## 10

Мы уже начали, как говорилось у Буниных, вырабатывать маршрут нашего весеннего путешествия. На этот раз в европейские страны. А в самом начале февраля пришла телеграмма из Грязей: о внезапной болезни сестры Буниных, туда выехали Настасья Карловна и Евгений Алексеевич, который недавно виделся с сестрой и нашел ее в очень хорошем виде:

— Какая ты стала гладкая! — сказал он по приезде недели две назад.

На другой день пришло и письмо, в котором было сказано, что у Маши страшные боли в животе, после скандала с мужем. Доктор ничего не понимал, советовал везти в Москву. И дня через два мы встречали Настасью Карловну с Машей на Казанском вокзале.

Вид Марьи Алексеевны меня поразил: темный цвет лица, точно оно было под сеткой. С вокзала ее повезли в «Лоскутную» и поместили там вместе с Настасьей Карловной. В тот же вечер был у нее профессор Усов. Он нашел, что нужно обратиться к хирургу Алексинскому, который, осмотрев больную, посоветовал перевезти ее в Иверскую общину, где он должен был сделать операцию. Мой дядя, Всеволод Николаевич Штурм, создатель этой общины, помог все быстро устроить.

ДОМ ПУШЕШНИКОВЫХ В СЕЛЕ ГЛОТОВЕ
Фотография
Музей И. С. Тургенева, Орел

Привожу письмо Ивана Алексеевича к Петру Александровичу Нилусу об этих днях (20 февраля 1908):

«Недели две назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешеные расходы и т. д. Позапрошлое воскресенье знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа,— и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, т. е. долгая и мучительная смерть. А у нас, кроме того, есть старуха мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевезти в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать,— до стихов ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации ни с того ни с сего — обыск. Я чуть не задохнулся от злобы.

...Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше».

Да, это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово «операция» их донельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась, как к казни. Кто только ее ни уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент-медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику, где у нас был знакомый ординатор В. Н. Аристархов. С его матерью и сестрой мы подружились в Крыму. И он часто заходил к Марье Алексеевне. Ей в клинике стало лучше, она уже вставала и ходила по палате, в которой была одна. Конечно, как в общине, так и в клинике, мы по очереди ежедневно навещали ее. Она была трудной и требовательной

больной. Нужно было привозить икру и всякие вкусные гостинцы. Ей казалось, что раз есть деньги на жизнь, лучшую, чем ее, то их можно тратить на все, и средства не иссякнут. Конечно, боясь ее огорчать, мы исполняли все ее прихоти. В клинике лечили ее рентгеном и лекарствами.

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

«Дорогой, милый Петр, вчера была у меня большая радость — появилась надежда, что положение сестры не так уже опасно: Головинский, который осматривал сестру почти месяц тому назад, заявил, что у нее не саркома... а что именно, покажет будущее».

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве, так как Юлий Алексеевич, человек легко теряющийся, чувствовал бы себя очень одиноко без нас обоих.

Из деревни Ян послал открытку П. А. Нилусу, 15 марта:

«...Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой я уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер... Потягивает на юг. Пожалуйста, напиши мне сюда,— между прочим и о твоем плане пожить в апреле на даче. Меня это интересует, ибо кто знает, сколько я здесь пробуду».

И, действительно, недолго он прожил в деревне. Вскоре вернулся в Москву.

Графиня Бобринская, «товарищ Варвара», решила издавать сборники «Северное сияние». Бунин был приглашен редактором этих сборников. Это было очень кстати. Секретарем их был Лев Исаевич Гальберштадт [63].

Вскоре Ян получил приглашение выступить на вечере в Киеве. Он с радостью туда поехал. Из Киева отправился в Одессу, хотел немного отдохнуть среди друзей-художников, но внезапно оттуда уехал, получив от меня письмо,— так он объясняет в письме из-под Конотопа П. А. Нилусу свой неожиданный отъезд.

Вероятно, я сообщила, что закрывается клиника и нужно перевезти Машу в какую-нибудь частную лечебницу. По его приезде мы решили Машу поместить в санаторию доктора Майкова, приятеля Юлия Алексеевича. Она находилась довольно близко от нашего дома.

Сергей Федорович Майков, очень любезный человек, поседевший от рентгена, был внимателен к сестре Буниных: взял самую низкую плату, и когда Марье Алексеевне не понравилась комната, то ей отвели лучшую за ту же цену. И там продолжали ее лечить рентгеном. После временного улучшения болезнь обострилась, Маше стало хуже. Она с каждым днем худела и слабела. Приглашались знаменитые хирурги, как Постников, знаменитые терапевты, как профессор Головинский, и все безрезультатно,— никто не мог поставить диагноза, теряясь в догадках.

Марья Алексеевна принадлежала к трудным больным и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера, и от мнительности, и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Карловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич.

Ян, как всегда, откладывал отъезд, дотянул до Страстной и внезапно решил ехать в Святую ночь, говоря, что «в эту ночь пассажиров будет

М. А. БУНИНА

Фотография. Елец, 1898

На обороте — дарственная надпись М. А. Буниной И. А. Ласкаржевскому и поздняя помета Бунина: «Моя покойная сестра Маша»

Парижский архив Бунина

мало»,— взять билеты первого класса мы не могли, и он боялся бессонной ночи в вагоне.

Конечно, моей семье было грустно, что я опять не буду с ними у заутрени, не буду с ними разговляться. Я пробовала уговорить Яна, чтобы он поехал с братом, а я приеду к нему через два дня. Но он, живший в большой тревоге, ни за что не хотел расставаться со мной. Понятно, нас многие осуждали. А член судебной палаты Мальцев, снимавший в нашем доме квартиру, сказал мне:

— Ну, знаете,— это по-декадентски!

Я ответила, что мать Ивана Алексеевича, находившаяся в сильном горе, будет хоть немного утешена, если мы проведем с ней праздники.

## 11

Ян оказался прав: вагон второго класса был почти пуст, и мы имели отдельное купе, дав на чай кондуктору. Утром мы приехали в Ефремов.

Мы с Яном остановились в номерах Маргулина, прожили дней десять. Бунины сдали комнату дантистке, и Евгений Алексеевич завел с ней роман. Настасья Карловна очень волновалась. Братья взяли ее сторону и уговорили его «бросить эту историю», сообщив о состоянии Маши, но просили до привоза ее в Ефремов ничего не рассказывать матери. Евгений Алексеевич очень любил свою младшую сестру, относился к ней с нежностью, так как был ее крестным отцом,— она была лет на пятнадцать моложе его, и они почти всю жизнь до замужества Маши прожили вместе. Красивая зубная врачиха съехала от них, так как ее комната нужна была для больной сестры. Настасья Карловна после нашего отъезда отправилась в Москву вместе с Юлием Алексеевичем за Машей.

Матери было трудно: на ее руках оказалось двое детей. Пока мы жили в Ефремове, я почти все время проводила с ней и детьми. Сыновья, точно боясь оставаться с нею с глаза на глаз, почти всегда бывали в отсутствии, и мне было донельзя жаль ее. С детьми же я любила возиться.

Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна,— все было в цвету. Я тогда была огорчена, что наша поездка за границу не состоялась, а теперь я рада, что судьба подарила мне такую прелестную весну: снежная белизна фруктового сада, соловьи. Это напомнило мне мои детские и отроческие впечатления. Я дважды пережила такую чудесную весну в бабушкином имении Тульской губернии, Крапивенского уезда: первый раз, когда мне было семь лет, а второй в одиннадцать лет. Фруктовый сад у бабушки занимал двадцать девять десятин да вишенник— десять, так что впечатление было незабываемое. Здесь сад был меньше, но все же он буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Ян писал стихи. Написал «Бог полдня» и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства «Земля». Писал «Иудею».

Я начала по его совету переводить с английского «Энох Арден» [64].

Машу перевезли в Ефремов. Мы навестили ее. Она была до жути худа. Лежала в комнате, где жила дантистка. Решили пригласить к ней земского врача Виганда, который лечил ее и Людмилу Александровну. Жара несусветная. В доме было душно. Жизнь бестолковая. Кроме Настасьи Карловны, никто ничего не делал. Дети распустились.

После нашего отъезда был приглашен Виганд, который сделал то, чего не могли сделать столичные знаменитости,— Маша стала поправляться. На Кирики приехали братья Бунины и сообщили эту утешительную новость. Юлий Алексеевич прожил с нами дней пять и поехал через Ефремов домой. При нем опять приезжали мои родственники из Предтечева. Раза два и я одна съездила к ним. Мне всегда бывало приятно проводить время с Нюсей, остроумной и изящной моей кузиной.

Урожай яблок был редкий, целыми днями к шалашу в фруктовом саду шли вереницей бабы, девки, ребята, покупая или обменивая фрукты на яйца, хлеб, молоко. Издали в поле был слышен аромат плодового сада. Я послала ящик яблок своим.

За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована.

Это лето было для меня полно незабываемых, впервые пережитых впечатлений.

## 12

В Москву мы приехали в конце августа. Опять остановились в Столовом переулке.

28 августа поехали к Телешовым на дачу, в Малаховку, половина которой принадлежала им. Они занимали у самого озера двухэтажный дом в шведском стиле с большими террасами и балконами, сад-цветник доходил до озера. Мы провели там целый день. Погода была прелестная — преддверие бабьего лета.

Поехали в Петербург. Остановились опять в «Северной гостинице». Ян распродал кое-что из летнего запаса. Приобрел материал для второго сборника «Земля» и для «Северного сияния».

Были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из деревенских обитателей или общих знакомых, все повторял:

— У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде «Сна в летнюю ночь», почему вы не попробуете?

Жаловался на одного писателя, что он ему предлагал только что две пьесы, и задумчиво произнес:

— Иному отцу, если родится двойня, и то неловко.

Смеясь, жаловался, что жена кокетничает со всеми: с дворником, со стулом, с кем угодно!

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо уехать в деревню. Мне не хотелось: 14 декабря было совершеннолетие Павлика, и мне приятно было бы провести этот день с ним. Но Ян был неумолим, и я утешалась тем, что ехали мы вдвоем — Коля еще брал уроки пения,— я уже тяготилась родственниками Яна, с которыми он проводил почти все досуги, ему же хотелось, чтобы я слилась с ними.

В деревне жили Софья Николаевна с братом. Мне была приятна такая жизнь.

Ян перед писанием читал стихи Случевского. Пересматривал еще ненапечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в инее, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе.

Через несколько дней после этого пришло письмо от Нилуса, который сообщал, что едет в Москву. Ян сказал, что он забыл переговорить с Блюменбергом об очень важном деле, что ему нужно поехать на несколько дней в Москву... конечно, он не отрицал, что ему будет приятно побыть и с «Петрушей», но ехать обоим трудно, громоздко, и денег у нас было в обрез. Мне стало обидно: он как раз попадет на рождение Павлика.

## 13

На Святках, только что Ян принялся писать «Беден бес», как получил от Нилуса известие, что Куровский серьезно заболел: грудная жаба. Мы сильно встревожились. А вскоре и Ян свалился: «дьявольский» насморк, жар, гастрит. Приезжал даже фельдшер из Предтечева. К счастью, через неделю стал поправляться. 2 января послал письмо Нилусу; делаю из него выдержки:

«Очень встревожен известием о Павлыче. Думаю, что сейчас дело еще не столь опасно, как показалось вам в первую минуту, но грудной жабе верю. Можно и с ней долго жить, но покой нужен, а Павлычу давно, давно пора отдохнуть. Уговорите его взять большой отпуск, придумайте хорошее место отдыха. Пишу и ему».

Далее Ян пишет, что Грузинский хвалит Нилуса за его рассказ. Сообщает адрес «Бюро газетных вырезок», сообщает условия и шутит, что он должен, как автор «На берегу моря», подписаться на самое большое количество вырезок. Просит передать Федорову просьбу дать как можно скорее для «Северного сияния» рассказ в поллиста или в три четверти. Просит и у Нилуса «шедевра» для «Северного сияния».

Поправившись, Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил «Беден бес», «Иудею» и отрывки перевода из «Золотой легенды».

12 января он посылает Нилусу следующую открытку:

«Забыл *главное*, главное: в условии с „Шиповником“ надо непременно обозначить срок, на какой продаешь книгу. Надо написать: „1 марта 1911

я, Нилус, имею право снова выпустить эту мою книгу „Рассказов“ в каком мне угодно издательстве, будет ли распродано издание „Шиповника“ или нет — все равно“. Ив. Бун.». Сбоку: «Вера кланяется».

## 14

В Москве то и дело Ян простуживался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать за границу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу «Анатэма». У Телешовых в то время не было большого помещения, и «Среда» была устроена у Зайцевых. Они жили на Сивцевом Вражке, снимали вместе с Таней Полиевктовой в особняке нижний этаж, где были две больших комнаты — столовая и кабинет.

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, непричастных к литературе. Долго сидели в ожидании автора. Наконец он приехал, но читать пришлось Голоушеву. Послушав недолго, Леонид Николаевич поднялся и вышел в столовую, за ним последовало несколько приглашенных, мы в том числе.

Он сел в углу, у печки, его окружила молодежь. Андреев, держа бокал вина, уже еле говорил. Один юноша, смуглый, со смоляными волосами, наставительно и проникновенно повторял:

— Нет, Леонид Николаевич, вы не имеете права говорить так. Мы все чутко прислушиваемся к вашему голосу, а вы между тем... Жизнь нельзя, стыдно отрицать!

Андреев, тяжелым взглядом уставившись в одну точку, однословно возражал:

— Нет, не так, это совсем не то... глупо...

Когда кончилось чтение «Анатэмы», слушавшие вышли из кабинета во главе с Голоушевым. Некоторые гости начали рассыпаться перед автором, выражать восторги, но ему стало скучно их слушать, и он быстро сел за стол, а за ним и остальные. Моим соседом оказался В. В. Вересаев. Он, конечно, слушал пьесу и укорял меня, что я ушла за автором. Когда-то в ранней юности я любила рассказы и романы Вересаева, он писал о молодежи и поднимал «проклятые вопросы». Я сказала ему об этом. К моему удивлению, он сконфузился.

Я была простужена, кашляла, кроме того мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу; а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: «Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы,— все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется „ученость свою показать“, и как он не понимает, при своем уме, что этого делать нельзя? Я думаю, это оттого, что в нем нет настоящей культуры».

## 15

В вагоне ларингит мой усилился. В Киеве была пересадка, но мы в город не поехали. Поезд от Киева до Одессы был гораздо лучше, чем до Киева. Остановились в «Петербургской гостинице». Ян известил Нилуса и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам. Они быстро ушли завтракать. На прощанье Ян посоветовал мне спросить завтрак в номер, заказать кефаль по-гречески.

Друзья пропали на весь день. Мне, конечно, было и скучно, и неприятно от ожидания. Выйти я не могла, боясь разболеться перед отъездом за границу. В Одессе мы должны были пробыть с неделю. У меня были там родственники, семья покойного папиного дяди, Аркадия Алексеевича Муромцева.

А. М. ФЕДОРОВ
С СЫНОМ ВИКТОРОМ
Фотография, 1907—1908 годы
С дарственной надписью «Я и мой мальчик. Дорогому моему другу Ив. Алекс. Бунину. Любящий А. Федоров. 13 янв. 08 Москва»
Музей И. С. Тургенева, Орел

Вернулся Ян только в полночь в сопровождении Куровского. Ян был неприятен и задирчив,— я увидела, что лучше его не упрекать. Посидевши недолго, они опять исчезли, вероятно, пошли в пивную Брунса.

К счастью, ларингит быстро у меня прошел, и я стала выходить, знакомиться с городом. Зашла к родственникам. Они радушно меня приняли и старались развлекать. Со своим «дядей», которого я называла просто Володей, мы много ходили по улицам. Он был забавный, большой эрудит. Изучал химию, но от нервности не мог держать экзаменов и так и не окончил университета, и пока еще нигде не служил. Он хорошо говорил, с ним никогда не бывало скучно, у него тоже был дар, как у Яна, изображать людей.

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых, и Лидия Карловна говорила со мной о художниках, о том, что они всегда хотят быть без жен, и что многие жены от этого очень страдают, а некоторые стали жить своей жизнью. Например, жена Заузе все свои досуги отдает карточной игре, у нее постоянная компания, другие заводят романы, иногда бросают мужей, как, например, жена Дворникова.

— Я вся ушла в воспитание сына, Витя этого стоит, он очень талантливый мальчик. Тут ничего не поделаешь,— со вздохом сказала она.

Мне стало грустно,— у нас в Москве этого разделения не было. Мы везде бывали вместе, вместе и веселились, и вели серьезные, интересные беседы, и я была рада, что все же в Москве мы будем жить дольше, чем в Одессе. Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна. Из художников она жаловала только Петра Александровича Нилуса, других она почти ненавидела за то, что они отнимали ее мужа от семьи.

— Не было ни одного праздника,— жаловалась она,— ни одного воскресенья или четверга, будь это на Страстной неделе, чтобы Буковецкий не приглашал его к себе. И это продолжалось, пока Буковецкий не же-

нился. А после свадьбы перестал у себя устраивать «четверги», и их перенесли к Доди. И вот добились, что у Павлыча был такой припадок. Мы так за него боялись, и дети и я, да и художники испугались. Впрочем, как дети подросли, он стал бывать у Буковецкого реже, через воскресенье. Теперь у него обеды по воскресеньям.

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились: Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дуэт «Не искушай меня без нужды»,— все трое были на редкость музыкальны; Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместо с Яном. Потом маленький Шурик Куровский изобразил какого-то старичка, чем вызвал одобрение.

Была я и на «четверге» в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот «мальчишник», где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя.

У меня была шляпа, черная, из мягкого фетра со страусовым пером и с завязками под подбородком, она шла ко мне, как говорили в Москве. И я не надела ее к художникам... от застенчивости, конечно.

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок и с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей был, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерибас, потомок создателя Одессы, и Филиппов. В этот вечер я познакомилась с милым Эгизом [65], маленьким, ко всему и всем благостным караимом. Буковецкого не было. Он, кажется, не посещал этих сборищ. Был еще небольшого роста с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того, как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем, который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал романс на стихи Бунина: «Отошли закаты на далекий север», и исполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой. Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля.

— Но ведь это день рождения Оли Куровской, ей минет 16 лет, они будут торжественно праздновать этот день и огорчатся, если мы уедем.

— Нет, достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать,— твердо возразил Ян.

В день нашего отъезда мы были у Куровских, Ян подарил Оле коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что за границей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того, Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что несмотря на долгие разговоры куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он, действительно, устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на Запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала.

# ИТАЛИЯ

## 1

В вагоне, в спальном отдельном купе, Ян пришел в то настроение, которое мне было особенно по душе: он стал веселым, заботливым, говорил о том, о чем в обычной жизни не высказывался.

— Я чувствую себя на редкость хорошо в мотающемся вагоне в темные ночи; заметь, как хороши огни станций в щелку и какое это поэтическое чувство — знать, что ты далеко, далеко ото всех.

Через Волочиск мы приехали в Вену, где шел дождь, и было холодно в наших легких одеждах, и мы пробыли там всего дня два. Заглянули в собор святого Стефана, который так крепко вошел в мое сердце, что ни один собор не мог его вытеснить, а я много их осматривала. Послушали мы в нем и великолепный орган. Впечатление незабываемое.

Побегали по городу, были в Пратере, но главное занятие было — искать по ресторанам гуляш, которого мы так и не нашли, что Яна очень сердило. Из Вены мы направились в Инсбрук, где уже было совсем холодно, пришлось под костюм надеть очень теплую вязанку, которую мама заставила меня взять. Но живительный воздух совершенно опьянял нас, и холод был приятен. Мы часто вспоминали этот уютный тирольский городок, залитый солнцем, окруженный горами, где так весело раздавались звонкие шаги.

В Италию мы спустились по Бреннен-Пассу, в солнечно-ослепительный день. Ян мечтал пожить в какой-нибудь тирольской деревушке с каменными хижинами, куда по вечерам возвращаются овечьи стада с подвешенными колокольцами. И воскликнул: «Как было бы это хорошо!»

Когда мы переехали границу и очутились в Италии, то сразу почувствовали иной мир: вместо высоких сильных жандармов появились в касках с перьями маленькие военные, и уже на вокзальной тележке были фисташки и апельсины. И то и другое Ян мгновенно купил. И тут же начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что «я вот-вот возненавижу Фра-Анжелико, Джотто и даже самое Беатриче вместе с Данте...»

— А ты чувствуешь, какой здесь легкий воздух? — перебил он себя.

Вечером мы добрались до Вероны, где оперные итальянцы в своих плащах, красиво закинутых за плечо, дали почувствовать иную эпоху. Вернувшись в отель, мы спросили минеральной воды, но нам не дали, сославшись, что поздно, а Ян не позволил выпить сырой воды, и мы легли спать в сильной жажде. К счастью, от усталости скоро заснули, и я видела сон, что пью масло из масляной банки в лаборатории, под вытяжным шкапом, где что-то в реторте нагревается. Это было так отвратительно, что я запомнила на всю жизнь.

Из Вероны, осмотрев древний амфитеатр, мы поехали в Венецию. Прибыли уже вечером, за дорогу очень устали, но в траурной гондоле с красавцем гондольером почувствовали такое спокойствие, плывя в город-призрак и слушая пение, раздававшееся со всех сторон, что усталость как рукой сняло,— захотелось пожить здесь. К сожалению, скверная погода не позволила нам долго остаться. Осмотрев бегло Венецию, мы взяли билеты в международном вагоне и отправились в Рим, решив там остановиться. Но и там встретило нас серое низкое небо с дождем и ветром. У нашего вагона стоял русский лакей в ливрее, помогавший старой княгине сходить со ступенек вагона. И мы взяли билеты дальше, на юг, спа-

саясь от непогоды и от старой княгини с ее ливрейным лакеем. В Неаполе, где было теплее, мостовые блестели от только что пролившегося дождя.

Остановились мы на набережной, в гостинице «Виктория». И пробыли в ней трое суток. Неаполь, несмотря на изумительный вид из наших окон, разочаровал меня: я представляла его меньше, утопающим в зелени, а оказалось,— большой шумный город, в котором я от усталости растерялась. Но вот наутро мы поднялись на Вомеро, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами, в душе звучало: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?» [66] А потом рыбный завтрак с холодным вином «позилиппо» в огромном длинном ресторане, еще пустом,— сезон едва начался,— и Неаполь победил меня.

О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного. Часто в жизни играет роль пустой случай. На третий день нашего пребывания в этом городе песен и мандолин мы уже освоились с пристававшими мальчишками, смело отбиваясь от них словами «виа, виа»; примирились с тем, что кофий был отвратительный, как, впрочем, и во всей Италии; слушали в салоне после длинного обеда пение и игру неаполитанцев, старший обходил всех с шапкой, и один раз англичанин положил такую маленькую монету, что старичок, талантливый исполнитель песен, возвратил ему этот грош; Ян уже не удивлялся, когда перед сном выходил один на улицу, что к нему подбегали со всех сторон подозрительные личности и, суя открытки, предлагали: «табло виван».

В тот день утром мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты. Вернувшись, пошли завтракать в «Шато д'Ово» (Яичный замок), ели фрутти ди маре, лангусту, запивая все холодным белым вином.

За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним, Ян опять ответил неопределенно. Он, посмеиваясь, рассказал, что в последний раз виделся с ним и Марьей Федоровной во время «вооруженного восстания», когда они жили на Воздвиженке, квартира была забаррикадирована, в передней сидели в черных папахах, вооруженные кинжалами, револьверами и двустволками кавказцы, охранявшие его, хотя никто не нападал. А я рассказала, что как раз перед «вооруженным восстанием» в нашем доме на квартиру Шарапова было произведено нападение. Шарапов, человек правого политического направления, писавший по аграрному вопросу, снимал у нас большую квартиру в нижнем этаже по Скатертному переулку. Однажды поздно вечером было сделано несколько выстрелов в окна, посыпались стекла, нападавшие убежали, а к нам перенесли на ночь маленьких детей Шараповых; через несколько дней они съехали с квартиры.

После обильного итальянского завтрака мы вернулись в отель, легли отдохнуть и проспали почти до обеда.

Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метрдотель очень извинялся, предлагал другой стол, начал называть его «принчипэ», но Ян остался неумолим.

Мы отправились к Воронцам [67], друзьям Буниных по харьковской жизни, которые поселились на Вомеро. И мы опять полюбовались широким видом, но уже при вечернем освещении.

Воронцы были эмигранты после 1905 года, осели в Неаполе из-за климата, вели тихую скромную жизнь. Они обрадовались Яну, ласково приняли и меня. Весь вечер прошел в оживленных воспоминаниях о прошлой,

почти нищенской жизни, когда приходилось, по словам хозяйки, делить «каждую фасоль пополам», но все же тогда было необыкновенно весело, безмятежно. С Горьким они не были знакомы, но говорили, что его дом поставлен на широкую ногу.

## 2

На следующее утро, в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И, действительно, не знали куда глядеть: на Везувий ли, грозно царивший над беззаботными неаполитанцами, на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие манящие Абруццкие горы, или на выступающий из воды остров Иския, с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви опростившийся Ламартин; но вот и Капри, где живет изгнанник, наш русский писатель, который с гимназических лет занимал мое воображение своими романтическими босяками.

Остановки, крики, итальянские лица со сверкающими глазами и зубами. Вот и Сорренто, показавшееся нам тесным: отвесный берег с виллами, отелями, садами. А минут через двадцать и Капри. Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть в лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней.

Капри и для нас оказался островом, и островом сказочным,— он не соединен ни с прошлыми, ни тем более с последующими событиями нашей жизни. Очутились мы на нем в одну из самых счастливых весен, во всяком случае моих. Ян, как я уже писала, не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит.

Высадившись, мы пошли в ближайший отель, расположенный на берегу, оставили там наши чемоданы, позавтракали, поразившись дешевизной и свежестью рыбы и, отдохнувши с час в отведенной нам комнате, отправились пешком в город. Дороги вились среди апельсиновых садов, открывая при каждом повороте все более и более широкий вид.

— Знаешь, зайдем к Горьким,— неожиданно предложил Ян,— они посоветуют, где нам устроиться, и мы можем некоторое время отдохнуть, мне здесь нравится.

Я с радостью согласилась.

Когда очутились на площади, необыкновенно уютной, и, постояв на ней и вдоволь налюбовавшись видом на Неаполь, мы спросили кого-то, как пройти к Горькому, этот кто-то нам с готовностью указал дорогу. Мы нырнули в узенькую улочку и пошли по ней.

— Кажется, это Катя, дочь Марьи Федоровны! — воскликнул Ян, увидя идущих навстречу нам двух молоденьких барышень, одну полную, высокую, а другую миниатюрную.

Так и оказалось: высокая барышня была пятнадцатилетняя Катя Желябужская, она была похожа на отца, которого я знала, и я сразу уловила ее сходство с ним, оно было в полных губах и нижней части лица. Спутница Кати оказалась женой эмигранта, она была приставлена к ней, но у них были дружеские отношения, и Катя коноводила своей компаньонкой.

От них мы узнали, что Горькие через полчаса отправляются в Неаполь.

— Но вы все же их застанете,— сказали они и еще раз объяснили, как найти виллу Спинола.

Виллой, где жили Горькие, замыкалась улочка. Ян позвонил. Высокую дверь нам открыл красавец и что-то стал говорить по-итальянски. Не слушая, мы прошли мимо него и стали подыматься по узкой лестнице, Ян опередил меня. Вдруг я услышала грудной знакомый голос:

— Иван Алексеевич, какими судьбами?

На стеклянной веранде, выходившей в римский сад, в сером костюме и маленькой синей шляпке стояла мало изменившаяся Марья Федоровна, как всегда элегантная. Мы с ней познакомились. В этот момент из боковой двери вышел в черной широкополой шляпе Горький. Он радостно поздоровался с Яном и приветливо познакомился со мной.

Нас сразу они забросали вопросами, на которые мы не успевали отвечать. Ужаснулись, что наши вещи остались на Гранда Марина. Марья Федоровна посоветовала отель «Пагано». Затем нас стали уговаривать пожить на Капри подольше.

— Катя все устроит. Хозяева «Пагано» — наши друзья. Мы всего на три дня в Неаполь. Вернемся и тогда уговорим вас остаться здесь.

Мы быстро пошли по узенькой улочке, где встречные радостно здоровались с Горьким, а Марья Федоровна каждому что-то говорила по-итальянски.

— А какие тут звездные ночи, черт возьми! Право, хорошо, что вы приехали, поедем рыбу ловить! — говорил Алексей Максимович, тряся руку Яна, а потом мою около фуникюлера.

Я была рада, что так случилось, что мы одни несколько дней поживем на Капри, оглядимся, и я привыкну к мысли, что буду проводить время с Горьким и артисткой Андреевой, которая, несмотря на свою любезность, вызывала во мне стеснение.

Катя оказалась милым и общительным подростком. Быстро нас устроила в отеле, где все стены были расписаны неизвестными художниками, которые иной раз оплачивали этим свое пребывание там. Много, с большой любовью, Катя говорила об «Алеше», как звала она Горького. Еще больше она рассказывала о «Зине» [68], своем «названом брате», которым она восхищалась, и сообщила, что он живет в качестве секретаря у Амфитеатрова в северной Италии и часто наезжает к ним. Понемногу она ввела нас в быт горьковской семьи. Все три дня, пока Горькие были в отсутствии, она со своей милой компаньонкой заходила к нам. Сообщила, что патрон острова — святой Константе, что от Гранде Марина до Анакапри 777 ступенек, высеченных Тиверием,— дорог в те времена не было. Рассказывала, что на полугоре жили хищники, пожиравшие христиан, что до сих пор существуют старухи в Анакапри, которые никогда не спускались в Капри, и что здесь население говорит на разных диалектах. Обитатели Капри очень честны. Когда владельцам магазинов нужно куда-нибудь пойти, они никогда не запирают дверей, и никто ничего не крадет, а если что-либо нужно человеку купить, то он просто возьмет это в магазине, оставив там деньги.

Все три дня я была в опьянении, и с этих дней началось то сказочное, что мне довелось пережить той весной.

Вернулись Горькие, но не одни, с ними прибыли Луначарские. Кроме того, у них гостила дочь профессора Боткина, которую они звали «Малей» [69], и жил больной туберкулезом товарищ Михаил, черномазый рабочий, с некрасивым лицом и веселыми глазами [70].

Как раз подошли домашние праздники: 16 марта старого стиля день рождения Алексея Максимовича, а 17 марта его именины. И мы попраздновали. Впрочем, все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас

КАПРИ

Акварель С. Корроди. Вторая половина XIX р.

Музей А. М. Горького, Москва

просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос».

Много говорили мы и о Мессинском землетрясении. Марья Сергеевна Боткина, сестра милосердия, побывала на месте бедствия. Восхищались самоотверженностью русских моряков.

На вилле Спинола в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было.

Сама вилла была прелестная: одна стена в кабинете была скалой. Дом старинный, с высокими просторными комнатами, их было семь или восемь, со старинной мебелью. Широкое низкое окно кабинета, за которым стояли цветы: «И качались, качались цветы за стеклом...» С балкона открывался вид на Неаполь. Думать, работать в таком кабинете было приятно. В этот приезд мы редко в нем сидели⟨...⟩

Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где асти в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпанементом мандолин и гитары местных любителей; то под изумительную тарантеллу знаменитой на весь мир красавицы Кармеллы, *которая особенно талантливо танцовала для Массимо Горки* со своим партнером, местным учителем в очках, то под бесконечные беседы, споры. Впрочем, при Луначарском, тогда очень худом, все превращалось в его монолог, он умел заставлять молчать Горького. Обычно он ходил по диагонали, говорил то на политические темы, то на литературные. Он хорошо знал итальянских поэтов, владел в совершенстве итальянским языком. Вставить словечко можно было только тогда, когда он неожиданно опускался на ручку кресла, в котором сидела его жена, и начинал ее обнимать и долго целовать. Нацеловавшись, поднимался и опять — хождение по диагонали и монолог.

Уже 16 марта, в день рождения Алексея Максимовича, я почувствовала, что на вилле Спинола все играют, словом, «театр для себя»: на всех лицах можно было прочесть, что слушавшие переживают. Были также и новые для нас эмигранты-каприйцы, пришедшие поздравить новорожденного.

Алексей Максимович просил Яна почитать стихи. Ян долго отказывался, он не любил читать среди малознакомых людей, но Алексей Максимович настаивал:

— Прочтите «Ту звезду, что качалася в темной воде...», я так люблю эти стихи.

Ян обычно переставал читать то, что вошло в книгу, он даже мне не позволял перечитывать в его присутствии своих произведений. Но Горький так просил, что Ян прочел это восьмистишие, написанное в 1891 году.

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,—
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Алексей Максимович плакал, а за ним и другие утирали глаза.
Но больше, как ни просили, Ян не стал читать.

Именины 17 марта мы провели вместе с обитателями виллы Спинола. Горький редко выходил один, а всегда с чадами и домочадцами.

После завтрака, который был особенно вкусен,— красавец Катальдо постарался,— мы отправились в Анакапри, лежащее выше Капри. Поднимались по прекрасной дороге в экипажах: в одном писатели, а в другом женщины — Марья Федоровна, Луначарская, Боткина и я. В третьем — все остальные. Анна Александровна Луначарская сразу заговорила о любви и расспрашивала, как кто познакомился со своим избранником. Она была пышной блондинкой, красотой не блистала, но была проста и мила, казалось, вся жила своим Анатолием Васильевичем. К сожалению, я забыла, что она рассказывала об их романе, помню лишь впечатление о любви с большой буквы.

Осмотрев бегло Анакапри, мы вошли в пивную, которую держал австриец. К стенам были прибиты рога. Кроме нас, было несколько немцев и тирольцев в своих шляпах с перьями, они очень много пили, лица их стали донельзя красными, глаза оловянными.

Ян сказал:

— Бойтесь пьяного немца, это самые страшные люди в опьянении...

Наша компания отдала честь австрийскому белому вину в высоких узких бутылках, как и необыкновенно вкусной колбасе, выписанной из Австрии. После пивной еще погуляли, Горький указал на находящуюся на берегу, на самой южной точке виллу, принадлежавшую шведке, в которой жил доктор Аксель Мунте, описавший впоследствии Капри. Затем вернулись домой. Мы забежали в отель «Пагано», немного отдохнули, вечером опять пошли к Горьким.

Этот праздник был еще более пышен и многолюден, чем три дня тому назад. Пели, плясали тарантеллу еще талантливее, чем в прошлый раз. Асти, действительно, лилось рекой. Поражало, что все слуги были красивы и держали себя просто. Красавец подросток Лоренцо сидел под столом в непринужденной позе,— он был мальчиком на побегушках; красавица горничная Кармелла с двумя маленькими девочками, необыкновенно прелестными, с которыми возился с любовью и лаской Алексей Максимович, тоже чувствовала себя не как прислуга. И я часто думала: «Вот как будет, когда настанет на земле социализм!..»

Речь частенько заходила о школе пропагандистов на Капри, которую организовали Горький, Луначарский и другие. Строили планы, намечались лекторы.

На возвратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне, и заходили в маленький кабачок. А затем шли по пустынному острову в новые места, и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри, когда подымались куда-то вверх. Эти ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился блестящ. Критиковал то, что слышал от Луначарского, Горького, представлял их в лицах. Сомневался в затевавшейся школе: «пустая затея!» Он видел, что мне нравится Горький, и несколько раз кратко заметил: «Не бросайся на грудь!»

Неожиданно заявил, что мы должны покинуть Капри для Сицилии; надо оставить чемоданы у Горьких, а самим поехать налегке.

На другой день мы покинули Капри. На прощанье Горький говорил:

— Возвращайтесь из Сицилии, скоро Пасха, какие будут процессии на Страстной, не пожалеете, что попали сюда.

## 3

Прибыв в Неаполь, мы быстро погрузились на пароход в Палермо. Качало. Я рано легла спать, а Ян ходил, обедал, часто заглядывал ко мне. Наутро Палермо. Погода и там была плохая, и портье, дородный

высокий мужчина, спокойно говорил, что «старожилы не запомнят такой весны», объясняя это последствием землетрясения. Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии, смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни месяц.

Мы восхищались замечательными византийскими мозаиками, испытывали жуткое чувство при виде мумий, лишь едва истлевших в подземелье какого-то монастыря. Особенно жуткое впечатление произвела невеста в белом подвенечном платье.

Из Палермо мы отправились в Сиракузы, где впервые поселились на шестом этаже отеля с бесконечным видом на восточное море. Там мы в первый раз увидели папирус. Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение. Особенно поразила меня уцелевшая стена с портретами,— какой-то домашний уют среди щебня.

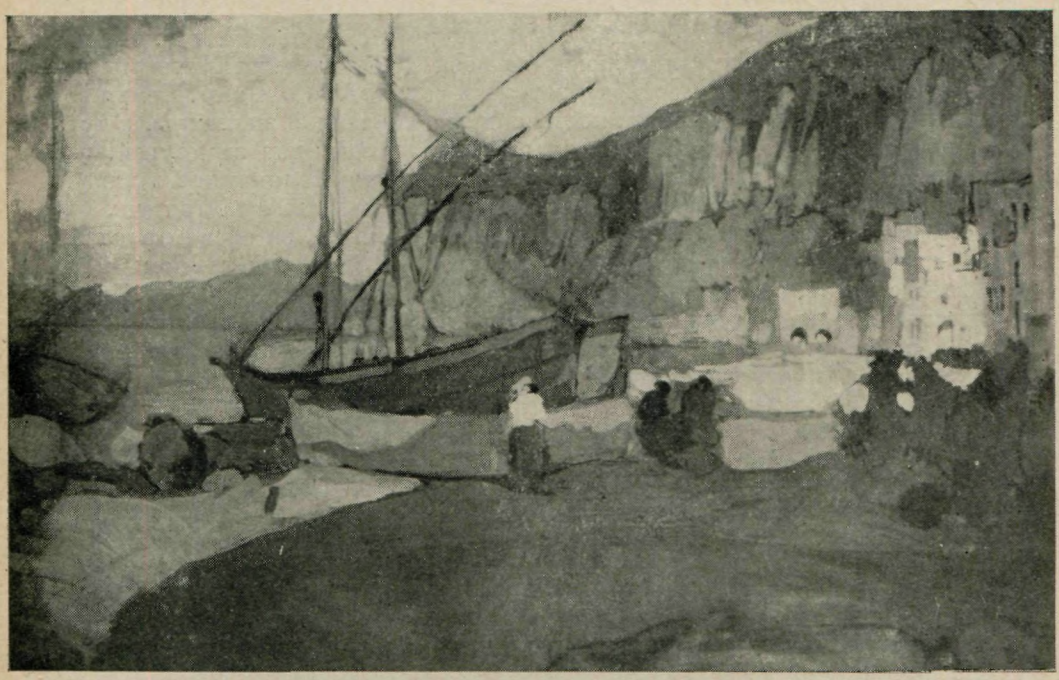
Вернувшись на Капри, мы опять остановились в «Пагано» и опять чуть не каждый день завтракали или обедали у Горьких. Луначарских уже не было. Они вернулись в Неаполь. Зато встретили на вилле Спинола бывшего товарища министра путей сообщения, приятеля первого мужа Марьи Федоровны Желябужского. Это случилось на другой день нашего возвращения. Утром записочка — приглашение к завтраку, с настойчивой просьбой не отказываться: должен завтракать этот самый сановник. Были разосланы гонцы, где могло остановиться такое важное лицо, так как никто не запомнил название отеля. Марья Федоровна волновалась, как бы товарищ Михаил не задал каверзного вопроса гостю, а Михаил все приставал к Яну, чтобы тот спросил его что-то о царе.

Иван Алексеевич решил сесть рядом с Михаилом, чтобы удерживать его, охлаждать пыл. Алексей Максимович, как всегда, до завтрака писал, его никогда не было видно по утрам.

Наконец один из гонцов вручил сановнику записку и передал Марье Федоровне, что согласие получено. Через четверть часа вот и он сам. Маленький, толстый, подтянутый петербуржец с большим твердым лицом, а Горький в кожаной куртке и товарищ Михаил в красной рубашке... Марья Федоровна сразу превратилась в светскую даму, с улыбкой приняла от гостя аршинную коробку самых дорогих конфет и старалась вести беседу, лавируя, когда кто-нибудь вдруг касался острой темы. Товарищ Михаил, сидевший рядом с Яном, не унимался: шептал на ухо, чтобы Иван Алексеевич спросил гостя о царе. Ян, гладя его по плечу, шептал: «Лоретта, Лоретта...» Лоретта — имя попугая, Алексей Максимович любил птиц. У него в тот год было три попугая. Лоретта обладала строптивым характером, часто топорщила перья, и тогда Горький, гладя ее, ласково повторял: «Лоретта, Лоретта», и попугай успокаивался. Хозяин был молчалив, предоставляя Марье Федоровне вести беседу с гостем.

Без Луначарского можно было и другим поговорить. Я в это пребывание слушала Горького, и он мне нравился. Горький один из редких писателей, который любил литературу больше себя. Литературой он жил, хотя интересовался всеми искусствами и науками, и, конечно, иметь собеседником Ивана Алексеевича (которого он всегда и неизменно до самой смерти ценил, несмотря на полный разрыв их отношений) доставляло ему большое удовольствие, и Горький делал все, чтобы удержать нас на Капри.

Мы просиживали у них иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с капри-бианко и шли по спящему, пустынному острову куда глаза глядят. Мне иной раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно когда мы проходили под какими-то навесами, поднимаясь все выше и выше, выходя



КАПРИ. МАРИНА ГРАНДЕ
Рисунок А. И. Кравченко (темпера), 1910—1911 годы
Музей А. М. Горького, Москва

из темноты в лунное сияние. В эти часы велись значительные разговоры. Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, что Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же *главное* они любили по-настоящему.

Страстную мы провели на Капри и вместе с Горькими видели процессии с фигурами Христа, Марии-девы, слушали пасхальную мессу.

На второй день Святой мы отправились в Рим, оставив опять чемоданы у Горьких.

4

Рим встретил нас синим небом, светло-лиловыми глициниями на серых камнях. И мы с девяти часов утра до девяти вечера были на ногах. У меня был с собою «Рим» Золя. Я только что прочла его. И мы, подобно его герою, прежде всего отправились (как всегда делал Ян) на самую высокую точку города, чтобы иметь представление об общей картине. Остановились мы на Монте Пинчио, в католическом пансионе, где было интересно наблюдать за аббатами, которых мы видели вблизи впервые. Они с какой-то непередаваемой изысканной улыбкой разговаривали с почтенными дамами, вероятно, их духовными дочерьми.

Всю неделю стояла чудная погода. Неделя — слишком малый срок для Рима, и мы, побывав лишь в Сикстинской капелле, решили оставить музеи для следующих приездов. Яна волновала Аппиева дорога — он больше всех апостолов любил и чтил Петра, который шел по ней в Рим. Зато город мы изъездили вдоль и поперек; заходили во многие храмы; в одном на всю жизнь поразил Моисей Микеланджело,— лучшей скульптуры я не знаю. Съездили мы и во Фраскати.

Марья Сергеевна Боткина дала нам письмо к ее семье в Риме. Мы зашли к ним и получили приглашение на обед. В назначенный день мы немного раньше прекратили осмотр города и отправились к ним. Семья состояла из матери, очень почтенной и, видимо, сердечной женщины, и чуть ли не шести дочерей, которые возвращались домой одна за другой, все в синих костюмах с длинными жакетами и в больших соломенных шляпах. Все, кроме одной, были высокие. Они так походили одна на другую, что я с трудом их различала. Квартира была прекрасная, за обедом подавал лакей-итальянец. Они были очень культурные люди, дали нам много хороших советов, сообщили, что в такой-то день будет в соборе св. Петра торжественное богослужение — канонизация Жанны д'Арк, и к кому нужно отправиться за билетами. Но у нас не было ни смокинга, ни черного бархатного платья, ни кружевной испанской косынки для головы.

В этот день на площади св. Петра была густая толпа. Мы все же проникли в собор. И нам посчастливилось: один французский аббат заговорил со мной и предложил два билета. Я отказывалась, указывая на свой серый костюм и бежевую каприйскую пару Ивана Алексеевича, но он настоял, и мы попали на самые почетные места.

Пройдя с билетами на торжественное богослужение, мы все же дальше входа не продвинулись, слишком кругом было парадно. На возвышении стояли дамы в бархатных туалетах с прелестными кружевными косынками на головах и мужчины в визитках.

Сбоку, как раз против нас, в несколько рядов восседали в креслах с высокими спинками кардиналы в парадных одеяниях. И каждое лицо повествовало,— до того оно было значительно и не похоже на других. Орган и папская капелла в два хора с высокими голосами были выше похвал. Мы стояли зачарованные.

После окончания богослужения мы очутились посредине храма. Наш знакомый аббат опять предложил мне билеты, чтобы на следующий день присутствовать на аудиенции и получить папское благословение. Мне хотелось увидать папу и всю эту церемонию, но Ян воспротивился: мы должны завтра подняться в купол св. Петра и оттуда обозреть Рим и прилегающие к нему окрестности, а послезавтра мы уже покидаем этот город. И мы отказались.

На следующее утро мы побывали в замке Ангела. Позавтракав на площади св. Петра, мы медленно стали подниматься по широкой каменной лестнице,— лифта в тот год еще в соборе не было. На каждой площадке мы останавливались, отдыхали, смотрели на открывавшуюся перед нами все шире и шире страну и все глубже и глубже удаляющийся от нас Рим. Высота купола 138 метров. Ян поднялся во внутрь его.

Погода всю неделю стояла безупречная. И никогда не забыть мне синего римского неба, бледнолиловых глициний на серых камнях развалин, красивых женских лиц с огненными глазами и певучую римскую речь. Ни из одного города так не хотелось мне уезжать, как тогда из Рима,— уж очень он нас гостеприимно принял. Ян утешал:

— Еще не раз приедем сюда. И увидим пропущенное.

Так оно и случилось.

## 5

Вернувшись на Капри, мы узнали, что у Марьи Федоровны была небольшая операция, которую она перенесла мужественно, но с большой печалью,— рухнула надежда иметь ребенка от Алексея Максимовича, который, по рассказам, сильно волновался. Операция происходила на дому.

Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашались, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, какая была у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала. Алексей Максимович рассказывал о пребывании Льва Николаевича в Крыму, в имении графини Паниной, в дни, когда боялись, что Толстой не перенесет болезни, и о том, как один раз взволнованная Саша Толстая верхом прискакала к нему о чем-то советоваться. Вспоминал он, как однажды видел Льва Николаевича издали, когда тот сидел в одиночестве на берегу:

— Настоящий хозяин! — повторял он,— настоящий хозяин!

Потом, улыбнувшись, сказал: «Если бы я был богом, то сделал бы себе кольцо, в которое вставил бы Капри!»

Мне нравилась его речь. Как-то он зашел к нам в «Пагано». Я была не совсем здорова и лежала за ширмами на кровати. Алексей Максимович с Яном вели беседу, вернее, почти все время говорил Горький. Я слушала его речь, мне хотелось определить, на что она похожа, казалось,— на журчание воды. Она то повышалась, то понижалась, была выразительна, несмотря на однообразие тона. Так он и читал: как будто однообразно, а между тем очень выразительно, выделяя главное, особенно это поражало при его чтении пьес.

Атмосфера, как я уже упомянула, в те дни в их доме была легкая. Марью Федоровну он называл «Хозяйкой» или «Марья». Дела «Знания» шли еще удовлетворительно, несмотря на «Шиповник», на измену Андреева, о котором он говорил без злобы. Сообщил, что в его «Иуде» он отметил ему чуть не сорок ошибок.

Когда вспоминал сына, всегда плакал, но плакал он и глядя на тарантеллу или слушая стихи Яна.

Пил он всегда из очень высокого стакана, не отрываясь, до дна. Сколько бы ни выпил, никогда не пьянел. Кроме асти на праздниках, он пил за столом только французское вино, хотя местные вина можно было доставать замечательные. В еде был умерен, жадности к чему-либо я у него не замечала. Одевался просто, но с неким щегольством, все на нем было первосортное. В пиджачной паре я видела его позднее, когда он бывал с нами в Неаполе, а на Капри он носил всегда темные брюки, белую фланелевую рубашку, шведскую кожаную светло-коричневую куртку, а на ногах темные шерстяные или шелковые носки, мягкие туфли. Любил он свою широкополую черную шляпу.

За столом Марья Федоровна, сидевшая рядом с ним, не позволяла ему буквально ничего делать, даже чистила для него грушу, что мне не нравилось, и я дала себе слово, что у нас в доме ничего подобного не будет, тем более что она делала это не просто, а показывая, что ему, великому писателю, нужно *служить*. Раз она спросила меня:

— Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?

Меня это так удивило и даже рассердило, что я ничего не ответила.

Мы решили возвращаться морем на итальянском пароходе, который до Одессы шел две недели и был дешевле других. И это плаванье на «итальянце» было необыкновенно удачным и приятным. Провожали нас до Гранде Марина все обитатели виллы Спинола, кроме Марьи Федоровны,— она была еще слаба. Когда мы отчалили, то увидели, как Горький легко перескакивает с камня на камень. Ян заметил:

— А какая у него осторожная походка! Но он изящен!

Мы в это утро побывали в Помпее. Осмотрели, что полагается. Поразили нас очень глубокие колеи при входе в этот мертвый город. В 1916 году 28 августа Бунин написал сонет «Помпея».

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только древние следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин. Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

После беглого осмотра Помпеи мы завтракали в ближайшем ресторане, и Ян стал говорить, что он хотел бы написать рассказ об актере, очень знаменитом, всем пресыщенном, съевшем за жизнь большое количество майонеза и под конец своих дней попавшем в Помпею, и как ему уже все безразлично, надоело. Рассказа он этого не написал, но в тот полдень он передал его мне живо, с тонкими подробностями.

Из Помпеи мы, захватив на набережной чемоданы, отправились на пароход.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из Е. А. Баратынского — «Отрывки из поэмы „Воспоминания“» (1820).

[2] «Жизнь Бунина», стр. 169 и 170.

[3] С. *Кречетов* (Сергей Алексеевич Соколов, 1878—1936) — поэт, владелец издательства «Гриф». «Перевал» — журнал декадентского направления (1906—1907).

[4] О Петре Константиновиче Иванове см. настоящ. кн., стр. 163—164.

[5] Павел Павлович *Муратов* (1881—1951) — искусствовед, переводчик, романист; автор книги «Образы Италии», т. 1—2, 1911—1912; полное издание — т. 1—3. Берлин, 1924.

[6] Александр Арнольдович *Койранский* (1884 — ?) — художник и поэт, печатался в альманахе «Гриф».

[7] А. *Диесперов* — участник журнала «Перев л».

[8] *Муни* (Самуил Викторович Кисин; 1888 — ?) — поэт, печатался в «Перевале».

[9] Борис Александрович *Грифцов* (1885—1950) — литературовед, искусствовед, переводчик.

[10] Виктор Иванович *Стражев* (1879—1950) — в молодости поэт, позднее преподаватель литературы, автор учебников для средней школы.

[11] Владислав Фелицианович *Ходасевич* (1886—1939) — см. о нем настоящ. том, кн. 1, стр. 677.

[12] Николай Ефимович *Поярков* (1877—1918) — поэт и литературный критик.

[13] Е. М. *Лопатина* (псевд.— К. Ельцова; 1865—1935) — писательница. О дружбе Бунина с Лопатиной в 1897—1898 гг. см.: «Жизнь Бунина», стр. 105; настоящ. том, кн. 1, стр. 484—485. С Буниным она встречалась и в эмиграции, где жила последние годы. Ее неопубликованный дневник с записями о Бунине хранится в ИРЛИ (Р. I, оп. 15, № 137).

[14] Алексей Алексеевич *Муромцев*, которого прозвали «раздраженный улан»; В. Н. Бунина писала о нем в другой главе «Бесед с памятью»: «Иван Алексеевич его тронул в „Деревне“ и в „Натали“» («У Буниных в Ефремове»); см. также заметки Бунина «Происхождение моих рассказов» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 373).

[15] Вера Алексеевна *Зайцева* (рожд. Орешникова) — жена Б. К. Зайцева, близкая подруга Веры Николаевны.

[16] Дмитрий Николаевич *Муромцев*, юрист. Умер в Москве, по-видимому, в 1936 г.— покончил самоубийством. Письма В. Н. Буниной к нему из Франции (1934—1936) хранятся в ГМТ и в частном собрании.

[17] Алексей Карпович *Дживелегов* (1875—1952) — историк, литературовед, театровед.

[18] Зоя Евгеньевна *Шрейдер* — жена художника Шрейдера.

[19] Оля и Надя *Иловайские* — дочери историка Д. И. Иловайского. О них рассказала Марина Цветаева в воспоминаниях «Дом у старого Пимена» («Москва», 1966, № 7). О семье Иловайских см. также: В. Муромцева. У старого Пимена.— Газ. «Россия и славянство», Париж, 1931, № 116, 14 февраля; Анастасия Цветаева. Воспоминания. М., «Сов. писатель», 1971.

[20] Павел Николаевич *Муромцев*; потом он стал врачом.

[21] Александр Митрофанович *Федоров* (1868—1949) — романист, поэт и драматург, друг Бунина; эмигрировал из Одессы «месяцем раньше» Бунина (см. газ. «Новая Заря», София, 1933, 16 декабря); до конца своих дней жил в Болгарии.

[22] Петр Николаевич *Бунин*, брат С. Н. Пушешниковой, двоюродный брат Бунина.

[23] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 426—428.

[24] Алексей Николаевич *Бунин* (1827—1906). Умер 5 или 6 декабря. Дата его рождения указана в свидетельстве Орловской духовной консистории от 13 февраля 1843 г.: «... деревни Каменки у помещика Николая Дмитриева сына Бунина сын Алексей родился того 1827 года марта 11 и крещен того ж числа» (Ю. Д. Гончаров. Предки И. А. Бунина.— Журнал «Подъем», 1971, № 1, стр. 140; то же в его книге: «Вспоминая Паустовского. Предки Бунина». Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1972, стр. 151).

[25] Пушешниковы — племянники Бунина: старший — Дмитрий Алексеевич (? — 1954) — юрист; Петр Алексеевич (? — 1945) — зубной врач; Николай Алексеевич (1882—1939), переводчик Киплинга, Голсуорси, Дж. Лондона и Тагора (дневник его опубликован частично в сб.: «В большой семье», стр. 238—253; рукопись в собрании К. П. Пушешниковой). У матери братьев Пушешниковых, Софьи Николаевны (в селе Глотове, Орловской губ.) Бунин часто проводил лето. Софья Николаевна с 1925 по 1939 г. жила в Москве у младшего сына. После его смерти уехала в Орел к сыну Петру. Умерла в 1942 году (сообщено К. П. Пушешниковой).

[26] Сестра Бунина Мария Алексеевна (1873—1930) и ее муж Иосиф Адамович Ласкаржевский.

[27] Н. А. *Пушешников*; см. примеч. 25.

[28] С. П. *Мельгунов* (1880—1957) — редактор журнала «Голос минувшего»; после Октябрьской революции — эмигрант.

[29] Федор Дмитриевич *Батюшков* (1857—1920) — критик и историк литературы; в 1902—1906 гг. редактор журнала «Мир божий».

[30] Сын Бунина от первого брака Николай род. 30 августа 1900 г. в Одессе, ум. 16 января 1905 г. там же.

[31] О С. С. Голоушеве (псевд.: Сергей Глаголь) см. «Записки писателя», стр. 43—44.

[32] Софья Петровна *Кувшинникова* (1847—1907) — художница, приятельница И. И. Левитана.

[33] А. Е. *Грузинский* (1858—1930) — литературовед, этнограф и педагог, член «Среды», в 1909—1930 гг. председатель Общества любителей российской словесности.

[34] Евгений Петрович *Гославский* — писатель, участник «Среды».

[35] Об И. А. Белоусове см. настоящ. том, кн. 1, стр. 474.

[36] О С. Д. Махалове (Разумовском) см. там же, стр. 477.

[37] О Н. И. Тимковском см. там же, стр. 511.

[38] См. там же, стр. 535—537.

[39] Сергей Константинович *Маковский* (1877—1962) — поэт и художественный критик, редактор журнала «Аполлон».

[40] Этот портрет хранится в ГЛМ; негатив — в собрании А. П. Толстякова (Москва).

[41] Неточность: сборники «Земля» выпускались «Московским книгоиздательством»; его фактическим владельцем был Г. Г. Блюменберг, номинально же главой издательства числился его отец Г. А. Блюменберг, крупный торговец бумагой. О редактировании Буниным первых двух книг сб. «Земля» см. О. Д. Голубева. Литературно-художественные альманахи и сборники. 1900—1911 годы. М., 1957, стр. 324.

[42] В это время отношения между Горьким и Скитальцем ухудшились. Разрыв произошел в конце 1908 г., когда Горький резко осудил новую повесть Скитальца «Этапы»: «в ней автор явился и декадентом в самом печальном смысле этого слова» (Горький, т. 29, стр. 82).

[43] О дружбе с драматургом Сергеем Александровичем Найденовым (1869—1922) свидетельствуют письма Бунина к нему, неизменно дружеские по тону (ЦГАЛИ).

[44] Николай Павлович *Авбелев* — автор романов, повестей и рассказов, сотрудник журнала «Современный мир». Его переводы из Киплинга опубликованы в издании: «„Библиотека иностранных писателей“» под редакцией Ив. А. Бунина. Р. Киплинг. Избранные рассказы, кн. 1. Перевод и предисловие Н. П. А.», М., «Московское книгоиздательство», 1908; кн. 2, М., 1908.

[45] Николай Иванович *Иорданский* (1876—1928) — журналист; в 1909—1917 годах редактор журнала «Современный мир», в котором до этого заведовал внешним обозрением; муж Марии Карловны Куприной после ее разрыва с А. И. Куприным.

[46] Михаил Иванович *Ростовцев* (1870—1952) — профессор классической филологии Петербургского университета. Его жена Софья Михайловна (рожд. Кульчицкая, 1878) —подруга М. К. Куприной-Иорданской.

[47] Елизавета Морицовна *Куприна* (рожд. Гейнрих, 1882—1942) — вторая жена Куприна.

[48] Иван Сергеевич *Рукавишников* (1877—1930) — поэт-символист.

[49] Николай Иванович *Кареев* (1850—1931) — историк и публицист, профессор Петербургского университета.

[50] Екатерина Павловна *Леткова-Султанова* (1856—1937) — писательница; автор воспоминаний о Тургеневе и Достоевском.

[51] Лев Самойлович *Бакст* (настоящ. фамилия — Розенберг; 1866—1924) — художник, принадлежавший к группе «Мир искусства». В 1909 г. переехал в Париж, где приобрел широкую известность декорациями к спектаклям «Русского балета» С. П. Дягилева. Известен его рисунок — портрет Бунина (Парижский архив Бунина).

[52] Наталья Васильевна *Крандиевская* (1888—1963) — писательница. См. о ней предисловие В. А. Мануйлова в кн.: Н. Крандиевская-Толстая. Стихи. Вечерний свет. Л., 1972.

[53] Варвара Ивановна *Икскуль* (рожд. Лутовинова; 1854—1929) — меценатка.

[54] Елена Андреевна *Телешова* (см. о ней: настоящ. том, кн. 1, стр. 480).

[55] Об А. А. Карзинкине см. там же, стр. 515.

[56] А. В. *Орешников* — отец Веры Алексеевны, жены Б. К. Зайцева.

[57] Установить название этой пьесы И. С. Шмелева не удалось.

[58] По случаю двадцатипятилетия «службы» А. И. Южина в Малом театре 24 января 1908 г. был дан спектакль «Отелло» (см. «А. И. Южин-Сумбатов». М., 1951, стр. 563).

[59] Николай Васильевич *Давыдов* (1848—1920) — председатель окружного суда в Москве; председатель театрально-литературного комитета. См. о нем «Записки писателя», стр. 33—36.

[60] Николай Николаевич *Баженов* (1857—1925) — психиатр, автор книги «Психиатрические беседы на литературные и общественные темы» (М., 1903).

[61] Александр Александрович *Федотов* (1863—1909) — актер Малого театра, режиссер и театральный педагог.

[62] П. Д. *Долгоруков*, член Второй Государственной думы и председатель кадетской фракции Думы.

[63] О журнале «Северное сияние» и участии в нем Бунина см. настоящ. том, кн. 1, стр. 574.

[64] «Энох Арден» — поэма английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892).

[65] О Б. И. Эгизе см. настоящ. том, кн. 1, стр. 595.

[66] Начальная строка стихотворения Гете «Mignon».

[67] Эммануил Дмитриевич *Воронец* — искусствовед. В конце 1880-х гг. жил в Харькове и входил в народнический кружок, членами которого были Ю. А. Бунин, железнодорожный служащий Федор Александрович Ребинин, отбывший ссылку в Вятской губ., Василий Павлович Лепешинский (дед балерины Ольги Васильевны Лепешинской), а также Литошенко и Позен (сведения о них найти не удалось). В кружке бывал Бунин, приезжавший к брату в 1889 г.

[68] «Зина» — Зиновий Алексеевич Пешков (Зиновий Михайлович Свердлов; 1884—1966). Некоторые считали его приемным сыном Горького, поскольку он принял фамилию Пешков и отчество Алексеевич. Горький писал 24 апреля 1927 г. А. А. Белозерову: «Зиновий Свердлов *не* „усыновлен мною", а крещен, что требовалось для его поступления в филармоническое училище» (Горький, т. 30, стр. 22).

[69] Мария Сергеевна *Боткина* — художница, дочь С. П. Боткина. Землетрясение, о котором идет речь ниже, произошло в Сицилии в 1908 г. и почти полностью разрушило город Мессину. Бунин написал стихотворение «После мессинского землетрясения», датированное «15.V.09».

[70] Под именем «Михаила» на Капри жил выдающийся революционер-большевик Николай Ефремович Вилонов (1885—1910). См. очерк А. М. Горького «Михаил Вилонов» (Горький, т. 17, стр. 82—91 и 477—479).

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

# ИЗ ПИСЕМ В. Н. БУНИНОЙ к БУНИНУ. 1906—1915

Сообщение Л. Н. Афонина

Исследователями почти еще не использована большая по объему (187 писем) и значительная по содержанию корреспонденция В. Н. Буниной, посланная Бунину в 1906—1915 гг. В ней не только полно раскрывается обаятельная личность самой Веры Николаевны — спутницы и заботливой, самоотверженной помощницы Бунина в течение почти полувека, — но и отражены многие важные факты биографии писателя. В 1906 г., когда начиналась их совместная жизнь, она писала Бунину: «Дорогой мой, как можешь ты сомневаться в моей любви. Только тебя одного люблю я, только тобой и живу в настоящее время 〈...〉 Одно мучает меня по временам,— начинает казаться, что ты меня больше не любишь, что ты в деревне почувствовал, что я для тебя такая же маленькая незначительная встреча, каких в твоей жизни было немало. Если есть хоть какое-нибудь основание для подобных подозрений, напиши мне просто, чистосердечно. Ведь что бы там о тебе ни говорили, а я знаю, что ты искренний, что ты не способен ломаться. Как бы тяжело ни было бы мне, мне легче, если ты скажешь обо всем сам, чем если мы разойдемся после многих ссор и неприятностей. Вот все, что хотелось сказать мне. Верь только одному, что я никогда не сделаю тебе ни одного упрека, если ты сразу скажешь мне какую угодно истину» [1]. Как свидетельствуют письма Веры Николаевны, далеко не всегда ее отношения с мужем складывались безмятежно. Однако неизменными были ее заботы о Бунине, стремление создать ему наилучшие условия для творческой деятельности. Из писем ее становится известным, что в отсутствие мужа она вела его финансовые дела, встречалась с издателями, держала корректуру бунинских произведений, собирала отзывы о них, покупала и переводила необходимые Бунину книги иностранных авторов. Человек большой культуры, с самостоятельными взглядами на литературу и общественные события, Вера Николаевна нередко писала мужу о политических и литературных новостях, прочитанных книгах, посещении концертов, лекций, художественных выставок. «Успенский меня восхищает,— признается она в недатированном письме.— Вот особенность: я забываю, как зовут его героев, но обычно вижу их. А ты?» (2959/105). 2 февраля 1907 г. датировано письмо, где Вера Николаевна делится с Буниным своими впечатлениями от впервые прочитанного ею флоберовского «Искушения святого Антония», которое впоследствии она перевела на русский язык: «Прочла „Искушение св. Антония“. Произвело сильное впечатление. Но чтобы разобраться детально, надо прочитать еще несколько раз. Хорошо было бы прочесть вместе с тобой. Ведь там целая философия, и, чтоб хорошо усвоить, нужно кое-что прочитать» (2959/22). Заслуживает внимания ее сообщение о том, что 12 февраля 1907 г. на концерте «Кружка любителей русской музыки» («Керзинский кружок») в Большом зале Дворянского собрания в Москве с успехом исполнялись романсы Рахманинова на слова Бунина: «Вчера мама была на Керзинском вечере. Пелись и игрались произведения Рахманинова. Романс на твои слова „Я опять одинок“ имел большой успех 〈...〉 Исполнял Богданович [2]. Кроме этого, тем же исполнителем был пропет романс на слова „Ночь печальна“» (2929/127). 26 мая 1909 г. Вера Николаевна пишет мужу: «Сегодня увижу и услышу Мечникова. Это меня волнует». Вечером того же дня она подробно рассказывает о лекции великого ученого (2959/115 и 104). 3 декабря 1913 г. В. Н. Бунина в Москве познакомилась с Эмилем Верхарном. На другой день она писала мужу: «Вчера была на Верхарне. Он очаровал меня. За ужином я сидела рядом с ним. Он взял наш адрес, хочет тебе прислать книгу свою. Приглашал нас с тобой в Сен-Клу. Познакомил меня со своей женой, очень просто одетой женщиной. Детей у них нет. Они путешествуют вдвоем. Всю лекцию я прекрасно поняла, стихи тоже. И какие чудесные! Мне особенно понравились о дюнах, захотелось в Бельгию» (2959/122).

В письмах, посланных Бунину из Глотова, Вера Николаевна делилась своими деревенскими наблюдениями и размышлениями. 10 декабря 1908 г. она писала о кресть

янских детях: «Остановилась и смотрела, как ребята на своих самодельных санях катались с горы, и веселей еще стало. Сколько жизни, здоровья, энергии было в их лицах и криках. И что ждет их в будущем?.. Голод, унижения... Может быть расстрелы!!» (2959/121). В августе 1911 г. В. Н. Бунина бывала у глотовского долгожителя Таганка, незадолго до того (в июле) описанного в рассказе «Сто восемь» («Древний человек»). 11 августа после пожара на глотовском усадебном гумне она решила пойти к Таганку вместе с Н. А. Пушешниковым. «Отправились. Подошли к избе, спрашиваем „где Таганок?" — „Да вон он с иконой стоял". Подошли к его избе, икона стоит, а Таганка нет. Подошел сын и, узнав, в чем дело, повел нас на свое гумно, где был Таганок. Мельком я видела его дом. Не знаю, был ли ты на их гумне? Оно у них очень уютное. За скирдой на соломе сидел Таганок весь в белом и обувал ногу. Рубашка на нем очень грязная, штаны на левом колене продрались, и я увидела его красно-синее тело, показавшееся мне в первую минуту, что это нечто среднее между раной и болячкой. Он нисколько не удивился нашему приходу. Мы сели на солому, в это время выглянуло солнце. Мы заговорили. Он довольно много говорил, но опять о старом, а о пожаре сказал лишь, что гораздо лучше, если сгорит дом, чем солома и хоботья, ибо бедной скотине нечего больше есть. В этом поддержал его сын. Затем он все говорил о прежних господах. Сравнивал прежнее житье и настоящее. Прежнее лучше было. Скотина вся паслась вместе с господской, прежде возьмут хлеба и вернут такой же величины, а теперь вешают, скоро солому будут брать на вес, говорил он, возмущаясь. Мы посидели, обещали принести гостинец и ушли... Когда спросили его, не хочет ли он „вядчинки", чтобы мы принесли, он ответил, что теперь пост, да и у них своя есть» (2959/167) [3]. 14 августа она сообщает: «Вчера мы опять были у Таганка. Он поразил меня сходством с Толстым. Вчера он был очень чистеньким, он причесался, вымылся, ибо собирался сегодня в церковь. Много говорил. Хвалил прежнее время: „Продовольствия было больше"» (2959/172). 17 августа, прочитав рассказ Бунина, опубликованный тремя днями раньше в «Русском слове», Вера Николаевна пишет: «„108" прочла. В печати, по-моему, рассказ выиграл... Таганку мы отнесли штаны и рубашку, Наташа говорит, он очень доволен» (2959/182). 29 августа она снова говорит о рассказе: «Я сегодня прочла два раза „108"— один сама себе, другой — Софье Николаевне, которой понравился, а я нахожу, что это одна из твоих удачных вещей, так много там поэзии, так много она дает читателю. Не думаю, что я пристрастна!» (2959/173).

В письмах Веры Николаевны есть неоднократные упоминания о Горьком. 4 декабря 1913 г. она писала Бунину из Москвы: «Дорогой, золотой мой дружок, получила твое письмо, целую за него. На минутку сделалось неприятно,— всё мы врозь и врозь, так и отвыкнуть недолго. Но я очень рада, что не поехала с тобой прежде всего потому, что у меня гостит, как бы ты думал кто? — Екатерина Павловна. Она приехала с Капри на несколько дней, чтобы разузнать все относительно экзаменов для Максима. Пробудет она, вероятно, до воскресенья. Телеграфируй, когда приедешь, ей хочется тебя повидать, хотя несколько часов. Алексей Максимович здоров. Это верно, что Манухин его вылечил, прямо чудо» (2959/122). К этому письму есть приписка Е. П. Пешковой: «Милый Иван Алексеевич! Неужели я вас не увижу? Когда вернетесь? Выеду не раньше субботы, но и не позднее воскресенья. Крепко жму руку и так рада буду вас увидеть. Е. П.». Получая в отсутствие Бунина письма, адресованные ему Горьким и М. Ф. Андреевой, Вера Николаевна обстоятельно излагала мужу их содержание. 11 августа 1911 г. она сообщает, что пришло письмо «заказное — от М. Ф. Горькой. Обращение: „Милые друзья Ив. Ал. и В. Н." (сокращения мои). Пишет, что приближается осень и ей хочется, чтобы мы не изменили плана провести это время в Италии. Кроме того, приезд может быть и не бесплоден. „В русском августе собираются сюда Сытин, Ладыжников, предполагались всякие интересные разговоры, приедет и Тихонов". „Константин Петрович все там и занимается лишь антикварными приобретениями". „Лично я была бы вам в высокой степени признательна, Иван Алексеевич, если бы вы собрались сюда не откладывая, о многом писать не хочется — не мастерица я в этом. Кроме всего прочего, и уж как хорошо было, если бы вы были здесь!" Обещает устроить с удобствами и т. п. Алексей Максимович кончает „Городок Окуров". Здоровье его неважно. Вот видишь что. Подумай и *немедленно* ответь ей. Может быть на что-нибудь и решимся»

БУНИН И Н. А. ПУШЕШНИКОВ В ГЛОТОВЕ

Фотография, 1916

На обороте автограф Бунина: «Глотово, февраль 1916 г.»

Собрание А. П. Толстякова, Москва

(2959/92). 26 августа 1912 г.: «От Алексея Максимовича письмо тебе очень длинное. Существенного вот что: 1) Книга его сказок отправляется В. В. ⟨Вересаеву.— *Л. А.*⟩ на днях. 2) Он посвящает тебе „не рассказ, а повесть „Большая любовь", которую сейчас пишет. 3) Вероятно, с нового года появится новый журнал, который „во многом, действительно, будет новым". 4) Затем идет разнос „Заветов". 5)„ Я рад, что вы пишете стихи и Саша Черный — тоже". 6) Был серьезный бронхит. 7) „Помните, вы обещали дать рассказ для сборника в честь Франко? Срок до конца октября, рукопись надо послать по адресу: Австрия, Львов — Lemberg, улица Супінського, 21, Ивану Кривецкому". 8) Сильно сожалеет Анненского. 9) Радость, что ты собираешься на Капри. „Винограду воз припасем, вина — озеро!" 10) Длинный рассказ о двух неаполитанках — матери и дочери, пересказывать его не стану — приедешь — прочтешь. 11) „Ада Негри выразила желание познакомиться с русскими стихами — одну книжку послал,— кого бы вы рекомендовали? Пушкина она знает по переводам „русской антологии". Вот и все» (2959/82). На листке из своего дневника, тоже отправленном Бунину («Вот тебе еще денек, дорогой мой»), Вера Николаевна записала 28 августа 1912 г.: «Пришло письмо от Горького, а также и сказки его, просит Яна переправить их Вересаеву, который скоро приезжает в Москву. Я передам ему лично, а завтра напишу Алексею Максимовичу письмо, чтобы он не беспокоился о судьбе посланных книг» (2959/80).

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ГМТ, 2959/124; далее шифры указываются в тексте.

[2] Александр Владимирович *Богданович* (1874—1950) — оперный певец, тенор. В 1906—1936 гг. был солистом Большого театра.

[3] Частично опубликовано в кн.: «Материалы», стр. 163—164.

Е. А. БУНИН

# РАСКОПКИ ДАЛЕКОЙ ТЕМНОЙ СТАРИНЫ

Предисловие и публикация Л. К. Кувановой

Евгений Алексеевич Бунин (1858—1935) — брат писателя. Детство и юность его прошли в деревенских захолустьях Орловской и Тульской губерний — на хуторах, принадлежавших Буниным. Оставив гимназию, которую не закончил, он жил с родителями в Озёрках и принимал участие в ведении хозяйства.

Еще в гимназии Евгений Алексеевич проявил незаурядные способности к рисованию. «Он погубил свой недюжинный талант художника-портретиста,— вспоминала В. Н. Бунина,— но если вдуматься в его жизнь, можно объяснить и понять. Образования у него не было, юность он провел в деревне; от природы он был одарен образным мышлением, наблюдательностью, имел здравый смысл. Пока был молод, он по-бунински оставался беспечен, но с летами, присмотревшись к хозяйству, понял, что отца не переделаешь, что в будущем грозит полное разорение ⟨...⟩ Дума была одна: стать помещиком!» («Жизнь Бунина», стр. 80).

Возвратясь с военной службы, Евгений Алексеевич взял на себя все хозяйство, но его попытки спасти отцовские Озёрки не имели успеха. Он открыл лавку, а в начале 1890-х годов приобрел в собственность последнее имение семьи — Огневку в Тульской губернии (здесь нередко гостил у него брат Иван). Продав в 1906 г. Огневку, Евгений Алексеевич поселился в Ефремове, где прожил до конца жизни, занимаясь портретной живописью, а последние годы преподавал рисование в школе. Здесь, в Ефремове, в октябре — декабре 1932 г. Е. А. Бунин писал свои записки.

Мысль писать мемуары появилась у него внезапно, под впечатлением возникшего в памяти эпизода, некогда рассказанного отцом, и была продиктована желанием занять чем-нибудь долгие осенние вечера (см. ниже, стр. 226). Однако почти сразу явилась другая цель: «пишу исключительно для брата моего Вани»,— заявляет мемуарист, а 4 октября ⟨1932 г.⟩ пишет Н. А. Пушешникову: «Мне кажется, ⟨если⟩ этот сырой материал ⟨...⟩, наброски, эпизоды попадут к Ване, то много можно извлечь интересного для его биографии в связи вообще с нашей семьей и той деревенской нашей хуторской жизнью ⟨...⟩ Я думаю, что он будет весьма и весьма доволен, тем более, все это воскресит ему все прошлое, милое, родственное» (ГМТ, ф. 14, № 3353/3).

Предположение автора, что его записи могут представить интерес для младшего брата, имело основание. Наделенный даром наблюдательности, Евгений Алексеевич хорошо знал быт мелкопоместного дворянства, к которому сам принадлежал, а также жизнь русской деревни. Бунин живо интересовался рассказами брата, особенно в пору, когда разрабатывал замысел «Деревни»: «Много было разговоров и с родными, что ему хочется написать длинную вещь,— вспоминает В. Н. Бунина,— все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором» («Беседы с памятью», гл. «Возвращение домой»).

Публикуемые воспоминания в известной мере подтверждают эту характеристику,— в памяти мемуариста действительно сохранился немалый «запас наблюдений» над нравами среды, в которой прошла ранняя юность Бунина. Писались они бессистемно и состоят из отдельных, не связанных между собой эпизодов, многие из которых повторяются. Однако несмотря на то, что автор не умеет построить повествование,

совершенно не владеет литературным языком и сам сознает, что его записки всего лишь «сырой материал», они представляют несомненный интерес. Это единственное дошедшее до нас свидетельство непосредственного очевидца детских и юношеских лет Бунина, свидетельство человека, выросшего в той же среде, что и будущий писатель.

«Раскопки далекой темной старины» повествуют о некоторых эпизодах детства Бунина, характеризуют людей, среди которых он рос, содержат сведения об истории семьи писателя. Главная же их ценность заключается в том, что они дают яркое представление об обстановке, окружавшей Бунина в детские и юношеские годы. Здесь ощущается атмосфера бунинского «Суходола», многие из описанных мемуаристом лиц послужили прототипами ряда персонажей этой повести и некоторых бунинских рассказов: помешанная тетка Варвара Николаевна (тетя Тоня в «Суходоле» и Олимпиада Марковна в очерке «„Шаман“ и Мотька»), дядя Петр Николаевич (Петр Петрович в «Суходоле»), бывший отцовский денщик (Ковалев в рассказе «В поле», ранее называвшемся «Байбаки»).

Рассказы Евгения Алексеевича о его дружбе с крестьянами, об участии в деревенской «улице» и деревенских свадьбах не только характеризуют быт мелкопоместного дворянства, жизнь которого переплеталась с деревенским бытом. Они могут служить также иллюстрацией к биографии самого Бунина: известно, что в юности он, так же как и брат, ходил «на улицу», на деревенские посиделки и свадьбы, и его первые впечатления о жизни крестьянства почерпнуты из того же источника, к которому обращается автор мемуаров. Некоторые эпизоды, рассказанные мемуаристом,— например, обряд «опахивания» или деревенская свадьба,— подтверждают, что Бунин должен был сам видеть в Озёрках и знать эти обряды, описанные им в «Деревне», что многие из песен, выписанных им из сборника П. В. Киреевского (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 404, № 21), пелись в Озёрках, а значит, были ему знакомы. По-видимому, знал он и тех крестьян, о которых рассказывает его брат. Так, например, герой рассказа «Князь во князьях» во многом напоминает Данилу Сисина, описанного в мемуарах Евгения Алексеевича. Не понаслышке были известны Бунину и темные стороны крестьянского быта, в частности тяжелая участь женщины. Недаром некоторые эпизоды «Деревни» и «Веселого двора» совпадают с рассказами его брата об истязаниях, которым нередко подвергались женщины в семьях озёрских крестьян.

«Раскопки далекой темной старины» представляют собой тетрадь большого формата в картонном переплете, исписанную карандашом (л. 1—6) и чернилами (л. 6 об. — 36 об.). Карандашные записи — черновик, текст которого с некоторыми изменениями переписан на последующих листах. Все записи имеют даты, соответствующие дням, в которые они делались (крайние даты: 9 октября — 3 декабря 1932 г.). Вторая половина тетради вырвана. Были ли завершены воспоминания — неизвестно.

После смерти Е. А. Бунина тетрадь оказалась у одного из его знакомых, фамилия которого неизвестна. В 1935 г. он отдал ее некоему Д. Л. Саперу. В октябре 1943 г. Сапер, живший тогда в Архангельске, отправляясь на фронт, передал тетрадь в Архангельский краеведческий музей с просьбой переслать ее в ИМЛИ, где она и хранится в настоящее время (ф. 3, оп. 2, ед. хр. 40).

При подготовке к публикации воспоминания были подвергнуты литературной правке и сокращению: опущены многочисленные повторения, выпущены неясные места, а также эпизоды, не имеющие отношения к Бунину (в частности те, которые касаются исключительно самого мемуариста). Ввиду фрагментарности записок, эти пропуски не нарушают характера и последовательности повествования, а потому специально не оговариваются.

Все, о чем я хочу писать, уже отошло в предание. Нового я, конечно, ничего не скажу, немало уже было написано про деревню, нравы и обычаи крестьян и мелкопоместных дворян, которые, кстати сказать, мало отличались от них своей некультурностью. Но я, со своей стороны, хочу восстановить в памяти, не прибавляя никакого вымысла, совершенно достоверные эпизоды. Пишу исключительно для брата своего Вани, касаюсь

его детства и юности, а также своей молодой, незатейливой и мало чем интересной жизни. Мои детство и молодость прошли в захолустных, заросших хлебами и бурьянами хуторах моего отца. Были просветы, когда мы уезжали на зиму в город, где учились, но все-таки деревенская жизнь оставила у меня глубокие и сильные воспоминания и впечатления.

Что навело меня на мысль писать про свою давно прошедшую жизнь? Я вспомнил рассказ покойного отца, как он однажды, еще молодым человеком, охотился на болотах близ села Коромышева и зашел отдохнуть в один зажиточный крестьянский двор, где обратил внимание на старика, сидящего близ печи. Старик этот, весь заросший волосами сизо-зеленого цвета, ел из деревянной чашки что-то. Отец мой, подойдя к нему, хотел с ним поговорить, но одна из баб говорит ему: «Нет, он так не услышит, вы кричите ему на ухо». Усилив голос, отец стал его расспрашивать: «Сколько тебе, дедушка, лет?» — Он услышал и говорит: «Давно, давно живу, уж хорошенько не запомню, но все-таки припоминаю, что вот 122-й годок пошел. А ты кто такой?» — Отец ему сказал: «Я,— говорит,— Бунин».— Тогда старик как бы обрадовался: «А, помню, ты — Дмитрий Семенович».— «Нет,— сказал отец,— я ему внук и его не знал. Ну вот скажи, пожалуйста, дедушка, ты ничего не видишь (действительно, глаза его, какого-то зелено-бутылочного цвета, хотя смотрят, но ничего не видят) и не слышишь, так что ж тебя интересует в жизни?» «Да, говорит, батюшка ты мой, только и живу прежней жизнью, воспоминаниями и, главное, снами — вижу себя молодым, как мы играли, ходили на улицу, бились на кулачках, а был я из всего села первый боец, ну, вот моя жизнь во мне воскресает, и я целый день весел».

Начиная свои воспоминания с самого раннего моего детства, не помню, где мы тогда жили, хотя знаю, что я родился в деревне Каменке Елецкого уезда. Сохранилась в моей памяти наша короткая жизнь у матери моей на ее хуторе Огневке, здесь жила у нас или скорее гостила тетка моего отца, старая сумасшедшая девица Ольга Дмитриевна. Помню, все она, бывало, бьет себя в грудь и говорит, что в нее вселился какой-то «тартарник», волнуется, то плачет, то поет, приплясывая: «Лучше я была бы подушечка, лучше я была бы лягушечка, лучше я была бы зверушечка» и т. п. Жила же она, обыкновенно, на своем хуторе Бутырки, верстах в семи от нас, где у нее был свой флигель. Была она очень богомольна, читала много священных книг, ездила по монастырям. У нее, хотя маленькая, но все же была дворня и, по обыкновению, крепостные девицы занимались рукодельем. Она очень не любила их выдавать замуж и решалась выдать только какую-либо провинившуюся, которая становилась неестественно полной, за кого попало, почти обязательно за дурака.

Материн хутор отец продал ближайшему соседу Логофету, и нам пришлось уезжать оттуда. Мне было в то время три года, а брату Юлию — четыре. Помню, нам с Юлием очень не хотелось уезжать, помню, как нас одевали и завязали, как снопы, с растопыренными ручонками, и как сбрасывали с трубы кирпичи, но далее я уже не знаю, куда нас повезли, кажется, к тетке Варваре Николаевне. Потом жили у бабушки Чубаровой.

У нас еще был маленький братишка Анатолий, и за ним ходила кормилица Наталья. Она была в то время солдатка. Как-то, в отсутствие моих родителей, заявился из солдат ее муж пьяный, начал к ней придираться и хотел ее ударить. Она, думая, что он не дерзнет ее с ребенком бить, подставила ребенка, а он размахнулся, удар пришелся по ребенку, тот закатился неистово. Всё это скрыли. Мать моя приехала и не могла понять, отчего мальчик так кричит, а кормилица не сказала. Его нельзя было ничем унять. Послали за фельдшером, тот осмотрел и сказал, что у него перелом ключицы. Повезли его в Елец, но было уже поздно. Мать его день и ночь

Е. А. БУНИН и Н. К. БУНИНА С ДЕТЬМИ
Фотография. Ефремов, начало 1930-х годов
Парижский архив Бунина

носила на руках, так что, помню, все плечо у нее было черное. Он, бедный, страшно страдал (мы жили в Ельце), и как грустно было слышать, когда несчастный плакал. Мать так, бедная, плакала, что, я думаю, не ручьи, а реки слез пролила. Конечно, он скоро скончался в муках.

После похорон Тони мы переехали на хутор Бутырки, который достался моему отцу после смерти бабушки Ольги Дмитриевны. Здесь строился дом, а пока мы жили во флигеле покойной бабушки (мне было шесть лет). Там был небольшой заросший садик, и мы там играли.

Вспоминаю, хотя очень смутно, некоторых приживальщиков и приживальщиц, которые кочевали по нашим мелкопоместным дворянам, живали, конечно, и у нас. Например, припоминаю некоего Николая Ивановича Переверзева, довольно оригинального субъекта. Это был пожилой человек, который корчил из себя при случае сумасшедшего, да ему это было необходимо, так как он был выпущен из тюрьмы. Не знаю, за какое преступное дело был он посажен в тюрьму, кажется, за деторастление. Он был в каком-то уездном городе городничим, но это дело лишило его должности и прав состояния. Он коротко стригся, усов и бороды не носил, имел довольно изрядное брюшко, ходил всегда в темно-зеленом фраке с ясными пуговицами, с орденами и звездами из золотой бумаги и всегда носил на пуговице фрака два маленьких пузырька, наполненные один розовой, другой — зеленой жидкостью. На вопрос, что это за пузырьки и с чем они, отвечал, что это у него живая и мертвая вода — необыкновенное целебное средство. За собой он очень ухаживал, брился часто, пудрился, и мы подсмотрели, как, запершись перед зеркалом, мазал свой еж свечным салом, а потом жженой пробкой. Был чрезмерно любезен с женским полом, говорил стихами собственного произведения и экспромтами. Была у него собственная, тоже особого какого-то наречия грамматика. Когда он уходил от нас, то нагружался очень большими узлами, в которых были всевозможные разноцветные бумажки, коробочки, пузырьки, цветные стеклышки и прочая бутафория; для чего это, не знаю, но он говорил, что это все ему более важности придает и уважения.

На вечерах, праздниках, в особенности на святках, у нас часто фигурировали ряжеными две-три какие-то странные личности, например, огородник Василий Кириллович. У него была большая борода лопатой, причем говорил он тонким, совершенно женским голосом, носил летнюю поддевку тонкого сукна, очень перетянутую в талии, и вообще изгибался и кокетничал всегда по-женски, и любил рядиться в женские костюмы. Говорил всегда: «я пошла», «я вымыла белье», «я подоила коров» и т. п. И действительно, у него всегда в хатке была чистота образцовая, все работы исполнял сам.

Был еще один довольно глуповатый родственник Рышковых — Александр Николаевич, не знаю, как фамилия его. Звали его Шват-Шват, потому что он вместо «сват» говорил «шват». Ужасно некрасивый, с большим горбатым носом и губастый. Меня возмущало обращение с ним — пьяная молодежь, подкравшись к нему, такой давала ему щелчок в нос, что тот издавал как бы металлический звон; напаивали его сивухой и сами напивались мертвецки и пели над этим Шватом:

Отцовский дом покинул я,
Травою зарастет.
Собачка верная моя
Завоет у ворот.
На крыше филин прокричал...

И даже нарочно купили чучело филина.

Он не мог слышать этой песни — всегда разревется и просит оставить. Но нет, они нарочно неистово над ним кричат, пока он, наконец, вырывается от них и убегает. Подобные оргии у мелкопоместных уже описывались у брата моего Вани.

Можно сказать еще про одного человека, который приходил к нам, обыкновенно, на зиму. Это бывший денщик отца, который служил с ним во время Севастопольской кампании,— горчайший пьяница-рыболов. Про него есть у Вани рассказ под названием «Байбаки».

Но я забежал несколько вперед. Нас с братом Юлием отвезли в Елец, в частный пансион для подготовки в гимназию, где мы провели очень однообразно и скучно с год. Дома же оставались в Бутырках наши родители и трое детей. Старший Костя, лет пяти, болезненный, очень бледный блондин с черными очаровательными глазами, за которые его прозвали вальдшнепом, сестренка Шура, лет трех, и мальчик Сережа, кажется, девяти месяцев. И вот как-то приезжает к ним сестра моего отца — старая девица, святоша, вроде бабушки Ольги Дмитриевны. Из усердия она помазала святым маслицем всех троих детишек. Мать моя, конечно, не подозревала, что эта сумасшедшая тетенька предварительно ходила по дворам деревни Каменки и мазала этим маслицем больных детей крестьянских. На второй или третий день все дети заболевают и на той же неделе умирают от крупа. Можно представить, каково это было пережить моей матери.

Не буду передавать в подробности жизнь нашу по переезде родителей к нам в Елец и далее в Воронеж, где родились брат Ваня и сестра Маша, и откуда на каникулы мы все уезжали в деревню, т. е. на хутор Бутырки.

Начну с детства Вани и моей юности.

Хутор наш приходил в упадок, землю большей частью отец сдавал крестьянам, в хозяйстве же оставались две-три коровы и лошадей тоже немного. Себе в посев оставалось очень мало, и все вокруг заросло бурьяном, крапивой, татарками так же, как и сад. Но все это было как-то поэтично: глушь, тишина, только сычи нарушали по ночам эту дремоту, да вблизи, прямо за сараями, была масса перепелов и коростелей. Я любил охотиться за перепелами с сетью и трюкалками подзывать их. Со мной Ваня пристра-

стился к этой охоте, и мы с ним, половив вечернюю зарю, обыкновенно собирались уходить на утреннюю зорю дальше. Ночи стоят в это время короткие, вот я, бывало, говорю: «Ну я, брат, лягу в амбаре пока поспать, а ты не прозевай, буди меня, карауль зорю». И вот, бывало, стоит прекрасная лунная ночь, и он не спит, бегает вокруг амбаров и не ложится, а как услышит первого перепела, будит меня, и мы с ним отправляемся целиком по ржам, по росе. Еще темно, уж перед утром идем, выслушиваем, где лучший перепел. Так уходим за версту или более и там выберем лучшее место или лучшего перепела, растягиваем сеть, и я предупреждаю Ваню, чтобы сидел смирно, затаив дыхание при их приближении. И он, дрожа от нервности и ожидания, замирает. Случалось даже так, что перепела окружат нас, и до того есть смелые, что иногда вскакивают на ногу и на плечо. Помню, взобрался один смельчак на голову Ване и там орет. Можно представить состояние Вани,— он с замиранием сердца в охотничьем экстазе ждет, пока они соберутся под сеть, и тогда по моему знаку вскакивает, вспугивает их. Они запутываются в сети, и тут уж мы их осторожно, но быстро, чтобы не выпутались сами, извлекаем и кладем в мешок,— тут восторгу уже нет конца. Опять продолжаем ловлю, перетаскивая иногда сеть в другое место. А тут уже заря разгорается, и они с еще большей силой и энергией кричат и перелетают. Но это по большей части скорохваты, а самые бойцы — те более осторожны, выбивают резво, не спеша, раза по три, и отличаются от тех скорохватов выдержкой. Он один иногда выделяется из сотни. Но с таким уже не промахнись: малейшая неправильность — и он сейчас же узнает и не пойдет, а во вторую зорю его уже не приманишь. При удачной охоте Ваня бывал в таком восторге, что подпрыгивая бежал домой. Там сажаем их в клетки. Если пойман ранней весной, то скоро закричит в клетке.

Мне было лет 17, я как-то пошел версты за четыре к двоюродному брату в деревню Каменку Бунинскую и, по обыкновению, остался там ночевать. Вечер был темный, тихий, мы сидели в доме. Прибежала к нам девчонка и говорит: «Выйдите-ка на двор, послушайте, кругом нашей усадьбы что делается». Мы вышли, слышим — за амбарами, в поле идет целая процессия с песнями, свистом, гиканьем, хлопаньем бичами, звоня в косу. Впереди, со свечами и образами, идет много народу, несколько женщин запряжены в соху. Нас предупредили, чтобы близко не подходили, иначе они могут и имеют право кого попало встречного убить или застегать кнутами до полусмерти и не будут отвечать — будто бы по закону старых древних обычаев. И вот видим: они, приплясывая, в одних рубашках, с растрепанными волосами, выкрикивают: «Нас восемь девок, восемь баб, девятая удова, мы опахиваем, обмахиваем, ты, коровья смерть, не ходи в наше село». И еще пели и опять повторяли: «Ты, коровья смерть, не ходи в наше село...» В это время была какая-то эпидемия на скотину, дохли коровы, и бабы, собравшись, решили предупредить или прекратить падеж. Во многих деревнях и селах бывали подобные дикие оргии, доходившие до экстаза и изуверства,— верили и рассказывали повсюду, что там, где подобное проделывалось, падеж быстро прекращался.

Перейдем опять к воспоминаниям про наш хутор Бутырки, или, как его прозвал отец,— Гуниб. Я описал его в летнее время года, а вот посмотреть бы и заглянуть в него зимой! Он весь бывал занесен глубокими снегами, которые сравнивали все заносами после недельных метелей. Ни конный, ни пеший не мог туда проникнуть, а если кто и рисковал к нам забрести, то трудно бывало его провести. Часто приходилось посылать работников с лопатами откапывать и прокладывать дорогу, так хутор был занесен — едва виднелись крыши в виде сугробов и макушки деревьев садика. Мы месяцами бывали отрезаны ото всего мира, и если не хватало необходимых запасов, то уже — терпи. Если же кто заезжал к нам, тот

переживал с нами эту горькую долю. Да, мало отличалась жизнь наша от жизни самоедов и других северян. Многое я мог бы рассказать про наши семейные длинные вечера, да воздержусь — и так многое еще впереди. С каким нетерпением ждал я ранних признаков весны. Часто, бывало, влезаю на чердак, смотрю в слуховое окно и жду — не покажутся ли грачи или ранние весенние птички, или, может быть, овраги уже наполняются полой водой и скоро зашумят по ним с могучим ревом обширные воды. Наш Гуниб бывал в это время окружен водой и становился как бы полуостровом. А Ваня, начитавшись Робинзона Крузо и про индейцев, мастерил себе затейливые дикарские костюмы или доспехи рыцарей вместе со своим преподавателем Н. И. Ромашковым, который у нас проживал.

Это был действительно незаменимый человек (конечно, трезвый, если же выпивал, то становился нестерпимым). Он имел неистощимый запас анекдотов и всевозможных рассказов, обладал колоссальной памятью, был человек вообще талантливый. Окончив Лазаревский институт, он затем был, кажется, на юридическом факультете. Не окончил его и в 22 года поступил учителем в гимназии — женскую и мужскую,— но после отставки по случаю пьянства уехал. Он превосходно читал, декламировал, излагал вполне литературно прочитанное, писал стихи, ограничиваясь, однако, только злободневными. Вообще, был он большой комик, умел рассказывать и строил при этом такие уморительные рожи, что все окружающие помирали со смеху. Играл на скрипке и гитаре довольно сносно. Когда же появлялся на столе черфь-ерыч (так он прозвал могарыч), то первое время бывал очень весел и принимался плясать. Однако этот черфь-ерыч быстро на него действовал, и тут уж он начинал ко многим придираться, обыкновенно сучил кулаки и говаривал: «А я вот тебя сейчас в данлевизаж и на манную кашу отсажу», то есть в морду даст и выбьет все зубы.

У Вани был свой Пятница, когда он представлял из себя Робинзона. Когда же мы, после смерти бабушки, переехали в Озёрки, у нас там был под садом большой пруд, где они с товарищем по целым дням плавали в индейских костюмах на пирогах с шестами, крича: «Кикерекú, кикерикú, я аллигатор с соседней реки!» — и сражались стрелами.

Вернусь опять на свой Гуниб. Я уже говорил, что отец сдавал землю крестьянам. Один из них особенно остался у меня в памяти. Это зажиточный крестьянин села Рождества — Данила Алексеевич Сисин. Он был всегда такой благодушный, ходил в дубленом хорошем полушубке и большой шапке. Но иногда являлся и в более парадном виде — в большом, на вате, картузе, покрытом очень оригинально шкурочками селезневых головок. Он гордился тем, что это подарок одного богатого елецкого купца. Я часто ездил в село Рождество, и он постоянно встречал меня на перепутье от обедни. Выходил ко мне, зазывал к себе в гости, брал за повод лошадь и говаривал: «Не обездоль, родимый, заезжай». Усаживал за стол, но сначала показывал мне свое хозяйство. Действительно, хозяйство его было очень хорошим: на гумне, как говаривали, заблудишься в одоньях, т. е. скирдах, далее — пасека колод 100, маслобойка, просорушка, амбарчики полны, а в них и муки, и ветчины, и овчин — всего в изобилии, прекрасные крупные заводские лошади. И вот скажет он своему приемному сыну: «А ну-ка, выведи, покажи барчуку жеребеночка». Тот выведет, да и боится — не удержать, но и есть что посмотреть, прямо — картина. Вороной, густой, что зарево, хвост, лет трех-четырех. Еще показывал мне: «Вот посмотри, какие у меня свинки, шесть штук, кормятся, громадные, страшно глядеть».

«Ну, пойдем, родненький, соловья баснями не кормят, пожалуй сюда в горницу, а там в избе душно. Вот уже всё приготовили, вот баба-то молодец». В горнице накрыто чистой скатертью и нарезано свежих пирогов, водки стоит графинчик и красненькой, достают ветчины жирной горячей,

КУТЕП-ПЕЧНИК
ИЗ ВАСИЛЬЕВСКОГО
Фотография, 1917
Прототип Егора из рассказа «Веселый двор»
Литературный музей, Москва

и яичницу с ветчиной, и студеньку, и творог со сметаной в обмочку, и все уговаривают: «Кушай, дорогой гостечек, не обездоль».— А когда станешь выпивать, скажешь: «Ну, за твое здоровье»,— а он: «Кушай, кушай, сахар в уста».— «Ну, а сам-то что ж не выпьешь?» — «Я ведь для вашего здоровья только красненького и то только пригубить».

И не пьет, а потом меду подадут, а если престольный праздник, то и браги. И ведь не уедешь, чтобы не покушать, а он приговаривает: «Ведь мы вашим батюшкой весьма довольны, он нам земельку хорошую дает». И вот он однажды говорит:

— Я вот девку-внучку просватал, так ты уж не обездоль, приезжай на всю свадьбу, с гармонией, ты ведь, я слышал, большой мастак на ней играть. Да что тебе расскажу (когда вышел меня провожать), вот я не люблю, как говорится, сор из избы выносить, да уж тебе по секрету скажу. Малый-то вот, внучек, подрос и стал прибаловываться. Я замечаю, да до поры, до времени помалкиваю. Стал, подлец, во дворе в амбар заглядывать, верно, ключ подобрал, а я все вижу. Вот не поспал я, и стал караулить, притаился. А он насыпал мешок овса и думает: через сенцы — нельзя, увидят. Он его к воротам положил (а ворота-то ведь у меня всегда на замке ночью), а сам через сенцы, да и снаружи-то подворотнями, взялся за него, за шейку-то, да и тащит. Да никак не протащит и говорит: «Вот оказия какая, вчера больше был мешок и то протащил, а вот этот-то не идет».— А я ведь его держу и говорю: «Да ведь, сукин сын, вчера-то ведь меня не было, а теперь-то я ведь на нем сижу».— Он как дунет, да бежать. Ну а на утро глаз не кажет, да уж вечером пришел, да ко мне в ноги: «Дедушка, родименький, прости Христа ради, век не буду».— Ну, для острастки потаскал за виски, пригрозил и говорю: «Дурак, ведь я для вас это все приобретал, с собой ничего не возьму в могилу». С тех пор и шабаш. Ну, ты никому не говори.

Я часто ходил в деревню Новоселки (это было от нашего Гуниба с версту) на улицу. Помню, раз как-то приехали с поборушек слепые (там в од-

ном дворе были почти все слепые, а с ними ездили и другие слепые). Смотрим и слышим: составился из них целый импровизированный концерт; сидят они в кружке — один играет на жалейке, другой на скрипке, сестра их — в ложки, еще один — на гармонике губной, а еще один слепой сидит и, раскачиваясь, подпевает на мотив плясовой. Бывал я часто в этой деревне на улице и был любим всеми ребятами, так как многие были моими сверстниками, а тем более, что я по ихнему понятию уж очень хорошо на гармошке играл и немного играл на бубне. Они всегда целой оравой приходили за мной на хутор, и мы шли все весело и дружно. Ни одна свадьба не обходилась без меня. Я дальше напишу про свадебные, как они называют, беседы.

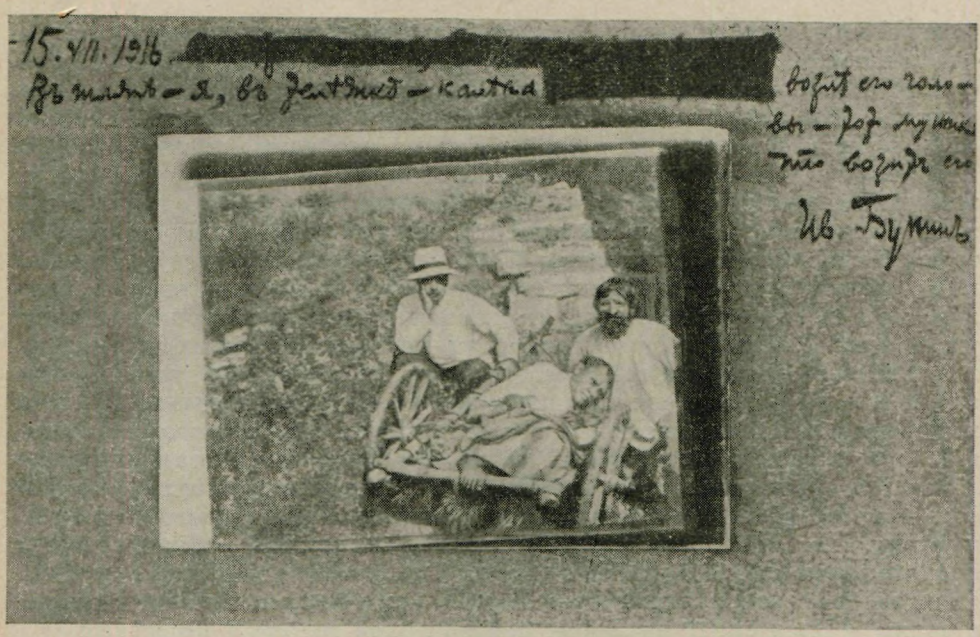
Наступает осень со своими хмурыми днями и темными ночами, в которых есть тоже своя прелесть. Люди рабочие управились с хозяйством, пришло время отдыха, начинаются повсеместно престольные праздники и заодно справляют свадьбы. И мы с ребятами, пробыв некоторое время на улице, отправляемся на девишник к просватанной девушке. Все девицы сидят за столом, перед ними на блюде лежит витушка, сделанная из теста, фигурно сплетенная в виде торта, смазанная маслом с яйцами, блестящая; в середину ее воткнута елочка, украшенная разноцветными ленточками и цветами. Девицы сидят все наряженные, а невеста, по обыкновению, лежит на печке неумытая, непричесанная, плачет, или, вернее, голосит, причитает про свою девичью свободную долю, оплакивает прошлое, не зная, что ее ожидает в будущем. Девицы поют, но так грустно — жаль свою подружку — и думают: вот-вот и их ожидает в скором времени такая же участь. Хозяева хлопочут за приготовлениями к свадьбе, в ожидании жениха с поезжанами. Иногда это длится вплоть до полуночи и даже позднее.

Мы являемся с гармониками, с бубном, иногда и со скрипкой, приносим девкам подсолнухи — гостинцы, вносим с собой оживление и радость. Начинается пение уже другого характера, из-за стола выходят плясать, подпевать парами, а иногда — парень с девицей. Но вот накрывают стол для девиц, тут же подают им ужин с красным вином. Иногда подносят и ребятам, но большей частью подносят нам в сенях, во время уже начатой беседы. Поужинав, девицы встают из-за стола и, помолившись, поют так:

Ну, спасибо тому,
Кто хозяин в дому,
Много пили, много ели,
Много сахарили
и т. д.

и принимаются убирать невесту. Мы уходим в сенцы, а там опять игра с теми, кто не участвует в свадебном пире.

Наконец, послышались колокольчики — едут поезжане с женихом. Тут, обыкновенно, главную роль играют сваты со свахою. Начинаются (при входе в сени) разные церемонии и переговоры с хозяином, хозяйкой и сватами со стороны невесты, довольно курьезные пререкания, как бы торговля. Но это все давно известно и не раз, вероятно, описано, потому воздержусь от подробностей. Когда же все успокоится и все войдут в хату и усядутся за столы, игрицы — девицы и молодые бабы — поют, пляшут, т. е. обыгрывают невесту с женихом и сватов, словом, всех до последней старухи с стариком, а им подносят и дают деньги. Жених с невестою обычно сидят или за другим столом, или же в другой горнице, или в пуньке. Нас угощают, а мы стоим в сенях и дожидаемся, пока выйдут девки. Я ожидаю, когда выйдет моя любимая (она тоже часто бывала в игрицах). Вот вышла, я ее ловлю, заходим впотьмах в угол куда-либо, она вся раз-




БУНИН И КРЕСТЬЯНИН-КАЛЕКА

Фотография, 1916

С надписью: «15.VII.1916. В шляпе — я, в тележке — калека, возле его головы — тот мужик, что возит его. Ив. Бунин»

Музей И. С. Тургенева, Орел

горевшаяся, обрадуется, охватывает меня, залезает под поддевку, прижимается и говорит: «Ишь ты, какой студеный. Приходи к нам сейчас в избу, я скажу жениху, чтобы тебя позвали, ты там поиграй, а мы тебя обыграем». И убежала, дверь отворилась, оттуда слышны отрывками свадебные песни, вроде того:

Манерно ступает,
Чулок не марает,
Сапог не ломает,

прихлопывание в ладоши и стук каблуков по полу. Немного погодя вышел хозяин с фонарем и с бутылкой водки, стал подносить ребятам. Поднес мне и зовет: «Да что же ты тут стоишь? Пойдем в хату». Я иду и меня там обыгрывают:

Да кто ж у нас молод,
Да кто ж неженатый,
Ой, люлюшки люли,
Да кто ж неженатый,
Белый, кудреватый?
Он по полу ходит,
Манерно ступает...

А уж моя-то из всех выкрикивает и машет платочком и бросает искры на меня глазами.

Еще расскажу про одного крестьянина деревни Бутырки — Ивана Маркелова Горячева. Очень просто относятся крестьяне к смерти — еще не успеет человек отойти в вечность, как его спешат обмыть и положить на лавку под святые. Так было в данном случае и с Горячевым. Мы с братом Юлием, зайдя случайно во двор Горячева, застали трогательную картину:

сидит Иван на конике, видимо, ему очень трудно и ужасное у него настроение. Он потребовал ему подать икону, взял ее, перекрестился, приложился и строго, торжественно позвал, прежде всех, своего сына Симфона (правильнее Ксенофонта). «Ну,— говорит очень слабым голосом,— подходи сюда, видишь, я почувствовал свой смертный час и потому желаю с вами проститься и благословить вас на благополучную, долгую, счастливую жизнь». Тот подошел, стал на колени, три раза перекрестился, делая при этом земные поклоны, в то же время старик три раза осенил его иконой, тот приложился к иконе трижды и поцеловал у отца руку и в губы и то же велел сделать всем членам семьи. Проделав все это, старик еще раз перекрестился и, глубоко вздохнув, лег навзничь на этом же конике. Мы тут ушли, и далее оказалось, что его обмыли и положили на лавку под окном, под святые. Положивши, все убрались в другую, через сени, горницу приготовляться к приезду священника и причта. Прошло довольно порядочное время в ожидании священника, тем временем Иван Горячев, полежав, вероятно, в забытье, потянулся, приподняв руки кверху за голову, нащупал под образами бачок с вином, поднес его ко рту и потянул в себя этой благотворной влаги. Она забулькала и оживила его. Немного погодя, он повторил еще, и так раза три. Конечно, влага эта быстро его согрела и привела в веселое расположение духа. По приезде священника все входят и еще из сеней слышат, что кто-то там так грустно, тихо поет. Входят и видят — Иван сидит на лавке, подпер рукой голову и распевает:

Ах, ты, полынь, ты моя полынь
Полынь горькая трава...

Каково же было удивление их при виде подобной картины. Он велел подать закусить и вместе с батюшкой закончили эту панихиду веселой беседой. Так после этого он прожил еще несколько лет.

Детьми мы с братом Юлием часто ходили по нашей маленькой деревне Бутырки, состоящей всего из пяти дворов: крайний двор — Горячева, второй — Аникея, третий — Максима, четвертый — рыжего Фалюшки и последний — Наума, по прозвищу «Ковыряй». В особенности интересовало нас, когда бывал там престольный праздник и съезжались гости — родные из других деревень. В это время, понятно, наша скучная деревенька оживлялась, слышались песни, игры и даже пляска.

Был у нас удалец Максим Корнеев, ниже среднего роста, очень широкий в плечах, с черными усиками и эспаньолкой, необыкновенный работник и на все руки мастер: и тележку сделает или санки — на разгляденье, а станет косить, хоть какая ни будь буйная рожь, он косил сороковую десятину в день. Но вот если бывал пьян, становился зверем. Мы как-то заглянули к нему в избу, он откуда-то приехал пьяный с двоюродным своим братом Василием, по прозвищу Казак. Видим, сел на лавку и так грозно крикнул жене своей: «Ну, али не видишь, что муж твой приехал, что должна делать?» — «Да я не знаю»,— говорит та робко. Он ей в морду сапогом: «Не знаешь?» — Кланяться велит. Она ему в ноги поклон, а он: «Не понимаешь, стерва? Разувать должна». Та бросается разувать его, а он кричит: «Не так».— И опять бьет.

Казак, глядя на него, гаркнул своей: «А ты что же стоишь, как пень, не встретила меня как следует!» Та, по своей злобе, что-то огрызнулась. Как он бросился на нее, схватил за косы и потащил в сени.

В деревне Озёрки один отставной солдат на деревянной ноге так бил свою жену: запрягал ее на пристяжку и всю дорогу драл ее ременным кнутом и на остановках кормил ее теплым лошадиным пометом.

Расскажу теперь про тетушку свою, старую Варвару Николаевну, про которую писал уже брат Ваня, называя ее Шаманом по ее внешности и чудачествам.

Жила она в деревне Каменке, в своем флигельке. Чудачества она свои проявила еще в ранней молодости. Так, например, отдали ее в институт. Как-то была она на каникулах в деревне, окончился срок каникул, ее опять повезли в учебное заведение. Железной дороги тогда не было, возили ее в своем экипаже, т. е. в тарантасе с фордеком. Кучер, покормив лошадей, запряг и отправился обратно домой. Приехал, вдвинул тарантас в каретный сарай, повел лошадей в конюшню. Тут встретила его нянька, стала расспрашивать про барышню свою и соболезновать о ней — дескать, она, наверно, плакала. Стоят и разговаривают в каретном сарае. Кучер стал протирать экипаж, поднял фордек и вдруг, к величайшему своему удивлению, видит — из-под фордека, проснувшись, вылезает барышня. Конечно, никто не мог подозревать, что она там запряталась и всю дорогу проспала. Нянька, конечно, была обрадована, но тетки, которые были ее воспитательницами (она была сирота), ее пробрали за это и на другой день опять велели отправить, уже под надзором старого дворецкого. Образование ее, конечно, не долго продолжалось. По тогдашнему времени считалось, что надо изучить французский язык, игру на фортепиано и т. п. Постигнув все это, она возвратилась в свой скит, где ее тетки — старые девы — жили совершенно монастырской жизнью. Тетка ее Олимпиада Дмитриевна вела в Каменке все хозяйство. Была она, как говорили, очень крупная особа, имела при том особый зычный голос, за что ее прозвали Соковнин (это бывший когда-то орловский губернатор, отличавшийся большой строгостью и громогласностью). Эта Олимпиада Дмитриевна была настолько грузная особа, что раз как-то, когда ей вздумалось прикинуть себя на весах, где вешали хлеб, и она села на доску весов, а на другую стали класть гири и наложили 12 пудов — она их перевесила, но коромысло лопнуло и стрелой ее ударило в голову. Ее подняли чуть живую, принесли в дом, она от этого удара пролежала год на смертном одре и скончалась, настолько исхудав, что, говорят, нечего было в гроб положить, словом, один скелет. Варвара Николаевна осталась круглой сиротой. От сильного воздержания во всех отношениях и, кажется, несчастной любви к одному поляку-офицеру Коносевичу, за которого тетки воспротивились выдать ее замуж, она пришла в полусумасшедшее состояние. Ее лечили разные знахарки, но без результатов, хотя прожила она долго, кажется, лет 85.

Внешность ее и костюм трудно поддаются описанию. Она обыкновенно повязывалась каким-то грязным, неопределенного цвета платком, при встрече всегда со всеми целовалась. Мой отец (ее брат) вечно отстранялся от ее поцелуев, говоря, что она непременно выколет когда-нибудь ему глаза своим тонким крючковатым носом. Она никогда не зажигала огня, говоря, что ей и так светло из окон Петички (его дом — напротив ее флигеля). Петичка этот был ее племянник. К нему она всегда ходила и там играла очень бегло на фортепианах старинные, давно забытые всеми увертюры, экосезы, лансье, вальсы, польки, да и более серьезные вещи, но, не выдерживая никогда одного, перебегала на другие и кончала веселыми. При этом у нее вертелась голова во все стороны, а в такт она прихлопывала своим огромным башмаком и подпевала, например:

Колодезь, мой колодезь,
Студеная водица...

Я не помню далее, но отрывками помню:

Эх ты верная, манерная, сударушка моя,
Сокрушила, иссушила добра молодца, меня.
Ты пустила сухоту, по самому животу... и т. д.—

все на веселый, плясовой мотив.

Л. А. ЖЕНЖУРИСТ

# ‹ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПОЛТАВЕ›

Предисловие и публикация В. С. Оголевца

Лидия Александровна *Женжурист* (рожд. Макова, 1870—1942) родилась в Москве, в семье революционеров-народников. Годы юности она провела в г. Ялуторовске, Тобольской губернии, куда были сосланы ее родители [1]. Приехав из Сибири в Казань, она познакомилась со студентом-медиком И. М. Женжуристом [2] и в 1887 г. стала его женой. Перед самым окончанием курса «неблагонадежный» студент был по приказу Делянова исключен из университета и срочно выслан из Казани. Поэтому венчаться им пришлось в Нижнем Новгороде, где их радушно встретили семья В. Г. Короленко и ее друзья [3]. Вскоре И. М. Женжурист уехал с женой во Францию, чтобы закончить медицинское образование в Сорбонне. По возвращении в Россию с дипломом врача он не был допущен к полагавшимся по закону повторным экзаменам и остался без права на врачебную практику. Тогда он решил стать податным инспектором — должность эта привлекала его возможностью общения с крестьянами и ведения в их среде пропаганды. План этот был осуществлен, он получил назначение в Полтаву.

К концу 1880-х — началу 1890-х годов в Полтаве, главным образом среди сотрудников Губернской земской управы, собралась довольно большая группа радикальной интеллигенции, участников революционного движения 1870-х годов, бывших политических ссыльных. Женжуристы встретили здесь старых друзей по прежней революционной работе [4], в том числе Ю. А. Бунина, который стал частым гостем в их доме.

Его неопубликованные воспоминания [5] об этом времени содержат немало сведений о жизни и интересах полтавского кружка 1890-х годов, дополняющих то, о чем рассказывает Л. А. Женжурист. Характеризуя первые годы своей жизни в Полтаве (Ю. А. Бунин был приглашен на работу в Полтавское статистическое бюро весной 1890 г.), он отмечает, что тогда «в Полтаве не было почти никаких общественных организаций», где можно было бы проявить свою энергию. «В свободное от занятий время мы часто бывали друг у друга, периодически собирались в некоторых домах, мечтали о возрождении радикального движения, строили даже планы этого возрождения, читали идейные книги и журналы, но в первые годы моего пребывания в Полтаве никаких практических шагов в этом направлении мы не предпринимали. У нас, однако, вовсе не было унылости и пессимизма, и мы глубоко верили, что скоро вновь начнется освободительное движение, когда пригодятся и наши силы».

В такой обстановке заметным событием в общественной жизни Полтавы оказалось появление в 1891 г. группы толстовцев, пытавшихся воплотить в своем быту идеи Толстого. Ю. А. Бунин уделяет им немало внимания в своих воспоминаниях, и его оценки и характеристики «лидеров» толстовской группы во многом совпадают с тем, что сообщает о них Женжурист.

К 1893—1894 гг. в Полтаве уже явственно обозначилось начало нового общественного подъема. Интерес к толстовцам в это время угас, в центре внимания полтавских радикалов оказались новые течения общественной мысли, споры между марксистами и народниками. Ю. А. Бунин вспоминает об этом переломном времени: «Наш земский кружок все более и более сплачивался и расширялся. Для более тесного общения друг с другом мы устраивали систематические еженедельные собрания по субботам в квартирах то одного, то другого из наших товарищей. На этих собраниях, которые мы назвали „интеллигентским клубом“, бывало обыкновенно человек 50—60 — приблизительно в одном и том же составе. В клубе читались рефераты на разные литературные и общественные темы — с очень оживленными и горячими дебатами ‹...› На одном из собраний читал, между прочим, свой рассказ „На даче“ мой брат Иван Алексеевич.

БУНИН С БРАТОМ ЮЛИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ
Фотография. Полтава, 1891
Музей И. С. Тургенева, Орел

В числе других персонажей этого рассказа были выведены полтавские толстовцы. После чтения обыкновенно бывала музыка и пение, и вечера заканчивались веселыми товарищескими ужинами».

Для Бунина, поселившегося в Полтаве в августе 1892 г. и покинувшего ее в январе 1895 г., прожитое там время было значительным этапом. Здесь он пережил увлечение толстовством, здесь прошли последние годы его трудного романа с В. В. Пащенко; во время поездок по городам и селам Полтавщины и по другим местам Украины он ближе узнал жизнь украинского народа, его историческое прошлое, его песенное творчество. Значительно вырос он за это время и как писатель — его произведения стали печататься в лучших столичных журналах, его талант был замечен видными литературными критиками. Во всем этом немаловажную роль сыграла общая атмосфера, которая царила в полтавском кружке, куда ввел младшего брата Ю. А. Бунин. Постоянное дружеское общение членов этого кружка, горячие споры, сочетание серьезных общественных интересов с молодым весельем, непринужденные товарищеские вечера с песнями, с прогулками по окрестностям Полтавы,—все это не могло не увлекать Бунина, хотя он и оставался, по-видимому, в стороне от идейно-политических интересов, которыми жил весь кружок в целом [6].

Публикуемые воспоминания не дают широкого и всестороннего освещения полтавского периода в жизни Бунина. Но и то, что сохранила память мемуаристки, имеет право на внимание биографов писателя.

Л. А. Женжурист писала свои воспоминания в пожилом возрасте. Пишущий эти строки встречался с нею не только в пору своего детства в Полтаве. Особенно часто нам приходилось видеться в предреволюционные годы в Петербурге, где я учился в университете, и после 1935 г., когда она, оставшись одинокой после смерти второго мужа, жила в Москве в семье своих родственников Лебединских [7]. В беседах со мною она часто обращалась к воспоминаниям о далеком прошлом. Но к писанию мемуаров она приступила, по-видимому, несколько позднее, в предвоенные годы [8].

Последние полтора года своей жизни Л. А. Женжурист провела в доме престарелых в Казани (по другим сведениям — в Елабуге), где и умерла. Рукопись ее воспо-

минаний, которую она, конечно, увезла из Москвы с собою, не сохранилась. Машинописную копию их она передала — еще в Москве — Г. А. Шенгели, который пользовался ее дружбой и доверием. По этой копии, любезно предоставленной «Литературному наследству» его вдовой Ниной Николаевной Шенгели, и публикуются отрывки из воспоминаний Л. А. Женжурист, относящиеся к жизни в Полтаве [9]. Мелкие ошибки, встречающиеся в машинописи, в том числе в именах некоторых из упоминаемых лиц, исправляются без оговорок.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Александр Иванович *Маков* (1839 — после 1900) окончил Харьковский университет, затем поселился в Москве, принимал участие в революционной деятельности. В 1879 г. был арестован и выслан сначала в Самару, а затем в Ялуторовск, пробыл там до 1887 г. Его жена Надежда Ивановна (1846 — около 1887) была сослана туда же в 1882 г., умерла в Сибири (см. о них в биографическом словаре: «Деятели революционного движения в России», 70-е годы, т. II, вып. 3, стлб. 848—849).

[2] Иван Миронович *Женжурист* (1863—1920) до Казани учился в Харьковском университете. В полицейских донесениях 1882 г. он назван «личностью вполне неблагонадежною в политическом отношении» (ЦГАОР, ф. 202, д. 115/69/1327, 1881/82 г., л. 27).

[3] Л. А. Женжурист рассказывает об этом в своих воспоминаниях: «Не могу обойти молчанием и Нижнего Новгорода, куда мы переехали сейчас же по исключении мужа, так как в течение 24 часов он должен был выбыть из Казани. Там мы встретили теплый прием со стороны Владимира Галактионовича, Авдотьи Семеновны Короленко и Сергея Яковлевича Елпатьевского, знавших меня с детства. 〈...〉 Вслед за нами приехал из Казани и милый, всепрощающий, кроткий, переживший личные невзгоды (а их много было у него) Николай Елпидифорович Петропавловский (С. Каронин). И здесь все они заменили мне старших — отца и мать, которые были еще в ссылке, и повели меня к венцу. Владимир Галактионович в качестве посаженого отца, а Ангел Иванович Богданович (он был другом моего мужа) и его неразлучный товарищ, умница-публицист А. А. Дробыш-Дробышевский — шаферами».

[4] Давние дружеские отношения связывали И. М. Женжуриста с моим отцом Степаном Яковлевичем Оголевцом (1857—1937), который также служил в это время податным инспектором в Полтаве (см. о нем статью: О. С. Викторов. Семидесятник С. Я. Оголевец.— «Вопросы истории», 1968, № 1). Женжуристы навещали нашу семью — нередко вместе с ними к нам приходил и Ю. А. Бунин, а когда в Полтаву приехал его младший брат, то и он вошел в круг близких знакомых моих родителей.

[5] Ю. А. Бунин. Из жизни провинции в 90-х годах.— ГБЛ, ф. 218.765.1.

[6] Существенным для Бунина в эти годы было его сотрудничество в «Полтавских губернских ведомостях». После разрыва с «Орловским вестником» он стал систематически печататься именно в этой газете. В воспоминаниях Ю. А. Бунина освещен и этот любопытный эпизод: «Для того, чтобы оказывать более планомерное и систематическое влияние на общественное мнение, представители полтавской интеллигенции стремились завести свой орган печати. Стремление это осуществилось в конце 1894 г. в очень оригинальной форме. В наших руках оказалась неофициальная часть „Полтавских губернских ведомостей“, редактором которых состоял секретарь губернского статистического комитета Д. А. Иваненко. С согласия губернатора, газета была передана в распоряжение нашей группы, организовавшей особый редакционный комитет, в состав которого вошли: Н. Г. Кулябко-Корецкий, Е. В. Святловский, С. П. Балабуха, Л. В. Падалка, П. М. Дубровский, секретарь губернской управы А. Н. Лисовский, его супруга К. К., мой брат Иван Алексеевич и я. 〈...〉 „Полтавские губернские ведомости“ велись нами в очень прогрессивном направлении, поскольку это было возможно в то время, когда цензурные условия вообще были очень тягостны. Однако на нашу газету было в скором времени обращено внимание — между прочим, о ней злобно писали „Московские ведомости“, а наша полемика с „Южным краем“ по вопросу о национализации земли 〈...〉 повела к тому, что мы принуждены были расстаться с „Полтавскими ведомостями“, в которых работали около года» (ГБЛ, ф. 218. 765.1).

[7] Вячеслав Васильевич *Лебединский* (1888—1955), химик, член-корреспондент АН СССР, был женат на племяннице Л. А. Женжурист Надежде Павловне Анненковой.

[8] Другая ее племянница, З. П. Анненкова, сообщила, что Л. А. работала над воспоминаниями втайне от родственников, но по некоторым данным это происходило за год до начала войны 1941—1945 гг. (Письмо В. С. Оголевцу 29 декабря 1967 г.)

[9] Л. А. Женжурист начинает свои воспоминания с 1876 г., когда ей было шесть лет. Она рассказывает о многих деятелях революционного движения, близких ее семье, в том числе о В. Н. Фигнер, Н. А. Морозове, Г. А. Лопатине, много внимания уделяет своим родителям, их жизни в Москве и в Сибири, воскрешает картину жизни политических ссыльных в Ялуторовске.

В Губернской земской управе муж встретился с Юлием Алексеевичем Буниным, с которым еще во времена студенчества поддерживал связь по нелегальной деятельности, и сейчас же привел его к нам. Меня Юлий Алексеевич знал девочкой, когда студентом бывал у моих родителей. В Полтаве он заведовал статистическим бюро при губернском земстве.

Земская статистика в Полтавской и Воронежской губерниях стояла тогда на высоте, в полной мере отвечая своему назначению — и по широте постановки дела и по подбору идейных работников, отдававших свой труд не за страх, а за совесть. Юлий Алексеевич, став во главе статистического бюро по кончине Терешкевича [1], до фанатизма отдававшегося этой деятельности,— «не потревожил памяти» своего предшественника, как выразилась жена покойного, страстная поборница мужа,— оказался достойным его заместителем, хотя и не ставил земской статистики краеугольным камнем своего жизненного пути. Он лишь признавал за нею право на первое место в выявлении всех нужд деревни — как бы фотографируя полную картину ее жизни со всеми мельчайшими деталями путем добываемых на месте неоспоримых цифровых данных.

Вслед за Юлием Алексеевичем появились у нас товарищи его — статистики, люди интересные, идейные (как упомянула выше), с политическим прошлым, находившие себе приют только в таких прогрессивных учреждениях, как земская статистика. Все они были одинокие, и потому почти сейчас же образовалась у нас одна общая семья. Нам с мужем, с непривычки, впервые, казалось очень сиротливо на самостоятельном хозяйстве. Один из вновь обретенных нами друзей вскоре и вовсе перебрался к нам — была свободная комната, а он жил далеко. Юлий Алексеевич имел хорошую комнату около нас и оставил ее за собою на всякий случай — для общей надобности, домой же редко уходил даже на ночь.

С занятий, к обеду, все сходились у нас, хозяйничали по очереди, понедельно, т. е. ежедневно подсчитывали с кухаркой расход за весь день и затем, к концу недели, раскладывали на всех поровну. После обеда отдыхали, болтали, шутили, читали, а затем каждый принимался за свою работу, захваченную из бюро на дом. И я была втянута в эту работу. Юлий Алексеевич как заведующий бюро занимался общей сводкой представлявшихся ему по губернии статистических данных, я же — по живым, говорящим цифрам — писала ему объяснительный текст и так увлекалась этой интересной и первой для меня работой, что, бывало, не оторвусь.

Был у нас и час шахмат, были и серьезные игроки. Я лично не принадлежала к ним, хотя отец, страстный любитель, будучи в ссылке, и старался сделать из меня терпимого партнера для себя. Но в возрасте подростка мне трудно было долго и сосредоточенно обдумывать ходы,— живее казалась игра на биллиарде, которой также обучил меня отец в Сибири. Все же и я на этот раз, т. е. в Полтаве, увлекшись шахматами, случалось, давала мат, ставя в тупик своими легкомысленными, неожиданными ходами «гроссмейстеров».

Жили дружно, тесно сблизившись между собою; ко мне же относились необыкновенно трогательно, заботливо — как к общему детищу⟨...⟩

Юлий Алексеевич помогал мне разбираться во всех противоречиях, которые ставила мне жизнь по мере знакомства с ней; помогал изживать разлад между тем, что так легко, так естественно в теории и так не укладывается в живую жизнь. И эту трогательную, нежную привязанность он делил между мною и своим младшим братом, моим сверстником — Ванечкой, тогда еще только начинавшим, но уже много обещавшим поэтом.

Обладая глубоким умом, всесторонним образованием, развитием, Юлий Алексеевич внес, со своей стороны, немалую долю в развитие таланта брата, расширяя его кругозор, углубляя наблюдательность и руководя

его духовным развитием. По себе знаю, как много он давал в этом направлении. ⟨...⟩

Почему-то наше дружеское сожительство постепенно стало приобретать все бо́льшую и бо́льшую известность — сначала в Полтаве, а затем и далеко за пределами ее. Первыми ласточками явились толстовцы — у них была небольшая община под городом, возглавлявшаяся Файнерманом (если не забыла фамилию) [2]. Люди хорошие, симпатичные, но, конечно, несколько односторонние,— одни от природы, другие — с искусственно суженным кругозором.

Помню двух братьев Алехиных — оба бывшие террористы [3]. Крупные землевладельцы, они почти все свои средства отдавали на революционную борьбу. Когда же стали толстовцами, поделили землю между крестьянами, оставив необходимый участок для интеллигентной колонии.

Один из них бывал у нас очень часто, и мне страшно хотелось услышать от него лично, что послужило толчком к такому резкому душевному перелому — вплоть до признания и ощущения в себе высшего существа...

И он поведал мне все пережитое им на грани перехода от террориста к непротивленцу: когда ему выпал жребий совершить террористический акт, он, простояв двое суток на своем посту, выслеживая обреченную жертву, пережил мучительный душевный разлад «пред необходимостью убить человека, не будучи в силах задушить курчонка». Обессилев в этой внутренней борьбе и все же не желая стать дезертиром, он выстрелил наугад в окно второго этажа, увидев в нем давно жданную фигуру. Кажется, это было одно из неудавшихся покушений на Победоносцева [4], олицетворения зла природы. Он был неуловим.

Я слушала и не могла оторвать глаз от говорившего. Хотя не было никаких сомнений в безусловной искренности его, все же дух его не был укрощен,— предо мною стоял энергичный, страстный агитатор — борец! — таким огнем дышала вся его фигура, его глаза, его голос.

Как-то во время послеобеденного отдыха появилась у нас довольно странная, оригинальная фигура — высокая, худая, лицо угловатое, взгляд неприятно-острый; костюм путешествующего пешком — сверх пиджака перекинутый на одно плечо плед, на голове зеленая фетровая шляпа, в руках огромная сучковатая палка. Сказал всем «добрый день» и уселся, не называя себя.

От неожиданности и от странного вида посетителя мы все прямо-таки опешили и молча смотрели на него. Вследствие создавшейся напряженности стоило неимоверного труда не расхохотаться, когда мы обменялись между собою взглядами.

Это оказался известный Клопский [5], выведенный Н. Е. Петропавловским-Карониным в его произведении «Учитель жизни» [6].

Просидел он у нас до поздней ночи (от занятий пришлось отказаться), молча прислушивался к нашим беседам, лишь изредка вставляя вопросы, странно не понимая вполне понятное, извращая смысл сказанного, беря то или иное слово, имеющее разные значения, непременно в обратном тому, какое уместно в данном случае. Когда же выражали удивление по этому поводу, он заявлял: «надо употреблять такие слова, которые не могут быть истолкованы неправильно — кто ясно говорит, тот ясно мыслит».

Когда все стали расходиться, он попросил разрешения переночевать, так как устал с дороги, а к толстовцам, где он решил остановиться, далеко — за город.

Живший с нами Иван Васильевич Орлов [7] любезно предложил ему свою кровать, сам же устроился в общей комнате.

На другой день Клопский ушел к толстовцам, но к вечеру вернулся к нам, заявив, что у нас уютнее и к тому же ему необходимо побыть некоторое время в городе, чтобы кое-кого найти, повидать.

ПОЛТАВА
Рисунок Д. Пахомова (сепия), 1890-е годы
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Он так спокойно, уверенно расположился у нас, что парализовал всякий протест с нашей стороны. Не приходило ему в голову и вернуть предложенную ему на одну ночь постель. И бедный Иван Васильевич, чтобы отвоевать и ее и комнату, укладывался, как только темнело, и поднимался, когда Клопский поневоле устраивался в столовой.

Все в нем — и общий вид, и манера говорить, и упорное желание заставить вести разговор в желательном для него направлении — страшно нервировало всех и вызывало бурные споры, ни к чему, кроме утомления, не приводившие. И когда споры доходили до крайних пределов, он чувствовал себя в своей сфере, потирал от удовольствия руки, как-то странно, неприятно улыбался. Но стоило поймать его на непоследовательности, противоречиях, он вдруг обрывал спор, начинал говорить тихим, вкрадчивым голосом о «законах жизни», о необходимости познать их, чтобы жизнь стала приемлемой для всех. А для того, чтобы познать — необходимо уйти от всего, что окружает человека в городе, принижает его духовное «я»,— и войти в общение с чистой природой.

И вот для этого он приехал на юг, где особенно привлекательна природа и где люди более впечатлительны и не так связаны всякими условностями, а потому и легче откликнутся на его зов. 〈...〉

В конце концов, придя к окончательному убеждению, что за игрою слов,— как, например, на требование вида (на жительство) отвечать: «Вот мой вид»,— обведя рукою свою фигуру,— за упражнением в диалектике и за желанием быть оригинальным ровно ничего нет, что «законы жизни», к познанию которых он зовет, прежде всего для него самого более чем туманны, все успокоились и перестали замечать его назойливое присутствие.

Только я не могла еще примириться с мыслью, что человек может быть каким-то мыльным пузырем — взлетит на воздух... и нет ничего, одни брызги... Казалось, если это не душевнобольной, не маниак, то должно же быть у него что-то, что оправдывало бы это метание по чужим углам, это жуткое безделье. Если же допустить здесь только искания возможности получать кров и пищу, не прилагая к тому своих рук, то такой способ добывания себе пропитания — тоже не из легких.

Придя, наконец, к такому же выводу, как ранее остальные члены нашего общежития, со всей страстностью юности и, к тому же, крайне нервного человека, я высказала ему всю его пустоту, никчемность, признав за ним лишь один неоспоримый талант — отравлять людям существование.

Такая отповедь, да еще со стороны человека, которого, как он был уверен, вполне подчинил своему влиянию и завербовал в свою «колонию», как мы узнали потом от неожиданных посетителей — взглянуть на «штаб-квартиру» Клопского и на его товарищей по «колонии» во главе со мною,— повторяю, отповедь эта так потрясла его и привела в такую ярость, что не окажись случайно в доме Ивана Васильевича, он, кажется, поколотил бы меня.

Сойдясь в этот день к обеду и узнав, что Клопский никогда уже больше не появится у нас, все вздохнули свободно и особенно сильно почувствовали, как нестерпим был гнет вынужденного общения с ним и какой «подвиг» совершила я. ⟨...⟩

Задумываясь сейчас над этим эпизодом, я все же, несмотря на упомянутую выше отповедь, изгнавшую от нас Клопского, помнится, никогда не могла освободиться от чувства сострадания к этому человеку, к его до жути одинокой душе, не умевшей, хотя как будто и стремившейся, привязать к себе хоть кого-нибудь.

Хочется еще задержаться на Александре Александровиче Волкенштейне [8], но уже вне Клопского. Хоть мне и очень часто случалось с ним ссориться и поводов серьезных к тому бывало не мало, тем не менее я всегда питала к нему большую симпатию. Нравились мне в нем, что крайне редко можно встретить среди светских людей, непосредственность, способность всей душою отдаваться каждому новому увлечению, какого бы характера оно ни было,— без тени позы, рисовки.

Когда его первую жену, Людмилу Волкенштейн, после 20-летнего заключения в Шлиссельбургской крепости, перевозили через Одессу на Сахалин, его неудержимо потянуло повидаться с ней, он поспешно выехал в Одессу и... совершенно неожиданно для себя, для своей второй жены, семьи, уехал с ней на Сахалин, где, недавний еще сибарит, отдал себя всего ссыльно-поселенцам и каторжанам.

А когда в 1905 году были объявлены так называемые «свободы» и Людмила Волкенштейн (забыла ее отчество) получила право покинуть Сахалин, он сопровождал ее во Владивосток и там, во время огромной демонстрации по поводу ее приезда, идя с ней под руку в первом ряду, в момент общего ликования — принял ее последний вздох... Она была сражена пулей провокатора [9].

Что далее сталось с Александром Александровичем, вернулся ли он на родину,— не помню. Остался сын их, который, будучи студентом, вместе с отцом сопровождал мать на Сахалин. Жив ли он — не знаю [10].

Как ни хороша была жизнь среди близких людей, среди интересной работы по статистике, по составлению биографий любимых классиков для «Брокгауза и Ефрона», все же порой мне не хватало — ну, хотя бы, качелей, которые висели в саду для детишек нашего домовладельца. Пробовала звать кого-нибудь из своих,— смущались своей солидности, хотя и на «жертву» готовы были, лишь бы не огорчить меня.

ПРОГРАММА
МУЗЫКАЛЬНОГО ВЕЧЕРА
С УЧАСТИЕМ БУНИНА

Полтава, 10 марта 1896 г.

Музей И. С. Тургенева, Орел

ПРОГРАММА:

1-е Отдѣленіе.

1) Хоръ Невольниковъ, муз. Лысенко
исп. мужской хоръ.

2) Арія Шакловитаго, изъ Хованщины, муз. Мусоргскаго
исп. А. Г. Ляховичъ.

3) „Сейчасъ," мон-экспромтъ Трофимова
прочт. М. Л. Гурвичъ.

4) Дуэтъ изъ оп. Різдвяна нічь, муз. Лысенко
исп. Е. І. Рѣпчанская и А. Г. Ляховичъ.

5) а) Фантазія М. Машковскаго
б) Нѣмецкіе танцы Л. Бетховена
исп. Е. А. Зайцева.

6) Хоръ Русалокъ, муз. Даргомыжскаго
исп. женскій хоръ

2-е Отдѣленіе.

1) „Богъ войны!" изъ оп. Жизнь за Царя М. И. Глинки.
исп. хоръ смѣшанныхъ голосовъ.

2) а) Концертный этюдъ М. Машковскаго
б) Разсказы у рояля. К. Шервенко
исп. Е. А. Зайцева.

3) „На край свѣта" соч. И. Бунина
прочтетъ авторъ.

4) Соло́, исп. Е. І. Рѣпчанская.

5) „Заповітъ," слова Шевченко, муз. Гладкаго
исп. мужской хоръ.

Аккомпанировать будетъ М. Д. Онацевичъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Печ. разр. 7 Марта 1896 г. Полтав. Полиціймейстеръ Ивановъ.
Полтава, Типо-Лит. Старожицкаго.

Но вот однажды вошел к нам милый юноша и внес с собою свежую струю искрящейся молодости... Это и был Иван Бунин [11]. Появился он неожиданно не только для нас всех, но и для брата. Едва успел он помыться и переодеться, как я набралась храбрости и позвала его на качели. Предложение это было встречено дружным хохотом, Ванечка же отозвался на него с восторгом.

Так началось мое знакомство и, с того же дня, дружба с крупным талантом, с большим художником.

Еще кончая гимназию в Орле [12], он горячо полюбил свою сверстницу, тоже кончавшую гимназию, и, не желая расставаться с ней, вместо университета, к великому огорчению брата, остался в Орле — сотрудничать в местной газете, куда его избранница поступила корректором.

На его любовь она ответила взаимностью, и они тут же поженились, но без «венца» — невеста категорически отказалась узаконить союз — «из принципа».

Год спустя она нашла, что ему пора уже позаботиться о своей служебной карьере, и потребовала, чтобы он немедленно отправился к брату, который должен устроить его, и чтоб к ней не возвращался, пока не займет прочного служебного положения.

Когда Юленька рассказал мне, почему бедный мальчик приехал к нам «в изгнание»,— как ни была я молода, все же сразу поняла — не опытом, а душой,— что дело не в принципе, а в сухом, холодном расчете: стоит ли закреплять связь?— и это в 20 лет! Послать любимого человека, талантливого юношу, делать служебную карьеру вместо того, чтобы настоять на продолжении образования, тем более что она и была причиной отказа от поездки в Москву — в университет.

Горевал, грустил в разлуке, но молодость, живость брали свое... И, бывало, каких только проказ ни проделывали мы с ним над нашими солидными учеными мужами! И больше всего доставалось самому серьезному, изучавшему всех философов, увлекавшемуся Шопенгауэром... Его никогда не покидала некоторая наивность, свойственная очень добрым людям... Что ему ни скажи, он всему готов верить, если это говорится с серьезным выражением лица. Шутку он признавал только с весельем в глазах и с улыбкой на устах. И был он хоть и большим умником, но «тяжелодумом». Промелькнет шутка, острота, все оценят ее веселым смехом, а Иван Васильевич сидит серьезный, сосредоточенный и вдруг зальется звонким, детским смехом,— это до него дошла та шутка, о которой все уже забыли.

За чайным, обеденным столом, на прогулках, катаньях на лодке,— как мазки кисти по холсту талантливой рукой, бросал Ванечка экспромтом шутки, юмористические сценки «с натуры», дружественные шаржи, тонко подмечая мельчайшие слабые черточки и делая их выпуклыми... Так и сверкали блестки его творческого остроумия. А поводов к тому было немало, особенно при внезапных вторжениях «любознательных туристов» взглянуть на жизнь в «интеллигентной колонии» (!?).

Он живо воспроизводил и наивных посетителей, и как каждый из них реагировал на эти посещения, и себя, конечно, не обходил.

Однажды я получила письмо, отправленное наугад, без адреса. Рука на конверте знакомая, близкая — друг моей ранней, светлой юности, товарищ по ссылке моих родителей, просил сообщить точный адрес, если разделяю желание повидаться... Живет близко, в Харькове, всего 5 часов езды от Полтавы...

На мой отклик сейчас же приехал и взял слово навестить его мать... Одну не отпускали — «никогда не ездила самостоятельно»... Вызвался проводить Л. Я.[13],— «к сестре надо наведаться», известной украинской писательнице, собиравшей тогда материалы по истории Украины. Но в качестве провожатого нашли нужным отправить и Ванечку— он был свободен. Должны были с ночным поездом «обязательно» вернуться, т. е., вернее, привезти меня обратно. Но вернулись все врозь,— первым, с ночным поездом и с двумя билетами, Л. Я., затем, со следующим утренним — Ванечка и, наконец, через «целые сутки» была доставлена и я, в ответ на тревожные телеграммы «проводить до разъезда, где ожидают». И я с провожавшим меня близким человеком, и Ванечка, каждый порознь, были в условленное время на вокзале, но, никого не найдя, вернулись обратно, а Л. Я., взяв билеты для себя и меня, ожидал почему-то в вагоне,— по объяснению Ванечки, от него прятался... Он был уверен, что Л. Я. увез меня, почему и полетел чуть свет на другое утро.

И вот в день моего возвращения, к обеду — на десерт Ванечка преподнес мне драматическую поэму «Втроем в Харьков и врозь обратно». Не пощадил он в ней ни Л. Я., привезшего вместо меня второй билет, ни себя, в положении покинутого.

Много смеялись, но мне это приключение в духе Джером Джерома обошлось не дешево.

Тогда же вышел первый томик его стихотворений, посвященный любимой девушке. Получила я этот томик с шутливой и трогательной надписью — «Дорогому Индюшоночку в знак преданности и любви от автора»[14].

В моей хрупкости (выражение его) он находил общее между мною и индюшатами — как их трудно выращивать, так и я — сейчас здорова, весела, а через полчаса температура сорок и лежу, как пласт, дня два... Правда, так же внезапно и кончалось все.

Устроив Ванечку в статистическое бюро, Юлий Алексеевич по его настоянию, отправился в Орел и уговорил Варю — жену Ванечки — переехать в Полтаву и работать вместе.

Жизнь их как будто наладилась, но, спустя некоторое время, она внезапно исчезла, оставив Ванечке трогательную записку, заверяя его в своей любви, но находя в то же время необходимым разойтись [15]. ⟨...⟩

Не ведала, что творила, ища выгодного мужа. Любил Ванечка, конечно, не ту, какой была в действительности его избранница. И вряд ли эта первая юношеская любовь не была и последней... В этом судьба наша была одинакова,— только мне боль была причинена мною же, а не дорогим существом...

Да простит мне тот, о ком вспоминаю всегда, как о милом, талантливом юноше, что я поведала былое.

Расстались мы молодыми и грустно было бы встретиться сейчас, когда все осталось позади. Но... все же, хотелось бы.

Борис Николаевич Леонтьев...[16] Прямо из Пажеского корпуса ушел в живую жизнь. Он находил ее для себя там, где этой жизни не хватало, где в ней нуждались.

Навестив под Полтавой кружок толстовцев, он появился у нас как-то вдруг и остался,— должно быть почувствовав, что и здесь, несмотря на яркую, красочную жизнь, он нужен.

Подошел с какой-то братской, проникновенной мягкостью и, без единого слова с моей стороны, разглядел мятущуюся душу и поделился своими наблюдениями с «любимым старцем», как он называл Л. Н. Толстого. В ответ получила я дивное письмо от Льва Николаевича, в котором он тепло, ласково звал меня к себе в Ясную Поляну — «пожить, сколько поживется».

«Будем вместе работать по устройству столовых, вместе читать, гулять, разговаривать, спорить... и я уверен, что среди спокойной природы, в общении со мною и чистым, светлым Борисом Николаевичем, вы вновь обретете себя и свое место в жизни...» [17] «С чистым, светлым»... Находя и давая другим,— для себя, среди житейских противоречий, он не смог найти места и ушел от жизни, оставив друзьям свою покаянную исповедь — «Дни — годы», напечатанную в одной из осенних книжек «Русского богатства» за 1910 или 1911 год — в год кончины Льва Николаевича, помнится...[18]

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Николай Александрович *Терешкевич* (? — 1888) заведовал Статистическим бюро Полтавского губернского земства. Его жена Вера Васильевна также работала в статистическом бюро.

[2] Исаак Борисович *Файнерман* (1862—1925) в молодые годы стал последователем Толстого, в 1885 г. поселился в деревне Ясная Поляна, занимался крестьянским трудом (см.: «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 113). Переехав в Полтаву, организовал столярную мастерскую, в которой принимал участие и Бунин,— для него Файнерман был тогда «главным наставником как в „учении", так и в жизни» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 54). Впоследствии Файнерман стал журналистом и приобрел известность под псевдонимом Тенеромо.

[3] Последователями Толстого были три брата *Алехины*: Аркадий (1854—1918), Митрофан (1856—1935) и Алексей (1859—1934) Васильевичи. Они принадлежали к богатой купеческой семье. С 1889 г. участвовали в создании земледельческих общин, в 1892 г. помогали Толстому в организации помощи голодающим. Сведений об их террористической деятельности не сохранилось.

[4] Сведений об этом покушении найти не удалось.

[5] Иван Михайлович *Клопский* (или Клобский, 1852—1898) — сын дьякона, учился в духовной семинарии, затем в университете (Петербургском, Московском). Выдавал себя то за народовольца, то за толстовца. В 1892 г. был выслан из Полтавы, в середине 1890-х годов эмигрировал в Америку, где вскоре умер. Бунин резко характеризует его в книге «Освобождение Толстого» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 53—54). Л. А. Жен-

журист в своей оценке совпадает с Буниным, дополняя его рядом новых штрихов. В том же духе пишет о нем и Ю. А. Бунин: «Даже такой человек из их среды, как И. М. Клобский, отличительной чертой которого было стремление огорашивать слушателей вечными парадоксами, человек, на мой взгляд, неискренний и по натуре грубый, привлекал к себе всеобщее внимание» (ГБЛ, 218. 765.1). О Клопском упоминает Горький в «Моих университетах» («Горький», т. 13, стр. 575—579).

[6] Повесть Н. Е. Петропавловского (С. Каронина) «Учитель жизни» была направлена против увлечения идеями толстовства. Впервые была опубликована в журн. «Русская мысль», 1891, № 1—4.

[7] Иван Васильевич *Орлов* — один из полтавских статистиков, находился под полицейским надзором.

[8] Александр Александрович *Волкенштейн* (1852—1925) — врач, участник революционного движения 1870-х годов на Украине, привлекался по «делу 193-х», но был оправдан. В 1890-х годах — земский врач в Полтаве, последователь Толстого. Бунин упоминает его в книге «Освобождение Толстого» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 53—56).

[9] Людмила Александровна *Волкенштейн* (1857—1906) — член «Народной воли». См. кн.: Л. А. Волкенштейн. Из тюремных воспоминаний. Л., 1925.

[10] После гибели жены А. А. Волкенштейн вернулся в Полтаву, где и прожил до конца жизни, занимаясь врачебной практикой (в частности, он был домашним врачом В. Г. Короленко). Его сын Сергей умер в Полтаве в 1914 г.

[11] В первый раз Бунин ненадолго приехал к брату в Полтаву в конце мая 1891 г.— см. его письмо к В. В. Пащенко 1 июля 1891 г. (ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. хр. 11). После этого Бунин был в Полтаве в конце июня того же года (см. письмо к Пащенко 28 июня.— Там же). 28 февраля 1892 г. он снова писал ей из Полтавы: «Мы почти все время — да весь день, а я даже ночь, потому что у Юлия спать на полу холодно,— проводим у Женжуристов. Славные они люди и чувствуешь себя у них как дома... даже, что касается меня, то лучше дома...» (там же, ед. хр. 13).

[12] Ошибка: Бунин учился в гимназии в Ельце и гимназического курса не закончил.

[13] Личность «Л. Я.», как и упомянутого выше «друга юности», установить не удалось.

[14] Книга Бунина «Стихотворения 1887—1891 гг.» (Орел, 1891) вышла в свет в конце года, с посвящением Ю. А. Бунину. Экземпляр, подаренный автором Л. А. Женжурист, не сохранился.

[15] См. об этом: «Материалы», стр. 42 и 47.

[16] Борис Николаевич *Леонтьев* (1866—1909) — последователь Толстого, член полтавской колонии толстовцев. Осенью 1893 г. был в Ясной Поляне; Толстой писал о нем 20 октября жене: «Он тихий, спокойный и серьезный, мне очень симпатичный человек» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 87, стр. 225; ср. характеристику, которую дал ему Бунин.— Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 54).

[17] Письмо Толстого к Л. А. Женжурист 20 февраля 1893 г. неизвестно (см. «Список писем и деловых бумаг Л. Н. Толстого, текст которых неизвестен». — Полн. собр. соч., т. 90, стр. 92). Воспоминания Л. А. Женжурист впервые освещают обстоятельства, вызвавшие это письмо, и знакомят нас частично с его текстом (возможно, не вполне точно).

[18] Статья Б. Н. Леонтьева под таким названием в «Русском богатстве» за 1909—1911 гг. не обнаружена.

Е. П. ПЕШКОВА

# ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Публикация Н. И. Дикушиной

Е. П. Пешкова (1878—1965), жена А. М. Горького, длительное время была знакома с Буниным. О своих встречах она рассказывала на вечерах в ГЛМ, посвященных 85-летию и 90-летию со дня рождения Бунина (в 1955 и 1960 гг.). Рукописи этих воспоминаний хранятся в архиве Е. П. Пешковой (АГ; машинопись с авторской правкой).

Ниже публикуется текст воспоминаний, подготовленный ею для чтения на вечере в ГЛМ 22 октября 1960 г. В МКТ сохранилась магнитофонная запись этого выступления, которое отличается от публикуемого текста: оно было короче, но вместе с тем содержало некоторые подробности, отсутствующие в машинописи. Это выступление очень близко к записи беседы Пешковой с А. К. Бабореко, сделанной им в 1960 г. (машинопись с правкой Пешковой — собрание А. К. Бабореко; то же — АГ).

Выдержки из этих записей, дополняющие публикуемую рукопись, приводятся в комментариях.

В марте 1899 года, в Ялте, Алексей Максимович Горький лично познакомился с Антоном Павловичем Чеховым, восторженным почитателем которого он был. За год до этого началась их переписка [1].

Зачастую они вместе гуляли по набережной Ялты. В одну из таких прогулок они встретили Бунина, и Антон Павлович познакомил его с Алексеем Максимовичем. Бунин был в хороших отношениях с Антоном Павловичем, в семье Чехова его любили.

Присели на лавочку у витрины книжного магазина Синани Исаака Абрамовича. Магазин этот был своего рода ялтинским «клубом» писателей, художников, артистов, приезжавших в Ялту. Синани был поклонником людей искусства и литературы и оказывал им всевозможные услуги. Особенной его любовью пользовался Антон Павлович Чехов.

Посмотрев книжные новинки и журналы, Алексей Максимович с Иваном Алексеевичем пошли проводить Чехова до его дома. На обратном пути Бунин зашел к Алексею Максимовичу, который жил в меблированных комнатах Витмер на Виноградной улице. Говорили о Чехове, вообще о литературе, засиделись допоздна. Об этом мне Алексей Максимович рассказал, вернувшись в Нижний.

Алексей Максимович с большим интересом отнесся к Ивану Алексеевичу. Как поэта он отметил его уже задолго до встречи, позднее полюбил и его прозу.

Он читал и перечитывал бунинский «Листопад», перевод «Гайаваты» и другие стихи, всегда следил за всем, что печатал Бунин.

Коробило Алексея Максимовича в Бунине частое упоминание о его дворянском происхождении. К тому времени, когда он встретился с Алексеем Максимовичем, он принадлежал к разночинной трудовой интеллигенции, от помещичьего дворянства оставался лишь «запах антоновских яблок» и детские воспоминания.

Алексей Максимович высоко ценил прекрасный язык Бунина и неустанно, на протяжении всей жизни, советовал молодым писателям и поэтам читать Бунина, учиться у него русскому языку.

Говорил он об этом и в последний период жизни, когда Бунин печатал о Горьком за границей довольно злые вещи. Алексей Максимович посмеивался и говорил:

— Чудак, Иван Алексеев... и откуда что берет... Обволокла же его эмигрантщина...— За точность слов не ручаюсь, но таков был их смысл.

Гораздо больше раздражали выпады Бунина меня. В памяти были их встречи и письма Ивана Алексеевича к Алексею Максимовичу. Письма эти сданы родственниками И. А. Бунина в Архив А. М. Горького и, вероятно, будут изданы [2].

С год или два назад и я передала случайно задержавшуюся у меня открытку Ивана Алексеевича, адресованную Алексею Максимовичу из Флоренции. На открытке портрет Данте Алигиери и надпись: «Поклон. Ив. Бунин», а ниже — «Флоренция, 25 февр. 1904 года» [3].

Памятны были посещения Бунина в Крыму, когда мы жили зиму 1901—1902 года в Олеизе, и он был частым гостем у нас на даче «Нюра» [4]; его приезды к Алексею Максимовичу в Нижний [5], встречи в Москве и неоднократные приезды Бунина на Капри, когда Алексей Максимович там жил [6].

Помнится мне его приезд на Капри в 1913 году, когда и я с сыном там жила. Он с женой — Верой Николаевной Муромцевой — прожили тогда в гостинице «Квисисана» всю зиму. Он много работал, а так как я в это время печатала на машинке то, что писал Алексей Максимович, Бунин попросил меня печатать и ему. У меня сохранились несколько его записок того времени [7]. Мне первой тогда пришлось знакомиться с его рассказами.

Почти каждый день Иван Алексеевич и Вера Николаевна приходили на виллу «Серафина», где мы жили. Это было после его большого морского путешествия, когда он ездил на Цейлон и написал чудесный рассказ «Господин из Сан-Франциско».

Помню, как он его читал в кабинете Алексея Максимовича [8].

Слушать собрались жившие на Капри начинающие писатели: И. Е. Вольнов, Алексей Силыч Новиков-Прибой, Алексей Алексеевич Золотарев, Тимофеев Борис Александрович — медик, приехавший лечиться от туберкулеза и застрявший на Капри (попав в орбиту Алексея Максимовича — тоже начал писать), был эмигрант-большевик Лоренц, бежавший с Кавказа на Капри, и его жена Маруся Сикорская; были среди присутствующих Ляцкий Евгений Александрович, приехавший к Алексею Максимовичу по литературным делам, и Федор Иванович Шаляпин с женой.

Читал Бунин изумительно — очень просто и так, что каждое слово врезалось в память. Сохранился хороший снимок этого вечера [9].

С 1914 года и по отъезд Ивана Алексеевича за границу мои встречи с Иваном Алексеевичем и Верой Николаевной продолжались в Москве.

В 1917 году последний вечер пребывания в Петрограде Иван Алексеевич провел с Алексеем Максимовичем и Шаляпиным. Когда Алексей Максимович на прощанье обнял его, Бунин, как он писал впоследствии в своих заграничных воспоминаниях, не знал, что это прощанье с Горьким «навсегда» (т. 9, стр. 295).

Помню день отъезда Буниных за границу в 1918 году [10]. Жили они в квартире родителей Веры Николаевны на Поварской (ныне ул. Воровского). На прощальном вечере у них были: Н. Д. Телешов, П. С. Коган, кажется, с женой, был Д. Н. Муромцев — брат Веры Николаевны, Юлий Алексеевич Бунин, которого глубоко любил и уважал Иван Алексеевич; была еще приятельница Веры Николаевны — Зоя (не помню ее отчества) [11] и я.

БУНИН

Фотография М. П. Дмитриева. Н. Новгород, 1902. На обороте дарственная надпись: «Катерине Павловне Пешковой с чувством самого искреннего сердечного расположения и уважения. Ив. Бунин. 25 окт. 1902»

Архив А. М. Горького, Москва

Шли жаркие разговоры о судьбах России. Иван Алексеевич говорил, что ему жаль уезжать, но он чувствует себя здесь совершенно бесполезным и не в состоянии работать.

Через большой промежуток времени, в 1935 году, я случайно встретила Ивана Алексеевича во Франции. Он очень изменился внешне, был начисто выбрит, имел какой-то энглизированный вид. Он пытливо расспрашивал меня о жизни у нас, о молодежи. Казалось, что он и верит тому, что я говорила, и не верит.

В заключение нашего свидания я сказала, что не собиралась видеть его после того, что он писал про Алексея Максимовича. Он возражал, что ничего особенного не писал. Обещал собрать все, что им было напечатано, и прислать мне. Я этого не получила ...[12]

Теперь, когда его нет,— не хочется об этом думать.

В памяти остается Бунин прежних лет — большой талантливый русский писатель, интересный рассказчик и собеседник.

Вечер 22.X.1960

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Переписка Горького с Чеховым началась осенью 1898 г.

[2] Переписка Бунина с Горьким опубликована в «Горьковских чтениях 1958—1959».

[3] Эта открытка хранится в АГ, опубликована там же, стр. 27—28.

[4] Горький с семьей жил в Олеизе на даче «Нюра» с 19 ноября 1901 г. по 23 апреля 1902 г. («Летопись Горького», вып. 1, стр. 351—382). Знакомство Е. П. Пешковой с Буниным состоялось в 1900 г. Сведения об этом содержатся в ее воспоминаниях, записанных А. К. Бабореко: «В 1900 г. мы жили в доме над гостиницей „Ялта", идя по улице, ведущей на Дарсан. Как-то Бунин пришел с Алексеем Максимовичем, и мы познакомились. Он полюбил нашего сынишку Максима, играл с ним. Мальчику тогда было три года. В ту весну в Ялту приезжал Художественный театр. Все часто бывали на даче Чехова, встречались с Буниным и у Чехова, и вечерами в театре городского сада на спектаклях МХТ».

[5] В Нижний Новгород Бунин приезжал в октябре 1901 г. вместе с Л. Андреевым и А. Алексеевским («Архив Горького», т. IV, стр. 41—42) и в октябре 1902 г., о чем свидетельствует фотография, подаренная им Пешковой (см. настоящ. кн., стр. 249).

[6] На Капри Бунины приезжали неоднократно: в марте 1909 г., апреле 1910, зимой — весной 1911—1912 гг., 1912—1913 гг. и 1913—1914 гг. (см. «Материалы»; «Летопись Горького», вып. 2; ст. А. Нинова «А. М. Горький и И. А. Бунин на Капри» — «Горьковские чтения 1958—1959»).

[7] В архиве Пешковой сохранилось две записки Бунина. «Осмеливаюсь паки и паки просить вас о переписке»,— писал он ей 6/19 февраля 1913 г., а 12/25 марта снова обращался к ней: «Посылаю вам один пустячок, если можно, перепишите его, будьте ласковы» (№ 83905 и 83907).

[8] Е. П. Пешкова ошиблась: на Цейлоне Бунины были весной 1911 г., рассказ «Господин из Сан-Франциско» был написан Буниным летом 1915 г. Очевидно, речь идет о чтении Буниным рассказа «Лирник Родион» (см. «Материалы», стр. 183—184).

[9] Эта фотография хранится в Музее А. М. Горького (воспроизведена в кн. «Материалы»).

[10] Бунины уехали из Москвы 21 мая 1918 г.— «Провожали нас на Савеловский вокзал Юлий Алексеевич и Екатерина Павловна Пешкова»,— писала В. Н. Бунина А. К. Бабореко 13 марта 1958 г. («Материалы», стр. 212).

[11] Зоя Евгеньевна Шрейдер.

[12] В беседе с Бабореко Е. П. Пешкова осветила встречу с Буниным более подробно: «Пришлось мне встретиться с Буниным и в 1935 году, по пути в Италию, где надо было ликвидировать оставшееся в Сорренто имущество Алексея Максимовича. Я заехала в маленькое местечко Фрежюс. Оттуда телефонировала Вере Николаевне Муромцевой-Буниной в Грасс, чтобы она приехала ко мне, добавив, что встретиться с Иваном Алексеевичем не хочу. Через час она была у меня, но вместе с ней в автомобиле приехал и Иван Алексеевич, и две молодые женщины, незнакомые мне. Пришлось разговаривать с Буниным. „Зачем вы приехали? — спросила я.— Мне не хотелось встретиться с вами, пока я не прочту того, что вы писали об Алексее Максимовиче". — „Ничего особенного я не писал. Все, что писал — я вам пришлю вдогонку. После Сорренто вы едете через Варшаву? — Вот туда я вам и пришлю". Когда я через неделю уже была в Варшаве, обещанной присылки не было. Он пытливо расспрашивал о жизни в Советском Союзе, о молодежи. Слушая меня, он все повторял: „Вы обольшевели". А я ему отвечала, что он попал под влияние правых эмигрантов ⟨...⟩ Бунин и молодые женщины уехали, Вера Николаевна осталась у меня переночевать, и мы всю ночь проговорили о ее родных в Москве, о том, как нелегко ей и Ивану Алексеевичу жить в эмиграции».

Г. Н. КУЗНЕЦОВА

# ИЗ «ГРАССКОГО ДНЕВНИКА»

Галина Николаевна Кузнецова — писательница. С 1920 г. в эмиграции. В 1927—1942 гг. жила (с перерывами) в семье Буниных. В 1949 г. переехала в США, работала переводчиком в аппарате ООН; с 1959 г. продолжала эту работу в Женеве. Автор книги «Грасский дневник» (1967). Ниже печатается сокращенный Г. Н. Кузнецовой для «Литературного наследства» текст этой книги. При сокращении были исключены записи, не имеющие прямого отношения к Бунину.

Покинув Россию и поселившись окончательно во Франции, Бунин часть года жил в Париже, часть — на юге, в Провансе, который любил горячей любовью. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с великолепным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг с цепью Эстереля и морем на горизонте, Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними все эти годы. Все это время я вела дневник, многие страницы которого теперь печатаю.

## 1927

*19 мая. Грасс.* Живу здесь почти три недели, а дела не делаю. Написала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее, потом работать, писать, но даже насладиться до конца не удается. Пустынные сады, террасами лежащие вокруг нашей виллы, меня манят большей частью платонически. Взбегаю туда на четверть часа, взгляну и назад в дом. Зато часто хожу по открытой площадке перед виллой, смотрю — не насмотрюсь на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую. На горизонте горы, те дикие Моры, в которых скитался Мопассан.

По утрам срезаю розы — ими увиты все изгороди — выбрасываю из них зеленых жуков, поедающих сердцевину цветка. Обычно я же наполняю все кувшины в доме цветами, что И. А. называет «заниматься эстетикой». Сам он любит цветы издали, говоря, что на столе они ему мешают и что вообще цветы хорошо держать в доме тогда, когда комнат много и есть целый штат прислуги. Последнее — один из образчиков его стремления всегда все преувеличивать, что вполне вытекает из его страстной, резкой натуры.

Впрочем, пахнущие цветы он любит и как-то раз даже сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить к нему в кабинет.

*5 июня.* И. А. пишет рассказ о «веселом мужике», обещает, когда окончит, прочесть его нам «за бутылкой белого вина».

Живем мы довольно размеренно. И. А. в определенные часы гонит спать, а днем заниматься, «по камерам», как он шутливо кричит. Он

ничуть не похож здесь на И. А. парижского, не умевшего дня прожить без ресторанов и кафе.

*7 июня.* Знойный великолепный день. Море придвинулось и лежит на горизонте, полном голубым дымом, так что глазам весело, небо побледнело от обилия света, и хвойное раскидистое дерево на этом свете и лазури прекрасно. После завтрака И. А. и я лежали в полотняных креслах под пальмой и разговаривали о литературе, о том, что́ надо, чтобы стать настоящим писателем. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по-юношески строен. А все это в целом очаровательно: и он, и голубая горячая даль, и хвойные ветки большого раскидистого дерева в нижнем саду, и далекое море, синей стеной поднимающееся к горизонту. Впрочем, долго лежать он мне не дал — погнал в комнату «заниматься». «Надо смотреть на сухие летние дни, как на рабочее время, нечего бездельничать»,— постоянно твердит он. А тут еще прибавил: «Только в вашем возрасте и можно дать хороший закал для будущего. Идите-ка, идите». И сам пошел писать о своем «веселом мужике». На этот раз пишет он довольно медленно, еще не разошелся.

*12 июня.* И. А. говорил, что его мучает неоконченный рассказ.

*24 июня.* Приехал Рощин — пока еще не вошел в атмосферу дома и бродит в новеньком галстуке и свежей рубашке по дому и саду. Кажется, ему немного скучно и все еще длится необходимость ехать дальше. Поэтому он уже строит планы насчет поездки в горы, в Ниццу, чем вызывает неудовольствие И. А., всячески старающегося поддерживать рабочее настроение в себе и других. Сам он начал большой роман и боится перерывов в работе. Я ему завидую, хотя и остерегаюсь говорить об этом: меня уже достаточно все бранят за «максимализм».

*26 июня.* ... вечером И. А. читал нам в саду свой новый рассказ «Божье древо».

*1 июля.* После того как И. А. вчера прочел мне несколько глав из романа, который он пишет, я потеряла смелость. Писать какой-либо роман рядом с ним — претенциозно и страшно. И все-таки мне хочется писать...

*2 июля.* Ходили после завтрака в город. День изумительный, внизу на площади пустота и солнце, каменный фонтан один плещется в этой тишине, переполненный водой, сияющей на свету. И. А. остановился и, удержав меня за руку, сказал: «Вот это то, что я больше всего люблю — настоящий Прованс!» — и, помолчав, прибавил: «Мне почему-то всегда хочется плакать, когда я смотрю на такие вещи».

Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все время обращал мое внимание на небо, действительно изумительно прекрасное, густого голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое. В этом лилово-голубом особенно прелестно мотаются мягкие, ярко-зеленые ветви елей, облитые солнцем и непередаваемо прекрасные. И он все брал меня за локоть и говорил: «Как они прелестны и как хорошо им там вверху... Еще в детстве было для меня в них что-то мучительное...»

Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь, как воздушный пожар, переходило на небо. И он сказал мне: «Это надо, придя домой, записать — коротко, в двух словах заметить о сегодняшнем дне: о зелени, о цвете неба, моря...» И вот я пишу, но не так коротко, как говорил он, потому что мне хочется сказать и о нем самом, о том, что он был весь в белом, без шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его профиля очеркивалась другой, световой линией, которая обнимала и голову и волосы, чуть поднявшиеся надо лбом...

И. А. БУНИН, В. Н. БУНИНА, Н. Я. РОЩИН, Г. Н. КУЗНЕЦОВА
Фотография. Грасс, вилла «Бельведер», 1927
Собрание Г. Н. Кузнецовой, Мюнхен

*8 июля.* Вечером читала И. А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И. А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И. А.

*25 июля.* Вчера, в воскресенье, были гости — Ходасевичи, только что приехавшие из Парижа. Пробыли они почти до вечера. Разговоры велись, конечно, главным образом литературные. И. А. умеет быть иногда необыкновенно любезным и обаятельным хозяином, он поднимает настроение общества, зато к нему стекаются всеобщее внимание и все взгляды.

Когда гости уехали, я пошла ходить по саду, и И. А. позвал меня и дал несколько листов, написанных за последние дни, с которыми я и забралась на верхнюю террасу и, сев на траву, принялась за чтение.

Когда кончила, подняла голову и засмотрелась: на нежном розово-голубом вечернем небе венцом лежали серые вершины оливок, воздух тихо холодел, был такой покой и нежность и какая-то задумчивость и в небе, и в оливках, и в моей душе. Почему-то вспомнилось детство, самые сокровенные его раздумья и мечты. В листах, лежавших на моих коленях, было тоже детство нежной впечатлительной души, родной всем мечтательным и страстным душам. Самые сокровенные, тонкие чувства и думы были затронуты там. И глава кончалась полувопросом, полуутверждением в том, что, может быть, для чувства любви, чувства эротического, двигающего миром, пришел писавший ее на землю. И я глубоко задумалась над этим и спросила себя — для чего живу я и что мне милее всего на свете? И ответ будет, пожалуй, тот же, так как в творчестве есть

несомненно элемент эротический. Я сидела и думала об этом, когда внизу на дорожке показался И. А. Я махнула ему, позвала его. Он спросил меня, не портит ли он мне впечатление тем, что дает читать по кускам. Я сказала, что в этом есть своя и, может быть, еще более важная прелесть. В одном месте, указывая на фразу, как бы случайно, вскользь вставленную (о разнообразной прелести деревьев — их вершин, внизу темных, а сверху блестящих), он сказал: «Вот так надо, как бы случайно, уметь сказать о какой-нибудь детали и сказать щедро».

Он часто так учит меня — незаметно, мимоходом. Позднее, вечером, во время прогулки он обратил мое внимание на огни, блестевшие «очень чисто», и на ясность и черноту горы — «это бывает в мистраль — это не летние мглистые вечера — это надо все замечать».

Недавно в автобусе он говорил, что вечно страдал из-за своего почерка — менял перья, писать ему бывает очень трудно, перо не идет, а ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим, как все люди.

Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое забывается, хотя у меня отличная память. Сколько он говорил мне интересного, значительного, важного, а я не записала, поленилась, забыла... Хотя бы его присказки, пословицы, словечки. Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено.

*31 июля.* Долгожданное жаркое лето. С утра горячий ветер шелестит по высохшему, почти лишенному тени саду. После полудня делается так душно, что делать ничего немыслимо. Только к ночи наступает облегченье; а ночи черные, сухие, с звездным небом, в котором теряется взор. На площади, в городе опять раскинут шатер, опять праздник, и сюда почти весь день доносится музыка...

Танцуют на том месте, где сорок лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца, подле упраздненной церкви, обращенной в конфетную фабрику. Вчера вечером ходили с И. А. туда вдвоем посмотреть на танцы. Глядя на пляшущую под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: «Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту... Ах, как хорошо!..» и пояснил: «я ведь все-таки, по совести, не могу написать о таком Жозефе или Жанне потому, что не знаю их души. А я ужасно хочу написать о них — ведь Франция для нас теперь вторая родина...»

Мы возвращались через сад Монфлери, и вслед все летела медлительная томная музыка, было так темно, что в двух шагах мы ничего не различали, а вверху огромный газовый шарф Млечного Пути пересекал все небо — темное и точно разгоряченное...

*8 августа.* Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец.

А говорили об этом в автобусе, по пути в Грасс — мы возвращались с купанья.

*15 августа.* Несколько дней уже горят леса вокруг в горах. Сегодня ветер и над Морами клубы серо-розового густого дыма с самого утра. Рвет ветром, и какое-то нехорошее жуткое ощущение в теле.

Вся Эстерель в огне. Мрачная апокалиптическая картина. Ходили наверх с И. А. Смотрели, потом сидели на траве под туманными деревьями и говорили о моем будущем, о литературе, о работе. Он настаивал на более упорной работе для меня. «Иначе может статься, что душа останется, как облако, которое плывет и тает,— слишком лиричной в жизни». Потом еще говорил: «Жизнь писателя есть отречение от жизни. Надо оставить все, думать только о работе, каждый день, как на службе, садиться за письменный стол, быть терпеливой...» Я слушала почему-то с грустью. В душе был страх перед темным будущим... Вечером, прощаясь перед сном, он сказал тихо: «Завтра я сажусь за работу!»

*29 августа.* Сегодня утром И. А. сказал мне в саду, когда мы по обыкновению вышли после кофе взглянуть на погоду: «Что же это утра пропадают? Надо не ждать вдохновения, а идти садиться за стол и писать». И я послушалась его и пошла к себе.

*12 сентября.* Сейчас одно из тех мирных рабочих утр, которые я так люблю. Под окном непрестанный шум льющейся воды — это нелепая черная старуха Мари в своей соломенной лошадиной шляпе стирает под навесом, подле кухни. И. А. пишет у себя, капитан где-то на верхних террасах сада, лежа на животе, покрывает большой лист мельчайшими неразборчивыми буквами, В. Н. печатает на машинке в соседней комнате. Теперь мы с ней попеременно перепечатываем всю рукопись «Арсеньева». Я ничего не пишу. Нет необходимого для писания запаса влюбленности в жизнь, в то, что пишешь. Наоборот: усталость и разочарование. Довольно много читаю по-французски и «Казаков», восхищенно дивясь вновь и вновь их простоте и прелести.

Дивлюсь, как могла я до сих пор не чувствовать, не восхищаться, не влюбляться в здоровую, счастливую красоту этой повести? Нет, тут не только простота и счастье жизни, тут и какое-то колдовство, чистая магия, неизвестная нам. Откуда она берется? В чем она? В сочетании слов, в их подборе, чередовании? Сейчас как раз об этом пишет в своем романе И. А. Вчера давал читать мне главу о тех стихах и повестях, которые произвели на него неотразимое впечатление в детстве. Мы много говорили с ним на эту тему летом, и я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал,— была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах.

Сейчас он пишет целые дни, а я и В. Н. печатаем на машинке написанное.

*27 октября.* Давно не писала и как-то отвыкла и словно утомилась писанием о прошлом; впрочем, вероятно, это отчасти и оттого, что я слишком много сил отдаю роману И. А., о котором мы говорим чуть не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, тут же меняем, по обсуждению, то или иное слово. Сейчас он дошел до самого, по его словам, трудного — до юности героя, на которой он предполагал окончить вторую книгу.

*31 октября.* Вчера, по случаю великолепного дня, поехали с И. А. в Канны необычным путем, через Оребо и Пегомас. В Канне долго ходили по горе: «искали виллу»— это любимейшее занятие вот уже несколько лет у И. А. Ему все мерещится какая-то необыкновенная, уютная деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат, со старинной деревянной мебелью и обоями, «высохшими от мистралей», где-то на высоте,

над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключающее все вышеупомянутые,— дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместье, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну, запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми, гелиотроповыми грядами гор, точно волны на прибой, идущими на нас от горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление... И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада...

Сегодня начала перепечатывать первую книгу «Арсеньева».

*8 ноября.* Не писала, так как с утра до вечера была занята печатанием. В восемь дней переписала первую книгу и треть второй, т. е. около 100 больших страниц. Устала, но рада, что кончила так быстро. Я видела, как И. А. хотелось поскорее иметь совершенно чистый экземпляр.

*9 ноября.* Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А. по обыкновению ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего. В. Н. против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И. А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним.

*17 ноября.* Живу какой-то ненастоящей жизнью — раздвоенной, фантастической. Переписываю константинопольский дневник.

Понемногу передо мной проходит моя жизнь, которая всегда мучила меня своей «несказанностью» (по Гиппиус). Я порой теряю чувство действительности: что было тогда, что теперь? Но не я одна так живу: И. А. пишет и живет прошлым, В. Н. пишет род дневника об их странствованиях, и все мы не живем настоящим.

*5 декабря.* И. А. дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный», «Накануне», «Морфей», говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов —в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнаженья души.

*12 декабря.* ...Шли по парку, полному пальм, кактусов самой разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканные иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Я остановила И. А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что, если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот

ГРАСС. ВИД НА СТАРЫЙ ГОРОД
Фотография, начало 1970-х годов

просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно».

Потом остановились подле апельсинового дерева, покрытого крупными, уже желтеющими плодами. Апельсиновое дерево для меня что-то чудесное. Я всегда, представляя себе рай и то дерево, с которого сорвала плод Ева, представляла себе его, а не безобидную северную яблоню. Сказала об этом И. А., он с жаром подтвердил: «Конечно. Ведь сказано просто — сорвала плод, а не яблоко, это уже прибавили потом, да и вообще плод надо понимать символически...»

Он пригнулся, стал ходить под деревом, собирать упавшие апельсины, покрытые темно-зеленой шершавой кожей.

— Не могу видеть этого дерева спокойно,— сказал он,— как увижу, как услышу запах апельсиновой корки, сейчас же вижу зиму на Капри, тусклый блеск на море, над которым ревет трамонтана, и сады, где под бледным солнцем зреют апельсины в полусне, в дремоте... да, именно в дремоте, под этим бледным зимним солнцем, под зимним ветром... Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!

Да, в нем есть какая-то волшебная сила. Кажется, уже все знаешь, весь этот южный мир знаешь, живешь в нем, а он несколькими случайными

словами создает волшебный мираж, страну, нигде не существующую, сказочную, более прекрасную, чем подлинная, потому что она не сам мир, а его волшебное отраженье.

*22 декабря.* Настроение всего дома поднялось. Фондаминский прислал письмо, в котором предлагает издать «Арсеньева» при «Современных записках», что очень выгодно. Главное же, из этого письма стало понятно, что роман возбуждает интерес и что все вовсе не так безнадежно, как представлялось И.А. Правда, И. А. колеблется, говорит, что написаны всего две части, что нельзя давать согласия, не имея ничего в руках... но уже чувствуется в нем поворот, оживление, может быть интерес к писанью. Днем ходили с ним в город и говорили об этом.

## 1928

*5 января.* Раз в неделю ходим в синема. Фильмы, правда, одна неудачней другой, но мы с И. А. не можем отучиться от тяги к синема и, побранив одну, идем на другую. Здешняя убогая «Олимпия»— место свидания всего Грасса. Вчера была картина с ковбоями и скачкой, что особенно любит И. А.

Были в усадьбе Фрагонара, где устроен теперь музей. Смотрели прекрасный старинный провансальский дом, утварь, мебель из золотистого полированного дерева. И. А. все повторял: «И все это исчезло из жизни, все провалилось куда-то! Вот жили люди! Как мы теперь живем!»

*4 февраля.* Весь день И. А. писал, как и все эти дни, а я лежала у себя и читала «Детство и отрочество». В разгаре чтения он вошел и дал мне прочесть только что написанную главу. То и другое у меня как-то сплелось, но вместе с тем я необыкновенно остро почувствовала разность Толстого и И. А. У последнего все картинней, «безумней», как выразился о себе он сам. И еще — читая эти изумительные прекрасные страницы о его отрочес ве, мне стало грустно, жаль молодости...

Теперь мы с ним говорим только о писании и о писании. Мне кажется, что все, что я даю ему читать, должно казаться слабым, беспомощным, и сама стыжусь этого. А он все говорит, что я гневлю бога, сделав такой скачок за год и жалуясь на недостаточную быстроту движения вперед. Но что же делать, если я чувствую себя рядом с ним лягушкой, которая захотела сравняться с волом?

*7 июня.* За столом И. А. рассказывал о Чехове: «Один раз заставил меня читать ему вслух его рассказ „Студент", там описывается пасхальная ночь, костер в поле, студент рассказывает людям, сидящим подле него, о Христе и чувствует, что назад точно протягивается какая-то цепь. Когда я кончил, Чехов сказал: „Ну, какой же я пессимист?.."

Только один раз был груб: я прочел его рассказ, где солдат возвращается через Индийский океан. Там совершенно божественный конец. Когда я кончил, то воскликнул: „Почему нет ничего дальше?.." А он очень резко ответил: „Я пишу только то, что могу". Обиделся. И я обиделся».

Илюша: На что же он обиделся?

«Очевидно, чувствовал что не мог написать. Вот там и переход, и Индийский океан, а он не мог... Бывало: разлетится к нему какой-нибудь посетитель: „Ах, дорогой, какое высокое художественное наслаждение вы доставили нам своим последним рассказом"... Чехов сейчас же перебивал: „А скажите, вы где селедки покупаете? Я вам скажу, где надо покупать: у А., у него жирные, нежные..."— переводил разговор. Как ему кто-нибудь о его произведениях — он о селедках. Не любил».

*20 июля.* Сегодня я все послеобеда печатала «Арсеньева». Замучился И. А. с «покойником». Не знаю почему, но мне кажется, что была допуще-

на ошибка в построении. Это повторение с покойником меня мучает. Я осторожно пыталась сказать об этом. Но он, кажется, и сам видит это.

*22 августа.* Сколько раз собиралась записать поподробнее о течении нашей жизни — о всех и о себе,— и никогда на это не находится времени. А между тем лето уже кончается, скоро сентябрь и с ним изменение жизни. Возможно, что И. А. поедет в Сербию, на съезд писателей, и тогда это выбьет всех нас из колеи. Живем мы очень однообразно, много тише, чем в прошлом году. И. А. долго бесплодно мучился над началом третьей книги «Арсеньева», исхудал и был очень грустен, но в конце концов сдвинулся с места, и теперь половина книги уже написана. Третья книга опять очень хороша, но мне чего-то жаль в маленьком Арсеньеве, который уже стал юношей, почти беспрестанно влюбленным и не могущим смотреть без замирания сердца на голые ноги склонившихся над бельем баб и девок...

Вообще И. А. не тот, что был раньше. Перемена эта трудно уловима, но я знаю, что она в отсутствии той молодой, веселой отваги, которая была в нем год-два назад и так пленяла. Он внутренне притих, глаза у него часто стали смотреть грустно... «Ничто так не старит, как забота», часто поговаривает он. Но все же он часто шутит, даже танцует по комнате, делает гримасы перед зеркалом, изображая кого-нибудь (всегда изумительно талантливо), дразнит капитана так, что тот приседает от смеха.

Я давно ничего не пишу прозой и как-то привяла. Должно быть жаркое лето меня обессилило. Правда, я пишу еще время от времени стихи, но они меня мало радуют. Единственное настоящее дело — подготовила книгу стихов И. А.— перепечатала две трети, а главное затеяла это — без затеи же это бы никогда не сдвинулось с места. Перепечатывая стихи, многое узнала, увидела в них то, чего прежде не видела. Есть стихи изумительные, которые никто по-настоящему не оценил. Мы много говорим с И. А. об отдельных стихотворениях. Думаю, что могла бы написать о его поэзии большую статью, если бы не страх ответственности и не моя слабая воля...

*27 августа.* Спорили о повести одной молодой писательницы, которую И. А. раньше очень хвалил, а теперь отрицал это и говорил, что «надо понимать оттенок» и что говорилось это в относительном смысле. Я разгорячилась, забывая, что к И. А. обычные мерки неприменимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, нисколько, однако, не исключающих основного тона. Так, о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь, и находя непростым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями.

Впрочем, вечером мы с ним вполне помирились. Сегодня он пишет статью для «Последних новостей» о Толстом. Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

*5 сентября.* Сегодня первая половина моего рассказа в «Последних новостях». И. А. вечером в саду сказал: «А я сегодня много думал... Бог дал вам хороший, редкий по нынешним временам талант. Надо постараться его не прогулять. Надо очень поработать...»

*9 октября.* Читаю Полнера «Толстой и его жена». Много мыслей по этому поводу. Нет, не все тут так, как я думала. Ей тоже было тяжело, хотя с некоторых пор она вдруг так меняется, точно ее подменили.

И. А. говорит часто: «У здорового человека не может быть недовольства собой, жизнью, заглядыванья в будущее... А если это есть — беги и принимай валерьяну!»

А как же Толстой?

Пробую писать. Написала рассказ «Ночлег», но что-то идет не так, как бы хотелось. То торопливость, то лень одолевает. Хочется чего-то нового, большого, затрагивающего, свежего.

Зато «Арсеньева» мы с И. А. кончали как-то приподнято, так что у меня горели щеки, щемило сердце... Он диктовал последние две главы, и оба мы были в праздничном счастливом подъеме.

О третьей книге «Арсеньева» и Вишняк и Илюша отозвались восторженно, что, кажется, подняло И. А., почти уже подумывающего о том, чтобы покончить с «Арсеньевым».

И. А. как-то сказал о читателе: «Замечательно, что каждый читатель считает долгом чему-то научить писателя, указывать ему на его недостатки и при этом всегда сверху вниз...»

*22 октября.* Разговор с И. А. у него в кабинете. В окнах красная горная заря, мохнатые лиловые тучи. Он ходит по комнате, смотря под ноги, и говорит об «Арсеньеве»:

— Сегодня весь день напряженно думал... В сотый раз говорю — дальше писать нельзя! Жизнь человеческую написать нельзя! Если бы передохнуть год, два, может быть, и смог бы продолжать... а так ... нет. Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет — три книги, потом сорок лет — в одной — неравномерно... Знаю. Да что делать?

Как давно уже он мучается этим! Уже перед третьей книгой говорил то же. А теперь уж и не знаю, что будет...

*1 ноября.* Отослали прислугу — новая придет только в субботу, и три дня в доме работаем все понемногу. Не обходится, конечно, без раздражения, споров, недовольства. Да что делать?

Вчера были одни днем с капитаном в доме, и было тихо, как в могиле. Шел дождь не переставая; черные перья пальм особенно мрачно закрывали горизонт, серое дымное небо медленно плыло над оливками. Было ужасно грустно. Это прекраснейшее в солнечные дни место, в непогоду делается чуть ли не самым мрачным на свете.

Вечером в кабинете И. А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме от «Олд Ингланд». В. Н. слушает, уже лежа в постели. Дождь продолжается. Мы дружно смеемся. Капитан в наброшенном на плечи пальто, без воротничка, сидя у печки, напоминает человека из ночлежки.

В двенадцатом часу дом затихает.

*8 декабря.* Читали вслух новую книгу Морана «Париж — Томбукту». И. А. в конце концов, прочтя страниц пятьдесят:

— И это все, что он мог сказать об Анатоле Франсе? И зачем он вообще пишет о таких пустяках? А еще талантливый! «У меня болит живот», «А если соединить козу со свиньей, то получится то-то», «А негры с женами поступают так-то»... Все это оттого, что он опустошенный. И вообще, до чего пала современная литература! Ведь это знаменитость на всю Европу! Подумайте! И все-таки он лучше вашего Моруа! Это хоть настоящее художество (хотя и фельетон). А там микроскоп и искусственность...

*15 декабря.* Вчера уехал Рощин. Провожали его как родного. Накануне отъезда он читал нам статью «Вилла Бельведер», которую собирается послать в рижскую газету «Сегодня». Описал в ней весь наш дом и всех в нем живущих, «расхвалил», как выражается В. Н., Ивана Алексеевича.

*20 декабря.* Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить:

— Вот и последний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... что мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким.

Г. Н. КУЗНЕЦОВА, И. А. БУНИН, В. Н. БУНИНА

Фотография. Грасс, 1927. С пометой Бунина: «Грасс, Август 1927 г. Над виллой Бельведер»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Я с ним знаком с 25-ти лет. Он написал мне когда-то первый... Ах, как страшна жизнь!

*22 декабря.* Утром писала стихи. Потом пришла почта и, как всегда по большей части, расстроила. Илюша написал И. А., что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял Александра II, Зайцев — Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. После завтрака В. Н. поехала в Канны за покупками, а мы с И. А. пошли гулять по дороге в горы — погода была удивительная, все вдали голубое, мои любимые кипарисы в сухой траве, голый дуб на светлом небе — словом, чудо. Но мы мало

обращали на это внимания — всю дорогу говорили. И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы, в сущности мало им близкие, потому что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове. «Вот! Это и недлинно, 27 лет всего... Надо согласиться!»

Но тут же стал говорить, что это все все-таки «мануфактура», хотя и надо согласиться, надо быть в передовых рядах действующей армии, тем более что ведь все это будет на четырех языках...

*24 декабря.* Ходили вдвоем с И. А. гулять перед сном. Полнолуние. Прекрасная, светлая, какая-то высокая ночь, с яркими звездами, скорее пасхальная, чем рождественская. Город пуст. Все в соборе, на мессе. Наткнулись на странную картину — на бульваре, на скамейке, очевидно выброшенные кем-то, после праздничной уборки, чьи-то шляпы. Две из них траурные, с длинным крепом, тихонько шевелящимся на ветру. Очень неприятно, почти жутко.

На подъеме к нашей даче вдруг дружный и нестройно-веселый перезвон, очень похожий на пасхальный.

Мы остановились, долго слушали. На темной колокольне светился одинокий огонь, и от нее расходился кругами и как бы разлетался над всем городом, над долиной и тихими горами радостный, громкий перезвон. И. А. сказал с волненьем:

— И вот так странно думать, что пятьсот лет назад звонили точно так же... И какой благостной защитой над всем, даже над смертью был этот перезвон. И как это есть люди, которые не понимают этого!

С порога сада мы еще минуту смотрели, остановившись, на прекрасную светлую пустыню ночи...

*28 декабря.* Зашла перед обедом в кабинет. И. А. лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим как литературным материалом... «К народу, к прошлому, к будущему...» Замечательно! И как хорошо сказано, что она была «промокаема для всяких неприятностей!»

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши.. Да что! Вот так бы и написать...

Потом о «Дыме», который читал по-французски:

— Нет, что-то плохо. Фамилии ненатуральные... Вот г-жа Суханчикова — к чему он заранее над ней издевается? Это как у Фонвизина: Правдин, Стародум, Милон... Поручик Стебельков какой-то!..

## 1929

*12 января.* Сквозь сон все видела отрывки «Жизни Арсеньева» и все хотела сказать, что то место, где Арсеньев сидит у окна и пишет стихи на учебнике — нечто особенное, тонкое, очаровательное. Потом проснулась и, лежа в постели, не решаясь по обыкновению встать от холода в комнате и сознания общего неуюта, додумывала то, что вчера говорила И. А. и что он просил записать.

Мы говорили о рецензиях на «Жизнь Арсеньева» и, в частности, о рецензии Вейдле, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе, и сравнившего его с Одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня.

Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении эмиграции и не без оснований — горе, невзгоды, ряд смертей,— все это оказало на нас действие — в то время, как прочие писатели пишут или нечто жалобно-кислое, или экклезиастическое, или просто похоронное, как почти все поэты; среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с ней связано, «фанатик» Бунин вдохновенно славит творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда? Во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле... Да, это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на что) здоровья одарил его господь!...

Я с жаром высказала ему все это. У него были на глазах слезы.

*14 января.* В «Сегодня»— хвалебный, на самых высоких нотах фельетон Пильского о Бунине. Пишет, что Бунин вышел сам из себя, ничей не ученик, подлинное чудо. Странно, что, когда И. А. читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное это кажется очень плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое, нежное, родное сердце.

9 *мая.* Днем пололи с Илюшей дорожки в саду, обрезали засохшие прошлогодние цветы. И. А., гулявший среди всего зеленого великолепия первого почти летнего дня в своей новой красной пижаме, останавливался, смотрел на нас и говорил:

— Все это ни к чему. Трава растет, где ей бог повелел...

Его деревенская натура не терпит никаких ухищрений над природой. Так не любит он фонтанов, парков, Булонского леса.

*20 мая.* И. А. второй день лежит, думает об «Арсеньеве». Уже готовится.

*28 мая.* Говорили о «Легком дыхании».

Я сказала, что меня в этом очаровательном рассказе всегда поражало то место, где Оля Мещерская, весело, ни к чему, объявляет начальнице гимназии, что она уже женщина. Я старалась представить себе любую девочку-гимназистку, включая и себя, — и не могла представить, чтобы какая-нибудь из них могла сказать это. И. А. стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей

«утробной сущности». «Только мы называем это утробностью, а я там назвал это легким дыханьем. Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти, и есть „легкое дыхание", недуманье. Впрочем, не знаю. Странно, что этот рассказ нравился больше, чем «Грамматика любви», а ведь последний куда лучше...»

*12 июня.* И. А. все пишет варианты начала четвертой книги, и я уже начинаю смотреть на него почти с набожным изумлением его терпению и упорству — ведь это длится уже с месяц, если не больше, и до сих пор еще нет ни кусочка для перепечатывания!

*6 июля.* Несколько раз пыталась начинать повесть о двух девушках, но всякий раз все теряется в какой-то расплывчатости. Как медленно делается все во мне! И. А. говорит, что это признак подлинной талантливости и органичности. А вчера был хороший день. Он писал, потом говорил со мной о написанном, тут же читая, и мы говорили чуть ли не о каждой фразе. Вечером, во время прогулки, тоже все время говорили — вообще ничто так не было пережито мной, как «Жизнь Арсеньева». Сколько мы говорили о ней вперед! И я вижу, как все это рождается...

Мистраль. Сад ревет. И. А. ходит по комнатам и говорит нараспев:

Пришел ко мне скучный вечер,
Не знаю, что начать...

Грустно и мне. Берусь за одно, за другое и тоже не знаю, «что начать»...

*7 июля.* Вчера И. А. весь день писал, а я читала в саду Пруста. Совершенно погрузилась в это чтение.

Вчера, кажется, И. А. говорил мне, как надо было бы писать дневник:

— Надо, кроме наблюдений о жизни, записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи... Такой дневник есть нечто вечное. Да вот даже то, что делает Вера, записи разговоров знакомых, гораздо важнее для нее, чем все ее попытки описывать Овсянико-Куликовского. Да разве она меня слушает?

*8 июля.* Перед вечером, ходя по дорожке и думая о жизни, вдруг поняла: тоска у детей обусловливается тем, что у них нет прошлой жизни, которой они могли бы занять душу. Жизнь же, лишенная прошлого, пустая позади — очень томит. Отсюда та «тоска по будущему», о которой говорит И. А. в «Жизни Арсеньева», являющаяся в сущности «тоской по прошлому». Говорили об этом с И. А. Потом я говорила ему о том чувстве бездеятельности, которое бывает у меня, когда я не пишу. Он горячо стал говорить то, что говорит всегда в таких случаях, что «это-то и есть самая настоящая работа — чтение, думы, заметки, что за последнее время мной сделана гигантская работа, что я расту не по дням, а по часам, и что единственное условие успеха — не спешить, не метаться».

— Я и сам когда-то испытывал то же, когда сверстники обгоняли. Бывало, Федоров покровительственно говорил: «Нет, брат, что эти все рассказики, странички... Нет, ты напиши роман! Гляди, я уже восьмой диктую...» И под влиянием всего этого начнешь думать: а может и правда? Может быть, они правы?.. Но, к счастью, если бы я даже и соглашался на такую работу, что-то во мне не соглашалось. И я ничего не мог из себя выжать «не подлинного»...

*11 июля.* Вчера В. Н. опять ездила к Гиппиус, а мы работали. Написана новая очень интересная глава: вхождение молодого Арсеньева в революционную среду и описание этой среды, блестяще-беспощадное. С этих пор «Жизнь Арсеньева» собственно перестает быть романом одной жизни, «интимной» повестью, и делается картиной жизни России вообще, расширяется до пределов картины национальной. За завтраком И. А. прочел нам эту главу вслух.

*1 августа.* Вчера кончена четвертая книга «Арсеньева». Кончив ее, И. А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их. Мне кажется, это самое значительное из всего того, что он написал. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тенар!

После окончания он как-то ослабел, как всегда, и вдруг сказал:

— Вот кончил, и вдруг нашел на меня страх смерти...

*14 ноября.* Вчера, кажется, что-то поняла в Мережковских. Мы сами наивны, когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты «Арсеньева». Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими, или даже воспринимается отрицательно.

Был разговор по поводу Сологуба, о котором кратко, но весьма для него невыгодно написал И. А. в прошлом фельетоне. Защищая род искусства, в котором действовал Сологуб, Мережковский сказал:

— Вы можете любить или не любить, но вы должны признавать, что кроме вашего искусства, натуралистического, есть и другой род. В нем действуют не действительные фигуры, а символы, что, может быть, даже и выше первого. Для вас «манекены»? Но ведь и Дон-Кихот манекен! А у Ибсена нет ни одного живого лица. А весь Гоголь — такие манекены. Но я не отдам одного такого гоголевского манекена из «Мертвых душ» за всего вашего Толстого! А Гамлет? Разве живое лицо?

*26 ноября.* Уже три дня, как Зуров здесь. Привыкли, немного осмотрелись. В вечер его приезда И. А. читал вслух — пришлось к слову о русском народе — свое «Я все молчу» и потом, по моей просьбе, «Темир-Аксак-Хана». Читал так хорошо, что мне стало грустно, и я ушла к себе, а он пришел туда ко мне, а за ним капитан, который вдруг, со слезами на глазах, обнял его и долго хлопал по спине, говоря: «Ей-богу, дорогой, милый Иван Алексеевич, я вас ужасно люблю!»— что совсем не похоже на обычного капитана.

Вечером И. А. читал вслух Шмелева («Въезд в Париж»), показывая все неточности, ошибки, нагромождения. После этого чтения Зуров говорил у нас наверху: «Я до сих пор не читал Шмелева так, как сегодня. Этот рассказ я читал в „Современных записках", и он мне нравился. А теперь я увидел...»

Перед И. А. он, видимо, в непрестанном восхищении. В. Н. ходила с ним гулять и расспрашивала его. Он ей нравится. Ходит он сейчас в замашной полотняной рубахе, похож на гимназиста. Глаза у него зеленые, узкие.

*3 декабря.* И. А. грустен. Опять мысли о старости, о смерти. А прочие веселы, дурачатся, болтают.

*17 декабря.* Перед обедом сидели с Зуровым у него в комнате, и он читал вслух «Суходол». В середине вдруг оба остановились и стали смеяться, и он сказал:

— Конечно, тот же Суходол! И нечего говорить о Европе! Здесь тот же самый, чистейший Суходол, и все мы оттуда!

*31 декабря.* Ездили в Мужен. Ходили за вином и сладостями и потом посидели в кабинете И. А., стараясь создать впечатление новогоднего вечера. Не удалось. Каждому в душе было грустно. Кажется, грустней всех был И. А. Я старалась казаться веселой. Что с нами всеми будет в этом году?

## 1930

*23 января.* Вчера пришли первые книги «Арсеньева». Зуров разложил их на столе, перед прибором И. А., украсив стол огромным букетом, так как мы были в Сан-Рафаэле, а В. Н. с Маней в Каннах. Вид книги хороший, только бумага плохая, пухлая, сыплющаяся тряпками.

*Париж, 13 марта.* Встретили с И. А. как-то днем на улице Куприна. Он в летнем пальтишке, весело жмется.

— Зайдем в кабачок, выпьем белого винца по стаканчику...

Несмотря на то, что мы были с базарной кошелкой, полной бутылок, зашли. Он все знает. Повел к «каменщикам». Даже собака его там знает, он позвал ее: Кора!

Был суетлив, весел. Все напоминал И. А. их молодые годы, знакомство:

— Вот весна, и мне хочется куда-то... в страны...— Это он рассказывал, что какой-то его знакомый едет на Мадагаскар, где неприлично иметь меньше трех жен — уважать не будут. Говорил, что любит ходить в бистро на улице доктора Бланш, где 11 собак и 4 кошки. Интересно, и симпатичные хозяева-пьемонтцы. Хорошее потофе и белое вино. Его всюду знают. Хозяин встречает: Monsieur Куприн!

Он очень мил, хотя только к себе, к своим ощущениям внимателен и все говорит мимо собеседника.

Вышли в снег. Сразу облепило. Он в тонком пальтишке.

— Да вы промокнете, простудитесь после грога!

— А я воротник подниму...

Ласково-грустно почему-то с ним рядом. Как будто все уже в нем кончено.

*23 мая, Грасс.* Читаю воспоминания Анненкова о Гоголе. Оказывается, Гоголь так же боялся болезней и вида смерти, как И. А.

И. А. тих, много спит, почти не раздражается, вообще никак не похож на парижского. Много сидит у себя, пересматривает рукописи и книги, чтобы дать что-нибудь в газету.

*24 мая.* Вечером, гуляя, разговаривали с И. А. о писании. Он многое видит во мне и старается помочь совладать. Какое у него зрение удивительное — особенно, когда он любит и желает добра!

*4 июня.* И. А. читает дневник Блока, как обычно внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. «Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое...»

*12 июня.* Алданов пишет, что Куприну собирают на юбилей, собрали тысяч 30, а надежды на 50—60. Жалеет, что И. А. вместо юбилея сделал вечер.

*17 июня.* Вчера ездили в Канны, и И. А. неожиданно захотел выкупаться, что и сделал, удивив меня своей отважностью. Еще никто не купается, и сам он обычно начинает не раньше половины июня. На обратном пути в автобусе он говорил, что «выдумал для меня весь мой роман». Что писать его надо несвязанными кусками, назвав каждый кусок отдельно, и что нужно это для того, чтобы было легче отношение к этим кускам, так как, по его мнению, меня «губит серьезность». «Надо относиться к своему писанию полегкомысленней»,— часто повторяет он мне последнее время.

Книги И. А. не дают никакого дохода. За «Арсеньева» он получил 1000 франков, т. е. меньше, чем Рощин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает. Получается в месяц 2500 франков, а жизнь стоит больше трех, не считая квартиры, за нее уплачено деньгами с вечера И. А.

Сегодня по этому поводу были дебаты. И. А. требовал сокращения бюджета почему-то «на салатах», хотя едим мы более чем скромно.

Мы уже сегодня говорили с И. А.—что делать? Работать надо, а как? Живя в Грассе, трудно доставать русские новинки. Когда мы все четверо

Г. Н. КУЗНЕЦОВА, Н. Я. РОЩИН, И. А. БУНИН
Фотография. Грасс, конец 1920-х годов
Центральный архив литературы и искусства, Москва

посылаем в одну газету,— трудно надеяться на общий успех. Да и вообще не нужны мы им, да и не умеем, откровенно говоря, угнаться за моментом, а для газеты только это и интересно.

*20 июня.* Вчера И. А. весь день разбирал свой архив (письма), раскладывал по стопкам, кое-что показывал. Читал письма своего племянника Коли Пушешникова. Очень хорошо пишет. Влияние И. А. огромное, но все-таки замечательные письма...

*21 июня.* Второй день живет приблудившийся рыжий песик. Вошел он в сад, когда мы с Леонидом сидели под пальмой, боком подошел, держа торчком остриженные уши и внимательно и испуганно кося на нас черные глаза. Морда у него была черная, точно на нее чехольчик черный надели, в отличие от всего прочего. Худ он был так, что все ребра видны. Дали ему белого хлеба и корку сыра — боится есть. Леонид назвал его «Сухарем». Пробыл он у нас две ночи и два дня, первую ночь подвывал от скуки и одиночества, чем и навлек на себя недовольство. Вчера его изъявил желание взять почтальон, но прислуга отложила дело до сегодняшнего дня. И. А. с ним нежен, он его трогает, несмотря на напускной суровый и даже палаческий вид. «Вот бы написать о нем рассказ»,— говорил он.

Сухаря забрал сегодня почтальон, накинул ему на шею ошейник из своего кожаного пояса — какая тоненькая, жалкая оказалась у него шея! — и пытался увести. Но Сухарь стал биться и метаться и укоризненно глядеть на нас черными испуганными глазенками...

Почтальон взял его, огладил, поплевал ему на нос — видимо, чтобы знал хозяина,— и захватил его подмышку. И бедный Сухарь робко забил хвостом... И. А. говорил потом, что ему так жалко, что хоть плачь.

*1 августа.* Немного лучше. Веселей, добрей (хотя и с провалами) И. А., а от этого свободней в доме. Вчера даже захотелось писать, когда ходили с ним в город. Летний сухой свет лежал на домах и деревьях, и мы говорили о первых воспоминаниях детства. У него они связаны с видом сухого жнивья в окне, и от этого ему так на всю жизнь мила сухость и жар лета.

*3 августа.* Возвращаясь вечером с купанья, заметили внизу нашей горы чей-то великолепный темно-синий автомобиль. И. А. пошутил, что это должно быть какой-нибудь американский издатель, приехавший к нему, а когда мы вошли в калитку дачи, навстречу нам с кресла под пальмой поднялась высокая мужская фигура, а за ней что-то голубое. И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим. Рахманинов еще раз поразил меня сходством в лице (особенно где-то вокруг глаз) с Керенским. Галстук, костюм, шляпа, кожа рук — все у него было чистейшее, особенно вымытое, выдающееся.

Разговор вертелся вокруг Шаляпина и его сына, живущего сейчас тоже на Ривьере, и предполагаемой постановки в кино «Бориса Годунова», сценарий к которому «развивает» с пушкинского «Бориса» Мережковский. Через двадцать минут они поднялись, говоря, что им пора ехать домой обедать. Мы сначала неуверенно, а потом видя, что они готовы согласиться, с большей силой стали предлагать остаться на обед. После недолгих уговоров они остались.

Тотчас же были «мобилизованы» все съестные припасы в доме. Камий послали вниз за ветчиной и яйцами, я побежала за десертом, и через полчаса мы все уже сидели за столом. Рахманинов попросил завесить лампу, жалуясь на то, что его глаза не выносят сильного света, и с его стороны был спущен с абажура кусок шелка.

Разговор был разбитый и малозначительный. Рахманинов, между прочим, все настаивал на том, что И. А. должен непременно написать книгу о Чехове, перед которым он сам, видимо, преклонялся. Был любезен, прост, интересовался тем, что пишет Зуров, что я, как и кто работает и вообще как мы живем. Остановились они в Каннах, в «Гранд Отеле». У него какие-то дела с Борисом Григорьевым, очевидно, тот будет писать его портрет. Видно, что он очень любит дочь, это было особенно заметно по его рассказу о ее падении с лошади в Рамбуйе, где у них вилла.

Они уехали часов в десять, предположительно решив встретиться с нами на другой день в Каннах.

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи,— сравнивала также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше, и черты лица правильнее.

*5 августа.* Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. «Босяцкий обед», по выражению И. А., вышел оригинальным. Котле-

ГРАСС. ВИЛЛА «БЕЛЬВЕДЕР»

Фотография, 1933. С пометами Бунина: «10.XI.33. Villa Belvèdére. Grasse. A. M.» «Моя спальня»; «Мой кабинет»

Литературный музей, Москва

ты, помидоры, сыр и фрукты были с песком, и на всех было только четыре стакана. Рахманиновы подъехали тогда, когда все было разложено; у них были с собой бутерброды с ветчиной и бутылка Виши.

На другой день все мы были приглашены к Алданову в Juan les Pins завтракать. (На прощанье он успел шепнуть мне: «привезите непременно фотографический аппарат, не забудете?»)

*Без числа.* Сначала мы выкупались на маленьком пляже — вода была прозрачна, чиста, прелестна — потом пошли по направлению к вилле Алданова. Рахманиновы нас догнали на автомобиле. В. Н. и И. А. сели к ним, а Таня вышла к нам, и мы пошли, не торопясь, пешком.

У Алданова в салоне ждал нас накрытый круглый стол, уже заставленный закусками. Сели: с одной стороны И. А., Алданов и Рахманинов, с другой — я, Леонид, Таня и В. Н., завершая круг, рядом с Рахманиновым. В полуоткрытые двери приятно дул ветерок. Из уважения к «знаменитостям» нас отделили от прочих пансионеров, обедавших в соседней комнате. Рахманинов был очень мил, любезен, весел, поминутно обращался к нам, передавая то одно, то другое, сам заговаривал, помогал В. Н. раскладывать с общего блюда рыбу, курицу.

После жаркого нам подали десерт и кофе, закрыли двери и оставили нас одних. Рахманинов, мало пивший и евший очень умеренно, позволивший себе только лишнюю чашку кофе, стал рассказывать о своем визите к Толстому. Говорил он еле слышным голосом, почти шепотом, с придыханиями, произнося «р» вместо «л».

— Это неприятное воспоминание... Было это в 1900 году. Толстому сказали, что вот, мол, есть такой молодой человек, бросил работать, три года пьет, отчаялся в себе, а талантлив, надо поддержать. Играл я Бет-

ховена, есть такая вещица с лейтмотивом, в котором выражается грусть молодых влюбленных, которых разлучают. Кончил, все вокруг в восторге, но хлопать боятся, как Толстой? А он сидит в сторонке, руки сложил сурово и молчит. И все притихли, видят — ему не нравится... Ну, я, понятно, от него стал бегать. Но в конце вечера вижу: старик идет прямо на меня. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли». Я ему: «Да ведь это не мое, а Бетховен», а он: «Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись?». Тут я ему ответил дерзостью: «Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим?..»

Ну и сбежал. Меня туда потом приглашали, и Софья Андреевна потом звала, а я не пошел. До тех пор мечтал о Толстом, как о счастье, а тут все как рукой сняло! И не тем он меня поразил, что Бетховен ему не понравился или что я играл плохо, а тем, что он, такой как он был, мог обойтись с молодым, начинающим, впавшим в отчаяние, которого привели к нему для утешения, так жестоко! И не пошел. Утешил меня потом только Чехов, сказавший по-врачебному:

— Да у него, может быть, желудок в тот день не подействовал — вот и все. А пришли бы в другой раз — было бы иначе.

Теперь бы побежал к нему, да некуда...

— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал И. А.— С начинающими, молодыми, жестокость необходима. Выживет — значит годен, если нет — туда и дорога.

— Нет, И. А., я с вами совершенно не согласен,— сказал Рахманинов.— Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно,— я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.

Поднялся спор. И. А. защищал Толстого, говорил, что он думает о нем «давно, лет сорок пять» и что нельзя судить его по нашим обычным меркам, что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: «Единственное, чего жаль — так это музыки!» Рахманинов, напротив, утверждал, что музыку он понимал плохо, что в Крейцеровой сонате, например, нет того, что он в ней находит, а что сам он Крейцерову сонату не любит и никогда не играет.

В конце разговора он спросил меня: «А вы работаете?»— Я сказала, что сейчас нет, что у нас «каникулы», что у меня сравнительно недавно вышла книга. «Как недавно? Это уже когда было!» — воскликнул он. «Я ведь знаю, когда ваша книжка вышла. Надо работать каждый день!»

Между прочим, он рассказал, что за столом у Толстого он ему сказал: «Я в себе сомневаюсь, боюсь, что у меня таланта мало...» На это Толстой ответил: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте...»

Простились очень дружелюбно, хотя уже и в большой толпе, собравшейся в саду. Таня звала к себе в Париж. Рахманинов, задержав мою руку, сказал, прощаясь: «Ну, работайте же, работайте... Смотрите...»

*3 сентября.* Вчера на ночь читала дневник В. Н. за 1918 год, наново, по совету Леонида, перепечатанный с выпусками лишнего. Интересно. В нем выступает очень И. А. того времени и сама В. Н. с ее детской, во многом трогательной натурой.

Оттуда узнала, что когда-то, на Капри, И. А. после веселого обеда с вином, музыкой, тарантеллой написал на своей книге Горькому: «Дорогой Ал. Мак., что бы ни случилось, всегда буду любить вас».

*10 сентября.* Встала раньше всех, села за стол. Пробовала писать. Все утро В. Н. и Рощин готовили на кухне, пока мы, остальные, писали у себя.

И. А. занят фельетоном, сосредоточен, поглощен, добр, когда приходит в себя.

Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами, И. А.,— говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражанья. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность,— сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой *как* — так талантливо, что мы все дружно рассмеялись.

*14 сентября.* В кабинете после обеда И. А. рассказывал, как был в молодости в Яновщине, в доме Яновского, родственника Гоголя.

— Помню плотину, гусей, даже эту знаменитую лужу. В доме же помню почему-то только одну приживалку, которая утром угощала меня в столовой кофе и все при этом откашливала и никак не могла откашлять до конца мокроту. На плече у нее была вязаная гарусная косынка, на голове наколка, и все лицо какими-то нарумяненными кусками, Была она очень со мной любезна и даже как-то кокетлива, все придвигала какие-то рассыпчатые крендельки, булочки, печенья и все приговаривала:

— Кушайте, кушайте, молодому человеку надо есть...

Оттуда я пошел на Шишаки и Сорочинцы к знакомому Яковенко. Это был мужчина с длинной бородой, голым черепом и вполне сумасшедший. Помню, он все говорил, что будет интересно познакомиться с докторшей. Потом мы с этой докторшей сидели на обрыве, под которым неслась очень быстрая речка, и слушали пение, в унисон, на селе, необыкновенно прекрасное, и она говорила, что хочет «невозможного»... Ну, я очень скоро смылся, потому что ясно было, что это за «невозможное», а с такими, если свяжешься,— потом нет никакой возможности развязаться...

Посмеялись, пошутили на эту тему. Потом Зуров спросил, был ли И. А. на севере. И. А. сказал, что был в Вологде.

— Когда?

— Да году в шестнадцатом. У Сашеньки.

— Кто это — Сашенька?

— А это его подружка по Орлу,— смеясь ответила за него В. Н.

— Какая это подружка?

— А это, когда я еще был в Орле, пришла в редакцию барышня, такая, с очень нежным цветом лица, мгновенно вспыхивающая, в длинной черной юбке и сапогах с ушками. Принесла рукопись—«История кусочка хлеба». Редактор дал мне прочесть. Оказалось так талантливо, что мы ухватились за нее двумя руками. Вызвали ее, она пришла, да и говорит:

— Мне с отцом очень тяжело жить...

А отец у нее был старый профессор с больной ногой, вполне бешеный и на всех замахивающийся палкой и пускавший ею в кого попало. Ну, редактор пригласил ее жить при редакции. Она переехала, и он тут же очень быстро, невзирая на наличие молоденькой, с ямочками на щеках жены, лишил ее невинности...

— Ну, а потом?

— Ну, а потом мы долго не видались. Она была идейная революционерка. Когда я приехал к ней в Вологду, она жила с каким-то рабочим,

большевиком. Я пришел к ней в дом, поднялся по какой-то грязной лестнице, где пахло нечистотами. Постучал, она вышла, все в такой же длинной черной юбке, с седыми обрубленными волосами, выкатила на меня глаза, как два облупленные яйца.

— Сашенька! Что же ты здесь живешь?

Она сразу узнала меня, стала говорить:

— Да, я теперь живу с рабочим... Он чудная душа, необыкновенная, только, конечно, все-таки мне тяжело...

— Сашенька, да как же тебе не стыдно! Ты ведь хорошая была барышня!

— Да, да что ж делать... Знаешь, Иван, только лучше нам куда-нибудь уйти, я здесь на положении не вполне легальном... Хозяйка может подслушать...

Мы вышли. А тогда была весна, ярка и густа зелень. Пешеходы были деревянные и такая грязь, какой я нигде не припомню. По этой грязи нырял извозчик, я кликнул его, мы сели.

— Куда везти?

Я сказал ему везти за город, он повез, мы поехали к монастырю. А монастырь этот вырос прямо из черной равнины, и была такая прелесть в его стенах, эта белизна, толщина, грубость... Потом этот голый деревенский погост... словом у меня осталось от этого такое прелестное впечатление, что вечером я сказал себе: «Нет, шабаш, надо уезжать!»— и уехал, хотя она и просила остаться.

Рассказывал он это так, точно уже готовый рассказ читал.

*16 сентября.* У И. А. есть одна особенность: страсть к перьям. Всю свою жизнь он мучится с неподходящими перьями, мучится своим почерком, хотя есть периоды, когда пишет великолепными клинообразными письменами. Для того чтобы было легко писать, ему необходимо какое-то особенно легкое, удобное перо, и вот достаточно ему войти в писчебумажный магазин, как он начинает тянуться к коробочке с золотыми перьями и ватермановскими ручками, пробовать их и почти всякий раз покупает ручку за 70—80 фр., которую, испробовав дома, находит негодной. Накопилось этих перьев и ручек у нас немало, он чрезвычайно ревниво относится к ним, не дает никому до них дотрагиваться, а время от времени обходит все комнаты и берет со столов то одну, то другую чью-нибудь ручку. У него было простое перо, купленное в Грассе, которым он писал 7 лет, написал «Митину любовь» и «Дело корнета Елагина», но теперь он уронил его, и перо разбилось.

*1 октября.* Завтракал Адамович. Сразу начался разговор с И. А. о Толстом и Достоевском. И. А., как всегда, говорил, что Достоевский не производит на него никакого впечатления. Он многое просто забывает. сколько бы ни перечитывал. Потом говорили о советской литературе.

Говорили о Катаеве, о некоторых других, но все как-то бегло. Между прочим, И. А. сказал, что ему кажется, что надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода.

— Да, но тогда будет как с питательными пилюлями,— сказал Адамович,— а хочется чего-то больше.

*3 октября.* И. А. прочел и дал прочесть мне «Семейную драму» Герцена. Читала вчера на ночь и сегодня утром дочитывала. Чувство как при чем-то личном. Потрясает искренность и вообще веяние какой-то другой, более откровенной и полной натуры. И как описана смерть и это море, бессмысленно двигавшееся и мерцавшее за окном комнаты, в которой лежала умершая! И его «шипение» и то, что сказано о мертвой, что «кротко застыли скорби и тревоги, словно страдания кончились бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел, смотрел всю ночь...»

«Когда мы всходили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве...»

Все это было здесь. И вот уже все опустело, как театр, и актеры исчезли, и все изменилось. И теперь мы действуем здесь, и все это пройдет так же скоро...

Весь день была под впечатлением прочитанного, ходила смотреть на Эстерель, на туман долины, в котором прятались огоньки Бокка, на черно-синие тучи, покрывавшие небо, в прогалинах которых ныряла белая полная луна, и все думала о том, что было здесь 80 лет назад. Вечером И. А., Рощин и я ходили по саду; И. А. говорил, отвечая на его слова о том, что все, что он пишет, «пока» и «для широкого читателя», а настоящую книгу, хорошую, он напишет потом и «будет писать ее долго».

— Нет, не потом надо, а сейчас,— говорил И. А. со своей обычной энергичной силой в голосе,— сейчас, пока еще нет такой книги. Смотрите, о войне у нас не написал пока никто ничего настоящего. А вы бы взяли и написали вот так, как вы сейчас рассказывали о войне, именно о ее буднях, а не захлебываясь лиризмом и патриотизмом. Нет, это все оттого, что вы русский человек, капитан, а русские запаздывают и в молодости. Вы должны были бы бросить этот ваш поганый роман и написать настоящую правдивую книгу. Только без лиризма! Не надо «открывать читателю свою душу», не надо становиться с ним на равную ногу. Он уважать не будет. Надо его бить по голове, писать жестко, спокойно, только это и производит впечатление...

*23 октября.* День рожденья И. А. Шестьдесят лет. Совсем обыкновенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он «с ума сходил перед днями своего рожденья, часто уезжал куда-нибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов». На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро. Гуляли по саду. Очень теплый солнечный день. Он шутил с Рощиным, гулял с нами всеми тремя перед завтраком, хотя даже и не переоделся, все в том же старом полосатом халате с растрепанными завязками.

*25 октября.* День ангела И. А. В доме попытка праздника: все приоделись, к завтраку была любимая И. А. рыба. Однако он пишет весь день, чему я рада.

Вечером, после обеда и выпитого вина, ходили вчетвером по площадке нижнего сада (Монфлери) и разговаривали. Было холодно, ветер размахивал черными перистыми ветками пальм, звезды горели голубоватыми огоньками. Мистраль.

Перед этим И. А. читал написанные за день кусочки в столовой, где на белой пустой скатерти венком лежали темные тени гвоздик, стоявших в зеленой кубышке посредине. Читал он, опершись локтем на камин, стоял к нам лицом, так что на плечо ему другие гвоздики, стоявшие на камине, клали свои красные головы. Как точны, великолепны, несомненны все слова в этих «маленьких рассказах»! Точны, как самые совершенные стихи. Это особенно чувствуется, когда он читает вслух.

*29 октября.* Вчера вечером ходили гулять вчетвером, чего уже давно не делали. Ходили на дальний бульвар, в противоположном конце города. Разговаривали о литературе. Дошли до маленького пустыря за бульваром. Над смутно белевшим треугольником какого-то одинокого дома, казавшегося хатой, низко висел желтый ломоть месяца, похожий на ломоть переспелой дыни. Горы, сливаясь во что-то черное, казались издали степью, и И. А. сказал:

— Прищурьтесь немножко, и вы легко можете себе представить, что вы где-нибудь в екатеринославских степях, под Никополем. Дом этот отлично мог бы быть хатой, а тот черный туман позади — степью...

*23 ноября.* Редкий по чистоте воздуха и великолепию красок день. Тепло настолько, что все окна открыты. Утром писала.

И. А. все мучается с заглавием книжки. То «Новые страницы», то «Краткие рассказы», то что-то неопределенное, подходящее под понятие «Альбом писателя», но без невозможного слова «Альбом».

*2 декабря.* Отослали с И. А. рукопись его книги «Божье древо». Зашли в церковь. В ней, пустой, гремел какими-то железными трубами орган.

Сидела у моря одна, пока И. А. ездил к Мережковским.

Солнце зашло в мутный дымный газ неба, на котором стройно рисовались снасти стоявшей у мола одинокой яхты. Поверхность моря была серая, бугристая, с прерывистым неприютным блеском по ней. И. А. шел и говорил, что у него бывает иногда страстная потребность увидеть северное море, что, должно быть, это во всех нас, русских, заложено.

— Да ведь, бывало, выйдешь из Босфора в Черное море — так сейчас и пошел ветер и пошло валять, и труба начинает сипеть как-то по-особенному...

На обратном пути все говорил, что пора приниматься за «Арсеньева». Он сейчас после отправки книжки очень устал, как-то весь обмяк, но маленький отдых — и он опять может писать.

*14 декабря.* После завтрака ходили с И. А. ненадолго гулять наверх. Говорили о Муратове, которым И. А. после каждой новой статьи очень восхищается, об Ольге Жеребцовой у Алданова и Герцена. По-моему, у Герцена она хороша, но у Алданова видна совсем по-иному и вместе с эпохой попутно. Потом спросила, как И. А. писал «Деревню», с чего началось.

— Да так... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут я получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал...

Гуляли очень приятно. Солнце, зелень как-то особенно светится над водой. И. А. стал отдирать один серый лист агавы от другого, еще плотно вложенный один в другой, как в футляр.

— Точно крокодилья пасть! — говорил он.— И какая сила! И все, чтобы не съел кто-нибудь.

Домой шли мимо любимой площади принцессы Полины над нашей виллой. Увидели, что прелестную старую грядку из серых камней, отделявшую обрыв, сломали и строят безобразную бетонную с рыже-красными прутьями изгородь. Огорчились ужасно. Какое ослиное понятие о красоте надо иметь, чтобы делать такую замену!

— Да что! Все здесь скоро испакостят! — с огорчением сказал, уходя, И. А.

*18 декабря.* На днях вечером сидели в кабинете И. А., и разговор зашел о Достоевском. И. А., который взялся перечитывать «Бесов», сказал:

— Ну вот, и опять в который раз решился перечитать, подошел с полной готовностью в душе: ну, как же мол это, весь свет восхищается, а я чего-то, очевидно, не доглядел... Ну вот, дошел до половины, и опять то же самое! Чувствую, что меня дурачат, считают дураком... И нисколько не трогает! Бесконечные разговоры, и каждую минуту «все в ожидании», и все между собой знакомы, и вечно все собираются в одном месте, и вечно одна и та же героиня... И это уже двести страниц, а никаких «бесов» нет... Нет, плохо! раздражает!

— Что же ты хочешь сказать? — спросила В. Н.

— Хочу сказать, что, очевидно, ошибаюсь не я, а «мир», что мы имеем дело со случаем всеобщего массового гипноза. Но не только не смеют сказать, что король голый, но даже и себе не смеют сознаться в этом.

— Что же вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель?— закричал Зуров.

— Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель. И вы лучше послушайте меня. Я в этом деле кое-что понимаю...

— Да как же это так? Что он не любит описаний природы — так ему вовсе не до того, а что он так спешит, так это потому что ему некогда было отделывать, вы же знаете, как он писал...

— А я утверждаю, что он иначе и не мог писать, и в свою меру отделывал так, что дальше уже нельзя... Вслушайтесь в то, что я говорю: все у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплетешь... Иначе он и не мог писать.

Зуров вскакивает и начинает возмущенно опровергать. В. Н. говорит, что Достоевский объяснил ей многое и в самом И. А., и в жизни всего нашего дома. И. А. с необычайной силой стоит на своем и в доказательство приводит то, что сколько ни читал Достоевского, через год ничего не помнит.

Поднимается ужасный шум. Спор, конечно, кончается ничем.

*20 декабря.* Демидов прислал И. А. по поручению Милюкова статью одного журналиста из Стокгольма о Нобелевских лауреатах. В конце этой статьи автор пишет, что у лауреата этого года было два серьезных соперника: Мережковский и Бунин. Что «Жизнь Арсеньева» искали и не могли найти в переводе — она есть пока только на итальянском — и что самый вероятный кандидат на будущий год — Бунин, если только его выставят кандидатом до января 1931 года.

И. А. читал это за завтраком вслух. Никто из нас этого не ждал, и поэтому все были как-то оглушены. Потом начались советы и совещания, что делать. Конечно, явилась мысль о необходимости нажать некоторые кнопки — письмо для этого, видимо, было переслано — написать кое-каким знакомым, а главное, позаботиться о переводе. После завтрака И. А. сел писать письма. Теперь ему предстоят волнения, заботы и, может быть, напрасные, так как вряд ли дадут премию русскому. И в результате будет большое разочарование, большая горечь.

*30 декабря.* Томас Манн прислал И. А. в ответ на «Жизнь Арсеньева» свою «Смерть в Венеции» по-итальянски с очень любезной надписью.

## 1931

*15 января.* Радостные известия из Швеции. Будто бы проф. Агрелл твердо сказал, что все сделает, чтобы премию дали Бунину.

И. А. сказал мне это в большом волнении.

Он поглощен этим, лицо у него взволнованное, он сидит без пиджака в одной белой с помочами фуфайке и, не глядя стряхивая пепел с папиросы, пишет одно письмо за другим. Я ушла от него, попросив помнить только одно: что надо все-таки до времени сдерживать себя и не давать до конца увериться в успехе — все может еще перемениться. Потом пошла в сад, ушла наверх, долго ходила и сидела в каменной нише на верхней террасе, смотрела на гору, на долину, на оливки, казавшиеся от освещения железными.

Вот жизнь на пороге поворота. Все может вывернуть и понести куда-то. И как ни странно и ни тяжко иногда бывает — будет ли лучше? И как И. А.

ни тяжела нужда, лишения — будет ли лучше тогда? Ведь сумма эта вовсе не сказочная, а на нее станет рассчитывать чуть не половина эмиграции. А дома? А В. Н.? А все мы, неуравновешенные, нервные? Он сейчас так рассеян, так отвлечен. А что будет с его здоровьем при неизбежных излишествах?

*24 января.* Третьего дня были на чае у Фондаминских и видели В. Ильина, философа, композитора, профессора, автора «Серафима Саровского».

Ильин и И. А. заспорили о французах, о «провалах» у них в литературе. Ильин находил их легкими и сравнительно поверхностными и уж никак не жестокими.

— Позвольте, а Бодлер, а Верлен? — говорил И. А.

— А Поль Валери...— врывался Ильин.

— Да нет, возьмите хотя бы Флобера, по-моему недооцененного,— говорил И. А.

— Положим, вполне оцененного,— вставлял Ильин.

— Нет, недостаточно с той именно точки, о которой я говорю. Я вот перечел недавно «Бовари». Какая там звучит над всем и надо всеми нота глубокой меланхолии, безнадежности! (Такая нота у французов его времени! Это впервые!)

— Ну, да-да...— соглашается Ильин. И, повернувшись в другую сторону к Илье Исидоровичу, стремительно переходил на музыку: — Ах, я вот все о Чайковском... Знаете, он недостаточно оценен! Какие у него есть симфонии! И знаете, он всегда работал! Есть у него одна «Фантазия», просто изумительная, а вот недавно я читал его дневники, и там стоит: «иду работать над осточертевшей „Фантазией"»... Он не ждал вдохновения.

— А Толстой?.. — вопросом ответил И. А.

Потом Ильин рассказал, как в 18-м году, в Киеве, от зажигательного снаряда у него погибли все рукописи и готовая партитура симфонии, которая уже должна была исполняться в киевской консерватории. Ему было тогда 28 лет. «И все, все погибло!»

— Каждый человек эгоист,— сказал с улыбкой И. А.— И поэтому, я о себе скажу, что я бы дорого дал, чтобы какой-нибудь снаряд сжег все мои юношеские произведения! Нет ничего ужаснее этого незрелого груза за плечами! И вы, наверное, теперь написали бы вашу симфонию заново и много лучше...

— Да, представьте, я теперь вот, бродя по полям Манделье, часто присаживаюсь на камни и разыгрываю мысленно свою симфонию — и она выходит куда лучше!

— Ну, вот видите!

*31 января.* Вечером еще раз гуляли, и далеко. Была прекрасная лунная ночь. В. Н. и Леонид ушли далеко вперед, а мы с И. А. и капитаном, не торопясь, тянулись сзади. И. А., говоря о Чехове, между прочим, рассказал, что он из скромности когда-то написал в воспоминаниях о нем: «Чехов сказал: написать бы такой рассказ, как „Тамань", да еще там что-то и умереть». А на самом деле было иначе. И. А. указал ему на „Тамань" как на один из самых прекрасных перлов нашей литературы, и он, подумав, согласился с ним и тогда уже сказал записанную фразу. «А теперь все подхватили, и вот опять читал недавно у Муратова о „Тамани"... А до меня никто о ней и не думал».

Очень хорошие вести из Стокгольма. Выставлена кандидатура И. А. Кроме того, переслано письмо Эм. Нобеля, где он пишет, что он за Бунина: прочел пять-шесть его книг и в восторге от них.

Ходили с И. А. в город. Говорили о том, как было бы хорошо ехать через год в Швецию. Но он и говорить об этом из суеверия боится.

БУНИН

Фотография. Грасс, 1932
С автографом писателя:
«14.V.32. Grasse. А. М. Ив. Бунин»
На обороте — письмо Бунина
А. П. Ладинскому от 27 июня 1932 г.
Центральный архив литературы
и искусства, Москва

*3 февраля.* За завтраком говорили о Толстом, Достоевском, о прозе Пушкина. И. А. с распушенными после вчерашней мойки волосами, в новом костюме «дубового» цвета, был очень оживлен и любезен.

Заговорили о прозе Толстого и Пушкина.

«Проза Пушкина,— сказал И. А.,— суховата, аристократична рядом с прозой Толстого, как, может быть, аристократична проза Петрония, который все знал, все видел и, если и решил написать о пире, где подавались соловьиные язычки, то не унизится — вы понимаете, в каком смысле я говорю это,— до изображения и описания этих соловьиных язычков, а просто скажет, что их подавали. А Толстой был слишком чувствен для этого.

*15 февраля.* Все утро, не вставая, писала немного лихорадочно, а тотчас после завтрака пошли с И. А. гулять: день был великолепный, голубой, теплый.

Сделали прекрасную прогулку по каналу. Голый, еще ярко освещенный серый сухой лес по горе, фиалки, прелесть травы, земли, грубых домов с живописными большими деревьями над ними.

Выйдя на отлогий сухой скат, сели и загляделись. Перед нами была вся гора, составляющая правую часть Горж дю Лу, мягко освещенная, с какими-то теплыми розовато-персиковыми тонами, в темных кустиках, посаженных часто, как украшения на женской юбке, и вся гора походила на часть огромного, отлогого, далеко простертого кринолина, сходящего в лощину. Позади были серо-сиреневые за голубым, тончайшим воздухом горы Ниццы, белая свечечка маяка на мысе Ферра. И была такая тишина, что мы оба точно застыли, вслушиваясь в нее. Слабыми, страшно далекими казались дальние редкие гудки автомобиля.

— Тут понимаешь высоту духовных радостей,— сказала я.— Собственно, чего тут можно желать? Только смотреть. И приходят мысли об отшельниках.

— Да, связка соломы, кувшин с водой... — задумчиво, издалека сказал И. А. Он лежал на земле и смотрел.— И немного грустно и безнадежно.

— Нет, какая безнадежность! В этом и безнадежности нет. Просто, нет нужды в ней... Отсутствие... всего. Просто видеть. Чего тут можно желать? Всё эти горы пережили и переживут.

*21 февраля.* Вечером И. А. читал мне вслух «Косцов» и «Аглаю». Последнюю читал особенно хорошо, и, когда кончил, у меня лицо было мокро от слез. Как прекрасно написана эта вещь! И как он замечательно читал ее!

На мой вопрос он сказал, что много прочел, прежде чем писать ее.

— Вот, видят во мне только того, кто написал «Деревню»! — говорил, жалуясь, он. — А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во мне есть и то и это! А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов, и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая,— это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, как выдуман! В котелке и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел! «Утешил, что истлеют у нее только уста!» — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого, что «Деревня» — роман, все завопили! А в «Аглае» прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, выполняла,— никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа — почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и «Песня о Гоце». Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад.

И он прочел, опять изумительно, и «Песню о Гоце».

*28 февраля.* Письмо от некоего Олейникова, женатого на сестре Нобеля, с знаменательной фразой о том, что он надеется на «русский обед» в будущем декабре, на котором сможет увидеть Ив. Бунина — нобелевского лауреата.

И. А. несколько взволновался. Он, как и мы все, не позволяет себе зарываться в мечты, которые могут не оправдаться. Но все же...

Утром читала «Братьев Карамазовых». Только теперь по-настоящему понимаю Достоевского. Несет, как Ниагара, утомляешься даже. Странно одно: как-то вдруг чересчур он мне стал ясен, понятна психология каждого героя, почти наверное знаю, что будет дальше, и это без враждебности говорю, а просто — знаю.

С И. А. о нем говорю сравнительно мало. Он начинает волноваться, как-то сказал:

— Я и имя это — Алеша — из-за него возненавидел! Никакого Алеши нет, как и Дмитрия, и Ивана, и Федора Карамазовых нет, а есть АВС...

Но в то же время это у него сложно. Достоевский ему неприятен, душе его чужд, но он признает его силу, сам часто говорит: конечно, замечательный русский писатель — сила!

О нем уж больше разгласили, что он не любит Достоевского, чем это есть на самом деле. Все это из-за страстной его натуры и увлечения выражением.

*17 марта.* Известие от Олейникова. У Эм. Нобеля кровоизлияние в мозг, упал в ванной. Пока жив, но «в течение 10—14 дней должно выясниться, сколько ему осталось доживать».

И. А. читал письмо за завтраком. С первых же строк весь покраснел и ударил кулаком по столу:

— Нет! Вот моя жизнь! Всегда так!

И, действительно, он не раз говорил, что за этот год что-нибудь непременно должно случиться, что помешает получению премии,— или война или еще какое-нибудь событие. Возможная смерть Нобеля, конечно, большой удар. Олейников очень утешает, пишет, что шансы на успех те же, но все-таки, конечно, это уже не то. Между прочим, пишет, что Шмелева тоже выставили. И. А. это почти оскорбило. «Кем? Да ведь это смехотворно!»

В общем он так взволновался, что мы предложили ему идти тотчас после обеда к Фондаминским и с ними вместе идти гулять. Пошли. Мы с ним шли впереди. Он был очень взволнован, я тоже, но как-то нашла слова, которые его тронули. Он с жаром воскликнул:

— Да, да, правда! Надо как-то сказать себе: Да будет воля твоя! Иначе ничего не сделаешь.

*19 марта.* Позавчера вечером пришли Брежневы с незнакомым господином и дамой, «ясноликой и хорошо одетой», как рассказывал о ней И. А., и попросили свести их к Фондаминским. И. А., который как раз собирался туда, поехал с ними на автомобиле. Вернулся часу в одиннадцатом, несколько взволнованный. Оказалось, что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, концессионер, она его жена — сестра Германовой. Рассказывали о России в таком духе:

Он (с акцентом): О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено! Как доски распилены! (и т. д. и т. д.).

Вообще разговор был грустный. И. А. пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. «У нас в Ленинграде» — в первый раз за много лет мы это услышали.

*16 апреля.* Вчера после обеда Федор Августович (Степун) и И. А. заспорили.

— Вы вот пишете всякие «Мысли о России»,— говорил И. А.,— а между тем совсем не знаете настоящей России, а все только ее «инсценировки» всяких Белых, Блоков и т. д., а это не годится.

Федор Августович начал говорить о том, что он приемлет и И. А. с его диапазоном, но ему нужен и Белый, и Блок, и его Россия, и его «хлыстовство» (разумея под этим всякое опьянение), и «плат узорный до бровей».

— Для меня, если я нахожу в Бунине нечто от А до Л, Блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина — я обедню себя... Кроме того, Блок скажет мне что-то такое, чего недостает мне в вас, например, нет безумия, невнятицы, вы о безумии, о невнятице говорите внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печенку, а Аверкий, умирающий в пустоте!..

— Вы об этих ваших персонажах говорите разумно. Для меня вы и Блок—как Моцарт и Бетховен. От каждого я получаю что-то иное... И то, что вы не терпите рядом с собой другого, может быть есть именно только доказательство вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем известным творческим бессилием. А вы по звездам стреляете — так что же вам быть справедливым!

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть, в конечном счете, литература и пошлость.

— Не надо забывать, сколько тут идет от живописи, от всяких

«Миров искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба—одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали!

— А я думаю, что если вы — русский человек, то вы один из полюсов русской жизни,— стоял на своем Степун.

— Это была кучка интеллигентов,—не слушая, говорил И. А.— Россия жила помимо нее.

Потом Федор Августович читал — очень выразительно — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха,— сказал И. А.— Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства... И вообще, если я чувствую в произведении àуру художника, это меня уже болезненно ранит. Для того, чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нем только его àуру — àуру произведения.

*22 апреля.* Вечером И. А. читал нам вслух «Юлиана Милостивого» Флобера и сам так восхищался, что заражал других.

*5 июня.* Вечером во время прогулки В. Н. сказала, что Катерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был. И. А. рассказал:

— Мне тогда шел двадцать шестой год, но, конечно, в сущности мне было двадцать. Однако Катерина Михайловна вовсе не была «взрослей» меня, хотя ей было 32—33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатыванья — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, «умные» разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом... Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того, и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к X: «Выходите за меня замуж...» Она расхохоталась: «Да как же это выходить замуж... Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить...» Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с X. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей.

В. Н.: Все-таки она думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей. Ведь это было в июне, а в сентябре он женился.

И. А.: Да, и тоже был поступок идиотский. Поехал в Одессу и ни с того ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал потом с ужасом: что бы я с ней делал? Куда бы я ее взял?

Он еще рассказал между прочим, что когда Катерина Михайловна смеялась над ним, он как-то сказал ей: «Вот увидите — я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу!»

*21 августа.* Печатала под диктовку И. А. фельетон о принце Ольденбургском. Еще раз подумала о том, как тщательно он работает, как правильно ставит всюду знаки препинания, как выработан у него каждый кусок, каждая фраза. На это-то у меня почти постоянно и не хватает терпения.

Главное, что часто изумляло меня в И. А.,— что он бывает удивительно смиренен в своем ремесле. Возьмет маленький кусочек и выполняет его с почти педантической тщательностью. А потом оказывается, что собрание таких кусочков дает блестящий фельетон. Часто я сама дивлюсь скромности его требований, я в сравнении с ним нетерпелива, хочу все чего-то огромного... а он напишет что-нибудь крохотное и радуется сам: как хорошо написал!

Это изумительная черта в таком гордом, нетерпимом часто человеке.

*8 октября* ... печатала старые, 1901 года, рассказы И. А. с его вычеркиваниями для газеты: «Только раньше дай мне слово, что зачеркнутое читаться не будет. Я прошу ради бога. Честное слово?»

Таким манером он вычеркнул почти все: из рассказов в 5—6 страниц делая 2, $2^1/_2$. Печатая то, что я так хорошо когда-то знала, как, например, «Надежду», которую даже переписывала когда-то гимназисткой, я думала о том молодом, еще неопытном и умилительном, что есть в этих рассказах. Тогда ему было столько лет, сколько мне теперь.

*9 октября.* И. А. сам принес и прочел нам найденную им во французской газете заметку о том, что Нобелевская премия в этом году назначается секретарю шведской Академии, поэту, умершему в апреле этого года. Расстройство его — для него это удар, так как больше всех надеялся на премию,— выразилось только в том, что он пошел в город за газетами и немного возбужденнее обычного говорил: «Ведь тут дело даже не в деньгах, а в том, что пропало дело всей моей жизни. Премия могла бы заставить мир оборотиться ко мне лицом, читать, перевести на все языки».

*13 октября.* И. А. со времени получения известия о премии обложился своими «молодыми» сочинениями и сел за работу. Вычеркивает, исправляет, надписывает. Неудачи заставляют его крепче собираться. Это замечательная в нем черта, молодая.

*19 октября.* И. А. говорит, что у него бывает теперь временами огромное физическое и душевное отчаяние. Причины не совсем ясны, но, по-видимому — невозможность писать, нездоровье, боли в руке и в боку, горло. Ему надо было бы поехать в Париж, переменить место, но он говорит, что не может себе представить ночи в отеле. Одному страшно.

*23 октября.* В саду шумит затяжной дождь. Вдруг стало темно и холодно. Сегодня день рождения И. А., он старается побороть грусть по этому поводу, занять себя работой — что-то пытается писать у себя в кабинете.

Вечером сидели у меня. Леонид прочел вслух рассказ Чехова «Беглец». Как полезно перечитывать Чехова, Толстого! Мы все-таки забыли, что такое неприкрашенная Россия, а она вот какая! Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшая в пирогах и блинах Россия — ужасна.

*13 ноября.* Ходили втроем гулять по каналу. И. А. рассказывал о своей первой книжке стихов, которая вышла как приложение к «Орловскому вестнику». Ему было лет 19. Обложка книжки была из бумаги, на которой чередовались: китаец, домик, мостик. «Одним словом, вроде той, которой оклеивают в некоторых местах уборные. Редактор „Вестника" был, конечно, человек сумасшедший. Представьте себе, кому нужна была эта книжка в Орле! Но за нее дали мне 40 рублей, а мне хотелось шляться, вот я и взял».

— В вас действительно верный инстинкт. Вам тогда нужно было шляться,— сказала я.

— Да, конечно, И. А.,— сказал Леонид.— Вот мне, например, как было бы полезно, если бы деньги, сесть в поезд и поехать куда-нибудь в Бургундию или даже по Провансу.

— И очень жаль, что я тогда шлялся,— сказал И. А., — если бы я тогда не терял времени и вовремя учился, работал — чего бы мог наделать!

— Как! — воскликнул Леонид.— Да ведь надо работать над чем-то! Ведь то, что вы тогда ездили, дало вам потом материал для работы!

— В молодости, когда чувства и душа недостаточно развиты, видимое чаще всего подавляет. Для того чтобы почувствовать, надо тоже быть в известном возрасте.

Мы вышли на обрыв и сели на камни, глядя вниз, где в голубом тумане делала петлю дорога и широко, до моря, разлеглась долина, усеянная россыпью белых домиков. Позади были горы — оттуда стукнул выстрел.

— Вот разве я, когда слышал, как отец стреляет,— разве я мог почувствовать этот выстрел, то, что он сначала как бы ударился во что-то, а потом разорвался... и многое другое, что бы я добавил сейчас и чего не мог бы разобрать тогда,—снова заговорил И. А.—Вообще, пока человек молод и неразвит, его или подавляет виденное или, напротив, так изумляет, что он ничего не может о нем сказать. Пока человек не вышел из чего-нибудь, не возвысился над ним — не он владеет им, а оно им. Все настоящее начинается собственно с 33-х лет.

— Поэтому, И. А., я думаю, лучше всего писать не о себе. Молодому автору лучше быть подальше от себя,— сказал Леонид.

— Ну, отчего же? Напротив, все делали как раз так. Сначала пишут о себе.

— Ну тогда надо как-то очень изменять.

— *А Толстой? Очень изменить — вместо Левочка назвать Николенька?*

— Почему вы, И. А., так мало ездили по России? Вот это ваша ошибка, вы должны были бы все объездить.

— Да ведь это вам, когда вы потеряли Россию, все представляется так. А мне что же? Когда есть свой дом, в некоторые комнаты и не думаешь заглядывать. А когда потерял — кажется, всюду бы пошел. В Париже вон все бегут осматривать Нотр-Дам, а в Москве разве кто-нибудь ходил в Кремль?

— Я в Париже не видела могилы Наполеона, до сих пор не была в Инвалидах,— сказала я.

— И ничего не потеряла,— ответил И. А.— Более неудачно устроить могилу Наполеона нельзя было. Это производит не больше впечатления, чем кафельный пол в уборной.

*10 декабря.* И. А. подписал контракт с англичанами на «Жизнь Арсеньева».

После обеда, сидя с И. А. в его кабинете, разговаривали о Петрарке. Он перечитывает книгу о нем и попутно делится со мной своими мыслями. Читал мне его сонеты. Пробовал рисовать внешность Лауры. Говорит, что думает, что в большой степени все эти сонеты были литературой, жизни в них мало и что Петрарка был средний поэт и только торжественный и горестно-величавый звук в его собственных словах о смерти Лауры убеждает его в ее подлинном существовании. Она умерла от чумы утром 6 апреля 1348 года и в тот же день вечером была погребена.

*14 декабря.* Вечером у меня в комнате И. А. говорил:

— Ну как это перевести — «скиглит чайка»? А ведь как выражено!

— Да это просто звукоподражание,— с легким презрением сказал Леонид.

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГРАССА (ЖУАН-ЛЕ-ПЭН)
Открытка, 1930-е годы
На обороте письмо Бунина М. В. Карамзиной 8 августа 1939 г.
Собрание В. В. Шмидт, Тарту

— Да, а вот как выражено! Это именно эти звуки (он показал голосом, как кричит чайка). А вот например: — «За байраком, байраком, — в поли могила. — Из могилы встае — казак сивый, похилий». «Похилий» — как сказано! А перевести нельзя. Я пробовал переводить Шевченко. Не то! Так же и поляков. Самые близкие «смежные» языки труднее всего поддаются переводу. Происходит это оттого, что они еще слишком близки к природе, они еще в диком состоянии — откуда и их прелесть — и при переводе не входят в семью языков, культурно развившихся.

*16 декабря.* Холодно. Топят печку только на лестнице, и от этого особенно холодно внизу. Столовая кажется еще холоднее от белой холодно-блестящей клеенки на столе. Цветы в саду стали бледными, слабыми. Ночью я не могу согреться, несмотря на три одеяла. Мне снятся какие-то холодные горькие сны. Мы слишком много бываем только друг с другом и совсем не видим людей. День серый, мутно-зимний. Утреннее солнце не удержалось. Вчерашние чайки в Каннах, выстроившиеся на деревянном помосте на берегу, предчувствовали непогоду правильно. Ночью было бурно. А часа в два стояли с И. А. на конце мола в Каннах и смотрели на порт, на выстроившиеся над нами дома, на ряды белых с толстыми глиняно-желтыми трубами яхт. День был прекрасный, немного грустный от пестрых красок, от карусельной музыки, несшейся с берега — вдоль порта выстроилась ярмарка. Только чайки спокойно сидели и покачивались на волнах.

*Декабрь.* После обеда И. А. читал нам в кабинете те небольшие кусочки, над которыми работал последние дни. Читал, как всегда, превосходно, оттеняя голосом все главное. Особенно понравился отрывок про петербургского студента.

После обеда мы с И. А. ушли в конец сада и сели на скамью. Всходила луна. Ночь была облачная, прохладная. Начали говорить о писании.

— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает?— говорил он.— Из какого жалкого, пустячного оно большей частью выходит!

— А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из нее.

— То, что у каждой девушки бывает счастливое лето,— это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. А после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее именье Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили барышни Таубе, и там же был аристон, и опять эта лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Леонида Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый... А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла «Чаша жизни». А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Корейши.

— Кто это?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал — и прямо в поклонницу,— в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер, везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться... И вот, так как жрал он много и был грузен и долго стоял, то быстро лопнул и текло из него так, что под гроб пришлось поставить тазы, и вот представьте себе! Эти поклонницы, разные купчихи, кинулись, давя друг друга, с тем, чтобы обмакнуть вату в эту сукровицу и унести с собой домой.

— Что за гадость!

— Да, да, и было это всего 70 лет назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали... И дурак я, что не написал жития этого «святого». У меня и материалы все были.

— Да напишите, как рассказываете!

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь ваша и Машина,— сказала я.—Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста ...

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких, наверное, и у английского короля нет: стекла саженные, весь какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья... и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши, рвет из рук чемодан и, почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется... И вот идем мы через буфетный чертог и все поглядывают... Все знают, что этот господин — шурин здешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко, и все тоже

смотрят, все знают... И так приходим в домик... А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними... Ах, страшна жизнь!

А ночью, чуть горит прикрученная лампочка, и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко расплачется, зальется ребенок: «Бабушка!..» — и сейчас же сонное шлепанье ее ног и шепот... А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх...

— Ах, знаю, знаю эту жизнь! Видела в Смеле, в Здолбунове.

— Здолбуново, Смела—все это юг, там тополя, белые дома, а тут грязное пыльное уныние... Но не надо, однако, представлять себе эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски... Она умница, талантливая... и вполне сумасшедшая, конечно. А то бывало пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится... Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке, такого какого-то рытого бархата... Ах, как все это страшно и жалко...

Говорил он все это изумительно, медленно, как будто видя перед собой, и так, что у меня сердце сжималось от жалости. И, слушая его, я все смотрела на туманное небо, туда, где рваные перламутровые облака медленно смыкались, как медуза, собираясь поглотить тусклую, смертельно грустную луну...

— Все это непременно надо написать,— сказала я.

— Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь,— грустно твердил он...

## 1932

*28 февраля.* Говорили с И. А. о «Кларе Милич». Он говорит, что она была написана Тургеневым с певицы Кадминой, портрет которой он видел. «В кокошнике, в русском костюме, со сросшимися бровями, она напоминала лицом какую-то старую русскую царицу...»

Впрочем, в «Кларе Милич» он ничего не нашел для себя, по его словам.

«Для И. А. сейчас нет собеседника в литературе», — сказал как-то Леонид.

Вечером И. А. читал мне стихи Пушкина. Читает он их так, как, пожалуй, сам Пушкин должен был читать: то важно, то совсем просто, то уныло... Но лучше всего у него вышло: «О, если правда, что в ночи...», которое он прочел глухим, таинственным, однообразным тоном, нигде не повышая его. Я напомнила, что Метнер в музыке кончает вскриком, как бы уже зовом в присутствии призрака: «Сюда, сюда!» Он покачал головой: «Неправда. Этот зов, в сущности, беспомощен...»

В тот же вечер он говорил о Тургеневе, что у него во всех вещах литературные несчастные концы, которые, по его мнению, были ему не по натуре. «Разве можно себе представить Тургенева женатым, с детьми, занимающимся хозяйством? Его, который был настоящим европейцем и среди Флоберов, Мопассанов и Гонкуров — мэтром?»

*9 марта.* В воскресенье, шестого, ездили с И. А. гулять. День был совсем весенний — вообще начиналась весна — и мы пошли какими-то деревенскими улицами от Фурашо к каналу и долго шли среди сосен и вереска, забрались в чащу мимоз, желтыми вымпелами стоявших в голубом небе. И. А. был точно погружен в сон, потом—началось с Наташиной свадьбы; в этот день в 4 часа ее венчали в Париже, и мы невольно

следовали за ней мысленно,— я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

«Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе,— мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя собственно никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бобой и с очень милым песиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и «дамское» выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать, из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму...»

Он рассказал, как начались вскоре у них недоразумения с женой. Ее очень настраивала против него мачеха — Элеонора Павловна, «которая сначала была просто до неприличия влюблена в меня, а потом так же неприлично возненавидела». Привело все это к тому, что после двойного отъезда он совсем уехал от жены, которая в это время была беременна, месяце на пятом.

Ребенок, сын, прожил лет до пяти. Был он хорошенький мальчик. Виделся он с ним раз пять в году, причем «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья. Умер он от скарлатины. Есть карточка его на смертном одре. Он в бархатном костюмчике, в лакированных башмаках, лежит, очень вытянувшись...

— Вы его любили?

— Я мало в сущности его видел. К тому же я не очень сознавал в себе отца... А Анна Николаевна пролила много слез...

Я стала говорить ему о том, как все это хорошо должно у него выйти в «Жизни Арсеньева». Он сказал сначала, что не думал об этом писать, но постепенно разогрелся и в конце концов сказал, что об этом «уже и правда можно было бы написать».

Во время следующей прогулки — вчера — он заговорил об этом сам, рассказал о том, что отец Анны Николаевны Цакни был революционер, эмигрант довольно видный, что в Париже ему приходилось так туго, что он мел улицы, а зато потом в Одессе они были богаты. Мачеха Анны Николаевны была богатая женщина. У них были имения, виноградники. «Подумать только, что я мог бы поехать под Балаклаву в имение, жить на виноградниках, управлять всем этим, стать богатым человеком. Но мне это и в голову не приходило. Связывать себя! Вот как я это понимал!»

Я спросила, как отдали за него, ничего в то время не имевшего, богатую наследницу.

— Да я и сам не знаю!— сказал он.— Отец ее был типичный интеллигент. Мы вместе ехали из Одессы к ним на дачу на паровичке. Стояли

на площадке и курили. Я вдруг сказал: «Прошу у вас руки вашей дочери». Он сдвинул пальцами шляпу на затылок, посмотрел на меня и сказал: «Да я-то тут, дорогой, причем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня — я ничего против не имею».

Когда они затем встретились — она уже, вероятно, знала об этом предложении. Они возвращались откуда-то из города — она и мачеха. Она в темноте протянула руку, нащупала его руку и вложила в нее туберозу. Это было сделано очень мило и невинно.

Рассказывалось это во время прогулки по пути к Турету. Обратный путь решено было сделать пешком. В Турете мы купили ветчины, рокфору и бутылку Camp Romain, вышли затем за город и, сев на горке над дорогой, поели. Место выбрали такое, что перед нами во все стороны был изумительный вид. Вдали голубые горы, они были в голубоватом тумане, над Ниццей тиара горы, над Вансом оливковые рощи, спускающиеся в долину. Прямо перед нами Турет, освещенный сбоку уже клонящимся солнцем, тесно слепленный в одно каменное целое, со своими маленькими окнами, общим, несколько вдавленным очертанием похожий на гондолу. Особенность и красота его в этой стройной слепленности и еще в том, что стоит он на странном месте: почва вся в каменных разливах, гладких, как отмели. Вокруг алоэ изящнейшими розетками украшают эту гондолу, наполненную домами. В то время как мы сидели и смотрели на него, раздался редкий звон — незадолго пронесли перед тем «безобразно запачканный черной краской гроб» (выражение И. А.) — кого-то клали в него.

«Сколько во мне жизни,— говорил И. А., глядя на Турет, на горы, на Ниццу.— Вот я смотрю на все это, и для меня эта Ницца — это целый оркестр! И где-то там жил мой приятель Блох на своей вилле, где он изображал Петрония, где угощал меня великолепным вином, и это мировой курорт, и все это я чувствую, и все это хотелось бы написать, и так много я в этом чувствую, что и написать пытаться бесполезно!»

*11 марта.* Вчера вечером ходили по черному пустынному городу. Вдруг в одной из нижних улиц, сбоку, в темной булочной — ярко горящая множеством длинных золотых дров печь. Мы оба остановились, в один голос воскликнув: «Ах, как хорошо!», и долго смотрели; было что-то живое, прелестное и таинственное в этом весело и деятельно горящем низком четырехугольнике в темной пустой булочной, в темном силуэте длинных хлебов на полках и в корзинах...

На обратном пути — мы только что входили в сад Монфлери, сырой, погруженный в темный туман,—заговорили об объявившейся в этот день семье родственников И. А. (письмо из Харбина с просьбой о помощи). Я сказала, что в сущности у И. А. много родственников. И вдруг он внезапным быстрым голосом сказал:

— Если ты знаешь, что Евгений или Маша умерли,— не говори мне!

Я испытала такое чувство, как будто меня ударили в грудь — незадолго перед этим пришло известие о ее смерти, которое скрыли от И. А.

Дальше, на подъеме, он говорил уже другим тоном о том, где они должны быть сейчас, рисовал улицу в Ростове-на-Дону, домик, лампочку, под которой должна сидеть сейчас Маша...

Сад был погружен в серый туман, в дым, в котором как-то страшно стояли деревья...

*2 июня.* И. А. перечел Марка Аврелия. Вечером, лежа у себя в спальне, говорил:

— Как странно, повелитель мира — Цезарь был в то время властелином мира,— сидя где-то в палатке на берегах Дуная, писал... и нам, читающим теперь, это кажется написанным в наши дни. Писал он, конечно,

для себя. У него было пониженное чувство жизни. Недаром все это так безнадежно. «Разложи танец, разложи совокупление...»— но ведь как это разложить? Если разлагать — значит уже не хочется танцевать. А если разложить совокупление — оно уже не будет совокуплением, любовью, восхищеньем... а голым актом. Но иногда и у него проскальзывало чувство радости жизни — это там, где он говорит о трещинках на хлебе, о нахмуренном челе льва, о колосьях и пене на клыках кабана. Но век тогда был требовавший пониженности чувства жизни, и, кроме того, Цезарь был слишком высоко поставлен, а это заставляло смотреть на все так... (лицо его выразило высокомерное утомление, брезгливость). Но какая простота, благородство и как это возвышает! И вот уже он разбит в одном: не всё исчезает. Слава не исчезает. Пример — он сам. И как его называли: «бог благосклонный»!..

*9 июня.* Порой я с какой-то грустью вспоминаю те времена, когда И. А. писал, все равно, была ли это «Жизнь Арсеньева» или «Краткие рассказы». В доме было какое-то полное надежд настроение. Теперь он уже давно не пишет, и все как-то плоско, безнадежно.

*15 июня.* Начинают летать светляки. Скошенная трава под оливками пахнет цветами. Мутное небо. Начинает накрапывать дождь.

«Перечел „Арсеньева". Простодушная книжонка!»— с каким-то неодобрительным смехом сказал вчера И. А. Сегодня перечла и я первые его главы. Нет, не такая уж «простодушная»...

*16 июня.* Я принесла И. А. показать только что распустившуюся, непостижимую в своем безмолвном великолепии ветвь белых лилий. Запах одной этой ветки так силен, что уже наполнил комнату. Сегодня в саду, стоя подле высоких, в чешуйчатых листьях, стеблей с уже побелевшими бутонами, И. А. говорил, что понятно, откуда вышла готика и почему столько в средневековом искусстве лилий. «Лилия — готический цветок».

*26 июня.* И. А. опять пытается писать «Арсеньева» и опять жжет написанное и отчаивается. Кроме того, у него опять припадки его болезни, и он время от времени раздражается. Но вчера вечером, хотя он и был раздражен, мне было его жаль: он похудел, лицо стало какое-то маленькое, и в глазах тоска.

*27 июня.* Давно заметила в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты XIX века, какое-нибудь плохо написанное путешествие. Вчера, застав его за перечитыванием купленного так «Дневника горничной» Мирбо, спросила, почему он предпочитает такое чтение. Он сначала шутил, потом ответил:

— Видишь ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру что-то, что попало, и начинаю читать, роюсь себе впотьмах и что-то, смутно нужное мне, ищу, пытаюсь вообразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте... а когда мне дается уже готовая талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть,— это мне мешает...

Другими словами, одна индивидуальность не хочет другой индивидуальности...

*8 сентября.* Вчера ездили с И. А. на острова. По дороге в автобусе говорили о страдании, о разных его родах у людей на разных ступенях сознания. Я вспомнила пушкинское:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!

БУНИН

Фотография. Грасс, вилла «Бельведер», 1933

С пометами: «Grasse, A. M.»; «Ив. Бунин. Villa Belvédère, 10.XI.33»

Литературный музей, Москва

И. А. сказал, что только Пушкин мог взять такое удивительное сочетание — мыслить и страдать,— и потом напомнил другое, у Фета:

Страдать! Страдают все! Страдает темный зверь,
Без упованья, без сознанья,—
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.

*29 сентября.* И. А. читал мне переводы обращенья Будды к монахам, восхищаясь высокой прелестью и общим строем этой речи. Потом попросил меня прочесть ему вслух его «Ночь отречения». Рассказал, как был в Кенди и видел в священной библиотеке пальмовые дощечки с начертанными на них круглыми знаками — буддийские книги. Показывал их ему верховный жрец, человек «с сумасшедшими, сплошь черными глазами, в желтой одежде, оставлявшей правое плечо открытым». Библиотека помещалась в подземелье, решетчатые окна которого приходились почти вро-

вень с водой рва, и так как вокруг было много зелени, в комнате был зеленоватый отблеск. Стены были очень толстые, с нарисованными на них драконами. Жрец подарил ему одну пальмовую дощечку, на которой стилетом написал тушью с золотом свое имя.

*2 октября.* После обеда разговаривали в кабинете о Будде, ученье которого И. А. читал мне перед тем. От Будды перешли к жизни вообще и к тому, нужно ли вообще жить и из каких существ состоит человек. И. А. говорил, что дивное уже в том, что человек знает, что он не знает... и что мысли эти в нем давно и что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь «на костер труда», а отдал ее дьяволу жизненного соблазна. «Если бы я сделал так — я был бы одним из тех, имя которых помнят». Но... Ананде было сказано Буддой: «Истинно, истинно говорю тебе, ты еще много раз отречешься от меня в эту ночь земных рождений...»

*3 ноября.* Вечер в Каннах. Справа на небе стоит огромная плоская декорация города и гор, вырезанная из темной, синевато-серой бумаги. В декорации этой кое-где светятся отверстия —в церковной башне, например. Над всем этим золотистое небо. Солнце уже зашло. Вода тиха, гладка, от нее веет свежестью. Слева зажглись огни вокруг залива, и вода, голубовато-стальная, подходит к светлым дворцам больших отелей. Говорим о Нобелевской премии.

И. А.: Нет, именно оттого, что мы так бедны и что эти деньги нас спасли бы, этого не может быть. Так не бывает. Валери будет совершенно естественно получить ее. Это ничего особенно не изменит в его жизни. У него и сейчас отличная дешевая, довоенная квартира, шкапы из золотистого полированного дерева, в которых множество превосходного белья... И вообще — с ним это сопрягается (писал какую-то рассудочную высокопарную ерунду), а с Мориаком, например, не сопрягается... Ну, кому придет в голову дать премию Мориаку?

Этот день был днем всех святых. В автобусе стояли в проходах — я сидела рядом с шофером. Передо мной убегала под автобус серая лента шоссе. Освещенная ярким солнцем дорога уходила под навес из платановых листьев, светящихся насквозь всеми оттенками желтого и коричневого. Очень часто останавливались. Перед каннским кладбищем на шоссе всюду продавали цветы, толпа в черном шла со снопами тубероз в руках.

И. А. был подавлен. Накануне он перечитывал написанные им первые главы продолжения «Арсеньева». Сначала он был как будто доволен ими — особенно той, где говорилось о сближении с Ликой, а потом вдруг сразу все ему разонравилось.

Я все думаю, глядя на него,— как это таинственно! Почему он не мог писать этих глав, в которых ведь все заранее ему было известно, в прошлом году, например? Почему надо было ему мучиться три года, прежде чем сесть писать то, что он уже вперед знал, потому что, по словам В. Н., все это так и было в его жизни? Да, вот загадка. Не созрело? Он сам не был готов, не смирился достаточно для того, чтобы решиться писать эту «ничтожную», как он говорит, т. е. обычную жизнь? Я смотрю на него и все думаю об этом. Вот, преодолев тяжелую преграду вступления, он очень быстро пишет страницу за страницей, отделывая и прибавляя кое-что к ней после того, как она уже перепечатана на машинке.

*22 ноября.* И. А. пишет по 3—4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует. Но разговоры по вечерам бывают исключительно интересны.

И никогда еще так ясна не становилась для меня вся его натура, как в этом его теперешнем писании и высказывании...

Сегодня во время обычного вечернего разговора я затронула тему, меня уже давно интересующую: отчего он так поздно развился и отчего вообще русская литература так долго оставалась по преимуществу образной, т. е. какой-то девственно-дикой, в то время как на Западе давно мыслили абстрактно. Я высказала мнение, что влияла, вероятно, природа и ее особенности. Он, по обыкновению, как всегда, когда подвертывается что-нибудь нетронутое, интересное, оживился и стал развивать мою мысль, говоря, что происходило это, вероятно, оттого, что русский человек был окружен зрелищем вещей огромных, широких и вечных: степей, неба. На Западе все тесно, заключено, из этого невольно рождалось стремление в себя, внутрь.

— Как странно, что, путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира,— сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!

## 1933

*11 февраля.* Вчера после завтрака осталась у И. А. в кабинете, и он мне рассказал свой сон. Он видел во сне Лику, выдуманную им, оживленную и ставшую постепенно существовать.

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует! — говорил он.— Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать, и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то былой кокетливости в одежде и испытал к ней все те чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности, у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть, итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась... А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз...

Слушая его и глядя на него, я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там... Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю как назвать еще — словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром.

*13 февраля.* Дождь второй день. Вчера сад был в пару, точно от мокрого белья.

И. А. так записался, что говорит «доктор идет» вместо «дождь идет», глядя в балконную дверь, — видно, думает о докторе, отце Лики.

*27 февраля.* Солнечное утро с крупными белыми облаками на прелестном голубом небе. Необыкновенно хороши красные палатки далеких ярмарочных балаганов внизу. После завтрака вскапывали клумбу и сажали цветы. Было потом очень приятно смотреть на кустики с красными головками из окна.

И. А. грустен и говорит, что все это скоро кончится, потому что мы совсем сядем на мель. «Все это последние месяцы! — говорил он.— Потом просто будет не на что жить. И Жозефа держать не на что и питаться придется еще меньше».

*12 марта.* Разговор Степуна с И. А. об изобразительном творчестве и «стихии мысли».

Степун: «Толстой... Толстой был изумителен, когда он писал образами, но едва он пытался мыслить — выходило наивно. Он мыслил „животом". Но вот попытался он написать отвлеченную статью „О Жизни" — получилось наивно. Потому что нельзя писать так, точно в первый раз услышал об этом, о том, о чем уже писали 10 тысяч лет назад... Он не понимал, например, что может быть „пиршество мысли". У Платона в диалогах бывает такой блеск, для которого у Толстого никогда не хватит крыльев. Он не имел этих крыльев».

И. А. утверждал, что образное мышление Толстого — это высшая мудрость. Но Степун не соглашался и говорил, что Толстой не знал даже чего-то основного, что уже было, например, у Шекспира. Ему как-то вновь или неведомо было, что «свобода есть зависимость» и что такое есть в философии свобода. И. А. говорил, что философия начинается с удивления и что у Толстого это удивление изумительно передано. Приводил то место, где Оленин в лесу чувствует себя слившимся со всем миром, говорил о том, какие бездны тут заложены... Но Степун не сдавался и утверждал, что в чем-то Толстой был скован своей нутряной силой и прикован к земле.

*13 марта.* У нас наступает бедность. Как-то само собой получилось так, что И. А. стал безработным. Сегодня говорили с ним об этом. Из «Новостей» ни слуха ни духа. Этот месяц уже очень труден, а дальше надо жить на 1700 франков четверым, отдавая на прислугу 700 фр. У И. А. такого положения, кажется, еще не было.

*18 марта.* Болезненный вид И. А. Его подавленность. Наступающая бедность.

*5 апреля.* Вчера опять говорили с И. А. о продолжении «Арсеньева». Опять мучение. Опять поиски тона, с которого надо начинать следующую книгу. Говорит, что взял чересчур высокий тон во всем предыдущем и теперь это стесняет. Все же что-то нашли в разговоре. Он рассказывал, и, видно, уже выработалось это в уме, сцену в полицейском правлении.

*13 апреля.* Перед вечером читала «Суходол» и потом долго говорила о нем с И. А. Прочла его сознательно впервые. Несомненно, вещь эта будет впоследствии одной из главноопределяющих и все творчество и духовную структуру И. А. Он сам не знает, до какой степени раскрыл в «Суходоле» «тайну Буниных» (по Мориаку).

Удивительно, как это написано. Сначала не понимаешь даже, о ком и о чем читаешь, и почти это неинтересно, а потом оказываешься вовлеченным, зараженным, живущим в этом, вместе с действующими лицами и сострадающим с ними. В русской литературе нет ничего похожего. Тут взгляд и изнутри, и вместе с тем как будто не по традиции, не по канону, точно пришедший смотрит и говорит. И никакого преувеличения, чувствуемого мною, например, в «Снах Чанга».

*19 мая.* Вчера И. А. очень хорошо говорил у Фондаминских о необходимости напряжения.

«Можно прожить так свою жизнь. Но если ты хочешь чего-нибудь повыше — напрягись, напрягайся ежедневно так, чтобы вены вздувались. Только страшным напряжением можно чего-нибудь достигнуть. Ты живешь в четверть данных тебе сил».

*28 мая.* Мой рассказ напечатан с выпуском довольно большого куска. Часть денег за него возьмут в кассу за долг, остальное надо послать в Киев бабушке, а я останусь опять надолго без ничего... Хуже всего долги. Их у меня на полторы тысячи. Думала о нашем положении писателей-эмигрантов. Вот еще один не выдержал — недавно покончил с собой Болдырев. С год назад умер от нужды Борис Буткевич. Все талантливые, упорные. Но обстоятельства оказались сильнее. Все одинокие, без быта, без семьи, издерганные событиями в критическое время молодости, все, лишенные самого необходимого и без надежды на будущее... Следующим

будет уже легче, они корнями в здешнем, а мы — ни то ни сё — на рубеже.

*3 июня.* И. А. вчера на прогулке говорил мне:

— Не знаю, сумею ли тебе объяснить... Поймешь ли ты меня. Дело в том, что с годами, а теперь особенно, я все больше начинаю чувствовать в себе какой-то... Петраркизм и Лаурность... т. е. какое-то воплощение всего прекрасного, женского, во что-то одно во мне ... что и правда подобно тому, что я писал в прошлом году о Петрарке — «Прекраснейшая солнца» ...

Мы стояли у решетки. Вдали был Грасс с цепями огней, похожий с этого удаленного бульвара на какой-то приморский город. Горы были по-летнему плотны, мягко-фиолетовым телом своим закрывали полнеба. Акации над нашими головами были неподвижны. Великая прелесть была в этом теплом сухом летнем вечере...

*11 октября.* И. А. вчера вечером рассказывал измену Арсеньева Лике в Кременчуге с некоей Марьей Васильевной, женой члена суда. За обедом—мы были одни, так как В. Н. ездила в Канны,— рассказал также вдруг свой роман в Люстдорфе с Климович, у которой был уже жених. Впрочем, дальше поцелуев дело не пошло. Вчера немного диктовал мне.

*13 октября.* ...пришел запрос И. А. из Голливуда — хотят купить у него для фильма «Господина из Сан-Франциско». Это может быть очень большое дело, но лучше не надеяться.

*15 ноября.* И. А. уехал, и мы немного опомнились, только проводив его. Я и сейчас еще в не вполне нормальном состоянии, но мне хочется записать все эти пять с половиной дней по горячим следам.

В четверг 9-го был тяжелый день: ожидание. Все были с утра подавлены, втайне нервны и тем более старались заняться каждый своим делом. Я с утра пошла в сад сажать луковицы нарциссов. И. А. сел за письменный стол, не выходил и как будто даже пристально писал (накануне он говорил мне, что под влиянием происходящего с какой-то «дерзостью отчаяния» стал писать дальше). День был нежный, с солнцем сквозь белое, почти зимнее русское небо. Я смотрела в третьем часу на широко и кротко упавший с неба свет над Эстерелем и думала о том, что на другом конце света сейчас решается судьба Бунина и судьба всех нас. И у меня было уже ненормальное состояние, и это небо, и этот день, и город внизу уже были не те, что обычно. Леонид спросил, что делать в случае, если придет телеграмма из Стокгольма (мы решили пойти днем в синема, чтобы скорее прошло время и настало какое-нибудь решение), и сам же ответил, что придет за нами.

В синема И. А. был нервен и сначала даже плохо смотрел. В зале было холодно, он мерз. Первое отделение прошло, в антракте мы вышли на улицу, он ходил в бар напротив пить коньяк, чтобы согреться. Когда началось второе отделенье, я несколько раз оглядывалась, но еще все-таки было рано тревожиться, так как было всего четыре часа. Тем более странно (странно тем, что уже мысленно вперед пережито и сбывалось), когда, оглянувшись на свет ручного фонарика, внезапно блеснувшего позади в темноте зала, я увидала у занавеса двери фигуру Леонида, указывавшего на нас билетерше. «Вот... пришел...» — сказала я И. А., мгновенно забыв его имя. Все последующее происходило как-то тихо, но тем более ошеломительно. Леонид подошел сзади в темноте, нагнулся и, целуя И. А., сказал: «Поздравляю вас... звонок из Стокгольма...» И. А. некоторое время оставался сидеть неподвижно, потом стал расспрашивать. Мы тотчас вышли, пошли спешно домой. Леонид рассказал, что в четыре часа был звонок по телефону, он подошел и разобрал: «Иван Бунин... Prix Nobel...» В. Н. так дрожала, что ничего не могла понять. Узнав, что самого Бунина нет дома, обещали позвонить через полчаса, и тут Леонид побежал за нами. Дома нас встретила красная и до крайности взволнованная В. Н., рас-

сказала, что уже опять звонили, поздравляли из стокгольмской газеты и пытались интервьюировать ее. И. А. все переспрашивал, как бы боясь ошибиться. Потом начались почти непрестанные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. За огромностью расстояния никто ничего не понимал, и говорить, и слушать, и отвечать на интервью приходилось почти исключительно мне, так как я одна могла хоть что-нибудь улавливать из гудящей трубки. Около пяти часов принесли первую телеграмму от Шассэна. «Поздравляю с Нобелевской премией. Обезумел от радости. Шассэн». Потом телеграмму от Шведской академии. Тут уж мы все поверили. Но это было только начало... Весь вечер не умолкали звонки из Парижа, Стокгольма, Ниццы и т. д. Уже все газеты знали и спешили получить интервью. В столовой сидел представитель ниццской шведской колонии капитан Брандт, приехавший поздравлять из Ниццы. За обедом мы выпили шампанского (и Жозеф с нами). И. А. был чрезвычайно нервен, на всех все время сердился, и все вообще бегали и кричали.

В десятом часу мы с И. А. вышли в город. В парке Монфлери, в темноте кто-то неинтеллигентным голосом навстречу: «Не знаете ли, где здесь вилла Бельведер?» — «Здесь».— «Я ищу Бунина, который сегодня получил премию Нобеля».— «Это я». Волшебное превращенье. Изменение тона, поклоны, представленья. Корреспондент от ниццской газеты. Но ничего не знает, говорит с грубым акцентом, спрашивает, за что дали премию... не знает даже, что Бунин писатель.

Интервью было дано тут же по дороге, он спустился с нами в Грасс. На бульваре нас поймали еще два журналиста, отыскивавшие Бельведер уже в течение двух часов и наконец обратившиеся к начальнику полиции, который был, кстати, тут же налицо (очень милый, скромный, интеллигентного вида человек). Нас повели в помещенье «Пти нисуа», принесли из кафе напитки, и тут же началось спешное интервью. Потом была сделана первая фотография, на следующее утро появившаяся в «Эклерёре» вместе с интервью, которое пришлось давать мне, так как И. А. был так взволнован, что не на все сразу мог отвечать.

Следующее утро — прекрасное, солнечное — началось со звонков, телеграмм и новых интервью. В. Н. пошла в город к парикмахеру, мы принимали всех одни. Влетели князь и Ася ⟨Кугушевы⟩ в белом, с огромным букетом белых хризантем. Их оставили завтракать. «Как весело, как интересно! Это один из самых счастливых дней моей жизни!» — восклицала Ася. Князь тоже был необычайно возбужден, оба они наперерыв засыпали интервьюера-француза сведеньями о всех присутствующих. Потом нас всех вместе снимали за столом, заставленным бутылками. И. А. на этот раз был мил, растроган, очень ласков с журналистами и фотографами.

После завтрака зачем-то поехали на автомобиле в Ниццу и устали, конечно, страшно. В городе, куда я пошла на следующий день за покупками, было очень забавно встречать разных людей и слушать то смущенные, то любопытные, то удивленные поздравления. Носильщик подошел ко мне и, величественно протянув руку, сказал с достоинством: «Je suis satisfais *». Неприятные хозяева книжного магазина Ашетта встретили с чрезмерно любезными лицами и стали просматривать и отбирать газеты, где были портреты и статьи. На улице ко мне бросилась дама из другой книжной лавки, прежде не хотевшая кланяться И. А., так как он не покупал у нее книг, стала оживленно поздравлять и спрашивать, какие книги переведены на французский, так как все теперь спрашивают книги Бунина. «Это большая честь для него и для Грасса тоже...» Фотограф сказал мне, что швед, пришедший в первый день с ним на виллу Бельведер, дал ему

* Я доволен (*франц.*).

адреса и он уже разослал все снимки, включая даже крохотный для паспорта.

Дома, когда я пришла, сидел какой-то важного вида пожилой корреспондент и мэр Грасса Рукье, накануне приславший сноп роскошных цветов, о которых И. А. с ужасом, поморщившись, сказал: «К чему эти цветы! В этом есть что-то...» (он, конечно, хотел сказать «погребальное»). На следующий день мы с В. Н. ездили в Канны, купить себе кое-что из самого необходимого, одеты мы были последнее время более чем скромно. Все это время в доме не было денег. Только в понедельник пришли три тысячи из Парижа по телеграфу. И. А. решил ехать в Париж во вторник. Мы еще долго говорили накануне в его кабинете, он с карандашом считал. Выходило, что для поездки в Швецию надо 50 тысяч. Мы слушали, слушали и все хором сказали, что он должен ехать в Стокгольм один.

Во вторник мы его провожали. Весь день он собирался, как всегда сам укладывая вещи, никому не позволяя помочь себе, крича, разговаривая по телефону, просматривая приходящие телеграммы и письма. Обед был праздничный, и за столом говорили о том, кому из писателей и сколько надо будет дать из премии, и насчитали сто с лишним тысяч... Вез нас на вокзал знакомый шофер. Приехали за 10 минут до отхода поезда. На этот раз И. А. ехал в первом классе, в спальном вагоне. Поезд ушел, мы оглянулись... и пришли в себя только через час.

*16 ноября.* Почтальон принес опять гору писем, телеграмм и газет и второй том «Жизни Арсеньева», только что вышедший в Швеции. Мы долго разбирали все это в моей комнате.

В четыре часа первый раз звонил из Парижа И. А. Доехал благополучно, его встретили на вокзале, прямо повезли в ресторан Корнилова. Был завтрак, который стоил 1000 франков, и Корнилов отказался взять деньги, сказав, что это для него честь. Остановился в отеле «Мажестик». «У меня целые апартаменты в несколько комнат, очень спокойных, и плату, сказали, будут брать как за самый маленький номер, так как для отеля это реклама, что у них остановился нобелевский лауреат... Сейчас еду в „Новости", где ждут французские интервьюеры. Позвоню еще в шесть...» Но не позвонил до половины седьмого, а нам с Леонидом пора было уже ехать на обед к Кугушевым.

*17 ноября.* Страшный дождь с грозой и градом весь день вчера и сегодня. Мы все еще не очнулись до конца. Я вообще не могу освоиться с новым положением и буквально со страхом решаюсь покупать себе самое необходимое. (Вчера, несмотря на дождь, ездили с В. Н. в Канны, и возвращение было фантастическое, с дальними огнями Грасса впереди, в темноте, за осыпанными крупными слезами окнами автобуса, и чувством, что все это кончено и наша жизнь свернула куда-то...)

Вчера до ночи рылись в бумагах И. А., в его письмах, портретах, папках, отыскивая, по его просьбе, старые условия с издателями, и было в этом что-то почти жуткое для меня — в том, что теперь можно рыться в этом, обычно так ревниво охраняемом и закрываемом на ключ от всех.

Сегодня опять был звонок от И. А. по телефону. Он сказал, что берет с собой в Швецию секретаря и что предполагает пока жить в «Мажестике». Его очень чествуют, газеты полны его портретами во всех возрастах, статьями о нем, описаниями его прибытия в Париж.

И. А. звонил опять. Говорил, что почести ему большие, но что он уже очень устал, по ночам не спит и что ему очень грустно одному. Он еще не одет для Стокгольма, но уже был портной, который будет шить ему фрак, пальто и т. д. Мы должны приехать в Париж приблизительно через неделю к большому банкету в его честь.

Его снимали уже для синема, он говорил перед микрофоном.

*3 декабря, Париж.* Проводы. Train bleu *. Десять часов вечера. Толпа на вокзале.

Вечером после обеда в вагоне-ресторане стояла в коридоре и смотрела в окно. Ночь, незнакомая страна, уже Бельгия, лунная ночь, блеск реки под какими-то остроконечными черными сопками. Вагон швыряло, я стояла, смотрела, все думала... Кажется, впервые за этот месяц на несколько минут осталась одна. Все еще не понимала до конца, что заколдованный круг нашей жизни распался, что мы уехали из Грасса и едем в Швецию, в которой никогда не предполагали быть.

Ночь. Не сплю. Стояла в коридоре с И. А., смотрела в окно. Наш вагон теперь стал последним. Белизна снега, пути, высокие мрачные деревья, совсем иного вида, чем на юге. Потом — огни, заводы, вышки, и все это живет странной зловещей жизнью, что-то пылает, что-то как будто льют. Германия работает даже ночью. Около часу переехали германскую границу. Трое немцев осматривали, смотрели, какие у нас газеты, но, узнав, что И. А.— Nobelpreisträger **, поклонились и ушли. И. А. потребовал у проводника бутылку рислинга, пили у него в купе, он был весел, говорил, что так всегда путешествовал прежде.

*6 декабря, Стокгольм.* Утро началось неприветливо, серо, с темноты и огней в еловых лесах. На последней станции перед Стокгольмом вскочил молоденький журналист, ехал с нами до Стокгольма, расспрашивал и записывал с чрезмерной молодой серьезностью, стараясь сохранить свое достоинство. На вокзале в Стокгольме встретила уже толпа, русская и шведская. Какой-то русский произнес речь, поднес «хлеб-соль» на серебряном блюде с вышитым полотенцем, которое кто-то тотчас же ловко подхватил. Несколько раз снимали, вспыхивал магний, а вокруг было еще как будто темно... Вышли из вокзала, у входа ждал аппарат синема, потом повезли по снежным улицам. Первое впечатление от Стокгольма очень приятное: набережная, вода, дворцы, чуть прибеленная снегом земля. Не холодно. Во всем есть полузабытое, русское, родное. Дом Нобеля глядит на канал и на тяжкую громаду дворца за ним. Квартира великолепная, картины, кресла, столы из красного дерева и всюду цветы. Нам отведен отдельный апартамент: три комнаты с ванной. Служит специально выписанная для этого из Финляндии русская горничная, молоденькая, смышленая-любопытная.

Перед закатом прошлись с хозяином дома, Олейниковым, по главной улице. Уже зажглись огни — здесь чуть не в три часа темнеет,— было холодней, чем утром. После залитого светом Парижа Стокгольм кажется темным, несмотря на обилие фонарей. Зато канал, в фонаре нашей комнаты, переливающийся огнями, все время напоминает Петербург. Завтра здесь предполагается первый большой обед на сорок человек, на котором будет присутствовать вся семья Нобелей. Днем опять была интервьюерша, молодая, серьезная, скромно, но хорошо одетая. Здесь вообще приятна молодежь, она серьезна на вид, но воистину молода. Во Франции в сущности молодежь не молода. Чересчур древняя раса для молодости.

В газетах уже появились сделанные утром на вокзале снимки. Бледные расплывшиеся лица и «хлеб-соль» с длинным белым полотенцем, о котором расспрашивают все интервьюеры и потом записывают: «древний русский обычай»... Пишу за столом самого Нобеля. Передо мной его портрет и его круглая хрустальная чернильница.

*10 декабря.* День раздачи премий. Утром И. А. возили возлагать венок на могилу Нобеля. В газетах портреты нас всех на чае в русской колонии — было человек 150. Говорили речи, пели, снимали. Здешние русские говорят плохо по-русски и вообще очень ошведились.

---

* Голубой экспресс (*франц.*).

** Нобелевский лауреат (*нем.*).

БУНИН

Фотография. Стокгольм, 16 декабря 1933 г.

С автографом: «Ив. Бунин, 16.XII.33»

Литературный музей, Москва

*11 декабря.* Самая важная церемония — раздачи премий, слава богу, окончилась. В момент выхода на эстраду И. А. был страшно бледен, у него был какой-то трагически-торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его пепельно бледное лицо, наряду с тремя молодыми (им по 30—35 лет) прочих лауреатов, обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко, с подчеркнутым достоинством, поклонился.

Церемония выхода короля с семьей (до выхода на подиум лауреатов) была очень торжественная, совершалась под какую-то легкую музыку, спрятанную где-то за потолком. Зал был убран только шведскими, желтыми с голубым, флагами, что было сделано из-за Бунина, у которого нет флага. Когда герольды с подиума возвестили трубными звуками о выходе лауреатов, весь зал, и с ним король с семьей, встал. Это, кажется, единственный случай в мире, когда король перед кем-нибудь встает.

Первые, физик и химик, получали премию весело, просто. За третьего, отсутствующего, получил премию посол. Когда настала очередь Бунина, он встал и пошел со своего места медленно, торжественно, как на сцене. Его сняли во время передачи ему медали и портфеля, и сегодня во всех газетах прекрасная большая фотография этого момента.

Вечером был банкет в большом зале Гранд-Отеля, где посредине бил фонтан. Зал в старошведском стиле, убранный теми же желто-голубыми флагами. Посреди главный стол, за которым, среди членов королевской семьи, сидели лауреаты. (Голова В. Н. между двух канделябров, с тяжелым черно-блестящим ожерельем на шее, в центре стола.)

Сидеть за столом во время банкета было довольно мучительно. Я сидела за столом, ближайшим к главному, по бокам были важные незнакомые лица, кроме того, я волновалась за И. А. — ему предстояло в этом огромном чопорном зале, перед двором, говорить речь на чужом языке. Я несколько раз оглядывалась на него. Он сидел с принцессой Ингрид, большой, красивой, в голубом с собольей оторочкой платье.

Речи начались очень скоро. И. А. говорил, однако, очень поздно, после того как принесли десерт (очень красивая церемония: вереница лакеев шла, высоко неся серебряные блюда, на которых в глыбах льда лежало что-то нежное и тяжелое, окруженное розово-паутинным, блестящим, сквозившим в свете канделябров). Я волновалась за него, но когда он взошел на кафедру и начал говорить перед радиоприемником, сразу успокоилась. Он говорил отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознаньем собственного достоинства и временами с какой-то упорной горечью. Говорили, что благодаря плохой акустике, радиоприемнику и непривычке шведов к французскому языку, речь его была плохо слышна в зале, но внешнее впечатление было прекрасное. Слово «exilé» * вызвало некоторый трепет, но все обошлось благополучно.

*18 декабря.* В салоне парома, перевозящего нас на германский берег. Опять тихо, серо, подрагиванье машины под ногами и во всем теле. Ходила по спардэку. Свежесть воздуха, чайки. Ночь была довольно неприятна, как часто, впрочем, ночи в поезде, и сквозь сон долетали те странные, тройные стеклянные звуки, которые сквозь снежную ночь доносились до меня в последний переезд перед Стокгольмом. Мне тогда казалось, что это какие-то предупреждающие сигналы. Как меня волновала тогда новая страна, которую я должна увидеть. Увы! Я видела ее из окна автомобиля и никак не успела насладиться ею, потому что насладиться — значит ходить, смотреть, слушать, чувствовать глубоко и полно, а когда же было делать все это? Обеды, обеды, парадные чаи, завтраки, чопорность, напряжение целые дни...

Вчера Шассэн показывал нам город: в двух автомобилях мы объездили лучшие кварталы Стокгольма и местный Булонский лес. Там лежал настоящий снег. На фьордах катались на коньках, небо среди елей, дубов и берез было изумительной нежности, жидкой тонкой голубизны. Дома из чешуек местного стиля, темные, темно-красные, некоторые с колоннами, похожие на русские. Как бы хотелось почувствовать все это полнее, пожить среди этого!

Завтракали в старом подземном кабачке в старом городе, в «Золотом мире». Свечи на окнах, елка в конце длинной узкой залы, березовые стволы, стоймя горящие в камине. Служили женщины в сливочно-розовых наколках на голове. В этом кабачке когда-то бывал шведский поэт Бельман...

## 1934

*19 февраля, Грасс.* Собственно, я до сих пор еще не успела осмыслить все происшедшее за эти три месяца. Так, время от времени, всплывает какое-нибудь лицо, ни разу за все время не вспомнившееся, место, атмосфера какой-нибудь минуты. Говорили обо всем этом мы, к моему удивле-

* изгнанник (*франц.*).

нию, мало даже с И. А., хотя ему, видимо, настолько же приятно вспоминать все, что было, насколько он неприятно переживал это. Поехавши недавно в Ниццу, он взял такси и заехал в отель «Англетер»—расписаться у «своего старика», как он называет теперь шведского короля. Но, видно, он мало насладился своей короткой славой в Швеции, да и действительно прошло все потрясающе быстро, так что кажется, будто снилось. И это тем более, что живем мы по-прежнему и разговоры о том, что денег мало и надо экономить, ведутся в доме по-прежнему.

Когда я теперь оглядываюсь назад и вспоминаю эти три месяца, я вижу, что И. А., в сущности, получал премию один, как-то мгновенно отделившись внутренне, как только получилось подтверждение телеграммой неразборчивых телефонных голосов из Стокгольма. Он тогда под каким-то предлогом ушел из дома, пошел к собору, долго ходил по саду Монфлери и, по собственному выражению, как-то «строго» отнесся к происшедшему. От этого он сразу и стал так «строг» и с нами, хотя на душе у него было, как он говорил, светло и радостно.

Но, уехав в Париж, он на этом светлом не удержался. Его повезли чуть не с вокзала завтракать встречавшие в один из самых дорогих русских ресторанов, и потом около двух недель длился кавардак. Когда мы приехали, он был вне себя, ничего ясно не сознавал, на все отзывался неправильно. В пути ненадолго пришел в себя — напомнил мне себя прежнего, когда мы с ним, стоя на задней площадке Норд-экспресса, смотрели на снег убегающих назад путей и говорили о том, что было, и о том, что будет. В Гамбурге он целый день пролежал в постели, отлеживал парижскую усталость. В Стокгольме вел себя как enfant terrible * все время, кроме часов на людях, на банкетах и в гостиных, где был очарователен и неотразим, по всеобщему мнению. Дома же болел, и мы все возились с ним, и Олейников (обладающий, впрочем, трудным характером) не раз поднимал глаза и руки к небу...

Пришел он в себя, в сущности, только здесь, и опять стало в нем проявляться то, что я люблю в нем,— все же эти быстрые, как сон, три месяца его славы он отсутствовал. Но много, вообще, произошло за эти три месяца...

* несносный ребенок (*франц.*).

Т. Д. МУРАВЬЕВА-ЛОГИНОВА

# ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

## ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. И В. Н. БУНИНЫХ

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логинова — художница. Происходит из рода Карамзиных (ее прапрадед был родным братом Н. М. Карамзина). Уехала учиться во Францию в 1920 г. Работала у Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и у мастеров Парижской школы (École de Paris). Свои картины подписывает: «Loguine».

Воспоминания о Буниных написаны для «Литературного наследства» в 1968 г. Рисунки, которыми они иллюстрированы, выполнены Т. Д. Муравьевой-Логиновой в 1930-х — начале 1940-х гг. Впоследствии все они погибли и были восстановлены ею в 1968 г. для настоящего тома (из двенадцати рисунков, составляющих серию иллюстраций к «Живому прошлому», ниже публикуются восемь). Подлинники рисунков по желанию автора переданы в Государственный музей И. С. Тургенева в Орле. Туда же автор предполагает передать письма И. А. и В. Н. Буниных, книги с дарственными надписями писателя, фотографии и другие бунинские документы из своего собрания.

## I

## НАЧАЛО ДРУЖБЫ

## 1933—1939

### В ПАРИЖЕ. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Увидела я впервые Ивана Алексеевича на новогоднем балу писателей в одном из больших парижских отелей. Шумно, весело встречали 1933 год!

Иван Алексеевич, очень моложавый, в смокинге, в белоснежной манишке, сидел за столом. Его окружали почитательницы — дамы в бальных нарядах. У него просили автографов. Только что выиграв в книжной лотерее книгу стихов Бунина, я расхрабрилась и тоже подошла к знаменитому писателю. Даже не взглянув на меня, он быстро подписал —«Ив. Бунин, 1.I. — 1933» — и взял следующую книгу.

Сейчас этот том: «Избранные стихи» (Париж, 1929) — передо мной на столе, а в памяти тот блестящий вечер.

С заглавного «Петуха на церковном кресте» —

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века—
Вот как река, как облака...[1]—

и со стихов 1900 года началось мое знакомство с Буниным-поэтом. Меня поразили эти стихи-картины! Резко красочные, яркие или нежные, пастельные картины сменялись, подчиняясь внутреннему ритму-напеву.

В ноябре 1935 года произошла настоящая встреча. Я вошла в помещение, где происходила выставка русских книг, для которой я делала плакаты. Было светло, оживленно, много народу. Писатели, студенческая молодежь, публика толпилась около разложенных книг.

Меня попросили сделать еще один плакат. Примостившись в углу, я стала старательно выводить черной тушью буквы EXPO...

— А что вы тут пишете? — раздался надо мной голос.

Я оглянулась: Бунин. Улыбающийся, насмешливый... Я смутилась.

— Да вот, плакат добавочный просили сделать,— и я, продолжая чертить буквы, пропустила TI — EXPOSION...

— Ха, ха, ха,— засмеялся Иван Алексеевич.— Вот так написала!

— Это вы меня смутили...

Досадно было ужасно — плакат испорчен — не знаю, как я из этой беды выкрутилась.

Бунин, не отходя, уже забрасывал меня вопросами:

— Да вы откуда? Где живете? С папой и мамой? Что делаете? Где родились? Когда приехали?

Вопросы сыпались. Это меня окончательно раздосадовало. Очень не люблю, когда начинается допрос...

— Не буду отвечать, что за вопросы,— сказала я твердо.

— Ах вот как! С характером, значит... Так вы, значит, художница... А я поэт, писатель. Ну что же, давайте встретимся, поговорим.

Я была очень польщена... свидание с Буниным.

— Хорошо, давайте встретимся, но когда и где?

Бунин второпях вырвал розовый билетик из книжки билетов метро I класса и что-то написал.

— Вот мой телефон — позвоните, непременно позвоните. Я буду ждать.

У меня сохранился этот билет и номер телефона — Aut. 17—88.

— Вот так встреча,— думала я, возвращаясь домой в Пасси,— какое неожиданное знакомство с Буниным.

Дня через два я не выдержала и позвонила — женский голос, немного трескучий, ответил: «Ивана Алексеевича?! — Ян — тебя». — «Это его жена», подумала я, стало неловко, забилось сердце — я чуть не повесила трубку. Но Иван Алексеевич был уже у телефона:— «Вы это? Очень, очень рад. Когда же? В Café de la Muette, завтра в 5 часов... Только не опоздайте!»

## КАФЕ ДЕ ЛЯ МЮЕТТ

Мы сидим за столиком.

— Вы думаете, что я лет этак на 1000 старше вас? Милая художница, что бы я дал, чтобы быть в вашем возрасте. Чтобы все впечатления опять были новы, свежи,— чтобы впереди раскрывались необозримые дали... все впереди! Ах, люблю я простор жизни. Жизнь люблю — люблю любовь. Как люблю! А смерть ненавижу — ни за что ей не дамся — не посмеет меня взять — подавится мной!

Иван Алексеевич смотрит на меня пристально и, как мне кажется, насмешливо. Смущаясь, я стараюсь перевести разговор на живопись; спрашиваю, каких мастеров французской школы он предпочитает. Но ему нужен только внимательный слушатель, подающий реплики. Редко кто умеет говорить так сочно, так по-русски!

Я начинаю с увлечением следить за тончайшими интонациями его голоса: певучий бас переходит в средние, а иногда и в высокие ноты.

— Мне кажется, что я живу действительно тысячу лет ... и не одну тысячу... Чувствую в себе всех своих предков. Бурлят, шумят они во мне— и дальше чувствую далекую глубь веков. Все корни мои, ушедшие в русскую почву, до малейшего корешка чувствую.

Говорил он так просто и откровенно, что мне не верилось, что рядом со мной — Бунин. Мне хотелось спросить его, как он пишет, что переживает в момент творчества, и наконец я отважилась:

— Может ли русский писатель жить и писать вне России?

— Да, иные не могут — если нет глубочайшей и ничем не рушимой связи с прошлым, кровной связи с Русью. А иные могут.

Иван Алексеевич вздохнул и глубоко затянулся папиросой. Курил он беспрерывно (окурками были наполнены и пепельница, и блюдечко), прихлебывая из стакана, чтобы согреться, горячий грог — ром с лимоном. Была холодная осень, на площади Ля Мюетт крутились по ветру сорванные с платанов листья...

— Я пишу по утрам. Все мои — да и вы наверно — упиваетесь утренним кофе, хрустите круассанами,— а я не могу этого. Ничего не ем, пока пишу до завтрака. Не могу оторваться,—а если пью, то только спиртное— горло промочить.— Кашлял он постоянно.

— Да, чувствую в себе всех предков своих... и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем», со «зверями» — и нюх у меня, и глаза, и слух— на все — не просто человеческий, а нутряной — «звериный». Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь. Все проявления ее — связан я с ней, с природой, с землей, со всем, что в ней, под ней, над ней. И смерти я не дамся ни за что. Боюсь я ее — ох, как боюсь. Ну а теперь, идите с богом домой, милая художница. Вас ждут наверно.

Спохватившись, я посмотрела на часы: два часа прошли незаметно. Этот первый разговор — беседу Бунина я хорошо запомнила.

## ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Так начались наши встречи. В ту осень Бунин звонил и звал посидеть в кафе. В нашем Пасси был художественный подвал — чайная, где висели и мои картины.

— Хочу вам показать — может, вам придутся не по вкусу мои картины?..

Но И. А. одобрил и чайную, и картины: «Уютный подвальчик»,— и, придя в хорошее настроение, много говорил, за всегдашней рюмкой, о поэзии и замечательно читал свои стихи.

— Я поэт, и больше поэт, чем писатель, я главным образом поэт.

Я думаю, что этим он хотел сказать, что поэзия и художество составляют главную основу его творчества, и стихи и проза его — картины.

Мы ездили также на Елисейские поля в кинематограф.

— Редко бывают хорошие фильмы, а посредственные очень утомляют! — говорил И. А.

Как-то позвал ужинать с ним в скандинавский ресторан — есть «медведя» — так я в шутку назвала оленьи отбивные котлеты:

— Не могу этого вашего скандинавского медведя есть — в горло не идет!

— Как вкусно! — возразил он.— Я в Швеции научился есть и «медведя»!

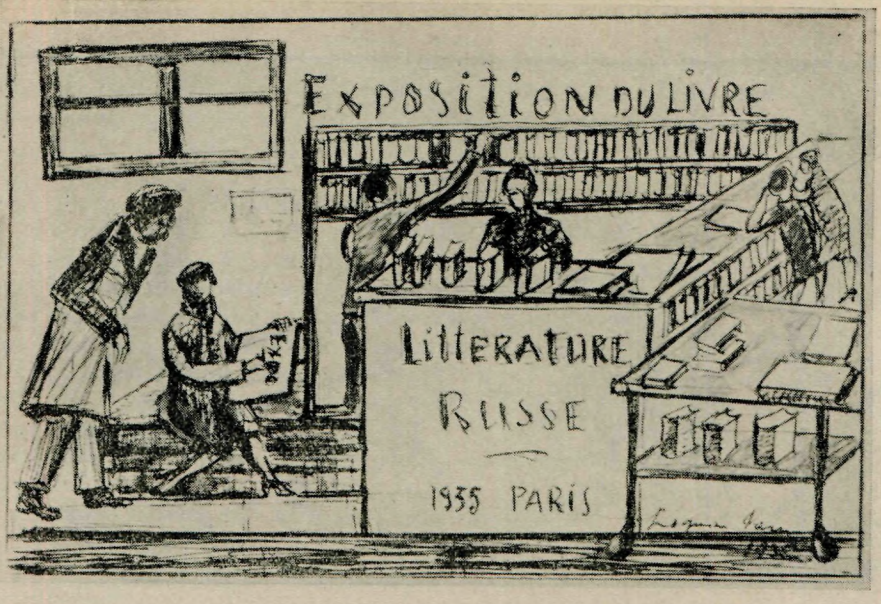
Темный, еле освещенный фешенебельный ресторан, скамьи с вышитыми подушками, оленьи рога, шкуры зверей... Вдруг очутились в Стокгольме!

— Не правда ли, воспоминания о том, как вас принимали в Швеции, как чествовали нобелевского лауреата, — ваши лучшие воспоминания?

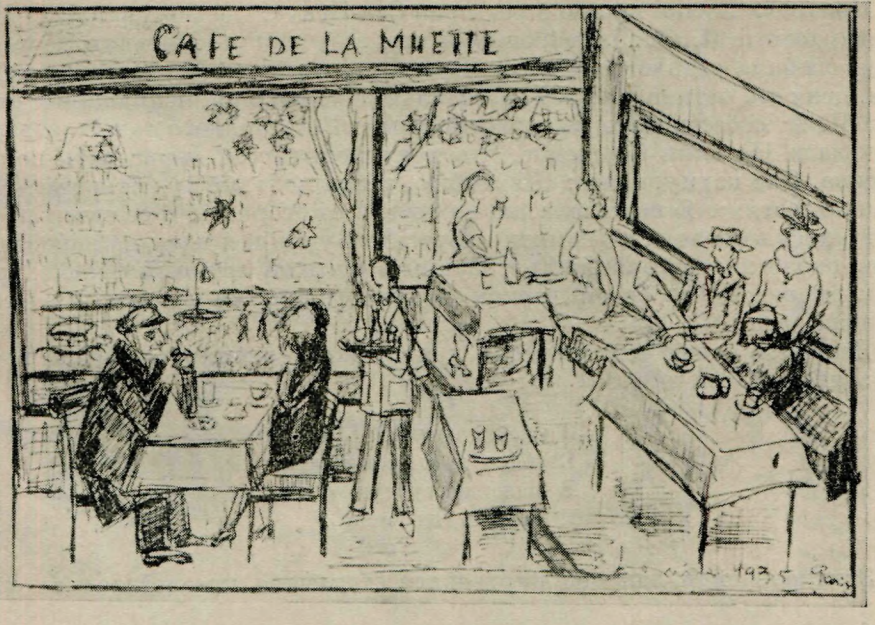
Но И. А. не был честолюбив — и не любил об этом со мной говорить.

«Медведь», крепкий напиток— «не в коня корм»; я совсем не оценила шведские яства. Хотелось скорее на свежий воздух. Иван Алексеевич досадовал:

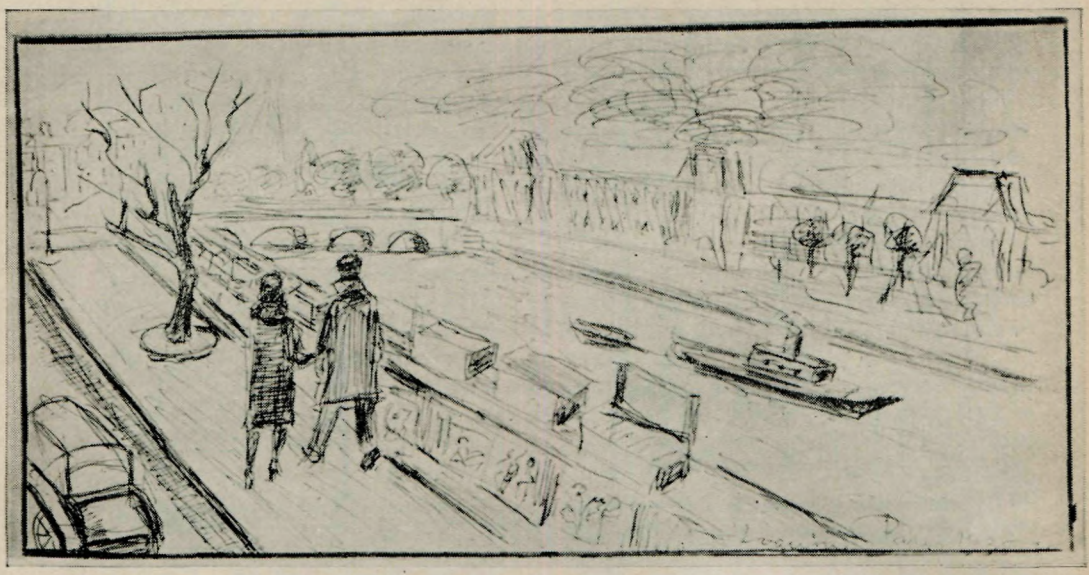
— С вами каши не сваришь.




ВСТРЕЧА НА ВЫСТАВКЕ РУССКОЙ КНИГИ В ПАРИЖЕ
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел




В КАФЕ ДЕ ЛЯ МЮЕТТ
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел



НА НАБЕРЕЖНОЙ СЕНЫ
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел

Приходил Бунин иногда в ресторан Сен-Бенуа, где завтракали с Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым и мы, ее ученицы. Наталия Сергеевна очень любила редкие появления Бунина, с увлечением разговаривала с ним, ценя его меткие реплики, язвительные замечания, искрящийся юмор. Был И. А. собеседником исключительным. После одного такого завтрака я сказала Наталии Сергеевне, что хочу попытаться нарисовать портрет Бунина. Она нахмурилась: «Не люблю, когда молодые художницы лезут к знаменитостям». Я пожалела, но не хотела ее огорчать, и сеансы так и не состоялись. Сделала по памяти наброски: Бунин и я идем по набережной Сены около лотков букинистов: Бунин в русской меховой шапке, руки в карманах; я в своем черном пальто; клубятся облака,— мосты,— Париж!

Делала я также иллюстрации к его стихотворениям. Особенно нравилось мне, как он читал «Сон»:

И мчатся олени,
Глубоко и жарко дыша,
В далекие тундры спеша,
И мчатся их тени...[2]

Этих оленей я наконец нарисовала, так меня преследовал их ритм.

Однажды в ресторанчике испанском, который разрисовала испанками Н. С. Гончарова, устроили банкет в честь Бунина. Были и мы, ученицы Гончаровой. Тут познакомил меня И. А. с Верой Николаевной. Мы разговорились о живописи, о Гончаровой.

— Я Наташу давно знаю — учились вместе в гимназии Стоюниной в Москве — до старших классов. Только Наташа была старше и окончила раньше меня ... Прелестный человек она.

После банкета Наталия Сергеевна сказала мне:

— Если бы вы знали, Таня, какая Вера Бунина была красавица. Мраморное лицо, выточенное, огромные синие глаза. Нельзя было мимо пройти, не залюбовавшись. Первая красавица во всей гимназии...

## НОВОГОДНИЙ БАЛ ПИСАТЕЛЕЙ

Опять Новый год, опять бал.

Вера Николаевна занята продажей в буфете. Я танцую с двумя кавалерами. В перерыве Бунин подсаживается к моему столику:

— Удивительных кретинов вы нашли.

— Не все ли равно с кем танцевать?

— Да они и танцевать-то не умеют, особенно этот ваш долговязый, с лошадиной челюстью.

Мысленно соглашаюсь с ним. И. А. особенно блестящ в этот вечер... И вдруг:

— Давайте бежим. Бежим из Парижа!

— Как бежим? Куда?

— Ну в горы, в снега ...

Я смеюсь:

— Ну хорошо, бежим. А дальше что?

— Луна сияет. Вечером сидим у камина.

— Вы мне читаете стихи,— добавляю я,— чудно. На другой день опять снег, стихи. А вдруг заскучаем?

— Вы сами снежная... С вами каши не сваришь. Ведь не убежите?

ОЛЕНИ (СТИХОТВОРЕНИЕ «СОН»)

Рисунок Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

— Нет, не убегу,— сознаюсь я, а в душе жалею, что не способна на авантюры, и сразу думаю: Вера Николаевна Бунина продает внизу пирожки — какое тут бегство!

В тот вечер никак не могу уйти с бала. Уже брезжит утро. Наконец все двигаются к выходу. «Ведь вас довезут кретины»,—говорит Бунин, целуя мою руку. Мы выходим последними.

После этого бала мы стали чаще встречаться.

Вечером, проводив меня до угла нашей улицы или до подъезда дома, И. А. задерживался. Тогда, чтобы не прерывать разговора, я шла с ним к его дому вниз по Моцартовскому авеню. Говорили о молодых литераторах, поэтах. Некоторых он яростно критиковал, к другим относился более чем снисходительно, веря в их талант. Рассказывал, как трудно было ему в молодости. Думаю, что по характеру своему Бунин не мог быть объективным.

Часто говорили мы о Париже.

— Любите ли вы Париж?— спрашивала я.

— Люблю, очень люблю, и не только потому, что это прекрасный город и памятник культуры. Сила Парижа в том, что он не накладывает на вас руку. Годами люди живут в Париже и отнюдь не становятся «парижанами», а остаются тем, чем были раньше. Сила Парижа в том, что он приемлет и чтит каждого.

— Да. Сколько писателей, мыслителей жили и творили в Париже! Для всех он вторая родина.

— О нет! Не родина, а только дом! И как значительно это слово «дом». В Париже люди обосновываются надолго потому, что это город-«светоч», он каждого освещает; каждый может найти тот «свет», который ищет. Потому-то элита всех стран и народов прошла через Париж. Здесь взвешивается все на общечеловеческих весах. А как хорошо дышать весной в Париже, когда распускаются почки каштанов, дышать этим издалека веющим ветром свободы и простора.

— Ну, а я просто обожаю Париж весной! Напротив нас в саду соловьи поют так, что забываешь, что это французский город!

— Этого не советую забывать. Стоит только посмотреть на здание Лувра, на площадь Бастилии и вспомнить историю!

Наконец мы прощались. Отогнув мою перчатку, целуя руку, Бунин уславливался о новой встрече. Если что ему мешало, то посылал мне пневматик. Вот одна из таких записок, отправленная 29 января 1936 г.:

Дорогая моя, увы, не могу завтра с вами увидеться! Позвоню в четверг или в пятницу. Ив. Б. Вторник.

Приближалась Пасха. Как-то, провожая меня домой в такси, Бунин поцеловал меня в щеку. «Вы моя последняя радость!»

Я поражена. Ужель? Ужель его радость? Да еще последняя?!

## ОТЪЕЗД БУНИНА В ГРАСС. ДАЧА «БЕЛЬВЕДЕР»

После Пасхи Бунин заболел гриппом, потом уехал в Грасс. Я скучала. Случайно через знакомых узнала, что в одном имении около Грасса сдается на лето домик. В конце июня я написала Ивану Алексеевичу, что приеду в Грасс. Он ответил, что не советует:

Милая Татьяна Дмитриевна, спасибо за билеты — только я уже в Грассе, давно уехал из Парижа. Жалею, что там не повидались — тогда я рассказал бы вам подробно, что такое Грасс и сколь он не годится вам на лето: жарко, скучно,— пустыня! — жить дорого, до моря далеко, русских, кроме нас, ни души, да и мы — будем ли мы этим летом в Грассе? Обстоятельства таковы, что навряд. Если уж хотите в наши мес-

та, то надо куда-нибудь под Cannes — La Napoule, например. Местечко скромное, но возле моря.

Думаю, что на днях буду опять в Париже. Тогда позвоню вам и поговорим обо всем этом как следует.

Так что, может быть, до скорого свидания. Ив. Бунин.

Но меня тянуло именно туда. На другой день по приезде отправилась разыскивать дачу «Бельведер». В. Н. встретила меня мило и радушно. Сидели под пальмой на террасе, пили чай в прохладной и пустоватой столовой. Меблировка была более чем простая: большой стол, покрытый клеенкой, вокруг стулья. Немного продавленный диван, столик с журналами. Оставили меня ужинать.

Чувствовала я себя настолько смущенной,— первый раз в гостях у Буниных,— что даже не смогла оценить по достоинству кулинарию их повара Жозефа: суп и помидоры по-провансальски, любимое блюдо И. А.

Расспрашивали меня про Париж, про Гончарову, Ларионова, общих знакомых. Бунин оживился. В Грассе он скучал.

— Я вам писал, что Грасс — «пустыня». Теперь сами увидите. Давайте поедем завтра к морю. Ведь вы купаетесь?

Провожая меня в такси до моего предместья Сен-Жак, он все жалуется на скуку и одиночество.

## ПЛЯЖ В КАННАХ

Чудесный день. Море светло-голубовато-серое, едва-едва колышется. Пляж усыпан купающимися. Едем в автобусе, и на лице Бунина интерес и восхищение:

— Смотрите, смотрите, как он это ловко! Какой артист!

— Не вижу, право, какой артист, где?

— Да не видите разве? Шофер наш. Виртуоз! Руль у него в руках так и ходит. Вправо, влево, стоп — прямо играет. И нас, сорок человек, трясет по мановению его руки.

Идем на общий пляж. Бунин элегантный, весь в белом. Снимает с выхоленных ног парусиновые туфли, носки и садится на песок.

— Я давно не купаюсь, но люблю полежать на горячем песке.

Я окунулась, проплыла немного и быстро назад — холодно в первый раз.

— Ну что же это за купанье? Меня бывало из воды не вытащить. Моя стихия — солнце, пена, брызги соленые. Да что это за море сегодня. Оно слишком неподвижно!

...Идем по набережной Круазет. Среди пальм масса гуляющих. Много иностранцев.

— Вот сфотографировал,— смеется И. А.,— вон ту, что впереди. У меня ведь не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик и готово. Навсегда запечатлел. А вот та, что вихляет бедрами, в коротких штанишках, и тот, с ослиными ушами,— не видели? Мимо прошли. А еще художница!

Потом долго сидим в кафе в ожидании автобуса. Бунин пьет коньяк— у него и фляжка всегда с собой, с крышкой-стаканчиком. Для подкрепления в дороге. Угощать он любит.

— Да съешьте еще что-нибудь. Бутерброд посолиднее. Ведь вы купались. Один бисквитик. О линии вам заботиться нечего.

Во время поездки говорит о море, о жизни в Одессе, в Ялте. Вспоминает свою первую жену — я будто чем-то ее напоминаю.

## СЕН - ЖАК

В июле И. А. согласился приехать к нам в Сен-Жак посмотреть мои картины в новоустроенном ателье. Нам оставили на хранение ковры, и я их развесила по стенам, а на цементном полу расставила ящики — это были столы и стулья. Получилось недурно.

Бунин приехал в такси. Белоснежный летний костюм — подтянутый, знатный иностранец. Такси остался ждать у ворот. Я, волнуясь, угощаю гостя аперитивом, показываю летние наброски.

— Хорошо. Это наброски, а где же картины? Очень свободно сделано, широкими мазками, с темпераментом. Я всегда советую молодым писателям не поддаваться одному вдохновенью. Нельзя творить, как птица поет. Надо строить. Если дом строить — нужен план, и каждый кирпич к кирпичу подогнать и скрепить. Работать надо! В большой талантливости, в блеске — опасность. Слишком легко вам все дается!

— Передать душу Прованса красками на бумаге не так-то легко,— отвечаю я.

Мне очень хотелось, чтобы И. А. взял на память пейзаж, который ему очень понравился —серо-голубые горы сквозь серебро оливковых деревьев. Но он улыбнулся своей тончайшей улыбкой и взять подарок отказался...

В июле я сделала набросок дачи «Бельведер» — с громадной пальмой и оливковым деревом, стерегущими зеленую калитку,— вход на террасу. Вид оттуда был чудесный.

Скоро к Буниным приехали гости — Борис Зайцев с женой, подругой юности Веры Николаевны. Помню одну прогулку с Зайцевыми вдоль канала Сиань на высотах Грасса. Бунин, Зайцев и Зуров — шли впереди, дамы сзади. Вера Зайцева без устали говорила. Потом В. Н. сказала:

— У Веры больше таланта и блеска, чем у Бориса.

Бывали у Буниных писатели, проводившие лето в Ницце. Стало шумно, многолюдно, в столовой не хватало стульев. Я стала реже бывать у Буниных.

В имение Сен-Жак тоже приехало много молодежи на летние каникулы. Устраивали прогулки, вечеринки под оливковыми деревьями. В моей жизни неожиданно произошло большое событие — я стала невестой. Вышла я замуж летом 1937 года. В этот год я мало видела Ивана Алексеевича. Вот одно из его писем этого времени:

1.IX.37

Моя дорогая художница, я был в Югославии и в Италии, теперь держу путь домой. Вероятно, уеду завтра (утром или вечером), жалко, что вас не повидал. В. Н. прислала нынче письмо, вспоминает, что вы хотели купить кое-что из нашего имущества, оставшегося на Belvédère'е, и говорит, что если вы еще не оставили этой мысли, то вам надо обратиться к Жозефу (Villa «Vieux Logis» *над* «Бельведером») *в праздник*, ибо он теперь работает на фабрике.

Целую вас,— с позволения вашего супруга,— и желаю всех благ. Ив. Бунин

В 1938 году мы проводили лето в маленьком домике, снятом в Сен-Жаке. Были раз или два у Буниных, пригласили их к нам в деревню на пикник. Развели огонь из шишек среди камней. В прованском масле кипел тонко нарезанный картофель — любимые «фрит» Ивана Алексеевича. Жарили на углях барашка. Гости не шли. Наконец на склоне горы показался И. А., один.

— А где же дамы? — мы ждали Веру Николаевну и других дам.

Оказалось, что по нездоровью они прийти не могут. И. А. был не в духе. Мы всячески старались его развлечь, угощали едой, муж подливал вино. Под конец обеда он улыбнулся:

— Я не понимаю, какое удовольствие звать гостей, работать целый день, хлопотать, делать закупки, а потом в один миг все исчезает — и хозяева объявляют, что очень счастливы...

После обеда муж сфотографировал И. А. со мной на дорожке около дома. Это единственная фотография, которая сохранилась.

Показывали Бунину имение, террасы, заросшие травой и репейником. Цикады пели без умолку, кузнечики стаями разлетались в стороны.

— А все же вы богатые люди, миллионеры.

— Каким образом? — удивилась я.

— Как же, как же, ведь у вас миллионы и миллиарды этих кузнечиков! — засмеялся Бунин.

На деле же у нас ничего не было, кроме молодости и надежды на будущее.

Моя дружба с И. А. продолжалась, но началась и большая дружба с Верой Николаевной, и эта дружба длилась до ее смерти.

Позднее, когда Бунины покинули «Бельведер», я приходила несколько раз посидеть у покинутого, запертого дома. Могучая пальма, казалось мне, «воплощала» самого Бунина, а оливковое дерево — Веру Николаевну.

## II
## ГОДЫ ВОЙНЫ
## 1939—1945

### ВИЛЛА ЖАННЕТ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

В сентябре 1939 года неожиданно началась война.

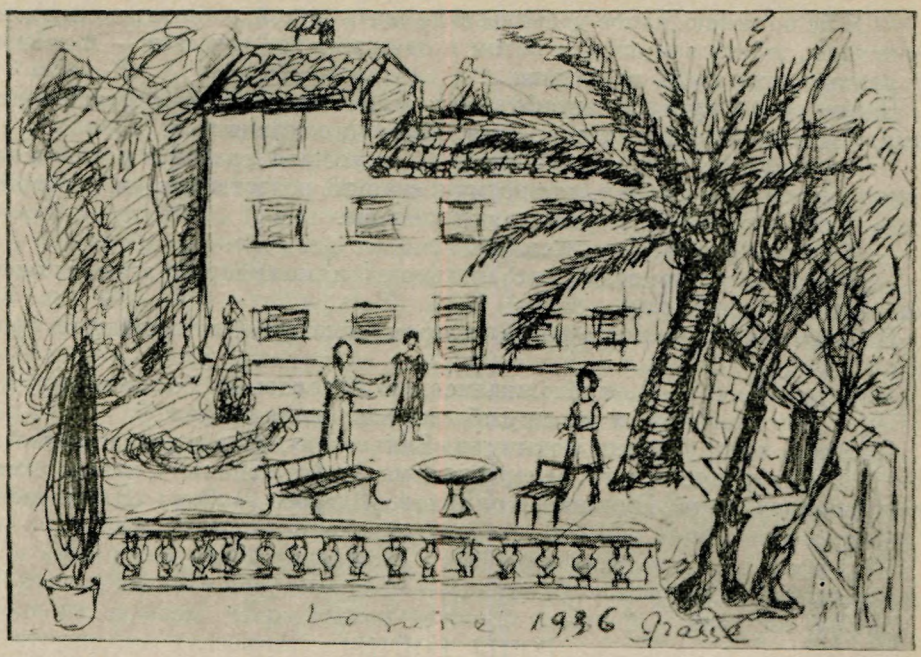
Бунины были одиноки и растеряны. К этому времени они окончательно покинули дачу «Бельведер».

Новая вилла «Жаннет», снятая у англичанки миссис Юльбер, уехавшей на время войны в Англию, была гораздо лучше и просторнее «Бельведера». Хорошая, барская обстановка, изумительный вид на Грасс — все это подбодрило Буниных. Конечно, взбираться на те высоты, на которых находилась «Жаннет», было нелегко. Вилла была одной из последних по Наполеоновской дороге, почти при выезде из Грасса. Над ней в саду возвышалась каменная часовня, а за часовней сразу начинался хвойный лес. Нужно было полчаса, чтобы подняться из Грасса по сокращенной дороге: по крутым тропинкам и лестницам мимо кактусов и запущенных огородов.

Но Бунин любил «высоты» и «горные тропинки», боялся он только одиночества на этих «высотах» и поэтому желал как можно скорее заселить бунинское гнездо «живыми» людьми.

На самом верхнем этаже поселились «горцы» — Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун (они назывались также «барышнями» или «Галиной» и «Маргой»). Это прозвище указывало на то, что они не всегда снисходили к живущим ниже. «„Горцы“ не спускаются до меня», — писала В. Н. 11 августа 1940 г. К ним поднимались по приглашению по довольно крутой внутренней лестнице. Говорили о них во множественном числе, так как были они неразлучны, всегда их видели вместе: очень приятную на вид поэтессу, небольшого роста, мягкую, женственную, и рядом с ней высокую, худощавую певицу, часто в очках и штанах.

«Горцы» говорили о литературе, о музыке и любили уединяться, — часто выезжали вдвоем, несмотря на недовольные и укоризненные взгляды ревнивого Ивана Алексеевича.




Я РАЗЫСКАЛА ВИЛЛУ «БЕЛЬВЕДЕР»
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1936—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел

В таких случаях сразу казался он старше, становился обрюзгшим, с мешками под глазами и отвисшими щеками, и быстро запирался у себя. Но бывало, что выезжали «горцы» вместе с И. А.,—тогда опять на его лице был блеск и был он весь искрящийся и моложавый.

Лицо Бунина описать трудно. Все черты его лица были подвижны. Складки около глаз, морщины продольные на лбу, немного отвисшие щеки, раздвоенный волевой подбородок и, особенно, рот и губы были настолько подвижны, что казался Бунин «многоликим». Даже нос, немного орлиный, казалось, менялся.

Глаза небольшие, глубоко посаженные, освещали это особенное лицо и тоже молниеносно изменялось их выражение, и даже их цвет: голубой, серый, зеленоватый. Был в них молодой блеск и задор, искрящийся юмор и тайная грусть, и ласка, порой же гнев, возмущение, даже ярость.

Когда И. А., всегда куря и сам увлекаясь, что-нибудь рассказывал, то было необычайно интересно следить за сменой выражений его «многоликого» лица. Был он «неуловим» и поэтому не любил позировать для портретов, и даже для фотографий.

Он в жизни был «на сцене» и отлично пользовался этим своим даром. Вера Николаевна правильно говорила, что у него все данные первоклассного актера.

Осанка у него была барская, держался всегда прямо, даже когда опирался на палку. В своей всегдашней английской кепи, загорелый, походил он скорее на моряка, на капитана «дальних плаваний» и страстно любил путешествия, то есть опять смену всего — простор бытия:

Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я...[3]

Каким же было среди этой «многоликости» истинное лицо Бунина?

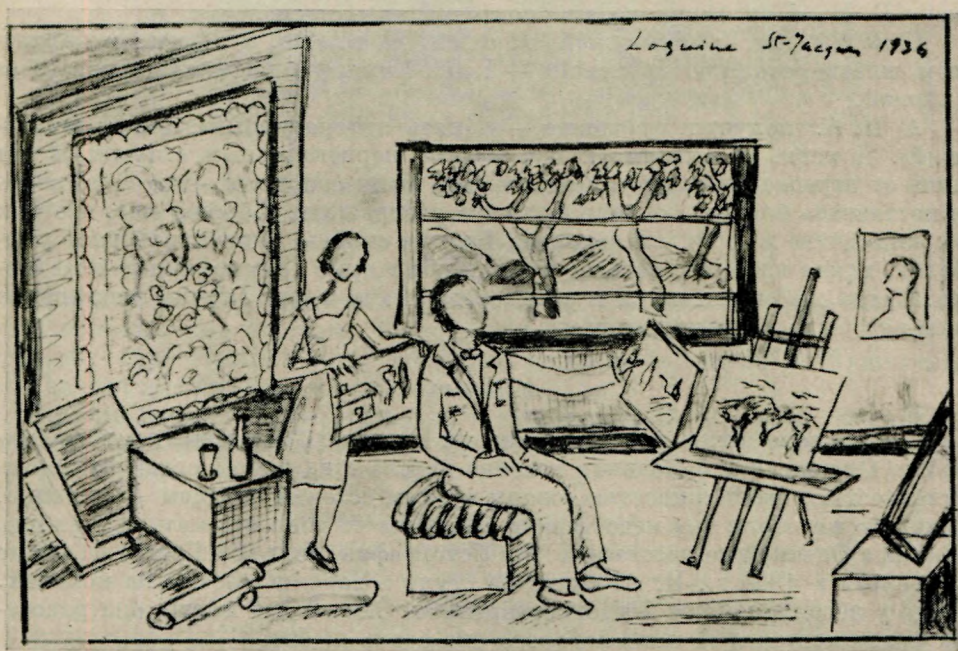
И. А. был очень скрытным, очень внутренне замкнутым человеком. Только в писании мог он вылиться — и было это ему так же необходимо, как и дыхание.

Кабинет, куда он скрывался, находился на втором этаже. Полный света, солнца, с широкими окнами и дивным видом на расстилавшийся простор — на далекие холмы и горы Эстереля, на голубую полосу моря. Обстановка была самая располагающая к умственной работе: большой письменный стол, красивые мягкие кресла, ковер и диван, на котором И. А. спал.

У Веры Николаевны была самая крайняя комната с большим, застекленным балконом, выходившим в сад. Стол, пишущая машинка, на которой годами перестукивала она рукописи И. А. Много бумаг, много книг, разложенных всюду. Семейные реликвии, иконы. Никаких безделушек, ничего уютного, специфически женского — скорее комната-келья. «Люблю мое уединение, — говорила она, — хорошо здесь думать и беседовать со своей памятью». На балконе горшки с цветами стояли и на полу, и на окнах. Тут же находилась большая тахта с подушками и садовая мебель: стол и кресла. Этот балкон предназначался для гостей В. Н., с которыми она особенно любила «поговорить по душам». Тут же оставляли ночевать и меня. Эта тахта стала «моей тахтой».

В. Н. в те годы была еще моложава. Высокая, стройная, держалась она всегда прямо. Лицо ее было бледно, часто казалась она истощенной, быстро утомлялась. Прямые, подстриженные волосы окаймляли ее лицо с тонкими чертами. Бледность лица усугублялась проседью волос, которые стали потом совсем белыми.

Говорили, что в молодости глаза ее были особенные: из них исходили синие лучи. «И как цветы глаза синели» — писал Бунин [4]. Теперь глаза поблекли, но из них излучались доброта и участие. Можно было себе представить, как хороша была В. Н. в молодости, с ее профилем греческой




ВИЛЛА «СЕН-ЖАК». В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИЦЫ
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1936—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел

камеи. Одевалась она очень просто, но со вкусом, никогда не было на ней ничего неряшливого.

От нее веяло чем-то таким достойным, редким, что казалась она порой даже «величавой»; вернее, редкое душевное благородство придавало всему ее внешнему облику особый аристократизм. Несмотря на то, что она умела владеть собой, очень вредила ей чрезмерная нервность.

И. А. любил, чтобы была она хорошо одетой, светской, и гордился ею. Также безмерно ревновал он ее. Все было у него с бунинским размахом — «вне меры».

На этом же этаже поселилась молодая дама — Ляля (Жирова), красивая шатенка с большими, широко расставленными, зеленовато-карими глазами. Она имела какое-то отношение к писательским кругам, всегда чем-то хворала, лежала и без конца курила. Маленькая дочь ее Олечка, которую Ляля обожала и неудержимо ревновала, была общей любимицей.

Иногда, из-за этой всеобщей ревности «всех ко всем», в атмосфере на вилле «Жаннет» набиралось столько электричества, что разражалась гроза...

В конце сентября всегда праздновался день именин В. Н. Кажется, именно по этому случаю решили костюмироваться, чтобы отвлечься от разговоров о войне. Тогда еще верили в ее скорый конец.

В. Н., очень молодая по душевному складу своему, любила всякие выдумки, шутки, переодевания, прозвища — любила посмеяться от всей души. Особенно же обрадовалась этой затее Олечка. Тотчас же после ужина она исчезла с Лялей и вернулись они «турчанкой» и «порхающим эльфом». Бумажные крылышки Олечки было трудно приколоть, и каждый, в том числе И. А., давал свой совет.

«Горцы» тоже нарядились, придумали особые прически. Мне достали красный шарф — пояс, кинжал, платок (тоже красный) на голову — я превратилась в «корсиканца». Недаром любили Бунины слушать мои рассказы о лете 1935, проведенном мною на Корсике. С тех пор и прозвала меня В. Н. «Корсиканцем», или сокращенно «Корси».

Сама же она, с бумажной короной на голове, в красивом бархатном платье, стала «Королевой» — Ника-Королева («Никой» прозвала ее Олечка).

А И. А. получил прозвище — «Князь литературный», или «Светлейший». И хотя, по словам В. Н., был он первоклассным актером, в тот день от переодевания он уклонился. Мы были огорчены — но приставать и настаивать боялись, опасно было его раздражать. Хорошо еще, что был он «отходчив» и сердился недолго. Все же «князь» снисходительно улыбался, глядя на общее веселье и танцы под старые граммофонные пластинки. Когда же он поднялся к себе, сразу стало и нам скучно: настроение «князя» было барометром дома.

## ОЛЕЧКА

Нельзя вспоминать о грасской жизни Буниных, не уделив немного внимания Олечке. Эта маленькая девочка внесла в их жизнь своей непосредственностью, своей живостью, своим чутким детским сердцем — то тепло, которого им обоим так недоставало. Если бы не ревность матери, никогда бы они с Олечкой не расстались. На фотографии, снятой в Грассе на вилле «Босолей» в 1938 г., И. А. сидит на стуле и держит Олечку на коленях. Лицо у него спокойное и удовлетворенное. Олечке лет шесть, она радостно прижимается к «Ване», которого она очень любит.

По рассказам В. Н., смерть пятилетнего Коли, сына Бунина от первой жены, глубоко потрясла его. Это был необычайно одаренный мальчик. И. А. не смог примириться с его преждевременной смертью.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА ПОДНИМАЕТСЯ К ВИЛЛЕ «ЖАННЕТ»
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1941—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел

Детей он любил органически, так же как любил жизнь. Дети были для него воплощением чистоты, воплощением всего расцветающего. Залогом того, что совершается, того, что будет, синонимом движения. Бунин сам всегда был в движении, в стремлении... в пути.

Преемственность всего живущего чувствовал И. А. всем нутром — поэтому так любил он молодежь. В сущности — прожив долгие тяжкие годы — душевно оставался он молод:

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду [5].

Эти строки стихотворения, написанного в 1917 г., были актуальны и в 1939. Молодости душевной Бунин не терял.

Олечка могла входить к «Ване», даже когда он работал. Влезала к нему на колени с книжкой или картинками. Он писал для нее и говорил с ней

шуточными стихами. Олечка заливалась смехом. Как серебряный колокольчик, звучал ее смех в кабинете, и раздавался раскатистый смех Ивана Алексеевича. Насмеявшись вдоволь, они расставались. Отпустив счастливую девочку, с бодростью, точно глотнув свежего воздуха,— принимался он снова за работу. «„Ваня“ дружит со своей комнатой», — говорила она.

После вступления Италии в войну все жители виллы «Жаннет» эвакуировались в Монтобан. Олечка с матерью там и остались. Бунины вскоре вернулись в Грасс. В. Н. долго потом тосковала об Олечке. Луч света ушел из их грасской жизни, и эту пустоту ничто не заполнило. Были бы у Буниных собственные дети, внуки — и вся жизнь их стала бы иной. Настоящей «семейности» не хватало в этом столь гостеприимном доме, где все, нашедшие кров, были не «свои кровные».

Я не знаю, писал ли Бунин о детях или для детей,— но когда они встречались на его пути — умел он с ними говорить, как кудесник, как чародей, и покорял их сердца! До конца жизни продолжали Бунины любить Олечку, заботились и помогали ей и Ляле.

В 1940 г., после оккупации немцами Клермон-Феррана, вернулся в Грасс и поселился на вилле «Жаннет» Л. Ф. Зуров. Высокий, представительный «Леня», как его называли Бунины,— писатель из молодых,— которому Иван Алексеевич покровительствовал, веря в его талант,— подолгу жил с ними. На его красивом лице особенно поражали густые, нависшие брови и светлые глаза с двумя черными точками, от пристального взгляда которых становилось немного жутко.

«Леня» не упускал случая поспорить с И. А. на литературные и житейские темы и с пылом отстаивал свои позиции, а иногда и прямо переходил в атаку. Спор так разгорался, и оба так горячились, что, казалось, это уже не спор, а ссора. Вспыльчивый И. А. поднимал голос, и дело доходило до крика. Он не переносил противоречий, но был не злопамятен и очень, очень снисходителен к «молодым».

На другой день встречались как ни в чем не бывало, и все было тихо до нового «поединка», а иной раз после спора по нескольку дней не разговаривали.

«Живем тихо, однообразно (но „миролюбивее“, чем прежде)»,—писал мне И. А. 2 марта 1940 г.

В Грассе Бунины принимали и случайных знакомых. Подчас за чайным столом можно было встретить людей, не имевших никакого отношения к искусству, ничем особенно не приметных, кроме разве своей «русскости».

Для И. А. людей «неинтересных» в мире не было. «Непосредственное чувство людей было у Яна с самого детства,—говорила В. Н.—Любимым его занятием было безошибочно определять лицо и характер человека по его зонтику, рукам, ногам. Ни у кого я не наблюдала такого поразительного глаза. Бывало говоришь: посмотри на это — я уже видел! А я не понимаю: смотрел он в другую сторону, но мгновенно заметил то, на что, казалось, и не взглянул».

Все были «интересны» для его «книги-памяти», которую он без конца пополнял и из которой черпал все нужное.

«Все хороши,— вспоминаются его слова,— в каждом есть что-то замечательное, неповторимое. Что обычнее серого цвета? А я раз такую редкостную серость увидел, что остановился, — шел навстречу человек, серый весь. Не только брюки, рубаха, но и сам, весь до кончика волос — серый».

«Какая стерва!— говорил он как-то с восхищением.— Сколько в ней злости! Сколько яду!»— И казалось, что он рассматривает эту «злостную стерву», как зоолог наблюдает редкого скорпиона, и совершенно так же

был восхищен, как и «той молодой»,— «фарфоровая вся, розово-голубая, точно оживший фарфор из ценной коллекции!»

Бунину были необходимы различные люди, как и различная природа, а не только ее красоты. Без людей и природы Бунин жить не мог — тосковал без них и творчески иссякал. Но «людской материал» исчерпывался им быстро. Бунин вдруг остывал, на лице его, столь выразительном, появлялась усталость. Тогда он вставал и поднимался к себе, чаепитие продолжалось без него.

Было бы неверно сказать, что Бунин относился к людям только по-писательски, как к «материалу». Был у него и живой интерес к их участи. Совсем не был он «сух», как иногда казалось. «Величайшую нежность, на которую способна его душа,— знают немногие,— говорила В. Н.— Эту нежность проявлял он и к детям и к старикам, которые напоминали ему своих. Он бесконечно любил свою мать. „Никто так меня не любил, как Ваня,— говорила она, — и ни у кого нет такой тонкой души". Он вспоминал и отца с несказанной любовью, восхищался его художественной одаренностью, веселостью, образностью его языка, которую он от отца унаследовал, щедростью его натуры. Любил И. А. своих братьев и сестру со всей горячностью своей души. Всегда и во всем был он „горяч", а не „теплопрохладен" или „холоден"; так же горячо умел он „ненавидеть"».

Вера Николаевна была искренно расположена ко всем людям. Каждому давала она кусочек своего любвеобильного сердца. Кого только не окружила она своей материнской заботливостью! А там, где нужно было помочь в беде,— она проявляла свой редкий талант. Она была неутомима в устройствах сборов, вечеров и «слезных писем имущим». Умела она растрогать даже очень черствых и скупых людей.

В истинной человечности Бунины дополняли друг друга.

Вскоре после возвращения в Грасс из Монтобана Бунин писал мне:

25.I.41

Милая Танечка, я вас очень люблю и очень рад был нынче вашему письму и тому, что вы сравнительно благополучны. У нас тоже были большие холода, и мы порядочно страдали от них. Едим очень, очень скудно. По дому нашему прошел небольшой грипп — Вера, Марга, Галина, теперь Зуров. Вера вам скоро напишет — вы знаете, что она очень слаба и часто лежит от печени. Я очень, очень скучаю. Осенью писал, написал десяток рассказов, а куда их девать? А денег у меня осталось буквально гроши. Целую вас, как родную. Поклон вашему мужу.

Ваш Ив. Б.

## ДВА РАЗГОВОРА

Сколько лет прошло с той поры, больше четверти века,—а некоторые посещения и разговоры в доме Буниных еще ярки в моей памяти. Хочу рассказать о двух из них.

Однажды сентябрьским утром 1941 г. получаю записку Веры Николаевны (восстанавливаю ее по памяти—записка не сохранилась):

Дорогой Корсиканец, я очень устала. Приходите с ночевкой дня на три (принесите краски!). «Князь» в плохом духе. Ваше присутствие его смягчит, развлечет.

В тот же день отправляюсь в Грасс. В. Н., увидев меня издали, идет ко мне навстречу.

—Вот хорошо, что пришли. Я одна. Все мои уехали до вечера. А знаете... Вас «князь» описал. Все вас узнали!

— Где?

— В рассказе «Руся». Вы — художница «Руся». И ваши цветные тесемочки на туфлях, и пояски, и ленты в волосах. Все художественные мелочи... Но это только ваша внешность.

— Про что же рассказ?

— А вот прочтете, тогда увидите. Вас «князь» находит очень одаренной. Только разбрасываетесь очень, как все одаренные люди, на все стороны. Ваша беда в том, что вы не эгоист. А артист должен свое творчество ставить в центре всего. Иначе ничего не выходит.

— Нельзя же живых людей приносить в жертву искусству.

— Творчество покупается дорогой ценой. Это должны понимать все близкие художника. И нет творчества без страданий и артиста, и близких его.

Погуляли мы с «Никой» по саду — полюбовались далями и уселись на балконе на «мою» тахту, чтобы поговорить «по душам»: о прошлом, о записках Веры Николаевны, об их жизни.

Чем больше узнавала я В. Н., тем более преклонялась перед ее внутренней силой, перед ее самоотверженной любовью, на которую редко кто способен. Высказав ей мое восхищение, я добавила:

— А все же мне кажется невероятным ваше терпение. Как могли вы столько терпеть? Оставаться позади, когда ваше место первое, рядом с писателем. Ведь вы ему так же нужны и необходимы, как столб, поддерживающий здание. Как мог он отходить от вас даже на время?

— Женой писателя быть не легко, а очень, очень трудно, — ответила мне В. Н. — Надо уметь понять, принять и простить все увлечения, не только те, что были, а заранее и все те, что смогут быть. Надо понять жажду новых впечатлений, новых ощущений, свойственную артистам, подчас им необходимую, как опьянение, без которого они не могут творить,— это не их цель, это их средство. А цель творящего человека — его творчество.

— Так что все средства хороши? Цель оправдывает средства?..

— Ваша мораль, Корси, сюда не подходит, не применима к этим людям. Они другого плана. Они видят то, что мы не видим, слышат то, что мы не слышим. Чувствуют иначе... Бунин сказал это в стихах «Памяти друга»:

...Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепою!

Те радости и муки без причин,
Та сладостная боль соприкасанья
Душой со всем живущим, что один
Ты разделял со мною,— нет названья,
Нет имени для них — и до седин
Я донесу порывы воссозданья
Своей любви, своих плененных сил...[6]

— Значит для этих особо чувствующих людей надо забыть себя и принести себя в жертву?

— Тут нет жертвы, вы поймете это после когда-нибудь. Я всегда знала и знаю теперь, что умирать «князь» будет только со мной. Я ему нужна всегда и до конца буду нужна для самого главного. Так и всякая жена писателя нужна для самого главного — для его творчества. Сейчас я снова разбираю архивы и пишу немного. Так вот что говорит Бунин про свою первую большую любовь — Варвару Пащенко: «Варя правильно поступила, не соединив своей жизни с моей. Такая женщина не должна быть женой творческого человека. Для этого в ее натуре не было необходимых черт. Творческий человек сам прежде всего живет для своего творчества, и

ему нужно устроить жизнь так, чтобы она была приноровлена к его работе».— И еще дальше Ян пишет: «Трудно и не сразу отдаешь себе отчет... почему та или другая обстановка необходимы, чтобы писатель, художник, композитор, ученый — мог творить...» Вот эту «обстановку» и создает жена творческого человека, а в отказе от своего и в страданиях всегда бывает и радость!

Не дождавшись возвращения Ивана Алексеевича, мы легли спать. У меня глаза слипались, а Вера Николаевна все еще хотела поговорить...

На другой день я стараюсь рассеять сплин И. А.,— ведь для этого и вызвала меня «Ника». Вхожу в кабинет. Он мрачен, раздражен.

— Как у вас чудесно в кабинете! — говорю я, подходя к широкому окну.— Вам тут и писать легко!

— Да, когда сидишь в кресле, только небо да облака видишь, точно на корабле! Был бы корабль, да уехать куда-нибудь! Но, увы, я не на корабле, а здесь! А в этой атмосфере я не могу работать. Вот хочу написать то, что еще ярко в памяти. А архивы в Париже. Заперт, как в клетку! Пишу, пишу, а где печатать? Для кого? Кто будет читать?

— Должен ли писатель думать о том, кто его будет читать? Ведь вы пишете не для одного поколения.

— Производитель должен считаться с потребителем, с его вкусами. А писатель пишет не для Петра, Ивана или Марьи — а для человечества в целом. Если темы писателя глубокие, общечеловеческие, то он непременно затронет какие-то фибры у каждого отдельного человека— и в этом поколении, и в будущих. Толстого читают все, вне всяких границ расовых, национальных, социальных. Писать о главном: о любви и смерти, о болезни и ревности, о юности и старости — это писать о том, чем жил и чем всегда будет жить человек, независимо от исторического времени и от условий его существования. Эти темы касаются каждого, интересуют каждого. Это «нутром» пишется и «нутром» читается. Темы социальные меняются. Темы общечеловеческие извечны. Бытие всегда превышает быт!

— Значит вы знаете, что у вас будут читатели, и на общем мировом книжном рынке можно будет найти книги Бунина?

— Если не пропадут рукописи и если будет возможность их напечатать. Конечно, я надеюсь, очень надеюсь, что меня будут когда-нибудь читать в России... Но я до этого не доживу! А переводы, дорогая моя! Сам я переводил, много работал еще в молодости над «Песней о Гайавате» Лонгфелло... Перевоплощаться надо. Языками надо владеть, двумя. Чувствовать надо и все, что недосказано, что между строк. Дословный перевод все искажает. И меня переводили до войны на французский, английский, немецкий, шведский...

— Вы переводами не очень довольны?

— Редко бываю совершенно доволен. Очень это трудно! «Митина любовь» переведена неплохо. Мало, мало хороших переводчиков, а переводная литература совершенно необходима.

— Доктор Штейнер предсказал в наступающем цикле расцвет и даже торжество русской культуры, литературы![7] Тогда и все иностранцы будут говорить и читать по-русски!

— Ну, эти ваши штейнеровские небылицы!.. Но хотелось бы верить в такое торжество!..

И, широко улыбаясь (наконец!), И. А. закуривает новую папиросу. Я вздыхаю с облегчением: миссия выполнена!

— Мне пора. Не хочу мешать вам работать для этого будущего торжества русской литературы.

— Да, дорогая моя, надо, надо работать! А вас всегда рад видеть, как родную. Когда еще заглянете вы в наши края? Танечка, пока вы здесь, прошу вас, займитесь Верой. Она вас любит и рада будет с вами погулять.

— Мы уже с ней сговорились: Бахрах возьмет на себя ее дежурство, а мы пойдем по дороге к часовне св. Христофора. Там сейчас чудесно. Можно спокойно и посидеть, и поговорить.

— Отлично. Непременно идите. Вере необходимо отвлечься от дому. Поручаю вам ее развлечь, подбодрить!

Удрученное душевное состояние и раздражение Бунина, что так беспокоили В. Н., были временны и проходили. Он и в те годы оставался могучим дубом, и творчески таинственно питались его корни подпочвенной водой.

— Яну лучше,— говорила мне В. Н.,— он опять зовет меня по вечерам и только мне читает написанное за день.

Оптимизм И. А. был глубочайший, вера в жизнь, в конечную победу добра, поклонение красоте — никогда не оставляли его. С юных лет заветными были для него слова его отца: «Поверь, все в жизни проходит и не стоит слез, а самая большая беда — это печаль».

Оптимизму И. А. соответствовала душевная сила и бодрость В. Н., никогда не падавшей духом и мужественно противостоявшей невзгодам, болезням и испытаниям.

В то военное время невзгоды были повсюду. Иногда удавалось послать Буниным продовольственную посылку, которую они делили со всеми живущими в их доме.

В июне В. Н. писала о том, что на вилле «Жаннет» поселился еще один молодой журналист, энергичный Александр Бахрах. «Живем теперь коммуной в шесть человек»,— писал И. А. Присутствие нового гостя принесло некоторое облегчение для В. Н. в ее хозяйственной работе, совсем не пропорциональной ее возрасту и силам. Привожу выдержки из ее писем:

9-ое июня 1941 года.

Дорогой мой Корсиканец, что вы о нас думаете? И что я о вас думаю?.. Столько времени не писала вам, не поблагодарила вас за вашу милую посылку, за которую не раз помянули вас добрым словом. И все потому, что я хотела вам написать настоящее письмо, а не отписку, а на настоящее письмо не было ни сил, ни возможности. Знаете, день за днем мелкие заботы, усталость, требующая лежания, а там дежурство, а там беги за мясом или еще за чем-нибудь. Все вы знаете и понимаете, а поэтому и прощаете.

...Пообедали — ничего, слава богу, сыты. Я это время читаю переписку Флобера. И опять, как в молодости, понемногу влюбляюсь в него. Как он не похож на француза! Какая у него широта взглядов и смелость суждений. И что за нежный сын, что за восхитительный любовник—в широком смысле этого слова. Как я жалею, что раньше не читала этих изумительных писем. И какой он друг! И его жизнь в «башне из слоновой кости» мне так близка. Но, конечно, в молодости он был бы мне ближе, чем теперь...

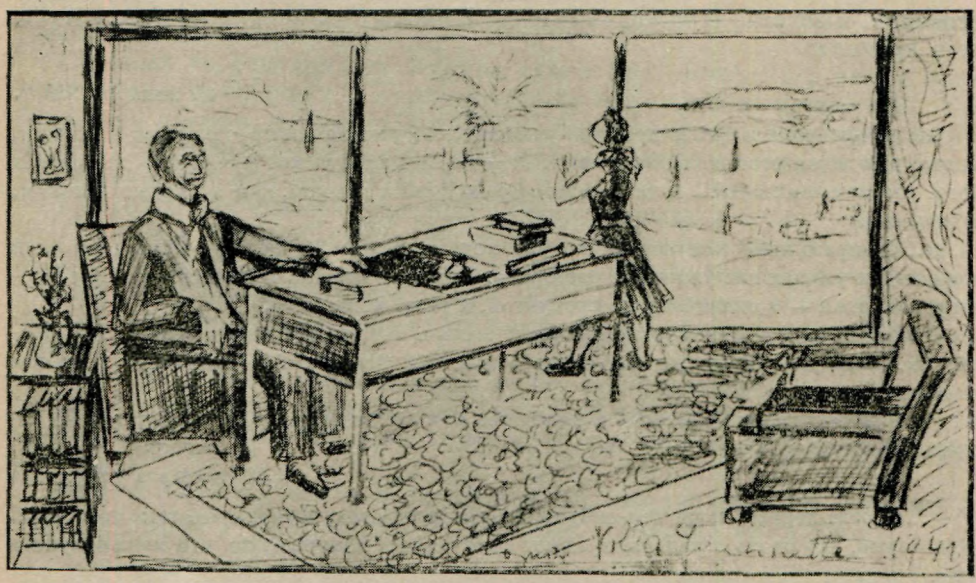
Была в деревне. Там пошли большие строгости—нельзя даже соседу продать пучок салату. Все переписывается. Нельзя без разрешения даже вырыть картошку для собственного потребления.

...Из Парижа нерадостные вести. Очень холодали. Голодали: котлеты на касторке, каша из овса, чай-бурда. Но русские по-прежнему ходят друг к другу в гости и до хрипоты решают мировые вопросы за чаем-бурдой со своим сахаром и хлебом... И каждый имеет свою точку зрения, порой очень неожиданную, которую и защищает с пеной у рта. И зачастую вчерашние друзья оказываются врагами, и наоборот.

Плохо очень писателям... И как помочь не знаю. Вообще мне пишут, что большинство русских живет без всяких средств. И все было: и недействующие нужники, и лопающиеся трубы от мороза, и спанье не раздеваясь...

23 ноября 1941

...Что вам сказать о нас? Живем. Атмосфера как будто стала лучше. Все как будто серьезнее стали смотреть на жизнь и меньше придают значения пустякам.



ВИЛЛА «ЖАННЕТ». У БУНИНА В КАБИНЕТЕ
Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1941—1968
Музей И. С. Тургенева, Орел

...У нас появилось новое знакомство и на этот раз интересное. Люксембургская семья. У них имение за Кабрисом, в нем-то и жил Андре Жид больше года... Семья состоит из матери, дочери и зятя. Мать очень образованная женщина, тонко понимающая литературу — друг многих писателей... Очень милая и простая по виду женщина.

...Мать, через Жида, познакомилась с книгами И. А. и пришла в восторг от его писаний. Она большая поклонница Толстого. И как раз у них гостила внучка Льва Николаевича, которую хозяйка любит, как свою дочь.

...Дочь поклонница Достоевского. Они с матерью были в Москве, когда ездили в Персию. Мать вообще очень любит путешествовать.

...Сейчас я читаю «Дневник» Андре Жида, который мне дали на прочтение. Андре Жид обещал мне его подарить — но подарил Бахраху — который теперь в Ницце угощает Андре Жидом своих друзей... а те угощают А. Жида завтраками и обедами. На двух был И. А.[8], так что все довольны: одним лестно, а другим вкусно. Добрый человек Бахрах...

В июне 1942 г. В. Н. писала мне о событиях в их жизни:

...*Первое*: моя довольно серьезная болезнь, вернее болезни... Исхудала я сильно — 50 кило.

*Второе*: «Горцы» нас покинули, живут в Каннах в снятой маленькой квартирке, состоящей из двух комнат... Нашлась добрая душа, которая дает им возможность хорошо жить... Видаемся мы с ними очень редко.

Зима была у нас холодная, и мы очень страдали: мерзли руки, ноги. Я большую часть времени проводила в постели. Много перечитала. Всего Жида и несколько книг о нем. Читала русских классиков. Даже устала от чтения.

Жизнь на вилле «Жаннет» шла однообразно. Всегдашнее беспокойство Буниных о судьбе оставшихся в Париже, по ту сторону оккупационной зоны. Беспокойство о судьбе бездомной и больной Ляли и об Олечке. Грозные военные вести, которые жадно ловили по радио. Некоторое оживление внесли рождественские праздники, которые все в доме любили, а В. Н.

особенно, и встреча Нового, 1943 года. Привожу выдержки из писем В. Н. того времени:

15 января 1943 г.

...Не написала я вам к празднику потому, что писала много открыток в Париж, а это для меня утомительное дело, т. к. готовые французские фразы* не выражают того, что хочется сказать, а так владеть французским языком, как я владею русским, я не умею.

...На праздниках мы несколько раз хорошо ели... 24 декабря один приезжий парижанин угощал нас ужином в ресторане. Поели до отвала. В наш сочельник сделали у нас ужин — в складчину из продуктов, и тоже были сыты.

...Из Парижа всякое письмо приносит весть о смерти: нет уже в живых Бальмонта, Тесленко. Дошла ли до вас весть о кончине Осоргина? Бедная жена в полном отчаянии.

...Я читаю письма Толстого и нахожусь в его атмосфере, в которой давно не находилась...

16-го марта 1943 года

...Иногда добрые люди чем-нибудь украсят наш стол. Думаю, что так у многих. Некоторые, кто очень страдает, продают свои вещи и покупают то, что можно купить еще.

...И. А. уехал в Канн. Он тоже не очень хорошо себя чувствует. Много читает. Сейчас у него Плутарх. А то мы погружались в трагедии Шекспира. Чтение подходящее...

В 1943 году немцы заняли всю Францию. В. Н. писала: «Наш маленький город стал шумным, оживленным». Часть немецкого штаба расположилась в «Helios'е», почти рядом с виллой «Жаннет». Оккупацию переносили все очень тяжело: надо было молчать, терпеть и ждать, нервы были напряжены до крайности. И. А. написал мне в Лион:

2.V.43

Дорогая Танечка, с праздником!

Сделайте одолжение, исполните мою усердную просьбу, если вы хотите, чтобы я продолжал обогащать русскую и всемирную литературу: вышлите мне то, что у нас уже нельзя найти, а именно: коробки 2 Phytine Ciba — он делается у вас — 103 à 117, B$^{d}$ de la Part-Dieu, Lyon— и, думаю, есть во всякой аптеке. Пожалуйста, найдите или пришлите мне наложенным платежом (или напишите, сколько вам за него выслать — в виде подарка я *ни за что* не приму).

Целую вас, кланяюсь супругу.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Серьезно — мне Phytine совершенно необходим — я совсем болен нервно.

В ответ на мое извещение, что лекарство выслано, И. А. писал мне:

Спасибо, спасибо, дорогая моя. Целую. Рад, что приедете в наши края и что, значит, мы повидаемся.

Храни бог.

Ваш Ив. Бунин

10.V.43

## ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ГРАССЕ

За годы войны все вокруг одряхлело. Вилла «Жаннет» тоже потеряла свой элегантный, буржуазный вид. Центральное отопление давно перестало действовать. Водопровод, электричество часто закрывали. Полы не

* Переписываться с оккупированной зоной можно было только по-французски.

натирались годами; мебель расшаталась, запачкалась. Сад был запущен, деревья не подстрижены.

Сильный творческий дух Бунина сумел противостоять и этому материальному одряхлению, и всем житейским невзгодам и трудностям. Нобелевская премия, полученная в 1933 г., была щедро роздана неимущим и прожита. Бунины не умели «обращаться с деньгами» и «придерживать» их. Безденежье очень угнетало И. А.

Непрестанная тревога о судьбах России подрывала его здоровье, мучила его, но не сломила его дух. С крайним волнением не отходил он от радио, чтобы узнать из швейцарских или английских передач правду о продвижении советских войск. Никогда не покидала его вера в конечную победу над немцами. Именно в это тяжкое время были созданы Буниным прекрасные вещи.

Жить в Грассе становилось все хуже. Ни продовольствия, ни денег. Кто мог поддержать писательское гнездо? Каждый думал о том, как бы прокормиться!.. «Горцы» давно уехали. Жили вчетвером: Бунины, Зуров и Бахрах.

Весной 1944 г. началась эвакуация Средиземноморского побережья. Зуров на время уехал в Париж. 12 марта В. Н. писала мне в Лион:

...мы подлежим эвакуации, хлопочем, чтобы нам удлинили срок. Пока оставлен только И. А. Правда, эвакуация замедляется, слишком много беженцев.

Если придется покидать Грасс — то надеемся попасть в Париж и поселиться где-нибудь в деревне. У нас уже есть приглашение. Но переезд очень страшит. В поездах бог знает что делается. Часть вещей мы уже отправили на нашу квартиру. Надеемся, что с божьей помощью они дойдут.

Сейчас у нас все уже запаковано, а уезжать не собираемся... Странное это чувство! Не знаешь, что будет с тобой завтра...

27 апреля 1944 г.

...Мы всё живем «на чемоданах». Хотя нам дали отсрочку.

...Ян стал опять немного писать. Леня по-прежнему работает над своей книгой. Я тоже иногда провожу время в «Беседах со своей памятью». Есть у меня и переписка со стороны, так что времени на скуку или даже тоску нет.

В следующих выдержках из писем В. Н. лучше всего передается тревога тех лет:

⟨Получено 2-го мая 1944 г.⟩

Эти дни мы все беспокоимся: слишком много везде падает бомб. Из Парижа пишут, что это что-то страшное. А что было у вас в Лионе?* В Грассе, как я вам писала, опять много вывесок, сколько человек может поместиться в том или другом «абри»**.

...Много здесь русских солдат — идешь и слышишь то там, то здесь русскую речь— говорят все очень хорошо, неиспорченным русским языком.

8-го июня 1944 года, 4 ч. 30 м. вечера

...Вчера в 5 часов принесли ваше письмо — теперь почта, как видите, приходит вместо утра к вечеру,— и я до сих пор не могу ни о чем думать, кроме вашего дома. О бомбардировке Лиона мы, конечно, знали, но утешали себя тем, что вы живете вдали от центра, боялись, что вас могло захватить где-нибудь на службе,— хотя успокаивали себя тем, что вы в деревне.

...В Ницце подобных случаев тоже немало. Отец, например, пошел работать в поле, вернулся — ни жены, ни ребенка, головы ребенка найти так и не смог. Все мы должны быть ко всему готовы.

---

* Американцы бомбардировали все вокзалы. Уничтожена была университетская лаборатория, где мы работали; пострадал дом, где мы жили, около вокзала.

** Abry — бомбоубежище (*франц.*).

...Я чувствую себя плохо. В воскресенье проснулась и увидела, что комната качается, и так было с час, пульс 50. Даже попросила Леню разбудить Яна, что я делаю в крайних случаях — ибо он очень пугается, когда что-нибудь со мной бывает неприятное. Он вошел ко мне — на нем лица не было. Но дал камфары, черного кофе — и мне стало лучше.

В сентябре 1944 г. Франция была освобождена от оккупационных войск. Война и трудности продолжались, но все вздохнули свободно. В. Н. писала 31 октября:

...Пока два слова. Плохо себя чувствую для длинного письма. И открытку и закрытое письмо получила. Спасибо. Мы никого не видим.

...Аля уехал — мы остались втроем. Мне больше теперь приходится таскать мешков в гору. Леня чувствует себя не очень хорошо, и я боюсь за его здоровье: он всегда задыхается, идя в гору. Он много работает — кончает одну книгу.

Ян не очень хорошо себя чувствует, жалуется на боль в груди, слабость, но обещал дать на завтра кое-что переписать.

...Здесь будет на кладбище торжественное поминовение убиенных и погибших на войне и в оккупации.

«Вот и 1945 год! Что принесет он нам и миру?» — спрашивает В. Н. в своем новогоднем письме от 1 января.

Всегдашний оптимизм не оставляет Буниных, несмотря на то,что трудности и безденежье сжимают их своим железным кольцом. Есть люди «более несчастные», и для них надо уделить время, найти силы их посетить, им помочь. В. Н. писала мне, что посещает мою родственницу, тяжко больную, одинокую женщину, что И. А. обегал все аптеки в Канне и Ницце, разыскивая лекарства.

20 февраля В. Н. сообщала:

...А мы уже на отлете. Хозяйка,— не помню, писала ли я вам,— просит к первому апреля освободить виллу. Мы просили дать нам еще месяц сроку. Страшно ехать в Париж так рано. Дома́ все промерзли, и может быть плохая погода. Да и поездов еще очень мало, и будут ли они через месяц, еще неизвестно. Вот и подводишь итог своей жизни на «Жаннет». Больше тяжелого, чем радостного.

Правда, время такое, что о радости стыдно и думать, но все же хотелось бы и для себя немного иметь, а ее нет.

Жаль, конечно, мне кое-что и здесь: моего уединения, простора. Отсутствия городской суеты и частого свидания с людьми, которые тебе не дают ничего ни для ума, ни для души. Здесь от этого было хорошо защищаться высотой, не так легко добраться. Но с другой стороны, хочется видеть близких сердцу, хочется побыть с теми, с кем можно отвести душу...

1-го марта 1945

...Мы доживаем здесь последний месяц. Едем в Париж!

...Нас выкидывает хозяйка. Были неприятности с квартирой — жильцы не хотели съезжать*. С трудом их выжили наши друзья, но выехали ли они уже или нет — мы не знаем.

...Сегодня телеграмма от нашей англичанки: позволила остаться до конца апреля. Все же можно не так сумасшедше спешить. Да и в Париже будет теплее. Я молю бога к Страстной туда приехать...

Наконец, Бунины готовы к отъезду в Париж. В их квартире, уже с начала года, поселилась Ляля (в комнатке, где хранится их архив на полках и в чемоданах). После выселения жильцов Ляля взяла Олечку домой, и они заняли большую комнату.

Меня очень страшил этот переезд. Они привыкли к теплому, южному климату, благотворному для слабых легких Бунина. Да и войну перенесли

* Речь идет о парижской квартире Буниных.

БУНИН и Т. Д. МУРАВЬЕВА-ЛОГИНОВА
Фотография И. Н. Муравьева, Грасс, 1938
Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция

они относительно благополучно, без серьезных заболеваний, именно благодаря «блаженному югу», который И. А. так горячо любил. Я написала им, прося не порывать с югом окончательно. 9 марта В. Н. ответила энергично:

...Ваши доводы относительно того, чтобы мы до окончания войны оставались в Грассе, не выдерживают критики.

1) Чем жить? Здесь заработать нельзя, а в Париже можно. Устроить вечер, запродать книгу и т. д.

2) Дороговизна здесь большая, так как продуктов меньше, если покупать их из-под полы, а если жить на тикеты — то везде одинаково.

3) Не дай бог заболеть... Ни докторов, которым можно верить, ни лекарств. А мы в таком возрасте, что от болезни нельзя отмахиваться. А в Париже есть русские доктора, русские аптеки, всегда помогут. Да и госпиталя не такие плохие, как здесь. Я не говорю о том полном одиночестве, в каком мы живем. Ведь нет ни единого человека, с которым можно поговорить о литературе, об искусстве, обо всем том, чем мы собственно живы.

...Что же касается нас — то раз мы согласились с нашей англичанкой, что съедем при первом ее желании,— то что бы ни было — мы съехали бы. Мы попросили дать нам лишний месяц — и она дала. Значит, в апреле, бог даст, проедем через Лион.

Теперь особенно приятно быть человеком слова, в такое время. Кроме того, переезжать на север нужно с весны, чтобы не сразу попасть в холод, а во-вторых, кой-чем на зиму запастись.

# III
# СНОВА В ПАРИЖЕ
# 1945—1961

## ВОЗВРАЩЕНИЕ НА RUE JAQUES OFFENBACH

1 мая 1945 г., навсегда расставшись с Грассом и виллой «Жаннет», Бунины с радостью и надеждой вернулись домой, в свою небольшую квартиру на улице Жак Оффенбах («Яшкинская» улица). Сразу наступило «жаркое» время парижской деятельности, плохо отразившееся на здоровье И. А.

Вскоре по приезде в Париж, 19 июня, В. Н. устроила вечер Бунина, так необходимый им для пополнения пустой кассы. 5 июля она писала об этом вечере Е. П. Ставраки:

...Время для меня жаркое — заботы и хлопоты перед вечером. Он прошел удачно — дал больше 30 000 фр. Зал был полон. Только И. А. было трудно читать: по приезде простудился и кашляет шесть недель, похоже на коклюш. За два часа перед выступлением был доктор и, слава богу, за чтением не раскашлялся. Но я чувствовала, как ему трудно было читать...

У меня сердце ослабело от усталости и утомления... Но все же держусь и работаю, «femme de ménage»* у нас нет.

...Зуров часто бывает у нас — иной раз по целым вечерам беседует с И. А. за чайным столом...

Вскоре по выходе в свет книги Ивана Алексеевича «Темные аллеи», получила я из Парижа ее в подарок с надписью: «Кланяюсь вам, дорогой, старый друг. Ив. Б у н и н».

Приезжала я в Париж осенью, старалась попасть к именинам В. Н. В этот день у них бывало столько гостей, настоящее столпотворение — в коридоре, в двух комнатах, за столом не было места, и еще раздавались звонки и входили новые посетители с цветами и пакетами.

Всегда меня встречала В. Н. ласково, как родную, выходил из кабинета «князь», все радостно смеялись, здороваясь целовались. Вспоминали Грасс — «блаженный юг».

Как-то на именины В. Н. принесла я папку своих этюдов, и она выбрала букет пионов, который потом висел у Буниных в столовой, а в кабинете у И. А.— вид Парижа.

Картин у них было мало, хотя В. Н. любила ходить на выставки и часто упоминала об этом в письмах.

В начале 1947 г. И. А. очень болел,— «пролежал два месяца с сильным гриппом со страшным кашлем»,— и врачи отправили его на юг на поправку. Уехал он в Жуан-ле-Пен, в «Русский дом». Это пребывание было для него тягостным уже потому, что был он один, без Веры Николаевны, а «одиночества он не переносил».

---

* прислуги (*франц.*).

В. Н. БУНИНА ЗА РАБОТОЙ
Фотография. Грасс, 1930-е годы
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Очень жарким было в Париже лето 1947 г. Как всегда, парижане разъехались, Бунины остались, поневоле, в городе. 20 августа В. Н. писала:

Мне очень тяжело, что не удалось Яна устроить куда-нибудь в зелень. Где хорошо — так «капитала не достает»[9], а где по карману, там «убожество», а убожества он, как вы знаете, не переносит.— Лучше нищета! От всего у него ослабело сердце, так что врач назначил ему «сердечное лечение» и теперь он чувствует себя бодрее. Выходит из дому мало, но много возится со своим архивом. Много читает, но еще не пишет ничего, кроме деловых писем.

...А я стала продолжать мои «Беседы с памятью». Еще очень трудно, после длинного перерыва, найти верный тон: нужно или сохранить стиль уже написанного, или же начать писать по-новому. Все это решить, когда пот льется, иной раз даже у меня, по лицу, трудно. Много читаю, кончаю серию книг, изданных в России в 1929 году...

В сентябре Бунин стал чувствовать себя бодрее — «дома стены помогают», писала В. Н. 7 сентября. У нее же самой отдыха не было:

Из моих попыток писать вышло мало, ведь, живя вдвоем, я не только «одна за все», но и «девочка на побегушках», словом, иногда приходилось работать так часов по тринадцать! Сегодня могу спокойно писать, пока «мой» не проснулся. Проснулся! я все подала и опять свободна некоторое время. В октябре Ян хочет устроить свой вечер!.. Не знаю, что выйдет из этой затеи, но без вечера обойтись трудно, ведь нужно на холодные месяцы ехать на юг, а Ян без меня не хочет, а вдвоем один переезд будет стоить дорого.

В октябре 1947 г. мне с мужем удалось быть на вечере Бунина. Похудевший, довольно усталый, но бодрящийся (графинчик с коньяком стоял перед ним на столике), он начал так:

«Будучи ребенком, нашел я как-то в отцовской библиотеке старый альманах — я тогда увлекался и прямо впивался глазами в иллюстра-

ции — художество меня прельщало и мечтал я стать художником! Одна картинка меня поразила: вообразите горный поток, среди скал тропинка и на ней существо с подслеповатыми глазами, с отвисшим зобом и с дубинкой в руках. Надпись гласила: „Встреча в горах с кретином". Эта картинка так поразила мое детское воображение, что она долго меня преследовала... Не знал я тогда, что на моем жизненном пути встречу я... много, много кретинов!»

На раздавшийся среди публики смех Бунин улыбается своей подкупающей улыбкой и вдруг яростно обрушивается...на некоторых представителей современной литературы... Обрушивается со всей свойственной ему страстностью и по бунинской «мерке».

Это его выступление перед широкой публикой было последним. Он все чаще задыхался, кашлял, его мучила эмфизема. Я всегда видела Бунина подтянутого, выбритого и знала, что он не любил показываться «не в приборе». Поэтому я не удивлялась, когда при моих посещениях он говорил мне из кабинета: «Рад вашему приезду. Целую вас, а выйти не могу! Болен!»

Оставалась одна надежда: юг! Уехать из Парижа, переменить климат, хотя бы на зимние месяцы. Как и в 1947 году, Бунин поселился в «Русском доме» в Жуан-ле-Пен, но на этот раз вместе с Верой Николаевной. 9 февраля 1948 г. она писала:

Ни о чем не думаем, кроме того, как поправить здоровье Яна. Еще не отдохнула и отдохну ли? Ян не очень радует меня. Больше двух месяцев еще мы не в состоянии будем здесь прожить, «капиталы не дозволяют». Будем рады, если приедете на юг, тогда повидаемся! Я до сих пор никуда не выезжала. Не хочу надолго оставлять Яна. Спать, слава богу, стал ночью, но слабость не проходит...

Несмотря на то, что И. А. воздухом почти не пользовался и ему «надоело жить в богоугодном заведении», которое называл «ссылкой», все же он вернулся в Париж немного крепче.

15 мая 1948 г. В. Н. сообщает, что Ляля вышла замуж и, вместе с Олечкой, переехала на квартиру мужа. В течение трех лет после возвращения в Париж небольшая квартира Буниных была приютом и для Ляли с Олечкой. И. А. очень страдал от этой заселенности и от того, что не мог разбирать свой архив «по настоящему».

Теперь у нас стало свободнее,— писала В. Н.— У Яна есть кабинет; он начал работать по своему архиву, так что кабинет очень загромождён чемоданами. Это хорошо. Введет его в работу. Есть и столовая. Можно сидеть и пить чай...

Здоровье И. А. все ухудшалось: «летом чуть не умер от воспаления легких»; «уехал на юг в ужасном состоянии». 8 мая 1949 г. В. Н. писала мне из Жуан-ле-Пен:

Мы еще в благодатном краю, но им не пользуемся. После вашего отъезда, во второй раз Ян заболел воспалением в правом легком. Но, слава богу, опять удалось прервать. И было досадно: он писал! Кое-что за три недели он успел. Теперь снова пишет. Но зато из комнаты не выходит — боится опять слечь. 14-го мая, если все будет благополучно, мы тронемся на север.

В измученном Иване Алексеевиче жил его прежний творческий дух. Любил он по-прежнему общение с друзьями, живо всем интересовался. Чтобы частые посетители не очень его утомляли, решили назначить один день в неделю — «пусть лучше в один день вместе приходят!» Но все же гостей с сентября стало слишком много, и тогда назначили приемные дни: первый и третий четверг каждого месяца. Иногда бывало

больше 20 человек. Это утомляло, но и очень радовало И. А. А 12 сентября 1949 г., после такого приема, В. Н. писала: «Князь все задыхается, мучается бедный очень».

Как и раньше, Олечка вносила с собой «луч солнца» в грустную атмосферу бунинской квартиры, где тяжко больной писатель всеми силами боролся с недугом. Болезни не оставляли его.

В августе 1950 г. И. А. опасно заболел, и в начале сентября его оперировал профессор Дюфур.

У нас грозные события, — писала В. Н. 2 октября, — после вашего отъезда Яна оперировали... Вернулись мы домой 20-го сентября. Медленно поправляется. Еще слаб. За ним хорошо ухаживает Леня. Надо, чтобы Ян хоть немного окреп и пополнел; он худ, как голодающий индус.

...Мы надеемся, что князь окрепнет ко дню своего восьмидесятилетия, которое будет ровно через три недели, т. е. 23-го октября.

Опять тяжкая болезнь И. А. в конце 1950 и начале 1951 года. «Мы совсем впали в нищету за три недели моего плеврита. Как ухитрился я поймать этот плеврит, не выходя из комнаты?!» — удивлялся он. Дом Буниных оставался открытым: несмотря на болезнь, на безденежье, они продолжали живо интересоваться писателями, их судьбой, и никогда не замыкались в свои личные интересы. Я думаю, другого такого «писательского дома» в Париже не было. «Центро-помощь» сказал кто-то. И это было действительно так. Никто не уходил из этого дома «пустым». Все что-то получали, если не материальную поддержку, то совет, или ободрение, или просто симпатию. Если В. Н. была «душой» этой «центропомощи», то И. А. ее в этом всегда одобрял, поддерживал, поощрял. Если доброта В. Н. была «активной», то несомненная доброта И. А. была почвой, необходимой для ее деятельности. Про его доброту знала она одна! И. А. ее тщательно скрывал, нигде никогда не афишировал, не терпел никаких благодарностей. Всегда выставлял он вперед В. Н. как зачинщицу. Я заметила, что И. А. особенно благожелательно относился к людям, любящим В. Н. Он хотел, чтобы ее любили и ценили, и не потерпел бы, если бы ее чем-нибудь обидели!

Несомненно, что В. Н. была «зачинщицей» празднования окончания гимназии Олечкой у них на квартире. «Она у нас праздновала свое окончание»,— писала мне В. Н. 15 августа 1951 г.— Был приглашен весь класс! Грамофон гремел с пяти до одиннадцати вечера. Все были счастливы и плясали до устали!» Кто еще, какой другой очень больной и пожилой писатель мог бы вытерпеть в своей маленькой квартире в течение шести часов топот молодых ног и беспрерывный грамофонный джаз? Но И. А., измученный тяжелой болезнью, был способен пожертвовать своим покоем для того, чтобы доставить радость Олечке, и терпение его было безмерно!

Я думаю, для будущих биографов очень важно знать и такие мелкие факты, чтобы правильно осветить личность Бунина, очень сложную, порой созданную из противоречий.

Иногда краткие улучшения между повторными воспалениями легких, кровотечениями, припадками сердечной астмы позволяли Бунину «по мере его уже очень слабых сил» опять браться за перо и приводить «в порядок его писания». По-прежнему голова его была ясной и так же требователен был он к себе как художник.

Годы шли. Состояние И. А. становилось все безнадежнее. Теперь боролся он, напрягая последние силы, уже не с болезнями, а со смертью. Вспоминались мне его слова, сказанные в день первой его беседы со мной: «Ни за что не дамся смерти! Не сможет меня взять...»

Непреклонная воля жить и творить не давала смерти «взять его». Истинно «дух животворил», и нужно было ему пройти еще через испытания, чтобы примириться с мыслью о смерти.

Настал 1953 год, последний для Бунина.

3 ноября В. Н. писала мне (привожу опять только выдержку):

...А тут болезнь князя, сначала воспаление в левом легком, а затем оказалось, что у него малокровие: 50 процентов гемоглобину, всего 2 600 000 красных шариков при мочевине в крови 56. Слаб, апатичен, полная потеря аппетита. Меня не отпускает даже из комнаты. Лекарства принимает с «большими слезами». Я еще не падаю духом, но временами бывает тяжко...

Несмотря на то, что Бунин был очень, очень слаб и часто говорил о смерти, В. Н. усилием воли держалась и не верила в его близкую кончину.

О смерти Ивана Алексеевича ночью 8 ноября узнала я в Лионе на следующий день. Все случилось так, как это предвидела В. Н.: «Князь будет умирать только со мной».

В квартире была она одна с И. А. Вечером Бунин задыхался, но все же просил прочесть ему вслух письма Чехова, он живо интересовался датой рождения Антона Павловича. До последней минуты голова его была ясной... В измученном теле душа оставалась творческой. До последней минуты был он писателем.

В полночь ему стало совсем плохо, пульса не было, голова его склонилась, и без всякой агонии наступила смерть.

В письме к одному из знакомых Вера Николаевна прекрасно описала ту любовь, с которой парижане простились с Буниным, и сочувствие, которое выразили ей в «ее вечном горе»:

Все, с кем в эти тяжелые дни я общалась, проявили такую любовь и заботу ко мне, что я до гроба донесу восхищенную к ним благодарность. Каждый делал, что мог, и все лучшее в своей душе проявлял ко мне. Вообще атмосфера всех этих пяти дней была необыкновенно легкая. Не удивляйтесь, я думаю потому, что все было насыщено одним чувством скорбной любви. Я чувствовала, что все в горе, а не только жалеют меня и сочувствуют мне. Трогала меня и та любовь, которая относилась к Яну как к человеку и писателю, а главное та простота, которая всеми чувствовалась, никакой не было фальши... И несмотря на горе, в моей душе останется навсегда чувство несказанной радости от того, что я увидала от людей...

Я тотчас написала Вере Николаевне. Послала ей несколько писем и в тревоге ждала ответа.

...Спасибо за ваши письма,— писала она мне 23 ноября.— Трудно привыкнуть, что его живого нет. Я не могу плакать, а потому, вероятно, еще труднее, тяжелее. Похудела, по утрам чувствую себя разбитой — сейчас жду доктора. Мне еще нужно жить — и для приведения дел Яна в порядок, и для увековечения его памяти.

...Живу я в кабинете, где жил и скончался Ян. На письменном столе, на камине, на стенах его портреты — не нагляжусь...

Ничто не могло сломить сильный дух Веры Николаевны. На восемь долгих лет пережила она Ивана Алексеевича. Эти годы были посвящены увековечению его памяти, устройству бунинских вечеров, переписке, постоянной помощи нуждающимся литераторам, заботой о Зурове, Олечке, Ляле.

Беспрерывно работала она над книгой «Жизнь Бунина», над своими воспоминаниями, «беседовала с памятью», как она говорила.

Переписка наша и краткие свидания в Париже продолжались. В каждом письме В. Н. вспоминает Ивана Алексеевича:

Двадцать третьего апреля, сорок восемь лет тому назад, отправились мы в путь вместе, а теперь я одна. Две недели тому назад был вечер «князя». Все довольны, а мне было тяжело, хотя атмосфера была на редкость дружеская...

Вот уж третья пасха, что я без него, сорок шесть пасок были вместе. Недавно видела его во сне. Испытала радость, а проснувшись, поняв, что его нет, почувствовала лютую тоску...

В день ее именин, который так любил И. А., она едет к нему на кладбище:

Там сидела у могилы. Был несказанно прелестный осенний вечер, но деревья еще зеленые. Лето прошло, но его, собственно, «не было». Я просидела безвыездно на «Яшкинской улице», и было хорошо.

В. Н. без устали работала над своей книгой о Бунине. 3 октября 1958 г. она писала:

Книгу обещают печатать, но можно ли верить? Не знаю. Пытка ожиданием надоела, но она учит терпению...

Но «пытка ожиданием» кончилась, и В. Н. пережила большую радость: в октябре вышла в свет «Жизнь Бунина». Я получила книгу в день рождения И. А. с надписью: «23 октября 1958. Моему дорогому Корси на память о нем и наших днях в Грассе. Автор Ника».

Последнюю открытку от Веры Николаевны получила я ровно за месяц до ее кончины. 3 марта 1961 г. она спрашивала:

...Будете ли весной в Париже, где тепло? Я сегодня надела свой серый костюм. Распускаются деревья. Небо безоблачное, синее... Пишу письма и «беседую с памятью», но мало. Слишком много всяких мелких — и хозяйственных, и общественных, и чужих дел,— и сил не хватает, а хочется только «беседовать»...

В этих строках вся Вера Николаевна. Жизнь ее была по-прежнему наполнена им, памятью о нем, но никогда не замыкалась она в свое личное, а принадлежала всем, кто в ней нуждался.

«Только сил не хватает»,— писала она. Сил, действительно, не хватило. Все знали о слабом ее здоровье, о том, что страдала она белокровием, постоянно лечилась, но никто не думал, что так неожиданно скоро придет смерть. Для многих это был жестокий удар. Какой-то свет погас, когда, после непродолжительной болезни, третьего апреля 1961 г. она скончалась.

Хорошо написано в некрологе, напечатанном через несколько дней после похорон, о ее неутомимой, неистощимой отзывчивости, о ее простоте, о ее доброте, о том «свете», который исходил от всего ее облика: «Не всем писателям посчастливилось найти в супружестве такого друга!» И дальше рассказывается о том, как бесконечно был Бунин благодарен своей жене, которую ценил «свыше всякой меры»: «Обо всем этом будет когда-нибудь рассказано обстоятельно. Прекрасный, простой и чистый образ Веры Николаевны встанет тогда во весь рост!»

Скоро исполнится пятнадцать лет со дня смерти Ивана Алексеевича, и кажется мне порой, что самое «исключительное произведение Бунина» — это его собственная жизнь: горячая, бурная, страстная, как грохочущий весенний поток, вся проникнутая и движимая «стихийными силами» и верою в «конечную победу добра».

Верной спутницей этого стремительного, ни на кого не похожего человека, была до конца его жизни «мудрым сердцем» все знавшая Вера Николаевна.

Февраль—апрель 1968 г.
«Карамзино» (Сен-Жак, Приморские Альпы)

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Петух на церковном кресте...» — Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 18.
[2] «Сон» — там же, т. 1, стр. 393—394.
[3] «Этой краткой жизни вечным измененьем...» — там же, стр. 450.
[4] «Мы рядом шли, но на меня...» — там же, стр. 447.
[5] «Как в апреле по ночам в аллее...» — там же, стр. 451.
[6] «Памяти друга» — там же, стр. 425.
[7] Рудольф Штейнер (1861—1925) — основатель так называемой антропософии. Развитие человечества Штейнер представлял себе как смену «культурных циклов», которых насчитывал пять: праиндийский, праперсидский, египетский, греко-романский, западноевропейский; в следующем, шестом цикле ведущая роль, по его учению, должна будет перейти к славянству во главе с Россией.
[8] О знакомстве Бунина с А. Жидом и его отношениях с ним см. в настоящ. книге сообщение Т. Л. Мотылевой «Бунин в споре с Андре Жидом».
[9] Выражение из рассказа «Капитал». — Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 444.

В. В. ШМИДТ

# ВСТРЕЧИ В ТАРТУ

Вера Владимировна Шмидт преподавала русский язык и литературу в одной из средних школ г. Тарту; с 1970 г. — на пенсии. В 1938 г. она была студенткой Тартуского университета. К этому времени относятся ее воспоминания, написанные для «Литературного наследства».

Иван Алексеевич Бунин приехал в Тарту 5 мая 1938 г. Он пробыл здесь шесть дней, в течение которых удалось видеться с ним и говорить, а одна встреча оказалась более продолжительной. О ней-то, главным образом, и хочется рассказать. Этой встрече предшествовала и даже определила ее до некоторой степени переписка — и, чтобы быть последовательной, начну с нее.

Первая открытка от 9 декабря 1937 г. пришла в ответ на посланный мною Бунину рассказ — о русской деревне, где я будто бы ночевала в сарае на сене, что было, конечно, выдумано, потому что ни в каком сарае, ни на каком сене спать мне тогда еще не доводилось. А по деревням мы ходили, записывая песни и зарисовывая постройки и утварь в целях фольклорной студенческой практики. Вот она, эта открытка:

Прочел, дорогая моя, «В дороге», но ведь это не рассказ, а просто крохотный набросок. Он очень мил, но судить по нем ни о чем нельзя. Желаю вам всего доброго — и, если хотите чего-нибудь достичь, долгой и упорной работы.

Ив. Бунин

9.XII.37.

Вспоминаю свою радость, восхищение при получении письма. Получить ответ от Бунина после разговоров о его «холодности» и даже «сухости» было и впрямь радостно. Молодое мое самолюбие не было задето: прямое и лаконичное письмо было попросту добрым. Это дало мне право написать еще: попросила карточку. С фото глянули на меня удивительные глаза, старое — с повелительно-нежным и горестным выражением — лицо; оно было мне знакомо по книгам и все же оказалось новым. Так вот он какой теперь... а где же то умиление жизнью, любовью, с которым он писал свои юношеские стихи, переводил «Гайавату»? Здесь уже что-то другое в лице. Но на обороте карточки были слова, тронувшие меня опять добротой, нежностью. Приписка: «Я, может быть, буду скоро в ваших краях»,— помню, даже не очень удивила меня. По молодости, по какому-то внутреннему убеждению верилось, что встреча непременно состоится и я во что бы то ни стало увижу Бунина.

Весна в тот год выдалась затяжная, холодная. В конце апреля все еще было совершенно голо, сизо, пасмурно, пригорки едва зеленели. Время, казалось, застыло, как обрывки дождевых туч с их пепельно-седыми краями, которые к закату становились прозрачно-золотистыми и таинственными, как все кругом: сады, березы, мрачно-красные развалины на горе с их выщербленными стенами и готическими окнами библиотеки. Когда ждешь и веришь, а никто этого не знает (ну, почти никто!), тогда бродится особенно хорошо, особенно жадно смотрится, и запоми-

наются вещи и оттенки вещей тоже какой-то особой — как бы один раз дающейся тебе — памятью.

Между тем слухи о приезде Бунина в Тарту подтвердились, и теперь уж только и было разговору среди читающей публики что об этом. Даже те, которые называли его «холодным» и «рассудочным» и предпочитали ему мистического Мережковского, не могли скрыть своего интереса и волнения по поводу приезда Бунина.

В первых числах мая я получила от него письмо из Риги:

30 апреля 38 г.

Дорогая моя татарка,— мне это в вас тоже очень нравится,— я буду в Tartu, вероятно, 6 мая, в 2 ч. 40 м. дня. Если придете в этот час на вокзал, подойдите ко мне и назовите себя,— я ведь вас в лицо не знаю. Тогда условимся, где и когда мы с вами посидим, поговорим.

Будьте, пожалуйста, здоровы.

P. S. Вспоминаю с большим удовольствием ваше последнее письмо ко мне,— оно было очень хорошо, а я на него не ответил, и вы, верно, были обижены (как видите, напрасно).

Наконец, 5 мая он приехал. Приехал на день раньше намеченного срока, но делегация от русского общества успела его встретить и была огорчена его небрежным и — как говорили — совершенно равнодушным к приготовленной встрече отношением...[1] Бунин сказал, что устал, и просил тотчас везти его в гостиницу, что, конечно, и было сделано (хотя многих обидело его поспешное желание отделаться от встречавших). Все это узналось позже. В день приезда, уже к вечеру, подруга, вызвав меня с экзамена французского языка, вручила мне записку, писанную бунинской рукой:

Милая Вера, я послал вам в 6 часов записку — вас не было дома. Если вы сейчас дома и можете со мной повидаться, приезжайте с такси, с которым я посылаю эту записку. Я сижу в ресторане «Kuld-Lõvi».

Прочла и, схватив пальто, выбежала из аудитории. Ресторан «Kuld-Lõvi» в двух шагах. Через несколько минут спускаюсь по ступенькам и вхожу в просторную, как бы сумеречную, низковатую комнату и у крайнего столика, справа, под окном, вижу Бунина. Вижу старого, усталого человека, чем-то будто слегка озадаченного, словно недовольного, который легко поворачивается и — как бы узнавая — зорко смотрит на меня. Да — первое впечатление: зоркость и простота (не простодушие!); перед ним не надо и нельзя притворяться, он все равно увидит все, что ложно. Однако, какой же он старый — горькие морщинки вокруг рта, мешки под глазами. Но это впечатление проходит, как только начинаем разговаривать, и он, со своей удивляющей меня добротой, не замечая ни моих красных щек, ни первой растерянности, ни сбивчивости моего рассказа, расспрашивает, откуда я так стремительно прибежала. Что еще там говорилось, не помню,— помню, что играла громко музыка в соседнем зале, и я прислушивалась к ней, смутно сознавая необычность этой встречи и думая, что неужели так этим и кончится и я ничего, ничего так и не выскажу, кроме этих общих малозначащих фраз. Но он знал это, видел. Тут же условились, что на завтра (в 3 часа пополудни) я приду в «Grand-Hôtel», где он остановился, со всем своим писанием: «Вот тогда посидим, поговорим».

Общество русских студентов[2], куда Иван Алексеевич пришел в тот вечер (часу в восьмом), было тоже близко — в доме, что теперь по ул. Кингисеппа № 8, и там уже ждали его. Собрались студенты, представители от почетных членов Общества, но особенно многолюдно не было. Правда, ждали с интересом появления в скромной нашей студенческой квартире

знаменитого писателя, но встречи — такой, как большинство собравшихся представляло себе,— не получилось. Бунин сидел в кресле у стены среди дам и студентов, частью обступивших его, частью глядевших на него с другого конца комнаты,— кто сел на окно, кто прислонился к дверному косяку,— сидел с тем усталым и скучающим видом, в том нерасположении к разговорам, которым он удивил уже встречавших его людей. Он даже сбивал с толку манерой задавать вопросы или делать свои замечания: «Ну можно ли с такой бородой ходить, ведь ни на что не похоже!» (про уважаемого профессора, нашего почетного члена, портрет которого висел в столовой на стене). Было в нем в тот день и что-то очень грустное, даже застенчивое, что он будто пытался скрыть... какое-то недовольство собой: «Ну, приехал, пришел в гости — а вы-то любите ли меня?».

Не дождавшись чаю, он поднялся, уверяя, что чаю по вечерам не пьет. Тут уж я не выдержала и выскочила из соседней комнаты, где пряталась (из каких — уж не могу теперь сказать — соображений), прямо к нему на глаза. Он понял, сказал только: «Проводите меня до гостиницы, тут ведь недалеко, дойдем пешком». И вот мы вышли на тихую, весеннюю, полную белых сумерек улицу, завернули за угол, медленно пошли мимо ратуши, мимо Гостиного двора, через зеленый только еще кустами Барклайский садик, вышли на Обводную (теперь Валликраави). Во мне все остановилось от внимания, от мысли, что иду с Буниным, — я не находила никаких слов для разговора. А он идет, видимо, наслаждаясь этой северной, светлой спускающейся ночью, этим тихим, малолюдным к вечеру городом, всем, что есть в нем чужого и нового. И вдруг:

— Посмотрите, извозчик с дугой!

Это меня удивило.

— А как же, Иван Алексеевич, разве можно запрягать без дуги?

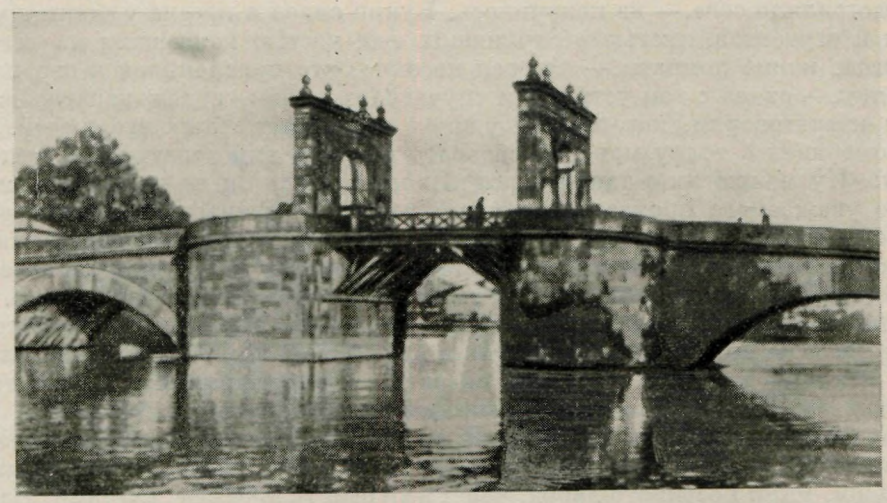
— Запрягают же. Там, во Франции, не увидите, чтобы извозчик с дугой.

Я начала спорить, уверяя, что лошади в одном хомуте тяжелее, потому что не понимала тогда его внимания к этим вещам. Бунин на это сказал (почему-то мне это запомнилось):

— Не знаю, тяжелее ли ей. Но извозчика с дугой я только в России видел. Давно.

Сказал не мне, а самому себе. А у меня сердце сжалось — не от жалости, а от какого-то другого, более пронзительного чувства. И опять он молчит и идет рядом, прямой, стройный, молодой еще всем своим существом, чем-то странно наполненный и такой одинокий.

Помнится, приезд Ивана Алексеевича в Тарту вызвал различные толки. Говорили и судили настолько разно, что трудно было по этим разговорам составить себе о нем достаточно ясное представление. Одни указывали на его небрежность в обращении, другие называли его надменным, остроумие его тонким, повторяли брошенное им словечко — bon mot знаменитого человека; третьи — а этих было меньше — говорили, что сам по себе он прост, но раздражителен, как бы неучтив. «Помоги ему — и он повернется к тебе своей хорошей, душевной стороной». Привожу эту строку из письма ко мне Марии Владимировны Карамзиной (покойной), которую считаю в числе друзей Ивана Алексеевича. Между ними была очень живая переписка [3], Бунин посылал ей вырезки из газет, отрывки печатавшихся в Париже его произведений, интересовался ее мнением. Хочется упомянуть о Карамзиной — человеке с большим литературным дарованием, которое признавал Иван Алексеевич (он содействовал выходу в свет ее сборника стихов «Ковчег»),— именно в связи с пребыванием Бунина в Тарту, где они и познакомились. Раньше они были знакомы только по письмам. Мария Владимировна бывала в тех домах, куда был зван приехавший писатель. Она рассказывала мне



ТАРТУ. КАМЕННЫЙ МОСТ
Открытка, 1920-е годы
Собрание В. В. Шмидт, Тарту

потом, как он очень сердился, когда его «обхаживали» как лауреата, смотрели ему в рот и ловили его движения; как он не хотел этого — и, как только с ним заговаривали просто, становился тоже прост, весел и даже добр. Был он таким и со мной.

Особенно запомнилась мне эта его черта обхождения во второй день по приезде, когда я пришла к нему со своим, как он называл, писанием.

Мне ни тогда, ни после не пришло в голову записать хоть часть этой встречи. Значительность ее была ясна мне и тогда, но — думалось — и так буду помнить. Однако помнится только общее, да и то весьма немногое. Правда, я об этом потом много думала, вспоминала, говорила с той же Марией Владимировной — поэтому, может быть, некоторые вещи и помню так отчетливо. Большая, светлая комната с окнами на парк, во втором этаже. Посередине стол. На том конце стола, лицом к окну, Бунин со своим хотя печальным, но отдохнувшим и помолодевшим лицом. Он в халате, за стаканом чая. Иногда взглядывает в окно, откуда видна горка и перила по ней и темные голые клены по холму. Он спокойно слушает, как я читаю по своей тетрадке, сбиваясь и краснея; изредка что-то говорит, что до меня доходит позже.

Помню, как мне сделалось стыдно какого-то очень уж слабого места: почувствовалось по молчанию Ивана Алексеевича,—он так особенно молчал. «Скверно»,— подумала я и закрыла тетрадь. Он понял — и не стал разубеждать. И того, что я ожидала, не случилось, т. е. что он встанет, подойдет ко мне и скажет: «Вы очень талантливы. Пишите. Из вас выйдет...» и т. д. Но то, что он слушал, заставлял еще читать (прочла ему два рассказа и несколько стихотворений), давало мне какое-то право на что-то надеяться.

И еще, насколько помню, Бунин о себе ничего не говорил или говорил очень мало. На мои слова, что мне очень трудно переделывать и переписывать заново, он сказал: «А я много жгу».

Еще поразил он меня своей памятью. Помню, я призналась, что мне в жизни чего-то недостает, хочется особенного, некаждодневного. Иван Алексеевич на это заметил:

— А-а, это как в ваших стихах...

И он совершенно серьезно прочел две строчки из моего стихотворения, которое я задолго до того послала ему в Париж:

Проходит жизнь журчаньем чуть приметным,
А я молюсь: «Громам меня отдай!»

Было три часа пополудни, когда я пришла в Гранд-Отель, а ушла в шестом часу. Помню ясно из всего разговора (говорили о книгах, об эмигрантских писателях, о Сирине, о котором Иван Алексеевич, к моему удивлению, отозвался совершенно равнодушно [4]), помню ясно две вещи, которые поразили меня сильней всего. То, что он сказал, приводя место из «Казаков» Толстого:

— Так, как он, мне ни за что не написать.

— Вы помните,— говорил он дальше,— как Устенька нарвала зеленых веток, навесила их на арбу, как они лежат в прохладной тени их, разговаривают о своем и хохочут. И все это: сбор винограда, казаки, горы... Какая в этом жизнь...

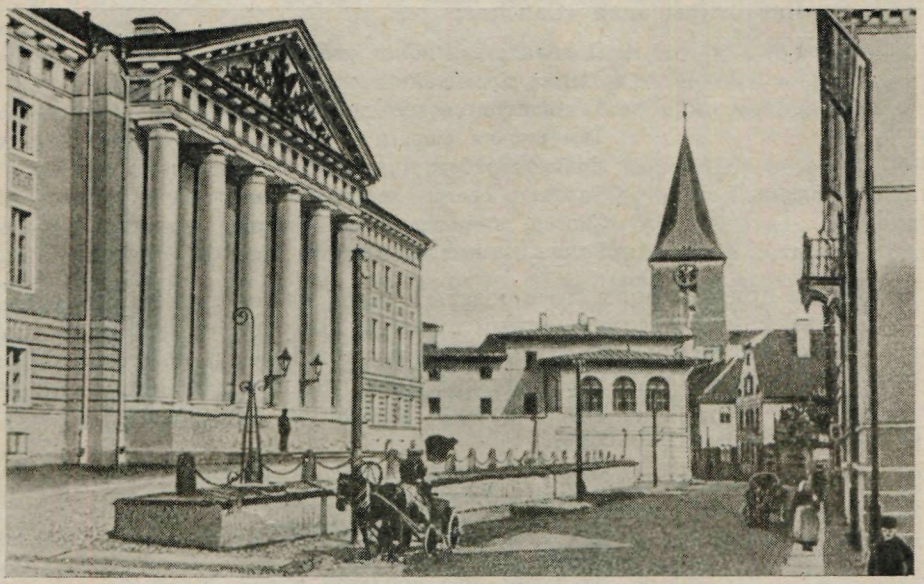
Его любовь к Толстому, детская, восторженная, такая удивительная в старом писателе, поразила меня. Всю жизнь перед ним был тот, до которого ему все равно не достать, как бы и сколько бы ни писал,— он так и сказал тогда об этом.

Позже я нашла это место по книге — начало XXX главы — и еще раз вспомнила, как Бунин сказал: «И как это по-настоящему».

Надо было уходить. Мне казалось теперь, что я зря пришла со своими сочинениями, сижу тут и задерживаю человека, который столько сделал на писательском пути — а все еще считает себя недостаточно сильным. Уныния своего я не умела скрывать. Бунин со своей строгой зоркостью заметил это, но утешать и напутствовать не стал... это значило бы еще больше обидеть. А я смотрела на его темно-желтый халат и думала: «Вот уйду — и кончится наше знакомство».

Но оно все же не кончилось и продолжалось еще довольно долго.

Вдруг Иван Алексеевич спросил меня:



ТАРТУ. УНИВЕРСИТЕТ
Открытка, 1920-е годы
Собрание В. В. Шмидт, Тарту

— А вы любили?

— Нет,— отвечала я,— увлекалась, да.

— Вы чувствительная. Полюбите — и будете мучиться. Я тоже был такой... И много мучился.

И это признание меня очень удивило. На грустную его сторону я тогда как-то не обратила внимания, а вот слова: «Я тоже был такой... мучился» — помню и до сих пор. Не было ли следом этих мук — душевных, юношеских — все то грустное, что связано в его рассказах и больших вещах с любовью... а почти всё, до последних его вещей, наполнено любовью и грустью. Но мне тогда казалось главным то, что выходит — мы с ним в чем-то схожи. «Значит, он полагает, что и мне надо все это испытать»,— смутно думалось мне, и это как-то утешало меня в том, чего Бунин тогда прямо не сказал, что из моих попыток писать выйдет что-либо путное.

В предпоследний раз видела я его в театре «Ванемуйне» на «чтении», как он сам назвал свое выступление в открытке, неожиданно полученной мной:

Милая Вера, все время был занят — посетители и всякие свидания — не мог повидать вас еще раз. Будете ли завтра вечером на моем чтении? Если да, зайдите ко мне в антракте за кулисы. А дома я буду завтра от 2-х до 4-х дня: забегите, если можете.

Поклон вашей маме.

Вечер 8 мая.

Эта открытка ужасно меня обрадовала, и я побежала к двум часам следующего дня опять к нему (но уже без тетрадей) — и видела Ивана Алексеевича только в спину, мельком. Он проходил с какими-то мужчинами по вестибюлю в зал и приостановился в дверях, пропуская кого-то. Я заметила тогда в первый раз, что он небольшого роста. Хотелось мне подбежать, но портье за конторкой смотрел так строго, что пришлось уйти.

Помню, что в эти дни, когда Бунин был еще в Тарту, а я не могла его видеть, я читала его стихи в томиках марксовского издания, и все почему-то мне открывался «Сапсан»:

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.
Воловьи ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космоногий,
Готовый взвиться каждый миг.

Никто из принимавших его в богатых домах не говорил на таком языке. Это язык самый русский, самый простой. Он унес от него ключ с собой — за то, что не потерял этого ключа на чужбине, и надо его благодарить. Но кто из тех, кто сейчас с ним, помнит сапсана, сидящего на воловьих ребрах, и эту снежную морозную ночь, такую русскую в своей печали и одиночестве?

Когтистый след в снегу глубоком
В глухие степи вел с гумна.
На небе мглистом и высоком
Плыла холодная луна.
За валом, над привадой в яме
Серо маячила ветла.
Даль над пустынными полями
Была таинственно светла.

И каким надо быть особенно чутким, иметь особый дар зрения и слуха, особый дар любить и понимать эту простую красоту степи, ночи, сапсана, волка, Сириуса... чтобы так все описать! Помню эти свои мысли и чувства именно потому, что я их не умела тогда никому высказать. Да и не было в том нужды: все, что говорится о человеке при его жизни, гораздо мельче и ненужнее того, что скажут потом.

9 мая, вечером, Бунин читал свои рассказы в театре «Ванемуйне» перед тартуской публикой. Народу было полно. Нам пришлось тесниться и стоять у стен, молодежи было много — русской, эстонской, немецкой. Бунин вышел с книгой в руках, сдержанно ответил на приветствия, сел к столу. Первым прочел он «Кавказ». Почему он его выбрал? Он написал его за шесть месяцев до приезда к нам [5]. Бунин думал, что этот рассказ еще до нас не дошел, но он уже незадолго до того появился в «Современных записках» в нашей библиотеке. Всего три страницы. Взволнованно и стремительно пишет Бунин здесь о любви, но разве только о любви? Здесь вся Россия, все, что он больше всего любил в ней,— Москва, дорога на юг, степь... все, что он видел много раз, проезжая этой дорогой к морю: «Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...».

Бунин читал при полной тишине и напряженном внимании слушателей. Еще и потому, что в зале было так много нерусской публики, чувствовалось, как напряженно слушают каждое слово. А для нас, кто еще не видел России, это и была она — с ее запахами и голосами, дорогами и селами, горами и морем. Читал он прекрасно. На сцене казался выше своего роста благодаря стройности и худобе. После «Кавказа» прочел «Толстого».

«Я чуть не с детства жил в восхищении им».— При этих словах мне сразу послышалось: «Нет, так мне ни за что не написать».

Бунин пропустил при чтении только то место, где он говорит о сходстве Толстого с его отцом: « ... меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом».

И хотя прошло с того памятного вечера столько лет, как сейчас вижу его перед собой — в темном костюме, с серебром седины — и слышу его сильный, без напряжения, голос, который свободно доходит до последнего ряда:

«Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом,— сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад?»

В антракте пошли за кулисы: подруге хотелось бунинский автограф, а мне — еще раз посмотреть на него. Бунин сидел один, перед столиком, как обычно сидят артисты перед выходом на сцену, но в лице не было ничего актерского — оно было человечески просто и строго. Он заулыбался нам, тому, что мы обе покраснели вбежав, но видно было, что он сам под впечатлением того, что прочел. При свете ярких лампочек с двух сторон зеркала лицо его было смугло и бледно — с каким-то пристально углубленным в себя вниманием... он словно жил еще тем,

что только что читал. Мне показалось неудобным говорить сейчас с ним, и мы ушли. Вернувшись на сцену, Бунин стал у самой рампы и рассказывал о Шаляпине (с которым был знаком в России и виделся в Париже). Но на этот раз я так плохо слушала, что почти ничего не запомнила, кроме того, что однажды, при их встрече еще в Москве, Федор Иванович внес Бунина на руках на третий этаж гостиницы.

Рассказ был очень живой, в публике смеялись, а мне почему-то все представлялось, как он сидел один в артистической уборной, перед зеркалом, со своим скорбным лицом и острыми, во что-то свое строго глядящими глазами.

10 мая, день отъезда. Пасмурно, довольно сильный ветер. На вокзале кучка людей, собравшихся проводить Бунина. Он едет в Таллин, откуда через два дня Балтийским экспрессом — в Париж. В этот день Бунин обедал у Клавдии Николаевны Бежаницкой (известного в нашем городе врача); с этого обеда в небольшой группе провожающих он и пришел на вокзал. В ожидании поезда Иван Алексеевич ходит по перрону, один, а мы, остающиеся, стоим кружком поодаль. Среди провожающих: Клавдия Николаевна, Тамара Павловна Лаговская (теперь Милютина), а также помню В. В. Булгарину и Л. А. Курчинскую (у них обеих он побывал) [6], Б. В. Правдина (доцента нашего университета). День не солнечный, ветер рвет шляпу с головы, я поддерживаю ее рукой и смотрю на Ивана Алексеевича, ставшего уже чужим и далеким в своем темно-сером парижском пальто и со своим уже безразличным, как мне кажется, по отношению к нам видом. О чем он думает? Ведь вот он уедет отсюда, быть может, навсегда, и я никогда больше не увижу его. И в эту минуту, помню, сделалось так жаль, что теряю его — живого, настоящего Бунина.

Меж тем, поезд подали. Внесли в вагон чемодан Ивана Алексеевича; в вагон поднялась высокая красивая дама, Карамзина (мы тогда еще не были знакомы с ней), — счастливица, едет с ним до Тапы! Подходим, прощаемся. Обычные слова. Вот все-таки улыбнулся. И вот уж он на площадке вагона... Не знаю, как это случилось, но я оказалась наверху, на площадке, около него в тот момент, как поезд трогался. Хотелось сказать, что очень его люблю, а сказала только: «Иван Алексеевич!» Он наклонился и крепко, бережно поцеловал меня в щеку.

А потом я бежала и махала платком в окно. Потом стояла, пока поезд не скрылся из виду. Потом шла парком, удивляясь, что не замечала эти дни, как клены уже совсем распустились. А они распустились — и всюду была мягкая, свежая, светло-зеленая листва.

Тарту, 1967

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] 6 мая 1938 г. газета «Postimees» сообщила: «Вчера с послеобеденным рижским поездом прибыл в Тарту русский писатель, лауреат Нобелевской премии, Иван Бунин. На вокзале его встречали: писатель Фр. Туглас, лектор Б. Правдин, В. Булгарина, дир. Соколов и другие местные общественные деятели, студенты и т. д. Выступление И. Бунина состоится в понедельник в 8 час. вечера в „Ванемуйне", где он расскажет о своих встречах с Толстым, Горьким, Чеховым, Куприным и др.»

[2] Общество русских студентов при Дерптском (ныне Тартуском) университете — беспартийная организация, ставившая своей целью помощь нуждающимся студентам.

[3] Письма Бунина к М. В. Карамзиной публикуются в настоящ. томе, кн. 1.

[4] *Сирин* — псевдоним писателя В. В. Набокова (см. о нем и отношении Бунинак нему настоящ. том, кн. 1, стр. 49—50).

[5] Рассказ этот имеет авторскую дату: 12 ноября 1937 (Собр. соч. 1965—1967, т. 7, стр. 12—16).

[6] В. В. *Булгарина* — см. настоящ. том, кн. 1, стр. 680. Л. А. *Курчинская* — жена профессора М. А. Курчинского.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

# ПИСЬМА БУНИНА к В. В. ШМИДТ 1938—1944

В. В. Шмидт получила от Бунина 14 писем. Ниже публикуются семь из них. Четыре письма (от 9 декабря 1937 г., 30 апреля, 5 и 8 мая 1938 г.) включены в текст ее воспоминаний (см. выше, стр. 331, 332, 336), три (открытки от 24 апреля, 30 мая и 12 сентября 1938 г.) опускаются ввиду незначительности их содержания.

Все письма хранятся в личном архиве В. В. Шмидт (Тарту).

1

⟨Париж, 24 января 1938 г.⟩

Получил нынче ваше отличное письмо — милое и горячее. Пришлите мне вашу карточку и напишите подробно о себе: сколько вам лет, что вы делаете — учитесь? — чем думаете быть, есть ли у вас семья, русская ли вы или нет, пишете ли что-нибудь и т. д.

Ив. Бунин

24.I.38

P. S. Я, может быть, буду скоро в ваших краях.

Второе письмо Бунина В. В. Шмидт (первое — см. выше, стр. 331). Написано на обороте фотографии с надписями: «Ноябрь. 1937. Париж»; «Вере Шмидт — Иван Бунин» (такая же фотография была послана Н. Д. Телешову 15 сентября 1947 г.— см. настоящ. том, кн. 1, стр. 633).

Место отправления устанавливается по почтовому штемпелю: «Paris. Rue Singer. 1938».

2

25 Av. de Villaine, Beausoleil. A. M., France.

⟨6 марта 1939 г.⟩

Моя дорогая, милая Верочка, получил в свое время ваши письма и стихи, да был так занят, что все откладывал ответ, а потом уехал в Париж, где печаталась моя новая книга, а потом хворал, вернувшись сюда, и вот только теперь пишу. В стихах ваших, несмотря на всю их невразумительность, есть что-то настоящее, поэтическое, письма ваши были очень интересные — вы умница и многое отлично чувствуете... Целую вас сердечно и прошу написать мне, как вы теперь живете, что делаете, что пишете. Думаю, что вы теперь стали уж совсем «большая» (и боюсь, что влюблены в кого-нибудь). На днях выйдет эта моя книга и я пошлю вам ее.

Поклонитесь маме.

6 марта 1939 г. Любящий вас Ив. Бунин

3

⟨Грасс, 8 июня 1939 г.⟩

Милая Верочка, я теперь на юге — Villa Belvédère, Grasse, A. M., France. Сравнительно недавно приехал из Парижа, где был болен. Письмо ваше от 15 марта получил давно. В стихах, что при нем приложены, много, к сожалению, чего-то общего, чужого. И мало простоты,— особенно к концу: «И я позорно к песням пригвожден... Но жду — во тьме глухой мне скажет Он...». Это пустословие. И кто это — загадочный «Он»? Не обижайтесь, дорогая моя, и займитесь стихами как следует, не губите талантливости своей. Целую вас и желаю всех благ.

Ив. Б.

8.VI.39.

4

⟨Грасс,⟩ 11. X. 39

Милая Верочка, нынче получил ваше письмо — целую вас за все его отличные качества. Кланяюсь вашей маме — и да хранит бог вас обеих. Если можете, уезжайте непременно куда-нибудь — в Данию, в Швецию. Мы застряли в Грассе, живем на даче англичан, уехавших на родину. Рад, что пишете, что работаете. От всей души желаю счастья вашей молодости и вашим способностям. Пишите мне *открытки*.

Ив. Бунин

Место отправления определяется по обратному адресу на конверте: «Exp. I. Bounine. Villa „Jeannette". Grasse. A. M.»

5

⟨Грасс, 23 февраля 1940 г.⟩

Милая Вера, в стихах два недостатка: уж очень немузыкально и очень под Блока. Пишите себя, свое, простое, то, чем больше всего живете дома, на улице, в мечтах, за книгой, в жажде любви...

И напишите мне, что делаете, где работаете?

Целую вас, кланяюсь маме.

23.II.40 Ив. Б

Место отправления определяется по обратному адресу на обороте открытки: «I. Bounin. Villa „Jeannette". Grasse. A. M.»

6

⟨Грасс⟩, 15 декабря 1943 г.

Дорогая, милая Верочка, и я вас помню и люблю, и потому ваше письмо получил с истинной радостью — и, конечно, с большим удивлением — точно с того света письмо! (И какое прекрасное во всех смыслах!). Рад и тому, что вы с мамой и братом целы и благополучны, живы и здоровы. Что до нас с Верой Николаевной (которая очень тронута вашими словами о ней и шлет вам самые лучшие пожелания), то мы только живы пока — Вера Николаевна стала так бледна и худа, что смотреть страшно, я так слаб, что задыхаюсь, взойдя на лестницу: пещерный сплошной голод, зимой — нестерпимый холод, жестокая нищета (все остатки того, что было у меня, блокированы за границей, со всеми моими издателями я разобщен, заработков — никаких) и дикое одиночество: вот уже три года, даже пошел четвертый, сидим безвыездно в Grasse'е — куда же теперь выедешь! Написал я за это время все же целую новую книгу рассказов, пишу и сейчас понемногу — и все только для ящиков письменного стола! А вы — ужели совсем забросили писание? — Вы об этом ни слова не пишете.— Очень благодарю за вести о милой и несчастной Марии Владимировне.

Даст ли бог встретиться? Если бы дал! Целую вас от всей души, целую руку мамы.

Ваш Ив. Бунин.

P. S. Напишите еще как-нибудь.

7

⟨Грасс,⟩ 7.4.44.

Милая, дорогая Вера, получил ваше второе письмо и опять очень тронут им, благодарю и целую вас сердечно. Пережили месяц большой тревоги — нас, иностранцев, хотели выкинуть из Alpes Maritimes, но пока не трогают. Если переедем в Париж, извещу вас. А пока да хранит вас бог. Не забывайте меня, хоть изредка извещайте, что вы и как. Поклонитесь от меня вашей маме.

Ваш Ив. Бунин[1]

[1] Это письмо дошло до адресата только в 1958 г. из Парижа.

Н. В. КОДРЯНСКАЯ

# ВСТРЕЧИ С БУНИНЫМ

Наталья Владимировна Кодрянская — писательница. Живет в Париже. Печатается с 1940 г. Автор книг: «Сказки» (1950; с предисловием А. М. Ремизова. Илл. Н. Гончаровой), «Глобусный человечек» и «Золотой дар» (1964). Ее книга «Алексей Ремизов» (Париж, 1959) включает воспоминания о писателе, его письма, дневники и рисунки. Н. В. Кодрянская передала в СССР письма Бунина и другие материалы своего архива. Хранившаяся у нее часть обстановки из парижской квартиры Буниных поступила по ее желанию в Музей И. С. Тургенева в Орле.

Публикуемые воспоминания написаны для «Литературного наследства».

«Хотите я познакомлю вас с Буниным?» — как-то сказала мне Галина Николаевна Кузнецова. Познакомиться с Иваном Алексеевичем было для меня большим событием. Из современников он был мне ближе кого-либо другого.

С первой же встречи с Иваном Алексеевичем, в 1937 г., у нас установились дружеские, полушутливые отношения. Но это не мешало мне чуть-чуть побаиваться его, и при встрече с ним я часто робела.

Вера Николаевна не раз с улыбкой говорила мне: «Почему вы боитесь Ивана Алексеевича? Он совсем не страшный — лучше устройте так, чтобы он вас боялся». Но я никак не могла привыкнуть к резким переменам в его настроении. Было несколько Буниных: один простой в обращении, очаровывавший с первого слова,— таким я его любила. А надменный, резкий, пусть резкий и не со мной, но при мне с другими,— такой Иван Алексеевич был мне чужд. Но все стушевывалось перед его душевной нежностью. Особенно я ее почувствовала, когда умерла моя мать. Это было уже после войны. Я зашла к Буниным. Иван Алексеевич был дома один. Он уже знал о моей потере. Усадив меня рядом с собой, он взял мою руку в свою и долго молчал. В этом молчании, в этом тихом пожатии руки было столько сочувствия к чужому горю, что все те слова, которые обычно говорятся в таких случаях, показались бы ненужными, заставлявшими втайне краснеть.

Через несколько дней после моего знакомства с Буниным я узнала, что Иван Алексеевич, Галина Николаевна Кузнецова и Марга Августовна Степун собираются на юг, в Грасс, где их уже ждет Вера Николаевна. На предложение Галины Николаевны поехать с ними я с радостью согласилась. Наняв русского таксиста, мы рано поутру выехали из Парижа. Эта поездка осталась в моей памяти связанной с необыкновенно высоким синим небом, с быстро несущимися мимо нас пейзажами. Живописно расположенные деревушки сменялись полями. Огромные тенистые леса напоминали Ивану Алексеевичу Россию. Он в духе, весел, разговорчив. И вдруг я вспоминаю, как знакомый журналист перед самым отъездом из Парижа посоветовал мне записывать все, что будет говорить Бунин, чтобы когда-нибудь этим материалом воспользоваться. Мне это до того кажется чудовищным, что я тут же все, что говорил Иван Алексеевич, стараюсь забыть. Такое отношение к Ивану Алексеевичу у меня осталось на всю жизнь.

Теперь, на расстоянии стольких лет, когда Бунина нет, я понимаю, что была, пожалуй, не совсем права, но иначе поступить я не хотела и не могла!

Переночевав в каком-то небольшом провансальском городке, мы снова двинулись в путь. В Грасс приехали вечером, когда на небо еще не вышли все звезды и длились темные сумерки.

На пороге дома, с зажженной лампой в руке, освещавшей снизу вверх милое, приветливое лицо и стройную фигуру, нас встретила хозяйка дома — Вера Николаевна. В Грассе я пробыла недолго. Иван Алексеевич часто ездил в Канны, а то и в Ниццу, где у него были друзья. В такие дни, возвращаясь домой, он бывал в особенно хорошем, приподнятом настроении. При встрече с нами он обычно останавливался, чтобы перекинуться двумя, тремя словами: «Ну что, барышни, все гуляете?» («барышнями» называла всех дам Олечка Жирова, любимица Буниных, гостившая у них со своей матерью).

Подымался Иван Алексеевич в гору на дачу легко, как молодой. В руках обычно были пакетики с закусками, бутылка вина. И хотя он ни в чем не был схож с чеховским Гаевым из «Вишневого сада» (эту чеховскую пьесу Иван Алексеевич особенно не любил), все же своей беззаботностью в эти моменты мне его напоминал.

По возвращении Буниных в Париж я и муж стали у них бывать часто.

Война нас разлучила на долгие годы. Мы жили в Америке. Вести о Буниных доходили до нас редко. И вести были печальные. По окончании войны мы снова стали бывать в Париже, где оставались порой довольно долго, и добрые наши отношения с Буниным укрепились.

Иван Алексеевич в разговорах со мной не раз касался других писателей — нередко и советских. Прочитав впервые «Корчму на Брагинке» К. Паустовского, которая очень пришлась ему по душе, он тут же послал Константину Георгиевичу открытку: *

«Дорогой Собрат, я прочитал ваш рассказ „Корчма на Брагинке“ и хочу вам сказать о той редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа („под занавес“), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы. Привет, всего доброго! Ив. Бунин. 15.IX.47».

Восхищался Иван Алексеевич и «Василием Теркиным» Твардовского, говорил также о других советских писателях, с которыми встречался в Париже. Передавать всего я не буду, да не все и запомнила.

Очень одобрительно, очень дружественно отзывался о М. А. Алданове. Высоко ценил Льва Шестова. Статью Шестова «Творчество из ничего», написанную очень давно под впечатлением смерти Чехова, он считал самым верным и проницательным из всего, что сказано было о Чехове до наших дней.

Я дружила с А. М. Ремизовым и, естественно, меня особенно интересовало то, что Иван Алексеевич говорил о нем. К сожалению, суждения его об Алексее Михайловиче и как о писателе, и как о человеке неизменно вызывали во мне тягостное чувство. Впрочем, должна признаться, что и Ремизов относился к Бунину отрицательно, хотя по мягкости и терпимости своей натуры до такой резкости, как Иван Алексеевич, никогда не доходил.

Если бы судить только по шутливой надписи, сделанной Буниным Ремизову на своей, подаренной ему в 1946 г. книге «Божье древо», то личные их отношения могли бы показаться неплохими (факсимиле этой надписи см. на стр. 345).

Но хулили они друг друга в глаза и за глаза и знали почти все, что один говорил о другом, что, впрочем, не мешало им встречаться.

---

* Текст этой открытки, как любезно сообщила мне Татьяна Алексеевна Паустовская, был тогда же переписан Константином Георгиевичем в свой дневник. Факсимиле открытки см. в настоящ. книге, на стр. 405.

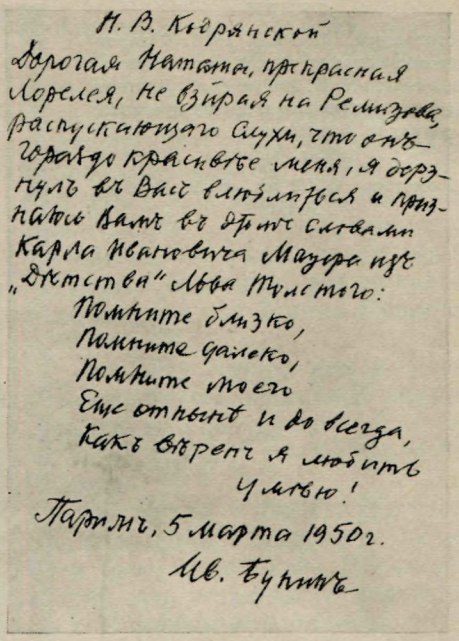
БУНИН

Фотография. Москва, 1903. С дарственной надписью: «Ив. Бунин. Москва, 1903 год»; «*Н. В. Кодрянской*. Дорогая Наташа, целую вас и прошу простить: подурнел я немножко за полвека! 1953 г. Париж»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Чем дальше шли годы, тем нетерпимее и придирчивее становился Бунин к творчеству Ремизова. Бунин считал и не раз об этом говорил, что утверждение Ремизова, будто все мы теперь пишем испорченным русским языком, неверно. Мнимую «порчу» Бунин называл упорядочением, очищением, окончательным установлением. А попытки Ремизова писать так, как писали до Петра, или уловить разговорный «живой» склад речи того времени считал неосуществимыми, а главное ненужными. Было еще и другое. Ремизов вел свою родословную от Гоголя. Гоголя Бунин недолюбливал и не только Ремизову, но и мне не раз говорил, что Гоголь — «лубок». Смущало Бунина и то, что было в Гоголе уклончивого, хитрого и двоящегося. Он признавал, конечно, великое дарование Гоголя, но считал, что основное свойство русской литературы — правдивость и что научил ее этому не Гоголь, а Пушкин и Толстой. Да и Ремизов, который раньше только усмехался на нападки Бунина, стал воспринимать их болезненно. В 1951 г. произошел неожиданный и нелепый случай, который навсегда их разъединил и усилил их взаимную неприязнь.

Иван Алексеевич все больше лежал тогда в постели. Раз в неделю, по четвергам, у Буниных собирались, как и в прошлые годы, писатели, поэты, друзья, иногда бывали и приезжие из других стран. И вот однажды вечером я с мужем, перед тем как поехать на бунинский прием, заглянули к Ремизову, а на вопрос его: «Почему мы спешим?» — сказали, что мы и так опаздываем к Буниным. Алексей Михайлович оживился: «А что, если я с вами поеду?» Мы были этому очень рады, так как считали, что их разногласие было делом чисто литературным, профессио-


Н. В. Кодрянской
Дорогая Наташа, прекрасная Лорелея, не взирая на Ремизова, распускающаго слухи, что онъ гораздо красивѣе меня, я дерзнулъ въ Васъ влюбиться и признаюсь Вамъ въ этомъ словами Карла Ивановича Мауера изъ „Дѣтства" Льва Толстого:
Помните близко,
Помните далеко,
Помните моего
Еще отнынѣ и до всегда,
Какъ вѣренъ я любить умею!
Парижъ, 5 марта 1950 г.
Ив. Бунинъ

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА НА СБОРНИКЕ «ИЗБРАННЫЕ СТИХИ» (Париж, 1929):

«Н. В. Кодрянской. Дорогая Наташа, прекрасная Лорелея, не взирая на Ремизова, распускающего слухи, что он гораздо красивее меня, я дерзнул в вас влюбиться и признаюсь вам в этом словами Карла Ивановича Мауера из „Детства" Льва Толстого: Помните близко,/ Помните далеко, /Помните моего / Еще отныне и до всегда,/ Как верен я любить умею! Париж, 5 марта 1950 г. Ив. Бунин»

Обложка и форзац

На обложке дарственная надпись Н. В. Кодрянской: «В отдел рукописей Государственной библиотеки имени Ленина — передаю эту книгу, подаренную мне Иваном Алексеевичем Буниным. Москва, 19/VIII—64»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

нальным. Да и кроме того, Алексей Михайлович уже многие годы почти никуда не выходил.

Придя к Буниным, мы застали в столовой небольшое общество. Иван Алексеевич сидел, как обычно, в кресле. Увидя Ремизова, он будто нехотя поднялся и, величественный, еще красивый, пошел нам навстречу. Обращаясь к Алексею Михайловичу, он отвесил утрированно низкий поклон и сказал: «Здравствуйте, старче. Как живете, старче?» В его голосе и манере говорить, в подделке под русский старинный народный лад звучала явная насмешка (я думаю, что если бы Иван Алексеевич не стал писателем, он был бы одним из самых больших актеров нашего времени).

Ремизов растерялся и не нашелся ничего ответить. Наступило тягостное молчание. Бунин вдруг поднялся и ушел к себе в кабинет. Время шло, а Бунин не возвращался. Алексей Михайлович весь как-то сжался в комок. Кое-кто из гостей подошел к нему, стал о чем-то расспрашивать.

Вскоре, не дождавшись Ивана Алексеевича, мы собрались уходить. Взволнованная и сильно расстроенная Вера Николаевна старалась, насколько могла, нас удержать. Но Ремизов уже не шел, а бежал к дверям, на нем лица не было. Такого приема он не ждал, не мог ждать. Он настолько был поражен случившимся, что, когда мы вышли на улицу, по ошибке сел не в наш, а в чужой автомобиль!

На следующий день Вера Николаевна пришла к нам объясняться. Оказалось, что Иван Алексеевич был так смущен неожиданным приходом

Ремизова из-за того, что за несколько минут до нас разносил его за русский язык. По своей привычке, он, вероятно, комически изображал его, придумывал фразы, будто бы сказанные Ремизовым, вроде того, что «Пушкин пишет хорошо, однако не совсем по-русски». Зная Бунина, я живо представила себе всю сцену. От неловкости он убежал в другую комнату, из которой Вера Николаевна не могла заставить его выйти.

«Боже, как все это глупо и нехорошо вышло, не мог же я знать, что он придет!» — по словам Веры Николаевны, повторял Бунин.

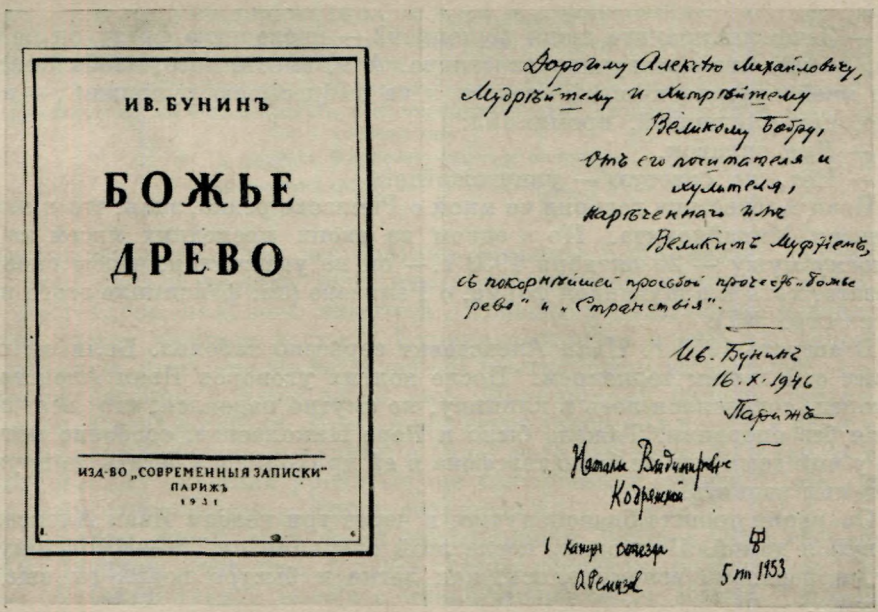
Мы, конечно, не сомневались, что именно так все и было, но до того огорчились за Алексея Михайловича, что долго после этого не ходили к Буниным.

Эта обида не была забыта Ремизовым, хотя и не оборвала его редких встреч с Буниным.

Вот, в подтверждение сказанного, несколько выдержек из дневников-писем Алексея Михайловича ко мне — 1956 г.:

...Бунин заходил ко мне с Бахрахом или Пантелеймоновым[1]. Пантелеймонов без водки и закуски ко мне не показывался. Говорил обыкновенно Бунин, чаще ругая...

...Единственный И. А. Бунин — недаром славился абсолютным слухом — обратил внимание не на слова, а на слог — связь слов. Мой синтаксис приводил его в ярость. Безграмотно. Пример: последняя фраза в рассказе о Шмелеве из «Мышкиной Дудочки»: «и не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару, центурионом повернул за угол и пропал». А по Бунину надо было сказать: «и не палкой, не посохом, клюкой стуча по тротуару, центурионом повернул за угол и пропал».




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА А. М. РЕМИЗОВУ НА СБОРНИКЕ «БОЖЬЕ ДРЕВО» (Париж, 1931):

«Дорогому Алексею Михайловичу, Мудрейшему и Хитрейшему Великому Бобру, от его почитателя и хулителя, нареченного им Великим Муфтием, с покорнейшей просьбой прочесть „Божье Древо" и „Странствия". Ив. Бунин. 16.X.1946. Париж»

Ниже — дарственная надпись А. М. Ремизова: «Наталье Владимировне Кодрянской в канун отъезда. А. Ремизов. 5.VIII. 1953»

Обложка и форзац

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

О бунинском рассказе «Зойка и Валерия» (из «Темных аллей»): «Это надо оставить Селинам [2] и другим, нам, русским, не удается...»

А на страницах рассказа Бунина «Три рубля», вышедшего в литературном альманахе «Орион» (Париж, 1947), Ремизов весь текст испещрил критическими перечерками.

О некоторых других встречах Бунина с Ремизовым рассказано в моей книге «Алексей Ремизов». Воспроизвожу один из этих рассказов, записанный со слов самого Алексея Михайловича.

«...Мы обыкновенно сидели на кухне. Говорил Бунин, уничтожая Достоевского. Да и Гоголю попадало: „лубок“.

Узнав, что я ничего не получаю от Богомолова [3], он сказал: „Как собачонка на задних лапах ждет подачки“.

— Дадут,— заметил добродушно Пантелеймонов.

Бунин обличал меня в скаредности. Он был убежден, что я прятал деньги.

— Где ваша кубышка? — Бунин думал, что если не дворянского роду, а купеческого, то обязательно держат кубышку.

Как-то Бунин заглянул в кукушкину *. Мои стенные пестрые конструкции его не тронули, но он обратил внимание на большие свертки. Они занимали всю книжную полку.

— А что это? — спросил он.

— Это мой архив.

— И вы бережете свои рукописи?

И в этом вопросе мне послышалось искреннее удивление и презрение.

— Зачем вы храните ваши рукописи? — последнюю фразу он не сказал, но мне это прозвучало отчетливо. А я, вместо того, чтобы сказать: „По моей археологической страсти я не выбрасываю рукописи“,— виновато, как уличенный, промямлил:

— Для справок.

— Нет, не советую — уничтожайте!»

Иван Алексеевич говорил со мной о Ремизове редко, зная, что я люблю Алексея Михайловича. Но в одном из своих последних писем ко мне и моему мужу — 20 октября 1953 г.— он не удержался, чтобы снова не сказать, хотя и в шутливой форме, о Ремизове (см. факсимиле этого письма на стр. 347).

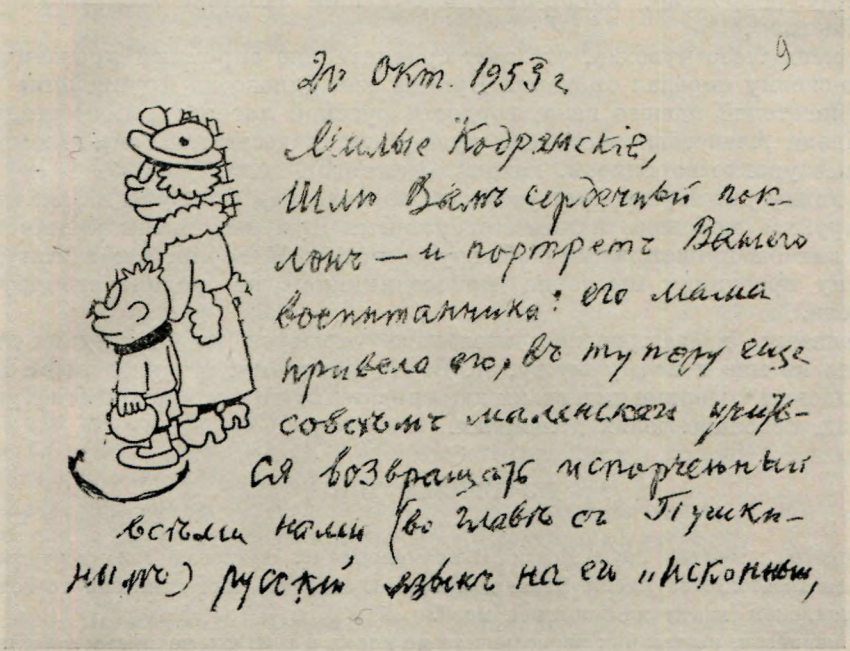
В августе 1950 г. Иван Алексеевич серьезно заболел. Боли он переносил с большим терпением. После долгих уговоров Иван Алексеевич, наконец, согласился лечь в клинику, но смутно надеялся, что все обойдется без операции. Тяжело было и Вере Николаевне, особенно потому, что у них дома еще не было телефона и ей приходилось бегать по друзьям и от них звонить.

Операция прошла благополучно, и через три недели Иван Алексеевич вернулся домой. Но ходить после этой операции он по-настоящему не мог, и невольно вспоминалось, как легко и быстро ходил он еще так недавно.

По возвращении Ивана Алексеевича из клиники начались толки в связи с его восьмидесятилетием (23 октября 1950 г.). Друзьям и знакомым Ивана Алексеевича было известно, что самым ненавистным днем в году был для него день рождения и никогда он его не праздновал. «Еще один год прибавился»,— говорил он и старался куда-нибудь уехать. Но друзья уговорили его остаться в Париже, тем более, что в этот год он был очень слаб и никуда уехать не мог.

---

* Так в шутку называл Ремизов свою рабочую комнату.


20 окт. 1953 г.
Милые Кодрянскіе,
Шлю Вамъ сердечный поклонъ — и портретъ Вашего воспитанника: его мама привела его, въ ту пору еще совсѣмъ маленькаго учиться возвращать испорченный всѣми нами (во главѣ съ Пушкинымъ) русскій языкъ на его „исконный,

ПИСЬМО БУНИНА Н. В. и И. В. КОДРЯНСКИМ

Автограф (л. 1). «20 окт. 1953 г. Милые Кодрянские, шлю вам сердечный поклон — и портрет вашего воспитанника: его мама привела его, в ту пору еще совсем маленького, учиться возвращать испорченный всеми нами (во главе с Пушкиным) русский язык на его „исконный, *истинно*-русский лад" ⟨последние слова — на обороте листа⟩

Рисунок (наклеен)—вырезка из газеты

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Настоящее публичное чествование устроить было нельзя, главное, из-за здоровья, и решили ограничиться домашним приемом. Даже не было составлено никакого комитета. Правда, в газетах промелькнула заметка, что к четырем часам у Бунина состоится прием. От одного к другому слух о домашнем чествовании быстро распространился.

Прием начался с двух часов дня. Мало-помалу начали приходить делегации и поздравители. Иван Алексеевич принимал у себя в кабинете, в белоснежной рубашке, в халате, и вид у него был бодрый. Сидя на тахте, которая ему служила кроватью, он выслушивал адреса. В этот день около него, по очереди, сидели его друзья.

К четырем часам уже была невозможная теснота. Родственники, друзья, близкие, знакомые и даже совсем незнакомые люди, писатели, поэты. А были такие, которые знали Ивана Алексеевича еще совсем молодым, но не виделись с ним ни разу за все годы эмиграции.

От французов был комитет: «Comité pour célébrer le quatrevingtième anniversaire de l'écrivain Ivan Bounine»*—под председательством Андре Жида. Члены комитета: Роже Мартен дю Гар, Франсуа Мориак, Андре Моруа.

Не привожу ни названий делегаций, пришедших поздравить Ивана Алексеевича, ни имен гостей, собравшихся у него в этот день, ни длинного списка статей на русском и иностранных языках, посвященных

* Комитет по празднованию восьмидесятилетия писателя Ивана Бунина».

юбиляру. Вероятно, какой-нибудь будущий историк восстановит все эти данные [4].

У меня было чувство, что этот сравнительно скромный праздник все же по-своему передал значение Бунина как одного из крупнейших русских писателей нашего века, гордости русской литературы! Чествовали мы Ивана Алексеевича от всей души, желая доставить ему возможно большее удовлетворение и, кажется, достигли цели.

К концу дня Бунин был утомлен, но явно рад был убедиться, какой он окружен любовью, каким признанием. Для него наши приветствия были как бы приветствиями общерусскими, и он верил, что в этот день к этому празднику мысленно присоединяются на родине его друзья-читатели.

Привожу в заключение несколько отрывков из последних писем Бунина ко мне и моему мужу, И. В. Кодрянскому, а также писем Веры Николаевны [5]. Первые интересны как свидетельство беспомощности Бунина в делах, особенно делах денежных.

## ИЗ ПИСЕМ БУНИНА

29 января 1953 г.

Дорогой, добрый друг, Исаак Вениаминович ... Прилагаю мою доверенность вам для издательства имени Чехова; прилагаю еще, что мне прислала госпожа Z* на английском языке для подписи моей.

Я подписал, но так как ровно ничего не понял в том, что подписал, то шлю эту бумажку вам; если эта бумажка не вредна для меня, будьте добры послать ей ее, а если вредна, сделайте одолжение посоветовать мне, как я должен поступить в этом деле.

...Обнимаю вас, целую руку дорогой Наташе, шлем вам обоим наши лучшие чувства.

Иван Бунин.

31 октября 1953 г.

Дорогой Исаак Вениаминович,

Ваш чек на сто двадцать тысяч франков** мы нынче получили. От всей души благодарю.

...совсем замучился почти непрерывным удушьем. Погода у нас стоит довольно жаркая, что для меня, обреченного сидеть — точнее говоря, лежать — круглый год в своей спальной,— сплошная мука.

Жаль мне себя бесконечно. Все-таки преждевременно гибнет все, что дал мне бог по моей нищете! Ведь, например, я даже думать не смею выбраться хоть на самое малое время куда-нибудь из Парижа!..

Вера просит написать вам: «Мне немного лучше».

## ИЗ ПИСЕМ В. Н. БУНИНОЙ

10 марта 1952 г.

... Иван Алексеевич опять в постели: заболел в прошлый четверг воспалением легких.

... Сейчас Иван Алексеевич волнуется, что не получает свою новую книгу: он писал Александровой, чтобы, за его счет, послать ее по авиону [6]. Последняя получка за книгу, насколько помнится, должна была быть нам выдана после выхода книги через месяц.

Иван Алексеевич очень просит вас, дорогой Исаак Вениаминович, опять прийти к нам на помощь, и еще вот что: в счет этих денег дать Галине Николаевне десять дол-

---

* Фамилия в письме Бунина заменена мною буквой *Z*.

** От Чеховского издательства.

ларов — ей нужны будут деньги на расходы по посылке некоторых книг Ю. Л. Сазоновой, которая пишет для Америки историю литературы и хочет уделить немало страниц произведениям Бунина[7]. Иван Алексеевич очень просит дать их теперь же ...

24 апреля 1952.

... Сегодня стало ему легче, но ослабел он еще больше. Собственно, он живет от болезни до болезни. Только что начнет выходить в столовую, как опять заболевает, потом медленно поправляется. Это очень мешает ему жить и работать. А мы уже наметили кое-какие планы для работы — и опять перерыв. Я тоже и за страстную, и за святую утомилась сильно. Первую ночь, когда он болел, я спала около него, не раздеваясь...

25 сентября 1952.

... Получили ли вы чек или чеки из Чеховского издательства? Мы очень в долгах. Почувствовав себя крезами, мы решили устроить электрическую нагревалку для воды в ванной комнате, а это обойдется в 60 тысяч франков.

Кроме того, у нас уже взяли деньги за отопление, за два месяца телефона — пять тысяч пятьсот двадцать франков, за электричество возьмут вот-вот много, так как холода такие, что Иван Алексеевич круглые сутки греет рефлектор *.

Кроме того, мы все переболели гриппом, который, надо сознаться, очень легкий, но все же два раза был Зернов и много раз я заглядывала в аптеку ...

9 февраля 1953 г.

...Иван Алексеевич пристально изучает Чехова. Если будут силы, бог даст, напишет о нем книгу. Сейчас острых заболеваний у него нет. Но задыхается, кашель мучает его изрядно. Большую часть времени сидит или лежит в постели, чаще по ночам за письменным столом.

Архив Ивана Алексеевича приходит в порядок, мне помогает моя подруга по гимназии Таня Алексинская. Она спец и работает на ять ...

16 октября 53.

...У бедного Ивана Алексеевича было опять воспаление в левом легком, и опять пенисиллин ...

14—12—53

...Послезавтра сороковой день, а еще так свежо, точно это было вчера, а на душе еще тяжелее. Весь письменный стол, камин, маленький столик уставлены его портретами, а его нет и никогда не услышу: «Вера!» Но жить надо, и я живу и, прежде всего, для его памяти.

Был М. Н. Павловский. Плакал. А я плакать не могу **.

19 января 1954 г.

...Теперь о моих делах, вернее, о делах Ивана Алексеевича. Меня крайне удивила точка зрения Чеховского издательства на «Петлистые уши». Ведь над этой книгой работал Иван Алексеевич сам, и работал во вред своему здоровью: Наташа помнит, конечно, в каком он был состоянии, когда она приехала за ней: он весь дрожал и был не в состоянии принять ее у себя, проститься с ней. И за всю эту работу хотят эту книгу отнести в рубрику «вдовьей».

Я считаю, это оскорбительно для памяти его. Следующие его книги они могут считать, как им вздумается, но эту нельзя. На нее нужно смотреть, как если бы он был еще жив. Она была послана им, а не мною.

Им кажется, книга мала; очень легко поправить: Иван Алексеевич вынул из нее, боясь ее объема, три вещи — «Дело корнета Елагина» и две маленьких («Подснежник» и «Первая любовь»). Я уже об этом писала Вере Александровне, но из ее письма не было видно, что она понимает, почему третья часть так мала.

---

* электрический рефлектор.

** Когда умер Иван Алексеевич, мы были в Нью-Йорке.

«Сны» были написаны в 1904 г., вернее, напечатаны, т. е. 50 лет тому назад, и Чехов восхитился, и, уезжая «околевать», как он сказал Телешову накануне своего отъезда,— сказал «...а Бунину передайте, чтобы писал и писал: из него выйдет большой писатель» [8]. Тогда Иван Алексеевич думал, что кончит свою книгу о Чехове, и она выйдет вместе с «Петлистыми ушами». Теперь я думаю, просто нужно уничтожить третью часть и «Сны» изъять из этой книги, оставив их, если Чеховское издательство пожелает издать их в одной из следующих книг. О последнем я не писала Вере Александровне, а написала, чтобы «Сны» поставили в конце. Теперь, подумав, нахожу, что «Сны» нужно вообще изъять, они не в тоне книги, хотя и очень хороши, но другая эпоха, поэтому он поставил III часть ... 28.II.54

По правде сказать, ничего не понимаю, почему такая задержка с книгой Ивана Алексеевича. Слышала, что Б. Зайцев уже получил свою треть за Чехова. По-видимому, плохо умирать. Точно все делают, чтобы книга вышла, когда будут заняты Чеховым и другими текущими вопросами.

Сейчас мы заняты устройством русского вечера. Снята уже Salle Chopin на 11 апреля...

Жаль, что вас еще не будет, но позднее нельзя.

Если бы вы знали, как скучно мне без Ивана Алексеевича. За все 47 лет нашей жизни никогда нам не было скучно... ну, да что говорить — все потускнело. И вот я одна. Ведь для меня одной он оставался молодым... прежним, умом я понимала перемену, а чувством нет. 17 ноября 1954 г.

7-го — 8-го ноября панихида годовая по Ивану Алексеевичу. В воскресенье 7-го была панихида в церкви на rue Montevideo. Было человек сорок, 8-го мы ездили на могилу. Свезли 12 горшков вереска, кто-то привез большой горшок золотистых хризантем, светло-лиловые и почти пунцовые. Панихиды были и там и здесь с хором, пели хорошо. В Париже служил владыко Сильвестр. Все было достойно Ивана Алексеевича. На кладбище было одиннадцать человек: Любовь Алексеевна, доктор. Бердяев, Софья Юльевна, Madame Конюс, трое Жировых, Михайлов, Баранова и я. День был чудесный ... Получила от Александровой письмо: ни «Толстого», ни «Деревни» не берут.

«Деревня» издана *тридцать два года тому назад*. Вероятно, есть завалящиеся экземпляры на русских складах, которые (их было больше) в 1934 г. не помешали «Петрополису» издать полное собрание Бунина, которое разошлось, и как раз «Деревня» и «Суходол» этого издания — библиографическая редкость ⟨...⟩ Стихи они не хотят, даже не пишут о них, хотя их-то нет в продаже ...

17.XII.54

... В книге о Чехове много нового. Между прочим, речь, произнесенная в Художественном театре 17 января 1910 г. в память пятидесятилетия Антона Павловича, в присутствии всей чеховской семьи. Иван Алексеевич имел огромный успех. Мать и сестра плакали, а Станиславский с Немировичем-Данченко приезжали пригласить вступить Ивана Алексеевича в их труппу ... [9]

Париж, 17 ноября 1957 г.

Переписываюсь с тремя литературоведами. Получаю очень восторженные письма об Иване Алексеевиче. Один пишет мне: «...Я знаю многих людей различного возраста и разных профессий, которые с особенным благоговением и восторгом говорят о несравненных творениях Ивана Алексеевича. В Москве и провинции, где я ни бывал, с кем бы ни переписывался, везде говорят о его книгах с восхищением. Об этом не стоило бы говорить, потому что это само собой разумеется, если бы это восхищение не было *особенным*, непохожим на любовь, скажем, к Толстому или Чехову — ведь каждый великий писатель вызывает отклик в человеческой душе по-своему. Это „особенное“ я не умею определить, но это то, что входит в душу трепетным чувством и приобщает к жизни вечной, общечеловеческой».

Другая литературоведка пишет, что она знает рассказы Бунина почти наизусть. Просит сообщить что-нибудь о нем, так как все для нее «драгоценность»...

Они присылают мне книги в подарок. Словом, такого внимания от незнакомых людей я в эмиграции не встречала...

Париж, 1970

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Борис Григорьевич *Пантелеймонов* (1888—1950) — писатель, автор сборников «Золотое число» и «Последняя книга».

[2] Луи Фердинанд *Селин* (1894—1961) — французский писатель модернистского направления. Приобрел известность романами «Путешествие на край ночи» (1932) и «Смерть в рассрочку» (1936). В годы оккупации сотрудничал с гитлеровцами, за что был осужден в 1945 г.

[3] Александр Ефремович *Богомолов* — посол Советского Союза во Франции в 1945—1946 гг.

[4] См. приветственные письма Бунину от Андре Жида — настоящ. кн., стр. 384—387; от Франсуа Мориака — «Материалы», стр. 241.

[5] Подлинники писем И. А. и В. Н. Буниных переданы Н. В. Кодрянской в ГБЛ и в ИРЛИ (см. настоящ. кн., стр. 500).

[6] Книга Бунина «Весной в Иудее.— Роза Иерихона» вышла в свет в 1953 г. (изд-во им. Чехова, Нью-Йорк). В. А. *Александрова*—сотрудница изд-ва им. А. П. Чехова (Нью-Йорк).

[7] См. об этом в воспоминаниях С. Ю. Прегель (настоящ. кн., стр. 356—357).

[8] См. «Лит. наследство», т. 68, стр. 404.

С. Ю. ПРЕГЕЛЬ

# ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БУНИНЕ

София Юльевна Прегель (1897—1972) — поэтесса. С 1922 г. в эмиграции. В 1942—1950 гг. была редактором и издателем журнала «Новоселье» (Нью-Йорк, затем Париж), в котором печатались произведения Бунина. См. о ней в Краткой литературной энциклопедии (т. 5).

Публикуемые воспоминания написаны для «Литературного наследства».

О Бунине мне особенно трудно писать. Долгое время я видела закрытый гроб, каких-то женщин, пристающих с советами к Вере Николаевне. всю посмертную суету, которая отгородила от меня живого Бунина. А потом начала создаваться о нем легенда, в которой правда переплеталась с невинным и подчас ненужным вымыслом.

Недостаточно говорили о том, насколько Бунин отталкивался от своей старости. Считал ее чем-то навязанным, противоестественным. Ему была невыносима мысль, что Андре Жид во фраке едет на свою премьеру в «Комеди Франсез», а он, Бунин, в халате, с трудом и неохотой добирается до столовой, где его ждут посетители.

Болезнь Бунина затягивается, но сознание, что за ним будет ухаживать сестра милосердия, ему ненавистно. «Этих сестер надо гнать в шею». Любови Алексеевне Махиной (нечто среднее между добрым другом и домашней работницей) он позволил заходить в его комнату и даже убирать там, но без особого пыла. Он называет ее полковницей и ведет с ней беседы на литературные темы. Бедная Любовь Алексеевна всей душой предана ему и Вере Николаевне. Сил у нее маловато, и поэтому после ее ухода остаются только «островки чистоты».

Есть дни, когда Иван Алексеевич никого к себе не допускает и разговаривать с ним можно лишь через закрытую дверь. Не помогают уверения в любви и преданности. «Меня нельзя любить,— говорит Иван Алексеевич.— Я отвратительный больной старик. Не притворяйтесь, вы любите не меня, а нобелевского лауреата».

Иногда, по собственному желанию, Иван Алексеевич выходит и ложится на кушетку в столовой. Он похож на ощипанного орла, и на лицо его уже легли нехорошие тени, предвестники конца. «Посидите с ним»,— говорит Вера Николаевна. Она полна любви без какого бы то ни было оттенка жертвенности. Бунин загорается. Он начинает ругательски ругать одного старого писателя за его вычуры и пристрастие к словарю Даля. По его словам, это притворщик и все, что он пишет,— фальшивка. Бунин явно несправедлив к нему, но в его выпадах столько негодования, что невольно склоняешься перед ними. Главное, Бунин будет жить. Не представляю себе, чтобы медленно угасающий человек был исполнен такого страстного неприятия.

Спорить с Иваном Алексеевичем трудно, почти невозможно. Но Вера Николаевна, одна из немногих, открыто бывает с ним несогласна. Вижу, как она проводит с ним вечера в комнате, пропитанной запахом табака и болезни, и он говорит с ней о прошлом. Ивана Алексеевича пугает

мысль о том, что Вера Николаевна будет жить без него. «Ты не растеривайся, Вера, слышишь, не растеривайся...». Это его слова. Их не раз повторяла Вера Николаевна. А потом, уже после смерти Ивана Алексеевича, она сказала (мы стояли на площадке лестницы): «Да, бывало тяжело, но скучно с ним никогда не было».

В этом весь Иван Алексеевич: веселый человек, желчный и нежный, умеющий и обласкать и выругать, духовный сын всего самого лучшего, что было в девятнадцатом столетии. Но это не живой анахронизм: он современен как никто. Бунин презирал кощунство, но вместе с тем в нем жила языческая любовь к природе, к чувственному миру, к земле, в которую он ни за какие блага не хотел лечь.

Меня поражала способность Ивана Алексеевича преображаться. Вспоминаю Beausoleil над Монте-Карло, где незадолго до второй мировой войны жили Бунины. Пасхальный стол с недоеденным куличом и обезглавленной сырной пасхой, несколько сине-красных яиц. За столом Бунин в каком-то странном одеянии говорит со мной об Одессе. Дальше все, как во сне: Бунин уходит к себе, мы остаемся, продолжаем домашний разговор, и вот, неожиданно для всех, появляется Иван Алексеевич. Он в светло-сером костюме, в петлице у него белая гвоздика. Морщин как не бывало. Он полон неистребимой молодости. Сейчас Бунин спустится в Монте-Карло. Он загадочно улыбается, и всем становится весело. А Вера Николаевна смотрит на него с доброй улыбкой, как мать на своего шалопая-сына.

Во время войны от Бунина приходили горькие письма. «Я оброс семьей,— писал Бунин,— хотя детей у меня нет». Иногда он говорил: «не было». Сын пяти лет, Коля, который умер от скарлатины, остался его тайной раной. Но на постели у больного, умирающего Бунина всегда лежала карточка ребенка—о таких говорят, что «не жилец на белом свете».

В 1947 г. в Париже, еще не вполне оправившемся от немецкой оккупации, я снова встретила Бунина. Он сильно изменился, но по-прежнему подтрунивал над своими собратьями по перу. Это было у Тэффи, куда приходили с еженедельным визитом Бунин и Борис Григорьевич Пантелеймонов. В опустевшем Париже квартира Тэффи показалась мне чем-то незыблемым. Та же обстановка, те же дружеские пререкания, которые из «Селекта» на Монпарнасе докатились до тихой улицы Буассьер.

К книгам Иван Алексеевич относился равнодушно и отнюдь не был коллекционером. Такое занятие казалось ему скучным, неувлекательным. Но это не ослабляло его интереса к произведениям писателей «далеких и близких». К себе Бунин был строг до крайности. Вспоминаю, что в каком-то из рассказов, присланном им для журнала «Новоселье», меня смутил один предлог. Написала Ивану Алексеевичу, и он тут же ответил, что это непростительная небрежность переписчика и отчасти его собственная: недосмотрел. Если б рассказ напечатали в первоначальной редакции, он был бы в отчаянии. Вот с каким вниманием Иван Алексеевич относился к слову, какое значение имело для него малейшее отступление от «бунинской линии». А знаки препинания Ивана Алексеевича! О них можно написать поэму. Каждая запятая оправдана, и не только синтаксически...

Думаю, Бунина огорчало то, что его стихи часто обходили молчанием. Отношение к ним было двойственным. Они казались слишком простыми. В них, по мнению парижан, не было ни надрыва, ни «музыки»... С такой

**БУНИН**

Фотография. Москва, 1906.
С дарственной надписью С. Ю. Прегель:
«Счастье ваше, милая Софья Юльевна,
что вы не встретились со мной,
когда я был такой! Погибли бы!
Ив. Бунин. 14июня 1953 г.»
Из собрания Л. В. Никулина, Москва

предвзятостью Бунин не мог примириться. Он считал себя прежде всего поэтом. Отчасти это послужило поводом к его отрицанию Блока. Не всегда приятно присутствовать при том, как старый писатель борется с тенью поэта. Но ничего мелкого в антипатии Бунина не было. Его непризнание скорее служило самозащитой. Нежеланием поддаться силе чуждого ему творчества.

Свои стихи Бунин читал отлично, но еще лучше читал он свою прозу. Это было настоящее мастерство. Недаром, по словам Бунина, Станиславский приглашал его в Московский Художественный театр. Сколько авторов хвалилось тем, что Станиславский предлагал им играть у него в театре, но Бунин был единственным, которому он мог это предложить всерьез. Сам Бунин был таким же блестящим рассказчиком, как и чтецом, что редко случается с писателями. Бунин, Коровин, Шаляпин — вот кого надо было послушать, чтоб старый быт встал во всем своем потрепанном великолепии.

Все тот же 1947 год. Вечер Бунина. На эстраде Иван Алексеевич. Ему холодно, он зябко потирает руки. Тут, оказывается, холоднее, чем в нетопленном зале. Но голос его начинает крепнуть, молодеть. Он читает стихи, что когда-то читал в Москве:

Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.

Синий ворон пьет глазки до донушка,
Собирает по косточкам дань.
Сторона ли моя, ты, сторонушка,
Вековая моя глухомань!

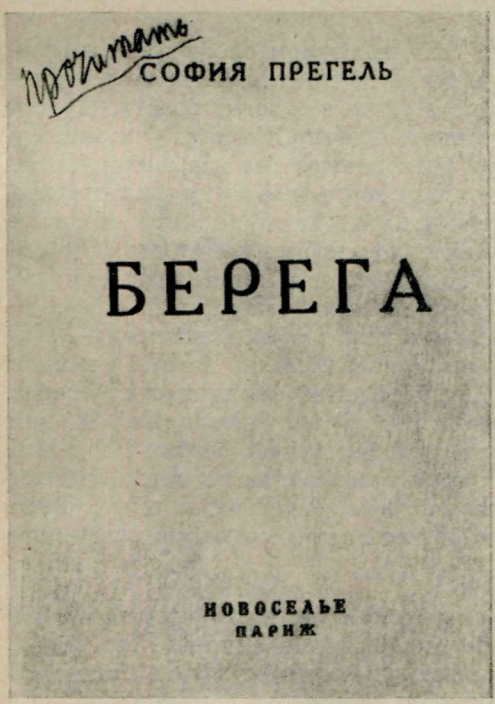
Что с того, что завтра он начнет, надрываясь, кашлять, задыхаться. Кто-то побежит в аптеку, а Вера Николаевна, с глазами, красными от бессонной ночи, будет согревать воду для грелки... Сегодня это прежний Бунин. Тот, что ездил к Чехову в Ялту, а в Москве коротал с ним долгие вечера; тот, что сходил с ума от юношеской неразделенной любви.

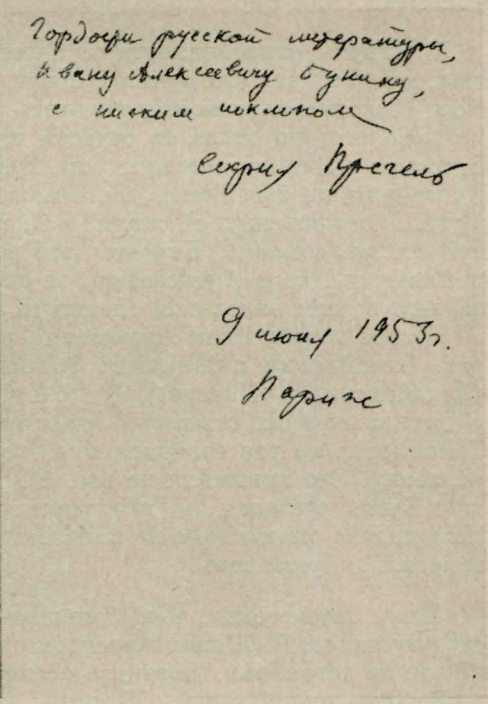
Задор никогда его не покидал. После Бунина осталось множество экспромтов и стихов «на случай», остроумных и злых, или нарочито наивных, вроде того четверостишия, которое он написал в альбом поэту А. Гингеру:

Нелепо созданы собаки:
Им, по ошибке, для красы,
Даны природою усы,
Когда бы нужно было — баки.

Должна прибавить, что эти же стихи Бунин писал и в другие альбомы.

В благодарность за самопишущее перо, которое я прислала с оказией из США, Бунин подарил мне свои «Избранные стихи» и разра-




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ С. Ю. ПРЕГЕЛЬ БУНИНУ НА КНИГЕ «БЕРЕГА»

(Париж, 1952)

«Гордости русской литературы, Ивану Алексеевичу Бунину, с низким поклоном София Прегель. 9 июня 1953. Париж»

Обложка и форзац

На обложке надпись Бунина: «Прочитать».

Литературный музей, Москва

зился посланием, которое начинается так: «Позвольте, дорогая Софья Юльевна, отблагодарить вас этой книжкой за ваш подарок — вот за это американское перо, которым я пишу сейчас, которое мне очень нравится, хотя оно похоже на коготь,—

Что дьяволом придуман,
Дабы писал им Труман...»

Не забуду, с каким волнением я отправляла Ивану Алексеевичу мою четвертую книгу стихов — «Берега». Мне с давних пор было известно, как он строг в своей оценке, всегда острой и подчас даже беспощадной. Но через несколько дней позвонила Вера Николаевна: «Приходите, Иван Алексеевич хочет вас видеть. Ему нравятся „Берега"...».

И сейчас перед моими глазами Иван Алексеевич, полубольной, небритый, в халате и домашних туфлях. Он особенно внимателен, ласков. Иван Алексеевич разбирает мои стихи и потом говорит твердо и веско: «А теперь вы должны взяться за прозу. Пора!» И это звучит почти как приказ.

Иван Алексеевич любил сниматься. На одних фотографиях он похож на римского патриция, на других — на немощного старика. И то и другое соответствовало действительности. Некоторыми снимками Иван Алексеевич гордился, как гордился он красотой своей первой жены, Анны Николаевны Цакни. Приходилось верить на слово. Но я почему-то была убеждена, что Вера Николаевна красивее «Ани».

В минуты откровенности, а Бунин был человеком сложным и закрытым, и в том, что его мучило, почти никогда не признавался, он говорил Вере Николаевне, как ему хотелось иметь «дочь с толстой косой». Чувство раненого отцовства он отчасти излил на Олечку Жирову. Она жила у Буниных с возраста четырех лет. Веру Николаевну она называла: Ника. Бунин для нее был Ваней, и его можно было за разные проступки ставить в угол. Он посвящал ей стихи, и Олечка плакала от обиды, если он писал про «неприличное»... Впрочем, это не мешало им быть друзьями. До самой смерти Ивана Алексеевича он оставался для нее Ваней, который (что на него совсем непохоже) следил за ее школьными успехами.

В свое время Иван Алексеевич по-дружески любил Цетлиных — Марию Самойловну и Михаила Осиповича (поэта Амари, автора романов «Декабристы» и «Пятеро»). В 1920 г. Бунины жили около шести месяцев у Цетлиных в их огромной квартире на rue de la Faisanderie. Мария Самойловна не раз говорила мне, что Бунин беззаветно любил Веру Николаевну. Это понимали не все. Но Мария Самойловна не могла забыть, как Бунин метался по квартире, ежеминутно подбегая к окну: Вера Николаевна опаздывала на полчаса, и он был вне себя и своим волнением заразил окружающих.

Иван Алексеевич, как большая творческая личность, носил в себе свое прошлое. В «Жизни Арсеньева» не весь молодой Бунин. Есть такое, что он не договорил. Поэтому я с грустью думаю о том, что не пришлось выйти еще одной книге о Бунине, которая многое бы дополнила.

Когда Юлия Леонидовна Сазонова (урожд. Слонимская) предложила Бунину написать о нем, он долго колебался. В конце концов это показалось ему приемлемым и даже в какой-то мере необходимым. Победило не только желание Юлии Леонидовны, но и уверенность, что она напишет хорошую талантливую книгу. Он методически посылал Сазоновой материалы для своей биографии, которые никогда не были опубликованы. Юлия Леонидовна с ними не расставалась. Она привезла в Париж пачку

писем Бунина, довольно объемистую. Это было уже после смерти Ивана Алексеевича. К несчастью, сама Юлия Леонидовна тяжко заболела и умерла в американском госпитале в Нейи, а письма Бунина исчезли. Не могу сказать, как это произошло, но до настоящего времени все поиски оказались бесплодными. Письма не могли пропасть, и я надеюсь, что их рано или поздно найдут, и это заставит пересмотреть некоторые высказывания о Бунине. То, что Бунин дал Юлии Леонидовне подробные сведения о себе, сегодня кажется почти невероятным. Это можно объяснить лишь его болезнью, предчувствием конца.

Если б Ивану Алексеевичу удалось прожить еще несколько лет, он, несомненно, написал бы книгу о Лермонтове. Мысль об этом не переставала его мучить. Он все упорнее думал о судьбе Лермонтова, об его неизбежном, трагическом одиночестве, и все чаще повторял величавые в своей простоте слова:

Выхожу один я на дорогу...

1970

В. М. ЗЕРНОВ

# ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА

**Владимир Михайлович Зёрнов — врач, живет в Париже. Воспоминания написаны им для «Литературного наследства».**

Я лечил Бунина в продолжении пяти лет, с осени 1948 г. до дня его смерти 8 ноября 1953 г. До того, как мне пришлось встретиться с Иваном Алексеевичем как пациентом, я видел его всего несколько раз. Однажды, в 1933 г., на сцене большого парижского театра «Елисейских полей» чествовали Бунина, лауреата Нобелевской премии по литературе. Он только что вернулся из Стокгольма, перед ним, на склоне лет, открылся новый путь, он получил мировое признание. Для безвестного эмигранта, оторванного от Родины, после долгого периода нужды и лишений, открылась дорога, ведущая в блистающую область всемирной известности.

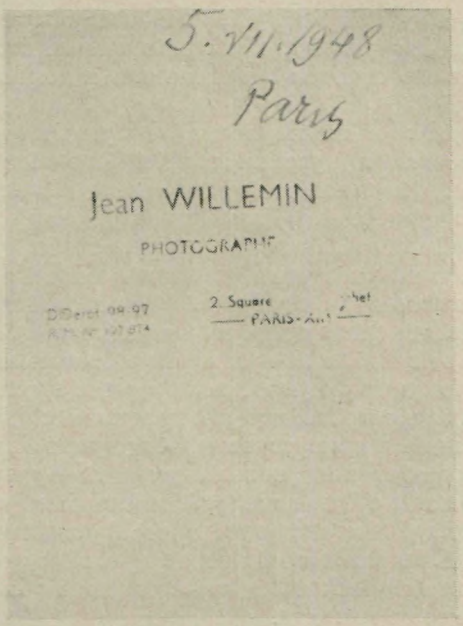
Помню его, элегантного, в новом фраке, с белым цветком в петлице, помню его бледное, суховатое и торжественно-сдержанное лицо. Мы все присутствующие гордимся Буниным, и, вероятно, поэтому он кажется нам еще интереснее, еще замечательнее. Речи, приветствия, цветы и аплодисменты.

Помню Бунина-лауреата на обеде у С. В. Рахманинова. Сергей Васильевич слушает внимательно и словно немного снисходительно, как Бунин рассказывает о происхождении своего древнего рода, о своей поездке в Стокгольм, и кажется мне, что Бунину это нужно, нужен и древний род, и торжество его признания, и слава, и хочется, чтобы эта слава была мировой, всемирной, с лаврами, цветами и рукоплесканиями.

А Рахманинов слушает его, как царь, владеющий безграничным царством, для которого вся эта слава и блеск только «суета и томление духа». Но слушает его доброжелательно, с живым интересом, иногда вставляя свои, немного шутливые, замечания.

На таких же парижских обедах, но немного по-другому, слушает он своего старого друга Ф. И. Шаляпина. Слава — служанка Шаляпина, она ему служит и окружает его. Он царствует всюду, где он появляется, его нельзя не слушать и жаль пропустить единый его жест, единый взгляд, единое слово. Если он великолепен в опере, на сцене, то так же великолепен и в жизни. Кажется, будто сидеть с ним за обеденным столом еще интереснее, еще увлекательнее, чем видеть его в театре. Каждое слово, каждый жест Шаляпина не могут не производить впечатления, он царствует в обществе, и Рахманинов слушает его и смотрит на него с нескрываемым восхищением. А Бунин как будто стремится занять такое же положение в обществе, но, вероятно, долгий период нужды и лишений последних лет оставил свой след и лишил его уверенности и власти, которые есть у Шаляпина. Но вот Бунин пришел к вершинам благополучия и славы, теперь перед ним открылся новый, блестящий путь...

Помню также Ивана Алексеевича несколько лет спустя, сгорбленного, закутанного в теплый шарф, с поднятым воротником пальто, страдающего одышкой. Бунин возвращается со своего последнего публичного выступления, в ненастный октябрьский вечер 1948 г., из маленького концерт-




БУНИН

Фотография. Париж, 1948. На обороте помета писателя: «5.VII. 1948. Paris».
Парижский архив Бунина

ного зала, где он выступал перед небольшим кружком русского эмигрантского Парижа.

Бунин уже не искал рукоплесканий, просто ему приходилось трудно материально. Деньги, полученные от Нобелевской премии, были давно прожиты, авторские от изданий его произведений не могли дать возможности существовать, и его друзья устроили этот вечер, чтобы собрать для него необходимые деньги.

На этом вечере, как и всегда, Бунин был резок в своих отзывах. Быть может то, что его надежды на широкий успех после получения премии не оправдались, придало Бунину какую-то горечь, и отзывы его были не только резки, но и язвительны. Он подмечал слабые места у других писателей, точно хотел сказать: «а вот я мог бы написать все это лучше».

Через несколько дней, 10-го ноября, в одной русской парижской газете появился маленький фельетон, с подзаголовком «Ему, Великому». Он начинался так: «Великий сидел и пил чай. Да, самый обыкновенный чай, который пьют и все смертные. Но если бы это был Зевс и вкушал нектар, его лицо не могло бы быть величественнее, на нем был халат — пузо-то его все в жемчуге, сзади-то у него раззолочено, на ногах у него дюжина носков, что касается количества другого белья — точно не установлено. Далее Великий говорил, что „без меня не было бы ни Пушкина, ни Льва Толстого, они мои прямые предки; неважные писатели, но упомянуть все-таки можно...“».

В этом пасквильном фельетоне злобно и непристойно высмеивался Бунин, и автор, скрывшийся за подписью «Удостоившийся присутствия», так закончил свою статью: «Публика, расходясь в недоумении с литературного вечера И. Бунина, говорила: „что же это такое? Один всего в литературе порядочный писатель был, да и тот круглая бездарность, но зато изрыл весь задний двор литературы“».

Глубоко возмущенный содержанием и тоном этой статьи, я написал Бунину письмо, в котором писал, что русские читатели ценят его талант и возмущаются содержанием и тоном этой недопустимой анонимной статьи.

В этот же период я лечил одного престарелого журналиста, который работал в русской газете, напечатавшей этот пасквиль. Вызванный к нему, после моего медицинского совета, я обратился к моему пациенту с возмущенной речью, негодуя, как он, журналист, сотрудничающий в этой газете, мог допустить, чтобы там была напечатана пасквильная, анонимная статья, высмеивающая и оскорбляющая большого русского писателя, да вдобавок старого, больного, доживающего свои последние дни, да сверх того, находящегося в большой бедности. А если уж бить — то открыто, а не прятаться за анонимом. Мой пациент терпеливо выслушал мою горячую речь, не проронив ни слова, и сразу перешел к расспросам, как ему проводить прописанное мною лечение. Неужели это он «Удостоившийся присутствия»,— подумал я, но сразу отогнал эту мысль, так как был искренно расположен к моему престарелому пациенту, а эта статья, как мне тогда казалось, могла быть написана только каким-нибудь мальчишкой, не знающим литературы и не уважающим талантов.

При моем следующем визите к этому престарелому журналисту, мой пациент несколько торжественно обратился ко мне, прежде чем я начал его осматривать.

«Владимир Михайлович, знаете ли вы, что такое пасквиль?» И тут я сразу понял, что это он автор злосчастной статьи. Мой пациент старался объяснить мне, что пасквиль — это литературная форма, в которой высмеиваются недостатки и пороки для их исправления, и что такое сатирическое произведение имеет воспитательное значение и служит для пользы того, по отношению к кому оно написано. Наконец, сделав краткую паузу, он заявил: «Я — автор этого гротеска».

Конечно, мне было неприятно, что я, вероятно, обидел старика, но я не хотел отказаться от своего мнения и подтвердил свое убеждение, что перевоспитывать Бунина поздно и к писателю, имеющему такие заслуги, как Бунин, надо относиться с большим уважением и вниманием, особенно теперь, когда он болен, стар и слаб.

По-видимому, результатом этого разговора было то, что еще через неделю, 8-го декабря, в той газете, где сотрудничал мой пациент, появилась статья, в которой он открыл свой аноним и старался объяснить, почему он написал «маленький фельетон», называя его уже не пасквилем, а памфлетом и обвиняя Бунина уже не в том, что он «изрыл весь задний двор литературы», и не в самопревозношении, а в том, что он изменил политическим убеждениям. Но все это дело прошлое, умер и старый журналист, умер и Бунин, но творчество Бунина осталось, и живет то, что принес он в наш мир.

Через несколько дней я получил от Ивана Алексеевича ответное письмо, полное горечи, в котором он писал: «Горячо благодарю вас за ту сердечность, которой полно ваше письмо и которой вы меня очень тронули. Глупая и гадкая статейка меня возмутила бессовестной ложью...».

Вскоре после этого он обратился ко мне как к врачу за медицинской помощью. Он страдал эмфиземой и склерозом легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности. Постепенно здоровье его слабело. Первое время я заставал его еще передвигающимся по комнатам его скромной квартиры, но довольно скоро, все чаще и чаще я видел его лежащим в кровати. «Вот вы еще молодой,— говорил Иван Алексеевич,— вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым. Раньше для меня все было нипочем, а теперь добраться от кровати до стола для меня настоящее событие». Но несмотря на свою болезнь, на

МОГИЛА БУНИНА НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ ДЕ БУА, БЛИЗ ПАРИЖА

Фотография Н. Л. Крашенинниковой, 1971

Собрание Н. Л. Крашенинниковой, Москва

слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений, которые часто таили в себе некую желчность и даже озлобленность. Но наряду с этим у него было много сердечности и горячего отношения к окружающим. Скажу, что он был озлобленным, но не злым.

Помню, что раз я пришел к Буниным с моим сыном, которому было тогда 4 года. Иван Алексеевич, худой, изможденный, одетый в белую пижаму, сидел в своей кровати. Мой сын, увидев его, сказал: «это дед Мороз, но больной дед Мороз»,— хотя Иван Алексеевич не носил бороды и усов и, как будто, не мог иметь ничего общего с тем внешним обликом, каким изображают обычно деда Мороза, но в этом детском определении было что-то очень меткое. Для ребенка дед Мороз представляется, прежде всего, кем-то безусловно добрым, торжественным и красивым, но вместе с тем и необычным. В лице Ивана Алексеевича, в последние годы его жизни, было все это — и некая торжественность, и доброта, и строгость, и, прежде всего, лицо красивое, необычное, его нельзя было не заметить, нельзя не обратить внимания.

Думаю, что и больной, и умирающий, Иван Алексеевич страстно любил жизнь, ему хотелось жить, хотелось выздороветь, поправиться. Хотя болезнь его была хронической и длительной, но я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил. В этом ожидании было нетерпение и, почти каждый раз, когда я приходил к нему, он брал свою палку, всегда лежавшую около его кровати, стучал ею в стену, разделявшую его комнату и комнату его жены, чтобы этим позвать ее. Если же она не появлялась сразу, то он звал ее: «Вера, Вера, иди скорей, слушай, что будет говорить доктор». Но как только торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо видевшая Вера Николаевна, гото-

вая исполнить все что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил: «Ну что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом».

Был ли Бунин трудным больным? Болезнь его была мучительной, с многочисленными осложнениями, переносил он все терпеливо, без жалоб. В 1950 г. он подвергся хирургической операции и вынес ее стойко и мужественно, по-видимому, страстно желая жить, но отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу и надежд на улучшение здоровья нет. Говорил об этом просто, как о неизбежном, ясно сознавая свое положение и не создавая себе иллюзий.

И свое материальное положение, и состояние своего здоровья он, если и не принимал примиренно, то переносил мужественно, без излишних жалоб и малодушия. Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: «Разве можно примириться, что мое тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу». Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении.

Часто, часто наши разговоры возвращались к Родине. Иван Алексеевич горячо интересовался всем, что происходило в России, и несомненно его тянуло туда...

Вечером 8 ноября 1953 г. меня вызвали по телефону к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещав приехать, если нужно, попозже. Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал, то Бунина уже не было в живых.

По его желанию, его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шею покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. «Я знаю,— сказала она,— ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила...»,— и она назвала женское имя...

Ноябрь 1967 г.
Париж

# СООБЩЕНИЯ И ОБЗОРЫ

# ИЗ ОТЗЫВОВ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О БУНИНЕ

Сообщение Н. П. Седовой

В 1968—1969 гг., работая в Ленинградском университете над дипломным сочинением «Советские писатели о Бунине», я обратилась к ряду писателей с просьбой ответить на письмо-анкету. Цель анкеты — выяснить: оказало ли творчество Бунина влияние на советскую литературу и какое значение имеет изучение его произведений для современного советского писателя. Было послано около 50 таких анкет, главным образом тем писателям, отзывы которых о Бунине мне не удалось (или почти не удалось) найти в печати.

Мною были поставлены следующие вопросы:

1) Когда вы впервые познакомились с творчеством Бунина?

2) Какие прозаические произведения писателя вы считаете наиболее значительными?

3) Каково ваше мнение о поэзии Бунина?

4) Каково ваше отношение к эмигрантскому творчеству Бунина?

5) Оказал ли Бунин влияние на ваше собственное творчество?

6) Чем вы объясняете усилившийся интерес к Бунину в наши дни?

На посланную мной анкету откликнулись 16 писателей.

Ниже публикуются наиболее интересные и обстоятельные из этих откликов, последовательность которых определяется временем вступления их авторов в литературу: вначале даются ответы писателей, начавших свою литературную деятельность в середине 1950-х годов, завершают же публикацию ответы писателей старшего поколения.

## ЮРИЙ НАГИБИН

1. Мое первое знакомство с Буниным состоялось очень давно, я уже не помню когда. Я воспитывался в литературной семье, и мой отчим, писатель Я. Рыкачев, поторопился как можно раньше познакомить меня с Буниным, у него было дореволюционное издание Бунина и «Сны Чанга», вышедшие в 1920-х годах. Но признаюсь, Бунин не произвел на меня столь сильного впечатления, как впоследствии, при вторичном его открытии. Это объясняется моей тогдашней незрелостью, мне было лет двенадцать-тринадцать.

2. Мне нравится очень многое, почти всё. Знаменитая «Деревня» меньше всего. На первом месте я поставил бы «Лику», а затем рассказы «В Париже», «Руся», «Таня», «Воды многие», «Грамматика любви», «Заря всю ночь», «Золотое дно», «Соотечественник», «Чистый понедельник», «Натали», и проч., и проч.

3. Его стихи первоклассны и до сих пор не оценены по достоинству. Один «Сириус» чего стоит, а есть и еще лучше!

4. Бунин и в эмиграции писал изумительно. В «Темных аллеях» есть божественные рассказы, хотя бы такие, как «В Париже», «Руся», «Таня». А «Лика», а «Жизнь Арсеньева» ...

5. Да, оказал. В литературе считается, что я работаю в бунинской традиции, в то время, как, скажем, Сергей Антонов последователь Чехо-

ва. Я учился у Бунина языку, пристальности взгляда, терпеливому изучению явлений жизни. Да и сейчас учусь.

6. Усиливающийся интерес к Бунину в наши дни я объясняю неизменной тягой людей к большой литературе. А Бунин, один из величайших прозаиков всех времен и народов, был долгое время почти недоступен, во всяком случае, подавляющему большинству наших читателей. Естественно, что на него набросились,— ведь Толстой, Тургенев, Чехов и другие гиганты читаны-перечитаны. И к тому же Бунин наиболее современный нам из классиков. К сожалению, этой тяги на Западе не ощущается, Бунин прошел мимо западного читателя.

15 декабря 1968 г.

## ВИКТОР БОКОВ

1. Первое мое знакомство с Буниным было в студенческие годы, когда я писал не только стихи, но и прозу, замеченную и одобренную Михаилом Пришвиным, в доме которого я воспитывался с 14 лет.

2. Больше всего люблю у Бунина «Лику» и «Антоновские яблоки». Но ответ условный, ибо лучшее у каждого писателя — это его манера, его стиль, его художественный угол зрения, он выявляется в любом абзаце художника, в любой его строке.

3. Бунин великолепный поэт. Во времена всяких измов, он держался пушкинской ясности и продолжал классическую школу русской поэзии. На это надо было иметь мужество. Для меня Бунин-поэт и Бунин-прозаик равновелики.

4. Я не делю творчество Бунина на периоды — эмигрантский и доэмигрантский. Дело в возрасте. Конечно, на склоне лет любой художник теряет остроту восприятия, слабеет память, уходят силы, этот спуск под гору пришелся на эмигрантский период в жизни Бунина. И вопрос, который ставят исследователи, не очень правомерен.

5. Бунин оказал на меня большое влияние, как поэт и как прозаик. Я учился у него строгости, реальности изображаемого, работе над словом. Вот, скажем, в стихотворении «При первом свиданье сады бушевали...» есть строка:

Да месяц встает со скирды *крутого*.

Я бы так не написал, если бы не знал творческого опыта Бунина, не знал его обращения со словом.

6. Интерес к Бунину — естественный интерес к большому таланту, он рано или поздно приходит. Незаслуженная слава и популярность быстро проходят, зато слава по достоинству растет медленно, но верно.

29 декабря 1969 г.

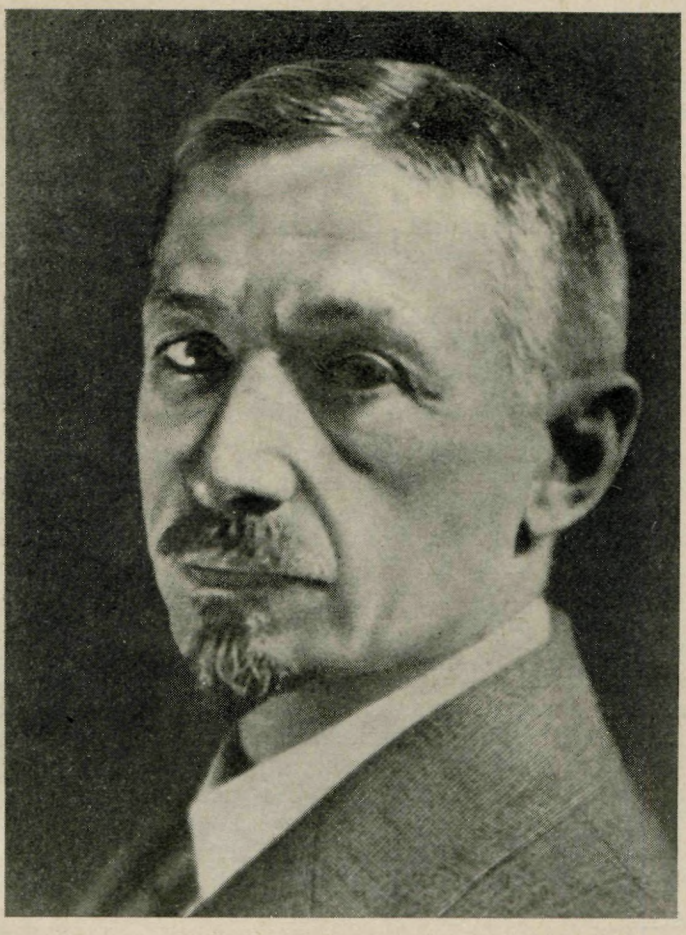
## СЕРГЕЙ ВОРОНИН

1. Впервые я совершенно случайно купил у букиниста, году в 1936, перевязанную кипу книг — приложения к «Ниве». Купил за бесценок. Это был Бунин. Я «его» сам переплел и никогда уже не расставался.

2. Очень многие, даже ранние, такие как «Танька».

3. Бунин — поэт в прозе! Это так! Я люблю Бунина-прозаика. Могу его перечитывать и перечитываю. Стихи же, за малым исключением, меня мало волнуют.

4. Нельзя согласиться с утверждением, что в эмиграции Бунин стал писать слабее. «Темные аллеи»— разве это слабее раннего Бунина?



БУНИН

Фотография. Париж, 1920. С подписью Бунина: «Июль 1920 г. Париж»

Парижский архив Бунина

5. Конечно, оказал. Но не только он. Все замечательные писатели помогали и помогают мне. Если же говорить о природе, то только двое — Чехов и Бунин — научили меня ее любить и вглядываться в нее.

Бунин — явление редчайшее. В нашей литературе, по языку — это та вершина, выше которой никому не подняться.

Сила Бунина еще и в том, что ему нельзя подражать. И, если можно у него учиться, то только любви к родной земле, познанию природы, удивительной способности не повторять никого и не перепевать себя,— это ведь тоже относится к эмигрантскому периоду. И самое главное — люди, русские люди, которых он знал, любил, с которыми не расставался и оставил нам в наследство.

6. Возросший интерес к Бунину появился, мне думается, прежде всего потому, что Бунин был мало известен широкому читателю. Когда же стал у нас издаваться, то, естественно, привлек к себе внимание. Дальнейшее уже просто — те, кто любит литературу, кто понимает русское слово,— получили огромное наслаждение.

28 ноября 1968 г.

## АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН

1. Бунина я узнал довольно поздно, но не случайно. В 1956 г. вышел его пятитомник, который и до сих пор является для меня настольной книгой.

Я люблю Бунина, Это, несомненно, один из виднейших русских писателей.

2. Вопрос для меня трудный. Если писатель очень нравится, трудно что-либо выделять. Ну, люблю его «Деревню», «Последнее свидание», «Зеркало», из поздних короткие — «Часовню», «Первую любовь» и прочее, и прочее,— все весьма, повторяю, условно.

3. Известное определение Бунина как поэтического прозаика и прозаического поэта, как любая всеобъемлющая формула, неточно. У него есть прекрасные стихи и строфы. Но, видимо, мне как прозаику его проза ближе.

4. Трагедия русских в эмиграции ужасна, о ней и говорить тяжело, это относится и к Бунину. Но он всегда и во всех условиях был *русский настоящий писатель*, и все что он сделал, для меня любимо и ценно.

5. Безусловно. И не только на мое творчество. На мой взгляд, лучшая часть так называемой «молодой прозы», которая сегодня активно печатается, имеет свою читательскую аудиторию и немалый вес, вышла из классической школы Пушкина — Чехова — Бунина. Конечно, неправильно было бы говорить, что это единственно возможное формальное направление в русской советской литературе. Но, несомненно, одно из самых жизненных и перспективных. Полное отсутствие официоза, естественность и простота, глубокий психологизм, близость к природе и вообще к естеству человека, высокая, почти музыкальная культура слова — вот некоторые признаки бунинской школы. Это уже ответ и на последний ваш вопрос. Валентин Петрович Катаев в книге «Трава забвения» превосходно, по-моему, рассказывает о жизни Бунина, о некоторых моментах его работы над словом. Во всяком случае для меня это было поучительно.

**2 января 1969 г.**

## ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

1. Мое знакомство с Буниным состоялось в 1955 г. (очень поверхностное и случайное), настоящее же произошло всего лишь пять-шесть лет тому назад.

2. Все произведения этого писателя мне нравятся, кроме стихов, да и стихи «не нравятся» лишь относительно его прозы и перевода «Гайавваты», а не относительно множества других поэтов — современников писателя.

3. Конечно же, проза Бунина — проза поэта, но лишь в смысле ее ритмичности, напевности, краткости и образности, а не в том смысле, что вот, мол, был хороший поэт Бунин, который писал еще и неплохую прозу: такая постановка вопроса нередка и очень демагогична, и она диктуется, видимо, неприязнью к великому писателю.

4. Делить творчество Бунина на два периода, на эмигрантский и доэмигрантский, по-моему нельзя. Писатель один — Бунин, и он неделим для русской культуры. Ко всему этому весьма трудно, на мой взгляд, невозможно доказать то, что произведения Бунина, написанные в эмиграции, слабее доэмигрантских (я не говорю здесь о некоторых вещах бунинской публицистики).

5. На этот вопрос я отвечать не буду, слишком это нескромно — говорить о своих писаниях в сравнении с Буниным.

6. Интерес к Бунину никогда и не ослабевал. Был некоторый пробел, искусственно вызванный провал в изучении его творчества. Несколько поколений не знали Бунина, так как его не издавали. Но это не могло продолжаться бесконечно, потому что после Толстого Бунин был самым значительным явлением в русской литературе, последним, пока еще никем не превзойденным ее классиком. Бунин, как и Толстой, принадлежит не только России, но и всему миру.

11 декабря 1968 г.

## ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Мое первое знакомство с Буниным произошло еще в студенческие годы. К. Федин, у которого я занимался в семинаре, говорил: «Учитесь делать фразу у Бунина». Тогда же, году в 1946 или 1947, я купил в букинистическом магазине старое издание Бунина (приложение к «Ниве»), переплетенное в три тома, и читал запоем. Бунин был для меня открытием: какова может быть сила пластического, живописного слова! Никто прежде именно в этом смысле — воздействия фразы, слова — так сильно на меня не действовал. Поражало еще, как удивительно точно и живо говорят люди, крестьяне. Вскоре удалось в букинистическом магазине на Арбате купить «Митину любовь» — книжечку, изданную в 1925 или 1926 г., в Ленинграде, в издательстве «Прибой». Это была необыкновенная удача. Снова, еще больше, меня поразило сочное, плотское письмо... И, конечно, отвечало моему настроению — мне ведь было тогда почти столько лет, сколько Мите.

Больше всего у Бунина мне нравится рассказ «В Париже».

Проза Бунина не столько проза поэта, сколько проза художника — в ней чересчур много *живописи*.

Бунин, конечно, замечательный писатель, для меня — один из любимых. Но — не самый любимый! Бунин оказал огромное влияние на большинство современных молодых прозаиков — в основном, в области стиля, пластики слова.

22 апреля 1969 г.

## ЮРИЙ КАЗАКОВ

Вы задали так много вопросов, что отвечать на них я просто не могу из-за времени. Отвечу только на один — хуже ли стал Бунин писать в эмиграции.

После «Братьев» и «Господина из Сан-Франциско» Бунин стал самым могучим, самым прекрасным русским писателем. Конечно, десятки лет ему приходилось писать о России только по памяти, и это не могло не отразиться на его писаниях. Но как художник, как мастер слова — он, безусловно, вырос.

Я действительно намереваюсь написать книгу о Бунине. Что это будет за книга? Есть у Стефана Цвейга цикл повестей о великих людях под общим названием «Звездные часы человечества». Такой же, примерно, представляется мне и моя будущая книга, если сподоблюсь я ее написать...

7 декабря 1968 г.

## ВАСИЛЬ БЫКОВ

1. Мое знакомство с Буниным, вероятно, было случайным. Правда, еще до войны мне пришлось прочитать несколько его рассказов, но по-настоящему я оценил этого мастера слова только где-то в году 1955, когда прочитал несколько его повестей. На фоне тогдашней литературы он поразил

меня ясностью и точностью мысли, изысканностью фразы, добротой и лиризмом.

2. Нравится мне в творчестве Бунина очень многое. Но больше всего, наверное, «Лика», «Митина любовь», многие рассказы, в том числе и «Господин из Сан-Франциско».

3. Как и проза, стихи у Бунина великолепны.

4. Нет, я не считаю созданное им в эмиграции слабее написанного на родине. В некоторых случаях даже наоборот. Например, «Митина любовь», «Лика», «Ида», «Ворон»— отличные вещи.

5. О влиянии я сказать затрудняюсь. Традиции белорусской литературы несколько расходятся с теми, которые определяют творчество Бунина, но тем не менее некоторые мотивы юношеских чувств из его «Митиной любви» нашли свое, пусть косвенное, отражение в моей повести «Третья ракета».

22 декабря 1968 г.

## ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

...Интерес к Бунину, когда его не издавали, для большинства читателей был просто беспредметен. Вот так и я до войны Бунина не читал, ибо в Воронеже, где я жил тогда, Бунина достать было невозможно. Во всяком случае, его не было у тех людей, кого я знал. Так случилось, что даже после войны я прочел Бабаевского, издававшегося гигантскими тиражами, раньше, чем Бунина.

Бунин — писатель огромного таланта, писатель русский, и, конечно же, в России у него должен быть большой читатель. Думаю, что читатель Бунина значительно превышает тиражи его книг.

По живописи, по чувству слова (а у Бунина оно поразительное) рассказы его, написанные в эмиграции, быть может, и не слабей прежних его вещей. Но как бы ни была важна эта сторона художественного творчества, главным все-таки остается то, ради чего пишется вещь. А вот это главное во многих рассказах не представляется значительным (я имею в виду эмигрантский период).

Оказал ли Бунин на меня влияние? Мне кажется, нет. Но не уверен, так как я одно время определенно испытывал влияние Шолохова, а Шолохов, несомненно, испытал на себе сильное влияние Бунина. Но это я понял позже, когда Бунина прочел.

29 января 1969 г.

## НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

Мечтаю написать и о прозе Бунина *.

...Для меня он стоит в ряду самых больших мастеров мировой литературы. Его талант не поблек до конца дней.

10 декабря 1968 г.

---

* В ответе на анкету Н. П. Седовой Н. И. Рыленков ссылается на свою статью «Вторая жизнь поэта» («День поэзии». М., 1966, стр. 302—304). Приводим выдержки из этой статьи:

«...Бунина-поэта у нас долгое время считали эпигоном дворянской поэзии девятнадцатого века, повторяя оценки враждебной ему декадентской критики. Ошибочность такого взгляда теперь уже совершенно очевидна. Эпигон не может быть большим мастером, а Бунин мастер огромный, художник поразительной силы, чувствовавший тончайшие оттенки слова. Богатству и точности его языка удивлялись Чехов и Горький.

Лирическая поэма „Листопад"— одно из самых ярких и тонких по живописи словом произведений русской поэзии. Иногда Бунина называют холодным мастером.

## ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ

1. В 1915 г. популярнейший в старой России журнал «Нива» дал в приложениях полное собрание сочинений Бунина. Тогда я и познакомился с ним. Несмотря на то, что в то время я писал только стихи, но на всю жизнь полюбил кристально-ясную прозу Бунина.

2. В Бунине-прозаике мне нравится все! Особое пристрастие у меня к его последней, неповторимо-прекрасной книге рассказов «Темные аллеи». Вера Николаевна Бунина, в апреле 1960 г. приславшая мне из Парижа «Темные аллеи», так сказала в дарственной надписи: «Посылаю эту книгу, которую Иван Алексеевич считал самой совершенной из своих книг. „Каждый рассказ имеет свой ритм“,— не раз говорил он мне».

3. Стихи Бунина — превосходны.

4. Я не делю Бунина-прозаика на «до эмиграции» и «в эмиграции». Если отбросить его публицистические высказывания (в них много предвзятого и ошибочного), то Бунин — всегда Бунин. Я считаю, что «Митина любовь» и «Жизнь Арсеньева» не слабее «Деревни» и «Господина из Сан-Франциско». Недаром же Паустовский написал о «Жизни Арсеньева»: «Это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской».

Что же касается своеобразного цикла рассказов «Темные аллеи», то я не вижу равного ему во всей русской литературе.

5. Бунин влиял на ранние мои вещи.

6. Бунин — великий русский писатель.

У настоящих любителей и ценителей русской литературы к Бунину интерес был всегда. В 1930—1940 годы мне приходилось вести ряд крупных литературных групп и кружков (Выборгский дом культуры, Профиздат, Литературный университет, «Печатный Двор» и пр.). И я видел, как мои молодые друзья-литкружковцы восхищались не только «Деревней», «Господином из Сан-Франциско», но и «Митиной любовью» и «Делом корнета Елагина», изданными в Советском Союзе.

Во весь голос заговорили о Бунине вскоре после окончания Великой Отечественной войны. В разных журналах и сборниках стали появляться бунинские рассказы из его последних книг.

Окончательно же поставил все на место второй Съезд писателей, где К. А. Федин всенародно сказал, что пора вернуть Бунина нам. И Бунин вернулся...

**26 декабря 1969 г.**

---

Это чистейшее недоразумение. Нельзя принимать строгую сдержанность взыскательного художника за холодность. Разве холодный мастер может так одухотворить природу, как это делает Бунин в своем знаменитом „Листопаде“?⟨...⟩

Мы с законной гордостью говорим о языке Тургенева. С такой же гордостью мы теперь можем говорить о языке Бунина как о высшем достижении русской художественной культуры предреволюционной поры ⟨...⟩

При всем богатстве своего языка, Бунин никогда не стремится удивить читателя редкостным словцом или оборотом. Из нескудеющих кладовых литературной и обиходной речи он брал только те слова, без которых не мог обойтись. Что каждое слово хорошо на своем месте,— знают и подмастерья, а найти его и поставить умеют только мастера. Бунин умел это, как редко кто другой даже из первоклассных мастеров.

Современникам трудно было оценить его художественный подвиг.

В годы его молодости тон в литературе задавали декаденты, а он оставался непримиримым реалистом. И они заслоняли его.

В годы полной зрелости таланта, уже увенчанный академическими лаврами, он совершил роковую ошибку — испугавшись революции, покинул родину и навсегда оторвался от народной почвы. Он вернулся на родину как художник только после своей смерти. Но и это позднее возвращение было большой радостью для всех, кому дороги судьбы русского народа».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

В четверг, 20 октября в помещении музея (Б. Якиманка, 38)

состоится

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

**И. А. БУНИНА**

(к 85-летию со дня рождения)

Начало в 19 ч. 30 м.

В зале открыта выставка „И. А. БУНИН"

(на материалах фонда музея)

ПРОГРАММА:

I.

Вступительное слово — К. Г. Паустовский

Литературное наследие И. А. Бунина — Л. В. Никулин

Воспоминания о Бунине

II.

Художественная часть

**ПРОГРАММА ВЕЧЕРА ПАМЯТИ БУНИНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ**

**Москва, 20 октября 1955 г.**

**Литературный музей, Москва**

## ЕФИМ ДОРОШ

1. Бунина я впервые прочитал лет тринадцати или четырнадцати от роду. Ничего до этого о нем не знал. Было это в Одессе, в голодные годы, когда книги были очень редки, а я очень любил читать, и вот у соседей по дому, людей невежественных, я обнаружил чуть ли не все приложения к «Ниве». У меня достало сообразительности или инстинкта прохладно отнестись к Шеллеру-Михайлову, к 52 книгам которого я уже никогда больше не возвращался, и полюбить Лескова, Чехова, особенно же Бунина. С тех пор я мечтал о собрании сочинений Бунина, но оно мне больше не встречалось. В конце двадцатых и начале тридцатых годов я прочитал выходившие у нас «Сны Чанга», «Митину любовь», в сорок седьмом или восьмом году, нет вру, в конце тридцатых, будучи в Малеевке (в «Доме творчества»), нашел в библиотеке марксовское собрание и снова перечитал, а вот в сорок девятом или пятидесятом увидел в Книжной лавке писателей это собрание, тут же купил его и с тех пор оно у меня, как и «огоньковское», как и гослитовское... Бунина я перечитываю часто, некоторые вещи особенно часто.

2. О том, какие произведения больше всего нравятся, трудно сказать сразу. Назову — «Жизнь Арсеньева», «Суходол», многое из «Темных аллей» нравится, нравятся «Вести с родины» и примыкающие к этому рассказу произведения.

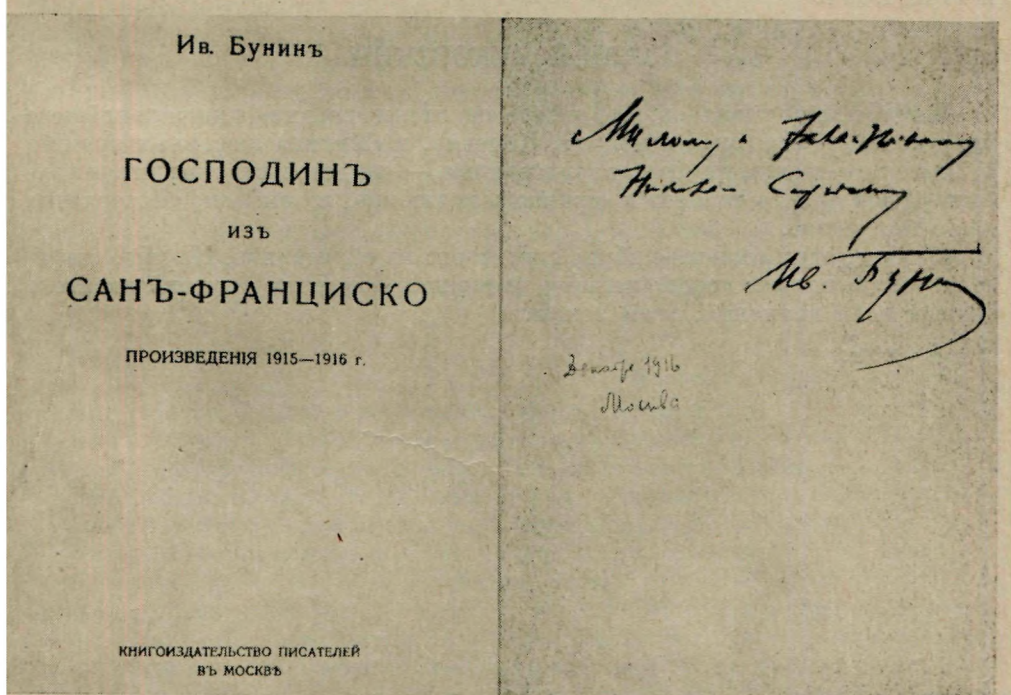
3. Что до стихов, то, по-моему, в сравнении с прозой Бунина они проигрывают, хотя и здесь немало прекрасных вещей, сделавших бы честь многим поэтам того времени.

4. Нисколько я не согласен с утверждением, что в эмиграции Бунин стал писать слабее. Бунин писал все лучше и лучше, таков уж его талант (хотя редактурой ранних вещей иной раз портил их), а отдаленность от

России, боль, вызванная этим, только лишь обострили его чувство и зрение.

5. Что до влияния, то самому судить трудно,— я, например, считаю, что оказал, но как-то мне один писатель сказал, что у нас с Буниным ничего общего нет. Думаю, все же, что он ошибается, или же очень поверхностно судит об этом. Когда я узнал от А. Бабореко, что Бунин кому-то писал, будто только лишь любовь к истории России, знание ее, помогали ему в эмиграции писать о России, словно он и не уезжал, мне многое стало понятно не только в нем, но и в себе самом одновременно. Дело ведь не во внешнем следовании мастеру. Кроме того, мне очень близки сдержанность Бунина, его нелюбовь к внешним эффектам, к громким словам, к беллетристической занимательности, его точность и его пластичность,— у него ведь все видишь, осязаешь, обоняешь...

6. Все усиливающийся интерес к Бунину в наши дни, мне думается, можно объяснить следующими причинами. Прежде всего — Бунина сейчас открыли для себя тысячи и тысячи читателей, и не только молодежь, которая постоянно, в каждом новом поколении, заново открывает для себя то, что было известно прежде, но и люди относительно немолодые. Ведь Бунин у нас почти не издавался в течение многих лет. Помню, году в 1950 или 1951 ночевал у меня инженер с торфопредприятия, приехавший в «Литературную газету», где я тогда работал, и не нашедший номера в гостинице. В комнате, где я его уложил, стояло собрание сочинений Бунина, изданное Марксом, и вот инженер этот, слышавший от своей матери-учительницы, что есть такой прекрасный писатель Бунин, взяв томик, так и не положил его — читал всю ночь. А ему было, я думаю,


Ив. Бунинъ

ГОСПОДИНЪ

ИЗЪ

САНЪ-ФРАНЦИСКО

ПРОИЗВЕДЕНІЯ 1915—1916 г.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
ВЪ МОСКВѢ

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА Н. С. АШУКИНУ НА СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» (М., 1916):
«Милому и талантливому Николаю Сергеевичу. Ив. Бунин»
Собрание М. Г. Ашукиной, Москва

лет под сорок, он интересовался литературой, сам пописывал, но вот жизнь его сложилась так, — он постоянно жил в провинции,— что он никогда не держал в руках сочинений Бунина. Кстати, популярность Бунина росла вместе с все увеличивающимся изданием его произведений, с публикацией многих из них в разных журналах, газетах.

Но это, разумеется, не все.

Бунин — писатель с редким, я бы сказал, чувственным восприятием России, сильно обострившимся в многолетней эмиграции, он — писатель с исключительным чувством истории, более сильным, нежели у тех даже, кто писал на исторические темы, он чувствовал в каждом настоящем мгновении связанность его со всем, что было прежде, и хотя почти не признавался в этом, хотя почти никогда не декларировал это свое чувство, так как был удивительно строг и сдержан в своих писаниях, все же эта его затаенная страсть передается читателю. Наконец, при всей строгости и сдержанности его письма, Бунин, по-моему, очень сердечен, всем существом своим чувствует человека, самого обыкновенного, замечу попутно, особенно женщин.

Мне как-то пришло на мысль, что женщины могли бы поставить памятник Бунину,— какое количество молодых и немолодых, красивых и некрасивых женщин изобразил он, изобразил в самом главном — в любви. Как они все прекрасны в эти минуты и часы — и крестьянки, и гимназистки, и провинциальные чиновницы, и помещичьи дочери, и проститутки... Но ведь и мужики у него великолепные, только не в «Деревне», которую, при удивительной правде многих ее страниц и характеров, да и самого настроения, я не очень люблю за некоторую ее тенденциозность.

4 марта 1969 г.

## КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

В 1915 г. мне казалось, что у него «не хватит сердца» для дальнейшего творчества. Я был прав и неправ. Конечно, и «Митина любовь» и трактат о Толстом — вещи, глубоко осердеченные,— свидетельствуют, что в глубине души у него теплеет и нежность и любовь, но сколько бессердечия в его мемуарах...

Вообще, одним каким-нибудь словом его не определить. Не мне, старику, судить, близок ли он «нашему времени». Подлинно великий писатель близок всем временам, всем векам.

7 мая 1969 г.

# БУНИН
# В ОЦЕНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

## I

## ИЗ ПИСЬМА РОМЕНА РОЛЛАНА К ЛУИЗЕ КРУППИ [1]
## 20 мая 1922 г.

Сообщение А. К. Бабореко

В связи с предполагавшимся выдвижением Бунина на соискание Нобелевской премии Ромен Роллан выразил готовность поддержать его кандидатуру. «С моей точки зрения, это один из крупнейших художников нашего времени»,— писал он, мотивируя свое согласие (см. «Материалы», стр. 215—216). Суждения, тогда же высказанные им в публикуемом письме к Луизе Круппи, подтверждают этот отзыв Р. Роллана и свидетельствуют о его глубоком проникновении в характер творческой личности русского писателя.

⟨Paris⟩ samedi 20 mai 1922

...Je reçois l'invitation au second déjeuner d'écrivains. Je vois qu'on a convié Kouprine. J'ai lu son roman: Le Duel, édité chez Bossard. Il n'est pas très intéressant,— assez rude toutefois pour l'armée russe et le militarisme en général. Mais ce qui est pitoyable, c'est que l'auteur a cru devoir s'excuser du ce réquisitoire, déjà ancien, dans une Postface qui est un dithyrambe agenouillé à la gloire de la divine armée russe, qui ressuscitera d'entre les morts après le troisième jour⟨...⟩

Infiniment plus intéressant que Kouprine est Bounine. L'avez-vous lu? («Le Monsieur de San-Francisco», aussi chez Bossard). Certes, il n'est pas non plus de notre bord, il est violemment, amèrement antirévolutionnaire, antidémocrate, antipopulaire, presque antihumain, pessimiste jusqu'aux moelles. Mais quel artiste génial! Et, malgré tout, quel renouvellement des lettres russes s'annonce encore par lui! Quelles richesses nouvelles de coloris, de toutes les sensations! Et dans l'esprit même, je sens la pénétration (malgré lui) de l'immense, de l'insondable Asie. Deux nouvelles du volume («Un compatriote» et «Frères») sont particulièrement saisissantes, de ce point de vue. Elles valent, pour moi, tout le reste du livre.

*Перевод*:

⟨Париж⟩ суббота 20 мая 1922 г.

...Я получил приглашение на второй завтрак писателей. Вижу, что приглашен и Куприн. Я читал его роман «Поединок», изданный у Боссара. Он не очень интересен,— впрочем, довольно суров по отношению к русской армии и военщине вообще. Но достойно сожаления, что автор считал своим долгом извиниться за этот, уже устаревший, обвинительный акт в послесловии — восторженном дифирамбе во славу благочестивого русского воинства, которое восстанет из мертвых на третий день ⟨...⟩

Бесконечно интереснее Куприна Бунин. Читали ли вы его? («Господин из Сан-Франциско», также вышедший у Боссара [2]). Конечно, он отнюдь не наш, он неистово, желчно антиреволюционен, антидемократичен, антинароден, почти антигуманен, пессимист до мозга костей. Но какой гениальный художник! И, несмотря ни на что, о каком новом возрождении русской литературы он свидетельствует! Какие новые богатства красок, всех ощущений! Само же его сознание, я чувствую, пронизано (вопреки его собственной воле) духом необъятной, непостижимой Азии. Два рассказа этого тома («Соотечественник» и «Братья») особенно поразительны с этой точки зрения. Они стоят, на мой взгляд, всего остального в книге.

Архив Ромена Роллана, Париж. Печатается по копии, которую М. П. Роллан любезно предоставила А. К. Бабореко.

[1] Луиза Круппи — друг и корреспондентка Ромена Роллана, по своим интересам была близка к литературным и музыкальным кругам.

[2] Сборник рассказов «Le Monsieur de San-Francisco», Paris, 1921 (изд. Bossard) — первая книга Бунина, вышедшая на французском языке. Высокую оценку «некоторых рассказов» из этого сборника Р. Роллан дал также в письме к Бунину от 10 июня 1922 г. (см.: «Вопросы литературы», 1965, № 6, стр. 255).

## II

## АНРИ ДЕ РЕНЬЕ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БУНИНА 1921—1924

Сообщение Л. К. Кувановой

В 1921 г. в Париже вышел первый сборник рассказов Бунина на французском языке — «Господин из Сан-Франциско» («Le Monsieur de San-Francisco», Paris, 1921). На его появление откликнулся Анри де Ренье в своем обозрении «Литературная жизнь» («La Vie littéraire»), которое он вел в парижской газете «Figaro» в 1920—1925 гг. С тех пор он отмечал каждую новую книгу Бунина.

Отзывы А. де Ренье о сборниках «Господин из Сан-Франциско» („Monsieur de San-Francisco»), «Деревня» («Le Village». Paris, 1923) и «Чаша жизни» («Le Calice de la vie». Paris, 1924) печатаются по вырезкам из обозрений «Le Vie littéraire» («Figaro» — 19 декабря 1921 г., 20 февраля 1923 г. и 1 августа 1924 г.), которые сохранились в архиве Бунина (ИМЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. хр. 76—79). Краткий отзыв о повести «Митина любовь» («Figaro», 22 декабря 1925 г.—там же, ед. хр. 80) не воспроизводится.

### 1

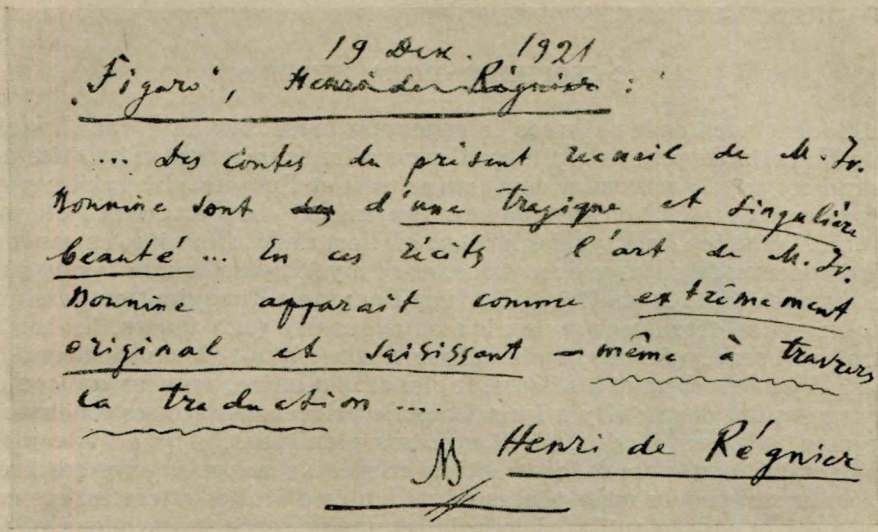
### ‹О СБОРНИКЕ «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»›

...Le recueil de nouvelles de M. Ivan Bounine nous ramène à la Rusie d'hier. A la première de ses nouvelles: «Le Monsieur de San-Francisco», qui a fourni son titre au volume de M. Bounine, je préfère celles où il nous peint les gens de son pays. M. Bounine est l'auteur d'un roman intitulé «Le Village», où il a cherché à représenter sans fard le paysan russe. A ce souci de réalisme se rattachent plusieurs des contes du présent recueil de M. Ivan Bounine, dont certains, tels que «Le Soir de Printemps» ou «Propos nocturnes» sont d'une tragique et singulière beauté ‹...› En ces récits, comme en d'autres d'un caractère moins brutal et moins dramatique, l'art de M. Bounine apparait comme extrêmement original et saisissant, même à travers la traduction.

*Перевод:*

...Сборник рассказов г. Ивана Бунина возвращает нас в Россию вчерашнего дня. Первому из этих рассказов — «Господину из Сан-Франциско», который дал название всей книге Бунина, я предпочитаю те, в которых он описывает своих соотечественников. Г-н Бунин — автор романа «Деревня», где он стремился без прикрас изобразить русского крестьянина. Таким же стремлением к реализму проникнуты несколько других рассказов сборника г. Ивана Бунина; некоторые из них, например, «Весенний вечер» и «Ночной разговор», преисполнены трагической и своеобразной красоты ‹...› В этих рассказах, как и в других, менее жестоких и менее драматичных, искусство г. Бунина, предстает, даже в переводе, как в высшей степени оригинальное и захватывающее.

«Figaro», 19 декабря 1921 г.


19 Déc. 1921

'Figaro', Henri de Régnier:

... des contes du présent recueil de M. Iv. Bounine sont d'une tragique et singulière beauté ... En ces récits l'art de M. Iv. Bounine apparaît comme extrêmement original et saisissant — même à travers la traduction ...

Henri de Régnier

ВЫПИСКА БУНИНА ИЗ РЕЦЕНЗИИ АНРИ де РЕНЬЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» (ПАРИЖ, 1921)

Автограф

Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

## 2

## ‹О ПОВЕСТИ «ДЕРЕВНЯ»›

... Tikhon, Kouzma! De ces deux personnages de son admirable et terrible roman, M. Bounine a tracé des portraits que l'on n'oublie plus, tant ils imposent à la mémoire de vivantes figures. Kouzma, Tikhon, autour d'eux s'agite tout le village en sa morne et misérable médiocrité, et autour du village les saisons se succèdent, hiver glacial, été torride, printemps enivrant, mélancolique automne! Et des villages comme ce village de Dournovka, il y en a des milliers et des milliers, et comme le dit un des personnages du roman de M. Bounine, «toute la Russie n'est qu'un village», et Tikhon et Kouzma ne représentent-ils pas la dualité de l'âme russe en son mélange de prosaïsme et d'exaltation? Du moins est-ce le sens que m'a paru présenter le beau roman de M. Ivan Bounine.

*Перевод*:

...Тихон, Кузьма! — г. Бунин так нарисовал портреты этих двух персонажей своего удивительного и ужасающего романа, что забыть их уже невозможно, — столь живо врезываются они в нашу память. Кузьма, Тихон — вокруг них вращается жизнь всей деревни, в ее мрачной и убогой обыденности, а вокруг деревни чередуются, сменяя друг друга, времена года: ледяная зима, знойное лето, пьянящая весна, задумчивая осень! А таких деревень, как Дурновка, тысячи и тысячи,— и как говорит один из героев романа г. Бунина, «вся Россия — деревня», а Тихон и Кузьма разве не олицетворяют двойственность русской души с ее смешением обыденного и возвышенного? Во всяком случае, таков, мне кажется, смысл прекрасного романа Ивана Бунина.

«Figaro», 20 февраля 1923 г.

3

## ‹О СБОРНИКЕ «ЧАША ЖИЗНИ»›

...Ce sentiment de la nature je le remarque aussi chez M. Ivan Bounine. Il se mêle intimement aux récits qu'il nous offre sous le titre «Le Calice de la Vie» qui est celui du premier conte du recueil et l'un des plus saisissants en sa rigoureuse âpreté. Nous y trouvons également «Le Berger» et l'étonnant récit qui s'appelle «Au Pays des Morts», où l'art de M. Bounine, en ses concises profondeurs, en sa force évocatrice, en sa mystérieuse et subtile puissance, apparait avec toute sa maitrise. M. Ivan Bounine a l'imagination pessimiste et il observe les êtres avec une ironie compréhensive ‹...› Certes, les hommes ne sont ni beaux, ni bons, mais autour d'eux n'y a-t-il pas la beauté des choses? Il y a les arbres et les fleurs, le ciel et la lumière, les eaux qui coulent, les nuages qui passent; il y a les saisons: le printemps avec ses renouveaux, l'automne avec ses déclins, l'été avec ses plénitudes, il y a l'hiver avec ses neiges infinies, avec la contraction crispée de ses gels, avec ses brèves journées et ses longues nuits toutes scintillantes d'étoiles glaciales, ces nuits ténébreuses et endiamantées où le froid est une présence et une odeur, et dont M. Bounine arrive à nous donner l'impression exacte, la sensation matérielle.

A cette compréhension de la nature M. Bounine joint une amère et perspicace science de l'homme.

*Перевод:*

...Это чувство природы я замечаю также у г. Ивана Бунина. Им глубоко проникнуты рассказы, вошедшие в сборник «Чаша жизни», получивший название по первому и одному из наиболее впечатляющих своей суровой горечью рассказов. Мы находим здесь также «Пастуха» и удивительный рассказ «В стране мертвых» [1], где искусство г. Бунина с его насыщенностью и глубиной, с его изобразительной мощью, с его таинственной и неуловимой властью проявляется во всем блеске мастерства. Воображение Ивана Бунина окрашено пессимизмом, он наблюдает жизнь со всепонимающей иронией ‹...› Да, в людях нет ни красоты, ни добра, но разве в мире, их окружающем, нет ничего прекрасного? Ведь есть деревья и цветы, небо и солнечный свет, струящиеся воды, плывущие облака; есть времена года — весна с ее вечным обновлением, осень с ее увяданием, лето с его изобилием, зима с ее бесконечными снегами, сковывающей стужей, с ее короткими днями и долгими ночами, в которых сверкают ледяные звезды,— с этими темными алмазными ночами, когда мороз обретает плоть и запах; все это в передаче г. Бунина становится для нас реальностью, физически ощутимой.

Это проникновение в мир природы г. Бунин сочетает с горестным и проницательным знанием человека.

«Figaro», 1 августа 1924 г.

# III
# ИЗ «ПАРИЖСКОГО ОТЧЕТА» ТОМАСА МАННА 1926

Сообщение А. К. Бабореко

В январе 1926 г. Томас Манн приехал в Париж по приглашению группы французской интеллигенции. Здесь, на литературном завтраке у Льва Шестова, произошла его встреча с Буниным, которую он описал в дневнике своей поездки, озаглавленном

[1] Под названием «Le Berger» («Пастух») и «Au Pays des Morts» («В стране мертвых») в сборнике «Le Calice de la vie» (Paris, 1924) были напечатаны рассказ «Игнат» и часть очерков из цикла «Тень птицы».

**ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ПОВЕСТИ «ДЕРЕВНЯ» НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ**

**Берлин, 1936**

**Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва**

BRUNO CASSIRER VERLAG · BERLIN

*Neuerscheinung*

IWAN BUNIN

Das Dorf

*Roman. Deutsch von A. Luther. Einbandzeichnung von Hans Meid*

*Geheftet RM 3.50, in Leinen RM 5.–*

*Der Roman erscheint bisher: englisch-amerikanisch, französisch, spanisch, dänisch, schwedisch, finnisch, italienisch, ungarisch, holländisch, tschechisch, serbisch, polnisch*

In seinem Hauptwerk, dem Roman „Das Dorf", bietet Bunin ein in seiner Wahrhaftigkeit erschütterndes Bild des russischen Bauernlebens vor dem Kriege. Die Hauptperson ist ein „denkender" Bauer, Kusma Kratow, der als Handelsmann durch ganz Rußland reist, alles liest, was ihm an Büchern in die Hände kommt, aber zu guter Letzt wieder nur seiner Bildung etwas anzufangen weiß, noch auf andere Einfälle anzuleiten vermag. So bringt er es weder zu Reichtum noch zu Ansehen, wallfährtet nach allen möglichen heiligen Stätten und kehrt schließlich in das heimatliche Dorf zurück. Was ihn und alle die Bauern und Städter, mit denen Kusma auf seinen Wanderungen zusammenkommt, so quält, ist nicht Leibeigenschaft, Armut und politischer Druck, es ist vor allem das Bewußtsein der Sinn- und Zwecklosigkeit ihres Daseins. Der Charakter des russischen Volkes in seiner grenzenlosen Leidensfähigkeit ist es, der sich in ihnen so lebendig äußert, daß das Buch fast wie eine Prophezeiung des russischen Kriegs- und Nachkriegsschicksals wirkt. Bunin erzählt scheinbar ohne jede persönliche Stellungnahme; und doch liegt ein Hauch warmer Menschlichkeit über der Dichtung, doch fühlt man immer wieder, wie sehr der Dichter an seiner Heimat und an seinem Volk hängt. Diese Haltung und eine große dichterische Gestaltungskraft im Verein mit unbestechlicher Beobachtung eines harten Wirklichkeit geben dem Werk des bisher als Dichter eines vergangenen romantischen Rußlands bekannten Autors seinen besonderen Reiz.

*Einbandzeichnung von Hans Meid*

*Früher erschien:*

Im Anbruch der Tage

*Ein autobiographischer Roman*

*11. Tausend Geheftet RM 4.–, Ganzleinen RM 5.50*

Die Grammatik der Liebe

*Erzählungen*

*Geheftet RM 3.50, Ganzleinen RM 5.–*

„Der Roman ist durchwebt von der Erinnerung an die verlorengegangene Heimat. Aber Bunin ist so verwurzelt in ihr, daß selbst das Exil ihn nicht von ihr trennen konnte, ja daß er an einem wirklichen Meister erst in der Verbannung herauszeitigt. Er kann mit Recht als der einzige lebende Künstler betrachtet werden, der die Tradition des russischen Realismus fortsetzt und in gewissem Sinne vollendet. Alles ist nur gefeilter Zartheit, Eleganz und jenes fast bellettrischen Deutlichkeit gegeben, wie sie dem wirklichen Dichter eigen und" *Deutsche Zukunft*

«Парижский отчет» («Pariser Rechenschaft»). Отрывок из «Парижского отчета» Томаса Манна печатается по изданию: Thomas Mann. Gesammelte Werke. B. 12. Berlin, 1956, S. 58—59.

24 Januar ⟨1926⟩

Der erste, mit dem ich bekannt gemacht wurde, war Ivan Bunin, mit dem ich brieflich schon in Kontakt gestanden hatte, der Meister des «Herrn aus San-Franzisko», einer Erzählung, die an moralischer Wucht und aufwandloser Plastizität einigen stärksten Dingen von Tolstoi, dem «Polikuschka», dem «Tod des Ivan Iljitsch», an die Seite zu stellen ist. Die Geschichte ist nun wohl in alle Sprachen übersetzt. Sie steht auf französisch in voller Greifbarkeit da, wie auch der furchtbar triste Bauernroman «Le Village». Bunin sieht aus, wie ich ihn mir, glaube ich, vorgestellt hatte: mittelgross, rasiert, scharfzügig, scheint er eher in sich gekehrt als gesprächig. Es versteht sich, dass er von Komplimenten über den «Herrn aus San-Franzisko» genug hat. Lieber wollte er etwas über «Mitjas Liebe» hören, und wahrhaftig brauchte ich mich zur Bewunderung auch dieser Eindringlichkeit nicht zu zwingen, denn auch aus ihr wirkt die unvergleichliche epische Überlieferung und Kultur seines Landes...

*Перевод*:

24 января ⟨1926⟩

Первым, с кем меня познакомили, был Иван Бунин, с которым я уже обменялся письмами, создатель «Господина из Сан-Франциско», рассказа, который по своей нравственной мощи и строгой пластичности может быть поставлен рядом с некоторыми из наиболее значительных произведений Толстого — с «Поликушкой», со «Смертью Ивана Ильича». Этот рассказ переведен уже, кажется,

на все языки. Во французском переводе он сохранил полностью свою захватывающую силу, так же, как и «Деревня» — этот необычайно скорбный роман из крестьянской жизни. Бунин именно таков, каким я его себе представлял: среднего роста, бритый, с резкими чертами лица, он производит впечатление человека скорее замкнутого, чем разговорчивого. Разумеется, он пресытился похвалами «Господину из Сан-Франциско». Он охотнее услышал бы что-нибудь о «Митиной любви», и, по правде сказать, мне не нужно было себя принуждать, чтобы выразить восхищение ее проникновенностью, потому что и в ней сказалась несравненная эпическая традиция и культура его страны...

## IV

## БУНИН В СПОРЕ С АНДРЕ ЖИДОМ

Предисловие Т. Л. Мотылевой
Публикация А. К. Бабореко*

Письмо Андре Жида к Бунину, как и страницы его дневника, где упоминается Бунин, представляют интерес вовсе не просто как свидетельство уважения знаменитого французского писателя к его русскому сверстнику и собрату. Самое примечательное в этих документах — отголоски литературного спора, носящего принципиальный характер.

«В ходе беседы,— вспоминает А. Жид в письме к Бунину,— мы обнаруживали, что не согласны друг с другом ни в чем, абсолютно ни в чем... Наши литературные вкусы, наши пристрастия, наши суждения расходились во всем — как в том, что мы одобряли, так и в том, что мы осуждали». В дневнике А. Жида от 28 августа 1941 г. о сути этих разногласий говорится более конкретно: «Его преклонение перед Толстым непонятно мне так же, как его пренебрежение к Достоевскому, Щедрину, Сологубу. У нас с ним нет общих святых, общих богов — это ясно». Ни к Щедрину, ни к Сологубу А. Жид, насколько известно, не проявлял особого интереса. Зато перед Достоевским он преклонялся — по-своему с неменьшей искренностью и постоянством, чем Бунин — перед Толстым. Очевидно, что каждый из участников спора воспринимал и истолковывал своего любимого русского классика своеобразно, во многом субъективно,— у А. Жида был «свой» Достоевский, так же как у Бунина был «свой» Толстой.

Бунин горячо любил Толстого — как художника и человека. Социальная проблематика толстовского реализма, его обличительная сила осталась в значительной мере недоступной и чуждой Бунину; в разработке народной, крестьянской темы он шел своими, очень отличными от Толстого путями. Но Бунина покоряла нравственная высота Толстого как мыслителя и проповедника и вместе с тем — пластичность, изобразительная мощь толстовского искусства. Преемственная связь с Толстым сказалась в ряде произведений Бунина (особенно в «Господине из Сан-Франциско»), что не раз отмечалось исследователями.

К Достоевскому Бунин относился совершенно иначе,— отчужденно, критически (см. настоящ. кн., стр. 272, 274—275, 278).

В статье «На поучение молодым писателям», опубликованной в 1928 г., Бунин энергично взял под защиту реалистические традиции Толстого. Он вступил в полемику с критиком Г. Адамовичем, который упрекал литераторов, старающихся учиться у Толстого, в чрезмерном пристрастии к бытовизму, к «внешней изобразительности». Адамович призывал писателей отойти от воспроизведения «внешнего мира», повернуться к «миру внутреннему» в его движении и изменчивости. Возражая ему, Бунин саркастически спрашивал:

«Это очень приятно слышать, но кто же это когда отрицал? А потом — что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Нечленораздельными звуками?

* Перевод публикуемых ниже текстов из дневника Андре Жида и его письма Бунину выполнен редакцией «Литературного наследства».

Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? Например, Достоевского? Но ведь тоже немало шли и идут. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего?» (9, 451).

Есть основание предположить, что к подобной же аргументации прибегал Бунин и в беседе с Андре Жидом: в своих оценках Толстого и его литературных последователей А. Жид был близок к той точке зрения, которая столь раздражила Бунина в статье Адамовича.

Наследие Толстого и Достоевского, вопрос о значении их традиций для современной литературы — все это было постоянным предметом разногласий между А. Жидом и одним из его ближайших французских друзей, Роже Мартен дю Гаром [1]. Имена обоих русских классиков то и дело встают в переписке А. Жида и Р. Мартен дю Гара, недавно опубликованной во Франции.

А. Жид неоднократно критиковал автора «Семьи Тибо» за его пристрастие к Толстому. Он писал, например, 22 сентября 1928 г.: «То, в чем вы, кажется, готовы сегодня упрекнуть себя,— это и есть, как вы знаете, то, в чем я упрекаю Толстого... Ваши персонажи не доставляют вам никаких неожиданностей; в них нет ничего, что бы вы сами в них не вложили и не обозрели со всех сторон. Вас за это и будут хвалить: такова уж манера вашей живописи, и в ней вы достигли мастерства. Энгру не надо сожалеть, что у него нет качеств Рембрандта ...» [2]. Эстетическая позиция Жида выражена с еще большей определенностью в письме к Роже Мартен дю Гару 2 апреля 1930 г.: «Любопытно, что я все время чувствую нарочитость у Толстого; я никогда ее не чувствую или по крайней мере никогда от нее не страдаю у Достоевского. Дело в том, что у него всегда есть что сказать,— нечто новое и важное; по крайней мере для меня у него важна не живопись сама по себе и не внешние действия персонажей — а некая таинственная тревога, которою он наделяет каждого из них и которою он хочет заразить и читателя... Мне нравится в нем именно то, что он не идет на поводу у своих повествовательных приемов и что любой его прием глубоко мотивируется и порождается тем внутренним демоном, который сидит в нем. Именно этого я не нахожу в Толстом; потому он мне и кажется скучным» [3].

Роже Мартен дю Гар был непоколебимо убежден, что Толстой, как никто другой, может научить писателей «смотреть вглубь» [4]. В противовес этому Андре Жид отказывал Толстому в психологической глубине, осуждал его за присущую ему ясность, пластичность картины мира. Толстовскую художественную манеру он неуважительно приравнивал к живописи Энгра, дающей упрощенные и приглаженные образы бытия, в то время как в Достоевском видел нечто родственное Рембрандту. Подобные противопоставления можно найти и в книге А. Жида о Достоевском, вышедшей в 1923 г. Роман Достоевского, утверждал Жид, предельно далек от традиционной формулы, пущенной в оборот Стендалем — «зеркало, проносимое по большой дороге». «В романе Стендаля или Толстого господствует постоянный, ровный, рассеянный свет; все предметы освещены одинаково и видны со всех сторон; они вовсе лишены тени. А в книге Достоевского, как на картине Рембрандта, самое важное — это тень» [5]. Жид крайне произвольно интерпретировал и Достоевского, и Рембрандта, рассматривая и у того и у другого «тень» — налет таинственности, загадочности — как своего рода художественную самоцель. В книге Жида есть частные наблюдения над мастерством Достоевского, не лишенные проницательности; но в целом она дает во многом искаженный портрет великого русского писателя. Острота социальной критики, защита униженных и оскорбленных — все это начисто игнорируется и сбрасывается со счета, герои Достоевского предстают в аспекте абстрактно-вневременном. Сам Достоевский трактуется в одно и то же время и как певец ставрогинского аморализма, и как проповедник абсолютного смирения, враждебного интеллекту. В финале книги формулируется главный эстетический вывод автора: «Я хотел бы объяснить вам, что *при помощи добрых чувств создается плохая литература и что нет подлинного произведения искусства без соучастия демона*» [6].

Все сказанное помогает нам представить себе, с каких позиций Андре Жид мог восхвалять Достоевского и «ниспровергать» Толстого в разговоре с Буниным. Можно понять, что оба собеседника, при всем уважении друг к другу, так и не нашли общего

языка — ни в оценке обоих великих русских писателей, ни в подходе к конкретным задачам литературного мастерства.

Книга Бунина «Освобождение Толстого», прочитанная А. Жидом в сентябре 1941 г., дала ему новый повод задуматься над личностью и судьбой нелюбимого им русского классика. В дневниковой записи, посвященной этой книге, А. Жид снова «ниспровергает» Толстого — на этот раз в плане этическом.

Как известно, книга Бунина не дает, да и не претендует на то, чтобы дать целостный образ Толстого как человека и художника. Самое интересное в ней — живые записи по памяти, свидетельства очевидцев, тонко подмеченные штрихи личности Толстого.

Бунин не сумел и не пытался разобраться в противоречиях мировоззрения Толстого, не сумел и не пытался увидеть связь толстовского гения с движением русских крестьянских масс. Но он на свой лад запечатлел обаяние и силу титанической личности писателя. И нет оснований удивляться, что даже Андре Жид, так не любивший Толстого, прочитал эту книгу с «большим интересом».

Сквозь всю неполноту и неизбежный субъективизм бунинских записей А. Жид почувствовал в Толстом бушевание гордого ума, страстное неприятие господствующих устоев жизни. Даже уход его из Ясной Поляны Жид оценил — не без оснований — как бунт Титана против бога, против судьбы. И это еще укрепило его в давней неприязни к Толстому...

Современный советский читатель может найти немало устаревшего и ошибочного в бунинской интерпретации Толстого. Но в главном и решающем Бунин-художник был и остался близок к традициям толстовского реализма и — шире — к большим реалистическим традициям русской классической литературы. И в этом смысле разногласия между ним и Андре Жидом (который, при всем обилии написанных им правдивых и сильных страниц, был, по основной своей сути, художником модернистского склада) далеко выходят за пределы личных литературных вкусов и пристрастий.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Краткая характеристика этих разногласий дана в книгах: Ф. Наркирьер. Роже Мартен дю Гар. Критико-биографический очерк. М., 1963, стр. 222—223; Б. Бурсов. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1967, стр. 390—391.

[2] André Gide, Roger Martin du Gard. Correspondance. Paris, 1968, p. 352.

[3] Там же, стр. 400.

[4] Роже Мартен дю Гар. «Воспоминания».— «Иностранная литература», 1956, № 12.

[5] André Gide. Dostoïevski. Paris, 1964, p. 142.

[6] Там же, стр. 207 (курсив А. Жида).

## 1

## ИЗ ДНЕВНИКА АНДРЕ ЖИДА

28 août ⟨1941⟩

A Grasse depuis hier. Vers le soir de mon arrivée, été voir Bounine. Visite assez décevante, car, malgré de cordiaux efforts de part et d'autre, le vrai contact ne s'est pas établi. L'un fait trop peu de cas de ce que l'autre admire. Son culte pour Tolstoï me gêne autant que son mépris pour Dostoïevski, pour Chchédrine, pour Sologoub. Décidément, nous n'avons pas les mêmes saints, les mêmes dieux. Mais durant toute la conversation il s'est montré charmant. Son beau visage, bien que très plissé, reste noble et son regard est plein de flamme. Il était en pyjama caroubier, largement ouvert sur le devant et laissant entrevoir une mince chaînette d'or qui devait, j'ai supposé, retenir une médaille sainte. Il vient, m'a-t-il dit, d'achever un nouveau livre, mais ne sait où ni comment le faire éditer. J'étais un peu confus de ne connaître de lui que «Le Monsieur de San-Francisco» et que «Le

ГРАСС. ВИД НА ОКРАИНУ ГОРОДА И ВИЛЛУ «ЖАННЕТ»
Фотография.
Звездочкой отмечено место, где находилась вилла «Жаннет»
Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция

Village», oeuvre de jeunesse qui, m'a-t-il dit, le représente fort peu, fort mal, et que j'avais grand tort d'aimer beaucoup. Peu s'en faut qu'il ne la renie. Je ne sais ce qu'il connaît de moi, ni n'ai pu discerner sur quoi se base la sympathie qu'il me témoigne.

10 septembre ⟨1941⟩

Je lis avec un vif intérêt le livre de Bounine sur Tolstoï. Il l'explique à merveille et m'explique du même coup pourquoi je me sens, devant Tolstoï, si mal à mon aise. Quel monstre! Sans cesse cabré, en révolte contre son naturel, forçant de douter sans cesse de sa sincérité, étant tour à tour tout et tous et jamais plus personnel que lorsqu'il cesse d'être lui-même; orgueilleux dans le renoncement, orgueilleux sans cesse, jusqu'à ne prendre point son parti de mourir simplement comme tout le monde. Mais quelle angoisse dans cette lutte dernière; c'est celle d'un Titan contre Dieu, contre le sort. Je l'admire peut-être; je ne puis sympathiser et me sentir d'accord qu' avec les humbles, les modestes. Tolstoï reste, pour moi, une *impossibilité*. Cinelli le compare à saint François, quelle absurdité! Tolstoï s'oppose à saint François

de tout son être et par toute sa complexité, son faste, et même son effort vers un dénuement spectaculaire; sans cesse en représentation devant lui-même, et pour qui la simplicité n'est qu'une complication de plus. Protéiforme, ses «créations» les plus compliquées ne sont jamais qu'une simplification de lui-même, et celui capable de devenir tant d'êtres, devient à jamais incapable d'une réelle sincérité.

*Перевод*:

28 августа ⟨1941 г.⟩

Со вчерашнего дня в Грассе. Вечером, по приезде, навестил Бунина. Встреча несколько разочаровала меня, ибо, несмотря на искренние усилия обеих сторон, подлинного контакта не получилось. Один равнодушен к тому, что восхищает другого. Его преклонение перед Толстым коробит меня так же, как и его пренебрежение к Достоевскому, Щедрину, Сологубу. У нас с ним нет общих святых, общих богов — это ясно. Но в течение всей беседы он был очарователен. Его красивое, хотя и очень морщинистое, лицо сохраняет благородство, а взгляд полон огня. На нем была коричневая, расстегнутая на груди пижама, из-под которой виднелась тонкая золотая цепочка,— думаю, что с образком. Он сказал, что закончил новую книгу, но не знает, где и как ее издать. Я был немного сконфужен тем, что знал только его «Господина из Сан-Франциско», и еще «Деревню» — юношеское произведение, которое, по его словам, дает очень слабое и очень неверное о нем представление и которое я напрасно так высоко ценю [1]. Он почти готов от него отказаться. Не знаю, что он читал из моих произведений, и не смог разобрать, на чем основана симпатия, которую он ко мне проявляет.

10 сентября ⟨1941 г.⟩

С большим интересом читаю книгу Бунина о Толстом. Он его прекрасно объясняет и одновременно объясняет мне, почему с Толстым мне так не по себе. Какое чудище! Постоянно бунтующий, восстающий против собственной природы, постоянно вызывающий сомнение в своей искренности, попеременно воплощающийся во всё и вся,— он никогда не бывает более индивидуален, чем тогда, когда перестает быть самим собой, преисполненный гордыни в самоотречении, гордыни во всем, вплоть до несогласия умереть просто, как все люди. Но какая жуть в этой последней борьбе: это борьба Титана против Бога, против судьбы. Я восхищаюсь им пожалуй; но чувствовать симпатию душевную и близость могу только к людям скромным, смиренным. Толстой остается для меня какой-то *невозможностью*. Чинелли сравнивает его со св. Франциском,— какая нелепость! Толстой противоположен св. Франциску всем своим существом, всей своей сложностью, своим величием, даже своим стремлением к показному опрощению; он все время рисуется перед самим собой, и простота для него — только еще одна сложность. Он многолик, и самые сложные его «создания» — это всегда лишь он сам в упрощенном виде, а тот кто способен к столь бесконечным перевоплощениям, останется навсегда неспособным к подлинной искренности.

André Gide. Journal 1939—1942. Paris, 1946, p. 152—153, 155.

[1] 27 июля 1922 г. А. Жид, упоминая о Бунине в своем дневнике, записал: «Son „Village“ est admirable» («Его „Деревня“ удивительна»—André Gide. Journal 1889—1939. Paris, 1948, p. 738; сообщено Т. Г. Динесман).

## 2

## ПИСЬМО АНДРЕ ЖИДА К БУНИНУ

⟨Париж, 23 октября 1950 г.⟩

Cher Ivan Bounine,

Je ne vous ai précédé que d'un an dans la vie; c'est dire que nous sommes à bien peu près du même âge — vous m'avez précédé de quinze ans dans les

honneurs: c'est en 1933, si je ne fais erreur, que la Suède vous accorda le prix Nobel. Cette même faveur insigne fut accordée, en France, à Roger Martin du Gard, puis, longtemps ensuite, à moi-même. Est-ce un titre suffisant pour m'adresser à vous aujourd'hui, au nom de la France, et vous donner, au seuil de votre quatre-vingt-unième année, une accolade confraternelle?[1] Non: il y faut encore que vous ayez choisi la France pour abriter votre long exil, citoyen russe réfugié parmi nous depuis la révolution qui vous a mis en opposition, parmis les vôtres, contre ce qui vous paraissait intolérable. Il y faut surtout les liens d'une sympathie profonde, pour votre oeuvre d'abord, que j'admirais déjà longtemps avant d'avoir pu vous rencontrer; pour vous-même enfin lorsque nos routes se sont croisées.

Vous habitiez Grasse et je n'eus pas grand détour à faire pour aller vous saluer dans cette hospitalière villa où quelques-uns de vos compatriotes gravitaient autour de vous. Je n'ai certes pas oublié la bonne grâce de votre accueil; vous fîtes tant, et Madame Bounine, et quelques autres, pour que je me sentisse à peine dépaysé dans cette atmosphère, un peu bohème, un peu surchauffée, mais profondément humaine, qui vous enveloppait. Si je m'y sentis aussitôt presque parfaitement à mon aise, c'est que cette atmosphère était celle même qu'évoquaient la plupart des oeuvres de la littérature russe avec laquelle j'étais depuis longtemps familiarisé. Affaire d'une sorte de rayonnement: des fenêtres de votre villa de Grasse j'étais presque étonné de voir un paysage du Midi de la France et non pas la steppe russe, le brouillard et la neige, et les bosquets de bouleaux blancs. Votre monde intérieur s'imposait et triomphait des apparences; c'était là la réalité. Et je retrouvais autour de vous cette extraordinaire force de sympathie qui laisse fraterniser l'homme avec l'homme, en dépit des frontières, des différences sociales et des conventions. En dépit même des divergences intellectuelles. Comme je m'entendais bien avec vous! Au cours de la conversation, nous découvrions que nous n'étions d'accord sur rien, absolument sur rien: c'était charmant. Nos goûts littéraires, nos admirations, nos jugements différaient du tout au tout, aussi bien pour approuver que pour honnir. Mais ce qui m'importait, c'est que je n'entendais dans vos propos rien que d'authentique et de convaincu, rien d'obtenu par contrainte ou par imitation, de contrefait. Et sans doute était-il impossible d'imaginer une éthique et une esthétique, un ciel et un enfer littéraires, plus profondément et foncièrement distants des miens que les vôtres. Mais vous aviez su vous affermir et vous affirmer sur vos positions d'une manière magistrale. Et c'est cela seul qui importe; car, en art, il n'est pas une seule façon d'être grand. Lorsque j'écoute un récit de vous, j'oublie tout le reste: ça y est. Je ne connais pas d'oeuvres où le monde extérieur soit en contact plus étroit avec l'autre, le monde intime; où la sensation soit plus exacte et irremplaçable, les propos plus naturels à la fois et plus inattendus. Vous évoluez aussi aisément dans les milieux les plus misérables et sordides que dans les milieux fortunés, avec pourtant une sorte de prédilection pour ce qu'il y a de plus déshérité sur la terre. Et quels raccourcis soudains où il semble que la toile du tableau se déchire pour laisser entrevoir une sorte de désespoir sans recours. Oh! Je crois bien que c'est par là que nous différons le plus. Mais il ne s'agit pas ici d'approuver.

Dans un de vos récits les plus saisissants («La Brume» [2]), vous racontez l'effroyable mort d'un pauvre être, que son père, à moitié mort de froid lui-même, porte péniblement sur son dos, perdu dans le brouillard, à travers l'impitoyable nuit. C'est le père qui fait ce récit à une servante. «Quelle chose extraordinaire», dit celle-ci lorsqu'il eut terminé. «Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu ne pas mourir, toi aussi, cette nuit-là». Et l'autre répond distraitement: «J'avais bien autre chose à faire».

Cher Ivan Bounine, la France peut être fière d'avoir recueilli votre exil. Puisse celui-ci, dans la brume qui nous enveloppe de toutes parts, ne pas

avoir été sans quelques lueurs; puisse-t-il vous avoir apporté, vous apporter encore, quelques raisons de sourire parfois à la vie et de ne pas désespérer de tout: vous avez bien autre chose à faire.

André G i d e.

*Перевод*:

⟨Париж, 23 октября 1950 г.⟩

Дорогой Иван Бунин,

Вступлением в жизнь я опередил вас на один год; другими словами, мы с вами почти ровесники,— в славе же вы опередили меня на целых пятнадцать лет: в 1933 году, если не ошибаюсь, Швеция присудила вам Нобелевскую премию. Та же высокая награда была присуждена, во Франции, Роже Мартен дю Гару, а потом, много времени спустя, и мне. Дает ли мне звание лауреата право обратиться к вам сегодня от имени Франции и, на пороге вашего восемьдесят первого года, по-братски обнять вас ?[1] Нет, нужно было еще, чтобы для долголетнего своего изгнания вы избрали своим убежищем Францию,— вы, русский гражданин, нашедший среди нас пристанище после революции, вследствие которой среди своих вы оказались в оппозиции к тому, что представлялось вам неприемлемым. А главное, нужны были еще узы глубокой симпатии прежде всего к вашему творчеству, которым я восхищался задолго до того, как смог с вами встретиться, и, наконец, — к вам лично, когда пути наши скрестились.

Вы жили в Грассе, и мне не понадобилось делать большой крюк для того, чтобы приветствовать вас на гостеприимной вилле, где вокруг вас собралось несколько ваших соотечественников. Я, конечно, не забыл оказанного мне любезного приема; вы, г-жа Бунина и некоторые другие столько сделали для того, чтобы я не чувствовал себя чужим в несколько богемной, несколько накаленной, но глубоко человечной атмосфере царившей вокруг вас. И если я тотчас почувствовал себя почти непринужденно, то потому, что это была та самая атмосфера, которой проникнуто большинство произведений русской литературы, близкой мне с давних пор. И вот какова сила воздействия: мне казалось почти невероятным видеть из окон вашей виллы в Грассе пейзаж французского юга, а не русскую степь, туман, снег и белые березовые рощи. Ваш внутренний мир брал верх и торжествовал над миром внешним: он-то и становится подлинной реальностью. Вокруг вас я ощущал ту необычайно притягательную силу, которая позволяет братски сближаться человеку с человеком, вопреки границам, общественным различиям и условностям. Даже вопреки расхождениям в области идей. Как прекрасно мы понимали друг друга! В ходе беседы мы обнаруживали, что не согласны друг с другом ни в чем, абсолютно ни в чем,— и это было чудесно. Наши литературные вкусы, наши пристрастия, наши суждения расходились во всем,— как в том, что мы одобряли, так и в том, что мы осуждали. Но что для меня было важно,— это то, что в ваших словах я ощущал только искренность и убежденность, в них не было ни тени насилия над собой, ни приспособленчества, ни подделки. Невозможно, конечно, представить себе понятия об этике и эстетике, о вершинах литературы и ее безднах, которые были бы так глубоко, так в корне отличны от моих, как ваши. Однако вы сумели великолепно стать на свои позиции и великолепно их отстаивать. А только это и важно; ибо в искусстве нет единого пути к великому. Когда я слушаю ваш рассказ, то забываю обо всем: я покорён. Я не знаю произведений, где внешний мир так тесно сливался бы с миром иным, миром внутренним, где ощущения были бы выбраны так точно, что их невозможно заменить другими, а слова были бы так естественны и вместе с тем неожиданны. Вам так же доступен мир убогих и отверженных, как и мир благоденствующих, но сочувствие ваше все же скорее на стороне самых обездоленных мира сего. А какие неожиданные ракурсы, когда кажется, что полотно картины разрывается, чтобы приоткрыть всю безнадежность отчаяния. О, я убежден, что именно в этом мы больше всего отличаемся друг от друга! Но речь здесь не о том, чтобы соглашаться.

В одном из самых захватывающих ваших рассказов («Туман»[2]) вы описываете страшную смерть несчастного существа, которого отец, сам полузамерзший, заблудившийся в тумане, несет на себе, выбиваясь из сил, сквозь беспощадную ночь. Всю эту историю отец рассказывает кухарке. «Дивное дело,— сказала та, когда он кончил,— не пойму я того, как сам-то ты в такую страсть не замерз?» А рассказчик рассеянно отвечает: «У меня другое дело было»[3].

Дорогой Иван Бунин, Франция может гордиться тем, что стала вашим убежищем в изгнании. Надеюсь, что это изгнание в обволакивающем нас густом тумане не было лишено просветов; надеюсь, что оно давало и еще будет давать вам повод порой улыбнуться жизни и не отчаиваться — у вас есть другое дело.

Андре Жид

«Figaro», 1950, № 1904, 24 октября.

[1] Французские писатели составили Комитет по празднованию восьмидесятилетнего юбилея Бунина (Comité pour célébrer le quatrevingtième anniversaire de l'écrivain Ivan Bounine). Председателем Комитета был Андре Жид, в состав его входили Роже Мартен дю Гар, Франсуа Мориак, Андре Моруа (см. настоящ. кн., стр. 347).

[2] Речь идет о рассказе «Сверчок».

[3] У Бунина: «Не до того было».

# ПИСЬМО А. Н. ТОЛСТОГО О БУНИНЕ

Сообщение Ю. А. Крестинского

Публикуемое письмо и причины, продиктовавшие его,— важный материал для изучения того периода жизни Бунина, когда он пришел к мысли о возвращении на родину. Это письмо является также интересной страницей в истории взаимоотношений Бунина и А. Толстого, менявшихся на протяжении тридцати с лишним лет и прошедших через несколько этапов.

Знакомство Бунина с Толстым состоялось в 1909 г., Бунин был тогда уже известным писателем; Толстой, будучи на 12 лет моложе Бунина, только начинал свой литературный путь. Бунин вспоминал позднее, что впервые увидел молодого писателя в редакции журнала «Северное сияние». Бунин редактировал беллетристический отдел журнала, Толстой принес туда рукопись своих «Сорочьих сказок». «...они были написаны не только ловко,— вспоминает Бунин,— но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его „декадентскую книжку стихов", будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания»[1].

На первом этапе их взаимоотношений со стороны Бунина было покровительство и интерес к начинающему писателю; Толстого же привлекали высокое бунинское мастерство, его авторитет. По мере того как Толстой стал занимать все более заметное место в русской литературе 1910-х годов, отношения писателей менялись и перешли в близкое знакомство на равных началах. В литературной жизни этой поры они занимали примерно одинаковое место — в рядах передовой реалистической литературы.

Когда вновь организованное в Петербурге Издательское товарищество писателей выпустило в 1912 г. свой первый сборник, его участниками стали и Бунин, и Толстой. Очень скоро на смену Петербургскому издательству было создано Книгоиздательство писателей в Москве, начавшее выпускать сборники «Слово», в известной мере продолжавшие традиции сборников «Знания». Из восьми сборников, вышедших за 1913—1918 гг., в пяти (сб. 1, 3, 4, 7 и 8) среди авторов присутствуют Бунин и Толстой. Оба они дали свои произведения для сборника «Щит», изданного в 1915 г. под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба.

Много общего было у Бунина и Толстого и в других отношениях. Род Толстых, как и род Буниных, дал русской классической литературе несколько славных имен, и это обстоятельство, которым со своей стороны особенно гордился Бунин, подчеркивало преемственность в служении искусству обоих современников. Оба писателя были из родовитого, но скудеющего дворянского сословия. Оба не имели иных источников дохода, кроме литературного труда. Во многом сходными были полученное воспитание и окружение детских лет, проведенных в глуши русской деревни. Сравнительно близкими были взгляды на искусство. В своем творчестве и Бунин и Толстой были последовательными реалистами. Совпадало и их отношение к наследию русской классики: для обоих вершинами искусства были Пушкин, Лев Толстой, Чехов; спорным считался Достоевский.

Объединяли Бунина с А. Толстым также и свойственные либеральной художественной интеллигенции заблуждения. Оба они, хотя и знали достаточно близко русскую деревню, были далеки от понимания подлинных интересов и чаяний народа, отгораживались от общественной борьбы, провозглашая независимость искусства от поли-

тики. Оба следовали идеям отвлеченного гуманизма. Следствием одних и тех же заблуждений было примерно одинаковое у обоих писателей отношение к Февральской революции, свергшей самодержавие и этим якобы принесшей свободу русскому народу. Сходной для Бунина и Толстого была явная растерянность и непонимание исторической сущности событий, последовавших за Октябрем 1917 г. В социалистической революции оба писателя увидели не начало созидания нового общества, а всеобщее разрушение, в большевиках — не руководителей народных масс, а бунтовщиков-террористов. Общность взглядов определила однотипность позиций и жизненного пути в первые послереволюционные годы.

Зимой 1917—1918 гг. Толстой и Бунин часто встречались. Они были в числе организаторов клуба московских писателей и «Товарищества московских писателей», большинство членов которых тезисом независимости искусства от политики маскировали отрицательное отношение к Октябрю и к большевикам. Встречи происходили и на устраиваемых «Товариществом...» вечерах в кафе «Элита» и «Летучая мышь». Обстановка на этих вечерах зарисована в дневнике Толстого: «...холодное, плохо освещенное, очень высокое кафе. От табачного дыма—мгла. Чай и кофе без сахара. Входят газетчики, кричат о гибели России. Афиша о выборе короля поэтов. В ноги дует. Входят мокрые от снега. Сидят бездомные беженцы, кокаинные барышни, голодные писатели. Дома делать нечего. Сидят часами. Иногда поднимается спор о вещах почти космических...»[2].

Происшедшее размежевание русской интеллигенции при ответе на главный вопрос эпохи — с кем идти, с большевиками или против них?— привело ряд писателей, и среди них Бунина и Толстого, к эмиграции из Советской России. Бунин несколько раньше, Толстой—позже уехали из Москвы, а в сентябре 1918 г. они снова встретились в Одессе, оккупированной сначала германской армией, а затем союзными войсками Антанты, поддерживавшей белогвардейские военные формирования.

Толстой прожил в Одессе почти восемь месяцев, Бунин — полтора года. Частые встречи, общность судьбы, общие надежды и разочарования еще больше сблизили в это время обоих писателей. Нет свидетельств о каких-либо принципиальных разногласиях между ними. Письма, которые Толстой писал несколько позже Бунину, говорят об установившихся искренних дружеских связях.

В начале апреля 1919 г., при подходе Красной Армии к Одессе, Толстой уехал. Родина осталась за кормой парохода, набитого «бывшими» людьми — разного толка белоэмигрантами. Началось «хождение по мукам» на чужбине, длившееся около четырех лет.

Бунин тогда не уехал и пять месяцев прожил в Одессе при Советской власти. В августе 1919 г. Одесса была снова захвачена войсками Деникина. Именно в этот период Бунин получил от Толстого из Парижа несколько писем, полных дружеской тревоги за него и зовущих во Францию [3].

Во время нового наступления Красной Армии на Одессу, в январе 1920 г., Бунин повторил путь Толстого, покинул родину и, претерпев вместе с другими белоэмигрантами всевозможные унижения и невзгоды, через два месяца добрался до Парижа. Здесь снова начались частые встречи писателей. Они сдружились еще больше и даже, судя по переписке, перешли на «ты». Бунин, в частности, вспоминает: «Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей ⟨...⟩»[4].

И все же это время было уже началом завершения второго — обоюдно дружеского — этапа отношений между писателями. Начинается все большее расхождение путей Толстого и Бунина — на этот раз уже окончательное.

Хорошо известен сложный процесс изменения мировоззрения Толстого в годы эмиграции, произведенная им в 1921—1923 гг. переоценка многих ценностей и, в первую очередь, пересмотр отношения к социалистической революции, к партии большевиков. Существенным моментом в этой эволюции, важным шагом на пути возвращения

домой — в Советскую Россию — был переезд Толстого из Парижа в Берлин в октябре 1921 г.

Бунин, цитируя письма Толстого к нему из Берлина, выделяет строку: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» (из письма от 21 января 1922 г.) — и делает вывод: «Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне» [5].

Этот вывод был построен на весьма шатком основании. О возвращении на родину Толстой думал еще в Париже. Отсюда он писал жене в деревушку Камб под Бордо летом 1921 г.: «Я сжигаю все позади себя,— надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл этих слов? Возвращайся. Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин, и если хочешь, то дальше» [6]. Слово «дальше» в контексте письма могло означать только одно — в Советскую Россию.

В апреле 1922 г. в берлинской газете «Накануне» было опубликовано открытое письмо А. Н. Толстого — ответ Н. В. Чайковскому, возглавлявшему комитет помощи писателям и ученым белоэмигрантам. В этих кругах письмо произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Толстой открыто заявил, что совесть зовет его не отсиживаться в подвале эмиграции, а «ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль»[7]. «Я отрезаю себя от эмиграции. Эмиграция ругает меня с остервенением...»[8],— писал вскоре Толстой, полностью сознавая политическое значение своего ответа Чайковскому.

Белоэмигрантский «Союз русских литераторов и журналистов в Париже» исключил А. Толстого в мае 1922 г. из членов Союза. Показательно, что при голосовании этого вопроса из 22 присутствующих Куприн был против исключения, Бунин и С. Юшкевич воздержались, остальные голосовали «за». Как отмечено в газетном отчете, наиболее рьяно настаивала на исключении «меценатка» Цетлин [9].

Весной 1923 г. Толстой приехал в Москву. Кончился самый драматический период его жизни — годы эмиграции. Он стал участником строительства нового общества. Перед его творчеством раскрылись грандиозные перспективы. Для Бунина все оставалось без перемен. Его «непримиримость» утвердилась, для него как бы остановилось движение времени, он продолжал жить прошлым, и только по мере утраты надежд на будущее нарастала в нем горечь разочарования.

Сопоставление судеб Толстого и Бунина вызывает вопрос: чем объясняется все происшедшее с ними, где причины того, что их пути, идущие вначале почти параллельно, впоследствии расходятся в противоположных направлениях.

Причины, определяющие мировоззрение человека, обычно находятся в сложном комплексе социальных условий его формирования. Но немаловажную роль играет и характер личности, душевный строй человека. Доказательные примеры тому — Бунин и Толстой. Влиянием только социальных условий никак не объяснить закоснелость взглядов Бунина после 1917 г. и прогрессивную эволюцию мировоззрения Толстого. Конечно, обусловленная социальными факторами «внутренняя закваска» Толстого и Бунина была не одинакова, но различия между ними не столь принципиальные. Не случайно одна и та же дорога привела писателей в Одессу и Париж. Так же не случайно разошлась она в Париже, хотя там среда и окружение, все социальные влияния и воздействия были идентичными. В данном случае это во многом было обусловлено внутренним духовным складом, характером каждого писателя.

Если считать, что противоположности легче сходятся, то к перечислению того общего, что способствовало сближению Бунина и Толстого, надо добавить полную противоположность их характеров.

У Толстого было не только прекрасное физическое, но и моральное здоровье. Его натуре свойственны общительность, веселость, жизнелюбие, способность даже злое смягчать юмором, не покидающее его чувство радости бытия, постоянная вера в счастливое будущее. Эти черты мировосприятия окрасили все его творчество:

от первых рассказов и повестей цикла «Заволжье» до последних страниц романа «Петр Первый», созданных уже слабеющей, но по-прежнему славящей жизнь рукой.

Характер Бунина гораздо противоречивей, чем у Толстого, сочетанием противоположных черт. С отзывчивостью, интересом к людям, их жизни, способностью к прочной дружбе, в натуре Бунина всегда сочетались, а порой превалировали эгоцентризм, замкнутость, чрезмерная гордость, желчная раздражительность, повышенный критицизм, переходящий в сарказм, а любовь к жизни омрачалась болезненно-неотступными мыслями о смерти, что окрашивало его творчество тональностью безнадежности. Негативные черты характера Бунина обострились переживаниями первых лет эмиграции и некоторые из них даже гиперболизировались.

Эти различия человеческих натур во многом помогают объяснению того, почему жизненные дороги двух писателей разошлись. Вывод о закономерности, приводящей при прочих близких социальных условиях оптимиста-сангвиника на путь прогрессивного развития человеческой мысли, а пессимиста-холерика — к консерватизму, основанный только на примере Бунина и Толстого, может показаться спорным. Но, думается, найдется в истории немало других имен, чье соотношение характера, мировоззрения и политического кредо подтвердят этот вывод.

Однако вернемся к нашей основной теме. Отношение Бунина к своим собратьям по перу определялось после 1917 г. в первую очередь их отношением к Октябрьской революции. Для Бунина это было чем-то вроде лакмусовой бумажки. Красная окраска неизменно диктовала ему отрицательные оценки как творчества, так и личности того или иного писателя. Яростные нападки Бунина вызывали Блок, Брюсов, Маяковский, Есенин. Бунин разорвал дружеские связи с Горьким и пытался даже отрицать искренность своих дореволюционных доброжелательных писем Горькому с восторженной оценкой его произведений. К перечню бывших друзей, принявших революцию и потому ставших для Бунина неприемлемыми, прибавился и Алексей Толстой.

Начался последний этап взаимоотношений писателей, в котором преобладают со стороны Бунина неприязнь и злая ирония, со стороны Толстого — сожаление о трагической судьбе большого художника.

В первые дни после приезда в Москву в беседе с корреспондентами Толстой по личным впечатлениям от 1919—1923 гг. рассказал о белоэмигрантских писательских группах: «Парижская группа возглавляется наиболее непримиримыми Д. С. Мережковским и З. Гиппиус. Сюда, между прочим, входят: Куприн, Бунин, Лазаревский и др. В литературном смысле группа эта, за исключением Бунина, мало что дает. ⟨...⟩ Бунин только за последнее время вернулся к беллетристике. Что же касается политической деятельности Куприна и Бунина, то ведь Куприн никогда не занимался политикой,— какой же он политик! Куприн не работает, почти бедствует. Бунин, также насильно удерживаемый влиянием Мережковского,— все еще под впечатлением Одессы 1919 года с ее голодом, хаосом, бесконечной сменой правительств. Под этим углом зрения воспринимает он русскую жизнь.

Но для Мережковского и других заправил парижской группы неважно, что и Куприн, и Бунин пропадают для русской литературы,— им важно удержать их за границей, оторвать совсем от России, пусть они бедствуют, даже умирают с голоду — все это их мало интересует.

Обоих этих писателей следовало бы вырвать из той гнилой, полной ненависти к Советской России атмосферы и возвратить их русской литературе»[10].

Через полтора года после этого интервью, тоже в беседе с газетным корреспондентом, Толстой, ссылаясь на сообщение только что приехавшего из Парижа артиста Второй студии Художественного театра Вл. Подгорного, говорил: «В Париже остались Мережковский, Гиппиус, Куприн, Бунин, которые живут сейчас за счет благотворительности. ⟨...⟩ Бунин ходит совсем зеленый от злости.

Писать не пишут. Куприн после бегства из России не написал ни строчки беллетристики. Бунин мало пишет, а если пишет, то подражает самому себе»[11].

Весьма вероятно, что эти высказывания, опубликованные в советской печати

дошли до Бунина и усилили его неприязнь к Толстому, хотя являлись только пересказом впечатлений Вл. Подгорного.

Однако неприязнь к Толстому все же не до конца зачеркнула у Бунина признание толстовского таланта и мастерства.

Близкий в то время к Бунину журналист вспоминает: «Бунин прочел „Петра Первого" Алексея Толстого и пришел в восторг. Не долго думая, сел за стол и послал на имя Алексея Толстого, в редакцию „Известий", такую открытку: „Алеша! Хоть ты и ..., но талантливый писатель. Продолжай в том же духе. И. Бунин"»[12]. По-видимому, это произошло в 1932—1933 гг., когда в Париже стала известной первая часть романа «Петр Первый».

Есть основания предполагать, что был и еще один отклик Бунина на «Петра Первого» в конце 1934 — начале 1935 г., после того как две части романа вышли отдельной книгой. Об этом можно судить по письму М. Алданова Бунину 22 июня 1935 г., в котором рассказано о встрече Толстого с Н. А. Тэффи в Париже, в день открытия первого Конгресса писателей в защиту культуры (21 июня 1935 г.): «Тэффи окликнула Толстого,— они поцеловались на виду у всех и беседовали минут десять. Толстой спросил Тэффи, „что Иван?", сказал, что получил вашу открытку и „был очень тронут", сказал также, что вас в СССР читают. Больше ни о ком не спрашивал»[13].

Этот небольшой эпизод не только подтверждает, что Бунин сумел оценить художественные достоинства «Петра Первого», но и свидетельствует о постоянном интересе Толстого к Бунину.

Последняя встреча писателей произошла в октябре 1936 г. во время поездки Толстого в составе советской делегации на Конгресс защиты мира в Брюссель. Рассказывая журналистам о своей поездке по Европе после Конгресса, Толстой упомянул и об этой встрече: «Случайно, в одном из кафе Парижа я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня. Я спросил, что он намерен делать. Бунин сказал, что хочет переехать в Рим, так как ему не хочется еще раз связываться с революцией. ⟨...⟩

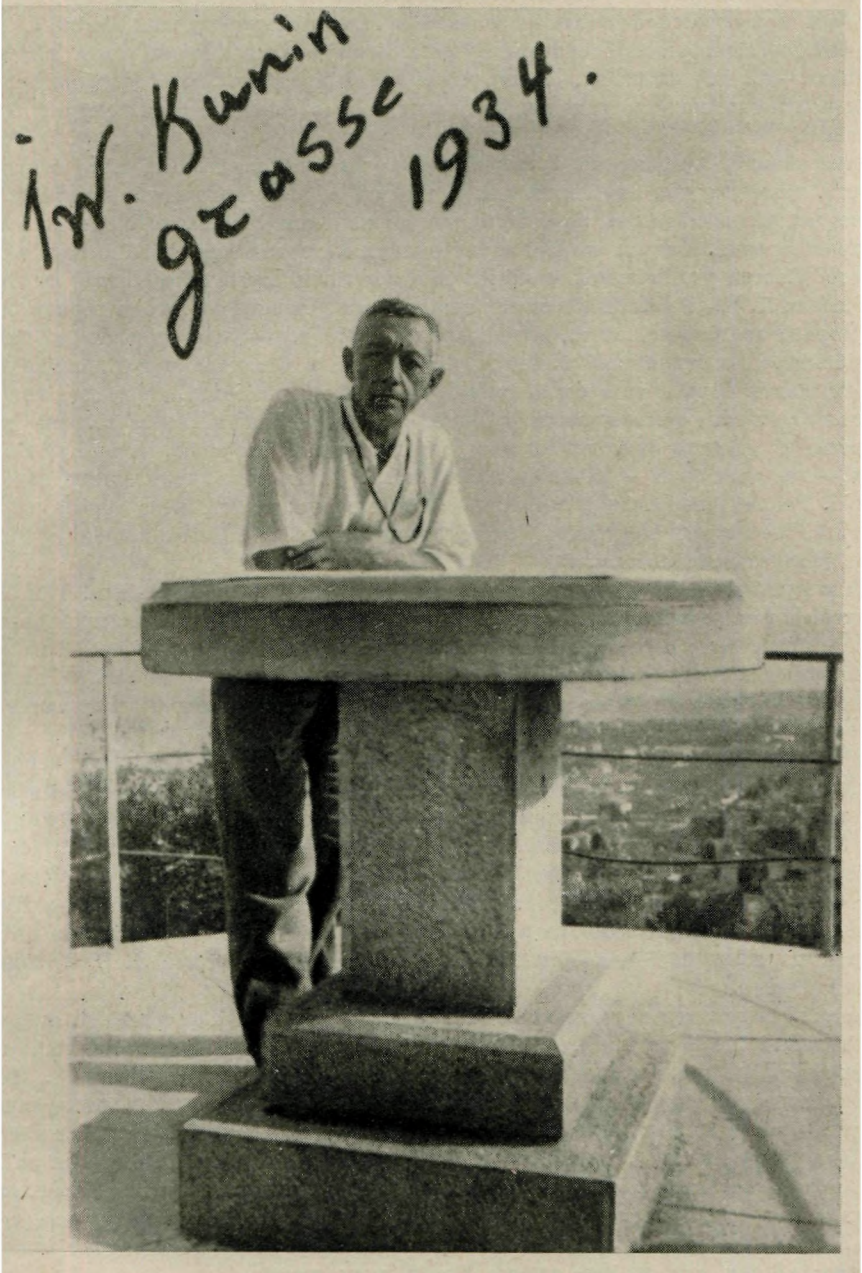
Я прочел три последних книги Бунина — два сборника мелких рассказов и роман „Жизнь Арсеньева". ⟨...⟩ Судьба Бунина — наглядный и страшный пример того, как писатель-эмигрант, оторванный от своей родины, от политической и социальной жизни своей страны, опустошается настолько, что его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о прошлом и мизантропии»[14].

Ту же встречу вспомнил и Бунин в заключительной части очерка «Третий Толстой». Но здесь звучит совершенно иная тональность, подчеркивающая общую тенденцию всего очерка. Сам Бунин в апреле 1949 г. сообщал в одном из писем, что этот очерк о Толстом —«зернистая вещь», «с большими похвалами его таланту писательскому и меньшими — таланту житейскому»[15].

Бунин написал очерк через несколько лет после смерти Толстого. Былое ожесточение должно было бы смягчиться. И все же названные автором саркастически «меньшими» похвалы таланту житейскому были не чем иным, как злым памфлетом — портретом хотя и талантливого, но легкомысленного и, главное, беспринципного человека.

Стремясь вогнать все возможное в намеченную схему характеристики, Бунин даже явно выдуманные юмористические устные рассказы Толстого, такие, например, как новелла на бродячий сюжет продажи несуществующего имения, или шутливое хвастовство автомобилями и трубками, принимает — сознательно или бессознательно, трудно судить,— за чистую монету. Для Бунина главное — доказать в этом очерке, что переход на сторону революции — это приспособленчество, продажа первородства за чечевичную похлебку. В этом, как видно, он находил моральное оправдание собственных заблуждений, своей трагически сложившейся судьбы.

Примером такого самооправдывающего тенденциозного преломления, а точнее — искажения (субъективного или объективного) фактов служит еще один злой выпад Бунина против покойного Толстого. Во имя восстановления истины следует привести




БУНИН
Фотография. Грасс, 1934
С автографической подписью Бунина: «Iw. Bunin. Grasse. 1934».
Литературный музей, Москва

его слова, чтобы показать их несостоятельность. Тем более, что, к сожалению, они были приведены и в советской печати — сначала в газете «Литературная Россия», затем в комментариях к собранию сочинений Бунина. Вот эти слова: «Что бы я там ⟨в «Окаянных днях».—*Ю. К.*⟩ ни писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как это рекомендовал в ту пору в одной из своих статеек Алеша Толстой»[16].

Предвзятость бунинского утверждения очевидна исследователям творчества Толстого, знающим как опубликованные, так и архивные материалы писателя. Садистическая кровожадность вообще никак не вяжется с гуманистическим строем его мировоззрения. Откуда же Бунин почерпнул материал для этого выпада против Толстого? Совсем чудовищным казалось предположить здесь плод чистой фантазии. Ответ нашла Л. И. Толстая, напомнив о персонаже романа Толстого (в первой редакции «Черное золото»— 1931 г., «Эмигранты»— 1940 г.) — белогвардейском офицере Биттенбиндере из бандитской шайки, действующей в Стокгольме под политической вывеской «Лиги борьбы за восстановление Российской империи». Существо этого человеческого отребья раскрывается в эпизоде обсуждения членами «Лиги» плана ограблений и убийств просоветски настроенных лиц: «Я его знаю,—крикнул Биттенбиндер,— голубые очки — харьковский чекист... Этому молодчику спицы надо под ногти!»[17]. Реплика персонажа, созданного Толстым художественного образа выродка и садиста, очевидно, превратно трансформировалась в воспоминаниях Бунина и была переадресована автору.

Надо думать, что в данном случае искажение не было преднамеренным. Тем более, что дальше в том же изложении беседы с Буниным сказано: «После этого предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, и зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути»[18].

В начале второй мировой войны Бунин был близок к решению вернуться на родину. И тогда лучшие из его противоречивых чувств подсказали ему обращение к Толстому. Л. И. Толстая вспоминает, что открытка от Бунина была получена А. Н. Толстым примерно в начале июня 1941 г. В ней Бунин, правда, довольно сдержанно, жаловался на трудные условия своей жизни, не высказывая прямо желания вернуться на родину. К сожалению, этот интересный для биографии Бунина документ затерялся, очевидно, во время войны, при переездах Толстого. Но быстрой реакцией на него писателя явилось публикуемое ниже письмо И. В. Сталину от 17 июня 1941 г.

Толстой пишет под впечатлением не только ему одному адресованной открытки. Н. Д. Телешов (после почти двадцатипятилетнего перерыва в переписке) тоже получил открытку Бунина, датированную 8 мая 1941 г. Ее текст опубликован[19]. Но для удобства сопоставления с письмом Толстого Сталину приведем здесь ее вторую часть, где Бунин пишет о себе: «Был я „богат“, а теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был „знаменит на весь мир“ — теперь никому в мире не нужен,—не до меня миру! Вера Николаевна очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу— написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? А ты пишешь?» Взорвавшимся внутренним противоречием звучит приписка на полях: «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой».

В архиве Л. И. Толстой сохранились черновики трех редакций письма Толстого к Сталину. В первой редакции характеристика Бунина, его творчества более развернута, чем в окончательной редакции, и представляет несомненный историко-литературный интерес. Приводим этот текст.

Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, я получил из Франции от писателя Ивана Бунина эту открытку. Позвольте высказать Вам то, что я думаю об этом писателе. Как художник он принадлежит к послечеховскому поколению; в то время когда после первой революции русская литература (за исключением М. Горького) [устремилась].

испуганная раскатами народной бури, устремилась к богоискательству, [Мережковский] к мистическому анархизму, к символизму (в основе которого [было] лежала платоновская концепция идеального мира),— Иван Бунин,— также испуганный 1905 годом,— с беспощадным реализмом начал рисовать деревню, сдирая с нее [лакировку] народовольческую лакировку. Его беспощадный, вещественно осязаемый реализм был шагом вперед [по] вслед за ироническим импрессионизмом Чехова. Затем началась его серия рассказов о беспощадном мире, связанных с его путешествиями на Восток и по Европе. Затем — в эмиграции третий период его творчества — можно определить как потерю творческого напряжения, его мастерство остается, [при нем] но он уже повторяет самого себя, [он уже без яда] и его ужас видения страшного мира — наигран, его яд — не обжигает.

В 1936 году в Париже мы встретились, эта встреча была случайной, в кафе, он был к ней не подготовлен, и мог бы легко уклониться от встречи, но он очень [горячо] был взволнован и дружественен, [он говорил безо всяко...] настроение его было подавленное: — его книжки расходились в десятках экземпляров, его не читали, не любили в эмиграции, переводы его также не шли, ему не для кого было писать... (Материально он был обеспечен, получив Нобелевскую премию). Но о возвращении в СССР он не говорил. Но он и не злобствовал. Вообще же он с самого начала держался особняком и в стороне от эмиграции.

До сих пор у нас его влияние значительно на советскую литературу. Одни,— например Михаил Шолохов,— ценят его [как о...] за ту [высоту изобразительности] остроту [видения] и четкость видения вещей и высоту [изобразительности] изображения [типичных] типичного, ниже которой писать нельзя, ниже бунинского реализма — будет расплывчатость и вялость. Так же к нему отношусь и я. Искусства Бунина нельзя не знать. Другие учатся у него мастерству.

Ему сейчас под семьдесят лет. В 1936 году — он был вполне еще свеж и работоспособен.

⟨...⟩ [Для] Нас — советских писателей — судьба художника Бунина, конечно, глубоко волнует.

На обороте одной из страниц рукописи первой редакции заготовлена такая фраза: «Тов. Потемкин рассказывал мне, как по поводу возвращения Куприна в СССР — И. Бунин выступил в печати в защиту Куприна— „Я его понимаю“ ». Эта ссылка на В. П. Потемкина [20] не вошла ни в одну из редакций письма.

Вторая редакция незначительно отличается от третьей — окончательной. Редактируя текст письма, Толстой добивался сокращения текста, выделения главного, акцентирования политического аспекта позиций Бунина. Ни в одной из редакций не высказывается никаких личных сомнений автора. От начала до конца в этом письме, своего рода поручительстве за белоэмигранта, Толстой без оговорок высказывает свое отношение к Бунину: признание его высокого художественного мастерства, уверенность в том, что возвращение старого писателя на родину будет во всех отношениях полезным, стремление всячески помочь ему.

Необычно большое для эпистолярной манеры Толстого число черновиков письма, тщательность шлифовки текста, свидетельствуют и о том, что писатель сознавал ответственность подобного обращения, и о его чувстве горячей заинтересованности в положительном решении поднятого вопроса.

Письмо Толстого к И. В. Сталину было сдано в экспедицию Кремля 18 июня 1941 г. События, наступившие в ночь с 21 на 22 июня, отодвинули в сторону все, не имеющее отношения к войне.

Письмо А. Н. Толстого публикуется полностью по тексту, хранящемуся в личном архиве писателя. Отрывок из письма был приведен в журнале «Исторический архив», 1962, № 2, стр 159.

17 июня 1941 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина, из неоккупированной Франции. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи [21].

Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: «Хочу домой».

Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму.

Бунину сейчас около семидесяти лет, он еще полон сил, написал новую книгу рассказов [22]. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил нобелевскую премию [23]. В 1937 г. [24] я встретил его в Париже, он тогда же говорил, что его искусство здесь никому не нужно, его не читают, его книги расходятся в десятках экземпляров.

Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей,— мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему матерьяльную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом [25].

С глубоким уважением и с любовью
Алексей Толстой

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из очерка «Третий Толстой» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 434). Упомянутая здесь первая книга стихов Толстого: Лирика, Пб., изд. автора, 1907.

[2] Цит по кн.: Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., Изд-во Академии наук СССР, 1960, стр. 122—123.

[3] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 438—439.

[4] Там же, стр. 441. Наташа — Н. В. Крандиевская-Толстая, жена писателя с 1915 по 1935 г.

[5] Там же, стр. 444.

[6] Цит. по кн.: Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество, стр. 134.

[7] А. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 15 томах, т. 13. М., 1949, стр. 15.

[8] Из письма Толстого к А. М. Соболю от 12 июня 1922 г. Цит. но кн.: Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество, стр. 138.

[9] «Накануне», Берлин, 1922, № 40, 14 мая.

[10] А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 487—488.

[11] Там же, стр. 491.

[12] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 607; см. также: Г. Н. Кузнецова. Грасский дневник. Вашингтон, 1967, стр. 178 (запись 15 октября 1930 г.).

[13] Сообщено А. Н. Дубовиковым.

[14] А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 517—518.

[15] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 608.

[16] Там же, стр. 607.

[17] А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 184.

[18] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 607.

[19] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 623. Впервые эта открытка была опубликована в «Новом мире», 1956, № 10.

[20] Владимир Петрович *Потемкин* (1878—1946) — до 1937 г.— полпред СССР во Франции, с 1937 г. по 1940 г.— первый заместитель наркома иностранных дел, с 1940 г. по 1946 г.— нарком, затем — министр просвещения РСФСР.

[21] Эти мотивы повторяются во многих письмах Бунина военных лет (см. настоящ. том, стр. 458, 504—505).

[22] Толстой повторяет здесь слова Бунина из его открытки Н. Д. Телешову от 8 мая 1941 г.: «Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов» (см. настоящ. том, кн. 1 ,стр. 623). С 1931 г. по 1938 г. Бунин написал и опубликовал в различных газетах и журналах более десяти рассказов, часть которых потом вошла в сборник «Темные аллеи», впервые изданный в Нью-Йорке в 1943 г. Эти рассказы он, очевидно, и имел в виду, когда писал Телешову.

[23] Нобелевская премия присуждена Бунину в 1933 г. Во второй редакции письма по этому поводу была фраза: «несомненно, его честолюбие художника было сильно взвинчено получением Нобелевской премии. [он ее по...] Эти деньги он потерял. [он сейчас нищий, им по...]».

[24] Дата неточна — встреча произошла в 1936 г. В первой редакции письма год был назван правильно.

[25] Книги Бунина, изданные в СССР: «Митина любовь». Л., «Книжные новинки», 1926; «Дело корнета Елагина». Харьков, «Космос», 1927; «Сны Чанга». Избранные рассказы. М.— Л., ГИЗ, 1927; То же. М.— Л., 1928; «Худая трава». Рассказы. М.— Л., ЗИФ, 1928.

# ВЫХОД БУНИНА ИЗ ПАРИЖСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

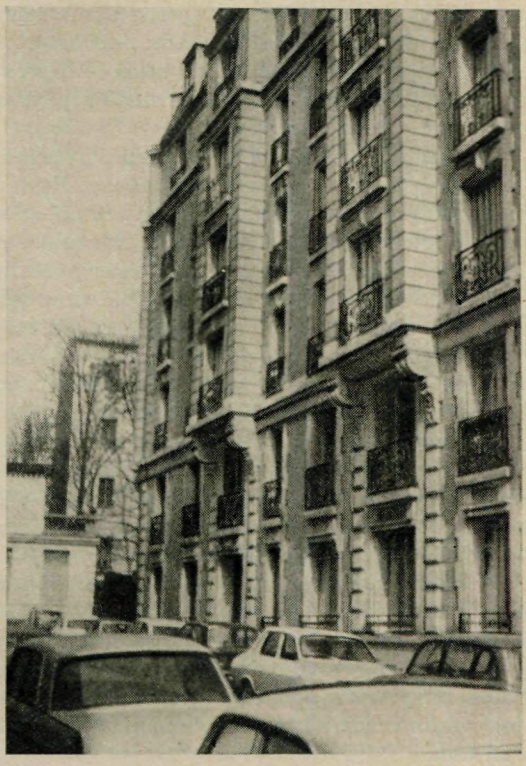
Сообщение А. Н. Дубовикова

Годы второй мировой войны Бунины провели на вилле Жаннет в Грассе, где они поселились, после того как покинули Париж, находившийся уже под угрозой фашистской оккупации. Эти годы были для Бунина вдвойне трудными, порой даже мучительными. К материальным невзгодам, которые особенно усилились после захвата гитлеровцами и их итальянскими союзниками юга Франции, присоединялась острая тревога за судьбу родной страны, подвергшейся нападению фашистских полчищ. За 20 лет жизни в эмиграции Бунин никогда не забывал, что он русский, но теперь, когда русский народ оказался перед лицом смертельной опасности, чувство кровной связи с ним особенно обострилось. Когда же Советская Армия добилась перелома в ходе войны, когда оборонительные бои сменились наступательными и, особенно, когда советский народ изгнал последнего гитлеровца со своей земли и уже близилась долгожданная победа, патриотические чувства разгорелись в душе Бунина необычайно сильно. При этом враждебное отношение ко всему советскому, пронесенное им через долгие годы жизни на чужбине, оказалось во время войны приглушенным, отступило куда-то в глубь сознания, хотя и не исчезло, не могло исчезнуть совсем. Это новое для Бунина, несколько парадоксальное душевное состояние имел в виду он сам, когда в дни подготовки Тегеранской конференции говорил А. В. Бахраху: «Нет, вы подумайте, до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай бог, чего в дороге не случилось» [1]. Нет сомнения, что эти слова были сказаны Буниным совершенно искренно, как искренен он был и в феврале 1945 г., когда писал А. П. Ладинскому, что он горячо радуется «победам России и союзников» [2]. А 23 апреля того же года, когда уже стало известно, что советские войска вступили в Берлин и ведут там уличные бои, Бунин писал в Париж своим давним друзьям Я. Б. и Л. А. Полонским: «Милые друзья, надеемся быть в Париже 1 мая. Поздравляю с Берлином. „Mein Kampf..." Повоевал, так его так! Ах, если бы поймали да провезли по всей Европе в железной клетке! Сердечно обнимаю. Ваш Ив. Б.» [3].

В Париже, который был освобожден еще в августе 1944 г., восстанавливалась нормальная общественная жизнь. Здесь вновь кипели политические страсти, спорили и боролись между собой различные партии и общественные группировки. Резкое размежевание происходило и в среде русской эмиграции. К этому времени образовалось довольно значительное левое крыло, включавшее в себя и эмигрантов старшего поколения и молодежь, родившуюся вдали от русской земли. Этих людей объединяли патриотические чувства, готовность сотрудничать с представителями Советского Союза во Франции, желание стать советскими гражданами и при первой возможности возвратиться на родину (что и удалось осуществить некоторым из них). Идейным центром этой просоветской части эмигрантов стал созданный 1 октября 1944 г. «Союз русских патриотов» (позднее «Союз советских граждан»), а его органом газета «Русский патриот»; с весны 1945 г. ее заменили «Русские новости»— газета, вокруг которой группировались более широкие слои прогрессивно мыслящих эмигрантов. На крайнем правом фланге эмиграции сосредоточились все те, кого история ничему не научила, кто по-прежнему люто ненавидел все советское и продолжал с бессильной яростью нападать на СССР. Рупором этих кругов явилась газета «Русская мысль», начавшая выходить с апреля 1947 г. [4]

Несмотря на преклонный возраст Бунина (осенью 1945 г. ему исполнилось 75 лет) и на плохое состояние здоровья, он не мог замкнуться в обывательском равнодушии к тому, что происходило вокруг него. Но насколько ясной и последовательной была

ДОМ, ГДЕ В 1922— 1953 гг. ЖИЛ И УМЕР БУНИН
Париж, улица Жака Оффенбаха, 1
Фотография Н. Л. Крашенинниковой, 1971



позиция, которую он занимал накануне победы над гитлеровской Германией и в первые годы после этого исторического рубежа? Для исчерпывающего ответа на этот вопрос мы не располагаем еще всеми необходимыми материалами. Но наметить путь, по которому надо идти для его решения, позволяют и те немногие факты, которыми можно уже сейчас пополнить биографию Бунина.

Старого писателя, проведшего годы войны в грасском уединении, в отрыве от парижской жизни, живо интересовало, конечно, что там происходит. В месяцы, предшествовавшие его возвращению в Париж, он получал оттуда информацию от своих друзей. Так, в марте 1945 г. Я. Б. Полонский отправил ему обширное письмо, в котором предупреждал о сложной обстановке, которую Бунин найдет в Париже: «Очень мы рады, что вы переедете в Париж. Вам никак нельзя больше там оставаться не только по состоянию здоровья: очень уж вы там оторваны от всего. Вам не хватает уверенности в самом себе, и эту уверенность вы, конечно, обретете снова в Париже. Воздух здесь все-таки другой и к вашему имени другое отношение. В вашем захолустье вы как-то сами себя снижаете. Но Париж таит для вас лично и опасности,— это надо сказать с полной откровенностью. Не взыщите за непрошенные советы, но нам здесь многое виднее. Политическое безразличие сейчас невозможно больше, а особенно невозможно оно будет для вашего имени. Поэтому и невозможно безразличие [в смысле] по линии личных встреч и отношений, как раньше. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь, но какая-то линия проходит между людьми, к этому все теперь весьма и весьма чувствительны. Все определяется вчерашним отношением к России и к Германии. А вам нетерпимо никакое навязывание, вы определяете свое отношение к людям личными симпатиями. Тут-то и появятся сложности, которые могут поставить вас в деликатное положение» [5].

Среди вопросов, которые волновали в это время Бунина и по которым он ждал советов от такого преданного и надежного друга как Полонский, был и вопрос о возможности возвращения на родину. Откликом на этот вопрос явились строки из того же

письма Полонского. Предостерегая Бунина от чрезмерного сближения с «Русским патриотом», он писал: «Вы, вероятно, полагаете, что при содействии „Русского патриота“ легче вернуться домой. Думаю, что этот способ возвращения не для вас. Вам, конечно, надо, если не окончательно вернуться домой, то уж во всяком случае съездить туда на побывку...» [6]

1 мая 1945 г. Бунины приехали в Париж и поселились на прежней своей квартире в доме № 1 по улице Жака Оффенбаха. Если в довоенном Париже Бунин жил довольно замкнуто и был связан почти исключительно со своими старыми собратьями по эмигрантской судьбе, то теперь в его жизни явилось много нового. Он не только возобновляет прежние связи среди эмигрантов, но и встречается с сотрудниками советского посольства во Франции. Он систематически сотрудничает в «Русских новостях» (как и некоторые из близких ему литераторов — А. В. Бахрах, Л. Ф. Зуров и др.). Здесь в 1945—1947 гг. было напечатано шесть рассказов из цикла «Темные аллеи», стихотворение «Дни близ Неаполя...», некролог «Памяти П. А. Нилуса», полемическая заметка «Панорама» и др.

О новых настроениях Бунина в эти первые послевоенные годы говорит и его интерес к советской литературе, высокая оценка им произведений Твардовского, Паустовского, Катаева, и возобновление переписки с Телешовым, и пересылка в Москву некоторых своих книг для возможного переиздания их в СССР, и высказанное им желанье «чтобы его архив, рано или поздно, хранился в России»[7].

В 1946 г. Бунин получил от Эльзы Триоле в подарок ее книжку, изданную еще в подполье (см. ее воспроизведение на стр. 403),— что свидетельствует о встречах Бунина с французской писательницей, коммунисткой, участницей Сопротивления [8]; не исключено, что Бунин встречался тогда и с другими деятелями этого движения — таким встречам могла способствовать его слава большого русского писателя, его репутация человека, не запятнавшего себя в годы войны сотрудничеством с оккупантами.

14 июня 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР издал «Указ о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». Опубликование этого Указа всколыхнуло всю массу русских эмигрантов. Много откликов на это событие было напечатано в «Русских новостях»— среди них и мнение Бунина, сдержанное, но совершенно определенное по своей сути. На вопрос сотрудника редакции: «Как вы относитесь к Указу 14 июня, Иван Алексеевич?» Бунин ответил: «Позвольте быть кратким, тем более что двух мнений об этом акте быть не может. Конечно, это очень значительное событие в жизни русской эмиграции — и не только во Франции, но и в Югославии и Болгарии. Надо полагать, что эта великодушная мера советского правительства распространится и на эмигрантов, проживающих и в других странах» [9].

Об интересе Бунина к Указу и к вопросам его практического применения говорит и то, что он присутствовал на открытом собрании русских парижан, посвященном разъяснению Указа. Первое такое собрание с докладом посла СССР во Франции А. Е. Богомолова состоялось 30 июня 1946 г. в зале Иена. 21 июля в зале Мютюалите было проведено второе собрание. После доклада посла с чтением своих военных стихов выступили советские писатели — Константин Симонов и Илья Эренбург. Бунин присутствовал на этом собрании — тогда же он познакомился с Симоновым, о чем последний подробно рассказал в своих воспоминаниях [10]. Симптоматично и то, что Бунин принял приглашение советского посла и имел с ним беседу — поступок немыслимый для Бунина, каким он был в первые два десятилетия эмигрантской жизни. Мы не знаем во всех подробностях содержания этой беседы — опубликованная в книге А. К. Бабореко позднейшая ее запись со слов А. Е. Богомолова слишком кратка (да и, вероятно, он был не во всем точен) [11],—но важно подчеркнуть, что в ходе этой беседы обсуждался вопрос о возвращении Бунина в СССР.

В сущности, Бунин был тогда психологически подготовлен к этому важному шагу и обдумывал его как некую возможную реальность. Но осуществить этот шаг Бунин, как известно, не смог. И причин тому было много. Возвращению на родину

препятствовали субъективные трудности — болезни и преклонный возраст, гордость, не позволявшая ему ехать на родину «как Куприн», чтобы только умереть там, страх утратить свою художническую «независимость», наконец, естественная инерция, выработанная двадцатипятилетним эмигрантским существованием. Но немалую роль в этом сыграли и трудности объективные — то давление со стороны правых кругов эмиграции, в том числе со стороны некоторых старых друзей, которому подвергался тогда Бунин.

На его встречи с советскими людьми, на его контакты с официальными представителями Советского государства в Париже «правые» смотрели со все возраставшей тревогой, ибо всем было понятно, какой морально-политический урон старой эмиграции был бы нанесен в случае отъезда Бунина в Советский Союз. В эмигрантской печати появлялись статьи и заметки, предостерегавшие Бунина от «опасного» шага, его отговаривали и друзья, жившие за океаном, и некоторые из старых приятелей в Париже. В конце концов противодействующие силы (внутренние и внешние) одержали верх: Бунин отказался от мысли о возвращении, взял эмигрантский паспорт и до конца дней своих остался юридически человеком без отечества, «апатридом»[12]. Но правые эмигранты не простили ему «неосторожных шагов», которые были сделаны им в недавнее время. А независимость поведения Бунина продолжала навлекать на него и позднее нападки с их стороны.

В этой связи немалый интерес представляет эпизод с выходом Бунина в ноябре 1947 г. из эмигрантского Союза писателей и журналистов, который был учрежден в Париже в 1921 г. Бунин был его первым председателем [13]. Позднее он в течение многих лет состоял почетным членом Союза. Документальной основой для дальнейшего изложения служит пачка писем, в которую входят:

1. Письмо Бунина к М. С. Цетлин 1 января 1948 г. (машинописная копия с правкой Бунина; адрес отправителя и дата вписаны им же);

2. Письмо В. Н. Буниной к М. С. Цетлин 1 января 1948 г. (незаконченная машинописная копия с авторской правкой и припиской, адресованной Л. А. и Я. Б. Полонским);

3. Письмо В. Н. Буниной к М. А. Алданову 13 января 1948 г. (автограф с карандашными пометками Алданова);

4. Письмо В. Н. Буниной к Л. А. Полонской 16 января 1948 г. (автограф) [14].

Первые два письма были посланы в Париж Полонским со следующей сопроводительной запиской от 12 января 1948 г.: «Милые друзья, это для вашего архива, в пакет с надписью: „Роковая судебная ошибка, вследствие которой Бунин чуть не угодил на каторгу“. Целую вас и наше дорогое дитя. Ваш Ив. Б.» Из этой невеселой иронической записки видно, что Бунин рассматривал посылаемые тексты как некий «оправдательный» документ, имеющий не узко личное, но общественное значение,— именно поэтому посланные копии должны были быть сохранены в архиве его друзей.

К концу 1946 г. в Союзе писателей и журналистов создалось положение, вызвавшее глубокий кризис этой организации. В результате той дифференциации русской эмиграции, о которой мы уже упоминали выше, и введения в действие Указа 14 июня 1946 г. в Союзе оказались люди совершенно разной политической ориентации, разных взглядов и убеждений. Главный водораздел проходил при этом между принявшими советское гражданство или занявшими просоветские позиции, и теми, которые продолжали упорно отстаивать традиционные для Союза враждебные всему советскому взгляды.

В этих условиях руководство Союза, в основном принадлежавшее к группировке «Русской мысли», решило изгнать из Союза «крамольников». 24 мая 1947 г. было созвано общее собрание, на котором правление поставило вопрос об исключении всех членов Союза, имеющих советское гражданство, — вопрос этот не был внесен предварительно в повестку дня и явился для многих неожиданностью. Предложение руководства натолкнулось на сильную оппозицию. Выступавшие против него (среди них были В. Н. Бунина и Л. Ф. Зуров) возражали против попытки внести политический раздор в профессиональный союз работников пера и указывали на то,

что устав Союза не предусматривает никаких ограничений национальности для его членов — исключение советских граждан было бы поэтому незаконным. Резолюция, предложенная правлением, не собрала требуемого большинства в две трети голосов [15].

Тогда руководители Союза решили провести сначала через общее собрание изменение устава, а затем уже на его основании исключить советских граждан. При весьма сильной оппозиции, ценою не совсем благовидных приемов, руководство через некоторое время осуществило этот план и добилось поставленных целей. Советские граждане были исключены. Но вслед за этим группа членов Союза (из числа оставшихся) выступила с коллективным протестом и заявила о своем выходе из Союза, который вследствие этого превращался в очень узкую по своему составу организацию. Подписавшие коллективное заявление обратились с предложением присоединиться к ним и к Бунину, но он ответил им отказом. А через две недели Бунин вышел из Союза в индивидуальном порядке. До этого, в ноябре 1947 г., покинули Союз В. Н. Бунина, В. Л. Андреев, Бахрах, Зуров и др.

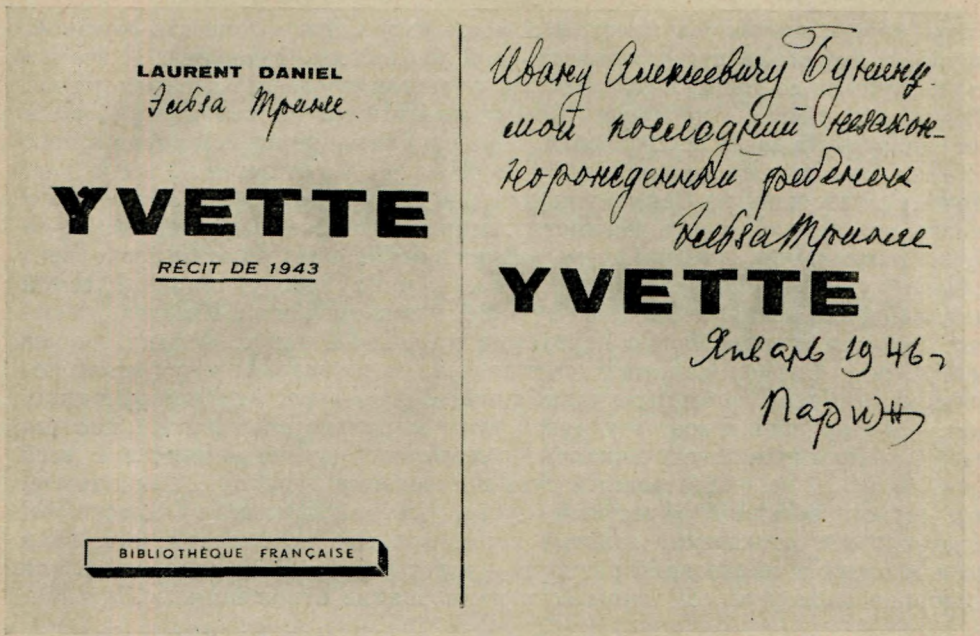
Этот поступок был не без основания воспринят в эмигрантской среде как прямое свидетельство солидарности с исключенными или с теми, кто покинул Союз по своей воле. В реакционных кругах эмиграции был предпринят настоящий поход против Бунина. Особенно непримиримыми при этом оказались некоторые влиятельные эмигрантские деятели, проживавшие в США. Среди них была и М. С. Цетлин, возглавившая антибунинскую кампанию, несмотря на то, что Бунины были связаны с нею и с ее умершим в 1945 г. мужем М. О. Цетлиным тридцатилетней дружбой. В 1920 г. они помогли Буниным перебраться из Белграда в Париж и поселили их на время в своем доме. Позднее Цетлины переехали в Нью-Йорк, откуда во время войны и после ее окончания оказывали Бунину материальную помощь.

Получая эту помощь, Бунин не предполагал, что он тем самым неизбежно оказывался в зависимости от заокеанских «благотворителей»— тем более неожиданным был урок, преподанный ему за то, что он осмелился пойти «против течения». Особенно резко и непримиримо выступила против Буниных М. С. Цетлин (кстати сказать, принявшая в мае 1946 г. американское гражданство). Ее письмо от 20 декабря 1947 г., которым она заявляла о решительном разрыве с Буниными, было начато прямым обвинением: «Вы ушли в официальном порядке из Союза писателей с теми, кто взяли советские паспорта». Далее она упрекала Буниных в том, что они «нанесли этим большой удар» эмиграции, и продолжала: «Я должна уйти от вас, чтобы *чуть - чуть* уменьшить ваш удар. У вас есть ваш жизненный путь, который вас к этому привел. Я вам не судья. Я отрываюсь от вас с очень глубокой для меня болью, и эта боль навсегда останется со мной. Разлюбить я вас не могу. Вы — мой милый Иван Алексеевич, над которым я себя никогда не поставлю. Я чувствую ваш крестный путь, как если бы вы были моим любимым братом»[16].

Ни настойчиво повторяющиеся заверения в любви, ни многозначительное предостережение насчет «крестного пути» не помешали Буниным воспринять это письмо в его истинном смысле — как заявление совсем не дружеское, как обвинительную декларацию. Это видно из их ответов. Вот что писал М. С. Цетлин Бунин:

Villa Le Fournel, Chemin du Fournel,
Juan-les-Pins, A. M. 1 января 1948 г.

Дорогая Марья Самойловна, ваше письмо обращено и ко мне и к Вере, но Вера отвечает вам сама. Она ушла из Союза раньше меня и по соображениям другим, чем мои, и потому я пишу вам только о себе, однако и я должен сказать прежде всего, что тоже, так же, как и она, изумлен, поражен чрезвычайно тем, что вы это письмо к нам предали гласности с целью, очевидно, очень недоброй, переслали его мне незапечатанным через Зайцевых, а в Америке, как мы узнали это нынче, разослали его копию. Что же до содержания этого письма, то я поражен еще больше: вы написали его с какой-то непомерной страстностью, местами даже совер-




ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЭЛЬЗЫ ТРИОЛЕ НА ПОВЕСТИ «YVETTE» (Париж, 1944):

«Ивану Алексеевичу Бунину мой последний незаконнорожденный ребенок. Эльза Триоле. Январь 1946 г. Париж»

Повесть была напечатана нелегально в типографии французского Сопротивления

Литературный музей, Москва

шенно непонятно для меня, сделали из мухи слона, а главное, поступили уж так несправедливо, так поспешно, не разузнавши, *как*, *почему* и *когда* я вышел из Союза. Мало того: вы приписали мне нечто совершенно противоположное тому, что я думал и думаю о соединении в Союзе советских граждан с эмигрантами! Вы мне пишете что-то фантастическое: «Вы ушли в официальном порядке из Союза *с теми, кто взяли советские паспорта*». Что за нелепость! Как вы знаете, в ноябре прошлого года Союз исключил из своей среды членов, взявших советские паспорта, и многие другие члены Союза тотчас напечатали коллективное письмо о своем выходе из него. И вот представитель этих членов явился ко мне и предложил мне присоединиться к их заявлению, а я присоединиться твердо отказался и как раз потому, что *считаю неестественным соединение в Союзе эмигрантов и советских подданных*, меж которыми есть и такие журналисты, что, по своим убеждениям или по обязанностям, то и дело и всячески хулят, порочат в своей печати эмигрантов. *Недели через две после того* я тоже вышел из Союза, но единолично и, как явствует из предыдущего, в силу других своих соображений, а каких именно, легко видно из весьма краткого письма моего, что послал я для доклада Союзу на имя генерального секретаря его: [17]

«Уже много лет не принимая по разным причинам никакого участия в деятельности Союза, я вынужден (исключительно в силу этого обстоятельства) сложить с себя звание почетного члена его и вообще выйти из его состава».

Письмо это было напечатано через некоторое время в парижской «Русской мысли», но слух о нем распространился раньше, и в «Русских ново-

стях» тотчас появилась заметка о моем уходе, голословность которой, верно, и заставила вас истолковать мой уход столь превратно. И все же вы поступили со мной, повторяю, уж слишком поспешно и опрометчиво. Теперь вы, думаю, уже прочли в «Русской мысли» письмо мое в Союз и раскаиваетесь в своей поспешности, обратив внимание на мои слова в нем: «*исключительно в силу этого обстоятельства*». Почему я не ушел из Союза уже давным давно? Да просто потому, что жизнь его текла прежде незаметно, мирно. Но вот начались какие-то бурные заседания его, какие-то распри, изменения устава, после чего начался уже его распад, превращение в кучку сотрудников «Русской мысли», среди которых блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру... [18] Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному, а теперь особенно: я давно тяжко болен — вот и сейчас едва пишу вам,— я стар, нищ и всегда удручен этим морально и физически, помощи не вижу ниоткуда почти никакой, похоронен буду, вероятно, при всей своей «славе», на общественный счет по третьему разряду... Вы пишете, что «чувствуете» мой «крестный путь». Он действительно «крестный»! Я отверг все московские золотые горы, которые предлагали мне, взял десятилетний эмигрантский паспорт — и вот вдруг: «Вы с теми, кто взяли советские паспорта... Я порываю с вами всякие отношения...» Спасибо.

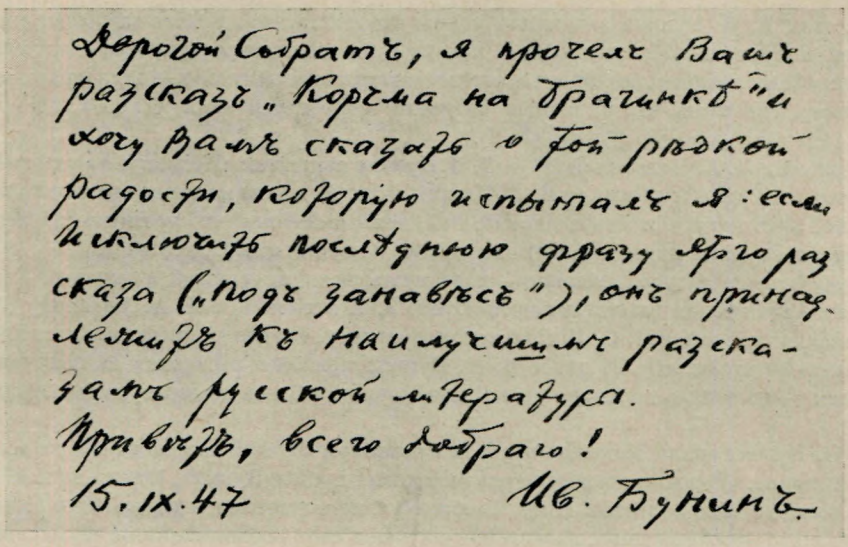
Ваш Ив. Бунин

В этом письме наше внимание обращает прежде всего общий его тон, необычный для Бунина с его непомерной гордостью и язвительностью. Главное в нем — стремление оправдаться, желание во что бы то ни стало доказать, что его выход из Союза не был вызван политическими разногласиями с его руководством. И в этом проявилась половинчатость, непоследовательность тогдашних позиций самого Бунина. Не желая оставаться в одном лагере с «непримиримыми» (в этом смысле весьма характерен выпад против «Русской мысли», не гнушающейся сотрудничеством Шмелева), он вместе с тем горячо отвергает мысль о возможной для него солидарности «с теми, кто взяли советские паспорта». Да, он действительно был не с ними, он, вероятно, в самом деле считал неестественным соединение в Союзе эмигрантов и советских граждан. Но когда он настойчиво повторяет утверждение, что его выход из Союза произошел «исключительно» по личным причинам, в этом позволительно усомниться...

Одновременно отосланное письмо В. Н. Буниной написано более смело и открыто — именно поэтому оно помогает глубже и яснее понять смысл происшедшего конфликта. А так как совершенно очевидно, что и Вера Николаевна и Бунин, выходя из Союза, действовали если не по одним и тем же, то во всяком случае по очень близким мотивам, то ее ответ представляет интерес и для понимания позиций самого Бунина. Приведем наиболее существенные места из этого письма.

1 января 1948 г.

Дорогая Марья Самойловна, очень трудно передать вам то впечатление, какое произвело на нас ваше письмо, и чувство оскорбления, что оно было послано через Зайцевых, а копия его разослана вами циркулярно в Америке, о чем мы получили сегодня оттуда весть. Какой поступок после тридцатилетних дружеских отношений! Мне кажется, настоящие друзья так не должны делать. Дружба требует прежде всего проверки каждого действия друга, если оно не совпадает с твоим. Я на вашем месте сначала запросила бы нас о причинах ухода, а потом уже вынесла бы свой приговор, если таковой уж так необходим. Если бы я еще так недавно не видела от вас такой заботы и доброты к себе, то я просто не стала бы отвечать вам.



Дорогой Собратъ, я прочелъ Вашъ разсказъ „Корчма на Брагинкѣ" и хочу Вамъ сказать о той рѣдкой радости, которую испыталъ я: если исключить послѣднюю фразу этого разсказа („подъ занавѣсъ"), онъ принадлежитъ къ наилучшимъ разсказамъ русской литературы.
Привѣтъ, всего добраго!
15. IX. 47 Ив. Бунинъ

ОТКРЫТКА БУНИНА К. Г. ПАУСТОВСКОМУ 15 СЕНТЯБРЯ 1947 г.
Автограф
Собрание В. В. Навашиной-Паустовской, Москва

«Вы ушли в официальном порядке из Союза писателей с теми, кто взял советские паспорта»,— пишете вы. Но члены Союза с советскими паспортами не могли не уйти после изменения его устава, а по уставу прежнему могли быть членами и они, как был им (и даже в Правлении) Осоргин, имевший советский паспорт и не пожелавший стать эмигрантом. Ушли же по собственной воле члены Союза, имеющие нансеновские паспорта, и члены с разными иностранными паспортами, не пожелавшие изменять устава Союза. И ушли, вероятно, по разным мотивам. Но главное потому, что Правление Союза вело себя так на последних двух заседаниях, что я, например, потеряла к нему всякое уважение. А как оставаться членом общества, когда не уважаешь почти все Правление? Обнаружилось, что генеральный секретарь не знает устава Союза, выяснилось, что был пристрастно составлен протокол предыдущего собрания, подстроено было «липовое» большинство на последнем заседании,— мы даже в лицо не знали, что это за люди, откуда они? Потом мне объяснили, что было много лиц, которые из бедности получали билет из Союза для дешевой карты, на заседания прежде никогда не являвшиеся, завербовали, конечно, много и новых членов с мая по ноябрь. ⟨...⟩

Я считала дурным делом Союза затею так или иначе избавиться от членов, взявших советские паспорта,— их было всего человек двенадцать на сто тридцать восемь. Мне было известно, что, если пройдет изменение устава, так как по уставу нельзя было никого исключить, то все младшее поколение писателей уйдет из Союза. Союз перестанет быть союзом, как жизнь и подтвердила. Теперь Союз есть скорее всего содружество «Русской мысли». ⟨...⟩

Далее вы пишете: «Я чувствую ваш крестный путь...» Что значат такие громкие слова? Мы живем, как жили. Ничего нового с нами не произошло. И как были эмигрантами, так и остались, ни на какие приманки никуда не пошли.

Но лишить меня права быть в том или другом Союзе никто не может.

На этом В. Н. Бунина закончила копию своего письма, кратко досказав его содержание в приписке, обращенной к Полонским. Заканчивается приписка следующими словами: «Союз неприемлем многим своим мягким отношением к коллаборантам, и, как пример, указываю, что на общем собрании секретарем был человек, носивший четыре года гитлеровскую форму» (№ 2).

В письме к Л. А. Полонской (№ 4) В. Н. Бунина написала: «Несмотря на телеграмму от „Верховной Судии" ⟨то есть от М. С. Цетлин.— *А. Д.*⟩, письма мы до сих пор так и не получили. Зато получаем много писем о ней, нельзя сказать, что лестными эпитетами награждают ее наши друзья и знакомые. А из Америки пишут, что ее сбили с толку ⟨...⟩ правоверные антибольшевики — и возмущаются „за глупый и гнусный поход на Ивана Алексеевича за его выход из Союза"». А в письме к М. А. Алданову (№ 3) она объясняет молчание М. С. Цетлин тем, что «значит, трудно ей писать ответ или нужно с кем-то советоваться». И далее В. Н. Бунина приводит выдержки из полученных ими писем — не только из Америки, но и из Парижа («Здесь все возмущены невероятно»).

В. Н. Бунина знала, конечно, что в эмигрантском Париже далеко не все разделяли это возмущение. «Русская мысль» не раз выступала против Бунина. Одним из наиболее резких выпадов был фельетон «Ему, Великому», появившийся в конце 1948 г. после литературного вечера Бунина, на котором он читал свои воспоминания о писателях [19]. Этому анонимному фельетону была дана резкая отповедь в «Русских новостях». В завязавшейся полемике автор фельетона назвал себя — это был С. В. Яблоновский, который заявил, «что его „гротеск" был не столько вызван желанием поддеть бунинскую „гордыню" или высмеять автора „Митиной любви" за „промывание косточек", сколько (это „еще важнее — самое важное",— подчеркивает г. Яблоновский) тем, что в свое время Бунин вышел из того Союза писателей, идеологом которого стал нынче г. Яблоновский» [20].

В несомненной связи с выходом Бунина из Союза находится и факт разрыва с ним его старого приятеля (еще со времен телешовской «Среды») Б. К. Зайцева, возглавлявшего в это время руководство Союза.

Таким образом выход Бунина из Союза писателей еще раз подтвердил наличие раскола в русской эмиграции. И как ни старался сам Бунин отрицать политический смысл своего поступка — в его обсуждении, в диаметрально-противоположных оценках его выявилась именно политическая сторона дела, а не только возмущение моральной нечистоплотностью руководства Союза. И еще один вывод следует из всего этого эпизода — о тогдашних позициях самого Бунина. Хотя после 1946 г. Бунин уже не стоял «на тех максимально близких к нам позициях, на которых он был в то лето» [21], ему и тогда было не по пути с «правоверными антибольшевиками». Как известно, до конца жизни он не принимал участия ни в каких антисоветских политических акциях.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Материалы», стр. 235.

[2] Настоящ. том, кн. 1, стр. 688.

[3] Открытка, находящаяся в собрании А. Я. Полонского (Париж). Цит. по ксерокопии, любезно предоставленной им «Литературному наследству».

[4] Обширная корреспонденция ТАСС о новой эмигрантской газете была помещена в «Правде», в номере 26 мая 1947 г. (перепечатана полностью в «Русских новостях», 1947, № 105, 6 июня).

[5] Машинописная копия этого письма хранится у А. Я. Полонского. Цит. по ксерокопии, переданной им через «Лит. наследство» в Отдел рукописей ГБЛ.

[6] Там же.

[7] «Материалы», стр. 252.

[8] Напомним, что Эльза Триоле сыграла некоторую роль в налаживании послевоенной переписки Бунина с Телешовым (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 625).

[9] «Русские новости», 1946, № 59, 28 июня.

[10] «Из записей о Бунине».— Константин Симонов. Собр. соч. в шести томах, т. 6. М., 1970, стр. 739—750.

[11] См. «Материалы», стр. 237.

[12] К этому решению Бунин пришел по-видимому в ноябре 1946 г. А 6 декабря было напечатано его письмо в редакцию: «Весьма прошу редакцию „Русских новостей" дать место моему заявлению, что появившееся в некоторых французских газетах сообщение о моем отъезде в Россию лишено основания» («Русские новости», 1946, № 82, 6 декабря).

[13] Вскоре его сменил П. Н. Милюков, возглавлявший Союз более 20 лет. После смерти Милюкова председателем Союза стал Б. К. Зайцев.

[14] Все эти письма были переданы в 1969 г. А. Я. Полонским в ГБЛ; редакция «Лит. наследства» получила от него любезное разрешение использовать их в томе, посвященном Бунину. В дальнейшем при цитировании перечисленных писем в тексте указываются только их номера.

[15] Подробная информация об этом собрании, озаглавленная «Покушение с негодными средствами», была помещена в «Русских новостях» (1947, № 104. 30 мая).

[16] Цит. по машинописной копии, снятой с подлинника В. Н. Буниной (ГБЛ. ф. 503).

[17] Генеральным секретарем Союза был В. Ф. Зеелер.

[18] О сотрудничестве И. С. Шмелева и некоторых других эмигрантов с фашистскими оккупантами сообщалось в корреспонденции ТАСС, опубликованной в «Правде» (см. примеч. 4).

[19] См. об этом фельетоне в воспоминаниях В. М. Зернова (настоящ. кн., стр. 359—360).

[20] А. В. Бахрах. По поводу одного пасквиля.— «Русские новости», 1948, № 185, 17 декабря.

[21] Слова К. М. Симонова (см. его очерк «Из записей о Бунине», стр. 741).

# РУССКАЯ ДРЕВНОСТЬ И ФОЛЬКЛОР В ПОЭЗИИ БУНИНА

Сообщение Н. П. Смирнова*

## 1

В «Жизни Арсеньева» есть глава, повествующая о том, как герой, еще подростком, рассматривая рисунки к «Дон-Кихоту» и ко «Всемирному путешественнику», не только представлял, но как бы вспоминал и средневековые замки Европы, и бедные полинезийские хижины: «У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. ⟨...⟩ Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними — все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послеполуденного часа»[1]. Эта предельная напряженность воображения, сказавшаяся в детские годы, приобщила Бунина-художника к жизни всех времен и народов: «я шаг за шагом совершал весь бесконечный путь „бытия" человечества во всех временах, всеми народами, бесконечно чувствовал бытие и свое собственное Я ⟨...⟩»[2].

Эсхил, Самсон, Прометей, Джордано Бруно, Александр Македонский, библейские, иранские и халдейские мифы, Апокалипсис, Люцифер,— какое обилие исторических имен и событий в его стихах, и какая за всем этим органичность, острота проникновения и незабываемая поэтическая мощь!

Однако художник, умевший мыслить в мировых категориях и масштабах, был прежде всего глубоко национальным писателем, одаренным на редкость острым чувством родной истории, родной древности в ее самых разнообразных проявлениях.

В одном из черновых набросков к «Жизни Арсеньева», он писал: «Там, в древности ⟨...⟩ были Святополки и Игори, печенеги и половцы,— меня даже одни эти слова очаровывали,— потом века казацких битв с турками и ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла Херсонские... томился я мечтами обо всем этом, сидя в Харьковской библиотеке за „Думами" Драгоманова, первым изданием „Слова о полку Игореве". „Слово" особенно сводило меня с ума...» А среди бумаг совсем еще юного Бунина сохранилась заметка, сделанная им после первого посещения Кремля: «Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас-на-бору! Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним...»[3].

Из этой кровной слиянности с национальным прошлым возникали бунинские стихи о древней Руси.

Этим стихам присуще не только живое чувство прошлого, но и его живописное воскрешение:

На гривастых конях, на косматых,
На златых стременах, на разлатых
Едут братья, меньшóй и старшой...

Здесь уже в самом ритме слышится вольный бег коней (1,386).

Бунин с одинаковой живописностью передает и «великий стан» орды «за степью, в приволжских песках», и битвы за родную землю. Вот картина смерти древнерусского воина в бою:

---

* В сообщении частично использован доклад, прочитанный в секции народного творчества Союза писателей СССР и охватывавший как стихи, так и прозу Бунина.

БУНИН
Фотография, 1915]
С дарственной надписью:
«Д. Л. Тальникову Ив. Бунин.
28.VI.1915»
Библиотека СССР им. В. И. Ленина,
Москва

Воткнув копье, он сбросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег...
Осенней сушью жарко дуло с юга.

И умер он. Закостенел, застыл,
Припав к земле тяжелой головою.
И ветер волосами шевелил,
Как ковылем, как мертвою травою.

(1,180)

В другом стихотворении поэт как бы на языке торжественной саги утверждает бессмертие патриотического подвига наших предков:

Прошли века, но слава древней были
Жила в веках... Нет смерти для того,
Кто любит жизнь, и песни сохранили
Далекое наследие его.

(1,159)

Превосходно изображал Бунин и древнерусский быт. Как жутко, например, предощущение казни хмурым туманным утром:

Туманно солнце красное, туманно,
Кровавое не светит и не греет
Над мутными, над белыми лесами,
Над росными болотами, лугами...
Орите позвончее, бирючи!

(1,378)

Стихи Бунина о древней Руси, неизменно реалистические и тематически разнообразные, оставляют такое же впечатление, как музей, где собраны подлинные памятники прошлого. Они свободны от всякой стилизации.

2

Народное творчество, непрерывно изменяющееся вместе со временем, но никогда не теряющее своей внутренней красоты, нашло самое разнообразное отражение в нашем искусстве. В музыке это влияние чувствуется и в «Сказании о граде Китеже» Римского-Корсакова, и в «Первой симфонии» Рахманинова, сплошь овеянной чарами дремучих новгородских лесов, и в «Весне священной» Стравинского, уводящей воображение в языческую древность с ее хороводами и величаниями, плачами и гаданиями. О могучем воздействии фольклора на живопись достаточно говорит творчество таких художников, как Нестеров, Врубель, Рерих. Еще сильнее ощущается сила фольклора в нашей литературе,— достаточно вспомнить Пушкина и Толстого, Гоголя и Аксакова, Лескова и Мельникова-Печерского, Ремизова и Пришвина.

Бунин — один из самых «фольклорных» писателей классического круга.

Фольклорный образ широко чувствуется и в его пейзажных и в жанровых стихах. Однако это никогда не нарушает их строго реалистического характера, поскольку подлинный реализм вбирает, впитывает в себя самые разнообразные творческие элементы, в том числе сказку и романтику, используя их как приемы живописности.

«Листопад» — одна из самых замечательных поэм о природе в русской поэзии: это подробная, безупречно поэтическая панорама русской осени от ее начала до исхода, от первых цветных листьев до белой пороши. Вместе с тем поэма заметно тронута налетом сказочности, который заставляет ее узорно светиться, как светится разноцветный осенний лес.

«Листопад» — образец высокой реалистической поэзии, созданной в какой-то мере на основе фольклора. Осень олицетворена здесь в виде «тихой вдовы», что наполняет поэму теплом человечности; лес описывается то как «терем расписной», то как «ледяной чертог», где происходят дивные дива: ворожит ушастая сова, «зеленым огнем» сверкают «волчьи очи», резвятся на первом снегу соболя, горностаи и куницы, а на морозном небе встает «звездный щит Стожар».

Тот же фольклорно-сказочный пейзаж встречается и во многих других стихах. Дикое, заросшее бурьяном поле, одинокий крест, на кресте — черный ворон, несколько дорог, пророчащих несчастья и беды:

Дремлет полдень. На тропах звериных
Тлеют кости в травах. Три пути
Вижу я в желтеющих равнинах...
Но куда и как по ним идти?

(1,125)

Но если в этом диком поле «жизнь зовет, а смерть в глаза глядит», то в сумрачном ельнике, у «позабытого скита», обитает сказочная «серо-аспидная» птица Вирь —

Она так жалостно поет,
С такою нежностью глубокой,
Что, если к скиту забредет
Случайно путник одинокий,

Он не покинет те места:
Лес молчаливый и унылый
И скорбной песни красота
Полны неотразимой силы!

(1,125)

Поэт часто возвращается в этот полусказочный лесной мир и еще чаще воспроизводит в своей поэзии образы народных сказок и поверий. Вот, например, «веснянка»,

наполняющая сердце болью разлуки с весной и с любимой, вот «северная березка»— деревенская девушка «в зеленых лентах», вот «Каменная Баба» в знойной степи,—нечто первобытно грубое и дикое,— «исчадье древней тьмы», по выражению поэта.

А вот излюбленные образы народных сказок — «Баба-яга», «Колдун», «Аленушка» — и как точно выдержан здесь весь сказочный колорит, как чудесно передана народная образность, достигаемая чисто реалистическими приемами и средствами:

Гулкий шум в лесу нагоняет сон —
К ночи нá море пал сырой туман.
Окружен со всех с четырех сторон
Темной осенью островок Буян.

(1,311)

На этом заброшенном островке, в «холодном срубе», живет Баба-яга, около «сруба» — огромный «бурый дуб», «под которым смерть закопал Кащей». Яркая, до конца выдержанная сказочность!

Столь же сказочно ярок и графически четок рисунок в стихотворении, первоначально называвшемся «Колдун»:

В мелколесье пело глухо, строго,
Вместе с ночью туча надвигалась,
По кустам, на тучу, шла дорога,
На ветру листва, дрожа, мешалась...
Леший зорко в темь глядел с порога.

(1,316—317)

В фольклорных стихах Бунина немало образов природного живописного мира,— «Великий Лось», вставший «превыше звезд», «Белый Олень» с золотыми рогами, мертвый, таинственный Сапсан, алмазный от инея, глухие, колдовские ночи, грозы и молнии, раскрывающие леса, «точно древние своды во храмах пещерных, в подземельях Перуна, высоких и черных», русальные игрища под Петров день:

Девушки-русалочки,
Стойте, поглядите на рассвет:
Бел-восток алеет, ширится,—
Широко зарей в полях,
Ни души-то нету, милые,
Только ранний алый свет
Да холодный крупный жемчуг
На стеблях...

(1,265)

Здесь замечательно все — и предельное перевоплощение в языческий мир, и глубинное чувство природы,— уже одна строчка «широко зарей в полях» дает почувствовать неоглядный равнинный простор,— и певучая, обусловленная содержанием, звонкость и легкость стиха. И самое главное: ни грана стилизации, которой отличались подобные стихи у Клюева или Городецкого.

Можно было бы привести немало других стихов, написанных под воздействием фольклора, но думается, что и приведенные с достаточной убедительностью подтверждают, насколько глубоким, сильным и благотворным было это воздействие в поэзии Бунина.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Собр. соч. 1965—1967, т. 6, стр. 35—36.— Далее при ссылках на это издание том и страница указываются в тексте.

[2] Эту и следующую цитаты из черновиков к «Жизни Арсеньева», хранящихся в ЦГАЛИ. любезно сообщила мне О. В. Сливицкая.

[3] «Жизнь Бунина», стр. 71.

# О ПРОИСХОЖДЕНИИ РАССКАЗА «НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ»

Сообщение Л. Н. Афонина

Бунин сам рассказал, как «совершенно неожиданно» возникли «Господин из Сан-Франциско», «Грамматика любви», «Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Косцы»...[1] «Тяга писать,— говорил он,— появляется у меня всегда из чувства какого-то волнения, грустного или радостного чувства, чаще всего оно связано с какой-нибудь развернувшейся передо мной картиной, с каким-то отдельным человеческим образом, с человеческим чувством... И тут как-то сразу слышишь тот призывный звук, из которого и рождается все произведение...»[2]

Таким «призывным звуком» для Бунина, когда он писал рассказ «Неизвестный друг», несомненно, были его воспоминания о давней переписке с Наталией Петровной Эспозито, десять неопубликованных писем которой за 1901—1903 гг. хранятся в бунинском фонде ГМТ[3]. Что касается четырех или, возможно, пяти писем Бунина и книг с его автографами, которые он послал своей корреспондентке, то пока неизвестно, сохранились ли они. Однако содержание и характер их можно себе представить, основываясь на ответах Н. П. Эспозито.

Началась эта, быть может, самая романтическая в жизни Бунина переписка неожиданно. В сентябре 1901 г. он получил из Ирландии письмо, написанное по-русски. Писала незнакомая женщина, прочитавшая в журнале «Русская мысль» рассказы «Костер», «Перевал» и «В августе»[4]:

«St. Andrews, Ballsbridge. Dublin. Ирландия

Как видите, живу я далеко, далеко от вас, на самых западных пределах Европы и разделяют нас не только горы и реки, земли и моря, но вся наша прожитая жизнь, наша обстановка, наши вкусы и привычки; тем не менее слова, которые ваша рука набросала на листе бумаги, долетели до меня и запали мне в душу. Отчего? Кто знает! Быть может оттого, что и в моей жизни было много трудных и одиноких перевалов и самой не раз приходилось махнуть рукой на жизнь и говорить себе: «Будем брести, пока не свалимся. Дойдем — хорошо, не дойдем — все равно!»[5] Быть может оттого, что и мне когда-то из мрака мелькнул на минуту заманчивый образ, и я прошла мимо и оставила счастье за собой! Пишу вам, потому что вы думаете и чувствуете, как и я. Я не обладаю талантом высказывать мои мысли красноречиво и изящно, как вы, но вы даже и плохо высказанное поймете и увидите сразу, что побудило мое письмо. Если не ошиблась, то вы мне ответите; если же нет... то во всяком случае примите мои благодарения за удовольствие, которое мне доставили «Три рассказа».

Наталья Эспозито.

12 сентября 1901 года».

Бунин откликнулся на это письмо, и 31 декабря 1901 г. Н. П. Эспозито отвечала ему:

«Желаю вам счастья и благополучия на наступающий Новый год. Ваше письмо меня очень порадовало, оно именно такое, какого я от вас ожидала, хорошее и теплое, я о вас составила себе идеальное изображение, о котором, впрочем, напишу другой раз, если вам не скучно переписываться со мной. До сих пор еще не получила обещанной вами книги. Отчего? ⟨...⟩

Скажите, заметно вам, что я пишу по-русски с затруднениями? С моими родственниками я переписываюсь редко, не о чем им писать, наша жизнь разошлась, и общих интересов нет; я единственная русская не только в Дублине, но и во всей Ирландии, так что говорить по-русски не с кем».

Затем Н. П. Эспозито подробно рассказала о себе. Она родилась в Петербурге. Ее отец — Петр Алексеевич Хлебников — профессор физики в Медико-хирургической академии, в 1870—1873 гг. редактор журнала «Знание». Когда ей исполнилось шесть лет, родители разошлись. Она осталась с отцом. В 1874 г. Хлебников тяжело заболел и, выйдя в отставку, с пятнадцатилетней дочерью уехал за границу. Жили в Германии, Швейцарии, Франции, Италии. «Говорю и пишу я на четырех языках, читаю на шести»,— сообщала Наталья Петровна. Через четыре года после отъезда из России она в Париже вышла замуж за итальянца — композитора Микеле Эспозито (1855—1929) и несколько лет спустя вместе с ним поселилась в Дублине.

«Он профессор музыки в здешней консерватории, он также дирижирует здешним симфоническим оркестром, он тоже и музыку пишет — одним словом, он во главе музыкальной профессии в Дублине, вследствие чего мне приходится вести жизнь полусветскую, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах, обедах и т. п., что мне очень скучно. У меня четверо детей, две старшие дочери почти взрослые, пока они были маленькими, то я за ними неустанно ухаживала, теперь они подросли и во мне больше не нуждаются, так что на руках у меня много свободного времени, которое я провожу читая. Читаю я много, и думаю много, и пишу, но только для себя; друзей у меня нет, да и не может быть, я слишком различна от здешних дам, а что касается до мужчин, то я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Разве только когда один на крайнем Востоке, а другая на крайнем Западе?.. В России я не была со времени моего замужества, но тем не менее я чисто русская по вкусам и по натуре, хотя и разучилась писать».

Посвятив Бунина в обстоятельства своей жизни, Н. П. Эспозито продолжала:

«Перейдем к более интересному предмету, то есть к вам. Кто вы? Из ваших трех рассказов я только могу себе составить понятие о вашей внутренней жизни, но о материальной ничего не знаю. Я каждый месяц с нетерпением жду «Русскую мысль», и с июля только и были в ней два стихотворения [6] и ваши три рассказа. У вас много таланта и стиль такой красивый и простой. Кроме таланта, есть у вас душа, и сердце, и ум, и я вас так хорошо понимаю. Когда писатели пишут, знают ли они, что их слова западываются прямо в душу их читателей, как будто они прямо и исключительно для них писали? Так ваши три рассказа на меня произвели впечатление трех писем, писанных для меня только, на которые я вам ответила plus ou moins mal*.⟨...⟩. Любите ли вы Гейне, Alfred de Musset, Шекспира? Хотите я вам вышлю английских книг, тех, которых я люблю,— читаете ли вы по-английски? Видите, сколько вопросов, не поленитесь, ответьте, и я вам буду писать об Ирландии и о книгах, которые я читаю, и о вас и обо всем, что наполняет нашу жизнь. Любите ли вы музыку? Много ли вы уже писали?»

В начале апреля 1902 г. Бунин прислал Наталье Петровне книгу своих рассказов [7]. Открытка с морским пейзажем («Portrush by Moonlight»)** содержит слова благодарности за эту посылку (6 апреля 1902 г.).

Месяц спустя, 10 мая, Наталья Петровна, получив от Бунина «записку», отправила ему большое письмо:

«Получили ли вы мою carte illustrée? Я была обрадована вашей книгой как знаком вашей памяти, а еще больше и самими рассказами, в которых узнаю самою себя и чувствую, что вы пережили то, что описываете, и что, несмотря на все горькие минуты, на разочарования и страдания, вы верите и в красоту, и в любовь, и в поэзию, которой полна наша жизнь, если только мы имеем дар ее видеть. Если вы в ваших рассказах

* более или менее скверно (*франц.*).
** «Портраш при лунном свете» (*англ.*).

откровенны, то я вас знаю хорошо, и вы мне нравитесь. Как-нибудь на днях соберусь с энергией и пойду к фотографу, а пока посылаю вам карточку с старомодными рукавами, снятую шесть лет тому назад[8]. За это время я мало изменилась, костюм и прическа другие, немного похудела и прибавилось седых волос, но ensemble * все тот же. Впрочем, по фотографии трудно судить о незнакомом человеке, нет игры воображения, нет улыбки, не слышно голоса, не видно цвета волос и глаз, поэтому я почти боюсь просить вас о вашем портрете, я составила себе о вас идеальное изображение, и будет грустно, если вы не такой, каким хотелось, чтобы вы были. Пожалуйста, ответьте на мое письмо скоро. Подумайте, как вы далеко и как долго наши письма идут от одного к другому, ведь это мое третье письмо к вам, а я от вас имею только несколько слов, а мне так хочется узнать вас поближе и прямо, не через посредство ваших сочинений. Мне хотелось бы вам писать много и часто обо всем,— как вы пишете ваши рассказы под влиянием лунной ночи, весеннего дня, бурного моря, прочитанной книги, хочу писать вам как бы для себя самой, вы меня не знаете и никогда не встретите, в мою жизнь вы никогда не войдете, и, следовательно, перед вами я могу быть, чем природа меня сделала, со всеми глупостями и мечтами и иллюзиями, и бояться мне вашего осуждения или доискиваться одобрения нечего, и будете вы для меня l'ami inconnu**. Хотите?»

Не дождавшись ответа, Н. П. Эспозито начинает рассказывать Бунину о своих переживаниях в задушевных дневниковых записях:

«Вторник, 27 мая

Отчего вы не пишете? Я нетерпелива и не люблю ждать, да и кроме того, по законам благовоспитанности я не должна вам писать, пока не получу от вас ответа, а мне так хочется вам много, много писать. О чем? — спросите вы. Не знаю... О вас, обо мне, об Ирландии, о жизни, о звездах, о луне, о море, о книгах... Ведь весь свет так интересен и красив и так грустен, и мы его носим в себе, и мы такая крохотная часть его, а все-таки он наш, мы им обладаем и наслаждаемся им, хотя он нас может уничтожить в одно мгновение дуновением какого-нибудь из своих вулканов, хотя он вечен, а мы живем только день, все-таки он наш, а не мы его. Для нас лазурь неба и запах ландышей, украшающих мой письменный стол, для нас ласкающий шепот волн и величественные разливы грома, для нас лунная морозная ночь и жаркий июньский полдень. Да, жить хорошо, полной жизнью природы, чувствовать хотя бы и страданье, лишь бы только было

Много дум в голове,
Много в сердце огня...

В сущности, что такое страданье?.. Не служит ли страданье доказательством возможности счастья? А короткие минуты настоящего счастья — разве они не заслуживают быть куплены ценою слез и страданий? Конечно, жизнь полна разочарований — мы ожидали так много и получили так мало; но зато бывают минуты блаженства, которого даже наше воображение не в состоянии было создать, и след таких минут никогда не исчезает, и после них человек становится лучше и добрее, и для него мелочи жизни не имеют подавляющего действия; он стоит выше их. Если вы таких минут в вашей жизни не имели, то для вас не имеет смысла то, что я пишу, но если вы их испытали, то вы меня поймете. Я вам это письмо пошлю тотчас же по получении вашего ответа, и если мне его придется ждать так же долго, как последнего, то вы можете себе представить, каких оно достигнет размеров, так как буду писать вам часто. Отчего вам, а не кому-либо другому? Потому что перед друзьями и знакомыми носишь маску благоразумия и равнодушия и перед ними стыдно жаловаться и изливать душу — у них у самих душ нет; а перед вами не стыдно — вы в ваших рассказах свою душу всю показали, и как она мне симпатична и сродственна. Мне в особенности близки «Тишина»,

* Здесь: общий облик (*франц.*).
** неизвестный друг (*франц.*).

ИРЛАНДСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Открытка, отправленная Н. П. Эспозито Бунину 6 апреля 1902 г.: «Много благодарю за „Рассказы", которые получила сегодня утром. Меня радует, что вы меня не забыли. Bien à vous. N. Esposito».

Музей И. С. Тургенева, Орел

«Туман», «Надежда», «Перевал», «Костер», «Новая дорога», «Осенью», потому что в них я вижу вас таким, какой я сама была, я сама передумала и перечувствовала то, что вы описываете. Я даже на Женевском озере в лодке каталась и сама гребла, как и вы[9], я останавливалась и долго смотрела в синюю прозрачную глубь, отражающую глубь небес. Только я жила в восточном углу озера, где вода глубже, горы выше и Италия ближе. Ах, Italia! «Kennst du das Land, wo die Citronen blühen...»[10]; дело, вероятно, не в citron'ах, они цветут и в Ницце и в Monte Carlo, а в чем-то особенном, принадлежащем исключительно Италии. Сколько воспоминаний, желаний, сожалений связано с этим именем; я и по Неаполитанскому заливу каталась в лодке в чудную лунную ночь и думала и ждала чего-то, и теперь еще жду того же самого, хотя живу в стране, где природа не заманчива, где нет ни жаркого лета, ни морозной зимы, шесть месяцев здесь дождливая и теплая осень, а шесть других месяцев дождливая и прохладная весна, скучна и грустна вечно зеленая Ирландия ⟨...⟩

Середа 28 мая

Знаете, какая мне вдруг мысль в голову пришла? Что если я вам буду писать много и часто, то я непременно буду повторяться ⟨...⟩ Как быть? Довольствоваться только ответом на ваши письма? Но мне нравится писать кому-нибудь, до сих пор я только писала для себя; а вот и у меня теперь есть читатель, и это меня радует. Хотела бы я писать, как вы, то есть красиво и вместе с тем ясно. Я могла бы вам рассказать про жизнь в Ирландии, про ее литературу, историю, могла бы вам описать дикую жизнь на скалистых западных островах, где по неделям бушующий океан прерывает всякое сообщение с остальным миром и где жители говорят по-кельтски и не умеют ни читать, ни писать, могла бы вам описать жизнь на торфяных болотах, где ничего не растет, кроме

картофеля. Мало ли о чем могла бы я рассказать, если бы был талант, да вот ничего я не умею делать, кроме того, что быть женщиной со всеми ее слабостями и недостатками. ⟨...⟩

Четверг, 29 мая

Все еще нет письма от вас. Отчего? Каждое утро открываю почтовый ящик с надеждой, которая до сих пор остается напрасной. Разве вы не понимаете, что значит ждать письма? Я на вас сердита и хотела бы говорить вам неприятные вещи, но не имея ни малейшего понятия о ваших слабостях, не в состоянии угадать, что вас может рассердить, да и притом русским языком владею так плохо и имею столь небольшое количество слов в моем распоряжении, что, пожалуй, произвела бы совсем не тот результат, которого бы хотела. С 98 года я ни слова по-русски не говорила ⟨...⟩

Воскресенье, 1 июня

Нынче 1 июня и какой ужасный осенний, холодный, грустный день. Вот уже третий день идет мелкий постоянный дождик, все небо обложено серыми тяжелыми облаками, ветер шумит в деревьях и качает их мокрые вершины. Где солнце? Где счастье? Мне тяжело на душе, хотелось бы закрыть глаза и заснуть и положить конец этому длинному, серому летнему дню. Где лето? Яркое, жгучее лето; где синее, глубокое море?.. Где воздух, пропитанный запахом апельсиновых цветов? Где молодость, надежды, желания? Не тут! Здесь я сижу около затопленного камина и пишу, и жалуюсь, и себя жалею. На то ли мне была дана и сила, и здоровье, и ум, и душа, чтобы здесь увядать вдали от всего, что мне дорого... Я все забываю, что я больше себе не принадлежу и не имею права на свою личную жизнь. Со дня рождения моей старшей дочери я отказалась от моих собственных вкусов, желаний и счастья, все для нее и других детей. ⟨...⟩ А ведь все-таки без желаний жить нельзя, а пока чего-то и кого-то жаль, значит, что мы еще живы, а перестанем ждать... что останется?.. А дождик все падает, и небо все пасмурнее, и день все темнее; всего только три часа, а придется газ зажигать... Нынче к нам придут несколько гостей обедать, по воскресеньям у нас всегда гости, и как я их не люблю. Будут они про погоду говорить, про африканскую войну, про Мартинику, все будут высказывать свои мнения, вычитанные из последних журналов, и мне будет скучно, скучно».

2 июня записи прекратились. Н. П. Эспозито продолжила их лишь после того, как Бунин наконец прислал долгожданное письмо и сборники своих стихотворений:

«16 июля.

Только что получила ваше письмо, на него отвечу на днях, а пока посылаю вам листы этого дневника, который прекратила больше месяца тому назад. ⟨...⟩

Merci за „Листопад“ и за „Новые стихотворения“. Не забывайте меня».

19 июля 1902 г. обозначено начало нового письма-дневника Н. П. Эспозито:

«Мои письма вам нравятся, я рада этому, я уже так давно ищу кого-нибудь, с кем могла бы меняться всем тем, что в душе моей происходит, и до сих пор никого у меня не было — я, как вы, одинока,— а теперь есть у меня вы, и писать вам громадное удовольствие. Ваши три рассказа, прочитанные мною почти год тому назад, произвели на меня сильное впечатление,— как вы уже знаете,— и причина этого впечатления как раз объясняется тем, что вы о себе пишете. Ваше постоянное стремление к чему-то недостижимому и прекрасному, жажда к какому-то безграничному и неиспытанному счастию, ваше одиночество между людей, не понимающих ваших желаний, ваша грусть и печаль, произведенная недостатком свободы нравственной и моральной, невыносимое чувство зависимости от других людей и от обстоятельств,— все это мною было пережито и все это я каким-то инстинктом угадала и нашла в ваших рассказах. Я знаю, чего вы ищете в любви, и знаю, что вы этого никогда не найдете, так как никакая женщина в себе не может соединить тех качеств физических и душевных, которые удовлетворили бы

вполне вашим потребностям. ⟨...⟩ Вы живете чувством, а не чувствительностью, и для вас счастье немыслимо, исключая короткие минуты, когда внешние условия гармонизируют с потребностями душевными... Все это выражено мною так неясно, что вы, пожалуй, и не поймете, что, собственно, я хочу сказать. ⟨...⟩ Вы жалеете о протекшей молодости, и вам всего 30 лет! Я много старше вас, а чувствую себя молодой и сильной, жизнь, люди по-прежнему меня интересуют, радость и горе меня волнуют так же сильно, как и в 20 лет. Иллюзий никаких я не потеряла, и я верю в счастие и любовь, несмотря на то, что их до сих пор не встретила, и хотя знаю, что для меня любовь и счастие невозможны, я все-таки живу надеждой и ожиданием и ловлю находу чудесные минуты, плачу за них дорого, но они того стоят, и утешаюсь мыслью, что к продолжительному счастью легко привыкнуть, и оно перестанет быть счастьем. Ваша молодость в ваших руках, от вас зависит удержать ее, если есть здоровье и работа. Работайте и любите, любите все — женщин и Россию, людей и животных, природу и мужиков — и добивайтесь взаимной любви, хорошо внушать любовь и сознавать свою силу; возбуждать ее по желанию, конечно, не всегда легко дается, но за то удовольствие победы!.. Бороться и достигать. Это же дает вам счастие, помогает жить. Вы молоды, жизнь в вас кипит ключом, не поддавайтесь унынию, увлекайтесь всем, хотя бы даже перепиской со мной, разве она вас не занимает?»

Продолжила этот дневник Наталья Петровна лишь в июле 1903 г. Восемь месяцев она ничего не писала Бунину, словно забыв о нем. Однако в апреле 1903 г. она посылает в Россию письмо, которое сама же называет «безумным»:

«Где вы? Что вы делаете? Принесли вам волны Черного моря ожидаемую Афродиту? Или вы все еще на берегу, протягивая руки к неуловимой любви? Не писала я вам, не знаю отчего, настоящей причины нет; но, может быть, оттого, что, во-первых, вы так неаккуратно отвечаете, что когда ваше письмо доходит до меня, то я уж не помню, что вам писала, а во-вторых, вам письма не легко даются, вы не умеете прямо о себе говорить кому-нибудь знакомому, вам легче обращаться к безликой публике, чем ко мне, которую вы знаете... Да, но знаете ли вы меня? О, я вот так знаю вас, и вы мне нравитесь чрезвычайно, ваши рассказы и ваши стихи вас описывают, и я люблю вас; люблю вашу силу и вашу доброту, вашу нежность ко всем слабым и страждущим, вашу интеллектуальность и понимание всего красивого и хорошего и вашу сродность со мною; во многом мы чувствуем одинаково и — кто знает? — быть может, если бы мы встретились, то нашли бы друг в друге то, чего так тщетно искали в других... Да, будем любить друг друга,— за горами, за реками, за глубокими морями. Это будет безопасно и вместе с тем занимательно! Бесплотный союз двух сердец! ⟨...⟩ Ах, не медлите ответом, мне так грустно здесь, я так одинока, несмотря на любовь, которой я окружена, но что проку в ней, когда я сама любить не могу?»

Ответ на это письмо Наталья Петровна получила 28 июня. В тот же день она писала:

«Нет, я не сержусь ни за долгое молчание, ни за то, что вы похожи на Сенкевича; у него лицо хорошее, умное и грустное. Впрочем, начну с начала. Долго поджидала вашего письма — утром и вечером следила за приходом почтальона и просматривала письма сама; но вчера, одеваясь перед обедом (мы должны были провести вечер у знакомых), забыла о вас и о почте, так что когда сошла вниз, в столовую, то ваше письмо, лежащее у моего прибора, явилось сюрпризом, несмотря на постоянное ожидание. За обедом я его не открыла, но сложила в большой конверт и положила его в маленький мешочек, в котором ношу платок... Обед затянулся долго и когда, наконец, встала из-за стола, то надо было сейчас же отправляться в гости, и ваше письмо отправилось со мною и провело целый вечер в доме издателя здешней политической газеты «The Freeman Journal». Пили там скверный английский чай и много говорили обо всем на свете. ⟨...⟩ я больше молчала и слушала, а иногда даже не слушала, а открывала мешочек и смотрела на ваше письмо. Наконец, вернулись домой и разошлись по комнатам, я оста-

лась одна и вынула, наконец, ваше письмо, но и тут не сейчас же открыла, а дождалась, чтобы все в доме утихло и, когда ничего больше не было слышно, кроме ночной тишины, то открыла конверт и прочла письмо, долго сидела я после этого и думала... Вот и теперь сижу с пером в руке и думаю—опять солнечный день, опять бледно-голубое небо, а в саду цветут розы и гвоздика, из гостиной доносится меланхолический ноктюрн Chopin и как-то хорошо и грустно вместе. Нынче утром достала «Quo vadis?» и Байрона. «Quo vadis?» у меня в английском переводе с портретом Сенкевича; будет он у меня лежать на столе, пока ваша фотография не придет, жду с нетерпением. До вашего следующего письма перечитаю «Manfred'a» и «Cain'a», во дни моей юности очень я увлекалась Lucifer'ом[11]. Вообще, мне все демоны нравились, знаете вы Мильтона? У него тоже хорошие дьяволы. Зачем вы переводите Байрона? Для удовольствия или по делу? Я буду заниматься вами, буду писать вам каждый день, буду читать, что читаете вы, но за то и вы пишите мне... Мы с вами будем друзьями, не правда ли?»

Через неделю, 4 июля, Н. П. Эспозито возвращается к своему почти год тому назад оставленному дневнику:

«Как видите, это письмо было начато около года тому назад и осталось почему-то неоконченным и не посланным, но я не уничтожила его, потому что всегда имела намерение продолжать переписку с вами. В апреле написала вам под влиянием чудного весеннего дня, который возбудил в душе нестерпимое желание поделиться с вами волновавшими меня в ту пору чувствами. Вы для меня что-то особенное, новое, небывалое и вместе с тем бесконечно милое и родное... Отчего вы, а не кто-нибудь другой? Оттого что другой тут, около меня, и я слишком близко вижу слабость его физической и нравственной натуры, а вы далеко, и я могу вас украсить всем тем, чего не нахожу в другом. Ах, как скучен тот, кто меня любит! Как он благоразумен и матерьялен, для него ни розы, ни солнце, ни море, ни луна ничего не значат, и я с ним какая рассудительная, с каким вниманием слушаю его политические рассуждения, его размышления о литературе, его мнения о людях и жизни, и он все говорит, и ему в голову не придет, что и у меня, быть может, есть что-нибудь сказать, но ведь если бы стала говорить я, то ему было бы скучно, и я бы ему надоела, а я вот не люблю надоедать, поэтому и слушаю все; и меня за это и любят и находят умной женщиной. А, впрочем, быть любимой приятно; иногда и он замолчит, и у него сердце забьется и в глазах мелькнет любовь, и я знаю, что я ему дорога и что, когда я его оставлю, то ему будет больно. Как ему было бы больно, если б он знал, что у меня *есть далекий друг* *, которому я пишу о нем хладнокровно, спокойно, без любви и с критической точки зрения... Нынче идет дождик и холодно, и вчера шел дождик, и завтра будет идти, и всегда, без конца, до самой смерти. Прочла „Манфреда" и „Каина" и мне было приятно их читать, и во мне опять проснулась любовь к демонам, и я и лермонтовского прочла... Нравится ли вам „Воскресение" Толстого? Меня оно очень интересует, но Толстой пишет не для меня, я ему бы не понравилась, я не похожа на его женщин, ни на Катюшу, ни на Анну и, в особенности не на Наташу. Я не могу понять, как это она превратилась в неряшливую толстую кормилицу своих детей. Можно любить, не превращаясь в корову.

Прощайте, мой друг. Скоро опять напишу. Много о вас думаю и сочиняю романы. Написать вам их?

Votre amie ** Н. Эспозито.

Хотите ирландских легенд, историю Ирландии, ее литературу, предания, писателей, деятелей? Как-то трудно с вами расставаться, а однако пора — итак — adieu! Перечитала это длиннейшее письмо. Боже, как я повторяюсь, но в этом виноваты вы. Отчего вы мне не отвечаете скоро,— ведь не могу же я из года в год помнить, что я вам пишу. Вот уже почти два года, как я с вами познакомилась».

---

* Подчеркнуто Буниным. — *Л. А.*
** Ваш друг (*франц.*).

БУНИН

Фотография, Париж. С пометой Бунина: «1925 г.»

Парижский архив Бунина

9 июля Н. П. Эспозито пишет новое письмо:

«Безоблачная лунная ночь полна каким-то таинственным волшебством, проникающим в душу, как любовный напиток. Этот бледный полусвет ложится, как ласка, на все, что он освещает; белые лилии блестят, как серебро, и их сладкий, опьяняющий запах вливается ко мне в комнату на лучах луны. Ночь спит, кругом все тихо, легкий ветерок слегка шевелит кисейные портьеры и приносит с поля свежий воздух, пропитанный запахом скошенного сена. Все спит, и как мне хорошо в этом молчании после шумного, многолюдного дня. Как мне хорошо, я с вами, я вижу вас, как вы являетесь в ваших рассказах, и выразительное лицо Сенкевича подходит к ним; да, я люблю вас, я говорю с вами так нежно и искренно, и вы слушаете меня, и вам не скучно; вам со мною не скучно, потому что я *та**, которую вы в жизни не нашли».

Через десять дней письмо было продолжено:

---

* Подчеркнуто Буниным. — *Л. А.*

«... Воздух теплый и в нем плавает запах душистого горошка, небо голубое, кругом все тихо, и в сердце любовь... К кому, к чему, не знаю, но как-то радостно, и себя я чувствую молодой и сильной, впрочем, сознание силы меня редко покидает; даже в самые грустные минуты уверенность в себе остается непоколебимой. Я всегда знаю, чего хочу, и не щажу никаких усилий, чтобы добиться желаемого. Все это вам кажется хвастливым, пожалуй, вы правы, и я имею о себе слишком высокое мнение; не знаю, о себе трудно судить! — я не люблю ложной скромности. Но тоже не люблю и чрезмерного тщеславия. К чему я это вам пишу? Вам до всего этого дела нет. Кто я для вас? Я пишу не вам, а так, для себя и все о себе... Себя интересно анализировать и описывать такой, какой хотелось бы быть. Пошлю вам это письмо или нет? Да пускай себе идет в далекую Россию, каким оно вышло, со всеми повторениями, с противоречиями и ошибками против логики и русского языка».

25 июля Наталья Петровна получила фотографию и письмо Бунина. Прежде чем ответить на его вопросы, она подробно рассказала о своей неудавшейся семейной жизни, о романах, которыми она «забавляется»:

«Почему-то они у меня всегда выходят платоническими, быть может, оттого, что где-то во мне есть затаенное чувство добродетели, быть может, я действительно холодна, или не представилось удачного случая, или просто ни одного из моих героев я не любила достаточно. В сущности, адюльтер — вещь не артистическая, надо лгать, обманывать, бояться — все это мне не по душе, только сильная, страстная любовь может извинить обман и ложь, но когда ее нет, то уж лучше жить добродетельно, что я и делаю, несмотря на мои письма к вам и на визиты инженера. Как все это странно вышло: когда начала вам писать сегодня, то имела намерение ответить на ваши вопросы, а вместо этого написала вам то, что никогда никому не говорила. Я люблю вам писать именно потому, что следую моей фантазии, а не устроенному предварительному плану».

Продолжение письма датировано 28 июля:

«Я рада, что вы мне написали, как проводите время. В настоящую минуту вы, как и я, сидите у стола и пишете. Я хочу знать больше о вас. Зачем вы о себе так мало пишете? Какой вы, что вы любите? Pierre Loti? Я его тоже люблю, хотя он все тот же самый; на днях получу «Fantôme d'Orient»[12], буду его читать и думать, что вы тоже его читали. Когда мне что-нибудь в нем особенно понравится, я отмечу и спрошу вас. Ах, зачем вы так далеко! ⟨...⟩ Нынче я пошлю вам письмо и примусь опять за мой дневник, который вы получите со временем. Я вам пишу очень много, скоро совсем испишусь и тогда расстанусь с вами навсегда. Ведь невозможно поддерживать такую переписку долго, вам наскучит, да и мне надоест ⟨...⟩

Я была очень рада получить carte postale [13], я вас теперь лучше знаю и нисколько не обиделась за нее, я вообще обижаюсь мало, но сержусь часто на вас.

Нынче прелестный день, а вы сидите и переводите «Каина»; я вам не завидую. Философия и научные умозрения Lucifer'а сильно устарели, он совсем не оригинальный демон, но я и его любила в молодости, теперь предпочитаю Мефистофеля».

Это последнее письмо Натальи Петровны из тех, что сохранились в бунинском архиве. Ответил ли на него писатель? Продолжалась ли его переписка с ней после 1903 года? Пока нет никаких оснований сказать об этом утвердительно. Однако о письмах из Ирландии Бунин помнил и, возможно, не однажды перечитывал их, о чем свидетельствуют его пометы, сделанные, несомненно, в разное время чернилами и красным карандашом [14].

И вот в 1923 г. события двадцатилетней давности ожили в рассказе «Неизвестный друг», впервые напечатанном в альманахе «Златоцвет» (Берлин, 1924) [15].

Написанный в форме дневника «навеки» заброшенной судьбою в Ирландию русской женщины, которая, прочитав книгу живущего в России писателя, делится с ним своими переживаниями, рассказ этот не только восходит к бунинской переписке своей основной

ситуацией, но и воспроизводит ее многие детали. Самое название его «возникло» из писем Н. П. Эспозито. «L'ami inconnu» — «неизвестный друг»,— так называла она Бунина. Перенесена в рассказ и стала его зачином посланная Бунину из Дублина «carte illustrée с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана» (стр. 89). Судьба героини рассказа не только напоминает биографию Н. П. Эспозито, но порою она даже и рассказывает о себе словами ирландской корреспондентки Бунина.

Вот, например, некоторые параллели между одним из писем Н. П. Эспозито и бунинским рассказом:

| Письмо от 31 декабря 1901 г. | «Неизвестный друг» |
|---|---|
| «С моими родственниками я переписываюсь редко, не о чем им писать, наша жизнь разошлась и общих интересов нет 〈...〉 Мне приходится вести жизнь полусветскую, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах, обедах и т. п., что мне очень скучно. У меня четверо детей, две старшие дочери почти взрослые, пока они были маленькими, то я за ними неустанно ухаживала, теперь они подросли и во мне больше не нуждаются, так что на руках у меня много свободного времени, которое я провожу читая. Читаю я много, и думаю много, и пишу, но только для себя; друзей у меня нет, да и не может быть, я слишком различна от здешних дам, а что касается до мужчин, то я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной». | «У меня трое детей, мальчик и две девочки 〈...〉 Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются, и у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах и обедах. Но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю...» (стр. 94). |
| «Однако же довольно о себе писать... Перейдем к более интересному предмету, то есть к вам. Кто вы?.. Любите ли вы Гейне, Alfred de Musset, Шекспира?.. Любите ли вы музыку?» | «Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой вы? Где постоянно живете? Любите ли вы Шекспира или Шелли, Гете или Данте, Бальзака или Флобера? Любите ли музыку и какую?» (стр. 94). |
| «Сегодня у нас чудная погода, поэтому на душе легко и отрадно, и через открытое окно лучи солнца и теплый воздух напоминают о весне и даже о лете. Странный климат здесь в Ирландии! Летом холодно и дождливо, зимой тепло и дождливо, а от время до время выдаются такие чудесные дни, что не знаешь, зима или лето стоят на дворе». | «Нынче дивный день, на душе у меня легко, окна открыты и солнце и теплый воздух напоминают о весне. Странный этот край! Летом дождливо и холодно, зимой — дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это или итальянская весна?» (стр. 93). |

В несколько измененном виде перешли из писем в рассказ воспоминания об Италии, строки о «самых западных берегах Европы» (у Н. П. Эспозито «самых западных пределах Европы»), о «диких и бедных островах» в Атлантическом океане и т. д. Приходит на память письмо Н. П. Эспозито от 1 июня 1902 г., когда в «Неизвестном друге» читаешь о предстоящем приеме гостей (стр. 96—97).

Порою приходится удивляться, с какой точностью и свежестью Бунин воспроизвел некоторые места из писем двадцатилетней давности, подлинники которых во время написания рассказа были писателю уже недоступны. Быть может, «Неизвестный друг» был начат еще в России, когда письма Н. П. Эспозито были у Бунина под рукою, а в 1923 г. рассказ получил окончательную редакцию?

Однако содержание «Неизвестного друга» нельзя, разумеется, свести лишь к воспоминаниям Бунина о его необычной переписке 1901—1903 гг. Отправляясь от реального, «невыдуманного», лично им самим пережитого факта, он создал произведение о трагически одиноком человеке, зов которого, «брошенный куда-то вдаль», так и не был услышан. История, рассказанная Буниным, словно конкретизирует строки тютчевского «Silentium!»:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?

Обретая философско-этическое значение, действительные события в рассказе соответственно претерпевают изменения, смещаются, предельно уплотняются. Если дублинская переписка Бунина длилась почти два года, то свой «осенний» дневник героиня рассказа «Неизвестный друг» ведет всего лишь в течение месяца с небольшим, сделав за это время, однако, шестнадцать записей (иногда по две в день), которые почти все пронизаны страстной, исступленной, порою доходящей до галлюцинаций надеждой получить отклик на письмо:

«Письма от вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклинаю день и час, когда решилась написать вам...

И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что письма не будет, что мне нечего ждать, я все-таки жду: кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что вы не напишете! Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет, нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, я жду!» (стр. 94—95).

Однако письмо, в отличие от корреспонденции Н. П. Эспозито, остается безответным, что придает рассказу поистине трагическое звучание: «Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе: потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту, у меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты, пустоты!» (стр. 96).

Возникший внезапно порыв героини угасает, не найдя отзвука. Еще ужаснее теперь ее существование: «Со странным чувством, точно я кого-то потеряла,— опять остаюсь одна, со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями» (стр. 97).

Превосходно помня откровенные письма из Ирландии со всеми подробностями, Бунин, однако, в своем рассказе не приводит таких фактов, которые как-то могли бы снизить, приземлить, огрубить переживания героини, развеять романтическую дымку, окружающую ее очаровательный образ.

Рассказавший о происхождении многих своих произведений, Бунин промолчал о предыстории «Неизвестного друга». Может быть потому, что дорогой и светлой была для него тайна исповеди «ирландской незнакомки», благодарной памятью о которой продиктован бунинский рассказ.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Происхождение моих рассказов».— Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 368—373.
[2] «Как я пишу».— Там же, стр. 374, 376.
[3] ГМТ, № 3209/1—10. Далее при ссылках на эти письма в тексте указывается только их дата.
[4] «Три рассказа. 1. Костер. 2. Перевал. 3. В августе». — «Русская мысль», 1901, № 8, стр. 141—150.
[5] Из рассказа «Перевал».— Там же, стр. 146. Впоследствии вторую фразу Бунин из текста исключил (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 9, 489).

[6] «С кургана» («Дымится поле, рассвет белеет...») и «Метель» («Жесткой, черной листвой шелестит и трепещет кустарник...»).— «Русская мысль», 1901, № 8 и 11.

[7] «Рассказы» (СПб., Изд. т-ва «Знание», 1902).

[8] Эта фотография неизвестна.

[9] Ср. рассказ «Тишина» (Собр. соч. 1965—1967, т. 2, стр. 236).

[10] Первая строка стихотворения Гете «Миньона» («Знаешь ли ты край, где цвету лимоны...»).

[11] «Quo vadis?» (в русском переводе «Камо грядеши?»)— роман Г. Сенкевича. «Манфред» и «Каин» — драматические мистерии Байрона, над переводами которых Бунин работал в 1901—1904 гг. (см. настоящ. кн., стр. 17—18); Люцифер — действующее лицо второй из них.

[12] «Призрак Востока» — роман Пьера Лоти.

[13] Имеется в виду открытка с фотографией Бунина.

[14] Кроме указанных выше подчеркиваний в тексте писем, Бунин сделал на многих письмах пометы: «Ireland» и проставил даты: «1901», «1902», «1903».

[15] Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 89—98. Далее при ссылках на этот рассказ в тексте указываются только страницы.

# БУНИН И НИЛУС

Сообщение И. Д. Бажинова

Петр Александрович Нилус родился в 1869 г. в деревне Бушены Подольской губернии в дворянской семье. Окончив в 1889 г. Одесскую рисовальную школу, он поступил в Петербургскую Академию художеств, где учился в классе И. Е. Репина. Уже в студенческие годы Нилус участвовал в передвижных выставках. Одна из первых его картин («По знакомым») получила высокую оценку В. В. Стасова и Репина [1]. После успешного дебюта в столице, художник возвратился в Одессу, где жил и работал более четверти века.

В своих ранних работах Нилус выступал как последовательный сторонник творческих принципов передвижников. На рубеже 1900-х годов в его творчестве усиливается лирическая струя («На кладбище» — 1901, «Осень» — 1901, «Одиночество» — 1902 и др.). В период революции 1905 г. в творчестве художника отчетливо звучат общественные мотивы. Однако в ближайшие годы отход Нилуса от реалистического бытового жанра и вообще от социальной проблематики окончательно определился. Отказавшись от «сюжетной» живописи, он ищет новые средства изобразительности, все более склоняется к импрессионистической манере письма. Художник обращается к пейзажу, его влечет поэзия давно ушедших в прошлое дворянских гнезд.

1917 год вновь пробудил у Нилуса интерес к современности. В картинах «Демонстрация», «Продажа телеграмм», «После митинга», написанных в этом году, художник стремится правдиво запечатлеть важные черты эпохи. Однако в ходе революции и гражданской войны Нилус все острее испытывает чувство растерянности перед лицом грозных исторических событий. В начале 1920 г. он покидает родину.

С 1924 г. художник поселяется в Париже. Тяжело переживая разрыв с родиной, он приходит «к горькому выводу, что не надо было уезжать», что «вне родины — ни успех, ни любовь — все что-то не так, не то; без своей земли нет настоящей жизни» [2].

Однако, преодолевая все невзгоды скитальческой жизни на чужбине, Нилус много и плодотворно работает. Его картины пользовались успехом, критика ценила его, по словам Бунина, «как первоклассного колориста и как художника-поэта» [3].

В конце 1920-х годов художник отказывается от романтических сюжетов, от условных композиционных решений и обращается к реалистической живописи, но уже на новой основе. Широко и свободно используя достижения импрессионизма, Нилус сумел тонко уловить и передать ритм современной ему жизни в своих городских пейзажах.

К огда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, в душе художника с новой силой зазвучало чувство любви к родине; но дожить до победы над фашизмом Нилусу не пришлось: он умер 23 мая 1943 г. в оккупированном гитлеровцами Париже [4].

Более четырех десятилетий Нилус был одним из самых близких друзей Бунина. Знакомство их состоялось летом 1898 г. в Одессе, когда Бунин близко сошелся с участниками Товарищества южнорусских художников. Члены этого кружка собирались по четвергам сначала на квартире молодого художника Е. И. Буковецкого [5], а позже в одном из одесских ресторанов. Здесь, кроме художников, присутствовали артисты, писатели, певцы, музыканты. На заседаниях, если можно так называть эти веселые собрания, художники рисовали, скульпторы лепили, литераторы читали свои новые

БУНИН

Портрет работы П. А. Нилуса (масло). Одесса, 1918

Музей И. С. Тургенева, Орел

произведения, певцы исполняли песни, романсы и оперные арии. Здесь, в живой, непринужденной атмосфере, шли споры о новых произведениях литературы и живописи, обсуждались проблемы современного искусства. Собрания кружка многое давали его участникам, в том числе и Бунину, который в числе важных моментов своей творческой биографии назвал и знакомство с членами Товарищества южнорусских художников (т. 9, стр. 263). С большинством из них он был в самых дружественных отношениях [6], особенно близко сошелся с Е. Буковецким, В. Куровским, С. Кишиневским и в первую очередь с Нилусом.

Сближение их объясняется не только тем, что Нилус «пленял всех знавших его добротой, благородством, вечной молодостью сердца» (т. 9, стр. 476). Это был человек разносторонней одаренности, широкого круга интересов — не только талантливый художник, но и писатель незаурядного дарования, тонкий знаток и ценитель музыки, художественный критик. Все это определяло общность интересов Бунина и Нилуса, создавало почву для тесного общения — не только дружеского, но и творческого. Это общение не ограничивалось встречами в Одессе, оно выразилось и в постоянной многолетней переписке.

К сожалению, письма Бунина к Нилусу известны лишь в отдельных выдержках, приведенных в воспоминаниях В. Н. Буниной [7]. Однако около ста писем художника к Бунину позволяют судить, насколько близки были они по своим взглядам и творческим устремлениям [8]. Общность тем, мотивов, сюжетов и ситуаций отчетливо прослеживается в творчестве обоих. В этом отношении заслуживают внимания взаимные посвящения Бунина и Нилуса. Уже в 1901 г. Бунин посвящает Нилусу свое стихотворение «Счастье» («Нет солнца, но светлы пруды...»)[9]. В том же году Нилус посвятил ему свою картину «Одиночество» [10]. По своему настроению эта картина, где на фоне осеннего пейзажа изображена молодая женщина, одиноко сидящая на берегу моря, очень созвучна и поэзии, и лирической прозе Бунина той поры. Известно, что некоторые черты Нилуса Бунин использовал в рассказах «Галя Ганская» и «Сны Чанга». Нилус в свою очередь в 1918 г. сделал портрет Бунина (ныне хранится в ГМТ).

В 1906 г. Нилус впервые выступил как писатель. Его первый рассказ «Утро» был посвящен Бунину [11], который настойчиво «уговаривал его писать художественную прозу» [12]. В своих письмах Нилус не раз подчеркивал, что как писатель он прежде всего обязан Бунину. «Ну, братец, ты меня „завел“ основательно — все пишу»,— сообщал он ему 9 июня 1905 г., в период работы над «Утром» [13].

За 12 лет (1906—1917) Нилус написал несколько десятков рассказов, опубликованных в периодической печати; многие из них вошли в его сборники: «Рассказы» (М., 1911) и «На берегу моря» (М., 1917). В творчестве Нилуса-писателя отчетливо прослеживается связь его с прозой Бунина — тематическая близость, общность мотивов, настроений и образов, сходство некоторых стилистических приемов. Поэтизация радости бытия, раздумья о вечно ускользающем счастье — этот лейтмотив бунинской лирической прозы характерен и для посвященного Бунину рассказа «На берегу моря», и для других произведений Нилуса, написанных в 1906—1910 гг. («Сестры Ван-Ли», «Старый сад» и др.)[14].

В своих рассказах Нилус проявил себя также и как незаурядный пейзажист. Зарисовки природы в его произведениях отличаются свежестью, точностью и яркостью. Как и у Бунина, пейзаж в нилусовских рассказах — не зеркально-декоративное отражение природы, а передача ее живых, меняющихся состояний.

Творчество Нилуса-писателя является пусть и не очень заметной, но, несомненно, интересной страницей русской прозы начала XX в. Оно существенно дополняет наше представление о «школе Бунина» в русской реалистической литературе дооктябрьского периода, возникновение которой отметила Л. А. Авилова [15] и изучить которую еще предстоит исследователям творчества Бунина.

Принадлежность к «бунинской школе» не превратила Нилуса в простого подражателя. Он всегда сохранял свой почерк, свое лицо. Именно это ценил в нем Бунин. Рекомендуя Телешову рассказ Нилуса «Старый сад» для сборника «Друкарь», он писал 19 июня 1909 г.: «В рассказе очень, очень много поистине прелестного — свежего,

тонкого, красивого, главное же — *своего*»[16]. Бунин ценил Нилуса не только «как поэта красок в живописи, но и как знатока природы, людей, особенно женщин»[17].

Бунин принимал самое живое участие в судьбе произведений Нилуса, бо́льшая часть рассказов которого, прежде чем попасть в печать, проходила через его руки. Он взыскательно относился к творчеству своего друга, предостерегал его от увлечений модой, указывал на художественные просчеты, допущенные Нилусом, требовал сокращения длиннот. Все требования Бунина-редактора Нилус принимал с глубокой благодарностью. «Ты не поверишь, до чего я тебе обязан! — отвечал он Бунину на его критику рассказа „Разгром“.— Все то, что мне показалось неуместным, наивным, я выкинул вон беспощадно! Я оказался даже строже тебя ⟨...⟩»[18].

Высоко оценивая рассказы Нилуса, Бунин многое делал для того, чтобы продвинуть их в печать. «Посылаю вам рассказ („Белая акация“) моего друга Петра Александровича Нилуса — по моему мнению, очень хороший»,— писал он 18 июля 1914 г. Ф. И. Благову, редактору газеты „Русское слово“»[19]. Бунин энергично способствовал изданию сборника рассказов Нилуса «На берегу моря» в «Книгоиздательстве писателей в Москве» (М., 1917). Его письма к Н. С. Клестову свидетельствуют о том, что он вел работу по редактированию сборника, целиком взяв на себя заботу о его составе[20].

В свою очередь, Бунин высоко ценил мнение Нилуса о своих произведениях, всегда прислушивался к его высказываниям, критике и советам.

В начале 1910 г. Бунин дал корректуру первой части «Деревни» Нилусу, который напечатал в «Одесских новостях» 26 марта 1910 г. заметку «Новая повесть И. А. Бунина». В октябре 1910 г., прочитав продолжение повести, Нилус писал Бунину: «Прочел с удовольствием, хотя продолжение чуть жиже начала, но это не важно, главное — дух земли, крепкий, настоящий. Только этим и живо художественное произведение. Только *количеством* наблюденного и оценивается работа художника. Я прочел залпом, не отрываясь, второй кусок повести; пока трудно судить в общем, в связи с началом, но отдельные места из странствий Кузьмы превосходные, особенно меня поразили соловьиная ночь в слякоть, тасканье по постоялым дворам, трактирам, грязь, мерзость, ночевки не раздеваясь, старчество Кузьмы, все эти чудесные штрихи»[21].

Правда, Нилуса не вполне удовлетворила объективно-беспристрастная манера повествования, слишком уж спокойный, как ему казалось, тон изображения. «Но если уж обличать, так обличать,— пишет он 7 ноября 1910 г.— Надо было бы показать также гнусное, свинское в свадьбе, дикарское в погребенье, а ты эти места описал в нормальных красках»[22].

Наиболее полная и развернутая характеристика поэзии и прозы Бунина дана Нилусом в статье «Ив. Бунин и его творчество».

Статья была прочитана на литературном вечере, посвященном 25-летию литературной деятельности Бунина, 17 января 1913 г., в Одесском литературно-артистическом клубе[23]. По-видимому, работу над ней Нилус начал еще осенью. 12 октября 1912 г. он писал Бунину: «Хотел бы написать о твоем художестве к 28-му большую статью»[24].

Статья Нилуса и фактическим содержанием, и своими оценками и характеристиками двадцатипятилетнего творческого пути писателя в целом вносит ценные штрихи в облик Бунина — писателя и человека.

Статья содержит интересные сведения о Бунине-чтеце. Нилус убедительно показывает, в чем заключалась причина успеха бунинского чтения[25]. Особенно ценно его свидетельство о том, что еще на рубеже 1900-х годов, в кругу одесских друзей, Бунин в своих устных рассказах о русской деревне с большим искусством изображал мужиков в лицах. Оно говорит о том, что уже в ту пору в его творческом сознании зрели образы и картины, предварявшие «Деревню» и рассказы из народной жизни.

Особый интерес представляют суждения Нилуса о взаимодействии и взаимообогащении литературы и живописи, об использовании принципов живописи в творчестве Бунина. Помимо конкретных наблюдений над использованием живописного метода в литературном творчестве, высказывания Нилуса о взаимодействии искусства слова и живописи сохраняют ценность и для литературоведа, и для искусствоведа. Статья Нилуса намечает интересную и новую тему «Бунин и живопись».

Бунин был знаком с работой Нилуса и даже редактировал ее: в ГМТ хранится машинописная копия статьи с правкой, сделанной его рукой (№ 3401, л. 1—9). С одними положениями и формулировками автора Бунин не соглашается и вычеркивает их, другие исправляет или уточняет, попутно правит и стиль.

Это редактирование Бунина налагает на статью особый отпечаток — по-видимому, в целом он был согласен с суждениями и оценками Нилуса.

Ниже печатается текст статьи в той окончательной редакции, которую придал ей Бунин. Исправления, сделанные им, отмечены в подстрочных примечаниях; там же приводится первоначальный текст, подвергшийся его правке (мелкая стилистическая правка в примечаниях не отмечается, так же как и авторская правка самого Нилуса).

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. В. Стасов. Избр. произведения в трех томах, т. 3. М., 1952, стр. 127; И. Е. Репин. Переписка с П. М. Третьяковым. 1873—1898. М.—Л., 1946, стр. 157; П. Нилус. Автобиографическая заметка.— «Одесские новости», 1915, № 9736, 13 июня.

[2] Из письма Нилуса к художнику Б. И. Эгизу (апрель 1923 г.).— Рукописный отдел Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР.

[3] «Памяти П. А. Нилуса».— Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 475. Далее, при ссылках на это издание в тексте статьи указываются только том и страница.

[4] О Нилусе-художнике см. в книгах В. А. Афанасьева, изданных на украинском языке: «Майстри пензля». Одесса, 1961; «Петро Олександрович Нілус». Київ, 1963; «Товариство південноросійських художників». Київ, 1963, а также в его статье «Творческий путь Петра Нилуса» — журн. «Искусство», 1960, № 10, стр. 67—71.

[5] Княжеская ул. (ныне ул. Баранова), д. № 27.

[6] «Жизнь Бунина», стр. 113.

[7] Письма Бунина к Нилусу хранятся в Парижском архиве писателя, куда передала их вдова художника. Они широко цитируются в книге «Жизнь Бунина» и в воспоминаниях В. Н. Буниной «Беседы с памятью». Три письма находились в собрании Л. Е. Мучника; копии их находятся у В. А. Афанасьева (Киев).

[8] Письма Нилуса к Бунину за 1899—1916 гг. хранятся в ЦГАЛИ (ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168 и 169) и ГМТ (№ 3094—3095).

[9] «Стихотворения». СПб., 1903 (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 119).

[10] Репродукция этой картины воспроизведена в сб. «Наши вечера». Одесса, 1903.

[11] «Новое слово», 1906, № 9.

[12] «Жизнь Бунина», стр. 113.

[13] ГМТ, № 3095.

[14] П. Нилус. Рассказы. М., 1911.

[15] См. ее высказывания в письме к Бунину 1915 г. (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 45), а также предисловие к кн.: И. А. Бунин. О Чехове. Нью-Йорк, 1955, стр. 25.

[16] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 579.

[17] «Жизнь Бунина», стр. 113.

[18] ГМТ, № 3095.

[19] ГБЛ, ф. 259. 11.88.

[20] ГБЛ, ф. 9, АК — 29.

[21] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 129.

[22] Там же, ед. хр. 168, л. 1.

[23] «Одесский листок», 1913, 15 и 16 января (здесь напечатана подробная программа вечера).

[24] ГМТ, № 3094.

[25] Нилус слышал чтение Бунина в различные периоды, не только на одесских «четвергах», но и в Париже. М. А. Алданов вспоминает: «Я не знал такого чтеца, как Иван Алексеевич, ни среди писателей, ни тем менее среди актеров. Иногда — особенно в небольшой аудитории — он производил впечатление необычайное ⟨...⟩ Навсегда в моей памяти осталось одно чтение Ивана Алексеевича, случайное, в его столовой, за чаем. Слушатель был, кроме меня, один: покойный писатель Нилус. „Никогда в жизни такого чтения не слышал, это верх совершенства!“ — совершенно справедливо сказал он» (И. А. Бунин. О Чехове. Нью-Йорк, 1955, стр. 11—12).

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

# ИВ. БУНИН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Статья П. А. Нилуса

«Самая высокая, единственная задача искусства есть изображение»,— сказал Гете, и эта мысль как нельзя больше передает душу творчества Бунина. Вот почему его так долго не понимали, не признавали. Русская критика, а с нею и публика, идейности отдает предпочтение перед художественностью, забывая, что качеством, высотой идеи нельзя измерять уровня художественного произведения*.

Бунин всю жизнь только изображает и не думает никого поучать **. Он не задает легко разгадывающихся ребусов, а пишет просто и ясно о том, что знает, как должен делать всякий художник, и это долгое время служило препятствием для понимания его ***.

Есть два вида талантов: один вид сразу проявляет себя, со школьной скамьи, другие, наоборот, развиваются медленно. И хотя корни и зерна, из которых потом разрастается более или менее пышный сад творчества, живут уже в ранних произведениях одаренных людей, но развиваются не одинаково, капризно. У одних талантов распускаются все самые яркие цветы их творчества почти сразу, у других они, до поры зрелости, лишь прозябают, требуя обильного удобрения, горячего солнца, заботливого ухода, благородных прививок. Почти всегда настоящий талант начинает целомудренно, наивно и слишком раннее, обильное цветение не обещает надежного урожая. Почти всегда, слишком раннее мастерство, техника, плодовитость не предвещают ничего большого. Гениальные художники, разумеется, вне общих наблюдений, соображений.

Бунин принадлежит к тому роду прочных талантов, которые развиваются медленно. Его первые стихи, рассказы, написанные нежной акварельной кистью, отличались некоторой бестелесностью, но с каждым годом они постепенно наливались кровью земли и то, что появлялось в печати в первые годы его писательской жизни, хотя отмечалось критикой, но с непременным шаблонным припевом: «Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre» [1]. Тогдашняя «идейная» критика совершенно не угадала ни размеров, ни качества таланта Бунина. Гг. критики проглядели одну замечательную особенность молодого писателя: его непосредственность и вкус изображения, качества редчайшие, особенно в эпоху восьмидесятых, начале девяностых годов,— про наше время и говорить нечего ****. И критика и публика того времени требовали в беллетристике ложной идейности, были варварски грубы, и ничего нет удивительного, что прозрачные, деликатные акварели Бунина, особенно его стихи, казались незначительными.

Большинство стихов Бунина до 1889 г. не вошли ни в один сборник его стихотворений. Но в первом томике, в котором были собраны стихи с 89 по 902, можно найти очень характерные строфы для первого периода его творчества — может быть, написанные и позже 89 года, но, по существу, относящиеся к первому периоду, как, например:

Ночь и даль седая,—
В инее леса.
Звездами мерцая,
Светят небеса...[2]

---

* *Далее зачеркнуто*: забывая, что идея почти никогда не принадлежит авторам романов, повестей, стихотворений. Мир творчества идей принадлежит людям высокого горения мысли, философам. У писателя более скромная роль. Незачем заботиться писателю об идеях — они во всем: в наших поступках, в наших вещах, все живет в мире идей.

** *Далее зачеркнуто*: общеизвестным вещам.

*** *Далее зачеркнуто*: обществом, воспитанным, к сожалению, не художниками, ⟨а⟩ публицистами.

**** *Вписано*: про наше время и говорить нечего.

Или такие строки, уже погуще:

Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом
И ветерок в аллее, полной светом,
Струит листвы узорчатую тень,
Я свой привет из тихих деревень
Шлю девушкам и юношам-поэтам...[3]

Тут нет ни одной краски, ни одного яркого уподобления. Точно все без цвета: черное да белое, а ночь и даль одинаково седы. Про звезды только и нашел сказать молодой поэт, что они «мерцают». Тень узорчата, майский день светел, аллея полна светом; только позже узнал Бунин, что дни бывают голубые, золотистые, а ночи и сумерки богаче красками, чем дни. Но что выгодно выделяло Бунина, даже в молодости — это деликатность изображения, редкий вкус и особенно чувство к вещи и верность глаза. Точность изображения — это характернейшая особенность всех его периодов.

Известный перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло относится к молодым произведениям Бунина и сразу * обратил внимание на молодого поэта, в совершенстве овладевшего ** стихом. Эта большая работа несомненно оказала на Бунина влияние: так много прекрасной простоты и свежести в этом замечательном произведении ***.

Приблизительно после перевода «Гайаваты» Бунин **** попадает на довольно долгое время на юг, и это ***** сыграло в его жизни и в его творчестве большую роль. После Орловской губернии, родины поэта, севера, житья в Полтаве, Крым ******, Одесса показались прирожденному колористу, влюбленному в жизнь, необыкновенными *******. Море, одесский порт с его кипучей толчеей, полные суеты улицы, окрестности, поля, наше, воистину изумительное серебристое солнце очаровывают Бунина. В Одессе Бунин познакомился с художниками, и его тонкое артистическое лицо стали рисовать, писать, лепить его будущие друзья. Он быстро сходится с художниками, входит в их дружественный кружок, которому остается верным по сию пору. Разумеется, Бунин бывал и в Одесском литературно-художественном клубе, процветавшем тогда, участвовал в его тогда почти интимных вечерах, поражая всех своим не совсем обыкновенным чтением. Одни находили, что хотя он читает своеобразно, но******** плохо... Другие были в восторге от его чтения. Дело в том, что Бунин читал просто, а тогдашняя публика привыкла к актерскому чтению, к ложному пафосу, к «слезе» в голосе, к вульгарным эффектам. Кроме чужих произведений, он читал и свои стихи, но и они были встречены холодно — в стиле Бунина не было пустозвона, шаблонных рифм, и особенно потому, что в них не было гражданской скорби: они были наивны и благородны —качества доступные не всем. Среди ********* своих друзей-художников ********** Бунин особенно живо ********** понял, что небо и море не только голубого цвета, что есть теплые и холодные тона, что небо отражается не только на

---

* *Вписано*: сразу.

** *Вписано*: овладевшего *вместо зачеркнутого* владеющего.

*** *Вписано*: так много ~ в этом замечательном произведении *вместо зачеркнутого*: своей прекрасной простотой.

**** *Далее зачеркнуто*: случайно.

***** *Вписано*: на довольно долгое время на юг, и это *вместо зачеркнутого*: в Одессу — приезжает в гости к своему другу А. М. Федорову, тоже случайно поселившемуся под Одессой, в Люстдорфе. Этот приезд в Одессу, первая поездка на юг

****** *Вписано*: Крым

******* *Вписано*: необыкновенными *вместо зачеркнутого*: необыкновенным городом.

******** *Далее зачеркнуто*: по-детски.

********* *Вписано*: среди

********** *Далее зачеркнуто*: Бунин слегка побаивался: очень уж решительно нападали они на него и за неумение отличать оттенки цветов, и с большим вниманием прислушивался к их бесконечным разговорам о природе, искусстве. Нужно сказать, что художники любят выражать вслух свои впечатления и тут-то

*********** *Вписано*: особенно живо

«СТОЛЯР». КАРТИНА П. А. НИЛУСА (ФОТОТИПИЯ)
С дарственной надписью художника: «И. А. Бунину от автора. П. Нилус. 1 марта 1901. Одесса»
Музей И. С. Тургенева, Орел

крышах и в воде, но облекает все предметы своим отражением, что луна бывает серебряной и золотой и красноватой, а ночное небо зеленоватым и розоватым и золотистым, и что солнце и луна насыщают светом испарений воздух, землю... С своей стороны, художники не могли не прислушиваться к Бунину *. Много говорил тогда Бунин о северной деревне, так непонятной южанам. С неподражаемым искусством ** рассказывал Бунин о мужиках, изображал их в лицах. И когда ему говорили, что он лучше рассказывает, чем пишет, и удивлялись, что пишет об одном, а всегда говорит о другом, это его, вероятно ***, раздражало. Очевидно **** пятнадцать лет тому назад он был еще не готов к тому, да и вряд ли тогда было возможно писать тó о деревне, что он пишет сейчас. Для того, чтобы писатель заговорил

---

* *Далее зачеркнуто*: который тогда увлекался Лоти, Роденбахом, читал Поэ, восхищался Одессой

** *Вписано*: неподражаемым искусством *вместо зачеркнутого*: неподражаемым юмором и искусством.

*** *Вписано*: вероятно.

**** *Далее зачеркнуто*: И точно, это было странным, но

о деревне с такой полнотой и глубиной, нужны были года скрытой таинственной работы художника. И теперь еще далеко не все сказал он о мужиках, его искусство * еще не раз удивит и обрадует нас. Достаточно вспомнить эпизод о козе из рассказа «Ночной разговор» [4], чтобы понять, в чем заключается бунинский смех, который непременно должен проявиться во всей силе и ищет только, быть может, иной формы, сюжета. Отличался тогда Бунин и феноменальной памятью: стоило ему внимательно прочесть стихотворение, даже большое, в 20—30 строк, и он его передавал с точностью фонографа. Художники собирались тогда на «четвергах» [5] не в ресторане, как теперь, а в частном доме, и там Бунин отдавал друзьям весь свой смех, всю свою молодую радость **.

После первых поездок Бунина в Одессу, Крым, потом на Восток, начинается замечательная пора в развитии его творчества. Путешествия, резкая смена впечатлений, знакомство с художниками развивают в нем, опять-таки медленно, чувство к цвету, форме. Из писателя, употреблявшего две, три краски, почти без оттенков, образовывается замечательный колорист, отчасти педантичный, но неподражаемый рисовальщик. Принципы живописи решительно прививаются им литературе. Сравнительно еще не так давно литературные тенденции процветали в русском живописном искусстве, нужно думать, настала пора реванша и живописная тенденция займет в близком будущем свое место в литературе. Время показало, что живописи были навязаны тенденции, чуждые живописному искусству, как не связанные органически с формой, но этого никак нельзя сказать относительно применения живописного метода в ⟨литературе⟩ ***. Тенденции, например, старых «передвижников» вне формы относятся по преимуществу к сюжету, то же, что применяет в литературе Бунин, только углубляет силу слова, изображения, а это никоим образом не мешает основной задаче литературы. Бунин так любит форму и краску, что в своих путешествиях по Востоку, кажется, боится пропустить типичную травку, камешек. В этот же период он зачитывается Библией, Кораном, арабскими сказками, восточными поэтами и берет от них чистый, величавый, простой язык. Его мысли того периода далеки от преходящего, наблюдения у него связываются с мечтами о вечном, с важными изречениями восточных поэтов, мудрецов; и их потомки — созерцатели, с наивными душами, останавливают жадное внимание северного поэта, полюбившего солнечные страны.

Для того, чтобы лучше объясниться, я приведу очень характерное стихотворение Бунина, сверкающее неслыханной яркостью, разнообразием красок. После этого стихотворения ни один поэт не может не считаться с принципами живописи в литературе. Ни один поэт до Бунина не был таким колористом, ни один еще писатель не доходил до такого чисто живописного рельефа изображения в слове. Если в живописи рельеф вещь второстепенная, то в литературе он в высокой степени важен. Вот это замечательное стихотворение, в котором живописные элементы так тесно слились со словом, так углубляют слова, что приходится смотреть на него как на новое завоевание в литературе.

---

* *Вписано*: искусство *вместо зачеркнутого*: смех и юмор

** *Далее зачеркнуто*: и обнаружил еще один талант: он удивительно плясал... Для того, чтобы понять, в чем выразилось влияние этого кружка на Бунина, что привлекло его к нему, нужно сказать два слова о членах этого редкого содружества, вот уже 23 года живущего в согласии. Впрочем, по существу этот исключительный факт объясняется грубой причиной, тем, что Одесса, как глубоко провинциальный город, не интересуется живописью и, таким образом, в среде известных художников нет конкуренции, нет недоразумений, скрытого недовольства, интриг. Наконец, большинство этого содружества знает друг друга со школьной скамьи. Все это вместе взятое создало ту теплую среду истинной бескорыстной дружбы, которая не могла не привлечь к себе пришельца с севера, привыкшего к другим нравам... Нужно еще добавить, что среди тогдашних «четвергов» царил дух скептицизма, веселой шутки, незлобивой насмешки, дух правды. Произведения друзей обсуждались громко и никто не полагал, что во имя чего-то нужно скрывать то, что думаешь. Грубой лжи, лести, царящей в художественных кружках, Одесский кружок не знал тогда, не знает и теперь.

*** *В тексте описка*: живописи.— *И. Б.*

Мертвая зыбь

Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий блеск заката.
Холмилась и росла лиловая волна.
С холма на холм лилось оранжевое злато,
И глубь небес была прозрачно-зелена.

Дым из жерла трубы летел назад. В упругом
Кимвальном пенье рей дрожал холодный гул.
И солнца лик мертвел. Громада моря кругом
Объяла горизонт. Везувий потонул.

И до бортов вставал, и, упадая, мерно
Шумел разверстый вал. И гребень, закипев,
Сквозил и розовел, как пенное Фалерно,—
И малахит скользил в кроваво-черный зев[6].

Так изобразить картину заката солнца в море мог только человек, несомненно скрывающий в себе способность передавать впечатления кистью.

Как все поразительно ясно: и то как идет корабль наперерез волне, как подымается он по волне, как относит ветер тяжелый дым, видишь как он растворяется по оранжево-зеленому надзакатному небу.

И до бортов вставал, и, упадая, мерно
Шумел разверстый вал. И гребень, закипев,
Сквозил и розовел, как пенное Фалерно,—
И малахит скользил в кроваво-черный зев.

Кто любит стих, кто не чужд перу, должен изумиться и поэту и чуду поэзии, могущей в двенадцать строк вместить величественную картину. Краски горячих полдней, ночей, сумерек многочисленных широт щедрой и искусной рукой рассыпаны в сонетах Бунина, но хороши они и тогда, когда перо художника рисует северные картины, то мрачные, то спокойные и важные, то безнадежно печальные. Как человек, переживший большие потрясения, большие радости и большое горе,—лучше чувствует простую радость и страдание, так и Бунин, видевший великую красоту земли, начиная с русского севера и кончая Цейлоном, глубже понимает деликатную застенчивую красоту своей родины, и красоту серебристого солнца нашего умеренного юга.

То же, что пленяет в стихах Бунина последних годов, перешло в его прозу, может быть с меньшим блеском, но, во всяком случае, как и в стихах, в прозе Бунина есть тот же цвет, сжатость, четкость. В прозе Бунина, как и в его стихах, нужно отличать три периода. Первый период, когда он, по преимуществу, лирик, или рисует быт отживающего мелкопоместного дворянства — его образы того времени лишь тронуты легкой кистью. Второй — когда он весь ушел в путешествия по Востоку и полон красок, и третий, когда он возвращается снова к деревне, о которой с таким увлечением рассказывал во дни молодости своим друзьям.

В первом периоде своего творчества в прозе Бунин касается также быта, как и в последнем. Публицистическая критика его поощряет, но ей приятно, что уничтожается распадающееся дворянство, а не то, что молодой писатель растет, и та же критика становится все холоднее, недоумевает, когда Бунин, вместо «идейных рассказов» описывает свои путешествия с невероятной роскошью живописных подробностей. Его Палестинские картины разворачиваются как чудесные восточные ковры и, увы, становятся все недоступнее и непонятнее большой публике... Впечатление от этих путешествий было ново и странно, и было что-то почти материальное в изображении этих путевых картин, списанных точно с натуры. И в то же время в его сложных картинах каждая подробность обвеяна трогательной любовью ко Христу, а автор кажется смиренным пилигримом, со всевидящей душой художника.

Если бы Бунин остановился на своих восточных сонетах, стихах, прозе, в которых он изображает тонкую красоту севера, юга, то вечер в честь его мог бы быть в Одессе, да и в Петербурге, Москве — только лет через 50, 100, когда общество будет ближе к настоящему художеству. Но случилось так, что четыре года тому назад в Бунине дозрели те живые и всем доступные рассказы, которые так поразили и радовали его друзей лет 10—15 тому назад,— это рассказы о деревне.

Когда в 1909 году появилась его большая повесть «Деревня» [7]— она заинтересовала, кажется, всех: и врагов и друзей Бунина. Помимо понятности и любопытства быта послереволюционного периода деревни, появление этой вещи счастливо совпало с временем бесславного падения модернизма, со временем, когда общество поняло всю пустоту искусства, оторвавшегося от жизни, и отвернулось от него. Бунин с тех пор стал словно у неиссякаемой золотоносной жилы, и каждый его новый рассказ уже волнует, затрагивает живой общественный интерес. Что же такое эта «Деревня», что в ней ценного, открывшего для многих нового писателя Бунина?

Прежде всего то, что он, как настоящий художник, верным глазом измерил черты жизни, характеров, лиц, бесценные черты, никогда никем не использованные. Самая простая, обыкновенная деревенская история у него обращается в беспощадную повесть нравов: ни одного фальшивого звука, ни одного позаимствования, все свое, самоцветное. Случилось то, что должно было случиться: каждый писатель, художник, поглощая впечатления в одну половину жизни, в другую отдает их миру. Ни одно впечатление у истинного художника не умирает в нем — только, очевидно, для каждого произведения нужно свое время и приходится только порадоваться, что широкую картину деревни Бунин стал живописать в пору зрелости.

В «Деревне» Бунина идея возникает из изображения жизни такой, какая она есть на самом деле. Процесс его творчества совершается просто и ясно, и мудрость земли, ее красота — все вытекает из самой жизни. Сюжет простой, беспритязательный и не новый, и вот тут-то происходит чудо на наших глазах, чудо художника, сумевшего извлечь правду, долго таившуюся, правду души крестьянства — не богатыря, как, кажется, многие склонны думать, а дикаря, из которого неизвестно еще, что выйдет...

Мы знаем деревню и мужиков Решетникова, Григоровича, Тургенева, Г. Успенского, Толстого, Чехова,— у Бунина та же деревня рисуется совершенно под другим углом зрения, другими красками, другими чертами.

После «Деревни» Бунин продолжает давать очерки, рассказы, все о том же, дорисовывая недостающие типы, фигуры, создавая печальную картину деревни крестьянской, мещанской и помещичьей.

Критика и здесь осталась узко тенденциозной. Все, что есть в этих рассказах о деревне художественного, критика отодвигает на третий план и начинает нападать на Бунина за якобы презрение к мужику, самооплевывание, чуть ли не обвиняет в клевете на Россию. Оказывается, по одним отзывам, что Бунин и деревни-то не знает, а если видел, то когда-то, из окна поезда.., что «Бунин любит ездить в Индию и носит лаковые сапоги» [8] и т. д. и т. д. И это пишут не молодые люди, не зубоскалы, а почтенные критики о человеке, который провел детство и юность в тесном общении с крестьянством и до сих пор большую часть года проживает в деревне.

Несмотря на недоброжелательное отношение некоторой части критики к «Деревне» Бунина, в общем отношение к нему изменилось к лучшему, и можно сказать, что только с этой повести началось постепенное признание Бунина. Теперь уже ясно чувствуется, что Бунин создал в литературе свой особый мир, только ему принадлежащий. Он обогатил метод наблюдения принципами, взятыми от живописи, создал своеобразный пейзаж, обогатил язык новыми словами, новым складом речи.

Я только что упоминал, что Бунина до последнего времени мало ценили и понимали. Но все же, даже теперь, несмотря на блистательный юбилей, который в октябре прошлого года справила поэту Москва, на избрание его почетным академиком, задолго до юбилея, несмотря на то, что во всей России не было ни одной более или менее значительной газеты, которая бы по случаю юбилея не дала сочувственного фельетона,

все же Бунина по-настоящему не признали. Это объясняется просто. Его дарование крайне самобытно. Для того, чтобы привыкнуть к оригинальному художнику, необычной манере его выражения себя, нужно время, и чем своеобразнее художник, тем нужен больший промежуток для инкубационного периода. Нужно переболеть странностями поэта, его эмоциями и только тогда сущность творчества художника дается во всей полноте.

Мне приятно сегодня здесь отметить, что Бунин близок Одессе. Я глубоко уверен, что без Одессы он был бы писателем другого оттенка, характера.

Шутливое, но сердечное приветствие, которое послал Одесский «Четверг» своему славному товарищу-юбиляру оканчивается так: «Бунин наш. Да здравствует Бунин».— Эти слова не были пустой фразой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана» — из поэмы Альфреда де Мюссе «Чаша и уста». Ср. воспоминания Бунина об отзывах критики на его ранние произведения (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 264—265).

[2] Стихотворение, написанное в 1896 г. (там же, т. 1, стр. 101).

[3] Стихотворение, написанное в 1900 г. (там же, т. 1, стр. 130).

[4] См. там же, т. 3, стр. 265—275.

[5] См. выше, стр. 424—426.

[6] Стихотворение, написанное в 1909 г. (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 322).

[7] Ошибка: повесть «Деревня» впервые была напечатана в 1910 г. («Современный мир», № 3, 10, 11).

[8] Ср. воспоминания Бунина об откликах критики на «Деревню» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 265). Подробно см. ст. Л. В. Крутиковой «„Деревня“ И. А. Бунина» («Ученые записки Ленинградского университета», 1960, № 295, вып. 58), и «Материалы», стр. 151—152.

# ОЧЕРК Н. Я. РОЩИНА О ВИЛЛЕ «БЕЛЬВЕДЕР»

Сообщение А. И. Понятовского

Среди людей, близко знавших Бунина во Франции, был писатель Николай Яковлевич Рощин (Федоров; 1896—1956). Познакомились они в 1926 г., и в последующие годы Рощин подолгу жил у Буниных в Грассе, где стал своим человеком. «Семь раз приезжал, живал и по полгоду»,— писала о нем В. Н. Бунина 12 сентября 1934 г. (письмо Д. Н. Муромцеву; ГМТ, № 3216). Бунин дружески относился к Рощину, беспокоился о его неустроенной жизни, нередко оказывал ему материальную помощь, постоянно с ним переписывался.

В 1941—1945 гг. Рощин активно участвовал во французском Сопротивлении. В 1946 г. он возвратился на Родину и последние годы жил в Москве. Его повесть «Будни черного континента» опубликована в альманахе «Мир приключений» (М., 1957, № 3).

Переписка Рощина с Буниным продолжалась и после его возвращения. Значительная часть писем Бунина к нему опубликована (см. об этих письмах настоящ. кн., стр. 458, 472, 510).

Публикуемый очерк представляет значительный интерес как свидетельство не только очевидца, но и непосредственного участника жизни Буниных в Грассе. Перед тем как напечатать его, Рощин читал очерк Бунину и всем обитателям виллы «Бельведер» (см. настоящ. кн., стр. 260).

Очерк был опубликован в рижской газете «Сегодня» (1929, 1 января) под названием «Литературный уголок (вилла „Бельведер“)». Печатается в сокращении по вырезке из этой газеты (ГМТ).

Вилла «Бельведер» вполне оправдывает свое название. С ее площадки, поднявшейся над хаотическим нагромождением древнего камня,— над старым провансальским городом Грассом — открывается чудесный вид на дымно-синие мягкие валы Эстерельского хребта, падающего в море, на самое море, то застывшее, стеклянное, то колющее под солнцем глаза блеском серебряной чешуи, то серебряно-бесцветное, то ярко-синее, сапфировое, то далекое и ласковое, то под острым мистралем грозное, высоко поднявшееся, открывшее беспредельные свои просторы; на зеленую долину и холмы, увенчанные древними провансальскими городками-крепостцами. Удивительный и прекрасный вид — ожившая старинная гравюра.

Если подняться немного выше, на площадку принцессы Полины — любимое место прогулок красавицы сестры Наполеона — и на горную дорогу над нею, в пышной и блистательной красоте откроется почти все побережье Средиземного моря, причудливо очерченные мысы его, заливы, города — Антиб, Канны, залив Ангелов и Ницца, амфитеатром лежащая по ровной его дуге, далекая монакская скала и дымные полосы гор, уходящих в Италию.

... В литературных парижских кругах «Бельведер», смеясь, называют «монастырем муз». И правда, есть что-то аскетически-отрешенное, монастырское в простом и скромном укладе жизни на «Бельведере» [1].

День начинается по-деревенски рано. Солнце стоит над морем, утренний легкий ветер доносит росистую свежесть и ранний острый аромат розовых и жасминовых полей. Прохлада. Сквозь перистые листья пальм вдали играет розовое море. Прекрасное южное утро, но — утренний час дорог, утренняя работа самая ценная, в живительной свежести раннего часа есть та слегка азартная бодрость, которой не даст день. Мысль ясна, чувства спокойны. В утреннем часе есть некая непорочность, белизна, девствен-

БУНИН

Фотография, 1926. С дарственной надписью: Н. Я. Рощину: «Дорогой Николай Яковлевич, не поминайте лихом наш Belvédère. Ив. Бунин. 16.X.26.»

Музей И. С. Тургенева, Орел

ность. Утренний час — главный час работы. И обитатели «Бельведера» расходятся «по кельям» — а на гостеприимном «Бельведере» всегда живет кто-нибудь из друзей-литераторов.

... Литературной работой занята и жена И. А.— В. Н., урожденная Муромцева (племянница председателя первой Государственной думы). Многие историки современной литературы дорого дали бы за обширные ее дневники. Сколько воспоминаний, сколько литературных встреч, и не случайных: вернее и не встреч даже, а литературных дружб— ведь почти вся жизнь ее прошла в кругах литературных, и нет, кажется, ни одного более или менее крупного литературного имени на горизонте нынешнего столетия, о ком не могла бы она рассказать много — иногда очень много — интересного, живого, своеобразного. Сейчас она подготавливает к печати ряд литературных очерков-воспоминаний.

По-деревенски же ранний обед — ровно в полдень. К обеденному часу карабкается снизу почтальон — вполне замечательная личность, в присутствии которой жалеешь о Диккенсе. За послеобеденным кофе, или, как говорят на «Бельведере», кофием,

многие письма читаются вслух. Обсуждаются парижские литературные и общественные новости — брызги пестрой столичной жизни, перелетев альпийские отроги, падают сюда с веселым плеском. Смех, разговоры, воспоминания, шутки — на «Бельведере» нет места интеллигентскому, почти всегда беспредметному унынию, печали.

После обеда короткий отдых и — опять работа с небольшим и необязательным перерывом на чай. Чай накрывается в саду, под огромной пальмой, в густой, стрельчатой по краям, тени. Странен, необычен этот чай, белый блеск скатерти, звон ложечек и стаканов, вазочки с домашним вареньем, русские звонкие голоса — под пальмой, над ярким морем — словно под яблонькой в старом барском саду. А на куртинах — пышные южные цветы, с живой изгороди свешиваются цветущие круглый год розы, вытянулись и замерли в зное густые шапки апельсиновых деревьев, над домом склонились тяжелые огромные листья смоковницы, и на выступах стен дремлют причудливые многообразные кактусы. А в синем жгучем небе трепещут серебряные листья оливок, и сквозь зелень на песчаные дорожки, на светло-желтую стену дома бьет слепящее неистощимое солнце, одиннадцать месяцев в году не покидающее небосклона.

Ужин. Тоже ранний — летом еще высоко стоит солнце. Ужин — конец трудового дня. Можно подольше посидеть за столом, поговорить, выпить лишний стакан местного отличного вина.

После ужина—большая прогулка, чаще всего наверх, в горы, зимой после прогулки — посиделки в просторном кабинете хозяина [2].

Вокруг имени И. А. Бунина крепкой стеной стоит нелепая легенда о «холодном академике», «оскорбленном помещике», «надменном олимпийце». Тот, кто перешагнул эту стену, тот знает редкое обаяние этого удивительного, нежного и доброго, деликатного и неистощимо жизнерадостного человека. И тому понятно станет, каким весельем, смехом, игрою острого ума и блеском беспощадно искреннего таланта полны эти зимние вечера [3].

...Многие знают, какой он удивительный чтец, известно, что Станиславский звал Бунина в свой театр на ответственные роли, но только те, кто с ним близок, знают об этой стороне его с исключительной щедростью одаренной натуры. Право порой делается жутко, когда видишь не удивительные проявления подражательного искусства, а подлинную, совершающуюся на твоих глазах тайну перевоплощения. Бунин легко заставляет и плакать и смеяться — до колик, до испуга. Недаром покойный Л. А.[4] говорил, что когда он бывает с И. А., у него «ломит щеки» от смеха; нежно и крепко любил Бунина Чехов — один из самых умных и тонких людей нашего времени. Неуловимое изменение в чертах сухого красивого лица (лица «римлянина-патриция», по определению художников). Жест непередаваемый, но точный, незаметный излом походки, голоса — и перед вами сторож у шалаша караулки, сельский дьячок, армейский офицер, мещанин-прасол, пастух, декадентская поэтесса, мужик, гробовщик. Странно, непостижимо... вам кажется, что вы оставили Россию не десять лет назад, а что всего вчера видели вы эту толстую и неподвижную, как истукан, всю ватную торговку, нищего слепца с чашкой, цыгана, заезжего провинциального кумира — тенора, кабатчика. Вы теряетесь. Может быть, вы, житель столицы, не встречали никого из этих персонажей отечественного быта, но вы так подавлены убедительностью и естественностью открытых вам образов, их основных и неповторимых признаков, их сути, соли, что вы ясно видите,— их не только не может не быть, но они уже давно в вас самом, и так сильны, что и вас неодолимо побуждают уподобиться им...

Деревенскими же прибаутками, поговорками, присказками И. А. мог бы занять внимание слушателя на двое суток, нет слова в русском языке, на которое он не ответил бы острым, метким народным словечком.

Впрочем, не всегда только смех на «посиделках». Часто И. А. читает вслух из новой французской литературы, какой-нибудь «chef-d'oeuvre», особенно превознесенный досужей критикой, но, впрочем, от всех нынешних знаменитостей И. А. отдыхает на любимых им старых французских писателях.

...Распорядок жизни «Бельведера» соблюдается не с железной строгостью. Часто работа оставляется для прогулок. «Прогулка» здесь — специальный, немного туристский термин, и они удивительные. Ближайшая — к морю, на купанье. До моря всего

полчаса езды в удобном покойном автокаре. Часто ездят в горы, в тихие провансальские городки, полные печали и умирания,— в Турет, Сен-Сезер, Сен-Валье, к «Орлиному гнезду»— вскинутому на самую вершину голой скалы городку Гурдон, или совсем высоко, где зимой лежит снег,— в Торан, Сент-Обан.

Ежедневно со всех концов русского рассеяния приходят на «Бельведер» кипы писем от известных и неизвестных читателей и почитателей И. А. и первых причастников искусства — робкие письма начинающих писателей и поэтов. Являются иногда и лично — спросить совета и просто в лицо увидеть знаменитого писателя.

Но не только русские — и французы знают «Бельведер» и к И. А. Бунину относятся с вниманием и почетом, как и подобает относиться к одному из главных представителей современной литературы, хотя бы он был и в горестном облике русского изгнанника.

Париж. Декабрь 1928.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В очерке «У Бунина» Рощин писал, что Бунин «исключительно скромен в работе. Никакого культа, никакого хождения на цыпочках. Кабинет внизу, в первом этаже. Широкий круглый стол, очень свободный, старенькое кресло и склоненная над столом фигура человека во фланелевой куртке или старом шелковом, чуть что не от дедов, халате» («Возрождение», 1933, 15 ноября).

[2] Об этих вечерах Рощин рассказывает в очерке «У Бунина»: «Все население дома — у хозяина. Свет, горит печка (нет в доме центрального отопления), сидят кто на диване, кто просто на кровати. Читает вслух по-русски или по-французски сам Бунин, чаще всего — Мопассана, любимца. Чтец он удивительный. Так, вместе, вечерами „прошли“ Толстого, Гоголя» (там же).

[3] «Бунин необыкновенно многолик,— вспоминает в том же очерке Рощин.— Иногда на каком-нибудь официальном собрании, на торжественном банкете глядишь на это очень породистое, несколько усталое лицо («лицо римлянина-патриция», по выражению одного иностранного писателя), слушая медленную изящную речь, думаешь,— что за необыкновенное превращение! Да ведь еще вчера вечером этот надменный римлянин изображал цыгана на ярмарке, пел деревенские частушки, танцевал камаринского, передразнивал грустно-милого местного дурачка-музыканта Жозефа и представлял какого-нибудь из знакомых с таким необыкновенным искусством, с такой меткостью, что все валились с ног от смеха.

Помню как-то летним вечером я слонялся по саду. В доме никого не было, ушли на прогулку. Вечер был тих, почему-то вспомнилась юность, гимназия, военное училище и гимнастический зал,— а я был когда-то недурным прыгуном. И вот, очертив на песке расстояние, попробовал я проверить себя, вдруг чувствую на себе чьи-то сердитые глаза.

— Ишь, распрыгался!

Я поднял голову. В окне — хозяин.

— А вы попробуйте-ка так.

— А что же, не прыгну?

— Попробуйте!

Нас разогнала уже в темноте, через час, вернувшаяся с прогулки Вера Николаевна, жена. Последний прыжок мы взяли почти одинаково. Совершенно уверен, что мой суровый взводный поставил бы академику отличную отметку за гимнастику» (там же).

[4] Возможно, что речь здесь идет о Леониде Андрееве.

# В ПАРИЖСКОЙ КВАРТИРЕ БУНИНЫХ

Сообщение Т. П. Головановой и Л. Н. Назаровой

В октябре—ноябре 1960 г. Париж переживал тревожные дни. Волновались алжирцы, требовавшие независимости,— на улицах города то там, то здесь возникали стычки с полицейскими, кто-то в кого-то стрелял, все смешалось — манифестации правых, манифестации левых... Шла неделя Алжира. Волновались рабочие, студенты. Сорбонна была оцеплена плотным кольцом ажанов. Попасть в Латинский квартал, в район Сен-Дени, на площадь Сталинграда было почти невозможно.

В эти тревожные дни мы и посетили Париж в составе небольшой группы сотрудников Академии наук СССР. В посольстве нас предупредили о необходимости соблюдать осторожность, не появляться в районе беспорядков. Общение с парижанами таким образом было ограничено. Тем сильнее и ярче запомнились те встречи, которые все-таки произошли.

Тихий квартал города, скромная квартира на пятом этаже дома № 1 по улице Жака Оффенбаха. Нас встречает вдова писателя Вера Николаевна Бунина, его спутница с 1907 г., автор книги «Жизнь Бунина», обладательница богатейшего бунинского архива...

Это то, что мы о ней знали, отправляясь из Советского Союза, что влекло в ее дом, вызывало живейший интерес к ней самой. Знали мы и то, что Вера Николаевна переписывается с советскими литературоведами, которым сообщает интересные малоизвестные факты литературной жизни начала века, что она передала в литературные архивы СССР ценные автографы произведений Бунина, его письма, редкие издания сочинений.

Некоторое предварительное представление о Вере Николаевне дали нам также, возбудив несомненную симпатию к ней, хранящиеся в наших музеях фотографии, где запечатлена Верочка Муромцева. Взглянешь — и кажется, что за этим изображением, как бы комментируя его, зазвучат слова Б. К. Зайцева, давнего знакомца Веры Николаевны: это была «очень красивая девушка с огромными светло прозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, ⟨...⟩ неторопливая и основательная» [1].

Мы везли эти фотографии с собой в Париж, в подарок Вере Николаевне. Легко сказать, в подарок. Для этого нужно было встретиться. А обстоятельства встречи нас беспокоили. В посольстве нам сказали: «Хотите видеть Веру Николаевну? Попробуйте. Но предупреждаем: у нее были неприятности из-за общения с соотечественниками: анонимные угрозы, травля по телефону... Захочет ли она снова подвергать себя опасности?»

Вера Николаевна захотела нас видеть. И вот — она нас встречает в дверях своей квартиры, высокая и статная, несмотря на преклонный возраст, женщина с седыми, коротко подстриженными волосами. Встреча была не только приветливой,— она была радостной и сердечной.

Мы прошли в столовую, уселись за небольшой круглый стол. Первое, что бросилось в глаза,— на столе большая коробка конфет с хорошо знакомым рисунком «Руслан и Людмила». На наш немой вопрос Вера Николаевна ответила, что это — подарок Валентина Катаева. «Он с женой был у нас на днях,— добавила она.— Это ведь давнее знакомство, еще с десятых годов нашего века...»

Теперь, когда мы знаем, что написал Катаев о Буниных в воспоминаниях, названных им «Трава забвенья», не трудно представить себе, что встреча Веры Николаевны

с автором этих воспоминаний была волнующе сложной, богатой оттенками различных чувств. И все-таки, если судить по потеплевшему взгляду Веры Николаевны, когда она упомянула о посещении Катаева, в основной своей тональности встреча с ним была приязненной, согретой благодарностью за Ивана Алексеевича, о котором автор воспоминаний мог сказать: «я продолжал его страстно любить. Не хочу прибавлять: как художника. Я любил его полностью, и как человека, как личность тоже» [2].

Уже в первом разговоре проявились душевная щедрость и обаяние Веры Николаевны. Во всем ее облике, в манере держаться и разговаривать явственно сказывались какие-то очень русские свойства ума и характера. Да, именно русские, несмотря на долгие годы, проведенные вдали от родины... Русское гостеприимство проявилось и в стремлении приветить нас, усадить поудобнее, душевно поговорить и, конечно, угостить чайком, хоть, видно, это было и непростое дело — угостить: так наглядно проступала нужда во всем, чего касался глаз. Вера Николаевна и не скрывала этого: пенсии, на которую они жили вместе с Л. Ф. Зуровым, не хватало, проблемой были даже почтовые марки для переписки с друзьями.

Вскоре за чашкой чая завязалась непринужденная, чуть сумбурная, но захватывающе интересная беседа — одна из тех бесед, которые на всю жизнь остаются в памяти. При всей пестроте тем — что в Ленинграде? что в Ясной Поляне? что в Париже? — было? как теперь? — лейтмотивом одно настроение: невозвратимость утраты родины.

По рассказам Веры Николаевны, особенно остро ощутилась боль разлуки с родиной во время войны. Тогда и обострились отношения в эмигрантских кругах: в порабощенной Франции нашлись «соотечественники», которые приветствовали Гитлера. Бунины перестали подавать им руку.

В. Антонов в воспоминаниях «И. А. Бунин во Франции в годы войны» писал: «Пользуясь очень тяжелым материальным положением Буниных, прогерманские газеты наперебой предлагали ему сотрудничество, суля „золотые горы". Но все их попытки оказались тщетными. Русский писатель не уронил и не запятнал себя. Бунин доходил до обмороков от голода, но не сдавался и не шел ни на какие компромиссы» [3].

Вера Николаевна находит старые фотографии. Увлеченные ее воспоминаниями, мы начинаем листать увесистый альбом фотографий, запечатлевших почти всю жизнь Ивана Алексеевича и Веры Николаевны. Альбом отражает удивительную дружбу этих двух людей, начавшуюся в ноябре 1906 г. в доме Б. К. и В. А. Зайцевых и пронесенную через многие годы, через мытарства и невзгоды, иногда через нищету; дружбу, связывавшую их и в быту, и в работе, и в славе, в надеждах и отчаянии — до смерти. Как хорошо говорит об этом сам Бунин в рассказе «Роза Иерихона», вспоминая о своем путешествии с Верой Николаевной на Восток: «... утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие...» [4]

Вот они предстают перед нами на фотографиях, совсем молодые, то дома, на лоне родной природы, то в поездках среди товарищей и писателей; какие у них еще безмятежные, не знающие горя лица... А вот и Одесса, незадолго до расставания с родными берегами. Иван Алексеевич, как всегда, строг, подтянут, непроницаем. Веру Николаевну удачно описал Катаев, в ее одесский период, — «молодую, красивую женщину — не даму, а именно женщину, — высокую, с лицом камеи, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, вернее голубоокую, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из ⟨...⟩ интеллигентной профессорской среды...» [5].

Под одной из фотографий — уже на корабле — подпись: «Бегство от большевиков».— «Посмотрите, какое тут скорбное лицо у Бунина,— сказала нам Вера Николаевна,— и как он сразу постарел, какие трагические морщины залегли на всю жизнь на этом лице!»

На многих фотографиях — виды Грасса, виллы «Бельведер», Б. К. Зайцев, бывший здесь у Буниных и запечатленный на некоторых фотографиях, пишет о ней: «Вилла была двухэтажная. Внизу столовая и довольно большой кабинет Ивана Алек-

сеевича. Там сидел он за столом, заваленным писаниями его. Наверху, над ним, большая комната Веры, где она тоже усердно записывала что-то (конечно, об Иване, как некий Эккерман)» [6].

В Грассе Бунин напряженно работал. Вот фотография, изображающая его за письменным столом. 15 июля 1927 г., сообщая В. А. Зайцевой о том, что Иван Алексеевич «занят большой вещью» и «работает до полного изнеможения», В. Н. Бунина добавляла: «Я всегда настороже, чтобы переписывать ему». И через два дня снова писала ей, что Бунин «ничего не видит, ничего не слышит, целый день, не отрываясь, пишет ⟨...⟩, иногда мне одной читает написанное — это у него „большая честь“» [7].

Нет возможности коснуться всего, о чем могли бы поведать страницы вместительного альбома Буниных,— они листались перед нами поспешно, в темпе порывистой речи и летящих по неуловимой для нас логике воспоминаний Веры Николаевны. Альбом был бы чрезвычайно интересен для тех, кто задался целью проследить шаг за шагом жизнь Бунина в его семейном и литературном окружении,— да и подписи, которыми сопровождаются фотографии,— то лирические, то шутливые, то ядовитые, сделанные рукой самого Бунина, представляют самостоятельный интерес — дневниковый и литературный.

Одну из фотографий писателя Вера Николаевна передала в дар Литературному музею Пушкинского Дома. На ней, помимо дарственной надписи («В музей Пушкинского дома. В. Бунина»), имеется также автограф: «Ялта, дача Чехова в Аутке. Его кабинет. Я с ним. Ив. Бунин. 1902 г.» [8]

На другой фотографии, запечатлевшей писателя в молодые годы, Вера Николаевна на обороте сделала такую надпись: «Посылаю фотографию Ивана Алексеевича, снятую в орловский период его жизни, в музей города Орла. Париж, 31 октября 1960 г В. Бунина». Эта фотография также с автографом писателя: «Ив. Бунин».

Обратили мы внимание и еще на одну фотографию, стоявшую на письменном столе,— на ней мы узнали черты хорошо нам знакомого чудесного человека — писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, сфотографированного вместе с К. А. Фединым. Вера Николаевна с большой теплотой отозвалась об Иване Сергеевиче [9].

Вера Николаевна показала нам бережно сохранявшийся ею уголок Бунина в одной из двух комнат их квартиры: постель, на которой умер писатель, полку с его любимыми книгами, портрет Льва Толстого (карандашный рисунок — дар его сына Л. Л. Толстого), портрет Рахманинова, табакерку с листками папиросной бумаги, на которых Бунин записывал свои мысли, делал литературные наброски в последние дни жизни.

Бунин скончался в Париже 8 ноября 1953 г. в возрасте 83 лет, на руках Веры Николаевны. И опять перед нами фотография — каменный крест на кладбище...

Мы провели в квартире Бунина несколько часов. Время летело незаметно, темы для разговоров казались неисчерпаемыми.

Естественным завершением вечера воспоминаний о Бунине был наш вопрос: «Вера Николаевна, не собираетесь ли вы возвратиться домой, на родину?» — и ее ответ: «А как же я здесь его одного оставлю?»

Мы уходили от В. Н. Буниной, глубоко взволнованные встречей с этим обаятельным и скромным человеком, никак не ожидая, что были, вероятно, ее последними посетителями с далекой, но столь дорогой для нее родины...

Она стала часто болеть, слабела не по дням, а по часам. Мы переписывались, старались помочь, чем могли — словом участия, посылками интересующих ее статей и книг. Однажды послали с кем-то из отъезжающих буханку ржаного хлеба. Нам рассказывали потом, что этот хлеб русские друзья Веры Николаевны в Париже разрезали на кусочки, принимали его «как причастие». Мы хлопотали и об увеличении пенсии Вере Николаевне, обратились с письмом о положении вдовы Бунина в Союз писателей и, к большой нашей радости, получили оттуда ответ — письмо от 4 марта 1961 г., подписанное секретарем Правления Союза писателей СССР К. В. Воронковым.

ПАРИЖСКАЯ КВАРТИРА БУНИНА
Уголок столовой; в глубине комната Бунина
Фотография, 1961
Парижский архив Бунина

ПАРИЖСКАЯ КВАРТИРА БУНИНА
Комната Бунина. Здесь он умер.
Фотография, 1961
Парижский архив Бунина

В письме сообщалось: «Союз писателей подробно извещен о жизни Веры Николаевны. Представители Союза писателей за последние годы неоднократно навещали ее. По нашей просьбе Правительство Советского Союза установило В. Н. Муромцевой-Буниной пенсию, а в феврале текущего года эта пенсия была увеличена почти вдвое».

Мы поспешили поделиться этим радостным известием с Верой Николаевной. Л. Ф. Зуров позднее писал нам: «Я прочел Вере Николаевне письмо Людмилы Николаевны ⟨Назаровой⟩, обрадовал ее, она улыбнулась».

Известия, приходившие из Парижа о здоровье Веры Николаевны, были все более и более тревожны...

Вера Николаевна Бунина скончалась 3 апреля 1961 г.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Борис Зайцев. Повесть о Вере (1967).
[2] «Новый мир», 1967, № 3, стр. 52.
[3] «Иностранная литература», 1956, № 9, стр. 251.
[4] Бунин. Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 7—8.
[5] «Новый мир», 1967, № 3, стр. 23.
[6] Борис Зайцев. Давнее (1964).
[7] Борис Зайцев. Повесть о Вере.
[8] Аналогичная фотография воспроизведена в «Лит. наследстве», т. 68, стр. 642—643.
[9] Три письма В. Н. Буниной к И. С. Соколову-Микитову опубликованы в его статье «Бунин» (раздел «Давние встречи»).— И. Соколов-Микитов. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М.— Л., 1966, стр. 468—472.

# О НЕКОТОРЫХ АВТОГРАФАХ И. А. БУНИНА

Сообщение В. Г. Лидина

В пору, когда встречался с Иваном Алексеевичем Буниным, я ни за что не решился бы попросить у него автограф; да и не очень-то понимал я в то время, что значит рукописная строка писателя. Но странным образом — во множестве пришли ко мне впоследствии автографы Бунина, хотя я никогда не выискивал их, пришли в виде его надписей на книгах, пришли и в виде некоторых его рукописей.

С Буниным для меня связано многое в отношении собственного становления в литературе: его скупое слово, строение фразы, умение найти точный образ в столь сильной степени влияли на меня в начале моей литературной работы, что некоторые первые рассказы были попросту подражательными. Напечатав один мой рассказ в журнале «Современник», М. Горький наставительно и по полной справедливости написал мне: «Советую у всех учиться и никому не подражать» — и далее указал на влияние Бунина.

Впоследствии, однако, я радовался этой бунинской начальной школе, научившей меня многому.

Одна из первых книг Бунина «Листопад» была выпущена издательством «Скорпион», издававшем книги символистов. Печаталась она в известной, очень хорошей типографии А. И. Мамонтова. Как-то на одном из книжных развалов нашел я эту книгу со вложенной в нее запиской Бунина, адресованной типографии, с просьбой выдать ему два экземпляра «Листопада». Кто знает, может быть, купленная мной книга и была одной из тех, которые по требованию Бунина выдала ему типография Мамонтова.

Позднее к ней присоединился тоже случайно купленный мной в букинистическом магазине перевод «Манфреда» Байрона (СПб., 1904) с надписью Бунина: «Михаилу Васильевичу Аверьянову от всей души». Этот экземпляр имеет свою последующую историю. В 1969 г. во время пребывания в Англии мне привелось побывать в Ньюстэдском аббатстве близ Ноттингема — поместье, некогда принадлежавшем Байрону. Ныне здесь расположен музей Байрона — его рукописи, книги, предметы личного обихода. Переходя от витрины к витрине, в которых выставлены были книги Байрона на всех языках, я не обнаружил ни одного русского перевода и решил, по возвращении в Москву, восполнить этот пробел. Ныне снимки со всех имеющихся у меня первых переводов Байрона на русский язык, в том числе и с титульного листа бунинского перевода, находятся в Ньюстэдском музее. Кстати, о Ньюстэде Байрон писал Августе Ли: «Я живу здесь один, и это больше по вкусу мне, чем целое общество». Сколько раз почти вменно так писал Бунин в письмах, и в стихах и в прозе из деревенского одиночества: «Тут, в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной».

В хранящемся у меня экземпляре изданного в 1902 г. сборника Бунина «Новые стихотворения», любовно переплетенном бывшим владельцем, вклеен автограф известного стихотворения «В Альпах» с поправкой автора; поправка эта в последующие издания не вошла.

Первый том своих рассказов, вышедший в издательстве «Знание» в 1902 г., Бунин подарил Евгению Дмитриевичу Синицкому, который в декабре того же года помогал ему в составлении перечня индейских слов и географических названий для нового издания «Песни о Гайавате» [1].

ПАРОХОД, НА КОТОРОМ В 1911 г. БУНИН СОВЕРШИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ

Открытка, адресованная Н. А. Пушешникову 11 марта 1911 г.

Собрание В. Г. Лидина, Москва

Об экземпляре «Собрания литературных статей» Н. И. Пирогова, выпущенных в 1858 году, мне уже привелось писать в моей книге «Друзья мои — книги». Кто и когда вплел в книгу Пирогова автограф Бунина — стихотворение «Н. И. Пирогову», тоже так и не удалось выяснить. Ни в одну из книг Бунина оно не вошло [2].

Как-то от близких родственников Бунина, живущих в Москве, я получил дорогой подарок — тетрадочку с его ранними стихами и рукописи двух рассказов: «Илья Пророк» и «Сны Чанга», одного из самых замечательных произведений Бунина. Несколько стихотворений из тетрадочки напечатал в № 1 за 1958 год журнал «Юность» [3]. Рукопись «Снов Чанга» примечательна тем, что можно проследить по ней, сколько раз переделывал Бунин начало рассказа, названного сперва «Любовь»,— чуть ли не семь раз переписывал все заново, пока не нашел того полнозвучия, которое пленяет нас ныне. Остается добавить, что рукопись эту я показывал не раз студентам Литературного института имени Горького как образец работы писателя, слово за словом искавшего наибольшего совершенства [4].

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. настоящ. кн., стр. 490.
[2] См. настоящ. том, кн. 1, стр. 278, № 83.
[3] См. там же, стр. 247—250, № 28—32.
[4] О работе Бунина над этими рукописями см. в статье Л. В. Крутиковой «В мире художественных исканий Бунина» (настоящ. кн., стр. 105—111).

# БУНИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В АРХИВАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Сводный обзор Л. Н. Афонина, Н. А. Балтийской, Ю. П. Благоволиной, М. Г. Ватолиной, О. Д. Голубевой, Н. И. Дикушиной, Ю. Н. Иванова, Ю. А. Красовского, Л. К. Кувановой, Е. С. Кулябко, Л. Н. Федоренко, А. П. Холиной

Предисловие Т. Г. Динесман

На протяжении всей своей творческой жизни Бунин очень бережно относился к своему архиву. Он тщательно сохранял не только многие из творческих рукописей, но и дневниковые записи, документы, письма своих корреспондентов — личные и деловые, отзывы критики, фотографии — словом, все, что отражало его многогранную писательскую жизнь. Значение этого складывавшегося на протяжении шести десятилетий архива, объем которого измеряется тысячами листов, неоценимо как для исследователей творчества Бунина и его биографов, так и для изучения русской литературы начала XX в. в целом.

Однако история бунинского архива запутанна и сложна, а сам он раздроблен на отдельные составные части и до сих пор полностью неизвестен исследователям.

Как и судьба самого Бунина, его архив резко делится на две не связанные между собою части.

В 1918 г., уезжая из Москвы в Одессу, Бунин отдал почти все свои бумаги, ранее хранившиеся в сейфах банка Лионского кредита, своему брату Юлию Алексеевичу. С собой было взято лишь немногое, то, что казалось особенно дорогим и необходимым (так, например, оказались за рубежом, юношеские дневниковые записи Бунина). Таким образом, почти весь дореволюционный архив Бунина за небольшими исключениями (какими именно — нам до конца неясно) остался в Советском Союзе.

После смерти Ю. А. Бунина в 1921 г. архив писателя перешел к Н. А. Пушешникову, в семье которого и хранился до середины 1950-х годов. В 1948 г. его вдова, К. П. Пушешникова, передала часть рукописей в ЦГАЛИ. Это положило начало передаче архива в государственные хранилища. В течение 1948—1966 гг. ее собрание почти полностью перешло в ЦГАЛИ и в ГМТ — ныне здесь сосредоточена основная часть дореволюционного архива Бунина. Однако передача его по частям, при отсутствии какой-либо систематизации, привела к раздробленности не только архива в целом, но и отдельных его частей: творческие рукописи одних и тех же произведений находятся теперь в разных хранилищах, так же, как и письма одного корреспондента можно найти в обоих указанных архивах. Отдельные рукописи Н. А. и К. П. Пушешниковы передавали в частные руки — они находятся в собраниях В. Г. Лидина, П. В. Вячеславова и др.; некоторые рукописи утеряны.

Бунинские материалы, нередко в очень значительном количестве, отложились также в личных архивах многочисленных корреспондентов писателя и его друзей, иногда приобретая значение самостоятельных коллекций. Таковы бунинские материалы в Архиве Горького, где сохранились письма Бунина, его книги с дарственными надписями и другие материалы, отражающие отношения обоих писателей, а также его переписка с издательством «Знание». Самостоятельную ценность имело и бунинское собрание в личном архиве Н. Д. Телешова, складывавшееся в течение 50 лет. Однако и это очень ценное собрание, отражающее историю многолетней дружбы обоих писателей, деятельность «Среды» и «Книгоиздательства писателей в Москве», оказалось разрозненным: в 1920-е — 1940-е годы Телешов по частям передавал бунинские материалы в ГЛМ, ГБЛ и в ИМЛИ, оставив у себя лишь небольшое их число, которое пополнилось очень ценными документами в 1941—1947 гг., когда возобновилась переписка его с Буниным (ныне находятся в МКТ).

Письма и другие автографы Бунина, сохранившиеся в личных архивах его многочисленных корреспондентов, исчисляются многими сотнями. Значительная часть их

поступила в разные государственные хранилища, где находятся, как правило, в составе личных фондов бунинских адресатов. Так, в ЦГАЛИ, помимо собственно бунинского фонда, письма его хранятся также в 75 фондах других лиц; имеются бунинские материалы (творческие рукописи и письма) в ГБЛ, ГПБ, ИРЛИ, ГЛМ, ААН. Такова вкратце судьба дореволюционного бунинского архива.

Приехав в Париж, Бунин начал создавать свой архив заново. После его смерти В. Н. Бунина при посредстве Л. В. Никулина, посещавшего ее в Париже, начала передавать материалы этого архива в Советский Союз. Начиная с 1956 г. вплоть до своей смерти (1961) Вера Николаевна систематически, по несколько раз в год, небольшими партиями передавала рукописи Бунина в СССР. Как правило, это были автографы произведений, уже опубликованных. Поступления эти, шедшие по дипломатическим каналам, распределялись по разным государственным хранилищам. Большая часть их была передана в ЦГАЛИ, очень значительное количество — в ИМЛИ, некоторые материалы (главным образом изобразительные) — в ГЛМ.

После смерти В. Н. Буниной эти поступления прекратились. Парижский архив писателя был унаследован Л. Ф. Зуровым; точный состав его неизвестен. Сведения о некоторых материалах Парижского архива Бунина (а иногда и выписки из них) сообщались Зуровым советским исследователям, с которыми он переписывался. Часть изобразительных материалов, хранящихся в Париже, Л. Ф. Зуров предоставил «Литературному наследству» для воспроизведения в настоящем томе. В 1971 г., после смерти Зурова, по его завещанию архив Бунина перешел в другие руки.

Настоящий обзор не является исчерпывающим описанием бунинских фондов, однако в целом он дает достаточно ясное представление об их содержании. На первое место в обзоре поставлены архивы, располагающие наибольшим количеством материалов; остальные расположены в убывающем порядке.

Описание материалов каждого архива строится в одинаковой последовательности: творческие рукописи Бунина (проза, стихи, критические статьи, автобиографические и пр. заметки), письма, биографические материалы, книги с дарственными надписями Бунина, изобразительные материалы, разные документы. Внутри каждого раздела описание дается в хронологическом порядке. При описании первоначальных редакций тех прозаических произведений, которые в этих редакциях имеют названия, отличные от окончательных, за основу берется название последней редакции, а первоначальное указывается в скобках, например: «Чаша жизни» («Дом»); «Игнат» («Грушка», «Любовь»). При описании первоначальных редакций стихотворений в аналогичных случаях за основу берется первоначальное название, а окончательное дается в скобках; если в окончательной редакции название снято, в скобках дается первая строка стихотворения, например: «Мираж» («Ковсерь»), «Глупое горе» («Поздней ночью тихий месяц вышел...»). Отступления, допущенные в отдельных случаях, везде оговариваются, например: «Святки» (позднее —«Старуха»). Это различие определяется принципом составления описей бунинских фондов в большинстве архивов, где рукописи прозаических произведений значатся, как правило, под их окончательными заглавиями, а рукописи стихов — под тем названием, которое имеет данный автограф, без учета последующих изменений. При описании писем, в тех случаях, когда тот или иной архив располагает рядом писем к одному корреспонденту, место их в обзоре устанавливается по дате первого письма. При наличии в данном архиве двусторонней переписки, общая характеристика ее дается при описании писем Бунина.

В сводный обзор входят описания материалов по следующим архивам: ЦГАЛИ (Ю. А. Красовский), ГМТ ((Л. Н. Афонин), ИМЛИ (отдел рукописей, Архив и музей Горького — Л. К. Куванова, Н. И. Дикушина), ГБЛ (Ю. П. Благоволина), ГПБ (О. Д. Голубева), Музей ИРЛИ (А. П. Холина), МКТ (Н. А. Балтийская), ГЛМ (М. Г. Ватолина, Ю. Н. Иванов, Л. Н. Федоренко), ААН (Е. С. Кулябко). Опись бунинского фонда рукописного отдела ИРЛИ опубликована в «Бюллетенях рукописного отдела Пушкинского Дома» (№ 8, 1959), поэтому в настоящий обзор описание этого фонда не входит.

Обзор отражает материалы, поступившие в архивы до 1971 г. включительно; более поздние поступления в нем не описаны.

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Бунинский фонд ЦГАЛИ сложился в результате многолетней собирательской работы. Основой его послужила «бунинская персоналия», поступившая в составе рукописного фонда ГЛМ при организации ЦГАЛИ в 1941 г. (несколько творческих рукописей, около 30 писем, некоторые документы — все это ранее было приобретено у К. П. Пятницкого и других лиц). В 1943 г. у И. В. Барашкова была приобретена часть личного архива Бунина, главным образом, письма к нему писателей — Л. Андреева, Брюсова, Короленко, Куприна, Чехова и др. В 1947—1948 гг. несколько автографов поступило через «Книжную лавку писателей». В 1948 г. были предприняты розыски дореволюционного архива Бунина, в результате которых у К. П. Пушешниковой было приобретено более 30 творческих рукописей, ряд биографических документов и писем к Бунину. В 1959—1961 гг. в ЦГАЛИ поступило значительное количество материалов из Парижского архива писателя, переданных в Советский Союз В. Н. Буниной. В 1965 г. от А. Плясова из Парижа (через И. С. Зильберштейна) была получена одна из редакций «Жизни Арсеньева». Несколько автографов Бунина поступило в 1968 г. от С. Ю. Прегель (Париж).

В настоящее время собственно бунинский фонд (ф. 44, оп. № 1, 2, 3) содержит 579 ед. хр.; кроме того, письма Бунина и некоторые другие материалы находятся в фондах его корреспондентов. В общей сложности в ЦГАЛИ хранится более 170 творческих рукописей писателя, около 560 его писем к 75 адресатам и около 1100 писем к нему от 230 корреспондентов, различные биографические документы, фотографии и др. Общий объем бунинских материалов ЦГАЛИ можно ориентировочно определить в 8000—10 000 листов.

Поскольку значительная часть всех этих материалов находится в фонде Бунина, исследователь легко найдет их шифр, обратившись к описям этого фонда. Указание на шифр будет даваться далее только при описании материалов, хранящихся в других фондах ЦГАЛИ.

Все 90 *прозаических произведения* Бунина, рукописями которых располагает ЦГАЛИ, были в свое время опубликованы и вошли в Собр. соч. 1965—1967. Ценность этого собрания рукописей составляет в основном значительное количество ранних и промежуточных редакций, которые дают богатый материал для исследователя. По характеру этих рукописей их можно разбить на три группы: а) первоначальные наброски, черновые автографы; б) законченные первые редакции (беловой автограф или машинопись с авторской правкой), в основном совпадающие с первой публикацией; в) поздние редакции, подготовленные для последующих переизданий. Наиболее интересны в этом отношении рукописи 30 рассказов доэмигрантского периода.

Самый ранний из них — «Сны» (1903); в ЦГАЛИ хранится окончательная редакция рассказа (1953; машинопись с авторской правкой) и послесловие к нему (неполный текст его см.: т. 2, стр. 517—518). Следующий по времени рассказ — «Птицы небесные» (1909) — сохранился в одной из ранних редакций («Беден бес» — машинопись с авторской правкой); основные разночтения ее с окончательным текстом см.: т. 2, стр. 467—469.

К 1911 г. относятся рукописи трех произведений: «Крик», «Древний человек» («Сто восемь») и «Веселый двор». Первые два представлены черновыми автографами; тексты их близки к первым публикациям, но имеют с ними некоторые разночтения, отмеченные в т. 3 (стр. 478, 480, 482). Описание двух редакций повести «Веселый двор» и анализ работы Бунина над ними см. в статье Л. В. Крутиковой «В мире художественных исканий Бунина» (настоящ. кн., стр. 98—99 и 117).

К 1912—1914 гг. относятся рукописи 18 рассказов; очень многие из них имеют помету «Капри». Большей частью это авторизованная машинопись, которая совпадает с текстом первых публикаций или очень близка к ним. Таковы «Ермил» («Преступление»), «Последнее свидание» («Вера»), «Последний день», «Будни», «Сказка», «Святые», «Братья»; в Собр. соч. 1965—1967 (т. 4) — все они, за исключением «Сказки»,

напечатаны по более поздним редакциям. Другие произведения этого периода представлены в первоначальных набросках, в черновых автографах, иногда довольно далеких от окончательных редакций. Из них в первую очередь назовем: «Игнат» («Грушка», «Любовь») — черновые наброски, значительно отличающиеся от окончательного текста (т. 4, стр. 465—468), а также «Худая трава», «Весенний вечер», «Клаша» («Клаша Смирнова»), «Хороших кровей». Рукопись последнего рассказа не учтена в Собр. соч. 1965—1967. Не учтен там и черновой автограф, озаглавленный «Великим постом» (дата: «24 февраля 1914 г.»); по-видимому, это первый набросок рассказа «Пост» (т. 4, стр. 416—418). Сюда же следует отнести и первоначальный набросок рассказа «Исход» («Конец»), датированный: «Капри, 1914» (рассказ был закончен и опубликован в 1918 г.— см. т. 5, стр. 12—18).

Самыми интересными среди рукописей 1912—1914 гг. являются произведения, сохранившиеся и в черновых набросках, и в беловом автографе, и в авторизованной машинописи: перед исследователем благодарный материал для изучения процесса формирования и осуществления художественного замысла писателя. К числу таких произведений относятся: «Князь во князьях» («Лукьян Степанов»), «Всходы новые» («Весна»), «При дороге» («Большая дорога»), «Чаша жизни» («Дом»). В комментариях к Собр. соч. 1965—1967 наибольшее внимание уделяется рассказу «При дороге» (т. 4, стр. 477—479); анализ трех редакций рассказа «Чаша жизни» см. в указ. статье Л. В. Крутиковой.

Шесть произведений 1916 г.— «Старуха», «Казимир Станиславович» («Темная личность»), «Аглая» («Девушка Аглая»), «Отто Штейн» («Жизнь»), «Петлистые уши» («Без наказания»), «Соотечественник» («Трифон Чуев») — имеют (за исключением «Старухи») от трех до пяти редакций, отражающих разные стадии работы автора. В Собр. соч. 1965—1967 приведено (с рядом неточностей) 13 отрывков первоначальных редакций рассказов «Аглая», «Петлистые уши» и «Отто Штейн» (т. 4, стр. 439—445), отмечены отдельные разночтения ранних редакций «Петлистых ушей» и «Соотечественника» с окончательным текстом (т. 4, стр. 492, 495); автограф рассказа «Старуха» в этом издании не учтен. Большая часть этих рукописей описана и анализируется в указ. статье Л. В. Крутиковой.

К 1917 г. относится один автограф—рассказ «Брань» («Спор»; дата: «Лето1917 г.»).

Среди 60 произведений эмигрантского периода, рукописи которых хранятся в ЦГАЛИ, особое место занимают три крупных произведения — «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» и «Жизнь Арсеньева».

Рукопись повести «Митина любовь» (149 л.) состоит из 21 фрагмента. Полный текст составить из них невозможно — все они имеют черновой характер и отражают разные стадии работы над отдельными главами повести (крайние даты: 7 апреля — 27 сентября 1924 г.). Попытка проследить эти стадии сделана в Собр. соч. 1965—1967 (т. 5, стр. 520—523); однако черновые автографы повести до сих пор не опубликованы и ждут своего исследователя.

Черновая рукопись повести «Дело корнета Елагина» (97 л.; крайние даты: 5 августа — 24 сентября 1925 г.) сравнительно близка к печатной редакции; и хотя отдельные главы ее имеют несколько разных редакций, рукопись всей повести может быть «сформирована» из 26 сохранившихся фрагментов. В Собр. соч. 1965—1967 эти автографы не анализируются; отмечается только наличие нескольких редакций начала и существование зачеркнутых страниц (т. 5, стр. 526).

Роман «Жизнь Арсеньева» представлен в ЦГАЛИ черновым автографом и авторизованной машинописью (общий объем 426 л.; крайние даты: 22 июня 1927 г.— 17/30 июля 1929 г.). Рукописи эти также ждут настоящего исследования — сведения о них в комментарии к Собр. соч. 1965—1967 (т. 6, стр. 326—328) далеко не исчерпывают всей сложности процесса зарождения, формирования и завершения крупнейшего художественного произведения Бунина, который в них отразился.

Рукописи рассказов 1920—1940-х годов менее интересны в текстологическом отношении: здесь мы располагаем обычно одной, редко двумя черновыми редакциями или только беловыми автографами, которые соответствуют печатным публикациям. Наибольший интерес для текстолога представляют рукописи рассказов «Неизвестный друг»

БУНИН

Рисунок Ю. К. Арцыбушева (карандаш)
Одесса, сентябрь 1919 г.
Слева внизу—автограф Бунина
Центральный архив литературы
и искусства, Москва

(1923), «Солнечный удар» (1925), «Подснежник» (1927), «Кавказ» (1937), «В Париже» (1940), «Натали» (1941) и «Ловчий» (1943), которые в Собр. соч. 1965—1967 не учтены совсем. Краткие ссылки даются там только на рукописи рассказов «Безумный художник», «Косцы» и «Полуночная зарница» (1921), «Огнь пожирающий« (1923), «Ида» и «Мордовский сарафан» (1925), однако без анализа их (т. 5, стр. 513, 514, 516, 526). Во всех этих случаях текстолог имеет дело и с черновыми набросками, и с последующей работой автора над рассказами, и с позднейшими доработками.

Остальные 44 рукописи бунинских рассказов (1921—1944) имеют значение источника, позволяющего исследователю уточнить отдельные детали, в частности, дату написания. Это особенно важно для тех произведений, которые в Собр. соч. 1965—1967 не имеют ссылки на рукопись ЦГАЛИ: «О дураке Емеле» (1921), «Книга» и «Город Царя царей» (1924), «Ночь» (1925), «Алексей Алексеич» (1927), «Дедушка», «Маска», «Роман горбуна», «Ландо» и «Журавли» (1930), «Молодость и старость» (1936), «Степа», «Муза» и «Темные аллеи» (1938), «Антигона» и «Волки» (1940), «Руся» (1942), «Качели» и «Речной трактир» (1943), «Алупка», «Памятный бал», «Холодная осень», «Пароход „Саратов“», «Ворон» и «В одной знакомой улице» (1944). Для полноты картины перечислим и те рассказы, рукописи которых учтены в Собр. соч. 1965—1967: «Темир-Аксак-Хан», «Ночь отречения» и «Преображение» (1921), «Далекое» (1922), «В ночном море» и «Русак» (1923), «В саду» (1926), «Божье древо», «К роду отцов своих» и «Старый порт» (1927), «Сказки», «Слон», «Первая любовь», «Грибок», «Стропила», «Небо над степой», «Ужас», «На базарной» и «Убийца» (1930).

Особое место среди автографов прозаических произведений Бунина занимают четыре *рукописи мемуарного жанра*: «Памяти Чехова» (1904; автограф и гранки сб. «Знание» с авторской правкой — о характере этой правки см. настоящ. том, кн. 1, стр. 558—559); 2) отрывок воспоминаний о Толстом (1927, без начала); «Происхождение моих рассказов» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 393—395); 4) записи дневникового характера (1885—1893, автограф) воспроизведены (т. 9, стр. 338—346) по книге «Жизнь Бунина».

В ЦГАЛИ хранятся автографы 153 *стихотворений* Бунина (в том числе четыре в двух редакциях). 14 из них публикуется в настоящ. томе (кн. 1), остальные вошли в Собр. соч. (т. 1 и 8) — почти все в значительно переработанном виде.

К числу юношеских стихов Бунина (1887—1891) принадлежат семь: «Ночь побледнела и месяц садится...» («Октябрьский рассвет»), «Вчера в степи я слышал отдаленный...» («В степи»), «Мы в аллею сошли...» («Поздним летом»), «Месяц светит на сад...», «Сверкает село огоньками...», «В жаркий день...», «В. В. Пащенко». Первые три стихотворения Бунин впоследствии опубликовал, значительно их переработав (т. 1, стр. 59, 70, 74); остальные см. в настоящ. томе, кн. 1, стр. 257, 264, 271, 273 (№ 46, 60, 70, 75).

Из трех стихотворений 1901—1902 гг.: «Колыбельная» («На глазки синие, прелестные...»), «Горный путь к морю» и перевод сонета Мицкевича «Чатырдаг» (т. 1, стр. 140, 464; т. 8, стр. 387), значительной переработке подверглось только второе.

13 стихотворений относятся к 1903—1906 гг. Все они имеют те или иные разночтения с окончательными редакциями. Семь из них объединены в цикл «Восток»: «Тайна», «Тэмджид», «Черный камень ⟨Каабы⟩», «За измену», «Мираж («Ковсерь»), «Джины» («Звезды горят над безлюдной землею...»), «Гробница Сафии» (т. 1, стр. 221—222, 233—234, 182—183, 235). Два стихотворения («Две радуги» и «Вдыхая тонкий запах четок...» — т. 1, стр. 241—242) объединены общим заглавием «Закат». Остальные стихи записаны на отдельных листах: «Одиночество», «Полюс» («Полярная звезда»), «Чибисы» и «Зеленый стяг» (т. 1, стр. 194, 198, 235, 256).

К 1906—1911 гг. относятся десять стихотворений. Пять из них составляют цикл «Цветные стекла» (с зачеркнутым посвящением В. Н. Муромцевой): «Люблю цветные стекла окон...», «Проснусь, проснусь — за окнами, в саду...», «За окнами снега...» («Дядька»), «Слепой» и «Пугало» (т. 1, стр. 262, 263, 268, 278, 286); второе и четвертое стихотворения подверглись впоследствии переработке. Остальные стихи этих лет записаны на отдельных листах: «Что молодость?..» (настоящ. том, кн. 1, стр. 181, № 10), «Леса в жемчужном инее...», «Люцифер», «Сенокос», «Те часики с эмалью, что впотьмах...» («Солнечные часы»); последние три из них были впоследствии переработаны (т. 1, стр. 272, 306, 317, 333).

Из пяти стихотворений 1912—1913 гг. в дальнейшем подверглись значительной переработке три: «Мать» («На пути из Назарета»), «Шипит и не встает верблюд...», «Синий ворон от падали...» («Степь»); другие два — «Алисафия» и «Белый олень» разночтений с окончательной редакцией не имеют (т. 1, стр. 344, 351, 355, 348—349).

К 1915—1919 гг. относятся десять стихотворений. Пять из них объединены в цикл «Молодость»: «Ландыш», «Накануне» («Мы рядом шли...»), «Первый соловей», «Рассвет» («Ранний, чуть видный рассвет...»), «Михаил»; с окончательными редакциями они почти не имеют разночтений (т. 1, стр. 444, 447, 430, 446; т. 8, стр. 9). Некоторые отличия от окончательных редакций имеют «Взойди, о Ночь, на горний свой престол...», «Миньона», «Едем бором, черными лесами...», «Могила» («Свет незакатный»); стихотворение «В одной рубашке, босиком»... («Он видел смоль ее волос...») подверглось впоследствии значительной правке (т. 1, стр. 371, 400, 430, 445, 416).

К концу 1940 — началу 1950-х годов следует отнести два недатированных автографа стихотворения «Венки» — черновой и беловой («Два венка» — т. 8, стр. 40).

Особое место среди стихотворных автографов занимает тетрадь под условным названием «Стихотворения И. А. Бунина. 1915—1917 гг.» * В ней сосредоточено 107 стихотворений. Девять из них публикуется в настоящем томе (кн. 1, стр. 182—185, 187, 192 — № 15—20, 25; стр. 228, № 4—6). Основная же часть стихов этой тетради (98) в более поздних редакциях вошла в Собр. соч. 1965—1967. Приводим перечень их в алфавитном порядке: «Аркадия», «Абрикосы» («Дни близ Неаполя в апреле...»), «Аленушка», «Без истории» («Край без истории...»), «Бонна» («Одиночество»), «Будда почивающий» («Святилище»), «В арабской деревне», «В гавани» («Смятенье, крик и визг рыбалок...»), «В горах», «Венчик» (см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 196), «В окно пустое ветер дул...» («Кинематограф»), «В орде», «В пустом доме» («Синие обои полиняли...»), «В стул ременный богиня садится...» («Цирцея»), «В сухом и черном мраке елей...»

* Следующее далее описание этой тетради сделано Т. Г. Динесман.— *Ред.*

(«В столетнем мраке черной ели...»— см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 196), «В темную ночь, в штиль, под экватором...», «В цирке», «Глупое горе» («Тихой ночью поздней месяц вышел...»), «Да исполнятся сроки», «Даль» («Лиман песком от моря отделен...»), «Дурман», «За Ассуаном» («У нубийских черных хижин...»), «Заклинание», «За Соловками» («Солнце полночное, тени лиловые...»), «Засуха в раю», «Земной — чужой душе закат!..», «Зеркало», «Иконку, черную дощечку...» («Иконка» — см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 197), «Индийский океан», «Ириса», «И скрылось солнце жаркое в лесах...» («Кончина святителя»), «Кадильница», «Казнь», «Калабрийский пастух», «К вечеру море шумней и мутней...», «К Ночи» («Взойди, о Ночь, на горний свой престол...»), «Княжна» («Богом разлученные»), «Князь Всеслав», «Кобылица», «Когда-то, над тяжелой баркой...», «Колизей», «Компас», «Конь Афины-Паллады», «Лик прекрасный и бескровный...», «Льет без конца...», «Малайская песня», «Матфей прозорливый», «Миньона», «Молодой дедушка» («Дедушка в молодости»), «Молодость», «Мулы», «Мы рядом шли...», «Мятую красную феску...» («Феска»), «На глазки синие, прелестные...», «На исходе», «На нубийском базаре», «На стене нашей глиняной хижины...» («Порыжели холмы. Зноем выжжены...»), «Невеста моряка» («Невеста»), «Ни пустоты, ни тьмы нам не дано...» («Свет»), «Ночь ледяная и немая...» («Бретань»), «Отлив», «О Христе и дочери Халифа», «Парус», «Перстень», «Песня» («Мне вечор, младой...»), «Плоты», «Покрывало море свитками...», «По теченью», «Поэту», «Прокаженный» («Война»), «Псалтырь», «Пустынник нам сказал...» («Белый цвет»), «Пустыня в тусклом, жарком свете...», «Райское древо» («Искушение»), «Рыжими иголками...», «Святитель», «Святогор и Илья», «Святой Евстафий», «Святой Прокопий», «Се жених грядет...» (см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 196— «Во полунощи»), «Сиверком на холоде...» («Зазимок»), «Сирокко», «Скоморохи», «Слово», «Сон», «Сон епископа Игнатия Ростовского», «Стой, солнце!», «Там не светит солнце...», «У брода» («Стена горы — до небосвода...», «У гробницы Вергилия, весной», «У пирамид» («В жарком золоте заката Пирамиды...»— см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 198— «Каир»), «Что в том, что где-то на далеком...», «Что ты мутный...», «Шестикрылый», «Эллада», «Это волчьи глаза или звезды...» («Сказка о козе»), «Я косы девичьи плела...» («Невеста»).

В альбоме Н. А. Крашенинникова (ф. 1086, оп. 2, ед. хр. 154) хранится беловой автограф перевода поэмы А. Тенисона «Годива».

*Письма* Бунина хранятся в личных фондах 75 его адресатов, некоторые находятся в фонде самого писателя, там же хранятся и письма 230 его корреспондентов. Однако это лишь часть обширной переписки Бунина, которая оказалась раздробленной при передаче из архива К. П. Пушешниковой в ЦГАЛИ и в ГМТ.

В ЦГАЛИ хранятся два письма Бунина к родителям — А. Н. и Л. А. Буниным — отцу (сентябрь 1891 г.; см. сб. «На родной земле». Орел, 1958) и матери (8 января 1893 г.; касается поездки Бунина в Орел и Полтаву).

221 письмо к Ю. А. Бунину (ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18—20) представляет первоклассный биографический материал: они подробно говорят о жизни писателя в течение 1888—1917 гг. Старший брат был для Бунина очень близким человеком, с которым он привык делиться всеми своими заботами и переживаниями. «Только ты один истинно близкий, родной мне человек»,— писал он 4 апреля 1889 г. Не было ни одного важного события в его жизни, о котором Бунин не писал бы брату. Письма 1888—1892 гг. говорят об очень тяжелых материальных условиях, в которых жила семья Буниных, о тягостной семейной обстановке, о сложных перипетиях личной жизни писателя. Уже в письмах за 1888 г. мы находим сведения о первых литературных шагах Бунина, о появлении его стихов в «Неделе»; письма 1889—1891 гг. подробно говорят о его работе в «Орловском вестнике», о его литературных симпатиях и вкусах (см. например, в письмах 1890 г.: «Читаю „Войну и мир“ и в некоторых местах прихожу в неистовый восторг», или: «что за милый и дорогой Полонский!» или: «Ну, брат, Заньковецкая! Три раза плакал от нее» и т. п.). Интересны письма 1895—1896 гг., отражающие приезды Бунина в Петербург и в Москву, его знакомства с представителями «большой» литературы — Чеховым, Короленко, Михайловским, с редакторами столичных журналов,— здесь уже сказываются индивидуальные вкусы

и симпатии Бунина. Так, в письме 30 ноября 1896 г. он резко характеризует Мережковского, которого видел на каком-то вечере: «Мережковский жалко держался. Достаточно сказать, что огорошивал всех такими „новостями", что „музыка это философия цифр", „архитектура — застывшая музыка", „ложь прелестна — как, например, красиво, когда лжет красивая женщина"... Как, брат, все это жалко!». В письмах 1897—1898 гг. встречаются упоминания о Куприне, Телешове и многих других писателях. В 1898—1899 гг. Бунин рассказывает брату все перипетии своего неудачного брака с А. Н. Цакни, а также о попытке редакторской деятельности в «Южном обозрении». Письма 1900—1901 гг. связаны с пребыванием Бунина у Чехова в Ялте (высказывания о Чехове, в них разбросанные, широко использованы в «Материалах» и в ст. А. К. Бабореко «Чехов и Бунин» — «Лит. наследство», т. 68). Поездки в Европу, Азию, Африку находят отражение в письмах 1900-х годов; по ним можно с точностью до одного дня проследить почти все этапы путешествий Бунина. Письма 1911—1914 гг. отражают историю организации «Книгоиздательства писателей в Москве», «каприйский период» творчества Бунина, встречи его с Рорьким и другими писателями. Ко времени первой мировой войны относится одно письмо (26 мая 1916 г.): Бунин пишет брату о пленном венгре, живущем в их деревне, и просит помочь ему связаться с родными. В письмах 1917 г., написанных из деревни, чувствуется тревога, вызванная ростом революционных настроений среди крестьян. Многие из писем Бунина брату опубликованы («Материалы»; «На родной земле», Орел, 1958; «Весна пришла»; «Новый мир», 1956, № 10; «Литературный Смоленск»; «Русская литература», 1963, № 2).

Письма к племяннику Н. А. Пушешникову (8 п.; 1903—1910) написаны во время заграничных путешествий Бунина. 29/14 марта 1909 г. он говорит о пребывании у Горького на Капри и о знакомстве с астрономом Мейером. Остальные письма — краткие сообщения о пребывании в Константинополе, Александрии, Италии.

Письма к В. В. Пащенко (2 п.; 1891; ф. 2321, оп. 1, ед. хр. 50) см. в «Материалах».

Письма к В. Н. Буниной (3 п.; 1913—1916) носят чисто бытовой характер.

Одним из первых писателей, с которым Бунин вступил в переписку, был И. А. Белоусов (87 писем Бунина к нему, 1889—1917, см. ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534). Первые письма (1889) посвящены белоусовским переводам из Шевченко и стихотворениям самого Шевченко, «которые замечательны по глубине и полноте чувства». Последующие — полны сообщений о первых литературных опытах самого Бунина, его встречах с писателями, первых заграничных путешествиях. Много места в них занимает вопрос об издании «Песни о Гайавате». 11 ноября 1895 г. Бунин пишет, что судьба его перевода пока неизвестна; в другом письме (без даты) жалуется: «...Попова было отказалась издавать 〈...〉, а потом опять согласилась. Брат ходил в „Русскую мысль", к Сытину — не соглашаются,— „Русская мысль", потому что не издает таких произведений, Сытин же понятия не имеет об этом. Да и что общего между Сытиным и „Гайаватой"? Думаю даже обратиться к Тихомирову»; 1 февраля 1899 г. Бунин сообщает положительный отзыв В. Морфиля, профессора Оксфордского университета, об его переводе и о том, что «издание вышло хоть куда».

В письмах 1899—1900 гг. нередко встречается имя Горького, упоминаются Леонид Андреев, Телешов, Найденов и многие другие; в письме 17 июля 1904 г. выражается скорбь по поводу смерти Чехова.

Бунин положительно оценивал творчество Белоусова: «Читал сегодня твои стихи в „Севере": ей-богу, брат, очень сердечно и хорошо!» (15 июня 1897 г.); 27 апреля 1903 г. он пишет: «Форму я люблю, но люблю и душу человеческую, в какой бы форме она ни создалась. А твоя книга именно полна души — хорошей души»; подобные отзывы содержатся и в других письмах.

25 мая 1908 г. Белоусов предложил Бунину: «Собери ты сборник своих рассказов и стихов и дай мне издать». Бунин согласился, и в начале 1909 г. вышли его «Избранные стихи для юношества», но вскоре у автора и издателя возникли недоразумения. Этому конфликту посвящено несколько писем.

В письмах 1910—1913 гг. часто упоминается Горький; говорится в них о «Книгоиздательстве писателей в Москве». 13 из писем Бунина к Белоусову (и 3 в отрывках) опубликованы («Вопросы литературы», 1969, № 7; «Весна пришла»; «Проблемы

ТЕЛЕШОВ

Фотография. Москва, 1912

Из альбома, подаренного Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности

С дарственной надписью: «Дорогому другу Николай Телешов 28 октября 1912»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

реализма...», «Русская литература», 1958, № 2; «Збірник робіт асп. кафедри филол. наук». Львів, 1960; «Радянське літературознавство», 1957, № 4; выдержки из других писем широко использованы в «Материалах»).

В ответных письмах Белоусова (30 п., 1907—1917) содержатся рассказы о посещении могилы Шевченко в 1907 г., о встречах с Серафимовичем, Найденовым, Сергеевым-Ценским, Телешовым, различных литературных событиях, в частности об откликах на юбилей Бунина.

С 1895 г. начинается переписка Бунина с С. Н. Кривенко (14 писем к нему, 1895—1900, см. ф. 2173, оп. 1, ед. хр. 54). В первом из них (6 июля 1895 г.) Бунин соглашается сотрудничать в журнале «Новое слово»; в остальных сообщает о посылке стихотворений и рассказов. В 1898 г., послав «Песню о Гайавате», он просит «не давать ее для рецензии человеку, который не знает английского языка и скажет о ней несколько незначащих слов. Я столько труда положил на это несравненное произведение, что мне будет очень грустно, если к нему отнесутся казенно». Письмо 3 октября 1898 г. опубликовано в сб. «Весна пришла».

В 1895 г. Бунин предлагает А. С. Суворину для издания сборник стихов или перевод «Песни о Гайавате»: «Вас вероятно удивит и заставит улыбнуться мое предложение. Имя мое так мало известно, что вы, может быть, подумаете: „Вот наивный провинциальный юноша!“» (ф. 459, оп. 1, ед. хр. 508).

Письмо к П. В. Засодимскому (ф. 203, оп. 1, ед. хр. 42) относится к ноябрю 1896 г.: на предложение участвовать в литературном вечере Бунин отвечает согласием прочесть рассказ «Танька».

В 1898 г. Бунин послал П. А. Ефремову стихотворение «В степи» для сборника памяти В. Г. Белинского (ф. 191, оп. 1, ед. хр. 94).

Письмо А. А. Коринфскому (7 октября 1898 г.; ф. 257, оп. 2, ед. хр. 10) связано с работой Бунина в «Южном обозрении». Приглашая Коринфского к сотрудничеству, он пишет: «хлопочу вместе с другими, чтобы создать хоть одну истинно-литературную газету на юге».

Письма к издателю «Русской мысли» В. М. Лаврову (3 п.; 1900—1902; ф. 640, оп. 1, ед. хр. 47) касаются исключительно публикации в журнале бунинских стихотворений; такой же деловой характер носят и два письма Лаврова к нему (1901).

Письма к А. М. Федорову (21 п.; 1898—1912; ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2) — свидетельство тесной дружбы, которая связывала с ним Бунина. Он «крепко любил» Федорова, был высокого мнения об его произведениях: «Ты положительно с каждым месяцем пишешь стихи все лучше» (1 августа 1900 г.); «ценю тебя за стихи. В них чрезвычайно много хорошего...» (31 января 1901 г.); «присланные стихи очень нежны и грустны» (30 января 1904 г.). Особенно интересны те письма Бунина, в которых говорится о его пребывании в Крыму, о встречах с Чеховым: «Дни мои протекают в каком-то поэтическом опьянении,— пишет он из Ялты 12 января 1901 г.— ⟨... ⟩Антон Павлович здоров и работает. Семья его очаровательная... Сегодня проводил в Москву своего большого друга — его сестру Марью Павловну! Редкая девушка!». Из письма от 17 июля 1904 г. узнаем, что Бунин переживает «ужасные дни». «Смерть Чехова потрясла меня необыкновенно». Есть несколько упоминаний и о Горьком: об его отзыве на стихи Федорова («слишком много слез»), о сатирическом журнале «Жупел»; пишет Бунин и о «Суламифи» Куприна, и о других писателях. Девять из этих писем (в том числе 6 в отрывках) опубликованы («Вопросы литературы», 1969, № 7; «Русская литература», 1963, № 2; «Лит. наследство», т. 60, стр. 396 и 401).

133 письма Федорова (1895—1916) не отличаются содержательностью. Главное в них — просьбы об устройстве его произведений в журналы, сообщения о его литературной работе, о некоторых литературных встречах.

О столь же тесной дружбе свидетельствуют письма Бунина к С. А. Найденову (14 п.; 1902—1912; ф. 1117, оп. 1, ед. хр. 36). В 1902 г. Бунин проектирует совместные поездки «на Мурманский берег», в Одессу или заграницу. В 1908—1909 гг. он приглашает Найденова сотрудничать в сборниках «Земля». Письмо 3 июня 1903 г. цитируется в «Материалах».

7 декабря 1904 г. Бунин сообщает краткие биографические сведения о себе известному библиографу и переводчику Ф. Ф. Фидлеру; две открытки, адресованные ему же, относятся к 1914 и 1915 гг. (ф. 518, оп. 1, ед. хр. 53; письмо опубликовано.— «Вопросы литературы», 1969, № 7).

Письма В. В. Каллашу (2 п.; ф. 249, оп. 2, ед. хр. 15) содержат разрешение на перепечатку Обществом любителей российской словесности очерка «Памяти Чехова» (1905) и сообщение о намерении написать статью о М. Ю. Лермонтове, к 100-летнему юбилею поэта (18 июля 1913; опубликовано в сб. «Проблемы реализма»).

В 1908 г. Бунин откликнулся на предложение Густава Броше участвовать в сборнике Международного комитета помощи безработным и выслал ему одно стихотворение (3 п. к Г. Броше, 1898—1908; хранятся в фонде Бунина).

Письмо Г. И. Чулкову 4 августа 1908 г. (ф. 548, оп. 3, ед. хр. 8) — ответ на просьбу помочь в издании его книги «На тот берег». Пять писем Чулкова (1906—1912) касаются той же темы, а также сотрудничества Бунина в сборниках «Факелы».

По-видимому, Бунин охотно шел навстречу писателям в пору своей близости к «Книгоиздательству писателей в Москве» и к другим издательствам. Об этом свидетельствуют три его письма к Л. М. Василевскому (1908—1912) с сообщением о хлопотах по изданию его книги (ф. 108, оп. 2, ед. хр. 2).

Среди корреспондентов Бунина было немало «начинающих» редакторов и издателей. 23 августа 1907 г. он шлет «имя и стихотворение» В. И. Стражеву для затеваемой им газеты (ф. 1647, оп. 1, ед. хр. 293). «С удовольствием пришлю что-нибудь при первой возможности»,— сообщает он 28 ноября 1907 г. редактору журнала «Голос» Н. В. Могучему (ф. 1103, оп. 1, ед. хр. 4). О предполагаемом участии Бунина в журнале «Живое слово» идет речь в трех его письмах к П. В. Мурашеву (1912—1913; ф. 1264, оп. 2, ед. хр. 1).

Оживленную переписку поддерживал Бунин с А. Е. Грузинским; сохранилось 18 его писем (1908—1917; ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126) и восемь ответных писем Грузинского (1909—1913). В письмах за 1908 г. идет речь о просьбе Общества любителей российской словесности написать текст для кантаты к открытию памятника Гоголю

в Москве; Бунин раздраженно заявляет: «Гоголя я не не люблю, но черт его знает, как пишутся кантаты». В 1909—1912 гг. он сообщает о своих зарубежных путешествиях, о быстро меняющихся туристических планах. 30 августа 1917 г. Бунин пишет: «очень рад, что ты не бросаешь стихов и начинаешь переводить и не одних фирдоуси, кои все-таки тяжки нам по своей чертовой старости...». И далее о Рабиндранате Тагоре: «Вот разобрал я теперь всего „Садовника" по косточкам, редактирую перевод Николая Алексеевича ⟨Пушешникова⟩. И что ж! Пять-шесть вступлений хороши, немало хороших отдельных строк, но в общем, ах, как однообразно, как изысканно! Сколько рафинизма! А часто и того хуже: пустяки, пустословие, а ведь с каким таинственным, многозначительным видом (граничащим не то с недалекостью, не то с плутовством) подается все это! И посему решаюсь тебе прямо сказать: стоит ли тебе продолжать „быть" с ними? И еще: опять приходит в голову — зачем давать ему стихотворную форму?» Письмо 21 марта/3 апреля 1909 г. опубликовано в сб. «Проблемы реализма».

Три письма к Л. Н. Андрееву (1908—1909; ф. 11, оп. 1, ед. хр. 71) касаются участия Андреева в первых сборниках «Земля», которые редактировал Бунин, и в журнале «Северное сияние» (см. «Вопросы литературы», 1969, № 7). Очевидно, это лишь небольшая часть бунинских писем к нему, поскольку ответных писем Андреева (1902—1916) — 28 (16 из них опубликовано там же).

Два письма Бунина Куприну (1909; ф. 240, оп. 1, ед. хр. 154) опубликованы («Русская литература», 1963, № 2). 57 писем Куприна (1899—1934) освещают историю взаимоотношений этих двух крупнейших русских писателей начала века.

Три письма Н. И. Иорданскому (1910; ф. 1074, оп. 1, ед. хр. 3) содержат сведения о заграничном путешествии Бунина и сообщения о попытках писать воспоминания о Толстом.

14 писем к Н. С. Ангарскому (Клестову; 1911—1916; ф. 24, оп. 1, ед. хр. 14) касаются литературных планов Бунина, основное же их содержание — организация «Книгоиздательства писателей в Москве». Пять самых интересных писем (из них 2 в отрывках) см.: Собр. соч. 1956, т. 2; «Новый мир», 1956, № 10; «Вопросы литературы», 1969, № 7; «Материалы»; остальные касаются узко практических вопросов.

В 1913 г. критик А. Л. Волынский, предполагая писать о творчестве Бунина, просил его прислать свои сочинения; 9 декабря 1913 г. Бунин выполнил просьбу (ф. 95, оп. 1, ед. хр. 367). 11 декабря Волынский отвечал: «К чтению рассказов ваших я уже приступил. Жду впечатлений больших и не очень легких для передачи на бумаге».

20 ноября 1914 г. Бунин сообщает И. Д. Сургучеву от имени «Книгоиздательства писателей в Москве» отзыв о его рассказе, предназначенном для сборника «Слово» («Вопросы литературы», 1969, № 7).

Два письма А. А. Золотареву (1914, 1917; ф. 218, оп. 2, ед. хр. 3) сводятся к благодарности за память, к сообщениям о собственной болезни и т. п. Сам же Золотарев пишет 7 ноября 1912 г.: «стихи ваши были для меня радугой в печальные дни моей жизни». Письмо к А. А. Измайлову 11 ноября 1915 г. (ф. 227, оп. 3, ед. хр. 5)— ответ на просьбу прислать «рождественский рассказ» в «Биржевые ведомости».

К 1916 г. относится единственное в ЦГАЛИ письмо Бунина к Горькому (26 января; черновой автограф); оно касается его участия в «Летописи» (см. «Горьковские чтения 1958—1959»).

Заслуживает внимания письмо к одному из издателей от 22 сентября 1916 г. (находится в фонде Бунина): «...переводить, не зная языка, нельзя. Я однажды уступил настояниям переложить в русские стихи два или три стихотворения армянских поэтов и до сих пор чувствую себя неловко».

Бунин очень внимательно относился к начинающим поэтам и писателям, всячески поддерживал их. 12 августа 1911 г. он сообщает Л. П. Гроссману, приехав в Одессу: «хотел бы сказать вам несколько слов о вашей поэме» (ф. 1386, оп. 1, ед. хр. 57). Бунин дает положительный отзыв о книге рабочего поэта Е. Е. Нечаева (26 февраля 1914 г.; ф. 348, оп. 1, ед. хр. 20), высказывает доброжелательные советы И. М. Касаткину (27 декабря 1914 г.; ф. 246, оп. 1, ед. хр. 21), К. Г. Хохлову (8 февраля 1915 г.; ф. 1376, оп. 1, ед. хр. 18), О. А. Мочаловой (10 ноября 1915 г.; ф. 273, оп. 1, ед. хр. 12—машинописная копия); «от души» поздравляет «уважаемого Филиппа

Степановича» Шкулева (17 мая 1915 г.; ф. 1307, оп. 1, ед. хр. 4). В единственном письме к А. С. Новикову-Прибою содержится просьба выслать из «Книгоиздательства писателей в Москве» его книги (ф. 356, оп. 1, ед. хр. 98).

Почти все письма Бунина, относящиеся к эмигрантскому периоду, немногочисленны и довольно отрывочны. 8 октября 1921 г. Бунин пишет Дионео (И. В. Шкловскому — ф. 1390, оп. 1, ед. хр. 100): «Очень тронут вашим письмом, и взволнованно вспоминалось далекое время, когда мы с вами немного переписывались, когда я был молод, счастлив (не понимал и не ценил этого), когда была Россия, русская литература... Вы правы, переводить меня очень трудно, я знал это, равно как и то, каковы английские вкусы (да и не одни английские!)... Если вам удастся заинтересовать кого-нибудь этими некоторыми рассказами, буду очень рад и чрезвычайно благодарен вам за дружескую услугу». В одном из двух писем к И. Ф. Наживину (1922; ф. 1115, оп. 2, ед. хр. 17) Бунин сообщает о смерти брата, о своем тяжелом состоянии: «Я один, я сам по себе, и никуда я не становился, я все тот же, я только больше молчу, ибо устал душевно так ужасно, как вы и вообразить себе не можете». В одиночных письмах к С. А. Юрьеву (1921; ф. 2535, оп. 1, ед. хр. 86), И. В. Гессену (1923; ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 211) и др. речь идет о предполагаемых встречах, об эмигрантских новостях, о возможностях издания.

11 писем врачу И. Н. Альтшуллеру (1929—1937) содержат просьбы о врачебных советах и сообщения о состоянии собственного здоровья. Письмо К. И. Зайцеву (1927) касается публикации статьи Бунина о Толстом в газете «Возрождение».

Особое место занимают 25 писем к Н. Я. Рощину (1924—1949; ф. 2204, оп. 1, ед. хр. 148, 149). Здесь не мало житейских мелочей, благодарностей за помощь, но есть и письма более содержательные. 19 ноября 1935 г. Бунин описывает свою поездку в Бельгию: «Меня очень чествуют. На вокзале встреча: представители русской колонии, журналисты, фотографы (это 16-го вечером). После сего (вечером же) обед в Русском клубе. Речи, приветствия. 17-го, в 5 часов, было мое выступление — народу пушкой не пробьешь. Читал не плохо! Овации». И как резкий контраст — письмо 12 марта 1943 г.: «...Угнетающее однообразие, бесцельность, безнадежность, страшное одиночество, скука, мучительный зимний холод, и постоянный гнусный голод, презренное, тошнотворное архинищенское питание...» Ликующе звучит письмо 23 сентября 1944 г.: «Из Грасса немцы бежали, слава богу, без драки в ночь с 23-го на 24-е* ⟨...⟩ Что было в городе, у нас в душе — описать невозможно!». Следующие письма касаются переезда Буниных в Париж, издания «Темных аллей». В письмах 1945—1947 гг., появляются восхищенные отзывы о творчестве Паустовского, о «Василии Теркине» Твардовского, радость по поводу установления связи с Телешовым и т. д. Большинство этих писем опубликовано: «Литературный Смоленск»; «Весна пришла»; «Новый мир», 1956, № 10; «Исторический архив», 1962, № 2; Гольдин; «Материалы».

О письмах А. П. Ладинскому (4 п., 1932—1948) см. в настоящ. томе (кн. 1, стр. 688).

Оле Жировой адресованы 18 шутливых детских писем в стихах (1940—1943); машинописные копии их, сделанные В. Н. Буниной, хранятся в бунинском фонде (6 из этих писем опубликованы: «Дошкольное воспитание», 1971, № 1). Одно из них (1940) начинается знаменательными строчками.

Теперь у дяди Вани
Нет ничего в кармане,
Нет сыру, нет колбаски —
Остались только сказки...

Перечислим остальные письма Бунина, хранящиеся в ЦГАЛИ: А. Н. Бибикову (1 п.; 1914; ф. 2321, оп. 1, ед. хр. 23), М. Н. Климентовой-Муромцевой (1 п., 1916; ф. 774, оп. 1, ед. хр. 5), Н. А. Котляревскому (1 п., 1912; ф. 1249, оп. 1, ед. хр. 12), М. К. Куприной (1 п., 1909; ф. 1074, оп. 2, ед. хр. 4), А. Ф. Марксу (1 п., 1903; ф. 335, оп. 1, ед. хр. 42), Вас. Ив. Немировичу-Данченко (1 п., 1935; ф. 355,

* То есть в ночь с 23 на 24 августа (союзные войска высадились на юге Франции 15 августа 1944 г.).

оп. 2, ед. хр. 147), В. В. Переплетчикову (1 п., 1916; ф. 827, оп. 1, ед. хр. 27), П. Н. Сакулину (1 п., 1912; ф. 444, оп. 1, ед. хр. 161), Н. В. Устрялову (1 п., 1924; ф. 2535, оп. 1, ед. хр. 85), А. В. Ширяевцу (1 п., 1915, фотокопия; ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 846), а также в редакцию газеты «Речь» (1913—1918; ф. 1666, оп. 1, ед. хр. 141), в издательство «Мир» (1915, ф. 597, оп. 2, ед. хр. 2) и в Московское отделение кассы взаимопомощи литераторов и ученых (1 п., 1912; ф. 1440, оп. 1, ед. хр. 272). Кроме того, в фонде Бунина находятся его письма С. П. Боголюбову (1 п., 1907), А. П. Дехтереву (епископу Алексию — 1 п., 1948, фотокопия), А. П. Иващенко (1 п., 1913), М. С. Цетлин (2 п., б. д.) и письма неизвестным лицам (4 п., 1907—1916 и б. д.).

*Письма к Бунину* можно разделить на две группы: письма частных лиц и письма официальные.

Отметим наиболее значительные *письма частных лиц*, помимо тех, которые были описаны выше, в связи с письмами самого Бунина.

Первое по времени письмо, сохранившееся в фонде Бунина, принадлежит поэту, писавшему под псевдонимом «К. Р.» (вел. кн. Константин Романов): 5 октября 1886 г. он дает 16-летнему Бунину наставления по стихосложению.

Писатель-самоучка М. Л. Леонов просит 26 сентября 1891 г. дать материал для сборника «В пользу голодающих» и сообщает адреса некоторых писателей-суриковцев.

Четыре письма издательницы журнала «Мир божий» А. А. Давыдовой (1893—1898) посвящены сотрудничеству Бунина в этом журнале, причем первые его попытки были неудачны — 6 ноября 1893 г. Давыдова возвратила ему очерк «Из дневника священника» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 63).

Свидетельством подобных неудач является и письмо Н. К. Михайловского (1895): «К сожалению, не могу исполнить ваше желание,— пишет он,— назначить точный срок напечатания ваших очерков. Есть и другие авторы, столь же долго ожидающие своей очереди. Я вполне понимаю неприятность этого положения и, если вам угодно, вышлю вам ваши очерки обратно или направлю их в какую-нибудь другую редакцию по вашему указанию».

Еще более резкое письмо А. М. Скабичевского 27 августа 1896 г.: «К сожалению, не можем напечатать вашего рассказа „Сутки на даче". Больно уж он носит фельетонный характер. Выставлено несколько несообразных уродов, словно нарочно подобранных один к другому, и над всеми ими возвышается толстовец, причем вам не удалось выяснить, как вы относитесь к нему: герой он или тоже урод?!»

Среди бунинских корреспондентов 1890-х годов есть несколько крупных писательских имен.

Десять писем Чехова (1891—1904) широко известны (см. «Лит. наследство», т. 68).

Три письма Короленко (1897 и 1901) касаются литературных начинаний Бунина и его сотрудничества в журнале «Русское богатство». «Стихотворения, присланные вами (из Асныка), постараемся напечатать,— пишет он 26 сентября 1897 г.,— кстати, мы рады были бы получить от вас и нечто прозаическое». 22 октября 1897 г. речь идет о тех же переводах из Асныка: «По поводу „Геракла" и других разных предметов я вам написал целое письмо на Москву... „Геракл" тогда же был сдан в печать — но, увы! — дальше цензора не пошел. Это только в древности он побеждал все препятствия».

Письма Телешова несомненно один из самых интересных и содержательных эпистолярных циклов, насыщенных сведениями о литературной работе как самого Бунина, так и его товарищей по «Среде». Он составляет 87 писем (1897—1916). Все они публикуются в настоящ. томе, кн. 1.

Литературные темы преобладают и в письмах Н. И. Тимковского (9 п.; 1899—1912). В одном из них (1900) есть упоминание о Горьком: «Приезжал ко мне (проездом из Ялты) Горький, ночевал у меня, водил я его в Кремль под заутреню и на первый день на Воробьевы горы. Очень мы с ним сошлись; совсем по душе... Он говорил мне, что виделся с вами в Крыму... Жалеет, что мало виделся... Планы у нас на лето таковы: Горький организует в Васильсурске общежитие и хочет перетащить туда на лето Срединых. Меня тоже это соблазняет...» 26 октября 1912 г. Тимковский пишет: «Мне

хочется сказать вам, что я всегда чуял и продолжаю чуять в вас ту нежную, глубокую, быть может, болезненную душу-недотрогу, которая инстинктивно прячется в тайниках и лишь смутно просвечивает в сказанных речах».

Письма Бальмонта (8 п.; 1895—1902) свидетельствуют о довольно тесных дружеских отношениях, связывавших в конце 1890-х годов этих двух как будто бы совсем разных людей. «Вы не знаете, даже приблизительно, как искренно и сильно я люблю вас. Когда я говорю с вами, я чувствую что-то родное и заветное в душе»,— читаем в одном из его писем. В письмах упоминаются литературные новости, а также проекты совместных путешествий («У меня мечта предпринять в вашем обществе путешествие пешком. Пойдемте хоть на месяц раннею весной»).

Письма Брюсова (17 п.; 1898—1915) публикуются в настоящ. томе (кн. 1). 2 п. Бунина Брюсову (ф. 1336, оп. 3, ед. хр. 14) печатаются в настоящ. кн., стр. 515.

Письма Ю. И. Айхенвальда (9 марта 1899 г.) и М. О. Меньшикова (2 марта 1899 г.) содержат высокую оценку бунинского перевода поэмы Лонгфелло.

В числе корреспондентов Бунина следует особо отметить двух крупных издателей: В. С. Миролюбова и К. П. Пятницкого. Письма Миролюбова (12 п.; 1901—1917) посвящены в основном вопросам издания бунинских произведений; в некоторых из них упоминается Горький (например: «Горький часто вспоминает вас и очень ждет на Капри» — письмо 14 июня 1911 г.). Еще чаще такие упоминания в письмах Пятницкого (24 п.; 1901—1913); но его письма носят еще более деловой характер, полны денежных вопросов, отчетных данных об издании бунинских книг («Книга ваша идет очень хорошо»; «Нужно печатать второе издание»), о бунинских переводах из Байрона и Лонгфелло, о финансовом положении сборников «Знание» и их реализации (3 п. опубликованы: «Уч. записки Орехово-Зуевского пед. института», т. IX, вып. 3. М., 1958).

С 1901 г. начинается переписка Бунина с художником и писателем П. А. Нилусом. Количество писем Нилуса огромно (174 п.; 1901—1915). Первые из них посвящены литературной жизни Одессы, сообщениям о литературных опытах Нилуса, о «переделке» Буниным его рассказов («Ты не поверишь, до чего я тебе обязан!»), об устройстве их в различные издания; упоминаются Куприн, А. М. Федоров, Н. А. Крашенинников и многие другие писатели, встречаются отзывы о бунинских книгах, например, о «Листопаде». Бунин очень любил Нилуса и всячески протежировал ему. Подтвердим это тремя письмами самого Бунина (которые мы сознательно опустили в соответствующем разделе нашего обзора). 2 января 1909 г. он писал М. К. Куприной-Иорданской: «Убедительно прошу ⟨...⟩ обратить ваше просвещенное внимание на повесть Нилуса в 7 № „Шиповника“— клянусь собакой, это прелестно! Свежо, легко, изящно — настоящее что-то... Лица живые, женщины намечены и нарисованы чудесно, краски небывалые...» (ф. 1074, оп. 2, ед. хр. 4). В письме Н. А. Котляревскому 5 июля 1912 г. читаем: «... Обратите внимание на пьесу, которую посылает вам мой ближайший друг Петр Александрович Нилус, художник и беллетрист. У него дерзновенная мечта попасть на Александринскую сцену. И я был бы очень, очень рад, если бы мечта эта осуществилась...» (ф. 1249, оп. 1, ед. хр. 12). И, наконец, 16 января 1924 г. Бунин «горячо ходатайствует» перед Н. В. Устряловым о выдаче денежного пособия приехавшему во Францию Нилусу (ф. 2535, оп. 1, ед. хр. 85).

Письма Б. К. Зайцева (20 п.; 1903—1914) посвящены двум темам: публикации рассказов Зайцева и его впечатлениям от поездок по Европе.

Назовем еще несколько писательских имен в числе корреспондентов Бунина: Е. Н. Чириков (1 п., 1903), С. С. Юшкевич (4 п., 1903—1915), Н. А. Крашенинников (15 п., 1904—1910), А. П. Каменский (3 п., 1900—1905).

Письмо публициста и историка Н. А. Рожкова (12 мая 1905 г.) содержит приглашение участвовать в журнале «Голос жизни», где «беллетристику будет редактировать Горький, который вчера в устной нашей беседе с ним на это пошел с большой охотой...» (опубликовано: «Уч. записки Орехово-Зуевского пед. института», т. IX, вып. 3).

Два письма А. С. Серафимовича содержат сообщение о посылке рассказа «Дочь» (17 декабря 1907 г.) и оценку позиции журнала «Северное сияние»: «Существуете и вы в нем, и, стало быть, нет декадентской требухи там» (19 января 1907 г.).

В письме С. Г. Скитальца (1908) идет речь о том же «Северном сиянии» и о присылке денег за рассказ.

Пять писем В. В. Вересаева (1907—1914) связаны главным образом с работой Вересаева и Бунина в «Книгоиздательстве писателей в Москве». 12 декабря 1907 г. Вересаев пишет: «У меня был вчера молодой поэт Клычков, о котором я вам говорил... Если найдете стихи стоящими (мне они очень нравятся), то, может быть, посодействуете ему в их напечатании».

Восемь записок П. Д. Боборыкина (1907—1909) содержат добрые пожелания, предложения встретиться, жалобы на болезни.

Но Бунин переписывался не только с писателями. Среди его корреспондентов — шлиссельбуржцы Н. А. Морозов (1902) и М. В. Новорусский (1910), а также некоторые деятели театра.

20 ноября 1908 г. К. С. Станиславский отвечает на предложение Бунина поставить в Художественном театре Шекспира: «При первом случае обратимся к вам. Пока репертуар будущего сезона не выяснен. Правда, что Крэг приглашен и будет работать в театре. Для него, как англичанина, приятнее всего было бы поставить Шекспира. Мы думаем об этом...»

Письмо Вл. И. Немировича-Данченко (январь 1910 г.) содержит просьбу выступить 17 января с воспоминаниями о Чехове («Не много. Минут 15—20. Очень, очень просим»).

Н. Е. Эфрос 14 октября 1908 г. предлагает участвовать в сборнике, посвященном 10-летию Художественного театра; его письмо от 17 января 1910 г. связано с 50-летием со дня рождения Чехова.

20 февраля 1908 г. А. И. Южин приглашает Бунина на заседание юбилейного комитета по чествованию Л. Н. Толстого, а 17 февраля 1915 г. благодарит его за присылку «дорогого подарка», пишет о «радости читателя» и «желает всех радостей книготворчества».

Письмо Н. Н. Ходотова (1909) касается пьесы С. Д. Разумовского (Махалова) «Сторожевые огни», рекомендованной Буниным для Александринского театра.

Постоянными корреспондентами Бунина в 1910-е годы были писатели начинающие. Упомянем четырех из них. М. М. Пришвин пишет 30 ноября 1914 г.: «Меня очень радует ваше приглашение издавать свои книги у вас. Мне было бы много приятнее при помощи вашего издательства стать на собственные ноги».

И. М. Касаткин (3 п., 1914), посылая Бунину свои произведения, отмечает его «светлый талант» и сообщает: «последние два-три года я жил только вами, как художником, восторг и удивление переживал над каждой новой строкой вашей».

«Извините за второе обращение,— писал 11 мая 1912 г. В. И. Костылев,— но вы для меня действительно дороги, как первый писатель, с которым меня свела судьба в дни моих первых литературных опытов...» (еще одно письмо Костылева не датировано).

Колоритное письмо В. П. Катаева 13 августа 1914 г. приводим почти целиком: «В виду того, что на этих днях я выезжаю из Одессы с санитарным поездом на театр военных действий, очень прошу назначить мне обещанный „осенний“ день и час, дабы я мог с вами проститься и узнать ваше мнение о моих последних 5—6 вещицах, в которых нет ни одного слова лжи. Из рекомендованных вами книг, ни одной не прочел по причине лени. Хотя надеюсь наверстать потерянное после окончания кампании».

Можно упомянуть еще несколько писем предреволюционных лет. Это два письма И. Л. Толстого (1913) с сообщениями о работе над своими воспоминаниями; четыре дружеских, хотя и не слишком содержательных письма Л. А. Авиловой (1912—1915); мрачное письмо И. С. Шмелева 1 марта 1916 г. («Мне очень тяжело, скучно ото всего. Так все темно кругом... Прочитал ваши стихи в „Летописи“. Чудесно, глубоко, тихо. Лучше я и сказать не могу. Я их выучил наизусть. Я ношу их в себе... Творите, вливайте теплое слово в проклятый грохот!»); письмо К. А. Тренева из Симферополя 1 февраля 1917 г., в котором он пишет об устройстве «бунинского вечера»; письмо И. А. Новикова 7 апреля 1917 г., в котором он просит Бунина принять участие в сборнике, издаваемом «в пользу политических освобожденных».

Писем, адресованных Бунину за эмигрантский период, очень мало. Все они относятся к 1933 г. и связаны с присуждением ему Нобелевской премии; большей частью это поздравительные письма и телеграммы, в достаточной степени стандартные, хотя среди поздравляющих и много крупных деятелей культуры: А. К. Глазунов, А. Т. Гречанинов, М. В. Добужинский, С. В. Рахманинов, М. И. Цветаева и Сельма Лагерлёф.

Кроме описанных выше, в ЦГАЛИ хранятся письма следующих корреспондентов Бунина: В. Я. Абрамовича — 2 п., 1904; М. В. Аверьянова — 2 п., 1906—1912; Н. П. Азбелева—13 п., 1905—1912; Д. Я. Айзмана— 1 п., 1915; В. А. Александровой— 1 п., 1952; Л. А. Алмазова — 1 п., б. д.; С. В. Аникина — 1 п., б. д.; А. Анненского — 1 п., б. д.; М. Ано (Anault) — 1 п., 1914; М. П. Арцыбашева — 3 п., б. д.; Н. С. Ашукина — 1 п., 1916; Л. С. Баткиса — 2 п., 1910—1912; В. В. Башкина—3 п., б. д.; М. Бирка — 1 п., 1898; Г. Г. Блюменберга—1 п., 1908; П. Д. Боборыкина — 8 п., 1907—1909; А. М. Борисова — 1 п., б. д.; Б. Бочкарева — 1 п., 1909; В. В. Брусянина — 1 п., 1915; Е. Букавина — 1 п., 1909; Е. И. Буковецкого — 2 п., 1910, б. д.; Ю. А. Бунина — 1 п., 1916; М. Бякина — 1 п., 1912; Л. М. Василевского — 3 п., 1908—1912; М. В. Ватсон — 1 п., 1913; С. А. Венгерова — 8 п., 1909—1915; Ю. Н. Верховского — 1 п., 1907; А. Н. Веселовского — 1 п., б. д.; Ю. А. Веселовского — 1 п., б. д.; П. В. Вигилева — 1 п., б. д.; С. И. Волкова — 1 п., 1912; М. Волконской — 1 п., б. д.; З. И. Воронец — 1 п., б. д.; Г. А. Вяткина — 5 п., 1914—1915; Л. И. Гальберштадта — 1 п., 1909; М. П. Гальперина —2 п., 1916; Р. Гейне—1 п., 1907; Н. Д. Георгандопуло—2 п., 1919, б. д.; В. М. Гнатюка—1 п., 1913; Н. И. Гнетнева — 1 п., 1910; В. А. Гольцева — 2 п., 1899—1904; В. А. Горлицкого — 1 п., б. д.; С. М. Городецкого — 1 п., 1907; А. М. Горького — 1 телеграмма, 1915; В. В. Гофмана — 1 п., б. д.; З. И. Гржебина—4 п., 1907, б. д.; Л. П. Гроссмана—1 п., б. д.; П. К. Губера — 1 п., б. д.; А. А. Давыдовой — 4 п., 1893, б. д.; А. Б. Дермана — 1 п., 1917; К. И. Диксона — 1 п., 1911; Н. К. Дронникова— 1 п., 1908; М. С. Дудченкова—1 п., б. д.; В. Е. Жаботинского— 1 п., 1900; М. Зеликсона—1 п., 1913; Л. Н. Зилова — 1 п., 1915; А. Зиненко — 1 п., 1912; А. А. Зонова — 1 п., б. д.; А. А. Измайлова — 3 п., 1912, б. д.; Н. А. Карева — 4 п., 1913—1915; Л. О. Кармена — 1 п., б. д.; А. В. Карташова — 1 п., 1933; С. М. Карышевой (Раум) — 1 п., б. д.; Е. П. Ковалевского — 2 п., 1933; В. А. Кожевникова — 13 п., 1903—1905; П. А. Кожевникова — 1 п., 1905; Л. С. Козловского — 3 п., 1913—1916; С. С. Кондурушкина — 6 п., 1908—1909; Е. И. Коновицер — 1 п., б. д.; С. Ю. Копельмана—1 п., б. д.; Н. А. Котляревского — 1 п., 1912; В. В. Котляревской—1 п., 1912; А. Р. Крандиевской—1 п., б. д.; Н. В. Крандиевской—1 п., б. д.; С. А. Кречетова (Соколова) — 4 п., 1908, 1933; М. В. Крыловой— 1 п., б. д.; Л. А. Куперника—1 п., 1903; М. К. Куприной—2 п., б. д.; Л. П. Куприяновой — 1 п., б. д.; В. Курова — 2 п., 1904; В. Н. Ладыженского — 2 п., 1908—1913; Б. А. Лазаревского — 3 п., 1908; В. А. Ланина — 1 п., б. д.; А. П. Легарова — 1 п., 1916; Н. Леонова — 1 п., 1915; Лери (В. В. Клопотовского) — 1 п., 1933; В. Л. Львова-Рогачевского — 2 п., б. д.; И. О. Лялечкина — 12 п., 1892—1894; Е. Е. Ляцкого— 1 п., 1912; С. К. Маковского — 2 п., 1909; Г. Маленберга — 1 п., 1907; Л. М. Медведева — 4 п., б. д.; И. С. Мельника — 5 п., 1902; Н. М. Мешкова—3 п., 1913—1914; А. Милорадовича — 1 п., 1916; И. И. Морозова—1 п., 1916; В. А. Морозовой —1 п., 1917; В. В. Муйжеля — 1 п., 1913; П. Н. Муромцева — 1 п., 1907; П. В. Мурашева — 2 п., 1912; монаха Нектария — 1 п., 1903; А. В. Неручева — 2 п., 1894—1895; А. Г. Николаева — 1 п., 1915; И. А. Новикова — 1 п., 1917; В. П. Обнинского — 1 п., 1912; Д. Н. Овсянико-Куликовского — 7 п., 1912—1916; Н. Ф. Олигера — 2 п., 1908; ⟨В. П. Острогорского⟩—1 п., б. д.; Ф. Павлова—1 п., 1893; Н. А. Панова—1 п., 1894; О. Пенувмана — 1 п., 1912; Е. К. Петранокиной—1 п., 1909; П. Л. Плохова— 1 п., 1907; Б. М. Попова — 2 п., 1905; И. А. Порошина — 1 п., 1909; В. П. Португалова— 1 п., 1911; В. А. Потресова — 1 п., б. д.; Н. Е. Пояркова — 12 п., 1906—1908; С. В. Рахманинова — 2 п., 1901, б. д.; Н. Л. Репина-Славинского — 1 п., б. д.; О. Розенрема — 1 п., 1908; А. Г. Розентула — 2 п., 1915; Н. Я. Рощина — 7 п., 1946—1949 (ф. 2204, оп. 1, ед. хр. 128); А. А. Рубец—2 п., 1933; М. В. Сабашникова—5 п., 1913—1917; В. Ф. Саводника — 1 п., б. д.; Я. Л. Сакера — 2 п., 1912; П. Н. Сакулина —

3 п., 1912—1918; С. Т. Семенова — 1 п., 1910; А. П. Семенова-Тян-Шанского —2 п., 1918; В. П. Семенова-Тян-Шанского — 1 п., 1917; М. А. Славинского — 1 п., 1909; Н. М. Соколова — 1 п., 1893; Ф. К. Сологуба— 6 п., 1907—1908; Л. Н. Старка — 1 п., 1913; И. Л. Сысоева — 1 п., б. д.; Е. М. Тарасова— 2 п., 1907; В. Г. Тардова— 2 п., 1915, б. д.; Е. А. Телешовой —1 п., 1917; Д. И. Тихомирова— 3 п., 1901—1904; И. М. Трегубова —1 п., 1894; Д. Н. Трояновского —1 п., б. д.; П. А. Тулуба — 2 п., 1912—1913; В. В. Уманова-Каплуновского —1 п., 1912; Н. Н. Фатова —1 п., 1916; А. М. Федорова —1 п., 1907; Л. К. Федоровой—1 п., б. д.; Э. В. Фехнер — 1 п., 1912; Ф. Ф. Фидлера — 2 п., 1915; В. М. Фишера—1 п., 1904; Е. Л. Фрелих — 1 п., 1905; Л. А. Хитрово — 1 п., 1914; К. Г. Хохлова — 1 п., 1915; А. П. Чарушникова — 1 п., б. д.; М. П. Чехова— 1 п., 1907; Н. Шатуновского — 1 п., б. д.; А. А. Шахматова — 1 п., 1913; Э. Шимана — 3 п., 1912; Р. Шифмана — 1 п., 1902; И. В. Шкловского (Дионео) — 1 п., 1914; Н. Штенберг — 1 п., б. д.; В. А. Шуфа — 1 п., 1896; А. С. Элиасберга— 1 п., 1901; Э. П. Юргенсона—1 п., б. д.; А. А. Яблоновского — 2 п., б. д.; Г. А. Яблочкова— 4 п., 1912—1915; неустановленных лиц — 7 п., 1910—1914, б. д.

Особый раздел фонда Бунина составляет его *деловая переписка, договора и соглашения с издательствами и редакциями периодических изданий*. Здесь хранятся письма *издательств*: «Донская речь» (1903), «Знание» (1902—1910), изд-во К. Ф. Некрасова (1914), «Книгоиздательство писателей в Москве» (1915 — 1916), изд-во П. П. Сойкина (1903), «Московское книгоиздательство» (1907), «Общественная польза» (1910), «Освобождение» (1909), «Пантеон» (1909), «Парус» (1917), «Посредник» (1894), «Проблески» (1915), «Солнце» (1909); «Творчество» (б. д.), «Универсальная библиотека» (б. д.), «Шиповник» (1906—1909); *журналов*: «Адская почта» (1906), «Аполлон» (1909—1910), «Армянский вестник» (1916), «Библиографическая библиотека» (1894), «Бодрое слово» (1908), «Вестник Европы» (1909—1912), «Всеобщий ежемесячник» (1912), «Голос» (1908), «Детское чтение» (1897), «Еврейская жизнь» (1916), «Еврейский мир» (б. д.), «Живое слово» (б. д.), «Живописное обозрение» (1902), «Жизнь» (1914), «Жупел» (1906), «Журнал для всех» (1901—1912), «Журнал журналов» (1916), «Золотое руно» (1906—1908), «Искра» (1910), «К истине» (1910), «Летопись» (1915—1916), «Литературный календарь» (1908), «Мир божий» (1904—1907), «Молодые порывы» (1908), «Наш журнал» (1910—1911), «Нива» (1913—1915), «Новая жизнь» (б. д.), «Новое слово» (1906), «Огонек» (1909), «Отечество» (1915), «Неревал» (1906), «Пробуждение» (1907), «Путь» (1912—1913), «Русская мысль» (1907—1912), «Север» (1892), «Северное сияние» (1908—1909), «Северные записки» (1914—1916), «Современник» (1913), «Современный мир» (1907—1916), «Юная Россия» (1908); *газет*: «Биржевые ведомости» (1913—1915), «Всеобщая газета» (1911—1913), «Жизнь и школа» (1907), «Новая жизнь» (1917), «Новости» (1893), «Русская молва» (1913), «Русское слово» (1912—1913), «Самарский курьер» (б. д.), «Северо-западное слово» (1902), «Солнце России» (1914), «Утро России» (1909), «Южное обозрение» (б. д.). Тут же хранятся всевозможные счета, расчеты и другая денежная документация. Все эти материалы могут иметь значение для изучения вопроса об издании и публикации бунинских произведений.

Ряд *официальных документов* касается избрания Бунина почетным членом Общества любителей Российской словесности (1912) и членом попечительского Совета Бахрушинского музея (1913), присуждения ему Пушкинских премий Академии наук (1903, 1909, 1915), избрания его почетным академиком (1909), награждения золотой медалью имени А. С. Пушкина (1911).

Особое место занимают юбилейные материалы: адреса, поздравительные письма и телеграммы в связи с 25-летием литературной деятельности Бунина (1912). Среди них приветствия от «Среды», от Суриковского кружка, от Литературно-драматического и музыкального общества им. А. Н. Островского, от журналов и газет, а также от многих писателей и деятелей искусств; аналогичные материалы связаны с избранием почетным академиком.

В фонде Бунина хранится значительное количество *газетных и журнальных вырезок* со статьями, рецензиями и отзывами о книгах Бунина, об его выступлениях. К дореволюционному периоду относятся лишь несколько вырезок со статьями С. А. Ауслендера, В. В. Брусянина, А. Е. Грузинского, Ю. В. Соболева, С. Д. Фомина; все же остальное датируется 1921—1952 гг. (ед. хр. 143—158, около 350 л.). В основном это отзывы эмигрантской печати (9 ед. хр., около 250 л.). Здесь собраны рецензии на книги Бунина, вышедшие за рубежом в последние три десятилетия его жизни,— сборники «Чаша жизни» (Париж, 1921), «Крик» (Берлин, 1924), «Роза Иерихона» (Берлин, 1924), «Последнее свидание» (Париж, 1927), «Солнечный удар» (Париж, 1927), «Избранные стихи» (Париж, 1929), «Божье древо» (Париж, 1931), «Темные аллеи» (Париж, 1946), а также на отдельные произведения — «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого», «Воспоминания» и др.

В большинстве своем эти отзывы носят пристрастный, можно сказать апологетический характер — литературное имя Бунина высоко котировалось почти во всех эмигрантских кругах вне зависимости от их внутренней политической ориентации. Но все же оттенки были. Вокруг его новых книг нередко разгорались литературные споры, так как на фоне общего кризиса эмигрантской литературы каждое новое произведение Бунина становилось большим литературным событием. Среди этих отзывов есть статьи и рецензии В. Ф. Ходасевича, Саши Черного, М. А. Алданова, Зинаиды Гиппиус и других. На многих вырезках встречаются пометы Бунина, а иногда и реплики-возражения.

Отзывы иностранной печати в ЦГАЛИ почти отсутствуют (они хранятся в ГМТ и в ИМЛИ). Исключение составляет машинописная копия отзыва Рене Гиля о французском издании сборника «Чаша жизни» («Le Calice de la vie». Paris, 1921) — см. «Материалы», стр. 202—203.

Около 100 л. составляют газетные информации (эмигрантской и иностранной прессы) о присуждении и вручении Бунину Нобелевской премии (1933).

В ЦГАЛИ хранится девять *книг и оттисков с дарственными надписями Бунина*: Е. А. Телешовой («Стихотворения». СПб., 1903; «Манфред». СПб., 1904; «Стихотворения». СПб., 1906; «Судохол». М., 1912; «Сны Чанга» — оттиск из альманаха «Творчество», кн. 2. М., 1917); Ю. В. Соболеву («Иоанн Рыдалец». М., 1913; «Сны Чанга» — оттиск из того же альманаха); А. М. Федорову («Суходол». М., 1912); С. Г. Скитальцу («Иоанн Рыдалец». М., 1913). Последние две книги находятся в ф. 484 (оп. 2, ед. хр. 113), остальные — в библиотеке ЦГАЛИ.

*Изобразительные материалы*, связанные с Буниным, составляют 28 ед. хр. Наиболее интересны два портрета Бунина (рис. Ю. К. Арцыбушева, 1919; ф. 2388, оп. 1, ед. хр. 5; один из них см. настоящ. кн., стр. 451), а также фотографии Бунина с его пометами (1891—1913; см. настоящ. том, кн. 1, стр. 61, 177, 229, 289, 437, кн. 2, стр. 277) и дарственными надписями: П. С. Когану (1915; ф. 2270, оп. 2, ед. хр. 302), А. П. Ладинскому (1932; ф. 2254, оп. 1, ед. хр. 160), К. М. Симонову (1946; ф. 1814, оп. 1, ед. хр. 1136).

Среди групповых фотографий отметим снимки: Бунин и Леонид Андреев (1902); Бунин, С. А. Найденов и А. М. Федоров (1903); Бунин и Телешов (1910).

45 фотографий членов «Среды» с дарственными надписями Бунину хранятся в альбоме, подаренном ему «Средой» в день 25-летия его литературной деятельности (1912; пять фото из этого альбома см. в настоящ. томе, кн. 1, стр. 581, 600, 601; кн. 2, стр. 170, 455). В бунинском фонде хранятся также четыре фотографии с дарственными надписями Бунину Чехова (1901; см. «Лит. наследство», т. 68, стр. 397), Куприна (без даты; см. настоящ. том, кн. 1, стр. 333), М. Ф. Андреевой (1900) и А. М. Федорова (1910).

В фонде Бунина сохранилось несколько *рукописей других писателей*, очевидно присланных ему на отзыв,— стихотворения В. А. Гиляровского, С. Д. Дрожжина, А. А. Коринфского, И. А. Новикова, А. М. Федорова и др. Там же находится авто

граф А. В. Луначарского — сонет, посвященный Бунину («Ты знаешь тень и блеск и радость и печаль...»; 1909). В фонде Куприна хранится его эпиграмма на Бунина (⟨1900-е годы⟩; ф. 240, оп. 1, ед. хр. 122), в фонде В. И. Стражева — его пародии (ф. 1647, оп. 3, ед. хр. 2).

Имя Бунина часто упоминается в письмах многих современников, в критических статьях, в воспоминаниях о литературном движении начала XX в. и других документах. Количество этих упоминаний очень велико, и обзор их требует специальных разысканий.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ И. С. ТУРГЕНЕВА В ОРЛЕ

Основу бунинского фонда ГМТ составляют материалы дореволюционного архива писателя (1885—1917), в 1956—1964 гг. по частям приобретавшиеся у К. П. Пушешниковой. В 1957—1971 гг. ряд материалов поступил от В. Н. Бониной и Л. Ф. Зурова (Париж), от А. Н. Цакни и А. М. Буковецкой (Одесса), Е. А. Громовой и А. Н. Тимофеевой (Орел), М. А. Орской-Фабриковой (Таганрог), Н. Я. Рощина (Москва), Т. Д. Муравьевой-Логиновой (Франция) и других лиц.

В настоящее время фонд Бунина содержит 1548 ед. хр. (1759—1947). В состав его входят: творческие рукописи — проза, стихи, литературно-критические статьи, мемуары, разного рода фрагменты, заметки и наброски (100 ед. хр.—около 470 л.); переписка Бунина и его деловые бумаги (703 ед. хр.— 1349 документов); произведения других авторов в записях Бунина или с его редакторской правкой (7 ед. хр.); отзывы о произведениях Бунина (вырезки из русских и зарубежных газет, многие с пометами писателя — 559 ед. хр.); книги с пометами и автографами Бунина (5 ед. хр.); изобразительные материалы (126 ед. хр.); письма третьих лиц с упоминаниями о Бунине (19 ед. хр., 202 документа); служебные и имущественные документы рода Буниных и Чубаровых (XVIII — XIX вв.— 29 ед. хр.).

Начиная с 1956 г., многие документы из собрания ГМТ публиковались в периодических изданиях, альманахах, сборниках и «Ученых записках»; они широко использованы в книгах В. Н. Афанасьева («И. А. Бунин. Очерк творчества». М., 1966) и А. К. Бабореко («Материалы»). Однако этими публикациями содержание бунинского архива далеко не исчерпано — его научная разработка еще впереди.

В ГМТ хранятся творческие рукописи 18 *прозаических произведений* Бунина (27 ед. хр.; 197 л.). Три из них принадлежат к числу его первых опытов (1886—1887), 14 — рассказы 1913—1918 гг., одна рукопись относится к эмигрантскому периоду (1923). В большинстве своем это полностью сохранившиеся черновые или беловые автографы, а также авторизованные машинописные копии или гранки с авторской правкой; кроме того, есть здесь обширные фрагменты и отдельные разрозненные листы автографов, остальная часть которых либо утеряна, либо хранится в других архивах. Ни одна из этих рукописей и корректур в Собр. соч. 1965—1967 не учтена — ниже отмечается отношение их к первым публикациям.

Одно из первых произведений Бунина-прозаика — повесть «Увлечение» (беловой автограф; на л. 1 и 53 об. даты: «Начато осенью 1886 года»; «1887 года 26 марта»; № 963, 57 л.). Рукопись носит следы более поздней (судя по чернилам) незавершенной авторской правки. Полностью повесть не публиковалась; начало ее и заключительные строки цитирует Гольдин (стр. 15—16). В «Увлечении» уже заметно характерное для бунинского пейзажа внимание к звуковым и цветовым деталям; стремится молодой писатель и к фиксации особенностей народной речи.

К этому же времени относятся два прозаических отрывка: «Я помню себя маленьким мальчиком...» (беловой автограф, дата: «1887 г.»; № 966, 4 л.) и «Свет жизни» (беловой автограф, ⟨1886—1887⟩; № 962, 2 л.). Оба они впервые публикуются в настоящем томе (кн. 1, стр. 133—137; первый отрывок — под условным названием «Песня жаворонка»).

Машинопись рассказа «Илья Пророк» (позднее — «Жертва»; № 2739, 5 л.) имеет авторскую правку, подпись и дату: «Утро 17/30 янв. 1913 г. Капри»; разночтений с первой публикацией («Современный мир», 1913, № 3) нет.

Недатированная машинопись рассказа «В Красном море» (позднее — «Копье господне»; № 2736, 10 л.), выправленная и подписанная автором, имеет мелкие разночтения с первой публикацией («Русская молва», 1913, № 88, 10 марта).

Черновой автограф рассказа «Иоанн Рыдалец» (№ 2741, 5 л.) имеет авторскую подпись и дату: «3 марта (18 февраля) 1913 г. Капри»; расхождений с первой публикацией («Вестник Европы», 1913, № 4) нет.

Черновой автограф «Песни о гоце» (№ 791, 3 л.) имеет помету: «20.III.1916 года. Глотово. Ив. Бунин». Текст его не отличается от первой публикации («Орловский вестник», 1916, № 81, 10 апреля; то же — «Донская речь», 1916, № 81, 10 апреля). Сохранился также фрагмент белового автографа (последний лист) с авторской подписью, без даты (№ 791/2).

Две редакции рассказа «Аглая» (машинопись, без даты, с авторской правкой и подписью; № 792 и 2738) почти не отличаются друг от друга и от первой публикации («Летопись», 1916, № 10). Первая редакция («Жертва немудрая») сохранилась лишь частично (8 л. из 13: 1—6 и 12—13); вторая («Аглая, или Жертва немудрая») — полностью (12 л.).

Описание рукописей рассказов «Петлистые уши» (№ 2742—2746), «Сны Чанга» (№ 2750, 2751) и «Святки» (позднее — «Старуха»; № 2749) см. в статье Л. В. Крутиковой «В мире художественных исканий Бунина» (настоящ. кн., стр. 92—95, 105—115, 118—120).

Рассказ «Третьи петухи» имеет два незавершенных и недатированных наброска. Первый — начало рассказа (без заглавия, № 3894/1, 1 л.). Второй («Третьи петухи», № 3894/2, 1 л.) вначале близок к первой публикации («Русское слово», 1916, № 298, 25 декабря), затем изложение событий сменяется отдельными заметками.

Черновой автограф рассказа «Постом» (позднее — «Пост»; без даты, № 3893, 1 л.) имеет многочисленные разночтения с первой публикацией («Русское слово», 1916, № 298, 25 декабря), которые дают богатый материал для наблюдений над процессом работы Бунина-стилиста.

Два черновых недатированных автографа рассказа «Исход» («Письмо» — № 2748, 4 л.; фрагмент без заглавия— № 985, 1 л.) значительно отличаются от первой публикации (альманах «Скрижаль», Пг., 1918).

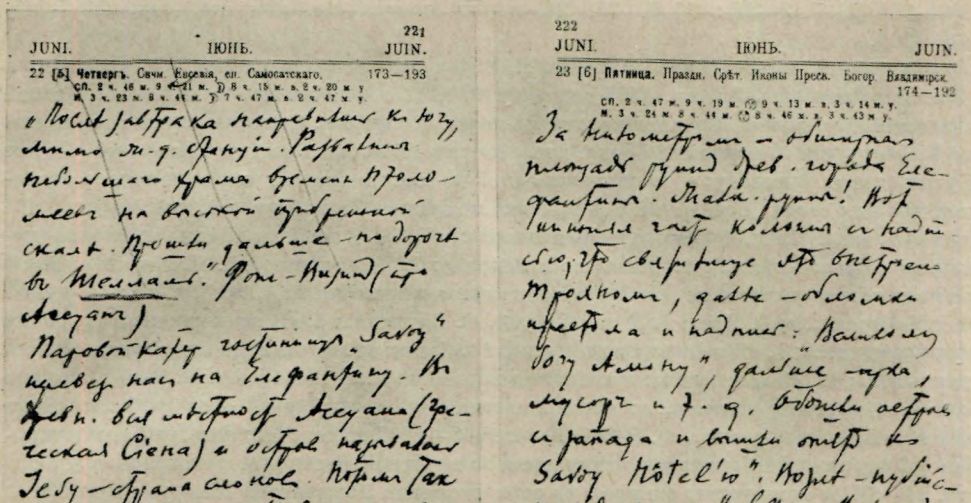
Черновой автограф рассказа «Изба в поле» (позднее — «Зимний сон», без даты; № 2740, 2 л.) имеет значительные расхождения с первой публикацией (газ. «Раннее утро», 1918, № 9427, 21/8 марта).

Авторская корректура рассказа «Грамматика любви» (без даты; № 3773, 4 л.) существенных исправлений не имеет и совпадает с первой публикацией (альманах «Клич». М., 1915).

Авторская корректура рассказа «Соотечественник» имеет два исправления, авторскую подпись и дату: «17 авг.». Текст ее совпадает с первой публикацией.

Авторская корректура рассказа «В ночном море» (№ 594, 5 л.) имеет авторскую правку и дату «1923». Она почти соответствует окончательной редакции (сб. «Митина любовь», Нью-Йорк, 1953; Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 98—107), но в отличие от нее, не имеет указания на место написания рассказа. Вероятно, это гранки первой публикации (альманах «Окно», кн. III. Париж, 1924).

В ГМТ хранятся автографы 112 *поэтических произведений* Бунина (1885— 1913). Весьма разнообразные по своим жанровым признакам (поэма, любовная и пейзажная лирика, послания, переводы и т. д.), они в большинстве своем принадлежат к первым литературным опытам Бунина и отражают историю становления его поэтического дарования. Большая часть этих стихов (около 80) никогда не публиковалась, некоторые затерялись на страницах периодической печати 1880—1890-х годов, и только отдельные из них вошли в более поздних редакциях в Собр. соч. 1965—1967 (т. 1 и 8).



221
JUNI. ІЮНЬ. JUIN.
22 [5] Четверг. Свчч. Евсевія, еп. Самосатскаго. 173—193
сп. 2 ч. 46 м. 9 ч. 21 м. ☽ 8 ч. 15 м. в. 2 ч. 20 м. у.
м. 3 ч. 23 м. 8 ч. 41 м. ☽ 7 ч. 47 м. в. 2 ч. 47 м. у.

222
JUNI. ІЮНЬ. JUIN.
23 [6] Пятница. Празд. Срѣт. Иконы Пресв. Богор. Владимірск. 174—192
сп. 2 ч. 47 м. 9 ч. 19 м. ☽ 9 ч. 13 м. в. 3 ч. 14 м. у.
м. 3 ч. 24 м. 8 ч. 41 м. ☽ 8 ч. 46 м. в. 3 ч. 43 м. у.

## ПУТЕВЫЕ ЗАПИСИ БУНИНА, СДЕЛАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В ЕГИПЕТ

**Автограф, 1911**

**Музей И. С. Тургенева, Орел**

Ранняя поэзия Бунина почти не привлекала внимания исследователей (за исключением Гольдина, посвятившего ей несколько страниц,— Гольдин, стр. 8—13). Но это та начальная ступень развития поэта, без изучения которой едва ли возможно правильно прочесть многие страницы его творческой биографии. Собрание ГМТ дает обширные источники для такого исследования.

Большинство юношеских стихотворений Бунина сосредоточено в четырех беловых тетрадях, куда переписывались уже готовые, «отработанные» стихи (об этом свидетельствуют заголовки тетрадей, почерк и порядок записей).

Самая ранняя из них значится в описи ГМТ под условным названием «Тетрадь стихотворений И. А. Бунина 1886 года» (крайние даты: «26 января 1886 года» и «17 сентября 1886 года»; № 982, 27 л.). Обложка и первый лист утрачены. Тетрадь содержит 26 стихотворений (нумерация авторская; № 1 утрачен, № 22 пропущен): 2. Зимней ночью в лесу; 3. Весенняя песенка; 4. «Весело в поле весною бродить...»; 5. К Д**; 6. «Много я жарко любил...»; 7. На деревенском кладбище; 8. На ниве; 9. Умирающий христианин (из Ламартина); 10. Ночью; 11. «Давно ль молчаливая, тихая ночь...»; 12. Музыка вечера; 13. После дождя; 14. Поздравление от имени Н. Г. Р. Иосифу А. Ромашкову; 15. «Когда тоскую я порою...»; 16. «Поэт! Когда перед тобой...»; 17. Жалобы елей; 18. Полевые цветы; 19. «Порою при солнце, на водах...»; 20. «Звезды на небе зажглися...»; 21. «Отчего так печальна природа?..»; 23. Из Шиллера. Альпийский охотник; 24. Лесной царь (из Гете); ⟨без номера⟩. Из Шиллера. Начало нового века; 25. Весенние порывы; 26. Картинки; 27. Весенней ночью. № 18 вошел в Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 56); № 2—4, 8, 10—12, 16 см. настоящ. том, кн. 1, стр. 234,

236—241 (№ 7, 9—16); № 9, 23, 24 и без номера см. там же, стр. 214—215, 206—208.

Вторая тетрадь числится в описи ГМТ под условным названием «Стихотворения „Ужасные мгновенья“ и др. 1887 года» (№ 983, 12 л.). Обложка ее оторвана. На ней значится: «Ив. Бунин. Сочинения стихотворные. Книга 5-я. Стихотворения с 15 января по 15 февраля и 15 марта 1887 года, дер. Озерки (Елецкого уезда), 4 февраля». Позже Бунин сделал приписку: «Это обложка одной из моих тетрадей, что я сшивал собственноручно для своих „сочинений“. В почерке подражал Пушкину» (см. илл. на стр. 133 настоящ. кн.). На л. 1 сверху вторая помета: «1887». В тетради 15 стихотворений (нумерация наша.— *Л. А.*): 1. Ужасные мгновенья; 2. Над могилой С. Я. Надсона; 3. «Я не могу того скрывать...»; 4. «Я с каждым днем смотрю на мир...»; 5. «Забытые думы, забытые грезы...»; 6. Поэт; 7. К портрету А. С. Пушкина; 8. «В венке из свежих роз я Музу увидал...»; 9. «Я не завидую тому...»; 10. Сонет; 11. «Красавиц стройных рой прелестный...»; 12. «Мы все рабы: в холодном подземелье...»; 13—15. [А. В. Р-ой]. «Солнце зашло за курганы далекие...»; «Вечер настанет и каждый раз образ твой...»; «Спит земля, и небо, и курганы...»). В Собр. соч. 1965—1967 вошел № 2; автограф его датирован («4 февраля 1887 года») и отличается от печатной редакции, в которой опущены стр. 11—14 и отсутствует эпиграф из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (т. 1, стр. 455). Остальные стихи, за исключением № 4, 9 и 11, публикуются в настоящ. томе (кн. 1, стр. 241—247, № 17—27).

Третья тетрадь озаглавлена: «Ив. Бунин. Петр Рогачев. Поэма в трех песнях (из личных воспоминаний). Песня первая. (Начата 27 февраля, кончена 5 марта). 1887 год. Сельцо Озерки, Ел⟨ецкого⟩ уезда» (№ 960, 8 л.). Впервые опубликовано: Гольдин (стр. 41—48).

Четвертая тетрадь значится в описи ГМТ под условным названием: «Тетрадь со стихами И. А. Бунина. 1887 ⟨?⟩» (№ 974, 22 л.). Обложка утрачена. На л. 1 — заглавие: «Стихотворения И. А. Бунина». Тетрадь содержит 36 стихотворений (нумерация наша.— *Л. А.*): 1. «Не шумный бал, увенчанный цветами...»; 2. Из записной книжки; 3. «Ночь тиха. Голубые зарницы...»; 4. В глуши; 5. Из дневника; 6. В ясный вечер; 7. Белые туманы; 8. «О, если б ты знала, с какою тоскою...»; 9. «Нет, не мани меня на шумное веселье...»; 10. Ласточки; 11. «Горяч весенний день...»; 12. «Прочь тоскливые думы...»; 13. «Я глядел, как луна поднялась над горой...»; 14. «Я поздно лег вчера...»; 15. Заветная песня; 16. Поэт-нищий; 17. «Посвящается А.В.Р.»; 18. «В душной избе, под напевы метели...»; 19. Одинокая ель; 20. Картины; 21. «Кто испытал и тоску и мученья...»; 22—24. Летние песни (I. «Не цветов бирюзовые глазки...»; II. «Месяц светит на сад...»; III. «Ночь побледнела и месяц садится...»); 25. В лесу; 26. «Ненастные дни и туманные ночи...»; 27. «Не томись бесплодно думою тяжелой...»; 28. «Окутано небо ненастною мглою...»; 29. «Клавиши рояля тихо напевали...»; 30. «О, если б жизнь моя спокойно, безмятежно...»; 31. «Он говорил в тоске тревожной...»; 32. «Слышишь? Вопли и рыданья...»; 33—36. «Песни былых годов» (I. «Я любил сенокос...»; II. «То было чудное мгновенье...»; III. «О, согрей меня счастьем любви...»; IV. Весенние думы). Все эти стихи относятся к 1887 г. (за исключением № 33—36 — они имеют помету: «Из стихотворений за 1885 и за зиму 1886 года»). № 10 и 16 см. Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 57, 53; остальные стихи (за исключением № 6, 12, 15, 17, 19—21, 29, 32) см. настоящ. том, кн. 1, стр. 250—255 (№ 33—41), 255—256 (№ 43—44), 262 (№ 55), 256—258 (№ 45—48), 262—263 (№ 57), 261 (№ 53—54), 259 (№ 49—50); 232—234 (№ 3—6).

К концу 1885 г.— началу 1886 г. относятся (судя по бумаге, почерку и отдельным датам) 10 вырезок из несохранившейся тетради: четыре фрагмента и шесть законченных стихотворений — «За годом канет в вечность год...», «Когда мне грусть стесняет грудь...», «Как душу пылкую томит...», «Темнеет запад, угасая...», «Коль уныла душа...» и «К музе» (последнее стихотворение см. настоящ. том, кн. 1, стр. 235). Здесь же (№ 981/10, 39) находятся обложки двух несохранившихся тетрадей: 1) «Ив. Бунин. Сочинения стихотворные. Книга 2-я. С 16 апреля по 16 сентября (включительно) 86 года. Сельцо Озерки. 1886 года»; 2) «Ив. Бунин. Сочинения стихотворные. Книга

6-я. Стихотвор⟨ения⟩ с 15 марта по 23 апр⟨еля⟩ 87 года (включительно). 1887 год, дер. Озерки».

К 1886—1888 гг. относятся (по почерку и авторским датам) шесть стихотворений (№ 981/12, л. 1—2; 11; 15, л. 1—2): «Из Байрона» («Я видал твои слезы...», «Душа моя печальна») — см. настоящ. том, кн. 1, стр. 201—202; «Стесненный тяжелой, твердой скалою...», «Пепельным дымом опять расстилается...», «Туча промчалася...» и «Когда в минуту раздраженья...»

К 1893—1894 гг. относятся автографы (№ 981/17, 2795, 981/18, 33, 16): «Песня работника» (перевод из Т. Гуда), «Февральский ветер надо мною...», «Вот — будто в небе посветлело...», «Какие дни, какие муки!..» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 204—205, 275—277) и «Праздник Вознесения» (позднее «Вознесение Христово» — «Всемирная иллюстрация», 1895, № 20); к 1898 г. (№ 981/26, 28, 27) — «Проплыла в небесах, в небесах потонула...», «Как было радостно и ново...», «О этот вечерний прощальный привет!..» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 279—280); к 1899 г. (№ 981/31) — «Жаль мне юности мечтательной и нежной...» («Журнал для всех», 1899, № 2); к концу 1890-х годов (№ 981/23)—«Отдых» («Детское чтение», 1900, № 8); к 1901—1904 гг. (№ 981/29, 32) — «Ночного неба свод далекий...» и «Ваятелю» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 177 и 178).

Девять стихотворений 1897—1913 гг. (№ 981/22, № 2796, 3456, 2019, 2797, 2737; 981/20—22): «Молчаньем землю обнимая...», «Я уснул в грозу, среди ненастья...», «Ноябрьская ночь», «Цикады», «Светляк», «В Венеции», «Геракл. Сонеты Асныка» (3 сонета)— см. в Собр. соч. 1965—1967, т. 1 и 8 (в редакциях, в ряде случаев отличных от автографов ГМТ).

*Критические работы* Бунина в собрании ГМТ составляют 6 ед. хр. (1888—1916).

Самая ранняя из них — статья «Современная поэзия. Заметки И. А. Бунина» (незаконченный черновой автограф, ⟨1888⟩; № 965, 18 л.; по авторской нумерации — 19 л.— л. 2 утрачен). Под заглавием «Недостатки современной поэзии», с большими сокращениями, опубликована в журн. «Родина» (1888, № 28; см. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 487—494). Первая глава, за исключением начала и конца, почти совпадающая с журнальной публикацией, заканчивается словами: «Сперва надо постараться определить, в чем состоит сущность искусства вообще и каков должен быть его критерий» (л. 3). Вторая глава (л. 3—9), не вошедшая в печатный текст, является ответом на этот вопрос. «Религия, мораль, право, наука, философия и искусство — вот те средства, которые подняли человека с зоологической стадии развития»,— утверждает Бунин и продолжает: «В этом смысле все эти средства суть только средства и имеют свой raison d'être *, конечно, только ради блага Человека. Искусство, как и наука, как и право и проч., точно так же не может существовать ради самого себя; формула „искусство для искусства", взятая в абсолютном смысле, является просто абсурдом. Но отрицатели этой теории впали в другие крайности, низводя значение искусства до значения узкопрактического. Одна крайность вызвала, как это почти всегда происходит, другую, столь же нелепую» (л. 4—5). По мысли Бунина, каждый человек способен к эстетическому развитию: «Высоко-прекрасные предметы, путем постепенного воздействия на человека, могут утончать его вкус и будить дремавшие наклонности к возвышенному и прекрасному, а так как в человеке свойства души находятся во взаимодействии, то эстетическое воздействие косвенно влияет и на нравственность, а, с другой стороны, так как прекрасное, нравственное и полезное весьма часто сочетаются друг с другом, то искусство, облекая полезное в прекрасную форму, придает ему еще большее значение и цену, и в этом случае искусство, действительно, может играть серьезную практическую роль. Но ограничивать этим последним все значение искусства значит частное возвести в общее» (л. 9). Главы третья и незаконченная четвертая вошли, с незначительными изменениями, в окончательную редакцию.

---

* Право на существование (*франц.*).

Предположительно 1888—1889 гг. датируется незавершенный черновой автограф «Поэзия и отвлеченное мышление. Ст⟨атья⟩ И. А. Бунина» (№ 967, 3 л.; первоначальное название — «Будущее поэзии» — зачеркнуто). «Упадок искусств вообще, а в частности поэзии, составляет одну из отличительных черт нашего времени. Факт этот давно замечен многими»,— начинает Бунин и в подтверждение этой мысли приводит цитату из труда К. Д. Кавелина «Задачи психологии» (СПб., 1872, стр. 207—208). Далее он пытается ответить на вопрос: «объясняется ли это обстоятельство временными условиями, которые при более благоприятных житейских комбинациях могут быть устранены, или же оно является результатом самого характера и психического склада цивилизованного человека. Некоторые из весьма серьезных мыслителей склоняются к последнему мнению. К числу подобных мыслителей принадлежит, между прочим, и английский историк Маколей: „Мы полагаем,— говорит он,— что по мере того, как цивилизация подвигается вперед, поэзия почти неминуемо клонится к упадку»" (л. 2—3). С этим мнением Бунин не соглашается: «Не говоря пока ни о каких других доказательствах, достаточно одного перечисления великих поэтов и названия их произведений, появившихся в века высокой культуры и цивилизации, чтобы не сойтись в этом отношении с мнением знаменитого ученого» (л. 3; на этом рукопись обрывается).

Незавершенный черновой автограф статьи «Е. А. Баратынский» (без даты; № 3455, 13 л.) отражает первоначальный этап работы над ней и соответствует (с мелкими разночтениями) первым девяти страницам журнальной публикации («Вестник воспитания», 1900, № 6; Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 507—524).

Черновая редакция отзыва «О сочинениях Городецкого» (1911; № 2747, 10 л.) публикуется в настоящ. томе (кн. 1).

По-видимому, заготовками для неосуществленной статьи или лекции о Брюсове являются два наброска. Первый — беловой автограф без заглавия и даты (№ 984, 11 л.) — содержит ироническое изложение автобиографии Брюсова, помещенной «в лубочной „Русской литературе XX в." Венгерова», и тенденциозно подобранные выдержки из его сборника «Пути и перепутья» (т. 1. М., 1908), сопровождаемые крайне резкими оценками их; карандашная помета на л. 2 («Преод⟨оленная⟩ бездарность») свидетельствует, что Бунин вспомнил злую статью о Брюсове в кн. Ю. И. Айхенвальда «Силуэты русских писателей», т. III. М., 1910 (об этом автографе см. также настоящ. том, кн. 1, стр. 436—437). Второй автограф — черновой, предшествующий первому (№ 971, 5 л.),— построен по тому же плану: он содержит перечень стихов из того же сборника, сопровождаемый краткими оценками («хуже Ратгауза», «форменная дичь», «опять искусственная форма», «дубовые стихи», «банальный образ», «опять лубочно-трагическая история» и т. п.), и заканчивается выводом: «Остается ли хоть какое-нибудь впечатление от стихов 1892—98 г.? Никакого: поэзия и не ночевала. Все мертво, размерено. Только отзвуки ⟨нрзб.⟩. Все сочинено» (л. 4 об.). На л. 5 — запись о «новой литературе» под заглавием «Лекция» (см.: настоящ. том, кн. 1, стр. 438; тамже, на стр. 439—440 приведены основания для предположительной датировки обоих набросков второй половиной 1917 г.— началом 1918 г.).

*Автобиографические материалы* Бунина составляют 3 ед. хр.

Путевые заметки (черновой автограф ⟨январь 1911 г.⟩; № 2752, 4 л.) сделаны на случайных листках старого календаря за 22, 23, 24, 25 июня 1906 г., вероятно, сразу же после осмотра египетских древностей в окрестностях Асуана. Запись о посещении «храма времен Птоломеев» сопровождается сведениями, очевидно выписанными из путеводителя.

«Автобиографическая заметка» (машинопись с авторской правкой, № 793, 16 л.) имеет на последнем листе дату («Москва, 10 аир. 1915 г.») и помету: «Чрезвычайно прошу о самой тщательной корректуре, о полном сохранении моих знаков препинания и т. д. Ив. Бунин» (л. 1). Текст ее, с учетом авторской правки, соответствует окончательной редакции («Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1915, ч. 1, т. II; Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 253—266).

Наброски родословной (автограф, без даты, № 980, 4 л.) представляют собой родословное древо Буниных: Никон, Савва, Семен, Дмитрий, Николай, Алексей (отец пи-

сателя), Иван. Названы также второй сын Семена — Никифор и дети Дмитрия: «Ольга (девица), Катерина (жена Соймонова), Владимир, Алексей, Олимпиада (девица), Глафира (за Чапкиным)». На л. 2:

«Глафира. Анна Чапкина (по мужу Чубарова). Мать наша двоюродная племянница отцу». На л. 3—4 перечислены дети и внуки Никифора Семеновича и сыновья и дочери Алексея Дмитриевича (об этой записи и ошибках в ней см. Ю. Д. Гончаров. Вспоминая Паустовского. Предки Бунина. Воронеж, 1972, стр. 84).

В архиве Бунина сохранились *произведения других авторов, переписанные им с учебными или творческими целями* (5 ед. хр.).

«Краткий курс логики (по лекциям проф. Троицкого)» (№ 964, 12 л.; на л. 1 оттиск печатки «Иван Алексеевич Бунин» и дата «16 янв. 1887 года») — конспект труда известного русского философа-позитивиста и психолога, сделанный, по-видимому, в связи с теми занятиями, которые вел с младшим братом Ю. А. Бунин, читавший ему «начатки психологии, философии, общественных и естественных наук» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 259).

Вероятно, в середине 1880-х годов были переписаны 38 стихотворений разных поэтов: Лермонтова — «Казбеку» и «Посвящение к поэме „Демон“»; Огарева — «Еще лежит, белеясь средь полей...», «Тускло месяц дальний...», «Небо в час дозора...», «Полуднем жарким ухожу я...», «Ночная мгла безмолвие приносит...»; Фета — «Еще вчера на солнце млея...», «Жди ясного на завтра дня...», «Тихо ночью на степи...», «На железной дороге», «Буря на море вечернем...», «Утесы. Зной и сон в пустыне...», «Морская даль — во мгле туманной...», «Истрепалися сосен мохнатые ветви...», «Тихо вечер догорает...», «Влажное ложе покинувши...», «Вакханка»; Гербеля — «Видение Валтасара» (перевод из Байрона), «Подобно ласточкам...» (перевод из Дж. Крабба); Михаловского — «Надпись на кубке из черепа», «Ночью в спальне удаленной...» (перевод из Г. Лонгфелло); Михайлова — «Гимн Афродите» (перевод из Сафо); «Корабль мой на черных плывет парусах» (перевод из Г. Гейне); Майкова — «Шумит, звенит ручей лесной...», «Давно какой-то девы пенье...», «Ласточки», «От грустных дум очнувшись...»; Мережковского—«Летние, душные ночи...» (№ 970, 31 л.); Голенищева-Кутузова — «Комнатка тесная...», «Меня ты в толпе не узнала...», «Если сердцу молодому...», «Прошумели весенние воды...», «Глаз бессонных не смыкая...», «Орел», «Плакальщица», «Метель» (№ 983, 6 л.). Некоторые из этих стихов воспроизведены неточно, очевидно, они записывались по памяти. По-видимому, эти стихи в свое время служили для Бунина предметом подражания.

Выписки из писем К. Н. Батюшкова 27 ноября 1812 г. и 10 ноября 1813 г. сделаны на листе, озаглавленном «Письмо дедушки» (без даты; № 958, 1 л.). Судя по почерку, они относятся к концу 1880-х годов. По-видимому, это подготовительная стадия работы над неосуществленным произведением, так как, вычеркнув первую строку («25 мая 1819 г. Любезный друг»), Бунин записал: «Дальше выписываю из Батюшкова — из его писем — что попало, лишь бы набрать выражений и заметить себе тон».

Выписки из книги Е. В. Барсова «Памятники народного творчества Олонецкой губернии», СПб., 1876, публикуются в настоящем томе (кн. 1, стр. 414—417).

К этим материалам примыкают пометы Бунина на полях рукописи Н. А. Пушешникова «История Баальбека» — перевод книги «Hystory of Baalbek by Michel Alouf». Beyrouth, 1905 (№ 3362, 108 л.); в ГМТ хранится эта книга с автографом: «Ив. Бунин. Баальбек. 5 мая 1907» — № 3764). Вероятно, Бунин обращался к переводу Пушешникова в 1907 г., работая над очерком «Храм Солнца»,— об этом свидетельствуют пометы на полях: «NB», «Прочитано и взято», «Взято» и др.

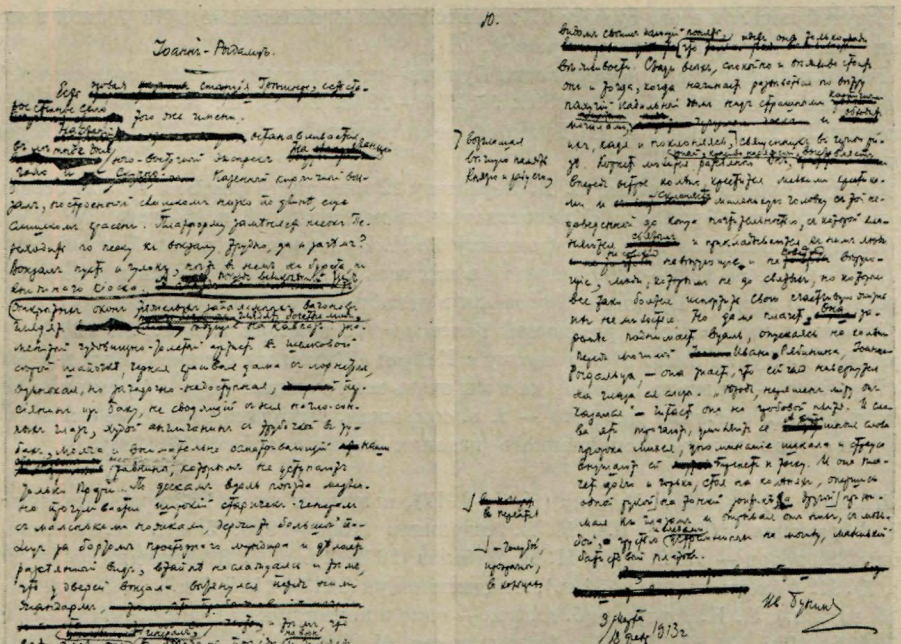
В ГМТ хранятся две *рукописи других авторов с редакторской правкой Бунина*: статья П. А. Нилуса «Ив. Бунин и его творчество» (машинопись, 1912; № 3401, 9 л.— публикуется в настоящ. кн.) и выполненный В. Н. Буниной перевод драмы Флобера «Искушение святого Антония» (⟨1916⟩; автограф и машинопись; №3364, 141 л.), который подвергся столь значительной правке Бунина, что его можно назвать соавтором этой работы.

Самую обширную часть бунинского фонда ГМТ составляет *переписка Бунина*: письма самого писателя (170 п.), письма к нему (901 п.) и телеграммы (195 телеграмм, из них 146 — в машинописных копиях).

*Письма Бунина* (1885—1947) адресованы 22 корреспондентам: Л. А., А. Н., М. А., Е. А. и Ю. А. Буниным (1885—1917, 110 п.), В. Н. Буниной (1907, 1915, 2 п.), А. П. Баранову (1896, 1 п.), Е. И. Буковецкому (1909—1911, 10 п.), В. В. Вересаеву (1913, 1 п.), С. Н. Кашкиной (1896, 1 п.; о нем см. ниже, стр. 496), В. П. Климович (1901, 1 п.), кружку «Среда» (1913, 1 п.), Е. Д. Кусковой (1917, 1 п.), Е. М. Лопатиной (1898, 2 п.), В. Н. Муромцеву (1907, 1 п.), Д. Н. Муромцеву (1907—1935, 5 п.), Л. Ф. Муромцевой (1907—1910, 5 п.), В. В. Пащенко (1890—1898, 20 п.), Н. А. Пушешникову (1910, 3 п.), Н. Я. Рощину (1943—1947, 3 п.), А. М. Федорову (1896, 2 п.), А. Н. Цакни (1898, 1 п.).

Письма Ю. А. Бунину (102 п., 1885—1917) — важнейший источник изучения биографии и творчества писателя в дооктябрьские годы. В самом раннем из них (21 мая 1885 г.) Бунин сообщал брату об экзаменах в Елецкой гимназии и о домашних новостях (№ 3282). В начале 1890-х годов он часто и подробно писал ему о работе в «Орловском вестнике» и литературных опытах, делился впечатлениями от прочитанных книг, рассказывал о своем увлечении В. В. Пащенко и разрыве с нею (№ 2772—2777).

В конце 1890-х — начале 1900-х годов Бунин писал брату о своей неудавшейся семейной жизни с А. Н. Цакни. 28 февраля 1899 г. он жалуется: «Я один среди положительно идиотской жизни музыкантов-любителей, мальчишек, беспрерывного гама в душе, музыки, пения — всего г⟨...⟩. В тревоге, усталый от пережитого, вечно чего-то ждущий и боящийся,— я положительно измучен и ничего не делаю» (№ 2811). 10 августа 1899 г. Бунин пишет: «Я дошел до того состояния, когда убивают себя,— и истерически разрыдался вчера, потому что я почувствовал — я один, я нищий, я убит и мне нет помощи. И тогда она призналась, что *не любит меня* с страшными муками. Она и теперь так убита этим, что еле жива и только твердит: я не виновата ⟨...⟩ И как бы я был рад наложить на себя руки! Вдумайся во все, во все, что я переживаю, во все семейное, житейское, литературное и в конце концов — в эту подлую, стыдную историю и ты поймешь меня, что я ничего не преувеличиваю ⟨...⟩ Нет меры тоске моей — одной тоске и ничему более — ни грусти, ни самоупоению отчаянием» (№ 2798). Тяжко переживает Бунин унизительные условия, в которых проходили его свидания с сыном и стремление родных А. Н. Цакни представить его единственным виновником семейного конфликта: «Я сразу понял, что не только они не дадут мне развода, но что, напротив, были нагло убеждены, что я дам. Поэтому я без стеснения сказал, что меня бросили нагло и что я буду добиваться развода от нее ⟨...⟩ О ребенке пока нельзя говорить, как кончит его кормить, возьму судом, а развод... Его ⟨Цакни.— *Л. А.*⟩ кабинет предоставлен мне для свиданий с ребенком каждый день — иначе я хотел устроить скандал. Хожу через день ⟨...⟩» (8 марта 1901 г., № 2805). В письмах за 1907—1917 гг. Бунин говорит о своих литературных делах, о судьбе рукописей, гонорарных расчетах, деятельности издательств и журналов. Из этих писем жизнь его на Капри или в Орловской деревне вырисовывается как непрестанный, напряженный труд. 6 сентября 1910 г. он пишет о «Деревне»: «2 сентября я отправил, наконец, рукопись. Потом дня два был в полном изнеможении» (№ 2809). 4 января 1912 г.: «... два месяца не вставали из-за письменных столов ⟨...⟩ Надо за „Суходол" садиться» (№ 2824). 13 февраля 1912 г.: «Я буквально не имею ни минуты свободной, кроме еды и прогулки,— пишу новый рассказ» (№ 2833). «Я *непременно* дам к февралю — не меньше 3 листов ⟨...⟩,— обещает Бунин 6 января 1913 г.— Сижу я за письменным столом не вставая» (№ 2843), а 1/14 марта он перечисляет названия 12 произведений, написанных в конце 1912—начале 1913 г. Часто Бунин говорит о Горьком. 29/16 декабря 1912 г. он писал, касаясь недоброжелательных разговоров по поводу своего юбилея: «„Юбилей раздули"... Да это всегда и про всех так говорят ⟨...⟩ А вон Ляцкий писал Горькому: „Это не только литературное, но и общественное событие". И Горький сам то же говорил» (№ 2816). Не скрывает Бунин и своих несогласий с ним: «Кончил и расширил рассказ про Егоркупечника и его мать,— сообщает Бунин 4 января 1912 г.,— назвал так: „Мать и сын, будничная повесть" ⟨позднее „Веселый двор".— *Л. А.*⟩. Под Новый год читал у Горького. Все очень хвалили, сам Горький — сдержанно, намекнул, что России я не-



РАССКАЗ «ИОАНН РЫДАЛЕЦ»

Автограф, лист первый и последний. 3 марта/18 февраля 1913 г., Капри

Музей И. С. Тургенева, Орел

знаю, ибо наши места — не типичны, „гиблые места“... Думаю, что Горький полагает, что касаться матерей, души русского народа — это его специальность, он даже Гоголя постоянно топчет с г⟨...⟩м за „Мертвые души“ — писал Гоголь Ноздревых да Собакевичей, а Киреевского, Хомякова, Бакунина — проглядел» (№ 2824). Возможно, что отражением этих несогласий была приписка В. Н. Буниной в письме 13/1 февраля 1912 г.: «С Горьким у нас отношения холодно-любезные и тяжко-дружеские. Тяжелый человек Алексей Максимович!» (№ 2833). Переписка Бунина с братом помогает восстановить историю его взаимоотношений с некоторыми издательствами и периодическими изданиями. Письма от 30 ноября, 4 и 7 декабря 1912 г. освещают обстоятельства его разрыва с журналом «Заветы» (без № и № 2837, 2831). В письмах 22 марта, 19 и 30 ноября, 4 и 29 декабря 1912 г., 6 и 29 января, 1 и 11 марта 1913 г. (№ 2803, 2820, 2836—37, 2816, 2843, 2845, 2847, 2841) отразилась история взаимоотношений Бунина с «Книгоиздательством писателей в Москве». В письме 8 августа 1916 г. (№ 2848) он советуется с братом по поводу приглашения Л. Н. Андреева участвовать в газете «Заря» (выходила под названием «Русская воля»): «И „Зарю“ жалко, и как бы не влететь и не поссориться с „Летописью“». В октябре 1917 г. он сообщает об отказе участвовать в газете «Власть народа» и прилагает копии своего письма издательнице газеты Е. Д. Кусковой и ее ответа (№ 956); в этом же письме Бунин признается: «Дела общественные, политические, совсем раздавили мою душу. У меня полная безнадежность». С необычайной резкостью говорит он о Временном правительстве: «Какого черта в ступе натворило правительство с этим выездом в Москву! „Они сидят, пьянствуют там, кожа их вздуйся!“ — сказала одна баба. А солдат добавил: „Главная беда — этот ⟨...⟩ Керенский!“» (19 октября ⟨1917 г.⟩, № 2857, л. 1). Часть писем Бунина к брату опубликована, главным образом, в выдержках («Материалы»; «На родной земле». Орел, 1956; «На родной земле». Орел, 1958; «Весна пришла»; «Русская литература», 1961, № 4).

20 писем, адресованных В. В. Пащенко (1890—1898; № 2753, 2755—2765, 2767—2771, 959, 4956), отражают полный драматизма юношеский роман Бунина, ознаменовав-

ший крутой перелом в его судьбе; 13 из этих писем опубликовано («На родной земле» Орел, 1958; «Весна пришла»; «Время»).

Важные факты для характеристики Бунина—писателя и человека—содержатся и в его письмах родным (8 п., 1889—1893; № 2868—2874, 2891), Е. М. Лопатиной, А. М. Федорову, Н. Я. Рощину, В. Н. Буниной, ее матери и брату — Л. Ф. и Д. Н. Муромцевым.

Неопубликованное письмо В. В. Вересаеву 22 января / 4 февраля 1913 г. освещает начало конфликта Бунина с «Книгоиздательством писателей в Москве» (№ 2949).

Неопубликованные письма художнику Е. И. Буковецкому носят бытовой характер (1909—1912, № 1280—1289). Однако в них есть некоторые сведения и о работе над «Деревней», о встрече Бунина с Брюсовым в декабре 1910 г., об участии его в заседании Академии наук «насчет рукописей Толстого» (12 декабря 1910 г., № 1282). 2 декабря 1911 г. Бунин писал Буковецкому с Капри: «Живем мы отлично. Изредка бываем у Горького — он все за работой, да и мы очень много сидим: Вера и племянник переводят, я правил прежние рассказы — т. е. сокращал, выкидывал молодые пошлости и глупости — для нового, дополненного издания первого тома» (№ 1283).

*Письма, адресованные Бунину* (1887—1917), получены им от 282 корреспондентов: В. Я. Абрамович (1905, 1 п.), М. В. Аверьянов (1906—1910, 5 п.), Л. А. Авилова (конец 1890 годов — 1912, 4 п.), Н. П. Азбелев (1908, 2 п.), Д. Я. Айзман (1905—1906, 3 п.), Ю. И. Айхенвальд (1916, 1 п.), Академия наук (1913—1915, 2 п.), С. В. Александров (б. д., 2 п.), Л. Н. Андреев (б. д., 2 п.— одно в копии рукой Бунина), Л. И. Андрусон (1905—1908, 3 п.), К. П. Андрушкевич (б. д., 1 п.), Ахова (б. д., 1 п.), К. Д. Бальмонт (1899, 1 п.), Л. де ла Барт (б. д.⟨1915⟩, 1 п.), Д. И. Басманов (1913, 1 п.), Л. С. Баткис (1912, 2 п.), Ф. Д. Батюшков (1905—1915, 5 п.), П. Я. Бекерович (1915, 1 п.), А. Д. Белой (1917, 1 п.), В. П. Белостоцкий (1907, 1 п.), И. А. Белоусов (1908, 6 п.), А. Н. Бибиков (1893—1910, 19 п.), Библиотека Ялтинского санатория для недостаточных больных (б. д., 1 п.), А. А. Бобилевич (б. д., 1 п.), С. П. Боголюбов (1909—1914, 2 п.), В. Д. Бонч-Бруевич (1914—1916, 2 п.), Д. Бояджиев (1905, 1 п.), В. А. Брендер (1909, 1 п.), И. П. Брихничев (б. д., 1 п.), А. Н. Будищев (1897, 1 п.), Е. И. Буковецкий (1900—1910, 11 п.), П. А. Буланже (1903, 1 п.), А. Н. Бунин (1893, 1904, 2 п.), Е. А. Бунин (1896—1897, 4 п.), Ю. А. Бунин (1909—1916, 14 п.), В. Н. Бунина (1906—1915, 187 п.), Л. А. Бунина (1893—1894, 7 п.), М. А. Бунина (1892—1915, 29 п.), М. Н. Бунина (1916—1917, 2 п.), П. Бурцев (1895, 1 п.), Г. Булычев (1903, 1 п.), Л. М. Василевский (1908, 6 п.), М. В. Ватсон (1913, 3 п.), А. А. Вербицкая (1904, 1 п.), В. В. Вересаев (1903—1914, 3 п.), М. В. Веселовская (б. д., 1 п.), А. Н. Веселовский (б. д., 1 п.), Ю. А. Веселовский (1906, 2 п.), Н. Викторов (1895, 1 п.), Е. Б. Вильбушевич (б. д., 1 п.), И. Войтов (б. д., 1 п.), А. Волынский (А. Л. Флексер — 1892, 2 п.), З. И. Воронец (б. д., 1 п.), Э. Д. Воронец (б. д., 1 п.), П. Н. Второв (1908, 1 п.), Г. А. Вяткин (1915, 3 п.), В... ⟨?⟩ (б. д., 1 п.), Высшие женские курсы (б. д., 1 п.), М. М. Гербановский (1895—1904, 12 п.), И. Гик (б. д., 1 п.), В. М. Гнатюк (б. д., 1 п.), С. Глаголь (С. С. Голоушев — б. д., 4 п.), И. И. Горбунов (1895, 1 п.), С. М. Городецкий (1907—1908, 3 п.), Городской голова гор. Полтавы (1903, 1 п.), Е. П. Гославский (1904, 3 п.), З. И. Гржебин (1906—1915, 4 п.), А. Грипич (1912, 1 п.), А. Е. Грузинский (1909—1910, 10 п.), С. Л. Гурвич (1912, 1 п.), Н. Н. Гуров (1902, 1 п.), Т. Я. Дворников (1902, 1 п.), К. И. Дмитриева (1912, 1 п.), В. М. Дорошевич (1916, 1 п.), В. Е. Ермилов (1913, 2 п.), А. Ермстад (Axel Jermstad; 1909, 1 п.), И. Е. Ерошин (б. д., 1 п.), П. А. Ефремов (1898, 1 п.), Н. Ефремов ( б. д., 1 п.), Б. М. Жаворонков (1916, 1 п.), А. И. Журин (1915, 1 п.), Е. М. Завиловский (1909, 1 п.), В. А. Зайцева (1914, 1 п.), А. М. Замиралов (1915, 1 п.), П. В. Засодимский (б. д., 1 п.), Л. Н. Зилов (1911, 1 п.), А. А. Золотарев (1913—1915, 6 п.), П. К. Иванов (б. д., 1 п.), Издательство т-ва «Знание» (1909, 1 п.), А. А. Измайлов (1915, 5 п.), Н. И. Иорданский (1909—1916, 5 п.), И. П. Ираклиди (б. д., 1 п.), В. Исаков (1916, 1 п.), Италорусская библиотека на о. Капри (1914, 1 п.), А. А. Карзинкин (1901—1912, 3 п.), Л. О. Кармен (1908—1913, 3 п.), И. М. Касаткин (б. д., 2 п.), М. С. Кауфман (1912,

1 п.), Е. Кацнельсон (б. д., 1 п.), В. И. Качалов (1912, 1 п.), Киевский совет студенческих старост (б. д.— 1912, 2 п., одно в копии), О. Т. Киркина (б. д., 2 п.), Н. М. Кишкин (б. д., 1 п.), И. Кишковский (1912, 1 п.), Н. С. Клестов (1914, 1 п.), К. А. Ковальский (1914, 1 п.), П. С. Коган (1916—1917, 3 п.), Е. А. Колтоновская (1917, 2 п.), А. И. Конвисар (1912, 1 п.), С. С. Кондурушкин (1908—1909, 2 п.), А. А. Коринфский (1895—1896, 7 п.), В. И. Костылев (1904, 2 п.), Н. А. Котляревский (б. д., 2 п.), И. А. Кошуров-Любич (б. д., 1 п.), Н. А. Крашенинников (1906—1912, 6 п.), С. Кречетов (С. А. Соколов — 1909, 1 п.), М. К. Куприна-Иорданская (1906—1908, 7 п.), Л. П. Куприянова (1917, 1 п.), А. В. Куровский (б. д., 1 п.), В. П. Куровский (1900—1914, 21 п.), Е. Д. Кускова (1917, 1 п.—копия рукой Бунина), Б. А. Лазаревский (1912—1913, 2 п.), Е. И. Ласкаржевский (б. д., 1 п.), В. П. Лебедев (1892—1895, 4 п.), Н. Н. Лепетич (1913—1915, 9 п.), Лермонтовская библиотека гор. Пензы (1899, 1 п.), М. Линцер (1916, 1 п.), В. С. Лысак (1898, 1 п.), В. Л. Львов-Рогачевский (1917, 1 п.), И. О. Лялечкин (1892—1894, 10 п.), О. А. Ляшенко (б. д., 1 п.), Е. А. Ляцкий (1913, 1 п.), С. И. Мамонтов (1909, 1 п.), А. Марр (С. М. Михайлова — 1916, 1 п.), А. Марченко (1914, 1 п.), С. Д. Махалов (1910, 1 п.), Международный комитет помощи безработным рабочим (1907—1908, 3 п.), И. С. Мельник (1902, 1 п.), В. Микулина (1916, 1 п.), П. А. Милованов (1916, 1 п.), М. П. Миловидова (1912, 1 п.), В. С. Миролюбов (1903—1916, 18 п.), М. С. Михайлин (1913, 1 п.), П. М. Михеев (1896—1897, 3 п.), Н. В. Могучий (1907, 1 п.), Э. Моншвиц (1915, 2 п.), О. А. Мочалова (1915, 1 п.), П. В. Мурашев (1916, 1 п.), М ⟨...⟩ (1912, 1 п.), К. Ф. Некрасов (1914, 1 п.), В. А. Нелидов (1908, 2 п.), Н. П. Нивинская (1902—1903, 5 п.), Никопольская городская библиотека (1907, 1 п.), П. А. Нилус (1902—1914, 26 п.), С. Н. Нильчук (1894, 1 п.), И. А. Новиков (1908, 1 п.), Общество любителей Российской словесности (1906—1918, 3 п.), Н. Б. Овсянникова (1913, 1 п.), Д. Н. Овсянико-Куликовский (1913—1915, 2 п.), Н. Н. Окулов-Тамарин (1907, 2 п.), Н. Ф. Олигер (1908, 1 п.), Н. Ф. Олигер-Багуш (1915, 1 п.), Р. М. Орженецкий (б. д., 1 п.), Палладиев (Репин-Славинский — 1912, 1 п.), Ю. Пантелеева (1916, 3 п.), И. К. Пархоменко (1906—1909, 3 п.), Н. П. Перекалин (1909, 1 п.), В. В. Переплетчиков (1916, 1 п.), А. Переплетчикова (1902, 1 п.), С. Перес (1895, 1 п.), А. В. Пешехонов (б. д., 1 п.), З. А. Пешков (1909—1910, 5 п.), Г. Т. Полилов (Северцев — 1908, 1 п.), В. Политов (1906, 1 п.), А. В. Померанцева (1895—1914, 3 п.), Е. В. Померанцева (б. д., 1 п.), Б. М. Попов (1904, 3 п.), Л. Попова (1913, 1 п.), О. Попова (1914, 1 п.), В. А. Поссе (1897, 1 п.), В. П. Потемкин (1916, 1 п.), В. В. Пушкарева-Котляревская (1906—1910, 6 п.), М. Радвилович (б. д., 1 п.), Ф. А. Ребинин (1914, 1 п.), К. О. Ревенский (1914, 1 п.), редакция газеты «Киевлянин» (1895, 1 п.), редакция журнала «Мир» (1887, 1 п.), редакция журнала «Нива» (1915, 1 п.), редакция журнала «Новое слово» (1895, 1 п.), редакция журнала «Общественная польза» (1910, 1 п.), редакция газеты «Отклики Кавказа» (1915, 1 п.), редакция газеты «Русские ведомости» (1913, 1 п.), редакция журнала «Северный вестник» (1890, 1 п.), С. М. Ростовцева (1906—1910, 12 п.), И. Л. Рубинштейн (б. д., 1 п.), В. К. Руднев (1896, 1 п.), З. М. Рунова (1914, 2 п.), Русская Тургеневская библиотека в Париже (1909, 1 п.), Русская студенческая библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Берлине (б. д., 1 п.), Рыльская городская библиотека (1916, 1 п.), Я. Л. Сакер (1916, 1 п.), П. Н. Сакулин (1912, 1 п.), А. Н. Сальников (1901, 1 п.), Н. Сапежко (1910, 1 п.), И. Н. Сахаров (1909, 1 п.), Я. Свет (б. д., 1 п.), М. Селитренников (1892, 1 п.), С. Т. Семенов (1896—1912, 4 п.), Н. А. Сентянина (Семёнова; 1895, 2 п.), П. Сенюк (1915, 1 п.), А. С. Серафимович (1908, 1 п.), А. Ситников (1909, 1 п.), Скиталец (С. Г. Петров — 1909, 1 п.), Л. Ф. Снегирев (1895, 1 п.), А. Соболь (Ю. М. Соболь — 1916, 2 п.), Ю. В. Соболев (1916, 1 п.), Совет Плесского о-ва самообразования (1912, 2 п.), Д. Соколов (1895, 1 п.), Н. А. Соловьев-Несмелов (1897—1901, 4 п.), О. И. Сперанская (б. д., 1 п.), Л. Я. Ставровский (1892, 1 п.), В. И. Стражев (1907, 1 п.), П. Б. Струве (1912, 1 п.), Л. А. Сулержицкий (б. д., 1 п.), И. Д. Сургучев (1914, 1 п.), А. Н. Суслов (1915, 1 п.), Г. В. Суслов (б. д., 1 п.), М. Сущинская (1903, 1 п.), Д. Л. Тальников (1914—1915, 4 п.), Ю. М. Тальникова (б. д., 2 п.), В. Г. Тардов (б. д., 2 п.), В. П. Тарноградский (б. д., 1 п.), Н. Д. Телешов (1899—1909, 2 п.), Е. А. Телешова (б. д., 3 п.), Н. И. Тимковский (1898—1900, 4 п.), А. И. Тиня-

ков (1904—1906, 3 п.), И. А. Тихомиров (1905, 1 п.), К. А. Тренев (1917, 1 п.), З. П. Тулуб (1914—1915, 5 п.), Н. Тюрин (1913—1914, 3 п.), А. Н. Умов (1908, 1 п.), Е. В. Успенская (1895, 1 п.), А. И. Успенский (1895, 2 п.), М. В. Успенский (1895, 1 п.), О. Ушакова (1912, 1 п.), А. М. Федоров (1901—1910, 21 п.), Ф. М. Федоров (б. д., 1 п.), Ф. Ф. Фидлер (1915, 2 п.), И. Филиппов (б. д., 1 п.), С. Д. Фомин (1912, 1 п.), Е. Л. Фрелих (1904, 1 п.), В. К. Харкеевич (1894, 1 п.), О. В. Харкеевич (1914, 1 п.), В. Г. Харджиева (1912, 1 п.), Л. А. Хитрово (1899, 1 п.), К. К. Худяков (1915, 1 п.), А. Н. Цакни (1898—1910, 22 п.), Э. П. Цакни (1901, 1 п.), А. Ценовский (б. д., 1 п.), К. Цыкерман (б. д., 1 п.), А. Чапковский (1909—1910, 2 п.), А. С. Черемнов (1912—1916, 25 п.), Ф. И. Чернов (б. д., 1 п.), К. И. Чуковский (1914, 1 п.), Г. И. Чулков (1906—1907, 4 п.), А. Чумаченко (А. А. Гальперин — 1912—1914, 4 п.), Н. Чурилин (1907, 1 п.), Т. Шабад (1913, 1 п.), А. А. Шахматов (1916, 1 п.), Н. Л. Шапир (б. д., 1 п.), О. А. Шапир (б. д., 1п.), Б. П. Шелехов (1892, 1 п.), С. Н. Шиль (1908, 1 п.), А. Ширяевец (А. В. Абрамов — 1913—1916, 3 п.), И. В. Шкловский (1899, 1 п.), М. Н. Шор (1917, 1 п.), Д. Шор (б. д., 1 п.), И. С. Шмелев (1913—1917, 5 п.), Г. Шульц-Геверниц (G. Schulz-Gaewernitz — 1895, 1 п.), Л. А. Щепотьев (б. д., 1 п.), Е. Щепотьева (б. д., 1 п.), Н. П. Эспозито-Хлебникова (1900—1903, 10 п.), С. С. Юшкевич (1911—1916, 2 п.), А. А. Яблоновский (б. д., 1 п.), А. А. Яблочкина (1912, 1 п.), Г. А. Яблочков (1913, 1 п.), «Verlag Slavischer und Nordischer Literatur» (1904, 1 п.). Отметим наиболее значительные из этих писем.

77 писем родственников — родителей и сестры — рисуют положение семьи Буниных. Письма Л. А. и А. Н. Буниных сыну содержат жалобы на бедственное положение и просьбы о помощи. 23 сентября 1893 г. А. Н. Бунин, живший из милости у С. Н. Пушешниковой, умоляет прислать «хоть рублей 20»: «Мне окончательно приходится быть без божья приюта от ожидаемой вскорости стужи, буду стараться отыскать себе подручное моим летам место в Ельце, чтобы не подохнуть с голоду» (№ 979). 18 ноября 1904 г. он писал: «... нет одежды, идет холодное время» (№ 2975). О своей безрадостной судьбе в отцовском доме, о бесконечных раздорах с мужем, о бедности и страхе за будущее сына на протяжении почти двадцати лет писала брату М. А. Бунина.

14 писем Ю. А. Бунина (№ 2978/1—14) содержат факты, характеризующие литературную жизнь Москвы первой половины 1910-х годов. Среди них— рассказ о деятельности Л. Н. Андреева в роли издателя газеты «Русская воля»: 18 октября 1916 г. он сообщал, что Андрееву дали согласие сотрудничать Куприн, А. Толстой, Ценский, Муйжель и т. д. (№ 2978/3), однако от участия в газете, создаваемой на «темные деньги», он старался брата отговорить (№ 2978/7). Ряд писем (17 августа, 10, 15 и 21 сентября 1916 г.) посвящен делам «Книгоиздательства писателей в Москве» (№ 2978/5, 6, 9, 12).

22 письма А. Н. Цакни вводят в атмосферу семейной драмы, пережитой Буниным. Писатель сохранил письма жены, отразившие ее попытки понять мужа, жить его интересами. Вероятно с чужих слов, она спешит сообщить новость «специально» для него: «В „Мире божьем“ выругали „Бывальщины“ А. Коринфского очень резко, а Бальмонта хвалят за Шелли, но довольно сдержанно» (№ 3186/5.) «Как ты себя чувствуешь, Ваня-голубок? — спрашивает она 13 мая 1899 г.— Милый мой, хороший, дорогой Ваничка, мне кажется, что ты очень давно уехал» (№ 3186/7). Рядом с этими трогательно-сентиментальными строчками — краткие записки, посылавшиеся после разрыва: «Ввиду того, что Коле нельзя выходить в такую погоду, можете, если желаете, зайти к нему от 2 до 4. Назначьте день. А. Бунина» (№ 3186/18); «Коля будет у вас в пятницу, от 2—3, если будет хорошая погода» (№ 3186/19). Потрясенная смертью сына, Анна Николаевна писала Бунину в январе 1905 г.: «Вчера вернулась с похорон нашей радости, нашего ясного солнышка, нашей рыбки... Посылаю вам все, что от моей детки осталось,— цветочек, лежавший около его щечки... Вы молоды. Конечно, вспоминать тяжело, но вы будете иметь еще радости в жизни. А я? Как я проживу без своего ясного солнышка. Аня» (№ 3186/20). Из писем А. Н. Цакни видно, что Бунин позднее помогал своей первой жене материально, особенно, когда она заболела туберкулезом; по ее просьбе он приезжал в Балаклаву, чтобы увидеться с ней.

Исключительный интерес представляют собой 187 писем В. Н. Буниной за 1906—1915 гг. (№ 2959/1—187); краткий обзор их см. в настоящ. кн. (стр. 221—223).

Письма издателей, критиков, писателей и художников относятся к 1887—1917 гг.

Самое раннее из них послано из редакции петербургского журнала «Мир» 7 августа 1887 г.: «Милостивый государь Иван Алексеевич! Присланные стихи не будут напечатаны, но это не должно огорчать вас, т. к. Муза несомненно любит вас. Продолжайте почаще беседовать с нею, но — главное — не спешите печататься» (№ 2935). Об отказе опубликовать его стихи извещал 27 января 1892 г. и секретарь «Северного вестника» А. Волынский: «Потрудитесь прислать какие-либо другие стихотворения. „И ночь, метель", „Холодной пылью", „Соловьи", „Отрывок" и др. не будут напечатаны» (№ 3110). Бо́льшая часть писем Бунину в начале 1890-х годов — свидетельство постепенного признания его художественного дарования, расширения круга литературных знакомств, установления дружеских связей с петербургскими и московскими литераторами, среди которых были, в частности, начинающие поэты В. П. Лебедев, И. О. Лялечкин, М. М. Гербановский и др.

Исключительно доброжелательны письма В. П. Лебедева — поэта, секретаря редакции журнала «Север» (1892—1895). Порою ему приходилось сообщать Бунину и малоутешительные вести: «Ваше стихотворение, к сожалению, не взято в „Север". Редактор нашел, что вы несколько небрежно отнеслись к внешней отделке стиха ⟨...⟩ Как „собрат по искусству", я очень много читал ваших стихов в „Неделе", в „Наблюдателе", в „Сев. вестнике" и др. журналах. Всегда мне нравилось в них свежее и бодрое чувство, которым вы обязаны, вероятно, деревенской глуши» (13 февраля 1892 г., № 3074/1). Сообщив о нежелании А. К. Шеллера-Михайлова напечатать стихи Бунина в «Живописном обозрении», Лебедев продолжает: «Относительно литературной постоянной работы ничего не могу сказать: но это так трудно, так трудно...» (№ 3074/3).

Много фактов из литературного быта столицы сообщал Бунину поэт-самоучка И. О. Лялечкин (1870—1895). Познакомившись с Буниным, вначале заочно, он пишет ему о своих встречах с А. Коринфским, Д. Мережковским, К. Фофановым, К. Льдовым и другими молодыми литераторами. Лялечкин крайне отрицательно характеризует петербургскую литературную среду: «У нас есть только иллюзии. Все мы живем врозь ⟨...⟩ Я горячо наперед жалею вас, что вам когда-нибудь придется увидеть нас, жалких, мелочных и трусливых. Как вы разочаруетесь тогда, как вам будет тяжело! ⟨...⟩ Об редакциях наших я и говорить не буду. Это— помойные ямы. Если я и печатаюсь где-либо, то только благодаря кумовству или протекции» (3 ноября 1893 г.; № 3072/2). Однако сам Лялечкин стремился помочь Бунину «войти в литературу»: «Был я в „Северном вестнике". Волынский не взял вашего сонета»,— сообщал он 14 октября 1892 г. (№ 3072/2). По его совету Бунин переводил сонеты Петрарки для сборника с участием Фофанова, Фруга, Мережковского, Минского. Лялечкин умер в Калуге в 1895 г. Памяти его Бунин посвятил статью, которую послал в газету «Свет».

Из писем М. М. Гербановского становятся известны мытарства бунинского рассказа «Тарантелла», в 1895 г. отвергнутого редакциями «Вестника Европы» и «Наблюдателя». 11 февраля 1895 г. Гербановский писал: «С Бальмонтом вижусь часто и всякий раз вспоминаем мы о тебе: зачем ты так скоро уехал из Петербурга?» (№ 3017/7). И в другом письме 8 марта 1895 г.: «Недавно он написал стихотворение, которое думает в сборнике посвятить тебе. Вот оно ⟨...⟩»; процитировав стихотворение Бальмонта «Ковыль» («Точно призрак умирающий...»), Гербановский продолжает: «Написано оно под впечатлением твоей „Степи" (№ 3017/1). 4 марта 1895 г. Гербановский сообщал Бунину о судьбе его некролога Лялечкину: «Твою заметку я отнес в „Свет", сотрудником которого состоял одно время покойный. Вероятно, завтра некролог будет напечатан» (№ 3017/5, л. 1 об.), а 8 марта писал: «Твою заметку в „Свете" не напечатали, потому что днем раньше они воспользовались некрологом „Нового времени"» (№ 3017/1).

Сообщения о судьбе стихов Бунина, посланных им в «Север», «Всемирную иллюстрацию» и другие журналы, содержатся в высшей степени дружеских письмах А. А. Коринфского (1895—1896, № 3049/1—5 и 3434/1—2).

К 1895—1896 гг. относятся семь писем — ответов на печатное обращение Бунина к лицам, знавшим Николая Успенского, помочь ему «в составлении возможно полной

биографии, критического этюда о личности и произведениях» этого писателя («Киевское слово», 1895, № 2806, 3 ноября). На его просьбу откликнулись брат и сестра писателя — М. В. и Е. В. Успенские, его племянники — В. К. Руднев и А. И. Успенский, издатель Л. Ф. Снегирев и тульский врач П. Бурцев. В их письмах приведены некоторые детали биографии Н. В. Успенского (№ 3126, 3140, 3186).

Письма А. М. Федорова (1901—1910, № 3177/1—21)—по большей части беглые, нередко шутливые заметки, сделанные во время его путешествий. Среди них выделяются два письма, связанные с творческой работой Федорова и отношением к ней Чехова: «...работаю над пьесой, которую грозил тебе прочитать в Москве. Пьеса эта уже побывала у Чехова, и я на днях получил от него славное письмо, которое ношу на сердце... В половине декабря пьесу по совету Чехова отправлю в Художественный театр, а пока работаю над ней в соответствии с чеховскими указаниями» (ноябрь 1901 г., № 3177/19; см. также недатированное письмо № 3177/21, л. 1 об. — 2).

Среди обширной издательской корреспонденции выделяются письма В. А. Поссе и В. С. Миролюбова. Приглашая Бунина продолжать сотрудничество в жури. «Новое слово» при обновленном составе редакции, Поссе писал 12 марта 1897 г.: «Я, по крайней мере, не жалею, что остался. Прежде чувствовался запах трупа, теперь веет жизнью, и сам невольно ободряешься. Где уж руководить молодежью людям, которые, как А. М. Скабичевский, провозглашают, что дальше идти некуда!» (№ 3113).

18 писем В. С. Миролюбова (№ 3083) составляют лишь небольшую часть его переписки с Буниным. Содержание их разнообразно: деятельность «Журнала для всех», смерть Чехова, положение в издательстве «Знание», создание «Ежемесячного журнала», итальянские путевые впечатления и т. д. Миролюбов писал 28 февраля 1904 г. о «Журнале для всех»: «Не знаю, но мне кажется, что ухода за *художественным* словом у нас не меньше, чем в других журналах и сборниках, и грех нас не поддержать в этом уходе» (№ 3083/12). «Думал вас видеть на похоронах Антона Павловича,— пишет он 31 июля 1904 г.— Как же вы не приехали? Отчего? После похорон, вечером, на их квартире собрались близкие, маленькая горсточка 5—6 человек. В Ялту уже теперь не тянет так» (№ 3083/17). Приглашенный Горьким в 1910 г. редактировать сборники «Знания», Миролюбов писал 15 июля 1911 г.: «Надеюсь, что с вашей помощью и с помощью других писателей-друзей дела „Знания“ опять окрепнут» (№ 3083/18).

Ценное дополнение к своду откликов на бунинские произведения составляют письма Н. И. Иорданского, М. В. Аверьянова, К. И. Чуковского, Д. Л. Тальникова, Е. А. Колтоновской. Спрашивая Бунина в августе 1910 г., как «поделить» окончание «Деревни» между октябрьским и ноябрьским номерами «Современного мира», Н. И. Иорданский писал: «Уверяю вас, что это деление вызвано только крайнею техническою необходимостью. Я не думаю, чтобы впечатление пострадало. Вещь настолько сильна, что на ней такая операция не отразится. Но вы — беспощадный пессимист. И хуже всего, что беспощадность содержания соединена с такой выпуклостью и яркостью изображения! Вы убеждаете красками» (№ 3427/5). С этим письмом перекликается оценка «Деревни» М. В. Аверьяновым: «Напоминает она мне картины старых голландцев, изображавших сельский быт. Не пропущено ничего, что вошло в поле зрения,— это с внешней стороны, а с внутренней — сильно чувствуется лихая болесть, отравившая всю нашу русскую жизнь» (21 июля 1910 г., № 2971/2). Письма Д. Л. Тальникова (1914—1915 гг.) передают его тяжелые фронтовые впечатления (№ 3412/2). Е. А. Колтановская писала 27 января 1917 г.: «Рассказ „Петлистые уши“ глубоко поразил меня и взволновал. Кажется, он сильнее всего, написанного вами, сильнее „Господина из Сан-Франциско“. Но вы, конечно, не об этом спрашиваете меня, а о сущности впечатления: чувствую ли я изображенное в рассказе как *правду*? Я думаю, что все так именно чувствуют. В другое время (ведь это тема для вас не новая...) вас, наверное, упрекали бы в „односторонности“ и пр. А сейчас все очевидцы „мировых“ событий уже пришли к одной точке — к тому ощущению жизни и человека, которым проникнут ваш страшный рассказ. Вольно или невольно, вы зачерпнули от самой гущи переживаемых теперь ужасов, и это придало его непреходящему содержанию особую остроту. Он не только психологически приемлем и понятен, а и глубоко правдив, по-моему» (№ 3068/1).

**БУНИН**
**Рисунок Е. И. Буковецкого (карандаш)**
**Одесса, 1903**
**Музей И. С. Тургенева, Орел**

Богатством информации и яркостью изложения отличаются 25 писем А. С. Черемнова (№ 3195); переписка Бунина с ним публикуется в настоящ. томе (см. кн. 1).

Содержательны письма И. С. Шмелева (№ 3204). 5 августа 1913 г. он пишет: «Слыхал, что Горький едет домой. Правда?! Дай-то бог! ⟨...⟩ И верится глубоко, что еще и еще увидим его цветенье» (№ 3204/3). 21 сентября 1913 г. Шмелев признается, что от бунинского письма на него «пахнуло бодрящим родным духом, захотелось трудового уединения, честного соревнования, сладких минут, когда работа — вот она, когда знаешь, что одолеешь, а надо помучиться, когда чувствуешь, что́ есть ты и можешь оправдать свое существование». «Чудесно, любовно, чисто, целомудренно»,— пишет он в том же письме о рассказе «При дороге» и продолжает: «Рад, что вы есть, и дай бог, чтобы вы долго были. И как хороша может быть наша словесность художественная. Да ниспошлет и мне святая сила быть причастным к ней, чистой, правдивой и крепкой. А вам многие годы. От всего сердца, дорогой Иван Алексеевич». В этом же письме содержится высокая оценка творчества Сергеева-Ценского и А. Толстого (№ 3204/2). «Вас, дорогой, хочется читать и читать,— пишет Шмелев 23 марта 1916 г.— Вы не поверите, как велико всегда для меня наслаждение прикасаться к святой чистоте искусства. Ну, да вы же знаете эту радость!» (№ 3204/4).

В 1912 г. по инициативе Бунина возобновилась его переписка с поэтессой и драматургом Адой Чумаченко: «Очень мне страшно, что вы академик и, вообще, большой человек,— писала она ему 17 декабря 1912 г.— Все кажется, что и писать вам нужно как-то по-иному, по-„умному“ — чтобы каждое слово было праздничным, значительным. И вот я сидела и ждала этих „праздничных“ слов. А получила ваше письмецо, обрадовалась очень и совсем, совсем забыла о том, что вы умный и большой... И ни капельки сейчас не боюсь и Академии вашей, и юбилея. Сейчас вы для меня не важный и знаменитый человек, а просто Иван Бунин,— тот самый Иван Бунин с остренькой бородкой и грустными глазами, который когда-то написал мне „Листопад“ и перевел „Гайавату“ и за которым я когда-то пошла и вот иду до сих пор. И мне кажется, что никогда от него не уйду. Об этом, вероятно, не надо писать, но так пришлось,— больше не буду» (№ 2963/1).

Открытка некоего А. Д. Белóго (20 марта 1917 г.) содержит упрек в неточности: «Только что прочел ваш прекрасный рассказ „Господин из Сан-Франциско“, написанный в полном смысле слова захватывающе. Тем досаднее имеющаяся в нем ошибка, которую надо исправить в следующем издании. Вы говорите о „сургучных омарах“, которые шуршали и т. д. Живые омары — черно-зеленого цвета. Поэтому вы и тот французский писатель, назвавший омара „cardinal de la mer“, неправы...» (№ 2993). Бунин не оставил без внимания этот упрек. Если в первой публикации рассказа («Слово», сб. 5. М., 1915, стр. 285), говорится, что рыбак Лоренцо продал «двух пойманных им ночью больших сургучных омаров», то уже в следующем издании (И. А. Бунин. Собр. соч., т. 10. Пг., «Парус», 1918, стр. 33) эпитет «сургучных» был снят.

Заслуживают упоминания и некоторые письма переводчиков бунинских произведений. 12 августа 1902 г. И. С. Мельник сообщил, что перевел для венского еженедельника «Die Zeit» рассказы Бунина «Осенью», «Новый год», «Поздней ночью», «На край света», «Руда» и др. и написал статью о его творчестве (№ 3091). 6 октября 1909 г. Аксель Ермстад просил разрешить перевод на датский язык рассказа «Старая песня» (№ 3030). «Я вас очень люблю и постараюсь сделать ваше имя известным у нас, как стали известными имена прочих молодых русских беллетристов»,— писал Бунину из Софии 12 апреля 1905 г. переводчик Д. Бояджиев (№ 2996).

Особый раздел в переписке Бунина составляют 84 письма, полученные им от 53-х начинающих авторов. Они убедительно свидетельствуют об авторитете, приобретенном им в глазах литературной молодежи.

Рыбинские гимназисты, издавшие в 1915 г. коллективный стихотворный сборник «Отголоски жизни», посылая его Бунину, писали: «Мы сами за свой страх и риск решились выступить на защиту прав человека, на защиту униженных и оскорбленных, жаждущих свободы. Нас пять человек... По характеру своих сочинений, вы — один из любимых наших писателей, потому мы и решили обратиться к вам» (№ 2882). Начинающий поэт Г. Булычев просит «посмотреть стихи» и сообщает: «Я из Сибири, вот уже 4-ый год в Москве, испытал много нужды. Заниматься литературой в связи с полуголодным существованием порой тяжело, но я все-таки бьюсь» (№ 2995). «Знаю, как интересуетесь вы начинающими писателями»,— писал Бунину студент К. П. Андрушкевич (№ 2968). «Почему мы обращаемся именно к вам? — спрашивает в своем письме Н. Сапежко.— Нами руководит любовь к вашему творчеству. Мы знаем только это, но это так много» (№ 2761). «Вы — мой идеал в современной поэзии»,— признается молодой поэт Л. С. Баткис (№ 2984). Поэт Л. Н. Зилов просил Бунина высказаться о его стихах, потому что в них «запутано много ваших шелковинок» (№ 3037). Земский врач А. М. Замиралов из села Полтево Чернского уезда Тульской губ., получив от Бунина письмо и книгу «Чаша жизни», писал: «Я давно люблю вас, давно пытаюсь научиться у вас мастерству, строгому отношению к слову, любви и верности нашему языку и равнодушию к моде, вашей писательской искренности. В смутное время литературы вы многих, очень многих, в том числе и меня, своей стойкостью удержали от соблазнов» (№ 3034). О том же писал и поэт Г. А. Вяткин: «Дорогой Иван Алексеевич, просьбу редакции исполнил, стихотворение сократил. Утешаю себя, впрочем, тем, что вы к своим стихам безжалостны» (№ 3001). В разгар мировой войны молодая поэтесса З. П. Тулуб, посылая Бунину свои стихи, надеялась получить ответы не только на вопросы, касающиеся ее поэзии: «Так теперь жутко на душе, так хочется услыхать бодрое, светлое слово. Вечно видишь уходящие на смерть войска, слезы тех, кто остается; мелькают трамвайные вагоны, полные раненых, в церкви молитвы за воинов и вечная память убитым. Всюду смерть, одна смерть. И не радуют победы, когда гибнет столько чудных и молодых жизней!.. Ужасно тяжело...» (№ 3156). С этим признанием перекликается просьба уезжавшего на фронт молодого литератора С. Марченко: «Берегите себя, вы особенно нужны теперь культурной России» (№ 3089). О том, что Бунин помогал своим корреспондентам, свидетельствуют его ответы поэту-орловцу Александру Тинякову (см. «Проблемы реализма», стр. 170, 171). Судя по письмам Александра Ширяевца (№ 2964/1—3), Бунин пристально читал его стихи, ободряя поэта, жившего в туркестанской глуши, помогая ему печататься в столичных изданиях (см. «Волга», 1969, № 6, стр. 178—179). Письма В. И. Костылева (№ 3059/1—2) сви-

детельствуют, что Бунин правил его рукописи. Вероятно, еще задолго до своего выступления в сборнике «Знания», пользовался советами Бунина И. М. Касаткин (№ 3058). Среди бунинских бумаг хранятся письмо и стихотворные сочинения крестьянина И. Е. Еропина, впоследствии поэта-правдиста (№ 3031). Все эти материалы помогают полнее изучить и осмыслить «литературное наставничество» Бунина.

Более 30 писем присланы Бунину библиотеками, общественными организациями, кружками самообразования, благотворительными обществами (см. выше перечень корреспондентов Бунина). Это, главным образом, благодарности за пожертвованные книги, прочитанные лекции, участие в благотворительных концертах, денежную помощь «недостаточным» учащимся и т. д. Председатель Международного Комитета помощи безработным рабочим России, учрежденного в 1906 г. в Лозанне, проф. Н. А. Герцен и секретарь К. П. Злинченко писали 14 октября 1907 г.: «Обрадованы вашим согласием принять участие в нашем сборнике ⟨...⟩ Дело со сборником идет хорошо, хотя опыт издания интернационального сборника — первый и потому трудный». В письме цитировался ответ Горького (см. «Красная Новь», 1928, № 6); заканчивалось оно словами: «Очень благодарим за ваше доброе желание принять участие в сборнике и ждем с нетерпением вашей рукописи и советов» (№ 3021). Просьба принять участие в сборнике содержится и в письмах Комитета от 2 марта и 24 июня 1908 г. (№ 3890/1—2). Бунин не остался безучастным к этим обращениям: в выпущенном Комитетом «Литературно-художественном сборнике» (Екатеринослав, 1910) напечатано стихотворение «Люцифер».

Как первостепенные материалы к истории житейских связей Бунина, оставивших известный след и в его творчестве, могут рассматриваться письма А. Н. Бибикова, П. А. Нилуса, В. П. Куровского, З. А. Пешкова, А. В. Померанцевой и Н. П. Эспо́зито.

Глубоки, порою драматичны письма художника В. П. Куровского (№ 3046), за исключением одного листка, на котором он совместно с А. М. Федоровым написал «в назидание» Бунину сочиненную Купринным шутливую оду «Певец в стане Южно-Русских художников» (1901; № 3046/1). «Друг мой, брат мой! — писал он в 1901 г.— ⟨...⟩ Твоя дружба, как молния в темную ночь, усилила, сгустила мрак моего существования ⟨...⟩ Я вижу твое печальное, именно печальное, а не грустное лицо: длинные складки от ноздрей к губам, слегка нахмуренный лоб и глаза, отражающие безнадежный покой моря, я слышу твой голос: „Корабль мой на черных плывет парусах"». И далее: «Прочел „Сосны", мы с тобой читали их, и, читая, я все помнил —признак того, что вещь правдивая и выражена сильно» (№ 3046/16). В том же году Куровский пишет: «Самое дорогое, что осталось во мне и что все-таки живет, несмотря на боль существования,— слилось с тобой, и когда меня посещает радость воспоминания, я беседую с тобой и переживаю ее вместе с тобою» (№ 3046/14). 25 июля 1904 г., сообщая, что был на похоронах Чехова, Куровский вспоминает: «... а пред тем мне привелось его увидеть живым на Севастопольской пристани, догадавшись, что это он, по портрету и по тяжелому изнеможению, с каким он поднимался по лестнице, останавливаясь через каждые 2—3 минуты» (№ 3046/21). Некоторые письма художника, отразившие его глубокий духовный кризис, являются своего рода комментарием к стихотворению «Памяти друга», написанному после получения известия о самоубийстве Куровского (1915): «Я молюсь и плачу сухими слезами... Будь еще острее жажда счастья, вера в божественность существования, я оставил бы все и ушел бы странником — под дождь, жару, под ветер, грозу, под радостные утра и грустные закаты,— брел бы к далекому, манящему и недостижимому горизонту. Но крылья обрезаны — и, как подстреленный воробей, то взлетишь, то свалишься на землю, и бьешь немощно крылом, и вертишься в сухой пыли, мучительно боясь и предчувствуя близость смерти» (1901; № 3046/17).

Из пяти писем З. А. Пешкова (№ 940) — наиболее интересно письмо 19 декабря 1910 г.: «Дорогой и милый, ужасно хороший Иван Алексеевич! Несказанно обрадованы и счастливы получить от вас книжки. Тысячу спасибо за память и за внимание, очень лестно и дорого это нам. Говорю „нам" не зря, потому что жена моя восторженная ваша поклонница. Каждая строчка в „Деревне", каждая страница может дать тему для большой повести,— так резки и драматичны черты, штрихи, так все содержа-

тельно ⟨...⟩ Удивительно люблю я вас, писателя, с таким волнением всегда читаю ваши стихи и прозу».

В архиве Бунина сохранилось два письма А. В. Померанцевой (1895—1914; № 3220, 3729). Встретившись с Буниным в годы совместной работы в «Орловском вестнике», она близко принимала к сердцу все, что касалось его. Затем на много лет он потерял ее из виду: член большевистской партии, профессиональная революционерка, Померанцева подверглась полицейским и судебным репрессиям, сидела в тюрьме, дважды была в ссылке, жила за границей. Лишь осенью 1911 г. она мельком виделась с Буниным в Москве, а год спустя получила от него письмо из-за границы. В январе 1914 г., рассказывая писателю историю своей жизни, Александра Владимировна признавалась: «Я давно разучилась плакать, потому что тесно связала себя с такой стороной жизни, где все упорство, труд, борьба, и ни места, ни времени нет слезам ⟨...⟩ С 1901 г. я навсегда связала себя с рабочим движением». Заканчивая свое письмо, она сообщала: «Эти два года живу благополучно в Москве, но думаю, недолго мне здесь жить. С декабря у нас идет такое избиение младенцев, что только перья летят. Жалеть я буду горько, если мне не придется увидеться с тобой весной. Хотела бы узнать тебя ближе, каким ты стал теперь, достигнув полного расцвета своих творческих сил. Знаю тебя только по твоим произведениям, в которых так много углубленной сдержанности, какой-то чистоты содержания, всего того истинно художественного» (№ 3729). Вскоре Померанцева была сослана в Вологду; весной 1915 г. ее навестил Бунин (см. настоящ. кн., стр. 271—272). В 1963 г. сотрудница Орловского областного краеведческого музея М. Н. Колоколова записала со слов Померанцевой ее воспоминания о Бунине. Рассказывая о встрече с ним в Вологде, Померанцева отмечает антивоенные настроения писателя. «Все, что он мне тогда сказал, так обрадовало меня, что и до сих пор его слова не исчезли из моей памяти... В резких, негодующих выражениях он стал говорить о тех писателях, которые „сидя в теплых кабинетах, воспевают героизм наших солдат, этих измученных людей, миллионами гибнущих в окопах... Даю тебе слово,— он сказал это с глубоким волнением,— я ни одной строчки не написал, ни одной копейки не заработал на этой народной беде"» (№ 4543).

Несомненный интерес для биографа Бунина представляют письма Натальи Петровны Эспбзито, послужившие материалом для рассказа «Неизвестный друг» (см. настоящ. кн., стр. 412—423).

В архиве Бунина хранится 49 телеграмм, полученных писателем в 1902—1917 гг. Среди них — телеграммы Горького (1, б. д.), Ф. И. Благова (7, 1902—1917), Н. И. Иорданского (2, 1911—1912), В. С. Миролюбова (9, 1909—1912), А. Н. Тихонова (2, б. д.), Н. С. Клестова (2, 1912), М. К. Куприной-Иорданской (4, 1908—1917) и др. Почти все они связаны с публикацией произведений Бунина издательствами или повременными изданиями.

В ЦГАЛИ находятся подлинники части приветствий, адресованных Бунину в 1912 г. в связи с 25-летием его литературной деятельности. В ГМТ хранятся машинописные копии 146 телеграмм, по-видимому, снятые по просьбе самого Бунина (№ 968, 14 л.). К уже опубликованным по этим копиям телеграммам Л. Андреева, Куприна, Шаляпина, Москвина, Рахманинова («Материалы», стр. 178), Брюсова (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 466) следует добавить еще ряд приветствий, представляющих историко-литературный интерес: «Мамин-Сибиряк приветствует милейшего Ивана Алексеевича, с горячими пожеланиями счастья, дальнейших успехов на литературном поприще»; «Шлю привет и пожелания. Владимир Короленко»; «Сердечно поздравляем Ивана Алексеевича Бунина. Александр Блок. Алекс⟨ей⟩ Ремизов»; «Сожалею, что лично не могу сегодня присутствовать на вашем светлом празднике среди собравшихся мастеров слова и не решаюсь словом сказать вам и о вас, но душевно буду рад передать вас карандашом или кистью грядущему. И многая, многая лета. Леонид Пастернак»; «Старому знакомому, художнику слова, рыцарю мысли шлю привет, поклон до земли, много лет пусть звучит его слово. Максим Леонов»; «Сверх всего, чем полны сердца чествующих вас, мы, как украинцы, приветствуем вас и за наше родное, что вы — временный гость Украины — столь чутко уловили и столь прекрасно воссоздали. Коцюбинский. Леонтович» (№ 968/39, 47, 46, 25, 73, 63).

Сохранилась копия письма, посланного в октябре 1912 г. И. М. Касаткиным, в котором он, поздравляя Бунина, писал: «В наше время на ниве родной литературы мало видно пахарей, как вы. Особенно радостно приветствовать вас теперь, когда вы направили свой плуг по великой пространством и скорбями, почти заброшенной долине крестьянского мира. Мне, ныне живущему в глуши, из всех современников как-то особенно дороги вы, обративший светлый талант свой в сторону темной, ото всего отброшенной жизни масс. Я полон предчувствиями и твердо верю, что вы еще ближе подойдете к этой жизни, впитаете ее в себя, сольетесь с ней,— и как некогда дали нам верные отклики уходящих из жизни людей,— дадите верные и глубокие образы людей вырастающих и грядущих в жизнь. Да, тут многое — хаос, неустроенность, тьма... Но сердцевина и силою велика, и духом светла. Как можно, чтобы Захары Воробьевы без конца источали и силу и совесть в никчемных порывах! Нет, они выпрямятся во весь свой духовный рост и понесут нас, как ту старуху, к тому, без чего так душно жить» (№ 3391). 27 октября 1912 г. С. Т. Семенов желал Бунину «продления интереса к народной жизни ⟨...⟩ и того проникновения в глубину мужицкой души, память о котором мы имеем в наследстве великих народолюбцев: Толстого, Достоевского, Тургенева, Эртеля, Златовратского и Успенского» (№ 3478/4).

Приветствовали Бунина также журналы «Вестник Европы» и «Русское богатство», газеты «Русские ведомости», «Русское слово», «Нижегородский листок», «Орловский вестник», «Киевская мысль», Малый театр, Кинематографическое общество А. Ханжонкова, Елецкая мужская гимназия и многие другие учреждения, а также частные лица — друзья писателя и почитатели его таланта.

Сравнительно большой раздел бунинского архива составляют *деловые бумаги* писателя — 123 документа (1900—1916): договоры с издательствами т-ва «Знание», Д. В. Байкова, А. Ф. Маркса, «Парус» и «Книгоиздательством писателей в Москве»; гонорарные расчеты с «Журналом для всех» и «Современным миром», с газетой «Русское слово», с издательствами «Знание», «Скорпион» и «Книгоиздательством писателей в Москве», денежные документы банка «Лионский кредит», услугами которого Бунин пользовался в 1903—1913 гг., и многочисленные (более 60) счета отелей.

В фондах ГМТ находится также 202 *письма третьих лиц с упоминаниями о Бунине*. Почти все это — корреспонденция близких писателю людей, глубоко заинтересованных его судьбою, хорошо знавших его личную и творческую жизнь, и потому эта часть бунинского архива также имеет несомненный интерес. Наиболее значителен фактографический материал в переписке В. В. Пащенко (7 п., 1892), Ю. А. Бунина (11 п., 1895—1919), М. А. Буниной (3 п., 1895—1898), В. Н. Буниной (174 п., 1909—1936).

Письма В. В. Пащенко, адресованные Ю. А. Бунину, написаны в то время, когда драматический исход юношеского романа Бунина был уже предопределен. Часть их опубликована («Материалы», стр. 38—40).

В 1898—1919 гг. Ю. А. Бунин неоднократно сообщал о брате своей гражданской жене Елизавете Евграфовне и сестре М. А. Буниной (№ 3241).

20 писем В. Н. Буниной (1912—1917) адресованы Ю. А. Бунину (№ 3233) и содержат примечательные свидетельства о творчестве писателя, его взаимоотношениях с Горьким и т. д. Например, 28 декабря 1913 г. она сообщает из Анакапри: «Все последнее время у Горького шли бесконечные разговоры с Ляцким и еще Тихоновым, ставленником Марии Федоровны. Приехали они для того на Капри, чтобы вместе с Алексеем Максимовичем обсудить разные вопросы по „Современнику“ и затем поговорить о новых изданиях — и чего-чего они не наговорили. Между прочим, надумано издавать для демократической публики сборники. Первый намечен такой: 1 рассказ Горького (напечатанный), один Яна, один Короленко и Куприна, затем коллективная статья, где будут разбираться приемы творчества Яна и Горького, причем о первом напишет второй, а о втором первый. Затем статья Ляцкого о стиле вообще и о высказываниях писателей в отдельности. Что из этого выйдет, знает лишь бог. Но это секрет, и потому не рассказывайте. Кроме того, намечена тема сборников: и русский мужик в литературе

(исторический подбор рассказов), и женщина, и как отразились в литературе поп и чиновник. Одним словом, планы обширнее Сахары... Ян еще рассказ посылает в „Современник", по-моему, очень хороший, о больном мужике. Как он умирает. Описана там и Анюта-дурочка ⟨„Худая трава".—*Л. А.*⟩. Написал он рассказ про святого — „Иоанн Рыдалец". Горький с Золотаревым обалдели от этого рассказа».

158 писем В. Н. Буниной за 1907—1936 гг. адресованы ее брату — Д. Н. Муромцеву: в 1907 — 2 письма, 1933 — 1, 1934 — 59, 1935 — 53, 1936 — 41; для двух писем даты не установлены. Эта обширная корреспонденция может служить основой летописи жизни Бунина середины 1930-х годов.

Среди бунинских документов, полученных от К. П. Пушешниковой, хранится 559 *газетных и журнальных вырезок* из периодических русских и некоторых зарубежных изданий конца XIX — начала XX вв., собранных самим Буниным. Они охватывают 30 лет жизни писателя (1888—1918); наибольшее количество их приходится на 1909—1917 гг. Это лишь часть коллекции вырезок, собранной Буниным (см. обзоры фондов ИМЛИ и ЦГАЛИ), однако и она несомненно представляет многосторонний интерес.

38 вырезок содержат публикации произведений Бунина (1888—1918); многие имеют пометы и правку автора. Среди них — первые публикации ранних очерков Бунина, напечатанных в «Орловском вестнике» за 1891—1892 гг.,— «Судоржный», «Помещик Воргольский», «„Шаман" и Мотька» (см. настоящ. том, кн. 1), «Дементьевна» («Федосевна»; со значительной авторской правкой), «Мелкопоместные», а также рассказы: «Сон Обломова-внука» — «Студенческая жизнь», 1910, № 1, 17 января; «Сказка» — «Русское слово», 1913, № 87, 14 апреля; «Седьмой номер. Глава из рассказа И. А. Бунина» — «Утро юга», 1913, № 311, 25 декабря (отрывок из рассказа «Братья», текст которого значительно отличается от первой и последующих публикаций); «Первый шаг» («Клаша») — «Русское слово», 1914, № 108, 11 мая; «Святочный рассказ» («Архивное дело») — «Русское слово», 1914, № 297, 25 декабря; «Песня о гоце» — «Орловский вестник», 1916, № 81, 10 апреля и «Донская речь», 1916, № 81, 10 апреля; «Изба в поле» («Зимний сон») — «Раннее утро», 1918, № 9427, 21 марта.

Из стихотворных произведений наиболее интересны вырезки с публикациями стихов, не вошедших ни в собрания сочинений, ни в сборники Бунина и остававшихся до сих пор неизвестными: «Перед разлукой» (помета Бунина: «1888. Родина. № 12»); перевод стихотворения Леконт де Лиля «Утро» (дата отмечена Буниным: «1894»); «Ни песен, ни солнца! О сердце мое...» (помета Бунина: «Прилож. к „Ниве", март 1896 г.»); «Темной ночью к прибрежной скале...» (помета Бунина: «„Одесск. новости", 16 июня 1896 г.», значительная авторская правка); «Ночная песня» (помета Бунина: «Журнал „Отдых" 1899 ?»); перевод стихотворения Т. Гуда «Песня работника» («Мир божий», 1893, № 11 — отрывок с авторской правкой); «Канны» (журн. «Правда», 1904, № 12; со значительной авторской правкой); «На мотив А. Мицкевича» («Орловский вестник», 1892, № 125, 14 мая; с авторской правкой). Все эти стихи публикуются в настоящ. томе (кн. 1, стр. 259—260, 217, 276, 268—269, 176, 204—205, 180, 211—217, некоторые из них в других редакциях). Вырезки со стихами, вошедшими в Собр. соч. 1965—1967 гг., здесь не перечисляются.

Из первых публикаций литературно-критических и автобиографических статей сохранились: «Памяти сильного человека» («Полтавские губ. ведомости», 1894, № 72, 21 сентября) и «Автобиографическая заметка» («Русская литература XX века» под ред. С. А. Венгерова, т. II, ч. I. М., 1917).

Подавляющее большинство вырезок (около 500) составляют рецензии и статьи о произведениях Бунина. Значительная часть их сделана из русских газет, давно уже ставших библиографической редкостью (1892—1918). На многих есть пометы Бунина, позволяющие в отдельных случаях уточнить датировку его рассказов и стихов, а главное изучить отношение писателя к отзывам критики, никогда не оставлявшим его равнодушным. В своей совокупности эти материалы дают довольно полное представление о том большом общественном резонансе, который неизменно вызывали произведения Бунина. Однако подавляющая часть этих материалов до сего времени недостаточно

разработана и использовалась исследователями лишь изредка (например, «Материалы»), да и то мимоходом.

Сохранились в бунинском архиве и 27 вырезок из иностранных газет и журналов с откликами на его произведения (1901—1912).

*Изобразительные материалы* составляют 126 ед. хр. Среди них — портреты Бунина работы П. А. Нилуса и Е. И. Буковецкого (см. настоящ. кн., стр. 425, 479), ряд фотографий Бунина, в том числе с его надписями (некоторые из них публикуются в настоящ. томе — кн. 1, стр. 317; кн. 2, стр. 123, 233, 237, 437), портреты лиц из бунинского окружения — среди них портреты В. Н. Буниной работы Е. И. Буковецкого и М. Зайцева, фотография Горького с дарственной надписью Бунину (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 561; кн. 2, стр. 191, 15), виды мест, связанных с Буниным, и др. материалы.

## ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО АН СССР

### 1. ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ

Бунинский фонд в отделе рукописей ИМЛИ (ф. 3, 430 ед. хр., 1890—1952) создавался постепенно, начиная с 1936 г., — поступлениями от Театрального музея им. А. А. Бахрушина, от Н. Д. Телешова, В. А. Поссе, наследников А. Н. Бибикова и др. В 1957 г. фонд значительно пополнился материалами, полученными от В. Н. Буниной.

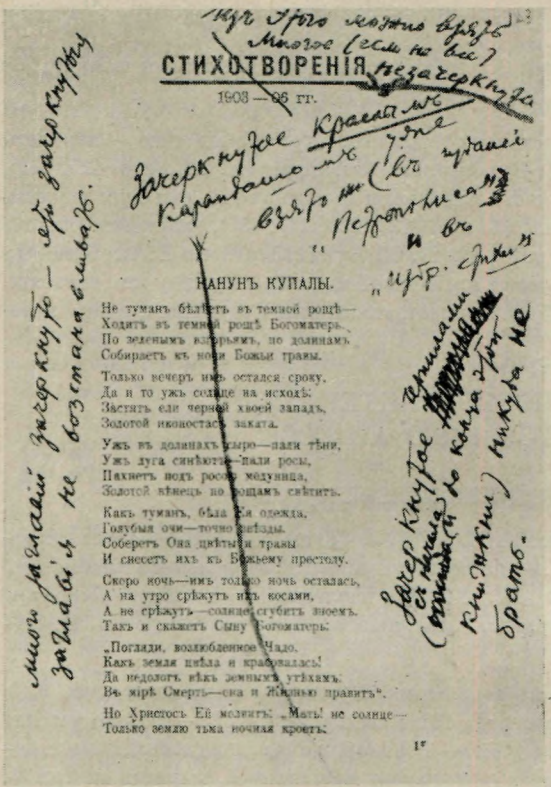
Творческие рукописи *прозаических произведений* Бунина представлены здесь ранней редакцией рассказа «Сверчок» (автограф, 1911; в Собр. соч. 1965—1967 не учтена) и полным текстом сборника «Весной в Иудее.— Роза Иерихона», подготовленным к печати в 1952 г.: предисловие, 45 рассказов (автографы, машинопись, вырезки из предыдущих изданий — все с очень значительной авторской правкой) и стихи (см. о них ниже).

Из 14 *стихотворений*, хранящихся в ИМЛИ, самые ранние — два неопубликованных «экспромта» («Если любить — значит с горем расстаться...», «Какая глупость! Боже мой!..» — автографы, 1890) и «Нашим дням» (автограф, 1890; в конце приписка: «Многие места этого стихотворения написаны на мотивы отрывка из „Исповеди сына века“ Альфреда де Мюссе») — окончательную редакцию см. Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 382 («Отрывок»). Четыре стихотворения вписаны Буниным в тетрадь А. Н. Бибикова: «Да, верно... Зачем говорить?..» (1890; окончательную редакцию см. там же, т. 1, стр. 74), «Давай на память напишу...», «Все светлее луна восходила...», «Для чего любить людей, природу» (1893; не публиковались). Шуточное послание Бибикову («Арсику») см. Гольдин, стр. 48. Стихотворение «Покрывало море свитками...» (Собр. соч. 1965—1967 , т. 1, стр. 42) записано на обороте титульного листа сб. «Избранные стихи» (Париж, 1929). В состав подготовленного к печати текста сборника «Весной в Иудее...» (см. выше) входят пять стихотворений: «Август» (автограф), «Nel mezzo del camin di nostra vita» (вырезка с авторской правкой), «Ночная прогулка», «Ночь», «Искушение» (машинопись с авторской правкой); все это окончательные редакции, учтенные, кроме «Августа» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 199), в Собр. соч. 1965—1967 (т. 8, стр. 24—25).

*Критические статьи* Бунина представлены в ИМЛИ автографом рецензии на кн. Н. Д. Телешова «За Урал» (М., 1897) — см. настоящ. том, кн. 1, стр. 339—340.

К творческим рукописям примыкают *книги с авторской правкой* Бунина и пометами, касающимися дальнейшей судьбы его произведений.

Собр. соч. 1915 (т. 1 и 2) Бунин правил в конце 1952 г.: в начале раздела «Юношеские стихотворения» (т. 1, стр. 1) — надпись: «16 дек. 1952 г. Париж. Зачеркнутое не вводить в будущее собрание моих сочинений, даже самое полное. Ив. Б.» (см. на-



СТИХОТВОРЕНІЯ

1903—06 гг.

НАНУНЪ КУПАЛЫ.

Не туманъ бѣлѣетъ въ темной рощѣ—
Ходитъ въ темной рощѣ Богоматерь.
По зеленымъ вѣрьямъ, по долинамъ
Собираетъ къ ночи Божьи травы.

Только вечеръ имъ остался сроку,
Да и то ужь солнце на исходѣ:
Застятъ ели черной хвоей западъ,
Золотой иконостасъ заката.

Ужь въ долинахъ сыро—пали тѣни,
Ужь луга синѣютъ—пали росы,
Пахнетъ водъ росою медуница,
Золотой вѣнецъ по рощамъ свѣтитъ.

Какъ туманъ, бѣла Ея одежда,
Голубыя очи—точно звѣзды.
Соберетъ Она цвѣтыя травы
И снесетъ ихъ къ Божьему престолу.

Скоро ночь—имъ только ночь осталась,
А на утро срѣжутъ ихъ косами,
А не срѣжутъ—солнце сгубитъ знаемъ.
Такъ и скажетъ Сыну Богоматерь:

„Погляди, возлюбленное Чадо,
Какъ земля цвѣла и красовалась!
Да недолгъ вѣкъ земныхъ утѣхамъ,
Въ мірѣ Смерть—она и Жизнью правитъ".

Но Христосъ Ей молвитъ: „Мать! не солнце—
Только землю тьма ночная кроетъ.

1*

**ПОМЕТЫ БУНИНА ВО ВТОРОМ ТОМЕ «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ» (Пг., 1915)**

**Нач. 1950-х годов**

**Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва**

стоящ. том, кн. 1, стр. 243). Одни стихи этого раздела зачеркнуты целиком или частично, другие имеют на полях помету: «вон». Иногда рядом появляется новая надпись: «взять», «можно взять», «Взять из издания „Петрополис"». Почти все оставленные Буниным тексты имеют авторскую правку (учтена в Собр. соч. 1965—1967). Во втором томе (стр. 3) — полустертая надпись: «Никуда, никогда не брать из этого тома» — и дальше перечень рассказов: «Перевал», «На хуторе», «Байбаки», «Без роду-племени», «Поздней ночью», «В августе», «Тишина» (далее текст утрачен). Многие рассказы подверглись очень значительной авторской правке (в Собр. соч. 1965—1967 не отражена).

Авторская правка в сб. «Избранные стихи» (Париж, 1929) состоит главным образом в замене отдельных слов, в устранении или замене названий: существенной правке подверглись «Сириус» и «Петух на церковном кресте» (не учтена в Собр. соч. 1965—1967—см. настоящ. том, кн. 1, стр. 198 и 228); три стихотворения («Был поздний час...», «Имру-уль-Кайс» и «Райское древо») вычеркнуты.

Сб. «Темные аллеи» (Париж, 1946) содержит авторскую правку стилистического характера (в Собр. соч. 1965—1967 не учтена). На обложке надпись: «В конце этой книги (следуя хронологии) надо прибавить „Весной в Иудее" и „Ночлег". Текст этих рассказов взять из моих сборников этих же заглавий, изданных „Чеховским издательством в Нью-Йорке"». Три рассказа («Гость», «Барышня Клара», «Железная шерсть») в Собр. соч. 1965—1967 не вошли; последний из них см. настоящ. том, кн. 1, стр. 126—128.

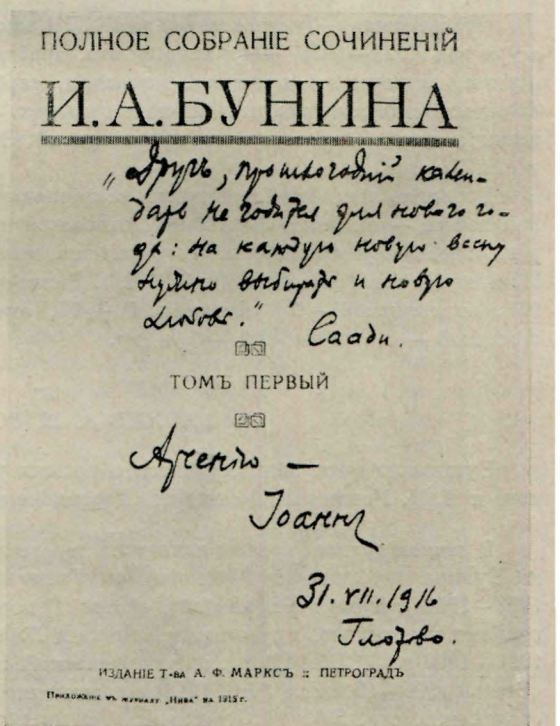
Работу *Бунина-редактора* отражают гранки двух рассказов П. А. Нилуса: «На берегу моря» (на л. 1 помета: «Исправить и верстать. Ив. Бунин. 21 сентября 1917 г.») и «Дуня». Оба рассказа подверглись значительной правке.

Три *дарственные надписи*, обращенные к А. Н. Бибикову, сделаны на *книгах*: Собр. соч. 1915, т. 1—2 (31 июля 1916 г. — см. настоящ. кн., стр. 487); то же, т. 3—4 (без даты); сб. «Господин из Сан-Франциско». М., 1916 (2 января 1917 г.).

*Письма* Бунина составляют 49 ед. хр. (1890—1917; 189 п. к 15 адресатам, 271 л.), в том числе три значительных эпистолярных комплекса — письма к В. В. Пащенко (1890—1894, 81 п.), Н. Д. Телешову (1897—1916, 129 п.) и А. С. Черемнову (1912—1917, 13 п.). Наиболее значительные из писем к Пащенко опубликованы («Новый мир», 1956, № 10; «Литературный Смоленск»; «На родной земле». Орел, 1958; «Материалы», стр. 33—35); к ним примыкают шутливая записка Бунина и Бибикова к Пащенко (1894) и письмо Бунина к ее отцу — В. Е. Пащенко (1891). Письма к Телешову и Черемнову публикуются в настоящ. томе (кн. 1).

Письма к остальным адресэтам носят эпизодический характер. Письмо Е. П. Поливановой (1892) содержит просьбу помочь получить место в редакции «Смоленского вестника» (см. «Литературный Смоленск»). Письмо Ю. А. Бунину касается семейных дел (1894). Письмо С. Я. Елпатьевскому (1901) содержит предложение участвовать в юношеском сборнике «Книга рассказов и стихотворений» (М., 1902). В одном из двух писем С. А. Полякову Бунин предлагает издательству «Скорпион» «Песнь о Гайавате» и сборник стихов (1901); другое (без даты) касается публикации рассказа «Поздней ночью» в альманахе «Северные цветы» и участия Чехова в этом альманахе. Три письма А. Н. Бибикову (1904, 1916) носят деловой характер. В письме Н. Е. Эфросу Бунин обещает для «Одесских новостей» «заметку о Чехове» в «20—30 строк» (1910). Два письма П. Е. Щеголеву касаются публикации стихов Бунина (1913, 1915); во втором из них он заявляет: «Нет у меня книг о войне, нету, нету, нету!!!» Г. А. Вяткину Бунин сообщил о высылке ему сборника «Клич» (1915). Два письма И. И. Морозову (1916) содержат отзыв о его стихах. В письме Н. С. Клестову-Ангарскому (1916) Бунин запрашивает о судьбе второго издания сборника «Чаша жизни». В 1918 г. он предлагает А. А. Кипену сотрудничать в газете «Южное слово».

*Письма к Бунину* составляют 14 ед. хр. (14 п. от шести корреспондентов; 1891—1915). Ю. А. Бунин предостерегает брата от «серьезного шага» — женитьбы на В. В. Пащенко (1891). Н. А. Семенова извещает Бунина о полученной на его имя повестке в воинское присутствие (1891). А. Ф. Черненко приглашает его к себе в Полтаву (1894).


ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. А. БУНИНА

„Друг, прошлогодний календарь не годится для нового года: на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь." Саади.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Арсенію — Іоанн

31. VII. 1916 Глотово.

ИЗДАНІЕ Т-ва А. Ф. МАРКСЪ :: ПЕТРОГРАДЪ

Приложение къ журналу „Нива" на 1915 г.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БУНИНА А. Н. БИБИКОВУ НА ПЕРВОМ ТОМЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ (Пг., 1915): «„Друг, прошлогодний календарь не годится для нового года: на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь"». Саади. Арсению — Иоанн, 31.VII.1916. Глотово»

Титульный лист

Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

Письмо В. В. Пащенко (1894) см. «Литературный Смоленск», стр. 285. Е. И. Вашков предлагает стихи для сб. «Клич» (1915). Четыре письма А. С. Черемнова (1912—1916) представляют собой черновые редакции писем, публикуемых в настоящ. томе (кн. 1, стр. 638).

К *биографическим материалам* Бунина относятся: жребий, вынутый им в день призыва 16 ноября 1891 г.; свидетельство, выданное ему Орловским полицейским управлением «на предмет поступления на службу» (1892); материалы, связанные с празднованием 25-летнего юбилея литературной деятельности Бунина, в том числе проекты поздравительных адресов от членов «Среды» и от «читателей»; объявление о выходе сборника «Клич» с перечнем участников (1915); афиша и билет на вечер Бунина в Политехническом музее (Москва, 8 декабря 1914 г.).

В бунинском архиве сохранились *романсы* на слова Бунина: Вл. Андреев. «Ночь идет...» и «Ночь печальна...»; М. Ф. Гнесин. «Гробница Рахили»; А. Ильяшенко. «Завет Саади», «Бесценный алмаз», «Чибисы», «Чаша с темным вином...», «Полюс»; К. С. Т. «Мотивы и перепевы бунинские» (1. «Природа». 2. «Русский крестьянин». 3. «Разоренное барство») — мелодекламация (Либава, 1934).

Особую группу составляют *стихи, посвященные Бунину*: пародия А. С. Черемнова «Квисисана, или Жисть каприйская» (см. о ней настоящ. том, кн. 1, стр. 657); стихи А. Н. Бибикова «Пажень... Воргол...» (автограф, 1912); два стихотворения К. Д. Бальмонта — «Ив. Бунину» (автограф, 1921), «Мой брат, чья тонкая мечта...» (машинопись с авторской подписью, 1922); стихи неизвестного автора — «Писателю земли русской» (вырезка из газ. «Южный рабочий», 17 декабря 1918 г., с пометой Бунина).

Ряд стихов связан с присуждением Бунину Нобелевской премии (1933) и приездом Бунина в Прибалтику (1938).

*Изобразительные материалы* в бунинском фонде немногочисленны: две фотографии Бунина (1891; одна из них с дарственной надписью Бунина Бибикову), фотография Бунина и Бибикова (1915; с автографом Бибикова), несколько групповых снимков членов «Среды» (1902; фото К. Фишера).

Особое место в бунинском фонде ИМЛИ занимают *вырезки из зарубежных газет и журналов* (1921—1938) — на английском, арабском, венгерском, голландском, итальянском, латышском, немецком, польском, сербо-хорватском, словенском, французском, шведском, эстонском и японском языках. Это статьи, рецензии и заметки о Бунине, а также переводы его произведений. На многих вырезках—пометы и замечания Бунина.

Большую часть этой коллекции составляют вырезки из французской периодической печати — их более 350. К ним относятся и 18 выписок, сделанных Буниным из рецензий на первый сборник его рассказов, вышедший во французском переводе («Le Monsieur de San-Francisco». Paris, 1921). Далее следуют вырезки из немецкой прессы— 176, итальянской — 28, английской — 17, американской — 14, югославской — 10, шведской — 8, венгерской — 7 и др.

## 2. АРХИВ А. М. ГОРЬКОГО

Бунинские материалы хранятся в разных разделах АГ: в личных фондах Горького и Е. П. Пешковой, в отделах «Переписка третьих лиц» и «Знание».

В *личном архиве Горького* находится *переписка* его с Буниным (1899—1917; 63 письма Бунина и 62 письма Горького), опубликованная в 1961 г. («Горьковские чтения 1958—1959»). Здесь же хранятся 3 *книги*: 1) первый сб. «Знания» (СПб., 1902) с автографами участников, в том числе Бунина и Горького; 2) И. Бунин. «Стихотворения 1903—1906 г.» (СПб., 1906) с автографической подписью автора; 3) М. Горький. «Статьи 1905—1916 гг.» (Пг., 1916) с дарственной надписью Горького Бунину (см. настоящ. кн., стр. 59).

*Упоминания о Бунине* встречаются в письмах Горького А. В. Амфитеатрову, Л. Н. Андрееву, В. В. Вересаеву, И. Е. Вольнову, И. А. Груздеву, И. П. Ладыжникову, К. П. Пятницкому, Р. Роллану, Н. С. Тихонову, А. Н. Толстому, С. Цвейгу, А. П. Чехову, начинающим писателям и многим другим (более 100) адресатам. Большинство этих писем опубликовано: Горький, т. 28, 29, 30; «Архив Горького», т. IV, V, VII—XI; «Лит. наследство», т. 70, 72; «М. Горький и А. Чехов.» М., 1951 (см. именные указатели этих изданий); «Горьковские чтения 1953—1957»; «Горьковские чтения 1958—1959»; «Горький и Сибирь». Новосибирск, 1961; «Литературное наследство Сибири», т. I. Новосибирск, 1969, а также в периодической печати (см. С. Я. Бродская. Публикация текстов А. М. Горького. М., 1967).

В *архиве Е. П. Пешковой* сохранилось четыре *письма* Бунина: открытка, адресованная ей и Горькому (1900), две записки (1913; см. настоящ. кн., стр. 250), письмо с сообщением о взносах в фонд общества «Помощь жертвам войны» (1915). Подпись Бунина стоит и на коллективной приветственной телеграмме Пешковой (1915).

*Дарственную надпись* Бунина Пешковой *на фотографии* (1902) см. настоящ. кн., стр. 249.

*Воспоминания*, которые Пешкова подготовила для бунинского вечера в ГЛМ (1955 г.), публикуются в настоящ. кн. (стр. 247—250).

*Выписки*, сделанные ею из воспоминаний Бунина о Горьком («Иллюстрированная Россия». Париж, 1936, № 28, 4 июля), содержат характеристику Горького, описание его внешности, эпизод с М. Н. Ермоловой, рассказ Бунина о дружеских отношениях с Горьким. Некоторые из них сопровождаются полемическими заметками Пешковой.

В этом же архиве сохранилась *вырезка* из газеты «Одесские новости» (1912) — интервью Бунина о пребывании на Капри (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 542—545), а также две афиши выступлений Бунина в «Московском литературно-художественном кружке»— на вечере, посвященном столетию со дня рождения Лермонтова (1914; см. настоящ. кн., стр. 129), и на вечере сборника «Клич» (1915).

*Упоминания* о Бунине содержат три письма В. Н. Буниной Пешковой (1913, 1959).

В *разделе «Переписка третьих лиц»* хранятся три *письма* Бунина — открытка З. А. Пешкову (1911) и два письма М. Ф. Андреевой: 18 мая 1911 г. (см. «Горьковские чтения 1958—1959») и без даты.

В *разделе «Знание»* находится 80 *писем* Бунина К. П. Пятницкому (1901—1910; П-ка «Знания», 11—1/1—80), 54 его письма С. П. Боголюбову (1903—1913; П-ка «Знания», 10—24/1—54), а также некоторые *деловые документы*: письма Бунина в контору «Знания» (6 п., 1902—1909), его расписки в кассовых документах издательства, соглашения между Буниным и «Знанием» об издании «Песни о Гайавате» (1902), переводов «Манфреда» и «Каина» (1902, с дополнением, сделанным в 1906 г.) и третьего тома Собр. соч. 1902—1910. В копировальных книгах Пятницкого сохранились копии девяти его писем Бунину и одного письма Боголюбова. Часть этой переписки опубликована А. Ниновым («Русская литература», 1964, № 1). А. Нинов касался этого материала в связи с вопросами издания книг Бунина, его участия в сборниках «Знания» и его отношениями с Горьким. Письма эти содержат также некоторые факты биографии Бунина: он сообщает Пятницкому о смерти сына, болезни матери, смерти отца, о некоторых событиях (например, о крестьянских волнениях); по письмам этим можно уточнить время его пребывания в Москве, Одессе, Глотове, Петербурге, за границей.

Письма к Пятницкому и Боголюбову дают материал и для характеристики работы Бунина, продолжавшейся на всех стадиях издательской подготовки рукописи. Так, Бунин, опоздав отдать в издательство рассказ, предназначенный в 25 сборник «Знания», писал Пятницкому 16 декабря 1908 г.: «вздохнул облегченно: теперь рас-

сказ отделаю под лак и политуру и надеюсь попасть в 27 сборник. Называться он будет „Камень", но не спроста». В тот же день он писал Боголюбову: «рассказ мой, конечно, очень выиграет, полежавши недельку, другую и еще разок переписавшись».

«Не просматривать корректуру не могу»,— писал Бунин Пятницкому 29 января 1902 г. О присылке корректур он просит едва ли не в каждом письме, настойчиво повторяя свои просьбы об исправлениях, сообщая о них одновременно Пятницкому и Боголюбову, а о наиболее серьезных — и Горькому. Из этих писем видно, насколько серьезно относился Бунин к тематическому единству стихотворных циклов, печатавшихся в сборниках «Знания»: «...среди Истар и Одинов уж очень одиноко будет стихотворению о цветных стеклах, — писал он Пятницкому 1 января 1907 г.— Поэтому я посылаю вам еще 4 стихотворения — деревенских, и *чрезвычайно* прошу вас поместить их в 15 сборнике— *хоть в самом конце*,— а „Истару", „Египет", „Одина" и „Розы Шираза"— в 16-м. Если же этого уже нельзя сделать, т. е. если уже „Цветные стекла" появились в 15 сборнике, то поставьте 4 новых стихотворения в 16 сборник, а „исторические" — в 17». «Деревенские» стихи («Цветные стекла», «Проснусь, проснусь—за окнами, в саду...», «За окнами — снега...», «Слепой», «Пугало») были напечатаны в 15-м сборнике «Знания» (СПб., 1907), а в 16-м — «исторические»: «Истара», «Египет», «Один», «Розы Шираза», «Магомет в изгнании», «Бессмертный».

Деловые письма Бунина показывают, какое огромное значение придавал он художественному оформлению книги,— в его требованиях проявлялась строгость вкуса, стремление к простоте, отвращение ко всяческим «красотам стиля». В январе 1902 г. он писал по поводу заставок, предложенных для первого тома Собр. соч. 1902—1910: «Это такая детская старина, что если уж ничего нельзя поставить в ином стиле и попроще (боже сохрани от пейзажей в заставках!), поставим лучше что-нибудь из этих самое простое». 15 января 1902 г. Бунин опять подчеркивает: «Я придаю значение заставкам»; он повторяет, что стоит за «самое простое» в рисунке, и иронически отзывается о всяких «легких свиточках с ландышами».

При подготовке второго издания второго тома Собр. соч. 1902—1910 Бунин просил Боголюбова заказать обложку И. Я. Билибину: «*пошлите ему текст обложки*, прибавьте, что я просил сделать *попроще*, —вот и все»,— писал он 20 ноября 1908 г. и повторял: «Желания же мои просты — *попроще*, без рисунка, одни буквы».

Письма к Пятницкому сообщают новые сведения и о Бунине-переводчике. Первая переводная книга, которую Бунин издал в «Знании», была «Песнь о Гайавате». Судя по сохранившемуся автографу Бунина — тексту титульного листа — предполагалось, что Горький напишет к книге предисловие (П-ка «Знания», 11—1/24). Готовя это издание, Бунин вновь вернулся к работе над текстом. «Более месяца тому назад послал вам „Гайавату" с поправками»,— писал он Пятницкому 6 мая 1902 г. По просьбе Пятницкого, он подготовил перевод перечня иноязычных выражений в книге. Письмо Пятницкому от 30 декабря 1902 г. характеризует эту работу: «Многоуважаемый Константин Петрович, я действительно написал вам, что *все* отправлено, но именно в последнюю минуту перед отправкой перечня я и убоялся, не наврал ли в нем, и написал вам просьбу не ставить его. Очень жалею, что взялся переводить этот злополучный перечень, тем более, что это не входило в круг моих обязанностей. От трудностей в переводах, конечно, нельзя уклоняться, но ведь от трудностей в переводе „Песни" я и не уклонялся. Что же касается перечня, то его трудности оказались трудностями совершенно особого рода. Я безусловно виноват в том, что взялся перевести его, не ознакомившись с ним хорошенько, что я задержал его и наделал и вам и себе больших неприятностей. ⟨...⟩ Я был у двух англичан, доставал специальные словари, читал перечень с географом (Синицким) и все-таки ничего не добился. До каких же пор мне было бегать по Москве? И с какими глазами я явился бы беспокоить незнакомого человека,—напр., старика Анучина? Получив ваше письмо, я снова был у англичанина Макклайда и снова более 5 часов рылся с ним по словарям и снова не добился почти ничего...»

По соглашению со «Знанием» (1902) Бунин должен был к началу декабря 1902 г. представить перевод «Манфреда», а в начале февраля 1903 г.— перевод «Каина». Сроки эти он не выдержал. «Очень прошу простить и за „Манфреда",— писал он 15 декабря

БИЛЕТ НА ВЕЧЕР БУНИНА
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Москва, 8 декабря 1915 г.
Институт мировой литературы
им. А. М. Горького АН СССР, Москва

Новая Больш. Аудитор. Политехнич. Музея.
БИЛЕТЪ
для входа на
ВЕЧЕРЪ
посвященный творчеству Почетнаго Академика
И. А. БУНИНА.
8 Декабря 1915 г. Начало въ 8 ч. веч.
Весь сборъ поступитъ въ распоряженіе Центральнаго Бюро при М. Г. У. на оказаніе помощи жертвамъ войны.
ПАРТЕРЪ 1 ряда № 6
Цѣна билета 5 р. 10 к.
Храненіе пл. — р. 10 к.
ИТОГО... 5 р. 20 к.
Билетъ безъ марки не дѣйствителенъ.
Талонъ для контроля.

1902 г.— Переделываю коренным образом — перевел очень болтливо *. За то теперь выходит очень хорошо. Сегодня виделся с Алексеем Максимовичем и просил у него отсрочки до последних чисел декабря. Он вполне соглашается». Но 16 января 1903 г. Бунин опять пишет: «...не взыщите,— раньше мая, июня, вероятно, не смогу прислать „Каина“ и „Манфреда“, ибо присылать вещь, сделанную кое-как, невозможно». Только 20 августа 1903 г. Бунин сообщил Пятницкому: «„Манфред“ давно готов 〈...〉 Что же касается „Каина“, то я его почти всего изорвал, и думаю, что раньше ноября не смогу его представить вам. Очень прошу — простите,— с болью в сердце я не могу выпускать книг». Обрадованный предложением Горького перевести всего Байрона, Бунин писал Пятницкому 11 января 1904 г. (29 декабря 1903 г.): «Все это мне улыбается, но как быть с „Каином“? 〈...〉 я был бы бесконечно рад отложить его печатанье еще — до осени; когда он полежит, я, мне кажется, смогу отнестись к нему спокойно и переделать все, что мне не нравится, и докончить все недоконченное твердой рукой». Лишь 6 сентября 1904 г. Бунин мог сообщить: «Пора печатать „Каина“. Он готов и нравится мне».

Значительное место в переписке Бунина с издательством «Знание» занимают денежные дела: просьбы о высылке гонораров или авансов, расчеты и т. д. «Мне, живущему литературным трудом, не знать положения моих дел — очень неудобно»,— писал он Пятницкому 11(24) января 1904 г.

## 3. МУЗЕЙ А. М. ГОРЬКОГО

В личной библиотеке Горького хранятся различные *произведения Бунина* — от «Листопада» (М., 1901) до советского издания «Снов Чанга» (М., 1927). Пять из них имеют *дарственные надписи* Бунина: 1) «Деревня». М., 1910 («Дорогому другу моему Алексею Максимовичу. Ив. Бунин. 8 декабря 1910 г.»); 2) «Суходол». М., 1912; 3) «Чаша жизни». М., 1915; 4) «Господин из Сан-Франциско». М., 1916; 5) Собр. соч. 1915, т. 1 (см. настоящ. кн., стр. 39, 52 и 53). Некоторые книги имеют пометы Горького — отмечены некоторые стихотворения, в тексте подчеркнуты строки; особенно много помет в сборнике «Суходол».

*Иконография Бунина* представлена следующими материалами: два портрета Бунина — рисунки А. А. Койранского (1918) и А. П. Павлюка (1965); фотографии — групповой снимок (Телешов, Бунин, Горький) с автографом Бунина (Ялта, 1900) и групповой снимок Л. В. Средина (Бунин, Горький, Телешов, Мамин-Сибиряк)

* Это письмо неточно процитировал А. Нинов: «...перевел очень боязливо» («Русская литература», 1964, № 1, стр. 189).

с автографами изображенных лиц и надписью Средина: «Ялта, 16 апреля 1900 г.» (см. настоящ. кн., стр. 9); члены «Среды» (фото К. Фишера, 1902, 4 варианта); Бунин и Горький (Капри, 1912—1913); групповой снимок — в кабинете Горького (Капри, 1913; то же в ГЛМ — см. «Материалы»); Бунин (фотография, 1935).

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА. ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ

Фонд Бунина в отделе рукописей ГБЛ (№ 429, 46 ед. хр.) был образован в 1960 г. Его основу составили два больших поступления: 1) 11 автографов писателя (три рассказа, восемь стихотворений) и 37 писем к нему от разных лиц (переданы в 1960 г. М. Ф. Муромцевой — вдовой П. Н. Муромцева, брата В. Н. Буниной); 2) книги Бунина с его авторской правкой, присланные в Москву В. Н. Буниной (поступили в 1957 г. из Гослитиздата). При организации фонда в него была включена часть автографов Бунина из других фондов (7 ед. хр.).

Бунинский фонд продолжает пополняться. Так, в 1968 г. от С. Ю. Прегель (Париж) поступили рукописи трех рассказов Бунина («Un petit accident», «В Альпах» и «В такую ночь»); в 1969 г. А. Я. Полонский (Париж) передал часть рукописи сборника «Темные аллеи» (машинопись с авторской правкой и замечаниями для редакции), а также ряд писем Бунина; в 1971 г. Л. Ф. Зуров передал план парижской квартиры Бунина. Постоянно поступают новые материалы и в составе архивов других лиц.

Кроме фонда 429, бунинские материалы содержатся также в следующих 26 фондах: С. А. Абрамова (ф. 1—3 ед. хр.), Н. С. Ангарского-Клестова (ф. 9—7 ед. хр.), В. Д. Бонч-Бруевича (ф. 369—3 ед. хр.), В. Я. Брюсова (ф. 386—4 ед. хр.), М. П. Гальперина (ф. 437—1 ед. хр.), А. Б. Дермана (ф. 356—8 ед. хр.), Н. Д. Кашкина (ф. 515—2 ед. хр.), Н. В. Кодрянской (ф. 503—3 ед. хр.), Н. А. Крашенинникова (ф. 452—2 ед. хр.), А. А. Курсинского (ф. 389—2 ед. хр.), В. Л. Львова-Рогачевского (ф. 154—1 ед. хр.), А. Ф. Маркса (ф. 360—3 ед. хр.), «Музейного собрания» (ф. 178—1 ед. хр.), В. А. Никольского (ф. 489, М. 3919. 9—1 ед. хр.), Общества любителей российской словесности (ф. 207—1 ед. хр.), А. В. Пешехонова (ф. 225—1 ед. хр.), газеты «Русское слово» (ф. 259—5 ед. хр.), Н. В. Рыковского (ф. 421—1 ед. хр.), Собрания Литературного музея (ф. 82—4 ед. хр.), Собрания отдела рукописей (ф. 218—3 ед. хр.), Д. Л. Тальникова (ф. 487—10 ед. хр.), А. И. Успенского (ф. 434—1 ед. хр.), А. П. Чехова (ф. 331—8 ед. хр.), Г. И. Чулкова (ф. 371—1 ед. хр.), И. С. Шмелева (ф. 387—1 ед. хр.), А. И. Эртеля (ф. 349—1 ед. хр.), изд-ва Сабашниковых (ф. 261—1 ед. хр.). Таким образом, общее количество автографов Бунина и других документов, с ним связанных, составляет около 130 ед. хр.

В ГБЛ хранится семь *прозаических произведений* Бунина. Мы отметим лишь те особенности этих рукописей, которые отличают их от первой публикации (в Собр. соч. 1965—1967 ни одна из них не учтена).

Очерк «Иудея» в его первоначальной редакции (до разделения на три самостоятельных произведения — «Иудея», «Камень» и «Шеол») представлен корректурой первой публикации (сб. «Друкарь». М., 1910) с авторской правкой и надписью: «Исправить и дать Н. Д. Телешову для подписи к печати. Ив. Бунин. 30 ноября 1909 г.» (429. 1.7). Корректура подписана также Телешовым — редактором сборника. Однако новая концовка расоказа (единственное кардинальное исправление, сделанное Буниным) в печатный текст была включена лишь частично, в последующих же изданиях автор ее не восстанавливал.

Два отрывка, озаглавленные «Из повести „Суходол“» (автограф и машинопись с правкой Бунина, без даты — 429.1.9), относятся, по-видимому, к 1911—1912 гг. Они имеют законченную форму и сюжетно продолжают друг друга: первый — сокращенная редакция 4-й главы, второй — 6-я глава полностью (без двух начальных аб-

**БУНИН**

Фотография, 1913
С дарственной надписью
Д. Л. Тальникову:
«Дорогой Давид Лазаревич,
давно не выходят у меня из головы
удивительные слова Будды:
„Как птица, вспорхнувшая из кустарника, летит в лес, обильный плодами, так, покинув людей мелкого понимания, достиг я великого моря“. Ах, как следовало бы всякому почаще вылетать из кустарника! Ив. Бунин.
9/22 марта 1914 г. Капри.»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

зацев, последний абзац — зачеркнут). Характер разночтений с первопечатным текстом («Вестник Европы», 1912, № 4) свидетельствует, что в основе отрывков лежит законченный текст повести; вероятно, они предназначались для чтения на литературном вечере.

Рассказ «Весенний вечер» (1914) сохранился в машинописи и верстке (обе со значительной авторской правкой — 429.1.4). Машинопись послужила наборным экземпляром первой публикации (сб. «Слово», кн. 4. М., 1915); авторская правка, сделанная в ней, полностью учтена в верстке, текст которой идентичен тексту «Слова». На л. 1— пометы Бунина: «Исправить и дать мне в 2-х экз. для подписи. Ив. Бунин. 2 дек. 1914»; «Прошу как можно тщательнее воспроизвести оригинал. Есть умышленные ошибки, ударения на словах и т. д.— все это сохранить. Ив. Бунин». Анализ авторской правки позволяет восстановить процесс работы Бунина.

Черновой автограф рассказа «Грамматика любви» (1915—429.1.6) имеет несколько разночтений с первой публикацией (сб. «Клич». М., 1915). Самое существенное из них — наличие эпиграфа, которого в тексте сборника нет (строки Баратынского, затем повторенные в тексте). В конце авторская дата: «12 ч. 52 м. в ночь с 17 на 18 февраля 1915 г. Москва». Около 80 исправлений, сделанных, судя по чернилам, непосредственно в ходе работы над рассказом, в сочетании с более поздней правкой (красным карандашом) могут многое дать исследователю, изучающему мастерство Бунина-стилиста.

Одна из самых больших драгоценностей бунинского фонда ГБЛ — рукописи рассказа «Господин из Сан-Франциско» (429.1.5). Первая информация о них была напечатана в «Орловской правде» (1961, 1 июля); затем в печати появился ряд статей, посвященных исследованию творческой истории этого рассказа на основе рукописей ГБЛ; к ним мы и адресуем читателя (А. А. Кравченко. К вопросу о реализме Бунина (Творческая история рассказа «Господин из Сан-Франциско»).— «Казанское зональное объединение кафедр литературы группы педагогических институтов.

Доклады и сообщения», вып. 1. Казань—Чебоксары, 1963, стр. 267—295; А. А. Ачатова. Работа Бунина над рассказом «Господин из Сан-Франциско» (по материалам рукописей).— «Ученые записки Томского университета им. В. В. Куйбышева», № 48. Томск, 1964, стр. 61—78; В. Н. Афанасьев. И. А. Бунин в работе над рассказом «Господин из Сан-Франциско».— «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», т. XXIV, вып. 1. М., 1965, стр. 7—17; Собр. соч. 1965—1967, т. 4, стр. 483—488 (примечания О. Н. Михайлова); О. Н. Михайлов. Путь Бунина-художника (настоящ. том, кн. 1, стр. 32).

К 1942—1945 гг. относятся материалы, связанные с изданием «Темных аллей» (429.3.21). Это часть того машинописного экземпляра сборника, который в 1942 г. Бунин переправил в Нью-Йорк М. А. Алданову для публикации в США и с которого печаталось первое издание сборника (Нью-Йорк, 1943), о чем свидетельствуют помета на л. 1 («Из архива М. А. Алданова») и надпись рукой Бунина на французском языке: «Это моя новая книга рассказов. Для перевода и издания в Америке. Иван Бунин. Писатель, лауреат Нобелевской премии 1933 г.» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 129). В ГБЛ поступило лишь семь рассказов из 21: «Антигона», «Паша», «Визитные карточки», «Таня», «Галя Ганская», «Про обезьяну», «Натали» (две редакции); местонахождение остальных неизвестно. Все рассказы имеют очень значительную авторскую правку. Неизвестной рукой (М. А. Алданова?) составлен список рассказов с пометами на полях: «Можно с сокращениями», «нельзя»; запрету с точки зрения цензуры нравов подверглись «Антигона», «Паша», «Визитные карточки», «Таня», «Галя Ганская». В 1945 г., намереваясь издать вторую часть сборника, Алданов просил автора смягчить рискованные места в этих рассказах. Ответ Бунина содержит подробный перечень предлагаемых им изменений (автограф, 5 л.).

Рассказы «Un petit accident», «В Альпах» и «В такую ночь...» (машинопись с авторской правкой — 429.3.20) представляют собой наборные экземпляры первой публикации (журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1950, № 42—44). Правка в первых двух рассказах незначительна и носит чисто стилистический характер; в третьем она более существенна — замене подверглись несколько предложений, связанных с психологической характеристикой героев рассказа. На последнем листе надписи: «Апрель 49 г. Ив. Бунин»; — «Непременные условия: 1) Дать мне вторую корректуру в 2-х экземплярах. 2) Сделать клише, воспроизвести дату и мою подпись. Ив. Бунин». В письме к редактору журнала С. Ю. Прегель (5 мая 1950—218.131.5) Бунин объясняет свою просьбу тем, что «Новоселье» пользуется новой орфографией (клише дало бы читателю понять, что он, Бунин, новой орфографии не признает).

В собрании ГБЛ хранится 46 *стихотворений* Бунина (20 ед. хр.). Самое раннее из них — «Деревенский нищий» (1886)—находится в фонде Н. С. Клестова-Ангарского (список, сделанный неизвестной рукой, ф. 9. № 203); список соответствует первой публикации («Родина», 1887, № 20).

Восемь стихотворений содержится в тетради с авторской датой на обложке — «Орел. 1892» (беловой автограф, 429.1.2). Четыре из них («Бушует полая вода...», «Догорел апрельский светлый вечер...», «Соловьи», «Еще от дома на дворе...») вошли в переработанном виде в Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 80, 81, 83). Разночтения с первой публикацией («Вестник Европы», 1893, № 7) свидетельствуют, что Бунин правил эти стихи, следуя совету А. М. Жемчужникова (ср. его письмо к Бунину от 28 апреля 1893 г.— журн. «Путь», 1912, № 12, стр. 35—36). Остальные стихи этой тетради (за исключением стихотворения «Странная»)—«На новый год. Мотив А. Мицкевича», «Далеко на низах осталися равнины...», «Жизнь увлекает пошлостью дневной...», публикуются в настоящ. томе (кн. 1, стр. 211, 219, 275).

Стихотворение «Вечерняя молитва. Мотив Сенкевича» (1895, беловой автограф; 515.1.20) было послано Буниным С. Н. Кашкиной 21 января 1896 г. (см. «Русская литература», 1963, № 2, стр. 178—179). Автограф имеет разночтения с первой и всеми последующими публикациями (Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 393—395).

Беловой автограф стихотворения «Весенний вечер» («Затрепетали звезды в небе...»), с авторской датой: «Апрель 1901 г.»,— сохранился среди писем Бунина к Чехову

(331.37.54). Возможно, что он остался в Ялте после отъезда Бунина, гостившего там с 1 по 15 апреля 1901 г. (писем Бунина, в которых речь шла бы о посылке стихов, в архиве Чехова нет, ответного письма с благодарностью за присланные стихи — тоже). Впоследствии заглавие было снято (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 118).

В архиве В. А. Никольского (489. М. 3919.9) хранятся автографы четырех стихотворений, предназначенных для альбома «Сто русских писателей» (см. ниже — обзор писем Бунина): «Из сказки» («Все лес и лес. А день темнеет...») — 1899; «С кургана» («Дымится поле, рассвет белеет...»), «Ночь и день» и «После дождя» («Гроза прошла над лесом стороною...») — 1901. Автографы ГБЛ имеют разночтения с первыми публикациями этих стихов, появившимися в печати раньше; повторяются они и в альбоме. С текстом окончательной редакции (т. 1, стр. 115, 140, 144) разночтений почти нет.

В архиве А. А. Курсинского, сотрудника журнала «Золотое руно» (389.1.35), сохранились автографы стихотворений «Невольник» (1903—1906) и «Портрет» (1903), опубликованных в этом журнале (1906, № 5). Впоследствии Бунин внес в эти стихи ряд поправок (т. 1, стр. 178, 238).

В архиве Н. А. Крашенинникова, редактора журнала «Новое слово», хранится авторская корректура стихотворения «Няня» (1906—1907) с правкой Бунина и посвящением Крашенинникову (452.1.9). В Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 288) вошло без разночтений.

Из архива Н. Д. Телешова поступила сначала в ГЛМ, а оттуда — в ГБЛ корректура стихотворений «Морской ветер» и «Сторож» (сб. «Друкарь». М., 1910) с авторской правкой, датой («3 дек. 09 г.») и подписью Бунина. Последующие публикации «Морского ветра» имеют отдельные разночтения, «Сторож» разночтений не имеет (т. 1, стр. 323, 324). К архиву Телешова восходит и авторизованная машинопись стихотворения «Кадильница» (429.1.3) — наборный экземпляр для сборника «Клич» (М.,1915) с авторской подписью; разночтений с Собр. соч. 1965—1967 нет (т. 1, стр. 392).

Черновой автограф стихотворения «Архистратиг средневековый...» (1916; 429.1.1) — незавершенная редакция, значительно отличающаяся от первой публикации (сб. «Господин из Сан-Франциско». М., 1916) и не учтенная в Собр. соч. 1965—1967.

В архиве С. А. Абрамова, сотрудника книгоиздательства «Творчество», находятся наборные экземпляры стихов, опубликованных (без разночтений) в альманахе «Творчество» (№ 1, 1917 и № 2, 1918): «Игроки» и «Стой, Солнце!» (автографы — 1.5.5 и 1.1.17), «Глупое горе» и «Перстень» (машинопись с авторской правкой — 1.1.13 и 1.1.14). Первые два стихотворения в дальнейшем не перерабатывались (т. 1, стр. 403, 418); «Перстень» был подвергнут полной переработке (т. 1, стр. 368 и 496), значительно изменено и «Глупое горе» (т. 1, стр. 426).

Самый крупный комплекс стихотворных автографов Бунина (1915—1919 гг.) находится в фонде А. Б. Дермана. Наиболее значителен среди них цикл «Путевая книга», посланный Дерману 21 октября 1918 г. в ответ на предложение принять участие в сб. «Отчизна» (Симферополь, 1918; см. ниже обзор писем к Дерману). Цикл состоит из 15 стихотворений (автографы и машинопись с авторской правкой — 356.10.3): 1. «Древняя обитель супротив луны...»; 2. «Солнце полночное, тени лиловые...»; 3. «Полночный звон степной пустыни...»; 4. «Роса, при бледнорозовом огне...»; 5. «Осенний день. Степь, балка и корыто...»; 6. «Стена горы — до небосвода...»; 7. «Стали дымом, стали выше...»; 8. (отсутствует); 9. «Роняя снег, проходят тучи...»; 10. «Вид на залив из садика таверны...»; 11. «Пустыня в тусклом, жарком свете...»; 12. «Сорвался вихрь, промчал из края в край...»; 13. «Смятенье, крик и визг рыбалок...»; 14. «На даче тихо, ночь темна...»; 15. «Звезда дрожит среди вселенной...». Все эти стихи вошли в указанный сборник, а затем в Собр. соч. 1965—1967 без разночтений, за исключением № 10, 11 и 15.

Бунин писал Дерману 21 октября 1918 г.: «Прилагаю то, что вам нравится — стихи о свечах и о барышне — но не для печати» (356.10.3). Автографы этих стихов («Золотыми цветут остриями...» и «Тает, сияет луна в облаках...») имеют пометы: «Не для печати», на втором из них — дарственная надпись А. Б. Дерману (356.10.1 и 10.4). Первое стихотворение в дальнейшем было переработано и озаглавлено «Воспоминание», второе («Первый соловей») осталось без изменений (т. 1, стр. 430 и 443).

Дарственную надпись Дерману (11 апреля 1918 г.) имеет также автограф «У ворот Сиона, над Кедроном...» (356.10.18); стихотворение «Едем бором, черными лесами...» (автограф) озаглавлено: «Из цикла „Русь“» (356.10.2). Впоследствии эти стихи не перерабатывались (т. 1, стр. 430, 443). Последнее из стихотворений архива Дермана — «Темень. Холод. Предрассветный...» (356. 10.5) — публикуется в настоящем томе (кн. 1, стр. 188).

В коллекции Н. В. Рыковского, сотрудника газеты «Раннее утро» и журналов «Жизнь» и «Заря», хранится недатированный автограф стихотворения «Звезда морей, Мария...» (421.1.21). В Собр. соч. 1965—1967 оно напечатано по этому автографу, но с ошибками в строках 6 и 23 (т. 8, стр. 31—32).

К творческим рукописям Бунина примыкают *книги с авторской правкой* писателя: Собр. соч. 1934—1936, т. I—IX и XI(т. III и IV в двух экземплярах) и «Жизнь Арсеньева». Нью-Йорк, 1952 (429.1.11—16; 2.1—5; 3.22). Этими книгами Бунин пользовался, работая над подготовкой будущего издания своих сочинений. Авторская правка, внесенная в 1947—1953 гг. в большую часть произведений (например, правке подвергнуто 96 рассказов), придает им значение последней авторской редакции. В Собр. соч. 1965—1967 эта правка была учтена лишь частично.

*Публицистические выступления* Бунина представлены в ГБЛ автографом воззвания от имени писателей, артистов и художников с протестом против насилий, чинившихся немцами во время первой мировой войны (429.1.10; опубликовано в газете «Русское слово», 1914, № 223, 28 сентября).

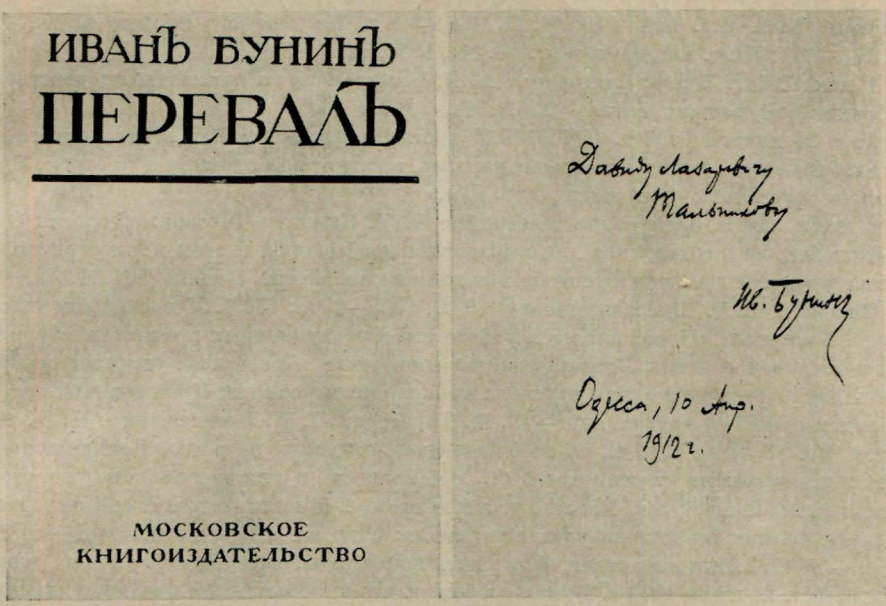
Следы *редакторской работы* Бунина носят разрозненные листы верстки книги: Р. Тагор. Пер. Н. А. Пушешникова под ред. Бунина (М., 1914), а также полоса гранок рассказа И. С. Шмелева «Росстани» из сборника его рассказов «Волчий перекат» (М., 1914) и проект обложки сборника рассказов П. А. Нилуса «На берегу моря» (М., 1914). В первых двух случаях редакторская правка очень незначительна; в третьем — Бунин дал название сборнику — оно вписано его рукой на обложке предыдущей книги Нилуса («Рассказы». М., 1910).

*Письма Бунина* к разным лицам составляют в ГБЛ 43 ед. хр.; они адресованы 36 корреспондентам: Ф. И. Благову, В. Д. Бонч-Бруевичу, В. А. Брендеру, В. Я. Брюсову, П. И. Вейнбергу, М. П. Гальперину, Г. Д. Гребенщикову, А. М. Григорову, А. Е. Грузинскому, А. Б. Дерману, С. Н. Кашкиной, Н. С. Клестову-Ангарскому, О. Л. Книппер-Чеховой, Н. В. и И. В. Кодрянским, Н. А. Крашенинникову, В. Л. Львову-Рогачевскому, А. Ф. Марксу, С. Д. Махалову, В. А. Никольскому, А. В. Пешехонову, С. Ю. Прегель, А. Е. Розинеру, М. В. Сабашникову, Д. Л. Тальникову, Н. Д. Телешову, А. И. Успенскому, М. А. Успенскому, А. П. Чехову, М. П. Чеховой, Г. И. Чулкову, И. С. Шмелеву, А. И. Эртелю, в книгоиздательство «Жизнь и знание», в редакцию газеты «Русское слово» и неустановленному лицу.

Самые ранние из них адресованы А. П. Чехову (17 п., 1891—1904; 331.37.54); все они, а также письмо Чехова Бунину 17 августа 1901 г. (429.3.11) опубликованы («Лит. наследство», т. 68, 1960; А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 19. М., 1950).

Письмо студенту духовной академии А. И. Успенскому — племяннику писателя Н. В. Успенского (ноябрь 1895 г.) сохранилось в архиве адресата (ф. 434, б.ш.) вместе с обращением Бунина помочь ему «в составлении возможно полной биографии и критического этюда о личности и произведениях покойного Николая Васильевича Успенского» (вырезка из газеты «Русские ведомости», 1895, № 259, 19 сентября). Бунин благодарит Успенского за «интересное и обстоятельное» письмо, которым он откликнулся на его обращение, и просит о встрече, сообщая, что около 20 ноября будет в Петербурге.

Три письма к С. Н. Кашкиной (в замужестве Нюберг; 1896; 515.1.6) — см. «Русская литература», 1963, № 2.:черновой автограф в ГМТ (см. настоящ. кн., стр. 472).




СБОРНИК БУНИНА «ПЕРЕВАЛ» (М., 1912)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ:
«Давиду Лазаревичу Тальникову. Ив. Бунин. Одесса, 10 Апр. 1912 г.»
Обложка и форзац
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Письма к В. Я. Брюсову (31 п., 1899—1916; 386.79.11) хранятся в ГБЛ главным образом в машинописных копиях, за исключением автографов двух писем — 12 июля 1901 г. и 11 ноября 1910 г. В ГБЛ находятся также черновые автографы трех ответных писем Брюсова: 29 марта и 8 августа 1899 г.; 1901 (без даты). Все эти письма публикуются в настоящ. томе в составе переписки Бунина и Брюсова (кн. 1).

К 1900—1916 гг. относятся семь открыток к Н. Д. Телешову (82.23. 1. А—2 и 9.134); они публикуются в настоящем томе (кн. 1).

Письмо к А. И. Эртелю (1901, без числа) написано на бланке обращения к писателям от комитета газеты «Одесские новости» по составлению литературно-художественного сборника в пользу голодающих юга России. Бунин присоединяется к просьбе комитета прислать что-нибудь для сборника, свидетельствует Эртелю свое уважение и симпатию, пишет о намерении прислать ему сборник «Листопад». 17 марта 1901 г. Эртель отвечал: «Я так далек от литературы, как только можно быть далеким — не сердцем, разумеется, но действиями. Написать „две-три странички“ для меня одинаково невозможно, как и закончить давно обдуманную и давно оставленную большую вещь». Он высказывает готовность помочь голодающим, заплатив за вышедший без его участия сборник 50 рублей. «Это пока единственная „лепта“, которую я могу принести, и простите, пожалуйста, а также испросите за меня прощение у почтенной редакции в том, что ничего иного, по немощи своей, не могу сделать». В конце письма он благодарит Бунина за намерение прислать сборник «Листопад»: «Заранее тронут и благодарю за ваше намерение прислать мне свои стихи, простые, без внешних выкрутас и сверхъестественных напряжений фантазии и языка. От ваших стихов на меня почти всегда веет свежестью и простотой нашей милой природы. Как видите, читать-то я читаю почти все, только вот писать недосуг, или думать о своих литературных сюжетах» (429.3.15).

Письма к М. П. Чеховой (52 п., 1901—1911; 331.87.53), а также ее ответы (24 п., 1901—1911; 429.3.12—14) частично опубликованы: «Хозяйка чеховского дома». Сим-

фероль, 1969, стр. 120—149; М. П. Чехова. Из далекого прошлого. М., 1960, стр. 233—242; «Лит. наследство», т. 68. М., 1960, стр. 403.

1 мая 1903 г. Бунин благодарит А. В. Пешехонова за приглашение участвовать в сборнике «В защиту слова» (225.1.31).

23 и 27 января 1904 г. (489.3919.9) в ответ на просьбу В. А. Никольского дать для альбома «100 русских писателей» портрет, афоризм или отрывок в 50 строк, Бунин посылает ему стихи (см. выше, стр. 495).

8 июля 1904 г. датирована телеграмма О. Л. Книппер-Чеховой: «Дорогая Ольга Леонардовна, не нахожу слов для выражения моей скорби и всем моим сердцем разделяю с вами и со всем вашим семейством ваше великое горе. Бунин» (331.66.14).

Письма к Н. А. Крашенинникову (19 п., 1905—1908; 452.1.10) посвящены участию Бунина в журнале «Новое слово» и работе его в редакционных комитетах сборников «Новое слово» и «Слово»: Бунин посылает свои стихи и рассказы, уточняет сроки их напечатания, дает адреса для перевода гонораров, пересылает Крашенинникову для сборников рукописи других лиц — Е. М. Тарасова, Л. М. Василевского, Н. П. Ашешова и др. 19 июня 1906 г. он сообщает свои замечания на роман Крашенинникова «Дети»: указывает на «растянутость ⟨...⟩, манерность и стилизованность некоторых мест», считает лишней всю 3-ю главу, а 2-ю главу 2-й части находит сделанной «à la Андреев»; считает неудачным заглавие романа: «Что вы хотите им сказать? Что отцы и дети — враги? Или вы хотели обрисовать последнюю, новейшую формацию дворянских детей?». 21 июля 1906 г. Бунин сообщает, что в прилагаемом письме рекомендует Горькому роман «Дети» для издательства «Знание» (это письмо Бунина Горькому неизвестно; роман вышел в 1908 г. в издательстве «Русская мысль»).

Из шести писем к Г. И. Чулкову (1906—1907; 371.2.63) четыре связаны с участием Бунина в альманахе «Факелы» (февраль — май 1906 г.): они содержат вопросы о количестве и сроках присылки стихов, о гонорарах. 2 декабря 1907 г. Бунин просит изменить заглавие стихотворения «В розах вечерних», предложенного Чулковым для альманаха «Земля» (сб. 1. М., 1908), так как оно «не в тоне» сборника: «Я был бы рад старому заглавию: „Осень“, например»,— пишет Бунин (под этим названием стихи и были напечатаны в «Земле»).

Письмо к П. И. Вейнбергу (24 июля 1908 г.; 82.25.2/5) содержит благодарность за присланные книги.

27 декабря 1909 г. Бунин просит В. А. Брендера о встрече (82.17.9). Возможно, что эта просьба связана с подготовкой к печати сборника «О Чехове. Воспоминания и статьи» (М., 1910), где были опубликованы воспоминания Бунина (автор предисловия — В. А. Брендер).

К 1911—1916 гг. относятся письма к редактору «Русского слова» Ф. И. Благову (20 п. и 1 телеграмма — 259.8.73 и 11.88): Бунин сообщает о посылке рассказов или стихов, просит корректуры, дает адреса для перевода гонораров.

Очевидно, Ф. И. Благову принадлежит неподписанный черновик письма Бунину от 29 июня 1912 г. (259.11.91) с извещением, что рассказ «Игнат» не будет напечатан в «Русском слове»: «Вы, конечно, догадываетесь, о чем идет речь. Эти неудобства — некоторая рискованность положений и описаний. Газете, имеющей аудиторию из лиц разных возрастов и различной степени развития, поневоле приходится ограничивать себя известными рамками, от которых зачастую свободны журналы, располагающие более устойчивым кругом читателей. Вот почему, несмотря на большое желание видеть ваши рассказы на столбцах „Русского слова“, я вынужден отказаться от этого удовольствия». Рассказ был напечатан в «Русском слове» (14 и 17—20 июля 1912 г., № 162, 164—167), но со значительными купюрами и переделками (о работе Бунина над ним см. т. 4, стр. 465—470).

С комплексом писем Бунина к Благову связаны еще два письма: в редакцию «Русского слова» (⟨1912⟩; 259.11.90) — просьба напечатать благодарность всем, приветствовавшим писателя в день юбилея, а также секретарю редакции М. А. Успенскому, 6 сентября (без года) — просьба внести поправки в стихи (259.11.89).

К январю — октябрю 1912 г. относятся три письма В. Л. Львову-Рогачевскому (154.2.17). В первом из них (без даты; сохранилось в копии) Бунин соглашается участ-

вовать в газете «Живое дело», редактором литературного отдела которой был Львов-Рогачевский (первый номер газеты вышел 20 января 1912 г., имя Бунина в перечне сотрудников появилось 17 февраля, но участие его в газете так и не состоялось). В письмах от 8 октября и конца ноября 1912 г. Бунин спрашивает о судьбе стихотворений «Алисафия» и «Ритм», посланных им в «Современный мир».

4 июля 1912 г. Бунин выражает С. Д. Махалову недовольство корректурой сборника «Суходол» и сообщает о намерении предпослать книге предисловие (9.133).

В письме А. Е. Грузинскому 1 ноября 1912 г. (207.31.60) Бунин благодарит Общество любителей российской словесности за избрание в почетные члены Общества и за приветственный адрес, поднесенный ему в день юбилея.

Того же числа Бунин благодарит за внимание к себе в юбилейные дни М. П. Гальперина (437.1.5), а в письмах к нему же от 18 июля и 20 августа 1916 г. соглашается участвовать в предполагаемом альманахе и просит написать подробнее о вновь организуемом издательстве (о чем идет речь, неизвестно).

Наиболее значителен по объему и содержанию комплекс писем Бунина к Н. С. Клестову-Ангарскому (63 п., 1912—1915; 9.26—28). Семь писем опубликованы («На родной земле». Орел, 1958; «Проблемы реализма»; «Вопросы литературы», 1969, № 7). Весь же этот комплекс подробно проаннотирован в статье Л. М. Ивановой «Архив Н. С. Ангарского» (ГБЛ. Записки Отдела рукописей, вып. 28. М., 1966, стр. 14—16).

14 апреля 1913 г. Бунин предложил Л. Ф. Маркс купить собрание своих сочинений для приложения к «Ниве» и дает проспект издания (360.1.15). Делам, связанным с этим изданием, посвящены и 13 писем к секретарю редакции журнала «Нива» А. Е. Розинеру (1913—1916: 360.1.16); три из них опубликованы («Вопросы литературы», 1969, № 7).

Письма к В. Д. Бонч-Бруевичу и в книгоиздательство «Жизнь и знание», им возглавляемое (13 п., 1913—1916; 369.248. 1—2), касаются подготовки к печати переводов Бунина из Байрона («Манфред. Небо и Земля. Каин». СПб., 1914) и сборника его рассказов и стихотворений («Храм солнца». Пг., 1917). В них звучит раздражение небрежностью по отношению к автору и неудовлетворительным качеством набора. В ответных письмах Бонч-Бруевич отклоняет претензии Бунина (5 п., 1913—1914; 369.134.8 и 248.1).

В архиве Д. Л. Тальникова сохранились 32 письма Бунина (1913—1922) и восемь писем Тальникова за это же время (487. 35.1 и 35.11). Подробный их обзор см.: Ю. П. Благоволина. Архив Д. Л. Тальникова. — ГБЛ. Записки Отдела рукописей, вып. 31. М., 1969, стр. 161—164.

Два письма к М. В. Сабашникову (1916—1917; М.10.844.81) связаны с выходом в свет в его издательстве бунинского перевода «Песни о Гайавате» Лонгфелло (Пг., 1918). Письмо Сабашникова Бунину 9 октября 1918 г. (М.10.844.4; машинописная копия) содержит просьбу составить «Изборник» стихов; к нему приложена копия договора с издательством Сабашниковых. Оригинал письма был отправлен Бунину с Н. В. Дмитриевым, который в октябре 1918 г. уехал из Москвы в Киев (об этом свидетельствует карандашная помета Сабашникова). Получил ли его Бунин — неизвестно. «Изборник» в издательстве Сабашниковых не вышел.

К 1916 и 1922 гг. относятся два письма Бунина к И. С. Шмелеву. «Не запомню столь тяжелого для моей души года, как последний. Но что же! — надо жить, крепиться,— говорю эту старую фразу сознательно и искренно»,— пишет он 12 марта 1916 г. 22 апреля 1922 г. Бунин спрашивает, получены ли его продовольственные посылки, не надо ли прислать еще и не может ли Шмелев выехать в Берлин для отдыха или литературной работы.

В письмах 14 февраля и 2 марта 1917 г. к служащему одесской городской управы А. М. Григорову (429.3.1) Бунин дает разрешение на перепечатку своего очерка о Чехове («Из записной книжки»).

Письма к А. Б. Дерману за 1917—1918 гг. (8 п., 356.1.9) полны тяжелых настроений и раздумий. 8 августа 1917 г. Бунин пишет: «Мы сидим в деревне, пока благополучны, но я совсем не оптимист, главное — насчет будущего. Не написал я букваль-

но ни строки — все лето с утра до вечера читаю газеты». Настроением растерянности и страха перед будущим проникнуты и письма за август — октябрь 1918 г., писанные уже из Одессы: Бунин жалуется на стремительный рост цен, полон тревоги за себя и своих близких, просит узнать что-нибудь о здоровье оставшегося в Москве Ю. А. Бунина, скорбит о смерти А. С. Черемнова. Большая часть писем связана с его участием в сборнике «Отчизна» (см. выше, стр. 495—496). Отрывки из них опубликованы: т. 8, стр. 423—424; «Вопросы литературы», 1969, № 7; «Материалы», стр. 209—210).

К периоду эмиграции относятся письма к Г. Д. Гребенщикову (8 п., ⟨1921⟩—1940; 218.1071.26). Они полны изъявлений симпатии к личности и таланту адресата и характеризуют условия жизни русской литературной эмиграции: «Не думайте, что *в Европе* (здесь и далее курсив Бунина.— *Ю. Б.*) нужны кому-нибудь русские писатели. *Никого* не покупают и не читают даже сами русские! И „старые" писатели живут подаянием (грошовым), а „молодые" несут всяческий черный труд (и тоже берут подаяние с благотворительных вечеринок!). Больному (душевно) Бальмонту помогли в прошлом году довольно щедро, но кто? Иностранцы, главное — американцы» (21 сентября 1939 г.). 1 марта 1940 г. Бунин и сам обращается к Гребенщикову с просьбой о помощи. Гитлеровская оккупация Парижа, видимо, прервала переписку писателей — писем Бунина к Гребенщикову послевоенного времени в ГБЛ нет.

Особое место занимает группа писем, связанных с выходом И. А. и В. Н. Буниных из Парижского союза писателей (письма к Л. А. и Я. Б. Полонским, М. С. Цетлин и М. А. Алданову, январь 1948 г.: см. сообщение А. Н. Дубовикова — настоящ. кн., стр. 393—407).

Письмо к С. Ю. Прегель от 5 мая 1950 г. касается публикации рассказов «Un petit accident», «В Альпах» и «В такую ночь...» (см. выше, стр. 494).

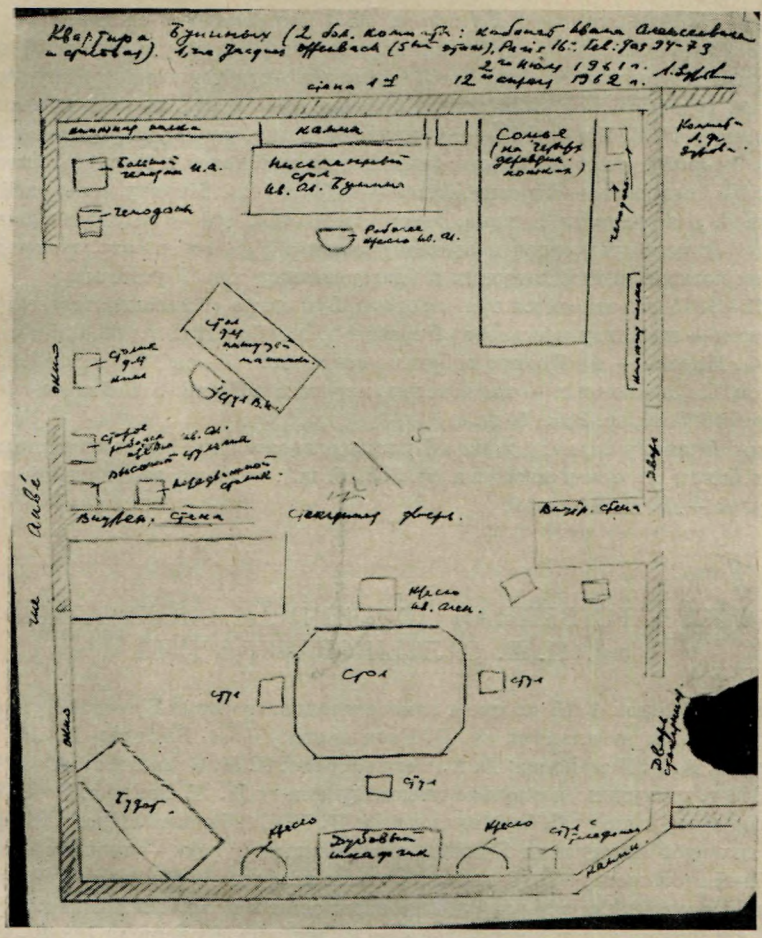
К последним годам жизни Бунина относятся письма к Н. В. и И. В. Кодрянским (8 п., 1951—1953, б. д., одно из них в ксерокопии,— ф. 503, б. ш.). Наиболее интересно письмо 20 июня 1951 г., в котором Бунин дает высокую оценку книге «Сказки Наталии Кодрянской», рекомендуя автору издать ее во французском и английском переводах.

*Письма разных лиц к Бунину* составляют 18 ед. хр. Это письма 16 корреспондентов: М. Ф. Андреевой, Ф. И. Благова ⟨?⟩, В. Д. Бонч-Бруевича, В. Я. Брюсова, В. А. и П. А. Гайдебуровых, А. М. Жемчужникова, П. В. Засодимского, Н. С. Клестова (Ангарского), С. В. Рахманинова, редакции газеты «Русское слово», М. В. Сабашникова, Д. Л. Тальникова, А. П. Чехова, М. П. Чеховой, А. И. Эртеля.

Самые ранние из этих писем принадлежат В. А. и П. А. Гайдебуровым (3 п., 429.3. 6—7). В. А. Гайдебуров сообщает Бунину 29 июля 1888 г., что стихотворение «Помнишь, с грустным шумом...» может быть помещено в «Книжках Недели» после некоторой доработки, отмечает в его стихах «признаки дарования», советует «не лениться тщательной обработкой» их и «читать, даже изучать, Пушкина, Лермонтова, Майкова, Тютчева и других наших поэтов».

П. А. Гайдебуров пишет 4 октября 1888 г. о несомненном даровании Бунина и дает советы по переделке некоторых неудачных мест в его стихах. Позднее Бунин вспоминал: «Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях — взял меня под свое исключительное руководство» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 260). Подтверждением этих слов служит письмо П. А. Гайдебурова 9 октября 1888 г.: «Милостивый государь Иван Алексеевич! Сегодня я совершенно случайно увидел номер „Родины" (журнала, мною не получаемого) и в нем ваше стихотворение. Так как у вас есть — как я писал вам и раньше — несомненные задатки поэтического * творчества, то позвольте мне предостеречь вас от участия в изданиях такого литературного качества, как „Родина". Это не только помешает вашей литературной репутации, но и невыгодно отзовется на развитии вашего дарования. Например, в „Дубовых листьях" очень поэтична мысль, но в стихотворении есть круп-

* в тексте: «поэтически» (*Ю. Б.*).



ПЛАН ПАРИЖСКОЙ КВАРТИРЫ БУНИНА
Рисунок Л. Ф. Зурова, 1970
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

ные, хотя и легко исправимые недостатки, — а оно между тем напечатано без всяких исправлений. Если присылаемые вами стихотворения будут не хуже напечатанных в „Неделе", то они могут появляться в каждой книжке, и даже по нескольку рядом. Готовый к вашим услугам П. Гайдебуров».

Письма А. М. Жемчужникова (5 п., 1892—1894; 429.3.8) опубликованы («Путь», 1912, № 12).

Недатированное письмо М. Ф. Андреевой (429.3.4) относится, вероятно, к апрелю — маю 1911 г. (ответное письмо Бунина написано 18 мая 1911 г.— см.: «Горьковские чтения, 1958—1959», стр. 61). Андреева приглашает Буниных на Капри, пишет о необходимости серьезно обсудить планы Горького о создании нового издательства (см. М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания... М., 1963, стр. 167—168).

Письмо С. В. Рахманинова 27 апреля 1915 г. (429.3.10) — см. «Курортная газета», 1960, № 214, 29 октября.

Недатированное письмо П. В. Засодимского содержит поздравление с выходом книги.

Письма остальных девяти корреспондентов описаны выше, вместе с письмами Бунина к ним.

*Биографические документы* Бунина в ГБЛ составляют 7 ед. хр.

Самые ранние из них — два проекта приветствий Бунину в связи с 25-летием его литературной деятельности. Один (от Литературно-художественного кружка) составлен, видимо, Брюсовым: он хранится в его фонде (386.70.13), написан на его машинке и имеет помету И. М. Брюсовой —«Бунину» (ни помет, ни подписи самого Брюсова в нем нет. Второй проект (от «Книгоиздательства писателей в Москве») имеет помету Н. Клестова-Ангарского—«Проект Махалова» (ф. 9.149). Наряду с высокой оценкой литературной деятельности Бунина, здесь отмечается, что «Книгоиздательство писателей» ждет от него «радостной и светлой» книги о русском народе, которая «явится признанием новых течений, ведущих к благоденствию нашей родины».

К 1912—1915 гг. относятся три договора Бунина: с «Книгоиздательством писателей в Москве»— на книгу рассказов «Перевал» (1 ноября 1912 г.; 82.4.35); с издательством А. Ф. Маркса — на Полное собрание сочинений (7 мая 1913 г.; 360.1.75); с издательством Сабашниковых — на издание перевода «Песни о Гайавате» Лонгфелло (27 января 1915 г.; ф. 261, б. ш.).

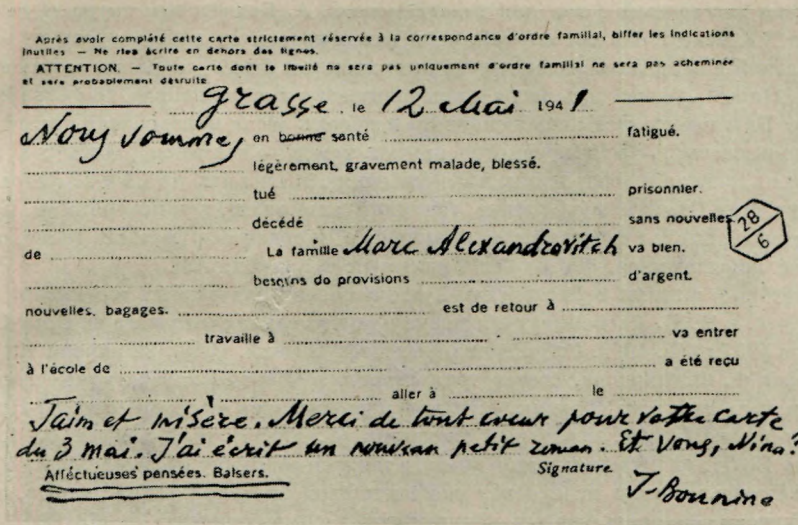
К эмигрантскому периоду жизни Бунина относятся два недатированных пригласительных билета на вечер писателя (ф. 503, б. ш.); один из них написан рукой Бунина, другой — В. Н. Буниной.

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Рукописный отдел ГПБ не имеет самостоятельного фонда Бунина. Бунинские материалы находятся в архивах Ф. Д. Батюшкова; П. В. Быкова; П. Л. Вакселя; И. В. Егорова; А. А. Измайлова; А. А. Коринфского; П. Н. Медведева; А. И. Тинякова и др. В 1948 г. поступило несколько писем Бунина от Н. Я. Рощина. В 1967 г. получены ценные материалы от С. В. Михалкова и Н. Н. Берберовой. Кроме того, в отделе эстампов хранятся фотографии Бунина, а в книжных фондах — книги с его автографами. В общей сложности, в ГПБ хранится шесть творческих рукописей, 49 писем, пять фотографий и восемь книг с дарственными надписями и пометами Бунина. Хронологически эти материалы охватывают более чем 50 лет жизни писателя (1892—1946).

В ГПБ находится шесть автографов *стихотворений Бунина* (рукописи прозаических произведений здесь отсутствуют). Отрывок «А за деревнею, где межи...» (1892; ф. 118, Быковы, № 1205) совпадает с журнальной редакцией заключительной строфы стихотворения «Еще от дома на дворе...» («Вестник Европы», 1893, № 7), впоследствии полностью переработанной. Автографы стихотворений «Из Леконт де Лиля» («Золотой диск»), «Джордано Бруно» и «Завеса» (ф. 118, Быковы, № 1205; ф. 51, Ф. Д. Батюшков, № 7; ф. 474, П. Н. Медведев, № 1, л. 94) также соответствуют первым публикациям. Автограф «При дороге» (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 702) является, по-видимому, дожурнальной редакцией стихотворения, так как имеет значительные разночтения и с первой и с последующими публикациями. Автограф стихотворения «Ритм» (ф. 1000, Собр. единичных поступлений, 1937/22) соответствует последней его редакции. Кроме того, в ГПБ сохранилась копия стихотворения «Песня» («Два голоса»), сделанная неизвестной рукой (ф. 685, С. А. Семенов, № 628).

Самостоятельное значение имеет бунинская интерпретация изречения из книги «Суттанипата. Буддийская каноническая книга» (М., 1899, стр. 48) — автограф, посланный Буниным Э. П. Юргенсону для его коллекции: «„Да будут счастливы все существа — и слабые, и сильные, и видимые, и невидимые, и родившиеся, и не рожденные еще!“— Буддийская мудрость. Ив. Бунин. Москва. 18 окт. 12 г.» (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 705).


Après avoir complété cette carte strictement réservée à la correspondance d'ordre familial, biffer les indications inutiles — Ne rien écrire en dehors des lignes.
ATTENTION. — Toute carte dont le libellé ne sera pas uniquement d'ordre familial ne sera pas acheminée et sera probablement détruite.

Grasse le 12 mai 1941

Nous sommes en bonne santé ... fatigué.
... légèrement, gravement malade, blessé.
... tué ... prisonnier.
... décédé ... sans nouvelles.
de ... La famille Marc Alexandrovitch va bien.
... besoins de provisions ... d'argent.
nouvelles, bagages. ... est de retour à ...
... travaille à ... va entrer
à l'école de ... a été reçu
... aller à ... le ...

28/6

J'ai et misère. Merci de tout cœur pour votre carte du 3 mai. J'ai écrit un nouveau petit roman. Et vous, Nina?

Affectueuses pensées. Baisers.

Signature J. Bounine

СТАНДАРТНАЯ ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА ВРЕМЕН ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ ФРАНЦИИ
Послана Буниным Н. Н. Берберовой 12 мая 1941 г.

Принстонский университет (США). Фотокопия — Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

*Письма Бунина* к 14 корреспондентам относятся к 1895—1946 гг.

Самое раннее из них — письмо А. А. Коринфскому 18 ноября 1895 г. (ф. 373, А. А. Коринфский, № 3); его можно считать первым автобиографическим опытом Бунина (опубликовано: частично — «Литературный Смоленск», стр. 175—276; полностью — «Проблемы реализма», стр. 166—167).

Некоторые письма касаются публикаций произведений Бунина в различных изданиях: 20 мая 1901 г. он запрашивает о судьбе своих стихов редакцию газеты «Курьер» (ф. 341, П. А. Картавов, № 393); 12 сентября 1909 г. разрешает С. К. Маковскому напечатать одно из своих стихотворений (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 703); письма к А. А. Измайлову (22 февраля 1915 г. и 15 января 1916 г.) касаются сотрудничества Бунина в «Биржевых ведомостях» и содержат ответы на письма Измайлова (ф. 309, А. А. Измайлов, № 6).

14 февраля 1912 г. Бунин сообщал В. Л. Львову-Рогачевскому о согласии сотрудничать в газете «Живое дело» (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 704).

Несколько писем связаны с редакторской деятельностью Бунина. Как член редакционного комитета журнала «Правда» он сообщает А. И. Тинякову свой отзыв о его стихах, иронизируя по поводу «скорпионовских выкрутасов» и «жалких декадентских новшеств» Тинякова (письма 4 января 1905 г. и 23 июля 1906 г.— ф. 774, А. И. Тиняков, № 7; опубликовано — «Проблемы реализма», стр. 171). Два письма — Г. А. Яблочкову и Б. К. Зайцеву (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 706 и 707) относятся к периоду, когда Бунин был редактором сборников «Слово»: 15 октября 1913 г. он извещал Яблочкова о получении рукописи, а 10 октября 1914 г. просил Зайцева дать для четвертого сборника «рассказ в 1—2 л.» (по всей вероятности, речь идет о повестях Яблочкова «В плену» и Зайцева «Мать и Катя», опубликованных в «Слове»— сб. 4. М., 1915).

Пять писем к Ф. Д. Батюшкову (январь — февраль 1915 г.; ф. 51, Ф. Д. Батюшков, № 7) содержат ряд интересных фактов литературной деятельности писателя. 22 января Бунин просил Батюшкова принять участие в сборнике «Клич» (первоначальное название — «На помощь жертвам войны»), а затем 15 февраля благодарил его за присланную статью «Об оптимизме Верхарна»; 27 января он пишет в связи с работой

Батюшкова над статьей о нем для издаваемого С. А. Венгеровым труда «Русская литература XX века»: «На тот случай, если вам понадобится пересмотреть что-либо из моих писаний или сделать выдержку из них, посылаю 1 том „собрания сочинений" моих, изд. „Нивы" — в нем есть необходимые поправки и дополнения». 16 февраля Бунин посылает Батюшкову «все свои сочинения» и просит: «если понадобится цитата, будьте добры пользоваться — при просмотре первых томов — изданием „Нивы": я немного почистил их, сделал и добавления, и сокращения». В письмах от 21 и 27 февраля речь идет об участии Бунина в сборнике «Невский альманах», для которого он, по просьбе Батюшкова, выслал автограф стихотворения «Джордано Бруно» (см. выше, стр. 502; как ранее напечатанное, оно не было включено в альманах).

Некоторые штрихи в биографию Бунина вносит ряд других его писем: по всей вероятности, к М. В. Аверьянову обращена приветственная открытка из Порт-Саида от 22 апреля 1907 г. (ф. 1000, Собр. единичных поступлений, 1949); 22 апреля 1911 г. Бунин просит Ф. Ф. Фидлера, составителя сборника «Первые литературные шаги» (М., 1911), выслать ему этот сборник, шутливо подписываясь «Иоганн-Алексей-Луиза-Сидор-Карл-Мария Бунин, почтенный академик» (ф. 474, П. Н. Медведев, № 1, л. 23); 4 декабря 1910 г. он отсылает к этой книге, а также к сборнику «Живые слова» (М., 1910) студента Егорова, в ответ на просьбу сообщить свои биографические данные, и пользуется случаем исправить ошибку, допущенную в «Живых словах» (ф. 273, И. В. Егоров, № 47).

23 октября 1912 г. Бунин писал Э. П. Юргенсону (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 705), посылая для его коллекции автограф стихотворения «При дороге» и афоризм «буддийская мудрость» (см. выше, стр. 502).

К эмигрантскому периоду жизни Бунина относятся письма его к Н. Я. Рощину и Н. Н. Берберовой. Шесть писем и одна записка к Рощину (1928—1940) раскрывают некоторые детали эмигрантской жизни Бунина; они свидетельствуют о дружеских связях между обоими писателями, но литературных дел не касаются (ф. 1000, Собр. единичных поступлений, 1937/228, 1948/258).

Значительно интереснее 23 письма к Н. Н. Берберовой, фотокопии которых получены в 1967 г. из Принстонского университета (США) в порядке обмена. Берберова еще в 1920-е годы выступала со стихами, рассказами и переводами в эмигрантских периодических изданиях. Ею написаны несколько романов из жизни эмигрантской среды.

Берберова — автор двух художественных биографий русских композиторов — «Чайковский» (1936) и «Бородин» (1938). Переписка с нею длилась более 15 лет (с конца 1920-х годов до конца 1946 г.). В письмах Бунина встречаются весьма похвальные отзывы о произведениях Берберовой. «Ах, какой молодец, ах, как выросла, окрепла, расцвела!»,— писал он 7 февраля 1935 г., прочитав ее произведение «Аккомпаниаторам». «Не отрываясь, прочел „Бородина" — чудесно! Смело, свободно, отличными штрихами... Может быть и не такой был — не совсем такой — Бородин, да что мне за дело!» (письмо от 18 июля 1938 г.).

Большинство писем (14 из 23) относится к периоду второй мировой войны. «Печален я и одинок бесконечно,— пишет Бунин 5 октября 1939 г.— И это уже давно, и чем дальше, тем больше,— „мудрость" лет, милый друг! — а уж про теперь и говорить нечего!» «Живу по-прежнему, одиноко и грустно»,— повторяет он 2 мая 1940 г. В этих же письмах Бунин жалуется, что совсем не может писать, только читает старые журналы.

С конца 1940 г. письма писались на стандартных открытках. Предусмотрительные оккупанты заранее отпечатали тексты открытого письма, и от корреспондента требовалось только вычеркнуть «ненужные указания». Этот текст настолько характерен для попыток фашистов задушить всякую мысль и так ярко иллюстрирует жизнь того времени, что есть смысл привести полностью перевод стандартного текста открытого письма:

«Заполнив карточку, предназначенную строго для семейной переписки, вычеркнуть ненужные указания.— Ничего не писать вне линий. Внимание. Всякая открытка, текст которой не будет носить строго семейный характер, отправлена не будет и, по всей вероятности, уничтожится». Дальше шли строки:

. . . 194 . . .

_____ в добром здравии _____ утомленье
_____ легко, тяжело болен, ранен
_____ убит _____ пленник
_____ скончался _____ без известий
от _____ семья _____ живет хорошо.
_____ нуждается в продуктах _____ в деньгах
новости, вещи _____ возвращается в _____
_____ работаю в _____ поступит в школу
в _____ принят _____ отправится в _____

После двух пустых строчек шли «Сердечные приветы. Поцелуи» и «Подпись».

Летом 1941 г. гитлеровцы дали немножко больше «свободы», предоставив для семейного письма семь чистых строчек, но строго запретив писать между строк или сообщать новости, не относящиеся к семейной переписке. Тем не менее, Бунин ухитрялся все же сообщать о своей творческой работе и своем тяжелом быте. «Много пишу», «написал 12 рассказов», «написал новый маленький роман» (письма от 3 ноября 1940 г., 21 января и 12 мая 1941 г.).

Но вот пришло известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз, и Бунин творчески замолчал. «... мне очень грустно. Я читаю — и это все. Я не пишу — к чему?» (письмо от 12 июля 1941 г.).

Через все письма этих лет проходят жалобы на болезнь и бедность: «Голод и нищета» (12 мая 1941 г.); «... я совершенно беден» (12 июля 1941 г.); «... ничего нового в моей жизни. И почти нечего есть» (5 апреля 1942 г.); «... я очень устал, глубоко устал ото всего» (8 октября 1942 г.).

К *биографическим материалам* относится роспись Бунина, сделанная в альбоме кружка «Пятницы К. К. Случевского» 17 ноября 1900 г. (ф. 703, К. К. Случевский, № 2, стр. 39); печатная программа — приглашение на общественное чествование Бунина 28 октября 1912 г. в связи с 25-летием его литературной деятельности (ф. 124, П. Л. Ваксель, № 705); печатное обращение к писателям и поэтам редакционного комитета по изданию московского сборника «На помощь жертвам войны» (впоследствии «Клич») с надписью Бунина (ф. 765, Н. Д. Телешов, № 23).

В ГПБ хранится семь *книг с автографами Бунина*: «Стихотворения 1887—1891 г.» (Орел, 1891) и «Под открытым небом» (М., 1898) — см. настоящ. том, кн. 1, стр. 257 и 215); «Рассказы» (СПб., «Знание», 1909) — с дарственной надписью З. И. Гржебину; «Деревня» (М., 1910) — с дарственной надписью А. С. Изгоеву; «Иоанн Рыдалец» (М., 1913) — с дарственной надписью В. М. Дорошевичу (там же, кн. 2, стр. 149); «Собр. соч. 1915, т. 1 — с дарственной надписью П. Н. Милюкову; «Речной трактир» (Нью-Йорк, 1945) с автографической подписью Бунина. Последняя книга поступила от С. В. Михалкова. Он же передал в ГПБ сборник стихов Г. Н. Кузнецовой «Оливковый сад» (Париж, 1937) с дарственной надписью автора Бунину (начало ее не сохранилось): «... в память нашей общей южной жизни. Галина К. Ноябрь 1937. Париж». Книга носит следы чтения Бунина: половина ее (до стр. 26) испещрена его пометами.

В отделах рукописей и эстампов ГПБ хранится четыре *фотографии Бунина*, относящихся к 1912 г. (Э $\frac{\text{ФП}}{\text{IБ 910}}$, инв. 15702; ф. 474, П. Н. Медведев, альб. I, л. 93, 96, 97). Кроме того, в отделе эстампов хранятся вырезки с репродукциями портретов Бунина из печатных изданий (шифр: Э $\frac{\text{ТЮМ}}{\text{4Б 910}}$, инв. 115370/1—10).

# МУЗЕЙ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АН СССР

*Фонд иконографии* Бунина в собрании ИРЛИ отражает облик писателя в период 1900—1942 гг.; на многих фотографиях имеются автографы и дарственные надписи самого Бунина. Большая часть их поступила из коллекции Ф. Ф. Фидлера, остальные — из архива Е. А. Ляцкого и В. С. Миролюбова; особенно же ценны снимки, переданные в дар музею В. Н. Буниной в 1961 г.

Два самых ранних в собрании ИРЛИ снимка сделаны в 1900 г.: 1) Бунин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Горький и Н. Д. Телешов (фото Л. В. Средина, Ялта, 16 апреля 1900 г., № 43030); 2) Бунин, Куприн, Федоров, Чехов, Елпатьевский и Горький (№ 43076).

Из фотографий 1902 г. особый интерес представляет снимок, поступивший от В. Н. Буниной в 1961 г.: Бунин и Чехов; на обороте автограф: «Ялта, дача Чехова в Аутке. Его кабинет. Я с ним. Ив. Бунин. 1902 г. (?)» (№ 82359; другой его экземпляр см. «Лит. наследство», т. 68, стр. 642—643). К 1902 г. относится и снимок участников «Среды», о котором вспоминает Бунин (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 384). Он был выполнен московским фотографом К. Фишером в четырех вариантах. Три из них хранятся в ИРЛИ (№ 1275, 12712, 12951); четвертый см. в кн.: «Записки писателя», стр. 193. К. Фишер позднее изготовил так называемые «контаминированные фотографии», вмонтировав в эти группы портреты писателей, которые на съемке не присутствовали: Пятницкого (№ 78518; 85963), Пятницкого и Найденова (№ 84931). К 1902 г. относится и снимок: Бунин и Найденов (№ 81598).

На фотографии (№ 35220), сделанной во время поездки Бунина в Турцию (1903), он снят со своим проводником; на паспарту автограф писателя: «И. А. Бунин. Константинополь, 14 Апр. 1903».

Снимки, выполненные петербургским фотографом Д. Здобновым, относятся к 1910 г. (№ 38916, 30847, 35219). По всей вероятности, в том же году Бунин сфотографировался в феске; на паспарту автограф писателя: «Ив. Бунин. Мир тебе!». Бунин тогда же снялся с Н. Д. Телешовым в Москве, у О. Ренара (№ 38917); на паспарту его автограф: «Ив. Бунин (с Н. Д. Телешовым) 1910 г.» Групповой портрет членов «Среды», по-видимому, сделан 27 января 1910 г. после чтения пьесы Л. Андреева «Gaudeamus»: Ю. А. Бунин, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. Е. Грузинский, С. Глаголь, Б. К. Зайцев, С. Д. Разумовский, Н. Д. Телешов, И. А. Белоусов (№ 81700). 28 октября 1910 г. петербургский фотограф И. Оцуп сделал в квартире Н. Н. Ходотова групповой снимок лиц, присутствовавших на чтении пьесы А. П. Каменского «Люди» (И. А. Бунин, В. Н. Бунина, С. Г. Петров-Скиталец, М. П. Арцыбашев, Н. Н. Ходотов, А. П. Каменский, Е. Н. Чириков, Ю. Э. Озаровский, В. П. Далматов и др.).

17 октября 1912 г. фотограф С. Г. Смирнов снял Бунина для журнала «Огонек» (№ 30846). К 1912 г. относится и снимок московского фотографа Ю. Мебиуса (с дарственной надписью: «Дорогому Евгению Александровичу Ляцкому Ив. Бунин. 31 окт. 12. Москва»; № 5579).

13 января 1913/31 декабря 1912 г. датируется групповая фотография, сделанная в кабинете Горького на Капри, после чтения Буниным рассказов «Преступление», «Князь во князьях», «Вера» (№ 84923; воспроизведена: «Материалы»; см. «Летопись Горького», вып. 2, стр. 324).

К 1915 г. относятся портреты двух московских фотографов: Г. В. Трунова (на паспарту автограф: «1915 г. Ив. Бунин»; № 30848) и Дорэ (два экземпляра с автографами: «Дорогому Федору Федоровичу Фидлеру Ив. Бунин. Москва, 9 Апр. 15 г. Москва, фотография „Дорэ" 6 марта 1915 г.»; «Дорогому Виктору Сергеевичу ⟨Миролюбову⟩ Ив. Бунин. 21.XI. 1915» — № 38920 и 56297).

В 1920 г. Бунин снялся у парижского фотографа Шумова; на фотографии подписи: «Ivan Bunin. Paris, 1920»; «Ив. Бунин. 1920 г.» (№ 81450). Другой вариант этого снимка (№ 86554) прислала в дар музею из Парижа Т. А. Осоргина в 1965 г. Следующая фотография, также снятая у Шумова, относится к 1923 г. (№ 81448).

На снимке парижского фотографа Липницкого (1930; № 81447) — автограф: «Ив. Бунин, Париж, 1930 г. Ivan Bunin ⟨sic!⟩. Paris»— и подпись на паспарту «Ив. Бунин 1930 г.»

БУНИН И ЕГО ПРОВОДНИК
Фотография. Константинополь, 1903
С автографом писателя: «И. А. Бунин. Константинополь, 14 Апр. 1903»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Снимок В. Тизоля изображает, как видно из пояснительной надписи Бунина, его самого вместе с В. Н. Буниной, Л. Ф. Зуровым, Кугушевым и Г. Н. Кузнецовой 10 ноября 1933 г.—на другой день после присуждения Нобелевской премии (№ 81449). Одновременно Тизоль сфотографировал и виллу «Бельведер» (№ 81452; на фотографии — автограф Бунина: «Villa Belvédère, Grasse. А. М. Моя спальня. Мой кабинет»; на обороте надпись В. Н. Буниной, удостоверяющая подлинность его руки.

Хронологически заключает собрание ИРЛИ снимок, относящийся, видимо, к 1942—1943 гг. (№ 81451); на его обороте надпись В. Н. Буниной «Снимок Л. Ф. Зурова. Иван Алексеевич в Каннском порту. Сидит на борту лодки».

В Музее ИРЛИ хранятся несколько шаржей на Бунина. Один из них (№ 35221) выполнен художником-монограммистом «ПЭК» (1900-е годы). Другой — на Бунина и Л. Андреева — под названием «На злобу дня» (№ 12719; вырезка из газеты «Петербургский листок», 1903, № 63). Третий — на Бунина — автора повести «Митина любовь» (рис. А. П. Шеметова, 1925; № 78692) — прислан в дар музею Т. А. Осоргиной в 1958 г.

Две афиши рекламируют сб. «В помощь пленным русским воинам» (1916) и газету «Власть народа», в числе участников которой стоит имя Бунина (№ 78197; 85366).

## МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ Н. Д. ТЕЛЕШОВА

Бунинские материалы МКТ входят в состав личного архива Н. Д. Телешова. Большая часть их относится к 1897—1917 гг., когда обоих писателей связывала тесная дружба, общие литературные и издательские интересы, совместное участие в «Среде». Другая группа датируется 1941—1947 гг.— в это время прерванная эмиграцией связь Бунина с Телешовым вновь возобновилась в форме переписки.

В настоящее время в МКТ хранится лишь часть бунинских материалов, отложившихся в архиве Телешова. Значительное количество их в 1925 г. было передано в ГЛМ (тогда «Музей им. А. П. Чехова» в Москве), а в последние годы — в ИМЛИ и в ГБЛ. В 1941 г. ГЛМ в свою очередь передал автографы Бунина в ЦГАЛИ, сохранив в своем собрании книги с дарственными надписями Бунина, а также его иконографию.

*Проза Бунина* представлена в МКТ текстом сборника «Темные аллеи» в том его составе, который в 1945 г. Бунин подготовил для издания в Советском Союзе и в декабре того же года послал ответственному секретарю Иностранной комиссии ССП М. Я. Аплетину. Издание не осуществилось и подготовленный текст по просьбе Бунина был передан Н. Д. Телешову (см. «Исторический архив», 1962, № 2, стр. 166). Для подготовки сборника Бунин использовал разброшюрованный экземпляр первого издания «Темных аллей» (Нью-Йорк, 1943), а также вырезки газетных и журнальных публикаций и машинописные копии не вошедших в это издание рассказов. Как печатные тексты, так и машинопись снабжены единой авторской пагинацией и носят следы авторской правки. На обложке — надписи рукой Бунина: характеристика нью-йоркского издания сборника и указание об обязательном сохранении авторской пунктуации и орфографии (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 47). Ряд помет касается последовательности рассказов, содержания титула и шмуцтитула, а также вопросов композиции и оформления книги. «Содержание» (автограф) отражает состав сборника: Бунин включил в него 33 рассказа; 32 из них сохранились в МКТ, один (очевидно, «В Париже», стр. 92—103) утерян.

В МКТ хранится 19 *стихотворений* Бунина в автографах и машинописных копиях с авторской правкой. Большая часть их предшествует первым публикациям, что придает им значение первоначальных или промежуточных редакций.

Три стихотворения вписаны Буниным в альбом Н. Д. Телешова «Автографы друзей»: «На Северном море» (28 ноября 1897 г.), «Ночь печальна...» (16 марта 1900 г.) и «Пугало» (1907). Эти записи имеют ряд разночтений с Собр. соч. 1965—1967 и позволяют уточнить датировки, данные в этом издании (т. 1, стр. 106, 132, 286).

Стихотворение «За Ассуаном» («У нубийских черных хижин...») вписано в альбом А. Н. Телешова (без даты).

24 марта 1911 г. Бунин послал Н. Д. Телешову из Коломбо стихотворную шутку «Я сижу у Сандунова на полке́...» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 598); на обороте календарного листа от 29/11 августа 1914 г. он записал стихотворение «Магомет и Сафия», а на открытке с изображением Эльбруса, посланной Андрею Телешову А. А. Карзинкиным 28 июня 1916 г. из Кисловодска, написал строки из стихотворения «Эльбурс» (Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 219).

1 марта 1916 г. Бунин послал Телешову для шестого сборника «Слово» цикл из 12 стихотворений под общим заглавием: «Ив. Бунин. Стихотворения» (13 л.; авторизованная машинописная копия; титульный лист — автограф; без даты). В него входят (последовательность установлена Буниным): «Мулы», «Эллада», «Миньона», «Дурман», «Княжна» (в дальнейшем — «Богом разлученные»), «Райское древо» («Искушение»), «Сон», «Зеркало», «Псалтирь», «Весной, у гробницы Виргилия» («У гробницы Виргилия»), «На исходе», «Сон епископа» («Сон епископа Игнатия Ростовского»). Письма Бунина к Телешову за 15 февраля — 23 марта 1916 г. освещают судьбу этого цикла (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 617—620); они же позволяют исправить неверную датировку (16.VII.16), данную стихотворению «Эллада» в Собр. соч. 1965—1967 (т. 1, стр. 437). Почти все копии МКТ имеют разночтения с окончательными редакциями, особенно значительны они в стихах «Дурман», «Миньона», «На исходе» и «Эллада».

Почти все *письма* Бунина за 1897—1917 гг. Телешов передал в ИМЛИ. Из них в МКТ осталось шесть открыток и записок, адресованных Телешову (1900—1914), и три — его жене, Е. А. Телешовой (1911—1913). В 1941—1947 гг. переписка возобновилась. Все 11 писем Бунина, полученных за это время, хранятся в МКТ (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 623—637).

В МКТ сохранились также копия письма Бунина М. Я. Аплетину 1 апреля 1947 г. по поводу книг, посланных им для издания в Советском Союзе (см. «Истори-

СТРОКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ЭЛЬБУРС»
Автограф Бунина на открытке с видом на гору Эльбрус
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва

ческий архив», 1962, № 2), и выписка из письма Бунина Н. Я. Рощину 27 марта 1949 г. с благодарностью Телешову за отзыв о нем в книге «Записки писателя» (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 633 и 637). Кроме того, в архиве имеются два недатированных письма Телешова Бунину: автограф, ⟨1903⟩ и копия — ответ на письмо 7 сентября 1945 г. (см. там же, стр. 625).

В МКТ хранится *семь книг с дарственными надписями* Бунина Телешову (1897—1916): «На край света» (СПб., 1897), Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод И. Бунина (М., 1899), «Новые стихотворения» (М., 1902), «Рассказы» (СПб., 1902), «Стихотворения» (СПб., 1903), «Стихотворения 1903—1906 г.» (СПб., 1906), Собр. соч., 1915, т. 1.

*Иконография Бунина* представлена девятью фотографиями разных лет, из них семь — с надписями, сделанными рукой писателя (часть их см. настоящ. том, кн. 1, стр. 11, 633). Из групповых фотографий заслуживает упоминания «Последняя „Среда“» (то же — в ГЛМ; см. там же, стр. 619).

В числе *разных материалов* интересны: эскиз титульного листа несостоявшегося издания сборника «Ив. Бунин. Стихи и рассказы», список прозвищ участников «Среды» (автограф Телешова — там же, стр. 281 и 535), шуточная поэма Телешова «Кому из „Среды“ жить хорошо» (ряд вариантов — автографы и машинописные копии; одна из частей поэмы посвящена Бунину) и другие его стихотворные шутки, связанные со «Средой» (автографы).

В МКТ сохранились также *отдельные газетные вырезки* со статьями о Бунине (1912, 1946, 1966, 1967 гг.), письмо В. Н. Буниной А. Н. Телешову 5.II.1959 г., а также многочисленные фотографии лиц из окружения Бунина и виды Малаховки, где у Телешова часто гостил Бунин (живописные этюды раб. Е. А. Телешовой и открытки 1900—1910-х годов).

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Бунинские материалы хранятся в трех отделах музея: в отделе рукописей, в отделе изобразительных материалов и в отделе книжных фондов.

Бунинский фонд отдела рукописей (№ 52, 30 ед. хр.; 1906—1956) образовался в результате случайных поступлений и не представляет собой единого комплекса материалов; отдельные бунинские материалы (6 ед. хр.) находятся также в фондах других лиц.

Творческие рукописи Бунина представлены здесь автографами шести *стихотворений*. 12 марта 1895 г. в альбом И. А. Белоусова вписаны стихи «Жизнь увлекает пошлостью дневной...». Стихотворение «Няня» (без даты) посвящено Н. А. Крашенинникову, редактору журнала «Новое слово», где оно было напечатано впервые (1907, № 4). Начальные строки перевода отрывка из «Золотой легенды» Лонгфелло («Очарованный инок») вписаны в альбом С. С. Мамонтова (на этом же листе — фотография Бунина и дата неизвестной рукой — «1908»). «Прометей в пещере» (⟨1909⟩), как видно из письма Бунина в «Московское книгоиздательство» Д. М. Ребрику (25 февраля/9 марта 1912 г.), был послан ему взамен первой редакции этого стихотворения. Двустишие «Завет Саади» вписано в альбом И. П. Белоусовой без даты (⟨1913⟩). «Песня» («На помории далеком...» ⟨1916⟩) — машинопись, без даты, с авторской подписью Бунина. Первое из этих стихотворений публикуется (в окончательной редакции) в настоящ. томе (кн. 1, стр. 275). Остальные вошли в Собр. соч. 1965—1967, т. 1, стр. 288, 323, 357, 396; т. 8, стр. 202—203.

В ГЛМ хранятся 19 *писем* Бунина (1906—1945), в большинстве своем не опубликованных. Два письма к Н. А. Крашенинникову содержат оценку отрывка его романа «Дети», а также сведения о деловых отношениях Бунина с ним. О письме Д. М. Ребрику см. выше. Четыре письма к поэту Н. М. Мешкову содержат отзывы о его стихах и касаются попыток Бунина помочь напечатать их в «Вестнике Европы». Из 12 писем Н. Я. Рощину (1924—1928 и 1943—1945) наиболее интересны: письмо 20/7 августа 1924 г. (Бунин рекомендует для перевода свои рассказы «Легкое дыхание» или «Ночное море») и 13 марта 1944 г. (о разрешении оставаться в Грассе). Выдержки из писем Рощину см. «Ученые записки Орехово-Зуевского пед. ин-та». М., 1958, вып. 3, т. IX.

*Биографические материалы* представлены анкетой (ф. В. Е. Чешихина-Ветринского), которая содержит ответы на вопросы, связанные с творческой биографией Бунина (Капри, 18/5 ноября 1911 г.). На вопрос, «что он лично считает» в своей литературной деятельности «наиболее ценным», Бунин ответил: «Из произведений последних лет — „Деревню“», а из своих переводов находит «заслуживающим внимания» мистерию Байрона «Земля и небо» (отрывок из анкеты см. Собр. соч. 1956, т. II, стр. 403).

*Упоминания о Бунине* содержатся в письмах В. Н. Буниной к Н. Я. Рощину (4 п., 1929—1943) и В. А. Курилову (4 п., 1956).

В отделе книжных фондов ГЛМ хранится *29 книг с дарственными надписями Бунина* (1892—1917), в известной степени отражающими картину его литературных, общественных и дружеских связей.

Самая ранняя из этих надписей — на первом сборнике Бунина («Стихотворения 1887—1891 г.». Орел, 1891): «Молодому собрату от столь же молодого. И. Бунин. 1892. 24 января». По-видимому, эту книгу имеет в виду Белоусов, вспоминая о своем знакомстве с Буниным, начавшемся с обмена книгами («Литературная среда. Воспоминания. 1880—1928». М., 1928, стр. 132).

КОЛЯ БУНИН

Фотография, начало 1900-х годов.

С надписью Бунина: «Мой сын Коля, умерший 5 лет, от моей первой жены»

Литературный музей, Москва

Второй свой сборник («Под открытым небом». М., 1898) Бунин подарил 1 сентября 1898 г. А. К. Шеллеру (Михайлову), в то время редактору «Живописного обозрения». «Ни у кого из крупных писателей ⟨...⟩ не было столько друзей среди молодых писателей и поэтов ⟨...⟩ Масса молодежи окружала его всегда»,— вспоминал о нем А. Скабичевский (А. К. Шеллер. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1904, стр. 19). Шеллер печатал в своем журнале и стихи Бунина (1898, № 2, 40, 48).

Бóльшая часть дарственных надписей Бунина в собрании ГЛМ адресована членам «Среды». Самые ранние из них обращены к Н. Д. Телешову: 2 марта 1898 г. Бунин подарил ему «Песнь о Гайавате» (СПб., 1898), в 1900 г.— оттиск статьи «Поэт-гуманист» («Вестник воспитания», 1900, № 3); о других надписях Телешову и его жене см. выше, стр. 509. К 1902—1903 гг. относятся дарственные надписи В. В. Вересаеву на книгах: «Новые стихотворения». М., 1902 («Искренно уважаемому товарищу В. В. Смидовичу Ив. Бунин») и Собр. соч. 1902—1910, т. II. Н. А. Крашенинникову Бунин подарил три книги: Собр. соч. 1902—1910, т. II — 18 апреля 1904 г., перевод мистерии Байрона «Каин» (СПб., 1907) — 21 января 1907 г. и Собр. соч. 1902—1910, т. IV — 27 сентября 1908 г. Дарственная надпись на шестом томе Собр. соч. 1902—1910 (4 августа 1910 г.) адресована А. Е. Грузинскому. Другой экземпляр этой книги 6 августа 1910 г. был подарен Белоусову; ему же адресована надпись на сб. «Суходол» (М., 1912): «Дорогому сохозяину И. А. Белоусову Ив. Бунин 28 сент. 1912 г.» (Бунин и Белоусов были пайщиками «Книгоиздательства писателей в Москве»; «Суходол» вышел в этом издательстве). А. А. Карзинкину «с неизменной любовью» Бунин подарил в 1915 г. сб. «Чаша жизни» (М., 1915). В среду 8 февраля 1917 г. члену «Молодой Среды» П. Н. Петровскому был подарен сб. «Господин из Сан-Франциско» (М., 1915).

В ГЛМ хранятся два экземпляра изданного членами «Среды» сб. «Клич» (М., 1915): один — с автографами всех участников сборника, другой — с дарственной надписью его редакторов (Бунина, Вересаева и Телешова) композитору Глазунову.

Среди писателей других направлений, посещавших «Среду», был и С. А. Кречетов. Свидетельством знакомства Бунина с ним является недатированная дарственная надпись ему на сборнике «Иоанн Рыдалец» (М., 1913).

«Марии Павловне всей душой и неизменно преданный ей Ив. Бунин»— эта надпись адресована М. П. Чеховой на книге «Деревня» (М., 1910). Аналогичные надписи (без даты) сделал для нее Бунин на сб. «Суходол» (М., 1912) и на переводе мистерии Байрона «Каин» (М., 1907).

На другом экземпляре «Суходола» — недатированная дарственная надпись И. М. Москвину.

5 октября 1912 г. Бунин подарил «Суходол» А. И. Сумбатову. За этим последовали еще три книги: «Иоанн Рыдалец» (М., 1913), «Чаша жизни» (М., 1915), «Господин из Сан-Франциско» (М., 1916).

В 1904 г. издателю С. А. Скирмунту, только что вернувшемуся из политической ссылки (см. «Лит. наследство», т. 72, стр. 92), «с искренним расположением» дарит Бунин перевод драмы Байрона «Манфред» (СПб., 1904), а 15 марта 1907 г. издателю М. В. Аверьянову перевод мистерии Байрона «Каин» (СПб., 1907).

К 1908 г. относится дарственная надпись писателю С. С. Кондурушкину на четвертом томе Собр. соч. 1902—1910, к 1915 г.— надпись писателю А. А. Смирнову на сб. «Чаша жизни» (М., 1915).

Основу бунинского фонда в *изобразительном отделе* ГЛМ составляют две коллекции: собрание Н. Д. Телешова (иконография Бунина за 1887—1918 гг., мемориальные вещи, портреты лиц из бунинского окружения), поступившее в 1924—1925 гг. (см. настоящ. кн., стр. 446), и собрание В. А. Курилова (фотографии Бунина за 1921—1939 гг.), приобретенное в 1957 г. Отдельные поступления 1950—1960-х годов (в том числе фотографии, переданные В. Н. Буниной) по своему хронологическому составу дополняют коллекцию Телешова. Кроме того, ряд групповых фотографий, на которых изображен Бунин, находится в фондах других писателей: А. М. Горького, А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, С. А. Найденова, Н. А. Крашенинникова, а также в разделе «Группы писателей».

В ГЛМ хранится четыре портрета Бунина: этюд раб. Е. А. Телешовой (Бунин и Телешов в Малаховке, 1901; см. настоящ. том, кн. 1, стр. 529); портрет раб. Л. В. Туржанского (1905, там же, стр. 425); портрет раб. И. К. Пархоменко (1913—1914); портрет раб. В. Россинского (1915).

Основную часть фонда составляют фотографии Бунина (81 ед. хр.), большая часть которых имеет дарственные или пояснительные надписи, сделанные самим писателем, что придает собранию ГЛМ особую документальную ценность. Самая ранняя из них (с автографом Бунина) публикуется в настоящ. томе (кн. 1, стр. 237). Затем идут снимки 1888, 1890, 1891 и 1893 (в том числе и групповые). Следующая группа фотографий относится к 1900—1918 гг. Выполнены они в студиях таких фотографов-профессионалов как Фишер, Булла, Ренар, Здобнов, Мебиус. Многие имеют дарственные надписи в адрес писателей (Н. Д. Телешова, И. А. Белоусова, С. А. Найденова) и других лиц (М. П. Чеховой, Н. М. Мешкова, М. Т. Дроздовой). Некоторые из этих надписей служат комментарием к биографии Бунина, например: «Милому товарищу С. А. Найденову в память наших скитаний. Ив. Бунин. 1 янв. 1903 г. Одесса»; ее дополняет надпись, сделанная Найденовым на фотографии, изображающей обоих писателей: «1903 г. февр. Венеция — остров „Лида“, бродячая фотография». Характер отношений Бунина и Телешова раскрывает дарственная надпись: «Николаю Дмитриевичу Телешову, одному из самых близких и дорогих мне. Ив. Бунин. 6 ноября 1912 г.» (там же, стр. 593). Фотография работы Здобнова, поступившая от В. Н. Буниной в 1961 г., имеет надпись писателя: «1909 г. Ив. Бунин. После избрания в академики».

Несколько снимков изображают Бунина среди участников издательства «Знание» (1900-е годы), среди членов «Среды» (1910), в том числе на последнем ее заседании в квартире Телешова (1917), среди основателей «Книгоиздательства писателей в Москве» (там же, стр. 521, 619, 653).

Почти все фотографии 1910—1930-х годов имеют пояснительные надписи Бунина. Большинство из них — не опубликовано (часть их см. настоящ. том, кн. 1, стр. 29, 203, 237, 383, 473, 521, 529, 541, 593, 619, 653).

В ГЛМ хранятся также фотографии лиц из родственного окружения Бунина. Портрет его отца, сестры (М. А. Ласкаржевской) с сыном Николаем, ее мужа — И. А. Ласкаржевского, Ю. А. Бунин снят вместе с Буниным, а также в группах с писателями.

Фотографии А. Н. Цакни и сына Бунина — Коли поступили в ГЛМ в составе коллекции В. Курилова. На портрете А. Н. Цакни надписи: «Анна Николаевна Бунина, моя первая жена. Ив. Б.»; «Анна Николаевна Цакни — в день ее венчания со мной. Одесса 23 сент. 1898 г. Ив. Бунин». На одной из фотографий сына Бунин написал: «Июнь 1904 года. 3 года и 10 месяцев. Мой сын Коля от моей первой жены Анны Николаевны (в девичестве Цакни)». На другой — его же надпись: «Мой сын Коля, умерший 5 лет, от моей первой жены».

Пояснение есть и на фотографии Фишера, где Бунин снят вместе с Верой Николаевной: «И. А. Бунин. В. Н. Муромцева. Москва. XII. 1906». Фотографии самой В. Н. Буниной относятся главным образом к дореволюционному периоду; на зарубежных снимках она изображена по большей части в группах.

Небольшой, но ценный раздел бунинского фонда составляют *мемориальные вещи*: портрет Пушкина (репродукция) и пейзаж работы В. Переплетчикова (масло) — подарки Бунину от «старой» и «молодой» «Среды» ко дню 25-летия его литературной деятельности (с автографами членов «Среды»— см. там же, стр. 521); фотография неизвестного (по свидетельству Н. И. Ласкаржевского, сделана самим Буниным и изображает печника Кутепа, послужившего прототипом Егора из рассказа «Веселый двор»,— см. настоящ. кн., стр. 231); перо Бунина (получено в 1961 г. ).

Раздел «Бунинские места» составляют фотографии виллы «Бельведер» с пояснительными надписями Бунина, шесть снимков интерьера парижской квартиры писателя, сделанные уже после его смерти, и фотография его могилы.

## АРХИВ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Здесь находятся материалы, отражающие связи Бунина с Академией наук и его деятельность в качестве почетного академика Разряда изящной словесности. Хранятся они в делах Отделения русского языка и словесности (ОРЯС, ф. 2), в личном фонде А. А. Шахматова (ф. 134) и в Собрании отдельных документов, относящихся к жизни и деятельности членов Академии наук и других ученых (коллекция «Personalia», разряда V).

Главное место среди этих материалов занимают три рецензии, написанные Буниным по поручению ОРЯС (автографы) — отзывы о произведениях, представленных на соискание премий им. Пушкина и М. Н. Ахматова: «О сочинениях Городецкого», 1911; о рукописном сборнике «Стихотворения Эдельвейса» и сочинениях Н. А. Крашенинникова — 1913; о произведениях Э. Голландской и Л. Жданова — 1914 (см. «Русская литература», 1967, № 4, стр. 175—179; настоящ. том, кн. 1, стр. 352—354).

В ААН хранится семь *писем Бунина*. Шесть из них адресованы А. А. Шахматову как председательствующему в ОРЯС: 10 октября 1913 г. Бунин сообщает ему об инциденте на банкете по случаю юбилея газеты «Русские ведомости» и просит огласить на заседании Разряда изящной словесности его письмо в редакцию этой газеты; остальные пять писем содержат извещения о согласии дать указанные отзывы или о посылке их в ОРЯС (ф. 9, оп. 3, ед. хр. 20, 22, 43; оп. 5, ед. хр. 9; ф. 134, оп. 3, ед. хр. 206, л. 1). Письмо члену-корреспонденту ОРЯС норвежскому филологу-слависту Олафу Броку (10 января 1924 г.; фотокопия) содержит просьбу Бунина рекомендовать его произведения норвежским издательствам (разряд V-Б, ед. хр. 176, л. 1—2).

Значительную группу составляют *документы*, связанные с избранием Бунина почетным академиком и с присуждением ему Пушкинских медалей и премий: записка академиков К. К. Арсеньева, Н. А. Котляревского и Д. Н. Овсянико-Куликовского, представленная 24 апреля 1909 г. при выдвижении кандидатуры Бунина в почетные академики; выписка из протокола ОРЯС 1 ноября 1909 г. об его избрании, копия диплома на звание почетного академика и др. документы (ф. 9, оп. 5, ед. хр. 4, л. 17—29); выписки из протоколов ОРЯС о присуждении Бунину за указанные выше отзывы двух золотых медалей им. Пушкина и золотой медали им. М. Н. Ахматова (ф. 9, оп. 3, ед. хр. 22 и 20); отзыв о его сочинениях, присланных на соискание XVIII премии им. Пушкина в 1909 г., подписан академиками А. А. Шахматовым, Ф. Ф. Фортунатовым, В. И. Ламанским, Н. П. Кондаковым и др. (ф. 9, оп. 3, ед. хр. 19, л. 192—194 об.); адрес по случаю 25-летнего юбилея творческой деятельности Бунина (ф. 9, оп. 5, ед. хр. 9, л. 16); документы, связанные с представлением ему бесплатного проезда от Одессы до Владивостока на пароходе Добровольного флота (ф. 9, оп. 5, ед. хр. 6, л. 41—43).

# ДОПОЛНЕНИЯ к ПИСЬМАМ БУНИНА,

## НАПЕЧАТАННЫМ В ПЕРВОЙ КНИГЕ Т. 84

Когда первая книга настоящего тома уже печаталась, были выявлены два письма Бунина к В. Я. Брюсову, которые не вошли в публикацию всей их переписки. Они были принесены самим Брюсовым в дар Московскому Литературно-художественному кружку для альбома «Собрание автографов», в составе которого и находятся сейчас (ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 3, ед. хр. 14, л. 37 и 10). Оба эти письма печатаются ниже с номерами, указывающими на их место в переписке (28а и 44а).

Далее помещено письмо Бунина к К. М. Симонову от 20 июля 1946 г. Оно посвящено вопросу о предполагавшемся тогда выпуске Гослитиздатом сборника произведений Бунина и дополняет новыми сведениями историю этого неосуществленного издания, освещенную в письмах Бунина к Н. Д. Телешову и к К. А. Федину, которые вошли в первую книгу настоящего тома. Подлинник письма хранится в собрании К. М. Симонова.

### ПИСЬМА к В. Я. БРЮСОВУ

28а

‹Одесса› 6 марта 1901 г.

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Тысячу раз — извините. Совсем не в настроении поправлять — ничего не могу сделать. Поэтому посылаю вам эскиз. Подойдет к альманаху, к стилю его — возьмите, нет — убедительно прошу не стесняться. Если возьмете — пришлите корректуру: в тот же день возвращу. Условия — по вашему усмотрению. Желаю успеха. Если рассказик опоздал или не подойдет — возвратите мне его немедленно.

Одесса, Софиевская, 5.

Поклон Скорпионам. Вышел ли «Пан»? Нигде не найду [1].

Ваш Ив. Бунин

Конверт от этого письма хранится в ИРЛИ вместе с другими письмами Бунина к Брюсову; он описан в примеч. 1 к п. 29 (настоящ. том, кн. 1, стр. 457).

С этим письмом Бунин отослал рассказ «Поздней ночью», предназначенный для альманаха «Северные цветы на 1901 год». Об участии Бунина в этом альманахе см. п. 25—31 (там же, стр. 455—458).

[1] Роман К. Гамсуна «Пан», изданный в русском переводе «Скорпионом», Брюсов послал Бунину — см. п. 30 и примеч. 3 к нему (там же, стр. 458).

44а

‹Москва, 1 ноября 1912 г.›

Дорогой и уважаемый Валерий Яковлевич! Позвольте мне в лице вашем выразить мою глубокую благодарность Дирекции Литературно-художественного кружка за принесенное мне приветствие в день моего юбилея и за предложение общему собранию избрать меня в почетные члены.

Преданный вам Ив. Бунин

1 ноября 1912 г.

На бумаге с бланком: Лоскутная гостиница. Москва.

Приветствие от Литературно-художественного кружка было оглашено Н. Д. Телешовым и И. А. Белоусовым 28 октября 1912 г. на приеме в большом зале Лоскутной гостиницы. Текст был составлен Брюсовым — одним из директоров кружка (среди его бумаг сохранилась машинопись: ГБЛ, 386. 70.13; в том же фонде находится и печатный текст приветствия).

В приветствии была выражена высокая оценка Бунина-поэта, ставшего «достойным преемником титанов русской поэзии — Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Тютчева», и Бунина-прозаика, «внимательного и добросовестного наблюдателя и бытописателя современной русской жизни, особенно жизни современной деревни». В заключение дирекция кружка извещала о своем единогласном постановлении: «Предложить ближайшему общему собранию гг. членов избрать вас Почетным Членом кружка — звание, которое первым носил незабвенный Лев Николаевич Толстой».

## ПИСЬМО к К. М. СИМОНОВУ

Предисловие К. М. Симонова

Примечания редакции «Литературного наследства»

После нескольких встреч с И. А. Буниным летом 1946 г. я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его и пугала и соблазняла. Он думал о своем собрании сочинений в Москве; мы много говорили с ним об этом. Он волновался, что у него вышла какая-то неудачная переписка с Гослитиздатом, что Гослитиздат не так его понял, как он хотел, а он, видимо, не так понял Гослитиздат. Возникли взаимные обиды, которые я обещал ему выяснить. Бунин огорчался, что его не так поняли, и очень хотел, чтобы его издали.

Я вернулся в Москву и предпринял в Гослитиздате некоторые шаги — там действительно собирались издать его большой однотомник...

Долгие годы я считал утраченным письмо Бунина ко мне, свидетельствовавшее и о его настроениях того времени, и о его желании увидеть себя изданным на Родине. И вдруг, к своей радости, совсем недавно нашел его.

Вскоре после этого письма, осенью того же года, Бунин выступил в Париже с заявлением враждебного нам характера, и вопрос об издании его сборника в Гослитиздате тогда отпал...

‹Париж› 20.VII.1946

Дорогой собрат Константин Михайлович, вы изъявили доброе желание принять некоторое участие в деле издания Государственным издательством моих избранных сочинений: позволяю себе поэтому вкратце осведомить вас насчет этого дела [1]. Началось с того, что мне позвонила Эльза Триоле, извещая меня, что она получила от г. Аплетина телеграмму: «Вышлите немедля последний сборник рассказов Бунина». Я после того отправился к Б. Д. Михайлову [2] (73, Champs Elysées, Paris) и попросил его запросить Москву, зачем именно нужен там мой сборник. Дней через десять пришел ответ: «для издания»— и просьба выслать для [того же] переиздания еще некоторые мои последние книги. Я тогда послал через г. Михайлова рукопись моего последнего сборника («Темные аллеи»), «Жизнь Арсеньева», «Лику» и «Освобождение Толстого» (жизнь и учение Толстого), но дошло ли все это, не знаю и по сию пору [3]. Затем я получил открытку от Н. Д. Телешова, в которой он между прочим сообщил мне, что Государственное издательство выпускает «изборник» моих произведений в размере листов 25-ти. Очень взволнованный этим, я тотчас написал приблизительно одно и то же и Телешову и Государственному издательству — свое крайнее огорчение, что меня издают без моего ведома, глав-

ное — не спросив меня, *что именно* я хотел бы [дать для этого издания] видеть в этом издании и *в каких текстах* (указав, что есть собрание моих сочинений, изданное в 1934 г. в Берлине «Петрополисом»— *единственное, которым следует пользоваться*). Было это еще в январе, но ответ я получил от г. Аплетина только в марте: он телеграфировал уже лично мне: «Selon votre désir Editions Littéraires Etat ont suspendu préparation recueil vos oeuvres» * (подпись и адрес: 12, Kouznetsky Most, Moscou) [4]. Я письмом поблагодарил г. Аплетина за ответ и попросил его сообщить мне, навсегда ли или только до выслушания моих пожеланий отложено издание моих произведений, но сообщения этого так и не получил — чем и кончилась вся история издания меня Государственным издательством.

Пишу вам все это, Константин Михайлович, просто на всякий случай — ничего не домогаясь от Государственного издательства и не имея ни малейшего намерения побуждать вас к беспокойству по этому делу, если, возвратясь в Москву, вы не вспомните о нем. А если вспомните и замолвите за меня словечко в Государственном издательстве, буду очень благодарен вам.

Вечер с вами и Валентиной Васильевной оставил во мне очень, очень приятное впечатление и я шлю вам обоим мой сердечный привет.

Ив. Бунин

Впервые напечатано (сокращенно и без даты): «Неделя», 1973, № 10, 5—11 марта, стр. 6.

[1] История этого несостоявшегося издания освещена в переписке Бунина с Н. Д. Телешовым (см. письма за 1945—1946 гг.— настоящ. том, кн. 1, стр. 625—632).

[2] О М. Я. *Аплетине* и Б. Д. *Михайлове* см. там же, стр. 627.

[3] Судя по письму к Телешову от 8 декабря 1945 г., можно думать, что первая телеграмма была получена в Париже в ноябре, а вторая — в первых числах декабря того же года (см. там же, стр. 627—628). Из книг, посланных Буниным в Москву, до сих пор были известны названия трех; из публикуемого письма мы узнаем, что четвертой была книга: Ив. Бунин. Жизнь Арсеньева. Роман. II. Лика. Брюссель, «Петрополис», 1939.

[4] По свидетельству Л. Ф. Зурова, эта телеграмма была получена Буниным 26 марта 1946 г. Подготовка сборника была прекращена по прямому требованию Бунина (см. там же, стр. 628—629).

* «Согласно вашему желанию Гослитиздат остановил подготовку сборника ваших произведений» (*франц.*).

# УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ААН — Архив АН СССР, Ленинград
АГ — Архив А. М. Горького (Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва)
ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва
ГЛМ — Государственный Литературный музей, Москва
ГМТ — Государственный музей И. С. Тургенева, Орел
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва
ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
МГ — Музей А. М. Горького (Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва)
МКТ — Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова, Москва
ПАБ — Парижский архив Бунина
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

Собр. соч. 1902—1910 — И. А. Бунин. Собр. соч., т. I—V. Пб., «Знание», 1902—1909; т. VI. Пб., «Общественная польза», 1910
Собр. соч. 1915 — И. А. Бунин. Полн. собр. соч., т. I—VI, Пг., изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915 (приложение к журналу «Нива»)
Собр. соч. 1934—1936 — И. А. Бунин. Собр. соч., т. I—XI. Берлин, изд. «Петрополис», 1934—1936
Собр. соч. 1956 — И. А. Бунин. Собр. соч. в пяти томах, т. 1—5. Библиотека «Огонек». М., «Правда», 1956
Собр. соч. 1965—1967 — И. А. Бунин. Собр. соч. в девяти томах, т. 1—9. М., «Художественная литература», 1965—1967

«Архив Горького»—«Архив А. М. Горького», т. I—VII. М., 1949—1962.
«В большой семье»— Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960
«Весна пришла» — Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959
«Время»— Сб. «Время», Смоленск, 1962
Гольдин — С. Л. Гольдин. О литературной деятельности А. И. Бунина восьмидесятых годов.—«Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института», т. IX, кафедра литературы, вып. 3. М., 1958
Горький — М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. М., 1949—1955
«Горьковские чтения 1958—1959».— Переписка А. М. Горького и И. А. Бунина. Публикация Архива А. М. Горького.—«Горьковские чтения 1958—1959». М., 1961, стр. 3—126
«Жизнь Бунина»— В. Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. 1876—1906. Париж, 1958
«Записки писателя»— Н. Д. Телешов. Записки писателя. М., 1958.
«Летопись Горького»—«Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 1—4. М., «Наука», 1958—1960
«Летопись Чехова»— Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955
«Литературный Смоленск»—«Литературный Смоленск». Альманах, кн. 15. Смоленск, 1955
«Материалы»— А. Баборенко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., «Художественная литература», 1967
«Проблемы реализма» — Сб. «Проблемы реализма и художественной правды», в. 4. Львов, 1961

# УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Составила Т. Г. Динесман

## I. ПОРТРЕТЫ БУНИНА

### ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК

Бунин. Рисунок Е. И. Буковецкого (карандаш). Одесса, 1903. ГМТ — II, 479
Бунин и Н. Д. Телешов на даче в Малаховке. Этюд Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы. ГЛМ — I, 529
Бунин. Портрет работы Л. В. Туржанского (масло), 1905. ГЛМ — I, 425
Бунин. Гравюра с рисунка А. А. Койранского, 1909 ‹?› . ГЛМ — I, 343
Бунин. Портрет работы П. А. Нилуса (масло), Одесса, 1919. ГМТ — II, 425
Бунин. Рисунок Ю. К. Арцыбушева (карандаш). Одесса, сентябрь 1919. С автографической подписью Бунина. ЦГАЛИ — II, 451

### ФОТОГРАФИИ

Бунин. Фото, 1888. На обороте — автографическая надпись Бунина, 11 сентября 1888 г. ГМТ — II, 123
Бунин. Фото Б. Б. Пейроша. Орел, февраль 1889 г. С дарств. надписью А. Н. Бибикову, 26 января 1891 г. ИМЛИ — I, 157
Бунин. Фото. Харьков, 1889 ‹?› Пересъемка 1912 г., с пометами Бунина на обороте. ГЛМ — I, 237
Бунин. Фото Б. Л. Варшавского. Полтава, 1891. Дата рукой Бунина (1889 г.), исправленная В. Н. Буниной (1891 г.). На обороте — строки из стихотворения Шиллера «Начало нового века» в переводе Бунина (автограф) и пометы В. Н. Буниной. ЦГАЛИ — I, 289
Бунин. Фото О. Ренара. Москва, конец 1890-х — начало 1900-х годов. С автографической подписью Бунина. ЦГАЛИ — I, 61
Бунин. Фото В. Г. Чеховского, Москва, начало 1900-х годов, с дарств. надписью А. П. Чехову, б. д. Дом-музей А. П. Чехова, Ялта — I, вклейка между стр. 4 и 5
Бунин. Фото. Начало 1900-х годов. С дарств. надписью И. А. Белоусову, 10 ноября 1902 г. Наклеено на лист с автографом стихотворения «В Альпах» (см. раздел III). ЦГАЛИ — I, 437
Бунин. Фотооткрытка, изд. К. А. Фишера. Москва, 1900-е годы. С автографической надписью Бунина. МКТ — I, 11
Бунин. Фото. Ялта, апрель 1902 г. С дарств. надписью О. Л. Книппер, б. д. Дом-музей А. П. Чехова, Ялта — II, 85
Бунин. Фото. Одесса, 1902. На обороте рукой Бунина: «17 июля 1902 г.— дача Гернета». ЦГАЛИ — I, 177
Бунин. Фото М. П. Дмитриева. Н. Новгород, октябрь 1902 г. С дарств. надписью Е. П. Пешковой, 25 октября 1902 г. АГ — II, 249
Бунин. Фото М. П. Дмитриева. Н. Новгород, октябрь 1902. С пометой Бунина. ПАБ * — II, 143
Бунин. Фото. Москва, 1903 (год рукой Бунина). С дарств. надписью Н. В. Кодрянской, Париж, 1953. ГБЛ — II, 343
Бунин. Фото К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г. На полях — позднейшая неточная помета рукой Бунина: «1907». ПАБ — II, 167
Бунин. Фото К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г. С дарств. надписью С. Ю. Прегель, 14 июня 1953 г. Собрание Л. В. Никулина, Москва — II, 354
Бунин. Фото, начало 1910-х годов. ИРЛИ — II, 47
Бунин в Коломбо. Фото, март 1911. С автографической подписью и пометами Бунина. ПАБ — I, 77
Бунин. Фото, 1911. На обороте рукой Бунина проставлен год. ПАБ — I, 407
Бунин. Фото, 1912. С автографической подписью Бунина, 17 октября 1912 г. ГПБ — II, 96
Бунин. Фото. Москва, 1912. С дарств. надписью Н. М. Мешкову, 4 ноября 1912 г. ГЛМ — I, 203

---

* Эта и все последующие фотографии из Парижского архива Бунина были получены от Л. Ф. Зурова через посредство А. К. Бабореко для использования в настоящем томе. После изготовления фотокопий оригиналы были возвращены в Париж.

Бунин. Фото. Москва, 1912. С дарств. надписью Н. Д. Телешову, 6 ноября 1912 г. ГЛМ — I, 593
Бунин. Фото В. Г. Чеховского. Москва, 1912. На обороте помета Бунина: «Осень 1912», и дарств. надпись Бунину В. Г. Чеховского и др. ГМТ — I, 317
Бунин. Фото. Одесса, 1913. На обороте рукой Бунина: «3 июля 1913 г. Дача Ковалевского». ЦГАЛИ — I, 371
Бунин. Фото, 1913. С дарств. надписью Д. Л. Тальникову, 9/22 марта 1914 г. ГБЛ — II, 493
Бунин. Фото, 1915. С дарств. надписью Д. Л. Тальникову, 28 июня 1915 г. ГБЛ — II, 409
Бунин. Фото Доре, 1917. С автографической подписью Бунина. ИРЛИ — I, 463
Бунин. Фото. Одесса, 1919. С автографической подписью Бунина, весна 1919 г. ПАБ — II, 156
Бунин. Фото. Париж, июль 1920 г. Дата рукой Бунина. ПАБ — II, 367
Бунин. Фото. Париж, 1921. Год рукой Бунина. ГЛМ — I, 383
Бунин. Фото. Париж, 1922. На обороте помета Бунина. ПАБ — I, 43
Бунин. Фото. Париж, 1925. Год рукой Бунина. ПАБ — II, 419
Бунин. Фото, 1926. С дарств. надписью Н. Я. Рощину, 16 октября 1926 г. ГМТ — II, 437
Бунин. Фото. 1930-е годы. ПАБ — I, 119
Бунин. Фото. Грасс, 1930-е годы. ЦГАЛИ — I, 229
Бунин. Фото Липницкого. Париж, 1930. С автографической подписью Бунина и датой. ИРЛИ — I, 665
Бунин. Фото. Грасс, 14 мая 1932 г. Дата рукой Бунина. На обороте — письмо А. П. Ладинскому, 27 июня 1932 г. ЦГАЛИ — II, 277
Бунин. Фото. Грасс, вилла «Бельведер», 10 ноября 1933 г. С пометами Бунина. ГЛМ — II, 289
Бунин. Фото. Стокгольм, 16 декабря 1933 г. Дата рукой Бунина. ГЛМ—II, 297
Бунин. Фото. Грасс, 1934, с автографической подписью Бунина
Бунин. Фото. Париж, около 1937 г. На обороте — письмо Н. Д. Телешову, 15 сентября 1947 г. МКТ — I, 633
Бунин. Фото. Париж, 1938. ПАБ — II, вклейка между стр. 4 и 5
Бунин. Фото. Париж, 5 июля 1948 г. На обороте — дата рукой Бунина. ПАБ — II, 359

## ГРУППОВЫЕ ФОТОГРАФИИ

Бунин с братом Юлием Алексеевичем. Фото. Полтава, 1891. ГМТ — II, 237
Бунин, А. М. Горький, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Д. Телешов. Фото Л. В. Средина. Ялта, 16 апреля 1900 г. На полях — автографы изображенных лиц и дата рукой Средина. МГ — II, 9
Основные участники «Среды»: Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, А. М. Горький, С. Г. Петров-Скиталец, Н. Д. Телешов, Е. Н. Чириков, Ф. И. Шаляпин. Фото К. А. Фишера. Москва, декабрь 1902 г. На полях — автографы изображенных лиц. ГЛМ — I, 29
Бунин и его проводник. Фото. Константинополь, 1903. С автографической подписью Бунина, 14 апреля 1903 г. ИРЛИ — II, 507
В. Н. и И. А. Бунины. Фото К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г. С позднейшими пометами Бунина. ПАБ — II, 175
Бунин среди членов «Среды»: Л. Н. Андреев, И. А. Белоусов, И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, В. Н. Бунина, С. С. Голоушев, А. Е. Грузинский, Б. К. Зайцев, С. Д. Махалов, Н. Д. Телешов, Е. А. Телешова и др. Фото К. А. Фишера. Москва, 1910-е годы. ГЛМ — II, 181
Бунин и Н. Д. Телешов. Фото. Москва, 1910. Год рукой Бунина. ГЛМ — I, 473
Бунин и А. С. Черемнов в Клеевке. Фото, 1912. На обороте помета Бунина. Изображены также: В. Н. Бунина, М. П. Миловидова, Н. А. Пушешников. ПАБ — I, 641
Члены «Среды»: Л. Н. Андреев, И. А. Белоусов, И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, С. С. Голоушев, А. Е. Грузинский, Б. К. Зайцев, С. Д. Махалов, Н. Д. Телешов. Фото. Москва, 1913. ГЛМ — I, 521
Бунин и Н. А. Пушешников в Глотове. Фото, 1916. На обороте помета Бунина, февраль 1916 г. Собрание А. П. Толстякова, Москва — II, 223
Бунин и крестьянин-калека. Фото, 1916. С пометой Бунина, 15 июля 1916 г. ГМТ — II, 233
Участники «Книгоиздательства писателей в Москве»: И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, В. В. Вересаев, Д. Я. Голубев, И. Г. Гонтарев, Н. С. Клестов (Ангарский), С. Д. Махалов, А. С. Серафимович, Н. Д. Телешов, М. П. Чехова, Н. Г. Шкляр, И. С. Шмелев. Фото. Москва, 1917. С автографическими подписями изображенных лиц. ГЛМ — I, 653
Последнее заседание «Среды»: И. А. Белоусов, И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, Е. П. Гославский, А. Е. Грузинский, С. Я. Елпатьевский, Н. Д. Телешов, И. С. Шмелев. Фото А. Н. Телешова. Москва, 1917. ГЛМ — I, 619

Бунин, В. Н. Бунина, Г. Н. Кузнецова. Фото. Грасс, 1927. С пометой Бунина, август 1927 г. ГБЛ — II, 261
Бунин, В. Н. Бунина, Г. Н. Кузнецова, Н. Я. Рощин. Фото. Грасс, вилла «Бельведер», 1927. Собрание Г. Н. Кузнецовой, Мюнхен — II, 253
Бунин, Г. Н. Кузнецова, Н. Я. Рощин. Фото. Грасс, конец 1920-х годов. ЦГАЛИ — II, 267
Бунин и Т. Д. Муравьева-Логинова. Фото И. Н. Муравьева. Грасс, 1938. Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция — II, 323

### ШАРЖИ

В. М. Михеев и Бунин. Шарж неизв. художника. Рисунок (карандаш), 1900-е годы. ГЛМ — I, 541
«Поэт И. А. Бунин». Шарж М. С. Линского, с автографической подписью Бунина. «Искры», М., 1909, № 12 — I, 575
Бунин. Шарж А. Пэка (В. А. Ашкинази). Тушь, перо, 1910-е годы. ИРЛИ — I, 645
Писатели-современники: И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, М. П. Гальперин, А. Е. Грузинский, С. Д. Дрожжин, А. П. Каменский, С. С. Мамонтов, Н. М. Мешков, «неизвестный писатель шведский», Игорь Северянин, А. С. Серафимович, Н. Д. Телешов, Л. Н. Толстой. Дружеский шарж Ю. А. Бунина (перо), 1910-е годы. ГЛМ — I, 587

## II. АВТОГРАФЫ БУНИНА

### ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«Автобиографическая заметка». Машинопись с авторской правкой, 1915. Лист 4. ГМТ — I, 391
«В Альпах» («На высоте, на снеговой вершине...»), 10 ноября 1902 г. Лист из альбома, подаренного членами «Среды» И. А. Белоусову к двадцатилетию его литературной деятельности (здесь же — фотография Бунина с дарств. надписью Белоусову: см. раздел I). ЦГАЛИ — I, 437
«Иоанн Рыдалец», 3 марта/18 февраля 1913 г., Капри. Листы первый и последний. ГМТ — II, 473
«И снова вечер, степь, и четко...», 3 июля 1916 г. ЦГАЛИ — I, 184
«Канун Купалы», 2 октября 1906 г. На книге «Стихотворения 1903—1906 г.» с дарств. надписью М. В. Аверьянову (см. раздел III) — I, 25
«О сочинениях Городецкого». Черновой автограф, Гелуан, 5 февраля 1911 г. Лист 1, с надписью автора, обращенной к Н. А. Пушешникову. ГМТ — I, 339
«Памяти Н. И. Пирогова», 1897. Лист вклеен в книгу: Н. И. Пирогов. Собрание литературных статей (Одесса, 1858). Собрание В. Г. Лидина, Москва — I, 279
«Петлистые уши». Черновой автограф одной из ранних редакций эпилога. Лист 1. ГМТ — II, 113
«Снег дымился в раскрытой могиле...» Черновой автограф, 7 июля 1916 г. ЦГАЛИ — I, 185
«Сны Чанга». Черновой автограф одной из ранних редакций («Без начала и конца»). Лист 1. ГМТ — II, 109
«Сны Чанга». Черновой автограф одной из ранних редакций («Про одну собаку»). Лист 1. ГМТ — II, 108
«Сочинения стихотворные. Книга 5-ая». Юношеская тетрадь Бунина, январь — март 1887 г. Обложка с позднейшей пометой Бунина. ГМТ — II, 133
«Старуха». Черновой автограф первой редакции, 13 января 1916 г. Лист 1 об. ЦГАЛИ — II, 93
Сборник «Темные аллеи». Рукопись, подготовленная для издания в США. 1942. Обложка. ГБЛ — I, 129
«Эльбурс». Строки из стихотворения. На открытке с видом горы Эльбрус, 1911. МКТ — II, 509

### ПИСЬМА, ПУТЕВЫЕ ЗАПИСИ И ДРУГИЕ РУКОПИСИ БУНИНА

Письмо к О. А. Михайловой, начало марта 1895 г. Листы 1, 1 об. Собрание Н. Л. Крашенинниковой, Москва — I, 661
Проект обложки неосуществленного сборника стихов и рассказов Бунина. Текст — рукой Бунина. Рисунок (тушь, перо) неизвестного художника. Конец 1890-х годов. МКТ — I, 281
Письмо к В. Я. Брюсову, 19/6 октября 1900 г. Лист 1. ИРЛИ — I, 451
Путевые записи, сделанные во время поездки в Египет, 1911. ГМТ — II, 467
Открытка Н. А. Пушешникову, 11 марта 1911 г. На открытке — фотография парохода, на котором Бунин совершил плавание по Индийскому океану в 1911 г. Собрание В. Г. Лидина, Москва — II, 446

Выписка из отзыва Анри де Ренье на французский сборник «Господин из Сан-Франциско» (Париж, 1921). ИМЛИ — II, 377
Отзыв о книге В. А. Жданова «Любовь в жизни Льва Толстого» (М., 1929). Открытка, адресованная в изд-во «Московское товарищество писателей», 15 февраля 1938 г. Собрание В. А. Жданова, Москва — I, 397
Письмо к Н. Н. Берберовой, 12 мая 1941 г., на стандартной открытке времен фашистской оккупации Франции. Принстонский университет (США); фотокопия — в ГПБ — II, 503
Открытка Н. Д. Телешову, 8 мая 1941 г. МКТ — I, 622
Открытка Н. Д. Телешову, 7 сентября 1945 г. МКТ — I, 623
Открытка К. Г. Паустовскому, 15 сентября 1947 г. Собрание В. В. Навашиной-Паустовской, Москва — II, 405
Письмо Н. В. и И. В. Кодрянским, 20 октября 1953 г. Лист 1. ГБЛ — II, 347

## III. КНИГИ

### КНИГИ БУНИНА С АВТОРСКОЙ ПРАВКОЙ И ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ

Байрон. Манфред. Перевод Ив. А. Бунина (СПб., 1904). Титульный лист с дарств. надписью М. П. Чеховой, 23 октября 1903 г. Дом-музей А. П. Чехова, Ялта — II, 77
«Божье древо» (Париж, 1931). Обложка и форзац с дарств. надписями: Бунина — А. М. Ремизову, 16 октября 1946 г., и Ремизова — Н. В. Кодрянской, 5 августа 1953 г. ГБЛ — II, 345
«Господин из Сан-Франциско» (М., 1916). Титульный лист и форзац с дарств. надписью Н. С. Ашукину, 1916. Собрание М. Г. Ашукиной, Москва — II, 373.
«Господин из Сан-Франциско» (Париж, 1921). Обложка и форзац с дарств. надписью И. С. Соколову-Микитову, 21 июня/4 июля 1921 г. Собрание И. С. Соколова-Микитова, Москва — II, 157
«Деревня» (М., 1910). Обложка и форзац с дарств. надписью Н. А. Котляревскому, б. д. ИРЛИ — I, 35
«Избранные стихи» (Париж, 1929). Форзац с дарств. надписью Бунина Н. В. Кодрянской 5 марта 1950 г. и обложка с дарств. надписью Кодрянской в Отдел рукописей ГБЛ 14 августа 1964 г. ГБЛ — II, 344
«Избранные стихи» (Париж, 1929). Экземпляр с авторской правкой. Страница со стихотворением «Сириус». ИМЛИ — I, 199
«Иоанн Рыдалец» (М., 1913). Обложка и форзац с дарств. надписью В. М. Дорошевичу, б. д. ГПБ — II, 149
«Листопад» (М., 1901). Переплет, выполненный в художественно-переплетной мастерской Ф. К. Татариновой и шмуцтитул с дарств. надписью Бунина Ф. К. Татариновой, б. д. Собрание В. П. Нечаева, Москва — I, 179
«Листопад» (М., 1901). Титульный лист и шмуцтитул с дарств. надписью Е. А. и Н. Д. Телешовым, б. д. ЦГАЛИ — I, 459
Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». Перевод Ив. А. Бунина (М., 1899). Обложка и форзац с дарств. надписью Н. Д. Телешову, б. д. МКТ — I, 493
«На край света» (СПб., 1897). Обложка и титульный лист с дарственной надписью Н. Д. Телешову, 21 января 1897 г. МКТ — I, 15, 481
«Перевал» (М., 1912). Обложка и форзац с дарств. надписью Д. Л. Тальникову, Одесса, 10 апреля 1912 г. ГБЛ — II, 497
«Под открытым небом» (М., 1898). Обложка с дарств. надписью В. П. Лебедеву, 29 августа 1898 г.; страницы 34—35 («В Крыму») и 40 («Из В. Чайченко»). ГПБ — I, 285, 267, 215
«Полное собрание сочинений» (Пг., 1915). Том первый. Титульный лист с дарств. надписью А. М. Горькому, 25 февраля 1916 г. МГ — II, 53
«Полное собрание сочинений» (Пг., 1915). Том первый. Титульный лист с дарств. надписью А. Н. Бибикову, 31 июля 1916 г. ИМЛИ — II, 487
«Полное собрание сочинений» (Пг., 1915). Том первый. Экземпляр с авторской правкой, 1952. Страница с пометами Бунина, 16 декабря 1952 г. ИМЛИ — I, 243
«Полное собрание сочинений» (Пг., 1915). Том второй. Экземпляр с авторской правкой, начало 1950-х годов. Страница с пометами Бунина. ИМЛИ — II, 486
«Речной трактир» (Нью-Йорк, 1945). Обложка (рис. М. В. Добужинского) и оборот обложки с дарств. надписью К. А. Федину, 1 марта 1946 г. Собрание К. А. Федина, Москва — I, 690
«Собрание сочинений». Том первый (Берлин, 1934). Обложка и форзац с дарств. надписью К. А. Федину, 1 марта 1946 г. Собрание К. А. Федина, Москва — I, 51
«Собрание сочинений». Том седьмой (Берлин, 1934). Экземпляр с авторской правкой, 1947—1953 гг. Обложка и страница с началом рассказа «Богиня Разума». ГБЛ — I, 81

«Стихотворения 1887—1891» (Орел, 1891). Экземпляр, посланный в редакцию журнала «Всемирная иллюстрация». Обложка с надписью Бунина, б. д. ГПБ — I, 257
«Стихотворения» (СПб., 1903). Титульный лист и шмуцтитул с дарств. надписью М. В. Аверьянову, 29 сентября 1906 г. ИРЛИ — II, 23
«Стихотворения. 1903—1906 г.» (СПб., 1906). Обложка и шмуцтитул с дарств. надписью М. В. Аверьянову, 2 октября 1906 г., и автографом стихотворения «Канун Купалы» (см. раздел II). ИРЛИ — I, 25
«Стихотворения 1903—1906 г.» (СПб., 1906). Титульный лист с дарств. надписью Н. Д. Телешову, 20 октября 1906 г. МКТ — I, 567
«Суходол» (М., 1912). Обложка и шмуцтитул с дарств. надписью А. М. Горькому, октябрь 1912 г. МГ — II, 39
«Темные аллеи» (Нью-Йорк, 1943). Экземпляр с авторской правкой. Обложка с пометами Бунина, б. д. МКТ — I, 47
«Чаша жизни» (М., 1915). Титульный лист с дарств. надписью А. М. Горькому, б. д. МГ — II, 52

### ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУНИНА

«Восходящие звезды» (Одесса, 1902). Сборник рассказов и стихов Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, Д. С. Мережковского, К. М. Фофанова и др. Обложка (с портретом Андреева и Бунина) и титульный лист — II, 195
«Два странника».—«Родина», 1887, № 39, 28 сентября. Заголовок газеты и начало рассказа — I, 142, 143
«„Шаман" и Мотька». Оттиск из газеты «Орловский вестник» (1890, № 151 и 152, 25 и 27 июня), изготовленный для Бунина. ГМТ — I, 153

### РАЗНЫЕ КНИГИ

М. Горький. Статьи. 1905—1916 гг. (Пг., 1917). Титульный лист с дарств. надписью Бунину, 2 апреля 1917 г. АГ—II, 59
«Клич. Сборник на помощь жертвам войны». Под редакцией И. А. Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова (М., 1915). Титульный лист и форзац с дарств. надписью Вересаева и Телешова Бунину, 17 марта 1915 г. ГБЛ — I, 613
София Прегель. Берега (Париж, 1952). Обложка и форзац — с дарств. надписью Бунину, 9 июня 1953 г., и с пометой Бунина. ГЛМ — II, 355
«Кобзарь Тараса Шевченка» (СПб., 1860). Фронтиспис и титульный лист — I, 303
Laurent Daniel (псевдоним Эльзы Триоле). Ivette. Récit de 1943. Напечатано нелегально в типографии французского Сопротивления. Обложка и шмуцтитул с дарств. надписью автора Бунину, Париж, январь 1946 г. ГЛМ — II, 403
Frédéric Mistral. Mémoires et récits. Mes origines. Paris, 1929 (Фредерик Мистраль. Воспоминания и рассказы. Истоки моей жизни. Париж, 1929). Книга послужила источником «Провансальских пересказов» Бунина. Обложка — I, 107

## IV. ДОКУМЕНТЫ

Программа музыкального вечера с участием Бунина. Полтава, 10 марта 1896 г. ГМТ — II, 243
Адрес от членов «Среды» к двадцатипятилетию литературной деятельности В. Г. Короленко, 12 ноября 1903 г. Среди подписавшихся — Бунин. ГБЛ — I, 379
Программа «Литературно-исполнительного собрания» московского Литературно-художественного кружка, 23 марта 1907 г., с участием Бунина, Андрея Белого, А. А. Блока, А. М. Ремизова, Н. Д. Телешова и др. ГМТ — II, 183
Программа литературно-музыкального вечера памяти Н. А. Некрасова в Историческом музее (Москва), 18 февраля 1908 г. Обложка и программа второго отделения с участием Бунина. ГМТ — I, 357
Поздравительная телеграмма Бунина Л. Н. Толстому ко дню его восьмидесятилетия, 28 августа 1908 г. Музей Л. Н. Толстого, Москва — I, 365
Программа спектакля «Ревизор» в исполнении членов Литературно-художественного кружка, 8 апреля 1912 г. ЦГАЛИ — I, 609
Адрес Бунину от членов «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности, 28 октября 1912 г. ГЛМ — I, 319
Рисунок А. М. Васнецова в альбоме, подаренном членами «Среды» Бунину по случаю двадцатипятилетия его литературной деятельности (тушь, перо), октябрь 1912 г. ЦГАЛИ — I, 71
Портрет Пушкина, подаренный Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности, 28 октября 1912 г. ГЛМ — I, 321
Адрес Бунину от Разряда изящной словесности имп. Академии наук к двадцатипятилетию его литературной деятельности, 28 октября 1912 г. ААН — I, 353

Афиша заседания московского Литературно-художественного кружка, посвященного столетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 16 ноября 1914 г. Вступительное слово произнес Бунин. АГ — II, 129
Билет на вечер Бунина в Политехническом музее (Москва), 8 декабря 1915 г. ИМЛИ — II, 491
Объявление о выходе в свет сборника «В помощь пленным русских воинам» (М., 1916). Среди участников сборника — Бунин. ИРЛИ — I, 467
Объявление об издании повести «Деревня» на немецком языке в берлинском издательстве «Bruno Cassirer Verlag», 1936. ИМЛИ — II, 379
Программа вечера памяти Бунина в ГЛМ, 20 октября 1955 г. ГЛМ — II, 372
Проспект издания девятитомного «Собрания сочинений» Бунина в издательстве «Художественная литература» (М., 1965—1967). Обложка и первая страница. МКТ — I, 53
План парижской квартиры Бунина. Рисунок Л. Ф. Зурова, 1970. ГБЛ — II, 501

## V. ПОРТРЕТЫ ЛИЦ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ БУНИНА

И. А. Белоусов. Фото, Москва, 1912. С дарств. надписью Бунину, 28 октября 1912 г. Из альбома, подаренного членами «Среды» Бунину к двадцатипятилетию его литературной деятельности. ЦГАЛИ — II, 170
В. Я. Брюсов. Фото С. В. Шицмана. Москва, начало 1900-х годов. ГЛМ — I, 431
Коля Бунин. Фото, Одесса, начало 1900-х годов. С позднейшей пометой Бунина. ГЛМ — II, 511
Ю. А. Бунин. Фото. Москва, 1912. Из альбома, подаренного членами «Среды» Бунину к двадцатипятилетию его литературной деятельности. ЦГАЛИ — I, 581
В. Н. Бунина. Фото конца 1890-х—начала 1900-х годов—см.: В. Н. Муромцева
В. Н. Бунина. Фото К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г. ПАБ — II, 163
В. Н. Бунина. Портрет работы Е. И. Буковецкого (масло), Одесса, 1910. ГМТ — I, 561
В. Н. Бунина за работой. Фото. Грасс, 1930-е годы. ЦГАЛИ — II, 325
М. А. Бунина. Фото, 1898, с позднейшей пометой Бунина. ПАБ — II, 201
Е. А. и Н. К. Бунины с детьми. Фото. Ефремов, начало 1930-х годов. ПАБ — II, 227
С. М. Городецкий. Шарж неизв. художника. Гравюра. ЦГАЛИ — I, 347
А. М. Горький. Фото. Рига, весна 1905 г. С дарств. надписью Бунину, б. д. ГМТ — II, 15
А. М. Горький. Рисунок неизв. художника. Открытка, 1900-е годы. С автографической надписью Горького. МКТ — I, 361
А. Е. Грузинский. Фото. Москва, 1912. С дарств. надписью Бунину, 28 октября 1912 г. Из альбома, подаренного членами «Среды» Бунину к двадцатипятилетию его литературной деятельности. ЦГАЛИ — I, 600
Б. К. Зайцев. Фотооткрытка, начало 1910-х годов. С автографической подписью Зайцева. МКТ — II, 171
М. В. Карамзина. Фото, 1930-е годы. ПАБ — I, 671
М. В. Карамзина с сыновьями Сашей и Мишей. Фото. Кивиыли, май 1939 г. ПАБ — I, 684
А. И. Куприн. Фото. Гатчина, 1914—1915 гг. С дарств. надписью Бунину, б. д. ПАБ — I, 333
Кутеп-печник из села Васильевского — прототип Егора из рассказа «Веселый двор». Фото, 1917. ГЛМ — II, 231
С. Д. Махалов. Фото, Москва, 1912. С дарств. надписью Бунину, октябрь 1912 г. Из альбома, подаренного членами «Среды» Бунину к двадцатипятилетию его литературной деятельности. ЦГАЛИ — I, 601
В. Н. Муромцева. Фото. Москва, конец 1890-х годов. ГЛМ — II, 185
В. Н. Муромцева. Портрет работы М. Зайцева (масло), начало 1900-х годов. ГМТ — II, 191
Н. Д. Телешов. Портрет работы Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы. МКТ — I, 489
Н. Д. Телешов. Фото, Москва, 1912. С дарств. надписью Бунину, 28 октября 1912 г. Из альбома, подаренного членами «Среды» Бунину к двадцатипятилетию его литературной деятельности. ЦГАЛИ — II, 455
А. М. Федоров с сыном Виктором. Фото, 1907—1908 гг. С дарств. надписью Бунину, 13 января 1908 г. ГМТ — II, 205
А. П. Чехов. Фотография В. Г. Чеховского. Москва, 1902. МКТ — II, 69

## VI. АВТОГРАФЫ СОВРЕМЕННИКОВ БУНИНА

Письмо Н. Д. Телешова Бунину, 9 декабря 1899 г. Л. 1—2 об. ЦГАЛИ — I, 504, 505
Открытка, посланная Н. П. Эспозито Бунину. 6 апреля 1902 г. На открытке — ирландский пейзаж («Портраш при лунном свете»). ГМТ — II, 415
Список членов «Среды» и их шутливых прозвищ-«адресов». Автограф Н. Д. Телешова, 1902. МКТ — I, 535

## VII. РИСУНКИ Т. Д. МУРАВЬЕВОЙ-ЛОГИНОВОЙ К ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯМ «ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ»

(ТУШЬ, ПЕРО, КАРАНДАШ — ГМТ)

Встреча на выставке русской книги в Париже, 1935—1968.— II, 303
В кафе де ля Мюетт, 1935—1968.— II, 303
На набережной Сены, 1935—1968.— II, 304
Олени (стихотворение «Сон»), 1935—1968.— II, 305
Я разыскала виллу «Бельведер», 1936—1968.— II, 310
Вилла «Сен-Жак». В гостях у художницы, 1936—1968.— II, 311
Вера Николаевна поднимается к вилле «Жаннет», 1941—1968.— II, 313
Вилла «Жаннет». У Бунина в кабинете, 1941—1968.— II, 319

## VIII. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ВИДЫ

### РОССИЯ

Глотово. Дом Пушешниковых. Фото. ГМТ — II, 199
Елец: общий вид; Городской сад; Торговая улица; Сад общества приказчиков Открытки, начало 1900-х годов. Собрание С. В. Красновой, Елец — I, 165, 125, 295, 307
Измайлово. Бывшая подмосковная усадьба царя Алексея Михайловича: Западные въездные ворота; Покровский собор и Мостовая башня. Фото А. Н. Дубовикова, 1971. Собрание А. Н. и В. Ф. Дубовиковых, Москва — I, 93, 95
Могила Т. Г. Шевченко близ Канева. Гравюра с рис. А. Сластиона, 1885. Центральный исторический архив, Ленинград — I, 67
В Малаховке. Этюд Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы. МКТ — I, 513
Малаховка. Дача Н. Д. Телешова. Этюды Е. А. Телешовой (масло), 1900-е годы. МКТ — I, 499, 512
Одесса. Большой фонтан. Открытка, 1910-е годы. Собрание А. К. Бабореко, Москва — I, 443
Орел. Дом, где в 1891—1892 гг. жил Бунин. Фото А. Н. Дубовикова, 1970 — I, 21
Орел: Московская улица; Болховская улица; Базар на берегу Оки. Открытки, 1910-е годы. Собрание А. К. Бабореко, Москва; ГБЛ — I, 149, 311; II, 141
На Орловщине. Фотографии В. С. Молчанова, 1960-е годы. Собрание В. С. Молчанова, Москва — I, 39, 249, 273
«Остафьево», бывшая усадьба князей Вяземских. Фото В. С. Молчанова, 1966. Собрание В. С. Молчанова, Москва — I, 91
Полтава. Рис. Д. Пахомова (сепия), 1890-е годы. ИРЛИ — II, 241
Саввино-Сторожевский монастырь близ Звенигорода. Красная башня. Фото А. Н. Дубовикова, 1965. Собрание А. Н. и В. Ф. Дубовиковых, Москва — I, 99
Тарту: набережная реки Эмайыги; Каменный мост (разрушен во время Великой Отечественной войны); Университет. Открытки, 1920-е — 1930-е годы. Собрание В. В. Шмидт, Тарту — I, 677; II, 334, 335
Троице-Сергиевская лавра в г. Загорске. Фото В. С. Молчанова, 1966. Собрание В. С. Молчанова, Москва — I, 97
Успенский собор «На Городке» близ Звенигорода. Фото В. Ф. Дубовиковой, 1970. Собрание А. Н. и В. Ф. Дубовиковых, Москва — I, 97

### БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Дамаск. Открытка, отправленная Буниным З. И. Гржебину, 7 мая 1907 г. ИРЛИ — I, 211
Константинополь. Вид на Босфор. Открытка, отправленная Буниным Н. Д. Телешову, 11 апреля 1903 г. МКТ — I, 553

### ИТАЛИЯ

**Капри.** Акварель С. Корроди, вторая половина XIX в. МГ — II, 211
**Капри.** Марина Гранде. Рис. А. И. Кравченко (темпера), 1910—1911 гг. МГ — II, 215
**Капри.** Отель «Квисисана». Открытка. С пометами Бунина, зима 1911—1912 гг. ГМТ — II, 43

### ФРАНЦИЯ

**Грасс.** Вилла «Бельведер». Фото, 10 ноября 1933 г. С пометами Бунина. ГЛМ — II, 269
**Грасс.** Виды на окраину города и виллу «Жаннет». Фотографии, 1960-е годы. Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция — I, 111; II, 383
**Грасс.** Вид на старый город. Фото, начало 1970-х годов — II, 257
**Жуан-ле-Пэн** вблизи Грасса. Открытка, 1930-е годы. На обороте— письмо Бунина к М. В. Карамзиной, 8 августа 1939 г. Собрание В. В. Шмидт, Тарту — II, 283
**Могила** Терезы Анжелики Обри на Монмартрском кладбище в Париже. Фото Н. Л. Крашенинниковой, 1971. Собрание Н. Л. Крашенинниковой, Москва — I, 85
**Париж.** Улица Жака Оффенбаха, 1. Дом, где в 1922—1953 гг. жил и умер Бунин. Фото Н. Л. Крашенинниковой, 1971. Собрание Н. Л. Крашенинниковой, Москва — II, 399
**Парижская** квартира Бунина: столовая; комната, в которой умер Бунин. Фото, 1961. ПАБ — II, 443
**Могила** Бунина на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа, близ Парижа. На кресте, у его основания, табличка с надписью: «Иван Алексеевич Бунин. — Ivan Bounine. 1870—1953». Под нею, на обводе могилы,— вторая табличка: «Вера Николаевна Бунина.— Vera Bounine. 1881—1961». Фото Н. Л. Крашенинниковой, 1971. Собрание Н. Л. Крашенинниковой, Москва — II, 361

## IX. РОССИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В.

**Деревня.** Фото М. П. Дмитриева, 1890-е годы. МГ — I, 159; II, 31
**Зима** в деревне. Этюд Н. Н. Дубовского (масло), 1900. ГЛМ — I, 104
**Лирник.** Офорт Л. М. Жемчужникова из альбома «Живописная Украина». 1861—1862. ГЛМ — I, 401
**Мокрый** луг. Картина Ф. А. Васильева (масло), 1870. ГТГ — I, 135
**Нищий.** Фото М. П. Дмитриева, 1890-е годы. МГ — I, 141
**«Столяр».** Картина П. А. Нилуса. Фототипия с дарств. надписью художника Бунину, Одесса, 1 марта 1901 г. ГМТ — I, 431
**Странник.** Этюд И. Е. Репина (масло), 1881. Пензенская областная картинная галерея — I, 127
**Странник.** Фото М. П. Дмитриева, 1890-е годы. МГ — I, 141; II, 147
**Странники.** Фото М. П. Дмитриева, 1890-е годы. МГ — I, 415

# ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составила Е. М. Львова


А., корреспондент «Одесских новостей» I 373
А. А., корреспондент «Южной мысли» I 377
Ар. А.— см. Аренберг А. А.
Абрамов Соломон Абрамович II 492, 495
Абрамов Федор Александрович I 54
Абрамович Владимир Яковлевич II 462, 474
Абрикосов Алексей Алексеевич II 17
Августин (Аврелий Августин) I 497
Аверченко Аркадий Тимофеевич I 644, 645
Аверьянов Михаил Васильевич I 25, 640, 643; II 23, 445, 462, 474, 478, 504, 512
Авилова (рожд. Страхова) Лидия Алексеевна I 334, 335; II 426, 461, 474
Аврелий — см. Брюсов В. Я.
Аврелий — см. Марк Аврелий Антонин
Агрелл Сигурд II 103, 275
Адам Эльза II 165
Адамович Георгий Викторович I 48, 49, 663, 676—679; II 272, 380, 381
Адрианов Сергей Александрович I 55
Азбелев Николай Павлович II 189, 190, 202, 219, 462, 474
Азеф Евно Фишелевич I 604
Айзман Давид Яковлевич I 20, 574; II 26, 462, 474
Айхенвальд Юлий Исаевич II 260, 261, 460, 470, 474
Аксаков Иван Сергеевич I 66, 682
Аксаков Николай Петрович I 329
Аксаков Сергей Тимофеевич I 37, 38; II 410
Аксаковы I 66
Алданов (Ландау) Марк Александрович I 37, 49; II 261, 266, 268, 269, 274, 342, 392, 401, 406, 428, 464, 494, 500
Александр II II 261
Александр III II 192
Александр Македонский II 408
Александра Федоровна, имп. (жена Николая I) I 304
Александров Николай Александрович I 329
Александров С. В. II 474
Александрова (Шварц) Вера Александровна II 348—351, 462
Алексеев Константин Сергеевич — см. Станиславский К. С.
Алексеевский Аркадий Павлович I 386, 556, 557; II 14, 250
Алексей Михайлович, царь I 92, 93, 95, 101
Алексинская Татьяна II 348
Алексинский Иван Павлович II 198, 199
Алехин Александр Александрович I 50
Алехин Алексей Васильевич II 240, 245, 246
Алехин Аркадий Васильевич II 240, 245, 246
Алехин Митрофан Васильевич II 240, 245, 246
Алмазов Лев Александрович II 462
Альтшуллер Исаак Наумович II 458
Амари — см. Цетлин М. О.
Аммосов Александр Николаевич II 146
Амфитеатров Александр Валентинович I 35, 642—644; II 19, 210, 489
Ангарский Николай Семенович — см. Клестов Н. С.
Андерсен Ганс Христиан I 136, 137
Андреев Вадим Леонидович II 181, 186, 195, 402
Андреев Владимир II 488
Андреев Даниил Леонидович II 162, 185, 195
Андреев Леонид Николаевич I 20, 27, 29, 34, 50, 56, 353, 359, 376, 379, 380, 386, 387, 438, 456, 467, 471, 501, 521, 523, 527, 528, 532—539, 542, 551, 552, 554, 556, 557, 562—567, 580, 582, 585, 589—591, 612, 620, 642, 643, 649, 657; II 7, 12—14, 17—22, 25, 26, 39, 44, 62, 65, 155, 159, 160, 162, 166, 178, 180, 181, 185—190, 192—196, 198, 204, 217, 250, 284, 388, 449, 454, 457, 464, 473, 474, 476, 482, 489, 498, 506, 507, 512
Андреев Николай Андреевич I 577
Андреев Николай Петрович I 127
Андреева (рожд. Велигорская) Александра Михайловна I 539, 566; II 162, 166, 181, 186, 188
Андреева (рожд. Пацковская) Анастасия Николаевна II 181, 186, 192, 196
Андреева (рожд. Денисевич) Анна Ильинична I 386
Андреева (рожд. Юрковская; в 1-м браке Желябужская) Мария Федоровна I 357, 364, 574, 600, 611, 614, 647, 648; II 38—40, 42, 64, 181, 208—210, 213, 214, 216, 217, 222, 464, 483, 489, 500, 501
Андрусон Леонид Иванович II 191, 474
Андрушкевич Константин Петрович II 474, 480
Аникин Степан Васильевич II 462
Аничков Евгений Васильевич II 70, 88
Анна Ярославна I 688
Анненков Павел Васильевич II 266

Анненкова Зинаида Павловна II 238
Анненкова Надежда Павловна — см. Лебединская Н. П.
Анненский Алексей II 462
Анненский Николай Федорович I 334, 335; II 223
Ано Марианна II 462
Антоний св. (Великий) I 132
Антонов В.— см. Курилов В. А.
Антонов Сергей Петрович II 365
Антонович Владимир Бонифатьевич II 140, 151
Анучин Дмитрий Николаевич I 515, 576
Аплетин Михаил Яковлевич I 627, 632—634, 636, 638; II 508, 509, 516, 517
Аплаксина Александра Ивановна II 40, 64
Апухтин Алексей Николаевич I 289
Арабажин Константин Иванович I 510
Арбушевская Любовь Юлиановна I 457
Аренберг (псевд. А. Ар.) Александр Анисимович I 367, 370
Аристархов Владимир Николаевич II 199
Аристарховы II 199
Армянский, домовладелец II 164
Арсеньев Константин Константинович I 309; II 514
Арсеньевы I 397
Архимед I 577, 578
Арцыбашев Михаил Петрович I 315, 322—324, 352, 356, 612; II 26, 44, 191, 192, 462, 506
Арцыбушев Юрий Константинович II 451, 464
Асмус Валентин Фердинандович I 375
Аснык Адам I 175, 213—214, 223—225, 278; II 459, 469
Ассаргадон, царь I 428
Астафьев Виктор Петрович I 54
Атилла II 48
Ауслендер Сергей Абрамович II 464
Афанасьев Александр Николаевич I 127; II 148, 465
Афанасьев Василий Андреевич II 428
Афанасьев Всеволод Николаевич I 55, 59, 173, 175, 287, 289, 359; II 116, 494
Афонин Леонид Николаевич I 59, 135—137, 173, 175, 336—340, 367, 416, 639; II 221—223, 412—423, 447, 448
Ахматов Михаил Николаевич I 337, 340; II 513, 514
Ахова II 474
Ачатова Агнесса Андреевна II 494
Ашешов Николай Петрович I 564; II 498
Ашкинази (псевд. А. Пэк) Владимир Александрович I 645; II 507
Ашукин Николай Сергеевич I 439, 580; II 373, 462
Ашукина Мария Григорьевна II 373

Бабаевский Семен Петрович II 370
Бабель Исаак Эммануилович I 50
Бабореко Александр Кузьмич I 6, 59, 78—79, 124, 149, 173, 175, 289, 308, 311, 355, 371, 381, 382, 398, 399, 401, 412, 416, 418, 663, 664, 692; II 42, 159—160, 247, 250, 373, 375, 376, 378—380, 400, 454, 465, 517
Баев Никита Ефимович I 387
Баженов Николай Николаевич II 198, 220
Бажинов Иван Денисович I 225, 301· II 424—428
Базаров (Руднев) Владимир Александрович II 45
Байков Д. В., издатель II 483
Байрон Джордж Ноэл Гордон I 12, 174, 175, 201—202, 220, 360, 362, 559, 608, 625, 640, 673; II 17, 18, 55, 63, 77, 177, 185, 197, 418, 420, 423, 445, 460, 464, 469, 471, 489—491, 499, 510—512
Бакланов Григорий Яковлевич II 370
Бакст (Розенберг) Лев Самойлович II 194, 220
Бакунин Михаил Александрович II 473
Балабуха Сергей Павлович II 238
Балихова, домовладелица I 583
Балтийская (по мужу Телешова) Нина Александровна I 6, 59, 626; II 447, 448
Балтрушайтис (рожд. Оловянишникова) Мария Ивановна I 426
Балтрушайтис Юргис (Георгий) Казимирович I 315, 323, 324, 426, 448—450, 453—455, 459
Бальзак Оноре де I 105; II 421
Бальмонт Константин Дмитриевич I 20, 27, 276, 288, 315, 319, 320, 322—324, 332, 335, 337, 341, 346, 349—351, 421, 422, 426, 434—436, 438—440, 442, 457, 458, 462, 467—470, 688; II 17, 24, 146, 180, 320, 460, 474, 476, 477, 488, 500
Баранов Александр Петрович II 472
Баранова, знакомая Буниных II 171, 350
Баранцевич Казимир Станиславович I 580, 710
Баратынский Евгений Абрамович I 336, 388, 426, 686; II 122, 161, 218, 470, 493
Барашков И. В. II 449
Барский (?) Самуил Андреевич — см. С. Б.
Барсов Елпидифор Васильевич I 399, 414—416; II 140, 151, 152, 471
Бартенев Петр Иванович I 458
Бартенев Юрий Петрович I 426
Барятинский Владимир Владимирович I 510—513
Басманов Дмитрий Ильич II 474
Баталин Иван Андреевич I 378
Баткис Леонид Сергеевич II 462, 474, 480
Батуринский (Маслов-Стокоз) Василий Павлович II 64
Батюшков Константин Николаевич II 138, 471
Батюшков Федор Дмитриевич I 28; II 67, 83, 88, 89, 178, 219, 474, 502—504
Бахман Георг I 426
Бахман Ольга Михайловна I 426
Бахметьев, литератор I 570
Бахрах Александр Васильевич (Аля) I 627, 628; II 116, 318, 319, 321, 322, 345, 398, 400, 402, 407
Бахрушин Алексей Александрович II 463
Башкин Василий Васильевич I 522; II 462
Беато (Фиезоле фра да) Анджелико Джованни да II 207
Бежаницкая Клавдия Николаевна I 664, 673, 680; II 338

Безобразов Павел Владимирович I 523
Бекерович П. Я. II 474
Бёклин Арнольд I 178, 191
Белинский Виссарион Григорьевич I 287, 299, 485—487, 501; II 455
Белинский Максим — см. Ясинский И. И.
Белов Василий Иванович I 52, 54; II 368—369
Белова Нина Васильевна I 6
Белозеров Александр Андреевич II 220
Белой А. Д. II 474, 480
Белостоцкий (Ветвицкий) Владимир Петрович II 474
Белоусов Иван Алексеевич I 65, 275, 296, 299—300, 305, 310, 315, 380, 437, 451, 474, 478, 484, 491, 495, 507—509, 515, 518, 519, 521, 523, 527—529, 531, 533, 536—539, 544, 545, 550, 563, 575, 580, 584, 587, 610, 619, 645; II 12, 40, 62, 139, 170, 180, 181, 183, 219, 454, 455, 474, 506, 510—512, 516
Белоусов Иван Иванович I 329, 580
Белоусова Ирина Павловна II 510
Белый Андрей (Борис Николаевич Бугаев) I 323, 324, 350, 426, 435, 437, 462, 563, 564, 577; II 183, 279
Бельман Карл Микаэль II 298
Бенуа Александр Николаевич I 324
Беранже Пьер Жан I 79, 80, 83, 84, 86, 87
Берберова Нина Николаевна I 667; II 502—505
Бердяев, врач II 350
Бердяева Елена Григорьевна I 308
Беркенфельд Мария Федоровна I 478
Беркенфельд Ф. А. I 478
Бернар Сара I 572
Берне Людвиг I 12
Бессонов Петр Алексеевич I 418; II 152
Бетховен Людвиг ван I 31; II 269—270, 279
Беффруа де Реньи Луи I 85, 87
Бибиков Арсений Николаевич I 157, 387; II 458, 474, 481, 485—488
Бибиковы I 271
Билибин Иван Яковлевич II 22, 490
Бирк М. II 462
Бицилли Петр Михайлович I 56, 676, 678
Благов Федор Иванович II 427, 482, 489, 496, 498, 500 (?)
Благоволина Юлия Павловна II 447, 448, 499
Благоразумов Алексей Осипович — см. Недолин А. О.
Близниковская Софья Петровна II 65
Блинов Николай Николаевич I 334, 335
Блок Александр Александрович I 15—18, 20, 27, 48, 55, 323, 324, 337, 338, 346, 350, 351, 424, 427, 434—439, 462, 591; II 20, 24, 56, 63, 65, 139, 146, 183, 191, 192, 253, 266, 279, 280, 340, 354, 391, 482
Блок (рожд. Менделеева) Любовь Дмитриевна II 192
Блох Яков II 287
Блюм Арлен Викторович I 480
Блюменберг Георгий Густавович I 581, 589, 602, 606—609, 612; II 184, 189, 194, 203, 219, 462
Блюменберг Густав Алексеевич I 581, 589; II 219
Бобилевич Алексей Алексеевич II 474
Боборыкин Петр Дмитриевич I 359, 363, 364, 603; II 166, 168, 198, 461, 462
Бобринская Варвара Николаевна I 574, 578, 579; II 200
Богарне Жозефина Мария Роза I 86
Богданов (Малиновский) Александр Александрович II 45
Богданович Александр Владимирович II 221, 223
Богданович Ангел Иванович I 540, 541, 546; II 238
Боголюбов Семен Павлович I 562—564, 566—568; II 27, 459, 474, 489, 490
Богомолов Александр Ефремович I 689; II 346, 351, 400
Богораз (псевд. Н. А. Тан) Владимир Германович I 432, 510, 511
Богров Дмитрий Григорьевич I 370
Бодлер Шарль II 276
Боков Виктор Федорович II 366
Болдырев (Шкотт) Иван Андреевич II 292
Бонами Тала Михайловна II 88
Бонапарт Мария Полина (Карлотта) II 274, 436
Бонне Баптист I 108
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич II 474, 492, 496, 499, 500
Боргест, домовладелец I 661
Борисов Алексей Михайлович II 462
Борисов Борис Самойлович II 198
Борисова, курсистка II 166
Бородин Александр Порфирьевич I 34; II 504
Боссар, издатель II 375, 376
Боткин Сергей Петрович II 210, 220
Боткина Мария Сергеевна (Маля) II 210, 212, 213, 216, 220
Боткины II 216
Бочкарев Борис II 462
Бояджиев Д., переводчик II 474, 480
Брак Жорж I 689
Брандт, капитан II 294
Брежневы, знакомые Буниных II 279
Брендер Владимир Александрович II 474, 496, 498
Бренн, вождь галлов I 207, 222
Бриан Аристид I 358
Брихничев Иона Пантелеймонович II 474
Бродская Софья Яковлевна II 489
Бродский, журналист I 396
Брок Олаф II 513
Броше Густав II 456
Бруни Федор Антонович II 168
Бруно Джордано II 25, 168, 178, 408, 502, 504
Брусянин Василий Васильевич II 462, 464
Брюллов Карл Павлович I 302
Брюс Яков Вилимович I 482, 483
Брюсов Александр Яковлевич II 172
Брюсов (псевд. Аврелий) Валерий Яковлевич I 6, 16, 17, 27, 48, 55, 191, 315, 322, 323, 337, 338, 341, 344, 346, 350, 351, 359, 421—470, 518, 520, 552, 577, 584, 585, 591, 594, 610, 626, 654; II 16, 24, 44, 55, 62, 172, 173, 183, 391, 449,

460, 470, 474, 482, 492, 496, 497, 500, 502, 515, 516
Брюсова (рожд. Рунт) Иоанна Матвеевна I 440, 441, 444—446, 448—450, 452—454, 459, 461, 468; II 502
Будищев Алексей Николаевич II 474
Букавин Евгений II 462
Буковецкая Александра Митрофановна II 465
Буковецкий Евгений Иосифович I 526, 548, 561; II 205, 206, 424, 426, 462, 472, 474, 479, 485
Буланже Павел Александрович I 533; II 474
Булгаков Сергей Николаевич II 45
Булгарин Вячеслав Болеславович I 672, 679, 680
Булгарин Фаддей Венедиктович I 680
Булгарина (рожд. Рокасовская) Валерия Владимировна I 672, 679, 680; II 338
Булла, фотограф II 512
Булычев Григорий II 474, 480
Бунин Алексей Дмитриевич II 471
Бунин Алексей Николаевич I 27, 148, 149, 153, 154, 232; II 139, 150, 152, 159, 169, 174, 175, 219, 224, 226—228, 230, 231, 235, 282, 285, 315, 318, 325, 337, 453, 470—472, 474, 476, 489, 513
Бунин Анатолий Алексеевич (Толя) II 226, 227
Бунин Владимир Дмитриевич II 471
Бунин Дмитрий Семенович II 226, 470, 471
Бунин Евгений Алексеевич I 279, 461, 509, 514, 661; II 89, 139, 140, 174, 175, 198, 201, 202, 224—235, 274, 284, 287, 315, 472, 474
Бунин Константин Алексеевич (Костя) II 228
Бунин Никифор Семенович II 471
Бунин Николай Дмитриевич II 219, 470
Бунин Николай Иванович (Коля) I 519, 526; II 179, 219, 286, 312, 353, 472, 476, 489, 511, 513
Бунин Петр Николаевич II 172, 175, 203, 219, 225, 235
Бунин Семен Федорович II 470, 471
Бунин Сергей Алексеевич (Сережа) II 228
Бунин Юлий Алексеевич I 11, 12, 55, 65, 66, 154, 161, 191, 222, 232, 263, 266, 271, 278, 283, 299, 305, 308, 309, 370, 377, 378, 394, 452, 453, 460—462, 471, 475—479, 482, 484—486, 489, 490, 494, 495, 504, 506—509, 511, 515, 518—521, 523, 525, 527—532, 541, 542, 545—548, 553, 556, 571, 576, 580, 581, 586, 587, 598, 601, 605, 607, 610, 612, 613, 619, 621, 622, 640—642, 647, 651, 653, 657, 659—661; II 12, 13, 29, 39, 40, 53, 89, 150, 156, 169, 174—176, 181, 183—187, 196, 199—202, 220, 226, 228, 233, 234, 236—239, 243, 245, 246, 248, 250, 315, 447, 453, 454, 458, 462, 471—474, 476, 483, 487, 500, 506, 512
Бунина Александра Алексеевна (Шура) II 228
Бунина (рожд. Цакни) Анна Николаевна I 445, 480, 482, 493, 496, 497, 500, 507, 511, 519, 527; II 164, 179, 190, 286, 287, 312, 356, 397, 454, 465, 472, 476, 511
Бунина Анна Петровна I 397
Бунина Варвара Николаевна II 197, 225, 226, 228, 234, 235
Бунина (рожд. Муромцева) Вера Николаевна I 6, 52, 65, 66, 105, 124, 133, 161, 173, 222, 289, 299, 300, 362, 364, 367, 371, 381, 382, 394, 395, 464, 538, 560—562, 564, 567, 568, 570—572, 574, 575, 577—582, 584—588, 590, 595—599, 602—614, 616, 617, 620—628, 630—638, 641—643, 646, 647, 652, 654—658, 666, 667, 669, 670, 680—688, 692; II 21, 31, 35, 39—41, 51, 56, 118, 158—224, 248—251, 253, 255, 256, 260, 261, 264, 265, 269—271, 275, 276, 280, 290, 293, 295, 298, 300—330, 340—342, 344—353, 355, 356, 361, 362, 371, 385, 386, 394, 398, 400, 402, 404—407, 426, 428, 436, 437, 439—444, 448, 449, 452, 454, 458, 465, 471—474, 477, 483—485, 489, 492, 500—502, 506, 507, 509, 510, 512, 513, 518
Бунина (по мужу Чапкина) Глафира Дмитриевна II 471
Бунина (рожд. Чубарова) Людмила Александровна I 10, 42, 391, 462, 561, 562, 565, 667; II 33, 139, 159, 199—202, 224, 226—228, 274, 285, 315, 453, 471, 472, 474, 476, 489
Бунина Мария Алексеевна — см. Ласкаржевская М. А.
Бунина Мария Николаевна II 474
Бунина Настасья Карловна II 198, 200—202, 227
Бунина Олимпиада Дмитриевна II 235, 471
Бунина Ольга Дмитриевна II 226—228, 230, 235, 471
Бунины I 27, 247, 268, 453, 461, 495, 514, 527; II 160, 172, 201, 208, 224, 227, 248, 292, 465, 470, 471, 474
Бургуан Луиза — см. Приска де Ландель
Буренин Виктор Петрович I 458
Бурже Поль I 173, 175, 218—219, 226
Бурнакин Анатолий Андреевич I 598; II 38, 64
Бурсов Борис Иванович II 382
Бурцев Владимир Львович I 603, 604
Бурцев П., врач II 474, 478
Буслаев Федор Иванович II 145, 152
Буткевич Борис Васильевич II 292
Бутова Надежда Сергеевна II 88
Быков Василь (Василий) Владимирович II 369—370
Быков Петр Васильевич I 442; II 502
Бякин М. II 462
Бялик Борис Аронович I 6

Вагнер (псевд. Кот-Мурлыка) Николай Петрович I 331
Вагнер Рихард I 596, 597; II 193
Ваксель Платон Львович II 502—505
Валери Поль II 276, 290
Валитова Айслу Абдурахмановна I 175
Ванновский Петр Семенович II 11
Варшавский Б. Л., фотограф I 289
Василевская К. Д. II 485
Василевский Лев Маркович II 456, 462, 474, 498
Васильев Федор Александрович I 135
Васнецов Аполлинарий Михайлович I 71, 449, 580

Васнецов Виктор Михайлович I 427, 449; II 62
Ватолина Марина Георгиевна I 173, 175; II 447, 448
Ватсон Мария Валентиновна II 462, 474
Вашков Евгений Иванович II 488
Вебер Георг I 446, 447
Вейдле Владимир Васильевич II 263
Вейнберг Петр Исаевич I 325—327, 500, 501; II 17, 496, 498
Венгеров Семен Афанасьевич I 55, 438, 559; II 88, 89, 462, 470, 484, 504
Вербицкая (рожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна II 474
Вергилий I 422, 426, 446, 448, 458, 459, 618, 620; II 453, 508
Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич I 356, 373, 462, 467, 501, 511, 516, 536, 552, 575, 582, 610, 613, 622, 623, 626, 640, 651, 653, 655; II 7, 9, 11, 12, 14, 19, 25, 159, 161, 166, 168, 186, 204, 223, 461, 472, 474, 489, 511
Верлен Поль I 423, 424, 426, 442, 443, 447; II 276
Верн Жюль I 651
Верхарн Марта II 221
Верхарн Эмиль I 424, 426, 446, 447; II 221, 503
Верховский Юрий Никандрович II 462
Веселитская (псевд. В. Микулич) Лидия Ивановна I 671
Веселовская Мария Васильевна II 474
Веселовский Алексей Николаевич II 462, 474
Веселовский Юрий Алексеевич I 468; II 462, 474
Виардо (рожд. Гарсиа) Мишель Фернанда Полина I 367
Виганд, врач II 202
Вигилев Петр Васильевич II 462
Викторов Н. II 474
Викторов О. С.— см. Оголевец В. С.
Вилонов Николай Ефремович (товарищ Михаил) II 210, 214, 220
Вильбушевич Евгений Борисович II 474
Вильгельм Вид I 614
Вильде Николай Петрович I 610
Вилье де Лиль-Адан Филипп Огюст Матис I 447
Витмер, домовладелец II 247
Вишневская Наталья Александровна I 193
Вишняк Марк Вениаминович II 260
Владимир Мономах I 23 (?), 688
Водовозов Василий Васильевич I 334, 335
Воейковы I 397
Войтинский Владимир Савельевич II 44
Войтов Ипполит II 474
Войтоловский Лев Наумович II 64
Волкенштейн Александр Александрович II 242, 246
Волкенштейн Людмила Александровна II 242, 246
Волкенштейн Сергей Александрович II 242, 246
Волкенштейн Федор Акимович I 592; II 194
Волкенштейн, семья II 242
Волков Анатолий Андреевич II 88
Волков Сергей Иванович II 462
Волкова Мария Вячеславовна I 678—680
Волковы, бояре I 101
Волконская М., корреспондентка Бунина II 462
Волошин Максимилиан Александрович I 350
Волынский (Флексер) Аким Львович I 457; II 173, 457, 474, 477
Вольнов (Вольный) Иван Егорович I 23, 50; II 40, 57, 61, 248, 489
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) I 100
Воробьев Константин Дмитриевич I 54
Воровский Вацлав Вацлавович II 28, 64
Воронец Зинаида Ивановна II 462, 474
Воронец Эммануил Дмитриевич II 206, 220, 474
Воронин Сергей Алексеевич II 366—367
Воронков Константин Васильевич II 442
Воронцова (рожд. Браницкая) Елизавета Ксаверьевна I 367
Востряков Борис Дмитриевич I 465
Врубель Михаил Александрович I 324; II 410
Всеслав, князь II 453
Второв Павел Николаевич II 474
Вульф Алексей Николаевич I 46
Вульф, семья II 262
Выготский Лев Семенович II 89
Вьелэ-Гриффин Франсис I 446, 447
Вяземские I 91, 101
Вяземский Петр Андреевич I 101, 442
Вяткин Георгий Андреевич II 462, 474, 480, 487
Вячеславов Павел Леонидович I 394—395; II 447

Гаврилов Николай Васильевич I 485, 498 (?), 499, 500 (?)
Гагарин Григорий Григорьевич I 452
Газер Инна Соломоновна I 59, 173, 175, 287, 289, 309—310, 355—358, 372; II 64, 88
Гайдебуров Василий Павлович I 334
Гайдебуров Вячеслав Александрович II 500
Гайдебуров Павел Александрович I 331, 334; II 500, 501
Галлей Иоганн Готфрид I 363, 364
Галлен-Калела Аксель II 22, 51
Галунов Александр Андреевич I 593
Галунов Андрей Григорьевич I 593
Гальберштадт Лев Исаевич I 590, 591; II 200, 462
Гальперин Михаил Петрович I 580; II 462, 492, 496, 499
Гамсун (Педерсен) Кнут I 344, 426, 448, 458; II 515
Гарин (Михайловский) Николай Георгиевич I 506; II 14, 19, 21
Гаршин Всеволод Михайлович I 397, 648; II 88
Гауптман Герхарт I 344, 360, 362, 447
Гейне Генрих I 135—137, 173, 175, 208—209, 221, 222, 294; II 413, 421, 471
Гейне Роза II 462
Гейне (по мужу фон Эмбден) Шарлотта I 222
Геккер Наум Леонтьевич I 545
Гельбке Фридрих Фердинандович I 598

Гельман Лев Григорьевич — см. Жданов Л. Г.
Георгандопуло Николай Дмитриевич II 462
Георгий Александрович, в. к. II 189
Гербановский Михаил Матвеевич I 65; II 474, 477
Гербек Отто Осипович I 539, 540, 543—545, 547, 548
Гербель Николай Васильевич I 137, 220, 221; II 471
Германова Мария Николаевна II 279
Гернет, домовладелец I 177, 530
Герод I 446, 448
Герцен Александр Иванович I 323; II 272—274
Герцен (рожд. Захарьина) Наталья Александровна II 272, 273
Герцен Николай Александрович II 481
Герье Владимир Иванович II 159
Гессен Владимир Матвеевич II 193
Гессен Иосиф Владимирович II 458
Гете Иоганн Вольфганг I 12, 173, 175, 207—208, 221, 222, 388, 501; II 17, 181, 208, 220, 415, 421, 423, 429, 452, 453, 467, 508
Гик Иуда II 474
Гиль Рене I 447; II 97, 101, 464
Гильфердинг Александр Федорович II 142
Гиляровский Владимир Алексеевич I 635; II 464
Гименс Фелиция I 173, 175, 203, 204, 220
Гингер Александр Самсонович II 355
Гиппиус Владимир Васильевич I 422
Гиппиус (псевд. Антон Крайний) Зинаида Николаевна I 20, 315, 349, 368, 426, 457, 462, 552; II 256, 264, 265, 391, 464
Гитлер Адольф I 626; II 398, 404, 441
Гитович Нина Ильинична I 692; II 518
Гиффорд Уайт I 220
Глаголь Сергей — см. Голоушев С. С.
Глазунов Александр Константинович II 462, 511
Глеб VIII, папа II 216
Глинка (рожд. Голенищева-Кутузова) Авдотья Павловна I 222
Гнатюк Владимир Михайлович I 65; II 462, 474
Гнедич Петр Петрович I 296
Гнесин Михаил Фабианович II 488
Гнетнев Николай Иванович II 462
Говоров (Медведский) Константин Петрович I 296
Гоголь Николай Васильевич I 11—13, 18, 24, 68, 90, 101, 172, 309, 315, 324, 576, 577, 609, 610, 650, 652, 654; II 50, 61, 66, 79, 156, 265, 266, 271, 343, 346, 410, 439, 456, 457, 473
Годунов Борис Федорович I 654; II 268
Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич II 471
Голландская Э. I 338, 354; II 513
Голованова Тамара Павловна II 440—444
Головачев Алексей Адриянович I 325, 327
Головин Федор Александрович II 198
Головинский Владимир Павлович II 200
Голоушев (псевд. Глаголь) Сергей Сергеевич I 430, 439, 510, 511, 516, 517, 521, 522, 524, 527, 528, 533, 534, 538 541, 554, 564; II 180, 181, 186, 187, 204, 219, 474, 506
Голсуорси Джон II 219
Голубев Василий Захарович II 62
Голубев Дмитрий Яковлевич I 640, 642, 653
Голубева Ольга Дмитриевна I 573, 599, 602, 610, 623; II 219, 447, 448
Гольденвейзер Александр Борисович I 55, 396—398
Гольдин Семен Львович I 133, 135, 242, 245, 246, 251, 262, 278, 299, 438, 692; II 458, 465, 467, 468, 485, 518
Гольдман Евдокия Карловна I 234
Гольцев Виктор Александрович I 495, 517, 554; II 462
Гонкур Жюль II 285
Гонтарев Иван Григорьевич I 653
Гончаров Иван Александрович I 378
Гончаров Юрий Данилович II 219, 471
Гончарова Наталья Сергеевна II 300, 304, 307, 341
Горбов Дмитрий Александрович I 42, 56
Горбунов Александр Владимирович II 165, 166, 177
Горбунов-Посадов Иван Иванович II 474
Горленко (псевд. В. Г.) Василий Петрович I 492
Горлицкий В. А. II 462
Городецкий Сергей Митрофанович I 288, 315, 322, 336—351, 440; II 192, 411, 462, 470, 474, 513
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) I 5—10, 13—17, 20—23, 27, 29, 42, 48, 50, 54, 55, 161, 315, 316, 335, 355—357, 360—364, 367—370, 373, 376, 377, 380, 424, 428, 429, 434, 438, 439, 443, 444, 449, 464, 467—469, 471, 486, 489, 501—508, 510—518, 520—523, 525, 527—529, 533, 537, 542, 544, 546, 549, 552, 554—556, 558—560, 562, 567—569, 574—576, 578—580, 582, 584—587, 590, 598—601, 605, 611, 614, 620, 639, 642—650, 652, 655—657, 692; II 7—65, 67, 70, 72, 88, 89, 91, 116, 139, 146, 148, 149, 152, 156, 160, 178, 186—188, 208—210, 212—217, 219, 220, 223, 246—250, 270, 338, 370, 388, 391, 394, 445, 447, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 472—474, 478, 479, 481—485, 488—492, 498, 501, 506, 512, 518
Горячев Иван Маркелович II 233, 234
Горячев Ксенофонт Иванович II 234
Гославский Евгений Петрович I 484, 486, 523, 527, 528, 534, 536, 537, 541, 563, 619; II 180, 181, 219, 474
Госсек Франсуа Жозеф I 78
Гофман Виктор Викторович II 462
Грабарь Игорь Эммануилович I 323, 324; II 22
Графы, семья I 688, 689; II 322
Гребенщиков Георгий Дмитриевич II 42, 496, 500
Гречанинов Александр Тихонович I 535—537; II 462
Гржебин Зиновий Исаевич I 211, 573, 583, 591; II 55, 184, 185, 462, 474, 505
Грибоедов Александр Сергеевич I 25

Григоров Андрей Михайлович II 496, 499
Григорович Дмитрий Васильевич I 43, 56, 302, 372, 377; II 434
Григорьев Борис Дмитриевич II 268
Григорьева (псевд. Эдельвейс) Людмила I 337, 338, 352—353; II 513
Гримм Давыд Давыдович I 663, 664
Гримм Иван Давыдович I 663, 664, 667
Гримм Константин Иванович I 663, 666, 667
Гримм Мария Владимировна — см. Карамзина М. В.
Гринберг В. Б., редактор «Голоса Москвы» I 655
Гринченко (псевд. Василь Чайченко) Борис Дмитриевич I 65, 174, 175, 214, 215, 225
Грипич Алексей II 474
Гриффин — см. Вьелэ-Гриффин Ф.
Грифцов Борис Александрович II 161, 218
Грифцова (рожд. Урениус) Екатерина Сергеевна II 161, 162
Громова Елена Александровна II 465
Гроссман Леонид Петрович II 457, 462
Груздев Илья Александрович II 489
Грузинская Александра Митрофановна II 180
Грузинский Алексей Евгеньевич I 55, 521, 576, 578, 600, 607, 619, 622; II 54, 83, 89, 180, 181, 203, 219, 456, 457, 464, 474, 496, 499, 506, 511
Грунер Вера, курсистка II 165, 171
Губер Петр Константинович II 462
Гуд Томас I 175, 204—205, 220, 221, 451; II 469, 484
Гузовский Александр Александрович I 691
Гулак Николай Иванович I 304
Гумилев Николай Степанович I 350—351
Гунст, домовладелец II 170
Гурвич С. Л. II 474
Гуров Николай Н. II 474
Гусаков Андрей Георгиевич I 462; II 176, 177, 193
Гусев Виктор Евгеньевич II 152
Гусев Николай Николаевич I 533, 537
Гусев-Оренбургский Сергей Иванович I 20, 35, 580; II 19
Густав V (Оскар Густав Адольф), шведский король II 297—299
Гучков Александр Иванович I 655
Гюисманс Жорис Карл (Жорж Шарль Мари Гюисманс) I 496

Давыдов Николай Васильевич I 572, 615; II 198, 220
Давыдов Николай Карлович I 541, 546
Давыдова (рожд. Горожанская) Александра Аркадьевна I 63, 220, 221, 278, 476, 478, 489, 495, 540, 541, 662; II 459, 462
Давыдова Мария Карловна — см. Куприна-Иорданская М. К.
Далматов Василий Пантелеймонович II 506
Даль Владимир Иванович I 341, 413, 492; II 352
Данилин Иван Андреевич I 552
Данилов Е. I 635
Д'Аннунцио Габриеле I 447, 449, 450, 452, 453
Данте Алигьери I 607; II 207, 248, 421
Д'Арк Жанна II 216
Дворников Тит Яковлевич II 205, 206, 474
Девойод Жюль I 536
Дедлов (Кигн) Владимир Людвигович I 331, 334
Де ла Барт Людвига II 474
Делянов Иван Давыдович II 236
Демидов Игорь Платонович II 275
Демут-Малиновский Василий Иванович I 101
Деникин Антон Иванович I 623; II 389
Державин Гавриил Романович II 121
Дерибас Александр Михайлович II 206
Дерибас Иосиф (Осип Михайлович) II 206
Дерман Абрам Борисович I 28, 31, 55, 194, 636, 645, 652; II 66, 88, 116, 462, 492, 495, 496, 499
Дефо Даниель II 230
Дехтерев Александр Петрович (епископ Алексий) II 459
Джаншиев Григорий Аветович I 326, 327, 515
Джером Джером Клапка II 244
Дживелегов Алексей Карпович I 636; II 165, 166, 219
Джойс Джеймс I 680
Джотто ди Бондоне II 207
Джури А. А. — см. Карзинкина А. А.
Диесперов (Диэсперов) Александр Федорович II 161, 218
Диккенс Чарлз II 437
Диксон Константин Иванович II 462
Дикушина Нина Ивановна II 247—250, 447, 448
Динесман Татьяна Георгиевна I 6, 59, 173—175, 236, 287—289, 355; II 121—138, 384, 447—448, 452, 515, 519
Дионео (Исаак Владимирович Шкловский) I 334, 335; II 458, 463, 476
Дистерло Роман Александрович I 169
Дмитриев Максим Петрович I 141, 415; II 31, 143, 147, 249
Дмитриев Николай Всеволодович II 499
Дмитриева Капитолина Ивановна II 474
Добров Филипп Александрович I 566; II 166, 185, 188, 195
Доброва (рожд. Велигорская) Елизавета Михайловна I 566; II 166, 185, 188, 195
Добролюбов Александр Михайлович I 421, 422, 426, 430
Добролюбов Николай Александрович I 287, 299
Добужинский Мстислав Валерьянович I 690; II 462
Доде Альфонс I 105, 108; II 176
Долгов, домовладелец I 546
Долгорукие, род I 98
Долгоруков Павел Дмитриевич I 314; II 198, 220
Доре, фотограф I 463; II 506
Дороватовский Сергей Петрович I 513
Дорош Ефим Яковлевич II 372—374
Дорошевич Влас Михайлович II 149, 474, 505

Достоевский Федор Михайлович I 28, 42, 105, 315, 316, 318, 320, 322—324, 360, 362; II 50, 220, 272, 274—275, 277, 278, 280, 319, 346, 380—382, 384, 388, 483
Драбкина Феодосия Ильинична II 22, 63
Драгоманов Михаил Петрович II 140, 151, 408
Дрейфус Альфред I 541
Дробыш-Дробышевский (псевд. А. У-ский) Алексей Алексеевич I 549; II 238
Дрожжин Спиридон Дмитриевич II 464
Дроздова Мария Тимофеевна II 512
Дронников Николай Клавдиевич II 462
Дубасов Федор Васильевич II 23
Дубовиков Алексей Николаевич I 6, 21, 59, 65, 93, 95, 99, 173, 175, 314—316, 471—472, 689; II 396, 398—407, 500
Дубовикова Вера Федоровна I 97
Дубовской Николай Никанорович I 104
Дубровский Павел Михайлович II 238
Дудинцев Владимир Дмитриевич I 52, 56
Дудченков Митрофан Семенович II 462
Дукор Иосиф I 375
Дуриан (Дурян) Петрос I 468, 470
Дурылин Сергей Николаевич I 635
Духонин Николай Николаевич II 57
Дыбовский Борис Николаевич II 176
Дынник Валентина Александровна I 105—109
Дюма Александр, отец I 653
Дюфур, профессор II 327
Дягилев Сергей Павлович II 220

Евгеньев А.— см. Кауфман А. Е.
Евдокимов Е. А., издатель «Севера» I 299
Еврипид II 17
Егоров Иван Васильевич II 502, 504
Екатерина II I 36, 93, 101
Елизавета Евграфовна, гражданская жена Ю. А. Бунина II 483
Елпатьевская Людмила Ивановна I 532, 533
Елпатьевская Людмила Сергеевна — см. Кулакова Л. С.
Елпатьевский Сергей Яковлевич I 489, 490, 508, 527, 528, 532, 533, 535, 536, 589, 590, 594, 619, 652, 654; II 22, 238, 487, 506
Ельцова К.— см. Лопатина Е. М.
Ермилов Владимир Евграфович I 484; II 474
Ермолова Мария Николаевна II 489
Ермстад Аксель II 474, 480
Ерошин Иван Евдокимович II 474, 481
Ершов Петр Павлович I 638
Есенин Сергей Александрович I 48; II 391
Ефимович Андрей Яковлевич I 308, 309
Ефремов Николай II 474
Ефремов Петр Александрович II 455, 474

Жаботинский Владимир II 462
Жаворонков Борис Михайлович II 474
Жан Поль—см. Рихтер И. П. Ф.
Жданов Владимир Александрович I 397
Жданов (Гельман) Лев Григорьевич I 338, 354, 457; II 513
Желябужская Екатерина Андреевна II 209, 210
Желябужский Андрей Алексеевич II 209, 214
Желябужские II 163
Жемчужников Алексей Михайлович I 288, 289, 397; II 494, 500, 501
Жемчужников Владимир Михайлович I 397
Жемчужников Лев Михайлович I 401
Женжурист Иван Миронович II 236, 238, 239, 246
Женжурист (рожд. Макова) Лидия Александровна I 161; II 236—246
Жеребцова (рожд. Зубова) Ольга Александровна II 274
Жид Андре II 319, 330, 347, 351, 352, 380—387
Жирова Елена Николаевна (Ляля) I 681, 682, 687; II 312, 314, 319, 322, 326, 328, 342, 350
Жирова (по мужу Колар) Ольга Алексеевна I 681, 682; II 312—314, 319, 322, 326—328, 342, 350, 356, 458
Жорес Жан I 370
Жуковский Василий Андреевич I 12, 220, 221, 302, 326, 367, 397, 559, 673, 674; II 122
Жуковский Павел Васильевич I 367
Журин Александр Иванович II 474

Заболоцкая Антонина II 162
Заболоцкая Зинаида II 162
Завиловский Евгений Михайлович I 577; II 474
Заичневский Петр Григорьевич I 314
Зайончковский Петр Андреевич I 304
Зайцев Борис Константинович I 14, 30, 31, 37, 50, 56, 315, 323, 324, 373, 521, 528, 575, 580, 582, 583, 585, 587, 610, 642; II 161, 162, 164—166, 169, 171, 174, 180, 181, 183—185, 196, 204, 218, 220, 261, 308, 350, 402, 404, 406, 407, 440, 441, 444, 460, 503, 506
Зайцев Кирилл Иосифович II 458
Зайцев Матвей Маркович (?) II 191, 485
Зайцева (рожд. Орешникова; в 1-м браке Смирнова) Вера Алексеевна I 587; II 161—166, 168, 169, 174, 180, 184, 185, 196, 204, 218, 220, 308, 402, 404, 441, 442, 474
Зайцева (по мужу Соллогуб) Наталья Борисовна II 285—286
Замиралов А. М., врач II 474, 480
Заньковецкая (Адасовская) Мария Константиновна II 453
Засодимский Павел Владимирович I 329, 580; II 455, 474, 500, 501
Заузе Борис Владимирович I 553, 554
Заузе Владимир Христианович I 553; II 205, 206
Захарьин Григорий Антонович II 89
Здобнов Д., фотограф II 506, 512
Зеелер Владимир Феофилович II 403, 405, 407
Зеленин Дмитрий Константинович II 142
Зеликсон Макс II 462
Зелинский Николай Дмитриевич II 164, 177
Зернов Владимир Михайлович II 348, 350, 358—362, 407
Зилов Лев Николаевич II 462, 474, 480

Зильберштейн Илья Самойлович II 449
Зиненко А. II 462
Златовратский Николай Николаевич I 55, 311, 314, 329, 359, 372, 389, 484, 523, 528, 575; II 88, 198, 483
Злинченко Кирилл Павлович II 481
Золотарев Алексей Алексеевич II 64, 248, 457, 474, 484
Золя Эмиль I 82, 496; II 215
Зонов Аркадий Александрович II 462
Зуров Леонид Федорович I 6, 103, 104, 124, 125, 173, 174, 381, 664, 680, 687, 688; II 160, 265, 267—271, 275, 276, 281, 282, 285, 293, 295, 308, 314, 315, 321, 322, 324, 327, 328, 400—402, 441, 444, 448, 465, 492, 501, 507, 517

И. В. I 686
Ибсен Генрик I 426, 447, 448, 522, 523; II 265
Иван IV (Грозный) I 90, 91, 94, 100, 101, 338
Иваненко Дмитрий Алексеевич II 238
Иваницкий Федор Игоревич II 198
Иванов Владимир Александрович I 6
Иванов Вячеслав Иванович I 17, 337, 341, 342, 346, 350, 436, 438, 467, 468; II 94
Иванов Георгий Владимирович I 46
Иванов Иван Иванович I 512
Иванов Николай, журналист I 644
Иванов Петр Константинович II 161, 163—166, 171, 218, 474
Иванов Юрий Николаевич II 447, 448
Иванова Лариса Максимовна II 499
Иванов-Разумник Разумник Васильевич I 645, 646
Иващенко Александр Петрович II 459
Игнатий Ростовский, епископ I 19, 453; II 508
Игнатов Николай Иванович I 557
Игорь Святославович, князь I 34; II 408
Иеремия I 88
Изгоев (Ланде) Александр Соломонович II 45, 505
Измайлов Александр Алексеевич I 55, 458; II 66, 88, 100, 142, 457, 462, 474, 502, 503
Икседер Ф. I 635
Икскуль (рожд. Лутовинова) Варвара Ивановна II 195, 220
Иловайская Надежда Дмитриевна II 165, 219
Иловайская Ольга Дмитриевна — см. Кезельман О. Д.
Иловайский Дмитрий Иванович II 165, 219
Ильин Владимир Николаевич II 276
Ильинский Александр Адольфович I 447
Ильф (Файнзильберг) Илья Арнольдович I 50
Ильяшенко Андрей II 488
Ингрид, шведская принцесса II 298
Иоаннисян Иоаннес Мкртичевич I 468
Иорданская Мария Карловна — см. Куприна-Иорданская М. К.
Иорданский Николай Иванович II 189, 190, 220, 457, 474, 478, 482
Иоффе Фанни Моисеевна I 439
Иофьев Моисей Израилевич I 44, 56; II 88, 89
Ираклиди Инна Павловна II 474
Ирод, царь I 118
Ирод — см. Герод
Исаакян Аветик Саакович I 468, 469
Исаков Виктор II 474

К. Р.— см. Романов К. К.
К. С. Т., автор романсов II 488
Ко—н П. С.— см. Коган П. С.
К—ский, корреспондент «Одесского листка» I 362—363
Кавелин Константин Дмитриевич II 470
Кадмина Евлалия Павловна II 285
Казаков Юрий Павлович I 52, 54; II 369
Калинин М. (А. Каринян) I 377
Каллаш Владимир Владимирович II 456
Каменский Анатолий Павлович I 356; II 460, 506
Каменский Василий Васильевич II 64
Карамзин Александр Васильевич I 663, 666, 667, 681, 682, 684
Карамзин Александр Михайлович I 663
Карамзин Александр Николаевич I 663
Карамзин Василий Александрович I 663, 666, 667, 674, 676, 678, 681, 683, 685—687
Карамзин Михаил Васильевич I 663, 664, 666, 667, 672, 681, 682, 684
Карамзин Николай Михайлович I 90, 292, 663; II 300
Карамзин Федор Михайлович II 300
Карамзина (рожд. Максимова; по 1-му мужу Гримм) Мария Владимировна I 663—687; II 283, 333, 334, 338, 340
Карамзины, семья В. А. Карамзина I 672, 685
Карев Николай Алексеевич II 462
Кареев Николай Иванович II 193, 194, 220
Карзинкин Александр Андреевич I 373, 514, 515, 522—523, 525, 526, 532—534, 539, 540, 542, 543, 545—548, 552, 556, 595, 596, 602, 611, 614, 615, 617—620; II 16, 62, 173, 196, 220, 474, 508, 511
Карзинкин Андрей Александрович I 507
Карзинкина (рожд. Джури) Аделина Антоновна I 602
Карзинкина Елена Андреевна — см. Телешова Е. А.
Карзинкина Софья Андреевна I 507, 522, 524—526, 532, 533, 536, 546
Карзинкина (рожд. Рыбникова) Софья Николаевна I 507, 605
Карзинкины I 554
Карл Великий I 109
Карл V, германский император I 106
Кармелла, служанка в доме Горького II 212, 213
Кармен (Кориман) Лазарь Осипович II 462, 474
Картавов Петр Александрович II 503
Карташев Антон Владимирович II 462
Карышева (в замужестве Рауш) Софья Михайловна II 462
Касаткин Иван Михайлович II 27, 43, 44, 457, 461, 474, 481, 483
Касторский Сергей Васильевич I 368, 639; II 62—64
Катаев Валентин Петрович I 18, 49—52,

55, 56, 378; II 272, 368, 400, 440, 441, 461, 462
Катаев Владимир Борисович II 89
Катаева Эстер Давыдовна II 440
Катальдо, слуга в доме Горького II 210, 213
Катков Михаил Никифорович I 296, 314
Кауфман (псевд. Евгеньев) Абрам Евгеньевич I 488, 551
Кауфман Михаил Семенович II 474
Кафка Франц I 680
Кацнельсон Ениель II 475
Качалов (Шверубович) Василий Иванович I 626, 636; II 41, 475
Кашкин Дмитрий Антонович I 659
Кашкин Николай Дмитриевич II 492
Кашкина (по мужу Нюберг) Софья Николаевна I 221; II 472, 494, 496
Кезельман (рожд. Иловайская) Ольга Дмитриевна II 165, 171, 219
Кезельман, знакомый Муромцевых II 165, 171
Керенский Александр Федорович II 56, 268, 473
Керзин Аркадий Михайлович II 221
Керзина Мария Семеновна II 221
Керн (рожд. Полторацкая) Анна Петровна I 234
Кизеветтер Александр Александрович I 462
Кипен Александр Абрамович I 622; II 487
Киплинг Джозеф Редьярд I 644, 647, 654; II 189, 202, 219
Киреевский Иван Васильевич I 397; II 473
Киреевский Петр Васильевич I 397—399, 401, 405, 408, 409, 411—414; II 139, 140, 146, 151, 152, 225
Киркина Ольга Тимофеевна II 475
Киселева (рожд Бегичева) Мария Владимировна II 68
Кишиневский С., художник II 426
Кишкин Николай Михайлович II 475
Кишковский Иван II 475
Клейст Генрих I 641—643, 654
Клестов (псевд. Ангарский) Николай Семенович I 372, 374, 601—604, 616, 618, 640—644, 651, 653; II 40, 151, 427, 457, 475, 482, 487, 492, 494, 496, 499, 500, 502
Климентова-Муромцева Мария Николаевна II 458
Климович Вера Петровна II 293, 472
Климович, домовладелец I 548
Клопский (Клобский) Иван Михайлович II 240—242, 245, 246
Клочков, воронежский городской голова II 177—178
Клочкова, знакомая Бунина II 177—178
Клычков (Лешенков) Сергей Антонович II 461
Клюев Николай Алексеевич II 411
Клюкин Максим Васильевич I 502, 503
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна I 55, 454, 528, 529, 546, 550, 558; II 85, 496, 498
Кобылинский Лев Львович — см. Эллис
Ковалевский Е. П. II 462
Ковалевский Максим Максимович I 314
Ковалевский Тимофей Андреевич I 371, 611, 612
Ковальский Казимир Адольфович II 475
Коган (рожд. Нолле) Надежда Александровна II 248
Коган (псевд. Ко—н) Петр Семенович I 490—491; II 248, 464, 475
Кодрянская Наталья Владимировна I 6, 350, 679; II 341—351, 492, 496, 500
Кодрянский Исаак Вениаминович II 342, 343, 346, 348, 349, 496, 500
Кожевников Валентин Алексеевич I 552; II 462
Кожевников Петр Алексеевич II 462
Кожевников Петр Федорович I 528
Козловский Л. С. II 462
Койранский Александр Арнольдович I 343, 576; II 161, 169, 172, 218, 491
Кокошкин Федор Федорович II 53, 198
Колоколова Муза Николаевна II 482
Колтоновская Елена Андреевна II 88, 475, 478
Колыхалов Владимир Анисимович I 54
Кольцов Алексей Васильевич I 12, 232, 234, 328, 397, 484, 485, 659, II 138
Комиссаржевская Вера Федоровна II 192
Конвисар Антон Иванович II 475
Кондаков Никодим Павлович II 514
Кондурушкин Степан Семенович II 462, 475, 512
Коневской (Ореус) Иван Иванович I 421, 422, 426, 442, 444, 652, 654
Кони Анатолий Федорович I 366
Коновицер Евдокия Исааковна II 462
Конопницкая Мария I 580
Коносевич, офицер II 235
Конюс Татьяна Сергеевна — см. Рахманинова Т. С.
Копельман Соломон Юльевич I 572—574, 581, 583, 589; II 184, 192, 462
Корейша Иван Яковлевич II 284
Корецкая Инна Витальевна II 63
Коринфский Аполлон Аполлонович I 327—330, 432, 433, 442; II 455, 464, 475—477, 502, 503
Корнеев Максим II 234
Корнилов Лавр Георгиевич II 52
Коровин Константин Алексеевич I 652; II 354
Короленко (рожд. Ивановская) Авдотья (Евдокия) Семеновна II 236, 238
Короленко Владимир Галактионович I 27, 314, 316, 334, 335, 355, 377—379, 472, 474, 492, 494, 498, 499, 511, 523, 525, 575, 576, 578, 582, 590, 591, 612, 614; II 44, 51, 61, 70, 139, 236, 238, 246, 449, 453, 459, 482, 483
Короленко (по мужу Ляхович) Наталья Владимировна I 472
Корроди Соломон II 211
Корш Федор Адамович II 198
Костелянец Борис Осипович I 435, 439
Костомаров Николай Иванович 302, 304, 305
Костылев Валентин Иванович II 461, 475 480, 481

Котляревская (рожд. Пушкарева) Вера Васильевна II 194, 203, 462, 475
Котляревский Нестор Александрович I 35; II 194, 203, 458, 460, 462, 475, 514
Коцюбинская Вера Иустиновна II 40
Коцюбинский Михаил Михайлович I 65, 376; II 40, 42, 64, 482
Кошелев Николай Андреевич I 676
Кошуров-Любич И. А. II 475
Крабб Джордж II 471
Кравченко Алевтина Алексеевна II 493
Кравченко Алексей Ильич II 215
Крайний Антон — см. Гиппиус З. Н.
Крандиевская (рожд. Тархова) Анастасия Романовна II 462
Крандиевская (по мужу Толстая) Наталья Васильевна II 194, 220, 389, 390, 462
Кранихфельд Владимир Павлович I 436, 439
Крапивина Степанида (Стефания) — см. Лобода С. М.
Краснов Андрей Николаевич I 331, 334
Краснова Софья Владимировна I 125, 165, 295, 307; II 151
Красовский Юрий Александрович II 447, 448
Крашенинников Николай Александрович I 337, 338, 340, 352, 353, 523, 562—566, 575, 582, 612; II 453, 460, 475, 492, 495, 496, 498, 510—512, 513
Крашенинникова Надежда Львовна I 6, 85, 659—661; II 361, 399
Крестинский Юрий Александрович II 388—397
Кречетов Сергей — см. Соколов С. А.
Кривенко Сергей Николаевич I 377, 378, 421; II 455
Кривецкий Иван II 223
Криницкий Марк (Михаил Владимирович Самыгин) I 442, 457
Крупни Луиза II 375, 376
Крутикова Людмила Владимировна II 64, 72, 77, 83, 88—120, 435, 446, 449, 450, 466
Крушеван Павел (Паволакий) Александрович I 289, 330, 331
Крыленко Николай Васильевич II 57
Крылов Иван Андреевич I 603
Крылова М. В. II 462
Крэг Эдуард Гордон II 461
Крюков Федор Дмитриевич II 27
Куванова Людмила Кирилловна I 639; II 224—225, 376, 447, 448
Кувшинникова Софья Петровна II 180, 219
Кугушев Дмитрий II 294, 295, 507
Кугушевы II 294, 295
Кузмин Михаил Алексеевич I 462, 591
Кузминская (рожд. Берс) Татьяна Андреевна I 671
Кузнецова Галина Николаевна I 28, 56, 106, 485, 667, 668, 670; II 88, 89, 251—299, 309, 312, 314, 319, 321, 341, 348, 505, 507
Кулакова (рожд. Елпатьевская; во 2-м браке Врангель) Людмила Сергеевна I 532, 533
Кулиш Пантелеймон Александрович I 302, 304
Кулябко Елена Сергеевна I 340; II 447, 448
Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич II 238
Куманин Василий Николаевич I 462
Купер Фенимор II 114
Куперник Лев Абрамович II 462
Куприн Александр Иванович I 8, 10, 20, 27, 35—37, 46, 54—56, 288, 332—335, 364, 367, 375, 528, 533, 536, 537, 540, 541, 546, 558, 573, 575—579, 582, 586, 589—591, 612, 624, 625, 635, 642, 643, 652, 654, 658; II 13, 14, 19—21, 25, 26, 39, 44, 63, 70, 88, 159, 160, 173, 174, 178, 188, 190, 191, 193, 220, 266, 338, 390, 391, 395, 401, 449, 454, 456, 457, 460, 464, 465, 476, 481—483, 506
Куприна (рожд. Гейнрих) Елизавета Морицовна II 190, 191, 220
Куприна-Иорданская (рожд. Давыдова) Мария Карловна I 476, 478, 489, 494, 495, 537, 540, 541, 546, 571, 572; II 152, 173, 178, 184, 185, 189, 190, 193—196, 220, 458, 460, 462, 475, 482
Куприянова Лидия Петровна II 462, 475
Курганов Николай Гаврилович II 148
Курепин, домовладелец I 503
Курилов (псевд. В. Антонов) Виктор Антонович II 441, 510, 512, 513
Курнин Сергей Васильевич I 516, 527, 529—531, 533, 538—541, 543, 548, 570, 579
Куров В. II 462
Куровская Вера Павловна II 205, 206
Куровская Ольга Владимировна II 206
Куровский Александр Владимирович II 206, 475
Куровский Владимир Павлович I 451, 519, 530; II 203—206, 426, 475, 481
Курочкин Василий Степанович I 222
Курсинский Александр Антонович II 492, 495
Курчинская Любовь Александровна I 679; II 338
Курчинский Михаил Анатольевич I 679, 680; II 338
Кусикян Карапет I 468
Кускова (рожд.Есипова) Екатерина Дмитриевна II 472, 473, 475
Кутеп, печник II 231, 513
Кутырин, домовладелец I 460
Кучак Наапет I 469
Кучеренко Родион I 401
Кучеровский Николай Михайлович I 55
Кучум, хан сибирский I 329
Кшесинская Матильда Феликсовна II 52

Л. А. II 438, 439
Л. С., сотрудник «Вестника воспитания» I 479
Л. Я. II 244, 246
Лавров Вукол Михайлович I 518, 554; II 456
Лавров Петр Лаврович I 314
Лавровская (Цертелева) Елизавета Андреевна I 659
Лагерлёф Сельма II 462
Лаговская Тамара Павловна — см. Милютина Т. П.
Ладинская Тамара Артуровна I 688—689

Ладинский Антонин Петрович I 688—689; II 88, 277, 398, 458, 464
Ладыженский Владимир Николаевич I 497; II 462
Ладыжников Иван Павлович I 645; II 222, 489
Лажечников Иван Иванович II 178
Лазаревский Борис Александрович II 76, 89, 391, 462, 475
Ламанский Владимир Иванович II 514
Ламартин Альфонс I 173, 175, 214—215, 226; II 209, 467
Ламборс К., переводчик I 222
Ланг (псевд. А. Л. Миропольский) Александр Александрович I 421, 426
Ланге Тор I 521, 522
Ланин Александр Иванович I 508; II 14
Ланин Виктор Александрович II 462
Ланин Николай Александрович I 508
Ларионов Михаил Федорович II 300, 304, 307
Ласкаржевская (рожд. Бунина) Мария Алексеевна I 222, 232, 371, 482, 551, 552; II 175, 198—202, 219, 228, 284, 285, 287, 315, 472, 474, 476, 483, 512
Ласкаржевский Евгений Иосифович II 199, 202, 285, 475
Ласкаржевский Иосиф Адамович I 552; II 175, 198, 201, 219, 284, 285, 476, 512
Ласкаржевский Николай Иосифович II 199, 202, 285, 476, 512
Лебедев Владимир Петрович I 285; II 475, 477
Лебединская (рожд. Анненкова) Надежда Павловна II 237, 238
Лебединский Вячеслав Васильевич II 237, 238
Левитан Исаак Ильич I 516, 564; II 219
Левитов Александр Иванович I 309, 388; II 66
Легаров Александр Петрович II 462
Ледницкий Александр Робертович II 198
Леконт де Лиль Шарль Мари I 174, 175, 215—218, 226; II 484, 502
Лемке, домовладелец I 522
Лемуан Жан I 85, 87
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич I 24, 47, 308, 314, 316, 370, 374, 462, 501; II 10, 21, 30, 43, 45, 46, 52, 53, 57, 58, 62—65
Ленотр Г. (Теодор Госселен) I 78, 79
Леоненко Михаил Самойлович I 594, 612
Леонов Леонид Максимович I 54
Леонов Максим Леонович II 459, 482
Леонов Николай II 462
Леонтович Николай Дмитриевич II 482
Леонтьев Борис Николаевич II 245, 246
Леопарди Джакомо II 17
Лепетич Николай Николаевич I 616, 617; II 475
Лепешинская Ольга Васильевна II 220
Лепешинский Василий Павлович II 220
Лери (Владимир Владимирович Клопотовский) II 462
Лермонтов Михаил Юрьевич I 5, 10, 12, 25, 46, 53, 124, 220, 242, 243, 248, 254, 261, 315, 318, 324, 325, 359, 388, 397, 430, 650, 654; II 90, 122, 127—132, 138, 262, 276, 357, 418, 456, 468, 471, 489, 500, 516
Лернер Николай Осипович I 367
Лесин В. I 315, 316
Лесков Николай Семенович I 24, 331, 397; II 61, 372, 410
Леткова-Султанова Екатерина Павловна II 193—196, 220
Ли Августа II 445
Либкнехт Карл I 370
Лидин Владимир Германович I 50, 175, 247—250, 278, 279; II 119, 120, 445—447
Линский Михаил Семенович I 575
Линцер М. II 475
Липницкий, фотограф I 665; II 506
Лисовская Констанция Константиновна II 238
Лисовский Алексей Николаевич II 238
Литошенко, народник II 220
Лихоносов Виктор Иванович I 52, 54
Лобода (рожд. Пашковская; псевд. Крапивина) Стефания Матвеевна I 305
Логвинов Александр Серафимович I 59, 133, 287, 289, 296—297, 299—301, 305—306
Логофет, помещик I 42; II 226
Лонгфелло Генри Уодсвордт I 12, 66, 221, 360, 362, 441, 442, 454, 461, 480, 481, 484, 485, 492, 493, 497, 501, 625, 628, 629, 632, 659—662; II 8, 15—17, 27, 172, 173, 203, 317, 331, 368, 430, 445, 454, 455, 460, 471, 479, 487, 489, 490, 499, 502, 509—511
Лондон Джек II 219
Лопатин Герман Александрович II 238
Лопатин Николай Михайлович II 170
Лопатина (псевд. К. Ельцова) Екатерина Михайловна I 484, 485; II 162, 164, 168, 170, 173, 218, 280, 472, 474
Лопатины II 170
Лоренц, эмигрант-большевик II 248
Лосевы II 164
Лоти Пьер I 496; II 420, 423, 431
Лохвицкая Мирра Александровна I 442, 457
Лукин Александр Петрович I 496
Лукин Григорий Андреевич I 266, 377
Луначарская (рожд. Малиновская) Анна Александровна II 210, 212—214
Луначарский Анатолий Васильевич II 160, 210, 212—214, 465
Лучинин (Ломоносов) Петр Петрович I 636
Лысак Владимир Семенович II 475
Львов-Рогачевский Василий Львович I 226, 639; II 89, 462, 475, 492, 496, 498, 499, 503
Льдов (Розенблюм) Константин Николаевич II 477
Любимов Лев Дмитриевич I 56
Лялечкин Иван Осипович II 462, 475, 477
Ляцкий Евгений Александрович I 644, 645; II 248, 472, 475, 483, 506
Ляцкий Евгений Евгеньевич II 462
Ляшенко Ольга Александровна II 475
Ляшко (Ляшенко) Николай Николаевич I 580

М—ч И., корреспондент «Утра России» I 364
Майков Аполлон Николаевич I 8, 16, 318, 359, 614; II 500
Майков Леонид Николаевич II 145, 471
Майков Сергей Федорович II 200
Макашин Сергей Александрович I 6, 308
Макинцян Анаида Павловна I 468
Макинцян Павел (Погос) Никитич I 466, 468
Макклайд II 490
Маков Александр Иванович II 236, 238, 239, 244
Макова Надежда Ивановна II 236, 238, 239, 244
Маковский Сергей Константинович II 183, 219, 462, 503
Маколей Томас Бабингтон II 470
Максимов Сергей Васильевич I 126; II 146
Маленберг Георгий II 462
Малларме Стефан I 426, 447
Мальцев Савватий Феликссимович II 201
Малютин Иван Андреевич I 375
Мамай II 48
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович I 314, 329, 511, 528, 554; II 9, 482, 491, 506
Мамонтов Анатолий Иванович I 453, 454; II 445
Мамонтов Савва Иванович II 475
Мамонтов Савва Саввич II 510
Мандрыкин I 329
Манн Томас II 275, 378—379
Мануйлов Александр Аполлонович I 314
Мануйлов Виктор Андроникович II 220
Манухин Иван Иванович II 222
Маргулин, домовладелец II 201
Марк Аврелий Антонин II 287
Маркелов Н. Н., корреспондент Горького II 61
Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич I 324
Маркс Адольф Федорович I 442, 456, 485, 611, 629, 640, 683, 692; II 55, 83, 372, 373, 458, 483, 492, 496, 502, 518
Маркс Лидия Филипповна II 499
Марр А. (С. М. Михайлова) II 475
Мартен дю Гар Роже II 347, 381, 382, 385—387
Мартов Л. (Ю. О. Цедербаум ) II 45
Мартынов Леонид Николаевич I 6
Мартынов Николай Соломонович II 128
Марченко С. II 475, 480
Масс, домовладелец I 573
Матисс Анри I 689
Махалов (псевд. Разумовский) Сергей Дмитриевич I 447—479, 483, 484, 494, 508, 521, 523, 528, 533, 601, 610, 640, 642, 653; II 180—181, 197, 198, 219, 461, 475, 496, 499, 502, 506
Махаловы II 198
Махина Любовь Алексеевна II 350, 352
Маяковский Владимир Владимирович I 16, 48, 51, 689; II 155, 391
Мебиус Ю., фотограф II 506, 512
Медведев Лев Михайлович II 462
Медведев Павел Николаевич II 502, 504, 505
Мей Лев Александрович I 221, 435
Мейер Вильгельм II 454
Мейлах Борис Соломонович I 367
Мельгунов Сергей Петрович II 176, 219
Мельник Иосиф Соломонович II 462, 475, 480
Мельников (псевд. Андрей Печерский) Павел Иванович I 124; II 410
Мендельсон-Бартольди Феликс I 294
Меньшиков Михаил Осипович I 331, 334, 658; II 460
Мережковский Дмитрий Сергеевич I 17, 35, 37, 360, 362, 426, 457, 462, 536, 537; II 17, 195, 265, 268, 274, 275, 332, 391, 395, 454, 471, 477
Мериме Проспер I 127
Мерриль Стюарт I 446, 447
Метерлинк Морис I 447
Метнер Николай Карлович II 285
Мечников Илья Ильич II 221
Мешков Николай Васильевич I 645, 646
Мешков Николай Михайлович I 203; II 462, 510, 512
Мещерский Александр Павлович I 676
Мещерский Владимир Петрович I 324
Микаэлян Карен (Герасим Сергеевич) I 468
Микеланджело (Буонаротти) II 215
Микулина В. II 475
Микулич В.— см. Веселитская Л. И.
Милованов Пантелеймон Афанасьевич II 475
Миловидов С. И. I 310
Миловидова Мария Павловна I 639—642, 644, 646, 647, 650, 652, 654—658; II 475
Милон Луи I 86, 97
Милорадович Александр II 462
Мильтон Джон II 418
Милюков Павел Николаевич I 314, 358, 670, 677, 683; II 275, 407, 505
Милютина (рожд. Лаговская) Тамара Павловна II 338
Минокин Михаил Васильевич I 306
Минский (Виленкин) Николай Максимович I 20, 359, 435; II 166, 477
Мирбо Октав II 288
Мирович Анастасия I 457
Миролюбов Виктор Сергеевич I 283, 370, 489, 508—510, 521, 525, 528, 536, 537, 574; II 11, 40, 158, 460, 475, 478, 482, 506
Миропольский А. Л.— см. Ланг А. А.
Мирославич Андрей — см. Хитрово Л. А.
Мистраль Фредерик I 106—108
Митропольский Иван Иванович I 528
Михаил, товарищ — см. Вилонов Николай Ефремович
Михайлин Михаил Степанович II 475
Михайлов Антон Р. I 659
Михайлов Борис Данилович I 627; II 516
Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович) I 137, 220, 451; II 471
Михайлов Николай Федорович I 453, 474—478, 482; II 174
Михайлов Олег Николаевич I 7—56, 439; II 36 4, 66, 88, 89, 124, 138, 494

Михайлов, знакомый Буниных II 350
Михайлова (по мужу Липинская) Ольга Антоновна I 659—662
Михайлова Ольга Николаевна — см. Чюмина О. Н.
Михайлова, домовладелица I 498
Михайловы, семья Н. Ф. Михайлова I 475—477
Михайловский Борис Васильевич I 511
Михайловский Николай Константинович I 12, 305, 314, 322, 334, 335, 421, 537, 538; II 453, 459
Михалков Сергей Владимирович II 502, 505
Михаловский Дмитрий Лаврович I 220, 659, 660, 662; II 471
Михеев Василий Михайлович I 378, 449, 476, 478, 479, 482, 483, 486, 494, 496—497, 503, 510, 527, 528, 541, 548, 552
Михеев Петр М. II 475
Михеева, домовладелица I 497
Мицкевич Адам I 12, 55, 174, 175, 211—212, 223—224, 426, 540, 549; II 452, 484, 494
Могучий Николай Витольдович I 579, 580; II 456, 475
Молчанов Виктор Сергеевич I 39, 91, 97, 249, 273
Моммзен Теодор I 17
Моншвиц Э. II 475
Мопассан Ги де I 41, 44, 344, 375, 382, 390, 458, 496; II 8, 158, 251, 260, 261, 285, 439
Моран Поль II 260
Моргано Мариано I 599—602, 652
Мореас (Пападиамандопуло) Жан I 423, 442, 443
Мориак Франсуа II 290, 292, 347, 351, 387
Морозов Иван Игнатьевич II 462, 487
Морозов Николай Александрович II 238, 461
Морозова Варвара Алексеевна II 163—164, 462
Морозова Маргарита Кирилловна II 164
Морозова Татьяна Григорьевна I 355
Моруа Андре (Эмиль Герцог) I 672; II 260, 347, 387
Морфиль Вильям Ричард II 454
Москвин Иван Михайлович I 360, 362; II 482, 512
Мостовенко Павел Николаевич II 176
Мотылева Тамара Лазаревна II 330, 380—382
Моцарт Вольфганг Амедей I 31; II 279
Мочалова Ольга Алексеевна II 457, 475
Муйжель Виктор Васильевич I 643; II 462, 476
Муни (Самуил Викторович Кисин) II 161, 218
Мунте Аксель II 213
Мур Томас I 173, 175, 202—203, 220
Муравьев Игорь Николаевич II 308, 309, 315, 320, 323, 325
Муравьева-Логинова Татьяна Дмитриевна I 111, 687; II 300—330, 383, 465
Муратов Павел Павлович I 323, 324; II 161, 218, 274, 276
Муратова Евгения Владимировна II 162
Муратова Ксения Дмитриевна I 598, 644; II 65
Мурашев Петр Васильевич II 456, 462. 475
Муромцев Алексей Алексеевич II 169, 218
Муромцев Аркадий Алексеевич II 204
Муромцев Владимир Аркадьевич II 205
Муромцев Владимир Семенович II 162, 169, 179, 197, 202
Муромцев Всеволод Николаевич I 666; II 165, 179, 186, 187, 472
Муромцев Дмитрий Николаевич I 666; II 164, 165, 179, 218, 248, 436, 472, 474, 484
Муромцев Николай Андреевич I 571, 596, 597, 647; II 164, 166, 170, 171, 175, 179, 184, 248
Муромцев Павел Николаевич I 647; II 165, 166, 169, 179, 199, 203, 219, 462, 492
Муромцев Семен Алексеевич II 169
Муромцев Сергей Андреевич I 574; II 198, 437
Муромцева Анна Владимировна II 202
Муромцева Вера Николаевна — см. Бунина В. Н.
Муромцева Лидия Федоровна I 561; II 164—166, 170, 171, 173—177, 180, 181, 183, 184, 196, 207, 221, 248, 472, 474
Муромцева Мария Федотовна II 492
Муромцевы I 570; II 197, 201, 204, 205, 265
Мучник Леонид Евсеевич II 428
Мюссе Альфред II 413, 421, 435, 485
Мясников Александр Сергеевич I 630
Мясоедов, домовладелец I 580, 582

Н. Г. Р. II 467
Набоков (псевд. Сирин) Владимир Владимирович I 37, 49, 50, 56, 680; II 335, 338
Навашина-Паустовская Валерия Владимировна I 6; II 405
Навуходоносор I 87, 88
Нагибин Юрий Маркович II 365—366
Надсон Семен Яковлевич I 16, 245, 251, 295, 297, 299; II 123—127, 138, 468
Наживин Иван Федорович II 458
Назарианц О., переводчик I 222
Назаров Егор Иванович I 12, 287, 290, 296; II 35
Назарова Людмила Николаевна II 440, 444
Найденов (Алексеев) Сергей Александрович I 20, 359, 361, 550—552, 557, 563, 579, 580, 582; II 14, 178, 182, 189, 195, 198, 219, 454—456, 464, 506, 512
Найденова (рожд. Мальская) Инна Ивановна II 189
Нансен Фритьоф I 651
Наполеон I Бонапарт I 576; II 282, 436
Наркирьер Федор Семенович II 382
Неведомский (Миклашевский) Михаил Петрович II 63
Негри Ада I 173, 175, 205, 221, 580; II 223

Недолин (Благоразумов) Алексей Осипович I 500—502, 505
Незлобин (Алябьев) Константин Николаевич I 366, 367
Некрасов Константин Федорович II 463, 475
Некрасов Николай Алексеевич I 53, 236, 262, 287, 297—299, 318, 322, 326, 355, 357, 359, 441, 442, 574, 653, 654; II 18, 136, 137
Нелидов Владимир Александрович II 475
Немирович-Данченко Василий Иванович I 329, 650, 651; II 44, 458
Немирович-Данченко Владимир Иванович I 508, 523, 638; II 198, 350, 461
Неручев Анатолий Васильевич II 462
Нестеров Михаил Васильевич I 26, 449, 635; II 410
Нечаев Вячеслав Петрович I 179, 636
Нечаев Егор Ефимович II 457
Нивинская Н. II 475
Никандров (Шевцов) Николай Никандрович I 50
Никитин Иван Саввич I 11, 12, 38, 53, 248, 397, 501, 509, 604; II 152
Николаев Александр Георгиевич II 462
Николай I I 304
Николай I Петрович Негош, князь Черногорский I 612, 614
Николай II I 377; II 21, 22, 49, 50, 189, 214
Никольский Виктор Александрович II 492, 495, 496, 498
Никулин Лев Вениаминович II 88, 354, 448
Нилус Берта Соломоновна II 428
Нилус Петр Александрович I 362, 534, 542, 546, 552, 571, 575, 579—585, 589, 590, 595, 596, 610; II 184, 185, 199, 200, 203—206, 400, 424—435, 460, 471, 475, 481, 485, 486, 496
Нильчук Семен Никитич II 475
Нинов Александр Алексеевич I 55, 351, 377, 421—440, 489; II 7—65, 250, 489, 491
Ницше Фридрих I 360, 362
Нобель Эммануил II 276, 278, 279, 296
Нобель, семья II 278, 296
Новалис (Фридрих Харденберг) I 426
Новиков Иван Алексеевич II 461, 462, 464, 475
Новиков-Прибой Алексей Силыч II 64, 248, 458
Нович Иоанн Савельевич II 63
Новорусский Михаил Васильевич II 461
Носов Евгений Иванович I 54

Обнинский Виктор Петрович II 462
Оболенская Раиса II 176
Обри Тереза Анжелика I 78—87
Обри Фанни I 83, 86, 87
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич I 366, 377; II 264, 462, 475, 514
Овсянников, врач I 658
Овсянникова Наталья Б. II 475
Овчаренко Александр Иванович II 65
Огарев Николай Платонович II 471
Оголевец Виктор Степанович II 236—238
Оголевец Степан Яковлевич II 238
Одарченко Сергей II 165
Одоевский Александр Иванович II 128
Одоевцева Ирина Владимировна (Ираида Густавовна Гейнике) II 138
Озаровский Юрий Эрастович II 506
Окулов-Тамарин Николай Николаевич (?) II 475
Олейников Ю. М. II 62
Олейников, зять Э. Нобеля II 278, 279, 296, 299
Олейникова (рожд. Нобель) II 278
Олеша Юрий Карлович I 50—52, 56
Олигер Николай Фридрихович II 462, 475
Олигер-Багуш Наталья Федоровна II 475
Ольденбургский, принц — см. Петр Александрович, принц Ольденбургский
Омар ибн-аль Хаттаб, халиф I 422
Омар Хайям I 670
Ончуков Николай Ефимович II 142, 152
Ореус И. И. — см. Коневской И. И.
Орешников Алексей Васильевич I 560, 561, 571, 574, 577, 578, 583; II 196, 220
Орешниковы II 164
Орженецкий Роман Михайлович II 475
Орлов Иван Васильевич II 240—242, 244, 246
Орлова Вера Яковлевна II 63
Орская-Фабрикова Мария Александровна II 465
Орфанов Михаил Иванович I 388
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич II 320, 405
Осоргина (рожд. Бакунина) Татьяна Алексеевна II 320, 506, 507
Оссовецкий Иосиф Антонович I 606
Острогорский Виктор Петрович I 278, 462, 497
Оцуп И., фотограф II 506

Павел I I 338
Павлов Николай Филиппович I 314
Павлов Ф. II 462
Павлова (рожд. Яниш) Каролина Карловна I 422, 426
Павловский М. Н., знакомый Буниных II 349
Павлюк Алексей Петрович II 491
Пагано Манфред I 574; II 210
Падалка Лев Васильевич II 238
Падарин Николай Михайлович I 610
Палладиев (Репин-Славинский) II 475
Панина Софья Владимировна II 217
Панов Николай Андреевич II 462
Пантелеев Лонгин Федорович I 489, 490, 587
Пантелеева Юлия II 475
Пантелеймонов Борис Григорьевич II 345, 346, 351, 353
Парни Эварист I 388
Пархоменко Иван Кириллович II 475, 512
Пассек Вадим Васильевич I 411, 412, 414
Пастернак Леонид Осипович II 482
Пастухов Николай Иванович I 317, 322
Паустовская Татьяна Алексеевна I 6; II 342

Паустовский Константин Георгиевич I 49, 50, 52, 637; II 89, 219, 342, 371, 400, 405, 458, 471
Пахомов Д., художник II 241
Пашков, домовладелец I 552
Пащенко Варвара Владимировна I 40, 55, 161, 271, 276, 664, 680, 682; II 89, 237, 243—246, 316, 452, 454, 472, 473, 483, 487, 488
Пащенко Владимир Егорович II 487
Пащенко, семья I 681
Пейрош Б. Б., фотограф I 157
Пенувман О. II 462
Переверзев Николай Иванович II 227
Передреев Анатолий Константинович I 54
Перекалин Николай Парменович II 475
Переплетчиков Василий Васильевич II 459, 475, 513
Переплетчикова А. II 475
Перес С. II 475
Перцов Петр Петрович I 425, 438, 442, 457
Петерман, домовладелец I 497
Петр I I 483; II 343, 390—392
Петр Александрович, принц Ольденбургский II 281
Петрарка Франческо II 282, 293, 477
Петров (Катаев) Евгений Петрович I 50
Петров Степан Гаврилович — см. Скиталец С. Г.
Петровский Петр Николаевич II 511
Петроний II 277, 287
Петронокина Е. К. II 462
Петропавловский (псевд. С. Каронин) Николай Елпидифорович II 238, 240,246
Печерский Андрей — см. Мельников П. И.
Пешехонов Алексей Васильевич II 475, 492, 496, 498
Пешков Алексей Максимович — см. Горький Максим
Пешков Зиновий Алексеевич (Зиновий Михайлович Свердлов) II 210, 220, 475, 481—482, 489
Пешков Максим Алексеевич I 611; II 217, 222, 248, 250
Пешкова (рожд. Волжина) Екатерина Павловна I 373, 508, 516, 574, 611, 625, 636; II 11, 21, 44, 57, 222, 247—250, 488, 489
Пешкова (рожд. Бураго) Лидия II 481
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич I 50, 580
Пильский Петр Моисеевич I 663, 678, 681, 682; II 263
Пименов, домовладелец I 472
Пиотровская Астра Георгиевна I 175
Пиотровский Владимир Львович I 688, 689
Пирогов Николай Иванович I 278, 279; II 446
Пирогов П. В. I 316
Писарев Дмитрий Иванович I 397
Платон II 292, 395
Платон Иван Степанович I 610
Плеханов Георгий Валентинович II 30
Плещеев Александр Алексеевич I 325, 327
Плещеев Алексей Николаевич I 288, 300, 325—327
Плохов Павел Львович I 580; II 462
Плутарх II 320
Плясов Александр Михайлович II 449
По Эдгар Аллан I 426; II 431
Победоносцев Константин Петрович I 296, 536, 603; II 11, 240
Подгорный Владимир Афанасьевич II 391, 392
Подъячев Семен Павлович II 57, 61
Позен II 220
Поленц фон Вильгельм I 322, 336, 350, 359
Поливанова Екатерина Павловна II 487
Полиевктов Александр Александрович II 164
Полиевктова (рожд. Орешникова) Татьяна Алексеевна II 164, 168, 204
Полиевктовы II 164
Полилов (псевд. Северцев) Георгий Тихонович II 475
Политов Виктор II 475
Полнер Тихон Иванович I 551, 552; II 259, 262
Полонская (рожд. Ландау) Людмила Александровна II 398, 401, 406, 500
Полонский Александр Яковлевич I 6, 691; II 401, 406, 407, 492
Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович I 350
Полонский Яков Борисович I 689—691; II 398—401, 406, 500
Полонский Яков Петрович I 8, 12, 16, 17, 150, 238, 296, 297, 310, 359, 397, 422; II 134, 135, 453
Полоцкая Эмма Артемьевна I 13; II 62, 66—89, 116
Поляков Сергей Александрович I 426, 428, 434, 448—450, 453—455, 458—461; II 16, 172, 487
Померанцева Александра Владимировна (Сашенька) II 271, 475, 481, 482
Померанцева Евгения Витальевна II 475
Померанцева Эрна Васильевна I 126—129, 399; II 139—152
Пономарева, домовладелица I 21
Понятовский Александр Иванович II 436—439
Поплавский Борис Юлианович I 46
Попов Борис Михайлович II 462, 475
Попова Л. II 475
Попова Ольга Николаевна I 378, 454; II 14, 454, 475
Порошин Иван Андреевич II 462
Португалов Валентин Петрович II 462
Поссе Владимир Александрович I 501, 502, 508, 514—518, 522, 523, 525; II 475, 478, 485
Постников Петр Иванович II 200
Потапенко Игнатий Николаевич II 190
Потемкин Владимир Петрович II 395, 396, 475
Потресов Александр Николаевич II 10
Потресов В. А. II 462
Поццо А. М. I 574
Поярков Николай Ефимович II 161, 218, 462
Правдин Борис Васильевич II 338
Прегель Софья Юльевна I 6, 59, 131; II 350—357, 449, 492, 494, 496, 500

Прийма Федор Яковлевич I 301
Приска де Ландель (Луиза Бургуан) I 423, 442, 443
Приставкин Анатолий Игнатьевич II 368
Пришвин Михаил Михайлович II 142, 366, 410, 461
Протопопов Михаил Алексеевич I 538
Пруст Марсель I 40, 680; II 264
Птолемеи, династия II 470
Пугачев Емельян Иванович I 19
Пуришева Клавдия Николаевна I 439
Пуришкевич Владимир Митрофанович I 355
Пушешников Дмитрий Алексеевич I 627, 629, 630; II 172, 174—176, 177, 184, 219, 224
Пушешников Николай Алексеевич I 9, 336, 338, 339, 464, 599, 602, 627, 629—632, 641—645, 647, 652, 654—658; II 39—42, 50, 53, 116, 172, 174—177, 184, 197, 203, 219, 223, 224, 267, 446, 447, 454, 457, 471, 472, 474, 496
Пушешников Петр Алексеевич II 175, 176, 197, 219, 224
Пушешникова Клавдия Петровна I 191, 232, 338, 401, 412, 416, 418, 439, 630—632; II 118, 119, 219, 447, 449, 453, 465, 484
Пушешникова (рожд. Бунина) Софья Николаевна I 377, 387; II 175, 176, 197, 203, 219, 222, 476
Пушешниковы I 469; II 175, 199
Пушкин Александр Сергеевич I 5, 10, 12, 24, 25, 46, 47, 52—54, 64, 90, 101, 124, 161, 167, 191, 234, 241—242, 247, 249, 259, 283, 292, 296—298, 315, 317, 318, 321—324, 336—338, 340, 343, 346, 352, 354, 359, 365, 367, 388, 392, 397, 398, 423, 426, 430, 432, 435, 469, 488, 490, 491, 497—499, 502, 556, 557, 640, 652—654, 682; II 8, 17, 63, 104, 121—125, 127, 131—134, 136, 137, 156, 157, 223, 261, 262, 268, 277, 285, 288, 289, 343, 345, 347, 359, 366, 368, 388, 410, 440, 463, 468, 500, 513, 514, 516
Пфёль Юрий Леонидович I 533
Пшибышевский Станислав I 426
Пэк А. —см. Ашкинази В. А.
Пятницкий Константин Петрович I 8, 362, 370, 429, 533, 548—550, 560, 562, 563, 565, 567—570, 573, 589, 599; II 13, 14, 16—19, 21, 22, 24—27, 62, 64, 184, 185, 222, 449, 460, 489—491, 506

Р—вая А. В.— см. Резвая А. В.
Радвилович Михаил II 475
Радкевич Николай II 111
Радченко, квартирная хозяйка I 450
Разин Степан Тимофеевич I 364, 389
Разумовский Сергей Дмитриевич — см. Махалов С. Д.
Раймонд, граф Прованский I 106
Раковский Леонтий Иосифович II 371
Распутин Валентин Григорьевич I 54
Распутин (Новых) Григорий Ефимович I 355; II 51
Ратгауз Даниил Максимович I 315, 432, 433, 443; II 470
Рахманинов Сергей Васильевич I 50, 301, 624, 625; II 181, 221, 268—270, 358, 410, 442, 462, 482, 500, 501
Рахманинова (по мужу Конюс) Татьяна Сергеевна II 268—270, 350
Рахмановы II 193
Ребинин Федор Александрович II 220, 475
Ребрик Дмитрий Маркович I 599, 608, 609; II 510
Ревенский Карл Оттович II 475
Резвая Александра Владимировна I 246, 247, 256; II 468
Рейнгардт Макс I 374, 375
Рембо Артур I 426
Рембрандт Гарменс ван Рейн II 381
Ремизов Алексей Михайлович I 35, 46, 341, 350, 462, 591; II 139, 183, 341—347, 410, 482
Ремингтон Франклин I 362
Ренар Отто I 61; II 506, 512
Рентельн, семья I 673
Ренье Анри де I 446, 447; II 376—378
Репин Илья Ефимович I 127, 359, 449; II 424, 428
Репин-Славинский Н. Л. II 462
Репина Варвара Николаевна I 305
Рерих Николай Константинович I 350; II 410
Ретте Адольф I 446, 447
Решетников Федор Михайлович II 434
Рильке Райнер Мария I 669
Римский-Корсаков Николай Андреевич II 410
Рихтер (псевд. Жан Поль) Иоганн Пауль Фридрих I 223
Робеспьер Максимилиан II 51
Роденбах Жорж I 423, 442, 443; II 430
Родионов И. А. II 57, 65
Рождественский Всеволод Александрович II 116
Рожков Николай Александрович II 460
Розанов Василий Васильевич I 27, 457, 536, 537
Розенрем Осип II 462
Розентул Абрам Генрихович II 462
Розинер Александр Евсеевич II 496, 499
Роллан (рожд. Кудашева) Мария Павловна II 376
Роллан Ромен II 375, 376, 489
Романов (псевд. К. Р.) Константин Константинович I 648, 649; II 459
Романовы, династия II 42
Ромашков Иосиф А. II 467
Ромашков Николай Иосифович II 230
Россинский Владимир Иллиодорович II 512
Ростан Эдмон 614
Ростовцев Михаил Иванович II 190, 193, 194, 203, 220
Ростовцев Федор Иванович II 194
Ростовцева (рожд. Кульчицкая) Софья Михайловна II 190, 193, 194, 203, 220, 475
Ростопчин Федор Васильевич I 672
Рощин (Федоров) Николай Яковлевич I 56, 637, 682, 687; II 160, 252, 253, 259, 260, 265—267, 270, 273, 276, 436—439, 458, 462, 465, 472, 474, 502, 504, 509, 510
Рубец Александр II 462
Рубинштейн Ида Львовна II 475

Рубинштейн Николай Григорьевич II 70
Рубцов Николай Михайлович I 54
Руднев Всеволод Квинтилианович II 475, 478
Рукавишников Иван Сергеевич II 192, 220
Рукье, мэр Грасса II 295
Руманиль Жозеф I 107
Румянцев Николай Александрович II 42
Румянцев-Задунайский Петр Александрович I 93, 101
Рунеберг Иоганн Людвиг I 331, 334
Рунова Зинаида Михайловна II 475
Руссьер Жан I 107
Рыбаков Федор Егорович II 177
Рыбакова (рожд. Чулкова) Любовь Ивановна II 162, 177
Рыбников Павел Николаевич I 339, 417, 418, 507; II 140—142, 147, 152
Рыкачев Яков Семенович II 365
Рыковский Николай Владиславович II 492, 496
Рыленков Николай Иванович II 138, 370
Рындина Лидия Дмитриевна II 162
Рышковы, соседи Буниных I 247, 387

С. Б. (Самуил Андреевич Барский?) I 545
Саади I 174, 175, 191, 209—211, 222, 223, 483; II 487, 488, 510
Саарен (Сааринен) Элиель II 22
Сабашников Михаил Васильевич I 438, 669; II 462, 492, 496, 499, 500, 502
Сабашников Сергей Васильевич I 438, 669; II 492, 499, 502
Саводник Владимир Федорович I 442; II 462
Садовников Дмитрий Николаевич I 329; II 152
Садовский Михаил Провыч I 607
Садовской Борис Александрович I 462, 577
Сазонова (рожд. Слонимская) Юлия Леонидовна II 349, 356, 357
Сайкин Олег Алексеевич I 173, 175
Сакер Яков Л. II 462, 475
Сакулин Павел Никитич II 459, 462, 475
Салтыков (псевд. Н. Щедрин) Михаил Евграфович I, 9, 11, 12, 24, 26, 37, 270—271, 305, 306, 308, 309, 314, 316, 322, 331; II 37, 38, 137, 380, 382, 384
Сальников Александр Николаевич II 475
Самыгин Михаил Владимирович — см. Криницкий Марк
Сапежко Николай II 475, 480
Сапер Д. Л. II 225
Сарьян Мартирос Сергеевич I 468
Сафо (Сапфо) I 276—277; II 471
Сафонов Василий Ильич I 535—537
Сахаров Иван Николаевич II 475
Сахновский Василий Григорьевич II 164
Свет Яков II 475
Святловский Евгений Владимирович II 238
Святополк I II 408
Святополк II II 408
Северянин (Лотарев) Игорь Васильевич I 50, 355, 376; II 155
Сегюр де (рожд. Ростопчина) Софья Федоровна I 672
Седова Наталья Петровна II 365, 370
Селин Луи Фердинанд II 346, 351
Селитренников Михаил Иванович II 475
Семевский Михаил Иванович I 305
Семенов Сергей Александрович II 502
Семенов Сергей Терентьевич I 484, 523, 528, 536, 575, 582; II 463, 475, 483
Семенов-Тян-Шанский Андрей Петрович II 463
Семенов-Тян-Шанский Валерий Петрович II 463
Семенова (Сентянина) Надежда Алексеевна I 296; II 475, 487
Сенкевич Генрик I 496; II 417—419, 423, 494
Сентянина Надежда Алексеевна — см. Семенова Н. А.
Сенюк П. II 475
Серафим Саровский I 92
Серафимович (Попов) Александр Серафимович I 563, 571, 575, 579—582, 626, 653; II 12, 14, 19, 21, 25, 26, 70, 192, 193, 455, 460, 475
Сервантес де Сааведра Мигель II 265, 408
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич I 641; II 455, 476, 479
Сергеенко Петр Алексеевич I 603
Сергий Радонежский (Варфоломей) I 19
Сергий, епископ I 537
Серебров Александр Николаевич — см. Тихонов А. Н.
Серена Фредерико I 599—601
Серов Валентин Александрович II 22
Серова Валентина Васильевна I 629; II 517
Серошевский Вацлав Леопольдович I 506
Сидоров Валентин Митрофанович I 54
Сикорская Мария II 248
Сильвестр, свящ. II 350
Симонов Константин Михайлович I 629—631; II 400, 406, 407, 464, 515—517
Синани Исаак Абрамович I 550; II 247
Синицкий Евгений Дмитриевич II 445, 491
Сипягин Дмитрий Сергеевич I 537; II 11
Сирин — см. Набоков В. В.
Сисин Данила Алексеевич II 225, 230—231
Ситников А. II 475
Скабичевский Александр Михайлович I 12, 169, 335, 388, 490—492, 495; II 459, 478, 511
Скворцов Николай Алексеевич II 176
Скирмунт Сергей Аполлонович II 512
Скиталец (Петров) Степан Гаврилович I 8, 20, 29, 432, 433, 439, 551, 552, 575—578, 582, 583, 603, 624, 625; II 11, 12, 17—19, 21, 22, 24, 26, 178, 181, 188, 192, 193, 219, 461, 464, 475, 506
Скроцкий Николай Иванович II 206
Славинский Максим Антонович II 463
Сластион Афанасий Георгиевич I 67
Слепцов Александр Александрович I 378
Сливицкая Ольга Владимировна II 411
Слуцкий Борис Абрамович I 6
Случевский Константин Константинович I 329, 422, 442, 457; II 203, 505
Слюзов Алексей Иванович I 531
Смирнов Александр Александрович II 512

Смирнов Николай Михайлович I 46; II 262
Смирнов Николай Павлович I 6, 50, 105, 173, 175, 396; II 151, 408—411
Смирнов С. Г., фотограф II 506
Смирнов-Сокольский Николай Павлович II 55, 65
Смирнова (рожд. Россет) Александра Осиповна I 46; II 262
Смит, домовладелец I 512, 517
Снегирев Леонтий Федорович II 475, 478
Соболев (псевд. Ю. С.) Юрий Васильевич I 50, 375, 580; II 88, 464, 475
Соболевский Алексей Иванович I 413; II 140, 152
Соболь Андрей (Юлий Михайлович Соболь) II 396, 475
Сойкин Петр Петрович II 463
Соковнин Борис Сергеевич II 235
Соколов Борис Матвеевич II 141, 142
Соколов Владимир Николаевич I 54
Соколов Владимир Сергеевич II 338
Соколов Дмитрий II 475
Соколов Николай Матвеевич II 463
Соколов (псевд. Кречетов) Сергей Алексеевич I 564, 594, 610; II 161, 162, 183, 218, 462, 475, 512
Соколов Сергей Иванович I 450, 451
Соколов Юрий Матвеевич II 141, 142
Соколов-Микитов Иван Сергеевич I 50, 52; II 155—158, 442, 444
Соловьев Владимир Сергеевич I 516; II 280
Соловьев Всеволод Сергеевич I 167, 296, 297, 299
Соловьев Сергей Михайлович I 459
Соловьев-Несмелов Николай Александрович I 498—500, 523, 531; II 475
Соловьева (псевд. Allegro) Поликсена Сергеевна I 442
Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич I 20, 323, 324, 341, 350, 353, 366, 367, 426, 436, 442, 457, 462, 467, 469, 564, 612, 642, 654; II 26, 44, 161, 192, 193, 265, 380, 382, 384, 388, 463
Сомов Константин Андреевич I 324; II 95
Софокл I 375; II 17
Сошенко Иван Максимович I 302
Спасович Владимир Данилович II 168
Спенсер Герберт I 12
Сперанская Ольга Ивановна II 475
Спивак Рита Соломоновна II 88, 89
Спиноза Барух (Бенедикт) I 294
Спинола, домовладелец II 209, 212, 214, 217
Средин Леонид Валентинович I 510, 511; II 9, 491, 492, 506
Средины II 459
Ставраки Е. П. II 324
Ставровский Л. Я. II 475
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович I 624, 625; II 394—396, 398
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич I 508, 522, 523, 550; II 350, 354, 438, 461
Станюкович Константин Михайлович I 378, 472
Старк Леонид Николаевич I 316; II 64, 463
Стародум (Стечькин) Николай Яковлевич II 63
Стасов Владимир Васильевич II 34, 424, 428
Стасюлевич Михаил Матвеевич I 309, 327
Стендаль (Анри Мари Бейль) II 381
Степаненко Николай Николаевич I 580
Степун Марга Августовна II 309, 312, 314, 319, 321, 341
Степун Федор Августович I 38; II 279, 280, 291, 292
Столыпин Петр Аркадьевич I 358, 369, 370; II 30
Стороженко Николай Ильич I 305
Стоюнина Мария Николаевна II 304
Стравинский Игорь Федорович II 410
Стражев Виктор Иванович II 161—165, 218, 456, 465, 475
Стриндберг Юхан Август I 447, 448
Струве Лев Петрович I 669
Струве Петр Бернгардович I 462, 465; II 45, 475
Струве, племянница В. Поссе I 514, 516
Субботина Софья II 166
Суворин Алексей Сергеевич I 167, 554; II 38, 198, 455
Сулержицкий Леопольд Антонович II 475
Сумароков Александр Петрович I 298
Сумбатов Александр Иванович — см. Южин (Сумбатов) А. И.
Сургучев Илья Дмитриевич I 615, 643; II 457, 475
Суриков Иван Захарович I 296; II 463
Сурпин Мира Львовна II 99, 116
Суслов Алексей Николаевич II 475
Суслов Георгий Васильевич II 475
Суханов (Гиммер) Николай Николаевич II 45
Сущинская М. II 475
Сырейщикова Елена А. I 470
Сырокомля Владислав (Людовик Кондратович) I 327
Сысоев Иннокентий II 463
Сытин Иван Дмитриевич I 488, 500—502, 504, 516, 537, 538, 540—542, 572, 583, 590, 591, 595; II 222, 454

Таганок II 222
Тагер Евгений Борисович II 89
Тагор Рабиндранат II 219, 457, 496
Тальников (Шпитальников) Давид Лазаревич I 316, 622; II 409, 475, 478, 492, 493, 496, 497, 499, 500
Тальникова Юлия Михайловна II 475
Тан Н. А. — см. Богораз В. Г.
Тарасов Евгений Михайлович II 463, 498
Тардов Владимир Геннадиевич II 463, 475
Тарноградский Валериан Петрович II 475
Тассо Торквато I 224
Татаринова Фанни Карловна I 179
Таубе, семья II 284
Твардовский Александр Трифонович I 9, 22, 23, 49, 52—56, 637, 638; II 29, 342, 400, 485
Телешов Андрей Николаевич I 495—497, 501, 518, 527, 528, 537, 551, 570

615, 616, 619, 620, 624—627, 632, 635, 636; II 485, 508, 509
Телешов Владимир Андреевич I 625, 626, 632, 636
Телешов Николай Дмитриевич I 6, 29, 47, 53, 330—331, 335, 372, 432, 444, 459, 460, 467, 471—638, 640, 642, 653, 655, 691, 692; II 9, 12, 13, 18, 19, 40, 62, 89, 159, 160, 169, 173, 174, 178, 180, 181, 183, 184, 196, 198, 202, 204, 248, 339, 394, 396, 397, 400, 406, 426, 447, 454, 455, 458, 459, 464, 475, 485, 487, 491, 492, 495—497, 505—509, 511, 512, 515—517
Телешова (рожд. Карзинкина) Елена Андреевна I 459, 480, 481, 483, 486, 489, 494, 495, 498, 499, 501, 503, 506—510, 512, 513, 515, 518—521, 523—533, 537, 540, 542, 545—547, 549—552, 554—557, 560—562, 565, 566, 568, 570, 571, 574, 578—581, 583, 585, 587, 588, 590, 595, 598, 599, 602, 605, 608, 610—612, 614—617, 623—628, 636; II 174, 181, 184, 196, 202, 204, 220, 463, 464 , 475, 508, 509, 511, 512
Телешова Нина Александровна — см. Балтийская Н. А.
Телешовы I 477, 515, 517, 519, 522, 524, 528, 546, 551, 552, 565, 620
Тенеромо — см. Файнерман И. Б.
Тенишев Вячеслав Николаевич I 126; II 140, 151, 152
Теннисон Альфред I 135—137; II 168, 202, 220, 453
Терехов, домовладелец I 459, 460, 482, 484, 485, 487—489, 498, 501, 506, 507, 515, 519, 520, 522, 524, 526—528, 530, 532, 534, 537, 539, 540, 542, 545—549, 551—553, 555—557
Терешкевич Вера Васильевна II 239, 245
Терешкевич Николай Александрович II 239, 245
Тертуллиан I 497
Терян Ваган (Ваан) I 468, 469
Тесленко Николай Васильевич II 320
Тетерников Федор Кузьмич — см. Сологуб Ф. К.
Тиверий I 386; II 209, 210
Тизоль В., фотограф II 507
Тимковский Николай Иванович I 486, 506, 510—513, 523, 527, 528, 532—535, 537—539, 554, 563, 580, 603, 604; II 180, 181, 219, 459, 460, 475
Тимофеев Борис Александрович II 64, 248
Тимофеев Леонид Иванович II 88
Тимофеева Анна Николаевна II 465
Тимур (Тамерлан) II 48
Тиняков (псевд. Одинокий) Александр Иванович I 336, 350; II 475—476, 480, 502, 503
Тихомиров Иоасаф Александрович II 476
Тихомиров Дмитрий Иванович I 498, 512, 528, 529; II 454, 463
Тихомирова Елена Николаевна I 498, 512, 528, 529
Тихонов (псевд. Серебров) Александр Николаевич I 9, 55; II 57, 222, 482 483
Тихонов Владимир Алексеевич I 299
Тихонов Николай Семенович II 489
Толстая Александра Львовна I 671; II 217
Толстая Александра Михайловна (?) II 319
Толстая Людмила Ильинична II 394
Толстая (рожд. Берс) Софья Андреевна I 366, 699, 671; II 246, 259, 262, 270
Толстой Алексей Константинович I 16, 318, 359, 360, 435, 557—559, 683; II 516
Толстой Алексей Николаевич I 37, 54, 462, 621, 623—625; II 44, 388—397, 476, 479, 489
Толстой Илья Львович II 461
Толстой Лев Львович I 366, 367; II 442
Толстой Лев Николаевич I 5, 7—9, 12, 13, 24, 25, 27—35, 37, 38, 41—43, 46—49, 54—56, 90, 101, 154, 169, 305, 312, 314—318, 322—324, 331, 334, 336, 337, 340, 344, 350, 355—362, 364—367, 372, 375, 377, 388, 389, 396—398, 462, 471, 484, 485, 496, 503, 511, 532, 533, 536, 537, 575, 586, 587, 590, 591, 595, 604, 606, 607, 610, 628, 629, 631, 632, 650, 658, 664, 669—673, 679; II 7, 8, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 60, 61, 66, 68, 85, 88, 99, 112, 155, 156, 158, 178, 187, 197, 217, 222, 236, 245, 246, 255, 258—261, 265, 269—272, 276, 277, 281, 282, 292, 317, 319, 320, 335, 337, 338, 343, 344, 350, 359, 366, 369, 374, 379—384, 388, 395, 410, 418, 434, 439, 442, 451, 453, 457, 458, 461, 464, 474, 483, 516, 517
Толстой Сергей Сергеевич I 393
Толстые, семья Л. Н. Толстого I 27, 367
Толстяков Артур Павлович I 488; II 219, 223
Трегубов Иван Михайлович II 463
Тредьяковский (Третьяковский) Василий Кириллович I 346
Тренев Константин Андреевич II 461, 476
Тренов Дмитрий Федорович II 21
Третьяков Павел Михайлович II 428
Триоле Эльза I 626, 627; II 400, 403, 406, 516
Трифонов Юрий Валентинович II 369
Троицкий Матвей Михайлович II 471
Трояновский Дмитрий Николаевич II 463
Труайя Анри (Лев Тарасов) I 37
Трумэн Гарри II 356
Трунов Г. В., фотограф II 506
Трухачев Никон Игнатьевич II 470
Трухачев Савва Никонович II 470
Туглас Фридеберг Юрьевич II 338
Тулуб Зинаида Павловна II 476, 480
Тулуб Павел Александрович II 463
Туманян Ованес I 468
Тургенев Иван Сергеевич I 5, 9, 12, 13, 21, 24, 28, 42, 45, 310, 315, 323, 324, 359, 360, 365, 367, 372, 397, 495, 497, 670, 672; II 37, 42, 47, 61, 66, 67, 78, 79, 88—90, 150, 220, 261—263, 285, 366, 371, 434, 483
Тургенева (рожд. Лутовинова) Варвара Петровна I 672
Туржанский Леонид Викторович I 425; II 512
Тхоржевский Иван Феликсович II 17

Тэффи (Бучинская, рожд. Лохвицкая) Надежда Александровна I 46, 644, 688; II 353, 392
Тюрин Н. II 476
Тютчев Федор Иванович I 17, 41, 359, 397, 422, 441, 442, 446, 447, 682; II 56, 422, 500, 516

У—ский А.— см. Дробыш-Дробышевский А. А.
Уайльд Оскар I 447, 649
Уманов-Каплуновский Владимир Васильевич II 463
Умов А. Н. II 476
Усенко Леонид Владимирович I 55
*Усков Ираклий Александрович I 305*
Ускова Наталья Ираклиевна I 305
Усманов Абубакир Нурианович I 340, 564
Усов Павел Сергеевич II 198
Успенская (рожд. Успенская) Елизавета Александровна I 312
Успенская Елизавета Васильевна II 476, 478
Успенская Ольга Николаевна I 312, 313
Успенский Александр Иванович II 476, 478, 492, 496
Успенский Александр Иванович, тесть Н. В. Успенского I 310—314
Успенский Глеб Иванович I 311, 314, 316, 331, 356, 372, 378, 500; II 221, 434, 483
Успенский Дмитрий Иванович I 310
Успенский Михаил Александрович II 496, 498
Успенский Михаил Васильевич II 476, 478
Успенский Николай Васильевич I 12, 309—314, 388; II 35, 66, 477—478, 496
Устрялов Николай Васильевич II 459, 460
Ушакова О. II 476
Уяр (Афанасьев) Федор Ермилович I 635

Фл. Л., корреспондент «Южной мысли» I 376
Фа-Сянь (Фа-Сьян) II 97, 107, 116, 119
Файнерман (псевд. Тенеромо) Исаак Борисович II 240, 245
Фатов Николай Николаевич II 463
Федин Константин Александрович I 6, 51, 52, 54, 56, 629, 690—691; II 158, 369, 371, 442, 515
Федор Иванович, царь I 360
Федоренко Людмила Николаевна II 447, 448
Федоров Александр Митрофанович I 50, 221, 223, 289, 330, 361, 377, 378, 457, 467, 468, 498, 500—502, 507, 517, 518, 521, 523, 528, 538—540, 542—545, 552, 575—577, 582, 583, 585—588, 596, 610, 612, 621—623; II 21, 22, 172, 178, 185, 187, 188, 203—206, 219, 264, 430, 456, 460, 463, 464, 472, 474, 476, 478, 481, 506
Федоров Виктор Александрович II 178, 205
Федоров Иван Федорович I 575
Федоров Федор Митрофанович II 463, 476
Федорова Лидия Карловна II 205, 206 463
Федотов Александр Александрович И 198, 220
Фейгин Яков Александрович I 515, 540
Фет Афанасий Афанасьевич I 8, 12, 16, 17, 222, 296—299, 318, 323, 336, 352, 359, 397, 435, 442, 530; II 135, 136, 138, 289, 471
Фехнер Эмилия Васильевна I 244, 252 (?); II 463
Фигнер Вера Николаевна II 52, 238
Фидлер Федор Федорович II 23, 456, 463, 476, 504, 506
Фиезоле Фра Джованни — см. Беато Анджелико Джованни да
Филиппов Алексей Фролович I 516, 517, 556
Филиппов И. II 476
Филиппов, журналист II 206
Философов Дмитрий Владимирович I 368
Фирдоуси Абдул Касим II 457
Фирсов Виктор Эдуардович I 331, 334
Фишер Владимир Михайлович II 463
Фишер Куно I 12
Фишер К. А., фотограф I 11, 29, 550; II 163, 167, 175, 181, 488, 492, 506, 512, 513
Флей Клавдий Иванович II 17
Флобер Гюстав I 374, 585—587, 655; II 197, 221, 276, 280, 285, 318, 421, 471
Фомин Семен Дмитриевич II 464, 476
Фонвизин Денис Иванович II 263
Фондаминский Илья Исидорович II 258, 260, 261, 263, 276
Фондаминские II 276, 279, 292
Фортунатов Филипп Федорович II 514
Фофанов Константин Михайлович I 388, 442, 457; II 195, 477
Фрагонар Жан Оноре II 258
Франко Иван Яковлевич I 65; II 223
Франс (Тибо) Анатоль I 106, 108; II 260
Франциск Ассизский II 383, 384
Франциск I, франц. король I 106
Фрелих Елена Львовна II 463, 476
Фрид Самуил Борисович I 380
Фруг Семен Григорьевич II 195, 477
Фундуклей Иван Иванович I 302, 305

Хаджи Мурат I 317, 606, 607
Хаджи Сима Шеббетесьич I 595
Ханжонков Александр Алексеевич II 483
Харджиева Варвара Георгиевна II 476
Харкеевич Варвара Константиновна II 476
Харкеевич Ольга Владимировна II 476
Хитрово (псевд. Андрей Мирославич) Лев Аркадьевич I 528, 531, 534, 541; II 463, 476
Хлебников Петр Алексеевич II 413
Хмельницкий Богдан Зиновий II 142
Ходасевич Владислав Фелицианович I 37, 46, 49, 663, 664, 676, 678, 679, 683; II 161, 183, 218, 253, 261, 464
Ходасевич (по 2-му мужу Маковская) Марина Эрастовна II 162, 172, 253
Ходотов Николай Николаевич II 461, 506
Холина Антонина Петровна II 447, 448

Холмогоров Иван Николаевич I 222
Хомяков Алексей Степанович I 682; II 473
Хотяинцева Александра Александровна I 584, 595
Хохлов Кузьма Гаврилович II 457, 463
Худяков Кондратий Кузьмич II 476

Цакни Анна Николаевна — см. Бунина А. Н.
Цакни Борис Николаевич II 286
Цакни Николай Петрович I 445, 480, 482, 483, 491, 493, 507, 519; II 286, 287, 472
Цакни Элеонора Павловна II 286, 287, 476
Цатурян Александр I 468, 469
Цвейг Стефан II 369, 489
Цветаев Андрей Иванович II 165
Цветаев Иван Владимирович II 165
Цветаева Анастасия Ивановна II 219
Цветаева Валерия Ивановна II 165
Цветаева Марина Ивановна I 46, 678, 680, 682; II 165, 219, 462
Цвилинев, орловский помещик I 387, 410
Цейтлин Натан Сергеевич I 640
Цензор Дмитрий Михайлович I 646, 647
Ценовский А. II 476
Цетлин Мария Самойловна II 356, 390, 401—406, 459, 500
Цетлин (псевд. Амари) Михаил Осипович I 676; II 356, 402
Цуриков Александр Александрович I 396
Цуриков Николай Александрович I 396
Цыкерман Клара II 476

Чайковский Модест Ильич II 198
Чайковский Николай Васильевич II 390
Чайковский Петр Ильич I 667; II 276, 504
Чайченко Василь — см. Гринченко Б. Д.
Чалый Михаил Корнеевич I 305
Чапкин Иван Яковлевич II 470
Чапковский Александр I 572; II 476
Чарушников Александр Петрович I 513; II 463
Черемнов Александр Сергеевич I 564, 565, 615, 639—658; II 40, 104, 476, 479, 485, 487, 488, 500
Черненко Александр Федорович II 487
Чернов Виктор Михайлович II 53—54
Чернов Николай, рабочий I 316
Чернов Филарет Иванович II 476
Черный Саша (Александр Михайлович Гликберг) I 644, 688; II 223, 464
Чернышевский Николай Гаврилович I 287, 299, 314, 316, 446, 447, 645; II 46
Чернышевские I 645
Чертков Владимир Григорьевич I 366, 367
Чехов Антон Павлович I 6—10, 13, 14, 22, 27, 31, 33, 41, 43, 48, 54—56, 226, 314, 316, 355, 359, 374, 375, 377, 421, 443, 444, 454, 456—458, 461, 471, 486, 489, 501, 506, 508, 510—512, 517, 522—529, 531—533, 536, 537, 539, 545—547, 549, 550, 552, 554, 557—559, 562, 563, 575, 584, 590, 594, 595, 635, 643, 646, 648, 652, 654, 658, 692; II 7, 8, 11—13, 16, 19, 20, 22, 34, 37, 42, 57, 60—63, 66—89, 121, 166, 189, 247, 250, 258, 259, 268, 270, 276, 281, 328, 338, 342, 348, 350, 355, 365, 367, 368, 370, 372, 388, 395, 428, 434, 438, 442, 449, 451, 453, 454, 456, 459, 461, 463, 464, 478, 481, 487, 489, 492, 494—496, 498, 499, 500, 506, 508, 512, 518
Чехов Михаил Павлович II 463
Чехова Евгения Яковлевна II 350
Чехова Мария Павловна I 454, 460, 524, 528, 546, 547, 549, 563, 578, 583, 584, 594, 595, 653; II 77, 350, 456, 463, 496—498, 500, 512
Чеховы II 247, 350, 456
Чеховский Василий Григорьевич I 317; II 69
Чешихин-Ветринский Василий Евграфович II 510
Чингисхан (Великий могол) II 48
Чинелли Дельфино II 383, 384
Чинизелли, владелец цирка I 645
Чириков Евгений Николаевич I 8, 20, 29, 484, 506, 514, 516, 523, 533, 536, 552, 563, 575; II 14, 18, 19, 26, 460, 506
Чичерин Алексей Владимирович II 87, 89
Членов Михаил Александрович I 532
Чубарова (рожд. Чапкина) Анна Ивановна II 226, 471
Чубаровы II 465
Чудаков Александр Павлович II 89
Чуковский Корней Иванович I 310, 314, 350, 360, 361, 462, 653; II 13, 62, 374, 476, 478
Чулков Георгий Иванович II 456, 476, 492, 496, 498
Чумаченко (псевд. Гальперин) Ада Артемьевна II 476, 479
Чурилин Н. II 476
Чухонцев Олег Григорьевич I 54
Чюмина (по мужу Михайлова) Ольга Николаевна I 442

Шабад Татьяна II 476
Шаламов Варлаам Тихонович I 659, 660
Шаляпин Федор Иванович I 29, 50, 376, 377, 532, 533, 535—537, 575, 591, 592, 624, 625; II 13, 17, 18, 44, 181, 248, 268, 338, 354, 358, 482
Шаляпин Федор Федорович II 268
Шаляпина (рожд. Элухен; по 1-му мужу Петцольд) Мария Валентиновна II 248
Шамиссо Адальберт I 50
Шапир Николай Лазаревич II 476
Шапир Ольга Андреевна II 476
Шарапов II 208
Шараповы II 208
Шаров, домовладелец I 532
Шассэн II 294, 298
Шатуновский Николай II 463
Шахматов Алексей Александрович I 336—338; II 148, 463, 476, 513
Шевченко Григорий I 301, 304
Шевченко Тарас Григорьевич I 12, 65—69, 289, 296, 299—305, 572, 580; II 283, 454, 455
Шевченко, семья I 66, 301, 303, 304
Шейн Павел Васильевич I 413; II 140, 147, 152
Шекспир Вильям I 12, 44, 514; II 198, 203, 220, 265, 292, 320, 413, 421, 461

Шелехов Борис Петрович II 476
Шеллер (псевд. Михайлов) Александр Константинович II 372, 477, 511
Шелли Перси Биши II 17, 18, 421, 476
Шеметов А. П. II 507
Шенгели Георгий Аркадьевич II 238
Шенгели Нина Николаевна II 238
Шершеневич Вадим Габриелевич I 648, 649
Шершеневич Габриель Феликсович I 649
Шестов (Шварцман) Лев Исаакович I 360, 362; II 342, 378
Шиллер Фридрих Иоганн Кристофор I 173, 175, 206—207, 221, 222, 265, 289; II 122, 467
Шиль Софья II 476
Шиман Эдуард II 463
Ширяев, живописец I 302
Ширяевец (Абрамов) Александр Васильевич II 459, 476, 480
Шифман Р. II 463
Шицман С. В., фотограф I 431
Шишкин Иван Васильевич I 507
Шкловский Виктор Борисович I 42, 56
Шкловский И. В. — см. Дионео
Шкляр Николай Григорьевич I 653
Шкулев Филипп Степанович II 457—458
Шмелев Иван Сергеевич I 35, 37, 46, 50, 373, 619, 622, 623, 642, 653, 664; II 197, 198, 220, 265, 279, 281, 404, 407, 461, 476, 479, 492, 496, 499
Шмидт Вера Владимировна I 6, 664, 668, 673, 678—680; II 283, 331—340
Шмидт Татьяна Николаевна II 336, 339, 340
Шмит Николай Павлович II 23
Шолохов Михаил Александрович I 52, 54; II 370, 395
Шольц Август I 532, 533
Шомет Пьер I 78, 80, 85, 86
Шопен Фредерик II 418
Шопенгауер Артур II 244
Шор Михаил Николаевич II 476
Шор Осип II 476
Шпицмахер, студент II 186
Шрейдер Егор Егорович II 165, 171, 219
Шрейдер Зоя Евгеньевна II 165, 171, 219, 248, 250
Шрейдер, семья II 165
Штейнер Рудольф II 317, 330
Штенберг Надежда II 463
Штурм Всеволод Николаевич II 198
Шульц-Геверниц Г. (G. Schulz-Gaevernitz) II 476
Шулятиков Владимир Михайлович I 545
Шумов, фотограф II 506
Шуф Владимир Александрович II 463

Щеголев Павел Елисеевич II 487
Щеголенков (Щеголенок) Василий Петрович I 417
Щедрин Н.— см. Салтыков М. Е.
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна I 511, 513
Щепотьев Лев Александрович II 476
Щепотьева Елена Степановна II 476
Щербаков, сказитель I 417
Щербина Николай Федорович I 329
Щуровский Владимир Андреевич I 360, 362

Эверс Эрнест Эдуард I 423, 442, 443
Эвклид I 45
Эгиз Борис Исаакович I 595; II 206, 220, 428
Эдельвейс — см. Григорьева Л.
Эккерман Иоганн Петер II 442
Элиасберг Александр С. II 463
Эллис (Лев Львович Кобылинский) I 368, 577
Эльяшевич Аркадий Павлович II 88
Энгельгардт Василий В. I 304
Энгельгардт Павел Васильевич I 301—302, 304
Энгр Жан Огюст Доминик II 381
Эренбург Илья Григорьевич II 400
Эрнефельд Ээро Николай II 22
Эртель Александр Иванович I 314, 377, 378, 421; II 88, 483, 492, 496, 497, 500
Эспозито Микеле II 413
Эспозито (рожд. Хлебникова) Наталья Петровна II 412—423, 476, 481, 482
Эсхил II 17, 25, 408
Эфрос Наталья Давыдовна I 6
Эфрос Николай Ефимович II 461, 487

Южаков Сергей Николаевич I 334, 335
Южин (Сумбатов) Александр Иванович II 198, 220, 461, 512
Юлий Цезарь Гай I 649; II 287, 288
Юльбер, домовладелица II 309, 322, 324
Юргенсон Эрнест Петрович II 463, 502, 504
Юсуповы I 101
Ютанов Владимир Павлович I 580
Юшкевич Семен Соломонович I 20, 373, 573; II 19, 26, 70, 159, 192, 193, 390, 460, 476

Яблоновский Александр Александрович II 463, 476
Яблоновский (Потресов) Сергей Викторович II 360, 406
Яблонский Петр Осипович I 487
Яблочкина Александра Александровна II 476
Яблочков Георгий Алексеевич II 463, 476, 503
Яворская (по мужу Барятинская) Лидия Борисовна I 510, 511, 513
Ядринцев Николай Михайлович I 329
Якобсен Йенс Петер I 344
Яков Ефимович, сказитель I 417; II 202
Яковенко II 271
Якубович М. I 316
Якубович (псевд. Гриневич) Петр Филиппович I 161, 330
Якушкин Павел Иванович II 147, 152
Ярцев Григорий Федорович I 525
Ясинский (псевд. Максим Белинский) Иероним Иеронимович I 586, 587

Alouf Michel II 471
Barbier de Meynard A.-C. I 222
Beyrouth Michel Alouf II 471
Britton Lionel Erskine I 635
Davie C.-S. I 222
Legge James II 116
Maillard, m-me I 82
Seraste S., переводчик I 635
Wilderforce Clarke H. I 222

# СОДЕРЖАНИЕ

## СТАТЬИ

БУНИН И ГОРЬКИЙ (1899—1918)
Статья А. А. Нинова . . . . . 7

ЧЕХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ БУНИНА (1890—1910-е годы)
Статья Э. А. Полоцкой . . . . . 66

В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСКАНИЙ БУНИНА (как создавались рассказы 1911—1916 гг.)
Статья Л. В. Крутиковой . . . . . 90

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ РАССКАЗОВ 1911—1916 гг. . . . . 117

ПО СТРАНИЦАМ РАННИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ БУНИНА
Статья Т. Г. Динесман . . . . . 121

ФОЛЬКЛОР В ПРОЗЕ БУНИНА
Статья Э. В. Померанцевой . . . . . 139

## ВОСПОМИНАНИЯ

И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. СЛОВО О БУНИНЕ . . . . . 155

В. Н. БУНИНА. БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ
Предисловие и публикация А. К. Бабореко . . . . . 159

ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЗ ПИСЕМ В. Н. БУНИНОЙ К БУНИНУ
Сообщение Л. Н. Афонина . . . . . 221

Е. А. БУНИН. РАСКОПКИ ДАЛЕКОЙ ТЕМНОЙ СТАРИНЫ
Предисловие и публикация Л. К. Кувановой . . . . . 224

Л. А. ЖЕНЖУРИСТ. ‹ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПОЛТАВЕ›
Предисловие и публикация В. С. Оголевца . . . . . 236

Е. П. ПЕШКОВА. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН
Публикация Н. И. Дикушиной . . . . . 247

Г. Н. КУЗНЕЦОВА. ИЗ «ГРАССКОГО ДНЕВНИКА» . . . . . 251

Т. Д. МУРАВЬЕВА-ЛОГИНОВА. ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ. Воспоминания об И. А. и В. Н. Буниных . . . . . 300

В. В. ШМИДТ. ВСТРЕЧИ В ТАРТУ . . . . . 331

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА БУНИНА К В. В. ШМИДТ . . . . . 339

Н. В. КОДРЯНСКАЯ. ВСТРЕЧИ С БУНИНЫМ . . . . . 341

С. Ю. ПРЕГЕЛЬ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БУНИНЕ . . . . . 352

В. М. ЗЕРНОВ. ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА . . . . . 358

## СООБЩЕНИЯ И ОБЗОРЫ

ИЗ ОТЗЫВОВ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О БУНИНЕ
Сообщение Н. П. Седовой . . . . . 365

БУНИН В ОЦЕНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

I. ИЗ ПИСЬМА РОМЕНА РОЛЛАНА К ЛУИЗЕ КРУППИ 20 МАЯ 1922 г.
Сообщение А. К. Бабореко . . . . . 375

II. АНРИ де РЕНЬЕ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БУНИНА. 1921—1924
Сообщение Л. К. Кувановой . . . . . 376

III. ИЗ «ПАРИЖСКОГО ОТЧЕТА» ТОМАСА МАННА. 1926
Сообщение А. К. Бабореко . . . . . 378

IV. БУНИН В СПОРЕ С АНДРЕ ЖИДОМ
Предисловие Т. Л. Мотылевой
Публикация А. К. Бабореко . . . . . 380
ПИСЬМО А. Н. ТОЛСТОГО О БУНИНЕ
Сообщение Ю. А. Крестинского . . . . . 388
ВЫХОД БУНИНА ИЗ ПАРИЖСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
Сообщение А. Н. Дубовикова . . . . . 398
РУССКАЯ ДРЕВНОСТЬ И ФОЛЬКЛОР В ПОЭЗИИ БУНИНА
Сообщение Н. П. Смирнова . . . . . 408
О ПРОИСХОЖДЕНИИ РАССКАЗА «НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ»
Сообщение Л. Н. Афонина . . . . . 412
БУНИН И НИЛУС
Сообщение И. Д. Бажинова . . . . . 424
ПРИЛОЖЕНИЕ: ИВ. БУНИН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО. СТАТЬЯ П. А. НИЛУСА 429
ОЧЕРК Н. Я. РОЩИНА О ВИЛЛЕ «БЕЛЬВЕДЕР»
Сообщение А. И. Понятовского . . . . . 436
В ПАРИЖСКОЙ КВАРТИРЕ БУНИНЫХ
Сообщение Т. П. Голованoвой и Л. Н. Назаровой 440
О НЕКОТОРЫХ АВТОГРАФАХ И. А. БУНИНА
Сообщение В. Г. Лидина . . . . . 445
БУНИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В АРХИВАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Сводный обзор Л. Н. Афонина, Н. А. Балтийской, Ю. П. Благоволиной, М. Г. Ватолиной, О. Д. Голубевой, Н. И. Дикушиной, Ю. Н. Иванова, Ю. А. Красовского, Л. К. Кувановой, Е. С. Кулябко, Л. Н. Федоренко, А. П. Холиной
Предисловие Т. Г. Динесман . . . . . 447
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 449
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ И. С. ТУРГЕНЕВА В ОРЛЕ . . . . . 465
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО АН СССР
1. Отдел рукописей . . . . . 485
2. Архив А. М. Горького . . . . . 488
3. Музей А. М. Горького . . . . . 491
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА. ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ . . . . . 492
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА . . . . . 502
МУЗЕЙ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АН СССР . . . . . 506
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ Н. Д. ТЕЛЕШОВА . . . . . 507
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ . . . . . 510
АРХИВ АКАДЕМИИ НАУК СССР . . . . . 513
ДОПОЛНЕНИЯ К ПИСЬМАМ БУНИНА . . . . . 515
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ . . . . . 518
УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Составила Т. Г. ДИНЕСМАН . . . . . 519
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Составила Е. М. ЛЬВОВА . . . . . 527

«Литературное наследство»
Том 84

ИВАН БУНИН
Книга вторая

*Утверждено к печати*
*Институтом мировой литературы им. А. М. Горького*
*Академии наук СССР*

Редакторы *В. Б. Гусынина* и *А. Т. Лифшиц*
Художественный редактор *Н. Н. Власик*
Технический редактор *Л. Н. Золотухина*

Корректоры 1 кн. и 2 кн. *В. А. Бобров*
и *Н. Г. Сисекина*

Сдано в набор 14/IX 1972 г. Подписано к печати
1/VI 1973 г. Формат 70 × 108 1/16 Бумага № 2.
Усл. печ. л. 48.5. Уч.-изд. л. 51,2.
Тираж 20 000. А - 04136. Тип. зак. 1235.
Цена 3 р. 46 к.

Издательство «Наука»
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

3 р. 46 к.

Первая книга открывается обобщающей статьей «Путь Бунина—художника». Далее следуют два больших раздела. В первом — «Из творческого наследия» — публикуется много неизвестных (или затерянных в старой периодике) произведений, не включенных в 9-томное собрание сочинений Бунина (1965—1967). Сюда входят 37 рассказов, более 200 стихотворений, критические статьи и рецензии, газетные интервью, автобиографические, литературные и фольклорные записи. Раздел «Письма» содержит обширные материалы: переписку Бунина с В. Я. Брюсовым, переписку с Н. Д. Телешовым, письма к А. С. Черемнову, М. В. Карамзиной, К. А. Федину и др. — всего более 350 писем, охватывающих полвека (с 1895 по 1947 гг.).

В книге около 130 иллюстраций, часть их получена из парижского архива Бунина.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»